ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

РУССКАЯ КУЛЬТУРА
и
ФРАНЦИЯ
III

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО – ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

33-34

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1 · 9 · МОСКВА · 3 · 9

GARDER L'HÉRITAGE —
NE SIGNIFIE PAS S'Y LIMITER
LÉNINE

LITERATOURNOE NASLEDSTVO

33-34

ÉDITION DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE L'URSS
1 · 9 · MOSCOU · 3 · 9

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СКАЗКЕ ПЕРРО „СИНЯЯ БОРОДА“

Рисунок Гюстава Доре, ок. 1862 г.

Эрмитаж, Ленинград

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

ВОЛЬТЕР В РАБОТЕ НАД «ИСТОРИЕЙ РОССИИ ПРИ ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Публикация Н. Платоновой

Автором первой серьезной монографии о России во время царствования Петра I, написанной на основании солидных источников, является Вольтер. Выполняя заказ дочери Петра, императрицы Елизаветы, Вольтер работал около семи лет (1756—1763) над своей «Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand». Целью этой книги было прославление Петра I.

Семилетняя война, разделившая Европу на два враждебных лагеря, велась не только солдатами, но и печатным словом, и среди авторов многочисленных пасквилей против России значился сам прусский король Фридрих II[1]. Оставлять без ответа то, что на Западе—в Пруссии, Англии и прочих вражеских странах—говорилось против России и ее царствовавшего дома, русское правительство считало недопустимым. Императрице Елизавете удалось получить в соратники самого Вольтера, и этому мог позавидовать любой из ее политических врагов. Писатель, чье имя гремело на весь образованный мир, работал над историей Петра I в то время, когда войска его дочери одерживали в Пруссии одну победу за другой и, наконец, заняли Берлин. Этот факт вызывал явную досаду в прусском короле: дурное настроение по поводу того, что Вольтер взялся писать «историю сибирских волков и медведей», сквозило в его письмах в Ферне[2].

Над своей «Историей Российской империи» Вольтер работал, несомненно, с большим подъемом. Петр I привлек к себе внимание Европы не только эксцентричностями своей личной жизни, о которых писали «сочинители мелких анекдотов»[3]. Для Вольтера Петр I был воплощением идеала «просвещенного государя»; в его лице воображение Вольтера создало едва ли не героический образ «северного исполина». Кроме того, Петр поднял международный престиж России на небывалую высоту и, выдвинув свою страну в ряд европейских держав, заставил их считаться с «северным колоссом» так, как до тех пор в Европе никогда не считались с Россией. Вольтер это учитывал, это ему импонировало. Он не скупился на выражения восторга перед страною, сумевшею за полстолетия сделаться столь заметным участником европейской жизни. Это «чудо, единственное в своем роде» он собирался изобразить в своем новом труде[4]. Увлечение Вольтера было искренним. Конечно, драгоценные шубы и прочие подарки из России были ему приятны, но все же, работая над «Историей Российской империи», он испытывал неподдельный подъем творческой энергии.

История того, как знаменитейший из французских писателей XVIII в. писал о жизни и деятельности Петра I, своего старшего современника,

сложна и до сих пор еще не исследована во всех подробностях. Можно считать, что в книге Е. Ф. Шмурло «Петр Великий в оценке современников и потомства»[5] главные этапы этой работы намечены четко и удачно, хотя и в крайне сжатой форме. Однако, и в настоящее время историк еще не располагает всем тем материалом, который позволил бы ему внести в этот вопрос полную точность, все необходимые подробности. Главные источники для этого—пять томов материалов для истории Петра I, некогда находившихся в распоряжении Вольтера, а ныне хранящихся в Рукописном отделении Ленинградской публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, документы из знаменитых портфелей Г. Ф. Миллера в ГАФКЭ и, наконец, переписка Вольтера за те годы, когда писалась «Histoire de l'Empire de Russie». Этот материал, несомненно, богатый и ценный, нельзя, однако, считать исчерпывающим, и каждый новый документ, касающийся работы Вольтера над историей Петра I, представляет большой интерес.

Сейчас мы имеем возможность опубликовать целую группу таких документов, а именно: 1) ответ на 16 вопросов Вольтера. 1759 г.; 2) письма Б. М. Салтыкова к И. И. Шувалову. 1760 г.; 3) письма И. И. Шувалова к Вольтеру. 1761 г.

Все эти материалы хранятся в одном из частных собраний в Москве.

I. ВОПРОСЫ ВОЛЬТЕРА И ОТВЕТЫ НА НИХ ИЗ РОССИИ

Письма Вольтера к И. И. Шувалову заполнены просьбами о присылке ему из России материалов, необходимых для выполнения заказа русской императрицы, а также инструкций относительно того, как должны быть освещены в его «Истории» те или иные моменты биографии Петра I. С точки зрения русской царицы и лиц, ее окружавших, некоторые моменты этой биографии являлись в той или иной мере щекотливыми, и в силу этого окончательная редакция труда требовала особенно осторожного подхода и точной договоренности. Просьбы о присылке новых материалов постоянно встречаются в письмах Вольтера к И. И. Шувалову. Он торопит своих заказчиков с этой присылкой и непрерывно просит разъяснений относительно того или иного темного для него места в жизни Петра I или мало ему известных событий русской истории, указывает на непонятные ему русские слова, на неведомые ему обычаи и нравы, спрашивает, что и как следует говорить о том или ином лице или событии. В ответ Вольтеру посылались копии нужных ему документов, эстампы, медали и объяснительные записки, составленные русскими учеными. Публикуемый документ—одна из таких записок.

Текст 16 вопросов Вольтера и ответов на них, написанный мелким каллиграфическим почерком, занимает 11 страниц большого формата. На полях рукописи имеются замечания, сделанные другим почерком; это дополнения к ответам на вопросы Вольтера или же размышления неизвестного автора этих замечаний по поводу сути ответов. Судя по помаркам в тексте и вставкам на полях, наша рукопись—черновой набросок, одна из рабочих редакций ответов на вопросы Вольтера, для которых И. И. Шувалову приходилось собирать материал.

В вышеупомянутой книге Е. Ф. Шмурло, где имеются краткие сведения о такого рода записках объяснительного характера, посылавшихся из Петербурга Вольтеру, упоминается записка с ответами на 16 его вопросов,

заглавие которой тождественно с заглавием публикуемой нами записки: «Particularités sur lesquelles Mr. de Voltaire souhaite d'être instruit»[6]. В книге Е. Ф. Шмурло формулировка вопросов, принадлежащая, повидимому, самому Вольтеру, почти полностью совпадает с текстом нашей рукописи. Единственное и, притом, очень характерное исключение составляет редакция 6-го вопроса, касающегося «дела» злополучного царевича Алексея. В нашей рукописи, повидимому, точно воспроизводящей формулировку самого Вольтера, «дело» царевича Алексея называется «le malheureux procès criminel du Tsarewitz» («несчастный процесс царевича»). В редакции, напечатанной в книге Е. Ф. Шмурло по документам Гос. публичной библиотеки в Ленинграде, слово «m a l h e u r e u x» пропущено. И, действительно, в документе, официально присланном Вольтеру

ВОЛЬТЕР РУССО

Рисунок А. О. Орловского, 1821 г.

Картинная галлерея, Севастополь

из России, странно было бы видеть в этом контексте эпитет «malheureux», заключающий в себе осуждение инициатору процесса—Петру I.

Публикуемая нами записка не датирована. Письма Вольтера к И. И. Шувалову, известные только в печатной редакции, являются, в общем, довольно сомнительным источником для определения дат; однако, в данном случае можно базироваться на одном из этих писем, которое содержит определенное указание на наш документ. 22 ноября 1759 г. Вольтер, сообщая Шувалову о получении из России «пакета» с документами, цитирует один из ответов, точно совпадающий с текстом нашей записки. «С изумлением вижу в записках, которые бегло просматриваю, следующие слова: «и м е н и я Т р о и ц к о г о м о н а с т ы р я в о в с е н е о г р о м н ы—о н и п р и н о с я т д о х о д а т о л ь к о д в е с т и т ы с я ч р у б л е й»!—восклицает он[7]. Дата 22 ноября 1759 г. вполне правдоподобна: наша записка, весьма вероятно, составлялась для Вольтера и была ему отослана во второй половине 1759 г., когда, готовясь отпра-

вить в Россию на просмотр первый, уже напечатанный том своего труда, Вольтер собирался приняться за второй и, конечно, просил новых материалов. Прутский поход 1711 г., вторая женитьба Петра I, интриги Гёрца, «дело» царевича Алексея, вопрос о сооружении больших дорог и зданий в новой русской столице, реформы в области законодательства и церковных дел—все эти темы относятся именно ко второму тому, над которым Вольтер собирался работать осенью 1759 г.

Не вдаваясь в разбор содержания публикуемой нами записки, сделаем лишь несколько беглых замечаний относительно тех осложнений в работе Вольтера, которые создавались требованиями его заказчика.

Когда Вольтер получил предложение написать сочинение, имеющее целью прославление Петра I, политическая сложность этой задачи стала для него источником самой реальной заботы: он сразу же встретился с необходимостью прибегнуть к уловкам для того, чтобы, не вдаваясь в подробности личной жизни царя, сосредоточить внимание на его государственной деятельности. По мысли Вольтера, заглавие «История Российской империи при Петре Великом» вполне отвечало такой постановке темы, так как это дало бы возможность автору, сосредоточившись на политических и экономических вопросах, избежать необходимости передавать в своей «Истории» «анекдоты» из частной жизни царя. Однако, семейная жизнь Петра была слишком тесно связана с его политикой, и нельзя было избежать упоминания о ней. Громкое «дело» царевича Алексея было одним из политических деяний Петра, а его женитьба на Марте Скавронской дала последней возможность занять после его смерти русский престол и стать императрицей.

В публикуемом документе из шестнадцати вопросов четыре (5-й, 10-й, 13-й и 15-й) касаются биографии будущей Екатерины I. Крестьянское происхождение молодой литовки Марты Скавронской, ее принадлежность с детства к католической церкви и воспитание в правилах лютеранского вероисповедания, ее первый брак с рядовым шведским драгуном—все это было необычно для биографии русской царицы, а ее образ жизни у фельдмаршала Б. П. Шереметева и затем у А. Д. Меншикова давал повод к разного рода слухам, рассказам и легендам в Западной Европе. Что̀ же нужно было Вольтеру писать о происхождении и ранней молодости второй жены Петра I, чтобы изобразить этот брак «более достойным уважения» для «наций» и ничем не оскорбить императрицы Елизаветы, их дочери? Личные достоинства Екатерины I, о которых столь красноречиво говорится в тексте ответа на 5-й вопрос Вольтера, все же не избавляли его от необходимости что-то сказать и о ее происхождении. Приписка на полях нашей рукописи в этом месте является не вставкой в текст, а скорее выражает мнение автора приписки о том, что̀ именно следовало бы «неопровержимо доказать» относительно происхождения будущей русской императрицы Екатерины I. Сирота из бедной, но «благородной» литовской семьи, воспитанная лютеранским пастором Глюком с целью дать полное развитие ее счастливым природным свойствам,—такова была тема, на которую Вольтеру предлагалось дать вариации. Но действительно ли все это было «легко доказать»? Как и чем?

«Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre le Grand» свидетельствует о том, что если эти доказательства были найдены и сообщены Вольтеру, то вполне убедительными они ему не показались: под его пером Екатерина I так и осталась «молодой литовкой», попавшей в плен при взятии

Мариенбурга, и, значит, иностранкой на русском троне, несколько лет самодержавно правившей народом, пленницей которого она некогда была. Но личная характеристика Екатерины I строго выдержана в духе ответа, который получил Вольтер; о личных достоинствах царицы он, повидимому, распространялся легко и охотно[8].

В переводе текст рукописи следующий:

ПОДРОБНОСТИ, КОТОРЫЕ ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ г. ВОЛЬТЕР

1

Переговоры Петра I с иностранными дворами

Царствование Петра I продолжалось более тридцати лет, и почти невозможно сообщить обо всех переговорах, в течение его происходивших ‹для этого пришлось бы написать труд в несколько томов, что, кажется, не является намерением г. Вольтера. Кроме того, потребовалось бы особое лицо, освобожденное от всех иных занятий, для собирания в архивах ведомства иностранных дел документов обо всех этих переговорах и для производства извлечений, что потребовало бы времени, по крайней мере, год или два. Поэтому правильнее, чтобы г. Вольтер точно указал›. Это привело бы к бесконечным мелочам, утомительным для г. Вольтера; впрочем, большая часть документов, относительно которых у него имеются сомнения, находится здесь или в Москве, в архивах ‹чтобы можно было›, и будет сделано все возможное для того, чтобы дать ему необходимые объяснения; большая часть этих переговоров уже напечатана[9].

2

Постановления относительно общей полиции, религии, финансов и торговли. Очерк о законах и о церкви, присланный мне, не дает никаких подробностей

Г-н Вольтер, вероятно, получил краткую записку о городской полиции. Она содержит сведения обо всем, что сделано в этом отношении при Петре I. Прилагается записка об учреждении мануфактур; из нее г. Вольтер возьмет то, что найдет интересным и уместным для своей работы[10].

«Духовный регламент» Петра I широко известен, ибо переведен ‹на немецкий язык и напечатан в Данциге в 1723 г. под заглавием «Geistliches Reglement». По всей вероятности, он также переведен› и напечатан в виде приложения к книге, в которую вошли так называемые Анекдоты ‹князя Меншикова› о царствовании Петра Великого. Знаменитый архиепископ Феофан Новгородский написал под наблюдением Петра I ‹этот регламент, а также и распространенный российский катехизис и духовные сочинения о преобразовании духовенства и другие› этот регламент и прочие духовные сочинения[11]. Продолжение очерка о церкви будет доставлено г. Вольтеру незамедлительно. Там он найдет сведения об остальном, что совершил Петр I для того, чтобы хорошо поставить духовенство и искоренить его злоупотребления. Главным образом, там имеется указ великого государя относительно монашества, изданный им незадолго до смерти. Он не напечатан, но заслуживает того, и даже следовало бы его перевести на все европейские языки в доказательство здравых и благочестивых намерений императора относительно религии. Г-н Вольтер его

найдет в дополнительной записке о церкви. Этот указ частью написан рукой Петра Великого, он касается преобразований в жизни монахов и монахинь[12].

В очерк о законах вошла только история того, что называется Jus privatum. Остальные указы, касающиеся различных отраслей государственного хозяйства, как, например, торговли, финансов, разработки недр и т. д., войдут в отдельные записки, которые будут доставляться г. Вольтеру по мере их окончания. Записка о мануфактурах составлена по этому плану; в нее вошли все указы Петра Великого, имеющие к ним отношение.

3

Письма Петра I, если таковые имеются, которые могли бы служить для ознакомления с его характером и способствовать его славе

Существует несколько собраний писем Петра I к вельможам, сохраняемых их потомками, как сокровище. Самое большое принадлежит генерал-адмиралу графу Апраксину. Из этих собраний будет сделан выбор наиболее интересных писем. Напечатанные в переводе на французский язык, в виде приложения к «Истории», эти письма могли бы служить документальным доказательством и, вместе с тем, разъяснением некоторых фактов, о которых сообщается в «Истории», если г. Вольтер не предпочтет распределить их, как найдет нужным, в основной части работы[13].

4

Общественные сооружения, большие дороги, каналы, гавани, построенные по его распоряжению

Петр I строил города, сооружал морские гавани и каналы. Сооружения эти значатся в «Кратком хронологическом перечне наиболее замечательных событий его царствования», который будет незамедлительно послан[14]; обо всем этом будут доставляться отдельные записки. Петр I заботился не только о расширении больших дорог и необходимых исправлениях; расстояния от одного места до другого были точно измерены, и через каждую версту установлены столбы, на которых помечалось количество верст. Это сделали одновременно по всей империи. Множество инженеров было послано в 1715 г. для этой цели из Морской академии. Заодно они сняли карты всех губерний и областей. Петр I приказал также провести дорогу по прямой линии от Москвы до Петербурга, обычно называемую проспектом. Длина дороги—595 верст, но ездят по ней только от С.-Петербурга до реки Волхова, что составляет расстояние в 120 верст. Остальная часть дороги потребует еще больших работ.

5

Все, что может сделать его женитьбу и возведение на престол его жены более достойным уважения народов

Это, бесспорно, ее выдающиеся качества душевные и внешние, ее старания поддержать своего августейшего супруга в его великих начинаниях, ее привязанность к нему, готовность всюду за ним следовать, не боясь утомления или опасностей; ее мудрые советы, которые всегда шли на пользу Петру I, которыми она заслужила и до смерти этого государя

сохранила всю его любовь и благодарность. К этому можно прибавить оправдавшую себя уверенность Петра I в том, что, если бразды правления после его смерти окажутся в ее руках, она не прекратит трудов для осуществления его замыслов и завершения того, что оставалось еще сделать для счастия его народов.

Относительно происхождения императрицы Екатерины легко опро-

ЧЕРНОВИК ОТВЕТОВ НА „ВОПРОСНИК“, СОСТАВЛЕННЫЙ ВОЛЬТЕРОМ В СВЯЗИ С РАБОТОЙ НАД „ИСТОРИЕЙ РОССИИ ПРИ ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ“, 1759 г.

Частное собрание, Москва

вергнуть все ложные утверждения, обнародованные ⟨легко⟩ по этому поводу различными авторами; можно доказать легко и неопровержимо, что эта государыня была ⟨дочерью дворянина из Польской Ливонии, правда, бедной, но⟩ из благородной, хотя и бедной семьи Польской Ливонии, что ее отец действительно был дворянином. В раннем детстве императрица потеряла отца; мать вместе с ней приехала в Ригу, где умерла, а некто Глюк, лютеранский пастор из Мекленбурга, взял на себя воспитание юной сироты с намерением развить те счастливые склонности, которые в ней заметил.

6

Все, что может смягчить представление о чрезмерной суровости в злополучном процессе царевича

Соображения, приведшие Петра I к печальной необходимости проявить суровость в отношении царевича, подробно изложены в актах процесса, опубликованных по распоряжению государственной власти, с которыми историку должно сообразоваться. Лжеанекдоты, помещенные в виде приложения к процессу в «Государственных записках» Ламберти[15],—жестокая клевета, измышленная врагами Петра I, чтобы запятнать его память и память его августейшей супруги. Чтобы придать этой лжи больше правдоподобия, публике пожелали внушить, что сведения эти получены от одного русского видного лица.

7

Каково было его участие в замыслах, которые Гёрц внушал своему государю Карлу XII?

Относительно этого г. Вольтеру нужно было бы обратиться к запискам гг. Веселовского и Бестужева, представленным в то время лондонскому двору. Они изданы ⟨и было бы недостойно⟩[16], и нельзя в историческом труде противоречить столь подлинным и достоверным документам.

8

Верно ли, что искони существовал род прежних сибирских царей, и что сталось с этим родом?

Род прежних сибирских ханов, которых русские называли царями, еще существует в Москве с титулом князей. Чтобы не составить себе слишком высокого представления об этих прежних сибирских царях, следует принять во внимание, что в их владения входила только область Иртыша и Тобола около его устья. Казаки, человек 600—800, с легкостью обратили в бегство последнего из ханов, Кучума, и овладели его столицей «Сибирью», местонахождение которой едва ли известно в настоящее время. Однако, некоторым из потомков этого государя, попавшим в плен, привезенным в Москву и принявшим христианство, дан был титул царевичей Сибирских и пожаловано место выше всего российского дворянства; это продолжалось до 1718 г., когда Петр I уничтожил этот титул вместе с присвоенными ему преимуществами, по той причине, что последний царевич Сибирский принял участие в заговоре, тогда составившемся, почему и был сослан в Архангельск[17].

9

Что означал сан вице-царя [князя-кесаря], которым был облечен князь Ромодановский, и в чем заключалась его деятельность?

Сан князя-кесаря имел значение чисто церемониальное. Петр I, повидимому, создал его для того, чтобы кто-нибудь мог производить царя из одного военного чина в другой всякий раз, как он совершал новый подвиг на суше или на море. Производство это обычно происходило перед троном, на котором сидел князь-кесарь. Публично прочитывалось донесение о сражении; делали вид, что оно обсуждается; иной раз даже находили препятствия, возражали, и, наконец, князь-кесарь объявлял о новом чине по армии или флоту, в который он производил Петра I. Ромодановский

руководил также тайным розыском по делам об измене и прочим преступлениям против величества, но это не входило в прямые обязанности князя-кесаря. Ромодановский был судьею суровым и неподкупным и своей непоколебимой верностью приобрел доверие Петра I. Князь Федор Юрьевич Ромодановский был первым князем-кесарем. После его смерти все его титулы и должности перешли к сыну, князю И. Ф. Ромодановскому, который, однако, по личным заслугам не мог сравняться с отцом. В его лице род князей Ромодановских по мужской линии пресекся окончательно[18].

10

Правда ли, что при крещении по обряду православной церкви императрица Екатерина принуждена была сказать: «Плюю на отца моего и мать, воспитавших меня в не-истинной вере»?

11

Действительно ли в обычае эти слова?

⟨Такие мелочи не должны бы входить в историю Петра Великого⟩. Тех лиц, которые из другого христианского вероисповедания переходят в греческое, не крестят. Этот обряд совершают только над евреями, магометанами и язычниками; над христианами же совершается только миропомазание. Они, действительно, плюют, но не на отца и мать, а только показывают этим, что признали ложными те верования, в которых воспитаны. Все это описано в книгах, где идет речь об обрядах греческой и российской церкви. О проклятиях, которые, якобы, произносила императрица Екатерина, там нет ничего.

12

Действительно ли Петр I произнес приписываемую ему речь: «Друзья мои, кто бы подумал, что придет день торжества для нашего флота», и пр.?

Нет оснований в этом сомневаться: об этой речи сообщает автор, сам при этом присутствовавший,—г. Вебер, ганноверский резидент, чьи записки переведены на французский язык[19].

13

Верно ли, что императрица Екатерина послала значительную сумму великому визирю и заключила Прутский мир?

Это весьма правдоподобно—не было иного способа выйти из дурного положения. Это не засвидетельствовано документами, но об этом рассказывают. Даже некоторые иностранные авторы сообщают, что императрица Екатерина собрала все червонцы, которые нашлись у генералов и офицеров, прибавила свои драгоценности и драгоценности других дам, сопровождавших своих мужей, и все послала великому визирю.

14

Верно ли, что после Полтавы Петр Великий подарил свою шпагу Рейншильду и взял его шпагу?

Непосредственно после Полтавской битвы Петр I обедал в палатке с некоторыми генералами и офицерами главного штаба. По его приказанию были приглашены пленные шведские генералы, и после обеда, вы-

сказываясь с похвалой о храбрости, проявленной в тот день фельдмаршалом Рейншильдом, Петр подарил ему свою собственную шпагу. Он также приказал, чтобы остальным генералам вернули их шпаги, ожидая, по справедливости, такого же знака уважения к русским пленным генералам в Швеции. Но так как в Стокгольме на это не обратили никакого внимания, то он приказал вновь отобрать шпаги у шведских генералов и отнять льготы, им предоставленные. Во время торжественного въезда Петра I в Москву всех шведских генералов вели пешком, без шпаг. Однако, дойдя до одной из сооруженных в городе триумфальных арок, где были приготовлены разные прохладительные напитки, Петр I, всегда высоко ценивший фельдмаршала Рейншильда, остановился и, взяв бокал, обратился к Рейншильду с тостом за здоровье своих учителей, обучивших его военному делу. На это милостивое приветствие монарха г. Рейншильд ответил, что дело не могло итти хорошо с тех пор, как ученик стал более искусным, чем учитель; на это Петр I милостиво ответил, что со своими солдатами и шведскими офицерами он завоевал бы мир. Если бы Петр I, подарив свою шпагу Рейншильду, взял его шпагу, то об этом, конечно, сообщил бы в своей истории Карла XII Нордберг, присутствовавший при этом[20].

15

В «Поденной Записке» Петра Великого[21] говорится, что уже 10 марта 1711 г., раньше битвы при Пруте, императрица Екатерина была провозглашена царицей. Все записки говорят обратное; когда же был заключен этот брак, и почему, если она была провозглашена царицей, ей дали сначала только титул высочества?

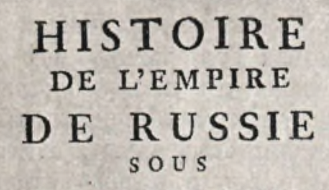
Петр I тайно женился на ней в Польше в 1707 г. В 1711 г., 6 марта, перед отъездом в Молдавию, он объявил ее своей законной супругой, а по возвращении из похода с большой пышностью отпраздновал свадьбу. По этому случаю рассказывают следующий анекдот: когда Петр I объявил о своей женитьбе единоутробной сестре своей, царевне Наталии, и царице—вдове своего брата Ивана, первая из них ответила, что не признает этого брака законным до тех пор, пока Петр не повторит брачной церемонии в присутствии ее и всего ее двора, что он и сделал 19 февраля 1712 г. (см. «Поденную Записку» Петра Великого). В своем жизнеописании Петра I Мотлей[22] называет эту свадьбу английским словом Old Wedding, указывая, что этим выражением пользовались те, кому было поручено делать приглашения на эту свадьбу. Титул высочества, который давался царицам, не то, что понимают под французским словом «altesse»; он соответствует немецкому слову «Hoheit»—королевское высочество. Он был пожалован царице Екатерине так же, как и другим царицам. И только после ⟨того, как Петр I был провозглашен императором⟩ коронации Екатерины и провозглашения Петра I императором ей был пожалован титул величества.

16

Употребил ли он на нужды государства доходы монастырей, и сохранил ли в его царствование монастырь Троицы свои огромные имения?

После смерти последнего патриарха Петр I учредил два различных приказа. Начальником одного приказа Петр назначил архиепископа

Рязанского; он управлял всем, что касалось духовных дел. Второй приказ, которым управлял граф Мусин-Пушкин, назывался сначала Монастырским приказом, а впоследствии камер-конторой; ему было поручено управление имениями и доходами монастырей и вообще духовенства[23]. Петр I их никогда не трогал. Только излишки, остававшиеся после расходов, совершенно необходимых для существования высшего духовенства и монастырей, он употребил на постройку церквей, на открытие и содержание школ, больниц, домов призрения для бедных и сирот и на все то, что обычно называется богоугодными делами. Если и были случаи, когда он занимал у камер-конторы какие-нибудь суммы, то они всегда возмещались. В России весь доход духовенства наличными деньгами не достигает даже миллиона рублей. Кроме того, духовенство выручает со своих земель за хлеб и другие товары приблизительно столько же. Нельзя сказать, что имения Троицкого монастыря огромны. В общем, у него от 106 до 107 тысяч крепостных душ, что приносит доход деньгами и товарами около 200 000 рублей. Петр I отнял у этого монастыря 20 000 душ и дал их новому монастырю Александра Невского в С.-Петербурге с условием, чтобы доход с этих крестьян шел на постройку зданий. Но при императрице Анне настоятель Троицкого монастыря, Варлаам, так сумел воспользоваться обстоятельствами, что земли, отнятые у его монастыря, все были возвращены, а для завершения построек монастыря св. Александра Невского были изысканы другие средства.



HISTOIRE
DE L'EMPIRE
DE RUSSIE
SOUS
PIERRE LE GRAND,

Par l'Auteur de l'histoire de
CHARLES XII.

TOME PREMIER.

MDCCLIX.

PRÉFACE.

§. I.

Ui aurait dit en 1700, qu'une cour magnifique & polie ferait établie au fond du golfe de Finlande, que les habitans du Solikam, de Cafan & des bords du Volga & du Saïk, feraient au rang de nos troupes les mieux difciplinées, qu'ils remporteraient des victoires en Allemagne après avoir vaincu les Suédois & les Ottomans; qu'un Empi-

* 3 re

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ „ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПРИ ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ“ ВОЛЬТЕРА НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ, 1759 г.

Титульный лист и первая страница первого тома

II. АГЕНТ И. И. ШУВАЛОВА В ЖЕНЕВЕ И ЕГО «ДЕПЕШИ»

Весной 1759 г., когда Вольтер в разгаре работы над «Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand», заканчивая первый том, уже просил из России материалов для второго, в Женеву приехал посланец И. И. Шувалова, молодой Борис Михайлович Салтыков. Вместе с письмом от И. И. Шувалова, русскими мехами и чаем он привез «инструкции» и материалы для истории Петра I до 1721 г. Восхищенный Вольтер поспешил заверить И. И. Шувалова, что гость из России его приятно изумил: беседы с ним показали «фернейскому отшельнику», что «на берегах Невы и Москвы» не только писали, но и говорили по-французски «совсем, как в Версале»[24].

Для своего времени Б. М. Салтыков, племянник фельдмаршала П. С. Салтыкова, был человек образованный. Один из первых питомцев Московского университета, он был на хорошем счету, как студент способный и весьма приверженный к наукам. На публичном акте 6 марта 1756 г., выступив участником «диспута на французском языке из права естественного», он, как и другой участник диспута, П. Безобразов, «изумил собрание» бойкостью своих ответов. Весною 1759 г. в числе «молодых людей, достойно окончивших курс» университета и тем «возбудивших участие в Шувалове», «прапорщик Борис Салтыков» был отправлен для продолжения учения в Женеву с жалованием 350 р. в год[25].

В Женеве Салтыков пробыл до начала 1762 г. и несколько лет служил живой связью между русским двором и Вольтером; через него Шувалов пересылал в Ферне письма, рукописи, медали, эстампы. Склонный говорить комплименты порою весьма неумеренные, Вольтер в письмах к Шувалову не раз упоминает о высоких качествах Салтыкова, о его любви к знанию, трудолюбии и благодарной преданности своему благодетелю И. И. Шувалову[26]. Б. М. Салтыков никогда не упускал случая побывать в Ферне, Турне и Делисах. Он там обедал, смотрел домашние спектакли, часами беседовал с Вольтером и аккуратно раз в неделю отправлял И. И. Шувалову сообщения обо всем, что видел и слышал в окружении «фернейского отшельника». По выражению П. А. Вяземского, письма Салтыкова—«настоящие депеши о том, что делалось в Делисах», их живая хроника. П. А. Вяземский называл Салтыкова «агентом» Шувалова; этот эпитет так и остался за последним в русской литературе.

Из еженедельных «депеш» Салтыкова Шувалову до сих пор напечатаны только четыре, в качестве приложения к книге П. А. Вяземского о Фон-Визине; из авторского предисловия можно сделать заключение, что текст писем воспроизведен по подлинникам, хранившимся в архиве «подмосковной» Вяземских, селе Остафьеве[27]. Были ли в то время в руках Вяземского другие письма Б. М. Салтыкова к И. И. Шувалову, остается для нас неизвестным.

Четыре письма, опубликованные Вяземским, относятся к лету 1760 г.; первое датировано 9/20 мая, второе 16/27 мая, четвертое 11/22 июля этого года; третье, не имеющее даты, было написано, как показало обращение к подлиннику, 4-го июня н. ст. 1760 г.[28]. Письма Б. М. Салтыкова из частного собрания, от сентября того же года,—прямое продолжение «депеш», опубликованных П. А. Вяземским. Они написаны в тот момент, когда вопрос о выпуске первого тома «Истории Российской империи при Петре Великом» приобрел, в силу различных обстоятельств, особую остроту.

Выпускать первый том без разрешения русской императрицы было невозможно, и том этот, напечатанный в женевской типографии братьев Крамеров, еще осенью 1759 г. был отправлен на просмотр в Петербург. По дороге книга пропала, и вторые экземпляры были посланы И. И. Шувалову только в апреле 1760 г. Задержка волновала и автора и издателей; все они опасались, что раньше, чем из Петербурга придет разрешение, книга будет тайным образом перепечатана на основании похищенного экземпляра. Слухи о готовящемся в Гамбурге и Голландии «незаконном» издании этой книжной новинки сильно тревожили обитателей Женевы и вольтеровских резиденций. В начале августа 1760 г. Вольтер извещал И. И. Шувалова, что не в его власти удержать братьев Крамеров, жаждавших выпустить, наконец, в свет эту книгу, изданную на их же деньги. Сам он, видимо, тоже непрочь был поторопиться с выпуском своего первого тома[29]. Поскольку можно основываться на датах переписки Вольтера, разрешение русского двора было получено в Женеве только к 23 сентября 1760 г., и после этого Вольтер немедленно начал рассылать «Историю» своим друзьям и корреспондентам[30]. Но от Б. М. Салтыкова, внимательно наблюдавшего за действиями автора и издателей, не укрылся тот факт, что братья Крамеры послали книгу в Англию, Францию и Германию еще до получения официального разрешения на то из Петербурга. Происходило ли это с ведома и согласия Вольтера? Для Салтыкова это было загадкой: утверждения автора и издателей расходились. Этой волнующей темы касаются письма Салтыкова от 5/16 и 12/23 сентября 1760 г.

Письмо от 19/30 сентября содержит сообщения о том, что происходит в Турне и Ферне, что говорит, думает и делает «фернейский отшельник», какие пьесы ставятся и будут поставлены на домашней сцене его «маленьких замков».

Текст писем Б. М. Салтыкова в русском переводе следующий:

(1)

Милостивейший государь!

На-днях издатель «Истории» г. Крамер послал первый том во Францию, Англию и Германию. Я просил у него объяснений, и он сказал, что вы одобрили «Историю» и об этом написали г. Вольтеру. Вместе с тем, он уверял меня, что утрата первого экземпляра никаких последствий не имела и «История» нигде напечатана не была. Не могу разгадать эту загадку. Несколько месяцев тому назад г. Вольтер подтверждал мне, что книга появилась в Гамбурге и что нюрнбергский почтмейстер был арестован за эту кражу. Я отправился к г. Вольтеру поговорить об этом, но не мог его видеть. Пойду осведомиться у него лично, правда ли, что вы ему об этом писали. Здесь книгу еще не продают. Я ее перечел и нашел в ней все те отрывки, на которые и раньше указывал вам в моем сообщении от 17 октября 1759 г.; и об императрице Екатерине попрежнему говорится, как о литовке[31]. Г-н Крамер сказал, что у него наготове, для отсылки в Петербург по первому же требованию, 50 экземпляров в хорошем переплете. Ваше имя встречается внизу 23-й страницы[32]. Три дня тому назад автор просил послать ему еще какие-нибудь записки о времени после Полтавской битвы.

С послезавтрашнего дня в Турне начинают играть «Альзиру» и другие пьесы г. Вольтера, с ними новую трагедию под заглавием «Фанина», которой никто еще не читал. За последние месяцы появилась анонимная

комедия в прозе «Шотландка», того же автора. В ней он превосходно изображает английские нравы.

За эти дни в Женеве рукою палача сожжена брошюра против здешних священников; на заглавном листе было имя г. Вольтера[33]. Он подал жалобу первому синдику и продолжает это дело, чтобы найти клеветника, пожелавшего приписать ему это сочинение. Почти каждый день против г. Вольтера издаются брошюры, в которых нападают на него лично и на его произведения.

Имею честь вверить себя милостивому покровительству, с глубочайшим и наиусерднейшим почтением оставаясь, милостивейший государь,

ваш покорнейший и преданнейший слуга

Борис Салтыков

№ XXXIV
5/16 сентября 1760 г.,
в Женеве

(2)

Милостивейший государь!

Я осведомился у автора, разрешил ли он г. Крамеру послать за границу «Историю Петра Великого», 4 000 экземпляров в Париж. Он ответил, что ничего не может приказывать г. Крамеру, что он это сделал по собственному почину, из страха, как бы книга не была издана в другом месте,— и это несмотря на мои неоднократные заверения, что убытки ему будут возмещены. Я не счел нужным делать какие-либо упреки не только г. Вольтеру, но даже издателю, потому что дело уже сделано, а мне еще не известно, найдете ли вы, ваше высокопревосходительство, в этой работе что-либо подлежащее исправлению. Я ограничился тем, что ни слова не сказал, и жду ваших распоряжений.

На-днях в Турне давали «Альзиру». Владелец замка изображал Альвареца, а его племянница—Альзиру, при рукоплесканиях всех зрителей. Герцог де Виллар, сын знаменитого маршала, присутствовал на спектакле. Он сообщил остроту своего отца. Когда за день до взятия Милана маршала спросили, сколько ему лет, он сказал: «J'aurai demain Milan»[34].

Г-н Вольтер, во всех своих разговорах в обществе, продолжает выражать должное уважение покровителю российских муз.

Имею честь вверить себя милостивейшему покровительству вашего высокопревосходительства, оставаясь с наиусерднейшим и глубочайшим почтением, милостивейший государь,

ваш покорнейший и преданнейший слуга

Борис Салтыков

№ XXXV
12/23 сентября 1760 г.,
в Женеве

(3)

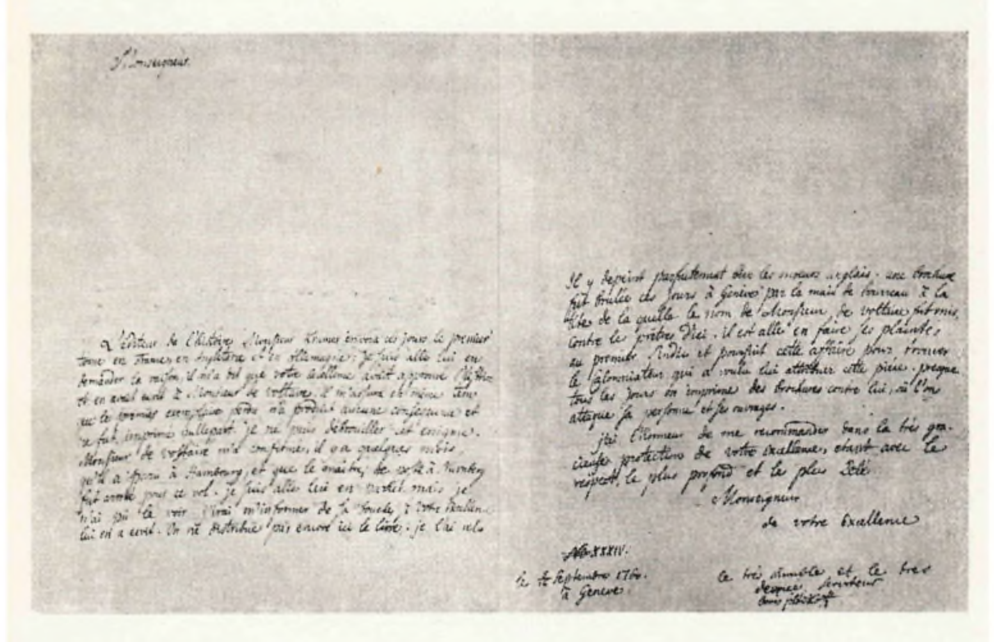
Милостивейший государь!

У меня нехватает слов, чтобы выразить свою живейшую и почтительнейшую благодарность за поощрение, которое вы благоволите обещать моим скромным дарованиям. Они ограничиваются величайшей приверженностью к родине, великодушнейшему меценату и науке. Знаю, что

похвалы г. Вольтера вы можете приписать только его желанию сделать приятное вам, одобряя ваш снисходительный выбор.

На-днях г. Вольтер оказал мне честь—был у меня и подарил экземпляр «Истории России», в котором я нашел только одно исправленное место на девятой странице предисловия. Вместо слов: «Настоящая история является подтверждением и дополнением истории Швеции», сказано, что она является подтверждением в нескольких местах[35]. Я спрашивал у гг. издателей, обоих братьев Крамеров, правда ли, что они выпустили в свет «Историю» без согласия автора; они уверяли, что он им это приказал.

В Турне давали прошлогоднюю пьесу «Танкред, или Альменаида». Автор ее еще исправляет для того, чтобы в Париже она имела более пол-


Monseigneur

L'éditeur de l'Histoire Monsieur Cramer envoya ces jours le premier tome en France, en Angleterre et en Allemagne; je suis allé lui en demander la raison, il m'a dit que votre Excellence avait approuvé l'Histoire et en avait écrit à Monsieur de Voltaire. Il m'assure en même temps que le premier exemplaire perdu n'a produit aucune conséquence et ne fut imprimé nulle part. Je ne puis débrouiller cet énigme. Monsieur de Voltaire m'a confirmé, il y a quelques mois, qu'il a appris à Hambourg et que le maître de poste à [illegible] fut arrêté pour ce vol. Je suis allé lui en parler mais je n'ai pu le voir. J'irai m'informer de [illegible] votre Excellence lui en a écrit. On ne distribue pas encore ici le livre. Je l'ai [illegible]

Il y dépeint parfaitement bien les moeurs anglois. Une brochure fut brulée ces jours à Genève par la main du bourreau, à la tête de laquelle le nom de Monsieur de Voltaire fut mis, contre les prêtres d'ici. Il est allé en faire ses plaintes au premier Syndic et poursuit cette affaire pour trouver le calomniateur qui a voulu lui attacher cette pièce. Presque tous les jours on imprime des brochures contre lui, où l'on attaque sa personne et ses ouvrages.

J'ai l'honneur de me recommander dans la très gracieuse protection de votre Excellence, étant avec le respect le plus profond et le plus zélé

Monseigneur

de votre Excellence

le très humble et le très dévoué serviteur
Boris Saltikof

No XXXIV.
le 5/16 Septembre 1760.
à Genève

АВТОГРАФ ПИСЬМА Б. М. САЛТЫКОВА К И. И. ШУВАЛОВУ ОТ 5/16 СЕНТЯБРЯ 1760 г. ИЗ ЖЕНЕВЫ

Салтыков сообщает о распространении в Европе „Истории России при Петре“ Вольтера без официального разрешения Петербурга

Частное собрание, Москва

ный успех; поэтому она еще не напечатана[36]. Я бываю на всех представлениях, что доставляет большое удовольствие г. Вольтеру. Он продолжает хорошо отзываться о нашей империи и лично о вас. Я просил его дать свой портрет. Он хотел дать самый лучший с тем, чтобы с него снять копию; но портрет не совсем похож, и я просил племянницу г. Вольтера убедить его в необходимости сделать с портрета гравюру; она мне это обещала, советуя подождать несколько дней.

Иногда я слушаю анекдоты г. Вольтера о французском дворе, но не смею передавать их вашему высокопревосходительству,—они более любопытны, чем значительны.

Еще он рассказал мне об одном случае—из самых странных в летописях мира, если только это правда. Это—подробная записка о супруге царевича Алексея, где утверждается, будто она жива и уже пять месяцев, как находится в Брюсселе, пользуясь поддержкой императрицы-коро-

левы[37]. Он хотел послать вам эту записку и написать г. Шуазёлю[38], чтобы узнать, правда ли, что в 1757 г. эта принцесса была в Париже, как говорится в записке, и что король об этом писал королеве Венгрии, которая ее приняла под условием соблюдения инкогнито.

Относительно всего этого буду ожидать распоряжений, а также дополнительных записок для «Истории России», о которых автор часто напоминает.

Имею честь вверить себя милостивейшему покровительству вашему, оставаясь с глубочайшим и наиусерднейшим почтением, милостивейший государь,

ваш покорнейший и преданнейший слуга

Борис Салтыков

№ XXXVI

сего 19/30 сентября 1760 г.,

в Женеве

III. ПИСЬМА И. И. ШУВАЛОВА К ВОЛЬТЕРУ

Переписка Вольтера с Шуваловым за годы, когда Вольтер писал «Историю Российской империи», была очень оживленной, особенно со стороны экспансивного и нетерпеливого биографа Петра I. Для установления хронологической канвы в истории работы Вольтера, письма его к Шувалову являются далеко не всегда бесспорным и достаточным источником. Известные нам только в печатной редакции, изданные, как и огромное большинство писем Вольтера, на основании неизвестных нам документов, часто по копиям, заведомо искаженным и ставшим жертвами самой бесцеремонной редакции, письма к Шувалову далеко не обеспечивают правильной и полной датировки событий и документов. К тому же, не все письма Вольтера к Шувалову сохранились. Некоторые из них затерялись в дороге и не дошли в свое время до адресата, многие из тех, которые дошли по назначению, оказались утраченными позже, и в настоящее время в руках исследователя имеется печатный текст всего 52 писем. Ответные письма Шувалова, могущие служить коррективом к печатному тексту писем Вольтера, до последнего времени не были известны вовсе. Лишь в первом томе настоящего издания мы опубликовали перевод первого из ставших нам известными писем Шувалова к Вольтеру[39], а сейчас мы имеем возможность опубликовать (в русском переводе) черновые тексты еще двух писем.

Можно думать, что письма эти относятся к 1761 г. и, таким образом, хронологически следуют за вышеприведенными письмами Б. М. Салтыкова. Основанием для такой датировки служат следующие данные.

Упоминание в последних строках первого из этих черновиков о «предисловии к берлинскому изданию» заставляет предположить, что это письмо не могло быть написано раньше 1761 г., когда вышел в свет немецкий перевод «Истории Российской империи» с предисловием А.-Ф. Бюшинга[40]. Это предисловие было замечено в Европе. А.-Ф. Бюшинг был критик, весьма осведомленный в вопросах, связанных с прошлым и настоящим России, а между тем, его предисловие не было лестным для Вольтера: он отказывался признать Вольтера историком и заявлял, что, располагая первоклассными документами по истории России, Вольтер воспользовался ими не так, как подобало бы серьезному ученому, и что

результатом этого были многие ошибки и неточности в тексте «Истории Российской империи». И обличая в этом самоуверенного автора «Истории», А.-Ф. Бюшинг внес в редактируемый им перевод этого труда исправления и добавления, подчеркивающие ошибки Вольтера.

Подобные замечания на сочинение, которое должно было служить панегириком Петру I, не могли нравиться при русском дворе: они давали оружие в руки тем самым врагам, против которых русской царице нужна была «защита» Вольтера. Об этой «защите» и говорится в последней неоконченной фразе публикуемого нами черновика.

Таким образом, вполне правдоподобно, что «предисловие к берлинскому изданию», о котором говорится в нашем документе, не что иное, как вышеупомянутое предисловие А.-Ф. Бюшинга. Правда, на немецком языке первый том «Истории Российской империи» в 1761 г. вышел не в Берлине, а во Франкфурте и в Лейпциге, но в черновом, неисправленном наброске письма, под пером секретаря И. И. Шувалова, эпитет «берлинский» мог быть равнозначащим эпитету «немецкий». Подтверждением того, что в публикуемом нами черновике речь идет о предисловии А.-Ф. Бюшинга, служит то обстоятельство, что среди документов того же небольшого собрания имеется также и французский перевод предисловия Бюшинга.

Датировку публикуемого письма можно несколько уточнить. Повидимому, оно написано до июня (н. ст.) 1761 г., т. е. до того момента, когда в руках Вольтера оказалась подробная записка русских ученых с поправками произношения и транскрипции русских имен собственных в первом томе «Истории Российской империи»[41]; на это указывает в публикуемом черновике намек И. И. Шувалова на «поправки некоторых имен собственных». Намек этот мог служить предвестником «замечаний на первый том» Г. Ф. Миллера, полученных Вольтером в начале июня 1761 г. и вызвавших с его стороны раздраженные контрзамечания, о чем идет речь в письме Вольтера к Шувалову от 11 июня 1761 г.

В изданной переписке Вольтера нет письма к И. И. Шувалову, которое с полной уверенностью можно было бы признать ответом на публикуемое нами письмо. Однако, одно из напечатанных писем Вольтера можно поставить в связь с нашим черновиком. 30 марта 1761 г. Вольтер извещает И. И. Шувалова о получении его письма от 26 января, письма для Б. М. Салтыкова и записки о Камчатке и благодарит своего русского корреспондента за заботы о доставлении ему «канвы для второго тома»[42]. Если допустить, что под этой «канвой» Вольтер разумел «историю походов» Петра I под Азов, с которых должен был начинаться второй том «Истории», и «некоторые другие записки», обещанные ему Шуваловым в том письме, черновик которого мы публикуем в русском переводе, то придется признать датой этого письма 26 января (н. ст.?) 1761 г. Предположение это вероятно, но не больше: эту дату считать доказанной нельзя.

Что касается черновика второго письма И. И. Шувалова к Вольтеру, то, поскольку можно основываться на печатной переписке Вольтера, датировка этого письма не представляет затруднений. 30 июня 1761 г. Вольтер извещал Шувалова о своей работе над комментарием для собрания сочинений Корнеля, издаваемого в пользу внучки последнего, и указывал, что имя русской императрицы во главе перечня подписчиков на это издание сильно содействовало бы его успеху, а 26 августа того же года Вольтер уже приносил благодарность за живой отклик на его просьбу

со стороны императрицы Елизаветы[43]. Ответное письмо И. И. Шувалова, извещавшего Вольтера о согласии русского двора подписаться на двести экземпляров сочинений Корнеля, могло быть написано приблизительно через месяц после письма Вольтера от 30 июня 1761 г. и за месяц до получения его Вольтером, т. е. приблизительно около 26 августа того же года. Таким образом, публикуемое письмо И. И. Шувалова можно датировать концом июля 1761 г.

(1)

[26 января (?) 1761 г.]

Я получил письмо от ...*, которым вы меня почтили. Оно доказывает, что ваша доброта и дружба все те же. И мое чувство благодарности не изменилось. Мне остается только пожелать, чтобы чувства и выражения моей признательности могли сравняться с вашей дружбой и сделать меня достойным ее.

То, что вы говорите мне лестного, государь мой, не настолько меня ослепляет, чтобы не признать, что вам одному публика обязана сочинением столь значительным. Я кое в чем похож на некоторых министров государя [Петра Великого], чью биографию вы пишете: он охотно давал своим министрам звания, а обязанности, с ними связанные, так достойно исполнял сам.

Краснея, сознаюсь, государь мой, что доставил вам очень мало материала, достойного высокой темы, над которой вы работаете, и столь прекрасного пера. Прислав вашу работу, вы меня изумили; она намного превосходит даже то, чего следовало ожидать от гения столь плодотворного и просвещенного. Вы возвели великолепное здание из простых кирпичей. Петр Великий создал грозную империю, руководимый лишь собственным гением. Вы...** историю этого государя, руководствуясь только... располагая лишь недостаточными материалами. [Только вам одному, государь мой, будут обязаны за этот труд. В этом отношении я похож на некоторых министров Петра Великого, у которых были одни звания, между тем как всю работу он исполнял сам]. Однако, правильность вашего... сумела возместить недостатки моего выбора, используя... самое лучшее и изображая его в истинном свете. Философские размышления, которыми вы украшаете истину, учат понимать факты и, вместе с тем, человеческие обязанности. Прекрасные деяния, вами рассказанные, побуждают людей с возвышенной душой подражать им; они будут примером и предметом восхищения для самого отдаленного потомства.

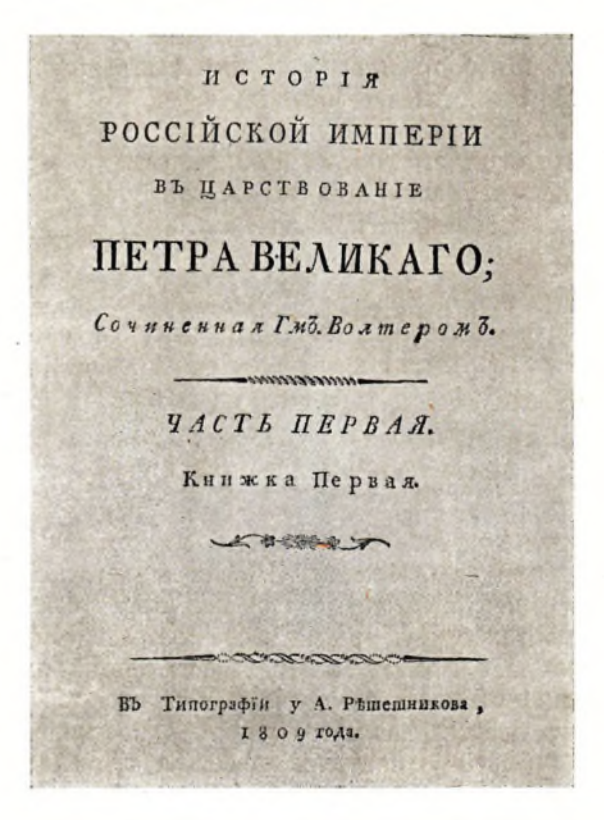
Я рассчитываю послать вам... историю походов ⟨героя⟩ и некоторые другие записки, которые я... с наивозможной тщательностью. Я не... приношу извинений за стиль документов, которые ⟨сообщаю⟩ посылаю; если бы он был лучше, это не облегчило бы вашего труда, и стиль документов, все равно, не оказал бы никакого влияния на ваш стиль.

Я бы только наскучил вам перечислением ⟨изменений⟩ поправок в некоторых именах собственных. Я считал бы их необходимыми ⟨в отношении других⟩ для понимания обстоятельств, имеющих к ним отношение. До сих пор я не хотел сообщать вам, государь мой, о маленьком замечании, которое здесь делают некоторые лица ⟨относительно⟩. В предисловии

* Пропуск в тексте подлинника.

** Как этот, так и все последующие пропуски вызваны тем, что угол документа оторван.

к «Истории Российской империи» вы говорите, что она является подтверждением и дополнением к «Истории Карла XII». Возражают, что содержание книги большей частью не имеет никакого отношения к ⟨Карлу XII⟩ шведскому королю. Некоторые лица решились высказать такое соображение; о правильности его предоставляю судить вам. Неизвестно, откуда идет гнусная клевета на наш народ, которая распространяется из-за репутации, созданной недавно предисловием к берлинскому изданию. Мы как нельзя более признательны вам и ценим ваш интерес к тому, что нас касается. Ваша защита, подобно...


ИСТОРІЯ

РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ

ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ

ПЕТРА ВЕЛИКАГО;

Сочиненная Гмъ. Волтеромъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Книжка Первая.

ВЪ Типографіи у А. Рѣшетникова, 1809 года.

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ „ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ЦАРСТВОВАНИЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО“ ВОЛЬТЕРА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 1809 г.

Титульный лист первой части

В переводе на русский язык текст второго черновика следующий:

(2)

Господину Вольтеру

[Конец июля 1761 г.]

Давая мне возможность оказать некоторую услугу семье великого Корнеля, вы даете мне высокое доказательство вашей дружбы и обязываете меня к величайшей признательности. Ваше намерение благородно и достойно вас: осуществляя его, вы сооружаете великолепный памятник отцу французского театра. Эта награда после смерти—урок для живых; способствуя бессмертию высоких гениев, вы увековечиваете примеры,

достойные подражания. Прошу вас, государь мой, подписаться на двести экземпляров для русского двора. Одновременно посылаю вексель на 800 дукатов, что составляет их стоимость.

Чувствую себя весьма обязанным за то, что вы сообщили мне свои соображения о новом издании «Петра Великого»; в настоящее время я подбираю сюжеты для эстампов, которые намечаются для книги[44]. Не премину предварительно послать их вам и постараюсь заслужить ваше одобрение раньше, чем отдам их гравировать.

Ваше намерение, государь мой, мне тем более приятно, что в новое издание вы не откажете внести исправления, согласно замечаниям, мною вам посланным—тем, которые вы сочтете самыми необходимыми. Я ожидаю этого от вашей доброты, прошу во имя вашей дружбы. Вы знаете по опыту, что зависть преследует великих людей. Могу вас уверить, она нападает и на тех, кого ласкает судьба. Некоторые мелочи, отмеченные этими людьми ограниченного ума, которых занимают только подробности, могут быть поставлены в вину тому, кто всегда будет считать славой для себя оставаться с совершенной приязнью и...

Сверху документа помета на полях:

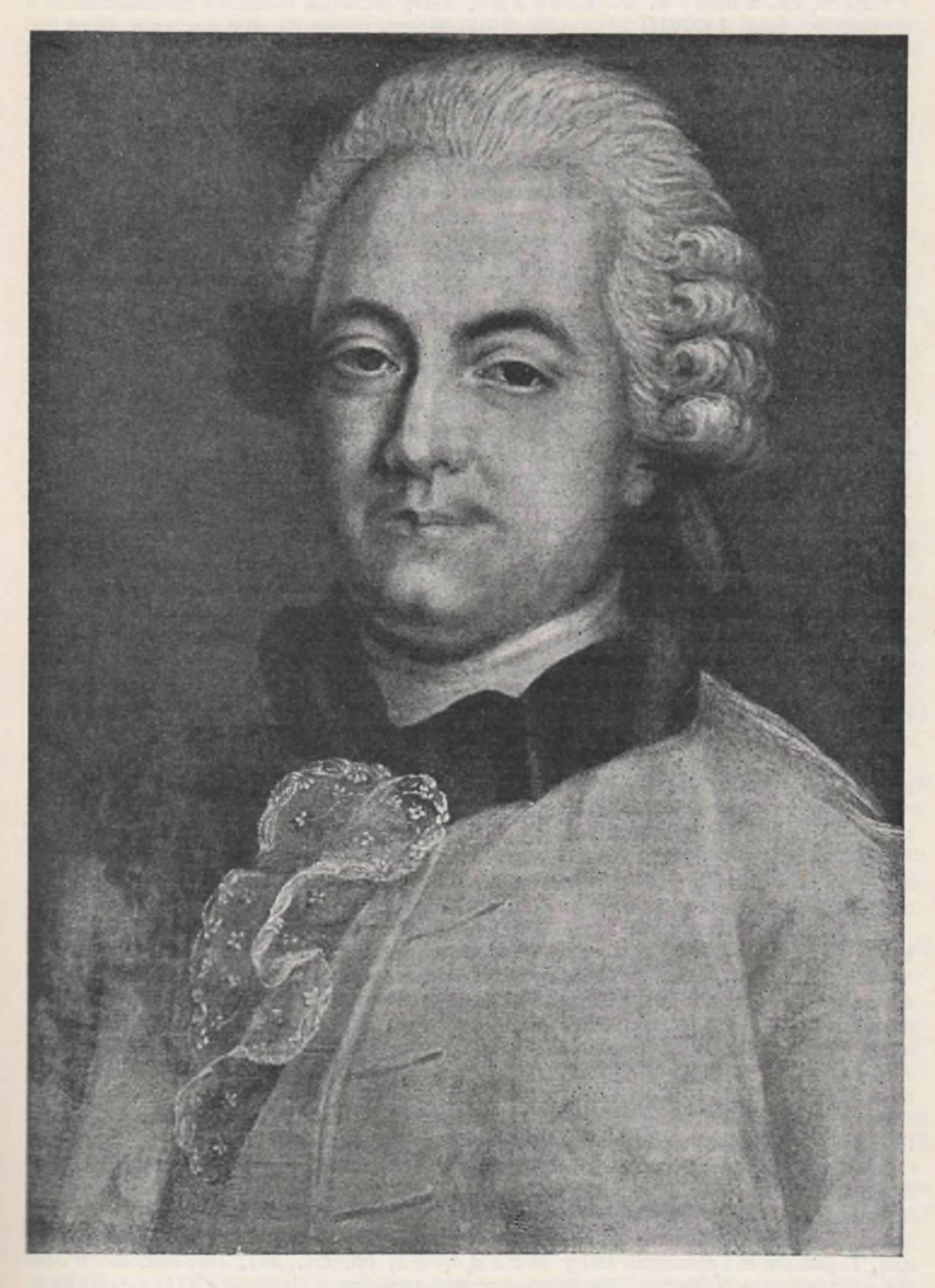
NB. Думаю, что нет надобности извещать Вольтера о получении его письма. Содержание настоящего письма достаточно говорит о том, что письмо г. Вольтера получено.

Внизу приписка секретаря:

Я не переписал письма начисто, не будучи уверенным, что ваше высокопревосходительство в нем чего-либо не измените.

Таковы документы, вносящие некоторые новые штрихи в историю того, как работал Вольтер над «Историей России в царствование Петра I». Из частного собрания, где они до сих пор хранятся, документы эти совсем недавно попали в круг зрения исследователей, и факт их случайного обнаружения дает надежду на вероятность новых находок подобных же материалов, которые дадут возможность пополнить пробелы в истории того, как Вольтер работал над своей книгой о России.

Великому французскому писателю, чье имя гремело тогда на весь мир, была привлекательна задача изобразить в своем новом труде картину культурного роста великой северной страны, еще так недавно почти совсем неведомой в Европе. Вольтер не мог не чувствовать и не видеть, что в жизни далекой Московии совершился крупный переворот: обширная страна, до сих пор отделенная от остальной Европы не столько «морями», «пустынями» и «горами», сколько образом жизни, культурой и мировоззрением, вышла на мировую сцену и зажила общею жизнью с европейскими народами, причем вышла настолько сильною материально, что к ее голосу надо было прислушиваться, и прислушиваться с осторожностью, со вниманием: Вольтеру казалось, что, знакомя с этой новой Россией западных современников, он становится причастным делу ее реорганизатора Петра I: как тот ввел Россию в круг европейских держав и заставил Запад считаться с ней, так и Вольтер мечтал ввести ее в круг зрения и внимания культурной Европы и пробудить там к ней интерес. Знаменитейшему из европейских писателей того времени эта задача казалась и приятной и лестной, и мимо этого факта современный нам советский исследователь не пройдет без внимания.



БЮФФОН

Копия с портрета маслом Друэ, 1761 г., по преданию, подаренная Бюффоном И. И. Шувалову

Музей Московской области, Истра

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Перечень и краткую характеристику сочинений о Петре I, изданных в XVIII в. в Европе, см. в книге Е. Ф. Шмурло, Петр Великий в оценке современников и потомства. Вып. I (XVIII век), СПб. 1912, 51; см. также Р. Минцлов, Петр Великий в иностранной литературе, СПб. 1872.—Впечатления Вольтера о современной ему литературе о Петре I см. в его письме к И. И. Шувалову от 11 августа 1757 г.— Œuvres complètes de Voltaire, éd. Moland, 3393. Это издание в дальнейшем цитируется: Moland, с последующим номером, под которым в этом издании напечатано цитируемое письмо.

[2] Письмо Фридриха II к Вольтеру от 31 октября 1760 г.—Moland, 4317.

[3] Письмо Вольтера к И. И. Шувалову от 8 июня 1761 г.—Moland, 4564.

[4] Письмо Вольтера к И. И. Шувалову от 20 апреля 1758 г.—Moland, 3597.

[5] Е. Ф. Шмурло, op. cit., 49—60; примечания, 69—83.

[6] По другому оригиналу эта записка опубликована в книге: E. Šmurlo, Voltaire et son œuvre «Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand», Prague, 1929, 213—226.

[7] Moland, 3988.

[8] См. «Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand».—Moland, XVI, 519—520, 522, 525—526, 537—540.

[9] Дипломатические документы времени Петра I печатались с 1733 г. известным историографом академиком Г. Ф. Миллером (1705—1783) в издании С.-Петербургской академии наук—«Sammlung Russischer Geschichte».

[10] Точных данных о получении Вольтером записок, перечисленных в ответе на его 2-й вопрос, в печати не имеется; только в письме к И. И. Шувалову от 25 октября 1760 г. Вольтер упоминает, что им получена в Ферне «Записка о торговле» вместе с письмом И. И. Шувалова от 11 сентября (н. ст.) того же года.—Moland, 4307.

[11] «Духовный регламент», составленный, по поручению Петра I, архиепископом Новгородским Феофаном Прокоповичем (1681—1736), заключал в себе положение о реформе церковного управления, преобразованного по образцу гражданских коллегий. Утвержденный Сенатом 23 февраля 1720 г., он был напечатан в России в 1721 и 1722 гг.; в Данциге вышел в двух изданиях—1724 и 1725 гг.; на французском языке издан во второй части книги «Anecdotes du règne de Pierre Premier, dit le Grand, Czar de Moscovie, contenant l'histoire d'Eudochia Federowna et la disgrâce du prince de Mencikow... 1745». Ср. Минцлов, op. cit., 381 и 544.

[12] О получении двух записок «о монахах и монахинях» Вольтер извещал И. И. Шувалова в письме от 14 мая 1760 г.—Moland, 4122.

[13] На получение Вольтером писем Петра I имеются указания в его письме к И. И. Шувалову от 8 июня 1761 г.—Moland, 4564.

[14] Об этом «Кратком перечне...» см. А. Ф. Бычков, Письма Петра Великого, хранящиеся в Имп. публичной библиотеке, СПб. 1872, 124. Очевидно, Вольтеру была послана копия этой рукописи.

[15] Точное заглавие книги: Lamberti, Mémoires pour servir à l'histoire du XVIII siècle, La Haye, 1724—1740, 14 vols. in 4°. В рукописях Вольтера, хранящихся в Публичной библиотеке, имеется записка, озаглавленная: «Remarques sur quelques endroits du chapître contenant la condamnation du Tsarewitch avec les réponses aux questions mises en marge». См. Е. Ф. Шмурло, op. cit., примечания, 77. «Записка о царевиче» («Le Mémoire sur le Czarewitz») была получена Вольтером из России 29 октября 1761 г., см. Минцлов, op. cit., 100, а также письмо Вольтера к И. И. Шувалову от 1 ноября 1761 г.—Moland, 4731.

[16] Гёрц Георг-Генрих (1668—1719)—голштинский министр, немец по рождению. Перейдя в 1714 г. на шведскую службу, вел интригу в пользу сепаратного мира Швеции с Россией и против «северного союза» России с Пруссией и Данией. Интрига эта, грозившая осложнением отношений России с Англией, отражена в дипломатической переписке, частично опубликованной за границей еще при жизни Петра I. Сведения об издании записок Ф. П. Веселовского и М. П. Бестужева в Англии, Франции, Германии и Голландии см. у Минцлова, op. cit., 347, 348, 352, 353 и 354. Веселовский Федор Павлович—русский резидент в Лондоне с 1717 г.; Бестужев-Рюмин Михаил Петрович (1688—1760)—русский резидент в Лондоне с 1720 г.

[17] Царевич Сибирский Василий Алексеевич считался замешанным в деле царевича Алексея. После его ссылки сыновьям его велено было «писаться» князьями Сибирскими.

[18] Ромодановский Федор Юрьевич, князь (ум. 1717 г.). После стрелецкого восстания 1687 г. ему был поручен надзор за царевной Софьей. Отправляясь в первое

заграничное путешествие (1697), Петр I дал ему титул «князя-кесаря и величества». Он же подавил стрелецкое восстание 1698 г. и вел «розыск» по этому делу. После смерти Ф. Ю. Ромодановского его титулы и места получил его сын Иван (ум. 1730 г.).

[19] Записки Вебера Христиана-Фридриха, прожившего в России 6 лет (1714—1719), по частям и под разными заглавиями неоднократно издавались: в Амстердаме (1725), Париже (1725), Гааге (1729 и 1737). См. Минцлов, op. cit., 138 и 139.

[20] Двухтомная книга Нордберга, биографа Карла XII, вышла в Стокгольме на шведском языке в 1740 г.; во французском переводе издана в Гааге в 1742 г.

[21] «Журнал или Поденная Записка... государя императора Петра Великого с 1698 г. даже до заключения Нейштадтского мира или История Свейской войны»—коллективное сочинение, над которым трудился сам Петр I вместе с вице-канцлером Шафировым, Феофаном Прокоповичем и др. Сочинение это было издано лишь в царствование Екатерины II—СПб. 1770—1772.

[22] Mottley Джон (1692—1750)—автор книги «The history of the life of Peter the First, Emperor of Russia», изд. в Лондоне (1739 и 1740) и Дублине (1739 и 1740).

[23] Эти приказы были основаны указом Петра I от 24 января 1701 г. «Архиепископ Рязанский»—известный духовный писатель и проповедник Стефан Яворский (1658—1722).

[24] Письмо Вольтера к И. И. Шувалову от 29 мая 1759 г.—Moland, 3858.

[25] С. Шевырев, История Московского университета, изданная к столетнему его юбилею. 1755—1855, М., 1855, 22, 28, 74, 85 и 97.

[26] См. письма Вольтера к И. И. Шувалову за годы 1759—1762.—Moland, 3971, 3983, 4082, 4122, 4144, 4264, 4307, 4379, 4554, 4564, 4690.

[27] П. А. Вяземский, Фон-Визин, СПб. 1848, стр. III—IV, 13—14, 303—305. Подлинники опубликованных П. А. Вяземским писем Б. М. Салтыкова к И. И. Шувалову хранятся ныне в ГАФКЭ (фонд 195). Изданы они были в соответствии с оригиналами, за следующими исключениями:

1. Заключительные строки, совершенно тождественные во всех 4-х письмах, воспроизведены полностью только в первом письме. 2. Во втором письме имеется пропуск следующих слов: ...un si grand homme. Monsieur de Voltaire lui dit d'abord: Monsieur, vous êtes de l'ordre qui ne croit pas à l'immaculation de la sainte vierge, qui prête serment de croire le contraire et qui en est dispensé après par une bulle du pape. Le chanoine l'avoua... (...столь великий человек. Г-н Вольтер сначала ему сказал: Государь мой, вы принадлежите к ордену, не верящему в непорочность святой девы, дающему обет верить в обратное и получающему затем разрешение от этого греха папской буллой. Каноник признал это...). 3. Опущены надписи:

—на обороте второго письма: de Mr Soltikoff, du 16 May;

—на 1-й странице третьего письма: de Mr Soltikoff. 4. Опущена дата в третьем письме: le 4-e Juin n. st. 1760 à Génève. 5. В подлиннике первое письмо пронумеровано: XVII (а не XVI, как в книге П. А. Вяземского).

Согласно справке ГАФКЭ, кроме 4-х писем, воспроизведенных П. А. Вяземским в его книге «Фон-Визин», в архиве никаких иных писем Б. М. Салтыкова к И. И. Шувалову не имеется.

[28] См. предыдущее примечание.

[29] Письма Вольтера к И. И. Шувалову от 6 октября, 22 ноября 1759 г.—Moland, 3940 и 3983; от 1 апреля 1760 г.—4082; от 2 августа 1760 г.—4210; от 14 мая 1760 г.—4122 и к де Меран от 9 августа 1760 г.—4219.

[30] Письма Вольтера к гр. де Трессану от 23 сентября 1760 г., к герцогине Саксен-Готской от 27 сентября, к г-же де Фонтэн от 29 сентября, к маркизу де Шовелену от 3 октября, к Тьерио и к Дамилавилю от 8 октября 1760 г.—Moland, 4268, 4278, 4284, 4290, 4291 и примечание к последнему.

[31] См. «Histoire de l'Empire de Russie...».—Moland, XVI, 479: «Среди них [пленных при взятии русскими войсками Мариенбурга в 1702 г.] была молодая литовка... это та самая, которая впоследствии стала государыней тех, кто взял ее в плен».

[32] См. ibid., 379: «Граф [sic!] Шувалов, камергер императрицы Елизаветы, быть может, самый образованный человек империи, согласился в 1759 г. сообщить историку Петра подлинные документы; «История» написана только на основании их».

[33] Повидимому, здесь имеется в виду брошюра «Dialogues chrétiens», par M. V..., imprimés à Génève. См. письма Вольтера к г. Борду от 5 сентября и к доктору Троншену от 7 сентября 1760 г.—Moland, 4245 и 4248.

[34] «Завтра у меня будет Милан». Непереводимая игра слов: mille ans (тысяча лет) и Milan.—Маршал de Villars Гектор (1653—1734) взял Милан в 1733 г.

[35] Первый том «Истории Российской империи» вышел в 1760 г. уже частично исправленным по указаниям из Петербурга. См. Е. Ф. Шмурло, op. cit., 58. Современные нам издания сохраняют прежнюю редакцию этой фразы. См. Moland, XVI, 380.

[36] Трагедия «Танкред», написанная весною 1759 г., впервые была поставлена во «Французской комедии» 3 сентября 1760 г.; напечатана в 1761 г.; Альменаида—героиня этой трагедии.

[37] «Императрица-королева» — Мария-Терезия (1717 —1780), королева Венгрии и Чехии и римско-германская императрица. Об этой легенде и интересе к ней Вольтера см. в I томе настоящего издания, 161—165.

[38] Choiseul Этьен-Франсуа (1719—1785)—французский министр иностранных дел с 1758 по 1761 гг.

[39] См. в I томе, 159—161.

[40] «Franz Maria Arouet de Voltaire. Geschichte des Russischen Reichs unter Peter dem Grossen. Aus dem Französischen übersetzt von Johann Michael Hube und mit Zusätzen und Verbesserungen, herausgegeben von D. Anton Friedrich Büsching», Frankfurt, 1761, 1—12.

Кроме этого издания, существовало другое, вышедшее в Лейпциге в том же 1761 г., но без предисловия А.-Ф. Бюшинга.—Büsching Антон-Фридрих (1742—1793)—географ и собиратель материалов по истории России; с 1760 по 1765 гг. жил в Петербурге.

[41] Письмо Вольтера к И. И. Шувалову от 11 июня 1761 г.—Moland, 4568.

[42] Moland, 4505.

[43] Moland, 4595 и 4654.

[44] Речь идет о втором издании первого тома «Истории Российской империи при Петре Великом», которое начали подготовлять сразу же после выхода первого; для него предназначались все поправки, о которых шла речь в переписке Вольтера с И. И. Шуваловым за 1761 г.

РОССИЯ И ФРАНЦИЯ В 1789—1792 гг.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЛЮСТРАЦИИ ДОНЕСЕНИЙ ФРАНЦУЗСКОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ В РОССИИ ЭДМОНА ЖЕНЕ

Статья С. Богоявленского

Наши архивы обладают очень ценным историческим источником, до настоящего времени в науке совершенно не использованным: это перлюстрации, т. е. копии перехваченных писем. В архивах западных государств найдется мало перлюстраций, так как они, во избежание недоразумений и законных протестов корреспондентов, в большинстве случаев уничтожались скоро после использования. Царское правительство действовало иначе—оно сохраняло с половины XVIII века перлюстрации в особых картонах или переплетах, и в них исследователь найдет дубликаты материалов погибших или малодоступных. Иногда самый факт перлюстрирования, когда в руки того или другого государственного деятеля попадает секретный материал, может дать объяснение непонятного на первый взгляд поступка. Поясню это примером: в 1791 г. в политическом мире царило чрезвычайное напряжение, так как ждали неминуемого столкновения между Россией, с одной стороны, и Англией и Пруссией—с другой. Прусские войска и английский флот готовы были к выступлению, а, между тем, Екатерина II, связанная по рукам и ногам войной на два фронта, с Турцией и Швецией, не шла ни на какие уступки. Разгадка ее удивившей всех непреклонной решимости рисковать самыми насущными интересами государства из-за небольшой, малонаселенной территории на левом берегу Днестра, о которой шел спор, кроется в том факте, что Екатерина имела возможность перлюстрировать всю переписку прусского посла гр. Гольца с прусским королем и его министрами и могла убедиться, что Англия только для вида бряцает оружием, так как сильная оппозиция не сочувствует планам Питта, и что в самой Пруссии было сильно движение против недостаточно мотивированной войны; во главе этого движения стоял министр иностранных дел Герцберг, старавшийся умерить воинственный задор своего повелителя и встречавший сильную поддержку со стороны самых видных генералов.

Французская революция конца XVIII века, нашедшая отклик во всех странах, вызвала со стороны перлюстраторов прилив особого усердия. Правительство Екатерины II изыскивало все способы проникнуть в переписку «подозрительных» лиц, а особенно французов, взятых под особое наблюдение, как возможных распространителей революционных идей. Сугубое внимание привлекла переписка официального представителя революционной Франции, Жене, но не оставлены были без внимания и приютившиеся в России французы-эмигранты, письма которых систематически вскрывались на почте. В настоящей статье мы предполагаем дать

краткий обзор перлюстрированной переписки Жене и извлечь из нее то, что касается влияния революции на политику Екатерины, проявления революционных настроений в русском обществе, положения Жене в петербургском обществе, его связей с придворными кругами и с офицерской молодежью, а также тех сторон русской действительности, которые могли способствовать успеху революционных идей[1]. При этом надо иметь в виду, что переписка Жене являлась одним из источников, по которым Екатерина составляла свое представление о Французской революции, что воздействие Жене на настроение верхов русского общества, в котором он вращался, отражало его личные настроения и его осведомленность, а потому необходимо дать характеристику личности самого Жене и проследить, как старые, традиционные взгляды уступают место новым революционным идеям.

Жене вел обширную официальную и частную переписку. Он писал много и часто, писал неосторожно и с большой резкостью, и вся его переписка перехватывалась, расшифровывалась и попадала в кабинет Екатерины. Императрица сама читала перлюстрации, и в дневниках ее секретаря Храповицкого постоянно встречаем заметки, что читаны были перлюстрации переписки послов и поверенных в делах то Франции, то Англии, то Австрии, то Баварии. Она не стеснялась признавать, что на почте вскрывают письма. Жена гр. Сегюра, чтобы иметь уверенность, что письмо ее дойдет до назначения, прямо адресовала его на имя императрицы с просьбой о передаче гр. Сегюру. Последний был очень смущен такой дерзостью, но Екатерина его успокоила и сказала: «Напишите от меня вашей супруге, что она может вперед посылать вам через мои руки все, что хочет; по крайней мере, вы тогда можете быть уверены, что ваших писем не станут распечатывать». «Императрица говорила правду,—прибавляет к этому Сегюр,—в ее империи, как и везде, чиновники раскрывали всякие письма и депеши. Это—обыкновение не только безнравственное, но и опасное по злоупотреблениям, к которым оно может подать повод. С другой стороны, оно довольно бесполезно, все это знают, и, следовательно, пишут осторожно, а иные пользуются этим, чтобы понравиться разными обманчивыми похвалами»[2]. Но Екатерина не стеснялась сама прочитывать письма графини Сегюр к мужу, о чем говорит Храповицкий: «Нашли в письме жены гр. Сегюра, что де Калония сменен» (26 апреля 1787 г.)[3]. Сам же Сегюр, находивший перлюстрирование безнравственным, подкупал русских чиновников и таким путем извлекал нужные для него секретные сведения.

Сегюр правильно указал, что иногда письма посылались именно с расчетом, что они будут перлюстрированы. Этим способом воздействия пользовалась сама Екатерина. Тот же Храповицкий сообщает: «Читали мне готовое письмо к князю де Линь... Тут довольно круто писано о худых успехах прусской и австрийской армий и сколько сострадают несчастию французских принцев. Хотят, чтоб сие письмо видел император. Послали к Зубову на низ, там присоветовали, чтоб пустить и через Берлин. Похвалили такую мысль и велели так письмо отправить, дабы и в Берлине могли перлюстровать» (1 ноября 1792 г.)[4].

Пользовался таким способом и Жене. В шифрованной депеше к французскому министру иностранных дел Жене пишет: «Одно лицо, находящееся в большой милости и очень расположенное ко мне, сообщило мне секретно, что депеша № 104, которую я написал без шифра, была пред-

ставлена императрице и произвела на нее большое впечатление. Поэтому я написал еще письмо, в котором наметил способ, как русские министры могут ликвидировать неловкое положение, создавшееся по отношению ко мне» (16 декабря 1791 г.).

В переписке французского министерства иностранных дел с Жене применялся сложный шифр, но и шифрованная переписка могла быть перлюстрирована. Для этого надо было проникнуть в тайну шифра. В сохранившихся от екатерининского времени перлюстрациях можно найти следы, как один из чиновников коллегии иностранных дел, судя по заметкам на полях—немец, пытался разгадать незнакомый ему шифр, пробуя переводить цифровые обозначения на те или другие буквы. Но по мере того, как развивалось искусство расшифрователей, совершенствовался и усложнялся способ составления шифров, в частности, одна и та же буква могла обозначаться не одной определенной цифрой, а иметь 4—5 цифровых обозначений, употребляемых произвольно; вставлялись цифры, ничего не обозначавшие, многие цифровые обозначения соответствовали не отдельным буквам, а сочетаниям букв и т. д. Иногда удавалось разгадывать и очень сложные шифры, но такая работа требовала большой затраты времени, и успех ее не был гарантирован. Вернее было обратиться к другому способу—к покупке шифра. Хотя надзор за сотрудниками дипломатического корпуса всегда был очень строг, однако, соблазн продать секрет шифра за большие деньги не всегда уступал голосу долга и патриотизма. Шифр чрезвычайно сложный, которым пользовался Жене в переписке с Монмореном[5], был куплен в Париже русским послом Симолиным у одного из сотрудников Монморена (см. об этом в предыдущей публикации настоящего издания, донесение Симолина от 24 мая/4 июня 1790 г.).

Учитывая возможности, что тайна шифра тем или другим путем будет известна именно тем, от кого тщательно скрывалось содержание дипломатической переписки, министры старались чаще менять шифры. 19 декабря 1790 г. Монморен писал Жене: «Так как шифр общей корреспонденции уже давно в употреблении, то я прошу вас употреблять его как можно реже и ни в каком случае не употреблять его в секретной переписке. Я распоряжусь приготовить для вас новый шифр для переписки между Петербургом и Константинополем и прислать его при первом удобном случае». Однако, несмотря на перемену шифров, вся переписка Жене, за очень немногими исключениями, подвергалась расшифрованию и перлюстрации. Даже такие депеши, которые были получены Жене или были посланы от Жене через посредство французских путешественников, негоциантов и офицеров, попадали в канцелярию коллегии иностранных дел. Например, было перлюстрировано письмо Монморена от 1 апреля 1790 г., пересланное Жене через посредство лейтенанта Морара. Очевидно, что среди сотрудников Жене был подкупленный человек. В одном из донесений Жене читаем сообщение, что жившие в Петербурге французские эмигранты пытались подкупить его секретаря и получить от него шифры, но секретарь оказался неподкупным (1 мая 1792 г.). Возможно, что то, что не удалось эмигрантам с их очень ограниченными средствами, удалось правительству Екатерины II. Храповицкий свидетельствует 16 августа 1791 г.: «Взято секретно на 500 тысяч векселей на предъявителя для употребления по делам французским»[6].

Но если царское правительство не без успеха старалось проникнуть в тайны французских дипломатов, то и последние отвечали тем же, получая

интересные для них сведения от своих платных и бесплатных агентов. Сегюр и Жене, слишком доверяясь тайне шифра, невольно выдавали своих осведомителей. Сообщая шифрованной, но все-таки перлюстрированной депешей своему министру иностранных дел о том, что в Петербурге идет кампания против французского правительства, к которому стараются возбудить недоверие у Екатерины, и что Екатерина сказала близкому лицу несколько слов о беспомощности Франции и ее печальном положении, Сегюр настоятельно просил министра не показывать вида даже каким-либо намеком в разговоре с русским послом, что получены подобные сведения, потому что в Петербурге легко отгадают, кто осведомляет французского посла, и закроется надежный источник информации (2 октября 1789 г.).Через некоторое время в Петербурге, вероятно, с улыбкой читали перлюстрированное наставление Монморена заместителю Сегюра Жене, чтобы он не проболтался о содержании депеши Сегюра за таким-то номером. Получив копию перлюстрированной шифрованной депеши Жене, в которой сообщалось, что отношение императрицы к французам улучшилось и что на предложение изгнать из России всех французов Екатерина ответила резким отказом, она не удержалась, чтобы не сделать на полях пометку такого содержания: «Наверное, Жене имеет какого-то осведомителя в моей комнате, мне кажется, я догадываюсь, кто это». Двух своих платных агентов Жене выдал с головой, назвав в своей депеше их имена. В июне 1792 г. ходили упорные слухи, которые подтвердило Жене «одно хорошо осведомленное лицо», что противники Французской революции решили приступить к энергическим военным действиям, собираются отправить флот, который должен был высадить десант в Нормандии. Жене поспешил послать шифрованную депешу, что им приняты меры, чтобы на каждом русском корабле был его агент-осведомитель, а во главе их будут два видных офицера. «Это два молодых морских офицера, один голландец, другой француз по происхождению, рожденный в Англии по безрассудству Людовика XIV[7], но опять сделавшийся французом, благодаря мудрости наших новых законов и отеческой доброте Людовика XVI. Имя первого Луск, а второго Шатонёф. Не из выгоды они будут нам служить, а из ненависти к деспотизму, любви к свободе и в надежде попасть в наш флот. Оба с отличием служили России, имеют почетные дипломы, уважаемы товарищами и начальниками. Они сумели завербовать осведомителей на каждом корабле и даже в адмиральском совете. Но не только этим ограничивается их усердие: Шатонёф, который был адъютантом и секретарем морского министра, предполагает оказать нам особенно ценные услуги. Получив отпуск по болезни и добившись от своих друзей и покровителей писем ко всем русским министрам в северных странах, в Нидерландах, Англии, Италии, он отправится отсюда в Копенгаген со своим товарищем Луском, представит его русскому посланнику и оставит его в этом порте, чтобы сблизиться с офицерами, которых можно привлечь на свою сторону, и о своих действиях давать отчеты французскому посланнику... Шатонёф будет наблюдать, как русский офицер, в Гамбурге и Брюсселе... проникнет на Рейн, чтобы разузнать о планах эмигрантов... Ему я выдал 600 рублей на издержки по путешествию и снабдил его паспортом» (12 июня 1792 г.). В «Общем морском списке» оба эти офицеры упомянуты, дан краткий их послужной список, но о конце их службы сказано неопределенно: Луск в 1790 г. уволен от службы, а Шатонёф «выбыл до 1792 года»[8].

Морское ведомство стало предметом особого внимания Жене. Вот что могла узнать Екатерина из его перлюстрированных депеш: «Я читал все приказы, данные принцем Нассау[9], и об укреплении берегов Финляндии, видел планы всех работ, ему порученных» (20 сентября 1791 г.).«Я имею много агентов во флоте и в различных отделениях морского ведомства, которые сообщают мне о всех полученных приказаниях. Это стоит больших денег, но эти расходы неизбежны, особенно в моем положении» (13 января 1792 г.). «Я послал в Кронштадт верного человека, чтобы разузнать о ходе вооружения кораблей». «Вчера я послал эмиссаров в Кронштадт и в Ревель» (25 мая 1792 г.).

В дневнике Храповицкого есть указания на подкуп французскими деньгами чиновника иностранной коллегии. Под 28 июля 1791 г. записано: «дан секретный указ Шешковскому[10] и мне, чтоб, взяв коллегии иностранных дел секретаря надв. сов. Вальца, допросить в сношениях его с иностранными министрами и не знает ли он того же за другими? Ибо от Симолина получена из Парижа выписка о расходах по иностранному департаменту, в коей показано на него в 1787 г. 60 т. ливров, да в трех последующих годах по 6 т. в каждый»[11]. Вальц обслуживал французского посла гр. Сегюра. Из перлюстрированной депеши прусского посла Гольца к королю можно было узнать, что Вальц доставлял разные сведения и в прусское посольство при предшественниках Гольца.

Особенно бдительно Жене следит за представителями эмигрантов. Его тайные агенты подслушивают разговоры между секретарями принца Нассау, а некоторые из этих агентов даже прикинулись сторонниками эмигрантов, чтобы проникнуть в их намерения (15 июня 1792 г.). «Мои друзья того и другого пола аккуратно сообщают мне все секреты, какими безрассудно делится с ними Эстергази[12], как новичок в дипломатии» (2 декабря 1791 г.). «Бомбель[13] выработал план восстановления Франции. Он прочитал его одному из моих друзей, который для моих целей прикинулся сторонником аристократов»,—вот какие признания Жене неосторожно доверяет шифру. «Я проследил на почте корреспонденцию Бомбеля. Он регулярно пишет Сен-Присту[14] и Бретёйлю[15] длинные письма. Письма к Бретёйлю шифрованные» (2 марта 1792 г.). На основании этих строк можно заключить, что Жене удалось каким-то путем завербовать агентов и в почтовом ведомстве.

Кроме того, в донесениях Жене находим постоянные ссылки на разного рода источники: «надежные, но совершенно секретные», «очень верные» и т. д. В них он почерпает сведения, в каком настроении императрица, что она сказала, что намеревается предпринять, какие вести привез курьер от Потемкина, какого содержания написанный, но еще не посланный ответ императору и т. д. Выставляя на вид свои связи в высшем обществе Петербурга, Жене старался уверить своего министра, что «тайные планы императрицы мне вполне известны» (4 ноября 1791 г.). Это было, конечно, преувеличением, но осведомленность Жене все же надо признать очень значительной: ему стали известны, например, планы военных действий на юге тотчас же, как Потемкин написал о них Екатерине (16 октября 1789 г.), содержание присланных Симолиным из Парижа донесений (29 июня 1792 г.) и т. д.

Жене (Edmond Genet, род. 1765) случайно в молодых годах,—ему было только 24 года,—занял высокий пост французского поверенного в делах при русском дворе в самое трудное время, когда и многоопытный

дипломат, пользующийся большим личным авторитетом, мог бы только при большой ловкости и изворотливости сохранить достоинство своего высокого положения. В 1789 г. покинул свой пост французского посла в России граф Сегюр, ловкий дипломат, умевший приобрести расположение Екатерины и уважение князя Потемкина. Уезжая, Сегюр на время, до приезда нового посла, оставил в качестве поверенного в делах своего секретаря Жене. Но новый посол так и не явился в Россию до разрыва дипломатических сношений в 1792 г., и Жене целых три года оставался официальным представителем Франции при русском дворе. В своих записках гр. Сегюр пишет о нем: «По желанию королевы, мне дали молодого человека, пользовавшегося ее покровительством, г-на Жене, брата г-жи Кампан[16]. Он был умен, образован, знал несколько языков и был талантлив, но очень пылок. Впоследствии он был увлечен революцией и назначен партией жирондистов посланником в Американские штаты. Там его кипучая деятельность оборвалась в попытке пошатнуть авторитет Вашингтона и дать американскому правительству более демократический характер»[17].

Есть основание думать, что в некоторых случаях Жене был жертвой своей наивности. В одном из писем он сообщает, со слов одного из приближенных к Екатерине лиц, что его письмо, написанное без шифра, произвело на императрицу сильное впечатление. Но это лицо не сообщило, что читаются и шифрованные письма. В то время как, по словам Жене, он был со всех сторон окружен шпионами и мог посещать только иностранцев, жена одного сановника, пользовавшегося большим влиянием, пригласила столь опасного демократа к себе и сообщила ему много интересного о планах императрицы (11 ноября 1791 г.), а последняя об этом визите, вероятно не без улыбки, прочитала в перлюстрированном донесении Жене.

Отметим еще следующее. Екатерина смотрела на слабовольного короля Людовика XVI с большим презрением; нелестные отзывы о нем рассыпаны в дневниках Храповицкого, между тем, политические соображения заставляли Екатерину высказывать самые горячие знаки сочувствия королю и его семейству, и до Жене доходили только сочувственные отзывы, а о презрительных он никогда ни от кого не слыхал. Когда Екатерина получила известия о том, что положение королевской семьи становится все более тяжелым, то о необыкновенном будто бы сочувствии императрицы к королевской семье немедленно сообщило Жене лицо, присутствовавшее при чтении этого письма Екатериной, следовательно, очень близкое к императрице (3 ноября 1789 г.).

В конце своего пребывания в России Жене стал подозревать, что с его секретной перепиской дело обстоит неблагополучно. «Я имею основания подозревать, что мои письма задерживаются или перехватываются»—писал он 27 декабря 1791 г.

Жене был представителем революционной Франции, но увлечение революционными идеями овладело им не сразу. В письме от 3 ноября 1789 г. он представляется даже противником революции, так как одобряет меры, принятые Екатериной, чтобы не допустить проникновения в Россию революционных идей. Сообщая Монморену о том, что парижские события производят при русском дворе потрясающее впечатление, Жене прибавляет: «Принимаются очень разумные меры, чтобы не проникали в страну сведения о волнениях, которые так удручают Францию и вызывают у нее

КОПИЯ ПРИСЯГИ ЭД. ЖЕНЕ КОНСТИТУЦИОННОМУ СТРОЮ

Из перлюстрированного письма Жене к Монморену от 21 января 1791 г.

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

Копія съ письма Г. Женета, къ Графу Монморину въ Парижъ от 10/21. Генваря 1791 года.

Monsieur,

Pour me conformer aux ordres que vous m'avez transmis de la part du Roi, je m'empresse de vous adresser le serment qui m'est prescrit par le décret de l'assemblée nationale du 25 9bre 1790. auquel Sa Majesté a daigné donner sa sanction.

Je suis, &

Genet.

Je jure d'être fidèle à la Nation, à la Loi, et au Roi, de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par l'assemblée Nationale, et acceptée par le Roi, et de défendre

болезненные конвульсии... Строго следят, чтобы не нарушалось запрещение говорить в общественных местах о политике; недавно подвергся взысканию один французский адвокат, который слишком увлекся декламацией; усиленно следят за другими представителями нашей нации, которые имели безумие, несмотря на мои наставления, плохо отзываться о правительстве; наконец, заискивают и усиленно ухаживают за гвардией, которая так часто распоряжалась троном... Эти благоразумные меры направлены на поддержание самодержавия и блага России».

Жене в это время видел в революции только проявление анархии: «Мы показали Европе печальную картину всех бедствий, какие влечет за собою анархия» (15 января 1790 г.).

По мере того, как развивалось в Париже революционное движение, положение Жене в Петербурге становилось все труднее. Между французским королем и народом разверзалась пропасть все шире и шире. Ставленник королевы, Жене должен был решить, какой стороны держаться. Не принадлежа к родовитому дворянству, Жене свое дальнейшее продвижение по службе должен был связать только с успехами третьего сословия. Он был только временным поверенным в делах Франции при русском дворе и знал, что его самостоятельному положению придет конец, так как французским послом был уже назначен маркиз д'Осмон[18]. 21 января 1791 г. Жене решился сделать важный шаг, который сблизил его с революцией: он подписал текст присяги на верность новому строю. Теперь он с бо́льшим правом мог хлопотать о назначении на более выгодное место,

но чрезмерная живость его характера не нравилась министру иностранных дел Монморену, который, очевидно, предпочитал более осторожных дипломатов. Монморен очень редко и очень сдержанно писал к Жене, делал ему выговоры и, несмотря на поддержку близкой к королеве г-жи Кампан, обходил Жене в назначениях. Свои претензии Жене основывал на заслугах, которые сам расценивал очень высоко: ему всего 27 лет, но дипломатический стаж его определяется, по его счету, 15 годами; кроме того, он известен своими научными трудами, опубликование которых «открыло ему двери различных академий». За рекомендациями Жене, между прочим, обратился к барону Бретёйлю, который уже числился эмигрантом.

Неудавшееся бегство королевской семьи и арест короля произвели на Жене сильное впечатление. Он немедленно написал два письма, одно к Монморену, а другое к французскому послу при прусском дворе Мустье[19], под начальством которого он некогда служил в Лондоне. К Монморену он писал: «Русские министры о наших делах говорят очень сдержанно, но при дворе и в обществе такой сдержанности нет. Несмотря на то, что я соблюдаю крайнюю осторожность, мое положение становится с каждым днем все труднее и печальнее» (26 июля 1791 г.). Очевидно, при дворе самодержавной государыни ждали от Жене определенного ответа, стоит ли он за монархию так, как принцы и эмигранты, или проникся идеями народовластия. Со своими сомнениями, какой линии держаться, Жене обратился к Мустье: «Нельзя выразить, как я удручен нелойяльным поведением принцев. Я никогда не ожидал от короля подобного образа действий. Наше положение становится с каждым днем труднее, и очень хочется, чтобы обе власти, которым мы должны оказывать почтение и подчинение, были в согласии. С чрезвычайным волнением жду вашего ответа» (26 июля 1791 г.). Ответ Мустье, определенного врага революции, не мог разрешить мучивших Жене сомнений. Мустье написал письмо без шифра, очевидно, в расчете на перлюстрацию: «Екатерина II завоевала славу на всех поприщах и заставляет не только приветствовать ее успехи, но и удивляться им. Пусть же она испытает удовлетворение во всех делах, какие будет предпринимать, руководясь своим характером, твердым и благородным, который она всегда проявляла так блистательно. Если бы я имел случай встретить ее, я рассыпал бы по ее пути розы». Видно, что Мустье в самой осторожной форме дал понять и Жене, и Екатерине, что ему попрежнему дорог монархический принцип. Но, повидимому, Жене уже поборол в себе старые традиции, и в его письмах звучат иные нотки. Если прежде он одобрял меры, принятые для ограждения самодержавия от революционного натиска, то теперь он громит деспотов, врагов свободы. Говоря о смутах в Польше, он прибавляет такие соображения: «Возможно, что при наступлении мира постараются расправиться с этой несчастной страной. Свобода приводит в ужас деспотов Европы; они хотели бы соединиться, чтобы ее уничтожить, но народы, которые ею пользуются, тесно соединены и дадут отпор этим стремлениям. Долго я не мог усвоить направление новой конституции. Следствия революции меня устрашали, но теперь я вполне привержен той системе, которую избрал народ» (29 июля 1791 г.).

Положение очень осложнилось, когда Екатерина заявила, что она считает короля несвободным и потому отказывается иметь какие-либо дела с аккредитованным от него поверенным в делах, лишенным теперь возможности получать королевские инструкции.

2 сентября 1791 г. Жене писал Монморену, что ему отказано от двора, но что его патриотизм от этого только окреп, и он посылает 600 ливров на содержание Национальной гвардии, защищающей границы. Жене заявил протест против распоряжения русской власти, причем подчеркнул неблагодарность царского правительства, которому французская дипломатия не раз оказывала существенные услуги. По словам прусского посла Гольца, эта нота произвела на Екатерину крайне неблагоприятное впечатление. В Вене французский посол Ноайль также был удален от двора, но на короткое время, потому что император признавал более удобным считать волю короля свободной, верить, что король добровольно принял конституцию, и таким образом освободить себя от тяжелой обязанности рисковать своими военными силами и денежными средствами на защиту своей сестры, королевы французской. Екатерина же думала, наоборот, что ей выгоднее считать короля несвободным и запутать европейские державы во французские дела. Она искала в переписке Жене доказательств этого и старалась всегда подчеркнуть, что французский король несвободен и принужден подписывать то, что представляют ему революционеры. На перлюстрированном письме Лессара[20] к Жене об одобрении королем закона о преследовании врагов конституции (23 января 1792 г.) Екатерина сделала такую приписку: «Достойно примечания, что и тут двоякость видна». Когда король прислал на имя Екатерины письмо с сообщением, что он свободно принял конституцию, то в коллегии иностранных дел отказались принять его (17 января 1792 г.), а от Жене и его секретаря отходили с большим испугом, потому что за общение со столь опасными революционерами были объявлены жестокие кары.

В таком положении непризнанного дипломата Жене прожил в Петербурге целых 10½ месяцев. Д'Осмон не пожелал или не мог ехать в Россию, официального разрыва дипломатических сношений не было, потому что Симолин продолжал жить в Париже в качестве русского посла. Определенно повернув влево, Жене, со свойственной ему пылкостью, все более ускорял свои шаги. В сентябре 1791 г. Эстергази уже видит в нем ярого революционера и не считает возможным иметь с ним какие-либо дела. Перед ним открывались виды на дальнейшую дипломатическую карьеру, так как г-жа Кампан писала ему о слухах, что предполагается демократизировать дипломатический корпус. Жене настоятельно просит сестру похлопотать за него и посылает в Париж на содержание Национальной гвардии сперва деньги, а потом золотые вещи, всего на сумму в 13 000 ливров. Пожертвования препровождались Монморену при самых патриотических письмах. Вместе с тем, Жене писал гр. Сегюру и о своих пожертвованиях и о своих письмах Монморену с таким прибавлением: «Если вы думаете, что опубликование этих писем может увеличить число моих друзей, то прошу вас озаботиться этим. Мое рвение бескорыстно, но я вовсе не равнодушен к уважению, которое могу заслужить». Г-жа Кампан не одобряла поведения брата, видела в нем излишнюю экзальтацию. Один из его парижских друзей писал ему: «Твое поведение не находит себе одобрения даже среди людей, преданных революции». От Монморена Жене не удостоился даже простого уведомления о получении столь значительного пожертвования (24 октября 1791 г.). Но Жене чувствует в себе прилив новых сил и восклицает: «Чем больше врагов свободы, тем сильнее воспламеняется мой патриотизм». 9 августа 1791 г. Жене отправил своей сестре письмо, полное одушевления: «Я патриот не из расчета, а по доброй

совести, как всегда. Я люблю свободу, ненавижу насилие, и правила моего поведения основываются на гражданской присяге. Я верен до последнего вздоха закону, нации и королю».

Однако, сложность и безвыходность положения иногда его подавляют, и настроение его падает: «Если мы не можем внушить уважения к нашему порядку, то надо его бросить» (4 ноября 1791 г.). Но такой упадок духа был непродолжителен, и Жене возвращается к уверенности, что конституционная монархия—лучшая форма правления для Франции. Конечно, старые придворные связи тут играли значительную роль. «Сообщи королеве,—писал он сестре,—о моих чувствах и скажи ей, что я пролью свою кровь для ее защиты с такой же готовностью, как и для защиты конституции» (20 сентября 1791 г.). «Мое поведение докажет, что можно любить свободу и обожать короля» (22 ноября 1791 г.). Оторванный от революционной обстановки, Жене не пошел дальше в своем политическом развитии в то время, когда во Франции республиканские идеи уже боролись с монархическими, как он мог усмотреть из писем г-жи Кампан. Незадолго до отъезда из Петербурга он снова возвращается к теме о достоинствах конституционной монархии: «Наследственная конституционная монархия— лучшее средство противостоять гибельному вмешательству иностранцев» (6 июля 1792 г.). Но он враг деспотизма и сторонников его и потому с энергией выступает против эмигрантов, «единственная заслуга которых заключается в том, что они покинули свое отечество во время пожара, чтобы кричать о нем перед иностранцами». Он презирает их и издевается над ними. В заметке из Петербурга, предназначенной для напечатания в парижских газетах, он сообщает: «Замечают, что французские эмигранты были гораздо спокойнее во время сильных холодов. Те же наблюдения сделаны в некоторых госпиталях нашего города относительно других больных» (20 марта 1792 г.). Екатерина не удержалась, чтобы не написать на полях: «Да это сумасшедший в полном смысле этого слова».

Жене ожидал скорого приказа о выезде из России и пытался сорганизовать при отъезде внушительную демонстрацию. По его указанию и наставлению, во всех частях города и во всех слоях населения были организованы выступления (в какую форму они вылились, Жене не указывает) против тех, которые возбуждали императрицу против французов. «Принц Нассау, Эстергази и Мейан,—сообщает Жене Монморену,—не были пощажены, они были заклеймены общественным презрением, и умы были настолько возбуждены, что опять был отряжен ко мне Валуев, чтобы уверить меня... что найдутся люди достаточно твердые, чтобы удержать императрицу, если она поддастся наветам на нас. И другие лица делали подобные же уверения» (11 ноября 1791 г.). В русских источниках мне не удалось найти подтверждения сообщения Жене о столь значительном брожении, вызванном слухами о его отъезде. Но приказа о выезде пришлось ждать еще 8 месяцев, так как разрыв дипломатических сношений должен был повлечь за собой отозвание Симолина из Парижа, где он был нужен для наблюдения за ходом событий. Положение Жене становилось все затруднительнее. Наконец, Жене был заподозрен в замыслах против Екатерины II. Возможно, что сообщение из Берлина, переданное петербургскому правительству прусским посланником Гольцем, относительно француза Бассевиля, который будто собирается ехать в Петербург, чтобы убить Екатерину, усилило подозрительное отношение к Жене и отягчило его положение. В письме к министру Дюмурье от 1 мая 1792 г. он сравнивает

преследование революционных французов с преследованием первых христиан, но «религия свободы, как и другие религии, укрепляется среди опасностей и препятствий».

Незадолго до отъезда из Петербурга Жене писал сестре: «Твои письма меня очень смущают. Ты видишь вещи в черном свете, знаешь дворы и значительных людей, но не имеешь никакого представления о движении политического организма. Если бы ты знала это, ты увидела бы, что все, что произошло с Францией, есть результат неизменяемого закона природы, и, чтобы вывести нас из кризиса, в котором мы теперь находимся, единственное средство—война, это великое лекарство для больных государств. Я в восторге, что представители народа обратились к этому средству, и если бы я имел состояние, я бы все отдал, чтобы принять участие в этом великом и полезном предприятии» (15 мая 1792 г.).

Наконец, приблизился день отъезда Жене из России. 20 июня 1792 г. он писал министру иностранных дел Шамбона[21], что Екатерина велела ему выехать в восьмидневный срок и что он готов поступить на действительную военную службу в качестве драгунского капитана. Выехав из России, он остановился в Варшаве, ожидая распоряжений.

Впоследствии он оказался в Америке в качестве представителя Франции в Соединенных штатах. Он не вернулся на родину, женился на дочери губернатора одного из штатов, занялся хозяйством в купленном им имении и умер в 1834 г.

Письма Жене подтверждают характеристику, данную ему Сегюром. Несомненно, это был человек минуты и увлечения, склонный приписывать своим словам и действиям чрезмерное значение, способный к преувеличению. Самомнение ярко сказалось в его утверждении, что его научные труды открыли ему двери различных академий. В письме к одному ученому в Гааге, который, по ходатайству Жене, должен был получить из Петербурга от Академии наук издание Flora Rossica, он с апломбом заявляет: «Это зависело от меня» (26 ноября 1790 г.). В то же время Жене показывает практичность в достижении своих целей и, восприняв некоторые идеи революции, не оставляет, однако, стремлений к обогащению и успешной служебной карьере. Жене признавал, что он неспособен к революционной деятельности, и охарактеризовал себя такими словами в письме к своей сестре, г-же Кампан: «Я слишком легко возбуждаюсь, чтобы жить среди бурь» (7 января 1791 г.). В другом письме к сестре он просит выхлопотать ему должность генерального консула в России, чтобы прожить там в стороне от бурь революции (17 мая 1791 г.).

При критической оценке тех сведений, которые можно почерпнуть в письмах Жене, необходимо учитывать, что они исходят от умного и хорошо осведомленного, но слишком пылкого и увлекающегося корреспондента. Надо принять во внимание также то обстоятельство, что Жене шел по пути сближения с революцией совершенно самостоятельно, не встречая поддержки ни с какой стороны, но наталкиваясь на каждом шагу на серьезные препятствия. Его официальные руководители, министры Монморен и преемник последнего, Лессар, очень редко писали к нему и заботились больше о том, чтобы сдержать пылкую натуру Жене. Монморен делал Жене строгие выговоры за то, что он позволяет себе резкие выражения относительно порядка и людей той страны, в которой он проживает: если, против всякого ожидания, эти письма будут перлюстрированы, то это печально отразится и на деле и на судьбе самого Жене.

Внушение заканчивалось очень характерной фразой: «Я вас прошу не говорить о нашей революции ни хорошо, ни плохо» (31 мая 1790 г.). Лессар даже не сообщил Жене о том, что он назначен министром, так что Жене пришлось обратиться к нему с письмом такого содержания: «До меня дошли сведения, что уже давно вы назначены министром иностранных дел. Лично я вам неизвестен, но я скажу, кто я. Богатство меня прельщает мало, но благо государства — это моя страсть. Я доказал это до революции, во время революции и буду доказывать до последнего вздоха. Голос народа указал мне, что вы такой же добрый гражданин, как я» (30 декабря 1791 г.). Лессар ответил очень сухо письмом без шифра, рекомендуя выказывать бóльшую сдержанность (23 января 1792 г.).

Какие же полезные сведения могла получать Екатерина из перлюстрации переписки Жене для проведения своих планов? Екатерина с беспокойством следила за развитием революции во Франции, так как для нее было важно, чтобы эта страна сохранила престиж своего могущества и оставалась ценным партнером России и Австрии в дипломатической, а если потребуется, то и в военной борьбе с Англией, Пруссией и Швецией. Екатерина очень желала, чтобы мирные переговоры с Турцией велись при посредстве французского посла в Константинополе, по старой традиции еще сохранявшего влияние на турецкую дипломатию, а не при посредстве представителей Англии и Пруссии, которые настаивали на мире status quo и грозили войной, если это условие не будет принято. Следовательно, в переписке Жене Екатерина могла искать сведений, в какой мере французская дипломатия отстаивает интересы России. Наконец, как можно видеть из отдельных фраз Екатерины, воспроизведенных в дневниках Храповицкого, и из переписки Безбородко с Воронцовым, она хотела использовать Французскую революцию, увлекши других мыслью о необходимости вмешательства во французские дела с целью восстановления старого порядка, а самой в это время пользоваться полной свободой в устройстве польских, турецких и шведских дел. Следовательно, перлюстрируя дипломатическую переписку, Екатерина могла определить, насколько иностранные дипломаты проникли в ее тайные намерения[22].

Занимая временный пост, не имея со стороны своего министра определенных инструкций и, наконец, лишенный общения с русскими дипломатами, Жене не мог играть видной политической роли, но он все-таки был представителем Франции, писал в Париж подробные донесения о виденном и слышанном, высказывал свою точку зрения и, таким образом, мог до известной степени оказывать свое влияние на направление французской политики, тем более, что при частых встречах с иностранными дипломатами он мог воздействовать на них своими беседами. Кроме того, он вел обширную корреспонденцию с французскими представителями в Швеции, Пруссии, Австрии и Турции. Поэтому дипломатические рассуждения Жене имели известный интерес для руководителей русской политики, которые из перлюстрированных писем Жене могли убедиться, что его деятельность направлена не в пользу России. Екатерина была склонна вести мирные переговоры с Турцией при посредничестве Франции. Монморен правильно оценил представившийся благоприятный случай, чтобы поднять международный престиж Франции, а с другой стороны—дать отпор враждебной коалиции Англии и Пруссии. Однако, дело посредничества шло очень вяло, вследствие недоверия Екатерины к французскому послу в Турции, гр. Шуазёль-Гуффье[23], который в прежнее время был известен, как враг России, и, кроме

того, надо думать, некоторую роль сыграли неосторожные выступления со стороны Жене, которые должны бы остаться тайной для русских дипломатов. Признавая, что двор и министры в России выказывают искреннюю дружбу к королю, расположение к французской нации и склонность завязать с Францией более тесные сношения, Жене считает необходимым добиваться, чтобы Россия умерила свои требования по отношению к Турции, и для этой цели пугает неизбежностью войны с Пруссией. Более того, Жене не ждет от заключения мира ничего хорошего. Вот очень характерная фраза из его письма к Монморену от 1 июля 1791 г.: «Наши чувства гуманности и наши философские убеждения должны побуждать нас не желать продолжения войны и даже вообще существования войны, но мы не должны скрывать от себя того, что, если мир будет заключен теперь, наша страна сделается очагом интриг всех государей Европы; между тем, если война затянется, то султан заплатит все издержки, а мы извлечем немалые выгоды, и в то время как другие государства будут спорить о клочке земли страны Магомета, мы сможем с успехом закончить наше дело». Через неделю, 8 июля 1791 г., Жене повторяет свою мысль, что в случае заключения мира все деспоты соединятся против Франции, и если она из этой борьбы выйдет победительницей, то только ценой крайнего истощения. «Никто здесь не знает моих мыслей», — добавляет Жене, слепо веря в надежность своего сложного шифра.

Жене советует втравливать Англию в дела северной Европы. Это отвлечет ее внимание от Франции. Его план—поссорить державы, в частности,

КОПИЯ ПЕРЛЮСТРИРОВАННОЙ ЗАМЕТКИ ЖЕНЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА ОТ 20 МАРТА 1792 г., ПРЕДНАЗНАЧАВШЕЙСЯ ДЛЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕССЫ

Внизу помета Екатерины II

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

Россию с ее соседями, чтобы они не могли сговориться относительно совместных действий против революционной Франции. Шведскому послу он намекает, что Россия организует революционное движение против короля Густава III; когда король был убит, уверяет, что и впредь неурядица в Швеции будет питаться русскими интригами. Прусского посла через его секретаря Жене старается уверить, что Россия стремится захватить Польшу со специальной целью пододвинуться к Пруссии вплотную, чтобы потом поглотить и ее (3 июля 1792 г.).

Когда стали намечаться признаки некоторого сближения России с Пруссией, то Жене «через верного человека» поспешил сообщить Гольцу, что Екатерина по соглашению с австрийским послом гр. Кобенцлем[24] искусно морочит прусского короля, смеется над ним и сравнивает его с маятником, который находится в постоянном движении, но никого не ударяет (18 мая 1792 г.). Жене предпринимает эти шаги, не имея на то указаний своего министра.

Надо отдать должное проницательности Жене, который очень скоро усомнился в искренности политики Екатерины по отношению к Франции. 2 августа 1791 г. он писал Монморену: «Некоторые воображают, что Екатерина решила с блеском вступиться за короля и соединиться с теми, кто примется за удушение свободы, столь опасной для деспотов; но в настоящее время, если императрица высказывает свои чувства, то политика ее молчит, и я убежден, что она будет ждать для дальнейших шагов ответов от венского и мадридского дворов и окончания переговоров о мире». Позднее он сообщает свои соображения, что Екатерине выгоднее поддерживать во Франции гражданскую войну, так как Франция более других держав может помешать раздроблению Турции. «Екатерина будет содействовать нашему разорению, чтобы отвратить внимание Европы от своих широких замыслов» (13 сентября 1791 г.).

По мере втягивания европейских держав во французские дела и развития переговоров о создании коалиции против революционной Франции, Екатерина должна была принимать те или другие меры, чтобы уклониться от участия в намечавшейся интервенции. Двуличная политика Екатерины сбивала Жене. С одной стороны, «из очень верного источника» Жене узнал, что Екатерина предложила королю шведскому и королю прусскому войти с ней в переговоры относительно посылки к французским берегам 40 кораблей русского флота (18 ноября 1791 г.). С другой стороны, появились признаки внимания императрицы к Жене и нерасположения к эмигрантам. Письмом от 20 декабря 1791 г. Жене сообщил, что жена одного из его друзей, который в настоящее время пользуется большим влиянием, просила зайти к ней и сообщила, что знает из самого достоверного источника, что третьего дня императрица приняла решение никаким способом не вмешиваться во внутренние дела Франции, что об этом решено заявить принцам, императору и шведскому королю и что положение Жене будет восстановлено при первом удобном случае. Симптомом немилости к эмигрантам Жене считает намерение Эстергази выехать в Москву для ознакомления с ее достопримечательностями. Из сопоставления различных фактов Жене делает правильный вывод: «Екатерина воспользуется раздорами между контрреволюционерами, чтобы выбраться из этой истории ловко и незаметно. Она все обещает поддерживать дворянство и содействовать восстановлению прежней системы, но ее обещания так неопределенны, что Эстергази вчера у Зубова высказал свое неудовольствие. Екатерина

так мало думает о посылке вдаль своей армии, что принялась вводить в ней и во флоте большие реформы. Только с помощью интриг она будет мстить тем, кто мешал исполнению ее планов, и я убежден, что самые сильные батареи будут направлены против берлинского кабинета. Пруссаки не подозревают этого, но время покажет им действительные чувства Екатерины II» (7 февраля 1792 г.).

Несмотря на такой успокоительный вывод, слухи о снаряжении флота смущали Жене. Осведомители разно указывали направление морской диверсии: то к берегам Нормандии, то в Средиземное море. Жене счел своим долгом посоветовать взять под наблюдение офицеров, находящихся в Нормандии, так как «если состоится морская диверсия с этой стороны, что было предположено, то очень рассчитывают на Гавр и Беарнский полк» (2 марта 1792 г.). В Кронштадт и в Ревель посланы были агенты для наблюдения за подготовкой судов к плаванию. «Своим агентам я рекомендовал удвоить бдительность, и вы будете осведомлены обо всем, что произойдет. Во всяком случае, я могу вам сказать, чтобы успокоить короля, что русские идут гигантскими шагами, когда дело касается их выгод, и шагами черепахи, когда дело касается чужих интересов» (18 мая 1792 г.). Сведения из Кронштадта были разноречивы. 25 мая, на основании донесений агентов, Жене сообщал, что, вместо увеличения вооружений, разоружают три корабля, а 29 мая он писал: «Спешу уведомить, что третьего дня в Кронштадте получен приказ отправить возможно скорее в Копенгаген фрегат и три транспорта, на которые должны быть погружены 200 пушек». В конце концов, Жене убедился, что если будет послана эскадра в Средиземное море, то только в целях наблюдения (8 июня 1792 г.). Кроме того, он выразил полную уверенность, что русские моряки не склонны сражаться с французами (27 апреля 1791 г.).

Когда Франция объявила войну Австрии, из под пера Жене вырывается такая фраза: «Виды императрицы осуществляются: державы Европы будут заняты, и русские войска не замедлят войти в Польшу» (11 мая 1792 г.). Предсказание Жене осуществилось очень скоро. Русские войска были двинуты в Польшу «из чувства дружбы к полякам для восстановления прежней конституции. Нельзя представить себе большей наглости!»,— восклицает Жене (8 июня 1792 г.). Он не видит больше опасности для Французской революции со стороны России. «Императрица приняла план принцев, потому что он должен был зажечь пламя войны, которая ей была нужна, чтобы беспрепятственно действовать в Польше, Швеции и, может быть, в Азии. А теперь, когда главные удары нанесены, ей все равно, имеем мы одну палату, или две, или три, ограниченную монархию или неограниченную» (8 июня 1792 г.). А между тем, эмигранты слепо верили обещаниям Екатерины. Эти надежды не поколебались и тогда, когда Екатерина стала показывать некоторую холодность по отношению к эмигрантам, и Эстергази писал Сен-Присту, как уже о решенном деле, что императрица дает эмигрантам 15 тысяч солдат из той армии, которая находится в Польше (1 июня 1792 г.).

Если перейти теперь к вопросу об отзвуках Французской революции в русской жизни, то, прежде всего, надо отметить, что всякая революция пропагандируется самим существованием ее. Сведения о Французской революции печатались в газетах и вызывали толки в обществе. Жене не раз упоминает в своих донесениях о сильном впечатлении, которое производит в петербургском обществе бурный ход революции. Он знал

только аристократическую среду, но и она поддавалась натиску революционных настроений. Такие эпизоды Французской революции, как бегство короля, горячо обсуждались «при дворе, в городе и среди дипломатического корпуса» (16 сентября 1791 г.). «Энергия,—пишет Жене,—которую проявляет наша нация, производит тут большое впечатление» (14 февраля 1792 г.). Сам Жене не мог не быть пропагандистом. При всех своих колебаниях, он был увлечен идеями революции и эти идеи, вольно или невольно, пропагандировал в своих беседах на политические темы с лицами высшего петербургского общества. Он имел друзей среди придворных, пользовавшихся особым доверием Екатерины (16 декабря 1791 г.). Ему оказывали расположение некоторые дамы гатчинского двора, «дружба с которыми давала ему утешение», пока Павел не отдал приказа, запрещавшего его придворным видеться с Жене (13 сентября 1791 г.). У него были связи с чиновным миром, в частности, в коллегии иностранных дел, и люди, «пользующиеся доверием Остермана», выдавали ему государственные тайны (23 сентября 1791 г.). У него были знакомства среди молодежи в гвардии и флоте. Наконец, он бывал и среди зажиточной буржуазии, где искал невесту с хорошим приданым. Одна из этих невест, как писал Жене в письме к сестре, «требует, чтобы я отказался посещать высшее общество, где меня принимают с бесконечной добротой» (22 февраля 1791 г.).

Жене представляет Россию в виде колосса на глиняных ногах. Ее силы подтачивают такие серьезные болезни, которые способны разрушить весь ее организм. Существующий режим непрочен и по несогласиям в императорской семье, и по завоевательной политике, и по классовым противоречиям, и по экономическому состоянию масс. К вопросу о внутреннем состоянии России Жене возвращается в очень многих письмах и дает ряд любопытных подробностей.

Связанный по своим знакомствам с придворными сферами, он обладал большою осведомленностью о жизни царской семьи. Екатерина II—его политический враг, как самодержица, и личный враг, как виновница его двусмысленного положения. Она в его глазах «высокомерная женщина» (4 ноября 1791 г.). Политика ее вероломна и может внушить только ужас: она всегда старается поддерживать в соседних странах анархию и тем ослаблять их силы. Примером может служить Польша, в которой введение новой благодетельной для страны конституции задерживается Россией. Екатерина расточительна сверх меры, несмотря на нищету подданных, и даже министры принуждены бывают сдерживать ее. Поддержка эмигрантов уже стоит ей 500 000 рублей, «и я хорошо знаю,—прибавляет Жене,—что это не особенно нравится ни ее министрам, ни придворным, ни подданным» (14 октября 1791 г.). «Екатерина передала принцам,—пишет Жене в другом письме,—всего 2 277 500 ливров. Было еще назначено 600 000 пиастров через генуэзский банк, но общественное мнение так возвысило голос против этого, что министр финансов ловко воспользовался этим движением и отменил прежние распоряжения. Этот факт, в подлинности которого я уверен, показывает, что даже самодержавие не свободно от давления общественного мнения» (2 декабря 1791 г.).

Вероятно, Екатерине было не особенно приятно читать в перлюстрированных письмах Жене сообщения о том, что она стареет и приближается конец ее царствования. «Екатерина II заметно опускается; она это видит, и ею овладевает меланхолия...» «Состояние здоровья императрицы внушает опасения. Царствование великого князя будет слабым и бурным.

Его старший сын наделен телесной крепостью и чистотою чувств, но без силы воли и твердости мысли, и, по всей вероятности, блестящий период истории России кончится с Екатериной II» (22 июня и 24 июля 1792 г.). Великий князь Павел не пользуется расположением со стороны Жене. «Великий князь во всем идет по стопам своего несчастного отца, и если сердце великой княгини не есть храм всех добродетелей, то он некогда испытает ту же участь, что и Петр III, и он этого ожидает, говорит это ей самой. Он доставляет ей много огорчений, открыто живет с одной из фрейлин, г-жей Нелидовой—особой необыкновенно безобразной и своенравной. Он мрачен, ворчлив, никому не доверяет. Придворные его ненавидят, состоящие под его командой военные стонут от его мелочной строгости. Гвардия его не любит, и, как только он вступит на престол, неисчислимые революционные движения, несомненно, положат конец блестящему периоду царствования Екатерины» (16 сентября 1791 г.). Вот выдержка из другого письма: «Императрица осуждает своего сына, но в глубине души она вовсе не огорчена тем, что он сам губит себя в глазах общества и тем гарантирует спокойный конец ее царствования... Достоверно, что императрица совершенно не любит великого князя, боится его неспокойного характера, знает, что он порицает все ее действия и предполагает все изменить после ее смерти; поэтому она предпочла бы разделить корону между двумя своими внуками, воспитанными по ее принципам и под ее наблюдением» (15 ноября 1791 г.). Павел—убежденный враг революции, понимающий всю опасность ее для трона. «Этот принц имел неблагоразумие сказать среди толпы придворных, которые его ненавидят, что настоящий момент—решительный для государей, и что если они не поймут необходимости изгнать из их государств всех французов, которые подчиняются законам, продиктованным Национальным собранием, то он не отвечает, что до истечения двух лет Европа не будет перевернута вверх дном. Я могу поручиться за точность этих замечаний» (13 сентября 1791 г.).

Молодые великие князья[25] встречают у Жене сочувственное к себе отношение, так как есть надежда, что они благосклонно отнесутся к революции. «Младшие великие князья очень интересуются успехами нашей революции. Приставленные к ним воспитатели—все люди просвещенные, считающие своим долгом ничего не скрывать» (3 января 1792 г.). В последнем, впрочем, усомнился и сам Жене, как видно из следующего, очень любопытного письма: «Один из моих друзей доверил мне рассказ, который я хочу сообщить вам, но о котором я прошу сохранить строжайшую тайну, так как разглашение скомпрометирует моего друга и лишит нас одного из лучших источников. Лица, приставленные к воспитанию молодых великих князей, впитав, как и весь двор, идею, что императрица ненавидит нашу конституцию, старательно избегали говорить о ней своим августейшим воспитанникам и даже отказывались удовлетворять их любопытство о положении Франции. Но каково было их изумление, когда они услышали несколько дней тому назад, что в. к. Александр затеял дискуссию о правах человека и других положениях нашего общественного договора. Спрашивали один у другого, кто мог так хорошо все это разъяснить великому князю, каждый клялся, что не касался с ним этих вопросов, и, наконец, решили спросить его самого, чтобы раскрыть эту тайну. Александр любезно удовлетворил их любопытство и со всей невинностью своего возраста сообщил им, что это бабушка рассказала им о французской конституции по всем ее пунктам, разъяснила причины революции 1789 г., но рекомендовала

запечатлеть все это в своем сердце и никому не говорить. Этот факт не показывает ли, что Екатерина в глубине души сочувствует, как писательница и философ, нашим законам, но показывает к ним враждебность, как государыня и самодержица, из политических соображений» (8 июня 1792 г.). Рассказ о наивности 15-летнего Александра малоправдоподобен, но интересен, как отголосок тех разговоров, которые ходили в русском обществе о политических воззрениях Екатерины в конце ее царствования.

Почва для революции в России, по мнению Жене, вполне подготовлена. К этой теме он возвращается много раз, и она занимает его с двух точек зрения: насколько сильным противником революции является Россия, и насколько возможно революционное движение в России? Даю выписки из писем Жене в хронологическом порядке, не стесняясь размерами их ввиду интереса затронутых вопросов.

3 ноября 1789 г. Жене писал Монморену: «Если русские крестьяне, которые не имеют никакой собственности, которые все находятся в состоянии рабства, разорвали бы свои оковы, их первым движением было бы перебить дворянство, которое владеет всей землей, и эта столь цветущая страна была бы ввергнута в ужаснейшие бедствия. Многие просвещенные люди не скрывали от меня беспокойства, которое они испытывали в связи с продолжающейся войной: народ громко жалуется на строгость и повторность наборов, дороговизну всех товаров, на хлебные цены. При таких обстоятельствах достаточно искры, чтобы направить все умы к возмущению». «Крупные помещики,—пишет Жене в письме от 15 января 1790 г.,— серьезно начинают возвышать свой голос, так что пришлось послать в Москву г. Шешковского из тайной канцелярии, чтобы подавить их. Народ стонет повсеместно от постоянного отрыва от земли лучших работников и от семьи кормильцев. Серебро совершенно исчезло из обращения, и всем ясно, что правительство под названием банковых билетов выпускает простую бумагу. Урожай в этом году был низкий, а в следующем будет еще хуже, так как совсем не было снега, мороз бывает только временами, и семена гниют в земле. Доходы с земли уменьшились, торговля едва прозябает, курс непрерывно падает, и все показывает, что пора кончать войну и залечивать раны, которые она причинила». В письме от 7 января 1791 г. Жене отмечает контраст между бедственным положением жителей России, всеобщим обеднением, военными неудачами и блеском двора.

После того, как были прерваны официальные сношения русского правительства с Жене, он решил посвятить свой досуг составлению политических обзоров, предупредив Монморена, что напишет на эту тему 4 письма: «Я дважды переменю шифр, чтобы избежать, если возможно, опасности перехвата столь важных сообщений; впрочем, если их и перехватят, то узнают истину, которая, надо пожелать, принесет свою пользу» (8 ноября 1791 г.). Письма эти были перлюстрированы, но первые два не расшифрованы,—надо полагать, не по невозможности расшифровки, так как, повидимому, все шифры, которыми пользовался Жене, были в коллегии иностранных дел хорошо известны, а потому, что размышлениями Жене об общем политическом положении мало интересовались, и расшифровывалось только то, что относилось к оценке внутреннего положения России. «Мне представляется,—пишет Жене 8 ноября 1791 г.,—существенным представить точные сведения о действительном состоянии сухопутных и морских сил России, ее финансов и ресурсов. Императрица располагает 30 кораблями на Балтийском море и 17-ю на Черном, с соот-

ветствующим числом фрегатов. Но, хотя в последнюю войну она подняла полмиллиона людей, экипажи так же недостаточно укомплектованы, как и сухопутные войска. Все эти невинные жертвы захватнических притязаний погибли или от оружия неприятеля, или от голода, или от болезней, или от чумы, которая теперь пожирает в Молдавии победителей и которая, повидимому, была причиной смерти Потемкина. Можно допустить, что Россия с большими усилиями может выставить 150 000 бойцов и 20 000 неопытных моряков. Финансы находятся в самом печальном положении, серебро совершенно исчезло, платят за 100—25; количество бумажек непрерывно увеличивается до невероятной степени, и без нажима деспотической власти они не имели бы никакой цены. Расходы вместо того, чтобы уменьшаться, увеличиваются; роскошь, разоряющая государство и предвещающая банкротство, истощает двор и частных людей; состояния переходят в руки торговцев, которые в большинстве еще находятся в рабском состоянии, но скоро окажутся могущественнее своих господ. Недоверие к правительству мешает успеху займов, которые были объявлены во время войны, но до сих пор еще не покрыты. По мнению наиболее опытных негоциантов и банкиров, новая война довершит разорение государства, которое не продержится больше года... Гигантские замыслы, возникшие у гордой, но стареющей Екатерины, мало-помалу низведены на подобающее место силой вещей. Мы видели, до какой степени эта суетная и высокомерная женщина обманута льстецами о состоянии своих военных сил и финансов. Ее ослепление достигло такой степени, что она вообразила, будто природа не положила границ человеческому величию, и, вместо того, чтобы лечить раны, нанесенные государству войной, совершенно ничем не оправданной, вместо того, чтобы поощрять торговлю, искусства, земледелие, своим влиянием поддерживать справедливость и умеренность, она предается самой необузданной гордыне. Но если она не видит готовой разверзнуться под ее ногами пропасти, я несколько освещу ее, чтобы показать ее глубину. Три рода революции угрожают этому государству. Крестьяне, среди которых Екатерина необдуманно распространяла идеи свободы в то время, когда она так же афишировала принципы современной философии, как теперь принципы деспотизма, более готовы, чем думают, сбросить иго своих господ-тиранов; школы с каждым годом увеличивают число грамотных, которые пожирают отрывки новостей из Франции, довольно точно передаваемых русскими газетами. Я видел многих из этих людей, которые плакали от радости, узнав, что король принял конституцию; я слышал, как другие говорили с энтузиазмом, что, если их сыновья, братья или родственники будут взяты на войну против французов, они будут заклинать их всем, что им дорого, чтобы они стреляли в воздух. Прибывшие из Москвы путешественники уверяли меня, что там народ настроен к нам еще более благоприятно, чем здесь. Подобные же сведения доносятся до меня и из внутренних областей государства, и это показывает, что в этом государстве заложены семена истинной демократии. Но признаки революции аристократической возвещают более скорую бурю. Большая часть русского дворянства после смерти Петра II намеревалась устроить государство в форме дворянской республики, но, наткнувшись на ряд препятствий, возникших, вероятно, вследствие недостаточной широты взглядов, они согласились, сохраняя в своих руках бразды правления, титул государя передать кому-либо из императорской фамилии и выбрали на престол Анну Иоанновну. Они предполагали держать ее

в зависимости, но были запуганы, и с того времени государи крепко держат их в своих руках. Теперь же тесные связи, которые я поддерживал со многими из них, показали мне, что они только ждут удобного случая, чтобы разбить оковы. Наша революция не может послужить им примером, потому что они считают положенные в нее принципы несовместимыми с системой рабства, на которой заложено их благосостояние, они предпочитают подражать Польше, и надо признать, что ввести в России польскую систему менее опасно, чем нашу, которая применима только к народу мягкому по характеру и просвещенному. Мне остается указать еще на третью линию оппозиционного движения, которую можно подметить при дворе великого князя. Этот человек, мрачный, беспокойный и мстительный, недовольный своей судьбой, поссорился с императрицей. Он живет в удалении со своей любовницей Нелидовой и заставляет ее, а также великую княгиню и всех окружающих страдать от мрачности своего настроения. Смерть Потемкина не разуверила его в намерениях императрицы относительно него, и многие уверены, что, если бы ее фаворит, недоверчивый и подозрительный, не удалил от него всех, кто мог бы ему помочь, он захватил бы в свои руки кормило правления. Надо иметь очень много сил, чтобы предупреждать столь опасные грозы, восстановлять порядок во всех частях управления, предотвращать банкротство, поддерживать армию, которую Потемкин хотел привлечь на свою сторону подкупом, но, к сожалению, императрица вследствие крайнего самолюбия убеждена, что ее хватит на все. Князь Потемкин был ленив и причудлив, но, несмотря на свои недостатки, умел держать в своих руках все нити. С его смертью поколебалось все государство. Анархия достигла крайнего предела, интриги при дворе так осложнились, что среди них не могут ориентироваться самые опытные из придворных. Граф Безбородко отослан в Молдавию, как в ссылку, фаворит Зубов, молодой человек без ума и талантов, занял его должность, нация ропщет. Московский губернатор доносит о постоянных волнениях; те, которым я дал знать о приготовлениях к моему отъезду, возмущены; замечают неспокойное состояние биржи и рынка, народ открыто осуждает войну, которая, по его мнению, нам угрожает; гвардейские офицеры третьего дня много аплодировали во Французской комедии «Свадьбе Фигаро», где есть намеки на глупость солдат, которые идут на бойню, не зная, за что,—все это настолько поразило правительство, что тайный советник Валуев, близкий друг Остермана, вчера пришел ко мне, чтобы подбодрить меня, уверить, что никто в Совете не одобряет интриг Кобенцля, Эстергази и принца Нассау, и сказать мне, что друзья мира примут все меры, чтобы не допустить разрыва с нами. Я ответил этому тайному советнику, что я всегда буду надеяться, что императрица признает, что истинное величие монархов состоит не столько в том, чтобы добиваться завоеваний и диктовать свою волю другим народам, сколько в том, чтобы мудро править государством и сделать своих подданных счастливыми. Так не будем страшиться этого эфемерного метеора, этой державы, имя которой едва было нам известно, пока Петр I не вывел ее из ничтожества».

После этого письма Жене не раз повторяет в других письмах мысль о неизбежности русской революции в самом непродолжительном времени и указывает на симптомы революционного брожения. Между прочим, в письме от 5 июня 1792 г. он сообщает, что полиция на почте перехватила переписку между московским и петербургским дворянством

ЕКАТЕРИНА II
Рисунок В. Головиной
Музей города, Ленинград

о предъявлении сообща требований к правительству и что многие дворяне в обеих столицах арестованы. Через 3 дня Жене возвращается к излюбленной теме: «Несомненно, что русские дворяне почти все жаждут ограничить власть своей государыни; она это знает, я не могу в этом сомневаться и уверен, что между разными причинами войны с Польшей действует и такая, что государыня хочет уничтожить конституцию, которой удивляется все русское дворянство, а другая причина состоит в том, что необходимо занять военную молодежь, настроение которой, действительно, дает основания к беспокойству» (8 июня 1792 г.).

По мнению Жене, Французская революция встречена русским обществом с большим восторгом, и гонения на новые идеи и на носителей этих идей только вызывают сочувствие по отношению к французскому поверенному в делах. Когда Жене получил отказ от двора, то общество ответило на это изъявлениями сочувствия. «Я думал,—пишет Жене,—что эти порабощенные люди не осмелятся даже бросить взгляд на человека, которого двор считал демократом за то, что он осмелился отважно защищать интересы своего отечества и своего короля, но я ошибся: мало знакомые мне люди приветствуют меня и при встрече ласково со мною заговаривают... большое число молодых гвардейских офицеров явилось ко мне расписаться. Я тронут этими знаками уважения и в них читаю будущую историю России» (13 сентября 1791 г.).

«При дворе,—пишет Жене в другом письме,—есть смелые люди, которые открыто защищают меня; особенно в гвардии у меня много друзей, почти вся молодежь за меня». Даже министры, по мнению Жене, на его стороне: «Я уверен, что большинство русских министров, в частности Морков, не одобряют гонения на нас в то время, когда нация проявляет в высшей степени мудрость и умеренность» (2 сентября 1791 г.). Для Екатерины Жене был, так сказать, живым воплощением французского революционера, но Жене был ее политическим врагом, мешавшим осуществлению ее планов, и врагом личным, дававшим о ней нелестные отзывы и затрагивавшим слишком щекотливые темы о ее семейных отношениях. Так как частные корреспонденты Жене были далеки от революционных идей,

то и они не могли сочувственно отзываться о происходящем во Франции, не понимали смысла событий и лишь, с раздражением, отмечали бурный ход революции.

Екатерина читала и частную переписку Жене. В дневнике Храповицкого под 14 июля 1790 г. записано: «Позван. Из перлюстрации читать изволила письмо Сегюра к Женету и к нему же от его сестры: злы на уничтожение титулов; опасаются, чтоб не сделалось чего с королевскою фамилиею в праздник на Марсовом поле»[26]. Из писем г-жи Кампан, сестры Жене, никак нельзя было вывести благоприятных заключений о положении дел во Франции. «Анархия продолжается,—пишет г-жа Кампан 8 января 1791 г.,—и мы еще долго будем жить среди беспорядков. Вчера мы пережили очень печальный день: так как духовенство должно было приносить присягу, во многих приходах был шум, но, к счастию, без убийств».

Подобные письма не могли способствовать развитию тех ростков революционного настроения, которое начало было овладевать Жене. Одинокий в своих мыслях, далекий от борьбы за новые идеи и за новый порядок, Жене отстал от бурного течения революции и, в конце концов, сделался помещиком в Соединенных штатах Америки.

Мы коснулись только небольшой части тех интересных материалов, которые можно почерпнуть из перлюстрированных царской властью писем времени Французской революции. Совершенно не затронуто исследователями очень значительное по объему собрание писем, адресованных французским эмигрантам, и писем, направленных эмигрантами за границу. Так как в наших архивах сохранились также в большом количестве разного рода обращения эмигрантов к представителям русской власти и ответы на эти обращения, то нельзя не признать, что в нашем распоряжении имеется очень ценный материал, касающийся истории французской контрреволюции и отношения царского правительства к революции. В перлюстрированных письмах эмигрантов перед нами проходят многие из тех французских монархистов, которые вернулись во Францию в свите Бурбонов в качестве руководителей контрреволюционного движения.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Архивные материалы, использованные в настоящей статье, хранятся в ГАФКЭ, Москва (Фонд «перлюстраций»).

В издании «Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les Traités de Westphalie jusqu'à la Révolution Française. Publié sous les auspices de la Commission des archives diplomatiques au Ministère des affaires étrangères. Russie. Avec une introduction et des notes par Alfred Rambeau. T. II. 1749—1789. Paris 1890» на стр. 478—540 напечатаны инструкция, данная гр. Сегюром Жене, и в выдержках переписка Жене с французскими министрами иностранных дел за 1789—1792 гг. Из напечатанных в настоящей статье перлюстрированных писем Жене в указанном издании даны по подлинникам донесения от 3 ноября 1789 г., 17 июня, 2, 6 и 13 сентября 1791 г., одно из писем от 8 ноября того же года, 8 и 12 июня 1792 г. и несколько мелких отрывков.

[2] «Записки гр. Сегюра о пребывании его в России», СПБ. 1865, стр. 116. Ségur Луи-Филипп, граф де (1753—1830) принимал участие в освободительной войне американцев и по возвращении во Францию был на военной службе до назначения в 1783 г. французским послом при петербургском дворе. Завоевал симпатии Екатерины II и принимал деятельное участие в увеселениях двора. Старался смягчить натянутые отношения между Францией и Россией, мешавшие взаимному пониманию в течение нескольких десятилетий. Возвратившись в Париж, он всецело отдался литературной работе и не играл более никакой политической роли.

[3] «Дневник А. В. Храповицкого 1782—1793», под ред. Н. П. Барсукова, СПБ. 1874, стр. 33.

[4] Ibid., стр. 414.

[5] Montmorin Арман-Марк, граф де (1745—1792)—французский посол в Мадриде, потом, с 1787 г., французский министр иностранных дел; после бегства короля вышел в отставку, но оставался его советником, в 1792 г. гильотинирован в Париже.

[6] «Дневник Храповицкого», стр. 248.

[7] Намек на отмену Людовиком XIV Нантского эдикта 1598 г. о свободе вероисповедания во Франции. Спасаясь от религиозных преследований, французские протестанты после отмены эдикта в большом количестве переселились главным образом в Голландию, Пруссию и Англию.

[8] «Общий морской список», ч. IV, стр. 272, и ч. V, стр. 348. Сведения о названных офицерах в списке очень кратки: Буртон Луск на русскую службу зачислен из английского флота лейтенантом 12 ноября 1788 г., был в плавании по Балтийскому морю в 1789 г. и 19 апреля 1790 г. уволен от службы. Луи Шатонёф принят 6 июня 1789 г. мичманом, в 1790 г. за отличие в выборгском сражении со шведами произведен в лейтенанты, выбыл до 1792 г. Краткое пребывание их в русском флоте и невысокие чины вызывают сомнение в их осведомленности и связях, какие им приписывает Жене. План посылки Луска и Шатонёфа в Копенгаген, Гамбург и т. д. был вполне одобрен французским правительством, которое отдало соответствующие распоряжения по границам на случай появления там названных офицеров.

[9] Принц Карл Нассау-Зиген (1745—1808)—известный военный деятель, путешественник и авантюрист. Екатерина II в 1787 г. пригласила его на русскую службу в чине вице-адмирала. В 1788 г. он разбил турок на Черном море, а в 1790 г. успешно действовал против шведов у берегов Финляндии, но потом был разбит королем Густавом III под Выборгом. Неудача заставила его подать в отставку. Он покровительствовал французским эмигрантам, о чем не раз упоминает Жене в своих письмах: «Почтой получаются длинные шифрованные письма принца Нассау к Екатерине с увещанием помочь дворянству и духовенству» (14 октября 1791 г.).

[10] Шешковский Степан Иванович (1727—1793)—сын коломенского полицеймейстера. Поступил на службу в 1738 г. в Сибирский приказ. Через два года перешел копиистом в московскую контору тайных розысковых дел. Переведенный затем в петербургскую контору, обратил на себя внимание гр. А. И. Шувалова и был назначен на секретарскую должность. Когда Екатерина II вместо упраздненной конторы учредила тайную канцелярию, то он занял в ней должность обер-секретаря. Лично был известен Екатерине, которая поручала ему ведение важнейших дел. Он принимал участие в розысках по делу Пугачева, Радищева, Новикова и др. Получил печальную известность своей жестокостью и был ненавидим во всех слоях общества.

[11] «Дневник Храповицкого», стр. 368.

[12] Esterhazy Валентин, граф де (1740—1815)—представитель французской ветви знатной венгерской фамилии. Был послан графом д'Артуа в Петербург просить помощи у Екатерины. Впоследствии поселился в России, получив именье на Волыни.

[13] Bombelles Марк, маркиз де (1744—1821)—посвятил себя сперва дипломатической карьере. Как крайний монархист, эмигрировал в 1792 г., посетил Вену, Петербург, Копенгаген, Стокгольм с целью организовать военную демонстрацию против революционного правительства Франции; служил в армии принца Конде.

[14] Saint-Priest Франсуа-Эмануэль, граф де (1735—1821)—долгое время был французским послом в Константинополе, где служил, между прочим, посредником во время мирных переговоров между Россией и Турцией. По возвращении во Францию в 1785 г. был назначен министром без портфеля в кабинете Неккера, а после взятия Бастилии занял пост министра двора, потом министра внутренних дел. Эмигрировал в 1790 г., жил в разных столицах Европы, побуждая державы организовать повсеместное выступление в целях восстановления власти короля. С 1795 г. состоял при Людовике XVIII в качестве министра его двора.

[15] Breteuil Луи-Огюст, барон де (1733—1807)—прошел длинную дипломатическую карьеру; был послом в России, Швеции, Австрии. С 1783 г. министр двора. Стоял во главе реакционной дворянской партии и был главным советником Марии-Антуанетты. Был очень непопулярен и по своему высокомерному характеру и по австрийским симпатиям. Эмигрировал и по полномочию от короля вел тайные переговоры с державами о восстановлении во Франции старого режима, но не поладил с принцами и в 1791 г. был лишен своих полномочий.

[16] Campan Генриетта, урожденная Жене (1752—1822)—была чтицей при дочерях короля Людовика XV и потом состояла при Марии-Антуанетте. Основатель-

ница известного женского пансиона в Сен-Жермене во время революции, пользовалась большим вниманием со стороны Наполеона и потому подверглась гонениям после реставрации Бурбонов. Автор ценных записок о частной жизни Марии-Антуанетты.

[17] «Записки гр. Сегюра», стр. 281.

[18] D'Osmond, маркиз (1751—1838)—был назначен в 1791 г. послом при петербургском дворе, но не поехал туда, ввиду обострения отношений между Россией и Францией, и потом эмигрировал.

[19] Moustier Франсуа, граф де (1751—1817)—был послом в Соединенных штатах (1787) и в Берлине (с 1790 г.), тайно обсуждал с прусским королем план интервенции и потом был представителем принцев при коалиции; изобличен в измене, заочно осужден, вернулся в Париж только в 1814 г. с Бурбонами.

[20] Lessart Антуан де Вальдек де (1742—1792)—французский министр финансов (1790), министр внутренних дел (1791), заменил затем гр. Монморена в качестве министра иностранных дел.

[21] Chambonas Виктор-Сципион, маркиз де, был комендантом Парижа до 16 июня 1792 г., когда был назначен министром иностранных дел. В августе того же года эмигрировал в Лондон, где и умер в 1807 г.

[22] Намерение Екатерины II использовать Французскую революцию для отвлечения внимания Европы от ее завоевательских стремлений было разгадано также прусским посланником в России гр. Гольцем, который 14 февраля 1791 г. писал своему королю: «Предпочтение, которое оказывается Эстергази, заставляет подозревать, что императрица имеет особый интерес приковать внимание Европы к Франции и потому продолжение смут в этой стране не настолько ей неприятно, как она хочет это представить».

[23] Choiseul-Gouffier Габриэль-Флоран-Огюст, граф де (1752—1817)—был послом Людовика XVI в Константинополе, потом, с 1792 г., служил в России и был директором Публичной библиотеки. Возвратился во Францию в 1802 г.

[24] Cobenzl Людвиг, граф (1753—1809)—австрийский государственный деятель. Был послом в Копенгагене, Берлине и С.-Петербурге (1779), где принадлежал к кругу доверенных лиц Екатерины II.

[25] Имеются в виду великие князья Александр и Константин Павловичи.

[26] «Дневник Храповицкого», стр. 341.

ПИСАТЕЛЬ СЕНАК ДЕ МЕЙАН И ЕКАТЕРИНА II (1791 г.)

Статья Н. Голицына

I

Как в русской, так, в особенности, в иностранной историографии твердо установился взгляд, что все мероприятия Екатерины II, направленные против Французской революции, были плодом заранее обдуманного намерения, исполненного самого беззастенчивого маккиавелизма. Согласно этому взгляду, Екатерина воспользовалась революционными событиями исключительно для осуществления затаенных замыслов своей политики, главным образом, в отношении Польши. Прикрываясь личиной негодования против деятелей революции и горячего сочувствия к Людовику XVI, на избавление которого из рук «революционной черни» она призывала все державы Европы, она, тем временем, втайне расчищала путь для достижения иных целей, более близко и непосредственно касавшихся политических интересов России в тот момент.

Фактический ход событий, на первый взгляд, казалось бы, всецело оправдывает традиционное воззрение: Екатерина ничего или почти ничего не сделала для того, чтобы не на словах только, а на деле притти на помощь Людовику XVI и его семье. Все свое участие в борьбе средне-европейских держав с революционной Францией она ограничила словесными и письменными призывами к этой борьбе, а между тем, под шум намечавшейся против Франции интервенции, завершила удачным миром свою войну с Турцией, уничтожила польскую конституцию 3 мая 1791 г. и осуществила второй раздел Польши. Признание, исходившее от самой Екатерины и записанное ее секретарем Храповицким, дает подтверждение господствующему взгляду на отношение ее к Французской революции. 14 декабря 1791 г., при разборе московской почты, Екатерина сказала Храповицкому: «Я ломаю себе голову, чтобы подвинуть венский и берлинский дворы в дела французские».—Они не очень деятельны,— заметил на это Храповицкий. «Нет,—возразила Екатерина,—прусский бы пошел, но останавливается венский; они меня не понимают. Разве я неправа? Есть причины, которых нельзя сказать; я хочу впутать их в дела, чтоб иметь свободные руки. У меня много предприятий неоконченных, и надобно, чтоб они были заняты и мне не мешали».

Что может быть яснее и откровеннее этого признания? Екатерина выдала себя головой на суд истории этими немногими словами, оброненными ею в случайном разговоре с одним из своих приближенных. Французская революция с конца 1791 г. стала представляться ей самым подходящим средством, чтобы впутать своих возможных конкурентов в Польше, Пруссию и Австрию, в такую авантюру, которая могла бы позволить ей

действовать свободно и беспрепятственно на поприще, так давно ею облюбованном.

Таково установившееся мнение, и было бы бесполезно опровергать его, если рассматривать лишь реальные результаты екатерининской политики во все продолжение Французской революции. Но приводимые ниже документы, которые до сих пор не были вовсе использованы исторической наукой, позволяют поставить вопрос в иную плоскость. Они показывают, что политика Екатерины II в отношении Французской революции сводилась не только к использованию революции в целях втянуть во французские дела Пруссию и Австрию, а самой иметь свободные руки для осуществления планов в отношении Польши. Наши материалы показывают, что Екатерина II уже со второй половины 1790-го года начала пристально интересоваться французскими делами и, обеспокоенная развитием событий, угрожавших «делу всех монархов», работала над планами организовать на русские деньги армию принцев для интервенции во Францию.

Интересоваться революцией Екатерина начала сравнительно поздно; на взятие Бастилии она отозвалась лишь несколькими незначительными словами, сказанными Храповицкому, и только 15 ноября 1789 г. она впервые упомянула в письме к Гримму об установившемся во Франции «правительстве башмачников и сапожников»; с тех пор несколько выпадов против революции в письмах к Гримму изредка напоминают о том, что она обращала некоторое внимание на французские дела, но ничто не доказывает, чтобы она живо ими интересовалась. В значительной мере это объясняется тем, что она была слишком занята двумя войнами, с Турцией и со Швецией, чтобы отвлекать свою мысль происходящим на другом конце Европы. Только после мира со Швецией (3/14 августа 1790 г.) Екатерина более пристально стала приглядываться к тому, что делалось в Париже. Прежде всего, она велела своему посланнику во Франции, И. Симолину, выслать на родину всех находящихся там русских (август 1790 г.)[1]. В письме к Гримму от 12 сентября она впервые употребляет, говоря о Национальном собрании, выражение, которое потом часто встретится в ее переписке: «гидра о тысяче двухстах головах». Упоминая в том же письме о Марии-Антуанетте, Екатерина, как будто, берет на себя некоторое обязательство притти ей на помощь: «Французская королева,— пишет она,—может рассчитывать на то, что я сочту себя обязанной помогать ей всюду, где я смогу быть ей полезной; друг и верная союзница ее братьев [т. е. Иосифа II и Леопольда II] не может думать иначе»[2].

Эти признаки более усиленного внимания к французским делам после заключения мира со Швецией изобилуют в переписке Екатерины с Гриммом и в первые месяцы 1791 г. Так, 13 января она пишет ему: «У меня кровь кипит за 700 миль от вашей родины, когда я вижу, что там происходит... Никогда не знаешь, живы ли вы среди убийств, массовых избиений и смут в гнезде разбойников, которые овладели управлением Франции и которые превратят ее в Галлию времен Цезаря. Но Цезарь их покорил. Когда же придет этот Цезарь? О, он придет, не смейте в этом сомневаться»[3]. 15 апреля Екатерина, после новой выходки против революции, прибавляет: «Ma basta, я бы сочинила более обширную записку, чем все то, что было написано от начала «демократии»; еслиб в этом огромном вопросе я дала волю своему перу, оно рассказало бы вам недурные вещи и наскучило бы вам до смерти»[4].

СЕНАК ДЕ МЕЙАН

Гравюра Ш. Бервика 1783 г., с портрета работы Ж. Дюплесси

Музей изобразительных искусств, Москва

Вот полупризнание, которое должно быть отмечено. Исполнила ли Екатерина свое намерение «сочинить обширную записку» по поводу революции? Я считаю себя вправе ответить утвердительно на этот вопрос. Обстоятельства, заставившие ее взяться за перо, до сих пор не были выяснены, ибо в поле зрения исследователей не попал ряд важных для решения данного вопроса документов, и, кроме того, занимавшиеся этой эпохой, видя и изучая результаты контрреволюционной политики Екатерины II, часто не принимали во внимание те перемены, которые претерпела эта политика в разные эпохи революции.

II

Французский историк де Ларивьер в своей книге «Catherine II et la Révolution française» (Париж, 1895) посвятил несколько интересных и живо написанных страниц пребыванию в России писателя Сенака де Мейана. Сенак был сыном лейб-медика Людовика XV и родился в 1735 г.; всю свою юность он провел при дворе, в зрелые годы занимал должность губернатора в нескольких провинциях, затем был главным интендантом армии; в 1788 г. он даже хлопотал о назначении его генеральным контролером финансов, но эта должность была занята Неккером. Он был плодовитым писателем-публицистом; начал он свое писательское поприще с довольно обычной в его время литературной подделки, выпустив в свет фальшивые «Mémoires d'Anne de Gonzagne, princesse Palatine», им самим составленные; затем он обратил на себя внимание книгой «Considérations sur la richesse et le luxe», где полемизировал с Неккером. Ему же принадлежат: «Considérations sur l'esprit et les mœurs» (1787), «Du gouvernement, des mœurs et des conditions en France avant la Révolution» (1795), «Des principes et des causes de la Révolution en France» (1790, 1791), «Mélanges de philosophie et de littérature» (1799), два романа «Les deux cousins» (1790) и «L'Emigré» (1797) и др. Сенак де Мейан не принадлежал к числу выдающихся писателей даже своего времени; это был лишь типичный bel esprit XVIII века, хорошо владевший пером, писавший трактаты с претензией на ученость и романы с претензией на сатиру, но не обладавший ни познаниями истинного ученого, ни необходимою для сатирика высокой принципиальностью. В октябре 1790 г. он обратился к Екатерине II с письмом, в котором предлагал ей свои услуги для того, чтобы написать историю России в XVIII веке и, в частности, в ее царствование. Началась переписка через посредство русского резидента в Венеции, Мордвинова; Екатерина согласилась на приезд Сенака де Мейана в Россию, и в начале марта 1791 г. он пустился в путь.

Ларивьер обосновал свой рассказ о пребывании Сенака де Мейана в России на напечатанных в XLII томе «Сборников Русского Исторического Общества» письмах к нему Екатерины, на переписке ее с Гриммом (Сборники, т. XXIII) и на очерках Сент-Бёва и Лескюра о Сенаке, довольно благоприятных для последнего. Более позднее издание, а именно «Сочинения имп. Екатерины II», изданные Академией наук, значительно дополняют и исправляют сведения Ларивьера (т. XI, 1906 г.), но не ослабляют его выводов относительно личности Сенака де Мейана. «Вульгарный честолюбец,—пишет о нем Ларивьер,—придворный, лишенный такта, Сенак поехал в Россию с единственной целью занять там важный пост. Из своей работы по русской истории он оставил лишь несколько страничек, которые не пришлись по душе Екатерине или которых она, может быть, даже

и не прочла целиком, и вывез из своего путешествия лишь смехотворную параллель собора св. Петра в Риме с Екатериной II, образчик грубой лести и литературного безвкусия».

Но, помимо указанных документов, цитированных Ларивьером и обнародованных в «Сочинениях имп. Екатерины II»[5], существует еще целый ряд неопубликованных (в большей своей части) проектов, записок и заметок Екатерины, которые бросают неожиданный свет на обстоятельства приглашения Сенака де Мейана в Россию и его пребывания там.

В фондах бывш. Государственного архива (ныне перевезенных в Москву и хранящихся в ГАФКЭ) хранится значительное количество бумаг Екатерины, относящихся к ее сношениям с иностранными державами. Сюда входят собственноручные проекты депеш и инструкций ее представителям за границей, заметки по поводу их донесений, записки к ее министрам, рассуждения по вопросам внешней политики, и все это по большей части недатированное, написанное наспех, одним росчерком пера. Это, так сказать, лаборатория дипломатии Екатерины II, вскрытая ею самой. Это ценное собрание бумаг было использовано до сих пор в такой незначительной степени, что можно считать его как бы совершенно неопубликованным. К некоторым документам этого фонда мне и хотелось бы привлечь внимание читателей[6].

13 марта 1791 г. Екатерина написала Сенаку де Мейану письмо, которое он должен был получить по приезде своем в Варшаву и в котором она указывала ему, как он должен был объяснять всем спрашивающим причину своего путешествия в Россию: «Мне кажется,—писала она,— что проще всего и ближе всего к истине будет, если вы поводом к вашей поездке укажете не что иное, как любознательность путешественника и писателя, который, будучи удален обстоятельствами от дел, рад воспользоваться своим досугом, чтобы собрать материалы для истории; что, зная, что моя частная библиотека довольно богата рукописями по русской истории, вы проведете несколько месяцев в Петербурге, дабы ознакомиться с ними, и что вы имеете надежду и обещание, что эти рукописи будут вам сообщены».

К чему эти предосторожности, так мало свойственные привычкам Екатерины, когда ей нужно было привлечь какого-нибудь выдающегося иностранца к своему двору? Не имела ли она особого основания к тому, чтобы, по возможности, окутать какой-то сугубой тайной факт предстоящего прибытия Сенака де Мейана в Петербург? В конце апреля Сенак явился в столицу России. В записке императрицы к графу Безбородко, к которому Сенак должен был прежде всего обратиться по приезде, она предписывает своему министру дать путешественнику отдохнуть дня два, после чего, добавляет она, «лучшее и менее о м б р а ж а подающее может быть, чтоб воскресенье представился яко вояжер, а там ему назначу час в Эрмитаже со мною поговорить после обеда, во вторник что ли?». В записке к самому Сенаку от 3/14 мая Екатерина, назначая день их предстоящего свидания, пишет ему: «Я устно передам вам причину, помешавшую мне видеть вас раньше; я дала несколько дней болтунам выговориться, чтобы сократить их болтовню, и говорила только с принцем Нассау»[7].

Вот еще предосторожности, которые казались бы совершенно излишними, если бы дело шло только о приеме при дворе писателя, обладавшего некоторой известностью и прибывшего в Россию исключительно с целью писать историю царствования «северной Семирамиды». Только два лица

посвящены в тайну: «фактотум» Екатерины и наиболее доверенный исполнитель ее воли, Безбородко, и ее любимый собеседник в данный момент, адмирал российской службы принц Нассау-Зиген. Последний дал Сенаку понять, каково будет главное содержание его разговоров с Екатериной. При свидании с ним он сказал ему, что императрица будет много говорить с ним о делах Франции, но дальше в своей откровенности не пошел[8]. Нам ничего неизвестно о тех объяснениях, которые Екатерина устно дала Сенаку де Мейану по поводу мотивов, заставивших ее отсрочить свидание с ним. Но мы имеем возможность установить эти мотивы с помощью нескольких документов из того фонда, о котором упомянуто выше.

III

«Г-н С. д. М. [Сенак де Мейан] имеет репутацию честного человека. Он француз. На французов в настоящее время смотрят в монархических государствах, как на своего рода зачумленных в области политики и государственного управления. Было бы очень желательно выслушать от него самого его исповедание веры, прежде чем говорить с ним о составлении исторического труда, который он намеревается предпринять». Таково содержание записочки Екатерины, хранящейся среди ее неизданных бумаг. Написанная до свидания с Сенаком де Мейаном, она вскрывает интимную мысль императрицы, ее желание знать, с кем она будет иметь дело, и обдумать в соответствии с этим свой образ действий. Но действительно ли «составление исторического труда» интересовало ее больше всего в ожидании появления Сенака де Мейана при ее дворе? Среди рукописей Екатерины, входящих в состав собрания неизданных бумаг ее по вопросам внешней политики, находится лист с нижеследующим заголовком, написанным ее разгонистым и четким почерком: «Тетради (cahiers), содержащие мысли и советы, клонящиеся к восстановлению монархического правления и к защите христианской религии в королевстве Франции». Этот заголовок относится к целой серии бумаг, трактующих один и тот же предмет, и, что особенно знаменательно, имя Сенака де Мейана несколько раз встречается в них. Но, помимо того, и что еще важнее, не может быть никакого сомнения в том, что эти «тетради» были составлены Екатериной до приезда Сенака де Мейана и ввиду его приезда. Они имели целью служить ему руководством в тех переговорах, которые императрица намеревалась поручить ему. Вот, во-первых, несколько строк, непосредственно касающихся этих переговоров:

«Г-н С. д. М. получит от меня письмо для графа д'Артуа, с тем, чтобы последний дал полную веру тому, что он ему скажет от моего имени; такое же письмо он получит и для принца Конде». Какова же цель предполагаемой миссии Сенака? Несколько страниц, писанных целиком Екатериной, дают исчерпывающий ответ на этот вопрос. Привожу из них несколько выдержек:

«1) Г-н С. д. М. под предлогом здоровья должен отправиться к пизанским или другим каким водам в Италии; оттуда он проедет в Турин.

2) По прибытии в Турин он должен попытаться узнать, каковы мысли принцев, а именно графа д'Артуа и принца Конде, в отношении происходящего во Франции.

3) Каковы намерения короля сардинского в том же отношении.

4) Он должен по тому же предмету попытаться переговорить с г. Калонном; мнения последнего напечатаны, и, повидимому, он рассеял всякого

СТРАНИЦА ЗАПИСКИ ЕКАТЕРИНЫ II О ДЕНЕЖНОЙ СУБСИДИИ ФРАНЦУЗСКИМ ПРИНЦАМ

Сверху помета: «Только для г. С[енака] де М[ейана]»

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

рода сомнения относительно своих взглядов на обстоятельства, касающиеся его родины.

5) Если принцы и сардинский двор намерены остаться пассивными зрителями всего происходящего во французском королевстве, то, конечно, никто не имеет права вмешиваться, и этим все сказано; но

6) если принцы, исполненные ревности к делу монархии и к судьбе собственного своего дома и существования, в чем нельзя сомневаться, имеют намерение выработать план действий, направленный к тому, чтобы дать их родине возможность снова занять подобающее ей место в Европе, тогда нужно условиться относительно средств, и

7) г. С. д. М. имеет разрешение дать им понять, что в случае, если бы у принцев нехватило денежных средств, императрица всероссийская охотно будет содействовать успеху такого предприятия, лишь бы оно было поставлено на прочные основания для обеспечения его удачного исхода. Пусть они почтят императрицу своим доверием, а она, со своей стороны, будет им верной помощницей.

8) Все остальное сказано в приложенных тетрадях.

9) Королева Елизавета одолжила некоторую сумму денег Генриху IV, чтобы помочь ему овладеть престолом его предков. Она в обмен требовала у него Кале, Дюнкирхен и провинцию Бретань. Екатерина Вторая охотно одолжит принцам 500 тысяч рублей, чтобы выручить из пленения короля и королевскую семью и избавить его королевство от анархии; принцы возвратят ей эту сумму, когда смогут, но она ничего не требует от них, кроме их дружбы и обязательства, что она не будет названа во время предприятия и даже после него, ибо это окажет существенную услугу всей Европе; если же она будет названа, другие державы могли бы оказать

делу менее горячее содействие или даже помешать его успешному окончанию.

10) Когда в обладании г. С. де М. будут результаты вышеизложенных сведений или когда он будет осведомлен относительно всех указанных выше данных, он отправит подробное изложение их через курьера кн. Белосельского[9], с каковой целью предъявит ему прилагаемый приказ; впрочем, князю Белосельскому ничего неизвестно относительно этого плана, и не усматривается никакой необходимости сообщать ему о нем; напротив того, на обращенные к нему вопросы он будет в состоянии совершенно искренно отозваться, что он ничего о нем не знает».

Эта записка, состоящая из 10 пунктов, имеет и продолжение, содержащее пункты с 11-го по 27-й и озаглавленное «Jetées nécessaires à tirer au clair» (наброски мыслей или предположений, которые необходимо выяснить). Здесь содержится ряд вопросов и рассуждений по поводу французских дел и целая программа того, что должны предпринять принцы после своего вторжения на территорию Франции. В 26-й статье мы снова встречаемся с той мыслью, которая в предыдущей записке касается участия самой Екатерины в проектируемой интервенции во Францию: «Чем более силы принцев будут казаться ничтожными вначале,—пишет она,— и чем более помощь императрицы российской будет скрыта от держав, которые могли бы помогать принцам, тем более эти державы приложат усилий, чтобы им содействовать; а чем менее будет известно во Франции, каковы средства, коими принцы располагают, тем менее сил будет двинуто против них и тем блистательнее окажется их успех».

Другая записка, в заголовке которой написано: «Pour M-r de S. de M. seul» («Только для г. Сенака де Мейана»), трактует вопрос о той денежной субсидии, которою Екатерина собиралась снабдить братьев Людовика XVI и о которой она говорит в статье 9-й приведенной выше записки. Екатерина хотела придать делу о субсидии форму конвенции в 9 статьях. Вступительная часть проекта этой конвенции формулирована так: «Ввиду того, что императрица всероссийская принимает на себя обязательство выдать полмиллиона руб., признается необходимым принять меры предосторожности в том отношении, чтобы эта сумма была употреблена согласно своему назначению, в пользу восстановления монархии или монархического правления и охранения христианской религии, как сказано об этом в приложенных тетрадях, а не для какого-либо иного употребления; и в этих видах, когда г. С. д. М. в достаточной мере ознакомится с образом мыслей графа д'Артуа и если он найдет его склонным к предприятию, направленному в пользу восстановления монархии и охраны христианской религии, он предложит ему сговориться и заключить с этой целью конвенцию с императрицей всероссийской, вступительная часть коей имеет содержать в себе общие принципы, сообщенные обеими сторонами и согласованные между ними, а именно со стороны императрицы в ней будет оговорено: что дело короля Франции есть дело всех государей; что так как Европа заинтересована в том, чтобы королевство Франция снова заняло то место, которое должно принадлежать державе таких размеров, такой густоты населения и такого богатства, то императрица заверила графа д'Артуа в тех благоприятных намерениях, коих она держится в этом вопросе, и ввиду того, что и этот принц, оказавшийся исполненным соответствующими чувствами, единственно достойными его высокого рождения, т. е. желанием увидеть восстановленными,

согласно пожеланиям нации, выраженным в наказах, монархию и религию его предков, сообщил об этом императрице, то они согласились между собой установить нижеследующие статьи». В этих статьях, с одной стороны, граф д'Артуа берет на себя обязательство употребить все силы для избавления Людовика XVI и его семьи из плена и для восстановления монархии во Франции, а с другой стороны, Екатерина обязуется выдать ему единовременно 500 тысяч рублей для образования необходимого для такого предприятия корпуса войск, который должен быть поставлен под начальство принца Конде и других опытных полководцев. Императрица

КАРЛ НАССАУ-ЗИГЕН
Миниатюра на кости Ф.-Г. Фюгера
Эрмитаж, Ленинград

не требует ни гарантий этого займа, ни процентов, довольствуясь одним словом графа д'Артуа, что сумма эта будет ей возвращена, когда ему будет возможно уплатить ее. Она настаивает только на том, чтобы она сама не была ни в коем случае названа ни во время предприятия, ни после его успешного окончания и чтобы в набранном на ее средства отряде царствовала самая строгая дисциплина.

Таким образом, Екатерина намеревалась возложить на Сенака де Мейана ответственную миссию при принцах—братьях Людовика XVI по организации контрреволюционной интервенции. Расположенная в пользу французского писателя той перепиской, которую она вела с ним зимой 1790/1791 г., считая его достаточно опытным в ведении сложной дипломатической негоциации, как человека, занимавшего достаточно видные

должности при старом режиме, она задумала доверить ему это дело, не предупреждая его, однако, ни единым словом о своем намерении в тех письмах, которые она ему писала до его прибытия в Петербург.

Ссылка Екатерины в обеих цитированных записках на «приложенные тетради» (cahiers ci-joints) показывает, что вся совокупность сохранившихся документов по поводу организации контрреволюционного движения (заголовок их приведен мною выше) была предназначена для «одного» Сенака де Мейана.

IV

Предпринятая Екатериной работа по выяснению ее точки зрения на происходившие во Франции события и по разработке мер, необходимых для восстановления там старого порядка, поражает своей огромностью: более 50 страниц в лист и не подлежащее учету количество мелких заметок, спешных набросков и отдельных листков, относящихся к тому же предмету, доказывают, до какой степени русская императрица была поглощена этим трудом и какое важное политическое значение она ему придавала. Из всего этого собрания рукописей Екатерины до сих пор был опубликован только один документ. Это обширная записка, начинающаяся словами: «Дело короля Франции есть дело всех монархов» («La cause du roi de France est celle de tous les rois»). Она была напечатана (без указания автора) в «Русском Архиве» 1866 г. и перепечатана оттуда в приложении к упомянутой выше книге Ларивьера. В обоих случаях записка отнесена к 1792 г.; но мы вправе теперь утверждать, что, так как она была предназначена для Сенака де Мейана и входила в состав тех «тетрадей, содержащих мысли и советы» и проч., которые должны были служить ему руководством, то время возникновения ее должно быть отодвинуто, по меньшей мере, на один год назад[10].

Содержание этой записки, занимающей 15 полулистов, исписанных сверху донизу, трудно охарактеризовать, ввиду крайнего разнообразия мыслей и беспорядочности в изложении их. Екатерина предлагает в ней образовать корпус войск в 10 000 чел., и притом из иноземцев, к которым присоединилось бы все находящееся в эмиграции французское дворянство; главная задача этого корпуса—разогнать «это собрание адвокатов и молодых неопытных людей», которые только в силу своей дерзости и вопреки воле своих доверителей держат в своих руках судьбу Франции. Екатерина настаивает на возобновлении деятельности старых парламентов и на устройстве нового управления на основе наказов, данных депутатам Генеральных штатов. «Так как вся Франция,—пишет Екатерина,—находится в состоянии полной анархии, то успех хорошо налаженного предприятия должен быть несомненен». Эта мысль о слабости сопротивления, которое могла бы революционная Франция оказать интервенции, красной нитью проходит через весь мемуар. «Вся Франция больна упадком духа» и разбродом мнений, поэтому следует ободрить все консервативные элементы в ней и объединить их вокруг одной программы, главным пунктом которой является восстановление власти короля.

То же собрание собственноручных бумаг Екатерины II содержит несколько документов по отдельным вопросам, так или иначе связанных по содержанию с только-что указанной запиской. Некоторые из этих документов имеют особые заголовки, как, например, «Набросок (jetée) относительно освобождения королевской семьи», «Размышления о короле

сардинском», «Об императоре германском», «Об Испании». Первая из этих записок («Набросок относительно освобождения королевской семьи») содержит некоторые любопытные замечания. Несколько выражений и фраз ее, частично совпадая с соответственными местами текста только-что цитированной записки («La cause du roi de France est celle de tous les rois»), вместе с тем, дополняются здесь многими новыми и неожиданными рассуждениями. Среди средств, которые Екатерина предлагает использовать для освобождения Людовика XVI, указываются, например, следующие: «Не может ли живущее в Париже дворянство в полном составе явиться к королю и освободить его из его заключения, так же как и его семью? Не присоединится ли к дворянам и его лейб-гвардия? Полагают, что это освобождение не совершится никогда, если принцы не вступят с военной силой во Францию. Раз король будет находиться вне своей столицы, не вправе ли он тогда отправиться туда, куда он захочет? Не будет ли легче произвести это освобождение из Сен-Клу, а не из столицы? Не выполнит ли этого сам г. Лафайет? За такую услугу нельзя ли обещать ему что-либо, что могло бы удовлетворить его честолюбие? Сам Мирабо не пойдет ли навстречу этому предприятию?». Упоминание имени Мирабо позволяет установить приблизительную дату написания этой записки: Мирабо умер 2 апреля (н. ст.) 1791 г. Значит, Екатерина писала этот «набросок» до получения в Петербурге известия о его смерти. Другое указание позволяет еще более уточнить дату составления «наброска». Он заканчивается в несколько минорном тоне в отношении успеха предприятия: «Повидимому,—пишет Екатерина,—после того, как сам король велел обезоружить в своих покоях, по совету г. Файета [sic!], тех дворян, которые явились предложить ему свои шпаги и свои жизни, нельзя особенно рассчитывать на содействие в восстановлении монархии со стороны короля, у которого недостает либо воли, либо возможности, а может быть, и того и другого, чтобы самому себе помочь в настоящий момент. Но следует при этом заметить, что в данном случае не нашлось ни одного рыцаря Баярда, который, без сомнения, не потерпел бы, чтобы его обезоружили, когда он вооружился на защиту своего короля».

В этом месте Екатерина намекает на происшествие, случившееся 28 февраля (н. ст.) 1791 г. и получившее название «journée des poignards», когда группа дворян, явившихся в Тюильри на помощь королю, была обезоружена Национальной гвардией. Весть об этом событии могла дойти до Петербурга лишь в первой половине марта (ст. ст.)[11]. Таким образом, дата составления «наброска» определяется этими двумя указаниями, содержащимися в нем самом: он мог быть написан между половиной марта и половиной апреля 1791 г.[12].

Записка «Об императоре германском» вскрывает раздражение Екатерины против ее политических противников данного момента и бросает некоторый свет на ее собственные намерения. «Нельзя, повидимому,—пишет она,—рассчитывать всецело на империю и императора [Леопольда II] для быстрого и действительного восстановления вещей. Впрочем, немало заигрываний происходит между венским кабинетом и лондонским. Последнего и следует больше всего опасаться в контрреволюции, ибо «демон-кратия» заставила до невероятной степени нагнуть чашу весов в пользу Англии и ее союзницы Пруссии. Они не пренебрегут никаким средством, чтобы продлить ее [т. е. «демон-кратию»] насколько возможно долго, и уже теперь прусский посланник в Париже втирается сколько может в круги

предводителей демократии и тех, кто посещает клуб якобинцев[13]. А между тем, когда они заметят, что императрица всероссийская поддерживает принцев, они не преминут удвоить или, по крайней мере, усилить свою зажигательную деятельность».

Вот причина, почему Екатерина хотела во что бы то ни стало сохранить инкогнито в своих отношениях к эмигрантам и скрыть истинную цель приглашения Сенака де Мейана в Россию.

Записка с заголовком «Об Испании» сопровождается интересным добавлением, в котором Екатерина высказывает несколько сомнений относительно искреннего желания графа д'Артуа, признанного вождя эмигрантской контрреволюции, способствовать успеху предприятия. «Может быть, он отчаивается в успехе,—замечает она,—может быть, он признает дело неосуществимым, ознакомившись с местными условиями, может быть, наконец, он связан приказаниями или предписаниями короля, своего брата, и страхом повредить еще более интересам последнего?». В том же документе Екатерина упоминает о Калонне и, в связи с ним, о Сенаке де Мейане. «Г-н Калонн проехал через Мюнхен в Баварии, говорят, что он едет в Вену; полагают, что было бы благовременно и полезно, чтобы г. С. д. М. [Сенак де Мейан] попытался встретиться с ним по пути и чтобы он переговорил с ним обо всем том, что содержится в этих тетрадях, частью составленных (calqués) по писаниям г. Калонна, чтобы он также постарался раскрыть и изучить взгляды последнего, и если он найдет их соответствующими тем, которые высказаны выше, условился бы с ним о возможностях и средствах достигнуть успеха. Г-н Калонн видел в Турине графа д'Артуа, у них были там долгие совещания; г. Калонн должен в особенности хорошо знать намерения короля Франции и причину поездки графа д'Артуа в Венецию. Это облегчило бы всю остальную часть миссии г. Сенака де Мейана. Если бы оказалось правдой, что граф д'Артуа удалился от сардинского двора, что он без крова и в бегстве, без помощи и защиты, как предполагают иные, то было бы как раз своевременно, если его взгляды ни в чем не противоречат этому, предложить ему то денежное вспомоществование и те советы, которые сформулированы в настоящих тетрадях; они будут тем действительнее, что упадут, как манна небесная, в такую минуту, когда их меньше всего можно было ожидать».

Граф д'Артуа приехал в Венецию 10 января (н. ст.) 1791 г. с намерением дождаться здесь проезда императора Леопольда II, тогда как Калонн в это же время направился в Вену, чтобы устроить это свидание. Граф д'Артуа пробыл в Венеции до 3 марта, после чего вернулся в Турин, не дождавшись императора, и лишь 17 мая он имел с ним свидание в Мантуе[14]. Эти подробности помогают установить приблизительную дату записки Екатерины: она должна была быть написана до получения ею известия о возвращении графа д'Артуа в Турин (3 марта н. ст.). Но, вместе с тем, возникает одно недоумение: как мог Сенак де Мейан встретиться с Калонном по пути в Вену и переговорить с ним по существу вопросов, заключавшихся в известных нам «тетрадях», когда таковые еще не были сообщены ему? Сенак до отправления своего в Россию жил в Венеции; повидимому, у императрицы возникло одно время предположение посвятить его в замышляемое ею дело еще до личного с ним знакомства, снабдив его всеми необходимыми материалами в месте его пребывания, и тем ускорить осуществление ее идеи. Она затем отказалась от этого намерения и продолжала готовить свои пространные записки в ожидании приезда

Сенака в Петербург, чтобы встретить его вооруженною всеми сведениями о французских делах, какие ей были доступны, не открывая ему заблаговременно цели его вызова в Россию. Таково единственное, мне думается, объяснение, которым можно разрешить вызываемый приведенной запиской Екатерины вопрос.

V

Наконец, одна записка, начинающаяся той же излюбленной формулой «La cause du roi de France est celle de tous les rois», заслуживает особого внимания. Она касается вопроса об участии короля шведского Густава III в предполагаемом вторжении во Францию. Известна роль, которую Густав захотел сыграть в подавлении революции. Чтобы быть ближе к будущей

СТРАНИЦА ЧЕРНОВОЙ ЗАПИСКИ ЕКАТЕРИНЫ II О ВОССТАНОВЛЕНИИ СТАРОГО ПОРЯДКА ВО ФРАНЦИИ

Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

арене борьбы, он 24 мая 1791 г. покинул Швецию и прибыл 14 июня в Аахен[15]. «Проявляя на этом германском театре,—говорит Сорель,—суетливую торжественность и несколько смешную эффектность, которыми он оттенял все свои поступки, даже самые серьезные и самые благородные, он выставлял себя в роли вождя партии и становился в позу предводителя и оруженосца монархической Европы»[16]. Намерение Густава III нашло столь же горячую, сколь небескорыстную поддержку со стороны Екатерины. Постоянно колеблясь, со времени мира с Россией, между двумя враждебными лагерями, Россией — с одной стороны, Пруссией и Англией—с другой, и науськиваемый двумя последними на то, чтобы возобновить наступление против своей северной соседки, Густав в течение зимы 1790/1791 г. постарался извлечь из обеих сторон наибольшие выгоды для себя, не высказываясь ни за ту, ни за другую. Но к весне он соблазнился перспективой стать главным действующим лицом в восстановлении старого порядка во Франции; он почувствовал себя настолько ослепленным ролью, которую мечтал сыграть, что пренебрег непосредственными интересами своего королевства и весь ушел в это предприятие, к великому удовольствию Екатерины II. Уже с октября 1790 г. у нее был свой пред-

ставитель в Стокгольме, генерал барон фон дер Пален[17]; ему было специально поручено подогревать рвение Густава III к «делу всех монархов». Когда последний выехал в Аахен, Пален сопровождал его туда, а в Стокгольм был назначен постоянный посланник, граф Штакельберг.

Миссия Палена имела успех, цель была достигнута. Вспоминая в конце июля 1791 г. о беспокойствах, доставленных ей Густавом III, Екатерина имела право сказать Храповицкому: «Я рада, что на время могла его занять французскими делами»[18].

К достижению этой цели и направлен тот мемуар, о котором идет речь. В черновой рукописи его имелся следующий заголовок, впоследствии зачеркнутый императрицей: «Сводка того, что барон фон дер Пален имеет сказать королю шведскому касательно дел Франции». Таким образом, мемуар первоначально не был предназначен для Сенака де Мейана, но совпадение многих его выражений с таковыми же в большой записке («La cause du roi de France») позволяет думать, что он изготовлялся Екатериной одновременно с последней, т. е. в первые месяцы 1791 г., и можно допустить, что он также должен был быть сообщен и Сенаку в виде материала вместе с прочими приложениями к большой записке, охарактеризованными выше. «Густав III, продолжатель Густава-Адольфа,—пишет Екатерина,—идя по стопам этого героя, не может ли соединиться с принцами французской крови и, заставив их выбрать себя предводителем их войска по примеру Густава-Адольфа, сыграть во Франции еще более блестящую роль, снова возведя на престол предков одного из потомков Генриха IV и Людовика XIV, законного государя? Корпуса войск в 10 000 человек было бы достаточно, чтобы пройти всю Францию из конца в конец в настоящий момент. Чтобы иметь такой корпус, достаточно было бы полумиллиона рублей. Столь незначительная сумма могла бы быть добыта посредством займа в Генуе, а Франция со временем погасила бы этот долг».

Екатерина не обещает здесь сама ссудить эмиграции эту сумму, как она это делает в записках, предназначенных для Сенака де Мейана; но так как и там она предполагала свою денежную помощь облечь в форму займа в Генуе, то следует полагать, что и в настоящем документе она имеет в виду финансировать этот заем, тщательно скрыв свое участие в нем.

К мемуару присоединен проект соглашения между королем шведским и принцами. Статья 3-я этого проекта изложена так: «Так как с этой целью [восстановления монархии во Франции] необходимо иметь корпус регулярных войск, то принцы обещают присоединить те войсковые части, которые они набрали, к тем, которые е. в. король шведский великодушно предназначил для этого дела, а для установления большего единения, дружбы и согласия между принцами и е. в. королем шведским принцы возлагают на него и избирают его главнокомандующим тех и других войск, давая обещание служить под начальством государя столь же доблестного, сколь опытного и исполненного рвения к общему делу, выше сего означенному». Король должен составить совет, «куда имеют войти принцы и несколько мужественных и разумных лиц» (ст. 6). В заключительной части соглашения выражена мысль, что ввиду полного «разброда мнений» между французами, хотя бы и самыми благонамеренными, относительно способов осуществления предприятия, личность короля шведского должна оказаться тем центром и связующим звеном, которые необходимы для успеха дела, и поэтому-то он должен быть выбран и всеми признан «предводителем монархической или королевской федерации». «Если бы он, посо-

ветовавшись с принцем Конде и гр. д'Артуа, стал во главе всего только десятитысячного отряда, то мы увидели бы, как все французское дворянство стеклось бы под его знамена; его лагерь вызвал бы вновь к жизни старый рыцарский дух, и контрреволюция не могла бы встретить серьезных препятствий».

Таковы были мысли, которые Екатерина внушала своему шведскому соседу. Они значительно отличаются от тех, которые она высказала в писаниях, предназначавшихся для Сенака. Екатерина хотела заставить Густава III поверить, что наилучшее удовлетворение своей жажды деятельности он может найти в борьбе с революцией, а отнюдь не в новой авантюре против

«КОАЛИЦИЯ КОРОЛЕЙ ИЛИ КОРОНОВАННЫХ РАЗБОЙНИКОВ ПРОТИВ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Народный французский лубок времени первой коалиции (1793 г.)

Изображены: Питт — лисица (рассыпает деньги), английский король — индюк, король испанский — бык, император австрийский — страус, Екатерина II — свинья, кормящая своим молоком братьев французского короля, король прусский — филин, герцог брауншвейгский — боров, папа — осел и др.

На заднем плане — Французская республика ведет отряд республиканской армии, который должен разогнать всю шайку разбойников

Исторический музей, Москва

России, на что его подбивали недоброжелатели России, король прусский и Питт. Свою денежную помощь контрреволюции она обусловливала только одной оговоркой: она требовала, чтобы восстановление монархии во Франции совершилось по программе Калонна, т. е. чтобы в основу будущего государственного устройства были положены наказы, данные тремя сословиями депутатам Генеральных штатов; никакой иной программы она не допускала. Она, конечно, ошибалась относительно легкости предприятия, и от этого мнения она не отказалась в течение всего 1791 г.: «2000 казаков и 6000 кроатов достаточно, чтобы расчистить путь от Страсбурга до Парижа»,—писала она Гримму в сентябре этого года[19]; десятка тысяч человек, как мы видели, казалось ей достаточным для той

же цели в ее записках Сенаку де Мейану и Густаву III. Это соответствовало и ее интересам в момент, когда она старалась вовлечь своего беспокойного шведского соседа в интервенцию против Франции: нужно было изобразить предприятие достаточно легким и не требующим больших усилий. Но впоследствии, когда другие мотивы заставили ее толкать Пруссию и Австрию на решительные действия против революции, она уж не вернулась к этим иллюзиям, да они и не отвечали больше ее расчетам: чтобы проповедывать союз двух великих держав против Франции, важно было не преуменьшать, а, напротив того, преувеличивать опасность революции для Европы и силу революционных армий.

VI

Предшествующий разбор неизданных бумаг Екатерины II позволяет сделать ряд выводов. Екатерина стала внимательно приглядываться к событиям, развертывавшимся во Франции, лишь в последние месяцы 1790 г. и в первые месяцы 1791 г. В этих событиях она прежде всего увидела грозившую «делу всех монархов» опасность, и, с единственной целью положить предел дальнейшему росту этой опасности, она занялась выработкой плана восстановления абсолютной монархии во Франции. Она еще не думала об образовании какой-либо европейской коалиции против революционной Франции; ее намерения заключались только в том, чтобы дать эмигрантам, как партии, наиболее близко заинтересованной в монархическом перевороте, средства активно участвовать в том, что ей казалось так легко выполнить, ссудив их некоторой суммой денег. Дав «волю своему перу», Екатерина формулировала приходившие ей в голову мысли в целом ряде записок, составивших «тетради», которые должны были служить руководством для лица, намеченного быть ее представителем при заинтересованной стороне. Но на кого именно она возложит эту миссию? Никто из видных представителей эмиграции, который мог бы сообщить императрице точные сведения о происходившем во Франции и о намерениях братьев Людовика XVI, еще не появлялся на петербургском горизонте, а из окружающих Екатерину никто не казался ей подходящим для этого поручения. Предложение Сенака де Мейана приехать в Россию, чтобы писать историю ее царствования, внушило Екатерине мысль воспользоваться этим случайным обстоятельством, чтобы возложить на него поручение быть ее представителем при принцах. Предрасположенная в его пользу его репутацией, как человека честного и писателя, не лишенного некоторых достоинств, она, никому об этом не сообщая и, прежде всего, тому самому лицу, на которое она собиралась возложить эту деликатную миссию, разработала в тиши своего кабинета целый план действий, в котором Сенаку должна была принадлежать первенствующая роль.

Сенак де Мейан был представлен императрице в ее Эрмитаже (в Петербурге) в воскресенье 4/15 мая; во вторник 6/17 мая он был принят ею в Царском селе и провел в разговоре с нею около часа[20]. На следующий день Екатерина написала ему очень интересное письмо, в котором она дает свою собственную характеристику. Это было свидетельство доверия, которое она не оказала бы первому встречному[21]. Несколько дней спустя (16/27 мая) она пишет Сенаку де Мейану: «Я попрошу вас в один из дней наступающей недели приехать ко мне, и тогда вы мне скажете все то, что вы, как вы думаете, забыли сказать... Я надеюсь, что при третьем разговоре вы без труда будете беседовать со мной». Так как Сенак до 22 мая

проболел, то он был принят императрицей лишь 29 мая (9 июня)[22]. Это было их последнее свидание; после этого Екатерина виделась с ним только один раз за обедом в Царском селе, куда он был приглашен перед своим отъездом в Москву; но после обеда он не был принят в особой аудиенции, как он того ожидал, и должен был удалиться, не поговорив с Екатериной вновь[23]. Что же произошло между вторым свиданием его с императрицей 6 мая и беседой их 29 мая?

В своем письме к Екатерине от 27 мая (7 июня) Сенак писал: «Я уже давно узнал с чувствительным сожалением, что причины, которые мудрость вашего в-ва сочла нужным принять во внимание, препятствовали моему желанию явиться перед вами. Вы были добры меня о том предупредить и указать, что вы желали положить предел болтовне, которая, как мне кажется, совершенно прекратилась. Ваше в-во затем дали мне надежду, что вы позволите мне явиться к вам в течение прошлой недели. Признаюсь вам с полной искренностью, я думал, что моя надежда обманута. Я боялся, что я чем-нибудь не угодил вашему в-ву или что мне приписали какие-либо речи или дурно истолковали то, что я сказал, наконец, что у меня сорвалось в моем последнем письме что-либо такое, что не понравилось вашему в-ву»[24]. Сенак де Мейан, сам того не подозревая, коснулся той загадки, которая могла объяснить перемену отношения Екатерины к нему: после двух разговоров с ним она составила себе о нем определенное мнение, и это мнение было вовсе не в его пользу. 28 мая, читая полученное от Сенака письмо, Екатерина воскликнула: «Ох, скучно—он слишком держится французских принципов»[25]. Тем не менее, она написала ему в тот же день записку с приглашением приехать на следующий день обедать в Царское село. Но ее мнение о нем уже не могло перемениться: Сенак де Мейан совершенно разочаровал ее в отношении возможности возложить на него ту миссию, которую она ему предназначала. Его главный недостаток состоял в том, что он «слишком держится французских принципов»; это значило, что Екатерина не нашла в нем достаточно послушный отголосок своим собственным взглядам на революцию. Со свойственной ей ловкостью и всецело занятая своей идеей—сделать из Сенака де Мейана поборника своего плана восстановления монархии во Франции при братьях Людовика XVI, она вызвала его на разговор о событиях дня и очень скоро разгадала, что он далеко не разделял ее собственных мнений.

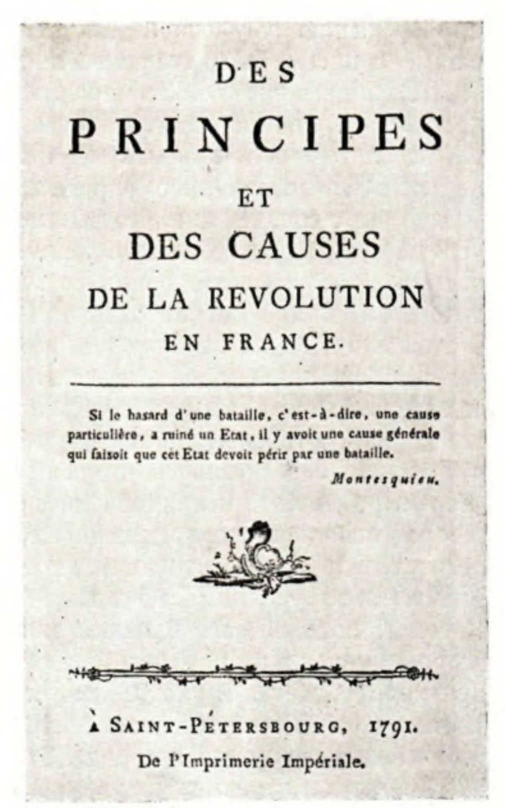
Дело в том, что Сенак де Мейан не был эмигрантом в прямом значении этого слова; он подумывал даже вернуться во Францию, чтобы занять там какой-нибудь видный пост. Он не принадлежал—надо отдать ему в этом справедливость—к тому типу эмигрантов, которые вскоре после того появились при всех европейских дворах, с узким и односторонним кругозором, с мечтами о триумфальном возвращении во Францию и о полном восстановлении там старого порядка, без какой-либо уступки новому порядку и новым идеям революционной Франции. Сенак де Мейан — политический писатель, и в качестве такового он видел яснее и дальше, чем эмигрантская масса. Он был из тех, «которые усматривали в революции не только преходящее несчастное происшествие, которые изучили ее происхождение, предвидели ее проявления и страшатся ее последствий»[26]. Его памфлет «Des principes et des causes de la Révolution en France», перепечатанный в Петербурге во время его пребывания там с разрешения Екатерины, доказывает, что в известной мере он правильно расценивал

значение некоторых факторов, в особенности расстройства государственных финансов, в происхождении революции. Спокойствие тона, с которым он говорит о первых этапах революции, выгодно отличает его от большинства его современников, выброшенных событиями за пределы страны. Он понимал всю невозможность возвращения к старому порядку и, как сторонник конституционного режима, установленного Национальным собранием, не мог разделять идей большинства дворянства, группировавшегося вокруг принцев. Сенак был тем, кого в его время называли «monarchien-constitutionnel»,—и вот причина постигшей его неудачи при Екатерине II[27].

Она без труда разобрала, с кем она имеет дело. Год спустя после своего последнего свидания с Сенаком де Мейаном она рассказала в письме к своему посланнику при братьях короля Франции, гр. Николаю Румянцову (от 4/15 июня 1792 г.), историю своих сношений с этим писателем, которому не удалось заслужить ее одобрения, и те мотивы, которые заставили ее сначала принять его предложение прибыть в Россию, а затем—отказаться от его услуг. «Примерно два года тому назад,—пишет она,—мой посланник Мордвинов написал мне из Венеции, что г. Сенак де Мейан находится там и желает приехать в Россию, чтобы заняться ее историей. Я знала его только по двум его сочинениям, которые показались мне хорошо написанными. Я расспрашивала всех, кто мог его знать, обо всем, что обыкновенно в этих случаях спрашивают, и узнала, что, будучи интендантом не помню какой провинции во Франции, он вывез оттуда репутацию бескорыстия, которая делала ему честь. В то время я искала когонибудь из его соотечественников, который мог бы доставить мне точные сведения о графе д'Артуа, путешествовавшем тогда по Италии. Я подумала, что г. де Мейан мог бы оказаться подходящим для меня, и, чтобы удостовериться в этом, я согласилась на его поездку в Россию, ни разу не заикнувшись Мордвинову, а еще менее того г. де Мейану, с какой целью я его выписывала. Как только он прибыл, мне не трудно было разгадать, что этот человек отнюдь не был лицом, которому я и граф д'Артуа могли бы оказать доверие. Он был первым застрельщиком в демократическом обществе графини де Тессе[28]; однако, и она и он принуждены были покинуть Францию, потому что и их находили недостаточно крайними»[29]. Таков приговор, произнесенный Екатериной над писателем, который, сам того не подозревая, навлек на себя ее неодобрение. Она высказалась о нем откровенно лишь целый год спустя после его отъезда; но пока он еще был в России, она свое суждение о нем держала про себя. Так, на вопрос Гримма в его письме от 21 апреля (3 мая) по поводу Сенака де Мейана она ему пишет 3 июня: «Г-н Сенак де Мейан предложил приехать сюда, как писатель, желающий заняться историей России. До сих пор он не состоит на моей службе, но это человек очень приятный в разговоре»[30]. Три месяца спустя Екатерина описывает его в совсем иных тонах (в письме к тому же Гримму от 1/12 сентября 1791 г.); она издевается над его фатовством, над его манерой поучать всех, кто его слушает, над его самоуверенностью и легковесностью в отношении научных знаний. Этот нелестный портрет она заканчивает так: «Вы когда-нибудь узнаете, зачем я выписала г. де Мейана, но я нашла его не на высоте задачи; обо всем этом баста и молчок, это только для вас одного»[31]. Но Гримм так никогда и не узнал, для чего Екатерина выписала Сенака де Мейана.

VII

Истинная цель, которую преследовала Екатерина II, привлекая Сенака де Мейана в Россию, была известна в 1791 г. только двум лицам: графу Безбородко и принцу Нассау-Зигену, может быть, также и фавориту Платону Зубову. Но некоторые слухи о цели его приезда все-таки стали ходить в Петербурге. В письме к Сенаку от 11/22 июня Екатерина упоминает об этом: «Вы приехали сюда; толки, которые возникли при вашем прибытии, известны вам; говорили, что на вас возложено передать мне некоторые поручения от графа д'Артуа. Чтобы не дать какого-либо основания столь пустым слухам, я сочла за лучшее дать им время кануть в воду». Что это были за слухи, об этом дают понятие некоторые сообщения французского резидента в Петербурге Жене министру иностранных дел Монморену. Так уже 2/13 мая он извещает последнего, что Сенак де Мейан имел несколько разговоров с императрицей по поводу русских финансов и что весьма возможно, что этому бывшему интенданту будет поручено произвести в России финансовую реформу[32]. Месяц спустя (6/17 июня) Жене пишет: «Г-н де Мейан недавно получил награду в 10 000 руб.; кроме нескольких проектов, разработанных им с целью улучшения русских финансов, у него, как говорят, имеется секретный план касательно Франции, который он обнаружит только после мира [с Турцией]; он часто видит императрицу и может говорить ей без посредника все, что хочет; положение его таково, что русские министры серьезно думают о средствах удалить его»[33].


DES PRINCIPES ET DES CAUSES DE LA REVOLUTION EN FRANCE.

Si le hasard d'une bataille, c'est-à-dire, une cause particulière, a ruiné un Etat, il y avoit une cause générale qui faisoit que cet Etat devoit périr par une bataille.

Montesquieu.

À SAINT-PÉTERSBOURG, 1791.

De l'Imprimerie Impériale.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
ПАМФЛЕТА СЕНАКА ДЕ МЕЙАНА
„DES PRINCIPES ET DES CAUSES
DE LA REVOLUTION EN FRANCE".
S.-PETERSBOURG, 1791

Зная настоящий ход вещей, мы вряд ли должны заниматься опровержением тех неточных сведений, которые содержатся в приведенных сообщениях весьма плохо осведомленного в данном вопросе французского поверенного в делах. Возможно, что эти слухи пошли вследствие какой-нибудь нескромности или похвальбы самого Сенака де Мейана в начале его пребывания в Петербурге, хотя в своей переписке с императрицей он категорически отрицает, чтобы он говорил с кем-либо о политике вообще и о Франции в частности; наконец, и вся эта переписка почти вовсе не затрагивает политических тем и касается дел Франции лишь мимоходом, без всяких ссылок на какие-нибудь предшествовавшие на эту тему разговоры; это доказывает, что Екатерина хотела заставить Сенака смотреть на эти разговоры, как на простой обмен впечатлений, и что сам Сенак стоял на этой точке зрения, не подозревая, что именно эти-то две-три беседы с императрицей о событиях дня определили провал его карьеры в России.

В нем, однако, зародилось подозрение относительно истинной причины его неудачи: 2/13 июля 1791 г. он писал императрице: «Размышляя о прошлом, я должен полагать, что ваше в-во имели какие-то виды на меня, и я испытываю живейшее беспокойство, когда мне приходит в голову, что что-то в моем поведении, дурно истолкованном, или в моей личности и в моих писаниях могло заставить вас переменить ваши намерения. Может быть, я оказался не соответствующим тому представлению, которое ваше в-во обо мне составили». Это было совершенно справедливо, но Екатерина, конечно, не пожелала настаивать на этом предмете и отделалась от ламентаций Сенака несколькими незначительными фразами[34].

Гораздо позднее Сенак де Мейан, возобновляя в своей памяти обстоятельства своего пребывания при дворе Екатерины II, еще ближе подошел к разрешению загадочной для него перемены в обращении последней с ним. В письме «в 30 страниц в лист» (как выразилась Екатерина в своем ответе), написанном ей 3 февраля 1792 г. из Франкфурта[35], он вспоминает все перипетии своих отношений с Екатериной: «Ваше в-во,—пишет он,—соблаговолили принять меня в Царском селе [6/17 мая]; разговор не коснулся какого-либо определенного предмета. Вашему в-ву благоугодно было сказать мне, что вы имеете намерение воспользоваться моими услугами, но еще не можете в данный момент сказать мне, в каком именно направлении. Вы заговорили со мной о французских делах с большим интересом, и мое мнение оказалось не вполне соответствующим вашему в отношении видов на будущее, но вы были гораздо более осведомлены, чем я». Вспоминая далее о своей второй аудиенции в Царском селе, Сенак замечает: «До этой минуты не было речи ни об истории России, ни о чем-либо, лично относящемся ко мне; беседа касалась различных предметов и Франции. Мне казалось, что ваше в-во старались меня узнать и не были уверены в своем мнении обо мне; такое испытание смущало меня, и так как разговор не имел определенного содержания, я не мог распространиться относительно своих взглядов и развить их. Я испытывал эту неловкость, и ваше в-во усилили ее, сказав мне: «У вас есть друзья—демократы». У меня, правда, есть близкий мне друг—женщина выдающегося ума, которая увлеклась в первое время идеями, опасность коих она потом признала[36]. Когда я уходил, мне казалось, что я заметил больше холодности в тоне и в обращении вашего в-ва, и последние слова ваши были: «Вы можете вернуться в город». Эти слова повергли меня в оцепенение; я знал, что те, кто имел честь обедать с вашим в-вом, обыкновенно прово-

дили во дворце весь день и вечером были снова допущены представиться вам и ужинали у г. Зубова или у кого-либо из других лиц двора. Я поспешил уехать в огорчении; я сопоставил несколько обстоятельств, явную перемену в обращении со мной принца Нассау, перемену тона и в приеме, который ваше в-во оказали мне, наконец, этот дом в Царском селе, о котором вы мне не говорили и которого я не занимал... Что произвело эти перемены? Неужели политика? По моим взглядам я бесконечно далек от республиканских идей в применении к Франции; обвинили ли меня в том, что я сторонник новой системы? Ваше в-во не приняли моих нижайших предложений относительно службы; я пробыл два месяца в Петербурге, отказываясь от всякого общества, неуверенный в своей судьбе, все время восстанавливая в своей памяти мое поведение, мои слова и речи вашего в-ва, чтобы выяснить, в чем я мог не угодить вам. Я испросил аудиенцию у вашего в-ва по одному интересному поводу,—вы не удостоили принять меня. Я счел нужным удалиться из России... я сообщил в. в-ву, что буду искать более мягкого для умственной работы климата, и возобновил свои предложения услуг; я добавил, что хочу видеть Москву и часть России. Ваше в-во одобрили мое намерение и удостоили меня приглашением к столу накануне моего отъезда... Секретарь вашего в-ва в момент моего прибытия сказал мне: «Вы откланяетесь императрице в этой комнате, как только обед кончится», другой повторил мне то же самое, и когда обед кончился, он следил за мной, подошел ко мне и сказал, чтобы я откланялся... Когда я только подумаю, что от какой-нибудь четверти часа разговора и от простого намека, который мог бы сделать мне принц Нассау, нисколько не компрометируя себя, зависело, чтобы я рассеял всякие тучи и проводил счастливые и спокойные дни у ног вашего в-ва, то отчаяние овладевает мной».

Екатерина несколько месяцев не отвечала на это скорбное послание писателя, ставшего жертвой непонимания того, чего от него ожидали; и она ответила ему короткой запиской, написанной в ледяном тоне и отправленной на имя гр. Румянцова при письме, которое приведено выше[37]. Но Сенак не был обескуражен явной неохотой императрицы продолжать сношения с ним. Он хочет во что бы то ни стало играть роль политического советчика и осыпает Екатерину записками о положении дел в Европе и во Франции. Так, 23 июня 1792 г. он извещает ее из Праги об отправке ей мемуара «О способе восстановить законную власть и общественный порядок во Франции»; в том же письме он сообщает, что имеет намерение отправиться в Варшаву, чтобы быть ближе к цели в случае, если бы Екатерине захотелось снова вызвать его в Петербург[38]. На это письмо она не стала медлить ответом, как на только-что приведенное; оно и понятно: ей вовсе не улыбалось снова выслушивать словоизлияния Сенака де Мейана. Она поэтому поспешила написать ему (8/19 июля 1792 г.) несколько строк, в которых со злой иронией отсоветовала ему «подвергать себя действию сурового климата 60-го градуса широты», а по поводу его мемуара отделалась такой пренебрежительной фразой: «По мне, чтобы спасти Францию, остается сделать только одно—восстановить авторитет короля, а для этого существует только один путь, путь оружия; сто тысяч человек и военное положение—вот что вам нужно, чтобы не погибнуть окончательно»[39].

Это было последнее письмо Екатерины к Сенаку де Мейану. Но он не унялся и в дальнейшем, хотя уже не получал ни одной строки от своей высокой корреспондентки. Он продолжал писать и посылать докладные

записки; наконец, не получая никакого отклика на них со стороны императрицы, он стал обращаться к фавориту Зубову со своими предположениями и советами; но петербургский двор хранил упорное молчание на все авансы злополучного писателя, который, вероятно, наконец, понял, с какой целью он был когда-то допущен в Россию и почему он потерпел неудачу.

Следует, однако, признать, что и поведение Сенака при петербургском дворе не мало способствовало неуспеху его поездки. Екатерина в том же своем письме к Румянцову с нескрываемым раздражением отзывается об его «нелепых и неуместных претензиях»: «Он хотел составлять финансовые планы,—пишет она,—потом—быть министром финансов, затем—послом в Константинополе, наконец—писать историю, одним словом, он ни перед чем не останавливался»; он даже предложил Екатерине быть ее библиотекарем[40]. Свои настойчивые предложения услуг Сенак делает чуть ли не в каждом своем письме, и самое разнообразие их свидетельствует только о крайнем легкомыслии их автора и о полном непонимании им обстановки, среди которой ему пришлось бы действовать. Эти «претензии» только подлили масла в огонь, и Екатерина, и без того недовольная Сенаком, рада была отделаться от назойливого француза, обманувшего ее ожидания в главном вопросе, интересовавшем ее в первой половине 1791 г. Она только назначила ему небольшую пенсию в качестве возмещения тех расходов, которые он понес, предприняв поездку на далекий север; пенсия эта аккуратно выплачивалась ему до смерти Екатерины и позволила ему прожить несколько лет в лучших материальных условиях, чем жило большинство эмигрантов; но при Павле I и Александре I Сенак, несмотря на неоднократные напоминания с его стороны, перестал получать пенсию. Умер он в Вене 16 августа 1803 г. Все его бумаги перешли в руки библиотекаря князя Эстергази, некоего Hervé de Marialla, умершего год спустя после Сенака и завещавшего эти бумаги аббату Кенцингеру. В 1805 г. русское правительство выкупило у последнего все документы, относившиеся к сношениям Сенака с Екатериной II; после смерти Александра I они были переданы в Государственный архив и вместе с его фондами перешли после революции в ГАФКЭ, где и хранятся ныне.

VIII

История отношений между Екатериной II и Сенаком де Мейаном показывает, до какой степени Екатерина была заинтересована в первой половине 1791 г. происходившими во Франции событиями, с каким напряженным вниманием она следила за ними и с какой интенсивностью мысли разрабатывала свои планы борьбы с революцией. Если ее идея энергичного наступления эмигрантов, поддержанных монархическими государствами Европы, кажется мало соответствующей условиям, в которых находились обе враждующие стороны, надо, тем не менее, признать, что Екатерина была одной из первых, заговоривших о крестовом походе против революции.

Обстоятельства момента, казалось, благоприятствовали намерениям Екатерины. Ее самые опасные враги, Пруссия и Англия, отступились к весне 1791 года от воинственных замыслов, которые они питали против России; в войне с Турцией она надеялась и принимала энергичные меры к тому, чтобы Франция из бывшей соперницы, какой она была до того, превратилась в союзницу[41]. Но когда она убедилась, что вес Франции

в концерте европейских держав свелся к нулю и что там зародилась новая сила, угрожавшая «делу всех монархов», она задумала решительно противопоставить революции все ресурсы, которыми могла свободно располагать монархическая Европа. Ее первая проба, с Сенаком де Мейаном, не удалась. Это не обескуражило ее: она возложила на принца Нассау-Зигена ту миссию, которую предназначала для Сенака; она аккредитовала при братьях французского короля своего посланника при имперском сейме, Румянцова.

Но одно неожиданное событие, которое, по странной случайности, совпало почти день в день с датой приезда Сенака де Мейана в Петербург, омрачило политический горизонт этой весны 1791 г. 29 апреля (10 мая) императрица получила известие о совершившейся 3 мая в Варшаве революции[42]. Польский вопрос вошел клином во все предприятия против Французской революции, обманывая надежды эмигрантов, вызывая соревнование и зависть между державами, противопоставляя интересы одних вожделениям других. Екатерина не оставила своих контрреволюционных проектов, как только она узнала о варшавских происшествиях; но ее рвению к делу контрреволюции был нанесен первый и тяжелый удар. Как удачно выразился о ней Валишевский, «комбинации или, лучше сказать, импровизации ее политики нередко оказывают давление на ее убеждения»[43]. Она умеет отрекаться от последних без особой борьбы и без сожаления, когда ее вынуждают к тому «les circonstances, les conjectures et les conjonctures» («обстоятельства, предположения, конъюнктуры»), как она любила выражаться, высмеивая дипломатический жаргон своего времени. «Обстоятельства», сопровождавшие революцию 3 мая, отвлекли ее внимание от тех, которые породила Французская революция, и широко задуманные «предположения» померкли перед вновь создавшейся политической «конъюнктурой».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. об этом в I-м томе настоящего издания публикацию: «Французская революция 1789 г. в донесениях русского посла в Париже И. М. Симолина».

[2] «Сборники Императорского Русского Исторического Общества», т. XXIII, стр. 493, 496. В дальнейших ссылках «Сборники ИРИО».

[3] Ibid., стр. 502, 503.

[4] Ibid., стр. 505.

[5] Несколько документов, относящихся к приезду Сенака де Мейана в Россию, и очерк его биографии были опубликованы М. А. Оболенским в «Русском Архиве» за 1866 г., стр. 421—459: «Сенак де Мейан, французский эмигрант XVIII века, и его отношение к России».

[6] Подавляющее большинство используемых в статье документов—на французском языке. Они даются в нашем переводе.

[7] «Сборники ИРИО», т. XLII, стр. 152, и «Сочинения Екатерины II», т. XI, стр. 540.

[8] Письмо Сенака де Мейана к Екатерине от 3 февраля 1792 г.—«Сочинения Екатерины II», т. XI, стр. 619, 620.

[9] Русский посланник в Турине.

[10] В бумагах Екатерины сохранились еще два проекта той же записки, несколько отличные от напечатанного текста ее. Во втором проекте Екатерина ссылается на «книгу г. Калонна» «De l'état de la France présent et à venir» (появилась в октябре 1790 г.) и на полях отмечает: «Предыдущее было написано до прочтения книги г. Калонна, остальное—во время и после прочтения ее». В письме к Гримму от 12 января 1791 г. («Сборники ИРИО», т. XXIII, стр. 402) она пишет о книге Калонна, как об уже прочитанной ею. Отсюда следует заключить, что этот проект записки был написан до указанной даты, вероятно, в декабре 1790 г., что заставляет отнести еще на несколько месяцев назад зарождение записки «La cause du roi de France» или ее первоначальную концепцию.

[11] Подробное донесение об этом событии поспешил отправить в Петербург русский посланник в Париже, И. М. Симолин. На донесении этом имеется помета, что оно было получено 15 марта ст. ст. См. в I-м томе наст. изд. публикацию «Французская революция 1789 г. в донесениях русского посла в Париже И. М. Симолина».

[12] Единственной датированной в настоящем собрании бумаг Екатерины является записка с ее пометами: «сего 6 Марта», «сего 7 Марта», представляющая предварительную запись для памяти разных мыслей, вошедших частью потом в большой мемуар «La cause du roi de France». Эта запись была напечатана Соловьевым в приложении к «Истории падения Польши», прил. 10. Интересна заключительная фраза ее: «Принцы сомневаются, стоят ли австрийцы и германские государи за них или за раздел пирога. Из всех держав единственная, которая нисколько не думает о «разделе пирога», а напротив, об его сохранении нетронутым, это Россия».

[13] См. об этом в I-м т. наст. изд. публикацию донесения Симолина от 1 апреля 1791 г. и комментарии к нему.

[14] Fleury (c-te), Les dernières années du marquis et de la marquise de Bombelles. P., 1906, pp. 158; Sorel (A.), L'Europe et la Révolution Française, v. II, pp. 176—178; Daudet (E.), Histoire de l'émigration, v. I, pp. 52—53, 61.

[15] Ohdner, Gustaf III och Katharina II, Stockholm, 1895; p. 35; Léouzon le Duc, Gustave III, roi de Suède, P., 1861, pp. 286—290.

[16] Sorel (A.), op. cit., v. II, p. 246.

[17] Петр Андреевич, впоследствии граф, главный инициатор заговора на жизнь Павла I.

[18] «Дневник А. В. Храповицкого 1782—1793», под ред. Н. П. Барсукова, СПБ. 1874, запись от 30 июля 1791 г.

[19] «Сборники ИРИО», т. XXIII, стр. 556.

[20] «Дневник Храповицкого», запись от 6 мая 1791 г.

[21] «Сочинения Екатерины II», т. XI, стр. 623—624.

[22] Ibid., стр. 548.

[23] Ibid., стр. 625.

[24] «Сочинения Екатерины II», т. XI, стр. 552—553.

[25] «Дневник Храповицкого», запись от 28 мая 1791 г.

[26] Daudet (E.), op. cit., v. I, p. 129.

[27] См. письма Сенака де Мейана к ней по этому поводу в «Сочинениях Екатерины II», т. XI, стр. 547, 585, 588.

[28] В салоне графини де Тессе собирались в начале революции Лафайет, Мунье, Лалли-Толландаль и другие лица из группы «беспристрастных», входивших в состав Клуба друзей монархической конституции; это были аристократы-конституционалисты, «правый центр», стоявший за двухпалатную систему и за абсолютное право veto короля.—«Annales Historiques», 1936, № 3, статья Vermale (F.), L'Egérie de Mounier.

[29] Бильбасов, Исторические монографии, т. III, стр. 305, 306, и «Сочинения Екатерины II», т. XI, стр. 629—631.

[30] «Сборники ИРИО», т. XXIII, стр. 546.

[31] Ibid., стр. 553—554.

[32] Larivière, Catherine II et la Révolution Française, P., 1895, p. 300.

[33] Larivière, op. cit., pp. 326—327 et «Recueil des instructions aux ambassadeurs et ministres de France. Russie», t. II, p. 506.

[34] «Сочинения Екатерины II», т. XI, стр. 592—593.

[35] Ibid., стр. 621, 628.

[36] Это, повидимому, та самая графиня де Тессе, о которой упоминала Екатерина в письме к Румянцову (см. выше).—«Сочинения Екатерины II», т. XI, стр. 628—629.

[37] «Сочинения Екатерины II», т. XI, стр. 628—629.

[38] Ibid., стр. 631—637.

[39] Ibid., стр. 637. Интересно отметить, какую эволюцию пережили взгляды Екатерины в течение одного года: признававшиеся ею в 1791 г. достаточными 10.000 человек превратились в 1792 г. в 100.000.

[40] Бильбасов, op. cit., т. III, стр. 306.

[41] См. об этом ряд донесений Симолина, опубликованных в I-м томе настоящего издания (донесения о работе русского посла над созданием четверного союза—Франция, Австрия, Испания, Россия).

[42] См. ее записку к Безбородко в «Сборниках ИРИО», т. XLII, стр. 162.

[43] Валишевский, Le roman d'une impératrice, p. 282.

ЮЛИЯ КРЮДЕНЕР И ФРАНЦУЗСКИЕ ПИСАТЕЛИ

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА БЕРНАРДЕНА ДЕ СЕН-ПЬЕРА, Г-ЖИ ДЕ СТАЛЬ, ШАТОБРИАНА И БЕНЖАМЕНА КОНСТАНА В КРЮДЕНЕРОВСКОМ АРХИВЕ

Статья и публикация Абрама Эфроса

Русская литература о Юлии Крюденер скудна, западная—неподвижна; «ne varietur»,—верно сказал о европейских жизнеописаниях знаменитой сподвижницы Александра I на поприще подготовки и осуществления Священного союза последний крюденеровский биограф, французский академик Абель Эрман[1]; а на русском языке имеются, в сущности, только две известные статьи А. Н. Пыпина, напечатанные семьдесят лет назад в книжках «Вестника Европы»[2], да в обзорах царствования Александра I, у Шильдера или Надлера[3],—небольшой и устойчивый подбор цитат о роли Крюденер возле царя в кануны подписания пресловутого договора о Священном союзе монархов. И всё же привлекать внимание читателя к Крюденер сейчас, может быть, вновь не стоило бы, если дело шло бы о ней самой. Не потому, что она лишена красочности, наоборот,—это одна из самых декоративных женских фигур конца XVIII—начала XIX столетия; даже в кратком перечне прославленных женщин 1800—1820-х годов Юлию Крюденер было бы трудно обойти; у нее была своя пора всеевропейской известности. Правда, у нее это свелось, в конце концов, к одному 1815 г., но среди всемирно-исторических потрясений этого времени, в гуле пушек Ватерлоо и краха наполеоновской империи, фигура царевой пророчицы, гремевшей на мировой авансцене Парижа, одесную российского императора,—якобы распорядительницей его совести и направительницей его воли,—так поразила воображение современников, что эти несколько месяцев крюденеровской славы уравновесили длительность внимания, какое вызывали к себе, скажем, г-жа Рекамье или императрица Жозефина.

Но именно это—самое яркое и памятное в крюденеровском облике—исчерпано исторической литературой. Попытка Шарля Эйнара написать биографию Крюденер в виде канонического жития стоила его героине большего ущерба, чем если бы он непритязательно передавал сведения и документы, которые собрал с такой обширностью и которые по сей день сохраняют за его двухтомным трудом, вышедшим почти сто лет назад, основное место в «Крюденериане»[4]. Как раз отталкиваясь от него, написал свой этюд 1849 г. Сент-Бёв, перечеркнувший им свою раннюю, слишком розовую «пастель», где в крюденеровском портрете есть отзвук подготовки к изображениям святоотческих фигур «Port-Royal», которыми Сент-Бёв занимается[5]; а Пыпин, комментируя того же Эйнара и доделывая то, чего, по самой природе своей чисто психологической критики, не сделал Сент-Бёв, вскрыл в превосходных статьях социально-политический

смысл мистико-придворной верноподданности Крюденер в пору фавора и мистико-демократической ее оппозиционности в пору опалы. Оба они непоправимо свели видимую представительность Крюденер к должным масштабам и подлинной природе. Последующим биографам была преимущественно оставлена возможность дополнений, уточнений или пересказов; это и использовала небольшая крюденеровская литература конца прошедшего—начала текущего столетия, от публикации Жакоба Библиофила, alias Поля Лакруа, привычно приправившего изданные им в 80-х годах новые документы занимательными недостоверностями[6], до недавней книжки упомянутого Абеля Эрмана, вполне беззаботной ко всему, кроме игривости изложения.

Но у Крюденер был талант, который и сейчас еще поддерживает внимание к ней: это дар общения. Ее связи были велики и часто первостепенны. Она старалась не пропустить никого, кто обладал жизненной значительностью или яркостью. Документальных следов этих обширных связей сохранилось немного, но их все же больше, чем до сих пор обнародовано. Таковы письма, печатаемые ниже.

В крюденеровском архиве сохранилась ее переписка с писателями, носящими знаменитейшие имена французской литературы 1780-х—1810-х годов: с Сен-Пьером—Сталь—Шатобрианом—Констаном. Отдельные части переписки, естественно, неровны, как разны были отношения Крюденер с каждым из корреспондентов. Но и сама эта неровность типична, и совокупность материала необычно отражает важнейшие этапы жизни Крюденер и проводит перед нами людей, которые были ее старшими собратьями в литературе, поскольку у автора «Валерии» есть свое место в истории французского романа—если не в корпусном, то в петитном ее тексте[7]. Как увидит читатель, публикуемым письмам нельзя отказать в трех достоинствах: они ощутительно исправляют старый материал, они заполняют несколько важных пробелов, и, наконец, они не раз показывают именитых корреспондентов Крюденер иными, чем они любили рисовать себя сами или чем постаралась сохранить их опека литературных традиций.

I

Переписка с Бернарденом де Сен-Пьером, которую Крюденер сберегла в своем архиве, относится к 1790 и 1791 гг. Ею не исчерпывается ни письменная, ни личная связь между ними. Она началась несколько раньше и закончилась много позже. Однако, эта пачка писем—главная по количеству и важнейшая по удельному весу. Наша публикация впервые выносит на свет материал, пролежавший нетронутым полтора столетия. Биографы Крюденер мало интересовались им, биографы Сен-Пьера не интересовались совсем. Между тем, эта переписка представляет самый настоящий интерес. Состояние литературного наследства Бернардена де Сен-Пьера все еще таково, что каждое новое обнародование подлинников является событием в изучении его жизни и писательства. Посмертное издание его трудов и переписки, выпущенное Эме Мартеном, оказалось интерполяцией, в которой редакторского творчества не меньше, чем авторского[8]. Но с тех пор, как Морис Сурио доказал это в 1905 г., за тридцать пять лет почти ничто не изменилось. Только две документальные работы вышли за этот промежуток времени: были изданы письма Сен-Пьера к Фелисите Дидо и к Дезире Пельпор—к

первой и второй жене писателя; это—«единственно надежные документы»[9], по утверждению новейших французских исследователей. Таким образом, печатаемая нами переписка будет всего лишь третьей группой подлинников, извлеченных на свет из сен-пьеровских эпистолярных запасов. Но не только в этом значение нашей публикации: письма к Крюденер интересны и по существу; это—яркий эпистолярный памятник сентиментального стиля; они любопытны и в историко-общественном смысле: их даты охватывают первый этап Французской революции; как ни уклончив и ни осторожен Сен-Пьер, письма выдают его самочувствие среди разрастающейся революционной грозы.

ЮЛИЯ КРЮДЕНЕР
Миниатюра неизвестного художника, 1790-е гг.
Местонахождение оригинала неизвестно

Для крюденеровской биографии они также важны. В жизни Крюденер это решительное время; она уже определила себя: она пошла по дороге, удерживавшей ее целых полтора десятилетия. Она увиделась с Бернарденом де Сен-Пьером впервые в историческом 1789 г. Однако, это не начало их знакомства. Она представилась ему раньше,—только представилась заглазно. Нет никаких оснований считать, следом за Абелем Эрманом, что они встретились еще тогда, когда будущая баронесса Крюденер, юная Юлия фон Фитингоф, впервые попала в Париж[10]; это было в 1778 г., но ей шел только четырнадцатый год, а главное—Сен-Пьер был в это время всего лишь автором первой и едва замеченной книжки «Путешествие на Остров Франции», и трудно было бы объяснить, к чему ливонским аристократам Фитингофам было знакомиться и знакомить девочку с безвестным автором. Все стало иначе спустя несколько лет, по мере того, как выходило новое сочинение—сен-пьеровские «Etudes de la Nature», и, в особенности, когда в четвертом томе их, а затем

отдельной книжкой, появилась повесть о «Поле и Виргинии». «Этюды о природе» печатались с 1784 по 1788 гг.; особое издание «Поля и Виргинии» было выпущено Бернарденом де Сен-Пьером «для женщин»[11] в 1789 г. Он был в зените славы, Крюденер была его читательницей и написала ему. Так писали ему сотни. Он, видимо, ничего не ответил (его письма в архиве нет); это было в навыках его тщеславия. О чем она ему писала? Полностью мы не знаем, но по той выдержке, которая опубликована Эйнаром, ясно, что это была исповедь в модном духе, горевание чувствительного сердца над злосчастиями женской судьбы. В письме было подытожено то, что действительно случилось с ней; она искала у Сен-Пьера сочувствия и совета. У нее жизнь сложилась так: шестнадцати лет ее намеревались выдать замуж за человека, который был ей не по душе и от которого она избавилась, тяжело заболев оспой; спустя два года она приняла второе предложение: сватался барон и дипломат на двадцать лет старше ее, давший ей падчерицу девяти лет, человек почтенный, остывший, уравновешенный и чиновный; она стала «превосходительством», женой посланника в Венеции, а потом в Копенгагене; но «занять голову» и «удовлетворить тщеславие» ей удавалось совсем не в той мере, о какой тоскует ее исповедь Бернардену де Сен-Пьеру,—барон Крюденер был в известной мере философ, и мы подозреваем, что именно он приобщил супругу к чтению произведений «maîtres de la sensibilité» — «мастеров чувствительности» — и что сочинения Бернардена де Сен-Пьера, последнего друга и первого ученика эрменонвильского отшельника, она получила из рук мужа. Он только не подумал, что чувствительность ее сердца также требует жизненного удовлетворения. Результатом были романтические истории, а дальше — принятое бароном Крюденером решение разъехаться с супругой. Она уехала во Францию—и там встретилась с Сен-Пьером.

Сен-Пьер числился учителем жизни. Это было его десятилетие—1785—1795 гг.—сен-пьеровский период литературы. Он первенствовал: «...великие мастера сошли со сцены: Вольтер и Руссо в 1778, Дидро в 1784...»; «Бюффона смерть настигает лишь в 1788, но вместе с «Эпохами природы» (1778) его творчество кончилось...»; «...надо ждать подлинных дебютов г-жи де Сталь, Жозефа де Местра, Сенанкура, Шатобриана, чтобы начался новый век», пока же «наступило царствование Бернардена де Сен-Пьера»[12],—так подытоживает положение новейший исследователь французского преромантизма, А. Монглон. Художественная проза первенствовала среди жанров[13], а в ней вершину обозначал Сен-Пьер. Всё, что умело читать, читало его; всё, что решалось писать, писало ему. Если не от крестьянской хижины, то от ремесленнического домика до дворцовых апартаментов у Сен-Пьера были почитатели, ученики, ставившие его в 1790-х годах примерно в то же положение, в каком в 1900-х годах находился Толстой,—и, пожалуй, даже Сен-Пьер брал людей шире, поскольку был нетребовательнее, скажем — равнодушнее, чем яснополянский вероучитель. Сен-Пьеру приписывали всё, что чувствовали, над чем страдали, а он не отказывался числить это под своей печатью. Молодой Сенанкур, будущий творец «Обермана», не нашел никого другого, чтобы поделиться взволнованным мизантропизмом своей юности и доверить намерение уехать на какой-нибудь остров, «забытый европейцами»[14]; молодые братья Бонапарте, Луи и Наполеон, свидетельствовали автору «Поля и Виргинии» свои восторги[15]; потом командующий итальянской

армией возил любимую повесть с собой в походах (он писал Сен-Пьеру между битвами: «...ваше перо—кисть... ваши произведения нас восхищают и утешают; вы будете в Париже одним из тех, с кем я стану видеться особенно часто и с особым удовольствием»[16]), а император нашел ей место в воспоминаниях и оценках «Мемориала о. святой Елены»[17]. Сен-пьеровская мода в канун и в начале революции была так велика, что даже сама Мария-Антуанетта сочла должным щегольнуть за придворным обедом цитатой из «Этюдов о природе»; Национальное собрание вставило в 1791 г. Сен-Пьера в список рекомендуемых воспитателей дофина[18], и томик «Поля и Виргинии» послужил «австриячке» ключом шифра в тайной переписке с заграницей[19]. Вышло свыше трехсот контрафакций «Поля и Виргинии», а появившиеся в сентябре 1789 г. «Пожелания отшельника» («Vœux d'un solitaire») расхватали так, что спустя месяц издание стало ненаходимо[20]. Это уже наперед определяло приливы читательских писем и паломничеств к сен-пьеровской обители на улице Королевы Бланш, где его посетила и Крюденер. Людей, желавших видеть его, он еще мог кое-как отваживать, но почта была неумолима: «Дождь писем заливал rue de la Reine Blanche; он платил около тысячи экю почтовых пошлин» и сам подсчитал около семи-восьмисот посланий и визитов в год[21].

Г-жа Крюденер, как видим, не проявила оригинальности, обратившись к Сен-Пьеру с исповедью души; она встала в обширную шеренгу себе подобных. Прибыв в Париж поздней весной 1789 г., она отправилась на улицу Королевы Бланш, в предместье Сен-Марсо, и заставила принять себя, что было не так уж трудно, принимая во внимание настойчивость ее характера и представительность ее титула. Шарль Эйнар, доведя в биографическом повествовании свою героиню до Парижа 1789 г., торопится миновать этот, казалось бы, столь важный, первый этап ее самостоятельной жизни. Она устраивается как желает; над ней нет опеки; она свободна; эпоха бурная, люди красочные; даже иностранцы, даже крюденеровские соотечественники, будь то молодой Карамзин или юный Строганов, потрясены, захвачены, преображены, делают не свойственные их русско-дворянскому положению и воспитанию поступки в этом освеженном революцией Париже[22]. Но Эйнар краток. Он замалчивает одну историю вовсе, у другой скидывает половину; о первой достаточно упомянуть,—это ее связь с академиком Сюаром, посредственным, но именитым литератором; вторая прямо относится к нашей теме: она видоизменяет эйнаровскую характеристику отношений с Бернарденом де Сен-Пьером. Эйнар дважды, в нескольких строках, говорит о них: один раз— увы, маловразумительно—в интереснейшей связи с революционными событиями 13 и 14 июля: «Б. де Сен-Пьер восторженно приветствовал и готовно впитывал в себя новые идеи. Что же касается госпожи Крюденер, всегда жадной до волнений и перемен, она отдавалась потоку без другой цели, как только бежать от самой себя и забыться»[23]. Что значит: «отдавалась потоку», и почему понадобилась оговорка: «без другой цели»? Значит ли это, что энтузиазм Сен-Пьера заразил и баронессу, заставил ее сделать несколько неосторожных, не российско-баронских проявлений симпатий к молодой революции,—как, наоборот, два года спустя она замешалась в контрреволюцию и поспешила бежать из Франции, боясь возмездия? Расшифровать туманности Эйнара, к сожалению, нельзя—данных нет; можно лишь, зная его навыки, предполагать, что он обходит тут какие-то нежелательные для огласки поступки или жесты Крюденер, выражавшие ее

единомыслие с Сен-Пьером в симпатиях к событиям первых месяцев революции. Во всяком случае, самое сочетание в эйнаровском рассказе Сен-Пьера и Крюденер в такой связи уже говорит о том, что встреча их была не обычной и не мимоходной. Однако, и второе упоминание Эйнара дает бесцветную характеристику. Мы читаем: «Приехав в Париж, госпожа Крюденер тут же отправилась на улицу Reine Blanche, в предместье Saint-Marceau, в уединенное убежище Бернардена де Сен-Пьера, который принял ее с одушевлением, в память ее деда [Миниха]. Он любил рассказывать ей о доблестях этого великого человека и о покровительстве, которое тот ему оказывал, и осыпал ласками ее детей, которых он именовал Полем и Виргинией. Он гулял с ними в маленьком садике, показывая им всё, от пчел до собачки Атис, и водил их на прогулки вместе с г-жою Крюденер к Пре де Сен-Жерве и Муссо»[24]. Вот и всё,—сен-пьеровский эпизод этим у Эйнара исчерпывается; между тем, он мог бы сказать много *больше: достаточно было одного крюденеровского архива*, находившегося в его распоряжении. Сен-пьеровскую переписку там он читал, но он удовлетворился изображением приторным и по существу и по внешности. Между тем, Бернарден де Сен-Пьер был трудным человеком—настолько трудным, что полемика об его характере и отношениях к людям по сей день занимает исследователей. На расстоянии—в эпистолярных вежливостях и в литературных самоизображениях—он был один; в жизненном обиходе—другой; сколько бы ни сбрасывать теней с разочарованного описания, сделанного одной из современниц, г-жой де Каваньяк, спешившей, так же как и Крюденер, припасть к источнику сен-пьеровской чувствительности, но обнаружившей «...жадного, скупого, необщительного человека, с жестким и деспотическим характером, вечно предъявляющего какие-то просьбы, ищущего какой-нибудь денежной подачки...»[25],—и как бы ни обставлять оговорками огорчительные сводки биографов, разбиравшихся в его семейных и дружеских делах[26], меньше всего пригодна для Сен-Пьера эйнаровская пастораль «уединенного садика» с «пчелами и собачкой». Общительные таланты Крюденер проявили себя по-настоящему, когда она заставила этого капризника ухаживать за ней, помогать ее будущему. Для нее он приоткрыл ту обворожительность, которая была доступна для всех в его писаниях и для очень немногих в его обхождении. Его письма к Крюденер свидетельствуют, что баронесса была победительницей. Она вызвала не только личное влечение, но и получила первое литературное благословение, первую поддержку и похвалы начатому ею писательству. Это было важнейшее. Она стала его приятельницей, чтобы быть ученицей. Ей самой захотелось славы. Знаменитость Сен-Пьера превращалась для нее, в успехах г-жи Жанлис или г-жи Риккобони, в доступное женским талантам дело, а литературное кипение 1789 г.—неслыханная живость новых журналов, обозрений, памфлетов, альманахов, мгновенные карьеры драматургов с Жозефом Шенье во главе—могущественно дразнило ее воображение и надежды. Ей нужен был в Сен-Пьере друг и руководитель, и она добилась этого. Когда, после полугодового пребывания в Париже, Крюденер отправилась на зиму на французский юг, их прощание было нежно: она вспоминает в письме, что обняла его со слезами, он—что целовал ее локоны.

Крюденер уехала в Монпелье в конце 1789 г.[27]; с ней были дети и гувернер, старый аббат. Через несколько недель, устроившись на новом месте, она послала Сен-Пьеру письмо:

Madame N 1

j'ai reçu le 5 de ce mois votre aimable lettre en datte du 20 janvier et quoique surchargé de correspondances ~~étrangeres~~ générales et de travaux particuliers, j'ai tout quitté pour vous témoigner le plaisir que vous m'aviez fait. trois mois sans m'écrire et six semaines sans me faire parvenir votre lettre! cependant quelque chose me disoit souvent que vous ne m'aviez pas oublié. nos ames se sont touchées et elles ne peuvent plus etre étrangeres l'une à l'autre.

cependant vous jouissez de jours heureux loin des cours et des cœurs orageuses. vous trouvez votre bonheur dans la nature et dans des plaisirs innocens. vous me faites une description charmante du paysage de montpellier et de ces familles champetres bonnes, innocentes et obscures " semblables à ces fleurs qui furent créés " pour fleurir sans etre vues et pour prodiguer leur parfum au " desert. ce famous sensible et tendre que votre epoux doit etre malheureux de vivre loin de vous!

si vous conservez de moi quelque memoire et du diner du pré st gervais, invitez avec vos enfants a une de vos collations sur l'herbe, un pauvre enfant du village voisin, plus pauvre que ces 2 petites filles si jolies auxquelles vous fites part de votre diner. invitez le pour l'amour de dieu et en mon souvenir, et ses prieres innocentes porteront dans le ciel les vœux que je fais pour vous sur la terre.

je voudrois bien, s'il m'étoit possible, ajouter quelque chose à votre bonheur au lieu ou vous etes. si vous vouliez vous répandre dans la société, il y a a Montpellier un jeune medecin de mes amis appellé Mr Gay. il est gay comme son nom, il a de l'esprit et beaucoup de litterature. s'il savoit seulement que vous etes mon amie, il viendroit vous voir, quoique nouveau marié. j'avois conté que vous iriez a Avignon et je vous avois ménagé la connaissance d'une dame appellée Mde la baronne d'Andrea qui a une famille aimable. mais vous n'avez besoin nulle part des recommandations d'un solitaire. dès que vous voudrez vous communiquer, vous etes sure de vous faire aimer. votre famille, votre cœur et des livres suffisent a vos plaisirs. la suitte des Confessions de J. J. dont vous me parlez y contribuera sans doutte. elle est bien certainement de ce philosophe sensible et malheureux. la derniere partie de cet ouvrage qui comprend ses querelles en angleterre avec nos academiciens s'imprime actuellement, à ce que l'on m'a assuré.

tout est fort tranquille ici. le Roy a été avant hier à l'assemblée nationale ou il a déclaré qu'il devoit etre citoyen actif, embrassant la nouvelle constitution dans tous ses points et voulant conjointement avec la Reine y élever le dauphin. cette démarche a fait le plus grand plaisir, on a illuminé paris le soir, et même la nuit d'hier.

АВТОГРАФ ПИСЬМА БЕРНАРДЕНА ДЕ СЕН-ПЬЕРА К Ю. КРЮДЕНЕР ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 1790 г.

Страницы первая и вторая

Публичная библиотека, Ленинград

nous avons tout à esperer de l'avenir. cependant je desire de
vivre d'une vie champetre, comme vous, loin des hommes inconstans.
si j'ai étendu mes reflexions sur le bonheur du genre humain
c'est qu'il ne m'a pas été permis de vivre heureux dans un hameau.
j'ai encore quelques pages à ajouter à mes ouvrages et j'aspire
après la solitude pour faire passer dans mon ame le calme de la
nature ~~[illegible]~~. j'ai eu ces jours passés la satisfaction de lire dans les
papiers publics que mes etudes étoient traduittes en anglois,
et d'apprendre que ma theorie des marées prenoit la plus grande
faveur en Angleterre à l'occasion d'une glace flottante qu'un
vaisseau de ce pays à rencontrée vers le 42e degré de latitude sud
cependant ces succès et le nombre prodigieux d'amis et d'amies qu'ils
m'ont procurés ~~[illegible]~~ suffisent point pour remplir mon cœur. je
cherche une ame sur laquelle mon ame puisse se reposer,
c'est a dire une compagne douce, sensible, aimable et vertueuse.
je sens que je redescends la montagne de la vie; j'ai besoin
d'un appuy ~~[illegible]~~ qui m'aide a
me supporter, et d'une main qui me ferme les yeux. ou
trouverai je une femme qui vous ressemble et qui se trouvât
egalement heureuse dans la bonne ou la mauvaise fortune:
c'est vous qui renouvellés en moi ces desirs de toutte ma vie.
je vous ai vue peu et je me souviendrai de vous toujours.

vous ressemblez à la compagne que j'ai priée tant de fois le ciel de me
donner. mais puisque vous ne pouvez etre la mienne dedommagez moi
par votre amitié. vous ne me dittes rien de votre projet d'etablissement
en france. contez vous vous fixer sous le climat heureux ou vous etes;
celui de paris n'a t il aucun charme pour vous! pour moi j'ai environ
douze mille francs dont je compte achetter une metairie afin de
m'assurer à la campagne, du repos, de la solitude et une subsistance
a l'abri des revolutions fiscales. je comptois d'employer mon argent
a quelques lieues de paris ou je suis attaché par mes affaires, mais
depuis que vous m'avez écrit je me sens attiré vers Montpellier.
ferai je a l'avenir des collations sur l'herbe au pied de St Loups
ou au près de St gervais! Ecrivés moi vos projets, vos plaisirs
et vos peines. votre lettre est un chef d'œuvre de stile, et de
sentiment. femme aimable je vous le dis sans flatterie et avec
la meme sincerité que je vous assure de cette amitié que vous
me demandés et de la veneration que m'inspirent vos vertus.
je suis pour la vie dans ces sentimens

Madame

Votre très humble
et très obeissant serviteur
et ami:
De Saint Pierre

rue de la reine blanche près le jardin du Roy
a paris ce 6 fevrier 1790

embrassés pour moi vos aimables enfans et excusés l'irregularité
de ma lettre sur la multitude de mes écritures
j'ai ~~[illegible]~~ lu a quelques amis de gout une partie de votre lettre et il m'ont
avoué qu'ils n'avoient jamais rien vu de si bien écrit. quand à la partie
ou vous me demandés mon amitié je n'ai osé la lire. cette demande
m'a fait une sorte de peine, il m'a semblé que vous regardiés desormais
mon amitié sans consequence. ainsi tout me dit que je vieillis.
cependant si vous ne m'aviés pas promis la votre, je n'aurois jamais
osé vous la demander.

АВТОГРАФ ПИСЬМА БЕРНАРДЕНА ДЕ СЕН-ПЬЕРА К Ю. КРЮДЕНЕР ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 1790 г.
Страницы третья и последняя
Публичная библиотека, Ленинград

(1)

[Монпелье, 20 января 1790 г.][28]

Позвольте мне, сударь, напомнить вам о себе, и разрешите сказать, что я не стала вам чужой. Заинтересовать г. де Сен-Пьера представляется для всякого чувствительного существа,—я в том уверена,—наслаждением, а для моей души это потребность, ибо в тот очаровательный день, проведенный нами в Пре де Сен-Жерве, я сумела слишком хорошо прислушаться к вам. Ваша доброта наполнила мою душу чересчур щедро, я же не считаю себя недостойной чувствовать вас. Так как теперь мне не дано больше вас слышать, вы не должны лишать меня возможности хотя бы лелеять мысль, что у меня будет право посетить вас в тот день, когда судьба приведет меня в Париж, и что до той поры я буду иногда получать несколько строк, написанных вашей рукой.

Вот уже два с половиною месяца, как я нахожусь в Монпелье, и я надеюсь, что когда-нибудь смогу сказать, что не только пребывала в этом городе, но и жила в нем. Почти ни одного дня не проходит для меня без наслаждения Природой, Солнцем и прекрасным зрелищем, которое беспрестанно представляют они. Здесь культура соединена с благодеяниями счастливой почвы, а человеческие старания вознаграждены достатком.

На многих фермах я видела довольство счастливых семейств; сколько раз говорила я себе при виде этих сердец, простых и правдивых: к чему нам искать большего, нежели эти цветы, созданные для того, чтобы незримо цвести и скрыто распространять благоухание? Постоянно слышишь жалобы на людей, вернее—на свет, на низкопоклонников, на любезных злодеев, на так называемых философов; эти жалобы основательны, но разве тот, кто копается в грязи, сам не покрывается зловонными миазмами? Между тем, люди Природы, столь непохожие на этих, еще весьма часто являют собою любезный образ Доброты и Невинности. Потому-то мне и приятно бывать среди добрых и чувствительных поселян; они понимают меня, а интерес и расположение, которое мне хотелось бы проявлять к ним,—это язык, который всем доступен и на котором всем следовало бы говорить. Я очень часто полдничаю с моими детьми близ какой-нибудь фермы, на берегу реки, или на каком-нибудь островке. Иногда мы обедаем, как в Пре де Сен-Жерве, и время года, которое в иных местах [протекает] печально в домах, здесь так прекрасно, что я всякий день непременно провожу три-четыре часа на воздухе, читая или рисуя. Поля зелены. Местность покрыта оливковыми деревьями, кипарисами, лаврами, с которых никогда не опадают листья. Один лишь Пье де Сен-Лу—высокая гора в окрестностях—белою своею вершиной являет образ зимы, меж тем как у подножья его еще видны создания лета.

Ах, почему не могу я достойным образом рассказать вам о великолепных окрестностях Монпелье! Нужны были бы ваши карандаши, чтобы нарисовать эту обширную цепь Пиренеев, которые каждый вечер вычерчиваются предо мной на пламенеющем горизонте,—и эти Севенны, чьи ощетинившиеся и дикие чащи укрывают собой несчастных протестантов. О, какими красками наделила бы все это ваша душа! Как радостно было бы вам созерцать море, которое я вижу из моих окон, и волшебство световых эффектов, когда солнце садится, когда последние лучи его умирают на горах.

О вы, мыслящий, как мудрец, но чувствующий, как человек,—вы с удовольствием слушали бы пение крестьян и крестьянок, которые, скрывшись среди деревьев, собирают оливки и бросают их вниз на большие белые

полотнища, разостланные под деревьями; вы наслаждались бы этой очаровательной картиной народа веселого, счастливого, всегда воодушевленного, всегда щедрого.

Город богат, в нем большая промышленность; многочисленные хлопчатобумажные мануфактуры, вырабатывающие ситец, дают работу множеству рук. Соседство с Сеттом содействует равно и торговле: она очень распространена здесь, а для бедняков существуют превосходные учреждения. Недавно открылась благотворительная мастерская для предоставления работы всем желающим. Все это, в совокупности с климатом, который, по-моему, лучше, чем в Италии, и умеряет потребности,—делает этот край пленительным местом. Вот почему я никогда не была счастливее, чем теперь, и мое здоровье восстанавливается от простой и полной жизни, которую я веду, от того, чем я занята ежедневно.

Я провожу все время с детьми, радуюсь их здоровью, их счастью. Я вижу, как они растут, и создаю вокруг них, так сказать, преграду, через которую не пробраться пороку. Я окружена господами авторами— французскими, английскими, немецкими. Мы почти ежедневно делаем загородные прогулки; у нас часто музыка, и мне ни разу еще не пришлось пожалеть о светском обществе, от которого я совершенно удалилась.

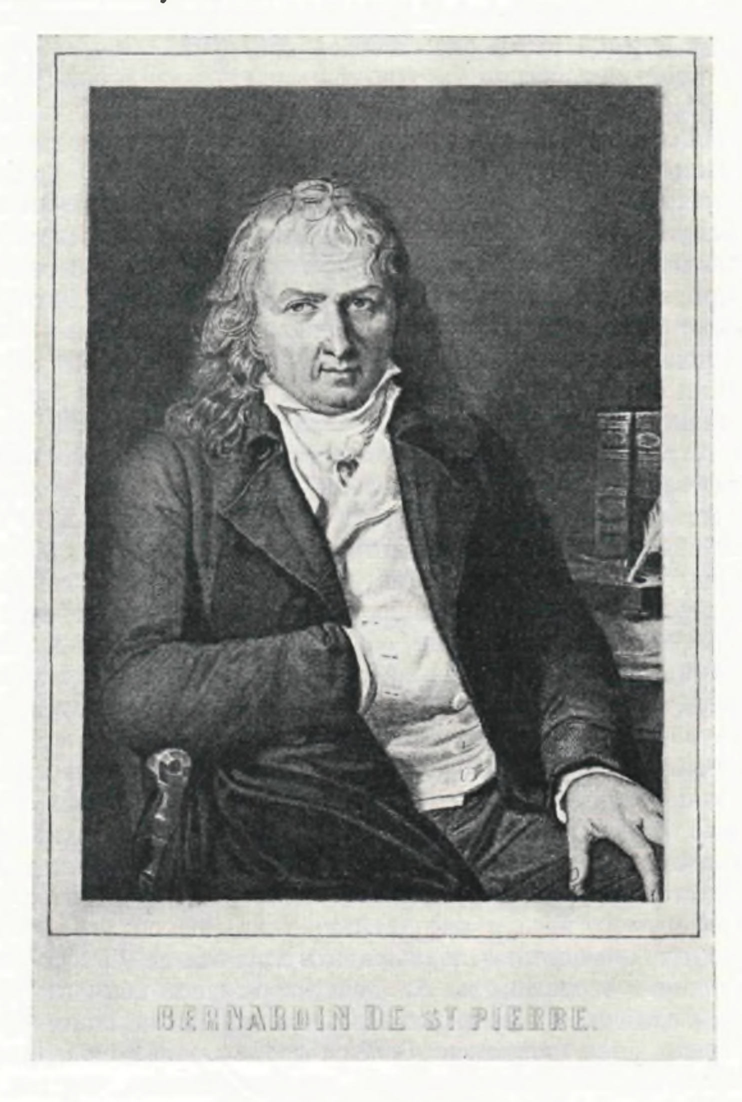
Быть может, теперешний образ жизни лишь потому так и нравится мне, что выбран мною самой и что только от меня зависит вернуться в свет, жить в Копенгагене, в прекрасном доме, вместо маленького здешнего, и устраивать ужины (на казенный счет), вместо того, чтобы скромно закусывать здесь на траве. Но я отлично знаю, что если вернусь к светским обязанностям, то стану болеть, скучать, печалиться, тяготиться. Между тем, здесь я могу заботиться о своем слабом здоровье, которое плохо переносит бессонные ночи, и я нахожу подлинную прелесть в возможности отдаваться своим занятиям; там же это [уступило бы место] большею частью пустому времяпровождению.

Мне удалось уже внушить и г. фон Крюденеру сильное желание приехать сюда и испытать спокойную жизнь. Однако, его служба необходима для наших детей. Я рассчитываю этим летом пить воды и брать ванны в Баньере и иметь в распоряжении еще следующую зиму, чтобы провести ее в южных провинциях. Может быть, за это время г. фон Крюденер получит назначение в такое место, где климат будет более подходящим для моего здоровья, которое не может быть хорошим на севере.

Простите мне длинноту письма и все мелочные подробности, в нем содержащиеся, но вы проявили такую дружбу ко мне! Я так люблю вас, что и вы, несомненно, интересуетесь мною. Да, я люблю вас до глубины души. Если бы вы обладали только просвещенностью, знаниями, талантом,—я восхищалась бы вами, но вы соединяете это с добротой, а она одна привязывает. Я буду долго жить в том маленьком саду, в той вольере, подле того улья, в том простом жилище, где вы, не зная меня, приняли или, вернее, приютили меня с трогательной приветливостью. Я всегда буду там мысленно с вами, с тем, кто напомнил мне столь любимую мною античность, кто, претворяя философию в дело, наставляет людей, дабы сделать их лучше, и кто среди роскоши Парижа и его блистательных удовольствий отделил себя от них тем сверкающим промежутком, какой существует между безумием и мудростью.

Надеюсь, что ваше здоровье так хорошо, как мне того хотелось бы, а если занятия позволят вам написать мне несколько строк,—побесе-

дуйте со мной, прошу вас! Вы не можете сомневаться в моей привязанности к вам. Когда при расставании я обнимала вас, у меня навернулись слезы, ибо когда, тронутая добротой, какой дышали ваши речи, я впервые пожала вам руку, я почувствовала, как говорит один немецкий писатель, что это не деревянная рука, которая в свете часто отталкивает, чуть только хочешь коснуться ее.



БЕРНАРДЕН ДЕ СЕН-ПЬЕР
Гравюра П. Пелэ с портрета Л. Лафитта 1805 г.

Примите же еще раз уверения в дружбе, которую вы внушили мне на всю жизнь и к которой я присоединяю глубочайшее уважение и самое искреннее желание пользоваться всегда тем вашим расположением, какое вам угодно было оказывать мне в Париже и о каком я еще буду лично когда-нибудь вновь просить вас.

Остаюсь с наилучшими чувствами ваша покорнейшая и [пропуск] слуга

Б[аронесса] фон Крюденер

Г-н де [Массике], который первый привел меня к вам[29], будет добр передать вам это письмо, а если вы пожелаете написать мне, то благоволите адресовать ваше письмо г. Косту, биржевому маклеру, в Монпелье, для передачи бар. фон Крюденер.

Позвольте спросить вас, спокойно ли живется вам в Париже в настоящее время, и будьте так добры сказать мне также, действительно ли продолжение «Исповеди», объявление о котором я видела, принадлежит Ж.-Ж.?

Письмо прозрачно своими литературными притязаниями. По ящичкам разложено всё, что кажется обязательным по отношению к такому адресату, как Сен-Пьер: провинциальное уединение противопоставлено столичным вихрям, светское бездельничанье—крестьянскому трудолюбию, крупицы социально-экономических сообщений и социально-филантропических выводов выполняют роль отголосков парижских революционных забот и волнений; а преимущественно, при каждой оказии—переход к картинкам природы сен-пьеровского ритма и окрашенности. Литературная озабоченность крюденеровского пера велика, но с трудностями она справляется плохо. Письмо написано провинциальным, местами варварским французским языком; но там, где крюденеровской памяти приходят на помощь знакомые образцы, речь выравнивается, приобретает плавность и колорит. Можно сказать, что вообще эти письма к Сен-Пьеру были для Крюденер в значительной степени литературными упражнениями, в буквальном смысле школой языка и стиля; так смотрела на них она, так расценивал их и Сен-Пьер. Спустя десятилетие эпистолярный стиль «Валерии» будет в своей первооснове питаться этими соками. Наоборот, фактическая наполненность письма скудна, да еще и мало правдива. Частью это вызвано общепринятой условностью кое-каких утверждений, так и принимаемых Сен-Пьером; пример—сожаления, повторяемые Крюденер из письма в письмо, о жизни врозь с супругом из-за противоречий между его служебными обязанностями и состоянием ее здоровья[30]. А рядом с такой условной неправдой наличествует неправда безусловная; она прикрывает подлинное времяпровождение Крюденер в Монпелье и кое-какие завязавшиеся личные отношения, которых она не хочет выдавать: заявление, что она «совершенно удалилась от светского общества» и дружит с книгами, ложно; Эйнар перечисляет компанию совсем иного рода: «Граф де Лезэ, г-жа Лобкова, граф Пушкин и господин Годо, его воспитатель, маркиз и маркиза де Ливрон, герцог де Флёри, герцог и герцогиня де Ла Форс скоро стали обычным обществом госпожи Крюденер...»[31]; ее антисветские филиппики не стоили даже чернил, которыми были написаны. Более того: из ее письма и ответа Сен-Пьера явствует такая поглощенность новыми связями, что два с половиной месяца, по ее словам, и четыре слишком—по огорченным сен-пьеровским исчислениям, она не писала, а написав, не находила времени отослать письмо. Сен-Пьер, наоборот, ответил немедленно, на следующий же день по получении крюденеровского послания.

(2)

[Париж, 6 февраля 1790 г.][32]

Сударыня,

5-го числа я получил ваше любезное письмо, помеченное 20 января, и хотя я до крайности обременен общей своей перепиской и специаль-

ными работами, я всё бросил, чтобы засвидетельствовать вам, какое удовольствие вы мне доставили. Три месяца не писать мне и шесть недель не отправлять написанного письма![33]. И всё же, что-то говорило мне порой, что вы не забыли меня: души наши соприкоснулись, и никогда уж не стать им чужими друг другу. Между тем, вы наслаждаетесь счастливыми днями вдали от зимней непогоды и грозовых путей. Вы находите счастие в природе и в неизведанных наслаждениях. Вы очаровательно описали мне свое недолгое пребывание в Монпелье и эти сельские семьи, добрые, невинные и безвестные, «подобные цветам, созданным для того, чтобы незримо цвести и распространять свое благоухание в пустыне». О, женщина чувствительная и нежная, как несчастен должен быть ваш супруг, живя вдали от вас!

Если вы сколько-нибудь помните обо мне и об обеде в Сен-Жерве, то пригласите к одной из ваших трапез на лоне природы с вашими детьми какого-нибудь бедного ребенка из соседней деревушки, еще более бедного, чем те две маленькие девочки, такие хорошенькие, с которыми вы разделили тогда обед; пригласите его во имя любви к богу и в воспоминание обо мне, и его невинные молитвы донесут до неба мои пожелания счастия вам на земле. Мне очень хотелось бы, будь это в моих силах, хоть чем-либо содействовать радостям вашего пребывания в краях, где вы находитесь. Если бы вы пожелали вращаться в обществе, то в Монпелье есть один молодой врач из числа моих друзей, зовут его Гэ. Он весел, как его имя[34], остроумен и очень сведущ в литературе. Знай он, что вы моя приятельница, он, конечно, навестил бы вас, хотя он и молодожен.

Мне представлялось, что вы в Авиньоне, и я подготовил было вам знакомство с одной дамой, баронессой д'Андре, у которой радушное семейство. Но вам нигде не понадобится рекомендация отшельника: сто́ит вам лишь пожелать общения, и вы наверное знаете, что вас полюбят. Но вам для благополучия достаточно семьи, сердца и книг. Продолжение «Исповеди» Жан-Жака, о котором вы говорите, еще усугубит это. Продолжение, несомненно, принадлежит упомянутому философу, чувствительному и несчастному. Последняя часть этого произведения, содержащая рассказ о его препирательствах в Англии с нашими академиками, в настоящее время, как меня уверяли, находится в печати[35].

Здесь все совершенно спокойно. Король третьего дня посетил Национальное собрание, где заявил, что желает быть активным гражданином, принимает новую конституцию во всех ее пунктах и хочет в согласии с королевой воспитать в этом духе дофина. Этот поступок встречен с громадным удовлетворением; Париж был вчера иллюминован не только вечером, но даже ночью[36].

Будущее сулит нам всё наилучшее. Тем не менее, я желаю жить сельской жизнью, подобно вам, вдали от непостоянных людей. Если я развил свои размышления о счастии человеческого рода, то потому, что мне не суждено было жить счастливым в хижине. Мне остается добавить еще несколько страниц к трудам моим, а затем я надеюсь в одиночестве впитывать в свою душу спокойствие природы. За последние дни я с удовольствием прочел в напечатанных корреспонденциях, что мои «Этюды» были переведены на английский язык, равно как узнал, что моя теория морских приливов принята в Англии с величайшим сочувствием по тому случаю, что один английский корабль встретил пловучие льды под 42° южной

широты[37]. Однако, ни этих успехов, ни значительного числа друзей и приятельниц, доставленных мне ими, отнюдь не достаточно для того, чтобы наполнить мое сердце. Я ищу душу, подле которой могла бы обрести покой моя душа, иными словами, я ищу подругу нежную, чувствительную, любезную и добродетельную. Я чувствую, что жизнь моя идет под гору; я нуждаюсь в опоре, которая поможет мне еще продержаться, и в руке, которая закроет мне глаза. Где найду я женщину, которая походила бы на вас и которая чувствовала бы себя одинаково счастливой и в благополучии и в житейских невзгодах? Именно вы вызвали во мне вновь эти желания моей жизни. Я мало видел вас, но вспоминать о вас буду всегда. Вы похожи на ту подругу, о какой я столько раз молил небо. Но так как вы не можете стать моей, то возместите же это вашей дружбой! Вы ничего не говорите мне о своем проекте поселиться во Франции. Думаете ли вы остаться в том благодатном климате, где находитесь теперь? Неужто вас нисколько не привлекает климат Парижа? Что касается меня, то у меня есть около 12 000 фр., на которые я собираюсь купить мызу, чтобы обеспечить себе покой и уединение в деревне и существование в убежище, предохраняющем от всяких фискальных потрясений. Я перебирал разные места, думая потратить эти деньги, но с тех пор, как вы написали мне, чувствую, что меня тянет на траву к Пье де Сен-Лу или к Пре де Сен-Жерве. Напишите мне о ваших планах, о ваших удовольствиях и горестях. Письмо ваше—первоклассный образчик стиля и чувства. Любезная женщина,—я говорю это вам без лести и с такой же искренностью заверяю вас в своей дружбе, которой вы у меня просите, и в уважении, которое внушает мне ваша добродетель! В этих чувствах, сударыня, пребуду на всю жизнь вашим покорнейшим и преданнейшим слугой и другом.

де Сен-Пьер

6 сего февраля 1790 г.

Адрес: **Улица Королевы Бланш,**
близ Королевского сада
в Париже

Поцелуйте за меня ваших милых деток и простите беспорядочность моего письма, вызванную многочисленностью моих писаний.

Я прочитал нескольким друзьям, обладающим вкусом, отрывок из вашего письма, и они заверили меня, что им не случалось еще видеть ничего, столь хорошо написанного. Что же касается того места, где вы просите моей дружбы, я не осмелился прочесть его вслух. Просьба эта причинила мне некоторое огорчение: мне показалось, что вы считаете мою дружбу уже безопасной. Так все говорит мне о том, что я старею. Однако же, не обещай вы мне вашей дружбы, никогда не отважился бы я просить вас о ней.

Сен-пьеровское письмо, как видим, не менее типично и прозрачно, чем крюденеровское. Он тоже весь здесь. Его ответ—программа; в нем оценка настоящего и виды на будущее, общественные и личные. Прежде всего, характерно это политическое благодушие—всё идет хорошо, а станет еще лучше: король единомыслит с Собранием, королева готова конституционно воспитывать дофина, Париж иллюминован, будущее безоблачно. Это даже не обывательщина, ибо парижский обыватель на переломе первого года революции был уже менее всего оптимистом; его

тяжело лихорадило: усугубляющиеся волнения у продовольственных лавок, клубки верных и измышленных слухов, ежедневно катящиеся из двери в дверь, столкновения в Национальном собрании, подкрепленные демонстрациями на улицах, переходящими в кровавые схватки, полемика журналов, становящаяся все громче и ожесточеннее; начавшиеся процессы, приоткрывшие первые планы расправы двора и эмигрантов с революцией, виляния короля, «австриячки» и их клики, вырисовывающие, за шумом уверений в любви к народу и в доверии к Собранию, подготовку то ли

АВТОРСКАЯ КОПИЯ ПИСЬМА Ю. КРЮДЕНЕР К БЕРНАРДЕНУ ДЕ СЕН-ПЬЕРУ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 1790 г.

Страница первая

Публичная библиотека, Ленинград

к перевороту, то ли к бегству за рубеж; угрозы интервенции монархических держав, уже просачивающиеся из-за границы; наконец, ширящиеся сведения о волнениях в провинции,—таков режим парижского обывателя в конце 1789—начале 1790 гг. Глухой вопрос Крюденер, спокойно ли Сен-Пьеру в Париже, был связан как раз с тревогами, которые испытывало ее дворянско-светское окружение в Монпелье оттого, что провинциальная и крестьянская Франция стала сотрясаться теперь всё больше и ощутительнее. Это было новым в положении; это обращало на себя внимание, как грозный симптом; именно теперь у такого настойчивого стороннего наблюдателя, как русский посол Симолин, в донесе-

ниях отечественному двору появляются сообщения о крестьянских восстаниях в Ренне, в Сент-Этьенне, в Шантильи, о городских волнениях в Тулоне, в Бордо, о военных волнениях в Лилле, в Тарасконе, в Дуэ, о революционно-патриотическом движении в Авиньоне, столь близком к местопребыванию Крюденер[38]. Она и ее среда воспринимали всё это, как детонации парижского вулкана. Ответ Сен-Пьера показывал не столько то, что он видел вокруг себя, сколько то, что отразилось в зеркале его собственных дел: они, действительно, были превосходны. Чем труднее становилось кругом, тем охотнее тянулись читательские слои к этому мудрецу, так пленительно успокаивающему душу, знающему, как надо жить и в чем искать счастья, проповедующему чувствительность и кротость. Его сочинений всегда нехватает на рынке, он переиздает прежние, сочиняет новые, волнуется лишь подделками и подражаниями, грабящими его доход, утешается своей славой и чувствует изъян только в отсутствии личного счастья, достойной подруги, как прямо заявляет он в письмах к Крюденер. Сейчас он готов сосредоточить надежды на залетной путешественнице. Для нее сен-пьеровский ответ—триумф. Двойная похвала крюденеровскому стилю, сопровождаемая даже цитатой из ее письма и подкрепленная суждением знатоков, должна была быть наиболее важной, ибо укрепляла крюденеровскую литературную предприимчивость. Но и личные излияния Сен-Пьера, теша самолюбие, требовали от адресатки не риторического, а вполне жизненного ответа: быть ли ей той душой, которой ищет Сен-Пьер? Решение находилось в ее руках. Она ответила следующим письмом:

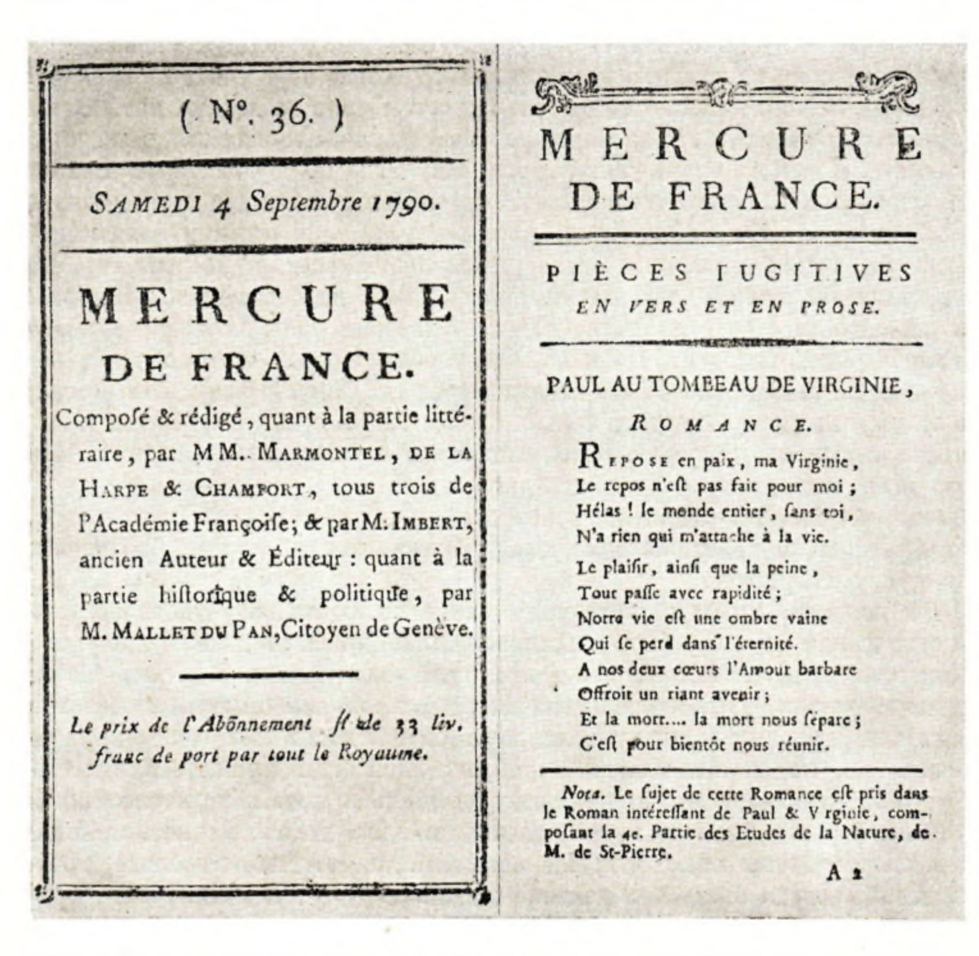
(3)

[Ним] 20 февраля 1790 г.[39]

Да, наши души соприкоснулись: вы это сказали, а я это почувствовала в первый же раз, когда пожала вам руку, и я поняла это по своим слезам, расставаясь с вами. Я нашла в вас столь редкое соединение добродетели и талантов, я почувствовала в себе большие способности постичь их; «вот, сказала я себе, человек, который сумеет руководить тем, что есть во мне доброго, который сумеет полюбить меня; это он пробудит во мне интерес к природе; благодаря ему, взор мой научится улавливать тончайшие оттенки в этом мире, который сердце мое желало бы объять целиком; это он приведет в разумное равновесие пылкую мою чувствительность, это он очертит круг, за который не должно будет переходить мое воображение». Я могу быть чем-то—я это чувствую; во мне выражены сильные влечения к добру, а в его власти дать им достигнуть наилучших результатов, указывая мне, в чем заключаются свойственные мне пороки. Ведь он владеет истиной, которую я ищу и которою сам он руководствуется уже давно; его рука будет направлять меня, а душу мою, постоянно переступающую границы в стремлении за все браться, он заставит оставаться в тех пределах, в которых она сможет развернуться со всей своей энергией, и тогда все эти порывы, пока еще бесплодные для добра, превратились бы в действия, которые принесли бы честь моей жизни.

Я чувствовала также, что вы должны были полюбить меня, что вы не могли бы сопротивляться сердцу простому и правдивому, которое окружило бы вас своей привязанностью, не скрывало бы от вас ни одного своего недостатка и искупало бы их добротой, ибо она живет в моем сердце так же, как и в вашем.

Я испытываю в свете только крайнее равнодушие и презрение ко всему, что составляет очарование обычных светских связей. Во мне нет никакого блеска, ничего соблазнительного; я лишаюсь всего, когда не ощущаю языка чувствительности, и я слишком правдива, чтобы прикрашивать действительность. Подле вас сердце мое раскрылось, душа ваша обняла мою. Я нашла в ней точки соприкосновения, которые должны были сделать меня дорогой вам; я отдавалась вашим волнениям, и вы сочли меня



(N°. 36.)

SAMEDI 4 Septembre 1790.

MERCURE DE FRANCE.

Composé & rédigé, quant à la partie littéraire, par MM. MARMONTEL, DE LA HARPE & CHAMPFORT, tous trois de l'Académie Françoise; & par M. IMBERT, ancien Auteur & Éditeur : quant à la partie historique & politique, par M. MALLET DU PAN, Citoyen de Genève.

Le prix de l'Abonnement est de 33 liv. franc de port par tout le Royaume.

MERCURE DE FRANCE.

PIÈCES FUGITIVES
EN VERS ET EN PROSE.

PAUL AU TOMBEAU DE VIRGINIE,

ROMANCE.

REPOSE en paix, ma Virginie,
Le repos n'est pas fait pour moi;
Hélas! le monde entier, sans toi,
N'a rien qui m'attache à la vie.

Le plaisir, ainsi que la peine,
Tout passe avec rapidité;
Notre vie est une ombre vaine
Qui se perd dans l'éternité.

A nos deux cœurs l'Amour barbare
Offroit un riant avenir;
Et la mort.... la mort nous sépare;
C'est pour bientôt nous réunir.

Nota. Le sujet de cette Romance est pris dans le Roman intéressant de Paul & Virginie, composant la 4e. Partie des Etudes de la Nature, de M. de St-Pierre.

A 2

СТРАНИЦА ПЕРВОПЕЧАТНОГО ТЕКСТА СТИХОТВОРЕНИЯ „ПОЛЬ У МОГИЛЫ ВИРГИНИИ“, УПОМИНАЕМОГО БЕРНАРДЕНОМ ДЕ СЕН-ПЬЕРОМ В ПИСЬМАХ К Ю. КРЮДЕНЕР

„Mercure de France“ № 36, от 4 сентября 1790 г.

достойной той дружбы, которая является моей гордостью. Судите же, какой счастливой сделало меня ваше письмо: оно наполнило глаза мои слезами, а сердце — нежностью, но равно и сожалением. Разве не нахожусь я вдалеке от вас, когда могла бы быть такой богатой вашим присутствием и чувствами, которые вы мне даруете. Судите, как могла бы я наслаждаться вашим обществом, обладая сердцем, созданным для того, чтобы чувствовать вас, и располагая возможностями вести столь уединенную жизнь: я представляю себе наши разговоры, которые искренность, простота, истинная простота, делали бы такими приятными,— это безграничное доверие, эти прогулки на лоне природы, эти простые

трапезы, эту дружную семью, совершенно далекую от светских дрязг, от эгоистических расчетов, от интриг, от тщеславия, от зависти. Да, всё это в минуты, когда вы были бы свободны от своих занятий, давало бы, я уверена в этом, очарование вашему существованию и составило бы счастие моего.

Ибо вашу душу искала я — душу, любящую не только добродетель, но и людей, просвещенную философией, но и согретую благочестием, любящую добро и снисходительную к заблуждениям. Да, именно такой должна быть душа истинного мудреца. Она, как пчела, извлекает благотворные соки из худшего растения, меж тем как паук даже из прекраснейшего цветка извлекает лишь яд. Но сотни миль разделяют нас. Ваша судьба приковывает вас к Парижу. Мое здоровье нуждается в здешнем климате. Когда же вновь увижу я вас? Как была бы я счастлива, если бы обосновалась близ того уголка земли, который вы ищете для себя, и жизнь моя протекала бы между вами, моими детьми и полезными занятиями. Если бы судьба позволила мне остаться в Монпелье, я уверена, что вы не стали бы жалеть о преимуществах, какие дает соседство Парижа, и переменили бы их на тихие радости, которые дало бы вам общество искреннейшей подруги. Да и вообще, любя жить на лоне природы, насколько сильнее могли бы вы наслаждаться ею! Вместо зимы здесь весна, и за две недели я наблюдала только один осенний день. Как богата и как прекрасна здесь природа! Как грандиозны и величавы ее формы! Как это небо чисто, как это солнце благодатно! Здесь нет покоя, нет перерывов, нет смерти. Здесь всё в непрестанном брожении, всё несет плоды, каждый шаг попирает благоуханные растения, каждый взгляд, брошенный вокруг, электризует.

Вы желаете, чтобы я рассказала вам о своих планах, удовольствиях и огорчениях. Я могу быть счастливой, лишь живя так, как я живу сейчас: этого требуют мое здоровье, моя душа, моя любовь к детям. Но не к такой жизни, увы, я предназначена. Я соединена с самым любезным, с самым ревнивым к моему счастию и самым достойным вашей дружбы человеком, но он занимает пост, обрекающий меня вращаться в свете. Я принесла с собою в свет крайнюю суетность и даже вкус к рассеянной жизни. Но это была только привычка, вызванная во мне воспитанием, и я скоро почувствовала отвращение к ней. Мое сердце оставалось необогащенным среди благ, признанных светом, ему нужны были блага природы и разума, меня угнетала та постоянная стесненность, в которой я принуждена жить. От природы меланхоличная и любящая покой, я, несмотря на все свои усилия, была окружена злочастными светскими дрязгами; неутолимейшей потребностью души моей было достойно использовать время, я же вынуждена была растрачивать его. Я страдала той жестокой болезнью, тем расстройством нервов, которое вам знакомо и которое люди, неспособные по природе своей его чувствовать, считают не более, как болезнью воображения. И вот я не могла избавиться от участия в парадных обедах, от посещений двора, от бессонных ночей, от туалетов. Я была глубоко несчастна; меня грызла черная печаль; я стала боязливой, всего страшилась; вскоре увидели, что я кашляю кровью, грудь моя внушала тревогу, и я уехала, чтобы поправить здесь здоровье. Перемена климата, развлечения, прогулки уже в Париже способствовали значительному улучшению моего состояния. В Монпелье же, в простой жизни, какую я смогла вести, в уединении, я обрела это

желанное счастие. Но я дрожу при мысли о страданиях, которые готовит мне ... [оборвано] ... севера, когда придется вернуться в свет. Между тем, мне тяжело заставлять г. фон Крюденера жить от меня в отдалении, на которое он жалуется и которому я хотела бы положить конец, если бы могла отделить от этого мысль о предстоящих страданиях. Врачи посылают меня на это лето в Баньер; не знаю, проведу ли я следующую зиму еще во Франции; но, как бы ни сложилась моя судьба, я сделаю все, от меня зависящее, чтобы вновь увидать вас. Я испытываю потребность говорить себе, что увижу вас, что даже проведу некоторое время с вами. Мне улыбается и еще бо́льшая надежда: если в один прекрасный день замыслы г. фон Крюденера осуществятся, то мы поселимся во Франции, и время это, быть может, уже недалеко; я же приложу к этому все старания.

Я собираюсь поехать на месяц в Авиньон, чтобы осмотреть этот город, и, пользуясь дружбой вашей, навещу баронессу д'Андре. В Ниме я уже месяц. Я хожу по нему с бесконечным удовольствием: квадратный дом, цирк, простые, благородные, мудрые памятники,—на всем лежит печать античности; я провожу много времени у себя в саду, полном фиалок, левкоев, гиацинтов. Абрикосовые и миндальные деревья сейчас в цвету. В апреле я буду снова в Монпелье.

Позвольте мне время от времени писать вам, уважаемый и дорогой друг. Отвечайте мне лишь несколькими строчками, потому что вы ведь заняты,—прошу у вас благорасположения хотя бы на две строки, так как время ваше драгоценно, и с каким бы восторгом ни читала я ваши письма, я буду довольна и тем, что стану знать, что вы меня любите и здоровы.

Примите мои пожелания и уверения в привязанности, которую я питаю к вам от всей души.

Б[аронесса] К[рюденер]

По виду—это исповедь, в действительности—литературное упражнение. Похвала Сен-Пьера крюденеровским начинаниям сказалась в этом автопортрете, сделанном по образцам одного из излюбленных светских жанров французской беллетристики—«литературного портрета». Крюденер явно затратила на свое изображение много труда: она сдавала Сен-Пьеру очередной экзамен. Ее портрет банален, но тщательно выписан; ему придано правдоподобие личных черт и свойств; думается, что Крюденер не забыла о нем и позднее, как о черновике для беловика будущей своей «Валерии». Но, поскольку это имело вид и назначение письма, в нем должно было содержаться нечто, что могло быть принято Сен-Пьером за ответ. Такие кусочки были, но они были мало обнадеживающими: наши души соприкоснулись,—но сотни миль разделяют нас; я могла бы быть счастлива возле вас в сельском уединении,—но я предназначена, увы, для другой жизни, ибо связана с человеком, который... и т. д. Ответное письмо Сен-Пьера обнаруживает, что он насторожился. Ему не было и не могло еще быть что-либо ясно, но какие-то сигналы он уже улавливает.

(4)

[Париж, 5 марта 1790 г.][40]

У меня прибавилось вдвое занятий, вследствие необходимости приняться за переиздание разошедшегося IV тома моих «Этюдов о природе»[41], а переписка моя разрослась до такой степени, что нечего и помышлять справиться с ней: однако, я всё бросаю, чтобы ответить вам. Ваше письмо

доставило мне чувствительное удовольствие; оно рассеяло несколько тучек меланхолии. Картина счастия небезразличных мне людей меня восхищает. Мне кажется, что вижу вас под прекрасным небом Лангедока, с детьми, занятою их радостями. Счастие—только в законах природы. Я удивляюсь, что г. фон Крюденер может еще задерживаться в Дании. Ах! Если бы половина существа моего находилась в окрестностях Монпелье, я быстро покинул бы Париж. Вы приглашаете меня стать несколько ближе к вашему обществу, чтобы руководить вами, как выразились вы: вы скоро заставили бы сбиться с пути своего проводника! Ваше письмо тронуло меня, слишком тронуло,—дружба ваша слишком нежна для моего счастия!

Ваше письмо принесло мне весну: в день его получения, 1 марта, я нашел у себя в саду цветущую фиалку. Цветет у меня и абрикосовое дерево. Мне было бы очень приятно мое уединение, если бы его не слишком нарушали. Только-что ушла от меня красавица, маршальша Франции, которую привела ко мне, без предупреждения, одна из ее приятельниц. Это супруга маршала де Муши. Они собираются еще привести ко мне своих друзей и подруг. Всё это—большая честь, но она ставит меня в необходимость нанять какую-нибудь хижину в окрестностях Парижа, дабы иметь хоть немного свободного времени для работы. Независимо от нового издания IV тома, я хочу переиздать свое «Путешествие на Остров Франции» со значительными дополнениями[42]. Я добавлю несколько происшествий из моей жизни. Пусть тогда приходят посетители и письма,—раз меня нет, я не обязан отвечать на них. Делаю, однако, исключение для ваших писем, и дабы они доходили до меня там, где я буду, адресуйте их, пожалуйста, на имя г. Менар де Конишара, почт-директора, улица Шоссе д'Антен, Париж. Они будут доставляться мне быстро и верно.

Вы уже не найдете баронессы д'Андре в Авиньоне. Она в Карпантра, откуда я недавно получил от нее письмо, но я беседовал о вас в Монпелье с одним недавно женившимся врачом, по имени Гэ; он весел, как его имя, остроумен, забавен и сумеет сделать для вас пребывание в Монпелье еще более приятным. Мне хотелось бы пополнить чем-нибудь ваши удовольствия и в вашем лице отблагодарить деда вашего, фельдмаршала Миниха, за те знаки дружбы, которые он оказал мне в России[43]. Но, любезный друг мой, я всего только бедный отшельник. В сделанном вами описании своих мнимых недостатков я узнал черты характера вашего знаменитого деда, сложившиеся под влиянием несчастий и философии. У вас—его возвышенный ум, его твердость, его мужество, и все это привито к сердцу прелестной женщины. Природа любит скрещивать характеры в полах, чтобы возникали очаровательные контрасты и гармонии. Эти-то наследственные вкусы и вызвали у вас желание дорожить своим временем, презрение к суетности большого света и к мелким светским дрязгам, уважение к великим памятникам древности, простым, благородным и мудрым, как вы их называете. Это не мешает вам любить розы и фиалки. Любите же немножко и меня, и если во время путешествия вам встретится женщина, обладающая характером хоть немного родственным вашему, у которой сердце свободно, расположите ее ко мне, чтобы мы могли однажды соединиться и чтобы я нашел то счастие, о каком вздыхал всю жизнь.

Вот, любезный друг, порученье, которое я возлагаю на вас, вместе с порученьем поцеловать за меня ваших детей. Мне хочется также, чтобы они, в свою очередь, поцеловали вас, во имя моей дружбы. Сообщайте

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПОВЕСТИ БЕРНАРДЕНА ДЕ СЕН-ПЬЕРА „ПАВЕЛ И ВИРГИНИЯ“, 1793 г.

Перевод А. Подшиваловой

мне о себе возможно чаще. Ваши письма рассеивают мою меланхолию, потому что вы проникаете до самых глубин моего сердца.

Вы мыслите, как я, ибо страдали, как я. Делитесь со мной всеми своими горестями, а я сделаю все зависящее, чтобы их облегчить. Очень надеюсь, что вы поделитесь со мной также радостями и пришлете мне новое описание пейзажа Монпелье, с каждой минутой становящегося все прекраснее. Во время ваших трапез под лаврами и миндальными деревьями приглашайте в память обо мне какого-нибудь бедного ребенка, а я, если найду какую-нибудь бедную белокурую девочку с голубыми глазами, обещаю, в свою очередь, угостить ее завтраком в память о вас.

Желаю вам как можно скорее восстановить свое здоровье—не для того, чтобы вернуться в северный климат, но чтобы навсегда остаться с нами. Вы осчастливите этим г. фон Крюденера, который, несомненно, не знает Франции, и в то же время станете содействовать моему счастию, ибо я буду думать, что в моем отечестве прибавилась еще одна добродетельная семья и что вам самой нечего больше желать.

С истинной преданностью остаюсь, любезный и уважаемый друг мой, покорнейший и готовый к услугам слуга ваш и друг

Сен-Пьер

Четверг, 5 марта 1790 г.

Простите за торопливость моего письма: я писал его в спешке, и меня несколько раз прерывали.

Ответа Крюденер, да и вообще следующих ее писем к Сен-Пьеру в архиве нет; мы должны впредь судить о них по письмам самого Сен-Пьера да

по нескольким пояснениям и цитатам, наличествующим в биографии Эйнара. Очередное письмо Сен-Пьера содержит как раз нужные ссылки,— они свидетельствуют, что Крюденер писала о трех вещах: во-первых, в общественном плане, об авиньонской революции, приведшей, в дальнейшем, к отложению Авиньона от папы и к воссоединению с революционной Францией; Крюденер побывала в Авиньоне, наблюдала происходящее и, видимо, выразила удивление, что авиньонцы променяли фискальные преимущества, которыми пользовались, на перспективы гражданской свободы. Далее, в письме была новая картинка природы, преподносимая Сен-Пьеру в литературном плане; Сен-Пьер откликается на это цитатой в первых же строчках своего ответа; несомненно, куском этого именно описания является отрывок, приводимый Эйнаром «в качестве образца ее первой манеры»: «Мы ходили с аббатом по горам, покрытым тмином и майораном... и я карабкалась на недоступнейшие крутизны... Одним из лучших удовольствий моих было наблюдать прекрасные эффекты света, живую алость неба, на которой вдали вырисовывалась темная зелень кипарисов, чьи спиральные формы имеют меланхолический характер... Я побывала в Авиньоне, ...я поспешила посетить Воклюз; печальный вид растрескавшихся скал, темные цвета мхов, редкое пение одинокой птицы—все соответствовало состоянию души моей, все привязывало меня к этим местам, и звуки Петрарки естественно примешивали к этой картине нечто от той страстной неистовости, какой ознаменованы волнения в глубочайших тайниках сердца». Это подготовляло третью часть крюденеровского письма. Крюденер подводила дело к объяснению того, что с ней происходит. Она готовит Сен-Пьера к чему-то, или, по сен-пьеровской цитате,—собирается ему открыться и взять его в судьи. Этим туманным предупреждением она ограничивается. Но и Сен-Пьер теперь считает словно бы нужным не проявлять особого нетерпения. Ответ Сен-Пьера последовал только через полтора месяца после предыдущего его письма.

(5)

[Париж, 29 апреля 1790 г.][44]

Ваше письмо, любезный друг, сильно огорчило меня. Как! Вы кашляете кровью, и причиной тому ваши писания? Я не осмелюсь больше просить у вас изображений наблюдаемых вами местностей, которые вы делаете с такой естественностью. Вы перенесли меня на берега Роны и в Воклюз. Я отсюда вижу меланхолический зеленый дуб, выглядывающий тут и там из-за диких смоковниц. Я слышу глухой рокот потоков и редкое пение одинокой птички. Я вижу вас сидящей среди ваших милых деток, на обломке скалы. Скала—это хорошее слово для вас, которая чувствительнее Лауры.

Впредь говорите мне только о себе. Именно это особенно вам удается. Не стану говорить вам о впечатлении, производимом на меня теми местами в ваших письмах, где вы пишете о себе. Вам хочется, говорите вы, открыться мне и взять меня в судьи. Вы, значит, хотите поработить все силы моей души? Чувствительный друг мой! Если какая-нибудь тайная печаль гнездится в вашем сердце, как червь, подтачивающий розу, весь пыл моей дружбы обращу я на то, чтобы избавить вас от этого. Не бойтесь, что дружба эта может ослабнуть. Я люблю вас за то, что вы добры, что любите своих детей и природу, к которой стремитесь с такой непосредственностью. У вас не может быть никакой вины предо мною,

кому вы ничем не обязаны. Если какая-нибудь давняя страсть, как я предполагаю, является тайной причиной вашей меланхолии, я попытаюсь рассеять ее своими советами. Я осушу ваши слезы и постараюсь издали сделать то, чего не осмелился бы сделать вблизи.

Хотя здоровье мое не из лучших и я отягощен своими занятиями и пр., хотя каждую неделю меня осаждают новые письма и посетители, не оставляющие мне, несмотря на все мои усилия, досуга для других занятий,— мне все же хотелось бы осуществить при вашем содействии один проект, уже давно задуманный мною: я хочу написать книгу, в дополнение к «Полю и Виргинии», взяв для этого в глубине Сибири несколько интересных фигур, живущих счастливо, благодаря сердечным привязанностям и философской просвещенности. Уже много лет тому назад я составил канву для такой книги. Я не нахожу для нее более подходящих героев, чем ваш дед, фельдмаршал Миних, и его достойная супруга, так доблестно сопровождавшая его в изгнание[45]. Если мысль эта вам по душе, то доставьте мне по собственному выбору какие-нибудь материалы о фельдмаршале, о месте его ссылки, о том, что производят в Сибири, и т. п.; я попытаюсь описать глубокое несчастие человека, который любил меня и которого я любил,—и его внучку, которую я люблю еще больше,—ибо я придам ваш характер и даже ваш внешний облик его супруге. Книга будет изобиловать контрастами: между величественною судьбою и одиночеством обездоленного изгнанника, который видел у ног своих всю Российскую империю и видел империю Оттоманскую на краю гибели в результате своих побед; между ужасной сибирской зимой и теплой страною, где живет его любезная внучка. Но вы нисколько не будете страдать от этого. Я всячески буду заботиться о вас, даже в тисках лишений. Разве вы не чувствуете в себе достаточно сил для того, чтобы жить счастливо с предметом вашей любви среди сосновых и березовых лесов? И разве это казалось бы вам плохим убранством, если бы вы были одеты только в горностай? На мхах севера вам, по крайней мере, было бы мягче сидеть, чем на скалах Воклюза. Если вам предпочтительно другое, я изображу вас маленькой девочкой, с голубыми глазками и русыми волосами, на которую не нарадуется дед. Но так как у вас есть сердце и вы не были бы в состоянии оставаться без любви даже во льдах севера, то вы должны мне сказать, каким характером и какой наружностью должен быть наделен ваш возлюбленный, дабы он мог внушить вам достойную вас страсть. Вот, добрый друг мой, замыслы, нуждающиеся в вашем одобрении, чтобы я осуществил их. В ожидании, поцелуйте за меня понежнее ваших деток, и пусть они вернут вам поцелуи для меня. Сам бы я не посмел это сделать, потому что очень хорошо помню, как при нашем расставании, когда я хотел поцеловать вас, вы отвернулись и мне удалось коснуться губами лишь ваших волос. Итак, вы любите меня только, как поверенного ваших тайн? Примите всяческие пожелания счастия! Сообщайте мне о себе всё самым подробным образом и простите, что сам я пишу вам наспех. Множество незнакомых лиц пишет мне со всех сторон. Порой это письма в стихах и в прозе от некоей очень умной дамы из Кемп-Корентена, порой—от какого-то философа из Лотарингии и т. п. Большего внимания заслуживают письма от несчастливцев, которые, видя мой интерес к роду человеческому, думают, что я должен интересоваться и каждым индивидуумом в отдельности, а так как кредита у меня нет, то я бросаюсь в хлопоты, и одно письмо заставляет меня писать семь-

восемь. Я говорю вам о трудностях только одной недели. Я чувствую себя счастливым, когда добиваюсь успешного итога. Как раз теперь я испытываю это в связи с просьбой одной новообращенной католички, предки которой, вследствие отмены Нантского эдикта, потеряли ренту в 150 000 ливров и которая ходатайствовала о жалкой пенсии за счет экономатов[46] и о ежегодном пособии за счет королевской лотереи. Мне приходится также помогать бедным родственникам, а выплата мне пенсии несколько задерживается, да, к тому же, самая эта пенсия очень скромна по сравнению с пенсиями многих литераторов. По счастию, нашлось немного воды в собственном моем колодце. То, что вы мне говорите об авиньонской революции, нисколько меня не удивляет: если тамошний народ был счастлив, не платя денежных налогов, то был несчастен вследствие налога на совесть. Авиньонец обязан был говеть и предъявлять удостоверение о том, что был у причастия, причем это удостоверение приходилось покупать, если человек считал, что следует воздержаться от принятия святых даров. Все это неизбежно порождало недобросовестность, которая извращала душу. Иго инквизиции является причиной того, что город Авиньон, расположенный под таким прекрасным небом, почти лишен населения, что вы имели возможность заметить[47].

Прощайте, мой достойный друг: у меня нет больше бумаги. Как бы мне хотелось вскоре получить более утешительные вести о вашем здоровье.

Париж, 29 апреля 1790 г.

Ваше последнее письмо было написано на меньшем листке бумаги, нежели предыдущие. Не болезнь ли ваша тому причиной?

В ответном письме, пришедшем через полмесяца, в середине мая, Крюденер давала понять, что захвачена влечением к некоему человеку, что чувством своим она несчастна, но что говорить об этом даже с преданнейшим другом ей трудно. Отношения с Сен-Пьером были этим предопределены. Его ответ был недлинен; за комплиментарными вежливостями проступали новые ноты. Помощи Сен-Пьер больше не предлагает, от исповеди удерживает, о себе говорит скупо. Среди немногих строк о собственных делах есть, однако, нечто, останавливающее внимание: сен-пьеровское общественное самочувствие изменилось; его революционный «энтузиазм», как преувеличенно назвал его благодушие Эйнар, за несколько месяцев, по мере обострения революционной борьбы, вполне остыл. В Париже теперь Сен-Пьеру настолько не по себе, что он надумал перебраться в деревню. Действительно, в этом же самом июне 1790 г. он дал поручение приискать ему убежище в Бургундии[48]; затем, однако, принял решение не трогаться с места. Письмо к Крюденер красноречиво излагает причины.

(6)

[Париж, 8 июня 1790 г.][49]

Я не мог, достойный и уважаемый друг мой, ответить на ваше письмо от 16 мая так скоро, как мне того хотелось. Оно доставило мне одновременно огорчение и удовольствие. Я усмотрел из него, что вы несчастливы и собираетесь доверить мне некую важную тайну. Меня поразило тогда высказанное вами размышление о вашей чистосердечности, предохраняющей вас, как вы говорите, от ужасных мук раскаяния в том, что

СМЕРТЬ ВИРГИНИИ

Картина маслом Клода Верне на сюжет повести Бернардена де Сен-Пьера „Поль и Виргиния“, 1789 г.

Эрмитаж, Ленинград

вы легкомысленно предались дружбе и доверию. Жертвой этого раскаяния, как вы даете мне понять, пришлось бы сделаться не мне, а вам самой. Раз так, не заходите дальше. Возможно, что вы стали бы когда-нибудь упрекать себя в излишней откровенности, без нужды сделались бы причиной того, что и я стал бы упрекать себя в усилении вашего горя, хотя желал лишь утишить его. Пусть же никогда не стану я для вас причиной беспокойства! Мое уважение и дружба, которым вы как будто придаете некоторое значение, всецело принадлежат вам. Вы обязаны ими вашим материнским добродетелям, вашей чувствительности к несчастным, вашим страданиям и тому самому доверию, какое вы мне выражаете.

Сердце ваше, как вы очень хорошо говорите,—это вулкан, извергающий лаву, пепел и горную смолу в облаках густого дыма, и этот вулкан вполне мог бы опалить своим огнем неосторожного философа, который из любопытства приблизился бы к его кратеру. Я бы побоялся оставить там свои туфли, как Эмпедокл. По счастию для себя, я нахожусь на изрядном расстоянии от этого вулкана. В нынешнем году мне нечего и думать о каком-либо путешествии, так как я все время занят печатанием 4-го издания моих «Этюдов», разошедшийся IV том которых я только-что переиздал[50]. Это необходимое начинание поглощает все мое время и весь мой доход. Я не снял маленького домика за городом, как предполагал. Я искал покоя в деревне, но умы там возбуждены еще сильнее, чем в Париже. Поэтому я пытаюсь создать себе внутреннюю Швейцарию, куда могла бы удаляться моя душа. Я нахожу там убежище в философии естественных благ, о которых я столь тщетно вздыхал и в которых отказала мне судьба. Меланхолия моя не причиняет там никому вреда, а я рассеиваю ее планами счастия, которые строю в своем воображении больше для других, чем для себя.

Мне бы очень хотелось придумать такой план, который во всех отношениях был бы подходящим для вас. Впрочем, вы сохранили для себя лучшее, что для этого нужно: веру в бога и благотворение к людям. Если друг ваш не может разделять ваших наслаждений, он вникает, по крайней мере, в ваши горести, и лишь для того, чтобы не умножить их, хочет он избавить вас от беспокойства, наступающего за преждевременными признаниями. Вы поступите в данном случае так, как сочтете наилучшим для своего спокойствия; однако, примите во внимание, что вы можете нарушить мое. Желаю вам душевного покоя и мира, этих первых благ души после наслаждений, столь часто нарушаемых. Весьма рад узнать, что нездоровье ваше было легким; не сомневаюсь, что соблюдаемый вами режим совершенно излечит вас. Повидимому, в Ниме вам нечего опасаться беспорядков, потрясающих часть южных провинций[51]. Сообщите мне о своих развлечениях,—вы описываете их с таким простосердечием. Я наслаждаюсь ими в моем уединении, и если вы полагаете, что, поверяя мне свои горести, вы облегчаете их этим, то будьте уверены, что, сколько бы это мне ни стоило, доверие ваше никогда не ослабит того уважения и привязанности, какие питает к вам искренний друг ваш.

Париж, 8 сего июня 1790 г.

Почта торопит меня, и я поспешил воспользоваться минутой, чтобы написать вам, равно как и моей сестре, которой я успел намарать только одну страницу. Я только-что вернулся из своего сада, где видел на розе

шпанскую муху. Сперва я залюбовался этим очаровательным контрастом: можно было бы сказать, что это изумруд, вправленный в коралловую чашу; но затем мне пришла в голову одна мысль, и я сказал себе: такова красота, скрывающая в груди своей грызущую ее страсть, и она обязана пожирающему ее врагу даже новыми прелестями. Красота—это роза, а любовь—шпанская муха. Я поставил розу вместе с мухой на камин: у меня нехватило сил разлучить их. Будьте же добры и гоните из сердца далекие воспоминания, унесенные временем. Не приносите на смеющийся юг черных забот севера.

Адрес: Баронессе фон Крюденер,
у г. Коста, биржевого маклера,
в Монпелье

Переписка оборвалась на несколько месяцев. Крюденер молчала, Сен-Пьер не находил нужным просить вестей. Через четыре месяца он получил снова письмо. Оно содержало очередное описание картинок природы, извещало об очередном заболевании и выздоровлении, свидетельствовало о жизнерадостном самочувствии, осыпало Сен-Пьера нежностями и ни словом не поминало о происшедшем. Следовало предполагать, что все миновало. Видимо, это было так. Человек, которого она не назвала Сен-Пьеру, занимал ее недолго и не принес ей радости. Эйнар говорит об этом эпизоде в такой форме: «Вернувшись в Монпелье, она нашла там графа Адриана де Лезэ-Марнезиа, брата графини Богарнэ, привлеченного туда страстной любовью к ботанике. Он часто бывал у г-жи Крюденер»[52]. Отвечая на это письмо, Сен-Пьер избегает касаться происшедшего, он занят преимущественно собственными делами.

(7)

[Париж, 23 сентября 1790 г.][53]

Я впал в сонливость от сильной простуды, заставившей меня шесть дней не выходить из комнаты, но вот пришло ваше письмо и вывело меня из моей летаргии. Друг мой, вы перенесли меня в Пиренеи: я увидел остов этой большой мертвой горы посреди долины. Меня пленяют Жедро и паломницы в красных повязках среди зелени; но, что еще больше доставило мне удовольствия, чем горы и водопады Пиренеев,—это глубина вашей кроткой, возвышенной и нежной души. Наконец-то вы здоровы, здоровы и ваши дети, вы счастливы—и я доволен.

Не знаю, почему вы говорите, что вам нужно заинтересовать меня и что вы хотите, чтобы я приобщил вас к своим радостям и горестям. Не для того ли, чтобы нарушить ваше счастие? Удовольствие состоит для меня в лишениях. Как можно жить спокойно в стране, где все благосостояние людей пошатнулось и где все общественные группы заражены духом партийности? До революции у меня было много друзей, но теперь одна половина этих друзей готова истребить другую.

Всюду я слышу жалобы и проклятия; правда, не я являюсь объектом их, но я должен их выслушивать, как ни мало появляюсь в свете. Да к тому же, что это за друзья? Я же всегда жаждал иметь, сообразно законам природы, только одного друга, но тщетно преследовал эту мечту! То я не могу обладать существом, которое подходит мне, то я не подхожу ему; когда же обстоятельства спо-

собствуют, казалось бы, тому, чтобы соединить нас, оказывается, что я—игрушка иллюзии и вероломства. Это требовало бы обстоятельного комментария... И вот, поскольку мне не дано быть счастливым, я довольствуюсь тем, что препятствую себе быть несчастным. Я призываю себе на помощь изречение Эпиктета: abstine et sustine[54]; я создаю себе собственные Пиренеи, куда спасаюсь в общество людей, возвращающихся столь же невинными в руки творения, какими они из них вышли. Порою пребывание с ними кажется мне опасным, а добродетель той, кто описывает мне их прелести, проявляется с такой чувствительностью и так очаровательно, что собственная моя добродетель приходит в смущение. Я нашел восхитительные радости в созерцании природы, но душе моей не дано крыльев орла. Она, как насекомое, летает только над травой, если же иногда ей доводилось сиять небесным светом, это не она возносилась к божеству, но божество нисходило к ней.

Вот, любезный друг мой, всё, что я могу сказать вам о себе. Когда моя голова тяжела от простуды, то и ум тоже. Если бы вы были здесь, я прочел бы вам несколько отрывков из моих произведений, чтобы посоветоваться с вами. Вы и впрямь можете сказать, как нужно исправить их, да и меня самого заодно. Я—живописец. Уверяю вас, что письмо ваше, не говоря о нескольких небольших стилистических погрешностях, показалось мне полным возвышенных мыслей. Еще больше предпочитаю я им ваши чувства. Сохраните же для меня место в своей памяти. Я не воспользуюсь вашими выражениями. Я не осмелился бы этого сделать, ибо они выражают то, что я чувствую. Вы же, думаю я, пользуетесь ими по причине противоположной.

ИНДѢЙСКАЯ

ХИЖИНА,

Сочиненїе

Г. де Сентъ-Пьера.

Перевела съ Французскаго

К. С.

МОСКВА,

Въ Университетской Типографїи,

у Ридигера и Клаудія.

1794.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ „ИНДИЙСКОЙ ХИЖИНЫ" БЕРНАРДЕНА ДЕ СЕН-ПЬЕРА, 1794 г.

Перевод Ек. Свиньиной

Подробности о жизни фельдмаршала Миниха будут мне теперь вдвойне интересны. Если его мемуары не очень объемисты, то прошу вас доставить их мне по тому же адресу, по которому вы посылаете письма[55]. Однако, я не беру на себя обязательства работать над ними в настоящее время, потому что завален собственными своими делами и бесконечной перепиской. Я имею в виду не вас: это для меня отдохновение. Я получил, наконец, жалобную песнь Поля на могиле его подруги. Она помещена в одном из последних номеров «Mercure». На нее написана превосходная музыка. Мне обещали несколько экземпляров. Отложу для вас один, если вы любите музыку[56].

Прощайте, уважаемый друг мой. Целую ваших детей и милую пиренейскую ботаничку. Не могли ли бы вы прислать мне какой-нибудь цветочек—анемону или другой,—я бы стал растить его на окне и назвал бы вашим именем!

Париж, 23 сего сентября 1790 г.

Адрес: **Баронессе фон Крюденер**
в Монпелье.
До востребования, при ее проезде

Между этим письмом и следующим от Крюденер пришло еще два послания. На первое Сен-Пьер не ответил; это не помешало ей прислать второе. Она лишь усилила дозу комплиментов; вероятно, именно во втором письме было то упоминание о власти сен-пьеровских писаний над сердцами, которое цитирует Эйнар: «Нет, вы не были бы нечувствительны к этому влиянию, к этой власти, с какой ваш гений господствовал над душами, к этим порывам, которые воздавали вам честь, и к этим слезам, которые текли из всех глаз»,—писала она Сен-Пьеру, сообщая об эффектах своего чтения вслух «Поля и Виргинии» обществу в Монпелье. Суть же обоих писем состояла в извещении, что она намерена переменить местопребывание. Сначала она указала Ниццу; второе письмо сообщало, что приходится ехать в Париж. На это второе письмо о скором свидании Сен-Пьер ответил в тот же день коротко и даже несколько натянуто.

(8)

[Париж, 5 декабря 1790 г.][57]

Я получил, любезный друг, ваше письмо, извещающее меня о вашем отъезде в Ниццу, в то время как я с часу на час ожидал вашего приезда в Париж; а сегодня от вас пришло письмо с известием, что вы едете в Париж, в то время как я сожалел о том, что вы в Ницце. Много причин помешало мне ответить вам. Первая та, что я был болен рожей, отчего у меня облупилась вся кожа на лице вплоть до ушей, и мне пришлось целых три недели не выходить из комнаты. Благодарение богу—единственному моему врачу, ныне я здоров. Вторая причина, вынудившая меня отложить письмо к вам, заключается в множестве моих писаний, усугубленных еще печатанием маленького произведеньица под заглавием «Индийская хижина», которое я только-что выпустил в свет[58]. Я рассчитывал послать вам его, но теперь буду иметь удовольствие вручить его вам лично. Присоединю к нему также романс и музыку «Поль на могиле Виргинии», издание которого, из-за формата in-folio и картонного переплета, одинаково затруднительно было послать как через экспедиционную контору, так и по почте.

СЦЕНА ИЗ ПОВЕСТИ БЕРНАРДЕНА ДЕ СЕН-ПЬЕРА „ПОЛЬ И ВИРГИНИЯ“
Фарфор завода Сафронова, 1830-е гг.
Музей керамики, Кусково

Вы преувеличиваете здешние холода. До сих пор у нас только шли дожди, и, повидимому, остаток зимы будет теплым. Вы страдаете болезнью людей чувствительных—меланхолиею. Париж заслуживает внимания философа, и там найдется для вас чем занять душу. По своей привычке говорить и выслушивать любезности, вы делаете мне слишком лестные комплименты. С самым нежным участием увижу я вновь вас и ваших детей, которых прошу поцеловать за меня.

Думайте же о том, как восстановить свое здоровье, и выбросьте из головы все те страхи зимы, которые вашему воображению, только-что прогуливавшемуся по южным провинциям, угодно распространять и на наш климат. Подумайте, что солнце светит для всего мира, а если зимой и бывает несколько студеных дней, то тем теплее покажется вам приближающаяся весна. В моем саду до сих пор цветут примулы, и я надеюсь поднести вам несколько цветков, когда вы приедете. В ожидании, благоволите принять уверения в моей дружбе и в желании увидеть вас под небом Парижа такой же довольной и счастливой, какой вы были под небом Монпелье. У меня времени лишь столько, чтобы запечатать письмо, так как необходимо отвечать на кучу писем еще других лиц, правда, не столь занимающих меня, как вы.

Париж, 5 сего декабря 1790 г.

Адрес: Баронессе фон Крюденер,
у господина Коста, биржевого маклера,
в Монпелье

Крюденер пробыла в Париже полгода; она, несомненно, встречалась с Сен-Пьером, однако, встречалась с ним едва ли сколько-нибудь часто. Биографы, во всяком случае, не упоминают об этом, а то, что мы знаем

о крюденеровских делах, исключает возможность какого-нибудь устойчивого интереса ее к Сен-Пьеру в это время. Она уже опять была в сердечной грозе и буре, самой большой в ее жизни; даже Эйнар не решился обойти эпизод, который был, действительно, и шумен, и драматичен, протекал у всех на глазах, осложнялся семейными и общественными событиями и ставил Крюденер в очень трудное положение. Интересующимся людям она отвечала, что «счастлива, как никогда на свете»[59]; действительность была грубее. Герой, гусарский офицер де Фрежвиль, ультрароялист и бретёр, обращался с влюбленной, мягко говоря, небрежно; супруг из Копенгагена требовал прекращения скандала, бесчестившего его посольское имя. Ее выбросило из Парижа политическое событие первостепенной важности—вареннское дело, неудача королевского бегства за рубеж в июне 1791 г. У Крюденер оказались основания считать себя задетой крахом этого предприятия; была ли она связана сама или через Фрежвиля с людьми, организовавшими побег, установить нет данных; Эйнар вскользь упоминает о крюденеровских сношениях с г-жой Корф, предоставившей, как известно, свой паспорт для коронованных беглецов. По смятению, охватившему русского посла Симолина, когда выплыла на свет российская доля участия в механике затеи, и по его сообщениям о возбуждении парижских масс против него самого и других вольных и невольных пособников[60], надо считать, что страх Крюденер и ее побег из Парижа вместе с Фрежвилем, переодетым в лакея, были достаточно обоснованы. Выбралась она благополучно,—но на этом ее удача кончилась; пошли блуждания по городам Европы, безденежье, долги, болезнь Фрежвиля, ультиматум супруга, унизительность положения, представлявшегося ей безвыходным. Среди этих тягот она вспомнила о Сен-Пьере; она написала ему; со времени последней их переписки прошел год. Сен-Пьер ответил; на сей раз по его ответу нельзя судить, о чем писала Крюденер: видно лишь, что жаловалась на здоровье. Об остальном Сен-Пьер не упоминает. Его ответное письмо говорит лишь о собственных его издательских и личных делах, с малой придачей общепринятых пожеланий адресатке.

(9)

[Париж, 16 декабря 1791 г.][61]

Я с грустью узнал, уважаемый друг мой, что ваше здоровье так плохо. Я тем более разделяю ваши страдания, что сам в течение шести недель был тяжко болен, да и теперь все еще только выздоравливаю. Колики и превосходящие их болезненностью страдания нервов[62]—вот мои недуги, которым я противопоставляю свои обычные лекарства—режим и терпение. Прибавьте к этим бедам еще воров, выманивших с помощью фальшивой записки, подписанной моим именем, во время моего отсутствия, мою служанку из дому и пытавшихся взломать дверь, что им, впрочем, не удалось, и смерть моей любимой собачки, которая в одном замке, где я должен был провести несколько дней, отравилась, выпив поставленную на комод в спальной хозяйки дома мышьячную воду для истребления мух. Несмотря на все мои старания, она умерла на моих руках в жестоких муках, и горе заставило меня уехать ночью, на другой же день после моего приезда.

Подобные беды, и, без сомнения, еще более жестокие, обычны, когда ведешь светскую жизнь, потому-то я и молюсь о том, чтобы вы могли жить

где-нибудь в сельском уединении. Такова цель и собственных моих желаний, и я мог бы осуществить ее, если бы согласился на предложения некоторых девиц принять их руку и состояние, что, по моему мнению, является пробным камнем для дружбы женщины, свободной располагать собою.

Однако, я слишком много говорю о себе. Не могу ли я дать вам советы, которые были бы полезны вам в настоящем вашем положении? Но я могу советовать лишь то, чем пользуюсь сам. Изучение природы, хотя бы лишь в изображении, мирит с человеческой натурой. Письма, которые вы так расположены писать, все-таки еще скрашивают житейские заботы. Если вы боитесь утомить свои нервы, сочиняя какое-нибудь произведение, то займитесь переводом. Как лестно было бы мне услышать, что «Поль и Виргиния» или «Индийская хижина» переведены на немецкий язык! Или же, чтобы это стало доступным и мне, переведите на французский язык одно из исполненных чувства произведений, написанных на вашем языке, если только те отрывки, которые вы мне сообщили, не обязаны всей своей прелестью вам одной. Так и пройдет для вас плохое время года, пока солнце не вернет туманному Копенгагену ясности и тепла Италии. Оно уже близится к вам, и астрономический год начался. Пусть поскорее вернет он вам светлые дни и зелень, по которой вы тоскуете. Я рассчитываю, что эти пожелания дойдут до вас, по крайней мере, к началу гражданского года. Благоволите принять также мои пожелания вашим милым детям, воспитание которых является первейшим вашим удовольствием. Я вынужден закончить это письмо, так как занят печатанием продолжения «Пожеланий отшельника» и «Индийской хижины», чтобы пополнить V том моих «Этюдов», который должен появиться в начале года[63]. Я предпринял этот труд, чтобы выполнить свой гражданский долг, так как я становлюсь жертвой подделок, которые

СЦЕНА ИЗ ПОВЕСТИ БЕРНАРДЕНА ДЕ СЕН-ПЬЕРА „ПОЛЬ И ВИРГИНИЯ"
Фарфор завода Киселева, 1840—1850-е гг.
Музей керамики, Кусково

со времени революции разрушают книжное дело, причем закон не решается пресечь их. Я пришлю вам это дополнение, как только будет оказия, вы же доставите мне удовольствие, уведомив о его получении. Надеюсь, что там найдутся страницы, которые вам понравятся. Вы доставите мне величайшее удовольствие, сообщив свое мнение, а если могли бы присоединить еще немецкий экземпляр «Поля и Виргинии»,—это было бы сладостной наградой за мои труды, стремящиеся вызвать интерес у людей всех стран[64].

Да призовет их к законам природы общий их отец! Тогда у всех них будет один язык. А пока да прострутся над вами все благословения его!— таково пожелание вашего друга.

Госпожа де Вайян намеревается продать свой превосходный кабинет птиц; она пожелала, чтобы я сообщил вам об этом, в предположении, что это, может быть, заинтересует ваш двор.

Париж, 16 сего декабря 1791 г.

Астрономический год еще не начался, но до него осталось уже немного.

Адрес: **Г-дам Шрам и Кестнер**
в Гамбурге,
для баронессы фон Крюденер

В крюденеровском архиве—это последнее письмо Сен-Пьера; больше и не было. Крюденер еще раз написала ему спустя два года, но не получила ответа. Что побудило ее писать—малопонятно; Эйнар говорит, что «она просила прервать молчание, которое ее беспокоило»[65]. Это—шифр без ключа: повода к беспокойству было не больше, чем все два года; Сен-Пьер жил непотревоженно. Пожалуй, наиболее правдоподобным поводом к ее письму можно считать намерение съездить на лето в Швейцарию, куда она приглашает и Сен-Пьера; это приглашение—единственный кусочек какой-то реальности в ее послании; остальное—поток вздохов, сетований на злосчастия своей судьбы и рассказы о семейной идиллии на прежний лад: «Скажите, дорогой и почтенный друг, нет ли у вас намерения побывать в Швейцарии и повидать эту прекрасную страну?.. Если бы я смела надеяться, что вы захотите провести лето на берегу Женевского озера, эта мысль и сейчас украсила бы мою жизнь, и я бы заклинала вас во имя той подлинной чувствительности, которой полна ваша душа, поехать пожить со мной в маленьком деревенском домике...»[66]. Но вкус к крюденеровским идиллиям у Сен-Пьера, готовившегося в это время вступить в брак с дочерью своего издателя, Фелисите Дидо, давно уже пропал. Он не нашел нужным даже ответить.

Попытка 1793 г. была последней; из поля крюденеровского внимания Сен-Пьер ушел на целое десятилетие. Она снова упоминает о нем мимоходом уже в 1802 г., в одном из парижских писем к своей постоянной наперснице, г-же Арман: она сообщает, что «нашла себе помещение в том же доме, где живет мой старый друг, с прекрасным садом, в уединенном квартале...»; она прибавляет: «...у г. де Сен-Пьера очаровательная жена и двое детей...»[67]. Она ошибалась: о событиях в жизни Сен-Пьера она знала уже так мало, что вторую жену его, Дезире Пельпор, приняла за мать сирот, оставшихся после смерти Фелисите; Сен-Пьер был для нее теперь только именем, лишенным жизненной весомости.

II

Между сен-пьеровской пачкой писем и следующей группой лежит промежуток в десять лет: это 1792—1802-е годы, то есть, на официальном языке Французской революции, I по X годы Республики Единой и Нераздельной, а в действительном содержании — трагический круговорот событий от казни короля до восстановления абсолютизма, в виде пожизненного консульства Наполеона Бонапарта. Старомодная, можно сказать, зажившаяся фигура Бернардена де Сен-Пьера за это время совсем отодвинулась в прошлое; ее заслонили новые герои литературы. Юлия Крюденер, всей природой своего упорного тяготения к сильным мира сего, должна была искать другой опоры. В самом деле, в письмах ее архива появляются теперь два самых крупных писательских имени этой эпохи—г-жа де Сталь и Шатобриан. Они появляются почти одновременно: между письмом г-жи де Сталь и письмом Шатобриана лежит промежуток всего в две недели.

У Юлии Крюденер эти десять лет, собственно, прошли впустую: она много суетилась, но мало чего достигла. Между тем, ей было почти сорок лет; честолюбие ее было голодно, как никогда прежде, а она оставалась все таким же перекати-полем, как и в 1780-х годах: она набегàла, пыталась уцепиться за кого-нибудь, снова срывалась и летела куда-нибудь дальше. Ее итинерарий лихорадочен: в мае 1792 г. она в Риге, в июле— в Петербурге, в октябре—опять в Риге, в феврале 1793 г.—в Берлине, в конце февраля—в Лейпциге, в том же году совсем собралась было в Швейцарию, но задержалась; в 1794 г. — назад к своим, в Ригу; в 1796 г.—опять Германия, далее Швейцария—Лозанна; в следующем, 1797 г.—Женева; с января 1798 г.—снова Германия: Мюнхен, Дрезден, Теплиц, Берлин; в 1799—1800 гг. — Берлин; в 1801 г. — Теплиц, потом Женева, потом Париж; в 1802 г. малозначащее событие—смерть супруга, барона Крюденера, последовавшая 14 июня,—застает ее еще в Париже, но она уже на отъезде и через два месяца срывается в Женеву, а еще спустя несколько недель, осенью, переезжает в Лион, дабы там провести зиму[68].

Во время одного из этих блужданий, в Швейцарии, и завязалось ее знакомство с г-жою де Сталь. Но когда? Крюденеровский биограф упоминает о визите Крюденер к г-же де Сталь лишь в 1801 г., в Коппе. Однако, первое ли это их свидание? Эйнар пишет: «Один из первых же визитов г-жи Крюденер по прибытии в Женеву [1801] был нанесен г-же де Сталь в замке Коппе. Это свидание, давно ожидаемое, но сначала несколько натянутое, в силу воспоминаний о кое-каких светских соперничествах, скоро стало тем, чем должно было быть, благодаря присутствию г-ж Рилье-Гюбер и Неккер де Соссюр. Г-жа де Сталь быстро устранила неловкость отношений с г-жой Крюденер своей открытой сердечностью, и беседы стали столь же непринужденными, как и занимательными»[69]. Отсюда следует, во-первых, что свидание состоялось не сразу, хотя его и «давно ждали»; во-вторых, что причиной недоразумений были столкновения в прошлом из-за некоего лица. Что это могло быть и когда? С 1792 по 1801 гг. Крюденер проходила через орбиту г-жи де Сталь дважды: один раз она была весной 1796 г. в Лозанне, другой раз, осенью 1797 г., в октябре — ноябре, в Женеве. О встречах в Лозанне Эйнар сообщает, что Крюденер виделась с рядом лиц, в том числе

с г-жой Неккер де Соссюр, г-жой де Шаррьер, с Бенжаменом Констаном; но, оговаривается биограф, как раз г-жи де Сталь в Лозанне не было— она только-что уехала. Не встретились ли обе они в следующем, 1797 г.? Тут дело несомненно,—этого быть не могло: г-жа де Сталь, получив выхлопотанное Б. Констаном у Барраса разрешение жить во Франции, хоть еще и не в Париже, уже на рождестве 1796 г. уехала из Швейцарии сначала в Гериво, потом в Ормессон, а в последних числах мая была уже в Париже и оставалась там весь год[70].

Таким образом, с Крюденер осенью 1797 г. видеться она не могла. В самом ли деле, как утверждает Эйнар, весной предыдущего года г-жи де Сталь не было в Лозанне, когда там промелькнула Крюденер? Это не бесспорно: пребывание в Лозанне всего «двора» г-жи де Сталь, в особенности Бенжамена Констана, показательно[71]; но возможно, что г-жа де Сталь почему-либо отправилась к себе в Коппе на несколько дней раньше, чем туда вернулась ее свита. Тогда ссора с Крюденер разыгралась заглазно. Но и в том и в другом случае повод мог быть только один: уклончивое выражение Эйнара о «кое-каком светском соперничестве» не могло относиться ни к кому другому, кроме Бенжамена Констана. Оно прикрывает эпизод, который можно охарактеризовать так: в 1796 г., в Лозанне, Юлия Крюденер застала Бенжамена Констана среди окружения г-жи де Сталь и пыталась привлечь его. Отношения между Крюденер и Сталь приняли характер соперничества; как всегда, Жермена одержала верх, но еще спустя шесть лет г-жа Неккер де Соссюр и ближайшая подруга ее, г-жа Рилье-Гюбер, должны были улаживать давний инцидент и открывать ворота в Коппе перед Крюденер, добивавшейся этого визита, который был ей очень важен.

Ей, в самом деле, теперь нужен был не столько друг, сколько помощь г-жи де Сталь. Крюденер решила сделать рычагом столь трудных и всё ускользающих жизненных успехов литературное сочинительство, на которое ее еще издавна толкали небескорыстные похвалы Бернардена де Сен-Пьера. Пример самой г-жи де Сталь манил и обещал, а ее содействие могло стать решающим. В эти годы г-жа де Сталь занимала самый центр литературной общественности; Сен-Пьер уже закатился, Шатобриан лишь восходил. Крюденер понимала, что получить из таких рук благословение на писательство—значило выиграть пол-дела; остальное должны были довершить личные качества самой неофитки: напор, ловкость, реклама, умение нравиться, готовность расплачиваться за услуги и, наконец, некоторое количество заготовленного сырого материала, из которого можно было выбрать что-нибудь пригодное для превращения в литературное произведение. У нее, действительно, было кое-что накоплено: во-первых, были черновики романа «Валерия», начатого еще в Париже, но отложенного; затем она набросала, правда, уже не по сезону, в духе старых сен-пьеровских повестей, в их ритме и стиле, «Хижину под латаниями»; далее, у нее были замыслы повестей в более модном стиле: «Элиза», «Алексис»; наконец, она подобрала стопку афоризмов, под провинциальным названием «Мысли иностранной дамы»; при некотором пересмотре, переделке и отборе, они тоже могли пойти в ход[72].

Г-жа де Сталь в значительной мере оправдала расчеты Крюденер: она не только ввела ее в самое горнило новых течений, вкусов и мыслей, включила ее в группу своих «собеседников» (это было наиболее важное, ибо Крюденер, как губка, впитывала все веяния), но и оказывала практиче-

скую помощь—представляла нужным людям, давала направление работе, можно сказать, формировала в Крюденер писательницу. Именно ей обязана Крюденер знакомством с молодым Шатобрианом. Видимо, ознакомившись с литературными опытами Крюденер, г-жа де Сталь решила, что использовать запоздалый сен-пьеровский сентиментализм крюденеровского стиля можно, лишь дав ему новый облик, который был связан с Шатобрианом. В художественной литературе 1801 г. был годом «Атала».

Г-ЖА ДЕ СТАЛЬ
Гравюра Хопвуда-младшего
Музей изобразительных искусств, Москва

Подражания и пародии, сыпавшиеся со всех сторон, только увеличивали моду на новоявленный талант.

«Вам совершенно необходимо повидать Шатобриана,—заявила г-жа де Сталь Юлии Крюденер,—я вам дам к нему письмо, в котором представлю ему вас»[73]. Госпожа де Сталь сделала больше: в декабре этого же 1801 г., когда обе они были уже в Париже, она оказала Крюденер высшее внимание—пригласила ее прослушать в совершенно интимном кругу первое чтение сенсационной литературной новинки—отрывков из «Гения христианства». Крюденер была на обеде у г-жи де Сталь «вместе с гг. Адрианом де Монморанси и Бенжаменом Констаном в тот день,

когда г. де Шатобриан прочел у нее два неизданных отрывка из «Гения христианства», из коих один начинается так: «Свободный, как птица лесная...». Это было событием в ту пору...»[74]. Наконец, г-жа де Сталь давала в своем салоне ход другим крюденеровским талантам: у Крюденер был один выигрышный танцовальный номер—так называемый «танец с шалью»; он доставлял ей триумфы в молодости, а теперь был восстановлен не только со светским успехом, но и с литературным: г-жа де Сталь ввела похвалу танцу в произведение, над которым она работала как раз в эту пору,—в роман «Дельфина».

Появление «Дельфины» в декабре 1802 г. и участие, которое не замедлил принять в подготовке литературного успеха г-жи Крюденер целый ряд людей, от Шатобриана в Париже до Камилла Жордана в Лионе, куда баронесса переехала в этом году, развязали выжидательную скромность Крюденер. Теперь она сама занялась организацией победы и меньше всего собиралась считаться с условностями. Рукопись «Валерии» была доверена руководству и советам ряда именитостей: Сен-Пьеру, Шатобриану, Дюсису, Жордану, Жеффруа и др.; ее читают, ее правят, ее перелицовывают; она становится почти коллективным произведением. Над этим смеются современники, знавшие, в какой кухне изготовляла «Валерию» баронесса Крюденер: «Она издала роман, может быть, ею самой написанный»,—иронизирует Бональд в «Journal des Débats» 1817 г.[75]. Подготовка к выходу в свет обставляется так, чтобы получить успех «Дельфины», не накликая в то же время ее опасностей. Именно в этот решающий период Крюденер пускает в ход тот самый «шарлатанизм» (это ее слово: «для всего есть свой шарлатанизм!»[76]), который и сейчас приводит в изумление читателя: будущая писательница заказывает стихи в честь себя, оплачивает помещение их в печати, ведет интриги, становится в позу молодой знаменитости, затмевающей свет старых богов.

Так теперь держит она себя и в отношении г-жи де Сталь. Она использует ее, небрежничает с ней, пытается поссорить с друзьями, придает своим отзывам о ней даже чуть презрительный оттенок. Она явно считает, что дела г-жи де Сталь со всех точек зрения плохи, и не считает нужным церемониться. Г-же де Сталь, действительно, в эту пору (1802—1803 гг.) пришлось туго. В ее личных делах наступил кризис, в ее общественном положении разразился крах. С одной стороны, наконец, умер человек, чье имя она прославила,—барон Эрик-Магнус де Сталь—и она, как будто, могла связать с собой формальными узами человека, которого она любила, Бенжамена Констана; однако, как раз теперь его поведение свидетельствовало, что разрыв назрел; г-жа де Сталь ощущала возле себя пустоту, которая была для нее самым невыносимым из ощущений. С другой стороны, она лишилась своего основного, общественного положения «machine à mouvement qui remue les salons» («машины, приводящей в движение салоны»), по гневному слову Наполеона[77]. Его отношение к г-же де Сталь определилось к 1803 г. окончательно: он сводил ее к нулю, как политика, и третировал, как женщину. В пору итальянской кампании ее пылкие письма, соединенные с самоуверенными выпадами против «ничтожной маленькой креолки, не достойной понять гения», вызывали в нем веселое глумление по адресу «этого синего чулка, этой изготовительницы чувств, смеющей сравнивать себя с Жозефиной...»[78]. Во время свидания у Талейрана он непроницаемо молчал, слушая треск ее тирад; а теперь предстательство Жозефа Бонапарта, заверявшего: «Она будет

4. genève ce 1er février.

je ne puis concevoir madame, ni ce qu'on vous a dit ni quelle est la personne qui vous l'a dit je n'ai jamais parlé de vous qu'avec le plus tendre intérêt, j'ai cru par quelques mots de camille et de mr de chateaubriand qu'une tracasserie m'avait été faite avec eux et je n'ai pas encor cherché à l'éclaircir parce que je hais les tracasseries et que je trouve qu'on les multiplie en s'en occupant mais je serois pourtant curieuse de savoir qui vous dit que je suis mal pour vous qui le dit à mr de chateaubriand à camille &c c'est un moyen bien misérable et dont il me sembloit que ma conversation qui ne porte presque jamais sur les noms propres devoit me mettre à l'abri — je vous remercie cependant de tout mon coeur de m'avoir écrit avec la sincérité qui vous caractérise mais convenez qu'il est bien aisé de brouiller par de tels moyens c'est un tour si facile que l'on ne devroit pas s'y laisser prendre — j'espère vous voir à paris et j'ose me flatter qu'en causant vous me retrouverez telle que vous avez bien voulu me juger. il est très vrai que c'est votre dante et celle de juliette qui m'a donné l'idée de celle de delphine il n'y a pas de mal à cela ce me semble je n'ai d'ailleurs éprouvé aucun changement dans ma disposition pour vous et plus je vous verrois plus il me seroit impossible de cesser de vous aimer.

N. Staël de H.

A Madame
Madame de Krudener
Maison
à Lyon

АВТОГРАФ ПИСЬМА Г-ЖИ ДЕ СТАЛЬ К Ю. КРЮДЕНЕР ОТ 1 ФЕВРАЛЯ 1803 г.

Публичная библиотека, Ленинград

обожать вас, если вы только выкажете малейшее к ней благоволение», он нетерпеливо оборвал брутальным: «Излишне! Ни к чему мне ее обожанье, она слишком безобразна»[79]. Такова кратчайшая история ее попыток установить личные отношения с ним. И того менее, разумеется, мог он терпеть ее в качестве какой-то самостоятельной величины в политике. С его точки зрения, это было, в лучшем случае, смехотворно: салонная говорунья, «идеолог в юбке», подымала голос там, где молчали и повиновались первейшие люди государственного действия—монархи, дипломаты, маршалы, законодатели. Но для нее перестать говорить—значило сойти с общественной сцены, а этого делать она не собиралась. Только личное присутствие Наполеона парализовало ей язык. Он наводил на нее оцепенение. Она, умевшая прерывать Гёте, заставлявшая неметь Шиллера, наполнявшая монологами слух всех европейских дворов,—она робела при виде Наполеона. Она сама обидчиво и недоумевающе отмечала это. Она жаловалась Люсьену Бонапарту: «... Я глупею в присутствии вашего брата от желания понравиться ему... Я ищу выражений, хочу заставить его заняться мной, и вот чувствую себя, и действительно становлюсь, глупой, как гусыня...»[80]. Тем смелее отводила она душу в салонах, а из того, что она там говорила, составлялись потом ее брошюры и памфлеты,—это было ее методом писательства. Бонапарт расправлялся с этим круто и быстро: «Предупредите эту женщину, что я не Людовик XVI...»,—предписывал он Фуше; «...посоветуйте ей не пытаться пересекать мне путь, каков бы он ни был и куда бы ни заблагорассудилось мне итти, иначе я ее сломаю, превращу в обломки; пусть сидит спокойно, это для нее самое осторожное»[81],—такова угроза консула; а вот приказ императора: «... эта женщина—настоящий ворон; она решила, что буря уже близка, и вся погрузилась в интриги и безумства. Пусть отправляется на свой Леман...»[82]. «Злостная интриганка»,—резюмирует он, и с полным правом, потому что не было такой интриги против него, к которой прямо или косвенно она не была бы причастна,—от наушничания иностранным дипломатам или превращения салона Рекамье в свой филиал, до оппозиции Бернадота и фрондерства Моро, которых она подталкивала.

В 1802 г. все эти взаимоотношения определяются; перед взорами жадно внимающей Юлии Крюденер разыгрывается то, что она считает крахом г-жи де Сталь и из чего извлекает уроки для собственных целей. Время было малопригодное, чтобы дразнить льва: первый консул с гигантской и гениальной энергией упрочивал свою власть и готовил Францию к мировой гегемонии; пожизненное консульство, конкордат с папой, Амьенский мир—все вело к одной цели. Менее, чем когда-либо, он был склонен терпеть, чтобы ему мешали. Между тем, Камилл Жордан в середине этого года издал антинаполеоновский памфлет «Истинный смысл национального вотума за пожизненное консульство», а Жордан был из ближайших приятелей г-жи де Сталь; через месяц, в августе 1802 г., старик Неккер опубликовал «Последние рассуждения о политике и финансах, предложенные французской нации г. Неккером», где между брюзжаниями отца слышались насмешки дочери насчет военных диктаторов и претендентов на короны; Бенжамен Констан издал брошюру «О последствиях контрреволюции 1660 года в Англии», и само заглавие показывает, что друг гнет туда же, куда гнул отец; а в декабре 1802 г. появляется «Дельфина», сенсационный роман самой г-жи де Сталь. Романисткой г-жа

де Сталь никогда не была, и не в романе суть «Дельфины». Уста героини и ее партнеров излагали рассуждения о религии, о браке, о свободе, о государственности,—и как раз в обратном направлении тому, куда вел страну первый консул. Он восстанавливал католичество,—«Дельфина» восхваляла протестантство; он укреплял семью,—«Дельфина» проповедывала свободу любви и развода; он вел к единовластию,—«Дельфина» декламировала о свободе; он готовил страну к борьбе с Англией,—«Дельфина» выдвигала Англию примером гражданственности и государственности[83].

Первый консул ударил по «всей клике», но по-разному, применительно к положению и знаменитости каждого. Жордановский памфлет он приказал попросту изъять, Констану — покинуть столицу, а против отца и дочери, по началу, выпустил своих журналистов, выказавших прямо-таки незаурядное искусство глумления, в особенности, по адресу г-жи де Сталь. «Journal des hommes libres», бывший на откупе у Фуше, изливает «d'orduriers outrages»—«непристойные оскорбления» по адресу «четы»—г-жи де Сталь и Констана; ханжа M-me де Жанлис выступает с обвинением г-жи де Сталь в развращении нравов[84]; «Mercure» в очередном номере после выхода романа пишет: «Дельфина говорит о любви, как вакханка, о боге, как квакер, о смерти, как гренадер, о нравственности, как софист...»; а среди политических тенденций «Дельфины» рецензия выдвигает на первый план самое одиозное, понятное каждому, напоминающее о том, что автор предался на сторону вечного врага Франции: «Французы,—значилось в «Mercure»,—отнюдь не будут признательны за то, как она с ними обходится; вся любовь ее отдана нынче англичанам; этому не приходится удивляться: умы, высоко парящие над этой низкой действительностью, лишены отечества, да и по иной причине г-же де Сталь разрешено не иметь его. Уроженка страны более не существующей, жена шведа, ставшая француженкой по случайности, для которой родина всегда была иллюзией, она, вероятно, и не может мыслить иначе: это вошло уже в привычку»[85].

Г-жу де Сталь этот журнальный яд не мог пронять—она уже испытала его; да она и сама принадлежала к «задорному цеху»; на нее действовали только реальные удары; таким был приказ об изгнании, которым Бонапарт завершил свою угрозу в следующем, 1803 г. Пока же журнальную брань она принимала хладнокровно и даже видела в ней свидетельство своей силы. Но общество было потрясено и тоном, и содержанием полемики, пустившей в ход интимнейшие события личной жизни писательницы. А Крюденер, стоявшая перед перспективой издания своей «Валерии», сделанной с оглядкой на вкусы и требования круга г-жи де Сталь вообще и на «Дельфину», в частности,—Крюденер была в панике. Ее письмо к Шатобриану (см. гл. III) было вызвано этим страхом: он числился в фаворе у Бонапарта, был создателем новой литературной моды и мог стать тем руководителем, которого она теперь отказывалась видеть в опальной г-же де Сталь.

Крюденер должна была убедиться, что ее собственная жизненная практика была осторожнее и предусмотрительнее. Это время было использовано ею выгоднее; она упрочила связи с теми, кто мог быть ей полезен, и, вместе с тем, она не совалась в политику, а оставалась светской женщиной, иностранной дамой, приобщавшейся к литературе. На этом пути ждали, конечно, трудности и не могло не быть столкновений. В частности, их нельзя было избегнуть с г-жой де Сталь, ибо приобретать себе не-

обходимых литературных друзей, опекунов и заступников приходилось, главным образом, из ее круга. Но теперь Крюденер чувствовала себя, по меньшей мере, равносильной опальной писательнице. Былое «светское соперничество» 1796 г. возродилось, но одна сторона была озлобленнее, другая—бесцеремоннее. По ходу своих дел Крюденер, как могла, вбивала клин между нужными ей людьми и г-жою де Сталь. Она, видимо, значительно успела в этом; для прикрытия, она сама, первая, обратилась к г-же де Сталь с упреками и жалобами на то, что Сталь ее теснит и обижает. Ответное письмо г-жи де Сталь, сохранившееся в крюденеровском архиве и ныне публикуемое, свидетельствует и содержанием и тоном, что г-жа де Сталь потеряла терпение. Она не отказывает себе в удовольствии поучить Крюденер правилам должного поведения. Она пишет:

(1)

Женева, 1 февраля [1803 г.][86]

Я не могу себе представить, сударыня, ни того, что вам рассказали, ни то лицо, которое вам это рассказало. Я никогда не говорила о вас иначе, как с самым нежным участием. Из нескольких слов Камилла и г. де Шатобриана я поняла, что между нами хотели посеять недоразумение, но я еще не пыталась выяснить произошедшее, потому что терпеть не могу недоразумений и нахожу, что, занимаясь ими, только увеличиваешь их; но мне все-таки было бы любопытно узнать, кто сказал вам, что я нехорошо отношусь к вам, и кто рассказал об этом г. Шатобриану, Камиллу и пр. Это очень непривлекательный прием, от которого, казалось бы, моя привычка почти никогда не касаться в разговоре личностей должна была бы меня оградить. Тем не менее, я от всего сердца благодарна вам за то, что вы написали мне об этом с ... искренностью, составляющей вашу отличительную черту, хотя, согласитесь, совсем не трудно поссорить людей таким образом; это способ настолько легкий, что не стоило бы к нему прибегать. Я рассчитываю видеть вас в Париже и льщу себя надеждой, что при личной беседе вы найдете меня все той же, какою считали меня раньше. Совершенно верно, что именно ваш танец и танец Жюльетты внушили мне идею танца Дельфины; мне представляется, что в этом нет ничего дурного. Впрочем, мое расположение к вам нисколько не изменилось, и чем больше мы будем видеться с вами, тем менее возможным станет для меня разлюбить вас.

Н[еккер] Сталь де Г[ольстейн]

Адрес: Госпоже Крюденер.
Дом Ветье № 86,
против отеля Селестинов в Лионе

Таким образом, ясно, что сама Крюденер ничего определенного в своем письме к г-же де Сталь не сообщала. У г-жи де Сталь должно было создаться впечатление, что Крюденер заметает собственные следы и спешит принести жалобы раньше, чем будут поводы предъявлять ей самой обвинение в непривлекательной интриге. Ясны и те лица, которых она ввела в действие: это Камилл Жордан и Шатобриан. Для г-жи де Сталь несомненно, что Крюденер пожаловалась им на нее и просила о защите; только они повели дело не совсем так, как рассчитывала Крюденер,—не соблюли доверительности и попросту адресовались к г-же де Сталь; нити интриги выступали, таким образом, на свет.

ПАВЕЛ И ВИРГИНИЯ

НЕГР ДОМИНИК

ПАВЕЛ И ВИРГИНИЯ

Персонажи повести „Павел и Виргиния“ Бернардена де Сен-Пьера

Статуэтки фарфорового завода Попова, 1840-е гг.

Музей керамики, Кусково

Поводов для разыгравшегося столкновения было два: один—общественный, другой—личный. Намеки и указания, сохранившиеся в материалах, позволяют с достаточной достоверностью считать, что дело было связано с политическим шумом, разыгравшимся вокруг выхода в свет «Дельфины», и что Крюденер почувствовала себя вовлеченной в эту историю, испугалась последствий и решила принять контрмеры. Одной из особенностей «Дельфины» являлось то, что персонажи романа были наделены приметами, по которым можно было отождествить их с действительными лицами общества; во французской литературе это было традиционно; считались расшифрованными сама г-жа де Сталь, Бенжамен Констан, старик Неккер, Талейран, г-жа Рекамье, прусский посланник Луккезини и т. д., в том числе и Юлия Крюденер[87]. Ей была отведена роль в танце Дельфины. Госпожа де Сталь взяла пресловутый «танец с шалью», предмет крюденеровской гордости, и описала его. Но танец Крюденер был взят не в чистом виде, а в известной смеси с танцами Жюльетты Рекамье, которые так пленяли парижский свет[88]. Об этом и говорится в письме г-жи де Сталь: «Совершенно верно, что ваш танец и танец Жюльетты внушили мне идею танца Дельфины; мне представляется, что в этом нет ничего дурного».

В самом деле, что тут было компрометирующего? А между тем, как ясно из контекста, Крюденер жаловалась на это, как на проявление нелюбви к ней г-жи де Сталь. «Танец Дельфины,—значится в романе,—представлял собою смесь бесстрастия и живости, меланхолии и совершенно азиатской веселости. Порою, когда музыка становилась нежнее, Дельфина делала несколько па, склонив голову, скрестив руки, как будто внезапно ко всему блеску празднества примешивалось несколько воспоминаний, несколько сожалений; но скоро, возвращаясь к живому и легкому танцу, она окружала себя индийской шалью, которая, обрисовывая талию и ниспадая вместе с длинными волосами, делала из всей ее фигуры восхитительную картину... Этот танец оказывал сильное влияние на воображение, и Дельфину приветствовали таким взрывом аплодисментов, что казалось, будто все мужчины влюблены в нее, а женщины покорены...»[89]. Г-жа де Сталь в праве была спросить, в чем вина автора перед моделями.

Что ответила, и ответила ли Крюденер, мы не знаем, но известно из крюденеровских писем к доверенным лицам, что имела она в виду: она хотела извлечь для себя одной всю выгоду такой рекламы, какую ей делал роман, но в то же время она боялась, что политическая опороченность героини, брань журналов набросят тень на самоё Крюденер и повредят успеху «Валерии», готовой появиться в свет. Поэтому, с одной стороны, она цитировала всюду, где можно, описание танца и комментировала его применительно к себе, а с другой стороны—предусмотрительно жаловалась, что г-жа де Сталь извратила ее образ, вложив ей в уста какие-то странные, неподобающие, непозволительные утверждения, в которых она неповинна. Об этой тактике говорят ее директивные послания к пресловутому доктору Гэ, подброшенному ей еще Бернарденом де Сен-Пьером,—«поставщику славы», готовному малому, идущему на все услуги и оправдавшему специфическую доверительность Крюденер. Письма к Гэ из Лиона, где она проводила зиму 1802—1803 г., отправлены ею раньше, чем она написала г-же де Сталь: они датированы еще началом и серединой января—3-м, 6-м, 17-м, 25-м. 17-м же января помечено также смятенное обращение к Шатобриану по тому же поводу (см. гл. III). Уже в письме

от 3 января диспозиция очерчена ясно: использовать «Дельфину» для авторекламы, но не слишком настаивать на личном тождестве; поэтому, прежде всего, Крюденер требует от своего фактотума мероприятий, которые дали повод Сент-Бёву лукаво заявить: «Я краснею за свою героиню». Она пишет Гэ: «Вот у меня какая просьба к вам: закажите какому-нибудь хорошему стихотворцу стихи в честь нашего друга, Сидонии [иносказательное обозначение самой Крюденер, по имени ее героини из «Хижины латаний»]. В этих стихах, которые мне нет нужды рекомендовать вашему попечению и которые должны быть отменного вкуса, нужно сделать только такое посвящение: «Сидонии». Пусть в них говорится:—Почему ты живешь в провинции? Почему твое уединение лишает нас твоего изящества, твоего ума? Разве успехи твои не зовут тебя в Париж? Там твои достоинства, твои дарования встретят то восхищение, какого они заслуживают. Твоя обворожительная грация была изображена, но кто может действительно нарисовать то, что заставляет заметить тебя?». Это осторожно-безличное «была изображена» сознательно мотивируется несколькими строками ниже; Крюденер поясняет: «Действительно, Сидония была изображена из-за ее танца в «Дельфине». Прочтите, вам это понравится. Но не следует упоминать, что именно в «Дельфине» она была изображена. Не давайте никаких других указаний, кроме простого посвящения «Сидонии»... Оплатите газету. Я надеюсь объяснить вам мои мотивы...». Кончает она столь же достойно, как начала: «Постарайтесь, чтобы вас не обнаружили!».

Уже через три дня она уточняет требование в отношении наиболее деликатного пункта—намека на описание в «Дельфине»; в письме от 6 января она пишет своему комиссионеру: «Я просила вас прислать стихи к Сидонии, мы напечатаем их здесь. Но при упоминании о том, что ее талант к танцам был изображен, не надо говорить прямо в безличной форме «был изображен», а надо сказать: «Опытная кисть нарисовала твой танец, твои успехи известны, твоя грация воспета так же, как и твой ум. Ты же неизменно утаиваешь их от света: одиночество, уединение—вот что тебе милее. Там, в набожности, среди природы и изучения, счастливая и т. д., и т. д...». Вот, любезный друг, чего я прошу у вас для нее, и я объясню вам, почему...»[90]. Эти новые оттенки заказа знаменательны. За три дня Крюденер поразмыслила над положением дел и приняла более определенную тактику. Она теперь решила, что безличная форма упоминания о танце не годится,—общество может не понять, о ком идет речь; Крюденер попрежнему боится политических следствий прямой ссылки на «Дельфину», однако, она считает желательным в наибольшей степени приблизить читателей к источнику, облегчить им разгадку; этой цели должны служить слова второй редакции заказа: «Опытная кисть нарисовала твой танец...». Но и теперь заказчица считает нужным возможно резче отделить свой образ от образа Дельфины. Она принимает меры к тому, чтобы сходство ограничивалось только мастерством танца,—остальное должно быть иным и даже противоположным. Так осуществляется стратегия, сохранявшая все выгоды от «Дельфины» и обезвреживавшая все ее опасности. Дело ведется уже в открытую; политическая природа изменений заказа проявляется прямо,—17 января, спустя две недели, Крюденер спрашивает Гэ: «Прочли ли вы «Дельфину»? Фонтенэ[91] обрушился на автора, который, конечно, совершил много непоследовательностей, но все же не заслужил таких оскорбительных нападок...».

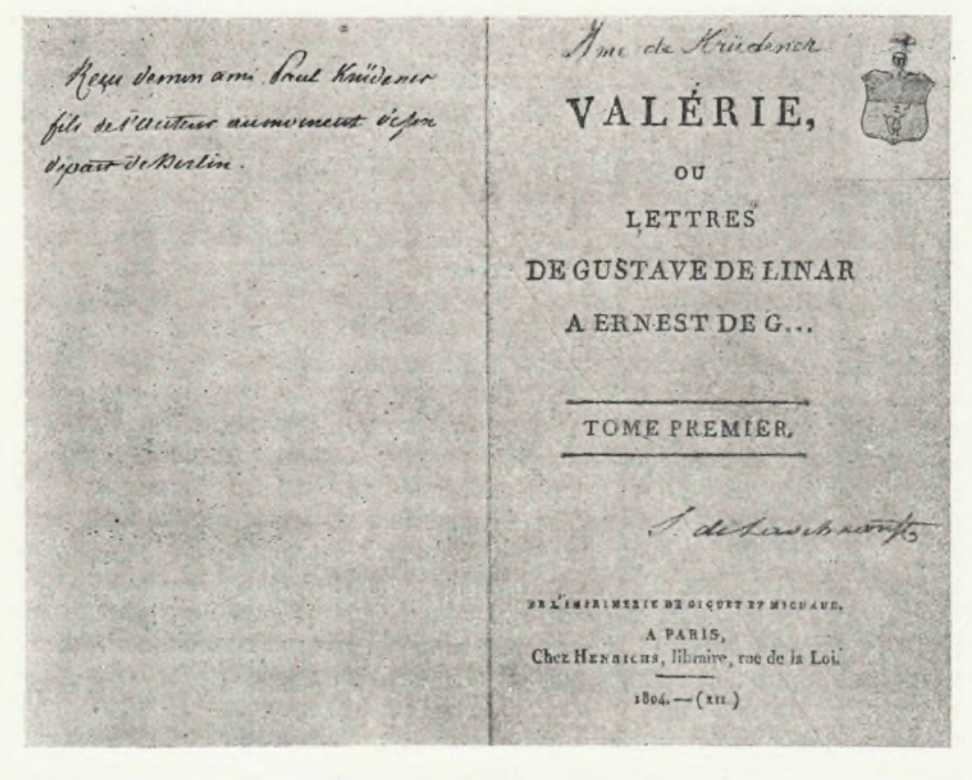
Это еще только присказка, говорящая о тревоге Крюденер, отмежевывающаяся от г-жи де Сталь, но и осуждающая, как это делали кругом, травлю против нее. Суть же раскрывается дальше: «M-me де Сталь сказала Сидонии, что хотела изобразить ее танец, и вы найдете это в первом томе. Дельфина танцует полонез на балу у г-жи де Вернон. Как заметило несколько лиц, она обрисовала фигуру, манеру речи, воображение Сидонии, а к ним подмешала собственные свои политические и религиозные высказывания, между тем как Сидония глубоко благочестива и мало занята политикой...»[92]. Совершенно то же писала она и новообретенному другу, Камиллу Жордану: «Читаю «Дельфину» госпожи де Сталь. Скажите, не является ли характер Дельфины странной смесью госпожи де Сталь и некоей другой особы? Это обращает на себя внимание; полагают, что во многих отношениях она захотела нарисовать эту другую особу: она изобразила ее танец и много черт ее фигуры; но, прошу вас, ничего не говорите ей об этом...». Эдуард Эррио, ставя вопрос: «была ли у г-жи Рекамье своя роль в романе?» и приведя этот отрывок письма, говорит: «Нет сомнения,—для г-жи Крюденер и ее друзей характер Дельфины является смесью характеров г-жи де Сталь и г-жи Рекамье»[93]; автор монографии о Рекамье не обратил внимания на последнюю фразу цитаты; для него вообще Юлия Крюденер проходит задним планом, и мысль о ее конкуренции с Рекамье у него даже не возникает. Но слова «прошу вас, ничего не говорите об этом» нам ныне ясны: Камилла Жордана просят не передавать г-же де Сталь о притязаниях Крюденер на образ Дельфины, дабы не увеличивать напряженности отношений, какая теперь снова, как в 1796 г., была между обеими женщинами.

Действительно ли Крюденер надеялась на скромность Жордана? Или, наоборот, расчет ее строился как раз на той несколько резкой прямолинейности, которая его отличала? Второстепенный, но типический представитель французского умеренного роялизма, в 90-х годах — один из лидеров контрреволюции, позднее — консерватор на английский манер, недалекий, упрямый, догматический («этот пономарь, небодрый разумом»,—говорит о нем Ж.-М. Шенье в сатире на папу и Людовика XVIII), Камилл Жордан был в личном общении любимцем друзей, взрослым ребенком, вызывавшим зачастую переполох своей прямотой и откровенностью. В нашем случае дело представляется тем яснее, что Жордан был не просто знакомцем обеих дам, а служил яблоком раздора, объектом нового соперничества. Как и в 1796 г., нападающей стороной была Крюденер, обороняющейся—г-жа де Сталь. В Лионе, где Крюденер жила в это время, Жордан мог ей быть весьма полезен, а в литературных делах—сугубо, ибо обладал и личной известностью публициста, и внушительными литературными связями. Крюденер, действительно, широко использовала его в своих интересах. Разумеется, Жордан не подозревал, что является одной из составных частей ее «шарлатанизма», но на деле он способствовал рекламе Крюденер едва ли не больше всех в лионской группе. Сколько бы ни делать скидок на крюденеровский гиперболизм, все же останется достаточно, чтобы упоминания имени Жордана обозначали действительную помощь. «Я бы не кончила,—пишет 1 марта 1803 г. Крюденер г-же Арман, бывшей гувернантке своих детей,—если бы стала рассказывать вам, как меня чествуют («comme je suis fêtée»): целый дождь стихов, знаки почтения и внимания соперничают; каждое мое слово рвут, как милость; только и разговоров, что о моем уме, доброте, нрав-

ственности; это в тысячу раз больше, нежели я заслуживаю, но провидению угодно изливать на детей своих...» и т. д.[94]. Та же тема с вариациями развивается в письме к падчерице, живущей в Берлине: «Произведение г-жи де Сталь, репутация, которую она мне создала в танце, похвалы газет в связи с «Ма̀ксимами», поток стихов, связь с Шатобрианом, Сен-Пьером, слава доброты, благородства, ...успех «Валерии», которая здесь была читана, ... все это принесло маменьке [маменька—это она сама] любопытство, потоки стихов из провинции, приглашения, приемы...»; «... именно успех «Валерии» и заставляет меня желать поездки в Париж. Вы знаете, сколько нужно предпринять самой с газетчиками, вообще поработать над успехом нового произведения, чтобы затем небрежно печатать, пользуясь уже сложившейся репутацией. Я рассчитываю, что Сен-Пьер, Дюсис, Шатобриан и Жеффруа отзовутся одобрительно. Пущенная таким образом в свет молодая особа будет принята всюду. Вы знаете, что для успеха не достаточно одного ума или дарования или добрых намерений,—для всего есть свой шарлатанизм»[95]. Она выполняет эту программу; она организует мнение парижских салонов, заново передает рукопись парижским знатокам: «„Валерия“, просмотренная и исправленная еще в Лионе, была снова подвергнута рассмотрению и поручена нескольким просвещенным друзьям»,—говорит крюденеровский биограф; на это уходит вся вторая половина года. Наконец, в декабре 1803 г., с датой 1804 на обложке, «Валерия» выходит в свет; теперь «все батареи г-жи Крюденер производят салют»,—как выразился Ш. Эйнар: и комиссионеры, и друзья, и родственники, и провидение—все было пущено в ход в решительную минуту. Г-жа Крюденер в экстазе даже сообщает близким людям о своем новом «изобретении»: она объезжает парижские модные магазины, с шумом требует новинок дамского туалета «в стиле Валерии»,—конечно, таковых не оказывается, она негодует, отчитывает продавщиц и владельцев; те сначала теряются, затем делают срочные заказы модисткам, и спустя несколько дней магазины уже предлагают всем парижанкам шали, ленты, перья, цветы и т. п. à la Valérie. Крюденер же пишет письмо такого рода: «Успех «Валерии» полный и неслыханный, и еще на-днях мне говорили: есть нечто сверхестественное в этом успехе. Да, друг мой, небу было угодно, чтобы эта более чистая нравственность распространилась во Франции, где ее идеи мало в ходу...»[96].

Небо небом, а кесарь кесарем: Крюденер не была бы собой, ежели бы позабыла о более близком и более ощутительном земном владыке. Она решила поднести «Валерию» первому консулу. Это было тем соблазнительнее, что она сделала все, чтобы попасть в тон его требований и чтобы не повторилась история с «Дельфиной». Победу над г-жой де Сталь она готовилась одержать в самом центре поля деятельности. Недаром новый вождь литературы, Шатобриан, был одним из основных ее советчиков и направителей. Упоминание о благочестии, о нравственности, о провидении, о невмешательстве в политику, которыми Крюденер в письмах аттестует себя и свое произведение, говорят, как внимательно прислушивалась она к лозунгам дня. Поэтому на заключительный шаг, закрепляющий ее успехи, она пошла с легким сердцем: она отправила экземпляр библиотекарю Бонапарта, Антуану Барбье[97], а тот, как обычно, положил книгу в число новинок на просмотр первому консулу. Наполеон раскрыл книгу где-то посередине, прочел несколько строк и захлопнул,

сказав: «Это хорошо для женщин, у которых много свободного времени». Крюденер, тщетно прождав несколько дней ответа на внимание, решила напомнить о себе вторично и более пышно: она велела великолепно переплести книгу и сделала надпись—посвящение первому консулу от имени «иностранки, избравшей Францию отчизной своего сердца». Наполеон снова раскрыл книгу, прочел на сей раз несколько страниц и заявил библиотекарю: «Повидимому, сударь, у баронессы Сталь появился двойник: после «Дельфины» выходит в свет «Валерия». Одна стоит другой, — та же выспренность, та же болтовня... Посоветуйте от моего имени этой сумасшедшей г-же Крюденер впредь писать свои произведения по-русски или хотя


Mme de Krüdener

VALÉRIE,

OU

LETTRES

DE GUSTAVE DE LINAR

A ERNEST DE G...

TOME PREMIER.

DE L'IMPRIMERIE DE GIGUET ET MICHAUD.

A PARIS,

Chez Henrichs, libraire, rue de la Loi.

1804. — (XII.)

РОМАН Ю. КРЮДЕНЕР „ВАЛЕРИЯ“

Экземпляр первого издания 1804 г. с пометами владельца книги, свидетельствующими, что он получил ее от П. Крюденера—сына автора

Частное собрание, Ленинград

бы по-немецки, но мы должны быть избавлены от этой невыносимой литературы»[98].

Так суждением Бонапарта «Валерия» оказалась приравненной к «Дельфине». Это было худшее, что могло случиться. Уверения Шатобриана, коллективное редакторство стольких знатоков сделали из нее только сателлитку опального автора. На какое будущее могла она теперь рассчитывать? Любопытно, что не сбылась ни одна из ее надежд на рецензии, подписанные большими именами: вопреки ее предсказаниям, ни Сен-Пьер, ни Шатобриан, ни Дюсис, ни Жеффруа, ни Жордан не дали в прессу ни строчки о «Валерии». Отозвался лишь все тот же признательный газетчик Мишо: после похвалы афоризмам—похвала роману. Действитель-

ность обертывалась совсем не такой, какой хотела Крюденер; ее уверения: «Г-н Шатобриан в восхищении от моей „Валерии“», или: «Г-н де Сен-Пьер в восторге от «Валерии», остальные журналисты и литераторы тоже, они заверяют, что это будет одной из наиболее заметных вещей, какие появились за долгий срок» (письмо 2 августа 1803 г.)—оказались фантазиями, где рекламный метод и искреннее самолюбование автора были равно смешаны. Знаменательно, что и из дальнейших литературных опытов Крюденер ничего не вышло. Она заготовила еще несколько рукописей—«Письма светских людей» («Lettres de quelques gens du monde»), новеллу «Отильда, или подземелье», переработанную потом даже в роман; но все это осталось в сыром виде. Это было уже ни к чему. Друзей, которые потратили бы свой труд на переработку, теперь не нашлось, сама она к литературной карьере охладела. Но рана болела долго. Крюденер не желала числиться лишь отражением подлинно знаменитой женщины, а свое произведение считать тенью подлинно знаменитого романа. Она взывала к недавним друзьям, жаловалась, доказывала, сопоставляла «тот, другой роман» со своей «дорогой „Валерией“» и ждала утешения[99]. Но эту защиту ей пришлось вести уже издалека, из затишья родной провинциально-патриархальной Риги, куда она удалилась из Парижа. Это было погружение в небытие на пороге сорока лет жизни, после очередного краха. Правда, катастрофа постигла и г-жу де Сталь—наступили годы ее изгнания, скитаний, знаменитых dix années d'exil, но какая же была разница между этими шумными передвижениями по дворам и странам, приемами у государей, беседами со знаменитостями, погружениями в мировую политику, наконец, выпуском книг, получавших оглушительный резонанс, вызывавших гнев Наполеона и восторг эмиграции, словом, всем тем, что делало г-жу де Сталь середины 1800-х годов знаменитейшей женщиной Европы,—и бесцветным прозябанием Крюденер в Риге или Бадене на положении одной из дам светского общества. Крюденер, конечно, достаточно знала о делах г-жи де Сталь,—кто же не знал о них? Г-жа де Сталь получала сведения о жизни и бытии Юлии Крюденер,—они изредка переписывались, попадались люди, соединявшие нити между ними; они даже встретились еще раз в Женеве в 1808 г.[100]. Но вообще пути их разошлись, а в ту короткую пору 1815 г., когда Крюденер показалась всему миру рядом с русским императором и могла бы, наконец, встретить г-жу де Сталь с более высокой ступеньки,—Сталь отсиживалась в своем Коппе, не желая показываться в Париже, потрясенная, подавленная поведением союзников, которым она сама прокладывала путь во Францию, стараясь осмыслить все происшедшее, подводя ему итоги в своем последнем произведении, можно сказать—в политическом завещании—в «Размышлениях о главных событиях Французской революции». Г-жа де Сталь появилась в Париже лишь в следующем, 1816 г., когда Крюденер, после трехмесячного блеска, опять погрузилась—на этот раз окончательно—в сумрак частного, хотя и беспокойного существования.

В промежутке они изредка напоминали друг другу о себе. Обычно это шло со стороны Крюденер,—по крайней мере, так говорят те два письма г-жи де Сталь, оба ответных, которые сохранились неопубликованными в крюденеровском архиве. Одно письмо—1807 г., другое—1809 г. Первое письмо прямо упоминает о послании Крюденер, второе говорит о том же косвенно, упоминая о нескольких темах, которые развивала Крюденер. Оба ответных письма госпожи де Сталь отправлены из Коппе. Одно таково:

РУССКИЙ САЛОН В ПАРИЖЕ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА

Рисунок неизвестного художника в альбоме В. Н. Головиной, изображающий парижский салон ее матери, кн. П. И. Голицыной, 1802—1804 гг.

Музей города, Ленинград

(2)

Коппе, 14 октября [1807 г.][101]

Не разрешите ли, my dear Madame, направить к вам барона Энде, который побывал здесь и произвел на меня впечатление человека, преисполненного добрых чувств и умеющего живо их выражать, что делает честь его уму и сердцу. Он выразил желание познакомиться с вами. Он расскажет вам про Коппе и напишет мне все о вас,—что я ему очень советовала сделать. Овернер просил напомнить вам о себе. Г-жа Жаколи Клёст поет гимны вашему поведению в Кёнигсберге. Прошу вас думать о Коппе, как о собственном своем доме, и напомнить обо мне прелестной Жюльетте[102].

Я получила ваше милое, вернее прекрасное, письмо.

В сущности, это даже не письмо, а записка довольно холодного, почти светски-официального тона, столь отличного от предыдущего гневного письма по поводу Жордана и «Дельфины», и от следующего, простого, местами иронического, но, в общем, дружественного письма 1809 г. Видимо, в этот промежуточный этап 1807 г. разобщенность отношений между г-жой де Сталь и Крюденер была наиболее полной: контраст между бурями у одной и тишиной у другой никогда не был так велик, как теперь. У г-жи де Сталь—это время выхода в свет, весной 1807 г., «Коринны», с ее открытыми и скрытыми жалами по адресу Наполеона и явными и тайными восхвалениями Англии—продолжением и усугублением давней борьбы, вызвавшим в ответ снова раскаты грозного голоса, поминавшего даже среди грома боев под Иеной, Эйлау, Фридландом «эту негодницу Сталь», «эту зловредную интриганку», что наполняло виновницу женским ужасом и мужским самолюбованием.

Крюденер же в это время делала первые шаги на пути, избранном ею после крушения литературных начинаний. Она устанавливала связи с малыми властителями—в Бадене, Карлсруэ или Кёнигсберге. Письмо г-жи де Сталь как раз упоминает о «поведении в Кёнигсберге», т. е. о сближении с прусской королевой Луизой, на почве выполнения долга христианского милосердия, в виде посещения раненых в кёнигсбергских госпиталях летом 1806 г. Крюденер делала тут предварительные опыты сближения с власть имущими на земле при помощи власть имущего на небесах.

Действительно, к концу 1800-х годов Крюденер дошла до первых опытов общественного приложения «заимствуемой благодати». По существу, это был один из вариантов поведения, которое стало уже широко модным, которое было освящено в европейском масштабе успехами Шатобриана с «Гением христианства», а в провинциальном—карьерой поэта-мистика Юнг-Штиллинга при баденском дворе. «Г-жа Крюденер,—повествует Эйнар,—крайне стремилась поучиться у благочестивых людей, которые могли просветить ее. Юнг-Штиллинг выделился тогда в качестве одного из немецких теософов, которые более всего производили впечатление на массы»[103]. Как раз к берегу Юнг-Штиллинга и пристала Крюденер. Он стал сначала ее учителем, затем—благовестителем ее добродетелей. Более того: он стал для Крюденер прообразом для завершающего дела ее жизни, для ее роли спустя семь лет возле Александра I. Юнг-Штиллинг уже играл такую роль при местном монархе: «Великий герцог Баденский... назначил его своим тайным советником и совещался с ним по всевозможным поводам»[104].

Два года, прошедших между запиской г-жи де Сталь 1807 г. и ее письмом 1809 г., были у Крюденер наполнены развитием юнг-штиллинговских теософских уроков, усвоением его словаря, первыми опытами проповедей, первой проверкой сил в делах спасения заблудших и т. п. У нее выработался особый стиль речи, возвышенно-туманный, манера самообличения паче гордости, переходящего в рассуждения о своем избранничестве,— всё то, чем наполняются отныне и впредь ее взаимоотношения с людьми.

Это определяло теперь и трудности личного общения Крюденер с г-жой де Сталь, и редкость их переписки, и особенности ее тона и содержания, когда при оказиях Крюденер вызывала своими посланиями г-жу де Сталь на ответы. Знаменательно, что, проезжая осенью 1808 г. мимо Коппе, Крюденер не решилась заглянуть туда, а в письме, написанном из Лозанны 8 октября 1808 г., сочла нужным сказать о «мужестве», которое-де ей для этого понадобилось[105]. Зато заглазно она в этом же письме прочла г-же де Сталь длинную проповедь о благодати веры—образчик усвоенной теологической риторики. Еще А. Н. Пыпин отметил, что Крюденер в этой новой роли чувствовала смущение перед г-жой де Сталь и, витийствуя, держалась настороже. Она писала одному из близких лиц: «Г-жа де Сталь очень далека от гавани. Она откровенна и правдива. Боюсь, как бы она не заметила, что ее хотят обработать («qu'on veut la travailler»); это пропадет даром. Надо махнуть рукой... Один бог может уловить ее; от него она не уйдет». Пессимизм Крюденер был обоснован. В ее архиве сохранилось письмо г-жи де Сталь,— последнее, каким мы располагаем,—которое свидетельствовало, что по этому адресу крюденеровская благодать расточалась впустую.

(3)

[Коппе] 5 февраля [1809 г.][106], четверг

Жизнь, которую, сударыня, вы там у себя ведете,—самая прекрасная и самая трогательная, и мне хотелось бы иметь достаточно сил, чтобы вам подражать. Но моя душа нуждается в развлечении,—вернее, в ней подымается боль, когда я чем-либо не отвлечена, и это делает для меня полное уединение невозможным. Во мне нет сейчас этой полноты чувств, и одно лишь мое стремление цельно и беспримесно. В повседневной жизни я видела, что вы доверчивее меня и что дурные стороны в людях и делах не так явственны вам; я же почти не сохранила привычки надеяться и вношу эту горестную настроенность даже в наиболее высокие мысли. Молитесь за меня, ибо ваши молитвы должны быть действенными, и в них вы никому не отказываете. Роман вашей Софи меня живо интересует; сообщите мне, какова его развязка, но сообщите также и о себе, что с вами будет дальше. Я остаюсь в Коппе до октября, вы же так близко отсюда: почему бы вам не приехать? Вы оставили на своем пути как бы светлый след, и все благочестивые люди говорят мне о вас с любовью. Каковы ваши планы на будущее и как обстоит дело с тем, другим, более идеальным романом, над которым вы трудились? Я уверена, что он будет носить отпечаток ваших теперешних чувств и что ваше дарование как нельзя лучше сочетается с ними. Прочли ли вы «Вальштейна» Бенжамена Констана? Предисловие к нему должно вас заинтересовать, вы оцените в авторе иноземную сочность, ограниченную французской точностью. Я послала бы вам книгу, если бы знала, где вас найти, но в числе прочих своих ангельских свойств вы обладаете свойством делаться невидимой, и я не знаю, где вас

поймать. Выходите же на свет и подумайте, сколько удовольствия и сколько добра доставите вы всем, с кем встретитесь. Напомните обо мне, пожалуйста, Софи и Жюльетте. Я очень жду обещанного описания вашей жизни. Итак, когда вы были любимы, ваше сердце довольствовалось этим, не требуя ничего другого. Я же, когда любила, была полна лишь собственным своим чувством. Что думаете вы о Юнг-Штиллинге и его книге о духах? Я ставлю все эти вопросы, главным образом, затем, чтобы получить на них ответ.

Целую всех вас троих с нежностью и почтением.

Было ли это ответом на упомянутое крюденеровское письмо из Лозанны от 8 октября 1808 г., или за истекшие с тех пор четыре месяца от Крюденер пришло еще одно послание,—содержание было, как видим, по существу, одно и то же. Деловая часть,—если это можно назвать деловым,—состояла в сообщении о намечающейся помолвке Софи, падчерицы Крюденер, за которой ухаживал некий M-r Ошандо. Главное место в крюденеровском письме занимала похвала уединению, благочестию, помощи ближним и прочим добродетелям, которые проявляла ныне баронесса. В ответ она ждала декларации со стороны г-жи де Сталь. Г-же де Сталь было о чем писать, ежели бы это не шло в адрес Крюденер. Именно теперь ее томления изгнанницы достигли апогея: она задыхалась в своем Коппе, она мучительно рвалась в Париж и как раз в этом же самом феврале 1809 г. писала об этом Талейрану. А в творческой работе она была поглощена писанием глав «О Германии», знаменитейшей книги, апологии немецкого романтизма, немецкой мистики, где Крюденер могла усмотреть какое-то родство со своими интересами и вкусами. Но г-жа де Сталь умолчала обо всем этом. Ее ответ уклоняется от разговора по душам.

Вопрос о Юнг-Штиллинге и его книге о духах свидетельствует, какая ирония пробивалась под благосклонными выражениями письма г-жи де Сталь. «Книга о духах»—это пресловутое теоретическое введение в практическое духоведение: «Theorie der Geisterkunde», выпущенная крюденеровским наставником и ценителем в 1808 г. Знала ли г-жа де Сталь или нет о взаимоотношениях своей адресатки с мистическим старцем (скорее всего, знала,—круг общих знакомых был тесен), но ответ Крюденер не мог не выявить, до каких степеней святости дошла новообращенная[107]. Позднее огромные исторические события, с которыми соприкоснулась Крюденер и которые она использовала, прикрыли своим отсветом ее ханжество и задекорировали ее циничность; но в те годы, когда Крюденер в последний раз общалась с г-жой де Сталь, в преддверии наполеоновского заката, ее корреспондентке было наиболее четко и выпукло видно то, о чем писал Паризо в «Biographie Universelle», в посмертной характеристике баронессы Крюденер: «Эта героиня не обладает ни дарованием, ни подлинной страстью, ни непосредственностью, за исключением случаев, когда затронуто ее честолюбие. Театральная с головы до ног, она протягивала руку бедным лишь в ту пору, когда благоденствующие бросали ее, да и тогда чего она искала?—Зрителей, хотя бы и в лохмотьях...»[108].

Для Крюденер была ясна неудача. В архиве Коппе сохранилось ее письмо, датированное 16 марта 1809 г., которое свидетельствует, что она сочла необходимым даже прямо бить отбой. Она оправдывается и

ШАТОБРИАН
Гравюра Ж.-Н. Ложье 1817 г. с портрета Жироде 1809 г.
Музей изобразительных искусств, Москва

разъясняет: «Вы пишете мне, сударыня, что для вас было бы невозможно жить в уединении. Вы не поняли меня, если сочли, что именно это я советую вам»; пространные доказательства обратного она подкрепляет изумительной декларацией, сделанной от имени господа бога: «Сам господь, т. е. само добро, сама нежность, сама деликатность, относится с уважением к свободе человека, если позволено так выразиться. Он не принуждает ни к чему. Он лишь зовет уверовать и через это отдаться ему»,—в подкрепление чего Крюденер приводит «поразительные случаи» обращения, только-что произошедшие при ее скромном содействии. Всё это было не для г-жи де Сталь: г-жа де Сталь невысоко расценивала устойчивость новообращения самой Крюденер. В архиве Коппе есть еще одно письмо, заключительное для их общения друг с другом. Оно связано с неприятностью, стрясшейся над Крюденер,—с приказом выслать ее из Вюртемберга за сообщничество с двумя шарлатанами—пастором Фонтаном и его «пророчицей» Марией Куммрин, которых Крюденер пригрела возле себя и которыми пользовалась. Г-жа де Сталь усмотрела в приказе политическое гонение, родственное тем, каким она сама подвергалась со стороны Наполеона, и предложила Крюденер убежище у себя в Коппе. Но, посылая приглашение, она сочла возможным задать Крюденер вопрос, всё ли еще та держится за свою мистику. Ответ Крюденер, посланный из Бадена 14 сентября 1809 г., столь же характерен: она отклоняет приезд в Коппе и утверждает верность обретенной благодати: «Вы испугались для меня одной лишней опасности. Могу сказать вам, что в отношении вюртембергского короля я подобна Баярду без страха и упрека. Больше всего его сердит то, что я его не боюсь... Я так счастлива и спокойна, что мир не может волновать меня. Думаю, что этим я полностью отвечаю на ваш вопрос мне, не изменились ли мои религиозные убеждения. Они лишь крепнут. Конечно, мне было бы приятно перенестись в Коппе... Но сколько препятствий на пути к этому проекту! О, я хотела бы несколько часов побеседовать с вами, как в последний раз,—но это было бы не о политике, не о земных потрясениях... Я познала столько вещей...».—На этом связь между ними оборвалась; каких-либо свидетельств дальнейшего их общения нет—ни эпистолярных, ни биографических. Они расстались, как видим, каждая в своей роли: одна—с жестом изгнанницы, предлагающей приют еще одной жертве тирании, другая—с жестом пророчицы, дающей ответ еще одной жертве безверия.

III

Ни политическими, ни личными взаимоотношениями Шатобриана и Крюденер французская биографическая литература не занималась совершенно. Огромный свод исследований и характеристик, созданный вокруг жизни и писаний зачинателя романтизма и охвативший столько имен и событий, обошел молчанием крюденеровскую тему. Такая традиция умолчания установлена самим Шатобрианом. Она осталась непоколебленной, как всё, что пожелал себе приписать и от чего пожелал отречься знаменитый творец автобиографической легенды «Mémoires d'Outre-Tombe» («Замогильных записок»). Этому способствовала и крайняя скудость наличествующих материалов, особенно важнейших, исходящих непосредственно от обоих лиц. Между тем, есть все основания думать, что переписка между Крюденер и Шатобрианом была куда обильнее и внушительнее,

чем те эпистолярные крохи, которые сохранились. Известны всего лишь два письма их друг к другу—по одному на каждого из корреспондентов. Сам Шатобриан опубликовал в «Замогильных записках» полученное им крюденеровское письмо 1803 г., а Эйнар дал место шатобриановскому письму к Крюденер 1815 г. Сейчас те несколько записок и писем из крюденеровского архива, которые пролежали свыше ста лет, не видя света, и нами публикуются, увеличат шатобриановскую долю, но не прибавят ничего к крюденеровской; однако, они же свидетельствуют, что письма Крюденер к Шатобриану существовали; позднее они исчезли и, по всей вероятности, едва ли уж отыщутся. Это не случайность, это—итог, который Шатобриан подвел своим отношениям к Крюденер. Он не желал признавать Крюденер сколько-нибудь самостоятельной величиной в летописи своего существования. Для кривого зеркала «Mémoires d'Outre-Tombe» это как нельзя более характерно.

Одна подробность освещает дело: в XXI главе 10-й книги окончательного текста «Замогильных записок» читаем: «Госпожа Крюденер последовала за союзниками, появившимися вновь в Париже. От романа она перешла к мистицизму...»[109] и т. д. Этот холодный и безличный тон повествования не оставляет у читателя места для предположений, что автора и Крюденер связывали непосредственные и притом весьма важные отношения. Шатобриан держит себя посторонним и надменным наблюдателем юродств заезжей каботинки. Однако, уже предыдущая редакция, пусть мимоходом, говорила все же об ином; там Шатобриан писал: «...г-жа Крюденер, которую я близко знавал («que j'ai beaucoup connu»), была в Париже...»[110]; слова, обозначенные разрядкой, были затем изъяты. Сохранившиеся и печатаемые ниже письма Шатобриана, относящиеся именно к этой поре, показывают, какую цель преследовал автор, меняя редакцию: он желал своим безличным повествованием отвести читателя от интереса к его собственным связям с юродствовавшей баронессой, в которых он играл далеко не надменную роль. То же, ради тех же целей, сделал он и в V томе «Воспоминаний». Исследователь шатобриановского текста, Морис Левайан, говорит: «Фрагмент рукописи «Замогильных записок» 1848 г. свидетельствует, что в предыдущей редакции 10-й книги Шатобриан цитировал в этом месте одно или несколько писем г-жи Крюденер. Дело идет о начальных строках книги, описывающей посольство в Рим, в которых общими чертами резюмируется книга, посвященная г-же Рекамье: «Неизданные письма г-жи де Сталь, ... г-жи Крюденер сохранены». Выбросив тут самое письмо, Шатобриан забыл снять в следующей книге имя Крюденер»[111].

В той переработке, в какой знаменитая книга предстала читателям, крюденеровская фигура мелькает всего в трех кратчайших упоминаниях: дважды иронически—в только-что упомянутом месте и затем в 4-й книге второй части II тома[112], где приводится анекдот о перепалке двух сестер во Христе: Крюденер с иллюминаткой г-жой Куазлен,—и еще один раз, документально, письмом Крюденер, соболезнующей Шатобриану по случаю болезни г-жи де Бомон, первой женщины из общественно-признанного списка его подруг; но и здесь всё побуждает думать, что крюденеровское письмо было сохранено поневоле: надо было иллюстрировать «власть, которую г-жа де Бомон, лишенная силы красоты, известности, могущества или богатства, имела над умами»[113], между тем как никаких других свидетельств, кроме послания Крюденер, в шатобриановском арсенале не

было; ему пришлось использовать что есть. Наконец, сюда надо присоединить еще то, что рассказывает Эйнар, когда в 40-х годах, видимо, собирая материалы для своего двухтомника, он обратился к Шатобриану: «Мы не могли получить иного воспоминания, кроме следующего: „Я знавал г-жу Крюденер светской, знавал ее набожной,—она всегда оставляла меня ледяным“». Это—совершенно в тоне окончательной редакции «M. d'O. T.». Крюденеровский биограф комментирует: «... наивное и печальное признание человека, несчастие которого состояло в том, что он целиком посвятил себя созерцанию собственной обширной и благородной индивидуальности»[114]. Настоящая история их отношений была, на самом деле, совсем иной; шатобриановские письма крюденеровского архива сами по себе достаточно красноречивы, а сопоставление с эйнаровскими данными и намеками позволяет вообще четко обрисовать, как начались, менялись и оборвались взаимоотношения этих двух лиц.

Самое раннее письмо Шатобриана из сохранившихся в архиве Крюденер помечено серединой января 1803 г. Но это отнюдь не начало знакомства. Оно длилось уже два года. Более того: письмо даже завершает историю двухлетних отношений. Они были завязаны г-жой де Сталь. Ее благожелательность к Крюденер после примирения в 1801 г. выразилась не только в том, что она приняла гостью в свой интимный круг, но и в том, что она подумала всерьез о ее литературном пути и выбрала ей в наставники самую молодую знаменитость литературного дня, каким был в ту пору Шатобриан. Прошел только год с тех пор, как он вернулся во Францию весной 1800 г. после эмигрантских скитаний; но в апреле 1801 г. появилась в свет его повесть «Атала», и он оказался на авансцене: «Именно с выходом «Атала» возник шум, который я произвел в этом мире; я перестал жить самим собой, и моя общественная карьера началась...»[115]. Еще через год, в 1802 г., снова в апреле, он был уже автором официозного «Гения христианства»; наконец, год спустя, в мае 1803 г., он отъезжал государственным чиновником, бонапартовским дипломатом, секретарем французской миссии в Рим. Такова была его литературно-политическая карьера за три года, от начала знакомства с Крюденер до ее письма к нему в Рим.

Но и г-жа Крюденер глядела на эту восходящую звезду не посторонней зрительницей. Если всмотреться в то, о чем говорят источники, не остается сомнений, что она была в это время одним из ближайших к Шатобриану лиц. Проявлением особого положения Крюденер было уже ее присутствие среди избранного числа четырех лиц, которым было предложено чтение отрывков готовившегося к выходу «Гения христианства», происходившее у г-жи де Сталь. Званы были лишь два ее друга, Адриен де Монморанси и Бенжамен Констан, да Крюденер. Она была принята и в самом центре первого шатобриановского царства—в салоне г-жи де Бомон; но там это были «apparitions intermittentes»—«появления от случая к случаю»[116],—зато, по сообщению Эйнара, сам «г. Шатобриан стал одним из завсегдатаев («habitués») салона г-жи Крюденер», который она завела у себя, «в небольшом помещении на Итальянском бульваре, неподалеку от Мадлэн»[117]. Зная навыки Крюденер и положение Шатобриана, трудно не предположить, что шла борьба двух молодых салонов, где Шатобриан был средоточием. В зимний сезон 1801—1802 г. исход соперничества еще не был решен,—вернее, обе хозяйки салонов могли считать себя победительницами, ибо предмет борьбы оделял своим вни-

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ „ГЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА“ ШАТОБРИАНА, 1802 г.

GÉNIE
DU CHRISTIANISME,
OU
BEAUTÉS
DE
LA RELIGION CHRÉTIENNE;
PAR
FRANCOIS-AUGUSTE CHATEAUBRIAND.

Chose admirable! la religion chrétienne, qui ne semble avoir d'objet que la félicité de l'autre vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci.
MONTESQUIEU, *Esprit des Loix*, Liv. XXIV, ch. III.

TOME PREMIER.

A PARIS,
CHEZ MIGNERET, IMPRIMEUR,
RUE DU SÉPULCRE, F. S. G. N.° 28.

AN X.—1802.

манием каждую. Мы не можем иначе расшифровать тот небольшой эпизод, который так подчеркнуто-длинно рассказывает Эйнар о первом экземпляре «Гения христианства». Сообщая о завсегдатайстве Шатобриана в крюденеровском салоне, Эйнар говорит: «... Потому ли, что она просила его, или потому, что ему самому не терпелось («fut empressé»), — она была почтена подношением первого экземпляра «Гения христианства» за два дня до поступления в продажу. Вследствие той неодолимой недоверчивости, какая была для него обычной, Шатобриан потребовал абсолютной тайны относительно внимания, которое ей было оказано, и г-жа Крюденер не собиралась нарушить ее, но, более неосмотрительная или менее опасливая, она оставила книгу в салоне в час, когда отправилась делать какой-то визит. Между тем, г-жа де Сталь появляется у г-жи Крюденер. Решив подождать ее немного, она входит и берет первую попавшуюся под руку книгу. Это был как раз том «Гения христианства». Она открывает его, погружается в чтение; карета ждет ее, она увозит книгу с собою. Г-жа Крюденер скоро возвращается. Поиски, опросы, разузнавания, расследования — все бесполезно: драгоценный том исчез... Она обвиняет себя в невольной нескромности, в нарушении данного слова, в оскорблении Шатобриана, в том, что сгустила облака между ним и его приятельницей. Она посылает за коляской, чтобы отправить падчерицу и настоять на возвращении книги... Лишь через три часа беспокойства падчерица, наконец, возвращается и объясняет причину, почему так задержалась: она нашла г-жу де Сталь наедине с Шатобрианом; в руке у нее был искомый предмет, и она с блеском вела беседу о красотах и недостатках произведения. Автор защищался, что как раз и требовалось, чтобы питать и оживлять вдохновение г-жи де Сталь. M-lle Крюденер была опьянена, ослеплена всем, что слышала, и привезла от автора полное отпущение грехов...»[118].

Надо лишь отчетливо представить себе, чем был для Шатобриана 1800-х годов выход в свет «Гения христианства» и что, с другой стороны, означал, при шатобриановских навыках, такой жест, как преподнесение первого экземпляра капитального произведения до появления в свет,— чтобы понять, почему так подробно описывает Эйнар этот, казалось бы, малозначащий эпизод. Абель Эрман назвал шатобриановское подношение баронессе Крюденер «une faveur inouie»—«неслыханной милостью»,— слова чрезмерные в отношении молодого Шатобриана, годные скорее для самомнительной шатобриановской старости. Но, по существу, это так. Эйнар, рисовавший такие происшествия по живым воспоминаниям прикосновенных лиц, сохранил в рассказе эхо волнения, с каким ожидался в окружении Шатобриана выход в свет «Гения христианства». Все происходило прямо обратно тому, как представлял это дело потомству сам Шатобриан. Декоративно-маэстозный, задним числом изобретенный, принятый когда-то на веру, а теперь вызывающий улыбку основной шатобриановский тезис: «Я и Бонапарт»—«Я противостою Бонапарту»,—не только неверен, но и неправдив; он неверен по фактам, он неправдив по намерениям. Он таков же, как всё в «Mémoires d'Outre-Tombe». К ним совершенно применимо то, что было сказано о мемуарах Талейрана, такого же «acteur consommé»—«сугубого лицедея»: «Они написаны, чтобы расцветить жизнь, а не выявить ее»[119]. «M. d'O. T.»—едва ли не самое неправдивое из того, что носит название мемуаров. Нет ничего более справедливого и обоснованного, чем характеристика, данная Марксом писательской физиономии Шатобриана вообще и его историческим писаниям, в частности, в двух письмах к Энгельсу 1854 и 1873 гг. Разбору сознательных и несознательных искажений фактов, допущенных Шатобрианом в его «Веронском конгрессе», Маркс предпослал такую общую характеристику автора: «При изучении испанской клоаки я наткнулся и на почтенного Шатобриана, этого златоуста, соединяющего самым противным образом аристократический скептицизм и вольтерианизм XVIII в. с аристократическим сентиментализмом и романтизмом XIX. Разумеется, во Франции это соединение как стиль должно было создать эпоху, хотя и в самом стиле, несмотря на все артистические ухищрения, фальшь часто бросается в глаза. Что же касается политики, то этот господин сам вполне разоблачил себя в своем „Congrès de Vérone"...», а спустя двадцать лет Маркс подводит окончательный итог шатобрианизму следующей формулой: «Если этот человек во Франции сделался так знаменит, то потому, что он во всех отношениях являет собою самое классическое воплощение французской vanité, притом vanité не в легком фривольном одеянии XVIII в., а романтически замаскированной и важничающей новоиспеченными выражениями; фальшивая глубина, византийские преувеличения, кокетничание чувствами, пестрое хамелеонство, word painting, театральность, sublime, одним словом—лживая мешанина, какой никогда еще не бывало ни по форме, ни по содержанию»[120].

В картине взаимоотношений с Наполеоном эти черты шатобриановских писаний проявились едва ли не более нарочито, чем где-либо. «Vanité» Шатобриана решается с первых же строк уравновешивать две величины: автора «Атала» и Бонапарта. В действительной жизни Шатобриан был ничем для Наполеона-императора и кое-чем для Бонапарта-консула. Император просто игнорировал его, как никогда не игнорировал г-жу де Сталь и даже г-жу Рекамье, за которыми следил, которых преследовал;

а первый консул приспособил начинающего Шатобриана для своих целей и стряхнул со счетов при первой же его попытке к самостоятельным действиям. Нужны были большой литературный талант и выдающаяся решимость к сочинительству, чтобы беспредметную, в сущности, тему «Шатобриан и Наполеон» расшить так подробно и приподнято, как говорится в «M. d'O. T.» о появлении «Гения христианства», заблаговременно преподнесенного г-же Крюденер. «Замогильные записки» изображают выпуск в свет этого произведения, как опасный акт, как подвиг, грозивший гибелью автору. «Tout paraissait annoncer ma chute...»—«Всё, казалось, предвещало мне гибель»,—таково вступление в эту героическую ораторию фраз: «...Какую надежду мог питать я, человек без имени и без покровителя, разрушить в могиле Вольтера, чье господство длилось свыше полувека, Вольтера, который воздвиг огромное здание, законченное энциклопедистами и укрепленное всеми знаменитостями Европы? Как! Все эти Дидероты, Даламберы, Дюкло, Дюпюи, Гельвеции, Кондорсе стали умами, утратившими авторитет?.. Не было ли столь же странно, сколь и безрассудно, что неведомый человек противостоял философскому движению, такому неодолимому, что оно породило Революцию?..»[121] и т. д., и т. п.,—словом, битва одинокого Персея с чудищем. А на деле Шатобриан шел в бонапартовской процессии и выкликал Бонапарту хвалы. Существовала несомненная организованность в последовательности происшествий: празднования государственного восстановления католицизма, выпуска в свет «Гения христианства» и появления в прессе хвалебных статей тому и другому. Даже апологетические биографы Шатобриана не могут не отметить, что «совпадение [выхода книги] с торжественным празднованием культа, по внешности явившееся, якобы, результатом счастливой случайности, было, в действительности, итогом режиссерского искусства, какое не раз умел проявлять автор»[122]; и в самом деле, «Гений христианства» был выпущен за четыре дня (24 жерминаля X года—14 апреля 1802 г.) до торжественной церемонии рекатолицизирования Франции (28 жерминаля—18 апреля 1802 г.) и явился одним из официозных этапов подготовки празднества, в связи с чем и был встречен торжественным хором наполеоновской и клерикальной прессы[123], как четыре дня спустя торжественным хором, певшим «Te Deum», было встречено вступление кортежа первого консула на паперть Нотр-Дам. Подчеркивая смысл выпуска шатобриановской книги, официальный «Moniteur» в этот самый день перепечатывает статью Фонтана из «Mercure», придав, тем самым, ее похвалам государственную санкцию[124]. Да и самим Шатобрианом было непосредственно в самой книге засвидетельствовано его вступление в бонапартовскую свиту; он потом стирал эти следы и, разумеется, ни единым словом не упомянул о них в «M. d'O. T.»; но экземпляры первого и второго изданий, покрытые роскошным переплетом и разосланные Наполеону и членам его семьи, содержали предисловия, в которых поминался, сначала обиняками, «тот, которому была дана вся сила умиротворить свет и доверена вся власть восстановить Францию», а затем говорилось прямо и громогласно: «нельзя не видеть в судьбах ваших руку провидения... народы взирают на вас; Франция, возвеличенная вашими победами, кладет все упование свое»[125]. В обстоятельствах 1802—1803 гг., когда конкордат и церемония в Нотр-Дам вызывали у действительной оппозиции возмущение и тайное сопротивление, эти посвящения Шатобриана и официальная санкция, данная его книге, означали

ожидание и предзнаменование милостей, а назначение на секретарский пост в римскую миссию было проявлением их. «Эту милость принесло ему,—сообщают «Донесения агентов Людовика XVIII»,—двойное посвящение, которое он сделал в своей книге первому консулу и папе, и, может быть, еще больше, чем это, покровительство Фонтана»[126].

Теперь понятно, чем было, на самом деле, со стороны Шатобриана доверительное вручение г-же Крюденер экземпляра «Гения христианства» до выпуска в свет и какого рода нескромность была совершена ею: обнажались нити шатобриановской режиссуры, его шествие в Каноссу становилось до времени достоянием гласности, да еще такой антибонапартовской звонницы, каким был салон г-жи де Сталь[127]. Вместе с тем, всё в рассказе Эйнара наводит на мысль, что не столь уж случайно разыгрался эпизод с этим первым экземпляром; едва ли мы обманемся, если предположим, что тут действовала своя, крюденеровская, режиссура—желание показать трофей, якобы, невзначай похвастать им: г-жа де Сталь и ее свита, и г-жа Бомон и ее круг равно получали доказательство крюденеровского влияния и победы. Слишком большое совпадение случайностей у Эйнара: случайно не спрятанная книга, случайная отлучка из дому, случайный визит г-жи де Сталь, случайно подвернувшийся ей запретный том и т. д.

Так или иначе, эпизод с похищенным томом освещает взаимоотношения Крюденер и молодого Шатобриана светом такой близости, что понятна нарочитая сдержанность, с которой Эйнар заключает характеристику этих взаимоотношений в 1802 г.: «Видя одушевление и любезность, какими он отличался у г-жи Крюденер, можно было полагать, что он находится под впечатлением обаяния, которое она вызывала у всех, к кому приближалась... Во всяком случае, между нею и Шатобрианом была общей та тяга к дерзновенному («côté aventureux»), непредвиденному, то влечение к фантастическому,—теория у него, чувство у нее,—которые создавали между ними таинственную связь. Бывал ли он у нее, чтобы наименее неудобно «зевая, проводить жизнь»? Обманулась ли в нем г-жа Крюденер? Надеялась ли она пробудить более звонкое эхо у автора «Атала»? Это было достаточно ей свойственно, чтобы такое предположение было законно, и мы не были бы изумлены, если бы в определенную пору она считала его среди своих поклонников («ses fidèles»)...»[128].

Этого довольно, чтобы видеть, каковы были, в действительности, притязания и поведение обеих сторон,—и мы понимаем теперь, почему под пером Крюденер, в письмах к Гэ, Шатобриан выступает наиболее капитальной фигурой, когда перечисляются опоры будущего успеха «Валерии»: «Шатобриан очень любит Сидонию, говорит, что она делает изумительные успехи, и зовет ее вернуться...»; «Шатобриан в восхищении от моей „Валерии“»; «Шатобриан сказал мне также, что лучшее произведение, напечатанное в провинции, не имеет успеха...» и т. п.[129]. Крюденер, несомненно, имела право ссылаться на Шатобриана, но лишь с одной поправкой: она все же несколько мистифицировала своего фактотума,—вчерашний день она выдавала за сегодняшний; ее письма относятся к началу 1803 г., а к этому времени положение изменилось не в пользу Крюденер. Г-жа де Бомон одержала верх, она стала «amie attitrée» Шатобриана. Это не помешало ему продолжать помогать Крюденер,—конечно, в тех пределах, на какие он был вообще способен, т. е. втихомолку, за кулисами, ни мало не связывая себя публично. Он мог в щедрую минуту даже обе-

щать статью о «Валерии», и, может быть, Крюденер, сообщая доктору Гэ о четырех ожидаемых ею похвальных отзывах, не фантазировала; но не в его навыках было осуществлять такие обещания. Прочесть рукопись, сделать пометки, кое-где даже пройтись пером, дать литературный и издательский совет,—на это его хватало. Именно таково его письмо, сохраненное крюденеровским архивом и являющееся ответом на обращение Крюденер, присланное из Лиона.

(1)

Париж, 17 января 1803 г.[130]

Пример г-жи де Сталь отнюдь не должен пугать вас, сударыня. Подумайте о том, что большинство суждений о «Дельфине» было продиктовано политическими соображениями. Вы же ограждены от этих партийных пристрастий. Г-жа де Коттен, г-жа де Флао и некоторые другие дамы, печатавшие романы, не подвергались оскорблениям, которые испытала ваша злосчастная приятельница. Но если вы сочтете нужным издать свое сочинение, советую вам сделать это в Париже. Провинциальные издания не пользуются здесь никаким успехом, и предубеждение, существующее против провинциальных книг, в состоянии провалить лучшее произведение. Итак, приезжайте в Париж, сударыня. Здесь вы найдете друзей, которые будут рады увидеть вас и услышать чтение ваших прелестных сочинений. Я пишу вам в постели, где меня держит лихорадка,— прошу извинить эти каракули и верить в искреннюю преданность покорнейшего из ваших слуг.

Шатобриан

Адрес: Госпоже Крюденер.
Дом Ветье в Лионе.
Д-т Роны

„ВЕЛИКИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД БЕССИЛЬНЫХ в 1815 г.“

Французская карикатура эпохи „Ста дней“, высмеивающая выступление европейских монархов против Франции. Изображены: Александр I и император австрийский Франц II, король прусский Фридрих-Вильгельм III и король английский Георг III, королева Луиза и Блюхер, русский казак, везущий назад в Париж сидящего за его спиной Людовика XVIII

Музей Пушкина, Москва

Письмо—деловое и дружественное. Крюденеровского послания не сохранилось, но содержание его ясно, и тревоги Крюденер нам уже знакомы. В панике, вызванной опасением, что «Валерия» разделит участь «Дельфины», она обратилась к другу, который в качестве официально поощряемого писателя, с одной стороны, и редактора ее рукописи—с другой, мог вернее, чем кто-либо, сказать, не грозит ли ей повторение того, что случилось с г-жой де Сталь. Ответ Шатобриана успокаивал и льстил ее самолюбию. Сравнение с произведениями г-жи Коттен и г-жи Флао отнюдь не звучало пренебрежительно. Если нынешнему читательскому уху эти имена кажутся, по забытости своей, ничтожными, то для тех лет они звучали иначе; какой другой пример мог бы привести Шатобриан? Он говорил о писательницах той же школы и того же направления; это были популярнейшие из представительниц женской литературы, сочинительницы раннеромантических повестей и романов, с женскими именами в заглавиях и женскими судьбами на страницах,—подлинных pendant к «Дельфине» и «Валерии»[131].

Подобное письмо должно было оживить притихшую было энергию Крюденер, и, действительно, ее письма к Гэ, в которых она с такой настойчивостью пытается обеспечить успех готовящейся к выпуску «Валерии», все датированы ближайшими месяцами к шатобриановскому письму, весной 1803 г. Сам Шатобриан в мае отбыл, наконец, в Рим на пожалованный дипломатический пост и непосредственно быть полезным ей в Париже больше уже не мог; но из виду она его не выпускала. Следует обратить внимание на то, что до сих пор не отмечалось: ее письмо к нему в Рим послано вскоре по выходе «Валерии»; книга вышла в десятых числах декабря 1803 г., а письмо отправлено 24 декабря; таким образом, наступили решительные дни для борьбы за успех, дни моды à la Valérie, дни рецензий, и Крюденер напоминала о себе, о шатобриановском обещании,—напоминала с редкой женской ловкостью, складывая оружие перед теми обоими, с кем и за кого недавно боролась; теперь, в качестве бескорыстного друга, она соединяла два их имени: «Вы должны знать мою искреннюю привязанность к вам; выказать вам подлинный интерес, какой вызывает во мне госпожа де Бомон,—значит тронуть вас больше, чем если бы я занималась вами... Я надеялась, что она обретет крупицу здоровья в солнце Италии и в счастии вашего присутствия. ... Ах, успокойте меня, напишите мне; скажите ей, что я искренно люблю ее, что я молюсь за нее... Я думала, ей лучше, я ей не писала, я была завалена делами; но я думала о счастии, которое она испытает, увидя вас, и я могла понять его. Напишите мне хоть кратко о вашем здоровье, верьте моей дружбе, интересу, который навсегда буду я питать к вам, и не забывайте меня...»[132].

Шатобриану было угодно выдать это за доказательство «власти г-жи Бомон над умами». Его ответа в крюденеровском архиве не существует. Но ответил ли он? Не уклонился ли он от корреспонденции так же, как уклонился от отзыва о «Валерии», которую, как никак, он имел больше права именовать «незаконнорожденной дочерью Рене и Дельфины»[133], чем это представляется с первого взгляда? Нет у нас также никаких следов того, что официальная неприятность с «Валерией» вызвала с его стороны какой-либо отклик, а ведь он оказался дурным пророком, и в таком качестве был виновником подношения «Валерии» первому консулу. Вообще связь Крюденер с Шатобрианом сразу обры-

вается—они стали ненужны друг другу: он уже через три месяца, в марте 1804 г., после своей пресловутой отставки с поста французского дипломатического представителя в Валэ, становится опальным человеком, ведущим частное существование; она тоже отбывает далеко, во-свояси, в Ригу. На целое десятилетие они забывают друг о друге.

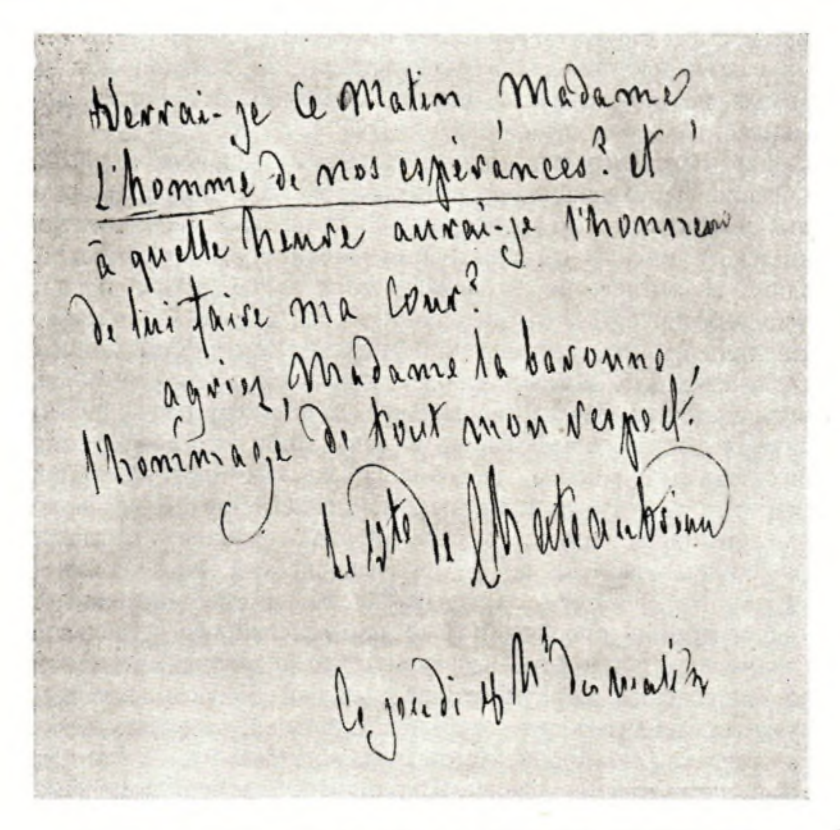
Они снова вспомнили о взаимном существовании, когда—один в свите *импортированного короля, другая одесную интервента-императора—они* встретились в оккупированном Париже в 1815 г. Теперь, в сравнении с их отношениями 1802 г., роли оказались перераспределенными: он являлся просителем, она—покровительницей. Шатобриан в автобиографии решил привычно обойти эту неприглядность. В «M. d'O. T.» нашлось место для подробностей его местничества с ненавистными министрами, вставшими на пути его карьеры при Людовике XVIII, но забыто о его хождениях на поклон к всесильной Крюденер и о свидании с Александром I. Автор, правда, заставляет мелькнуть пред нами мимоходом, в самом конце тома, парижский облик Крюденер в роли «пророчицы», но ни один читатель не сможет сказать, пробежав его иронические строчки, что Шатобриан был не посторонним наблюдателем парижской деятельности Крюденер, а соучастником ее затей. В 10-й книге «M. d'O. T.» он дал Крюденер место в кортеже восхвалителей госпожи Рекамье: Крюденер умоляет Рекамье не столь блистать красотой на собраниях паствы, ибо это вносит соблазн в умы; только в связи с этим событием Шатобриан припоминает, что видел Крюденер в парижской сумятице 1815 г.: «Госпожа Крюденер последовала за союзниками, появившимися снова в Париже. Она перешла от романа к мистицизму; она оказывала большое влияние на ум российского императора. Это она дала союзу монархов Европы наименование Священного. Госпожа Крюденер помещалась в одном из отелей предместья Сент-Оноре. Сад отеля доходил до Елисейских полей. Александр появлялся инкогнито через садовую калитку, и политико-религиозные беседы кончались ревностными молениями. Госпожа Крюденер пригласила меня на одно из этих небесных волхвований. Во мне, человеке всех химер, живет ненависть к бессмысленному, отвращение к туманному и презрение к фокусничанию: тут нельзя быть совершенным. Сцена наскучила мне; чем сильней старался я молиться, тем сильней ощущал я сухость души. Мне нечего было сказать богу, а сатана толкал меня к смеху. Я больше любил г-жу Крюденер, когда среди цветочных гирлянд, еще живая на этой бренной земле, она сочиняла „Валерию"...»[134]. Не сохранись в архиве записок Шатобриана к Крюденер, можно было бы поверить, что концом их отношений, в самом деле, надо считать надменную фигуру виконта, созерцающего моление царя московитов и его пророчицы. На деле, опять-таки, было иное. Эйнар, видевший архивные письма и слышавший свидетельские рассказы, писал: «Он вернулся в этот ранг [ее поклонников] в 1815 г. и пытался использовать ее большое влияние на императора в пользу Бурбонов. Однако, надо сказать, что по мере того, как императорская благосклонность и людское внимание к г-же Крюденер падали, г. Шатобриан без особых усилий освобождался от иллюзий дружбы...»[135].

Иллюзии дружбы длились, пока длились иллюзии политики. Это было недолго вообще, около двух с половиной месяцев, — и еще короче для Шатобриана, около четырех недель. Представительство Крюденер, в качестве вдохновительницы Священного союза, продолжалось

с середины июля по конец сентября 1815 г.; попытки Шатобриана использовать ее для своих целей приходятся на середину августа — середину сентября. Этого времени было достаточно, чтобы Шатобриан убедился, что его партнерша—не совсем то, что ему представлялось. По внешности, в самом деле, ничто не могло быть необычнее и ослепительнее положения Крюденер: российский император—глава союза монархов, а она — его наставница, исповедница, направительница, совершающая свое дело не где-нибудь во тьме кулис, а лицезримо, открыто, на глазах потрясенной и озадаченной Европы; император исповедуется ей в помыслах, император выслушивает ее наставления, император участвует в ее молебствиях, император принимает рядом с ней парад армии. Но за кулисами были подлинные хозяева, которых Шатобриан не знал и знать не мог; они держались в придворной тени и не привлекали внимания; это был действительно интимный кружок возле Александра, ведущий борьбу за свои личные и политические цели, нуждающийся в декоративных, отвлекающих внимание прикрытиях; тут было несколько женских фигур, и среди них одна мало ведомая еще европейскому свету, где ее короткое прохождение совершится позднее, в 30-х годах[136],— фрейлина императрицы и ее соперница, Роксандра Стурдза, фанариотка и в этом качестве — сподвижница Каподистрии, мистагог и в этом качестве—единомышленница Крюденер. Умная, но скрытная, она ждала будущего. С Крюденер она познакомилась в 1814 г., в Карлсруэ, где находилась среди фрейлин Елизаветы Алексеевны. Именно через Стурдзу Крюденер установила сначала общение с императрицей[137], но скоро разглядела нити, ведшие от Роксандры к царю, и стала предрекать великую будущность ей и мировую славу ему; она писала Роксандре,—в правильной надежде, что письма могут попасть к царю: «Вы хотели рассказать мне о великих и глубоких красотах души императора. Мне кажется, что я многое знаю о нем. Я знаю уже давно, что господь даст мне счастие узреть его...» (27 октября 1814 г.); «... Я говорила вам о моем почтительном и глубоком восхищении императором. Величие его миссии до такой степени открыто мне, что непозволительно больше сомневаться. Я восславила величие господне, которое ниспослало такое благословение на это орудие милосердия своего...»; «Да, я убеждена, дорогой друг, что должна сказать ему об огромных вещах, и хотя бы князь тьмы сделал всё возможное, чтобы помешать этому и удалить тех, которые могут ему сказать о делах божественных, превышний окажется сильнее» (4 февраля 1815 г.)[138]. В соединении с пророчествами: «l'orage s'avance... ces lys ont paru pour disparaître»—«гроза приближается... эти лилии появились, чтобы исчезнуть», в которых было обыденное запугивание возвратом революции и которые потом были истолкованы, как предвидение «Ста дней», этот пра-распутинский язык свидетельствовал о полном понимании обстоятельств и готовности быть скромной и полезной. Роксандра приглядывалась, взвешивала; потом приняла, стала исподволь готовить Крюденер к нужной роли, как об этом свидетельствует их переписка[139]. Наконец, наступил момент, когда и Крюденер дано было перешагнуть порог императорского кабинета. Их первое свидание состоялось в Гейльбронне, на пути к Гейдельбергу, когда царь направлялся из Вены в действующую армию[140]. Крюденер сразу начала с возвышенных обличений, потом перешла к верноподданническим извинениям, получила, конечно, ожидаемое: «Нет, сударыня, продолжайте, ваши слова — музыка

для души моей», проговорила непрерывно три часа,—и ее выступление на авансцену истории началось[141]. Через несколько месяцев, когда продолжать это придворно-мистическое представление было не к чему и оно стало обертываться смешной стороной, Крюденер была удалена. В октябре 1815 г. ей пришлось покинуть Париж, и она снова вошла в тень, на этот раз окончательно.

Даже если бы Шатобриан был посвящен в «les envers des événements»— «в изнанку событий», которой он манит читателей «M. d'O. T.»[142],—не в его возможностях было миновать Крюденер и добраться до настоящих вер-


Verrai-je ce matin Madame
l'homme de nos espérances? et
à quelle heure aurai-je l'honneur
de lui faire ma cour?
agréez, Madame la baronne,
l'hommage de tout mon respect.
Le Vte de Chateaubriand
Ce jeudi 14 7bre au matin

АВТОГРАФ ЗАПИСКИ ШАТОБРИАНА К Ю. КРЮДЕНЕР, СЕНТЯБРЬ 1815 г.
Шатобриан спрашивает о дне обещанного ему Крюденер свидания с Александром I
Публичная библиотека, Ленинград

шителей дел. Он был второстепенным придворным Людовика XVIII, который сам был еще предметом политического торга не только монархов и дипломатов коалиции, но и собственных министров, ведущих свою торговлю с союзниками. Никогда еще положение Шатобриана не было так тягостно и унизительно, как в эту пору: он считал себя менее писателем, чем государственным деятелем, но его притязания встречали даже не отпор, а равнодушие,—их не замечали или делали вид, что не замечают. Его настойчивое пребывание в кругу Людовика XVIII, его упорные поездки вслед за бегущим королем во время «Ста дней», когда старались отстать, застрять на дороге все, кто мог, ему не помогли. Если в канун «Ста дней» ему дали звание министра внутренних дел— пост, который сразу стал беспредметен,—то после окончательного вос-

становления Бурбонов он не только не получил ничего, несмотря на свои беседы с непокидаемым монархом, но должен был, сидя у королевских дверей, видеть, как туда министрами входят «порок под руку с преступлением»[143]—прихрамывающий Талейран, поддерживаемый скользящим Фуше,—ненавистнейшие из ненавистных Шатобриану лиц. Летом и осенью 1815 г. он был, можно сказать, ничем: ему поручили председательство в избирательной коллегии департамента Луарэ при выборах в Палату депутатов 1816 г., а затем назначили пэром, но этого было чрезмерно мало для его честолюбия. Недовольство быстро двигало его в ряды монархической оппозиции, к которой он и примкнул спустя некоторое время. Но пока союзники пребывали еще в Париже, судьба Франции еще не окончательно была определена и соотношения сил внутри и вовне не определились, стоило за себя бороться и имело смысл искать путей.

Появление Крюденер открывало Шатобриану неожиданные возможности. Основной обязанностью, возложенной на Крюденер, было собирание в новооткрытом ею салоне сливок парижского общества и обработка светского мнения в направлении, нужном александровской политике; одним из мотивов ее спешного вызова в Париж являлась уверенность, что она может без труда оживить свои былые знакомства и втянуть значительный и влиятельный круг людей в орбиту политических планов Александра I. В значительной мере этими расчетами объясняется публичный маскарад, разыгрывавшийся в салоне Крюденер, шумное афиширование ее мистической близости к императору, его широко известные посещения отеля Моншеню, свидания с лицами высокого парижского света, которых Александр принимал по ходатайству Крюденер, и т. п. Расчеты были правильными: среди нескольких салонов, открывших свои двери по миновании «Ста дней», крюденеровский стал самым видным и самым модным. Таланты Крюденер были на высоте принятой роли: тон ее обличений и пророчеств был повелителен, представления были виртуозны, люди приходили позабавиться, но уходили озадаченными: «Не мало парижских остроумцев, шедших послушать ее в большом салоне предместья Сент-Оноре, открытом для всех, возвращались если не убежденными, то, по крайней мере, очарованными и впечатлениями и личностью...»[144]. Самое заявление Шатобриана, что он остался холоден, свидетельствует о его желании противопоставить себя тем другим, на которых это действовало. Нет оснований оспаривать это утверждение: у шатобриановского совершенного эгоизма никогда не кружилась голова от посторонних его притязательности вещей; он сам умел устраивать представления не хуже крюденеровских, но только более тонкие, изысканные, не отдававшие азиатчиной: чтения «Замогильных записок» в Abbaye aux Bois—тому свидетельство.

В крюденеровском салоне Шатобриан держался руссофилом, точнее—александрофилом, в противность своим политическим соперникам, делавшим ставку на английскую или на австрийскую карту в борьбе членов Священного союза вокруг Франции. Теперь, когда наполеоновская опасность была начисто устранена, Александру нужна была сильная Франция, как противовес слишком выросшему вновь значению Англии, Австрии и отчасти даже Пруссии. Этих троих, наоборот, устраивала Франция ослабленная, связанная, идущая на поводу их политики и их целей. Александр не выиграл игры. Он оказался изолированным; он

встретил почтительное, но твердое противодействие. Но в августе 1815 г. итоги еще не были окончательными, а франкофильство русского императора было программно и открыто. Шатобриан мог надеяться, что он принесет из крюденеровского отеля дар королю и карьеру себе. Но ему пришлось ждать. Крюденер сочла нужным вспомнить о нем не сразу, а лишь через месяц после своего прибытия в Париж, уже в разгар приемов, молебствий, пророчеств и интриг. Такое запоздание показывает, что Шатобриан был не из тех, кто мог считаться «человеком дня».

Что дало повод вспомнить о нем? Может быть, его орлеанские дела; но не исключено и то, что ему пришлось самому стороной напомнить о себе,—скорее всего, через ту самую герцогиню Дюрас, которая в это время была подругой Шатобриана и чей визит вместе с ним засвидетельствован самой Крюденер. Пригласительная записка Крюденер неизвестна, но ее дату мы можем установить по ответу Шатобриана, оказавшемуся в неопубликованном архиве Крюденер: ее приглашение было послано, видимо, того же 12 августа, что и его ответ,—едва ли Шатобриан ответил не сразу. Он писал:

(2)

[Париж] Суббота, 12 августа 1815 г.[145]

Я не знал, баронесса, что вы в Париже и что вы были добры вспомнить обо мне. Я сейчас уезжаю в Орлеан и вернусь к концу месяца. Я поспешу засвидетельствовать вам свое почтение немедленно по возвращении в Париж. Прошу вас, баронесса, принять уверение в сердечном и почтительном моем уважении.

Госпожа де Шатобриан будет иметь честь лично передать вам эту записку.

Как видим, в этих немногих строчках он уместил всё, что нужно было: и отомщение за долгое невнимание, и указание на свою крайнюю занятость, и готовность на достойное примирение. Первая фраза, в самом деле, удивительна: «Я не знал, баронесса, что вы в Париже...»—весь блеск крюденеровского положения, все толки и пересуды Парижа, все императорские свидания, все вереницы визитеров и домогателей,—всё стиралось: в его, шатобриановское, блистательное уединение не докатывается шум суеты вообще, в частности же, он совершенно поглощен государственными делами и отбывает в Орлеан вершить их; но, освободившись, будет рад возобновить знакомство и даже поручает самой г-же де Шатобриан немедленно и лично отвезти записку и установить предварительное общение.

Предлог для нужной достоинству Шатобриана отсрочки свидания был выбран им хорошо: его орлеанских обязанностей председателя выборной коллегии было достаточно. Мы говорим о предлоге, а не о подлинном препятствии потому, что, в действительности, особой спешки не было; Шатобриан находился как раз в промежутке между двумя этапами своих обязанностей; открытие избирательных коллегий должно было состояться лишь через десять дней—22 августа, а необходимые предварительные действия были уже позади: 7 августа, из Парижа, каждому выборщику департамента Луарэ было разослано Шатобрианом циркулярное письмо с призывом голосовать за легитимистских кандидатов в Палату: «В трудных обстоятельствах, в которых мы пребываем, сударь, важно для чести

и благоденствия Франции, чтобы выбор избирателей пал на людей достойных и осторожных, верных своему королю, преданных своей стране, знающих законы королевства, блюдущих те принципы нравственности, кои составляют основание всякого политического строя и без коих нет прочности учреждения...» и т. д.[146].

Вполне правдоподобно, что этот манифест был доставлен Крюденер и послужил напоминанием об авторе: предположение обосновывается тем, что в следующем письме Шатобриан упоминает уже о желании Крюденер получить его предвыборные речи. Кто мог сообщить о них Крюденер, как не близкое к Шатобриану лицо?—а крюденеровский интерес свидетельствует, что за подобного рода политическими выступлениями русские круги следили и что шатобриановский манифест 7 августа тоже не миновал крюденеровских рук.

Ближайшее письмо Шатобриана явилось как раз сопровождением пересылаемой орлеанской речи. Письмо написано через неделю после ее произнесения, по возвращении Шатобриана в Париж.

(3)

Париж, 31 августа 1815 г.[147]

Я поспешил бы, сударыня, явиться засвидетельствовать вам свою почтительную преданность, если бы тысяча дел не задерживала меня. Я возвращаюсь из Орлеана в восторге от всего того, что видел, преисполненный надежд в отношении нашей несчастной родины, особенно, если некий великий монарх желает помочь нам.

На всем протяжении Франции произошло нечто вроде чуда, на которое не обращают достаточного внимания. Те самые избиратели, [которые в течение пятнадцати лет облекали доверием людей, враждебных всем принципам общественной нравственности и веры, теперь, ко всеобщему изумлению, сделали выбор по большей части превосходно. Франция, наконец, будет иметь представительство христиан и людей той старой французской расы, которая пользовалась уважением всей Европы. Разве здесь нет особого благоволения провидения? Если мы хорошо используем эту подлинную милость], мы сможем избежать своей гибели. Сколько славы для великодушного монарха, вызывающего у вас восхищение, несомненно, не более, чем у меня, если, одержав победу оружием, низвергнув с трона нашего притеснителя, он низверг бы еще и нашу революцию! Что для этого нужно сделать, сударыня? То, на что я указывал в речи, которую вы у меня просили и которую я имею честь вам препроводить: избирать [добродетельных, устранять грешных; пока нечестивость и все преступления будут пользоваться покровительством, мы будем всуе ожидать избавления из бездны, и это огромное население, которое только-что проявило свою мудрость превосходными выборами, потеряет плод единственных усилий, которое оно сделало за 15 лет, чтобы подняться. Я хотел бы, сударыня, чтобы] моя речь получила ваше одобрение. Надеюсь, что, по меньшей мере, чувства и убеждения порядочного человека вы в ней найдете.

Остаюсь, сударыня, с почтением, одним из самых давних и самых преданных слуг ваших.

Виконт де Шатобриан

Две разительные черты останавливают в этом письме: во-первых, специфический язык важнейших фраз, долженствующих остановить особое

ЮЛИЯ КРЮДЕНЕР.
Немецкая литография 1815—1820 гг.
Литературный музей, Москва

внимание Крюденер; ссылка на орлеанскую речь вполне декоративна— в ней нет и не могло быть того, чем наполнено письмо; речь грозит населению репрессиями коалиции, ежели не будут выбраны «порядочные люди»; речь требует устранения смутьянов и т. п.: «Французский народ увидит монархов на трибунах своих палат; раньше он был судьей властителей земли, ныне, в свой черед, он будет судим ими. Речь идет о том, чтобы знать, будем ли мы признаны неспособными сохранить учреждения, которых мы искали сквозь столько бурь... Что же надо делать, господа?.. Нетрудную вещь: избирать добропорядочных, устранять злостных. Пусть Франция призовет в помощь себе порядочных людей, и Франция будет спасена...» и т. д.[148]. Эта политическая проза в письме претерпела мистико-поэтические превращения. В письме не шатобриановский тон, не его слог, не его оттенки, и не уши французских избирателей 1815 г. могли внимать этому. Шатобриан бьет Крюденер челом ее же добром: «представительство христиан», «особое благоволение провидения», «использовать последнюю милость», «избавление из бездны» и т. п.—все это взято напрокат из крюденеровского пророческого арсенала. А Шатобриан еще утверждал, что не знал о пребывании баронессы в Париже,—не только, конечно, знал, но осведомлялся о ее речах, изучал ужимки и гримасы ее словоупотреблений, усваивал их: он уже примеривался, как изложить свою политическую линию и свои министерские домогательства применительно к терминологии, привычной для слуха Александра; он оказывал этим и hommage самой изобретательнице, Крюденер.

Для Крюденер не могло быть никакого сомнения в том, что Шатобриан просит о покровительстве и посредничестве между ним, представителем русской ориентации среди французских политиков, и «великодушным монархом», коим она, Крюденер, «восхищается, несомненно, не больше, нежели» он, Шатобриан. В этом прямом обращении к Александру с предложением одобрить шатобриановскую линию во французской политике («Что для этого нужно сделать? То, на что я указывал в своей речи...»)— основной смысл обращения Шатобриана к Крюденер. Своим письмом еще до первого, личного визита он очертил то, на что надеется и чего хотел бы.

Крюденер отнюдь не сочла нужным сразу пойти ему навстречу. Она позволила себе встретить визит Шатобриана сугубо пророчески, представ перед ним в облике божьего судьи над Францией, ее монархом, ее народом. Шатобриан явился, к тому же, не один; его сопровождала герцогиня Дюрас. Тем театральнее держалась Крюденер. Она, видимо, осталась довольна собой и поспешила описать этот эпизод, на следующий же день после шатобриановского визита, в письме к своей неизменной наперснице Арман; она сообщает: «Вчера герцогиня Дюрас и Шатобриан беседовали со мной. Мы говорили о возмездиях, тяготеющих над Францией, и я ответила им, когда они сказали мне о большой моей власти над известной особой: „Эта особа—лишь прах и кусок плоти («bras de chair»). Господь дарует мне милость беседовать с ним. Господь внушает ему любовь к истине; но он ничего не может сделать для Франции. Для этой страны не осталось ничего иного, кроме как достодолжно покаяться («amende honorable»), приять унижение и просить пощады у подножия креста, покинутого уже столько времени, и громогласно исповедаться пред Иисусом Христом... Пусть же король, пусть вельможи и народ покаются, бия себя в грудь...“»[149].

Это можно было стерпеть только в ожидании свидания с Александром и в надежде на менее богословскую беседу с ним об интересах Франции. И действительно, отблистав грозным ликом, Крюденер повернулась ликом ласковым. Она готова была показать реальность своего влияния на императора. Она согласилась представить письмо Шатобриана с конспектом орлеанской речи Александру; она не исключала возможности личной встречи автора с царем. Письмо, в самом деле, было представлено и прочтено[150]. Свидание было обещано. Как всегда в делах с высокими особами, оно оттягивалось,—возможно, назначалось и отменялось. Наконец, в начале сентября оно было определено на утренние часы; но Шатобриан, по опыту, еще сомневался, состоится ли оно и на этот раз. Его записка к Крюденер свидетельствует, что в лицезрении «Человека наших надежд», как сейчас титуловал он царя, у него не было уверенности.

(4)

[Париж, сентябрь 1815 г.][151]

Увижу ли я сегодня утром, сударыня, Человека наших надежд, и в котором часу я буду иметь честь ему представиться?

Примите, баронесса, уверение в совершенном моем почтении.

Виконт де Шатобриан

Четверг, 8 часов утра.

Адрес: Баронессе Крюденер.
Улица Фобур Сент-Оноре, № 35

Свидание состоялось. Оно прошло в присутствии Крюденер, представившей Шатобриана царю[152]. Нет сведений относительно подробностей встречи и поведения каждого из участников, но общее содержание и результат беседы могут быть установлены с достаточным вероятием по нескольким данным. Как раз в сентябре усилия Александра выиграть борьбу за свою политику во Франции вступили в последнюю фазу, но уже с явным итогом безуспешности. Сопротивление Англии, Австрии и даже Пруссии обозначилось окончательно. Александр мог благосклонно выслушать Шатобриана, но должен был сам уклониться от каких-либо

обязывающих слов. Это соответствовало его навыкам вообще, а обстоятельствам момента и собеседнику, в частности. Можно предположить, что он перевел беседу, в связи с прочитанным орлеанским письмом, на писательство Шатобриана и выразил желание познакомиться с его сочинениями. Это предположение вытекает из последовавшей записки Шатобриана к Крюденер, отправленной, повидимому, после свидания с царем.

(5)

[Париж, сентябрь 1815 г.][153]

Вчера, баронесса, было воскресенье, и типографы не работали. Я надеюсь получить ваши экземпляры завтра и буду иметь честь доставить их вам лично. Приношу вам тысячу благодарностей, баронесса, за всё, что вы делаете для моей несчастной родины.

Примите уверение в моем почтительном уважении.

Виконт де Шатобриан

Понедельник вечером.

Податель этой записки—мой друг. Он сможет сообщить вам кое-что о нашем положении.

Адрес: Баронессе Крюденер
в Париже

Слова «ваши экземпляры» могут означать только: нужные вам, или предназначенные вам экземпляры шатобриановских произведений. Но каких? Новой работы в эту пору он не печатал. Последняя крупная политическая вещь, «О Бонапарте и Бурбонах», вышла свыше года назад, в марте 1814 г., и несколько месяцев назад, в период «Ста дней», он представлял королю, во время бегства, меморандум о внутреннем положении во Франции («Rapport au roi sur l'Etat de la France au 12 mai 1815»). Об этом ли идет речь? Или же он подносил царю «Гения христианства» и «Мучеников»? Это вероятнее, если вспомнить, что Шатобриан в своем «Веронском конгрессе» говорит об интересе царя к его религиозным воззрениям. Так или иначе, явно, что с представлением экземпляров его торопили, он же, видимо, по обычаю, дал типографии сделать особые переплеты для подношения высокой особе, а типография задерживала. Связь этого маленького эпизода с большими надеждами Шатобриана, вынесенными из свидания, явствует из заключительной фразы записки—благодарности «за всё, что вы делаете для моей несчастной родины».

Но дальше следы вдруг обрываются. Ни в крюденеровском архиве, ни, тем более, в шатобриановских материалах нет продолжения этой истории, как и вообще последующих отношений обоих корреспондентов. Наступила заминка сначала и разрыв—потом. Из свидания ничего не вышло. Шатобриан произвел не то впечатление, на какое рассчитывал. Он допустил даже что-то, замкнувшее от него царя. Повидимому, он переиграл в «крюденеровщину»—и приоткрыл настоящую свою природу. Мы можем догадываться об этом по нескольким строкам изложения Эйнара: «С тактом, который был ему свойственен, император очень быстро понял, что доказательства уважения и почитания со стороны г. Шатобриана были, в сущности, лишь красивой тирадой в красивой роли, разыгрываемой этим благородным актером: его чувствительность была оскорблена, и он замкнулся в достоинство своего ранга...»[154]. Сам Шатобриан

подтвердил свое поражение и полным умолчанием в «M. d'O. T.» о демаршах и встрече с царем, и теми строками, изумительными даже под его пером, которые он дал в «Веронском конгрессе», где миновать этой истории 1815 г. он не мог. Он краток, как всегда в трудных случаях: «Российского императора заставили быть настороже в отношении нас: ему сказали, что ежели он увидит нас, то мы окажем на него очарование, которому для него трудно будет противостоять. Мы были ему представлены в Париже; он считал нас тогда ультра[роялистом]; а так как он был либералом, мы могли интересовать его лишь в религиозном отношении. Мы увидели его вновь в Вероне: он стал ультра; а так как мы оставались либералом, та же затруднительность отношений возникла в обратном смысле. На конгрессе он был с нами вежлив, но сдержан... Александр был несколько глуховат, мы же не любили говорить громким голосом, а наше равнодушие к царственным особам было так велико, что мы даже не подозревали о холодности человека, взгляда которого искал весь свет...»[155]. Это не нуждается в разборе; это само себя убивает; но эйнаровское объяснение обогащается тут более важным элементом: Шатобриан, видимо, пересолил не только в использовании божественных терминов в стиле Крюденер, но и в доказательствах своего легитимистского рвения и нетерпимости. Он не понял политики Александра: тот ставил ставку на умеренность и на широкую общественную базу для реставрации. Шатобриан оказался и тут ему ненужен, как Крюденер после этой неудачи была уже ненужна Шатобриану. Он, конечно, не помянул о ней в самозащитном отрывке «Веронского конгресса». Он сразу, в 1815 же году, вычеркнул ее из памяти. Она перестала для него существовать надолго, на много лет, до тех пор, пока старческая работа над «Mémoires d'Outre-Tombe» в конце 30-х годов, уже после ее смерти, не расшевелила опять в нем самолюбивых обид и не вызвала нескольких язвительных строк по адресу давней знакомой и былой покровительницы.

IV

Как раз тогда, когда Шатобриан оборвал свои связи с Крюденер, она вступила в наиболее оживленные отношения с двумя другими прославленными людьми того же круга, также мало помнившими о ней в промежуточные годы и также не преминувшими появиться в отеле Моншеню в эти дни ее торжества: Крюденер оказалась капитальной фигурой в знаменитом политико-романтическом эпизоде, разыгравшемся между г-жой Рекамье и Бенжаменом Констаном. Письма их обоих к ней составляют заключительную часть ее эпистолярного архива, остававшегося под спудом. Собственно, доля Рекамье в этой связке писем, как всегда, очень невелика: всего одна записка, весь же он принадлежит перу Констана.

Эта связка писем представляет собою одно из самых нужных звеньев, каких нехватало, чтобы эпизод, занимавший в течение ста лет стольких мемуаристов и биографов, мог, наконец, получить завершенность и выясненность. Известны письма Констана к Рекамье: даже в том виде, как они напечатаны,—с их, может быть, сокращенным, приглаженным текстом,—ясно, что это лишь парадный фасад или даже всего лишь декорация; известен констановский «Дневник»—зеркало его дум и дней, тоже, увы, полузанавешенное потомками; известен случайно сохранившийся отрывок «канвы» (Carnet), заготовленный Констаном для задуманных мемуаров,—кратчайшие пометы, которые не всегда можно на-

полнить точным содержанием. Но нет писем Рекамье к Констану, которые были немногочисленны, но наиболее часты именно в занимающую нас пору[156],—вероятно, когда их, наконец, извлекут из недоступного констановского архива, они окажутся краткими, лишенными живописности и подробностей деловыми записками или, вернее, отписками, какие обычны у Рекамье вообще, а по адресу Констана в особенности. Не было

БЕНЖАМЕН КОНСТАН
Гравюра Ф. Филиппото
Исторический музей, Москва

до сих пор и всей переписки Констана и Крюденер; теперь у ее частей разная судьба: крюденеровских писем всё еще нет, они прячутся в том же констановском архиве, о них мы знаем лишь по упоминаниям и ответам; но письма самого Констана к Крюденер мы, наконец, публикуем ниже. При том состоянии источников, какое наличествует, они заполняют большой пробел. Их значение и место определяются тем, что это обращения одной из сторон к суперарбитру. Такова роль и таково положение Крюденер между Бенжаменом Констаном и г-жой Рекамье в 1815 г.

Все три лица знали друг друга давно. Бенжамена Констана Крюденер знала с женевской встречи 1796 г., но истекшее с тех пор двадцатилетие они провели совершенно безучастно друг к другу. С Жюльеттой Рекамье она познакомилась зимой 1801 г., когда приехала в Париж пристраивать в печать роман; она появилась тогда на приемах у Рекамье, но в общем, среди блистательных посетителей ее салона, была на втором плане. Это не изменилось и в пору недолгого шума, который ей удалось поднять вокруг «Валерии» спустя два года. Затем они тоже перестали существовать друг для друга на десятилетие.

Наоборот, Бенжамен Констан и г-жа Рекамье не прерывали общения издавна, с 1798 г., когда г-жа де Сталь сблизилась с Жюльеттой. Но они были настолько не заинтересованы друг другом, что г-жа де Сталь, всегда настороженная, с Констаном сугубо, поручала Жюльетте в свое отсутствие надзор за Бенжаменом, в предупреждение его очередного отступничества,—так убеждена была она, по долголетнему опыту, что это вполне безопасно. Бенжамен Констан знал «тайну Жюльетты». Она оставляла его безучастным и вызывала скорее неприязнь. «Bizarre personne»—«нелепая особа»—единственная характеристика, которою Констан удостоил г-жу Рекамье в ранних частях своего «Дневника», в записях 1807 г.[157].

Так прошло полтора десятилетия бескорыстного знакомства, когда вдруг в 1814 г. положение резко изменилось. Констан полюбил г-жу Рекамье. Ему было сорок семь лет, ей уже тридцать семь. Это был не рядовой случай, но для автора «Адольфа» он был типичен. Его сердечная жизнь была всегда беспорядочна, его пристрастия к увядающей красоте—исконны, его переходы от равнодушия к увлечению — общеизвестны. Он и сам хорошо знал себя. Автобиографизма в «Адольфе» не меньше, чем в «Дневнике»; они равно откровенны. «Мое сердце устает от всего, чем обладает, и жалеет обо всем, чего лишено»,—занесено в «Дневник» 1812 г.[158], словно бы прямым эпиграфом к истории с Жюльеттой; а «Адольф», прикрывший заглавным псевдонимом самого автора и соединивший в Элеоноре всех его женщин, от Шаррьер до Рекамье (как раз в 1814—1815 гг. роману давалась завершающая редакция), в первых же главах собирает в формулы теорию и практику констановских сердечных метаний. Они могли давать всё что угодно, кроме устойчивых и простых отношений. Их и не было. «Quelle vie inarrangeable!»—«Какая неустрояемая жизнь!»—заканчиваются записи «Дневника» 1812 г.[159].

Поздняя вспышка тяготения к Рекамье, таким образом, шла в констановских нормах. Но она оставалась бы лишь занимательной главкой в личной биографии обоих героев, не будь на ней отпечатка, связанного с политическими событиями времени. Она была малым следствием больших столкновений 1814 г.; от них к ней шла прямая нить, и эту нить держала рука Жюльетты Рекамье. Вспышку Констана вызвала она,— и вызвала нарочито; она использовала ее обдуманно, ради политической задачи, которую выполняла. Она попрежнему не питала к нему никакой склонности, но играла подвижностью его сердечной впечатлительности. Силу своего очарования она ставила на службу делу, которое делала. Это трудно вяжется с романтическим, унаследованным представлением о г-же Рекамье. С портретов Давида и Жерара, со страниц Шатобриана и даже Сент-Бёва на нас смотрит «чистейшей прелести чистейший образец», один из обаятельнейших женских обликов истории. Даже ее позд-

нейшие биографы, от Сент-Бёва до Эррио, оставались, в сущности, такими же cavalieri serventi, как Люсьен Бонапарт и Бернадот, Моро и Жюно, Веллингтон и Август Прусский, Монморанси и Балланш, Жордан и Проспер Барант, Жан-Жак Ампер и Шатобриан.

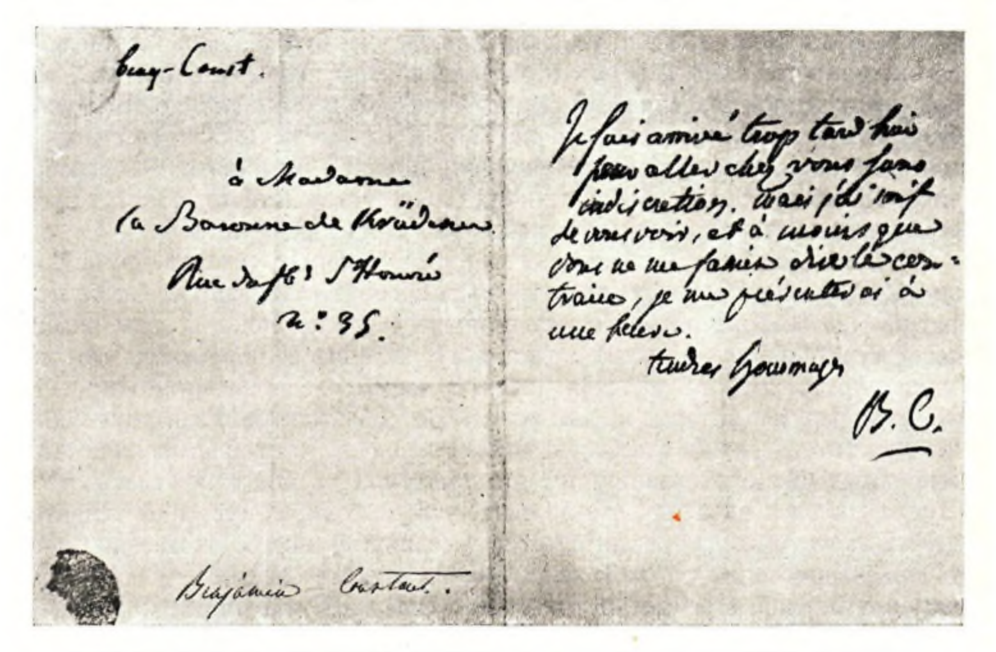
Это великое очарование в ней было, оно неоспоримо,—было бы безвкусно и неправильно отрицать его. Но было не только это. Эффектному, тщательно заготовленному для нее афоризму: «... Как рассказать жизнь женщины? Она обвевает, мелькает, появляется!..»—Сент-Бёв должен был бы искать, по правде, более соответственного применения. Подлинная Рекамье была иной: для непредвзятого глаза документы и мемуары, происшествия и поступки очерчивают фигуру, сохраняющую и прелесть красоты и силу влияния, но не схимницу, отрешенную от мирской суеты, а постоянную, настойчивую, неутомимую участницу повседневных дел. У нее была тихая поступь, но она сама шла и вела других к очень житейским целям; у нее были обычно опущенные глаза, но она замечала все знаки преклонения и тщательно коллекционировала их; у нее был детский, кроткий облик, но она не бледнела и не менялась в лице, когда перед ней обсуждались заговоры и замышлялись перевороты. Она была ловцом людей, человеком политики и интриг, роялисткой и подпольщицей. Ее кокетство было предметом религиозных страхов благочестивых друзей и возмущения обманутых воздыхателей; набожность Балланша и Монморанси вечно трепетала за спасение ее души и ничем никогда не была утешена; а Август Прусский и Б. Констан не знают другого определения для ее игры с ними, как «лживость», «вероломство»; принц Август писал о ней г-же де Сталь: «Подобное поведение считается во Франции, может быть, кокетством, мне же оно представляется верхом вероломства...»[160]; «Я нашел в ней чудо кокетства, вероломства, лживости, притворства и жеманства»,—записывает в «Дневник» Констан[161]. Ее тщеславие питалось всем, что приносил случай; она коллекционировала стихи и вирши, которые ей посвящались,—и они сохранились в ее архиве; она собирала отзывы о себе в печати,—и верные друзья собственноручно переписали для нее целый сборник; она собирала письма поклонников и не возвращала их и тогда, когда люди, с которыми она порывала, настаивали на возврате,—так поплатился Люсьен Бонапарт, и даже его специальный поверенный не мог справиться с упрямицей; она побуждала писателей сочинять ее литературные портреты и сама редактировала их, когда Балланш, Констан, Шатобриан выполняли поручение; она изменяла бюсты и картины, которые заказывала с себя художникам; если знаменитый портрет Давида остался неоконченным, это—дело ее недовольства; если Канова переделал ее бюст в изображение Беатриче, это—итог ее неудовлетворенности; если Шинар должен был испортить свою композицию, это—результат ее требований, и т. п.[162]. Ее связь с политикой была отнюдь не «дамской» и не мимоходной: Наполеон недаром закрыл в 1803 г. ее салон, в 1809-м заявил, что будет считать личным врагом всякого иностранца, ее посещающего, а в 1811-м отправил ее в ссылку; салон Рекамье был не только филиалом салона де Сталь[163]; они были в общей оппозиции, но у каждой была своя гвардия и своя линия: либерализм г-жи де Сталь объединялся с роялизмом г-жи Рекамье в сопротивлении наполеоновской внутренней и внешней политике. Тишина ее салона прикрывала такие дела, как переговоры Бернадота и Моро о перевороте и устранении Бонапарта,—и Жюльетта

отнюдь не оставляла в это время обоих генералов с глазу на глаз; ее демонстративное присутствие на процессе Моро вызвало окрик первого консула; если ее терпели дольше, чем г-жу де Сталь, то потому, что она все же была не Сталь, у нее не было ни этого таланта, ни этого дальнодействия, и ее друзья, такие, как Люсьен Бонапарт, Фуше и Жюно, могли до поры до времени рядить ее перед Бонапартом в личину существа, плохо понимающего, что творит.

Когда события 1814 г. позволили ей вернуться из трехлетней ссылки, она была для Парижа не только светской очаровательницей, но и законченной политической фигурой; ее открывшийся вновь салон стал не просто местом встреч знати, но и одним из влиятельнейших роялистских центров. Именно в это время понадобился ей Бенжамен Констан, и она сочла нужным для успеха политической затеи пустить в ход свое личное обаяние. Дело было связано с подготовкой Венского конгресса. Оно касалось неаполитанской короны Мюрата. Рекамье вернулась в Париж прямо из Неаполя, где гостила у королевской четы. Они благоволили к ней давно, а в 1814 г. в особенности. На нее были виды. Каролина Бонапарт, супруга Иоахима, в сущности, правила королевством вместо мужа. Она в миниатюре осуществляла то, о чем мечтал Сийес в годы Директории: «голова и сабля». В Неаполе головой была она, Мюрат был саблей. В январе 1814 г. она заставила его подписать договор с Меттернихом о присоединении к антинаполеоновской коалиции[164]. Дипломатическая возня вокруг приближающегося Венского конгресса принесла тревоги. Несмотря на коалиционный договор, не было уверенности, что Мюратов не заменят Бурбонами. Изгнанный Фердинанд IV был не таков, чтобы не апеллировать к союзу наследственных монархов против монарха наполеоновской милостью. Он купил закулисную помощь Талейрана; размер договоренной суммы, в шесть миллионов франков, говорит нам, что князю Беневентскому стоило тщательно и заблаговременно подготовить осуществление плана своего клиента[165]. Не исключено, скорее—вероятно, что сведения об этих приготовлениях уже просачивались к мюратовской агентуре; надо было спешить с контрмерами. Каролина поручила Рекамье подыскать в Париже талантливое политическое перо для меморандума, обосновывающего мюратовские права на корону. Дополнительная трудность состояла в том, что автор должен был остаться анонимным; это значило согласиться быть просто наймитом. Рекамье остановила выбор на Констане. Его публицистический талант и политическая изощренность были первоклассны. Надо было лишь заставить его взяться за это дело. Правда, его честолюбие было крайне не удовлетворено: «Достигнуть почетной карьеры, или же полный покой, или смерть»,—формулировал он свои настроения в «Дневнике» истекшего 1813 г.[166]. Он давно уже пытался пристроиться к владыкам дня; он льнул к Бернадоту, когда были шансы на бернадотово регентство во Франции[167]; он тянулся через Лагарпа к Александру, был представлен, был обласкан, ждал ордена[168]; но кончалось все это неудачами, и он искал новых способов подняться. Однако, мюратовское дело было мало заманчиво—анонимная, закулисная работа, во-первых, и второстепенного значения, во-вторых. Даже приняв заказ, Бенжамен Констан, несмотря на все повиновение, к какому его привела Рекамье, требовал в качестве компенсации официального поручения защищать Мюрата публично на самом конгрессе и не прельстился ни предложенными деньгами, ни сулимым орденом, ни негласной поездкой

в Вену: Рекамье вынуждена была довести до сведения Каролины о встретившихся затруднениях, и королеве пришлось разъяснить причины, обязывающие к тайне[169].

Рекамье решила выполнить задачу иным способом. В «канве» для мемуаров Констан помечает: «Г-жа Рекамье задумывает влюбить меня в себя. Мне сорок семь лет. Свидание, которое она мне назначает в связи с одним делом, касающимся Мюратов, 31 августа. Ее манера вести себя в этот вечер: «Дерзайте!»—говорит она мне. Я ухожу от нее сумасшедше влюбленным. Вся жизнь вверх дном»[170]. Записи «Дневника» свидетельствуют, что Констан знал, что его ждет и с кем имеет дело: «Провел вечер у г-жи Рекамье, и эта женщина, которую я знаю еще со Швейцарии, которую я видел в разных условиях и при всевоз-


à Madame
la Baronne de Krüdener
Rue du fb. St Honoré
n: 35.

Je suis arrivé trop tard hier pour aller chez vous sans indiscretion. mais j'ai soif de vous voir, et à moins que vous ne me fassiez dire le contraire, je me présenterai à une heure.

tendres hommages

B. C.

Benjamin Constant.

АВТОГРАФ ПИСЬМА БЕНЖАМЕНА КОНСТАНА К Ю. КРЮДЕНЕР ОТ КОНЦА СЕНТЯБРЯ—НАЧАЛА ОКТЯБРЯ 1815 г.

Всеукраинский исторический музей, Киев

можных обстоятельствах, которая никогда не производила на меня никакого впечатления, вдруг овладевает мной и вызывает у меня неистовое чувство. Сумасшедший я или дурак? Впрочем, надеюсь, что это пройдет...»; «... увы, это не проходит; ужасная лихорадка страсти, слишком хорошо ведомая мне, затопила меня и полностью владеет мной; труд, политика, литература—все кончено; царство Жюльетты начинается...»; «...чтобы бросить меня в эту муку сердца и ума, которой я не в силах противостоять, понадобилось малозначащее с виду обстоятельство: услуга по части совета и редакции, которую Мюраты попросили у меня через Жюльетту (она связана с ними); и вот ее желание успеть в этом, и обольщение, которое она сочла нужным пустить в ход, доверительные беседы, которые отсюда возникли, вскружили мне голову. Я это чувствую! А между тем, я знаю, какой опасности подвергаюсь, ибо имею дело с откровенной кокеткой; но прелесть трудной победы увлекает меня...»[171].

Превосходная ясность понимания и оценки положения, но, как всегда у Констана,—бесполезная: «Сентябрь [1814]. Я терзаю себе жизнь неописуемым возбуждением, в какое повергает меня эта женщина...»[172]. Начинается игра политической интриганки с потерявшим голову публицистом; пока мюратовское поручение не выполнено, она удерживает его неясными посулами, никогда не выполняемыми; когда он силится оторваться и уйти, она подогревает в нем надежды; она увозит его с собой за город, чтобы заставить работать над меморандумом; она запрещает себя видеть, когда он полагает, что получил на то права; она назначает ему свидания и не является; когда он хочет бежать из Парижа, она пишет ему, «чтобы пожаловаться на его намерение уехать»; когда он говорит, что она его не любит, она отвечает: «Значит, вы больше знаете, чем я сама»[173]. Никого из своих воздыхателей она не мучила так, как мучила Констана: «... мне никогда раньше не приходилось иметь дело с кокеткой: что за бич!!!»; «... это самое лживое, самое себялюбивое, самое распущенное создание, какое когда-либо существовало; каким я был безумцем!..»; «... нет, больше не могу! Она заставила меня провести дьявольский день, это какая-то коноплянка, облако, без памяти, без разборчивости, без предпочтения, она никогда не остается назавтра такой, какой ее оставишь вчера...»; «...надо набраться сил и бежать!..»[174].

Пустые слова,—он, конечно, остается, изнемогает, плачет по ночам, опять бодрится, провидит какие-то шансы, снова отчаивается. Он боится теперь, когда мюратовский заказ выполнен, что потеряет поводы видеть свою мучительницу,—он уже в восторге от всякого ее поручения: «Вы же знаете прекрасно, что вся моя жизнь в вашем распоряжении, как и та крупица разума, которая во мне есть... Вы соблаговолили заверить меня, что чувствуете ко мне известную дружественность, вы соблаговолили дать мне поручение... Я напишу то, что вы сочли за благо пожелать...»[175]. И он садился и писал то, что ей было нужно, собирал все силы таланта, чтобы угодить, делал вещи блестяще-невинные, как ее жизнеописание, точно бы расшитое тонким жемчугом[176], и вещи блестяще-чудовищные, как знаменитая его статья в начале «Ста дней», 19 марта 1815 г., в «Journal des Débats», когда он послушно выполнил новый политический заказ Рекамье и, в угоду ее роялизму («Я очертя голову кидаюсь на сторону Бурбонов—г-жа Рекамье толкает меня на это»,—значится в «Carnet»[177]), писал: «На стороне короля—конституционная свобода, спокойствие, мир; на стороне Бонапарта—рабство, анархия, война. Кто мог бы колебаться?.. Я увидел, что свобода возможна при монархии; я увидел, что король соединил себя с нацией. Я не пойду, презренный перебежчик, таскаться от одной власти к другой, прикрывать подлость софизмом и лепетать обесчещенные слова, чтобы купить постыдную жизнь...»[178].

Конечно, все это стоило немногого, и поведение Констана в эпоху «Ста дней» показало обычную цену его легитимизму: достаточно было Наполеону поманить его, чтобы Констан поспешил принять пост императорского советника, сел составлять новую конституцию—Acte additionnel—и в радости высокого ранга и высокого поручения умиротворил на время даже свои сердечные невзгоды: «Я видел Жюльетту, но государственный советник должен воздерживаться от игры и от любви»,—пишет Констан в апрельском «Дневнике» 1815 г.; в эти сто дней он горд, он занят, он подтянут,—его письма к Рекамье меняют и тон, и размеры: они немного-

словны и деловиты. Но вот, пробегая по этим бодрым страницам, мы вдруг ощущаем толчок, и опять появляются знакомые интонации и слова: «Я провел ужасные часы, и одно слово от вас утешило бы меня... Я думал, что не переживу этой ночи... Придет день, и вы почувствуете зло, которое делаете, и будете сами недовольны им...»; «...Вы думали, что это преходящее влечение, но оно определило всю мою жизнь, оно ежемгновенно пожирало меня, ...оно вовлекло меня во всё, что я сделал...»[179]. Можно сразу сказать, что «Сто дней» кончились, отгремело Ватерлоо, — опять наступило «царство Жюльетты», осложненное еще тем, что к мукам любви присоединился страх расплаты за перебежку к Наполеону. Надо бежать или суметь примирить с собою роялистов, возвращенных в Париж штыками коалиции. Он сообщает Рекамье: «„Quotidien“ требует моего наказания на Гревской площади вместе с Лабедуайером. До этого не дойдет...»; «В случае, если это окажется нужным, нет ли у вас на примете какого-нибудь угла в Париже, где, по вашей рекомендации, я мог бы провести ночь?»; «...Я надеюсь, что все толки на мой счет утихнут, ибо вы видите по письму, которое я вам посылаю, что я примирился с правительством, и мне думается, что ваши друзья не должны оказаться строже...»[180]. За себя, таким образом, он мог уже не бояться. Но положение его было тягостным и лично, и общественно.

Именно в эту пору нового краха политической карьеры Бенжамен Констан появляется у Крюденер. Несмотря на давнее знакомство и даже эпизод 1796 г., он не осмелился просто возобновить отношения. Показаться в салоне предместья Сент-Оноре—значило вступить в царскую приемную, а констановское поведение в эпоху «Ста дней» было не только изменой Бурбонам, которым он только-что громогласно клялся в верности, но и изменой Александру I, которому он всего несколько месяцев назад представлялся, подносил трактаты и предлагал услуги. Он был двойным перебежчиком. Правда, людей в его положении было достаточно; шла своего рода взаимная амнистия в светском обществе; в начавшемся белом терроре и в правительственных репрессиях расплата за измену демонстрировалась преимущественно на военных примерах — расстрелами маршала Нея, генералов Лабедуайера и братьев Фоше, процессами Лавалетта, Друэ, Камбронна и т. п. Поведение Констана было прощено, но это не значило, что оно было забыто. Много дверей для него закрылось совсем, кое-какие отворялись с трудом. И уж, конечно, он не мог появиться по собственной прихоти в отеле Моншеню, где теперь сосредоточивалось самое высокое и влиятельное общество. Чтобы решиться на это, нужно было наперед удостовериться в том, что не случится афронта. Ему помогла г-жа Рекамье. Ее роялистская репутация была вне сомнений. В «Дневнике» Констан записывает, как тягостен ему был остракизм и как пришла на помощь Рекамье: «Я измотан и уничтожен людьми. Я отправляюсь к г-же Рекамье, которая выказывает себя хорошим другом. Злость общества против меня претит ей»[181]. Она берется за дело и успевает. Констан возвращается в свет. Именно она вводит его в наиболее важный салон этих месяцев—к Крюденер. Сама она занимает там почетное место. Крюденер, осуществляя поставленную ей Александром общественно-политическую задачу собрать виднейших представителей французского общества, должна была подумать о Рекамье сразу же. Она обратилась к ней с приглашением,—Рекамье охотно ото-

звалась. Об этом пишет ее племянница, Ленорман, в воспоминаниях: «Баронесса Крюденер, молодость которой была очень романтична, но которая в эту пору была уже одержима мистицизмом, столь же пламенным, сколь и искренним, была и раньше знакома с г-жой Рекамье; она пожелала увидеться с ней в 1815 г.,—эта последняя с не меньшим любопытством поспешила удовлетворить это желание...». Впечатление, которое Крюденер произвела на Рекамье, передано так: «Она была уже немолода, но сохранила свою элегантность. Изящество, с каким она держалась, спасало ее от того смешного, что могла бы ей принести ее роль „осененной свыше“»[182]. Рекамье занялась с Крюденер делом Констана. Она подготовила почву и получила выражение желания видеть старого знакомого. О таком именно ходе дела свидетельствует первая записка Констана, сохранившаяся в крюденеровском архиве. Она послана в предварение визита.

(1)

[Париж, август 1815 г.][183]

Г-н Б. де Констан имеет честь явиться к г-же де Крюденер не только потому, что он имел честь встречаться с ней когда-то, но и потому, что г-жа Рекамье ему сообщила, что г-жа де Крюденер разрешила ему засвидетельствовать ей свое почтение.

Официальный тон записки характерен для обстоятельств, при которых Констан входил в крюденеровский салон; вместе с тем, двойная ссылка не только на Рекамье, но и на личные давние связи дает понять, что Констан надеется быть не просто принятым в качестве визитера, но и встретить дружественность, на какую может рассчитывать старинный знакомый. Он не ошибся. Следующая же записка показывает далекое продвижение вперед. Она еще вполне официальна; ее внешний повод— лишь выполнение пожелания Крюденер, связанного с делами политическими, с орлеанской речью Шатобриана к избирателям, которая была новинкой дня; но этой непосредственной темой Констан не занимается,— он уклоняется от суждения; его занимают собственные дела,—записка направляет именно к ним внимание Крюденер.

(2)

[Париж, конец августа 1815 г.][184]

Вот, сударыня, речь г. де Шатобриана, о которой я говорил вам нынче утром. Я не высказываю своего суждения, но представляю эту речь на ваш суд, как хотел бы представить на ваш суд всю мою жизнь. Вы благостно влияете на мою душу; зачем же понадобилось, чтобы вы уезжали завтра! До вечера! Вы дадите, конечно, мне силы дождаться вашего возвращения. Благодарю вас за то, что вы занялись мной. Благодарю за то, что вы соблаговолили немного полюбить меня.

Б. К.

Представить чужую речь на суд Крюденер, как он хотел бы представить на ее суд собственную жизнь,—эти слова говорят нам, что возобновление отношений приняло уже дружески-откровенное направление. Уже существует некоторая исповедальность, в которой Констан является страждущей, а Крюденер — вспоможествующей стороной. Он прибегает к ее утешениям так часто, что видится с ней дважды в день, утром и ве-

чером, а в середке, не дожидаясь вечерней встречи, еще торопится поговорить с ней письменно. Бесед о «третьем лице» между ними еще нет. Может быть, и даже вероятно, оно подразумевается; но к нему еще не прикасаются. Таковы взаимоотношения в конце августа 1815 г., как надо датировать записку, поскольку речь Шатобриана была произнесена 22-го числа. Решающий этап отражен в следующих двух письмах. Они являются уже прямой исповедью. Мы видим, что Констан обсуждал с Крюденер сокровеннейшее дело—свою сердечную трагедию. Он

Г-ЖА РЕКАМЬЕ
Гравюра 1858 г. с рисунка Жерара 1829 г.

еще блюдет остатки официальности, говорит кое о чем обиняками, но адресатке давно всё ясно. Письма идут вдогонку за устными беседами, в которых они исподволь подходили к главной теме, интересовавшей Констана. Констан колебался, как всегда. Не он ли писал в «Адольфе», что любовь не терпит посредничества: «...О, кто бы вы ни были, никогда не доверяйте друзьям интересы вашего сердца; лишь оно само может защищать свои дела... всякий посредник становится судьей...»[185]. Крюденер облегчала ему задачу. Она выказывала такую степень участия, такую готовность помочь, что Констан все торопливее стал переходить границы доверительности.

(3)

[Париж, август 1815 г.][186]

Я надеялся, сударыня, предстать перед вами в четыре часа, но причудливая, горестная, необъяснимая судьба моя противодействует этому. Вы сочли, что видели меня вчера в несчастном состоянии; однако, это был один из безмятежнейших дней, какие выпали мне за год. Сегодня железный брус, проходящий сквозь грудь мою, опять в ней, и каждая мысль причиняет нравственную боль, а каждое движение—физическое страдание. Эти муки, которые я сравнивал перед вами с теми, что именуются вечными,—они ныне здесь, в моем сердце. Я обретаю покой лишь в неподвижности. Даже сейчас, когда я пишу к вам, каждое усилие, которое я делаю, чтобы начертать фразу, возобновляет агонию, стихающую лишь медленно. Вы сказали, что у меня есть право на чудеса с вашей стороны; не приведи бог, чтобы я потребовал их, чтобы я стал пытать небесное милосердие. Но ежели вы можете творить чудеса,—сделайте их, дабы спасти меня; время не терпит.

Состояние души моей отнюдь не беспричинно; но рассказывать вам о том, какова причина, было бы долго и бесполезно, и объяснять ее я вам не стану... Я слыву честолюбцем, задающимся той или иной целью, жаждущим власти или литературной славы,—или чего еще?—движимый, как остальные люди, надеждой, расчетом, побуждениями того же рода, каким движется жизнь людская. А я совсем иной! Я представляю собой существо, испепеленное вот уже год,—существо, которому в душу вонзили кинжал и которое отбивается, жестикулирует, поднимается и вновь падает, но не избавляется от этого лезвия, вошедшего в него.

Вот уже год, как я ничего не понимаю в том, что делаю. Я сломал, кусок за куском, здание своей жизни. Я вызывал своей явной непоследовательностью изумление в тех, которые меня видели. Я приобщался ко всему, что, казалось, предвещало грозу. Я пренебрегал опасностями, бурями, всяким другим страданием, кроме того, которое неизбывностью своей стало для меня непереносимым. Все было напрасно. Я вижу всё, сужу обо всем, но чувствую лишь железный брус, вошедший мне в сердце.

Не думайте, судя по этому выражению, что речь идет о любви. Речь идет о страстной дружбе, которая была растоптана ногами, о преданности, о доверии, о потребности симпатии, которую вызвали, чтобы вновь отбросить ее мне в сердце, и которая давит его.

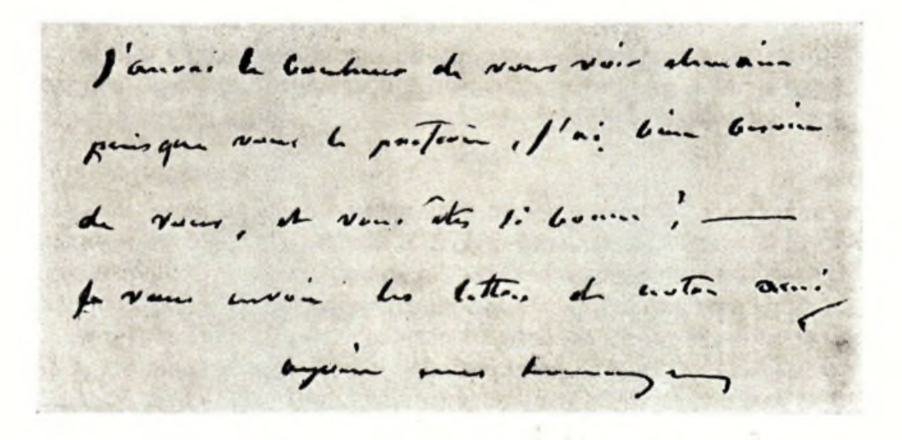
Не требуйте, чтобы я явился к вам. Неподвижность одна лишь облегчает мое страдание, но если к вашему голосу прислушиваются, поднимите его в мою защиту. Не выдавайте этой тайны,—отдаю ее вашей совести и гляжу на свое доверие, как на нечто, связующее вас священной клятвой. Эта тайна никому не известна, и она покажется во мне лишь нелепой причудой. Она известна лишь одному существу, которое является одновременно и ее объектом, и ее обладателем и которое, зная, что голос его даст мне успокоение, что советы его приносят мне облегчение, не считает все же, что моя жизнь стоит какого-нибудь получаса в день.

Это, думается мне,—возмездие. И я тоже топтал ногами привязанность; я тоже глядел без жалости, как льются горькие слезы.

Простите, если я не прихожу обресть то сокровище доброты, которое вы предложили мне. Голос ваш сладостен и могуществен, но ничто не действует на меня, кроме одной вещи,—знаю это вот уже год,—и я лишь утомил бы вас бесполезными попытками.

Прощайте, сударыня! Продолжайте же распространять вокруг себя спокойствие и счастие и верьте, что вам отданы все пожелания, какие у меня еще есть силы произнести.

Самое изумительное—это упоминание о крюденеровском обещании чуда. Она готова сотворить его над Констаном. Письмо приподымает завесу над тем, что привело Крюденер в движение. Ей нужна была не столько констановская исповедь,—она знала, как все кругом, чем он болен,—ей нужна была его готовность к исцелению. Она выступала в излюбленной роли спасительницы души человеческой. Среди хлопот с царем земным и царем небесным, между ежедневной сумятицей мирской политики и ежевечерними священнодействиями молебственных бдений, Крюденер недаром нашла время для выполнения обязанностей сердечного арбитража. Она усмотрела в нем поле для общественно-весомого


J'aurai le bonheur de vous voir demain
puisque vous le permettez, j'ai bien besoin
de vous, et vous êtes si bonne! —
je vous envoie les lettres de notre ami
agréez mes hommages

АВТОГРАФ ЗАПИСКИ Г-ЖИ РЕКАМЬЕ К Ю. КРЮДЕНЕР, СЕНТЯБРЬ 1815 г.

Публичная библиотека, Ленинград

акта. Ее салон еще был скорее предметом любопытства, чем центром влияния. Высший свет появлялся поглядеть на молебствия у ней, как уличные зеваки ходили глазеть на прусские посты у парижских дворцов. Крюденеровские мистические радения были для парижан одной из деталей «азиатчины», сопутствовавшей Александру. Те живые доказательства своих небесных полномочий, которые Крюденер возила с собой в виде новообращенного Беркгейма, были не слишком убедительны и импозантны, ибо неофит был ее зятем, во-первых, и всего только немецким провинциальным полицейским чиновником, во-вторых[187]. Но всё становилось на должное место, если бы в самом Париже совершилось чудо «обращения» какого-нибудь знаменитого имени. В этом отношении случай Констан—Рекамье, и по участникам и по обстоятельствам, представлял находку. Если с Рекамье дело было ненадежно, то относительно Констана сомнений не было. Она быстро разобралась в нем. Он жаждал утешения вообще. Он жаждал помощи против Рекамье, а новые возможности, открываемые крюденеровским вмешательством, стоили внимания: мюратовские tête-à-tête не помогли, бурбонофильские статьи не помогли, льстивые биографии не помогли, но эффекты воздействия мистики еще не были испробованы. Констан знал, что такое религиозная экзальтация;

он изучал ее, когда писал свой труд о «Религии, ее источнике, формах и развитии». Он тогда восторгался трезвостью Гердера и называл «абсурдной» книжку Шатобриана[188]. Он и теперь не терял своей трезвости, но охотно расставался с ней: заметки его «Дневника» показывают, что привычный скептицизм мысли не мешал иллюзиям действия. Он был, говоря пушкинскими словами, «к противочувствиям привычен». В октябре 1815 г., в разгар дружбы с пророчицей, Констан заносит в свой «Дневник»: «Вечер у госпожи Крюденер; есть несомненно хорошие вещи в их верованиях и в их идеях, но они заходят слишком далеко со своими чудесами и описаниями рая, о котором они говорят, точно о собственной комнате»[189]. Это не мешало ему готовно итти на крюденеровские знамения и помогать ей. Мы не говорим, что Констан притворялся перед Крюденер,—мы говорим, что он самоопьянялся. Обман смешивался у него с самообманом. Это было его привычкой. Именно так разыгрался перед Крюденер его нервический припадок, о котором говорится в очередном письме: «...страдания, которые становятся почти физическими и достигают тех пределов, какие вы видели вчера». Припадок произошел в доме Крюденер вечером, а наутро ей было отправлено следующее письмо:

(4)

[Париж, август 1815 г.][190]

Я воспользуюсь, конечно, сударыня, вашим разрешением или, вернее, вашим предложением, столь исполненным доброты. Но будьте снисходительны, если предварительно всё же человек, отлично себя знающий,— ибо слишком хорошо, себе на горе, он изучил себя,—дерзает ставить вам некоторым образом свои условия. Я сознаю, что это безрассудство, почти бунт, но все же это не бунт. Несмотря на вашу просвещенность, чье превосходство лучше всего объясняется ее источником, вы, может быть, пожелаете применить в отношении меня лекарства, которые,—я это знаю по долгому и печальному опыту,—причинят мне в тысячу раз больше вреда, чем пользы.

Вот почему, столь охотно приемля вас в руководители, я обращаюсь к вам с тремя просьбами, которые не смогут повредить ничему тому, что вам было бы угодно пожелать для меня. Во-первых, не спрашивать у меня ее имени. Это перестало бы тогда быть моей тайной, и хотя я не могу открыть ничего такого, чего не мог бы заявить перед целым светом, я всё же не имею права называть, говоря о себе, имя особы, которая ни в какой мере не ответственна ни за мои чувства, ни за мои страдания. Далее, умоляю вас, в случае, ежели бы вы почему-либо отгадали его, никогда не говорить об этом той, которая его носит. В сущности, я не имею никакого права жаловаться. То, что обычно называют дружбой, я получил наравне с тысячью других; повергает же меня в то отчаянное состояние, какое я вам описал, особая настороженность, потребность в симпатии, страстная привязанность, которую я зачастую даже не показываю лицу, являющемуся ее предметом, и которая при малейшем кажущемся мне проявлении невнимания или небрежения внезапно причиняет муку сердцу, растет от разлуки и превращается в ту острую боль, какую я не в силах вынести. Ибо, собственно, доброту, благородство, участие к себе, всё то, что характеризует великодушного и даже чувствительного друга в обыденном смысле слова,—всё это я нахожу у нее в те минуты, когда я способен сам воспринять это. Наконец, не пробуйте, из тех соображений,

что вылечить меня может полная разлука, каким-либо образом способствовать ей. Я сам испробовал это. Это не достигает цели. Получасовая беседа о самых безразличных предметах успокаивает и умиротворяет меня. А вот когда дни проходят так, что этих бесед не бывает, мои страдания беспричинно возвращаются, становятся почти физическими и, наконец, достигают тех пределов, какие вы видели вчера. Таким образом, то, что представляется лекарством, усиливает, наоборот, мои страдания и даже вызывает их. Если бы я мог ежедневно проводить час возле лица, о котором идет речь, как брат подле сестры, чувствую, что стал бы лучше и счастливее; я часто спрашиваю себя, откуда у меня подобное влечение, какого я не испытывал ни разу ни к одной женщине и над которым сам бы посмеялся, подметив его в другом. Такое необычное чувство, не является ли оно скорее сродством душ, готовым установиться для счастия нас обоих?

Вот, сударыня, то, о чем я осмеливаюсь просить. Вы—ангел света и доброты. Вы не оттолкнете сердца, которое взывает к вам. Вы не поставите в вину больному то, что он на основе длительного опыта рассказывает вам о своей болезни.

Благословляю, люблю, благодарю вас—я непременно повидаю вас сегодня.

Б. К.

Письмо длинно, наспех написано, как все интимные письма Констана,—это совершенная противоположность сжатости и блеску его статей, памфлетов, брошюр, любому сочинению, которое он возводил в ранг литературы. Здесь ему не до нее, в этих письмах он как есть—растрепанный, обыденный, домашний. Крупица светских условностей: «сударыня», «осмеливаюсь просить», «преисполнены доброты» и пр., тонет в потоке длинных, хаотических фраз с признаниями, жалобами, противоречиями. Констан словно бы ставит условия Крюденер, но под сурдинку признает, что это только «притворство влюбленного» и эти запреты будут нарушены и им и ею; в частности, он просит не спрашивать об имени любимой им женщины, когда уверен, что Крюденер его знает; он просит не говорить о нем с предметом любви, когда вся затея построена на крюденеровском вмешательстве. Так, конечно, оно и было. Констан «еще поморщился немного», и «третье лицо» было названо.

Для этого оказалось достаточным всего двух бесед. Констан поверил в плодотворность посредничества Крюденер. Он приучается к ее богословскому жаргону. Он старается прижиться в крюденеровском доме. Едва уйдя, он уже просит нового свидания. Он, разом, и откровенничает с покровительницей и ужасается своему предательству. Он уже решается писать ей по нескольку раз в день. Его очередное письмо состоит из смеси лести и опасливости, настойчивости и оглядки.

(5)

[Париж, август 1815 г.][191]

Какое облегчение вы принесли мне сегодня, сударыня, и какую потребность написать вам чувствую я! Как вы добры, как снисходительны и как могущественны в своих утешениях! Я уже не одинок в мире, и счастие обрести друга, поводыря, голос, нисходящий с неба, возвышает мне душу. Да, конечно, у меня не будет ничего скрытого от вас; неис-

черпаемая доброта ваша придаст мне мужество ввести вас во все подробности. Вас хватает на всё, как того бога, коего могущественной посланницей вы являетесь; все несчастия находят у вас и время, чтобы их выслушать, и силу, чтобы их утешить. Я уже скорблю от малейшего вашего отсутствия, я хотел бы повсюду сопровождать вас; я опять погружусь в одиночество, когда вы уедете. Когда мог бы я увидеть вас сегодня, так, чтобы возможно меньше помешать вам и занять ваше внимание столь недолго, как только смогу? Это то, что сейчас меня волнует, и с тех пор, как я вышел от вас, мысль эта меня не покидает. Впервые я занят не той мыслью, которую доверил вам, — и это отвлечение уже есть благо.

Знаю, что у вас назначен ряд встреч, и я хотел бы занять то время, какое окажется для вас наиболее удобным: за исключением промежутка между четырьмя и шестью часами, я свободен весь день.

Вы вернули мне способность, которую я утратил: совершать среди света как бы молитвенный акт, успокаивающий и отделяющий меня от этого мира, столь жадного и столь утомительного. Но я не нашел, всё же, в этих актах той полноты действенности, какую когда-то они оказывали на меня. Однако, это уже кое-что — обрести вновь воспоминание, исчезнувшее из моей головы вот уж много лет.

Среди встреч, которые у вас сегодня будут, есть одна—с особой, чья судьба меня живо занимает, которая испытывает к вам большое влечение, которой нужно нечто приносящее удовлетворение ее душе, утомленной светом, но которая, боюсь, не вполне вступит на серьезный путь, отдаваясь развлечениям, властвующим над нею, и той полумечтательной беззаботности, ставшей для нее привычкою. Мне хотелось бы поговорить с вами о ней раньше свидания, которое она испросила у вас на час, ибо я беседовал с нею о впечатлении, какое вы на нее производите. Что бы ни было у вас потом,—не говорите ей, что я вам сказал об этом, умоляю вас!

Дай я себе волю, я стал бы писать вам всю ночь напролет. Душа моя переполнена вами; а ведь я виделся с вами лишь дважды. Как можете вы, выполняя столь великую миссию, уделять еще внимание отдельным людям? Но велико только чувство; количество, ранг, положение пред ним — ничто. Душа — всё, и одна смятенная душа стóит целого народа, так же как один верующий ценнее всех диковинок физической природы и как один молитвенный акт дороже всех красноречивых слов. Как хотелось бы мне, чтобы после того, как вы воскресили во мне чувство, вы дали бы мне еще убежденность во всем том, чего нехватает моей вере! Я ничего не отвергаю,—я уважаю всё; но я хотел бы соединиться с вами в делах, как соединился с вами в чувствах,—в том быстром и полном общении, какое наступает, когда душа обретает способность отречься от себя самой и кинуться покорно и безвольно в объятия той силы, из коей она вышла. Когда-то и я обладал в гораздо большей степени этой способностью. Я жил два года среди бурь, словно ребенок, не думая о путях своих, чувствуя, что есть кому руководить мной, сильный собственным неведением, чувствуя, что бог обязан, если смею так выразиться, обязан меня—существо, всецело себя отдающее,—наставлять и защищать от мира, а в особенности от меня самого. О, зачем взялся я за бесполезный руль неуверенной рукой!

Тяжело оно, то весло, которое человек хочет приподнять собственными силами, дабы направить его в океан жизни. Давит она на нас, наша собственная личность!

Когда же все-таки увижу я вас, сударыня? Я всё, увы, возвращаюсь к этому. Я не смогу просить вас об этом в течение нескольких дней, а спустя известное время—может быть уж никогда! Эта мысль преследует меня. В самом деле, вы сделали мне уже столько добра, вы дали мне неоценимое благо—возможность заниматься чем-то другим, нежели навязчивой мыслью, владеющей мной,—дайте же мне еще больше, владейте душой моей, сердцем моим, способностями моими...

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТЪ
КЪ РУСКОМУ ИНВАЛИДУ (10 Іюля 1815 года.) No 18 й.

ПАРИЖЪ СДАЛСЯ

Сей часъ *полученъ* изъ Берлина *отъ* 11 го с. м. вечеромъ, дополнительный листъ съ весьма пріятнымъ извѣстіемъ что 3 го числа Іюля заключена Княземъ *Блюхеромъ* и Герцогомъ *Веллингтономъ* съ Маршаломъ *Даву* капитуляція о здачѣ *Парижа*, которая и ратификована 4 го числа. При отправленіи курьера отъ Князя Блюхера изъ Главной его квартиры замка *Мѣдона* отъ 4 го числа въ 6 часовъ вечера, въ слѣдствіе сей капитуляціи, *Сентъ-Дени* и мостъ *Нѣльйскій* (Neuilly) были уже Союзникамъ сданы. Сдача Монмартра послѣдуетъ 5 го числа а 6 го Іюля Прусская армія торжественно вступитъ въ *Парижъ*.

Поводомъ къ сей капитуляціи былъ переходъ Прусскихъ войскъ на лѣвый берегъ рѣки Сены при С-нъ. Жерменѣ 1 го Іюля. фельдмаршалъ позволилъ остаткамъ Французской арміи, собравшимся подъ стѣнами Парижа, отступить свободно за рѣку Лоаръ. Съ сими только войсками заключено перемиріе.— Главнокомандующіе Союзныхъ войскъ при сихъ переговорахъ руководствовались единственно видами военными.

Другія извѣстія полученныя съ симъ же курьеромъ увѣряютъ, что *Буонапарте* съ братьями своими ушелъ 29 го Іюня изъ Мальмезона, не получивъ однакожъ паспортовъ требованныхъ имъ отъ Герцога Веллингтона.— *Фуше* теперь главою Роялистовъ.

Печатать позволяется. Цензоръ Статскій Совѣтникъ и Кавалеръ Г. Яценковъ.
Печатано въ Типографіи Прав. Сената, и продается у Г-на Крайа въ домѣ Бреммера на Исакіевской площади No. 197.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ „РУССКИЙ ИНВАЛИД" ОТ 10 ИЮЛЯ 1815 г. С СООБЩЕНИЕМ О КАПИТУЛЯЦИИ ПАРИЖА

Когда же я увижу вас так, чтобы не надоесть вам? Нельзя ли сегодня же утром? Посылаю это письмо спозаранку. Стану ждать ваших распоряжений.

Примите уважение, почтение, преданность, благодарность и нежность.

Б. К.

Адрес: Госпоже Крюденер.
Улица Фобур Сент-Оноре, № 35

Рекамье, таким образом, официально была введена в беседы; Констан торопил Крюденер и нетерпеливо ждал первых результатов. В следующем письме уже появляется буква «Р.» и сообщаются радостные наблюдения над первым влиянием Крюденер на подразумеваемую особу. Таким образом, Крюденер приступила к действиям. Но, обнадеживаясь, Кон-

стан недаром держался настороже. Вводить чужое лицо в такое дело можно было, только соблюдая величайший такт и тщательно подготовив все шаги. Он, в самом деле, сделал Рекамье уклончивое полупризнание в том, что был откровенен с Крюденер; он написал ей письмо, где как бы мимоходом сообщает: «Я провел день в одиночестве и вышел из дому только, чтобы посетить г-жу Крюденер. Превосходная женщина! Она знает не всё, но она видит, что страшное горе меня снедает, и она потеряла целых три часа, чтобы утешить меня, она наставляла меня молиться за тех, кто причиняет нам страдания, и терпеливо переносить мои муки... Я предназначен просветить вас небом...»[192]. Видимо, эти истинно христианские чувства не очень утешили Жюльетту. По письму Констана к Крюденер можно заподозрить, что у него были все основания тревожиться и что Рекамье представляла себе дело не так, как он нарисовал ей, а так, как оно было в действительности.

(6)

[Париж, сентябрь 1815 г.][193]

Пишу вам всего несколько строк в ожидании визита к вам в 1 час дня. Впрочем, в случае, если в это время вы будете заняты, будь это г-жа Р. или кто-либо другой, не принимайте меня. Но мне хочется написать вам, чтобы сказать, как эта перемена, начавшаяся в ней в таком согласии с вашими предсказаниями и казавшаяся мне столь трудной и столь маловероятной, преисполнила меня надежды и ради нее, и ради того, чего я добиваюсь и к чему стремлюсь самым добросовестным образом. Я не скрыл от нее своей радости, и она сама глубоко чувствует, что свет немногого стоит; ее единственная боязнь,—это недоверие к самой себе, неспособность проявить нужную твердость. Я смогу кое в чем помочь, если она будет меня слушать, так как среди всех ее друзей я не только единственный, поддерживающий ее в этом направлении, но и единственный, не толкающий ее на противоположное. Она не знает, что вы были так добры и выслушали рассказ обо всем, что я выстрадал,—а только лишь о том, что я говорил вам, как нежно я к ней привязан. Я считаю, что ваш сегодняшний разговор с ней будет иметь решающее значение. Я достаточно хорошо знаю ее характер, чтобы убедительно просить вас не говорить ей, что я жаловался на страдания, которые она причинила, ибо этого она терпеть не может, и ее всего больше возмущают подобные жалобы, так как она сознает, что они не совсем необоснованны. Но если вы считаете полезным расположить ее ко мне, тогда скажите ей то, что думаете обо мне и о характере моей привязанности к ней. Я не настолько неискренен, чтобы отрицать, что самое горячее мое желание—это занять в ее сердце особое место. Но бог мне свидетель, что это место самого нежного брата и самого бескорыстного, самого преданного друга.

Простите! Вы—олицетворение доброты, любви и, значит, могущества, и наш друг заслуживает того, чтобы принадлежать богу и вам. Внушите ей это милосердие, эту милостыню души, на которую вы так щедры.

Еще раз простите. Я навязчив, потому что преисполнен доверия к вам, а чувство доверия—такое редкое для меня счастие.

Итак, до 1 часу дня, согласно вашему вчерашнему приказу, если это не помешает вам.

Адрес: Баронессе Крюденер.
Улица Фобур Сент-Оноре, № 35

Письмо составлено опять наскоро и отослано спозаранку. Констан не решается обождать даже нескольких часов, когда сам явится к Крюденер с ежедневным утренним визитом. Подробности письма показывают, что особое значение придавал он тому, как бы его откровенность не была использована окружением Жюльетты. Он не называет имен, но понятно, кого имеет он в виду. Это старая оппозиция ближних людей, в значительной степени повинная в том, что Рекамье так третировала его; они не уставали твердить о констановском аморализме и неустойчивости. Уже год назад по письмам Констана проходят следы непосильной борьбы с Балланшем: «...Стесненный присутствием г. Балланша, я недостаточно хорошо защищал себя... ... Я почти был готов, прежде чем уйти, броситься к его ногам, чтобы умолять не делать мне зла...»; «... Передайте это письмо г. Балланшу; я хотел бы, чтобы он не работал против меня («qu'il ne travaille pas contre moi»)...»[194]. Но Балланш и другие доверенные, вроде Матьё Монморанси, не могли не «работать», так как не было причин приостановить борьбу с Констаном, и менее всего могло их успокоить вмешательство Крюденер: протестантский экстатизм, импортная немецкая мистика, к которой баронесса пыталась приобщить Жюльетту, вызывали у этих апологетов католицизма лишь дополнительное сопротивление. Констан своей связью с Крюденер усиливал их противодействие себе. Как раз теперь он был в зените надежд и спешки. Он ждал обещанного чуда, он торопил развитие «начавшейся в согласии с предсказаниями перемены» в Жюльетте, хотел ежедневно и самолично наблюдать за ней, чувствовать возрастающее «сродство душ», а получал знаки все того же своего отверженничества, те же нехотя даруемые встречи, равнодушие к проявлениям горя, озлобление на упреки,

РУССКИЕ В ПАРИЖЕ
Акварель Г. Опица, 1814 г.
Исторический музей, Москва

а главное—нескрываемое, нарочитое, непереносимое, пред всем светом высказываемое предпочтение всех и каждого ему: «...бога ради, не погружайте меня снова проявлением безразличия в ужасный страх, в который я так готов впасть...»; «...нет ни одного из ваших друзей, с которым вы не предпочли бы быть...»; «...есть нечто необъяснимое в вашем отношении ко мне, вы не бываете такой с другими...» и т. п.[195]. В нем назревало отчаяние, которое привело к кризису. Следов его в наличествующих источниках нет. По опубликованным письмам Констана можно лишь установить, что сентябрь 1815 г. был наиболее неспокойным месяцем в финале их истории. В одной фразе, мелькнувшей в большом письме, правда, отразилось прошедшее потрясение: «Восемь дней назад я вернулся к себе, проклиная судьбу, думая о самоубийстве, и оставался тридцать шесть часов без движения, в одиночестве, в агонии отчаяния»[196]. Это не слишком останавливает читательское внимание,—это слова, слишком частые у Констана. Однако, в крюденеровском архиве оказались два письма, которые говорят, что в эту пору, действительно, была кульминация истории Констан—Рекамье.

(7)

[Париж, сентябрь 1815 г.][197]

Дорогой друг, вам, сжалившейся надо мной, вам, пожелавшей спасти погибшую жизнь, вам говорю я прости навеки. Есть мера страха и муки, которой сила человеческая не может вынести: нельзя, поистине, обвинять меня в слабости—меня, страдающего больше года от всех язв разбитой души. Нельзя обвинять меня в бунте—меня, уже год молящего небо вырвать из сердца моего боль, которая его убивает, или внушить существу, причиняющему ее, немного жалости. Клянусь вам, ежели бы я мог подчиниться, если бы агония не была настолько неистова, что все нервы мои в конвульсии, если бы самое дыхание не стало для меня казнью, если бы что-либо приносило мне облегчение, я упал бы на колени, возблагодарил бы милость божию, благословил бы ту, которая вершит надо мною казнь; но боль слишком страшна, и когда я думаю, что вот уже тринадцать месяцев, как это длится, что это может длиться еще дальше, что тринадцать месяцев безграничной преданности, ежеминутной поглощенности не могли привлечь ни малейшей дружественности, что она рада обманывать самые трепетные мои надежды, что она знает о том, что видеть ее иногда наедине есть для меня жизнь, и, однако, нагромождает сколько угодно бесцельных препятствий, хотя ей нечего бояться,—с упорством, которого ничто не обезоруживает,—я содрогаюсь при мысли продлить этот ужас. Я считаю себя оправданным во всех средствах, какие мог бы применить, чтобы сократить его.

Говорить вам о том, почему я вновь оказался в таком страшном положении, было бы бесполезно. Всё может быть холодно объяснено, доказательства равнодушия толкуются простейшим образом, каждое отдаление является делом случайности; но когда я вижу, что эта случайность обрушивается только на меня, когда я вижу, что она заготовлена заранее, когда я узнаю, что, боясь подарить мне какой-нибудь ничтожный час, который был бы глотком воды для злосчастного, умирающего от жажды, она вызывает спешно письмом одного из родичей; когда я во всем встречаю это желание избегнуть меня, когда я вижу ее такой мягкой и снисходительной с другими и такой безжалостной со мной,—я не могу питать иллю-

зий. Я готов разбить себе голову о стену, слезы грузом давят на сердце и не могут облегчить меня. Я уже не сопротивляюсь, не в силах сопротивляться, а, вместе с тем, всё так хорошо слажено, что она как бы не знает о моем страдании, избавляет себя от лицезрения его, предоставляет мне терзаться в одиночку, так, дабы до нее не доходило ничего, что могло бы возбудить в ней жалость. Вот еще сегодня: я видел ее две минуты, она предложила мне отобедать в обществе, но она предпочитает скорее, чтобы я умер, нежели позволить мне повидать ее хоть мгновение наедине, и я должен был, по обыкновению, влачить свою агонию среди равнодушных людей. Надо было болтать, отвечать, притворяться спокойным, слушать похвалы моему уму—этому уму, который я ненавижу, ибо он не сумел понравиться ей.

Нет, даже вы, единственный друг мой, вы не можете потребовать от меня продолжения такой казни. Я не освобождаю себя ни от одного долга. Я выполню их все и сделаю благо всем кругом,—жена моя прожила полтора года без меня,—на что могло бы пригодиться ей изничтоженное сердце? Если она еще любит меня, оно сделало бы ее лишь несчастной, и пусть уж лучше она погорюет обо мне. Отец мой оставил в малоблагоприятном положении детей, чье двусмысленное происхождение уже является несчастием[198]; мое состояние поправит это. Единственная вещь... [пропуск в рукописи] мне,—а именно, чтобы никто не знал, что я не смог дольше вынести жизнь,—и никто этого не узнает. Чуть-чуть больше ловкости и несколько лишних часов, которые потому уже будут не так мучительны, что мое решение принято; всё покажется естественным, и я вызову в единственном существе, которое, быть может, еще удостаивает любви это создание, столь презренно попранное ногами другой, лишь обычные и преходящие сожаления, каковы они всегда. От вас самих я бы скрыл это, если бы мне не хотелось в одиночестве агонии сказать себе, что вы жалеете меня. Простите,—это эгоизм, но так тяжко умирать одному. Ваши молитвы будут окружать меня в этой одинокой комнате, отныне запертой для всякого живого существа до той поры, пока кто-либо счастливее меня поселится здесь. А ей писать я не стану! Она могла бы счесть это за представление, за игру, быть может, за вымогательство, она видела мое отчаяние не один раз, она поверит лишь непоправимому. Она возвращается завтра в деревню, пробудет там неделю. Это—в восемь раз дольше, чем следует. Она будет вполне свободна по возвращении,—я так надоедал ей. Бог мой, как любил я ее! На какие тысячи ладов выворачивался я, лишь бы обрести между нами хоть какую-нибудь связь! Как спешил я служить ей, как счастлив был повиноваться малейшему ее знаку, как жадно искал приобщиться к ней в любой вещи! Она не раз сама это признавала. Она говорила мне об этом. Зачем она убила меня? Мне явственно, что она пожелала с такой железной волей, чтобы я был ничем в ее жизни. Чем только ни пользовалась она для моего удаления! За три месяца я не видел ее наедине и двух раз! Того, что когда-то она делала, не раздумывая, что было так просто и естественно, теперь она избегает! И, однако, отказывая мне, она это делает для всех других. Ее видят свободно, она слушает, она отвечает, она хвалит,—лишь одного меня она отталкивает, и пробыть четверть часа со мной наедине представляется ей несчастием.

Ангел-хранитель последнего месяца существования моего, благодарю вас и благословляю вас! Вы сотворили мне благо, и вопреки тому, что вам, быть может, кажется преступлением, моя душа вернется, став

лучше, просить милосердия у создателя своего. Нет, это не преступление! Кому приношу я добро? Пользуюсь ли я своими дарованиями? Вот уже год, как они обращены в ничто. Это—физическая болезнь, и я не более виновен, чем если бы умер от любой другой болезни. Разве было бы лучше, если бы я сошел с ума? Или вы думаете, что навязчивая мысль, неотступная боль не привели бы меня прямым путем к безумию? А ведь я не раз чувствовал себя на краю этого. Одно приходит мне на ум и пугает меня. Может быть, вы считаете своею обязанностью испробовать какое-нибудь средство, чтобы отвлечь меня? Подумайте,—у вас нет такого! Вы лишь сделали бы меня посмешищем света, и я стал бы только еще несчастнее, если только мое несчастие могло бы стать больше. Вы воздвигли бы лишь новое препятствие между нею и мной, согласись я жить. Она стала бы ненавидеть меня за причиненное волнение. Нет! Не осталось уже ни средства, ни надежды! Поверьте мне, даже теперь я готов был бы искать их,—но их нет. Проявите же доброту, о которой я прошу вас,—молитесь за меня, молитесь за нее. Она менее виновна, нежели был я по отношению к некоей другой, и за это-то я и наказан. Не говорите ей ничего обо мне, а если позднее вы встретитесь с нею, скажите, как сильно я любил ее, но не говорите ей о зле, которое она мне причинила. Ради бога, убедитесь же, что вы ничего не можете сделать. Если вы станете говорить с ней, она вообразит, что это по моему настоянию; она станет презирать меня за достойную презрения уловку. О, не злоупотребляйте же моей доверчивостью, не навлекайте на меня ее презрения!

Мне не следовало бы посылать вам это письмо, но я не в силах противиться вашим просьбам, вашему вмешательству, может быть, действенному; есть что-то такое бесплодное в моем одиночестве, и мысль, что вы сострадаете моей судьбе, приносит мне облегчение. Может быть, голова моя ослабла. Чувствую, что писать вам нелепо, и всё же мне это сладостно. Но не причиняйте мне последнего зла, какое можно мне причинить, и простите меня вы, верующая и богом благословенная женщина, простите меня. Не пытайтесь как-либо воздействовать на нее,— она не поверит вам. Я часто ей говорил, что умру, если не создам между нею и собой нежную дружбу, и что у меня потребность видеть ее,—она ни разу не поверила мне. Вы, может быть, стали бы негодовать на меня, если бы что-либо с ее стороны еще могло причинить мне тяжелую минуту. Она ненавидит безумие, а разве мое чувство и мое отчаяние не таковы?

Я успокоился за этим письмом к вам: нет, это мысль о смерти успокоила меня. Чувствую, что, если бы я вернулся к жизни, все мои мучения возобновились бы. Вы можете сотворить мне благо лишь своими молитвами; вы не можете от нее добиться ничего, кроме негодования против меня. Она не считает, что причиняет мне муку, она не подозревает этого. Она думает, что доставила мне удовольствие, пригласив меня к себе на обед, где у меня не будет возможности обменяться с ней хоть словом. Поверьте, не прими я определенного решения, я не стал бы делать того, что может лишь еще больше отдалить ее от меня. Я—как все помешанные. Есть разум в моем безумии, не правда ли? Молитесь за меня, ничего не предпринимайте. Любите меня, ибо я люблю вас. Сейчас шесть часов утра. Стану приводить в порядок мои дела. Бедные дети моего отца будут очень изумлены, оказавшись богатыми. Их счастие доставляет мне радость.

БРОШЮРА Ю. КРЮДЕНЕР „ЛАГЕРЬ В ВЕРТЮ", ПОСВЯЩЕННАЯ ПАРАДУ РУССКИХ ВОЙСК В ШАМПАНИ (ФРАНЦИЯ) БЛИЗ ВЕРТЮ 10 СЕНТЯБРЯ 1815 г.

Первая страница первого издания, 1815 г.

LE CAMP

DE VERTUS.

—

Nous venons d'être témoins d'une de ces grandes scènes qui rattachent les Cieux à la Terre, et que la postérité verra comme une de ces grandes et sublimes pages de l'Histoire, qui deviennent la révélation des siècles.

Qui oseroit l'écrire cette histoire de nos temps ! Quel est le Tacite assez audacieux pour toucher à ces faits, qui, semblables au Sphinx de la Fable, dévorent tous ceux qui n'ont pas le mot de cette énigme ?

Tous ces faits échappent à ceux qui n'ont pas le Dieu vivant pour les leur expliquer, et qui toujours resteront isolés et enveloppés de

Прощайте же вы, делающая столько добра; вы и мне достаточно сделали его. Скройте вину мою от окружающих. Не навлекайте на меня их хулу. Обладательница моей тайны, соблюдите ее. Я уступил необходимости приобщить вас к себе, чтобы не быть так страшно одиноким. Я приказал лакею никого не впускать. Дверь моя окончательно заперта. Я не увижу ее больше открытой, когда отошлю это письмо.

Еще раз, сделайте мне единственное благо, какое можете сделать,— молитесь за меня. Но не говорите ей ничего. Пусть не умру я с мыслью, что она презирает меня. Поверьте мне: узнай она,—она всё же не поверила бы. Она усмотрела бы в этом лишь новый повод оттолкнуть меня. Если бы я мог удовлетвориться тем, что она дает мне, я удовлетворился бы. Я не мог: она стала бы давать еще меньше. Выхода нет.

Еще раз, коленопреклоненно, прощайте! Сделать добро другим, доставить им удовлетворение, никому больше не докучать,—разве это зло? А какое еще добро мог бы я сделать? Разве способности мои не пришли в негодность? Прощайте, прощайте.

В письме звучит живой человеческий голос. В нем чувствуется настоящее потрясение. Оно было бы даже трагическим, если бы спустя всего лишь день не пошло в тот же адрес новое письмо, лишний раз подтвердившее, что «мысль о самоубийстве помогает переживать мучительные ночи». Крюденер вызвала Констана, утешила его, обещала завтра же повидаться с Рекамье, добиться умиротворения; этого было достаточно, чтобы он ожил, даже несколько смутив Крюденер быстротой своего воскресения: во всяком случае, его второе письмо посвящено как раз доказательствам того, что дело обстоит серьезно и что он впрямь готовится умереть.

(8)

[Париж, сентябрь 1815 г.][199]

«Не пугайте меня больше»,—сказали вы мне вчера вечером, когда я уходил от вас. Эти слова меня преследуют. Неужели вы думаете, что всё мое письмо, все мои страдания имели целью только вас напугать? Я сознаю, насколько я становлюсь докучливым, придираясь к каждому слову. Увы! Я не был таким прежде. Непрерывное горе сделало меня недоверчивым; навязчивая мысль сделала меня безумным. Нет, дорогой друг, не для того, чтобы напугать вас, писал я вам вчера утром. Отчаяние было в моей душе, и желанием избавиться от него было преисполнено все мое существо. Я жаждал, чтобы оно перестало сжигать мое сердце, в которое вселилось, чтобы терзать его. Мое страдание превратилось в физическую болезнь, стало неизлечимым. Достаточно слова, напоминания, малейшей помехи, чтобы вызвать боль, и никакое усилие разума не может ее успокоить. Вы успокоили ее вчера, и при мысли, что я увижу сегодня ту, которая является причиной моих страданий, бессмысленная, безрассудная, ни на чем не основанная надежда, которая, как я ее ни отгоняю, начинает витать вокруг меня, вернула мне, когда я был у вас, проблески веселости,—эти обломки подавленного ума и разбитого существования. Но когда сегодня утром вы попытаетесь раскрыть мое сердце той, которая не хочет его знать,—во имя сострадания не ошибитесь во мне.

Я мучаюсь попрежнему, и жажда не ощущать более этого мучения меня томит. Осмелюсь ли я сказать вам, что даже вы, вы сами, увеличили мои страдания, сказав, что они не уменьшатся и что моя душа станет блуждать подле нее, не будучи в состоянии общаться с нею. Не от нее, следовательно, будут исходить препятствия. Она не будет больше проявлять этого составляющего мою муку желания избегать меня. И не ее придется мне обвинять в этом. О поверьте, такою ценою все прочие мучения стали бы счастием. Простите, я, быть может, вас оскорбляю. Я не хотел этого! Я показываю вам себя таким, каков я на самом деле и каким мне очень не хотелось бы быть. Я вовсе не ношусь со своей болезнью. Я молю бога вырвать ее из моего сердца, но уже год, как мои молитвы бесплодны. Вчера я покинул вас несколько успокоенный. Утомленный предшествовавшей ночью, я смог уснуть. Увы! Сон подкрепил меня, и вот с пробуждением вернулась мучительная тревога. Вникните же хорошенько в мой недуг. Разберитесь в его причине, поскольку вам угодно поговорить обо мне. Причина не в том, что я не могу добиться ее любви, а в моей потребности в доверии, симпатии, привязанности—потребности, которую она делает еще более неодолимой, стараясь уклониться от нее. Двух минут, в течение которых я могу выразить это, уже достаточно, чтобы принести мне облегчение; но когда проходят дни и я лишен возможности излить перед ней душу, все мои силы иссякают. Итак, вы хотите знать, что привело меня в то ужасное состояние, в котором вы меня видели? Целая неделя такой томительной тоски. В прошлое воскресенье она приглашает меня на послезавтра. Прихожу. Застаю у нее общество. Я не могу сказать ей ни слова. Она видит мое огорчение, она тронута им. Она пользуется свободной минутой и приглашает меня притти через два дня. Отправляюсь—новые препятствия. Она снова растрогана. Она говорит, что можно будет увидеть ее позавчера. Прихожу—она окружена посторонними. Она чувствует, что мое сердце готово разбиться. Она приглашает меня к обеду на вчера и говорит, что будет некоторое время одна.

Я являюсь в пять часов; она возвращается домой к шести. Она пригласила еще других, они все налицо. Она лишена возможности сказать мне слово. И вот так, от препятствия к препятствию, от обещания к обещанию, от одной обманутой надежды к другой, влачится моя жизнь. Пусть же узнает она меня, наконец! Пусть поймет, что если я не упал тут же замертво, когда она удалила меня от себя, а ушел к себе, то только затем, чтобы не подвергаться пытке на ее глазах.

Увы! Меня охватывает страх за нее. Я поступал так же; то, что я говорю теперь, мне говорили раньше. Я так же был рад уклониться и не видеть чужих слез. Их проливали вдали от меня,—и вот возмездие наступило! Не кажется ли вам, что есть тайна и божественная справедливость во всем том, что я переживаю! Я столько времени встречался с ней, не испытывая к ней ровно ничего. А о том, как старалась она убить мое чувство, она знает и сама. Я отдаю ей должное,—она сделала всё, что могла. Но мне следовало понести наказание. Зачем же хочет она совершить такое же зло и подвергнуться такому же возмездию? Орудие пытки становится, в свою очередь, объектом пытки. Тот, кто причиняет такое ужасное страдание, всегда виновен. Она спрашивает, что может она сделать. На это ответить нетрудно. Пусть уделит час в день, час в два дня, когда бы я мог беседовать с ней. Она знает свою власть надо мной, ей нечего бояться. Не достаточно ли унизительно для меня являться каким-то бременем! Почему мне не допустить мысль, что я буду наводить на нее скуку не более... [нерзб.], чем любой другой? Если даже такое незначительное усилие ее стесняет, пусть предоставит меня моей судьбе. Но пусть потом она не горюет о моей тоске и о моей смерти.

ЛАГЕРЬ

ПРИ

ВЕРТЮ.

(Съ Французскаго.)

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,
въ Медицинской типографіи
1815 года.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РУССКОГО ПЕРЕВОДА БРОШЮРЫ Ю. КРЮДЕНЕР „ЛАГЕРЬ ПРИ ВЕРТЮ“

Издание 1815 г.

Разве я не выносил всего? Разве после девяти месяцев, проведенных в самом интимном ее обществе, я не позволил выгнать себя, как человека, недостойного быть принятым в доме? Это было, однако, тяжело. Другой бы на моем месте оскорбился, я же, полагая, что это было ей нужно, подчинился. Она могла меня вознаградить; она пожелала сделать это. Но те минуты, которые она уделяла мне, всегда оказывались занятыми. Лиц, которых она принимала, когда я был изгнан, я встретил опять, когда был вновь принят. Она заставила меня нести тяжесть проскрипции, не даровав никакого утешения, в котором, в силу природного своего великодушия, она не отказала бы человеку совсем безразличному. А между тем, она знает, она признает, что я люблю ее больше, чем кто-либо. Преступление попирать ногами такое чувство! Она хочет убить это чувство, но убьет лишь меня самого. Если бы я рассказал ей, во что превратилось мое существование за этот злосчастный год, она содрогнулась бы. Настанет время, когда она станет упрекать себя за такую беспечность. Я же—я страдаю, умираю, но не жалуюсь. Сегодняшнее утро решит мою судьбу. Я верю в вас потому, что моя преданность и чистая привязанность к ней не содержат ничего, что не заслуживало бы вашего участия. Однако, я питаю мало надежды. Я пишу с трудом. Тоска поминутно охватывает меня, пусть хоть об этом знает она. Пусть знает, что эта тоска никогда не покидает меня. Я писал ей третьего дня, что если бы моя мука могла принести ей пользу и если бы, умирая от боли, я мог бы служить благодетельным толчком, чтобы извлечь ее из той пустоты, где она мечется безо всякого счастия, я благословил бы и свои страдания, и свою смерть. Она взяла мое письмо, а затем даже не сказала, прочла ли она его. Я пролил над ним столько слез, и эти слезы упали обратно мне на сердце.

Простите за все эти жалобы. Я ни на что не надеюсь. Я уже сказал вам, что ранен смертельно. В этом у меня есть бесспорное предзнаменование. Я стану молиться, я стану страдать,—но умру. Есть некая тайна в этой судьбе. Только бы она не стала жертвой этого.

Я скоро приду к вам. Простите! Вам присуще делать добро, вы научите меня, как поступить. Возьмите остаток моей несчастной жизни. Я потерял голову. Владейте мной, как музыкальным инструментом, который она разбила, которым она пренебрегает, который ей надоел. Позвольте мне отдать мое состояние бедным, пошлите меня к дикарям, извлеките меня из этого места мук. Нет, вы не смягчите ее! Боже мой, что сделал я ей? Простите! Я еще увижу вас. Пожалейте меня, и пусть она пожалеет меня, если может.

Думается, что именно к этому времени надо отнести и с этим эпизодом связать то единственное письмо, вернее, записку г-жи Рекамье, которая сохранилась в крюденеровском архиве. По ходу дела здесь ей больше всего место. Выполнить обещание, которое Крюденер дала Констану, было не просто: легко было увидеться с Рекамье, но трудно было изменить ее отношение к Констану, хотя бы и в простейших вещах, о которых теперь шла речь. Никаких следов крюденеровского влияния на Рекамье обнаружить нельзя. Даже отдаленно не может быть сравнений с Констаном. В глазах парижского света он был уже не просто завсегдатаем ее салона, но ее адептом и, при случае, даже ее представителем; у него появились приемы, язык Крюденер, набор ее штампов; его сентябрьские письма к Рекамье пересыпаны выражениями, каких никогда раньше не было и не могло быть; если месяц назад он еще писал в традиционном

риторико-любовном стиле: «Вы—мое небо, вы—мой бог; когда небо закрывается, когда бог меня отвергает, я чувствую себя в аду», то в сентябре это сменяется благочестивыми формулами: «Я пойду к подножию этого креста, символа скорби и сострадания, которого лишены люди... я буду молиться, пока ужас не пройдет...»[200]. Но у Рекамье никаких успехов обращения или готовности к послушанию не отмечалось. Записка Рекамье говорит о специальной мере, которую применила Крюденер: она послала Жюльетте некоторые из тех писем, которые получила от Констана, и просила свидания в связи с ними; г-жа Рекамье ответила ей:

[Париж, сентябрь 1815 г.][201]

Я буду иметь удовольствие видеть вас завтра, ежели вам это угодно,— вы мне очень нужны и вы так добры! Посылаю вам письма нашего друга.

Примите выражение моего уважения.

Свидание состоялось назавтра; оно дало итоги, характерные для неуловимости г-жи Рекамье. С одной стороны, по дальнейшим письмам Констана к ней видно, что прошла еще целая неделя, прежде чем она разрешила ему повидать себя; она не торопилась с состраданием. С другой стороны, у Крюденер осталось впечатление, что эта душа для нее еще не совсем потеряна. Она убеждала Жюльетту, что лучшее средство успокоить Констана—это совместные молитвы, общее чтение душеполезных произведений. Так разыгрался очередной трагикомический эпизод с мистической рукописью, которую Крюденер прислала для целительного чтения Констана и Рекамье. Рукопись была направлена ему, чтобы передать ей: таков был ход. Бенжамен, разумеется, загорелся, запылал надеждой, стал добиваться свидания, просил назначить часы; рукопись заняла место и в его «Дневнике», и в трех письмах к Жюльетте[202], и в письме к Крюденер. Он немедленно извещает о чудодейственной посылке г-жу Рекамье: «... я видел вчера г-жу Крюденер, сначала среди посетителей, потом наедине в течение нескольких часов. Она произвела на меня впечатление, какого я еще не испытывал, а нынешним утром это еще увеличилось, в силу другого обстоятельства. Она прислала мне рукопись с просьбой сообщить ее вам и не отдавать никому другому. Я хотел бы прочесть ее вместе с вами. Мне она принесла благо; в ней нет чего-либо особо нового: то, что испытывают все сердца в счастии или в нужде, не может быть совершенно новым, но не раз она давала душе моей это ощущение... Мысль, что именно мне г-жа Крюденер прислала ее для вас, сама по себе тронула меня... Там есть истины совершенно обыденные, но они вдруг поразили меня. Когда я прочел следующие слова, в которых нет ничего особенного: «...как часто завидовал я тем, кто работает в поте лица своего, умножает труд трудом и идет в конце дня на ночлег, не подозревая, что человек носит в себе копи, которые ему надлежит разрабатывать! Тысячу раз я говорил себе: будь, как другие...»—я залился слезами. Воспоминания о жизни, такой опустошенной, такой бурной, которую я сам направлял на все подводные скалы с каким-то неистовством, меня охватили в такой степени, что я не смог бы описать...»

По цитате, приведенной Констаном, можно судить, каково было целое; нужно было либо очень проголодаться, чтобы находить в этом вкус, либо же не в достоинствах пищи тут было дело, а в совместной трапезе. Г-жа Рекамье так это и поняла. Она не отказывалась прочесть крюденеровское послание, но не желала производить это вдвоем; вернее, Балланш для

подобного чтения был для нее пригоднее Констана. Констан должен был удовлетвориться отсылкой рукописи и ждать итогов. В этих условиях они были уже наперед ясны. Он известил о них Крюденер следующим письмом:

(9)

[Париж, сентябрь 1815 г.][203]

Когда возвращаетесь вы, сударыня? Я сгораю от нетерпения вас повидать! Я знаю, что при вашей небесной доброте вы меня примете, как только сможете; я чуть было не сказал,—как только мне это будет необходимо; но это значило бы хватить через край, так как потребность в этом у меня постоянна; но не могу же я отнимать вас у всех других, испытывающих ту же потребность, что и я. Вы и так оказали мне бесконечное благодеяние. Три последних дня были если и не спокойными, то, по крайней мере, менее горестными по сравнению со всеми пережитыми за истекший год слишком. Я прочел то, что вы мне прислали, какой-то неведомый источник слез открылся, смягчил мне сердце и словно бы растворил давивший его камень. Я передал рукопись известной вам особе. Мне хотелось прочесть ее вместе с нею. Она пообещала, но потом уклонилась. Она прочла ее одна, и чтение произвело на нее впечатление. Только все эти впечатления мимолетны, а она сознательно стремится сделать их еще более мимолетными. Она боится углубиться в самоё себя, а в оправдание говорит, что заниматься собою—эгоизм. Дай бог, чтобы вы возымели на нее то благодетельное влияние, какое вы имеете на страждущие сердца.

Известите меня немедленно о своем возвращении. Мне необходимо с вами переговорить, мне нужна ваша неисчерпаемая доброта. Я чувствую, что стрела, впившаяся мне в сердце, удалена; но нанесенная ею рана остается открытой и все еще кровоточит.

Надолго ли остаетесь вы? Увы! Когда вы уедете, все мои мучения могут возобновиться. Меня успокаивает, меня смягчает только мысль, что увижу вас. Мое сердце сохнет и вновь беспрестанно замыкается в себе, вопреки моим желаниям. Только бы мне увидеть вас,—располагайте моей опустошенной душой, для которой вы одна находите нужные слова.

Б. К.

Адрес: Баронессе Крюденер.
Улица Фобур Сент-Оноре, № 35

Из письма явствует, что личные приемы у Крюденер были прерваны,— она уезжала на несколько дней. Видимо, это была та самая поездка в Шампань, которая явилась высшим проявлением почета, оказываемого Александром своей Эгерии: в императорском экипаже, сопровождаемая дочерью и зятем, она присутствовала на грандиозном смотре русской армии, который Александр демонстративно устроил на равнине Вертю 10 сентября 1815 г., перед подписанием договора о Священном союзе[204]. «...Обнажив голову,—живописует Сент-Бёв со слов очевидца,—иногда чуть прикрывая ее соломенною шляпкой, которую она охотно сбрасывала, разметав по плечам свешивающиеся, все еще золотистые волосы и изредка возвращая и прилаживая на середку лба локон,—в темном платье с длинной талией, еще элегантном от умения, с каким она его носила, и подпоясанном простой веревкой,—такой появлялась она в эту пору, такой явилась она с зари на эту равнину, такой, стоя, в минуту молитвы, предстала она, точно пустынник Петр, пред фронтом простершихся войск»[205].

РУССКИЕ В ПАРИЖЕ
Акварель Г. Опица, 1814 г.
Исторический музей, Москва

Это был зенит ее славы, но и начало ее конца. Парижское пребывание Александра быстро шло к финалу,—тем быстрее, чем отчетливее обозначалась неудача его политики. Он мог красоваться, как первый, среди четырех монархов-союзников, осуществлять на парадных церемониях замашки гегемона Священного союза, но уже не было тайной, что это лишь зрелище для зевак, что, по существу, царь изолирован, и как ни разнородны и порой взаимно-враждебны планы Англии, Австрии и Пруссии,—они все объединены в сопротивлении ему. Констан был в праве тревожиться тем, сколько еще времени Крюденер задержится в Париже; с отбытием Александра надо было ждать и ее отъезда. Но вопрос решался уже не количеством времени, какое могло быть у Крюденер для констановских дел,—она задержалась в Париже дольше своего императора,—это не оказало никакого влияния на исход эпизода. В ее арсенале не было больше средств влиять на Рекамье, да она и не собиралась продолжать с ней опытов. Дело было в самом Констане—в том, чтобы затянуть его раны и сохранить его при себе. После неудачи с мистической рукописью еще продолжается то, что Констан патетически именовал своей «агонией»—вспышки пробуждающихся надежд и новые припадки прострации. Крюденер успокаивает его привычным лекарством. В констановском «Дневнике» читаем: «Г-жа Крюденер дала мне написать молитву, которая заставила меня разрыдаться. Как благотворно на меня влияние этой женщины!..». Это написано следом за пометкой о той первой, магической, рукописи. Писание молитвы было, таким образом, способом разогнать меланхолию, в которой застала его Крюденер, вернувшись из поездки. Но вот продолжение той же записи: «...Я снова увиделся с Жюльеттой, умиротворенно и спокойно, но считаю ее весьма мало пригодной для

религиозных идей. Она растрачивает себя на мелкое кокетство, из которого сделала себе ремесло, и чувствует радость и печаль от томлений, которыми наделяет трех-четырех воздыхателей, томящихся вокруг нее. Затем она соглашается сделать какую-нибудь крупицу добра, если это только не требует от нее усилий, и превыше всего ставит мессу со вздохами, которые, как она думает, исходят у нее из души, а в действительности вызываются у нее лишь скукой»[206]. Казалось бы, после такой отчетливой характеристики нужно если не вовсе отступиться от Жюльетты, то хотя бы перестать привораживать ее крюденеровским знахарством. И, однако, текст упомянутой молитвы оказался в бумагах г-жи Рекамье. Значит, Констан все-таки передал его ей и даже настоял, чтобы она сама его переписала. Действительно, талисман сохранился не только в подлиннике, написанном констановской рукой,—видимо, под крюденеровскую «диктовку»,—но и в копии, сделанной почерком Рекамье[207]. Однако копия эта оборвана на полуфразе: у г-жи Рекамье, даже в минуту снисходительности и готовности к «крупице добра», нехватило терпения переписать весь лист!

Расхождения Крюденер и Рекамье и положение Констана между ними ощутительно отразились в двух его ближайших письмах. Он считает, что Крюденер недостаточно занимается его делом. Ему хочется, чтобы она не выпускала Жюльетту из под опеки. Таково его письмо к Крюденер накануне отъезда г-жи Рекамье во второй половине сентября в Сен-Жермен.

(10)

[Париж, сентябрь 1815 г.][208]

Не могу выразить вам, как грустно мне не видеть вас сегодня. Это эгоизм, ибо вы заняты лучшими делами или, по меньшей мере, столь же хорошими, и вы не можете делать добро лишь мне одному. Это также слабость, ибо душа моя должна бы... [нерзб.] и, памятуя о могуществе вашем, чувствовать его и еще пользоваться им. И, однако, это так, и я могу утешиться лишь письмом к вам. Я хотел было сначала поговорить с вами о вашем друге. Она ускользает от вас, к великому моему сожалению, именно в силу того ее свойства, которое должно было бы привязать ее к вам,—в силу мечтательности, которой способствует деревня и которая держит ее вдали от Парижа, принося ей, однако, много менее блага, нежели бы сделали ей вы. Я совсем теряю надежду видеть ее сердечно... [нерзб.] привязанной к тому, в чем все души испытывают потребность, а ее душа более любой другой. Я был бы в отчаянии, ежели бы она уехала, не повидав вас, а если она отдаст себя на волю ленивой своей мечтательности, как раз так и будет. Наконец, у меня было намерение сегодня, когда дружественность, которую она мне выказала, вернула мне силу подумать о вещах мало обычных, поговорить с вами уже не столько о себе, сколько посоветоваться с вами о тысяче вещей. Фаншетта сказала мне, что вы приглашаете меня вернуться к семи часам, но M-lle де [Лезэ][209] сказала, что сегодня вечером видеть вас будет нельзя. Неуверенность вынуждает меня отказаться от какого-либо визита сегодня. У меня всегдашнее искушение поставить это себе в большую заслугу, ибо это крупная жертва и истинная боль. Наконец, есть у меня другое беспокойство. Душа моя хмурится, так как страдает. M-lle де Лезэ встретила меня менее дружественно,—может быть, просто оттого, что она была с кем-то занята и я помешал ей; однако, мне пришло на мысль, что вам нагово-

рили дурного обо мне, а ваша доброта пожелала дать мне оправдание. О, предоставьте другим думать всё, что им угодно. Я ничего не прошу от них, но сохраните ко мне дружественность, которая мне так нужна. Итак, завтра я вас увижу в четыре часа. Я утешаюсь этой мыслью, чтобы не чувствовать тоски.

Он сам рвался в Сен-Жермен, бороться с опасностью, прервать отчуждение, усугубленное деревенской «мечтательностью». Получить согласие г-жи Рекамье на посещение было нелегко,—он всё же его добился. Г-жа Рекамье разрешила приехать, но потребовала совершенной дискретности. Однако, Констан уже не был себе хозяином. Тайн от крюденеровского круга у него больше не было. Он нарушил уговор—и пришел в панику. Он отказался от поездки и написал Крюденер жалкое письмо:

(11)

[Париж, сентябрь 1815 г.][210]

Единственный ангел-хранитель мой, единственный руководитель мой, единственная опора моя в этом мире,—простите, если пред тем, как сегодня увидеть вас, я все же заранее пишу вам. Вы несете тяжесть того добра, что делаете, и того, что хотите делать. Несчастные толпятся вокруг вас, не таясь и не сдерживая себя. Страдание сильнее, чем все нормы поведения, которым оно хотело бы себя подчинить. Я пишу вам, чтобы просить о трех вещах: одна—очень ребяческая и очень мелочная; две других—более важные, хотя, по существу, без ангельской вашей доброты, вы должны были бы счесть все три весьма малозначащими.

Так вот первая: не говорите о путешествии в Сен-Жермен, которое я было затеял; я не поеду, но мне важно, чтобы не знали, что у меня было такое намерение или возможность. У нее—особые капризы, а именно—чтобы не говорили о чем-либо касающемся ее, даже о самых безразличных вещах. Я получил разрешение поехать повидать ее лишь под условием молчать об этом. Вам же я рассказал, так как сердце мое открыто вам, как богу. Но это вызвало бы, если бы дошло до ее сведения, лишь новые удары в это столь израненное сердце, а дойти до нее это может известными мне путями, если только вы скажете об этом хоть кому-нибудь. Тысячу раз прошу прощения. Я улыбаюсь из жалости, из презрения к самому себе, когда пишу вам подобные вещи. Но я так исстрадался, мое сердце так разбито, агония делает меня таким слабым, таким малодушным! Вы простите меня. Вторая просьба важнее. Вы связаны и живете вместе с особой[211], которую я уважаю, ибо вы ее любите и она делит мысли ваши, но которая сочла нужным пожаловаться на ту, о ком сейчас идет речь. Знай она о том, что я испытываю, она, может быть, сочла бы это результатом того кокетства, о котором она нередко при случае говорила. Я никогда не мог бы примириться с тем, что стал причиной осуждения для той, кто причиняет мне столько зла, обычно не думая о нем. Она сама сочла бы меня источником нападок, которые стали бы ей ненавистны. Я ясно заметил, что уважаемая ваша дочь кое-что знает о том, что я испытываю, и даже как-то раз, сгоряча, я беседовал об этом с вами в ее присутствии. Умоляю вас приложить все усилия к тому, чтобы всё это не вышло наружу. Еще раз прошу простить меня, но лишней капли среди необычайных страданий, не покидающих меня, было бы достаточно, чтобы переполнить чашу. Наконец, третья моя просьба касается того, о чем

вы сами вчера говорили мне. Вы хотели разрушить неблагоприятные отклики, которые, казалось вам, несправедливо бьют по мне. О, не разрушайте их такой ценой! Пусть имя ее никогда не будет произнесено. Мнение людское мало заботит меня. Карьера моя в этом мире вполне потеряна. Она всему виной, но вина ее безвинна. С самого первого дня она разъяснила мне, как легок и зловещ ее характер. Она сделала всё, чтобы убить чрезмерность моего чувства. Не ее вина, если она убила меня самого. Она взялась за это с наилучшим намерением, как человек, который не вникает в то, какой удар наносит он преданному сердцу. В ее жестокости было незнание, а в ее усилиях—добрый умысел.

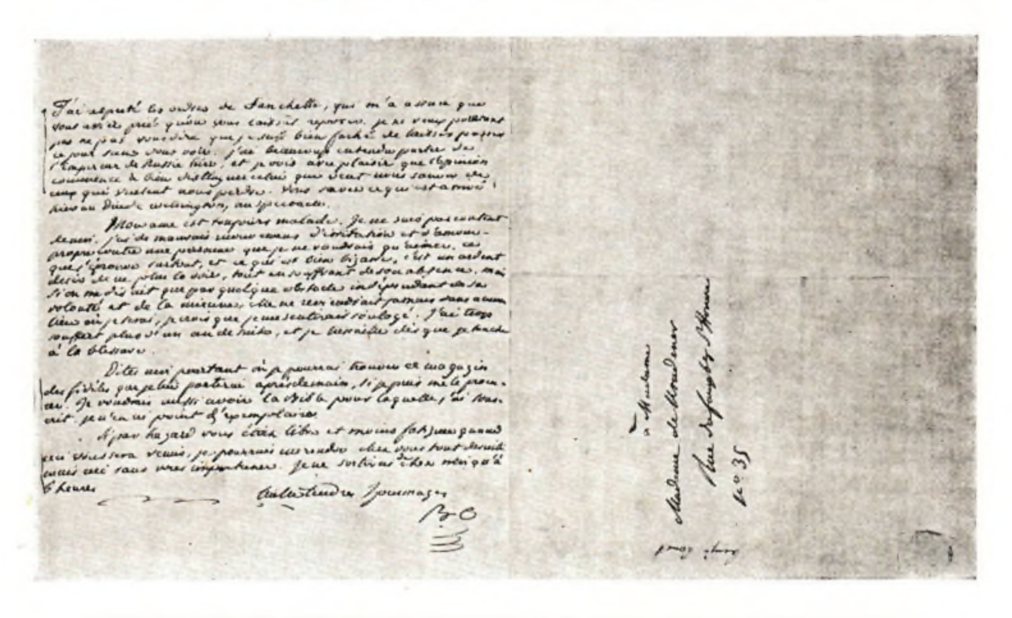
Неправда ли, вот больше, чем нужно, слов о вещах, за беседу о которых с вами я упрекаю себя. Есть, думается мне, известная профанация в том, чтобы возле вас не отдаться целиком тем воззрениям, какие вы внушаете всем умам с такой легкостью и силой. Я чувствую, что, ежели бы вы не должны были уехать, я ни в чем не отчаивался бы. Лишь ваш отъезд наводит на меня ужас. Клянусь, что когда последние три дня я ходил к вам без уверенности, что вы вернулись, я испытывал тот же страх, как отправляясь к ней в ... [нерзб.] и боясь не застать ее, что случается обычно. Не знаю отчего, но тайный голос вещает мне, что вы не уедете без того, чтобы не принести длительного блага.

Я испытываю от мысли, что вы пожелали уделить мне немного дружбы, давно уже неведомую душе моей сладость. Мне лучше, ибо вы в Париже. Мой рассудок яснее, сердце спокойнее. Я смотрю на ее отсутствие хладнокровнее, как на лекарство. Как видите, я преисполнен благоразумия и не хочу потакать своим слабостям. Господь поможет мне, если поможете вы. Итак, я сегодня увижу вас в четыре часа. Меня лихорадило всю ночь. Но по мере того, как приближается срок повидать вас, я чувствую себя лучше. Эта надежда возвращает мне силы, каких мне не давала даже возможность поездки в Сен-Жермен. Вы будете беседовать со мной о высоких вещах, а я постараюсь возможно менее отягощать вас своими злосчастиями.

Это значит, что и окружение Крюденер стало принимать активное участие в констановской истории и осуждало поведение Рекамье; вмешательство дочери Крюденер, г-жи Беркгейм, создавало также вмешательство самого Беркгейма, а это составляло уже крюденеровский штаб; он противостоял штабу Рекамье, откуда исходили те «неблагоприятные отклики» по адресу Констана, с которыми, как говорится в письме, Крюденер собиралась бороться. Вообще, все происшествие принимало излишне публичный характер, усугубляясь еще тем, что г-жа Рекамье сочла возможным встать в несколько вызывающую позицию по отношению к основному крюденеровскому делу,—и баронессе пришлось прибегать к содействию того же Констана, чтобы попытаться ввести Жюльетту в рамки. Появляясь на приемах у Крюденер, г-жа Рекамье перестала считаться с их молитвенной атмосферой. Она держала себя, как в обычном салоне, и производила на собравшихся обычное впечатление. Она делала вид, что не замечает соблазна, который сеет. Констан должен был ей сказать это. Он выполнил щекотливую миссию с дипломатическим и стилистическим блеском. Он написал Жюльетте знаменитые строчки, включенные Шатобрианом в «Замогильные записки»: это доказывает, что они тешили самолюбие Рекамье и что она решила дать им литературную вечность. Кон-

стан написал: «С некоторым замешательством выполняю поручение, данное мне г-жою Крюденер. Она вас умоляет во время приездов к ней быть настолько менее прекрасной, насколько это в ваших силах. Она говорит, что вы пленяете всех, что все души приходят в смятение и сосредоточенность становится безнадежной. Вы не можете сбросить присущее вам очарование, но не увеличивайте же его!..»[212].

Едва ли замешательство Констана было риторическим. Ему пришлось в неприятной истории выступить крюденеровским представителем; он понимал, что тому лагерю это станет известно и будет использовано. Он, в самом деле, стал в крюденеровском кругу чересчур своим. Он сопровождает Крюденер в поездках[213]. Он появляется в крюденеровских апартаментах по нескольку раз в день, без предуведомлений и приглашений,



АВТОГРАФ ПИСЬМА БЕНЖАМЕНА КОНСТАНА К Ю. КРЮДЕНЕР ОТ 3 ОКТЯБРЯ 1815 г.

Публичная библиотека, Ленинград

а когда возвращается из отъездов, извещает короткими, лишенными всех конвенансов записками, что приехал и будет тогда-то. Образец такой записки имеется в крюденеровском архиве; она типична для заключительной поры их отношений.

(12)

[Париж, сентябрь—октябрь 1815 г.][214]

Я приехал вчера слишком поздно, чтобы итти к вам, не рискуя совершить бестактность. Но я жажду вас видеть и, если только не получу от вас запрещения, явлюсь к вам в 1 час.

Б. К.

Адрес: Баронессе Крюденер.
Улица Фобур Сент-Оноре, № 35

Выходило ли это за пределы дружбы? Во всяком случае, это перестало быть только ею. Сент-Бёв счел возможным, говоря об увлечениях Констана, назвать рядом три имени. В этюде, посвященном теме, весьма да-

лекой от личных дел Констана,—его «Курсу конституционной политики»[215], среди общей характеристики писательской манеры Констана, в параллели с Шатобрианом, мимоходом, Сент-Бёв пишет: «Он был и человеком страстей, этот Бенжамен Констан, и человеком головных увлечений (госпожа де Сталь, госпожа Рекамье, госпожа де Крюденер)». В своих утверждениях Сент-Бёв образцово щепетилен; его био-библиографические полемики неизменно кончались победами; да он и застал еще в живых г-жу Рекамье и бывал у нее, так же как хорошо знал хранительницу ее рассказов и архивов—ее племянницу Ленорман. Думается, что в приведенной цитате есть отголосок их воспоминаний и пояснений. Текст Сент-Бёва и публикуемые письма говорят о большой близости Констана к Крюденер в конце ее парижского пребывания. После отъезда Александра I для самой Крюденер наступила полоса, когда она испытывала потребность в сочувствии и в верных людях,—император с собой ее не взял; окружающее уже говорило о начавшемся безразличии, если не о немилости; Крюденер нуждалась даже в деньгах, и это задерживало ее отъезд из Парижа[216], который был желателен со всех точек зрения. В таких условиях привязанность или дружба Констана не могла не согревать ее; во всяком случае, он был ей ближе, чем когда-либо. С другой стороны, для лагеря Рекамье,—а это значит и для всего парижского света,—Констан перешел границу светских отношений: как далеко, это было делом толкований недоброжелательства или защиты; само же по себе это не отрицалось и отрицаться не могло. Из всего этого явствовал вывод, что продолжать добиваться внимания Рекамье и не к чему, и невозможно. Крюденер поняла это раньше Констана. Письмо свидетельствует, что она остановилась прежде, нежели он; он же еще некоторое время, по инерции, метался, жаловался и понукал охладевшую энергию Крюденер. Что «ускользающую душу» уже не поймать, представлялось ясным и ему; но он был бы не самим собой, если бы оказался способным сразу поставить точку. Ему понадобился на это еще месяц; очередное письмо открывает собой последнюю, октябрьскую группу его посланий к Крюденер в канун ее отъезда из Парижа.

(13)

[Париж, 3 октября 1815 г.][217]

Я подчинился настояниям Фаншетты, которая уверила меня, что вы просили дать вам отдохнуть. Но мне все-таки хочется сказать вам, что я огорчен необходимостью провести день, не повидав вас. Вчера было много разговоров о русском императоре, и я с удовольствием вижу, что общественное мнение начинает ясно различать, кто хочет нас спасти и кто хочет погубить. Вы знаете и о том, что случилось с герцогом Веллингтоном вчера во время спектакля.

Моя душа попрежнему больна. Я недоволен собой. Я испытываю нехорошее чувство обиды в отношении особы, которую мне хотелось бы только любить. В особенности же (и это весьма странно), во мне сильно желание больше не видеть ее, и, вместе с тем, я страдаю от разлуки с ней. Но если бы мне сказали, что в силу какого-нибудь препятствия, не зависящего ни от ее, ни от моей воли, мы с нею никогда больше не встретимся, мне кажется, я почувствовал бы облегчение. Я слишком сильно страдаю вот уже год с лишним, и каждое прикосновение к ране заставляет меня содрогаться.

Скажите мне всё же, где смогу я найти «Журнал для Верных» («Magazine des Fidèles»), который я отнес бы ей послезавтра, если мне удастся его раздобыть. Мне хотелось бы также получить библию, на которую я подписался. Я не получил своего экземпляра.

Если случайно вы не будете заняты и очень утомлены, когда вам передадут это письмо, я мог бы прибыть к вам тотчас же. Но только при условии, что это вас не затруднит. Я буду дома до 6 часов. Тысячу нежных приветов.

Б. К.

Адрес: Госпоже Крюденер.
Улица Фобур Сент-Оноре, № 35

Появление политических новостей в письме—необычно; этого не было со времени первых встреч, когда Констан препровождал орлеанскую речь Шатобриана. Это можно считать симптомом изменений—того, что Крюденер даже перед Бенжаменом не скрывала утомления историей с Рекамье и выказывала больше интереса к текущим событиям. Это было тем естественнее, что отъезд царя произошел всего десять дней назад и крюденеровский кружок еще был взволнован самим событием и его следствиями. То, что сообщал Констан, долженствовало пролить немного елея на раны: как настоящий крюденеровский парижанин, как француз александровской ориентации, Констан связывал свист, которым встретили герцога Веллингтона в театре «Favar» на представлении оперы «Семирамида», с разговорами парижского бомонда—видимо, на том же спектакле—о дружественности Александра к французским интересам, в противоположность английской политике. Но как и в свое время, когда он препровождал шатобриановскую речь, эти новости были лишь присказкой, мости-

РУССКИЕ В ПАРИЖЕ
Акварель Г. Опица, 1814 г.
Исторический музей, Москва

ком перехода к более важному и привычному делу. Его просьба о библии и новой мистической рукописи, которую он намеревается нести к Рекамье, любопытна. Это значит, что он пытается заполнить брешь собственными усилиями и по своей инициативе продолжает применять к Жюльетте старую крюденеровскую рецептуру,—как будто это могло чему-либо помочь, а не являлось доказательством бесповоротности надвинувшегося конца. Его большое жалобное послание, за которым идет уже лишь несколько коротких писем перед самым крюденеровским отъездом, в сущности, подводит эти итоги, только без прямоты и без решимости смотреть правде в глаза.

(14)

[Париж, октябрь 1815 г.][218]

Я не буду у вас сегодня утром, дорогой и бесценный друг. Грустные ваши сборы к отъезду и ваша поездка в деревню заполнят у вас утро; но я хочу вам написать, чтобы поблагодарить за то, что сегодня впервые, чуть ли не за 14 месяцев, я проснулся без боли и не почувствовал, через несколько минут по пробуждении, привычного ощущения давящей грудь тяжести, не покидавшего меня затем в течение всего дня. Благодарю вас, благодарю бога, вас направляющего и дающего вам возможность проникать во все сердца. Вы сделали мне больше добра, нежели я в силах высказать. Вы не ограничились тем, что разъяснили особе, которая невольно причинила мне столько зла, как трогательно чувство, которое я к ней питаю и которое она принимала за знаки мимолетного внимания, обычно оказываемого ей, тогда как в нем есть нечто удивительно глубокое и чистое; вы показали ей также, что страдание имеет право предъявлять известные требования к доброте, и этим как бы вновь открыли мне двери неба. Для того, чтобы я стал добрым и верующим, сверхестественная сила заставила меня прибегнуть к вашему посредничеству. Та, о ком идет речь, сама вам подтвердит, что с первых же дней я умолял ее позволить мне принимать участие в ее делах благотворения. Я предоставлял в ее распоряжение те немногие хорошие качества, которыми обладаю; ее очарование и неизъяснимая прелесть, превращающая ее в источник всех моих ощущений, вызвали в моей душе стремление стать лучше; тем ужаснее было чувствовать себя отвергнутым. Мне казалось, что сам господь отказывался принять ту малую долю добра, которую я хотел принести, и молитва, единственное мое прибежище, не давалась мне, ибо я думал, что небо от меня отступилось.

Боже, как я страдал и как она меня недооценивала! Да воздастся вам должное! Вы не только смягчили мои страдания, вы спасли мою душу. Нынешнюю ночь я провел, вознося благодарность небу, которое открылось мне вновь, и впервые с тех пор, как мной владеет это необъяснимое чувство, если только не видеть в нем воли сверхчеловеческой, я взглянул на жизнь без ужаса.

Я еще помню те минуты, когда хотел покинуть жизнь, ставшую столь жестокой. Клянусь вам, пока мое внимание оставалось сосредоточенным на этих помыслах о смерти, я не страдал; но как только я чувствовал свою решимость несколько поколебленной, при одной мысли опять вернуться к этим страданиям, которые я могу сравнить лишь с муками ада, со мной делались судороги.

Я вовсе не хочу вас пугать. Возможно, что даже в том случае, если я опять впаду в эту ужасную, томительную тоску, я из щепетильности

или слабости никогда не приведу в исполнение намерение, которое вы не одобряете. Но если бы я и решился остаться жить, было бы всё же злом держать человека в состоянии непрерывной пытки, разрушить его счастие, уничтожить его разум, его способности, которые могли бы еще пригодиться. Вы знаете меня лучше, чем я сам. Я готов лишиться того спокойствия, которое я так недавно обрел, если у меня найдется хоть одна мысль, хоть одно чувство, кроме той безграничной преданности, той потребности в душевной близости, привязанности и молитве, которые отныне необходимы для моего существования.

Но я дрожу при мысли о вашем отъезде. Я подобен тому несчастному невольнику, хозяина которого миссионеру удалось смягчить и который боится, что с утратой этого ангела-хранителя на сцену вновь появятся кнут и цепи, которыми он еще весь изранен. О, постарайтесь, чтобы она лучше меня узнала! Все мои достоинства в ней. Возможно, что если бы она пожелала ими воспользоваться, у меня нашлось бы очень много хороших качеств. Но я лишаюсь всего, небо для меня закрывается, и сердце мое становится раскаленным камнем, когда она хочет меня оттолкнуть. Если бы она стала теперь плохо относиться ко мне, это явилось бы новым несчастием для меня. Под влиянием ее доброты я начал убеждаться в том, в чем так страстно желаю убедиться. В том, что она смягчилась, я увидел действие ваших и моих молитв и влияние того таинственного и величественного имени, которое я хотел бы произносить с такой же горячей верой, как вы. И нельзя не признать чудом, что после тринадцати месяцев непреклонности, которую не могли тронуть никакие слезы, ее дружба излила бальзам на мои раны как раз тогда, когда вы стали молиться за меня. О, сохраните мне это благодеяние, быть может, это будет благом и для нее. Возможно, что она пожелает иметь кого-либо, с кем она могла бы говорить о тех мыслях, которые ее привлекают и должны завладеть ею. Она сможет сделать со мной всё, что захочет, и небо наделило меня некоторыми способностями для того, чтобы помочь ей окончательно стать на тот путь, от которого ее всё еще удерживают сомнения. Я чувствую себя порой таким добрым, таким любящим, и тогда мысль о том, что я не в силах дольше жить, вызывает у меня жалость к себе, словно к постороннему.

Извините меня за странное приложение к настоящему письму. Я дал обет богу за каждое его благодеяние оказывать, со своей стороны, помощь бедным, и всякий раз, когда я вновь обретаю способность дышать, чужая скорбь приходит мне на память. Вы сетовали, что невозможно приходить на помощь всем, кто страдает. То, что я посылаю вам сейчас,—это очень мало, но малое может оказаться большим для несчастного, у которого ничего нет. Отдайте эту скромную сумму какому-нибудь бедняку, и пусть он молится за вас, за нее и за меня.

Я непременно увижу вас сегодня вечером.

По существу, это значило настаивать на том, чтобы Крюденер пренебрегла и предотъездными заботами и явным нежеланием что-либо еще предпринимать с констановским делом. Между тем, у нее оставались считанные дни, и, кроме того, после понесенного краха и перед тем, как пуститься в новое неопределенное плавание по жизни[219], ей захотелось передохнуть несколько дней наедине, в деревне. Констан не мог этого не понимать, но считал себя в праве требовать от Крюденер жертвы. Он решился на упреки, на полуссору. Он написал ей даже слегка раздраженное письмо:

(15)

[Париж, октябрь 1815 г.][220]

Ваш отъезд меня так огорчает, что я не могу воздержаться, чтобы еще раз не поговорить с вами по поводу него, не для того, чтобы отговорить вас, ибо я понимаю, что решение зависит всецело от ваших дел, но чтобы спросить вас, почему хотите вы отнять у нас эти несколько несчастных дней и уехать в деревню вместо того, чтобы остаться в Париже, пока все приготовления к отъезду не будут сделаны и закончены?

Вы сможете, если пожелаете, провести эти дни здесь в полном уединении, но я уверен, что всякий лишний разговор, который будет у вас с нашим другом, принесет ей неизмеримое благо. Простите мне мою настойчивость. Вы уже знаете мой характер, восприимчивый к страданиям, страстный, всегда увлеченный одной какой-нибудь мыслью, которая вследствие своей напряженности становится болезненной. Я считаю, однако, что заслуживаю снисхождения, так как меня побуждает быть настойчивым и вера в вашу проникновенную и нежную власть, и память о том, что вы уже дважды принесли мне успокоение, и опасение, что с вашим отъездом вернутся мои страдания. Подумайте о том, что каждая лишняя беседа с вами будет благодетельной для души, более чистой, более драгоценной, чем моя. Всё служит предзнаменованием в этом мире. Я [вынужден] сказать вам всё, что чувствую, потому что и я, я тоже являюсь предзнаменованием.

До завтра в 1 час. Я успокаиваюсь на мысли, что увижу вас еще раз,— эта мысль необходима мне, чтобы свободно дышать.

Слова о «предзнаменованиях» являются попыткой ученика побить учительницу ее же оружием. Но Крюденер было не до ученических турниров и не до отступления перед констановскими укорами. Она уехала и вернулась лишь к самому отъезду. Он встретил ее короткой запиской:

(16)

[Париж, октябрь 1815 г.][221]

Вы вернулись! Я так вас ждал, что испытываю некоторого рода робость, намереваясь высказать вам мою потребность видеть вас. Мне кажется, что столь сильное желание, даже когда оно ни в чем не проявляется, должно показаться назойливым. Тем не менее, я позволю себе обратиться к вам с просьбой. Я должен выйти из дома на час-другой, возвращусь до полудня, и весь мой день, за исключением обеденного часа, так как я приглашен на обед,—в полном вашем распоряжении с 12 до 4 и после 8 вечера. Я очень грустил после вашего отъезда, тем не менее, я испытываю еще последствия того добра, которое вы мне сделали. Но мне необходимо еще раз испытать его. Рассчитываю на ответ и на вашу ангельскую доброту. Простите за форму этой записки. Все обращения, которыми я обычно пользуюсь при сношениях с другими людьми, кажутся мне неподходящими для вас. Шлю вам тысячу нежных приветов и благодарностей.

Б. Констан

Адрес: Баронессе Крюденер.
Улица Фобур Сент-Оноре, № 35

Констан еще видел Крюденер, но уже редко. Она прекратила приемы, доступ стал исключением. Констан просил г-жу Рекамье повидать отъезжающую. Ему было обещано оказать при прощальном свидании всё мыслимое

воздействие на Жюльетту. Он хотел быть при этом. Он писал Рекамье: «Г-жа Крюденер уезжает не тотчас же, судя по тому, что́ ее люди сказали мне, так как сегодня утром я не смог ее повидать. Я склонен отчасти думать, что желание увидеться с вами заставляет ее отложить отъезд на несколько дней, ибо мне сдается, что она очень любит вас, и это, разумеется, более чем

ЮЛИЯ КРЮДЕНЕР В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ
Литография с рисунка Ж.-Р. Лудерица
На листе помета неизвестной рукой с биографическими данными о Крюденер
Музей изобразительных искусств, Москва

естественно. Сообщаю вам об этом, дабы вы не причинили ей неприятности, не побывав у нее»[222].—Можно сказать, до ребячества прозрачная стратегия! Ему самому понадобилось уже совсем немного времени, чтобы теперь подвести настоящие и жесткие итоги. Его последнее письмо к Крюденер таково:

(17)

[Париж, октябрь 1815 г.][223]

Вы догадываетесь, конечно, дорогой и бесценный друг, что я очень грущу, ибо не вижу вас. Однако, пусть это не тревожит вашей ангель-

ской доброты. Ваш нежный голос вселил в мою душу покорность судьбе, которая если и не успокаивает моей печали, то предохраняет меня от всякого чувства протеста. Чего, однако, я не в силах видеть без содрогания, это возобновления прежнего образа жизни, который я вел год слишком. Мне нестерпимо ее невнимание или нежелание встречаться со мной, эти размеренные речи, это подавление меня на каждом шагу и вечно готовое объяснение для каждой мелочи, тогда как нужно лишь немного доброты, чтобы всегда найти для меня какие-нибудь несчастные четверть часа. Я предпочитаю уйти в себя и отдаться той тупой грусти, которая стала моим естественным состоянием в те минуты, когда мои страдания не так уж велики. Впрочем, мне совестно утомлять собой ваше неиссякаемое терпение. Раз вы не уезжаете сегодня, я буду завтра просить вашей поддержки, властной и действенной во всем том, что выше этого печального мира. Ваш скорый отъезд увеличивает мое уныние. Тем не менее, вы сделали мне много добра, и я за него благословляю вас и надеюсь его сохранить.

Адрес: Баронессе Крюденер.
Улица Фобур Сент-Оноре, № 35

В крюденеровском архиве больше писем Констана нет. Крюденер уехала 22 октября 1815 г., взяв путь на Швейцарию. Оборвался ли с ее отъездом их интерес друг к другу, или не все документы еще дошли до нас? Вернее—последнее; остались следы писем, которых мы не знаем или знаем кусочками, да сохранилось одно целое письмо Крюденер к Констану. Все это—отклики по горячему следу, вскоре после разлуки; а дальше—пустота. Крюденеровское письмо к Констану—вообще единственное из всех пока обнаруженных ее посланий к нему. Оно полностью не опубликовывалось, но и сейчас воспроизводить его целиком нет нужды. Оно занимательно лишь типически; достаточно дать несколько характерных отрывков. Оно составлено сплошь из длинных, скороговоркой сказанных, проповеднических назиданий, замкнутых небольшой концовкой житейского порядка. Оно было отправлено из Берна, спустя десять дней после отъезда из Парижа, 4 ноября 1815 г. Крюденер призывает на «дорогого Бенжамена... милость того, в ком столько раз познавала» она «неисчерпаемое милосердие и кто желает лишь спасать и благословлять»; далее следует заявление, что она знает, как «чужд» стал Бенжамен «всем политическим движениям и как мало они занимают» его, «познавшего ничтожество людских умозрений перед истинным счастием и тщету всех человеческих затей»; надо лишь уверовать: «веруйте же, дорогой Бенжамен... каждодневно, в простоте сердечной, приникайте к источнику благости бога живого», и т. п. Концовка письма такова: «Сообщите мне, как ваши дела,—говорите откровенно обо всем, в том числе и том, что вас мучит и занимает. Что нового у нашей приятельницы? Здорова ли она? Передали ли вы ей то письмецо, которое я послала вам? Успокоились ли вы немного? Беседуете ли друг с другом? Прошу вас узнать, виделась ли она с кюре К. Я хотела бы, чтобы вы посетили его, дабы с открытым сердцем поговорить с ним и получить от этого почтенного человека полезные наставления. Были ли у вас известия от вашей жены, и вообще что вы поделываете? То лицо, которое передаст вам это письмо, сообщит вам мой адрес»[224]. Через месяц после

отъезда Крюденер, в конце ноября, Констан писал из Брюсселя г-же Рекамье: «Так как вы не пишете мне, то приходится послать вам прилагаемое при сем письмо, которое г-жа Крюденер прислала мне для вас...». А в публикациях г-жи Ленорман находим следующий отрывок крюденеровского письма из Берна к Рекамье, датированного 12 ноября 1815 г.: «Что с этим бедным Бенжаменом? Покидая Париж, я написала ему несколько строк и послала ему несколько слов для вас, дорогой друг. Получили ли вы их? Каково его самочувствие? Проявите побольше милосердия к больному, который заслуживает жалости, и молитесь за него...»[225]. В письме, шедшем через Констана, видимо, был смягченный вариант того же рода. Наконец, на одной из парижских распродаж автографов мелькнуло еще одно письмо Крюденер к Рекамье, со строчками такого рода о Бенжамене: «...Я вернула его к благоразумию,—я сказала ему, что знаю о вашем желании понемногу избавиться от всего, что тяготит вас, и я предложила ему не мучить вас больше бурным чувством»[226]. Нуждался ли еще «бедный Бенжамен» в этих последних заботах Крюденер? Если и нуждался, то недолго. Об этом говорят заключительные записи его «Дневника» 1815 г., которыми он, так сказать, проводил обеих женщин. Вот проводы одной: «Г-жа Крюденер покинула Париж. Эта превосходная и добрая женщина оставляет мне наилучшие воспоминания по себе. Я работаю довольно хорошо. Я кончаю свою политическую брошюру...». Вот проводы другой: «... Сколько почестей оказывают мне в известных политических кругах,—а я потерял время на то, чтобы быть игрушкой презренной женщины!»[227].

Это слишком горячо, чтобы быть концом отношений. Эпилог, действительно, проще и серее. Констан еще время от времени писал Рекамье, она ему почти не отвечала; потом на целых пять лет переписка оборвалась вовсе; а в 1823 г., спустя восемь лет после крюденеровского посредничества, когда г-жа Рекамье была уже официальной подругой Шатобриана, а Шатобриан был, наконец, министром,—Бенжамен Констан, привлеченный к суду по журнальным делам и нуждавшийся в протекции, чтобы избежать наказания, счел возможным получить шатобриановское заступничество из рук Рекамье, а после процесса разукрасить благодарственное послание риторикой о своей былой любви: вот на что теперь пригодилась она. «Вы уже знаете, сударыня,—писал он,—об исходе судебного заседания. Я счастлив приписать вам всё хорошее, что случилось, и счастлив положить к ногам вашим почтительную мою благодарность. Вы принудили меня когда-то свести к этому мое чувство, и я вкладываю в него всё то, что вы не пожелали терпеть в ином виде...»[228].

Но и он, в свой черед, пригодился Рекамье: когда в середине 30-х годов она приступила к организации своей посмертной славы и Шатобриан стал переделывать «Mémoires d'Outre-Tombe», чтобы уделить ей особую книгу, Жюльетта пожелала голосом Бенжамена Констана воздать себе главную хвалу: его письма, его записки, сверкающие комплиментами, биографический портрет с нее, написанный его рукою,—всё было ею самою подобрано и передано Шатобриану для инкрустирования; и Шатобриан подчинился желанию подруги, хоть и не лишил себя удовлетворения окружить констановские тексты высокомерными строчками, варьировавшими классическую тему о «бесплодных усилиях любви».

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРИМЕЧАНИЯХ

Barine .... Arvède Barine, Bernardin de Saint-Pierre, 1891.

Chateaubriand, M. d'O. T. ... Chateaubriand, Mémoires d'Outre-Tombe. Nouvelle édition, avec une introduction, des notes et des appendices par Edmond Biré, tt. I—VI. P. Garnier frères.

Constant, Journal .... Benjamin Constant, Journal intime, 1804—1816; nouvelle édition par Paul Réval, 1928.

Constant, Lettres .... Benjamin Constant, Lettres de Benjamin Constant à Madame Récamier. 1807—1830. Publiées par l'auteur des «Souvenirs de M-me Récamier», 1882.

Eynard .... Charles Eynard, Vie de Madame de Krudener, 1849, tt. I—II.

Gautier .... Paul Gautier, Madame de Staël et Napoléon, 1903.

Herriot .... Edouard Herriot, Madame Récamier et ses amis, 1934.

Monglond .... A. Monglond, Histoire intérieure du préromantisme français, 1929, tt. I—II.

Souriau .... Maurice Souriau, Bernardin de Saint-Pierre d'après ses manuscrits, 1905.

Trahard .... Pierre Trahard, Les maîtres de la sensibilité française au XVIII[e] siècle, 1933, t. IV.

Willson .... R. Mac Nair Willson, Madame de Staël et ses amis, 1934.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Abel Hermant, Madame de Krudener, l'amie du tzar Alexandre I, 1934, 8.

[2] А. Н. Пыпин, Г-жа Крюднер — статьи в «Вестнике Европы», 1869, кн. 8 (август) и 9 (сентябрь).

[3] В. Надлер, Имп. Александр I и идея Священного союза, 1892, V, 308—338, 472, 610—629; Н. Шильдер, Имп. Александр I. Его жизнь и царствование, 1904—1905, III, 321—328, 339, 344, 400—401; IV, 233—235, 290.

[4] Несмотря на капитальное значение труда Ch. Eynard не только для характеристики Юлии Крюденер, но и целого ряда исторических лиц, соприкасавшихся с ней, до сих пор оставался невыясненным вопрос, какими материалами пользовался Шарль Эйнар при составлении своего двухтомника — от кого получал сведения, документы и редакторские указания. Советские архивы впервые дают возможность осветить работу Эйнара безусловными данными, на основании первоисточников, исходящих от него самого. В Институте литературы Академии наук, среди бумаг архива Р. С. Стурдзы-Эдлинг, находится ряд писем Ш. Эйнара, обращенных к графине Эдлинг (о ней см. гл. III данной работы, и особенно нашу публикацию: «Ж. де Местр и Сент-Бёв в письмах к Р. Стурдзе-Эдлинг» в этом же томе) и в значительной мере посвященных вопросам собирания материалов для двухтомника. Письма относятся к периоду от ноября 1839 г. до декабря 1843 г. Из них явствует, что, прежде всего, на помощь автору пришла сама Эдлинг, как личными беседами, так и предоставлением переписки и своих неопубликованных мемуаров и других заметок; далее, по ее указаниям или при ее содействии, Эйнар вошел в сношения со знакомыми и, особенно, с ближайшими, еще живыми, соратниками Крюденер—от дочери, Жюльетты Беркгейм, и пастора Эмпейтаза, до многолетней камеристки, Фаншетты, бывшей не только слугой, но и доверенным лицом. Вот основные упоминания об этом собирании материалов в письмах Эйнара к Эдлинг: «Глубокое впечатление, оставшееся у меня от ваших «Мемуаров», не может быть ложным. Так вспоминать можно лишь о том, что подлинно видел; вот и я видел то, что видели вы, — и я был там, где были вы, — и, сказал бы я, — пережил то, что вы пережили. Да и эта добрая госпожа Крюденер странно выросла в моем уважении с тех пор, как мне известны ее суждения о вас... Всё, что вы пишете, слишком коротко. Это подлинный недостаток, и я трепещу, как бы то же самое не оказалось в ваших письмах» (письмо от 18/XI—1839). В следующем письме Эйнар спрашивает: «... Не думаете ли вы, что можно кое-что пред-

принять для получения документов, находящихся в распоряжении г. де Жерандо, г. Эме Мартена, супруги Бенжамена Констана, г-жи Рекамье, может быть, г. Шатобриана и многих других выдающихся лиц? Не обратиться ли мне непосредственно к г-же Ошандо [падчерице Крюденер], дабы заручиться ее содействием? Я ничего не предприму без ваших советов» (письмо от 7/XII—1839); «... я видел после вас Фаншетту, которая поистине заинтересовала меня своим простым благочестием и такой точной, такой обстоятельной памятью о целой массе дат, которых я нигде не мог бы раздобыть...»; «... я еще не видел Эмпейтаза...» (там же). Очередное письмо упоминает о трудностях «получить от лиц, мною вам названных, сообщения, которых не желают делать без санкции г-жи Беркгейм [дочери Крюденер],—такой ответ, по крайней мере, получил [Сент-Бёв], когда он сам писал свою работу о г-же Крюденер. Вы встречаете, конечно, г. де Жерандо... Не могли ли бы вы при случае замолвить ему словечко о моих проектах?.. Чета Эмпейтаз присоединяет свои благопожелания...» (письмо от 23/XII—1839). Начало следующего года свидетельствует уже о ряде успехов в собирании материалов: «Благодарю вас за всё то, что вы пожелали собрать для меня. Я хорошо знал, что достаточно было вашей просьбы, чтобы она была исполнена, и я отнюдь не потерял надежды получить в один прекрасный день и письма от г. де Жерандо» (письмо от 7/I—1840). Однако, есть и неодолимое сопротивление: «... Я не изумлен бесчувствием, проявленным г. Шатобрианом в отношении г-жи Крюденер; будь у него к ней хоть малейшее чувство, я думаю, он сохранил бы письма, которые она ему писала в 1815 г., чтобы обратить его на путь истинный» (там же). Зато г-жа Ошандо и г-жа Рекамье решились, наконец, внести свою лепту: «... г-жа Ошандо, у которой были большие предубеждения против моих планов, высказала их недавно г. Эмпейтазу. Я поспешил написать ей и изложить мои намерения. Она только-что ответила мне восхитительным письмом; она так рада, что обещает поработать для меня и собрать свои воспоминания о ранних и последних годах жизни г-жи Крюденер... Г-н Эмпейтаз решился выпустить второе издание своей «Заметки об имп. Александре», в исправленном и дополненном виде» (письмо от 18/II—1840). «Я отправил отсюда ваше письмо к г-же Рекамье, прося ее согласия на мое первое путешествие. Это первое путешествие я предприму только с вами, когда вы приедете или будете в Париже...» (письмо от 20/VI—1841). Сама Эдлинг стала готовить для Эйнара свою переписку с Крюденер: «Я очень признателен вам за то, что вы начали делать для меня копии с писем г-жи К[рюденер]. Они вызовут у меня живейший интерес. Мне будет казаться, что я веду о вас беседу с г-жой Крюденер... Обещаю вам, что вычеркну всё, что вы обозначите, как не подлежащее использованию в моем труде, но все эти подробности для меня лично будут драгоценны. Я собрал в Париже обильную жатву документов и интересных автографов. Корев (Koreff), с которым я, по вашим советам, много общался, тоже обещал мне кое-что» (там же). Наконец, в двух письмах конца 1841 г. упоминается о некоей парижской модистке, обладательнице крюденеровских материалов: «Как жаль, что вы не сообщили мне имя этой модистки, я бы поставил на ноги всю парижскую полицию, чтобы получить от нее драгоценную пачку» (письмо от 26/X—1841)—и об усилиях кн. Элима Мещерского добыть у священника Каченовского некую крюденеровскую рукопись: «Он делает бесплодные усилия получить ее у этого ужасного попа Каченовского, но напрасно» (там же); однако, настояния кн. Элима все же окончились успешно: «После невероятных трудов священник Каченовский одолжил, наконец, свой экземпляр кн. Э. Мещерскому. Какая радость для меня самолично ознакомиться с этим сокровищем!» (письмо от 30/X—1841).

[5] Этот первый этюд: «Madame de Krudener», появился в июльском номере «Revue des Deux Mondes» 1837 г. и был перепечатан в октябре в виде вступления к первому переизданию «Валерии» в 1837 г. Этюд вошел в состав «Portraits de femmes». Курс в Лозанне, посвященный «Port-Royal», Сент-Бёв начал в ноябре того же года, но уже с середины 1836 г. вел систематическую подготовку к лекциям (см. Sainte-Beuve, Correspondance Générale, под ред. Jean Bonnerot, 1936, II, письма №№ 542, 558, 591 сл.).

Вторая статья Сент-Бёва о Крюденер, вошедшая затем в «Derniers portraits littéraires», была написана в 1849 г., в связи с появлением в том же году двухтомника Ш. Эйнара. Сент-Бёв воспользовался возражениями Эйнара, считавшего недостаточно почтительным к Крюденер даже его первый этюд, написанный Сент-Бёвом с подчеркнутой благожелательностью, чтобы в этой новой статье резко пересмотреть и по существу и по форме свои предыдущие высказывания о Крюденер. См. также письмо Сент-Бёва к Ш. Эйнару.—Sainte-Beuve, Nouvelle correspondance, P., 1880, 116.

[6] Jacob Bibliophile, Madame de Krudener. Ses lettres et ses ouvrages inédites, P., 1880.

[7] Во французской литературе память о «Валерии» держится, в сущности, только полемикой современников, типа полемики Бональда—Бенжамена Констана (см. прим. 75-е и 227-е), и, главным образом, двумя указанными выше статьями Сент-Бёва, занимавшимися «Валерией» тоже лишь мимоходом, в связи с биографией Крюденер. По правилу, историки французской литературы умалчивают о «Валерии»; ее обходят не только старики Villemain и Nisard, что естественно, при их академических тенденциях, но и исследователи конца XIX в., как доктринеры, так и эклектики: Brunetière, Lanson, Petit-de-Julleville, Le Breton, Mornet и т. д., вплоть до компендиумов текущих лет в работах Hazard et Bédier (есть только библиографическая справка), Calvet или Albert Thibaudet; молчат о «Валерии» также новейшие специальные труды, посвященные французскому сентиментализму и преромантизму (A. Monglond, P. Trahard). Это объясняется тем, что «Валерия»—одиночка и ее автор не принимал дальнейшего участия во французской беллетристике, политическая же судьба Крюденер совершенно заслонила ее литературное детище. В этом смысле знаменательно, что и в русской литературе единственный отклик—упоминание Пушкина—сделан мимоходом в «Евгении Онегине» (гл. III), в связи с читательскими вкусами 1810-х годов к героям чувствительных романов: в 1827 г., когда издавалась III глава «Онегина», уже надо было, как и в отношении других таких же старых произведений, давать читателям пояснения, что и сделал Пушкин в примечании: «Густав де Линар, герой прелестной повести баронессы Крюденер».

[8] Souriau, VII: «Эме Мартен..., женившийся на вдове своего учителя, удобно расположился в творчестве Бернардена, словно в полученном наследстве». См. также XX—XXI: «Корреспонденция (4 тома изд. Ladvocat, 1826) была опубликована с такой антинаучной небрежностью, что предпочтительно не пользоваться этими документами». Ср. Trahard, 71.

[9] Trahard, 82: «...единственно надежные документы—те, которые опубликованы M. Souriau [op. cit.], Ruinat de Gournier [«Amour de philosophe: B. de Saint-Pierre et Félicité Didot», P., 1905] и Largemein [«Lettres de B. de Saint-Pierre à Désirée de Pelleporc».—«Revue d'Histoire littéraire de la France», P., X, 1903, и XII, 1905].

[10] A. Hermant, op. cit., 79.

[11] Б. де Сен-Пьер пишет: «Это произведение, благодарение богу, нравится женщинам, и я издал его в 1789 г. маленьким форматом в 18°, дабы они могли класть его в карман».—Souriau, 243.

[12] Monglond, 99, 104.

[13] Ibid., 107.

[14] Ibid., 72.

[15] Barine, 159: «...Повесть о Поле и Виргинии находилась под изголовьем главнокомандующего, как Гомер под изголовьем Александра...».

[16] Ibid., 159.

[17] Trahard, 130.

[18] Barine, 159.

[19] Souriau, 243.

[20] Ibid., 260.

[21] Monglond, II, 430; Souriau, 218.

[22] Ср. Николай Тургенев, La Russie et les Russes (русский перевод, М., 1915, ч. III, 342), где рассказывается об отношении Карамзина к Робеспьеру, а также статью Карамзина «Un mot sur la littérature russe».—«Le Spectateur du Nord», 1796, octobre. Характеристика революционных событий, данная в этой статье, была изъята самим Карамзиным из «Писем русского путешественника» (см. С. Макашин, Литературные взаимоотношения России и Франции XVIII—XIX вв.—том I настоящего издания, XXII и LXXII). О якобинском поведении гр. П. А. Строганова—см. в публикации «Французская революция 1789 г. в донесениях русского посла в Париже И. М. Симолина»—том I настоящего издания, 436, 442.

[23] Eynard, I, 33—35.

[24] Ibid., 31—32.

[25] Monglond, II, 435.

[26] Сводку см. у Trahard, 74—76.

[27] Eynard, I, 35, пишет, что Крюденер отправилась на юг в декабре 1790 г. Письмо Сен-Пьера от 6 февраля 1790 г. (см. далее, письмо № 2) делает это указание ошибочным,—повидимому, надо передвинуть отъезд на сентябрь 1790 г.

[28] Автограф (черновой).—Государственный архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ), Москва. Фонд Крюденер, № 12. Публикуется впервые. Дата определяется указанием, имеющимся в ответном письме Сен-Пьера (см. письмо № 2).

[29] Это упоминание ставит под сомнение сообщение Эйнара, что Сен-Пьер принял первый визит Крюденер «с одушевлением, в память ее деда»: биограф произвел перенос в прошлое письма, которое Сен-Пьер отправил к Крюденер спустя год после первой встречи (см. письмо № 4), где, действительно, расточаются комплименты Крюденер в качестве внучки фельдмаршала Миниха. Малоправдоподобно, чтобы Крюденер знала (откуда?) о давних авантюрах сен-пьеровской молодости и чтобы Сен-Пьеру была лестна ссылка на то, что он некогда подкармливался у вельможного деда Крюденер, когда голодным оборванцем добрался в 1762 г. до русской столицы. Миних мог появиться в их беседах лишь при дальнейшем ознакомлении друг с другом; в первом же путешествии Крюденер на улицу Королевы Бланш ее сопровождал, как явствует из письма, парижский посредник, сен-пьеровский знакомец.

Для советского читателя, естественно, представляет особый интерес история пребывания Бернардена де Сен-Пьера в России. Однако, в его биографиях—это один из наименее освещенных и документированных периодов. Между тем, во французских архивах наличествуют материалы, которые либо не использованы вовсе или же использованы лишь бегло (у Souriau). Специальный запрос редакции «Литературного Наследства» и проведенное в связи с ним обследование сен-пьеровских бумаг в Гаврской библиотеке и в архивах французского министерства иностранных дел в Париже выявили следующие данные:

В ГАВРСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ (BIBLIOTHEQUE DU HAVRE):

I. РУКОПИСИ Б. ДЕ СЕН-ПЬЕРА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РОССИИ:

1. „Histoire de la régente Anne" („История регентши Анны Леопольдовны")	*1*—feuille de garde (Souriau, 29—30 — пересказ), *9*—feuillets 30—33, *141*—feuillets 73, 77—78
2. „Histoire de l'Indien" („История индийца" [автобиогр.])	*45*—23 feuillets
3. „Observations sur la Finlande" („Замечания о Финляндии")	*99*—feuillets 1—7
4. „Fragment d'un roman dont la scène se passe dans les mers polaires" („Отрывок повести, действие которой происходит у Ледовитого океана")	*441*—№ 8

II. УПОМИНАНИЯ О РОССИИ В ПИСЬМАХ Б. ДЕ СЕН-ПЬЕРА:

1. „B. de St.-Pierre quitte la Russie" („Отъезд Б. де Сен-Пьера из России")	*38*—feuillet 42 (Souriau, 28)
2. „Note des services du sieur de Saint-Pierre" („Счет за услуги г. де Сен-Пьеру")	*49*—feuillets 17, 19
3. „Une anecdote sur un pope russe" („Анекдот о русском попе")	*60*—feuillet 69 (Souriau, 29)
4. „Bernardin de St.-Pierre attrape un rhume à Pétersbourg" („Б. де Сен-Пьер заболевает простудой в Петербурге")	*73*—feuillet 66 (Souriau, 28)
5. „L'histoire du jeune prince d'Olgorouky" („История молодого князя Долгорукого")	*87*—feuillet 99 (Souriau, 29)
6. „Arrivée de B. de St.-Pierre à Pétersbourg" („Приезд Б. де Сен-Пьера в Петербург")	*141*—feuillets 1—3 (Souriau, 25—26)
7. „Duval, bijoutier français à Pétersbourg, prête de l'argent à B. de St.-Pierre" („Дюваль, французский ювелир в Петербурге, ссужает деньгами Б. де Сен-Пьера")	*145*—feuillets 58—61, 73 (Souriau, 32)
8. „Départ de Bernardin de St.-Pierre pour la Pologne" („Отъезд Б. де Сен-Пьера в Польшу")	*146*—feuillet 79
9. „Projet de préambule pour l'Arcadie" (l'auteur y parle de Duval) („Проект предуведомления к Аркадии") (автор говорит в нем о Дювале)	*170*—voir feuillet 18
10. „Mémoire au comte de Vergennes" (l'auteur y parle de son voyage en Russie) („Мемориал графу де Верженну") (автор говорит о своем путешествии в Россию)	*172*—voir feuillet 40

В АРХИВАХ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ В ПАРИЖЕ:

M. Gorlin, сделавший обследование этих архивов, сообщает редакции «Литературного Наследства», что упоминания о Б. де Сен-Пьере наличествуют в «Fonds de Russie» за годы 1763 и 1764. Эти упоминания связаны не непосредственно с самим Сен-Пьером, а с дипломатами, с которыми ему пришлось иметь дело в России. Этот материал упомянут в книге Fernand Maury, Etude sur la vie et les œuvres de B. de St.-Pierre, P., 1892, 20, 36, 37. Писем и рукописей самого Сен-Пьера в «русских фондах» министерства нет. Сведения о Сен-Пьере имеются и в «Fonds de Pologne» 1764, 1765; эти данные «польских фондов» также упомянуты в книге F. Maury.

[30] Сент-Бёв, как раз в связи с четой Крюденер, писал в предисловии к переизданию «Валерии» (см. прим. 5-е): «Это было обычным тогда для нравов высокого общества: супруг давал вам окончательное имя, положение и содержание, достодолжное и удобное; ни на что большее он не притязал... Его, в лучшем случае, замечали в профиль или со спины в уголке ближайшего романа» («Notice», VIII, изд. «Valérie», 1840). Сама Крюденер в «Валерии» заканчивает перечисление достоинств Графа, т. е. барона Крюденера, такой похвалой: «Он не стесняет никого» (изд. 1840, 10).

[31] Eynard, I, 38.

[32] Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, картон № 2. Публикуется впервые.

[33] Эти указания определяют дату первого письма Крюденер и время ее отъезда в Монпелье (см. црим. 27-е).

[34] Игра слов: «gai» означает «веселый». Состоявшееся знакомство Крюденер с Гэ было ею впоследствии широко использовано—см. главу II.

[35] В 1790 г. вышло второе издание «Confessions» Ж.-Ж. Руссо, дополненное письмами,—семь томов.

[36] В донесениях И. М. Симолина от 12 февраля 1790 г. (см. прим. 22-е) читаем: «...это г. Неккер убедил короля отправиться в Национальное собрание и возглавить собой революцию. Это он составил речь его величества. Он было вставил в нее слова, что король отправился туда свободно, но уверяют, что его величество вычеркнул эту фразу из своей речи» (op. cit., 424). Ср. Олар, Политическая история Французской революции, изд. 4-е, 1838, 108: «4 февраля 1790 г. Людовик XVI явился лично в зал Национального собрания, чтобы признать конституцию и прочесть милостивую речь... Собрание, охваченное безумной радостью, установило следующую гражданскую присягу: «Я клянусь быть верным нации, закону и королю и поддерживать всеми моими силами конституцию, декретированную Национальным собранием и признанную королем...». В этом акте видели, прежде всего, признание королем конституции и подчинение короля нации и закону».

[37] В ряду других своих натурфилософских домыслов, Б. де Сен-Пьер в «Etudes de la Nature» выдвигал и теорию возникновения морских приливов от таяния полярных льдов.

[38] См. «Донесения И. М. Симолина», op. cit., 409, 416, 422, 423, 428, 431.

[39] Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 2. Публикуется впервые.

[40] Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 2. Публикуется впервые.

[41] Первые три тома «Этюдов о природе» («Etudes de la Nature») вышли в Париже в 1784 г. (Barine, 79), четвертый том, включавший «Поля и Виргинию», вышел в 1788 г.—Ibid., 141.

[42] «Путешествие на Остров Франции» («Voyage à l'Ile de France») вышло в начале 1773 г. (Barine, 59). Задуманное Сен-Пьером в 1790 г. дополненное переиздание не состоялось, и «Путешествие» было вновь напечатано лишь после смерти Сен-Пьера, в I томе его сочинений, изданных Эме Мартеном в 1826 г.

[43] См. прим. 29-е. В Собрании сочинений Бернардена де Сен-Пьера напечатано письмо фельдмаршала Миниха к Сен-Пьеру, едва ли не в интерполированном виде, как обычно у Э. Мартена. См. Bernardin de Saint-Pierre, Œuvres complètes préparées par Aimé Martin, P., 1833, XII, 366—367.

[44] Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 2. Публикуется впервые.

[45] Фельдмаршалу Миниху было почти шестьдесят лет (1683—1767), когда императрица Елизавета, после переворота 1741 г., сослала его в Пелым, в качестве важнейшего министра свергнутой ею правительницы Анны Леопольдовны; в ссылке Миних пробыл двадцать лет, вместе с женой, урожденной баронессой Мальцан, по первому мужу обер-гофмаршальшей Салтыковой; из ссылки Миних был возвращен в 1762 г., при воцарении Петра III, вернувшего ему чины и звания.

[46] «Экономаты» (économats)—взимание в королевскую казну сборов в епископствах и аббатствах во время вакантности епископских и аббатских постов.

[47] Авиньон числился папским владением с 1348 г., когда в период так называемого «авиньонского пленения пап» (1309—1373) Климент VI приобрел Авиньон для папского престола. В 1790 г., под влиянием событий Французской революции, в Авиньоне началось массовое движение за воссоединение с Францией, признанное Национальным собранием в 1791 г. и оформленное Толентинским договором 1797 г.

[48] Souriau, 260.

49 Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 2. Публикуется впервые.

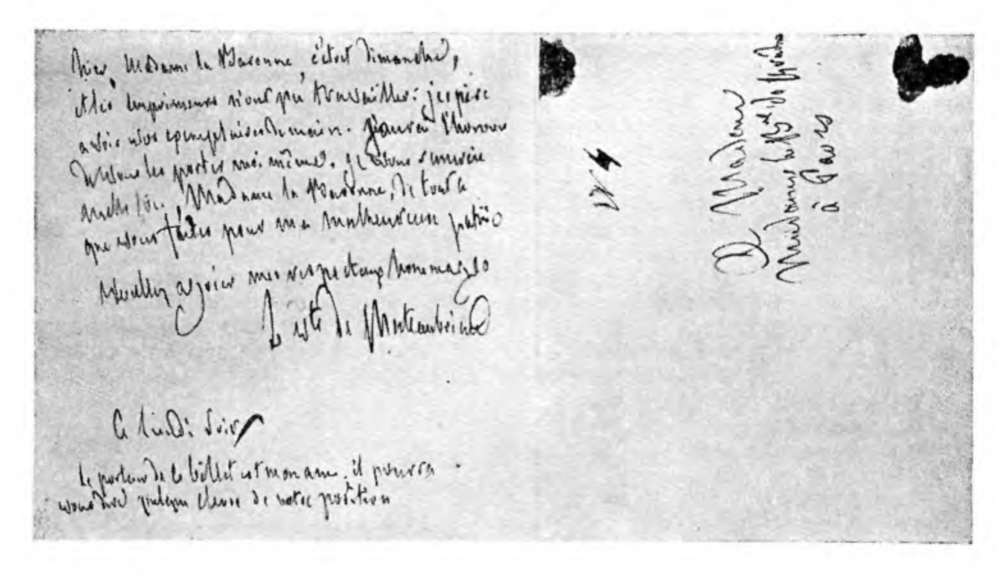
50 См. прим. 41-е. Новое, четвертое, издание «Этюдов о природе» вышло в пяти томах в следующем, 1791 г.

51 Действительное положение дел в Ниме (Nîmes) было иным: с декабря 1789 г. в городе начались контрреволюционные волнения, вызванные католиками, пытавшимися перевести революционное брожение масс в травлю протестантов.

52 Eynard, I, 37. Спустя четверть века, в 1814 г., Крюденер присутствовала при кончине тяжело больного Лезэ-Марнезиа в Страсбурге, где он был наполеоновским префектом.—См. Sainte-Beuve, Notice, XXXIII, в изд. «Valérie», P., 1840.

53 Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 2. Публикуется впервые.

54 Латинское изречение, означающее: «Будь воздержан и стоек», Сен-Пьер, видимо, перенял у своего друга, поэта Дюсиса, который в письме к нему объявил это своим девизом: «Мой девиз «Abstine et sustine» хорошо гармонирует с моей совой,



АВТОГРАФ ПИСЬМА ШАТОБРИАНА К Ю. КРЮДЕНЕР, СЕНТЯБРЬ 1815 г.

Публичная библиотека, Ленинград

являющейся подлинным гербом нашего рода Аллоброгов... Можно было бы написать: «Скрывай свою жизнь», —это было бы короче». —«Correspondance de B. de St.-Pierre», P., 1826, III, 323.

55 Напечатаны под заглавием: «Записки фельдмаршала Миниха», во II томе «Записок иностранцев в России в XVIII столетии», 1874.

56 Стихи «Поль у могилы Виргинии» («Paul au tombeau de Virginie») были напечатаны в «Mercure de France», 1790, № 36, с примечанием: «Сюжет этого романса заимствован из занимательной повести «Поль и Виргиния», вошедшей в четвертую часть «Этюдов о природе» г. де Сен-Пьера».

57 Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 2. Публикуется впервые.

58 Первое издание «Индийской хижины» («La chaumière indienne») было выпущено с датой следующего, 1791 г. Barine, 163; см. также Souriau, 261.

59 Eynard, I, 44—45.

60 «Донесения И. М. Симолина», op. cit., 463, 467.

61 Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 2. Публикуется впервые.

62 Нервные припадки и болезненная психическая раздражительность стали проявляться у Сен-Пьера с ранних лет. См. Barine, 70: «Б. де Сен-Пьер сходил с ума, не буйно, не неизлечимо, но все же в самом настоящем смысле слова... Это горькие годы [1778—1780], годы физического и морального отчаяния... Друзья покинули его, не желая терпеть его непонятных выходок; с другими он сам порвал».

[63] «Suite des vœux d'un solitaire» вышло в следующем, 1791 г. В «Vœux d'un solitaire» Сен-Пьер занимает позицию умеренного монархиста, сторонника конституции и противника дворянских привилегий, с одной стороны, но и народной «анархии» — с другой, призывая к согласованию интересов трех сословий.

[64] В письме к Сен-Пьеру из Лейпцига, от 26 февраля 1793 г., Крюденер в постскриптуме пишет: «„Поль и Виргиния" переведены на немецкий язык; постараюсь при оказии послать вам».—Jacob Bibliophile, op. cit., 20—23.

[65] Eynard, I, 63. О нападках на Б. де Сен-Пьера в 1792 г. за общественную инертность—см. M. Souriau, op. cit., 256, 265.

[66] Письмо из Лейпцига, 26 февраля 1793 г.—см. прим. 64-е.

[67] Eynard, I, 114—116.

[68] Ibid., 47, 63, 105, 112, 120, 123.

[69] Ibid., 123.

[70] Willson, 197—198.

[71] Г-жа де Сталь и Бенжамен Констан были в Лозанне заняты сдачей в набор трактата г-жи де Сталь «О влиянии страстей на благополучие личностей и наций» (1796), корректуры которого, прибывшие из лозаннской типографии, они держали несколько месяцев спустя в Коппе.—Willson, 194.

[72] Серия этих афоризмов, действительно, впервые увидела свет и была напечатана в следующем, 1802 г., 10 вандемьера, в парижском «Mercure», «при содействии господина Мишо, тогда весьма старавшегося для нее» (Sainte-Beuve, второй этюд о Крюденер.—«Derniers portraits littéraires», P., 1858, 291); тот же Мишо 10 декабря (18 фримера) 1803 г. напечатал в «Mercure» похвальную рецензию о «Валерии».

[73] Eynard, I, 107.

[74] Ibid., 107.

[75] Бональд, в связи с выходом «Газеты Бедных»—демагогического издания опальной и фрондирующей Крюденер, писал в «Journal des Débats» 28 мая 1817 г.: «Г-жа Крюденер была когда-то красива, она выпустила в свет роман, может быть, ею самой написанный, назывался он, кажется, «Валерия», был сентиментален и достаточно скучен» (цит. у Сент-Бёва в «Notice» к «Valérie»).

[76] Eynard, I, 130, 134.

[77] Willson, 314.

[78] Gautier, 2.

[79] Ibid., 47.

[80] Ibid., 65.

[81] Ibid., 72.

[82] Письмо к Фуше, март 1807. См. Willson, 286.

[83] Gautier, 84—87, 88—90, 105—114; John Charpentier, Napoléon et les hommes de lettres de son temps, 1935, 87.

[84] Albert Sorel, Madame de Staël, P., 1893, 104.

[85] J. Charpentier, op. cit., 79 и Gautier, 114.

[86] Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер. Публикуется впервые. Дата письма определяется тем, что «Дельфина» появилась на свет в декабре предыдущего, 1802 г., и вся кампания против романа разыгралась в первый же месяц 1803 г.

[87] Gautier, 193.

[88] Herriot, 26.

[89] Во введении к этому описанию у Сталь стоит несколько слов, еще определеннее указывающих на Крюденер: «В этой иностранке есть очарование, не похожее ни на что известное нам: смесь безразличия и живости, меланхолии и веселия совершенно азиатского».

[90] Eynard, I, 124—125.

[91] Ibid., 126—127. Статья была подписана буквой «F», инициалом наполеоновского журналиста Жозефа Фиеве (Fiévé), переделанного малоосведомленной в журнальных именах и делах Крюденер в среднее между Фонтаном (Louis Fontanes, 1757—1821) и Фиеве.

[92] Eynard, I, 126—127.

[93] Herriot, 79.

[94] Eynard, 132.

[95] Ibid., 134.

[96] Ibid., 137—138.

[97] Antoine-Alexandre Barbier (1765—1825)—ученый-библиограф, автор «Словаря анонимных и псевдонимных произведений», занимал должность библиотекаря

Государственного совета и выполнял в этом качестве роль и личного библиотекаря Наполеона.

[98] Jacob Bibliophile, op. cit., 31—32.

[99] Она писала Беренже (Berenger), одному из редакторов лионской обработки «Валерии»: «...То, что есть удачного в «Валерии», зависит от религиозных чувств, которые мне дало небо... Вы, конечно, читали тот, другой роман, чья героиня, впрочем, столь благородная и добрая, возмущает свой пол убийством... Несмотря на красоты, которыми он блещет, он не должен пользоваться успехом... В конце концов, непоследовательность не есть преднамеренность. К чему предполагать, что г-жа де Сталь хотела написать опасную книгу?.. Я вижу по успеху моей дорогой «Валерии», что благочестие, чистая, защищающаяся любовь, трогательная привязанность возбуждают волнение и внимание...».—Eynard, 1, 146.

[100] «...в Женеве г-жа Крюднер опять встретилась с г-жой Сталь, и здесь мы опять видим ту постороннюю черту, которая, повидимому, вовсе не совместима с энтузиастическим увлечением. При встрече с г-жой Сталь,—рассказывает биограф,—она говорила о своем счастии, о своем спокойствии, о радостях молитвы; рассказывала свою жизнь, но не упоминала о необыкновенных фактах, которые, может быть, удивили бы г-жу Сталь, не доставив ей назидания. Г-жа Крюднер имела высокое понятие об искренности г-жи Сталь и считала ее способной и предназначенной к тому, чтобы найти истину, но она не торопила ее неловким усердием».—А. Пыпин, Г-жа Крюднер.—«Вестник Европы», 1869, сентябрь, 614.

[101] Автограф. — Публичная библиотека им. Салтыкова - Щедрина, Ленинград, Архив Крюденер. Публикуется впервые. Упоминание о «гимнах кёнигсбергскому поведению» Крюденер—т. е. о ее занятиях благотворительностью при королеве прусской Луизе—указывает на эпизод 1806 г. (см. Eynard, I, 159—161), однако, обозначение Коппе в качестве места отправления письма заставляет, в связи с тем, что в октябре 1806 г. г-жа де Сталь была во Франции, в Руане (см. Willson, 285), передвинуть дату на следующий, 1807 г., ближайший к упоминаемому происшествию: в октябре этого года г-жа де Сталь, действительно, находилась у себя в Коппе.—Willson, 293—294.

[102] Дочь Крюденер, позднее вышедшая замуж за бар. Беркгейма (см. прим. 187-е) и ставшая вместе с мужем ближайшей помощницей Крюденер.

[103] Eynard, I, 164.

[104] Ibid., 165. Характеристика действительной роли Штиллинга: «В 1803 г. герцог Баденский сделал Штиллинга своим гофратом и призвал его в Гейдельберг, чтобы он продолжал свою борьбу против революционных идей; в 1806 г. он призвал его в Карлсруэ. Штиллинг стал защитником алтарей и престолов. Сочинения его против революционного духа принимали чем дальше, тем больше характер пророчеств и ясновидений, и к тому времени, когда г-жа Крюднер с ним познакомилась, эта новая точка зрения созрела в нем совершенно; к 1808 г. относится его «Theorie der Geisterkunde».—А. Н. Пыпин, op. cit.—«Вестник Европы», 1869, август, 609.

[105] Цитаты из писем Крюденер 1808—1809 гг. здесь и дальше взяты из публикации: d'Haussonville, M-me de Staël et M-me de Krudener. Correspondance inédite, в литературном приложении к «Figaro» от 16 сентября 1911 г.

[106] Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер. Публикуется впервые. Место отправления названо в письме. Дата определяется ответным письмом Крюденер от 16 марта 1809 г.—d'Haussonville, op. cit. (см. прим. 105-е).

[107] См. прим. 100-е, 105-е.

[108] Eynard, I, 214—215.

[109] Maurice Levaillant, Deux livres des Mémoires d'Outre-Tombe, édition critique d'après des manuscrits inédits; II—«Madame Récamier», 1936, 77. Ср. также Chateaubriand, M. d'O. T., IV, 459.

[110] M. Levaillant, op. cit., II, 206.

[111] Ibid., 301.

[112] Chateaubriand, M. d'O. T., II, 474.

[113] Ibid., 366—369.

[114] Eynard, I, 111.

[115] Chateaubriand, M. d'O. T., II, 246.

[116] M. de Lescure, Chateaubriand, 1892, 63.

[117] Eynard, I, 107—108.

[118] Ibid., 107.

[119] Sainte-Beuve, Essai sur Talleyrand.—«Nouveaux Lundis», XII, 12. Сент-Бёв вообще отмечал, что Шатобриан в «Замогильных записках» трактует факты с

«царственной неточностью»—«souveraine inexactitude».—Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe..., I, 178.

[120] Маркс и Энгельс, Сочинения, XXII, 61—65; XXIV, 425.

[121] Chateaubriand, M. d'O. T., II, 229.

[122] M. de Lescure, op. cit., 72. Тьер пишет в «Истории консульства и империи»: «Чтобы дополнить эффект, который первый консул хотел произвести в этот день, г. де Фонтан поместил статью в «Moniteur» о новой книге, вызывавшей большой шум в эту минуту: то был «Гений христианства».—«Histoire du Consulat et de l'Empire», III, 429 сл.

[123] Подробности всей режиссуры—см. Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe..., I, 266—276.

[124] «Эта первая статья Фонтана о «Гении христианства» появилась в «Mercure» 25 жерминаля (года X); «Moniteur» от 28 жерминаля (18 апреля) лишь дал перепечатку «Mercure» (Ibid., I, 272). Фонтан писал: «Этот труд, давно ожидаемый и начатый в дни гнета и печали, появляется, когда все злосчастия исправляются и все преследования оканчиваются».

[125] Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe..., I, 270 и 386.

[126] Herriot, 86.

[127] Об отрицательном отношении г-жи де Сталь и ее окружения к «Гению христианства» говорят отзывы ее и Бенж. Констана; весной 1802 г. Констан писал одному знакомцу: «Когда на протяжении пяти томов занимаешься изобретением удачных выражений и звонких фраз, трудно изредка не добиться успеха; но большей частью—это двойная галиматья («un galimatias double»); да и в лучших кусках есть смесь дурного вкуса, указывающая на отсутствие чувствительности и подлинной веры»; а г-жа де Сталь говорила г-же Рекамье, тогда еще вполне безучастной к Шатобриану и заставшей приятельницу со свежим томом появившегося «Гения христианства»: «Вы застаете меня огорченной: этот бедняк Шатобриан покажется только смешным; книга его шлепнется» («va tomber»). Ее насмешки сугубо вызывались главой: «Рассмотрение девственности с поэтической точки зрения».—Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe..., I, 188—189.

[128] Eynard, I, 110.

[129] Ibid., 131—135.

[130] Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер. Публикуется впервые. Дата письма неразборчива, но должна, бесспорно, обозначать «1803», поскольку роман «Дельфина» вышел в декабре 1802 г., а упоминаемые в письме нападки на г-жу де Сталь развернулись в самом же начале 1803 г.: статья Фиеве (см. прим. 91-е) появилась в «Mercure» 1 января 1803 г.; Крюденер в эту пору жила в Лионе.

[131] Мари Коттен (M. Cottin, 1770—1807) была автором «Клэры д'Альб» (1799), «Мальвины» (1801), «Елизаветы», «Матильды»—наиболее популярной из ее вещей, герой которой, Малек-Адель, упомянут Пушкиным, рядом с Густавом де Линаром из «Валерии», в III главе «Евгения Онегина». «Ничто не сравнится,—говорит Сент-Бёв,—с успехом, который имели в свое время романы г-жи Коттен; да и сама она возбуждала большие страсти» (Sainte-Beuve, Mes poisons, 189). Графиня Адель Флао, позднее маркиза де Суза (A. Flahaut de Souza, 1761—1836) написала «Адель де Сенанс», «Евгению де Ратлен» и др. См. о ней Sainte-Beuve, Madame de Souza, в «Portraits de femmes»: «Г-жа де Суза по уму, по дарованию вся связана с XVIII в... Г-жа де Флао, которая была еще молода, когда этот век умирал, сохранила его наследие, видоизменяя его со вкусом и приспособляя к новому двору, при котором должна была жить» (op. cit., 50—51).

[132] Chateaubriand, M. d'O. T., II, 366—369.

[133] Sainte-Beuve, Derniers portraits littéraires, 291.

[134] M. Levaillant, Deux livres... etc., II, 77.

[135] Eynard, I, 110.

[136] См. нашу публикацию «Ж. де Местр и Сент-Бёв в письмах к Р. Стурдзе-Эдлинг» в этом же томе «Литературного Наследства».

[137] «Об этом важном деле она извещала своих друзей в сентябре 1814 г. так: «Господь удостоил привязать душу императрицы к пламенным желаниям моей души: я не один раз работала с этой ангельской женщиной...». Работой, о которой говорит г-жа Крюднер, были, конечно, беседы с императрицей, в которых она вела свою пропаганду».—А. Пыпин, op. cit.—«Вестник Европы», август, 623.

[138] Eynard, I, 303, 317—318.

[139] Эйнар частью использовал эти крюденеровские письма к Р. Стурдзе в I томе, 317—340. Оригиналы их находятся в архиве Эдлинг, в Пушкинском доме Ака-

демии наук.—См. публикацию «Ж. де Местр и Сент-Бёв в письмах к Р. Стурдзе-Эдлинг» в этом же томе «Литературного Наследства».

[140] Н. Шильдер, Имп. Александр I, III, 321—326. Сама Р. Стурдза-Эдлинг в «Воспоминаниях» передает это так, якобы, со слов самого царя: «...Я вспомнил то, что вы говорили мне о г-же Крюденер, и о желании, выраженном мною вам, познакомиться с ней. Где может быть она сейчас, спросил я себя, и как встретиться с ней? Невозможно! Но едва я высказал эту мысль, как услышал стук в дверь. То был князь Волконский, который с озабоченным видом сказал, что беспокоит меня вопреки своему желанию в такой неурочный час, чтобы избавиться от одной женщины, которая во что бы то ни стало хочет меня видеть. И тут он назвал мне г-жу Крюденер. Вы можете себе представить мое изумление. Мне казалось, что я грежу».—«Mémoires de la comtesse Edling», M., 1888, 232.

[141] Eynard, I, 341. В брошюре «Notice sur Alexandre, empereur de Russie» пастора Эмпейтаза (Empeytaz), главного лица и подлинного руководителя крюденеровского штаба, читаем: «Г-жа Крюденер говорила своему государю в течение почти трех часов; Александр мог сказать только несколько отрывочных слов; опустив голову на руки, он проливал обильные слезы» (Н. Шильдер, Имп. Александр I, III, 321—326).

[142] Третья часть «Замогильных записок», посвященная событиям «Ста дней» и Второй реставрации, начинается словами: «Я нарисую вам изнанку событий, которую история утаивает: история развертывает только лицевую сторону».—Chateaubriand, M. d'O. T., IV, 1.

[143] Chateaubriand, M. d'O. T., IV, 57.

[144] Обычно недоброжелательная г-жа Жанлис подтверждает, однако, в данном случае приведенное утверждение Сент-Бёва; она пишет в «Мемуарах»: «Я знавала ее... Она написала мне, выразив желание повидаться. Она говорила самые странные вещи со спокойствием, которое делало их убедительными. Она, несомненно, искренно верила в них».—Jacob Bibliophile, op. cit., 150.

[145] Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер. Публикуется впервые.

[146] Chateaubriand, M. d'O. T., IV, 130.

[147] Автограф.—Всеукраинский исторический музей, Киев. «Альбом Каролины Собанской». Письмо Шатобриана попало к Собанской, вероятно, от дочери Крюденер, Жюльетты Беркгейм, с которой Собанская дружила. В альбоме находится также несколько писем известных крюденеровских современников—Б. Констана, г-жи Жанлис, Норвенна. Основной текст письма напечатан Эйнаром. Мы даем его полностью в переводе с подлинника. Подлинник в двух местах порван,—пробелы восстановлены по эйнаровскому тексту, заключенному в квадратные скобки.

[148] «Œuvres complètes de M. le vicomte de Chateaubriand», t. XXIII, P., 1826.—Discours prononcé le 22 août 1815 à l'ouverture du Collège électoral à Orléans, 25.

[149] Eynard, II, 74—75.

[150] Ibid., 80.

[151] Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер. Публикуется впервые.

[152] Eynard, II, 80.

[153] Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер. Публикуется впервые.

[154] Eynard, II, 81.

[155] «Congrès de Vérone, guerre d'Espagne, etc.» par M. de Chateaubriand, 1838, I, 152.

[156] Это явствует из упоминаний Б. Констана в его письмах к M-me Рекамье 1814—1815 гг. (см. Constant, Lettres).

[157] Constant, Journal, 189.

[158] Ibid., 186.

[159] Ibid., 187.

[160] Herriot, 143.

[161] Constant, Journal, 206.

[162] Herriot, I, VI.

[163] Gautier, 234: «Именно г-жа Рекамье служит посредником для г-жи де Сталь, получает из Коппе инструкции и письма, которые она доверительно передает друзьям изгнанницы. Потому-то император заявил в салоне императрицы Жозефины, что будет рассматривать, как личного своего недруга, каждого иностранца, который будет посещать салон г-жи Рекамье».

[164] [M-me Lenormant], Souvenirs et correspondance tirés des papiers de Madame Récamier, 1876, II, 249—250.

[165] Sainte-Beuve, Essai sur Talleyrand.—«Nouveaux Lundis», XII: «Шесть миллионов были ему обещаны неаполитанскими Бурбонами за содействие их восстановлению на троне, и особые, довольно занимательные обстоятельства, сопровождавшие уплату, получили гласность».

[166] Constant, Journal, 189.

[167] Ibid., 195—196.

[168] Ibid., 192—198: «Приехал Лагарп; попытаемся через него добраться до Александра»; «Я был сегодня представлен императору Александру. У него вид лучшего из людей... он мне повторил обещание ордена».

[169] Каролина Мюрат писала г-же Рекамье: «Нельзя сделать того, что вы хотели бы, для автора манускрипта... Если вы пожелаете на мгновение вдуматься, то у вас слишком много ума, чтобы не почувствовать всей значительности доводов, которые говорят против этого: во-первых, опасность вызвать недовольство министров, коим поручено это дело; затем целый народ, который счел бы бесчестием, если бы иностранцу была поручена защита его интересов, наконец, французский король...» и т. д.—[M-me Lenormant], op. cit., I, 275.

[170] Sainte-Beuve, B. Constant et M-me de Charrière, Note.—«Derniers portraits littéraires», 275.

[171] Constant, Journal, 201.

[172] Ibid., 202.

[173] M. Levaillant, Chateaubriand, M-me Récamier... etc., 296.

[174] Ibid., 296; Constant, Journal, 203.

[175] Constant, Lettres, февраль 1815, 115.

[176] Эта биография, написанная Б. Констаном, была, в извлечениях, вставлена Шатобрианом, по желанию Рекамье, в «Замогильные записки». Критически выверенный текст—см. M. Levaillant, Deux livres... etc., 17—25, 30—31, 230—236.

[177] Sainte-Beuve, B. Constant et M-me de Charrière, Note, 275—276.

[178] Цит. по тексту, приведенному у Chateaubriand, M. d'O. T., III, 389.

[179] Constant, Lettres, июль 1815, 201—204.

[180] Ibid., 205.

[181] Constant, Journal, 221.

[182] [M-me Lenormant], Souvenirs et correspondance de M-me Récamier, I, 285.

[183] Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 1. Публикуется впервые.

[184] Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 1. Публикуется впервые.

[185] B. Constant, Adolphe, гл. VIII, 19.

[186] Печатается по копиям, изготовленным для работы Fr. Frossard, Madame Krudener d'après documents inédits—«Bibliothèque Universelle et Revue Suisse», 1884, XXIV—и хранящимся в Гос. архиве феод.-крепост. эпохи (ГАФКЭ), Москва. Фонд Крюденер, № 8. Фроссар использовал эти копии не все, и притом лишь в извлечениях, применительно к нуждам своего изложения. Сохранились ли подлинники и где они, неизвестно. По заявлению Фроссара, материалы были ему предоставлены «внучками Крюденер», т. е. дочерьми Жюльетты Беркгейм (Frossard, op. cit., 503). Отрывок данного письма см. у Frossard, op. cit., 524. Полностью публикуется впервые.

[187] См. прим. 102-е. Барон Франц фон Беркгейм служил полицей-президентом в Майнце, но в 1814 г., став крюденеровским прозелитом, оставил службу.

[188] Б. Констан готовил в течение ряда лет труд «De la religion considérée dans sa source, ses formes et ses développements», который был издан в 4 томах в 1824 г. Он записал в «Дневник» 1804 г., в Веймаре: «Мне доставляет попрежнему бесконечное удовольствие читать Гердера. Его седьмая книга о происхождении и развитии христианства полна изумительной философии. Это совершенная противоположность абсурдной работе Шатобриана».—Constant, Journal, 11.

[189] Ibid., 206.

[190] Автограф.—Гос. архив феод.-крепост. эпохи (ГАФКЭ), Москва. Фонд Крюденер, № 8. Публикуется впервые.

[191] Автограф.—Гос. архив феод.-крепост. эпохи (ГАФКЭ), Москва. Фонд Крюденер, № 8. Напечатано частично у Фроссара, op. cit. Полностью публикуется впервые.

[192] Eynard, II, 46.

[193] Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 1. Публикуется впервые.

[194] Constant, Lettres, 20—24.

[195] I b i d., 216, 227, 233.
[196] I b i d., 225.
[197] Печатается по к о п и и Фроссара, находящейся в Гос. архиве феод.-крепост. эпохи (ГАФКЭ), Москва. Фонд Крюденер, № 8. П о л н о с т ь ю п у б л и к у е т с я в п е р в ы е.
[198] Жюст де Констан, отец Бенжамена, в позднем возрасте женился на своей молоденькой воспитаннице, от которой у него было двое детей; брак вызвал осуждение родни и сына, унаследовавшего остатки отцовского состояния и неохотно приходившего на помощь единокровным сестре и брату.
[199] Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 1. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е.
[200] C o n s t a n t, Lettres, 217, 226—227.
[201] Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 1. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е.
[202] C o n s t a n t, Journal, 205. См. также C o n s t a n t, Lettres, 220—230, №№ CIX, CX, CXI.
[203] Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 1. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е.
[204] Александр I «...избрал в Шампани, близ Вертю (в 120 верстах от Парижа), обширную равнину, на которой господствует холм Монт-Эме. 25 августа (6 сент.) Александр I отправился с кн. Волконским в Вертю. Предположено было 26 августа (7 сент.), в день Бородинского сражения, произвести примерный смотр, а 29 августа (10 сент.)—настоящий смотр в присутствии союзных государей и всех приглашенных на это торжество иностранцев. Собрание должно было закончиться 30 августа (11 сент.), в день тезоименитства царя, церковным парадом. В строю находилось более 150 000 чел., при 540 орудиях. В числе приглашенных находилась, конечно, и Крюденер; она со своей свитой поселилась поблизости от лагеря, в замке Дю Мениль. С утра явились за ней императорские экипажи, и почести, которые Людовик XIV оказал г-же де Мэнтенон в Компьенском лагере, не превосходили того почтения, какого она удостоилась в лагере при Вертю» (Н. Ш и л ь д е р, op. cit., III, 341—344). В бумагах Крюденер (ГАФКЭ, фонд Крюденер, № 12, л. 107) сохранилась собственноручная записка к ней Волконского от 5 сентября 1815 г., извещавшая ее, что на дни парада ей приготовлено помещение в деревне Дю Мениль. К записке были приложены «подорожная» и маршрут до деревни. Александр вернулся в Париж 13 сентября, раньше Крюденер: «Он нетерпеливо ждал возможности снова оказаться в интимном кругу... Он несколько раз посылал в отель Моншеню узнать, вернулась ли г-жа Крюденер; он даже отправил курьера ей навстречу, боясь какой-либо несчастной случайности» (E y n a r d, II, 91—92). Крюденер посвятила событию 10 сентября особую брошюру, своего рода мистический дифирамб, под названием «Смотр в Вертю»—текст перепечатан у J. B i b l i o p h i l e, op. cit., 139—148. Политическая цель этого грандиозного военного смотра расценивалась современниками, как франкофильская демонстрация: «Рассказывали, что Александр хотел показать воочию своим союзникам, какими громадными силами располагает он во Франции и как легко может он, опираясь на них, дать своей политике совершенно новый оборот. Известный дипломат граф Мюнстер утверждал, что Александр думает отделиться от союзников, отвести свою армию в Германию и выждать там новых осложнений во Франции. Еще дальше шел в своих догадках князь Гарденберг. Он уверял, что Александр думает вступить в союз с Францией».—В. Н а д л е р, Имп. Александр I и идея Священного союза, 1892, V, 619.
[205] S a i n t e-B e u v e, Causeries du Lundi, под ред. G. Lanson, 167.
[206] C o n s t a n t, Journal, 1815, 205.
[207] M. L e v a i l l a n t, Chateaubriand, M-me Récamier et les Mémoires d'Outre-Tombe, 308. Констановский текст «молитвы» из архива Крюденер (ГАФКЭ, фонд Крюденер, № 8) почти целиком воспроизведен у Ф р о с с а р а, op. cit.
[208] Печатается по к о п и и Фроссара, находящейся в Гос. архиве феод.-крепостн. эпохи (ГАФКЭ), Москва. Фонд Крюденер, № 8. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е.
[209] Крюденер была в дружеских отношениях со вдовой Лезэ-Марнезиа (см. прим. 52-е) и жила в Париже в ее особняке. M-lle Лезэ—видимо, дочь префекта.
[210] Печатается по к о п и и Фроссара, находящейся в Гос. архиве феод.-крепостн. эпохи (ГАФКЭ), Москва. Фонд Крюденер, № 8, копия Фроссара. П о л н о с т ь ю п у б л и к у е т с я в п е р в ы е.
[211] Речь идет о дочери Крюденер, Жюльетте Беркгейм (см. прим. 102-е, 187-е).
[212] C o n s t a n t, Lettres, 239.
[213] I b i d., 240.

[214] Автограф.—Всеукраинский исторический музей, Киев. «Альбом К. Собанской». Публикуется впервые.

[215] Sainte-Beuve, Benj. Constant, son cours de politique constitutionnelle.— «Nouveaux Lundis», I, 434.

[216] Александр уехал 27 сентября 1815 г. Недостаток денег задержал Крюденер в Париже до конца октября. Эйнар говорит о разрыве Крюденер с царем в таких выражениях: «В то время начинали мало-помалу воздействовать на императора, чтобы отдалить его от нее, и г-жа Крюденер сама попала в сети, искусно расставленные на ее дороге». Видимо, ее рекламирование своей роли в подготовке Священного союза было искомым для Александра поводом, чтобы удалить от себя Крюденер. Ср. также Prof. Krug, Gespräch unter vier Augen mit Frau v. Krüdener, 1818.— см. А. Пыпин, op. cit.—«Вестник Европы», сентябрь, 629.

[217] Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 1. Публикуется впервые. Представление «Семирамиды» состоялось 2 октября—этим определяется дата письма.

[218] Автограф.—Гос. архив феод.-крепостн. эпохи (ГАФКЭ), Москва. Фонд Крюденер, № 8. Публикуется впервые.

[219] Потерпев крушение, Крюденер обратилась к Александру I с обличительным письмом, которое уже предвещало ее переход в оппозицию. Она писала царю: «Ваши намерения велики и прекрасны, но вы еще не можете осуществить их. Нужно, чтобы вы помышляли только о своем перерождении для того, чтобы переродить все кругом. Нужно, чтобы все прошло еще чрез один великий кризис...». Она, в самом деле, начинает мистико-оппозиционную пропаганду в низах, обличает швейцарские власти и малых немецких государей, на территории которых пребывает, и полиция высылает ее за пределы Бадена, Вюртемберга, Саксонии, Баварии, ряда швейцарских кантонов. С 1818 г. она в России, сначала недолго в Петербурге, а затем в фактической ссылке в восточном Крыму, где и умерла в 1824 г.

[220] Автограф.—Гос. архив феод.-крепостн. эпохи (ГАФКЭ), Москва. Фонд Крюденер, № 8. Публикуется впервые.

[221] Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 1. Публикуется впервые.

[222] Constant, Lettres, 244.

[223] Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 1. Публикуется впервые.

[224] Напечатано в нескольких отрывках у Фроссара, op. cit. Заключительный абзац, приводимый нами, публикуется впервые. Автограф.—Гос. архив феод.-крепостн. эпохи (ГАФКЭ), Москва. Фонд Крюденер, № 8.

[225] Constant, Lettres, 275.

[226] J. Turquain («Une illuminée au XIX siècle», 287) упоминает, что это письмо Крюденер к Рекамье продавалось на аукционе 27 мая 1895 г. в Париже, по каталогу Chavaras.

[227] Constant, Journal, октябрь 1815, 206, 208. Б. Констан свою благодарность Крюденер выразил и пером публициста, выступив в ее защиту в «Journal de Paris» 30 мая 1817 г., в ответ на нападки Бональда в «Journal des Débats» 28 мая 1817 г. (см. прим. 75-е).

[228] Constant, Lettres, 319.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ «СТРОГАНОВСКОЙ АКАДЕМИИ»

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КСАВЬЕ ДЕ МЕСТРА И ЗИНАИДЫ ВОЛКОНСКОЙ

Публикация М. Азадовского*

В истории русской литературы и общественной мысли почти совершенно не изучена чрезвычайно существенная тема о влиянии французской эмиграции эпохи революции 1789 г. на русскую литературу. Вместе с тем, это должно стать и главой из истории французской литературы, так как основным материалом для изучения должны быть памятники литературы на французском языке, но выпущенные и опубликованные в России. Конечно, было бы ошибочно утверждать, что эта тема совсем не ставилась. Отдельные явления неоднократно привлекали внимание исследователей, так, например, в достаточной степени освещена и изучена своеобразная фигура Жозефа де Местра и учтено его влияние на русских мыслителей. Изучены и некоторые другие более или менее выдающиеся деятели из среды французских эмигрантов в России, но вопрос в целом, в полном его объеме еще не поставлен. Состав французской эмиграции в России был очень разнообразен и включал, наряду с крупными деятелями литературы и общественной мысли, и ряд имен второстепенных писателей и публицистов, малозначительных самих по себе, но представляющих внушительный, в своей совокупности, отряд и сыгравших не малую роль в формировании идей русского дворянства начала прошлого века. Они посещали русские салоны, принимали участие в русской прессе, выпускали отдельными изданиями свои произведения и т. д. Вот эта-то литература в целом еще совершенно не изучена, не учтена библиографически, и уже совершенно оставлены без внимания относящиеся к этой теме рукописные материалы, хранящиеся в различных архивах. Таким образом, нам еще не достаточно ясны ни состав, ни размеры эмигрантской литературы в России, ни ее основные линии, ни те пути, по которым шло влияние ее на русскую. В связи с последним вопросом стоит и другой— вопрос о русских писателях, писавших и печатавшихся на французском языке. Материалы для данной темы довольно значительны, но разбросаны по разным местам. В частности, чрезвычайно большой интерес представляют еще до сих пор не обследованные бумаги Строгановых, хранящиеся в библиотеке Томского университета.

Как известно, в эту библиотеку в свое время перешла богатейшая библиотека графов Строгановых, описание которой было дано в 1914 г. на страницах «Русского Библиофила»[1]. Передана она была одним из самых блестящих представителей строгановского рода, графом Алексан-

* Переводы стихов—М. Талова.

дром Григорьевичем Строгановым (1796—1891), знаменитым собеседником Байрона и (если верна гипотеза С. Н. Дурылина) Гёте[2].

Кроме замечательного книжного собрания, в библиотеку перешел и ряд рукописей, принадлежавших Строганову; часть их вскоре была затребована обратно, как содержащая личные бумаги графов Строгановых, часть была передана в Государственную публичную библиотеку, некоторые же, имеющие, по преимуществу, характер альбомов и рукописных сборников, остались в Томске[3].

Особенный интерес в этом собрании представляют сборники альбомного типа, озаглавленные: «Archives d'Apollon»; «Pot-pourri 1803» («Pot-pourri, commencé je ne sais quelle année, achevé à l'année 1803»); «Pot-pourri 1809»; «Veilles d'amitié» и др. Из описания Милютина не ясно, кому именно принадлежали эти альбомы. На некоторых имеется надпись: baron Al. Stroganoff. Авторы очерка в «Русском Библиофиле» не останавливаются особо на имени владельца, считая, очевидно, что упоминаемый барон Ал. Строганов—тот же самый Ал. Строганов, который явился и последним владельцем этих альбомов. Действительно, граф Александр Григорьевич Строганов в начале XIX в., т. е. ко времени, которым датируются эти альбомы, был еще бароном, но дальнейшие хронологические даты определенно противоречат такому приурочению: в 1803 г. Ал. Гр. Строганов был ребенком и, конечно, не мог ни владеть подобными альбомами, ни писать в них.

Устная традиция в Томске соединяла эти альбомы с именем другого Александра Строганова—именно Александра Сергеевича, известного мецената александровского и николаевского времени, но это уже абсолютно неверно хотя бы потому, что последний в эти годы уже был графом, а не бароном.

Строгановы были тесно связаны с меценатством в различных его проявлениях, как в области искусства, так и в области науки, и как раз имена двух Александров Строгановых особенно популярны: один из них, только-что названный Александр Сергеевич, был президентом Академии художеств, директором Публичной библиотеки, владельцем замечательного собрания картин; другой, уже упомянутый Александр Григорьевич, был президентом Одесского общества истории и древностей российских и тратил большие средства на археологические изыскания,—естественно, что традиция, отразившаяся и в печатных источниках, приписывала этим Строгановым и рукописное наследие, хранившееся в библиотеке Томского университета. Однако, внимательный анализ всех относящихся сюда свидетельств ведет к иному имени и к иной ветви Строгановых, выдвигая на сцену малоизвестное имя барона Александра Сергеевича Строганова, бывшего гофмаршалом и жившего с 1771 по 1815 гг. Александру Григорьевичу Строганову он приходился двоюродным дядей и, в свою очередь, был двоюродным племянником графа Александра Сергеевича. Женат он был на княжне Софье Александровне Урусовой, скончавшейся в 1801 г., вскоре же после замужества; вторично барон А. С. Строганов не женился и умер бездетным,—этим и объясняется, почему принадлежавшие ему рукописи оказались во владении Александра Григорьевича Строганова. Они перешли к нему, как к наследнику, ввиду полного прекращения линии Сергея Николаевича Строганова.

Сам барон А. С. Строганов принадлежал к числу русских литераторов, писавших и печатавшихся по-французски. В 1808 г. в Женеве вышло

два томика его «Lettres à ses amis»—собрание анекдотов, порою весьма любопытных, о дворе, о деятелях искусств, о государственных деятелях его времени, а также ряд впечатлений о посещенных им городах: Риме, Неаполе, Венеции и др. Почитатель барона А. С. Строганова, многим ему обязанный французский эмигрант Спада[4], вспоминал позже об этом произведении во внешне лестных, но, по существу, очень уклончивых выражениях: «Если оно не дает достаточных оснований для того, чтобы причислить барона Строганова к большому числу знаменитых личностей его страны, которые с блестящим успехом занимались литературой, оно, по крайней мере, свидетельствует о его склонности ко всему, что служит для образования, дает основательные знания, украшает ум и питает мысли».

С именем этого Строганова связано и все окружение альбома. Отец А. С. Строганова, барон Сергей Николаевич, был женат на княжне Наталье Михайловне Белосельской (ум. в 1819 г.), и последняя является также одной из участниц Строгановских альбомов: ей принадлежат ряд мелких заметок и большая рукопись, озаглавленная «Pour mes sœurs», представляющая собой описание путешествия из Петербурга в Париж, совершенное ею вместе с тогда еще малолетним сыном в 1780—1781 гг. Эта рукопись опубликована[5].

Наталья Михайловна Белосельская была сестрой деятеля екатерининской эпохи и писателя, князя Александра Михайловича Белосельского (писавшего преимущественно по-французски), прозванного «московским Аполлоном»[6]; дочь последнего, известная Зинаида Волконская, приходилась, таким образом, племянницей Наталье Михайловне Строгановой и кузиной ее сыну. Альбомы тесно связаны с Белосельскими. В «Archives d'Apollon» помещена «Надгробная князю Александру Михайловичу Белосельскому», сочиненная Иваном Ивановичем Дмитриевым:

Пусть Клио род его от Рюрика ведет,
Поэт, к достоинству любовью привлеченный,
С благоговением на камень сей кладет
Венок, слезами муз и дружбы орошенный.

Но более всего представлена в альбомах Зинаида Белосельская — об этом мы будем еще говорить ниже; пока же нужно только отметить, что она является и одним из крупнейших вкладчиков в эти альбомы и сборники и лицом, к которому относится большое количество записанных в них посланий, куплетов, посвящений и пр. Затем, в альбоме встречаются имена кн. Салтыковой, Власовой; это также все урожденные Белосельские: первая—сестра Натальи Михайловны, вторая—ее племянница и сестра Зинаиды.

Страницы альбомов дают ясное указание и на главный источник их происхождения: они создались, в основном, в результате заседаний «Строгановской Академии». Это название несколько раз встречается в альбомах: упоминаются заседания «Академии», ее «президент» и т. д. «Строгановская Академия»—конечно, не официальное название какого-либо учреждения; это—интимное наименование дружеских вечеров, бывавших у Строгановых и посвященных, в значительной мере, литературе и искусству,—другими словами, речь идет о своего рода литературном салоне, хозяевами которого были барон и баронесса (сын и мать) Строгановы; душой же этого салона была, очевидно, княжна Зинаида Белосельская, вскоре ставшая княгиней Волконской. Характер большей части материа-

лов, имеющихся в этих альбомах, подтверждает их салонное происхождение: преобладают посвящения, мадригалы, разного рода куплеты, стихи на заданные рифмы, рассказы на определенные заданные слова, шарады и пр. Ряд «статей» Зинаиды Волконской является такого типа рассказами:

«Conte composé par la princesse Zénéide Wolchonsky (soleil, pyramide, fainéant, mirmidon, chapiteaux, ancre, Minerva, Athènes, cordonnier, pot) или «Conte sur ses mots: Adèle, meurtre, Alphonse, jalousie, Chartreuse, tombeaux, Mânes, plaisirs, fleurs, désespoir, folie, mort, pleurs, croix, prière».

Есть посвящения самой «Строгановской Академии»; самым важным и типичным памятником в этом отношении являются стихи Зинаиды Волконской, посвященные «президенту Академии», т. е. барону А. С. Строганову:

VERS AU PRESIDENT DE L'ACADEMIE STROGONOVIENNE

Grâce à l'aimable Président,
La liberté qu'on aime tant
Règne dans notre Académie.
Vive la paix et l'harmonie!
«Examinez tous mes tableaux»,—
Dit-il un jour, et pour cause:
«Convoitez tour à tour mes roses, mes tombeaux
«Et que sur ces sujets chacun de vous compose,
«Travaille, brode et glose
«Histoire ou conte, mais surtout
«Point de conte à dormir debout».
Il dit: chacun est prêt à se soumettre à tout.
Monté sur un fauteuil, l'un fixe un paysage,
L'autre plus prudent et plus sage,
Pour descendre un tableau se sert du bras d'autrui:
Comme jadis, le singe de la fable,
Sut employer Raton, quoique moins fin que lui.
Un autre épouvanté dit la chose infaisable
Et se plaint de l'ordre un peu dur,
Qui le met au pied du mur.
Moi cependant, aux lois du Président soumise,
Je cherche en me grattant le front
Dans tous les coins du salon
Un objet dont l'aspect m'inspire et m'électrise:
Quand soudain un portrait arrête mon regard
Il me décide et sans trop de retard,
Après avoir invoqué l'indulgence,
Comme un prédicateur devant son assistance,
Je tousse pour trois fois, me rengorge avec art
Et la plume en main, je commence:
Je chante ce héros tout habillé de bleu,
Que la main de Lebrun a peint en d e m i-D i e u;
Tous ses traits y sont bien, jusqu'à son cœur aimable,
Et jusqu'à ce talent, doux, facile, agréable,

Pour égayer l'esprit, pour attendrir les cœurs,
Quand sur les pas de Stern il va cueillir des fleurs.
Enfin je vois jusqu'à son caractère,
Qui met tout son bonheur à consoler sa mère,
Et qui mieux que le temps sut essuyer ses pleurs.
J'en pourrais dire plus sur sa physionomie,
Mais craignons de pousser à bout sa modestie:
Motus—voilà mon conte fait...
Que dis-je un conte? Et non c'est une histoire,
Le vrai seul y domine et vous pouvez m'en croire:
Parler d'un tendre fils, d'un ami bon, discret,
Qui joint au don de plaire un esprit sans apprêt;
C'est nommer à mon auditoire
Le modèle de ce portrait.

Перевод:

К ПРЕЗИДЕНТУ СТРОГАНОВСКОЙ АКАДЕМИИ

Наш президент виной тому,
Что в Академии уму
И сердцу все даны свободы.
Благословенны эти своды!
«Вот перед вами ряд картин»—
Сказал он как-то нам. «Взгляните
«На этот мавзолей иль там—на вид картин...
«Себе сюжет по вкусу изберите,
«И каждый пусть затем, благословясь,
«Расскажет повесть нам иль сказки сложит вязь,
«Но только чтоб от них мы не заснули стоя!».
Так он изрек, и мы сдались ему без боя.
Один на кресло влез и смотрит на пейзаж,
Другой марину взять готов на абордаж,
С условьем, чтоб сосед держал его подмышку,
Напоминая нам ту самую Мартышку,
Которой в басне раз Крысенок был в заслон.
А третий сам не свой: ему весь мир не сладок,
Не по нутру ему порядок,
Когда строчить пером обязан даже он.
Лишь я, покорная, отбросила сомненье,
И, потирая лоб, обшариваю зал,
Чтоб где-нибудь мой взор избрал
Предмет, который бы навеял вдохновенье;
Как вдруг внимание остановил портрет,—
И вот уж я горю: сюжета лучше нет!
И опустив глаза смиренно пред народом,
Как в проповеди поп перед приходом,
Трикратно кашлянув, чтоб дело шло верней,
Отважно занялась я одою своей:
«Пою тебя, герой в кафтане голубом,
Тебя, кого Лебрён рисует полубогом!
Все верно выражено: сердце и черты,
И даже милый дар сквозит в портрете строгом,—

Радушье, полное ума и теплоты,
С которыми, как Стерн, сбираешь ты цветы.
И более того: мне видно даже рвенье,
С каким ты матери приносишь утешенье,
Успешней времени слезу стирая ей.
О, много есть еще в наружности твоей,
Но скромность пощадим и предпочтем молчанье;
Ни звука! Кончено сказанье!..
Сказанье? Вовсе нет! Правдивый лишь рассказ;
В нем истина царит,—в том заверяю вас!
Сказать: вот добрый сын, вот верный друг средь света,
Вот тот, кто с ласковостью слил свободный дух,—
То значило б назвать пред вами вслух
Модель портрета.

Тому же А. С. Строганову посвящены и стихи одного из французских эмигрантов, посетителя строгановских салонов, A. Rey.

VERS POUR LE PORTRAIT DE M. LE BARON DE STROGONOFF

Qui le connait doit l'admirer,
Il est des vertus le modèle,
Ses yeux commandent de l'aimer,
A cet ordre qui n'est fidèle.

Перевод:

НА ПОРТРЕТ БАРОНА СТРОГАНОВА

Он всем внушает восхищенье,
Он—совершенства воплощенье,
И на кого ни поглядит,—
Во всех одну любовь родит.

Эти стихи и посвящения, в основном, по большей части, конечно,— безделушки, но они приобретают особый смысл и служат яркими документами для характеристики определенного круга и эпохи и носят отчетливый политический характер; они дают возможность судить об интересах, господствовавших в аристократической среде русского общества в начале XIX в., точнее, в период между революцией 1789 г. и войной 1812 г.; вместе с тем, они вскрывают и один из источников некоторых течений русской литературы и русской общественной мысли. Чрезвычайно важен и существенен уже самый состав непосредственных участников Строгановских альбомов, а стало быть, и строгановского салона. С одной стороны, аристократический круг хозяев, их ближайших родственников и друзей; здесь нужно назвать, помимо самих Строгановых и Белосельских, А. М. Пушкина, С. Неелова, кн. И. Долгорукова, Ю. А. Нелединского-Мелецкого, Бороздину, Писаревых и др.,—с другой стороны, ряд французских эмигрантов: Comte Xavier de Maistre, A. Spada, Alb. Rey, A. Mülhauser, Ant. Courtener, Peyran, J. Chaponnier, M. Laurent и других, и именно последние, т. е. эмигранты, дают основной тон этим альбомам, как, несомненно, они накладывали свой отпечаток и на общий характер строгановского салона. Последний явился и по своей форме сколком парижских салонов предреволюционной поры,—в значительной степени он отразил и их идеологию, идеологию французского аристократического

дворянства, его неглубокое вольнодумство, его роялистские симпатии и, особенно, страх перед революцией и смертельную ненависть к ней. И наряду с привычными легкими формами салонной поэзии, страницы альбома хранят порой резкую политическую инвективу, идиллические воспоминания о прошлой, т. е. дореволюционной, жизни, благоговейные воспоминания о казненной королевской чете и пр. Среди литературы этого типа, наряду с оригинальными пьесами, очень много списков различного рода памфлетов, эпиграмм, пьес и т. п., так, например, в «Archives d'Apollon» переписан «Quatrain pour Marie-Antoinette, reine de France», в «Pot-pourri 1808» переписан памфлет: «L'ombre de Catherine Seconde aux Champs Elysées» и др. Правда, количественно произведений, носящих такую резкую политическую окраску, не очень много, но именно они дают тон, и в их свете определенный оттенок принимают и прочие материалы: эта легкая, безыдейная, аполитичная поэзия оказывается тесно связанной с основной линией—с линией реакции и контрреволюции; она является их неизбежным спутником, ибо все эти мадригалы, романсы, куплеты, подписи к портретам и пр.—не что иное, как попытка построить призрачную жизнь и воскресить тени разбитого прошлого. Строгановский салон, видимо, находился всецело под влиянием эмигрантов и являлся очагом реакционных тенденций; последние нашли яркое отражение и на страницах альбомов, и только изредка можно уловить кое-где характерные для других Строгановых черты умеренного и аристократического либерализма, типичным представителем которого был, например, Павел Строганов[7]. Дворянская литература конца XVIII в. питалась различными источниками, и путь ее был сложен. С одной стороны, она стремилась обратиться к народности и спускалась к фольклору, с другой—искала стыка с реакционной эмиграцией. Эти моменты отчетливо представлены в Строгановских альбомах, где объединились Нелединский-Мелецкий, С. Бороздина, Писаревы, Неелов, З. Волконская и французские эмигранты.

Строгановские бумаги заслуживают самого глубокого внимания, и к ним, несомненно, не раз еще обратится историк русского общества начала XIX в.; огромнейший материал дают они и для истории идейных связей русского аристократического дворянства с дворянством французским, но это еще дело будущего,—в настоящей заметке мы ограничимся только публикацией некоторых литературных материалов, в частности, материалов, связанных с именами Ксавье де Местра и Зинаиды Волконской.

Из эмигрантов—участников Строгановских альбомов—наиболее крупной фигурой был, конечно, граф Ксавье де Местр, в то время уже известный писатель, автор «Voyage autour de ma chambre». Биография Ксавье де Местра сравнительно мало известна; он как-то затерялся в лучах славы своего старшего брата, как писал об этом еще сто лет тому назад Сент-Бёв, и, в сущности, он и до сих пор не нашел своего места в европейской литературе. Особенно недостаточно изучен русский период его жизни, хотя русская тема заняла не мало места в его писаниях, и в своей национальной литературе он известен не только, как автор «Voyage autour de ma chambre», но и как автор «La jeune Sibérienne». На русском языке небольшая сводка биографического характера была опубликована сравнительно недавно А. И. Некрасовым[8]. Эмигрировав в эпоху революции, Ксавье де Местр принимал участие в войне с Наполеоном, будучи в чине капитана, в рядах русской армии Суворова в Италии. После смерти Суво-

рова в 1800 г. он остался без всяких средств к существованию и, живя в это время в Москве, «решил утилизировать свой талант живописца». Он стал рисовать портреты (миниатюры), находя заказчиков среди общества аристократических гостиных Москвы, постоянным посетителем которых являлся. Годы 1805—1810 Ксавье де Местр живет в Петербурге, где одно время служит, занимая посты директора Морского музея и библиотекаря Адмиралтейства. В 1810 г. он принимает участие в кавказской войне, после чего в 1811 г. возвращается в Петербург.

Бесспорно, что Ксавье де Местр был и одной из центральных фигур семьи Строгановых, тем более, что в 1813 г. он женится на Софье Ивановне Загряжской, которая была в близком родстве со Строгановыми[9]. В альбомах он отражен недостаточно богато в количественном отношении, но очень характерно и ярко. Из его пьес в альбоме имеется автограф известного стихотворения «Le papillon». Там же есть стихотворение на ту же тему Зинаиды Волконской (тогда еще Белосельской). Очевидно, обе эти пьесы возникли на заседаниях «Строгановской Академии» в результате литературного соревнования между Ксавье де Местром и княжной Зинаидой. Две другие пьесы вскрывают новые ноты в поэзии Ксавье де Местра.

Но основным вкладчиком в альбомы является, безусловно, Зинаида Волконская. О ней существует значительная литература, и образ ее довольно хорошо известен читателям[10], однако, по большей части, мы имеем дело с панегирической литературой, в которой за идеализированным обликом писательницы стирается истинная сущность ее личности и деятельности; за восторженными оценками и характеристиками совершенно не видны настоящие очертания этой действительно замечательной женщины. Подлинный образ ее, в конечном счете, неясен: он сложен и противоречив. Близкая к московским «любомудрам», разделяющая их национальные тенденции, позже развившиеся в политические концепции славянофильства, она остается чуждой русскому духу и является французской писательницей, даже и в своих славянофильских произведениях. Ее

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ КСАВЬЕ ДЕ МЕСТРА НА ОБОРОТЕ АВТОПОРТРЕТА 1838 г.:

У меня был один [друг]; смерть отняла его у меня. Она унесла его в самом начале его жизненного пути, в ту минуту, когда его дружба стала настоятельной потребностью моей души. 1786.

С той поры я испытал другие потери: четыре брата, пять сестер, все товарищи моей юности, все мои дети. Но уже небольшой промежуток времени отделяет меня от них; я не ропщу.—1838.

Счастья, здоровья и долгой жизни моему превосходному другу Дмитрию Долгорукому.

Кс. М.

Институт мировой литературы им. Горького, Москва

КСАВЬЕ ДЕ МЕСТР
Автопортрет. Рисунок карандашом
1838 г.

Институт мировой литературы
им. Горького, Москва

«Tableau Slave» и «Olga» написаны на французском языке, и один из горячих ее поклонников, Ив. Киреевский, с сожалением говорил о ней, как о русском таланте, отнятом французской литературой. И в то же время эта французская писательница усиленно занимается русским фольклором, русской историей, выступает с проектом создания «Русского общества» (Société russe) для организации национального музея и публикации научных работ по истории и археологии. Эти повышенные национальные интересы не помешали ей фактически оторваться от русской жизни и кончить жизнь в окружении католических аббатов и монахов. «Католическою церковью,—пишет С. М. Волконский,—З. А. Волконская причислена к лику блаженных»[11],—но он забывает добавить, что предварительно она была буквально ограблена и разорена этой же самой церковью. Противоречивы и ее политические взгляды и симпатии. Ее салон в Москве (в 20-х годах) был, несомненно, выразителем передовых тенденций русского общества, руководимого тогда еще дворянской интеллигенцией; знаменитые про́воды, которые Зинаида Волконская устроила ехавшей в Сибирь к мужу Марии Волконской, были своего рода политической демонстрацией,—и так они и были приняты Николаем. Но если ее политические взгляды являлись прогрессивными по отношению к режиму Николая I, в общей линии русской общественной мысли и русского исторического процесса они являются, конечно, реакционными. Николаю I она противопоставляла не республиканские идеалы и даже не идеалы просвещенного конституционного монарха, но «рыцарский» облик Александра I[12]. Ее уход в католичество и мрачная старость не случайны, но совершенно закономерны. Анонимный автор статьи о Волконской в «Новом Энциклопедическом Словаре» ищет объяснения ее идейным противоречиям исключительно в особенностях ее характера: «высокоодаренная, не находившая удовлетворения в светской жизни, но в то же время

крайне впечатлительная и увлекающаяся, она переходила от идей Руссо к изучению народности, от русской старины к католицизму»[13]. Чрезмерной личной экзальтацией объясняли ее жизненный путь и современники; но дело, конечно, гораздо сложнее, истоки коренятся в другом. Эти истоки—в той духовной атмосфере, в которой складывалась и формировалась ее личность; она воспитывалась в среде французских эмигрантов, и их влияние осталось неистребимым на всю жизнь,—из под власти их идей она никогда не сумела выбиться и потому-то не сумела стать прочной и верной союзницей новых сил даже в своей социальной среде—среде дворянской интеллигенции. Эти истоки становятся особенно ясными в свете материалов строгановских альбомов,—ранние интересы и творчество княжны Белосельской помогают, в значительной степени, осмыслить позднейшее творчество и позднейший путь княгини Зинаиды Волконской.

В альбомах она представлена очень богато и прозой и стихами. Несколько пьес, записанных здесь, вошло позже в посмертное издание ее сочинений, например, «La musique»—по преданию, необычайно восхитившая M-me де Сталь. В настоящей публикации мы воспроизводим три послания: к M-me де Сталь, к артистке Жорж и к Спада (в собрании ее сочинений опубликованы две аналогичные пьесы: «A Madame Philis Andrieux» и «A Mademoiselle Mars»), и стихотворение «Бабочка».

СТИХОТВОРЕНИЯ КСАВЬЕ ДЕ МЕСТРА

STANCES SUR LE TEMS

Le rapide torrent du tems inexorable
A dépouillé mon front des roses du printems,
Bientôt de mon été la saison peu durable
Cédera sans retour à l'hiver de mes ans.

Une secrète terreur s'empare de mon âme
A l'aspect effrayant de ce tems de douleurs,
Je le vois de mes jours prêt à couper la trame,
Je le sens qui m'entraine et me glace le cœur.

Le Zéphire agitant un feuillage mobile
Annonce à ma saison son invisible cour.
Le fleuve qui s'écoule et paroit immobile
Peint le tems qui nous trompe et qui fuit pour toujours.

Il est dans le cerveau du sage qui médite,
Il coule avec le sang dans les moindres vaisseaux,
Et chaque battement du cœur lorsqu'il palpite
Est un pas de ce dieu qui nous pousse au tombeau.

Il échappe à l'esprit qui cherche à le comprendre,
Et l'esprit toutefois sert à le mesurer
Il est entre les mots que ma voix fait entendre
Et que j'arrange en vain sans pouvoir l'expliquer.

Comme un spectre effrayant au bout de la carrière
Je découvre la mort sans pouvoir l'éviter,
Je vois que rien n'échappe à sa faulx meurtrière
J'en approche sans cesse et ne puis m'arrêter.

Ainsi le matelot, victime du naufrage
Poussant vers sa patrie un funeste soupir
Regarde en frémissant au milieu de l'orage
La vague qui s'avance et qui va l'engloutir.

Перевод:

СТАНСЫ О ВРЕМЕНИ

Потока времени упрямое стремленье
Смывает с щек моих роз первых вешний цвет,
И лета моего короткое мгновенье
Уж скоро сменится зимой увядших лет.

Владеет тайный страх унылою душою,
Когда пред ней, грозясь, лик времени встает,
Оно меня влачит насильно за собою
И, сердце леденя, у Парки нитки рвет.

Зефир, волнующий трепещущие травы,
Невидимую смерть мне шелестом вестит.
Река, текущая незримо вдоль дубравы,
Подобно времени—бежит и не бежит.

Мысль мудреца оно раздумьем наполняет,
Оно течет в крови сквозь сеть мельчайших жил,
И сердца каждый вздох, который грудь стесняет,
Шаг божества, что нас толкает в сень могил.

Людскому домыслу оно едва понятно,
Хоть ум кидает лот в его бездонный ров.
Оно—в моих словах, произносимых внятно,
Но облекаемых в туманности стихов.

Смерть страшным призраком встает передо мною,
Куда б ни повела меня моя стезя:
Все скашивает смерть убийственной косою,—
А я все ближе к ней, и шаг сдержать нельзя.

Не так ли и матрос в просторах океана
Взывает к родине, крушенье потерпев,
И видит, трепеща, средь бури и тумана,
Как, налетев, волна пред ним разверзла зев!

СТИХОТВОРЕНИЕ В ПРОЗЕ

1

Cette couronne parfumée sur ma tête chénue devient l'auréole d'un demi-dieu. Je suis heureux! Je suis du banquet de [illisible].

2

J'ai aimé, j'aime et j'aimerai encore! Toujours! au delà de la vie: le souffle des ans fait rider mon front, mais mon cœur n'a point d'âge.

3

Que dis-je d'amour! Je ne veux point aimer aujourd'hui. Je vois que j'aimerai trop, beaucoup trop: et je mourrai sous le poids du respect et du silence.

4

Amour! Je t'ai vu. Viens naître sur la tendre fougère, tu étais si vif, en ouvrant tes yeux si inquiets, si pétulant dans les langes, que Vénus t'abandonna à ton humain volage.

5

Elle détache d'une rose la feuille la plus rebondie et l'attelant de deux papillons fougueux te plaça dedans: et vogue la nef dans les airs!

6

Un grand vent s'éleva et faible comme Icar tu tomba du ciel... dans mon cœur; et ta feuille rose et tes papillons coulèrent dans celui de Corinne. Voilà pourquoi Corinne est si fraîche et si légère et moi si ardent.

Перевод:

1

Этот душистый венок на моей седой голове превращается в ореол полубога. Я блажен! Я на пиршестве у [нерзб.].

2

Я любил, люблю и буду вечно любить! Всегда!—даже за гранью жизни: дыхание лет покрыло морщинами чело мое, но возраста мое сердце не знает.

3

К чему говорю о любви? Я не ищу любви теперь: я чувствую, что полюблю чрезмерно, более, нежели чрезмерно, и угасну под бременем благоговения и безмолвия.

4

Любовь! Тебя узрел я. Родившись на нежном папоротнике, ты была так резва, едва разомкнув свои жадные вежды, так неуемна уже в пеленах, что Венера тебя оставила человеческому непостоянству.

5

Она срывает с розы самый выпуклый лепесток и, запрягши в него две летуньи-бабочки, посадила тебя внутрь: плыви, ладья, по воздуху!

6

Вихрь поднялся, и, слабая, как Икар, ты упала с небес... в мое сердце; и твой розовый лепесток и бабочки твои утонули в сердце Коринны. Вот почему Коринна так свежа и нестойка, а я так пылок.

СТИХОТВОРЕНИЯ ЗИНАИДЫ ВОЛКОНСКОЙ

A MADAME DE STAEL EN LUI RENVOYANT CORINNE

Que j'aime à retrouver dans vos recits* touchants
L'empreinte de ce feu qui penetre Votre âme!
L'imagination de ses ailes de flamme
Traverse les climats qu'ont illustrés vos chants!
Salut! Belle Italie! à toi dont la parure
Reunit tous les dons epars dans la nature,

* В оригинале описка: cerits.

Et se compose tour à tour
De fleaux de souvenirs, de regrets et d'amour!
Corinne! je te suis dans ces ruines sombres
Au pied de ces volcans qui enivrent leur fureur
Alors que ton pinceau nous trace tes douleurs,
Et peuple ces déserts de magnifiques ombres!
Je n'ai point comme vous de ces bards enchanteurs
Eprouvé la noble influence,

ЗИНАИДА ВОЛКОНСКАЯ
Рисунок Д. В. Веневитинова
Музей Пушкина, Москва

Dans le sein des frimats s'écoula mon enfance,
Chez nous l'astre du jour n'est pas le Dieu de vers,
Le luth languit sans harmonie.
Aussi la fleur éclose au milieu des hivers
Exhale en s'entrouvrant un vain souffle de vie.
C'est à vous de chanter, à vous dont le génie
Sous un ciel libéral a pris un libre cours.
La gloire Vous reclame, et l'amitié fidelle
Qui voudroit seul occuper tous vos jours
Vous offre en soupirant une palme immortelle.

Перевод:

К МАДАМ ДЕ СТАЛЬ, ВОЗВРАЩАЯ ЕЙ «КОРИННУ»

Как любо узнавать за вашими словами
Мне вновь ту пламенность, что душу вам зажгла,—
Огонь фантазии, раскинувшей крыла
Над далями страны, изображенной вами!
Привет, Италия!—Природный твой убор
Собрал всю красоту, какой взыскует взор;
Твои сокровища богаты
И памятью любви, и горечью утраты.
Коринна! Вслед тебе, я—средь руин, чья мгла
Ведет к подножью гор, где лава клокотала,
Где кисть твоя печаль души запечатляла
И гордый сонм теней в пустыню привела.
Мне не дано, как вам, изысканных певцов
Великолепное наследство:
В стране морозных вьюг я проводила детство,
У нас светило дня не жалует стихов,
И лира чужда сладким звонам,
И цвет, раскрывшийся на воздухе студёном,
Едва-едва дохнув, уже увясть готов.
Так! Петь—не мне, а вам, чей гений знал покров
Сочувственных небес и взыскан был судьбою!
Вас слава требует! А дружба, что одна
Хотела б ваши дни заполонить собою,
Вздохнув, бессмертный лавр вам поднести должна!

VERS A MADEMOISELLE GEORGE[14]

Quelle est cette beauté, qui des bords de la Seine,
Pour enchanter nos cœurs arrive en ces climats?
La grâce, les accens, le port de Melpomène,
La puissance d'Armide et ses divins appas,
De l'orner, tour à tour se disputent la gloire,
Et charment à l'envie notre esprit enchanté!
Voulez-vous décerner le prix à la beauté!
Le talent, aussitôt remporté la victoire;
Elle sait de l'amour peindre tous les Revers,
Soit Phèdre sans espoir à ses remords livrée,
Ou soit Semiramis par l'espoir énivrée:
Son front est le miroir de ces combats divers.
De mille passions elle emprunte l'organe;
Et son art ravissant lui fait prendre soudain
Avec l'ancien Palla* le courage Romain,
Avec le fier turban le cœur d'une Ottomane.
Apollon! Dieu des Vers! échauffe mes accens!
Soutiens ma faible voix pour chanter tant de charmes
Retrace-moi ses traits, ces yeux étincellans,
Ces yeux qui brillent même appesantis de larmes...

* Palla—habit des femmes romaines.

Mais que dis-je?.. il faut être un de ces immortels
Dont elle rend si bien les chefs-d'œuvre tragiques,
Et pour oser semer des fleurs sur ses autels.

Перевод:

К M-lle ЖОРЖ

Кто та красавица с брегов далекой Сены,
Прибывшая сюда нам чувства чаровать?
В ней голос, грация и поступь Мельпомены,
Армиды мужество и женственная стать
Ведут друг с другом спор, кому из них дарами
Она обязана? Мы рукоплещем все,
Но лишь надумаем воздать хвалу красе,
Как гений празднует победу сам над нами.
Все облики Любви являет нам она:
Вот—Федра, в ком живут и ужас, и обида!
Вот опьяненная мечтой Семирамида!
Челом ее борьба страстей отражена,
И в огненности чувств и в гордости осанки
Воплощены ее искусною игрой
Отвага Римлянки под паллою простой,
Под пышною чалмой—неистовство Турчанки.
Феб! Бог поэзии! Мой стих одушеви!
Да не ослабнет он пред этою красою,
Да воссоздаст и лик, исполненный любви,
И взор, не прячущий сверканья за слезою!
Что смею говорить?!. Я—не из тех певцов,
Чьи дивные она передает творенья,
Чтобы осмелиться слагать ей песнопенья
И к алтарям ее нести венки цветов.

COUPLETS A SPADA

(Sur l'air: «Aussitôt que la lumière»)

1

Aussitôt que la chandelle,
Vient éclairer mon manoir;
Je m'assieds dans ma ruelle,
Et j'y lis matin et soir;
Mes biens surpassent les vôtres,
J'ai des livres,—et puis rien...
Mais cherchant l'esprit des autres,
N'y perdrai-je pas le mien?..

2

Gloire à ma Bibliothèque!
Elle vaut un coffre-fort;
Milton, Le Tasse et Sénèque
Donnent le mépris de l'or.
En effet que sert de vivre,
Quand on n'a pas de bouquins?..
Moi, j'aime mieux un seul livre,
Que mille livres sterlings!

3

Je désire qu'on m'enterre
Dans un tas de manuscrits;
Et qu'on grave sur ma bière:
«Ci-gît un Liseur sans prix.
«Las! Le mangeur de volumes,
«Ne peut plus lire, dit-on,
«De ses ouvrages posthumes
«La dernière édition».

Перевод:

К СПАДА

(На мотив: «Лишь забрезжит свет...»)

1

Лишь свеча, в тиши пылая,
Осветит приютец мой,—
Я сажусь за стол, читая
Одиноко в час ночной.
Я—богач, как там ни числи:
Книги есть,—чего ж желать?
Но, копя чужие мысли,
Мне б своей не потерять!

2

Исполать, библиотека!
Что мне золота сундук?
Мильтон, Тассо иль Сенека—
Человеку лучший друг!
Для чего нам жизни миги,
Если книг на полке нет?
Ни одной не дам я книги
И за тысячу монет!

3

Пусть же прах мой, коли стою,
В манускриптах погребут
С эпитафией такою:
«Редкий чтец положен тут.
«Только сей глотатель знанья
«Не прочтет уж ничего
«Из посмертного изданья
«Сочиненья своего».

LE PAPILLON

Ce sont petits cadeaux qui font les grands amis:
L'Amitié vit de peu, rien est beaucoup pour elle,
Et qui plus est, entre gens bien unis,
Riches cadeaux seroient un sujet de querelle;
Mais ce n'est point ici le cas.
Deux bonnes sœurs s'aimoient d'une amitié fidèle:
L'une étoit brune, elle avoit des appas,

Et l'autre, quoique blonde, étoit loin d'être belle;
L'une étoit mariée, et l'autre demoiselle.
L'une avoit des joyaux, et l'autre n'avoit pas.
L'ainée, un jour, assise à sa toilette,
Se souvient que c'étoit la fête
De sa sœur: aussitôt elle ouvre son ecrin,
Cherche longtems et trouve enfin
Un papillon, non tel que dans la plaine,
On en voit poursuivi par de petits enfants,
Ni comme ceux qu'on voit sur les fleurs du printems:
Ce Papillon, d'un grand est la frappante image,
Il brille, soit; mais vit dans l'Esclavage,
Son dos est chargé de Brillans,
Petits, a dire vrai, mais gentils et luisants;
Les ailes sont parsemées
Ou pour mieux dire clair-semées;
«Tenez ma sœur, voilà mon cadeau prêt:
«Venez parer en votre tête».
Aussitôt accourt la cadette,
En poudre jaune, en grand toupet;
Saute au cou de sa Sœur; mais celle ci l'arrête,
Et lui dit en l'embrassant:
«Ma sœur attendez un moment;
«J'ai réfléchi dans ma sagesse,
«Et trouve ce présent trop riche, oui, tout de bon,
«Le luxe gâte la jeunesse».
Vite, elle prend le pauvre papillon,
Lui casse une aile avec adresse,
Puis l'autre; d'un seul geste sans façon,
Le métamorphose en Chenille,
Et remet à sa sœur l'insecte mince et long
Perché sur une longue aiguille.
Notre blonde d'en fut dit-on,
Ni plus riche, ni plus jolie;
Mais contente elle fut, et c'est tout dans la vie;
Nos deux sœurs savoient fort bien,
Qu'un rien est tout, donné par une main chérie;
Ce présent eut eté trop beau pour une amie,
La belle Brune, aussi, sut reduire le sien,
Dans un clin d'œil a presque rien.

Перевод:

БАБОЧКА

Пускай безделки нам порой дарят друзья:
Для дружбы истинной и малое уж много,
А сверх того добавлю я:
В подарках попышней—лишь ссоры да тревога.
Но не об этом мой рассказ:
Дружили две сестры, и дружбою счастливой;
Одна—брюнеточка, собой весьма видна,

Другую, русую, нельзя назвать красивой.
Та—замужем; а эта—в девках, что не диво!
Та—в драгоценностях, а эта—так бедна!
Раз как-то старшая в роскошном будуаре
В день именин сестры подумала о даре,—
И вот, не мешкая, она взяла ларец
И, в нем порывшись, наконец,
Достала бабочку, да не такую,
За коей гонится по лугу детвора,
Порхающую там по всем цветам с утра:
Нет, в этой символ был людской богатой доли,—
Она блистательна, зато живет в неволе,
Камней на спинке не сочтешь,
    И крылья светятся огнями,
    Семиждыцветными камнями.
«Сестрица, погляди: подарок мой готов!
«Укрась им локон златокудрый!».
Уж, взбивши волосы в налете желтой пудры,
    Меньшая бросилась на зов,
На шею кинулась,—но дама спохватилась
    И, младшую прижав к груди:
    «Постой, сестрица, погоди,—
    «Я в пользе дара усомнилась.
«Подарок слишком щедр, он принесет лишь зло,—
«Для девы в роскоши есть что-то роковое...».
Тут бабочку она схватила за крыло
И, оборвав его, вцепилась во второе.
    Пред изумленною сестрой
Вот в гусеницу вмиг свой дар преображает
И так ее сестрице возвращает,
Чуть прикрепленною к булавке золотой.
    Ну, что ж,—от этого Блондинка наша
    Не стала ни достаточней, ни краше,
    Но рада все ж была,—чего же больше ей?..
    Сестрицы знали: в жизни сей
    Пустяк от сердца—всех богатств дороже!
Подарок, правда, был излишне щедр, но все же
Ведь и себе самой Брюнеткой нанесен
Подобным действием изряднейший урон!

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Библиотека графов Строгановых в Томском университете».—«Русский Библиофил», 1914, II, 5—10. Очерк подписан инициалом «N», но, как указано в примечании, он составлен по материалам, сообщенным библиотекарем Томского университета А. И. Милютиным, которым написана и часть текста.

[2] С. Дурылин, Русские писатели у Гёте в Веймаре, глава VI. Люди 14 декабря—Гёте. II. Аристократ декабристских настроений у Гёте в Веймаре.—«Литературное Наследство», № 4—6, 404—420.

[3] «Русский Библиофил», 1914, II, 11—14. Они частично описаны в упомянутой выше статье А. И. Милютина. Описание не полно и изобилует крупными ошибками. А. И. Милютин путает А. М. и В. Л. Пушкиных, принимает за разных лиц княжну З. А. Белосельскую и княгиню З. А. Волконскую, пропускает совсем Ксавье де Местра и т. д.

СПЯЩИЕ СОЛДАТЫ

Рисунок Ксавье де Местра

Музей изобразительных искусств, Москва

[4] Spada Антуан (ум. 1843)—австрийский (из Пьемонта) подданный; бывший аббат, отказавшийся от сана во время революции, в 1801 г. эмигрировал в Россию и был учителем в доме кн. Белосельского-Белозерского. В 1812 г. он получил место почетного библиотекаря Императорской публичной библиотеки. Вскоре же по приезде в Россию начал работать над сочинениями по русской истории. Первоначально он хотел издать (на французском языке) историко-биографический словарь русских государственных деятелей, но это предприятие ему не удалось завершить. В 1816 г. вышло четыре тома его «Эфемерид»—обширного сочинения, цель и характер которого отчетливо определяются самим заглавием: «Ephémérides russes politiques, littéraires, historiques et nécrologiques présentant dans l'ordre des jours de l'année un tableau des événements remarquables qui datent de chacun de ces jours dans l'histoire de la Russie jusqu'en 1816»,—другими словами, то был своеобразный опыт изложения истории по дням календаря. Каждый день отмечался каким-либо историческим событием. Под 22 сентября 1815 г. отмечена смерть барона Александра Сергеевича Строганова: «Mort de M. le baron Alexandre Stroganoff, conseiller privé, chambellan, chevalier de l'ordre de Ste Anne de la première classe, décédé dans la 43 année de son âge». С 1819 г. жил в Одессе, преподавал в Ришельевском лицее французский язык и французскую литературу, позже служил в Одесской публичной библиотеке и был цензором; с 1833 г. заведывал Одесским музеем древностей.

[5] «Русский Библиофил», 1914, III.

[6] См. о нем очерк В. А. Верещагина.—«Русский Библиофил», 1916, I.

[7] Как известно, Павел Строганов был в Париже во время революции, был увлечен ею и даже вступил в члены Клуба якобинцев,—это давало повод говорить о крайне левых позициях молодого Строганова, однако, в данном вопросе налицо некоторое нарушение перспективы, так как Клуб якобинцев в период августа—декабря 1790 г., когда Строганов был его членом, совсем не походил на то, чем он стал впоследствии. В это время он выражал взгляды конституционно-монархического большинства Национального собрания, а «простонародный» элемент был, напротив, исключен из клуба (см. А. Олар, Очерки и лекции по истории Французской революции, 1908, 33—35).

[8] А. И. Некрасов, К вопросу о литературных источниках «Кавказского пленника» Пушкина. (Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности ак. А. С. Орлова, Л., 1934, 153—163). Здесь дана сводка биографических и библиографических данных о Ксавье де Местре. В дополнение отметим недавнюю работу: F. Baldensperger, Le mouvement des idées dans l'émigration française, P., 1924.

[9] Родной дядя А. С. Строганова, Александр Николаевич Строганов, был женат на Елизавете Николаевне Загряжской. Пушкин, женившись на Н. Н. Гончаровой, стал также в родственные отношения к Ксавье де Местру и его жене, так как последняя была родной сестрой (по отцу) теще Пушкина, Н. И. Гончаровой. Это обстоятельство осталось неучтенным А. И. Некрасовым в названной выше его статье, где он тщательно подбирает факты в защиту неизбежности литературного знакомства Пушкина с Ксавье де Местром. Были ли они лично знакомы, сказать трудно, так как с 1825 по 1839 гг. Ксавье де Местр жил в Италии, но с родными Пушкина он был знаком: известный миниатюрный портрет Н. О. Пушкиной (матери поэта) рисован Кс. де Местром.

[10] См. библиографию о ней в книгах: Е. Г. Волконская, Род князей Волконских, СПб. 1900, 716; Г. Геннади, Справочный словарь русских писателей и ученых. 1725—1825, Берлин, 1876; С. Н. Дурылин, Русские писатели у Гёте в Веймаре, глава VII. Московские любомудры у Гёте.—«Литературное Наследство», №4—6, 1932, 477—481; см. также А. Линниченко, Речи и поминки. Од. 1914, 54—65.

[11] «Архив Декабриста», П., 1918, XLI.

[12] В 1826 г. З. Волконская выпустила отдельной брошюркой кантату Александру I, где писала:

Брат ратникам и вождь любимый,
Смиренный, непоколебимый,
Посредник праведный, на троне человек!

Эту кантату она послала также и Гёте.—«Лит. Наследство», № 4—6, 481.

[13] «Новый Энциклопедический Словарь», XI, 410.

[14] M-lle Жорж—сценический псевдоним знаменитой французской актрисы Маргариты-Жозефины Веймар (1786—1867). В России M-lle Жорж была в 1808, 1809, 1812 гг. и позже, в 40-х годах. Данное послание относится, очевидно, ко времени первого приезда ее в Россию, так как в оригинале оно подписано «par la Princesse Z. Béloselsky» (замуж за кн. Волконского Зинаида Белосельская вышла только в 1811 г.) и включено в состав альбома «Pot-pourri 1808».

Г-ЖА ДЕ СТАЛЬ И ЕЕ РУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Статья С. Дурылина

I. Г-ЖА ДЕ СТАЛЬ В ВЕНЕ В 1808 г.

Говоря однажды об Австрии, продолжавшей в XVIII в. возглавлять средневековую Священную Римскую империю (Saint Empire Romain), Вольтер язвительно спросил: «Pourquoi Saint? Pourquoi Empire? Pourquoi Romain?».

Словно в ответ Вольтеру, Наполеон вычеркнул после аустерлицкого погрома это тысячелетнее название из списка государств Европы, оставив разгромленную им Австрию почти в полном бессилии от нанесенного ей позора и разорения.

1807 г. был апогеем могущества Наполеона. Германия и Италия были ему покорны; неудачи в Испании еще не успели набросить первой тени на военную славу знаменитого полководца. Вдохновитель третьей коалиции против Наполеона, Вильям Питт, умер, потрясенный аустерлицким поражением. Другой противник Наполеона, Александр I, проигравший войны 1806 и 1807 гг., превратился в его союзника. Никто не сомневался в подневольности этого союза, заключенного Наполеоном,—

... когда с победным договором
И с миром и с позором
Пред юным он царем в Тильзите предстоял.

(Пушкин)

Союз Наполеона с Александром I означал политическое одиночество Австрии на континенте Европы. Поставленная Наполеоном I на колени, она не хотела примириться с этим неудобным положением, но принуждена была не менять его до поры до времени. Это время должно было наступить тогда, когда феодально-крепостническая Австрия, призаняв денег у Англии, накопив военного снаряжения, набрав новых галицийских и венгерских крестьян в солдаты, могла бы вновь пойти против Наполеона.

«Австрия собирала все свои силы. Австрийский двор, аристократия, среднее дворянство—инициаторы этой войны—были единодушны; даже венгерское дворянство было на сей раз вполне верно «короне»: нужно было защищать и укреплять общее священное для них благо—крепостное право, которое было так страшно урезано географически и расшатано политически Наполеоном в трех войнах, 1796—1797, 1800 и 1805 гг., когда он разгромил австрийскую армию и отнял лучшие земли у монархии Габсбургов»[1].

Но собирать свои силы против Наполеона австрийское правительство могло лишь под почтительнейшей маской полнейшей преданности и покорнейшего восхищения «трудами и днями» нового властителя Европы.

В придворной и аристократической Вене чем глужбе ненавидели Наполеона, тем больше ему льстили. В инсценировке всеобщего восхищения перед Наполеоном участвовали все, но за спиной французского посла Андреосси все отдавались подлинным враждебным чувствам к Наполеону.

В австрийской инсценировке принял участие и русский император. Александр I сменил своего посла в Вене, блистательного графа Андрея Кирилловича Разумовского, ненавидевшего Наполеона, и на его место назначил отнюдь не блистательного князя А. Б. Куракина, которому вменено было в обязанность при всяком удобном случае свидетельствовать дружбу двух монархов.

Граф Андрей Разумовский был старым любимцем аристократической Вены. Внук украинского реестрового казака Разума, сын гетмана Украины, Андрей Разумовский был послом в Вене с 1791 г., но впервые попал туда еще в 1777 г. и так глубоко пустил в Вене жизненные корни, что одинаково мог считаться русским послом и австрийским grand seigneur'ом,—и вторым мог считаться с бо̀льшим правом, чем первым. Женатый на графине Елизавете Тун, Разумовский породнился с венскою знатью и вошел в ее тесный и замкнутый круг.

Разумовский писал на превосходном французском языке свои депеши, «ловко вел переговоры, умел окружить себя даровитыми личностями. Одного только недоставало ему,—это ясного сознания нужд и выгод России. Разумовский был отличный дипломат в общем, нарицательном, смысле этого слова, но он всегда был и до конца жизни оставался плохим русским послом». Такой приговор выносит Разумовскому его внимательный биограф, посвятивший ему два тома в тысячу слишком страниц[2].

Зато тот же Разумовский превосходно умел ладить со всеми петербургскими властителями. Страстный любитель классической музыки, покровитель Гайдна и Бетховена, Андрей Разумовский писал Потемкину, когда тот скучал под Очаковом: «Ваша светлость, моя обязанность—быть здесь вашим комиссионером. Душою и телом я готов исполнить всё, что вы рассудите мне приказать. Я напрягаю все усилия, чтобы отправить к вам первого клавесиниста и одного из способнейших композиторов Германии, по имени Моцарта, который несколько затрудняется предпринять это путешествие». Моцарт, уже написавший «Дон-Жуана» (1787), в должности военного капельмейстера при штабе «великолепного князя Тавриды»—это не казалось нелепым Разумовскому. Он умел прислужиться и к заместителю Потемкина, Платону Зубову, политическими сплетнями, тонкими винами, менуэтами Гайдна и титулом сперва графа, а затем и князя Священной Римской империи[3].

В своем быту, в своих вкусах, во всей своей повадке Разумовский напоминал гордых и надменных французских маркизов прошлого века. Князь де Линь, беседуя с Разумовским, забывал, что он живет в Вене, в которой уже побывал Наполеон, а воображал, что находится в Версале, над которым еще не прогремел гром революции. Посол в Лондоне, чинный и строгий граф Семен Воронцов, с желчью пенял на Разумовского, что «к несчастию, этот посол, при всех его больших способностях, человек совершенно порочный... одним словом, он воспринял все нравы французских вельмож, известных под прозвищем милых беспутников (aimables roués)»[4].

После Тильзита Александру было неудобно оставлять своим послом в Вене Разумовского, ненависть которого к Наполеону была известна,

и он заменил его покладистым и серым Куракиным, но не решился заставить Разумовского уехать из Вены, когда он отказался принять пост посла в Лондоне. С другой стороны, хотя в столице Австрии всячески льстили Наполеону, однако, лесть эта не доходила до того, чтобы воспретить Разумовскому пребывание в Вене.

«Беспечно окружась Корреджием, Кановой», Разумовский радушно принимал в своем великолепном венском доме гостей, угощая их изысканными ужинами и музыкой Бетховена, который в это самое время посвятил Разумовскому одну из частей своей 6-й симфонии.

В Вене оказались два русских посла: один, официальный, князь Куракин, представлял особу Александра I, другой, неофициальный, граф Разумовский, «представлял,—по выражению одного французского историка-дипломата,—ту часть русского дворянства, которая не разделяла образа мыслей своего монарха,—а почти вся русская знать не разделяла этих мыслей»[5],—как не разделяла их не только австрийская, но и вообще почти вся европейская знать. Влияние второго посла России бесконечно превосходило влиятельность первого. В прекрасном доме Разумовского велись разговоры и строились планы, к которым внимательно прислушивался сам Наполеон ушами своих агентов. Когда через год Наполеон вошел победителем в Вену, он приказал войскам занять дворец Разумовского, освободив от военного постоя дворцы всех других венских вельмож. Позднее, в 1810 г., когда Куракин уже был послом в Париже, Наполеон приказал своему министру иностранных дел, Шампаньи, написать русскому послу: «Во главе этого общества [зачинщиков континентальной войны] находится бывший посол в Вене, граф Разумовский. Император русский может оказать весьма приятную услугу французскому правительству, вызвав из Вены подобных лиц и предписав им жить каждому у себя на родине в своем имении»[6].

Бывший русский посол, действительно, был открытым выразителем тех антинаполеоновских чувств, консервативно-феодальных чаяний и реакционных надежд, которыми исподтишка жила аристократическая Вена. Вена была в 1807—1808 гг. столицей европейской реакции против Наполеона, а дворец русского ех-посла был там единственным местом, где эта реакция могла выступать без маски.

Вена в те времена, вспоминает русский дипломат граф А. И. Рибопьер,— «город роскоши и веселья, столица вкуса и утонченности. Жизнь протекала, как упоительный сон... Ко двору почти не езжали. Там приемов не бывало. Никто об этом, впрочем, не беспокоился, несмотря на искреннюю преданность престолу. Венская аристократия была самая независимая из всех аристократий...». «Послы и представители первых имперских семейств давали беспрестанно пышные обеды, за которыми следовали вечерние приемы. За обедами этими было много непринужденности, но, тем не менее, старые обычаи и этикет строго соблюдались»[7].

Другой молодой русский дипломат, приехавший в Вену 18/30 марта 1807 г., незадолго до Тильзита, когда Разумовский принужден был уступить свое место Куракину, Сергей Семенович Уваров, тогда еще всего только камер-юнкер, умевший читать по-латыни и по-гречески, вынес из встречи с Веной несколько иные впечатления и отразил их в своих неизданных французских заметках: «Из записной книжки русского путешественника»[8]. Вот в каком свете представляется Уварову венская аристократия.

«Закон о майорате, в силу которого почти все состояние целиком переходит к старшему в роде, сохраняет неприкосновенность крупных богатств. Обычно приходится видеть, что старший брат в семье пользуется исключительными по своим размерам средствами, в то время как младшие не знают, на что жить. Однако, способ, как эти богачи пользуются своими богатствами, совершенно невероятный. Редко, когда они держат открытый дом,—обыкновенно они ведут замкнутый образ жизни, прозябая в своих огромных дворцах, куря и напиваясь в своей среде... Главная причина—в плохом воспитании: им чуждо всё, что возвышает и питает духовные интересы; они презирают литературу и образованность, необузданно увлекаются лошадьми и продажными женщинами. Государственное устройство таково, что вовсе не содействует духовному развитию общества. Аристократия презирает правительство за его явную слабость, а народ презирает аристократию, которая вместо того, чтобы стремиться отличаться благородством и талантами, находит удовольствие только в темных пороках, в которых погрязла».

Уварова, слушавшего лекции в Гёттингене, много читавшего на пяти языках, поразило тупое равнодушие австрийской аристократии к литературе и искусству: «У австрийской знати нет склонности к изящной литературе, ни к искусству, во всяком случае, эти склонности крайне редки и малозначительны среди представителей высшего общества. В настоящий момент в Вене очень мало артистов и нет ни одного известного литератора или ученого. Аристократия горделиво их отталкивает и предпочитает замыкаться в своем невежестве, правительство их не поддерживает. Герцог Альберт Саксен-Тешенский и банкир граф де Фрис, повидимому, одни только и покупают картины и гравюры[9]. В Вене не выходит в свет ни одного литературного произведения сколько-нибудь выдающегося. Книгопродавец Деген[10] выпустил несколько прекрасных, изящных изданий с произведениями некоторых немецких поэтов, но никто не обратил на них внимания».

Большой императорский двор не отличался также особой культурностью. Уваров отмечает: «Рассказывают, что покойная императрица, влияние которой не распространялось дальше узкой дворцовой сферы, устраивала в Лаксенбурге всяческие увеселения с участием своих горничных и лакеев и т. п. Все эти празднества имели целью удержать императора в сфере ее влияния и обособить его от всякого другого общества».

Уваров заносит далее в свой дневник: «Императрица при смерти. Обстоятельство это нисколько не изменяет ни у кого выражения лица, не заметно никакого волнения, в обществе известие это не помешало никому вчера, как обычно, прогуливаться в Пратере. Большинство ворчит по поводу запрещения театральных представлений, высшие круги ведут себя еще скандальнее». Когда императрица умерла, Уваров «не заметил ни одного расстроенного лица ни у тех, кто приходил прощаться с останками императрицы, ни у возвращавшихся оттуда. Много любопытных, но никакой общественной скорби».

Молодой русский либеральствующий монархист делает печальный, с его точки зрения, вывод: «Простонародье всех наций имеет своим девизом: panem et circenses! (хлеба и зрелищ!). Это общий крик так называемых цивилизованных народов».

Однако, в 1807—1808 гг. в Вене «народ безмолвствовал», аристократия танцовала и веселилась, витийствовала против Наполеона в салоне Разу-

Г-ЖА ДЕ СТАЛЬ
Гравюра П.-Л. Бувье, 1817 г., с его же портрета 1816 г.
Музей изобразительных искусств, Москва

мовского, и могло казаться со стороны, что Вена—это немецкий Париж, еще не подчиненный Наполеону, и что свободный голос независимой политической мысли мог вольно раздаваться в ее салонах.

Так думала г-жа де Сталь; изгнанная из Франции, она надеялась найти прекрасный роздых от своих скитаний, когда в декабре 1807 г. въехала в императорскую, но не наполеоновскую Вену.

В это время г-жа де Сталь числила за собой пятый год невольного скитальчества и около двадцати лет писательской деятельности, но трудно решить, чему была она больше обязана своей громкой известностью— долголетнему ли писательству или недолгому, сравнительно, но шумному изгнанничеству.

Ее романы «Дельфина» и «Коринна» были прочитаны всей Европой; ее книга «О литературе» (1800) читалась не меньше, чем эти два романа, но путь к известности от Парижа до Москвы и от Неаполя до Стокгольма прокладывала этим книгам летучая молва о гневе Наполеона, возбужденном г-жой де Сталь, ее книгами и ее политическим салоном.

Шатобриан, издавший (в 1802 г.) своего «Гения христианства», в котором нельзя было не учуять духа надвигающейся католической и монархической реакции, со злобной усмешкой писал Фонтаню про г-жу де Сталь: «Она, повидимому, не благоволит к современному правительству и оплакивает дни бóльшей свободы», а Фонтань вторил Шатобриану: «Эта книга [«О литературе»] представляет собою искание той химеры совершенства, которую силятся теперь противопоставить настоящему порядку вещей»[11].

Достаточно было вникнуть в заглавие книги г-жи де Сталь: «De la littérature, considérée dans ses rapports avec les institutions sociales» («О литературе в ее отношениях с социальными установлениями»), чтобы понять ее основную мысль: литература находится в живой и прямой связи с общественно-политическими условиями жизни народа, и если эти условия далеки от политической свободы, то невозможно ожидать расцвета литературы. Книга «О литературе» была в глазах Наполеона книгой о нем самом и об его эпохе.

«Дельфину», написанную в 1798 г., но изданную лишь в 1802 г., Наполеон прочел со вниманием. Этот роман—одновременно исповедь и портрет: на это указывала еще Альбертина Неккер де Соссюр, первый биограф г-жи де Сталь; она писала «Дельфину», позируя для автопортрета в юности. Автопортрет вышел столь схож, а роман столь явно превратился в автобиографию, что все удары, направленные на то или на другое в романе, непременно затрагивали самоё г-жу де Сталь. С каждой страницы этого романа в письмах доносится непрерывный страстный протест против того житейского порядка, который допускает подчиненность женщины. Восстанавливая попранные права чувства, г-жа де Сталь de facto выступила против нерушимости церковного брака и против всех гражданских установлений, которые его поддерживали. Это выступление приобретало политический характер. Оно происходило как раз в то время, когда Наполеон заключал конкордат с Римом.

Наполеон, по его собственным словам, нашел в «Дельфине» «беспорядок в мыслях и воображении», он смеялся над «чувствительностью» романа. Этого было достаточно, чтобы критики во сто голосов принялись составлять шумливый обвинительный акт против автора романа. Г-жа де Сталь была обвинена в безнравственности и безбожии. Официозно организованная кампания против романа умножила известность г-жи де Сталь, в особен-

ности, когда борьба вступила в новую фазу, с применением нового оружия, уже не литературно-критического.

Весною 1802 г. Наполеоном был запрещен салон г-жи де Сталь. Парижский салон был ее лучшим созданием, в которое она вложила все яркое, что было в ее уме и таланте. Ее разговоры, ее увлекательное устное творчество—это наиболее блестящее, что было в г-же де Сталь. Этому она научилась еще в юности, в салоне своей матери, где (одиннадцати лет) она уже внимала политическим рассуждениям своего отца, Неккера, блестящим речам Рэналя, Бюффона, Гримма и декламациям Мармонтеля и Лагарпа. То, что происходило в салоне г-жи Неккер, было репетицией того, что впоследствии происходило в собственном салоне Жермены Неккер, вышедшей в 1786 г. за шведского посланника, барона Сталь-Гольстейна.

У нее был талант, может быть, гений мыслительного почина, энергичный талант возбудителя чужих раздумий и новых чувств, ищущих запечатления в смелой мысли и прекрасной форме.

Идеи учредительного собрания 1789 г.—вот политический лозунг салона г-жи де Сталь. С вхождением в революцию новых демократических сил, с приходом в нее четвертого сословия, с осложнением и углублением задач революции до социального переустройства общества и государства из политического салона де Сталь постепенно исчезал воздух революции, и ее салон смыкался в кружок людей, которые, с восторгом приветствовав начало революции, устрашились ее бурной середины и потому нетерпеливо ожидали ее конца. После сентябрьских дней г-жа де Сталь удалилась в Англию, откуда вернулась в Париж в мае 1795 г. Под кровом ее мужа, посланника той страны, которая первая признала Французскую республику, мог свободно возобновиться салон г-жи де Сталь.

В 1795 г. г-жа де Сталь издала свои «Размышления о внутреннем мире». Франция может остановиться на республике—вот главная мысль этого размышления,—но на республике, не расширяющей своих функций до социального переворота. Франция не последовала по этому пути, и г-же де Сталь пришлось вновь удалиться в Швейцарию, в Коппе, в имение своего отца.

При Директории г-жа де Сталь вернулась во Францию и вновь открыла свой салон на улице Гренель. Политические обстоятельства сложились так, что этот салон стал опять прогрессивным и радикальным, если не революционным. Это случилось в первые же годы консульства Наполеона. В эту пору идеи учредительного собрания 1789 г. вызывали уже ненависть в предателях революции, закладывавших фундамент военной абсолютной монархии. На слова, столько раз и столькими повторенные, что Наполеон—дитя революции, г-жа де Сталь отвечала согласием: «Да, дитя, но отцеубийца»[12].

Все тонкое и острое искусство г-жи де Сталь, обогащенное долгим опытом, было отдано на организацию идейного отпора Наполеону.

Наполеон раздавил уже несколько республиканских заговоров, и в этом салоне известной писательницы он видел нечто вроде политического клуба, существующего вопреки запрещениям всех и всяких клубов и политических обществ. Закрытие салона г-жи де Сталь в апреле 1802 г. было именно закрытием политического клуба, опасность которого была признана правительством. Продукты устного творчества г-жи де Сталь Наполеон имел основание любить не больше, чем ее печатные сочинения.

В 1803 г. Наполеон закончил начатую в 1802 г. борьбу с г-жой де Сталь новым, наиболее сильным аргументом: ей было предписано выехать из Парижа и не приближаться к нему ближе, чем на сто льё.

Лишиться Парижа—значило для г-жи де Сталь лишиться аудитории, где каждое ее слово ловилось налету. Ее салон был закрыт, но это не значило, что были закрыты все парижские гостиные, где она могла говорить. После нескольких попыток добиться отмены этого распоряжения, не увенчавшихся успехом, изгнанию из Парижа г-жа де Сталь предпочла отъезд из Франции. Осенью 1803 г. она отправилась в путешествие по Германии. Маленький Веймар должен был заменить ей огромный Париж. Беседами с Шиллером и Гёте она хотела заменить запретные для нее беседы с парижскими друзьями.

В Германии г-жа де Сталь знакомилась с немецкой литературой и искусством. Германия дала г-же де Сталь большой запас новых впечатлений и мыслей, и она же дала ей Августа Шлегеля, который сообщил ей еще больше сведений о той же Германии. Но г-же де Сталь пришлось с сожалением заметить: «То, что мы разумеем во Франции под обществом, не имеет и тени сходства со здешним обществом. Теперь я не удивляюсь, почему в Германии более, чем где-либо, находят времени для научных занятий: здесь ведь не существует прелести общества». Это значит: литературно-политический салон был невозможен под немецким небом.

Германию сменила Италия. Страна красоты оказалась для г-жи де Сталь ближе, чем страна мысли. Если из Германии г-жа де Сталь вывезла замысел большой книги по философии культуры, то из Италии она привезла к себе в Коппе замысел «Коринны», лучшего своего романа. Она писала в этой книге свой второй автопортрет, писала красками еще более увлекательными и свободными, чем первый. Чтобы закончить свой роман, она в апреле 1806 г. поселилась в Оксерре, в сорока льё от Парижа. Наполеон был занят войной с Австрией, и г-жа де Сталь рассчитывала, что между нею и им возможно перемирие. Наполеон, однако, продолжал войну с г-жой де Сталь. 26 марта 1807 г. он писал канцлеру Камбасересу: «Я предписал министру полиции выслать г-жу де Сталь в Женеву, предоставляя ей свободу отправиться за границу. Эта женщина продолжает свое ремесло интриганки. Она приблизилась к Парижу вопреки моим приказаниям. Это—настоящая чума (c'est une véritable peste). Желаю, чтобы вы серьезно поговорили о ней с министром, иначе я принужден буду отправить ее с жандармами»[13].

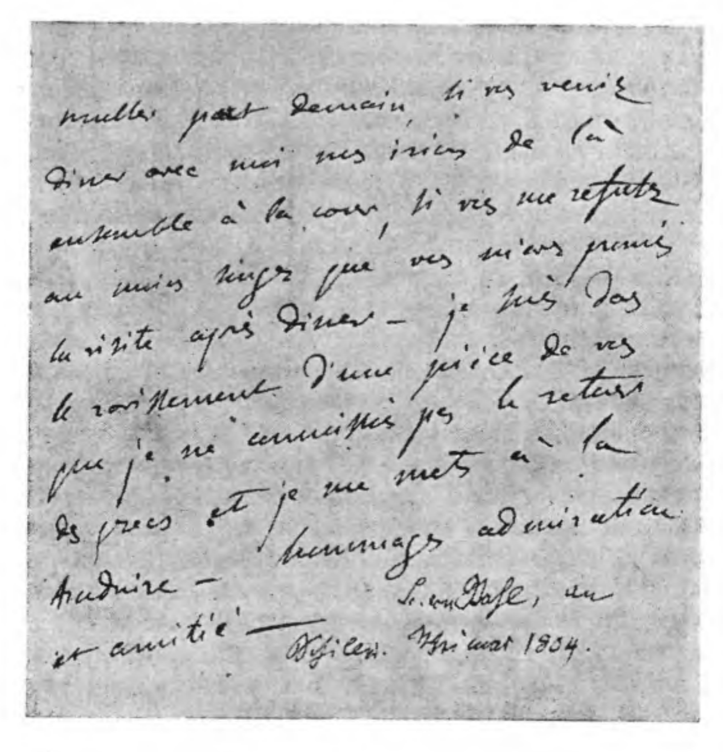
Поняв серьезность положения, г-жа де Сталь поспешила покинуть Францию. В Коппе, на берегу Лемана, в обществе книг и друзей, под бдительным надзором наполеоновских шпионов, ей было тесно, и она опять поспешила превратить изгнание в путешествие. Г-жа де Сталь вторично направилась в Германию, надеясь найти там то же, что нашла в свое первое путешествие: маленькие дворы герцогов, большие кабинеты поэтов и обширные библиотеки философов, где можно свободно беседовать о принципах 1789 г. и возмущаться тиранией того, кто их растоптал своим военным сапогом.

Г-жа де Сталь упустила из виду, что в том самом Веймаре, где еще так недавно она могла вести подобные разговоры, несколько месяцев назад уже побывал Наполеон, а под соседней Иеной пала независимость Пруссии. Г-жа де Сталь скоро могла убедиться в том, что Наполеон не только победил Пруссию, Саксонию, Баварию, Тюрингию,—он их покорил сво-

ему гению полководца и государственного человека. Сам Гёте признавал его теперь великим человеком. Те, кто почему-либо не хотели этого признать, предпочитали молчать. Вольтер, Руссо, 1789 год, английская конституция, свобода чувства, право на независимость женщины,—всё это были теперь противонаполеоновские темы. На эти темы никто теперь не хотел говорить.

Г-жа де Сталь направилась из Германии в Австрию. Она полагала, что для нее Вена может быть Парижем. В этом ей пришлось скоро и жестоко разочароваться.

В январе 1808 г. г-жа де Сталь писала из Вены веймарской герцогине Луизе: «Я приехала сюда во время празднеств и была прекрасно принята


nulle part demain, si vous venez
dîner avec moi vous iriez de là
ensemble à la cour, si vous me refusez
au moins [illegible] que vous m'avez promis
la visite après dîner — je suis dans
le ravissement d'une pièce de vous
que je ne connaissais pas le retour
des grecs et je me mets à la
[illegible] hommages admiration
[illegible] — S. von Staël, [illegible]
et amitié — [illegible] Weimar 1804.

АВТОГРАФ ЗАПИСКИ Г-ЖИ ДЕ СТАЛЬ К ШИЛЛЕРУ. ВЕЙМАР, 1804 г.

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

при дворе. Я, признаться, не ожидала такого приема в стране, где то, что меня в особенности выделяет в обществе, не возбуждает большого интереса. Общество здесь очень многочисленно, но трудно встретить там людей, особенно мужчин, достойных внимания... Французский генерал [Андреосси] очень любезен со мной. Здесь считают, что его намерения самые хорошие и поведение его благородно постольку, поскольку оно может быть таковым. После стольких потрясений здесь царит исключительное спокойствие»[14].

Но за внешним спокойствием первых же писем, писанных г-жой де Сталь из Вены, уже проступают скука и тревога. Наступающий новый год таит возможность великих испытаний для всех—и новых скитаний для г-жи де Сталь. В январском же письме к г-же Рекамье ее тоска про-

рывается наружу. Она прожила в Вене едва только один месяц и уже вынуждена признаться:

«Я с нетерпением жду лета, чтобы вознаградить себя за эту зиму, так как приходится признаться, что я скучаю. В первое время меня еще поддерживала прелесть новизны, но потом, хотя страна эта и основательная, она быстро надоедает, как и всё пустое, так как в ней нельзя найти ничего нового... О, как тоскливо на чужбине! Счастлив тот, кто не видел чужих краев во время празднеств. Изгнание очень тяжело переносится мною»[15].

Наполеона ненавидели в большом венском свете. Этого было достаточно, чтобы двери гостиных распахнулись перед г-жой де Сталь, которую он прославил своим гонением. Г-жа де Сталь скоро убедилась, что между этими гостиными и той, в которой она предавалась мышлению вслух вместе со своими друзьями, нет ничего общего.

Изображая венское общество, г-жа де Сталь писала: «Никакого искусства, за исключением музыки. Многолюдные собрания, более похожие на церемонии, чем на увеселения. Раболепство перед аристократией, лишенной всякого изящества; резкие сословные грани, еще более жесткие, чем в других частях Германии. У императора нет никакого вкуса, скорее какое-то недоверие к литературе, в результате—полное отсутствие соревнования в области умственных интересов»[16].

Г-жа де Сталь бежала из страны, где, как ей казалось, слишком много шума вокруг одного человека,—здесь, в Вене, ее охватил сон унылого и самодовольного бездействия.

В своей книге «О Германии» г-жа де Сталь посвящает Австрии убийственные страницы:

«В Австрии общество не служит развитию и оживлению ума, как во Франции; от него только и остается, что шум и пустота в голове. Поэтому-то самые умные люди страны стараются, большею частью, удаляться от него; одни только женщины в нем появляются, и можно удивляться их уму, несмотря на их образ жизни... Большая часть австрийцев, не умеющих приспособиться к языку и нравам французов, совсем не жила в свете; в результате они не были смягчены общением с женщинами и оставались застенчивыми и грубоватыми, пренебрегая всем тем, что может называться *изяществом* и, тем не менее, тайно страшась этим изяществом не обладать; под предлогом занятий военных, они не развивали своего ума, да даже и этими занятиями они часто пренебрегали, потому что они никогда не слышали ничего, могущего заставить их почувствовать ценность и прелесть славы. Они думали, что ведут себя, как добрые немцы, удаляясь от общества, где все преимущества принадлежали иностранцам, и никогда они не думали о том, чтобы самим создать себе общество, способное развить их ум и душу»[17].

Это в устах г-жи де Сталь—обвинительный приговор: в Вене нет общества, где можно мыслить вслух, и в Вене нет людей, которые имели бы привычку мыслить. Тем, кто не умеет мыслить, остается еще удел—красиво жить и культивировать изящество. Но венцы не знают, что значит изящество в его житейских и умственных применениях.

В ответ на полнейшее разочарование венским обществом, испытанное г-жой де Сталь, это общество ответило ей столь же полным разочарованием в ней самой. Вот как рассказывает об этом князь де Линь, бывший свидетелем венских успехов и неуспехов г-жи де Сталь (рассказ относится к 1814 г.):

«Ничто не может сравниться по радушию с приемом, который встретила г-жа де Сталь в Вене шесть лет тому назад. Ее прибытие и пребывание здесь составили как бы целую эпоху, и до сих пор еще в некоторых случаях говорят: «Это было, когда г-жа де Сталь была здесь». И что же, вскоре после этого увлечения началась критика, и при этом совершенно неблагожелательная. Первоначально г-жа де Сталь увлекла все сердца, покорила все умы... Однако, все эти поводы для восхищения были в скорости забыты. Людям свойственно от восхищения переходить к поношению. Начали отмечать лишь недостатки г-жи де Сталь, забывая о ее неоспоримых качествах. Говорили, что в своих разговорах она стремится больше ослепить, чем понравиться, что ее монологи ставят ее собеседников только в положение слушателей, что она никогда не разговаривает, а лишь импровизирует. Если она обращалась с вопросом, то редко когда выслушивала ответ. Она любила светское общество, где она так блистала, но общество женщин было не по ней, так как оно обычно давало мало пищи ее уму. Женщины ей этого не прощали, несмотря на весь тот успех, которым женщины обязаны ей»[18].

Пребывание г-жи де Сталь в Вене принадлежит к мало разработанным страницам ее сложной биографии, и показание каждого нового свидетеля этого периода в ее жизни представляет немалую цену. Таким доселе не опрошенным свидетелем венской жизни г-жи де Сталь является молодой русский дипломат С. С. Уваров. Переходим к его показаниям, почти сплошь неизданным.

Уварову в 1807 г. исполнился двадцать один год. В заметке, составленной самим Уваровым для какого-то французского биографического словаря, он пишет про себя: «Его отец был подполковником конной гвардии и адъютантом императрицы Екатерины II. Эта государыня была восприемницею Уварова, которого крестили в дворцовой церкви»[19].

Счастливая карьера Уварова, таким образом, началась с крестильной купели и продолжалась не менее удачно: пятнадцатилетним юношей, в 1801 г., по свидетельству той же автобиографической заметки, «Уваров поступил на службу в министерство иностранных дел, в 1804 г. он произведен в камер-юнкеры, а в 1806 г. причислен к посольству в Вене». В Вене, куда Уваров прибыл 18/30 марта 1807 г., он приобрел себе расположение графа Разумовского. В Уварове было всё, чему, по мнению Разумовского, полагалось быть у молодого дипломата: Уваров отлично говорил и писал по-французски; его почтительная искательность, соединяясь с безукоризненной выдержанностью манер и уклончивостью речи, раскрывала перед ним двери дома ех-посла. «Часто допуская вольность в разговорах с женщинами,—отмечает Уваров поведение французского посла Андреосси,—он не обладает талантом смягчать их легким и пикантным остроумием, характерным для человека хорошего общества». Сам Уваров обладал талантом быть человеком хорошего общества во всех гостиных Европы. Его счастливая наружность—наружность молодого камер-юнкера, слегка драпирующегося в плащ меланхолического Вертера,—доставляла ему успех в дамском обществе.

Но этот красивый юноша мог быть интересен не для одних дипломатов и дам. Воспитанник аббата Mangin, он перечел целую библиотеку французских поэтов, писателей и мыслителей. Он писал французские стихи, и так удачно, что А. И. Тургенев находил, что «французские стихи его часто не уступают Делилевым, иногда превосходнее», а его брат, Н. И. Тур-

генев, будущий декабрист, сожалел, что русская поэзия лишается в Уварове замечательного поэта: «Как это нехорошо, что у нас люди с великим дарованием, как Уваров, пишут сочинения по-французски»[20].

Кто ни писал в начале XIX столетия французских стихов и кто ни перечитывал тогда целых библиотек французских стихов и прозы! Но тот же А. И. Тургенев, воспитанник Гёттингенского университета, должен был признать: «Он, Уваров, сверх того, так знает немецкую литературу, что и меня пристыдил даже в истории». Прочтя прозаические отрывки Уварова на немецком языке, Тургенев, большой пурист по части языка, порешил: «Слог Уварова несравненно лучше Вилларсова, да и голова не хуже»[21].

Но Уваров читал не только Вольтера и Руссо, Гёте и Шиллера,—он отведал кое-что и от французской и немецкой исторической науки. Уваров знал по-латыни и по-гречески. Он не только, как Онегин, мог «потолковать об Ювенале»,—он мог читать Ювенала в подлиннике. У него было любопытство туриста, путешествующего по античному миру, и настойчивость дилетанта, отваживающегося писать о нем для ученых.

Уваров покинул Вену 10 мая 1809 г., и карьера его пошла еще более блестящей дорогой. Это было следствием венских успехов не только во французском языке, немецкой литературе и античных древностях. Это было следствием успеха у графа Андрея Разумовского, через которого Уваров нашел дорогу к его брату, министру народного просвещения, графу Алексею Кирилловичу Разумовскому. В 1811 г. дочь министра, немолодая графиня Екатерина Алексеевна, вышла замуж за Уварова, и, как повествует историк семьи Разумовских, «вскоре после свадьбы Уваров назначен был попечителем Петербургского учебного округа»[22], а затем, в 1818 г., 32-летний Уваров был поставлен президентом Академии наук.

Пребывание в Вене было счастливым временем для Уварова. Его венские записки показывают, что, делая свою карьеру, он делал ее умно: он понимал, что большая карьера, в европейском масштабе, делается теперь не одним искательством, что авторитет политических или дипломатических вельмож покоится теперь не только на придворном, но и на культурном весе вельможи. Равнодушие венской знати к искусству и литературе возмущает Уварова. Венские записки Уварова пестрят заметками о посещении картинных галлерей, театров и музыкальных собраний. Он внимательно следит за представлениями знаменитого актера Ифланда, приятеля Гёте. Он тщательно отмечает среди венской знати немногочисленных любителей наук и чтителей муз.

По своим политическим воззрениям Уваров—сторонник просвещенного абсолютизма. Невежество, чрезмерное высокомерие австрийских магнатов, их полное равнодушие к печальной участи народа вызывают в Уварове осуждение. Он понимает, что теперь, после 1789 г., еще точнее—после 1793 г., эти свойства опасны, прежде всего, для судьбы тех, кто ими обладает. Уваров записывает в неизданных записках не без явного возмущения:

«Князь Эстергази имеет доходов от двух до трех миллионов флоринов... В руках просвещенного человека такое огромное состояние могло бы принести не малую пользу государству, но достаточно один только раз взглянуть на князя Эстергази, чтобы убедиться в том, что от него никакой пользы получить нельзя». И обратно, с величайшей охотой зарисовывает

Уваров портрет другого аристократа, описывая свое знакомство с графом Карлом Гаррахом: «Презрев все преимущества своего высокого происхождения, он отдался всецело общественному служению: сделавшись врачом, он бесплатно лечил бедняков... Кроме того, он изучает восточные языки и занимается литературой. Такой человек является чудом в стране и в обществе, среди которого он живет»[23].

В этих и подобных зарисовках Уварова сквозит скрытый страх перед революцией. Она ужасна, республика страшна, демократия опасна; нужна абсолютная монархия, но с просвещенным монархом и с просвещенной же аристократией: первый даст разумные реформы, вторая дополнит их филантропией. Уезжая из Вены, Уваров сделал вывод: «Австрийская монархия—неиссякаемый источник богатства и производительности. Народ таков, что им легко управлять». Иными словами, легко сохранить абсолютную монархию с правящей аристократией, если не повторять страшных ошибок старого режима во Франции.

Во время поездки Уварова в Пресбург князь де Линь представил его престарелой княгине Лотарингской (г-же де Брионн)[24], бежавшей в Австрию от революции. В своем дневнике Уваров делает запись:

«У нее парализованы руки и ноги, но голова ее еще совершенно свежая. Невозможно себе представить большего изящества, более приятного разговора, лучших манер. Фигура ее еще прекрасна и величественна. Это последний памятник французской монархии и архив века, в котором она жила. Когда я увидал ее, мне показалось, что я перенесся в ту старую, несуществующую более Францию, которую я так люблю изучать и которая всё еще служит источником нашей душевной услады».

«Обломок старых поколений», ветхая французская придворная дама вызывает в Уварове чувства любви к Франции старого режима, и пером истого легитимиста он осуждает Клери[25], камердинера казненного Людовика XVI, за то, что тот выступает на театральных подмостках. Положение «последнего слуги Бурбонов, самоотверженно не покидавшего Людовика XVI до самого эшафота, выслушавшего его последнюю волю, являвшегося его утешителем, презревшего все опасности, только чтобы служить этому несчастному государю», не вяжется, в глазах Уварова, с его появлением перед публикой в качестве комедийного актера. «Хотелось бы видеть на его лице печать вечной грусти..., а когда, кроме того, узнаешь, что он совершает поездки во Францию, часто посещает наполеоновского посла, — все симпатии к личности Клери исчезают, и в нем видишь лишь человека, вышедшего из присущего ему положения и совершенно не сознающего все великое достоинство роли, которую ему пришлось сыграть».

Уваров не закрывает глаз на новую наполеоновскую Францию: в Вене ли дипломату не знать, как велики ее силы, как громки ее победы? Ни Аустерлиц, ни Тильзит незабываемы в русском посольстве и в австрийских салонах. Но, всё помня и ни на что не закрывая глаз, Уваров в дневнике своем не может удержаться от искреннего признания:

«Прекрасная французская храбрость, невыразимая смесь веселости и отваги, легкости и силы, что с вами сталось? Я вижу народ воинственный, неутомимый, неустрашимый, его называют французами, но своеобразные черты его национального характера, современная аттическая тонкость исчезли,—Франция, может быть, выиграла в отношении могущества, но Европа и история много потеряли».

Один этот вывод, сделанный Уваровым, должен был растворить перед ним двери всех венских аристократических кабинетов и гостиных: в этом выводе сквозило то ощущение политического «сегодня», которое было свойственно французским эмигрантам и магнатам Вены. Гостеприимнее всех растворилась перед Уваровым дверь дома графа Людвига Кобенцля, последнего вице-канцлера похороненной Наполеоном Священной Римской империи.

Граф Людвиг Кобенцль (1753—1809) был таким же долголетним послом в России (1779—1797), как Андрей Разумовский в Вене. Екатерина II любила Кобенцля, что не мешало ей не доверять австрийскому послу: дневник секретаря Екатерины, Храповицкого, пестрит записями о перлюстрации писем Кобенцля к принцу де Линю, к французскому послу Сегюру, к венскому кабинету[26]. Екатерина внимательно читала эти перехваченные донесения и письма Кобенцля, но их автора тем охотнее включила в свой интимный кружок, собиравшийся в Эрмитаже, что Кобенцль был автором французских легких комедий, разыгрываемых, с его же участием, на Эрмитажном театре. Императрица даже приказала напечатать пьесы Кобенцля вместе со своими собственными в собрании эрмитажных пьес. Кобенцль умел угождать императрице. Екатерина взяла Кобенцля с собой в путешествие в Крым и благоволила к нему вплоть до своей смерти, но Павел I попросил убрать его из Петербурга.

Собеседнику Екатерины II пришлось теперь беседовать с Наполеоном,— это было потруднее, и тут начались трагедии Кобенцля. Первая беседа состоялась в Кампо-Формио, где 17 октября 1797 г. был подписан Кобенцлем мир, весьма худой для Австрии. «Ваша империя—это старая распутница, которая привыкла, чтобы ее насиловали»,—швырнул в лицо Кобенцлю Бонапарт. Второй разговор Кобенцля хотя происходил не с Наполеоном, а с его братом Жозефом и Талейраном, был еще неприятнее. Их устами Наполеон продиктовал Кобенцлю такой мирный договор в Люневиле, что сам Кобенцль должен был признать его ужасным. В утешение Кобенцль был назначен вице-канцлером и министром иностранных дел. Третий мирный договор с Наполеоном, подписанный Кобенцлем в Пресбурге, был концом Священной Римской империи и концом политической карьеры Кобенцля. Вице-канцлер превратился в частного человека. Ненависть к Наполеону, рожденному революцией, старые воспоминания об екатерининском Эрмитаже заставили Кобенцля с двойным гостеприимством встретить Уварова в своем доме.

Хозяйкой этого дома являлась сестра Кобенцля, графиня де Ромбек (de Rombecq). Она долго жила в Петербурге при брате. Подобно брату, она была дурна лицом. Екатерина II любила ее за веселый ум, острый, даже вольный язык и грубую, но умную простоватость в речи и манерах. Ее муж, французский эмигрант, играл вполне подчиненную роль, был у нее на посылках и засыпал на вечерах, где раздавался ее грубоватый смех и сыпались рискованные остроты. Она питала привязанность к русским, по преимуществу, к молодым. В Вене, еще до приезда Уварова, она примечала атташе русского посольства, графа А. И. Рибопьера. Вот что рассказывает А. А. Васильчиков, с его слов, про графиню Ромбек:

«В России графиня выучилась многим крупным и непечатным выражениям. Она в Вене дружески приняла молодого Рибопьера, который часто у нее бывал. Александр Иванович [Рибопьер] жил в то время в доме графа Разумовского, вместе с родным племянником посла, А. В. Василь-

чиковым. Им обоим прислуживал огромный крепостной гайдук Васильчикова. Как-то раз за одним из обедов случилось Рибопьеру и Васильчикову сидеть против графини Ромбек. Во время обеда графиня стала пересказывать все знакомые ей крайне нецензурные русские выражения. Тем временем, начали менять куверты, а у молодых дипломатов остались прежние тарелки; они оборачиваются—гайдук скрылся. За ним посылают. «Куда ты ушел?»—спрашивают его. «Помилуйте, старая халда ругается, совестно стало»,—отвечает гайдук. Рибопьер поспешил передать слова эти графине; она была от них в восторге, подозвала к себе гайдука и наградила деньгами»[27].

Графиня Ромбек встретила Уварова с большой приветливостью и непринужденностью. Первые впечатления от дома Кобенцля, занесенные

ДОМ А. К. РАЗУМОВСКОГО В ВЕНЕ

С фотографии 1900-х гг.

Уваровым в его дневник, явным образом отдают предпочтение графине Ромбек перед ее братом. О Кобенцле Уваров пишет:

«Граф Луи Кобенцль, недавно только покинувший бразды правления, заслуживает тем большего внимания, что за ним твердо установилась репутация умного и любезного человека. Почти никогда не следует судить министра по результатам его деяний, если только их неуспех не происходит исключительно от него самого. События, совершившиеся за время министерской деятельности графа Кобенцля, получили настолько широкое разветвление, что затруднительно все их результаты записать на его счет. Однако, как министр, он был слаб, нерешителен и легкомыслен. Известно, что, в бытность его послом в России, прибывший из Вены курьер застал его в кабинете разучивающим роль в костюме Криспена. Курьер упорно отказывался передать ему привезенные им дипломатические депеши, не допуская мысли, что видит перед собой представителя Священной Римской империи. С тех пор он был причастен ко всем крупным европей-

ским политическим событиям. Утверждают, что, ставши министром, он согласился на войну с Францией только для того, чтобы снять с себя упрек в пристрастии к этой стране. Его слабости приписывается выбор генерала Макка после решительного, как говорят, отказа эрцгерцога Карла. Всем известны последствия его министерской деятельности. (NB. Некоторые хорошо его знающие люди уверяют, что бессодержательность его бесед объясняется усвоенной им крайней сдержанностью в связи с теми событиями, свидетелем которых ему довелось быть; эта осторожность могла бы ему помочь вернуться вновь на пост министра.) Его надо знать, как частного, неофициального человека. В нем, прежде всего, поражают добродушие и обходительность его характера; его любезность искренна и ободряюща. Он любит удовольствия и хороший стол; его главная страсть—театр, ему ставятся в упрек его театральные успехи. Его разговор касается обычно этих излюбленных им тем, но особенно он любит вспоминать о времени своего пребывания в Петербурге, о Екатерине II, о его путешествии в Крым, о Потемкине и его обществе. Однако, беседы его не отличаются ни блеском, ни интересом; они занимают, но не поражают; в них не найти ни того блеска, который обнаруживает выдающегося человека, ни тех тонких, изысканных оттенков, которые характерны для любезного человека. Общение со всеми знаменитостями Европы не дало ему той разносторонности и остроумия, которые обычно можно встретить у людей, много видавших. Он, повидимому, не жалеет о своем прежнем положении, и ему чуждо всепожирающее честолюбие, являющееся часто предвестником заслуг. Он добр, приветлив у себя дома, любим своими слугами, обожаем всей родней и счастлив их любовью. Он чувствителен и легко приходит в умиление; его считают искренним и верным другом».

Коротенькая характеристика графини Ромбек явным образом перевешивает пространную характеристику ее брата: «Его сестра, графиня де Ромбек, тесно связанная с ним узами дружбы, во многом отлична от него: она—живой, умный и чрезвычайно оригинальный человек,—такая ее репутация уже давно установилась в Европе. Я, действительно, считаю, что ее оригинальность вполне естественна и отнюдь не притворна, как это часто наблюдается в обществе. Но что особенно облегчает поддержание разговора с ней,—это та свобода, с которой она высказывает всё, что ей придет в голову. Впрочем, ее считают доброй, великодушной, мягкосердечной и даже рассудительной».

После смерти Л. Кобенцля (22 февраля 1809 г.) Уваров внес в свою записную книжку несколько дополнительных штрихов к его портрету:

«Жизнь графа Кобенцля была так полна во всех отношениях, что даже, при ее краткости, он пережил самого себя, во всяком случае, свое счастье. Будучи в близких отношениях с ним, я видел, что он покорно и безропотно переносит свое отстранение от государственной деятельности. От природы одаренный гораздо бо́льшим умом, чем большинство его соотечественников, он никогда не развивал его серьезными и углубленными занятиями, но, с ранних лет вступив на служебное поприще, он приобрел легкость восприятия, быстроту и точность в работе, поражавшие всех, кому приходилось иметь с ним дело. В сущности, он был мало образован, и я в продолжение двух лет никогда не видел его читающим серьезную книгу или занятым какою-либо отвлеченною мыслью. Он читал только театральные пьесы и французские журналы и проводил целые дни, с нетерпеньем ожидая посещения всех праздных и скучных людей города. Тогда особенно

сказывались ровность и удивительная общительность его характера, так как он проявлял в разговоре со скучным собеседником старание и изысканность, какое-то кокетство или желание нравиться. Еще в 1808 г. он несколько раз участвовал в спектаклях с огромным удовольствием и воодушевлением. Это были его последние усилия. Вскоре после этого он стал все более и более опускаться и, наконец, умер».

Через сорок слишком лет, в 1851 г., Уваров вернулся к венским воспоминаниям в неизданном очерке «Госпожа де Сталь»[28]. Кобенцлю здесь уделены четыре холодные строки, но для графини Ромбек перо старого Уварова оказалось теплым (горячим оно никогда не бывало):

«Это была одна из самых оригинальных женщин, и для тех, кто ее не знал лично, очень трудно дать похожий на нее портрет: неисчерпаемой доброты сердце, искренняя чувствительность, возвышенный ум, живое воображение,—всё это соединялось в ней с веселым и шутливым нравом, близким к некоторому шутовству, никогда, однако, не переходящему за грани женственности. Преданность брату заполняла всю ее жизнь; не имея детей, она никогда с ним не расставалась. В то время, о котором я говорю, графиня Ромбек выполняла обязанности хозяйки дома графа Кобенцля и несла их со свойственными ей исключительной прелестью и тактом. Русские всегда находили у них радушный прием, и я был ими как бы усыновлен: при г-же де Ромбек я чувствовал себя покойно, как бы под родительской кровлей».

Уваров погрешает в одном: «усыновлен» он был по-настоящему одною графиней Ромбек. Это легко вычитать из сохранившегося в архиве Уварова неизданного письма графини Ромбек к матери Уварова, Дарье Ивановне, урожденной Головиной, писанного из Вены 9 апреля 1808 г.

«Милая, милая мамаша моего сына,—начинает свое письмо графиня Ромбек,—простите, что я до сих пор не ответила вам, но я была занята исключительно нашим ребенком: нужно было отнимать его от груди и радоваться всем его успехам. Я бы никогда не кончила говорить вам о нем: сердце мое болтает, как сорока, всякий раз, как я начинаю говорить о нем. В четырех словах я вам скажу, что он именно такой, каким нужно быть: в нем нет ни фатовства, ни самоуверенности, он всегда добр, надежен, очень тактичен, одним словом, не избалован, хотя, признаюсь вам, я сама способствовала тому, чтобы избаловать его, вовсе этого не желая. Скажу вам, я чрезмерно горжусь им и не выношу никакой похвалы, если она относится не к нему. Я неуступчива во всем, что его касается. Не подумайте, что я увлекаюсь: я справедлива, как сама справедливость. Наш ребенок очарователен, более того: он восхитителен. Как вы добры, что пожелали взять на себя роды и избавить меня от криков и кормления, которое причиняет столько неудобств! Но вот уже почти девять месяцев, как он без всякого сомнения мой сын, и, как видите, это обстоятельство делает нас сестрами по сердцу (sœurs de cœur)...»[29].

Это письмо своим слогом, остроумным и смелым, отлично рисует ту графиню Ромбек, которая занимала своей простоватой веселостью и полной непринужденностью Екатерину II в Эрмитаже.

Уваров бережно сберег в своем архиве все записки и письма, писанные к нему графинею Ромбек. Вот одно из них: дело идет в нем об одном из вечерних приемов, на котором графиня Ромбек желала бы видеть у себя русского посла—князя А. Б. Куракина и атташе посольства—В. Ф. Боголюбова (1786—1842).

«Летняя моя любовь! Приказываю вам во имя отца (это вы), сына (это наш сын), святого духа (это мы оба) притти во вторник, в 8 часов, праздновать именины моего брата. Вы позаботитесь о поддержании порядка, о том, чтобы не крали варенья, свечей; вы приедете на 5 минут раньше толпы, чтобы смести паутину. Вы пригласите г. Боголюбова и князя Куракина, не забудьте об этом. Кроме того, мой тринадцатый возлюбленный, вы скажете князю Куракину раз и навсегда, что в замке Людвига не может быть празднеств, ни воскресений без того, чтобы он не был приглашен. Сама я этого не смею, потому что, будучи пока только вашей любовницей, я не могу ему писать, тем более, что у меня только один стиль—вот этот. Прощайте, африканская драгоценность. Я поручаю Анетте пригласить Пелажи, я также хотела бы заполучить г. Пелажи,—это доставило бы удовольствие аббату, да и я начала бы свое знакомство с ним кокетничанием, чтобы вы поревновали».

Дальнейшие записки графини Ромбек, написанные на особом французском великосветском жаргоне, почти непереводимы—до такой степени причудлива в них смесь вульгарности и утонченности, ума и цинизма, обожания и насмешки. Вот еще одна из таких записок:

«Сегодня воскресенье, сын мой, вы приедете со мной пообедать, приказываю вам. Христина и Титина[30] будут тоже, оденьтесь чистенько; мы будем без брильянтов, но [одеты] с той изящной простотой, которая нам свойственна. Спокойной ночи, единственное дитя мое, хотя сейчас еще суббота, но ее столь мало осталось, что не стоит об этом и говорить. Я в плохом настроении: у меня заботы (des puces), и я ужасно охрипла, немыслимо, чтобы я пела завтра заутреню».

«Дорогое дитя любви и случая», «обожаемое дитя», «милый Фифи»—вот те клички, которыми осыпает графиня Ромбек двадцатидвухлетнего Уварова. Когда «обожаемый Фифи» покинул Вену, в Петербург полетели длинные письма, а из Петербурга—поклоны, приветы, подарки.

Однажды графиня Ромбек написала Уварову: «Вы перл моего потомства! Дверь заперта; я больше не рожу».

В гостиной графа Кобенцля, управляемой этой единственной в своем роде женщиной, и произошла встреча Уварова с г-жой де Сталь.

II. Г-ЖА ДЕ СТАЛЬ В ИЗОБРАЖЕНИИ С. С. УВАРОВА

23 декабря 1807 г. г-жа де Сталь въехала в Вену, а уже на следующий вечер она была в доме графа Кобенцля.

Непосредственно после первой встречи с г-жой де Сталь Уваров записал в дневнике: «Вчера, 24 декабря 1807 г., я видел г-жу де Сталь. Я представлял ее себе настолько некрасивой, что действительность оказалась лучше, чем я ожидал. Знакомство состоялось у г-жи де Ромбек. Ее появление было совершенно непринужденно. Она повела разговор с превосходной манерой, замечательной даже в обыденных подробностях, удачно выбирая выражения, и с необыкновенной легкостью речи. Она беседовала обо всем просто, не прибегая к фразам».

Через сорок слишком лет Уваров описал свою первую встречу с г-жой де Сталь следующим образом:

«Меня предупредили, что ожидается визит г-жи де Сталь, только накануне прибывшей в Вену. И действительно, около восьми часов вечера доложили о ее приезде, и она появилась в гостиной, где в это время были

граф Л. Кобенцль, г-жа де Ромбек и я. Чтобы доказать, насколько точно сохранились мои воспоминания, я, прежде всего, опишу внешний облик г-жи де Сталь и ее костюм. Среднего роста, довольно полная, она была одета в этот день в зеленого цвета платье с большими по нему золотыми звездами. На голове у нее был малиновый тюрбан, придерживавший черные, как вороново крыло, локоны. На груди большая миниатюра—

С. С. УВАРОВ
Портрет маслом неизвестного художника
Исторический музей, Москва

портрет г. Неккера; на плечи была небрежно накинута шаль; в руках веер, любимая игрушка г-жи де Сталь, который она, в случае надобности, заменяла небольшим куском бумаги, довершал весь этот несколько пестрый наряд. Платье ампир очень укорачивало талию и придавало всей ее фигуре какой-то сутуловатый и тяжеловесный вид, мало напоминающий собой образ Коринны на Мизенском мысе»... «После обмена первыми обычными в таких случаях любезностями, разговор принял легкий и приятный характер, благодаря такту г-жи де Ромбек, исключительной любезности графа Кобенцля и, в особенности, изысканной уверенности

в себе г-жи де Сталь, повышающей ее привлекательность. Наконец, чтобы закончить описание ее внешности, упомяну о неоспоримо прекрасных, очень живых черных глазах и очень белых, приятной округлости руках, в то время как всё остальное было вульгарно и почти безобразно. В ней, прежде всего, поражали естественная непринужденность ее разговора и простота ее выражений; ничего придуманного, ничего искусственного не выдавало женщину-писательницу. Она с одинаковой свободой касалась самых разнообразных тем, и в оборотах ее речи, свойственных хорошему обществу, отсутствовала сомнительная примесь неологизмов. Она стремилась даже придать разговору иное направление, если случайно какой-нибудь плохо осведомленный собеседник проявлял намерение вести с ней разговор на тему об ее литературной известности. Она придавала большое значение малейшим деталям светской жизни и всем бесчисленным мелочам, столь свойственным салонным разговорам. Она охотно отдавалась этой привлекательной непринужденности, которая не оставляет места для личных забот, и редко когда позировала. Такой я видел г-жу де Сталь при нашей первой встрече, такой же я видел ее всегда и впоследствии. Увлекаемая, так сказать, в другой круг идей, она тогда только проявляла все разнообразие запаса своего великолепного красноречия, когда разговор касался самых отвлеченных тем или обсуждались животрепещущие вопросы современности».

Первое впечатление Уварова от г-жи де Сталь, как оно отражено в первой записи и в позднейшем отображении, было всё в пользу знаменитой писательницы. Она покорила его своим тонким искусством разговора, своим обаятельным талантом общения, своим авторитетом европейской знаменитости.

В течение двух недель в дневнике Уварова нет записей о г-же де Сталь, но он непрерывно встречается с нею и бывает у нее самой. Тайный полицейский рапорт (немедленно по приезде г-жи де Сталь в Вену за нею был установлен секретный полицейский надзор) от 13 января 1808 г. доносит о том, что в первые же дни у г-жи де Сталь, в гостинице «Белый лебедь», бывали, главным образом, граф Мориц О'Доннель, «которого она давно знает и который тут ее комиссионер», молодой Уваров, атташе русского посольства, «поклонник ее ума», и князь де Линь[31].

Уваров копит впечатления от г-жи де Сталь и, пропустив их через фильтр своих политических убеждений и салонных толков, записывает в дневнике (после 6 января 1808 г.):

«Если в первый момент красноречие г-жи де Сталь как бы ослепляет, то потом скоро становится заметным ее страстное желание быть оригинальной. Поверхностная дерзость нагромождаемых ею парадоксов ослабляет впечатление от нее в глазах всякого рассудительного человека. Слабость ее логики в споре казалась бы невероятной, если не быть заранее подготовленным открыто ею высказываемым отвращением к тому, что она называет литературной ортодоксальностью. Я слышал, как она на одном и том же вечере доказывала, что вкус—это качество, достойное презрения; что Расин гораздо менее умен, чем немецкие писатели, которых она готова была цитировать (не без основания подозревают, что она их не знает); что анархия гибельна только по своим результатам; что Франция стремится установить у себя конституцию в английском духе; что во Франции не было совсем анархии и т. д. В этих ее высказываниях узнаются дочь г. Неккера и дух того политического клуба, пифией которого она была.

На груди, с левой стороны, она почти постоянно носит большую миниатюру своего отца. Нужно иметь большую смелость, чтобы так вызывающе относиться к общественному мнению. Можно, закрыв глаза, жалеть и чтить преступного отца, но не следует всем и каждому напоминать о человеке, так бесповоротно осужденном, как г. Неккер. Эта недостаточная тактичность часто заставляет г-жу де Сталь делать то, что она сама, как умная женщина, осудила бы. При своем представлении ко двору она в разговоре с эрцгерцогом Иоганном, который не слывет за человека, отличающегося особо хорошим тоном, спросила его о Тироле, который он вынужден был очистить».

Всё, что здесь написано,—это точно отрывок из обвинительного акта, который составлялся против г-жи де Сталь в венских легитимистских гостиных.

Если бы приведенную запись Уварова могла прочесть сама г-жа де Сталь, она увидела бы, до чего неглубока была в Вене почва сочувствия, на которую она могла стать: «Г-жа де Сталь, по своему происхождению и роли, которую она играла в начале революции, должна была быть подозрительной всем в городе, где Мария-Антуанетта провела детство и где не забывали ее трагической судьбы. Отсюда и общее предубеждение против дочери Неккера, который, в глазах венцев, не очень разнился от Дантона и Робеспьера»[32].

В передаче Уваровым того, что он слышал от г-жи де Сталь, сквозит явное неудовольствие легитимиста в сочетании со староверством классика: Уварову одинаково неприятно услышать от г-жи де Сталь и речь в защиту либеральной английской конституции, и утверждение, что немецкие писатели умнее Расина. В передаче Уварова глухо доносится до нас спор из аристократической гостиной: кто-то утверждал, что Великая французская революция—это сплошная анархия; г-жа де Сталь оспаривала это, утверждая, что во Франции была революция, но не было анархии. Свидетель этих споров, Уваров с резкостью подводит итог разговорам г-жи де Сталь: во всем этом живет «дух политического клуба» первых лет революции.

Следующая, недатированная запись Уварова начинается анекдотом о г-же де Сталь, вероятно, слышанным от князя де Линя. Этот анекдот, в глазах Уварова,—чуть ли не ключ к пониманию г-жи де Сталь: «Г-жа де Сталь спросила однажды Талейрана, умен ли Бонапарт.—Вы ведь знаете,—сказала она,—как я понимаю, что̀ такое ум; так вот, как, по-вашему, так же ли он умен, как я?—Он не такой храбрый, как вы, Madame,—отвечал Талейран. Если этот анекдот достоверен, то ответ Талейрана по тонкости и злостности превосходит всё, что можно было ей ответить. Я начинаю приходить к убеждению, в результате своего знакомства с г-жой де Сталь, что нужно тщательно проверить себя, прежде чем высказать о ней окончательное мнение: при первом свидании ее речи меня увлекли и поразили; при втором я был задет всеми выдвинутыми ею парадоксами. С тех пор, как я начинаю думать, что она прибегает к этим парадоксам, как к средству ослепить своего собеседника, и что, выдвигая странную, причудливую идею, она вовсе не склонна ее защищать и готова ею пожертвовать при первом же требовании,—с тех пор я прихожу к убеждению, что нужно лишь наслаждаться изумительной широтой ее ума, блестящим порывом ее фантазии и не прерывать ее рассуждениями, не заставлять ее руководствоваться логикой».

Уваров продолжал неутомимо наблюдать замечательную женщину и изредка заносил свои впечатления в дневник.

«Больше всего поражает в г-же де Сталь контраст между ее глубокомыслием и убежденностью, с одной стороны, и мелочными претензиями, свойственными ее полу. Красноречие ее достигает высокого совершенства. Следует отметить, что ее французская сущность преобладает над всей ее чужеземной культурой. Когда г-жа де Сталь бросается в круг новых идей, она незаметно кончает тем, что возвращается как бы в свой парижский салон. Что, сверх всего, особенно замечательно для восполнения впечатления от ее ума и ее сочинений,—это то, что г-жа де Сталь очень славная женщина (très bonne femme) в общепринятом значении этого слова».

В другой заметке, под наплывом множества впечатлений от г-жи де Сталь, Уваров делает такую nota bene: «Я хочу как-нибудь записать впечатление, произведенное на меня г-жой де Сталь. Я не опущу сказать ни об энтузиазме своего рода, который возбудила во мне расточительность ее ума, ни об открытых мною потом новых чертах ее характера и привычек. Она полна противоречий».

Это свое намерение Уваров исполнил через сорок три года, в Петербурге, в январе 1851 г. Принимаясь за очерк о г-же де Сталь, он писал:

«Перерывая свои старые воспоминания, я нахожу среди них живой образ г-жи де Сталь, хотя встреча с ней относится к очень далекой эпохе. На исходе жизни усердно стараешься сохранить следы быстротекущей молодости, и среди монотонно тянущегося существования старости они выступают с особенной отчетливостью и яркостью».

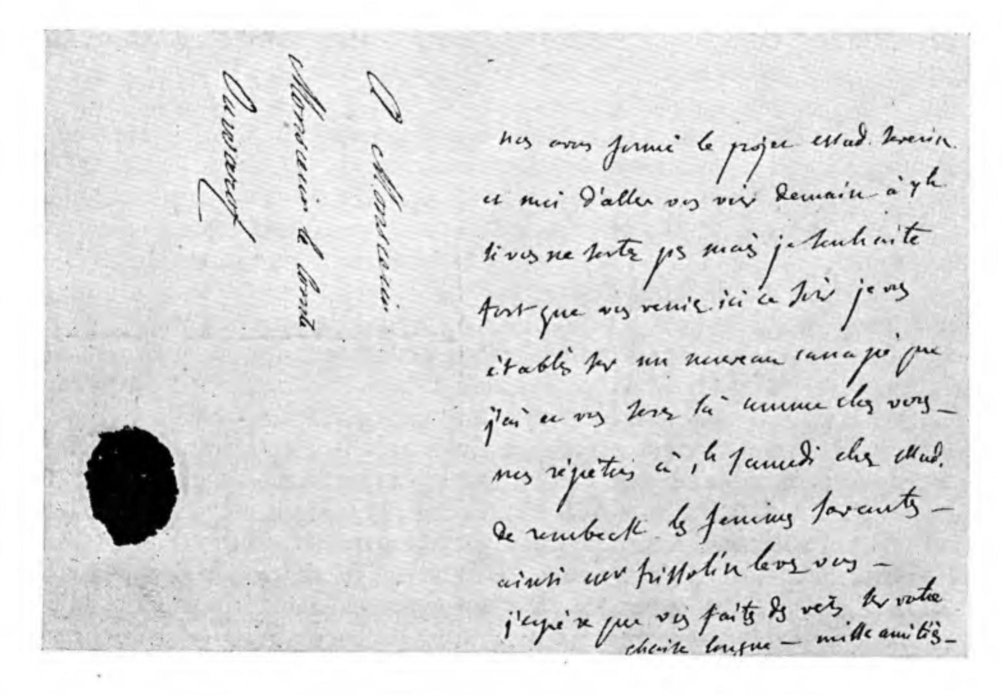
Сорокалетняя давность сгладила в этих воспоминаниях старости прежнюю молодую взволнованность; острые углы затупились; резкие грани превратились в мирные межи, но основное впечатление осталось то же самое. В одних случаях бывший министр народного просвещения, создавший политическую философию самодержавия, только повторяет мысли и чувствования молодого атташе, в других случаях он заметно поворачивает их вправо.

Уваров-министр признавал романтизм опасным литературным течением, «проповедывающим вольность», и поэзия Пушкина и Лермонтова, по его мнению, была лучшим доказательством этой опасности. Уваров-атташе с явной неприязнью отнесся к спутнику г-жи де Сталь, Августу-Вильгельму Шлегелю, и его брату Фридриху, видя в них зачинателей романтизма, колеблющего классицизм, в котором Уваров видел литературную форму, приличествующую просвещенному абсолютизму.

Вот две записи о Шлегелях, извлеченные из венского неизданного дневника Уварова:

«Г-н Август-Вильгельм Шлегель, нахлебник (commensal) г-жи де Сталь, которого она выдает за известного поэта, в настоящий момент с ней вместе в Вене. Его литературные заслуги—переводы Шекспира и Кальдерона, и тот и другой пользуются хорошей оценкой. Собрание его напечатанных стихов ниже посредственности, однако, его самомнение и резкий тон составляют контраст со скромностью и мягкостью Коллина, так же как и вообще противоположны их таланты».

Сам Уваров зарисовал в дневнике и этого Коллина[33], забытого драматурга, которого он предпочитал Августу Шлегелю.



АВТОГРАФ ЗАПИСКИ Г-ЖИ ДЕ СТАЛЬ К С. С. УВАРОВУ. ВЕНА, 1808 г.
Исторический музей, Москва

«Коллин, трагический поэт,—единственный известный литератор, водворившийся в Вене. Он служит в финансовом департаменте и на плохом счету за то, что занимается еще чем-то, кроме арифметического сложения. Его внешность ужасна, фигура самая обыденная, но заставьте его прочесть вам стихи,—глаза его тотчас оживляются, физиономия тоже, и весь он преображается. Я слышал его чтение превосходной сцены Неоптолема с Калхасом из его трагедии „Поликсена“».

Этого же смиренного Коллина Уваров ставил в пример и другому Шлегелю, Фридриху.

«Фридрих Шлегель, брат нахлебника г-жи де Сталь, живет здесь уже 6 месяцев и работает над трагедией, посвященной Карлу V (фигуре, без сомнения, менее всего трагичной в истории). Фр. Шлегель известен в Германии, как автор нескольких литературных и критических произведений, а главным образом—своей склонностью к парадоксам. Он является одним из возглавляющих новую секту, которая грозит захватить в свои руки всю немецкую литературу, причем их первым девизом является презрение ко всему, что было до них. Я слышал, как г-жа де Сталь усиленно превозносила ум г. Ф. Шлегеля, но я недостаточно знаю его, чтобы убедиться в справедливости этих похвал. Оболочка всякого немецкого писателя настолько трудно проницаема, что нужно быть очень убежденным в больших выгодах подобного проникновения, чтобы браться за него. Коллин, с которым я здесь познакомился,—единственный в этом отношении хороший и податливый человек».

Предпочтение податливого Коллина гордому Ф. Шлегелю не помешало Уварову позаимствовать из разговоров с Ф. Шлегелем и из его сочинения «Über Sprache und Weisheit der Indier» ряд основных мыслей для своих «Проекта Азиатской академии» (1810) и «Опыта об Элевсинских мисте-

риях» (1812). Как увидим сейчас, неприязнь к Шлегелям Уварова-атташе приняла у Уварова-министра характер враждебности.

Но обратимся к позднему рассказу Уварова о г-же де Сталь.

«Г-жа де Сталь встретила в Вене самый радушный прием. Наиболее замкнутые салоны высшей аристократии открыли ей свои двери. Возможно, что ненависть, питаемая к Наполеону, способствовала популярности его жертвы. Венское общество было очень предупредительно по отношению к г-же де Сталь. Княгиня Лихтенштейн, жена князя Иоганна[34], княгиня Паулина Шварценберг, так верно названная г-жой де Сталь «святейшей из матерей»[35], графиня Флора Врбна[36], графиня Молли Зичи, все польские дамы, составлявшие тогда основное ядро венского общества, начиная с престарелой и больной графини Потоцкой[37], сохранившей, однако, всю любезность и свежесть ума, и кончая графиней Софьей Замойской[38],—все дружно старались оказать Коринне лучший прием в Вене, не говоря уже о том, что в доме князя де Линя с первого же дня своего приезда г-жа де Сталь встретила самое дружеское к себе отношение. Для нее устраивалось много вечеров и любительских спектаклей, причем ей предоставлялись лучшие роли. Общество, со своей стороны, охотно бывало и в скромном салоне самой г-жи де Сталь. Она привезла с собой часть своего хозяйства и два-три раза в неделю устраивала у себя обеды, на которые по очереди приглашала шесть-семь человек наиболее подходящих друг к другу, которые единодушно признавали эти обеды очень приятными и более парижскими, чем венскими, по своему характеру.

Г-жу де Сталь сопровождали в Вене, кроме ее второго сына Альберта[39], умершего потом в Швеции, и ее дочери Альбертины[40], вышедшей впоследствии замуж за герцога Брольи, в то время бывшей прелестным 10—12-летним ребенком, г. Сисмонди[41], историк итальянских республик, и г. Август-Вильгельм Шлегель. Последний был наставником молодого Сталя и, вместе с тем, секретарем и сотрудником его матери. Влияние г. Шлегеля на развитие идей г-жи де Сталь было настолько велико, что невозможно обойти молчанием эту личность, тем более, что со временем он приобрел твердо установившуюся репутацию. Г-н Шлегель, выдвинувшийся, как немецкий писатель, стремился стать писателем французским и, действительно, хорошо овладел французским языком, обычно не дающимся немцам. Он поднял знамя восстания против французского классицизма и яростно напал на Расина в брошюре, наделавшей много шума[42]. В результате, возник оживленный литературный спор, в котором приняли участие многие французские писатели и журналисты. Г-жа де Сталь склонялась к точке зрения Шлегеля, литературные суждения которого оказывали на нее сильное влияние. Он в то время помогал ей в ее большом труде о Германии: материалы для этой работы были в большей своей части подготовлены Шлегелем, а третий том, трактующий о философии, был почти целиком написан им, причем г-жа де Сталь лишь придавала этим материалам литературную форму, приемлемую для вкуса французской публики, и вносила туда черты своей индивидуальности. Она говорила: «Руда Шлегеля богаче моей, но чеканю монеты я лучше, чем он». И действительно, г-жа де Сталь знала немецкий язык лишь по какой-то исключительной интуиции, инстинктивно; она едва могла связать два слова по-немецки или прочесть полстраницы какой-нибудь газеты, а между тем, я сам видел, как она, прямо раскрыв книгу, переводила сцену из Шиллера с поразительным пониманием и воодушевлением, вскры-

вавшим, казалось ей, без затруднения внутреннее содержание этой высокой поэзии.

Может показаться удивительным, что такой человек, как Шлегель, стоявший в первом ряду немецких литераторов, стал добиваться причисления себя к французским писателям, решив как бы покинуть уже завоеванное с трудом место. Чтобы понять эту кажущуюся аномалию, надо перенестись в условия эпохи, о которой я говорю. Новое поколение, современная молодежь,—я нарочно избегаю сказать «молодые люди», потому что в данном случае это было бы двойным варваризмом,—не может себе представить настроение умов в начале века и в эпоху Империи. Никогда преобладание французского языка и французского гения не было более сильным, весь мир их любил и культивировал, даже те, кто наиболее ненавидел французское правительство и его политику. Стихотворение, куплет, песенки, прозаический отрывок распространялись по всей Европе,—это был лучший способ проникнуть в общество равно в Париже, Вене, Петербурге и Неаполе. Двери всех салонов открывались перед теми, кто служил литературе, и, главным образом, французской, бесспорно царившей над всеми остальными. Никогда влияние французской литературы не достигало такой силы, как в то время, когда в глубине сознания людей и в тайниках их душ уже зрела и создавалась реакция, которая вскоре должна была выдвинуть разные новые мало ценимые до тех пор национальности и разрушить тот могущественный синтез, при помощи которого в течение всего XVIII столетия Франция безраздельно владычествовала над Европой...

Не было, мне кажется, уделено достаточно внимания тому, с какой заботой Наполеон, будь то по собственной склонности или в качестве ловкого маневра, старался пользоваться этим влиянием, значение которого он знал; его царствование, безусловно, было, по преимуществу, военным и воинствующим, и, тем не менее, наряду с этой громадной манифестацией завоевательского духа, Наполеон усердно покровительствовал литературной мысли, лишь бы только она оставалась в границах, им указанных, и воздерживалась от политики. Человек, который в начале своей карьеры подписывался: «член Национального института, главнокомандующий итальянской армией», сам находился под обаянием цивилизаторских идей; во время его царствования ум завоевывал отличия наравне с бранной славой. Выдающиеся люди науки и литературы—Лаплас, Лагранж, Монж, Бертоле, Фуркруа, Шапталь, Фонтан—занимали первые ряды в Сенате и в управлении. Дарю, переводчик Горация, был главным интендантом армии. После прочтения только-что появившейся книги молодого Моле, Наполеон вызвал его к себе и поручил ему вскоре после того портфель министра юстиции; первая литературная проба открыла Просперу де Баранту перспективу высоких должностей; еще многие другие обязаны своим возвышением литературному или научному успеху.

Сам Наполеон писал много; его брат Людовик, король Голландии, посвящал себя исключительно изучению литературы; Люсьен дулся и в то же время рифмовал свои громадные эпопеи, даже заглавия которых сейчас забыты; сам добродушный Иосиф, бродячий король Испании и Неаполя, застенчиво выпускал сентиментальные новеллы.

Одним словом, увлечение было повальным. Вне Франции Наполеон дал орден Почетного легиона Гёте и Виланду; в Италии он призвал Фос-

сомброни, известного физика, к самым высоким государственным должностям и щедро вознаграждал Монти, воспевавшего его деяния. Его артистический энтузиазм дошел до того, что он послал орден Железной короны певцу-кастрату Крешентини и заметил свою оплошность только тогда, когда Тальма отказался принять тот же орден. Наполеон согласился даже забыть, что живописец Давид был суровым членом Конвента, потому что императору понадобилась его кисть для изображения коронации и для писания портрета. Одним словом, в царствование Наполеона порывы интеллектуальные и артистические объединялись с воинственными; лишь бы только и те и другие склонялись под единой железной волей, в действительности более капризной и самоуправной, чем деспотической.

Неправильно чрезмерно преуменьшать значение литературы времен Империи; если гениальных людей не было, то не потому, что не было поощрения; зато писателей второстепенных было множество».

Весь этот «очерк состояния культуры» при Наполеоне I специально направлен Уваровым против г-жи де Сталь, пришедшей к диаметрально противоположному выводу в своей книге «О литературе»: бывший министр просвещения при Николае I, Уваров упорно возражает г-же де Сталь против ее утверждения, что без политической свободы невозможно процветание литературы и науки. Уваров продолжает далее:

«С этой точки зрения понятно, как должны были оскорблять самолюбие Наполеона так называемая им измена Шатобриана и упорное противодействие г-жи де Сталь: действительно, достойно внимания то, что оба эти французских писателя, творения которых имеют значение до наших дней и которые первые подняли знамя восстания в старом владении французского гения, вели свою работу вопреки видам Наполеона, под флагом явно ему враждебным, в то время как видный стихотворец той эпохи, Делиль, ограничился тем, что, из оппозиции, посвятил сделанный им перевод «Энеиды» императору Александру I.

Однако, вернемся к г-же де Сталь. Когда убедились, что под двойным покровом выдающейся женщины и крупного писателя нет ни жеманства, ни педантизма, когда все признали, что г-жа де Сталь—женщина умная и приятная в обществе, с превосходным характером и чрезвычайно добрая, все предубеждения рассеялись, и она была единодушно принята даже теми, кого отталкивали от нее политические убеждения и имя ее отца.

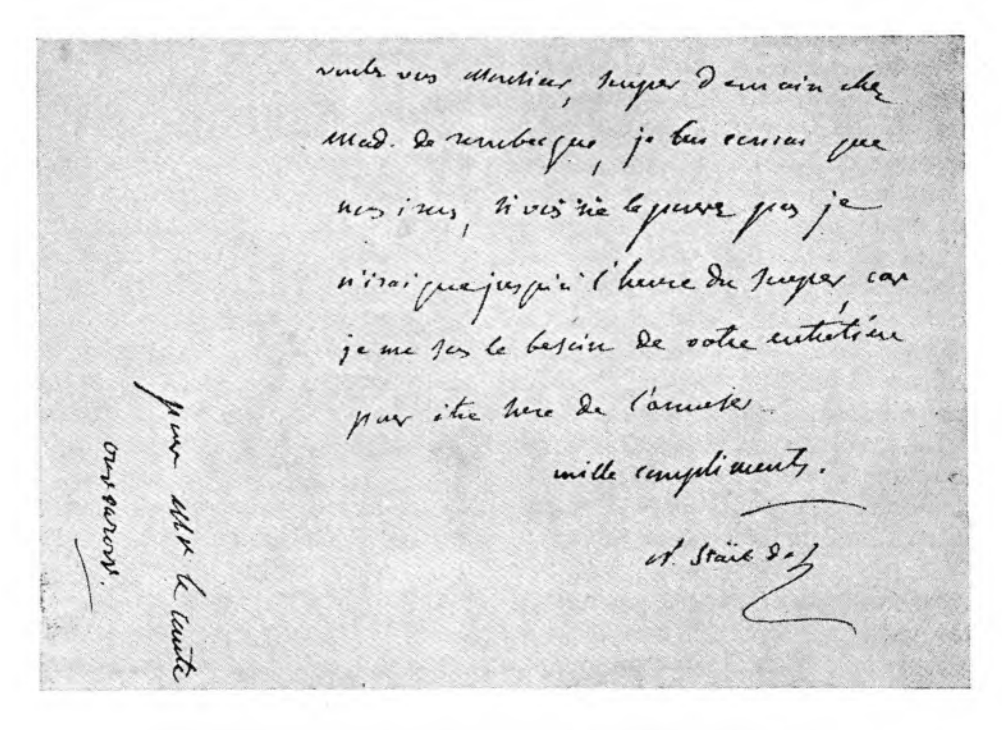
Описывая обычную манеру г-жи де Сталь, я не буду утверждать, что она всегда оставалась ей верна. Шла ли речь об обращении в своего единомышленника какого-либо политического деятеля, или о том, чтобы приковать к своей колеснице человека, по ее мнению, расположенного к более нежному восхищению, г-жа де Сталь становилась Коринной, предоставляя тогда полную свободу проявлениям своей увлекательной речи. Она то углублялась в дебри политических и социальных проблем, то увлекалась метафизикой чувств. В эти моменты вдохновения она блистала остроумием и талантом. Редкий мужчина мог бы оспаривать у нее пальму первенства в импровизации. Ее речь, несмотря на несоответствие некоторых ее предвзятых идей, всегда оставалась в пределах изящной убедительности. Но, взявшись за перо, она иногда допускала в своем стиле некоторые неологизмы (очень робкие, несомненно, по сравнению с теперешними крайностями), но устная речь ее казалась более чистой, более выдержанной, более простой. Она принимала характер как бы разговора, поднятого силой таланта до предела своей мощи, но без отрыва от

своего первоисточника. Когда г-жа де Сталь решалась касаться в своем разговоре вплотную тех вопросов чувства, которые занимают столько места в ее литературных произведениях и которыми так охотно пользовались, как темами для разговоров, умение ей иногда изменяло. Увлеченной своей словоохотливостью, г-же де Сталь трудно было сохранить равновесие; сама того не подозревая, она подходила к границе смешного, когда вдавалась в такие туманные тонкости, что язык ее часто утрачивал четкость и определенность. Вместе с тем, эта ее страстная дикция, совершенно не соответствующая ее внешнему виду, невольно вызывала улыбку; женщины особенно были строги к ней в этих случаях. Это была своего рода отместка: ведь еще и Лафонтен отмечал, что много мужчин обладает чертами женского характера (bon nombre d'hommes qui sont femmes)[43].

Однако, справедливость требует отметить, что, когда г-жа де Сталь встречала противника достойного ее, характер и талант которого она уважала, как, например, Поццо ди Борго[44] или Гентца[45], их беседа становилась исключительно интересной и значительной».

Последнее указание Уварова драгоценно. Оказывается, исключительно интересные и значительные беседы в Вене г-жа де Сталь вела с двумя злейшими врагами Наполеона. Уваров был слушателем, вряд ли соучастником этих «исключительно интересных и значительных» политических разговоров г-жи де Сталь с людьми, остро и деятельно переживавшими тревоги бурной политической погоды 1808 г. Уваров предпочитал этим разговорам иные разговоры, лишенные политической остроты и опасности.

«А все-таки разговоры г-жи де Сталь с князем де Линем—более простые, более изящные и, если угодно, более фривольные—казались мне выше бурных импровизаций, мало подходящих к салонному духу. Прелесть


voulez vous Monsieur souper demain chez
Mad. de [illegible], je lui écrirai que
vous irez, si vous ne le pouvez pas je
n'irai que jusqu'à l'heure du souper car
je me sens le besoin de votre entretien
pour être hors de l'[illegible]
mille complimens.
N. Staël de H.

[illegible]

АВТОГРАФ ЗАПИСКИ Г-ЖИ ДЕ СТАЛЬ К С. С. УВАРОВУ. ВЕНА, 1808 г.

Исторический музей, Москва

их бесед, легких и блестящих, в которых оба собеседника поочередно щеголяли особой тонкостью и изяществом ума, состояла, главным образом, в том убеждении, что беседы эти являются последним отголоском умирающего общества, последним взлетом французского гения, который, от Раблэ и до Вольтера, дал могучий толчок развитию языка, изящной литературы и даже политических судеб Франции, толчок, отразившийся во всей Европе».

III. Г-ЖА ДЕ СТАЛЬ И КНЯЗЬ ДЕ ЛИНЬ

Князь Карл-Иосиф де Линь (1735—1814) был тою достопримечательностью Вены, которая произвела на Уварова наибольшее впечатление. XVIII в.—в его придворной пышности, военной славе, дипломатическом лукавстве, салонном острословии, литературном изяществе и жизненном эпикурействе, словом, весь XVIII в. — вот что́ было воплощено в одном князе де Лине, которому при знакомстве с Уваровым минуло 72 года. Уваров нашел в де Лине тот перекресток истории, с которого можно было озирать несколько ее дорог. Вена времени Марии-Терезии и Иосифа II, Париж и Версаль Людовиков XV и XVI, Петербург Екатерины II,—всё это соединилось в одном князе де Лине.

Потомок двух австрийских фельдмаршалов, князь де Линь сам был дважды фельдмаршал: австрийским фельдмаршалом он стал за то, что участвовал в семилетней войне, воюя против Фридриха II, с которым переписывался на французском языке, а в русские фельдмаршалы Екатерина II возвела де Линя за словесные поединки, которые он с блестящим искусством вел с нею в Эрмитаже. Читая в Петербурге перлюстрированные письма де Линя, Екатерина II давала наказ Храповицкому: «...примечать, и когда начнутся шалости, то велеть ему выехать из России», а пока решительно предпочитала де Линя его повелителю Иосифу II: «Двух бунтов сам был причиною; тяжел в разговоре,—жаловалась она Храповицкому на Иосифа II,—а князь де Линь, скрывающий под фривольностью очень глубокого философа и обладающий справедливым взглядом на вещи, его перевертывает»[46]. Екатерина II взяла с собою князя де Линя в крымское путешествие, которое он описал, и подарила ему земли в Крыму. Не лишне отметить, что князя де Линя связывала примечательная дружба с Суворовым, с которым он состоял в переписке[47].

Вольтер высоко ценил острый ум и французский слог де Линя: он переписывался с ним, как равный с равным, писатель с писателем.

Завоевание Бельгии, где у де Линя были большие поместья, войсками революционной Франции разорило князя; с тех пор де Линь жил в Вене.

На одной из первых страниц своего дневника Уваров занес свое впечатление от встречи с де Линем.

«Князь де Линь — не из последних достопримечательностей Вены. Я представлял его себе небольшого роста, согбенным, разбитым, в действительности же я нашел очень красивого по внешности, высокого, совершенно свежего человека. Его 72-летний возраст ничуть не уменьшил его приветливости. Ничего не может быть остроумнее его манеры разговора: он говорит самые смешные вещи, сохраняя удивительно серьезный вид. Его разговор смел, оригинален, полон анекдотов и так же разнообразен, как и его биография. Он был очевидцем блестящих дней Людовика XV, триумфов Екатерины II, подвигов Фридриха II. Он перепи-

сывался с Вольтером. Он пользовался всеми возможными успехами и пережил их».

Дальнейшие страницы дневника Уварова испещрены заметками о де Лине; Уваров наслаждается каждым его острым словом. В де Лине восхищает Уварова величайший мастер старофранцузской веселости, острословия и вольтеровской едкости.

«В 1807 г. князь де Линь сказал Талейрану: «Только нас двое осталось французов» (Il n'y a plus que vous et moi de français)».

Для Уварова де Линь был последним французом из той Франции, которую одну он считал Францией,—из Франции старого режима.

Через тридцать четыре года после своих венских заметок о князе де Лине Уваров собрал все эти разрозненные черты в законченный портрет де Линя и поместил его в своих «Etudes de philologie et de critique» (St.-Pétersbourg, 1843). Немногие прочли в свое время эту французскую книгу президента русской Академии наук. В настоящее время она по достоинству забыта всеми, и лишь небольшой очерк «Le prince de Ligne» заслуживает изъятия из этого забвения. Прекрасный литературный портрет де Линя работы Уварова — одно из лучших произведений русских писателей, писавших по-французски. Его краски не нуждаются в освежении. Нужно только помнить, что портрет писан рукой человека, который возобновлял в нем идеальный облик, созданный в ранней молодости.

«Мне пришлось видеть князя де Линя в Вене в 1807 г. Будучи в очень молодом возрасте, но по традиции и вкусам страстно привязанный к тому, что называли старым режимом, я не мог при представлении моем ветерану европейского изящества не испытать некоторого волнения. Я так часто слышал его имя, я повсюду встречал его на страницах XVIII в. среди имен Вольтера, Людовика XV, Екатерины II, Фридриха II и императора Иосифа II.

Человек, который в течение столь долгого времени заставлял говорить о себе, представлялся мне, юноше, древним памятником, каким-то дряхлым Нестором. Судите о моем удивлении, когда я увидел, что князь де Линь в семьдесят два года продолжал сохранять почти всю силу зрелых лет! Он был высокого роста, держался очень прямо, сохранил зрение, слух и, главное, великолепный желудок, вел очень светский образ жизни, был чрезвычайно любезен с дамами и сверкал своим изящным легкомыслием. При этом, князь де Линь склонен был обращаться с молодыми людьми, как с товарищами. Легко себе представить, с какой восторженной готовностью я поспешил оказаться в их числе. Он сохранил густые волосы, и так как он их пудрил, его красивое лицо, хотя на нем и были заметны морщины, не носило никаких признаков старческой дряхлости. Военная форма хорошо шла к нему, и крест Марии-Терезии на его груди благородно сочетался с орденом Золотого руна. Он потерял часть своего состояния во время бельгийских революций и прожил остальное. От своего громадного состояния, частично переданного младшему сыну, князь де Линь сохранил в Вене только скромный дом на городском валу, который, тем не менее, называли дворцом де Линя. Там собиралась каждый вечер его милая семья, состоявшая из двух замужних дочерей и третьей, которая тогда была начальницей общины; здесь периодически собиралось всё, что было в Вене самого изысканного, будь то старые женщины самого очаровательного тона, с величавыми манерами, будь то молодые, исполненные прелести; иногда появлялась группа англичан, которые,

как говаривал князь де Линь, путешествовали для своего собственного удовольствия, а не для удовольствия других; иногда это были русские, к которым он питал особое расположение; туда приходило мало немцев, если не считать кое-каких обломков времени императора Иосифа или нескольких аристократов из Нидерландов, изгнанных, подобно старцу у Вергилия или самому хозяину дома, вдаль от своих домашних пенатов. К этим всегда усердным посетителям присоединялось несколько эмигрантов высокого полета, граф Роже де Дамас, маркиз де Бонне; когда же в этой смешанной группе замечался человек с огненным взглядом, с смуглым лицом южанина,—это был Поццо ди Борго, увлекательные беседы которого, совершенно отличные от бесед князя де Линя, привлекали к нему; его оригинальный ум, страстный и совсем современный, заставлял особенно рельефно выделяться тот типичный ум XVIII в., который был у князя де Линя».

Появление г-жи де Сталь в доме князя де Линя было крупным событием венской зимы 1807—1808 г. Вот как Уваров описывает эту встречу в своем дневнике:

«Приезд г-жи де Сталь как бы разбудил князя де Линя и вернул ему всю его приветливость. Чрезвычайно любопытно наблюдать, когда они вместе. Они взаимно очень довольны друг другом, но разница в складе их ума вызывает резкий контраст в их разговоре. Оба они заслуженно пользуются репутацией красноречивых собеседников. Г-жа де Сталь привила на французской любезности множество новых, чуждых прежнему идей. Князь де Линь тщательно оберегает во всей ее чистоте французскую элегантность речи. У г-жи де Сталь в разговоре больше воображения, у князя де Линя—непринужденности и изящества. Г-жа де Сталь смело фрондирует давно воспринятые идеи, а князь де Линь им благоговейно следует. Когда г-жа де Сталь, впадая в экзальтацию, предается своим глубокомысленным рассуждениям о любви, религии и морали, князь де Линь незаметным образом возвращает ее в ее парижский салон. Когда г-жа де Сталь заводит речь о Клопштоке, которого она, быть может, и не знает, князь де Линь над ней подсмеивается, заставляет ее самоё смеяться и говорит ей о Вольтере. Г-жа де Сталь не часто говорит о революции, потому что мало кто был бы с ней согласен. Быть может, князь де Линь и не препятствовал бы этому разговору, если бы революция не разрушила все дворянские идеи, которым он так предан. В таких случаях ссора между ними неизбежна. Она могла бы затянуться, но ее прекращает поданная индейка с трюфелями, и разговор тогда меняется. Г-жа де Сталь весело упрекает князя де Линя в обжорстве, он ей отвечает стихами из «Le Mondain» [«Светский человек»—сатира Вольтера]. Г-жа де Сталь старается его убедить в том, что нет ничего менее интересного, чем обжорливый человек, и рисует ему образ любовника таким, каким он должен быть; князь де Линь протестует против умеренности и слабых легких, которыми г-жа де Сталь наделяет любовника. Все смеются, и обед кончается».

Эту блестяще зарисованную встречу Уваров представил с большей полнотой и с еще большим мастерством в очерке «Князь де Линь», написанном в 1842 г. Две-три черты из дневника он даже перенес целиком в свой позднейший рассказ, тем самым, подчеркивая его достоверность.

«В маленьком сероватом салоне, скромно меблированном и таком узком, что трудно было даже стоять, когда собирался народ, появилась однажды

КНЯЗЬ ДЕ ЛИНЬ
Гравюра Ж. Адама, 1785 г., с портрета Ж. Крёцингера, изд. Артариа в Вене
Исторический музей, Москва

г-жа де Сталь—блестящий метеор, занимавший всеобщее внимание, который впоследствии был нам так полезен. Сначала князь де Линь был мало к ней расположен. Драматическая экзальтация Коринны казалась ему несколько смешной, и ее неологизмы в беседах были ему антипатичны. Во Франции до революции князь де Линь не поддерживал знакомства с г. Неккером и мало его ценил. Г-жа Неккер была для него необыкновенно скучна, а о шведской посланнице он сохранил воспоминание, как о личности вне всякого сомнения некрасивой, которая занималась политикой и любила громкие фразы. Князь де Линь был очень привязан к королеве Марии-Антуанетте и рыцарски в нее влюблен; естественно, что общение с женевским министром могло быть ему только неприятно. Нужна была вся приветливость его характера, нужна была вся его очаровательная деликатность для того, чтобы признать в г-же де Сталь, беглянке уже в 1808 г., совершенно исключительную натуру, которая, благодаря редким качествам сердца и высокому уму, имела право на всеобщую благожелательность. По обоюдному молчаливому соглашению людей хорошего тона, г-жа де Сталь и князь де Линь никогда не обменялись ни одним серьезным словом о 1789 г.: в этом вопросе было полное расхождение,—никогда они не могли бы понять друг друга в чем-нибудь, касающемся революции. Граф де Ла Марк (князь Август д'Аренберг)[48], друг Мирабо и герцога Орлеанского, симпатизировавший поэтому идеям г-жи де Сталь и в то же время по своему социальному происхождению близкий к князю де Линю, был точкой преломления этих двух столь различных умов,—

он был богом Термом, следившим за тем, чтобы владения каждого из них были тщательно охранены. Трудно было бы выразить то бесконечное удовольствие, которое давало нам это очаровательное зрелище: никогда князь де Линь не бывал тоньше, кокетливее, изобретательнее; никогда г-жа де Сталь не была более блестяща; в нем был легкий, почти незаметный налет иронии, который, не оскорбляя г-жи де Сталь, оказывал ей некоторое пассивное сопротивление, бывшее для нее не без привлекательности. Когда Коринна взрывом бесподобного красноречия возносилась на седьмое небо, князь де Линь исподволь возвращал ее в ее парижский салон. Когда он, в свою очередь, бросался очертя голову в душистую болтовню Версаля или Трианона, г-жа де Сталь спешила несколькими краткими и энергичными словами, в стиле Тацита, указать на обреченность этого общества, приговоренного к гибели от собственной руки. Слушатели увлекались то одним, то другим и не были в состоянии решить, кому принадлежит приз; впрочем, никто не хотел бы примирить их, настолько эта борьба была благородна и хорошего вкуса. Поспешим добавить, что в этих очаровательных схватках ничего не было деланного, ничего фальшивого: это были две различные натуры, которые проявляли себя без усилия, два ловких борца, любезно перебрасывающие друг другу мяч; живость неожиданных выражений, всегда вежливых и естественных; легкая беседа, почти небрежная, свободно переходившая от одной темы к другой; чрезвычайное старание всячески избегать резкости в словах; взаимное добродушие, если только можно воспользоваться этим словом,— таковы были отличительные черты этого невероятного фейерверка, великолепные снопы которого до сих пор вспоминаются мне с наслаждением».

Сама г-жа де Сталь нашла в доме князя де Линя оазис, в котором освежалась от венской сухости и скуки, и не без отчаяния и благодарности писала она тогда из Вены герцогине Луизе: «Князь де Линь и его семья— настоящий клад в моем положении... Князь де Линь превосходен. Его любезность вам известна, но эта любезность является формой, которая скрывает лучше, чем то сделала бы неприветливость, чудесные и глубокие качества»[49].

Князь де Линь широко раскрыл двери своего дома перед г-жой де Сталь, но она очутилась в роялистском особняке старого режима, где самое имя ее отца было запретно, а дата—1789 г., заветная для г-жи де Сталь, была самой ненавистной из всех дат всемирной истории... Здесь высоко ценили искусство ее разговора, но единодушно желали, чтобы предметом этого искусства были идеи, мысли и чувства, не выходившие за пределы боскетов Трианона и парков Версаля.

Старая Франция, эмигрировавшая в Вену, умела быть любезной и внимательной к своей гостье, и она пожелала угостить ее тем, чем так охотно развлекались в XVIII в. в салонах, при дворах,—угостила театром.

Вена была музыкальной столицей Германии. В 1808 г. в ней жили Гайдн и Бетховен, была жива память о Глюке и Моцарте, творения которых беспрестанно исполнялись в опере и в концертах. Самым большим эстетическим угощением, которое Вена могла предложить г-же де Сталь, была музыка. Но г-жа де Сталь была равнодушна к ней. В своем рассказе о пребывании в Вене она не упоминает ни словом о Бетховене; прослушав «Requiem» Моцарта, она нашла, что он «недостаточно торжественен». После исполнения величайшей из ораторий Гайдна г-жа де Сталь пишет: «Я слышала в Вене гайдновское «Сотворение мира», его исполняли

одновременно 400 музыкантов; это был достойный праздник в честь творения, которое чествовалось. Но Гайдн иногда вредил умом своему таланту. На слова: «Бог сказал: Да будет свет!—и стал свет» сперва инструменты играли очень тихо и их было еле слышно, потом они вдруг все сразу загремели с ужасным шумом, долженствующим символизировать рождение света, так что один остроумный человек сказал, что при появлении света нужно затыкать себе уши. В нескольких других местах «Сотворения мира»—та же изощренность мысли, часто достойная порицания: музыка еле тянется, когда созданы змеи; она снова становится блестящей с пением птиц; а во «Временах года», тоже Гайдна, эти намеки еще чаще»[50].

Уваров в своем неизданном дневнике сохранил любопытную запись об этом исполнении «Сотворения мира», на котором присутствовал вместе с г-жою де Сталь:

«Я видел Гайдна[51]. Общество любителей исполняло в университетском зале его «Сотворение мира». Он прибыл туда, скорее его туда принесли. Он мне показался среднего роста, с довольно выразительным лицом, с орлиным носом. Он уже настолько слаб, что самостоятельно двигаться не может, однако, свежесть мысли сохранилась вполне. Он мог выслушать только первую часть оратории и казался очень растроганным. Из опасения, что ему сделается дурно, его на кресле донесли до носилок под несмолкаемые крики «виват!», «браво!». Однако, слушатели, казалось, не были особенно взволнованы музыкой. Эти добрые венцы мало склонны к энтузиазму и любят музыку, так же, как и свою родину, без порыва и страсти. Оратория была исполнена прекрасно. Я заметил г-же де Сталь, какое печальное, горестное зрелище—угасание гения; она согласилась со мной. Говоря о том, насколько трудно уметь хорошо рассказывать, г-жа де Сталь, между прочим, сказала, что есть люди, которые, раз принявшись за какую-нибудь историю, говорят, подобно апостолам на горе Фаворе: „Господи, нам хорошо здесь! Не поставить ли здесь три палатки?“».

Из всех композиторов Германии г-же де Сталь ближе всех был Глюк с его операми-трагедиями на сюжеты из античного мира. Автор «Ифигении в Тавриде» и «Орфея» в глазах г-жи де Сталь был оперным Расином. Глюк гениален потому, что «сумел чудесно приспособить музыку к словам, соперничая с поэтом по выразительности музыки»; его оперы «производят трагический эффект». Г-жа де Сталь прощала Глюку музыку за то, что он подчинил ее трагедии.

К трагическому театру г-жа де Сталь имела влечение с ранней юности. В гостиной своей матери она наслушалась рассуждений Мармонтеля и Лагарпа. Там же изредка появлялась знаменитая Клэрон и декламировала отрывки из трагедий. Начав в ранней юности с пьес для своего кукольного театра, г-жа де Сталь вернулась к драматургии в поздние годы, во время подневольного уединения в Коппе, для своего домашнего театра. Учась у Расина, г-жа де Сталь написала «Агарь» и «Суламифь», а вспоминая Клэрон, выступала в ее ролях. Ее друзья, гостившие в Коппе, превращались в актеров ее труппы—труппы, единственной в истории: ее премьером был Бенжамен Констан, а в ролях благородных отцов, злодеев, наперсников и вестников выступали историки Сисмонди и Проспер де Барант.

Круг зрителей этого театра был тесен, но молва о нем разнеслась по всей Европе. Август Шлегель был апологетом трагического таланта г-жи

де Сталь. В берлинском «Дамском Календаре на 1806 год» он поместил статью о некоторых трагических ролях г-жи де Сталь («Ueber einige tragische Rollen von Frau von Staël»).

Размышляя над игрой г-жи де Сталь, Шлегель дал ее апологию, как романтической актрисы. Верила ли ему сама г-жа де Сталь? Ей аплодировали в Коппе ее актеры-историки, она исторгала слезы из глаз г-жи Жанлис, о театре в Коппе писали в европейских журналах,—какие основания были бы у г-жи де Сталь не верить и этой новой главе в истории ее европейской известности?

Вена усиленно угощала г-жу де Сталь театральными зрелищами. Г-жа де Сталь так охотно их принимала, что в мае 1808 г., наметив уже свой отъезд из Вены, «задержалась в Вене на лишнюю неделю..., чтобы посмотреть, как танцует Дюпор, который перебрался сюда, переодетый в женское платье, и чтобы послушать M-lle Жорж, которая, по пути в Петербург, декламирует у княгини Багратион»[52].

Князь де Линь и граф Кобенцль с сестрою были страстными театралами—французскими театралами. Драматурги и актеры Эрмитажного театра Екатерины II, они захотели увидеть на театре г-жу де Сталь.

3/15 февраля 1808 г. Уваров писал своей матери в неизданном письме: «Вчера состоялся любительский спектакль у графини Замойской. Я не участвовал, но играла знаменитая г-жа де Сталь, уже с месяц находящаяся здесь». Через шесть дней Уваров сообщает матери: «Наша Вена очень хороша. Карнавал был блестящий. Теперь у нас каждую неделю по любительскому спектаклю. Вчера г-жа де Сталь играла в «Le Legs» [комедия Marivaux]. Мнения разделились, что касается меня, то я местами находил ее игру превосходной. В будущее воскресенье будет повторена пьеса «Юность Генриха V», в которой я участвую»[53].

Выступая в чужих пьесах, г-жа де Сталь решила дебютировать в светской Вене и как драматург. Она выбрала ту из своих пьес, в которой имела наибольший успех в Коппе,—лирическую сцену «Agar dans le désert» («Агарь в пустыне»), сюжет которой заимствован из библии.

Избирая «Агарь» для выступления в Вене, г-жа де Сталь не могла не рассчитывать на то, что ее библейская сцена оживится самым современным содержанием: г-жа де Сталь сама была в положении Агари, осужденной на изгнание. Первое представление состоялось 14 февраля 1808 г. в доме графини Софьи Замойской. Спектакль был повторен 8 марта у княгини Фюрстенберг. Однако, «Агарь» не встретила в Вене и доли того успеха, который она имела в Коппе. Уваров записал в своем дневнике:

«Г-жа де Сталь только-что сыграла «Агарь в пустыне». Мнения разделились: соглашаясь с тем, что игра ее страдала преувеличением, отмечая недостатки ее голоса, надо, однако, принять во внимание, что сцена совершенно не соответствовала пьесе. Сильные и патетические душевные движения требуют большой сцены, содействующей иллюзии. Самая пьеса ее собственного сочинения показалась мне посредственным произведением». Отзыв Уварова об «Агари» был из числа благосклонных.

В очерке «Князь де Линь» Уваров вспоминает: «Князь де Линь, отведя меня в сторону после спектакля, сказал:—Мой друг, разве вы не в восторге и не находите пьесу прекрасной? Кстати, как она называется?—«Агарь в пустыне»,—ответил я наивно.—Ах нет, мой друг, вы ошибаетесь, это „Оправдание Авраама“».

В Вене была поставлена также и другая пьеса г-жи де Сталь: «Женевьева Брабантская». Граф Цинцендорф отмечает в своем дневнике под 14 марта 1808 г.: «Сегодня г-жа де Сталь читает у графини Северин Потоцкой трагедию своего сочинения «Geneviève de Brabant». Было пролито много слез, в особенности княгиней [Лихтенштейн], при чтении были неистовые крики». Самый спектакль состоялся 30 марта у княгини Лихтенштейн,—отзыв об игре г-жи де Сталь был столь же мало благоприятным. Впрочем, граф Цинцендорф, присутствовавший во дворце князя Лихтенштейна на упомянутом уже представлении комедии Мариво «Наследство», нашел, что г-жа де Сталь в комических ролях лучше, чем в трагических: «Она великолепно декламировала, без криков, правдиво изображая страсти. Желательно было бы не видеть ее лица, мужеподобного, тяжелого, массивного, бесконечно вредящего приятности ее игры»[54].

В очерке «Князь де Линь» Уваров, вспоминая о театральных выступлениях г-жи де Сталь в Вене в 1808 г., подробно рассказывает о спектакле, на котором давались мольеровские «Ученые женщины»:

«Венское общество поспешило чествовать г-жу де Сталь; были пущены в ход салонные спектакли, наследство XVIII в. По приезде г-жи де Сталь было поставлено несколько пьес, в частности, «Ученые женщины», в которых она получила большую роль Филаминты; граф Людвиг Кобенцль

ПИСЬМА, МЫСЛИ
И
ИЗБРАННЫЯ ТВОРЕНІЯ
ПРИНЦА де ЛИНЯ,
изданныя
БАРОНЕССОЮ СТАЭЛЬ ГОЛСТЕИНЪ
и
Г-мъ ПРОПІАКОМЪ.

Переводъ съ Французскаго

ТОМЪ ПЕРВЫЙ
Съ портретомъ.

МОСКВА.
Въ Типографіи С. Селивановскаго
1809

РУССКИЙ ПЕРЕВОД СОЧИНЕНИЙ КН. ДЕ ЛИНЯ, ИЗДАННЫХ Г-ЖОЙ ДЕ СТАЛЬ

На фронтисписе портрет Г. А. Потемкина, гравюра А. Грачева. Часть тиража этого же издания вышла с портретом Екатерины II

играл Кризаля с живостью и талантом, которые вызвали бы зависть у опытного актера. Его сестра, г-жа де Ромбек,—бесподобное и изящное смешение ума и чувства, безумства и мудрости—играла роль Мартины. Артур Потоцкий и я, самые молодые из всей компании, были тщательно загримированы, на нас были надеты громадные парики, и мы появились, он—Вадиусом, я—Триссотеном. Пьеса была довольно дружно сыграна и понравилась; г-жа де Сталь не была избавлена от нескольких тонких намеков».

«Тонкие намеки» состояли в том, что устроители светского спектакля, выбирая для него «Ученых женщин» Мольера, предвкушали злорадное удовольствие, что г-жа де Сталь, исполняя роль Филаминты—«ученой женщины», сыграет сатирический памфлет на самоё себя.

Можно себе представить, с каким наслаждением осуществленной и неуязвимой мести светские противники г-жи де Сталь аплодировали реплике служанки Мартины (графини Ромбек), которую она бросает в лицо Филаминты (г-жи де Сталь):

Ученость—дело лишнее в хозяйстве:
Где книги завелись, там в доме все вверх дном,
И если мне признаться можно в том,
Желала б для себя такого я супруга,
Чтоб книгу только он любил одну—
А именно: свою законную жену![55]

Спектакль «Ученые женщины» состоялся 11 мая 1808 г.[56], перед самым отъездом г-жи де Сталь из Вены. Г-жа де Сталь имела успех в Филаминте. Она и не подозревала, что в глазах не только венских придворных, но и в глазах ее друзей, игравших с нею, это был успех самобичевания, успех сатирического самоосмеяния.

Участие в спектаклях, особенно в подготовке трудной по исполнению комедии «Ученые женщины», сблизило Уварова с г-жой де Сталь.

Г-жа де Сталь приехала в Вену, имея рекомендацию к русскому послу, князю Куракину, от герцогини Луизы Веймарской, и в первом же письме из Вены писала ей: «Благодаря доброте вашего высочества, я всегда нахожу в чужих краях то, что скрашивает мое пребывание в них. Два письма, которые вам угодно было мне прислать, оказались очень полезными, потому что только в доме у герцога Альберта [Саксен-Тешенского] и у князя Куракина можно лучше всего познакомиться со здешним обществом»[57]. Скучный и чванный Куракин менее всего был способен быть собеседником г-жи де Сталь. Недаром его атташе Уваров писал матери 18/20 января 1808 г.: «В Вене большое оживление—балы, празднества, ежедневные собрания, средоточие всяческих развлечений... Я был бы в восторге от здешнего образа жизни, если бы только у нашего посла был другой характер. Вы с трудом поверите, что редко можно найти человека, с которым было бы так трудно жить». Но посольская гостиная Куракина была для г-жи де Сталь удобной проходной комнатой для перехода в другие венские гостиные.

Из числа русских, живших в Вене, г-жа де Сталь встретилась с князем Петром Ивановичем Тюфякиным[58] и княгиней Екатериной Павловной Багратион[59]. О князе Тюфякине г-жа де Сталь писала в Париж г-же Рекамье: «Я вас уверяю, что, за исключением нескольких друзей, князь Тюфякин выше всех здесь, и его беседы имеют наибольший успех...».

Княгиню Багратион, оставившую своего мужа, знаменитого героя 1812 г., П. И. Багратиона и сделавшуюся хозяйкою дипломатического салона князя Меттерниха, знали также в Веймаре, и г-жа де Сталь писала великой герцогине: «Прошу вас передать его высочеству, что княгиня Багратион мне очень нравится. Она уверяет, что весною вместе со мной приедет в Веймар»[60].

Эти дружественные отношения г-жи де Сталь с русскими, жившими в Вене, нашли себе признание в ее обобщающем замечании в книге «О Германии»: «Поляки и русские составляли главную прелесть венского общества; они говорили только по-французски и способствовали отстранению немецкого языка»[61].

Молодой дипломат Уваров был одним из тех русских, которые удостоились от г-жи де Сталь приведенного отзыва.

IV. УВАРОВ И РОМАН Г-ЖИ ДЕ СТАЛЬ С М. О'ДОННЕЛЕМ

В 1851 г. Уваров в своем очерке «Г-жа де Сталь» писал: «Перехожу к изложению отношений, установившихся между известной писательницей и мною, несмотря на разницу в наших летах. По истечении большого промежутка времени я не могу без волнения вспомнить тот интерес и то участие, которые проявила г-жа де Сталь к молодому человеку, не имевшему никакого основания рассчитывать на ее благосклонное внимание, но которого она горячо убеждала серьезно взяться за научные труды и литературные занятия. Среди большого числа сохраненных мною писем и записок находится одно, которое я решаюсь привести текстуально, хотя оно и содержит несколько похвальных слов. Вот что мне однажды писала г-жа де Сталь: «Я вас не сужу. Вы—избалованный ребенок, но ребенок талантливый. Между вами и мною слишком большая разница в возрасте для какого-либо постоянства в дружбе, но мой интерес к вам постоянен. Вместе с тем, я не перестану вам повторять, что пора вам стать взрослым и смело отдаться своему естественному призванию».

Когда г. де Барант выпустил свое первое замечательное сочинение о французской литературе XVIII в., г-жа де Сталь подарила мне экземпляр, сказав: «Возьмите и прочитайте книгу одного молодого человека примерно вашего возраста и краснейте от стыда, что до сих пор не предприняли ничего серьезного».

Много лет спустя, когда г. де Барант был французским посланником в Петербурге, а я был министром, мы часто с ним смеялись над этим совпадением и тем своего рода пугалом, которое г-жа де Сталь хотела для меня представить в лице моего уважаемого друга и собрата, память о котором per varios casus et tot discrimina rerum [пройдя через все случайности и столько жестоких испытаний] никогда не перестала быть для меня дорогой».

Этот краткий, резюмирующий обзор отношений знаменитой писательницы к молодому русскому атташе, занимающемуся литературой, грешит двумя неточностями: «большого числа» писем и записок г-жи де Сталь у Уварова не существовало; заботливо хранивший каждую мелочь своего эпистолярного обихода, Уваров сберег их всего двадцать, а, самое главное, последняя фраза из приведенного здесь письма отсутствует в подлиннике (об этом ниже); сочтем ее парафразой сказанного Уварову при вручении книги де Баранта,—но словам Уварова о г-же де Сталь нельзя

отказать в мемориальной теплоте, а указание на де Баранта не лишено известной значительности.

Барону де Баранту[62] в 1808 г. было двадцать шесть лет. Впоследствии известный историк и французский посол в Петербурге, он в 1808 г. занимал видное служебное положение в наполеоновской администрации и только-что издал «Tableau de la littérature française au XVIII^e siècle» (1808). Эта книга имела большой успех, выдержав несколько изданий (в 1837 г. вышел ее русский перевод). Литературный дебют де Баранта был блестящ и открывал перед ним прямую дорогу к широкой писательской известности и к креслу во Французской академии.

Сравнение с де Барантом, сделанное г-жой де Сталь, было очень лестно. Г-жа де Сталь считала, что для Уварова возможен такой же параллельный путь служебных и литературных успехов. Дипломатическая служба в Вене была началом одной параллели. Крупный литературный труд, которого требовала г-жа де Сталь от Уварова, должен был начать другую параллель. Доживи г-жа де Сталь до 1818 г., она могла бы, пожалуй, похвалиться своим предвидением: Уваров в этом году был сделан президентом Академии наук. Однако, г-жа де Сталь могла бы, как и прежде, попенять Уварову: де Барант был членом Академии с тринадцатью томами серьезного исторического труда, а Уваров был президентом с небольшим томиком легковесных компилятивных статей.

Восемнадцать венских записок г-жи де Сталь[63], тщательно сохраненных Уваровым,—если употребить сравнение, взятое из наших дней,—это обрывки из «разговора по телефону». Обращения идут всегда со стороны г-жи де Сталь; Уваров только отвечает на вызов. По телефону не ведут долгих бесед и ответственных разговоров, но в телефонную трубку делятся мгновенной злобой дня и непосредственным сердечным движением. Этим исчерпывается содержание, а главное, объясняется тон и стиль записок г-жи де Сталь к Уварову. Если бы в Вене 1808 г. были телефоны, этих записок не было бы. Записки г-жи де Сталь все до одной не датированы.

В этих «телефонных разговорах», запечатленных на бумаге, не легко подслушать настоящие мысли и чувства собеседников, потому что не легко за их краткостью рассмотреть сложность жизненных отношений. Затруднительность увеличивается тем, что у нас нет ответных записок Уварова, а сам он, обещав в очерке «Г-жа де Сталь» перейти к изложению отношений между ним и известной писательницей, так и не перешел к этому изложению, ограничившись приведенным эпизодом с де Барантом. Из восемнадцати записок г-жи де Сталь Уваров прокомментировал только одну (см. выше), и ту не вполне точно.

Итак, остается всматриваться в эти записки без надежды разгадать всё и без уверенности не ошибиться во многом.

Встречи г-жи де Сталь с Уваровым в первые четыре месяца 1808 г. были часты, оживленны и желанны для г-жи де Сталь—она их искала. Это впечатление выносится из всех ее записок, и в том числе даже из таких совсем малозначащих, как следующая:

(1)

Я жалела, что вас не было вчера, приходите повидать меня сегодня после обеда. Я буду ждать вас до 7 часов. Тысяча дружеских пожеланий. Не достаточно ли вам будет и пятисот?

Ни обращения, ни даты, ни подписи. Но в записке слышится тот же мотив, что и во всех других: г-жа де Сталь едет куда-то вечером, чтобы встретить там Уварова, и жалеет, если не находит его там. Иногда г-жа де Сталь прямо назначает Уварову встречу в чужом доме, дружественном к ним обоим, и не скрывает, что едет туда только ради него.

(2)

Не хотите ли вы завтра ужинать у г-жи де Ромбек? Я бы ей написала, что мы будем. Если вы не можете, то я пробуду там только до ужина, так как я чувствую потребность в беседе с вами, чтобы быть уверенной в удовольствии. Тысяча приветствий. Н[еккер] Сталь де Г[ольстейн][64].

Но гораздо чаще г-жа де Сталь предпочитает видеться и беседовать с Уваровым не в чужих гостиных, а у себя на дому.

(3)

Благодарю вас! Приходите пораньше сегодня вечером. Вы забыли приписать: «до вечера» в конце своей записки, это так хорошо бы ее заканчивало.

Уваров нередко уклоняется от этих приглашений и тогда получает записку вроде следующей:

(4)

Я была достаточно вами недовольна, что вы не зашли ко мне вчера вечером. Если вы хотите сегодня вечером поехать в ложу № 4 г-жи де Пальфи[65], то места для вас и для меня оставлены. Тысяча приветов. Н[еккер] Сталь де Г[ольстейн].

Уваров писал французские стихи, иногда немецкие и, повидимому, не писал русских. В дружеском кругу его французские стихи даже помнили наизусть. «Ты еще вряд ли и до Дерпта доехал,—писал в 1810 г. А. И. Тургенев брату Сергею, уезжавшему за границу,—быть может, с сильным биением сердца повторяешь стих Уварова:

J'ai quitté pour longtemps le foyer de mes pères»[66].

В Вене Уваров смело посвятил в свои опыты с французскими стихами знаменитую французскую писательницу и получал от нее записки, которые мог бы с гордостью показать Н. И. Тургеневу, оспаривавшему его право писать французские стихи.

(5)

Ваши стихи не нуждаются даже в вашей любезности, чтобы быть прелестными, они всем понравились. Я их сейчас отправляю. Обедаете ли вы у меня завтра?

Что это за стихи? Не те ли, что Уваров сложил в честь г-жи де Сталь и которые граф Цинцендорф слышал в исполнении Флоры Врбна? 14 марта 1808 г. он записал: «Я читал стихи, написанные Уваровым в честь г-жи де Сталь. Главным исполнителем была графиня Флора Врбна, обряженная в шесть крыльев и символизировавшая Воображение»[67].

Основная группа венских записок г-жи де Сталь к Уварову относится к маю 1808 г., ко времени, когда готовился спектакль «Ученые женщины», в котором была занята вся дружеская компания: г-жа де Сталь, князь де Линь, граф Кобенцль, графиня Ромбек и Уваров. Уваров в то время был болен и сидел дома. У него что-то было с ногой. Встречи с г-жой де Сталь в обществе прекратились, и потому увеличилось число записок г-жи де Сталь,—семь, несомненно, относятся к этой поре. Они пространнее других, некоторые из них стремятся быть письмами. Уваров болен и никого не принимает. Г-жа де Сталь оспаривает право больного на затворничество.

(6)

Князь де Линь, г-жа Северин [Потоцкая][68] и я решили собраться у вас в 7 часов. Примите хотя бы князя де Линя. Я не вижу большой разницы между постелью и кушеткой, но что касается меня, то, как только вы пожелали бы нас видеть, я в вашем распоряжении—и моя беседа, и я сама. Я завтра за вас прочту «Триссотена», выучите роль.

Уварову предстояло играть в «Ученых женщинах» роль поэта Триссотена, которого Мольер так и называет «салонным поэтом». Эту роль Уваров, будучи в Вене, играл и в жизни. Неизвестно, принял ли избалованный Уваров хотя бы князя де Линя, но желание самой г-жи де Сталь видеться с ним, беседовать с ним неоспоримо.

(7)

Если вы еще не выходите, то мы с г-жой Северин [Потоцкой] собираемся навестить вас завтра, в 7 часов, но я очень надеюсь видеть вас сегодня вечером у себя. Я вас устрою на новом диване, и вам будет так же удобно, как у себя дома. В субботу, в 1 ч., у г-жи Ромбек мы репетируем «Les femmes savantes». Итак, г. Триссотен, вставайте! Я надеюсь, что вы пишете стихи на своей кушетке. Тысяча дружеских пожеланий.

Уваров упорен и держится попрежнему затворником. Ни он сам, ни г-жа де Сталь, очевидно, не замечали, что разыгрывают в жизни сцену из «Ученых женщин», где Филаминта, которую должна была играть г-жа де Сталь, так же ублажает поэта Триссотена, как г-жа де Сталь—Уварова, который, вдобавок, немножко играл роль из другой мольеровской комедии—«Мнимый больной».

(8)

Ну что же, придете вы сегодня вечером? Разве не в тысячу раз лучше хромать вместе с нами, чем упорно желать оставаться в одиночестве и отказываться от наших визитов? Вы просто сумасшедший. Как мне кажется, вы сочинили красивые стихи, и вы мне их покажете. Но я не могу больше безропотно покоряться вашему затворничеству, а мы все в плохом настроении.

На некоторое время переписка, видимо, прекратилась. Она возобновилась короткой и сдержанной запиской.

(9)

Сообщите мне, в каком положении ваша нога. Я снова начинаю интересоваться вами. Тысяча дружеских приветов.

Дружеская непринужденность в отношениях, однако, скоро восстанавливается.

(10)

Я скажу вам, как Лафонтэн: J'y allais. Сегодня утром мне так нужны были ваши стихи или ваша проза, я вам прочту стихи, которые я так люблю. Принимаете ли вы мое предложение на завтра? А как «Кассандра»?

«Кассандра»—известная баллада Ф. Шиллера, написанная в 1802 г. Уваров щеголял перед г-жой де Сталь переводом баллады с немецкого на французский. Г-жа де Сталь отнеслась к переводу Уварова с серьезностью, отличающей настоящего писателя.

(11)

Я перечла вашу «Кассандру», сличая с оригиналом,—и перевод мне по-настоящему понравился. Относительно французского языка у меня нет ни одного замечания, два-три по части перевода. Мне вы для этого нужны на час времени, и я становлюсь строгой, чтобы быть полезной. Репетировать мы будем во вторник, в 7 часов, у вас. Принимайте нас хорошенько. Все прекрасные дамы первые подали эту мысль. Тысяча дружеских пожеланий.

Г-жа де Сталь принимала самое деятельное участие в подготовке спектакля «Ученые женщины».

(12)

Я только-что послала «L'amour et la raison» г-же Флоре; поезжайте к ней решить, а после обеда приходите ко мне сообщить результаты. Как это вы хотите репетировать утром, разве в 7 часов вечера гуляют? Я не настаиваю на маленькой пьесе, но закончить наш спектакль нотариусом будет очень скучно. Тысяча дружеских пожеланий.

Уваров должен был вместе с графиней Врбна решить, заканчивать ли предстоящий спектакль легкой пьеской «L'amour et la raison» или нет. Г-жа де Сталь опасалась, что «Ученые женщины» Мольера слишком утомят публику своим деловым концом—с нотариусом, заключающим брачный контракт, тем более, что роль нотариуса поручена была князю де Линю, отнюдь не славившемуся талантом актера.

Этой запиской замыкается группа записок г-жи де Сталь, вызванных болезнью Уварова и подготовкой мольеровского спектакля. В них много внимания к молодому русскому атташе. В них сквозит какая-то вера в его одаренность. Такое же впечатление оставляет и другая записка г-жи де Сталь, несколько отличная от прочих по своему содержанию.

(13)

Благодарю вас тысячу раз за ваш подарок. Мне хотелось бы, чтобы вы сами ценили его так, как ценю его я, потому что легкомыслие, которое я в вас осуждаю, состоит в том, что вы недостаточно сознаете то, что ваша одаренность стоит дороже ваших успехов и что предаваться изяществу можно только, когда нет данных для славы. Благодарю вас за ваше восхищение и за вашу признательность, но мне хотелось бы, в качестве сестры значительно вас старшей, быть вам полезной в вашей

литературной карьере,—полезной в единственно нужной для этого форме, т. е. внушая вам в течение некоторого времени сознание собственных сил, которые должны развиваться с годами и с увлечением. Приходите сегодня ужинать к князю де Линю или же будьте у меня завтра пораньше после обеда. Я прочту вам ваши стихи, которые вы читаете с излишней скромностью.

Что скрывалось под этой настойчивостью г-жи де Сталь? Ее действительная убежденность в творческой талантливости Уварова или что-то другое?

Попробуем вчитаться в последнюю группу венских записок г-жи де Сталь к Уварову. Ни одна из них также не имеет даты, но для понимания отношений г-жи де Сталь они так важны, что Уваров не удержался и одну из них сам привел в своих поздних воспоминаниях о г-же де Сталь. В этой записке, действительно, находится как бы краткое резюме отношений г-жи де Сталь к Уварову. Другие записки этой группы подводят нас вплотную к этому резюме.

Пять записок г-жи де Сталь к Уварову заставляют особенно внимательно в них вчитаться. Нет возможности их датировать, но все они таковы, что могут относиться только к последнему месяцу, может быть, последним неделям пребывания г-жи де Сталь в Вене. Их содержание уже предполагает несколько месяцев близкого знакомства г-жи де Сталь с Уваровым.

(14)

Приходите после обеда к г-же де Ромбек; мы все вместе отправимся в Касперль[69]. Я хотела бы быть возле вас во время этих четырех часов музыки; мое смутное настроение прекрасно рассеялось бы вашей беседой. Не забудьте об ужине у князя де Линя назавтра. В понедельник приходите обедать ко мне. И побеседуйте со мной поскорее.

Этот разговор с Уваровым г-же де Сталь приходится иной раз почти вынуждать у него. Ей нужно его видеть, говорить с ним, а ему... не нужно.

(15)

Я рассказала вам программу своего дня, и вы захотели дважды заставить меня сожалеть [что вас там не было]. Князь де Линь обедает у меня, это ободряет меня в намерении предложить вам провести день в деревне, т. е. обедать, пить чай и ужинать у г-жи Потоцкой. Кажется, здесь будет обедать Ламбеккари.

Посвятив Уварова в распорядок своего дня, указав, где и когда он может встретиться с нею, чем тот не пожелал воспользоваться, г-жа де Сталь зовет теперь Уварова на целый день к графине Потоцкой за город, где уже ничто не может отвлечь его от разговора с нею.

Как определить то чувство, которое внушило знаменитой женщине эти записки к молодому Уварову? Определение мы можем взять у самой г-жи де Сталь. По поводу посвященных ей стихов Уварова она пишет ему:

(16)

Этот конец прелестен! Согласитесь, что я была права, когда протестовала против него; ведь вы понимаете, что я бранила последние стихи не

МИШЕЛЬ ДЕ МАРОЛЬ
Рисунок Клода Меллана, 1648 г.
Эрмитаж, Ленинград

только с литературной точки зрения. Я буду хвастаться ими в Париже, но знайте, что здесь я более счастлива вашей дружбой, чем горда вашими стихами. Не забудьте, завтра после обеда.

Итак, то чувство, которое питает к Уварову г-жа де Сталь,—это дружба. Она еще раз употребила это слово в письме, которое было настолько важно для их отношений, что Уваров не мог не привести его в своей статье, посвященной г-же де Сталь.

(17)

Мой милый Уваров, я вас не сужу, вы — избалованный ребенок, но временами гениальный ребенок. Между вами и мной слишком большая разница в возрасте для какого бы то ни было постоянства в дружбе, но интерес мой к вам постоянен. Не забудьте о сегодняшнем ужине. Я прощалась с Поццо, когда получила вашу записку; каждое упущенное слово причиняло мне боль.

Сличая подлинный текст письма с тем, который приведен Уваровым в его воспоминаниях о г-же де Сталь, мы замечаем, что в подлинной записке г-жи де Сталь вовсе нет той значительной фразы, в которой она усиленно побуждает Уварова «смело отдаться своему естественному призванию (de vous livrer courageusement à votre vocation naturelle)»—призванию писателя. Откуда взялась эта фраза в воспоминаниях Уварова? Остается предположить, что она является отголоском того, что действительно говорила ему г-жа де Сталь и что другими словами выражено в приведенной выше ее записке (№ 13), где она призывала его на путь славы и литературной карьеры.

Но зато в подлинной записке г-жи де Сталь есть фраза, опущенная Уваровым. Фраза эта упоминает о какой-то записке Уварова, причинившей боль г-же де Сталь. Общий смысл записки—это укор в непостоянстве дружбы, в прерывности дружеских отношений, в изменяемости этих отношений со стороны Уварова. «Счастье дружбой» Уварова (подлинное выражение г-жи де Сталь) было очень неполным и несовершенным счастьем для г-жи де Сталь.

Последняя ее записка к Уварову попросту зовет его проститься перед ее отъездом из Вены.

(18)

Вы должны сегодня в 7 часов быть у меня, как бы вы ни возмущались моим парижским вкусом. Не забудьте, что вкус этот помог мне оценить ваши стихи и ваше прелестное остроумие (votre esprit charmant), и заходите проститься со мной. Я надеюсь, что у меня будут сегодня вечером г-жа Врбна и княгиня Тереза [Яблоновская].

Среда.

Кем же, в конце концов, был Уваров для г-жи де Сталь?

Ее настоятельные желания встреч и бесед с ним, ее заботы о нем, ее восторги перед его дарованиями, ее сетования на его неверность в дружбе так постоянны и упорны, что вызывают невольное подозрение, не слишком ли всего этого много для простого любезного участия, оказываемого знаменитой писательницей способному дилетанту из далекой северной страны?

Готовясь рассказать о том благосклонном внимании, которое выказала к нему г-жа де Сталь, Уваров счел нужным предварить свой рассказ следующим замечанием:

«В молодые годы г-жи де Сталь было несколько эпизодов в ее жизни, наделавших не мало шума. Когда я с ней встретился, она уже достигла того возраста, когда серьезное отношение к жизни берет верх над иллюзиями молодости; к тому же, г-жа де Сталь, пользуясь выражением г-жи Севинье, добивалась серьезного ухаживания».

Замечание это останавливает внимание своим, так сказать, заградительным характером: Уваров словно хочет заранее устранить мысль, что благосклонное внимание, проявленное к нему г-жой де Сталь, могло вызываться не одними его опытами во французском стихосложении, хотя бы и посвященными г-же де Сталь. Уварову мало сказать этим замечанием: «Тот, кого любила г-жа де Сталь в Вене, был не я»,—он счел нужным полуназвать имя того человека, на кого было тогда устремлено внимание г-жи де Сталь.

«Измученная своим положением жертвы, боясь погибнуть в неравной борьбе, она вообразила, что, переменив имя, укрывшись под щитом доброкачественного иностранного герба, она как-нибудь обезоружит своего неумолимого преследователя и получит возможность под новой формой начать, так сказать, новую жизнь. За время своего пребывания в Вене г-жа де Сталь обратила внимание на графа М. О., умершего несколько лет тому назад в чине фельдмаршала-лейтенанта австрийской службы,—с ним меня связывали общие научные интересы. Коринна считала, что союз с этим лицом мог бы помочь осуществлению ее планов. Однако, этот проект, тщательно сохранявшийся в полнейшей тайне, не осуществился. Напоминанием о нем осталась лишь переписка, в которой, как мне помнится, я тогда еще заметил тот же контраст между правдой и притворством. В тех случаях, когда г-жа де Сталь пыталась поднять свою речь на уровень страсти, ее стиль оставался холодным и замысловатым; когда же она, уступая своей естественной склонности, довольствовалась изложением чувств разумных, ее письма становились премилыми. Отъезд г-жи де Сталь, а также вспыхнувшая в 1809 г. война покончили с этими планами, более фантастическими, чем серьезными. Позднее, в результате романической случайности, она встретила г. Рокка́[70], за которого и вышла замуж, сохранив свою прежнюю фамилию».

Уваров наполовину засекретил имя того человека, на которого, по его недобрым словам, г-жа де Сталь обратила свое внимание в Вене в 1808 г. Граф М. О.—это граф Мориц О'Доннель (1780—1843). Уваров только ошибается, что г-жа де Сталь обратила на него внимание за время своего пребывания в Вене,—в действительности, г-жа де Сталь встретилась с молодым австрийским офицером, графом О'Доннелем, еще в 1805 г. в Венеции, во время своего итальянского путешествия. Эта пятидневная встреча произвела сильное впечатление на г-жу де Сталь. Она тогда же вступила в переписку с О'Доннелем и в своих письмах мечтала о новой встрече. Встреча состоялась в Вене, и, по собственным ее словам, О'Доннель стал «благородным избранником ее сердца». Записки, писанные г-жою де Сталь в Вене к О'Доннелю, свидетельствуют, что четыре венских месяца были богаты для г-жи де Сталь приливами и отливами нежности, подозрений, жалоб, ревности, гнева, прощения и новых страданий—всем, чем богата поздняя любовь. При всем том, у нее оставалась надежда,

что О'Доннель останется избранником навсегда. Однако, надеждам этим не суждено было осуществиться, и разрыв между О'Доннелем и г-жой де Сталь произошел уже осенью 1808 г. В 1809 г. он женился на внучке князя де Линя.

Весь этот роман г-жи де Сталь стал известен только в 1926 г., когда Жан Мистле обнародовал полностью неизданную переписку г-жи де Сталь с Морицем О'Доннелем. Книга Мистле, однако, не дала бы Уварову ничего нового: те письма г-жи де Сталь к О'Доннелю, которые издал Мистле, Уваров читал еще в 1808 г. Он читал их тогда так внимательно, что через сорок слишком лет дал и общую психологическую оценку содержания писем и литературную их характеристику.

Характеристика Уварова дважды отрицательна: он не верит в искренность чувств, питаемых г-жой де Сталь к О'Доннелю, и то же колебание между правдой и притворством Уваров находит в стиле писем г-жи де Сталь.

Каким образом Уваров мог читать любовные письма г-жи де Сталь к О'Доннелю в то самое время, когда они были живым запечатлением чувств, волновавших этих людей? Ответ может быть только один: Уваров познакомился с этими письмами из рук О'Доннеля.

«С ним меня связывали общие научные интересы»,—скупо говорит Уваров. Одно из двух: или эта связь была гораздо более глубокой и тесной, чем связь по научным интересам, или письма любящей женщины были столь ничтожной вещью в глазах О'Доннеля, что он не считал предосудительным давать их читать светскому приятелю из русского посольства.

Венские письма и записки г-жи де Сталь к Уварову в свете ее переписки с О'Доннелем дают возможность соединить оба предположения в одну уверенность. В глазах г-жи де Сталь Уваров был близким другом любимого ею человека. То, что чувствовала г-жа де Сталь к Уварову—дружба,—было вызвано его дружбой к молодому человеку, которого она любила.

Любовь г-жи де Сталь к О'Доннелю не могла остаться неприметной для общества и не послужила к поднятию ее престижа. Наоборот, это новое увлечение знаменитой сорокадвухлетней женщины светским офицером, который был моложе ее на четырнадцать лет, напомнило ее прежние увлечения, список которых светская молва злобно удлиняла.

Не без основания можно предположить, что, видя в Уварове друга своего любовника, г-жа де Сталь искала в Уварове дружеского отклика, а может быть, иногда и дружеской помощи тому чувству, которое питала к его другу. Ее настоятельные искания встреч и разговоров с Уваровым, на которые так неподатлив был он, не были ли продиктованы желанием через друга любимого человека узнать о нем то, что волновало в данное время г-жу де Сталь? Желая оставаться в обществе, быть принятой во всех гостиных и иметь доступ ко двору, г-жа де Сталь должна была не выводить свои отношения с О'Доннелем из рамок, принятых в обществе. Она знала отлично закон светского общества, выраженный поэтом:

Свет не карает заблуждений,
Но тайны требует для них.

В соблюдении этой необходимой для г-жи де Сталь тайны человек, близкий к О'Доннелю, мог быть ее пособником.

В том, что Уваров был очень близок к О'Доннелю, в этом г-жа де Сталь не ошиблась: это ясно из того, что Уваров читал письма г-жи де Сталь

к О'Доннелю. Но как ошиблась г-жа де Сталь, думая найти в Уварове друга, пособляющего своей дружбой облегчить трудности ее любви!

Мы не знаем ни одного письма Уварова к г-же де Сталь, но одних ее записок к нему достаточно, чтобы заметить упорное уклонение Уварова от ее столь же упорного стремления к дружескому общению.

Вена ни в каких отношениях не оправдала надежд г-жи де Сталь: она не нашла в ней ни свободы для мысли, ни покоя для сердца, и Уваров был одной из неоправданных надежд ее на дружбу.

Много ли счастья и радости дала г-же де Сталь ее любовь к О'Доннелю? Из кипы ее венских писем к нему достаточно выбрать два самых типичных, чтобы получить отрицательный ответ.

«На коленях умоляю вас выслушать меня; завтра мне нужно играть Женевьеву, но вы причиняете мне такие страдания, что я этого не смогу. Я не лягу спать, не повидав вас, я объяснюсь с вами, но, из сострадания, придите поговорить; вы не знаете, какую боль причиняете мне, нет, вы этого не знаете!»[71].

Другое письмо полно мольбы и отчаяния:

«Вы дали мне честное слово, что я увижу вас сегодня,—у меня лихорадка, и я умоляю вас принять меня в пять часов, если вы не можете сделать мне добро, придя к обеду. Клянусь вам, что вы будете довольны мной, но вы дали мне слово увидеть меня сегодня, и я умоляю вас не отказывать мне. Я не причиню вам ни малейшей неприятности, но мое существование немыслимо, если вы не примете меня или не придете обедать. Вчера вы сказали мне: клянусь в этом. Вы ли это, что для вас это слово ничего не значит? В последний раз сдержите его. Я получила письмо, о котором мне необходимо поговорить с вами, Морис; в пять часов или к обеду; слово ответа; нет ни малейших неудобств в том, что я приехала бы к вам: я сделаю это так, что никто об этом не узнает. О, будьте еще добры ко мне на этот раз!».

Стоит вчитаться в эти два горестных письма, чтобы понять, что для О'Доннеля любовь к г-же де Сталь была любовью поневоле, которую он старался заботливо таить от общества, не желая быть смешным в его глазах. Вся правда, сила и глубина чувства была на стороне г-жи де Сталь.

Уже во втором ее письме, написанном к О'Доннелю после ее отъезда из Вены (Прага, 26 мая), звучат ничем не скрываемая тревога, ревность и горечь:

«Я беспокоюсь о сплетнях, пущенных, быть может, про меня после моего отъезда; те, кто не любят меня, вероятно, захотели вознаградить себя за приветливую встречу, устроенную мне Веной. Неужели в мое отсутствие вы поверите таким проявлениям злобы? Неужели вы позволите наносить удары там, где я живу,—в вашем сердце?».

В письме из Дрездена (от 30 мая) уже появляется имя Уварова, в связи с венскими сплетнями:

«Вы ничего не пишете мне о сплетнях Уварова на мой счет, это мешает мне интересоваться его лихорадкой».

Вернувшись в родной Коппе, г-жа де Сталь пишет О'Доннелю (6 августа) горькие строки, в которых признается в своей безнадежной мечте вновь начать жизнь в Вене, но жизнь иную, чем та, которую она вела там в начале года, в «призрачном мире тщеславия», окруженная «Уваровым, княгиней Флорой Врбна» и др.

Г-ЖА ДЕ СТАЛЬ (?)
Портрет маслом В. Боровиковского
Третьяковская галлерея, Москва

Большое письмо г-жи де Сталь из Берна от 14 августа 1808 г. обнаруживает ту предательскую роль, которую Уваров играл в последние месяцы пребывания г-жи де Сталь в Вене и с особым успехом после ее отъезда из Вены. С негодующим чувством оскорбленного достоинства г-жа де Сталь пишет О'Доннелю:

«Я извлекаю из вашего письма, которое не могу перечитывать без содрогания (я еще верю, что это должно вызвать у вас жалость), два факта, которые я могу опровергнуть: накануне вашего отъезда я говорила, не будучи на то вызванной, и т. д. Тут у меня может быть очная ставка с Уваровым, и я заставлю его сказать вам, что он недостойно исказил истину; я прошу у вас разрешения написать ему, или же я сделаю это без вашего разрешения и пошлю вам копию моего письма, вы увидите там об этом Уварове кое-что по отношению к вам, что вас удивит. Я могу объяснить себе его поведение относительно меня только раздраженным самолюбием, явившимся результатом разговора с г-жой Ромбек, когда я утверждала, что вы и г. де Ла Тур гораздо умнее его. Вы были больны, и я сказала, что это от ревности; князь де Линь—единственное лицо, знавшее о том, в каком состоянии была я по случаю вашей болезни,—он застал меня в слезах; он скажет вам, что̀ я ему сказала. Если я не поеду в Вену, я напишу ему, если поеду, он поговорит с вами; он лучше вашего оценил, особенно в этот день, мою привязанность к вам. За исключением этих двух лиц, князя де Линя и г. Уварова, никто никогда не упоминал мне о браке, по крайней мере, я этого не помню, а если кто и упомянул бы, то, бог мне свидетель, я ответила бы с уважением к вам, равным скромности в отношении к самой себе. В последний раз повторяю вам: в жизни у вас не будет друга, который любил бы вас, ценил и был бы вам так предан, как я. А теперь позвольте мне, в свою очередь, судить о вас, поскольку, по крайней мере, это касается наших взаимоотношений: у меня нашлись для вас, говорите вы, только выражения нежности да несколько красноречивых писем. Не говоря уж об этом вашем пренебрежении к красноречивым письмам, которые всё же стоят дороже фальшивого коварства офранцуженного русского, я спрашиваю вас: неужели оставаться каждый вечер с таким любезным, как вы, человеком, бывать у него ежедневно, когда он был болен, существовать только для него в течение пяти месяцев, собираться вернуться в Вену при первом намеке на возможность войны,— разве всё это так ничтожно, как доказательства чувства?».

Тот, кого г-жа де Сталь считала своим другом и с кем была откровенна, как с другом любимого человека, нисколько не верил подлинности ее чувства к О'Доннелю и ее внимание к этому человеку приписывал одному житейскому расчету. В отсутствие г-жи де Сталь Уваров постарался сделать всё, чтобы внушить О'Доннелю свою точку зрения и опорочить ее любовь. Г-жа де Сталь заканчивает свое письмо к О'Доннелю следующими словами:

«У меня явилось одно подозрение—ведь вы учите меня подозрительности. Вы пишете, что посылаете мне одну из моих записок; этой записки в вашем письме не оказалось, а адрес написан рукою уваровского переписчика. Я сильно опасаюсь, что такой человек может жестоко вам навредить; вы его не знаете, и он, быть может, уже причиняет вам зло, отнимая у вас мою дружбу; она представляла некоторую ценность, и, что бы вы ни говорили, время покажет вам, что̀ я за человек и подобало ли

вам судить меня на основании сплетен молодого татарского фата. Я увижу вас когда-нибудь для того, чтобы получить из ваших рук, и только из ваших рук, мои письма».

Великим достоинством своего ответа г-жа де Сталь смывает с себя комок грязи, брошенный рукою Уварова. В письме от 13 сентября из Коппе г-жа де Сталь величаво указывает О'Доннелю, что никто не смеет упрекнуть ее в измене друзьям.

«Я могла бы наугад указать вам любого из врагов моих во Франции, хорошо меня знающего,—он сказал бы вам, что я была всегда другом своих друзей, рискуя жизнью, а, повторяю вам, быть любимым так, как я вас любила, два раза в жизни не случается. Уварову я писать не буду, из этого могли бы получиться неприятности, которых я не могла бы устранить; мое молчание и его совесть покажут ему, чтó я о нем думаю».

В биографию Уварова рукою Пушкина, А. Тургенева, Герцена, Белинского занесено много тяжелых и справедливых обвинений. В приведенных отрывках г-жа де Сталь заносит туда тем более тяжкие обвинения, чем искреннее и полнее было,—как о том свидетельствует сам Уваров,—участие, проявленное к нему знаменитой писательницей.

V. Г-ЖА ДЕ СТАЛЬ В РОССИИ В 1812 г.

В самом конце 1807 г., когда г-жа де Сталь только-что водворилась в Вене, Наполеон проезжал через Савойю в Париж. В Шамбери к нему проник семнадцатилетний Огюст Сталь, с твердым намерением исходатайствовать у императора разрешение для своей матери вернуться в Париж.

Разговор Наполеона с сыном г-жи де Сталь записан Бурьенном в его известных «Записках о Наполеоне» («Mémoires sur Napoléon»). Разговор этот получил широкую европейскую огласку. Даже в начале 30-х годов разговор Наполеона с сыном преследуемой им писательницы сохранил такую занимательность, что Н. А. Полевой напечатал его в своем «Московском Телеграфе»[72].

Внимание к этому разговору не случайно: нигде и никогда Наполеон не высказывался с такой ясностью о г-же де Сталь и о причинах, заставивших его обречь ее на изгнание.

«Она умна, очень умна, может быть, слишком умна,—говорил Наполеон сыну г-жи де Сталь про его мать,—но ум ее не знает ни обузданности, ни повиновения. Она воспитана в хаосе революции и государства разрушающегося. Она составила себе из этого какую-то смесь. Всё это может сделаться опасным: пламенная голова ее может породить последователей. Она меня не любит. Я не должен позволить ей возвратиться в Париж».

Вряд ли поняла г-жа де Сталь, сколько суровой непреклонности было в этих словах. Предупреждающая угроза была заключена в ироническом ответе Наполеона ее сыну: «Куда как она жалка!.. За исключением Парижа, целая Европа служит ей тюрьмой». Если бы г-жа де Сталь верно поняла и это восклицание, и весь разговор Наполеона с ее сыном, она поняла бы, что все попытки поколебать решение Наполеона обречены на неудачу.

А этими попытками заполнено целое четырехлетие (1808—1812) ее жизни. Она посылает сына Огюста в Париж с письмом к Талейрану (1809). Наполеон отвечает отказом и собственноручной иронической

критикой на «Коринну», помещенной в «Moniteur». Г-жа де Сталь прибегла тогда к другому дипломату—Меттерниху, к которому благоволил тогда французский император. Наполеон отвечал ему: «Не желаю, чтобы она была в Париже. Будь Сталь роялистка или республиканка, я бы ничего не имел против. Но это двигательная машина, которая пускает в ход салоны. Такая женщина опасна только во Франции, и я не хочу, чтобы она была там».

В 1810 г. г-жа де Сталь вместо письма решила действовать книгой: проникнув в глухое местечко под Парижем, она организовала печатание своей книги «О Германии». Наполеон отвечал сожжением 10 тыс. экземпляров этой книги и приказанием автору в 24 часа покинуть Францию.

Тогда г-жа де Сталь решила вновь прибегнуть к письму,—на этот раз письмо было обращено к самому Наполеону: «...Восемь лет несчастий изменяют всякий характер: судьба научает страдальцев самоотречению... Опала вашего величества поселяет в Европе такое недоброжелательство к подпавшим ей, что я не могу сделать шагу, не испытывая его последствий, невыносимых для гордой души...». Наполеон отвечал преследованием целого ряда друзей г-жи де Сталь. Он окружил Коппе удвоенной цепью шпионов.

Уже в начале 1812 г. г-же де Сталь стало ясно, что ее не оставят в ее Коппе «подавать благородный пример ее веку». Ей отказали в выдаче паспорта в Рим и, тем более, в Америку. «Я проводила жизнь,—говорит г-жа де Сталь,—в изучении карты Европы, чтобы бежать, как Наполеон изучал ее, чтобы овладеть материком; и целью моего похода, так же, как и его, всегда была Россия»[73].

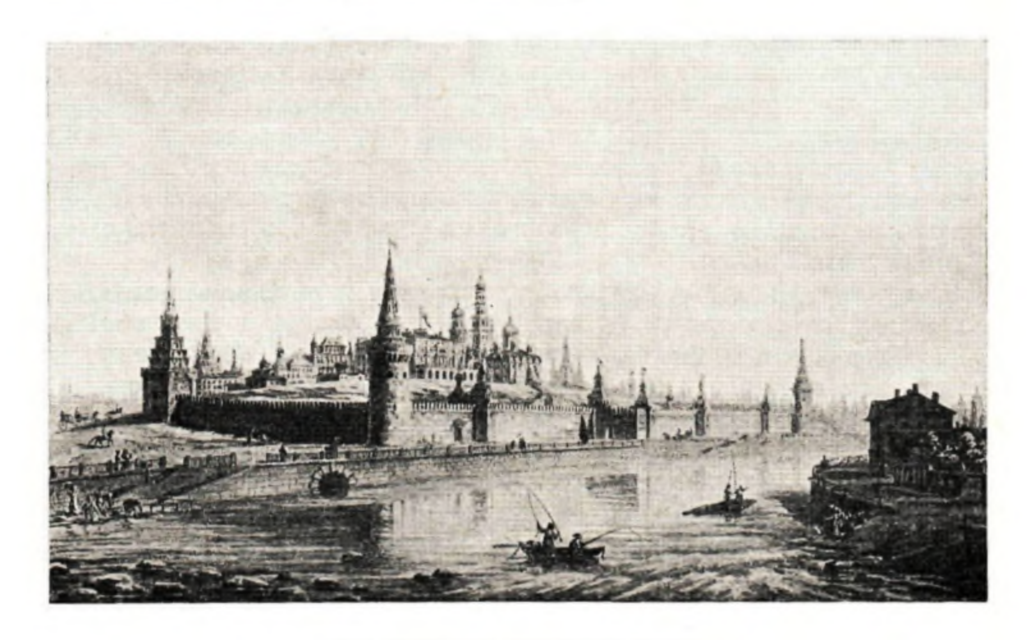
23 мая 1812 г. г-жа де Сталь решилась, наконец, бежать. Ее путь лежал через Вену. Там, в знакомом ей русском посольстве, она надеялась получить паспорт в Россию. «Я благополучно прибыла в Вену 6 июня, за два часа до того, как русский посланник граф Штакельберг отправлял курьера в Вильну, где находился тогда император Александр. Г-н Штакельберг, обошедшийся со мною благородно и внимательно, ... послал с этим курьером просьбу о выдаче мне паспорта и уверил меня, что через три недели я смогу получить ответ»[74].

Г-жа де Сталь не могла остаться ждать паспорта даже на такой короткий срок: венская полиция следила за ней, и ей мог угрожать арест. Она тронулась в Россию. Паспорт она получила уже в пути. Она с ужасом вспоминала впоследствии свое бегство через Галицию, среди «немцев, шпионов и крестьян-русинов, лобызающих ноги у встречных господ». Она впервые вздохнула свободно, лишь переступив русскую границу в Бродах 14 июля (н. ст.) 1812 г., ровно через двадцать дней после того, как Наполеон со своими войсками перешел через Неман, двигаясь на Москву.

Россия была для г-жи де Сталь окольной дорогой, по которой, минуя все наполеоновские заставы, можно было проехать в Швецию, в Стокгольм, к ее старому приятелю Бернадоту, который из маршалов Наполеона превратился в наследного принца шведского и мог дать ей в Стокгольме надежный приют. Путь г-жи де Сталь лежал из Киева на Петербург, через Украину и Белоруссию, но этот путь во многих направлениях был уже пересечен войсками, двигавшимися навстречу Наполеону, и г-же де Сталь пришлось делать крюк на Москву, чтобы оттуда добраться до Петербурга. На этот крюк ушло два месяца, и, не будь этого, г-жа де Сталь

не встретилась бы с Россией. Этой встрече посвящена вторая половина книги г-жи де Сталь «Десять лет изгнания»,—эту вторую часть, по справедливости, можно было назвать: «De la Russie». Сорель прав, когда говорит: «Картон с изображением России достоин, во всяком случае, того, чтобы его поместили наряду с громадным холстом, на котором нарисована Германия»[75].

Что знали во Франции, что знала г-жа де Сталь о России? «Несколько неприглядных анекдотов из прежних царствований, несколько русских, наделавших долгов на парижской мостовой, одно-другое красное словцо Дидро внушили французам убеждение, будто Россия состоит лишь из развращенного двора, из офицеров и камергеров и из рабского народа. Это большая ошибка» («Ann. d'ex.», 296).



ВИД КРЕМЛЯ ОТ КАМЕННОГО МОСТА
Акварель Максима Воробьева, 1819 г.
Исторический музей, Москва

Эту ошибку не одних французов, но всех иностранцев г-жа де Сталь опровергает каждой строкой своей книги. С каждой верстой, удалявшей ее от Европы и внедрявшей вглубь России, расширяется ее кругозор, и глубже и сочувственней становится ее взор, устремленный в лицо великого народа. Г-жа де Сталь пишет путевые записки путешественницы по далекой и чужой стране. Но они превращаются в нелицемерные показания свидетельницы великого народного подвига—борьбы русского народа с Наполеоном. Г-жа де Сталь сначала с недоумением, потом с изумлением, наконец, с восторгом убеждается в том, что перед ней народ—борец за свою независимость, подобного которому она еще не знала.

Г-жа де Сталь нисколько не обольщена и не обманута была тем, что увидела в России. Ни декорации пышного великолепия императорского Петербурга, ни роскошь барской Москвы не обманули ее, как многих иностранцев, за придворно-дворянскими фейерверками просмотревших Россию русского народа. Г-жа де Сталь ее увидела.

Пустынные равнины, деревянная деревенская Русь поражают путешественницу. Но эта внешняя скудость и неоглядная пустынность России не приводят г-жу де Сталь, как других иностранцев-путешественников, к тупику, в который, как им кажется, природа и история навсегда загнали судьбы России и ее народа.

Г-жа де Сталь пережила в России весь начальный период войны с Наполеоном, необычайно трудный для России: вторжение великой армии, ее безостановочное проникновение вглубь России, взятие Смоленска, упорное продвижение Наполеона к Москве. События эти привели в ужас г-жу де Сталь: она опасалась сделаться свидетельницей нового и уже окончательного торжества Наполеона. Военные неудачи России тем более страшили ее, что она не закрывала глаз на общее состояние государства, на недостатки его внутреннего строя.

«Неудачи следовали за неудачами, а публику не извещали об этом. Один остроумец сказал, что в Петербурге всё тайна и ничто не секрет. Действительно, в конце концов, истина раскрывается... Один иностранец сказал мне, что Смоленск взят и Москва в крайней опасности. Мною овладело отчаяние. Я подумала, что вновь повторяется плачевная история Австрии и Пруссии, вынужденных заключить мир вследствие завоевания их столиц. В третий раз начиналась та же игра, и она могла опять быть выиграна» («Ann. d'ex.», 355).

Этот успех Наполеона мог, по мнению г-жи де Сталь, основываться на вопиющих недостатках правительственного механизма царской России: «Я знала, что внутреннее управление как в военных, так и в судебных делах часто попадало в самые продажные руки и что, при хищничестве низшего чиновничества, нельзя было составить себе верного понятия ни о числе войск, ни о средствах их пропитания. Ведь ложь и воровство неразлучны, и в стране, где цивилизация такого еще недавнего происхождения, посредствующий класс не имеет ни простоты крестьян, ни величия бояр, и нет еще общественного мнения, которое сдерживало бы этот третий класс, который возник еще так недавно и, утратив простонародную наивность веры, не приобрел чувства чести» («Ann. d'ex.», 356).

Все эти общественные пороки и государственные настроения, как опасалась г-жа де Сталь, предвещали России в борьбе с Наполеоном участь Австрии и Пруссии. Но г-же де Сталь пришлось вскоре же признать ошибочность сделанного ею печального предвещания: «Я не замечала народного духа, внешняя переменчивость впечатлений у русских мешала мне наблюдать его. Отчаяние оледенило все умы; а я не знала, что у этих крайне впечатлительных людей это отчаяние—предтеча страшного пробуждения. Точно так же в простом народе видишь непостижимую лень до той минуты, когда пробуждается его энергия: тогда она не знает преград, ничего не страшится; она, кажется, побеждает стихии так же, как и людей» («Ann. d'ex.», 355).

Борьба с Наполеоном показала г-же де Сталь истинное лицо русского народа в его подлинном величии, в необъятной мощи его нравственных и физических сил. Г-жа де Сталь полна изумления и восторга перед мужеством народа, ведшего Отечественную войну: «Невозможно было достаточно надивиться той силе сопротивления и решимости на пожертвования, которые выказывал народ» («Ann. d'ex.», 300).

Как же могла г-жа де Сталь встретиться с той правдой о русском народе, которую она добыла во время двухмесячного пребывания в России?

Песни ямщиков; звуки русской речи (слова были непонятны); деревенский хоровод, мимо которого мчалась ее повозка; пляска девушек, которую она видела где-то по дороге в Москву; недолгие заходы в крестьянские избы, при перепряжке лошадей; несколько случаев дорожного гостеприимства, оказанного ей крестьянами; несколько народных песен в исполнении крепостного хора у Нарышкиных; несколько случайных встреч с солдатами и ратниками, направлявшимися на фронт,—вот то, в чем могли выразиться встречи г-жи де Сталь с народной Россией, но из этого скудного материала—материала, к тому же, безыменного, так как по-русски г-жа де Сталь не понимала, она вынесла сочувственное понимание нравственных и умственных сил русского народа и глубокую убежденность в его великом историческом достоинстве.

Меньше всего г-жа де Сталь хочет идеализировать русский народ. Наоборот, она постоянно отмечает—часто верно, чаще неверно—черты рабства и азиатства в русском народном характере, она старается обнаружить следствия культурной темноты в русской жизни и быте.

Г-жа де Сталь проезжала по России во время войны, и ее поразили черты суровой мужественности в русском народе. Она с восторгом пишет о том, с каким непоколебимым спокойствием и достоинством «русские солдаты переносят лишения и невзгоды климата или войны», о том, как «народ во всех классах презирает препятствия и физические страдания». «В этой нации есть как терпение, так и жизненное рвение, как веселость, так и грусть. Тут соединяются самые поразительные крайности».

Г-жа де Сталь вспоминает Петра I и Суворова и видит в них воплощение основных черт русского народного характера, каким она его узнала в эту годину исторического испытания. Мужественность не есть грубость, непреклонность не есть варварство. Г-жа де Сталь с решительностью восстает на тех, кто видит в русском народе варвара, грозящего европейской цивилизации: «Я не видела ничего варварского в этом народе (je n'ai rien vu de barbare dans ce peuple), напротив, в нем много какого-то изящества и мягкости».

С глубоким и радостным изумлением Колумба, открывшего новый материк, г-жа де Сталь говорит о России и ее народе: «То, что характеризует этот народ,—нечто гигантское во всех отношениях: он ни в чем не признает обыкновенных размеров» («Ann. d'ex.», 293).

Ища литературных подобий великому историческому явлению, называемому Россией и ее народом, г-жа де Сталь пишет: «Один очень умный человек сказал о России, что она похожа на пьесы Шекспира, в которых величественно (sublime) всё, что не составляет явной ошибки, и всё, что не величественно,—ошибка. Ничего не может быть вернее этого замечания» («Ann. d'ex.», 300).

Если Россия в 1812 г. была, по мнению г-жи де Сталь, похожа на многосложную шекспировскую историческую хронику, то все черты величия, свойственные такой хронике, были на стороне народа, поднявшегося на защиту родной страны. Но, кроме народной России, существовала еще Россия помещиков и вельмож, и ее роль в исторической хронике рисуется г-же де Сталь далеко не столь величественной.

Знакомство г-жи де Сталь с дворянской Россией началось очень давно. Русские путешественники, приехав в Париж, считали за честь попасть в гостиную г-жи Неккер, чтобы разом увидеть там всех парижских знаменитостей пера, кисти, лиры и маски. В Вене г-жа де Сталь была окружена

русскими из высшего петербургского общества—это всё были ярко-колоритные представители разных исторических горизонтов правящей дворянской России. В Россию г-жа де Сталь ехала не без знакомства с тем, что ее ожидало в этом высшем обществе Москвы и Петербурга.

Имя г-жи де Сталь было широко известно в дворянских гостиных 1812 г. Как писательницу, ее хорошо знали в России уже давно. Еще в 1795 г. появилась в переводе Н. М. Карамзина новелла г-жи де Сталь «Мелина» и выдержала три издания. Далее последовали «Мирза» (1801), «Две повести» (1804) и знаменитые романы «Дельфина» (1804) и «Коринна» (1809).

В русском дворянском кругу, уездном, губернском и столичном, г-жа де Сталь нашла многих своих читателей. Как перед въездом ее в Вену, так перед прибытием ее в Москву и Петербург ей предшествовала двоякая слава—прославленность писательницы и слава открытого давнего врага Наполеона.

Перед г-жой де Сталь распахивались все двери в России, до двери Александра I включительно, ее встречали с почетом, подобающим союзнику, и с любопытством, вызываемым знаменитой женщиной. Был и еще оттенок в той встрече, которую оказало г-же де Сталь в России высшее общество,—оно все-таки помнило, что она была дочерью Неккера—человека, который расчистил путь революции. Все эти оттенки сказались в первых же больших встречах г-жи де Сталь в Киеве и, особенно, в Москве.

В Киеве г-жу де Сталь принял киевский военный губернатор М. А. Милорадович, очаровал ее своим приемом и, по ее словам, внушил ей гораздо бòльшую уверенность в военных успехах России, нежели она думала прежде.

В Москве г-жу де Сталь встретил знаменитый Ростопчин. Вот как сама г-жа де Сталь отзывается об этой встрече: «Известный граф Ростопчин, имя которого постоянно повторялось в бюллетенях императора, приехал ко мне и пригласил меня к себе на обед. Он был министром иностранных дел при Павле I. Его разговор оригинален, и легко можно было заметить, что его характер выразится со всею резкостью, если того потребуют обстоятельства» («Ann. d'ex.», 311).

Отзыв г-жи де Сталь о ростопчинском приеме и обеде сух и сдержан. Князь П. А. Вяземский писал к Галифу (5 августа ст. ст.): «Г-жа де Сталь уехала из Москвы после очень короткого пребывания... Карамзин и его жена обедали с нею у Ростопчина»[76]. Г-жа де Сталь ни словом не обмолвилась о встрече со своим переводчиком, знаменитым историографом.

Сам Ростопчин так рассказывает о встрече с г-жой де Сталь: «Посреди занятий, которые мне не оставляли и минуты покоя, моя злая судьба привела в Москву г-жу де Сталь. Надо было бывать у ней, приглашать ее обедать, успокаивать сколько возможно. Она приехала из Швейцарии и через Россию проезжала в Швецию к наследному принцу (Бернадоту), ее искреннему другу (как она уверяла). Она пробыла целую неделю в Москве по случаю нездоровья ее сына; с нею были: ее корректор Шлегель и г. Рокка̀, которого она называла бароном Лефортом и так мне его представила, вероятно, полагая придать ему более важности. Г-н Рокка̀, высокий, изнуренный, задыхающийся, сделался болен от слишком большого употребления напитка, известного под названием кислых щей, которые ему очень понравились. В своих заботах о больных Сталь волновалась смертельным страхом, чтобы Наполеон, занятый исключительно ее преследованием и раздраженный тем, что она ушла, не послал особого

ФРАНЦУЗСКИЙ РАЗЪЕЗД НА МОСКОВСКОЙ ДОРОГЕ
Литография с зарисовки Фабера дю Фора (участника наполеоновского похода) 11 июля 1812 г., в 750 верстах от Москвы

Исторический музей, Москва

отряда кавалерии, чтобы поймать ее в Москве. Для того, чтобы убедить меня в справедливости своих опасений, она постоянно прибавляла: «Вы не знаете, что̀ это за человек, он способен на всё». В то время как она опасалась быть похищенной по распоряжению Наполеона, он был еще в 800 верстах от Москвы; потому я не принял никаких мер, чтобы воспрепятствовать этому похищению»[77].

Запись Ростопчина носит явно издевательский характер. Известная кличка, которою Ростопчин наградил г-жу де Сталь, выражает его настоящее мнение о ней: «une pie conspiratrice»—сорока-заговорщица.

Ростопчин был не одинок в своем отрицательном отношении к г-же де Сталь. Каково было мнение о ней в дворянских консервативных кругах, явствует из письма одной из самых ярких представительниц «грибоедовской Москвы», известной М. А. Волковой к В. И. Ланской (12 августа 1812 г.):

«Г-жа де Сталь неделю пробыла в Москве, бывала в знакомых мне домах, и я не имела ни малейшего желания видеть ее и ничуть не искала встретиться с нею. Что̀ же она сделала такого прекрасного, чтобы возбуждать восторг? Сочинения ее безбожны и безнравственны или безалаберны (extravagantes); последние, по-моему, лучше—по крайней мере, они никого не совратят с истинного пути. Свет погиб именно потому, что люди думали и чувствовали так, как эта женщина»[78].

Александру I Ростопчин писал (26 июля ст. ст.) со вздохом облегчения: «Поиграв умом и показав свои прекрасные руки, г-жа де Сталь уехала из Москвы. Ее сопровождают поэт Шлегель и молодой Лефорт, который служил во французской армии; его лицо красиво, но с дурным выражением».

Вот какие впечатления о дворянской Москве увозила с собой г-жа де Сталь:

«...Здесь отражается разнообразие нравов и народов, составляющих Россию. В этом огромном городе соединяются Азия с Европой. Здесь больше свободы, чем в Петербурге, где, по необходимости, сказывается сильное влияние двора. Большие бары, поселившиеся в Москве, не ищут мест, они доказывают свой патриотизм, делая огромные пожертвования государству на разные общественные учреждения в мирное время и на военные надобности во время войны. Громадные состояния больших бар тратятся на собирание различных коллекций, на предприятия, на всевозможные затеи и празднества, образцы которых—«Тысяча и одна ночь»; но очень быстро эти состояния растрачиваются из-за необузданных страстей их обладателей» («Ann. d'ex.», 302).

В Москве начало складываться у г-жи де Сталь и другое ее наблюдение, окончательно окрепшее в Петербурге. Преимущества и влиятельность знати возбуждают у среднего класса желание быть дворянами, и отсюда происходит страстное желание буржуазии сделать своих сыновей офицерами, так как офицерский чин дает дворянство. «Отсюда происходит то, что всякое воспитание кончается в 15 лет: возможно скорее бросаются на военное поприще и пренебрегают всем остальным». Общий вывод г-жи де Сталь о России правящих классов печален. «Конечно, теперь не время осуждать такой порядок вещей, породивший столь прекрасное сопротивление врагу; но в более мирную пору можно бы сказать, по справедливости, что в гражданском отношении внутреннее управление в России страдает большими недостатками. В народе есть энергия и величие; но всё еще недостает порядка и просвещения как в правительстве, так и у частных лиц» («Ann. d'ex.», 338).

В разговорах с русскими г-жа де Сталь старалась обходить все внутренние вопросы и если не говорила о литературе, то вела речь о войне и о героическом сопротивлении, оказываемом русскими Наполеону[79].

Выражая свое впечатление от русских дворянских кругов, г-жа де Сталь, несмотря на всё желание быть благосклонной, должна признать: «Их общество не представляет собою, как у нас, собрания мужчин и женщин, которые сходятся вместе для разговора. У них собираются, как на праздник, чтобы повидать много народу, поесть плодов и редких продуктов Азии и Европы, послушать музыку, поиграть в карты, наконец, чтобы получить живые впечатления, но скорее от внешних предметов, чем от ума и души: применение ума и сердца они предназначают для своих поступков, а не для общества. Так как, затем, они очень мало образованны, то серьезные разговоры для них не представляют интереса, и они сами не ощущают никакого желания блеснуть в разговоре умом» («Ann. d'ex.», 298).

В Петербурге г-жа де Сталь пробыла около трех недель. Перед тем, как быть принятой Александром I, она широко воспользовалась гостеприимством общества, близкого ко двору и правительству. Нарышкины и Орловы давали в честь нее великолепные празднества на Островах. Она познакомилась со всем европейским, что было в александровском Петербурге.

Чем больше знакомилась г-жа де Сталь с Россией, тем яснее становилось для нее, что блеск по-европейски отделанного фасада здания крепостного государства Александра I не соответствует шаткому строению всего здания.

В Петербурге г-же де Сталь показывали привилегированные учебные заведения—женские институты. Она похвалила их внешнее устройство, но сделала вывод, неожиданный для тех, кто ее туда возил,—что «все эти заведения, несомненно, полезны; их можно упрекнуть только в излишней роскоши. По крайней мере, следовало бы основать в различных местах империи не столь роскошные школы, но заведения, которые давали бы народу первоначальные знания. В России всё начиналось с роскоши: крыша, так сказать, строится раньше фундамента» («Ann. d'ex.», 361).

В России еще нет настоящего просвещения, нет еще и литературы, достойной великого народа,—таково заключение г-жи де Сталь.

«В Москве я видела самых просвещенных людей на поприще науки и литературы; но там, как и Петербурге, почти все профессорские места заняты немцами. В России большой недостаток в сведущих людях на любом поприще: молодежь идет в университет, по большей части, лишь с тем, чтобы скорее вступить на военную службу. В России гражданская служба дает чины, которые соответствуют чинам в армии. Дух нации весь направлен на войну; во всем остальном—в управлении, в политической экономии, в народном просвещении и пр.—другие народы Европы покуда стоят выше. Впрочем, русские делают опыты в литературе: приятность и звучность их языка бросаются в глаза даже тем, кто не понимает его; он, вероятно, очень пригоден для музыки и поэзии. Но русские впадают в ошибку многих других народов материка: они подражают французской литературе, которая даже по своим красотам подобает только французам... Но, прежде всего, нужно, чтобы их [русских] писатели черпали поэзию из глубины своей души. До сих пор их сочинения, так сказать, лишь слетали с языка; а такого пылкого народа не тронешь такими жидкими созвучиями» («Ann. d'ex.», 313—315).

Последнее суждение г-жи де Сталь замечательно: указывая на слабость и подражательность русской литературы, она подчеркивает, что не считает ее литературою народа, а только литературою дворянства. Народу принадлежит язык—великолепный, могучий, звучный. Но литература еще не достойна этого языка. Посмотрев в театре трагедию В. А. Озерова «Дмитрий Донской», имевшую в то время огромный успех, г-жа де Сталь замечает: «Эта пьеса сделана совершенно по правилам французского драматического искусства: ритмы стихов, декламация, распределение сцен—совсем французские» («Ann. d'ex.», 363). Подражательность французским образцам вовсе не радует г-жу де Сталь: она верит в то, что великому народу подобает и великая национальная литература. Пока же в России литературы нет. «Некоторые из русских дворян пытались блистать в литературе и выказали талант на этом поприще, но просвещение недостаточно распространено, чтобы из суждения отдельных лиц сложилось общественное мнение»[80]. Г-же де Сталь известны имена Карамзина, Озерова, Жуковского и Батюшкова (с первым и последним г-жа де Сталь даже познакомилась лично)[81], но они еще не составляют литературы. Именно оттого, что русская литература—дело всего нескольких человек из дворянской среды, у нее нет влияния в России. Таков вывод г-жи де Сталь.

Как ни значителен был у г-жи де Сталь интерес к русскому народному быту, языку, литературе, основным ее интересом во время ее пребывания в России был политический интерес дня—борьба с Наполеоном. В том внимании, с которым она вглядывалась в нравственные и физические черты русского народа и присматривалась к дворянским кругам, заключалось

ее пытливое, тревожное сомнение: может ли Россия выйти победительницей из борьбы с Наполеоном? Ближайший ответ на этот вопрос зависел от того или иного состояния государственных и военных сил России. Вот почему в Петербурге г-жу де Сталь государственные и военные деятели интересовали больше, чем литераторы.

Здесь многое казалось г-же де Сталь странным. Она не могла нахвалиться приемом, который оказал ей канцлер граф Н. П. Румянцев, но ей хорошо было известно, что этот руководитель внешней русской политики был еще недавно ярым сторонником мира и союза с Наполеоном,—и в то время как министр иностранных дел России осыпал ее любезностями, г-жа де Сталь с сожалением подумала о том, «что он в свое время настолько придерживался наполеоновской системы, что ему следовало бы удалиться, когда эта система была отвергнута, как это сделали бы английские министры» («Ann. d'ex.», 326).

Среди петербургских политических и военных знакомств г-жи де Сталь до сих пор оставалось неизвестным ее знакомство с генералом Сухтеленом и его сыном.

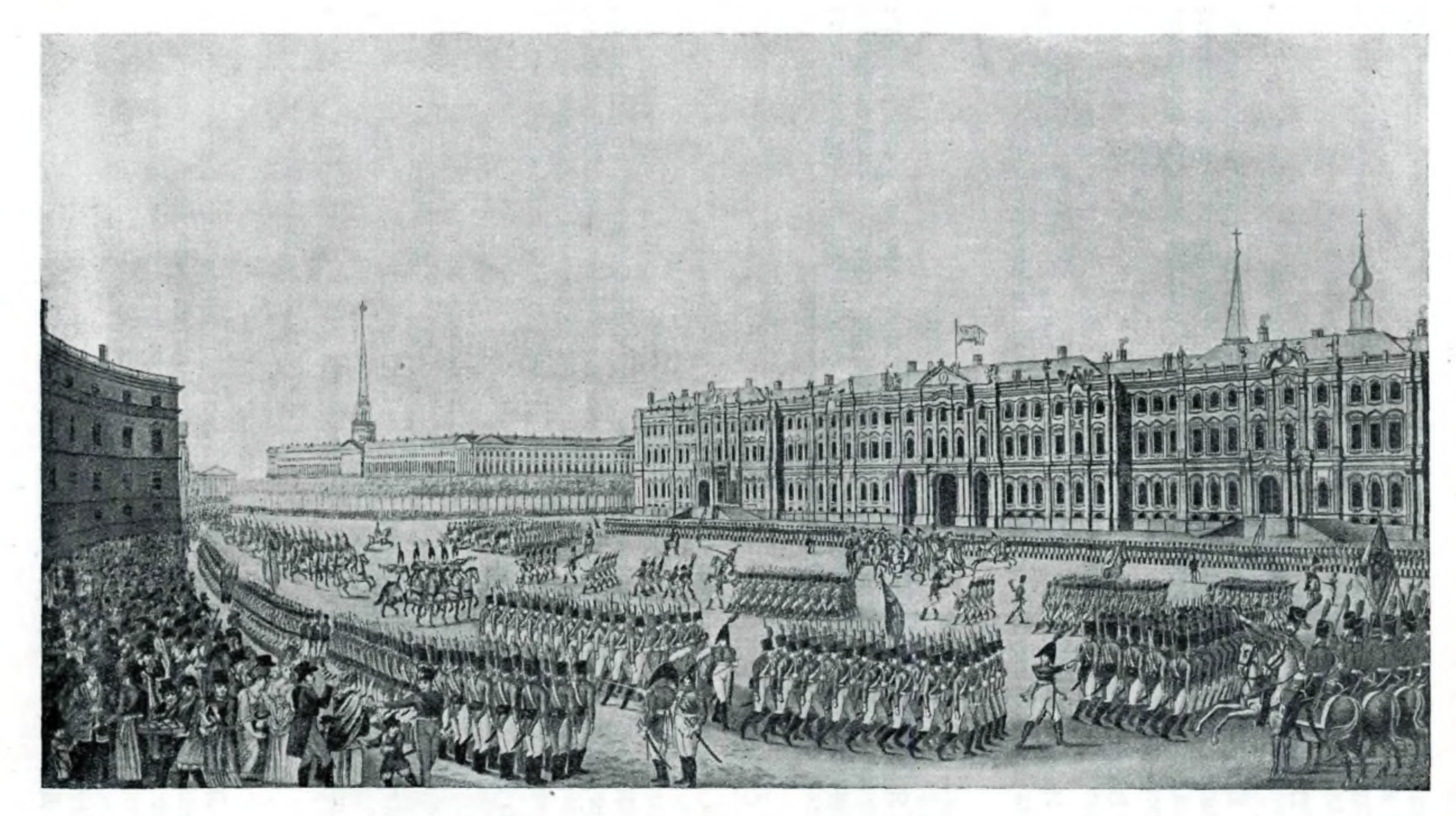
Граф Петр Корнилович Сухтелен (1751—1836), голландец по происхождению, перешел в 1783 г., при Екатерине II, на русскую службу инженер-подполковником. Строитель крепостей, каналов, портов, Сухтелен был в России видным военным инженером своего времени. В последней шведской войне, закончившейся присоединением Финляндии, Сухтелен проявил себя не только замечательным боевым генералом, но и отличным дипломатом. После выгоднейшего мира со Швецией, в заключении которого Сухтелен принимал участие, он был отправлен чрезвычайным посланником в Стокгольм. В июле-августе 1812 г. Сухтелен находился в Петербурге: он пользовался расположением Бернадота, и Александр I хотел окончательно увериться, в какой степени мог он рассчитывать на Швецию в борьбе с Наполеоном.

Для г-жи де Сталь знакомство с Сухтеленом имело исключительный интерес. Русский генерал с европейским военным и общим образованием, он, как никто, мог ввести ее в настоящее положение военных дел и в перспективы борьбы с Наполеоном; он тоже, как никто, мог познакомить ее со страной и людьми, среди которых она решила обосноваться.

Иной интерес представлял для г-жи де Сталь Сухтелен-сын, Павел Петрович (1788—1833). Этому флигель-адъютанту Александра I было в это время всего 24 года, но он уже успел участвовать в четырех войнах, из которых две были с Наполеоном. В молодом Сухтелене г-жа де Сталь нашла романтического героя борьбы с Наполеоном, которому он лично был известен, и от него она могла узнать самые свежие политические новости; Сухтелен-сын только-что вернулся в Петербург из Лондона, куда ездил с дипломатическим поручением. У кого-то из знакомых он был представлен г-же де Сталь, стал бывать у нее, и она поспешила сделать нужные шаги к знакомству со всей семьей. В архиве П. К. Сухтелена сохранилось несколько записок г-жи де Сталь к Сухтеленам. Приводим их полностью; все они не датированы[82].

1. К СУХТЕЛЕНУ-СЫНУ

Мне необходимо поехать к г. Нарышкину[83], за 14 верст, и это заставляет меня просить вас договориться с M-lle Сухтелен о каком-нибудь дне на следующей неделе, за исключением понедельника. Мне очень хочется по-



ПАРАД НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ В ПЕТЕРБУРГЕ В 1812 г.
Гравюра неизвестного художника
Исторический музей, Москва

знакомиться с ней, и я чрезвычайно жалею о том, что сегодняшнее утро у меня несвободно. Не расстраивайтесь, пожалуйста, по поводу этой отсрочки знакомства моего с лицом, у которого столько прав на мое внимание. Наскоро тысячу приветов.

Пятница.

2. К M-lle СУХТЕЛЕН

Если M-lle де Сухтелен окажет мне любезность принять меня послезавтра, во вторник, в 4 часа, я буду иметь честь просить ее представить меня ее брату, генералу. Прошу M-lle де Сухтелен принять выражение моего уважения.

Неккер де Сталь Гольстейн

Воскресенье.

3. К СУХТЕЛЕНУ-ОТЦУ

Имею честь послать генералу Сухтелену письма, которые мне поручили для передачи ему. С нетерпением ожидаю чести повидать его.

Н[еккер] де Сталь

4. К СУХТЕЛЕНУ-ОТЦУ

Я не могу примириться с тем, что никогда не вижу вас у себя, генерал; сделайте мне одолжение притти обедать ко мне в среду, в самой маленькой компании. Я хочу похитить вас одного у вашего общества, раз я так часто вижу ваше общество без вас. Тысячу приветов.

Н[еккер] де Сталь Г[ольстейн]

Суббота.

На обороте: Его п-ву генералу Сухтелену

5. К СУХТЕЛЕНУ-СЫНУ

Хотите поужинать у меня сегодня с г. Мэзонфором? Я не осмелилась предложить вашему отцу приехать сегодня вечером,—нет ничего нового, но я надеюсь, что вы удовольствуетесь и обыденным, в которое входят и моя привязанность к вашему отцу, и мое расположение к вам.

На обороте: Г-ну Сухтелену

6. К СУХТЕЛЕНУ-СЫНУ

Разрешите мне поручить вам передать графу Орлову[84] это письмо и выражение моей благодарности; это последнее будет ему передано более подробно г. Абазой [?]. Вы не жалеете о нас, но мы жалеем о вас и присоединяемся к вашему отцу, в его пожеланиях вам всяческих успехов.

Н[еккер] де Сталь Г[ольстейн]

7. К СУХТЕЛЕНУ-ОТЦУ

Лакей г. Салтыкова, мне им рекомендованный, просит вашего покровительства, генерал. Г-н Салтыков хорошо о нем отзывается, и я посылаю его к вашему превосходительству. Тысячу и тысячу приветов.

Н[еккер] де Сталь Г[ольстейн]

На обороте: Г-ну генералу Сухтелену

До воскресенья, прошу вас не отвечать.

8. К СУХТЕЛЕНУ-ОТЦУ

Я вижу, генерал, что судьба меня преследует. Последний обед при дворе состоится сегодня. Я прошу разрешить мне завтра и послезавтра обедать у вас, чтобы вознаградить себя за двойную потерю. Не отказывайте мне. Так как с двором покончено, за отъездом его героя, ничто больше не помешает вашей ко мне благосклонности. Тысячу приветов.

Н[еккер] де Сталь Г[ольстейн]

Суббота.

На обороте: Его п-ву генералу Сухтелену

9. К СУХТЕЛЕНУ-ОТЦУ

Ведь вы не забудете, дорогой генерал, что я рассчитываю на вас сегодня вечером в 8 часов? Я не люблю проводить день, не увидав вас.

На обороте: Генералу Сухтелену

10. К СУХТЕЛЕНУ-ОТЦУ

Дорогой генерал, завтра я обедаю у г-жи Мирне [Mirner?] с наследным принцем (Prince Royal). Я надеялась, что кастаньеты и болеро будут у вас в субботу. Мы поговорим об этом сегодня вечером, но вы придете в высоких сапогах, иначе я и говорить не буду,—в 8 часов, и ответ только устный. Тысячу приветов, если только вы пожелаете их принять.

Четверг.

На обороте: Генералу Сухтелену

Все приведенные записки г-жи де Сталь к Сухтеленам—отцу и сыну (характерно, что M-lle Сухтелен после первого знакомства не вызывает у г-жи де Сталь никакого интереса) свидетельствуют о том, что г-же де Сталь удалось установить довольно близкие отношения с П. К. Сухтеленом еще в Петербурге. Следует, однако, отметить, что последние две записки к нему, по всей вероятности, относятся ко времени пребывания г-жи де Сталь в Стокгольме, куда Сухтелен возвратился после свидания Александра I с Бернадотом в Або (27—30 августа 1812 г. н. ст.), результатом которого было вступление Швеции в борьбу с Наполеоном.

В будущее России, борющейся с Наполеоном, г-жа де Сталь старается проникнуть из общения с двумя людьми, чьи имена были тогда на устах у всей Европы,—из общения с Кутузовым и Александром I.

Г-жа де Сталь застала Кутузова в Петербурге, при самом отъезде его в армию, в тот момент, когда Кутузов брал на себя величайшую ответственность перед народом.

Г-жа де Сталь посвятила Кутузову взволнованную страницу своей книги:

«Он принял командование за пятнадцать дней до вступления французов в Москву и не мог прибыть к армии раньше, как за шесть дней до великой битвы, которую он дал у ворот этого города, в Бородине. Я видела старца перед его отъездом. То был старец с самым привлекательным обращением и с живостью в лице, несмотря на то, что он потерял глаз от одного из бесчисленных ранений, полученных им за полвека его военной службы. Глядя на него, я боялась, что у него нехватит сил бороться с суровыми

и сильными людьми, которые наводнили Россию со всех концов Европы... Я была растрогана, покидая славного фельдмаршала Кутузова. Я не могла дать себе отчета, кого я обнимала: победителя или мученика, но, во всяком случае, я видела в нем личность, понимающую всё величие возложенного на него дела... Перед отъездом генерал Кутузов отправился помолиться в Казанский собор, и весь народ, следуя за ним, кричал ему, чтобы он спас Россию» («Ann. d'ex.», 368—370).

В 1831 г. Пушкин отразил чувства, которые волновали русский народ перед отъездом Кутузова в армию, в своем знаменитом обращении к нему:

Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!»—ты встал—и спас.

Размышляя над судьбами русского народа, г-жа де Сталь приходила к выводу: «До сих пор в России гениальные люди встречались лишь на военном поприще». Кутузов был, в ее глазах, одним из них.

Исключительное внимание г-жи де Сталь к личности Кутузова не укрылось от мемуаристов той эпохи. В «Записках о 1812 годе» С. Н. Глинки читаем: г-жа де Сталь «явилась к Кутузову, преклонила перед ним чело и возгласила своим торжественным голосом: «Приветствую ту почтенную главу, от которой зависят судьбы Европы (Je viens saluer la tête respectable dont dépendent les destinées de l'Europe)». Полководец наш, ловкий и на поле битвы, и в обращении светском, не запинаясь ответил: «Сударыня! Вы дарите меня венцом моего бессмертия!». Некоторые это иначе высказывают, но тут дело не в словах, а в том, что дочь того Неккера, который в 1789 г. почитался решителем судьбы Франции, как будто свыше вызвана была на берега Невы вестницей о новом жребии и Франции и Европы»[85]. Другой мемуарист, А. П. Бутенев, передает следующий рассказ о встрече г-жи де Сталь с Кутузовым: «Наш старый воин встретился с ней в одном светском салоне, и так как он всегда отличался изысканной вежливостью к дамам, то и к г-же де Сталь он отнесся с особенным вниманием и любезностью. Когда во время разговора с нею зашла речь о предстоящем отъезде его для принятия начальства над нашими армиями и он стал жаловаться на слабость зрения и на свои преклонные лета, г-жа де Сталь с живостью сказала ему:—Но я, по крайней мере, надеюсь, генерал, что вы еще будете иметь случай произнести слова, приписываемые в одной трагедии Митридату: „Мои последние взоры упали на бегущих римлян“»[86].

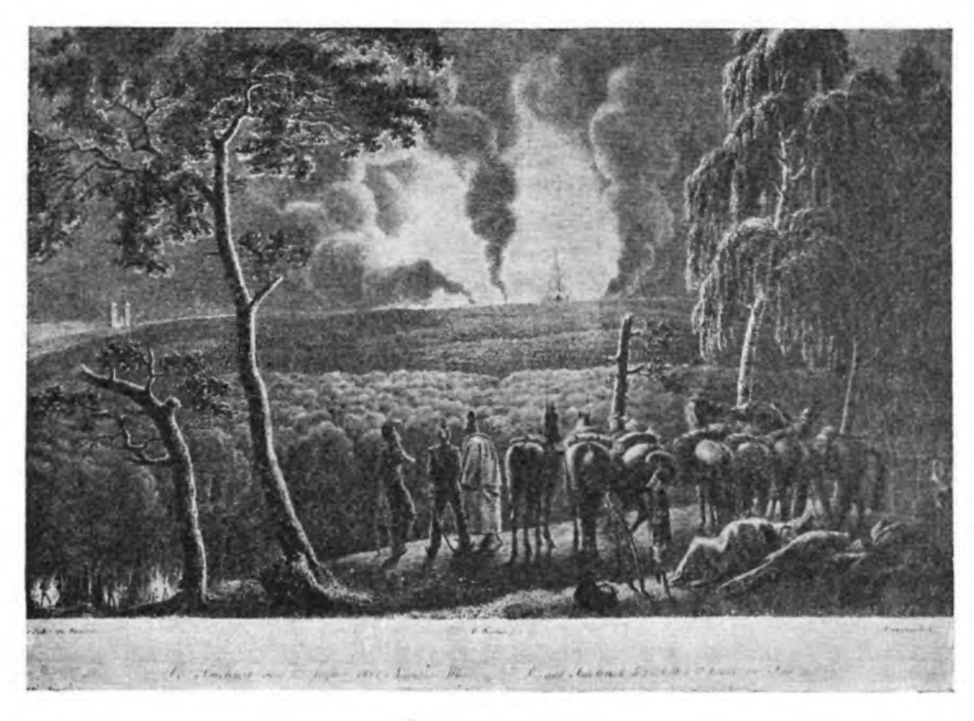
Как известно, предсказание г-жи де Сталь сбылось: умирая, Кутузов мог повторить эти слова Митридата, заменив «бегущих римлян» великой армией, бегущей из России.

В этих рассказах о встречах г-жи де Сталь с Кутузовым русские мемуаристы уловили повышенный тон, с каким она всегда говорила о знаменитом полководце. С особой силой и этот тон, и глубокий интерес г-жи де Сталь к Кутузову сказываются в ее письмах к его жене, княгине Екатерине Ильиничне, писанных из Стокгольма. Г-жа де Сталь признавала Кутузова единственным русским полководцем, способным возглавить оборону великой страны и стать военным вождем своего народа.

Кем же был в оценке г-жи де Сталь тот, кто, повинуясь народному избранию, против собственного желания, вверил Кутузову судьбу России? Кем был Александр I?

Г-же де Сталь была нужна персональная антитеза Наполеону. В Кутузове, народном вожде, защищающем народ, она жаждала увидеть военную антитезу Бонапарту, покоряющему народы. В Александре I она желала видеть гражданскую антитезу Наполеону. Г-жа де Сталь отлично знала «дней Александровых прекрасное начало». Либеральные мысли воспитанника Лагарпа, попытки прогрессивных реформ, конституционные мечтания и проекты—всё это было той атмосферой, сквозь которую г-жа де Сталь еще издали видела фигуру Александра I. Еще несколько усилий с его стороны—и он станет тем конституционным монархом, которого, по мнению г-жи де Сталь, так нехватало Европе. Г-жа де Сталь верит, что Наполеон в Тильзите и Эрфурте пытался обучить русского императора искусству самовластия и тайной науке деспотизма, но потерпел полную неудачу: ученик республиканца Лагарпа отказался внимать этим макиавеллиевым урокам тирании. В 1812 г., после свидания с Александром, г-жа де Сталь была в восторге от того, что политическая и гражданская антитеза Наполеону найдена: был найден, как ей казалось, монарх-либерал, монарх—освободитель Европы.

«Я была очень тронута благородною простотой, с которой он [Александр] с первых же слов, обращенных ко мне, коснулся великих интересов Европы. Я всегда считала признаком посредственности опасение рассуждать о серьезных предметах, которое сумели внушить большинству европейских государей; они страшатся произнести слово, которое имело бы действительный смысл. Император Александр, напротив того, разговаривал со мною так, как это сделали бы государственные люди Англии, полагающие свою силу в себе самих, а не в преградах, которыми можно



ПОД СМОЛЕНСКОМ

Литография с зарисовки Фабера дю Фора. 17 августа 1812 г.

Исторический музей, Москва

окружить себя. Император Александр, которого Наполеон старался представить в превратном виде,—удивительно умный и образованный человек... Он не скрыл от меня того, что он испытал чувство увлечения Наполеоном во время своих сношений с ним... Император Александр с большой проницательностью обрисовал впечатление, произведенное на него беседами Бонапарта... Он рассказывал мне об уроках в духе Макиавелли, которые Наполеон счел удобным преподать ему... Убедившись в чистосердечии императора Александра в его отношениях к Наполеону, я в то же время уверилась, что он не последует примеру несчастных государей Германии и не подпишет мирного договора с тем, кто настолько же является врагом народов, как и врагом королей. Благородная душа не может быть дважды обманута одним и тем же человеком... Император с восторгом говорил мне о своем народе и о том, чем он способен сделаться в будущем. Он высказал мне желание, о котором всем известно, улучшить положение крестьян, еще находящихся в рабстве. «Государь,—сказала я ему,—ваш характер является конституцией для вашей империи, а ваша совесть служит ее гарантией». «Если бы это и было так,—ответил он,—я был бы не чем иным, как только счастливой случайностью». Чудные слова, первые, как мне кажется, в таком роде, произнесенные когда-либо самодержавным государем! Сколько нужно нравственных достоинств, чтобы судить о деспотизме, будучи деспотом, и для того, чтобы никогда не злоупотреблять неограниченной властью, когда народ, находящийся под этим правлением, почти удивляется столь большой умеренности!» («Ann. d'ex.», 334—337).

Александр I мог бы похвалиться своим разговором с г-жой де Сталь (он произошел 5 августа 1812 г.), как блестящим образцом политического интервью. «Un vrai charmeur» (сущий прельститель), по выражению Сперанского, он оправдал эту свою репутацию, беседуя со знаменитой писательницей.

После разговора с Александром I г-жа де Сталь становится его апологетом в европейском масштабе. Либерализм и конституционализм императора Александра I, вопреки исторической очевидности, для нее навсегда остались вне всяких сомнений.

В 1812 г., уезжая из Петербурга, г-жа де Сталь ехала оттуда с уверенностью, что в России есть народ, решившийся умереть, но изгнать Наполеона из своей страны, и есть два человека, исполняющих эту народную волю,—Кутузов и Александр I.

Еще 13, 16 и 20 августа (ст. ст.) в «Санктпетербургских Ведомостях» появились извещения о предстоящем отъезде «баронессы Стаель фон Голстейн, живущей в трактире Европа». Однако, г-же де Сталь пришлось писать петербургскому полицеймейстеру графу В. Ф. Васильеву—и по неприятному для нее поводу: без его помощи она не могла выехать из Петербурга.

Мне приходится постоянно обращаться к вам. На почтовой станции отказались дать мне лошадей на завтра, к двенадцати часам дня. Я прошу вас уделить этому делу частичку вашего авторитетного влияния и оказать мне большую любезность. Разве я не увижу вас еще раз до моего отъезда?

Неккер де Сталь Г[ольстейн]

Воскресенье.

На обороте: Графу Васильеву[87]

7 сентября (н. ст.) г-жа де Сталь выехала в Швецию. Два дня спустя императрица Елизавета Алексеевна, очаровавшая г-жу де Сталь при приеме во дворце, писала своей матери, маркграфине Баденской:

«Несколько дней тому назад отсюда уехала г-жа де Сталь, пробывшая здесь три недели. Присущая ей фантазия нашла себе достаточно пищи за это время, она намерена написать свои впечатления о России, вероятно, о том моменте, когда она ее видела, так как было бы трудно научным образом писать о стране, где пробыла так недолго. Зиму она проведет в Швеции»[88].

VI. РУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ Г-ЖИ ДЕ СТАЛЬ В 1813—1817 гг.

Г-жа де Сталь могла быть спокойна за свою жизнь в Стокгольме. Этот город—столица невоюющей державы—был на перепутье между Петербургом и Лондоном—столицами двух держав, воюющих с Наполеоном. В Стокгольме г-жа де Сталь опять почувствовала себя в Европе, но в Европе, не подвластной Наполеону. Здесь она могла писать и говорить без той опаски, к которой приневоливала себя сама в России и к которой еще более приневоливал ее Август Шлегель; он останавливал ее слишком либеральные реплики в доме Нарышкина опасливым шопотом: «Тише! Тише! В России есть уши за каждою дверью и занавеской».

В Стокгольме г-жа де Сталь нашла опять Петербург на территории русского посольства, в лице советника посольства Д. Н. Блудова (1785—1864). Замещая посла Сухтелена, Блудов должен был «добывать и посылать в Петербург все сведения о том, что делалось тогда в Европе и, особенно, на театре войны в Испании»[89]. Сверх того, Блудов, друг Жуковского, давний читатель-поклонник г-жи де Сталь, был интересным литературным собеседником. В своих воспоминаниях дочь Блудова пишет: «Для нее [г-жи де Сталь] знакомство с моим отцом было настоящею находкою, и она скоро сблизилась с ним до дружеских отношений»[90].

Из Стокгольма г-жа де Сталь со страстной внимательностью следила за событиями великой народной эпопеи, развертывавшейся в России. Памятником этого исключительного внимания являются ее письма к княгине Е. И. Голенищевой-Кутузовой. Они все посвящены ее мужу-полководцу. Княгиня Кутузова для г-жи де Сталь—лучший из всех возможных корреспондентов в данную эпоху: г-жа де Сталь жадно ловит из ее писем каждое известие, доносящееся от народного вождя, борющегося с величайшим полководцем мира[91].

В ответ на письмо княгини Кутузовой с известиями о Бородинской битве, г-жа де Сталь восклицает (письмо 28 сентября н. с. 1812 г.): «Что за битва, какая сила духа нужна для подобного сражения! Как много крови, но ради какой высокой цели! Как вы должны были волноваться, как прекрасен ваш удел: видеть в самом близком себе человеке того, на кого взирает весь мир. Наследный принц шведский имеет пред собой карту Бородинского сражения и без конца с энтузиазмом говорит о нем. Передайте это, княгиня, вашему знаменитому супругу... Я надеюсь снова увидеть вас, если ваша фамилия соединится с фамилией лорда Веллингтона для освобождения Европы». Под этим соединением фамилии Кутузова с фамилией Веллингтона кроется страстное желание г-жи де Сталь увидеть соединение против Наполеона двух армий—русской и английской. В следующем письме из Стокгольма (5 декабря н. с.) г-жа де

Сталь пишет Е. И. Кутузовой: «Князь, ваш супруг, сыграл роль Фабия против этого африканца: он решился выждать и преуспел». Г-жа де Сталь рукоплещет Кутузову в роли Фабия Максима, прозванного Cunctator, но г-же де Сталь этого мало: «Ведь Наполеон такой человек, что может восстановить свои силы, как только вернется в покорную ему страну. Он соберет армию в Германии и приложит все усилия, чтобы загладить позор, впервые в жизни им испытанный. Постарайтесь возбудить все силы духовные вашего мужа в момент, когда успех мог бы ускользнуть от него. Я уверена, что в этом отношении ему будет оказано отсюда содействие и что ему будет принадлежать честь изменить судьбу мира». В письме от 15 февраля 1813 г. г-жа де Сталь вновь пишет: «Ваш славный супруг больше повлиял на судьбы мира, чем кто-либо иной со времени Карла Пятого. Придайте ему бодрости настойчиво продолжать свое дело. Передышка даст только Наполеону возможность возобновить свои усилия против человечества». В письме от 3 мая 1813 г. г-жа де Сталь повторяет то же самое с еще большим упорством: «Путь, который ему [Кутузову] еще придется проделать теперь, пожалуй, труднее его начала. Но необходимо докончить начатое дело, потому что оно само собою распадется, если не будет доведено до конца. Генерал Бонапарт, конечно, только и мечтает отомстить за успех генерала Кутузова».

Это упорное понуждение Кутузова перенести войну с Наполеоном из России в Европу и завершить ее скорейшим разгромом Наполеона где-нибудь в Германии составляет основное содержание писем г-жи де Сталь к Е. И. Кутузовой. Старый фельдмаршал был решительным противником перенесения войны за пределы России после освобождения ее от вражеского нашествия. Кутузов считал, что этим цель народной войны—оборонительной войны—достигнута. Александр I держался противоположного мнения. Кутузову, против своего убеждения, пришлось вести русские войска в европейский поход. Однако, и перейдя за границу России, Кутузов, не желая бросать народные силы на восстановление Пруссии, действовал с крайней осторожностью и медлительностью.

Вся эта стратегия и тактика знаменитого полководца, основанные на строгом соблюдении интересов родного народа, явно противоречили политическим надеждам г-жи де Сталь. Вот почему г-жа де Сталь пользуется своей перепиской с княгиней Кутузовой, как рупором, через который ее голос донесется до самого фельдмаршала: первоначально она убеждает его перенести войну за пределы России, а когда это, волею Александра I, осуществлено, она напрягает все свое красноречие на то, чтобы Кутузов перестал быть «медлителем» и, ради своей славы, окончательно разгромил Бонапарта.

Смерть Кутузова в Бунцлау обрывает переписку г-жи де Сталь с княгиней Кутузовой. Вот ее последнее письмо:

Стокгольм, 20 мая 1813 г.

Вас постигло большое несчастие, княгиня, а также и всю Европу. Но если что-нибудь способно смягчить жестокую утрату, то это изумительный блеск носимого вами имени; фельдмаршал Кутузов спас Россию, и ничто не сможет в будущем сравниться со славой последнего года его жизни. Однако, сердце мое сжимается от горя не видеть больше этого столь же доброго, как и великого человека, и я от всей души присоединяюсь к испытываемому вами страданию. Будьте добры написать мне хотя бы одно

слово на имя вашего посла в Лондоне, графа Ливена. Через два дня я уезжаю. В Англии со мной без конца будут говорить о вашем славном супруге, и я буду горда тем, что была свидетельницей того, как он отправился на свой высокий подвиг.

Пожалуйста, не забывайте меня и верьте моей вечной привязанности к вам и тому живому интересу, который во мне присоединяется к восхищению перед вашим именем. О, если бы Европа могла быть освобождена наследием славы, оставленной фельдмаршалом Кутузовым! Позвольте мне

ВТОРОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ

КЪ САНКТПЕТЕРБУРГСКИМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ No 65.

Вторникъ Августа 13го 1812 года.

XI. *Отъѣзжающіе.*

Томасъ Приссикъ, иностранный купецъ; жив. по Мойкѣ въ Демутовомъ трактирѣ подъ No 45. 1.

Петръ Тенніусъ, иностранный купецъ; жив. 1й Адмир. части во 2 кварт. въ домѣ подъ No 89. 1.

Елисавета Парландъ, съ дѣтьми: Елисаветою и Джономъ Францесомъ и горничною Софіею Шмитъ; жив. на В. О. въ 11й линіи, въ домѣ подъ No 91. 1.

* Баронесса Стаель фонъ Гольстейнъ; жив. въ трактирѣ Европа.

Карлъ Браунъ, Американской Каргадоръ; жив. въ трактирѣ Европа подъ No 83. 1.

Николай Діедонне, Аббатъ; жив. на Невскомъ проспектѣ въ Беровомъ домѣ, подъ No 80. 1.

Винцентъ Маршини, метрдотель Его Сіятельства, Графа Салтыкова; жив. въ большой Морской въ домѣ подъ No 135. 1.

Г. С. Гейманхъ, иностранный купецъ; жив. въ трактирѣ Лондонъ подъ No 24. 2.

Фридрихъ Беверъ и Іоганнесъ Беверъ, Швейцарскіе купцы; жив. 3 Адмир. части въ 1 кварталѣ въ домѣ подъ No 42. 2.

Георгъ Пасте, чулочнаго дѣла подмастерье; жив. въ малой Коломнѣ, 4 Адмир. части въ 3 кварталѣ, въ домѣ подъ No 143. 2.

Гаврило Кадетовъ, Гатчинской мѣщанинъ; жив. на В. О. въ 3 линіи въ домѣ подъ No 290. 2.

Лудвигъ Голдеръ, служитель; жив. по Англин. набережной въ домѣ Овандера, подъ No 255. 2.

М. И. Герцъ, Шведской подданной; жив. по Англин. набережной въ домѣ Овандера подъ No 255. 2.

Фридрихъ Кноопъ, Французской подданной; жив. въ Галерной улицѣ въ домѣ подъ No 265. 2.

Екатерина Елисавета Марія Пфениль, Рижская купеческая жена, съ малолѣтнымъ сыномъ Георгомъ Фомпиксомъ. 2.

Фр. Шламмертъ, Берлинской уроженецъ; жив. въ малой Морской въ домѣ Клейна, подъ No 124. 2.

Елизабетъ Гольмъ, Шведская подданная; жив. близъ Конюшенна моста въ домѣ подъ No 108. 3.

Петръ Выротъ, Шведской подданный; жив. близъ Конюшенна моста, въ домѣ подъ No 102. 3.

Эммануель Зерландъ, Шведской подданный; жив. у Синяго моста въ домѣ подъ No 160. 3.

Доменикъ Барте, Американецъ; жив. въ Галерной улицѣ въ домѣ г. Германа подъ No 222. 3.

Іоганъ Фердинандъ Гартвигъ, иностранный купецъ; жив. 1й Адмир. части въ 1 кварталѣ въ домѣ подъ No 68. 3.

Ѳедоръ Лами, купецъ изъ Лозанны; жив. въ Демутовомъ трактирѣ. 3.

Іоганъ Якобъ Шлейферъ, изъ Швейцаріи; жив. 2й Адмир. части во 2 кварт. въ домѣ подъ No 54. 3.

Робертъ Клеравъ, иностранецъ; жив. 1й Адмир. части въ 4 кварт. въ домѣ подъ No 206. 3.

Христофъ Ритмиллеръ и Гейнрихъ Шлафъ, иностранные купцы; жив. въ трактирѣ Европа, подъ No 21. 3.

Фридрихъ Зимменсъ, иностранный купецъ; жив. въ Демутовомъ трактирѣ подъ No 52. 3.

XII. *Вексельной и денежной курсъ.*

Августа 9го вексельной курсъ состоялъ:

На Лондонъ $23\frac{1}{4}$ до 24 пенсовъ.
— Амстердамъ 14 штивер.
— Гамбургъ $14\frac{1}{4}$, $15\frac{1}{4}$ шиллинг. банк.
— Парижъ 162 сентим.
} на ассигнаціи

Денежной курсъ:

Червонцы Голландскіе 9 р. 25 к. нов. 9 р. ст. кор. За рублевики по 225 процент.

Облигаціи погашенія долговъ по 12 процент. прибыли Банковыми ассигнаціями.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В „САНКТПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕДОМОСТЯХ“ ОТ 13 АВГУСТА 1812 г. ОБ ОТЪЕЗДЕ Г-ЖИ ДЕ СТАЛЬ ИЗ ПЕТЕРБУРГА (ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТМЕЧЕНО НАМИ ЗНАКОМ*)

пролить слезы вместе с вами и спросить еще раз, как вы перенесли это горестное испытание. Примите выражение моего уважения.

Н[еккер] де Сталь Г[ольстейн]

После смерти князя М. И. Голенищева-Кутузова-Смоленского переписка с его женой перестала быть интересной для г-жи де Сталь: под видом писем к княгине она писала, в сущности, к знаменитому полководцу.

Сколько русских имен, больших и малых, политических и литературных, произносит сама г-жа де Сталь во время своего пребывания в России... Но одного имени доселе не встретилось среди этих русских имен—имени Уварова. В своих «Десяти годах изгнания» г-жа де Сталь вовсе не

упоминает о нем. Молчит и сам Уваров о встрече с г-жой де Сталь в России.

В 1812 г., во время пребывания г-жи де Сталь в Петербурге, Уваров занимал пост попечителя Петербургского учебного округа, и мудрено было ему, если он был в Петербурге в августе, не встретиться со знаменитой писательницей. Но, как мы знаем, Уваров имел все основания уклониться от встречи с г-жой де Сталь, и он с ней ни в Москве, ни в Петербурге не встретился.

Первое упоминание о г-же де Сталь в связи с Уваровым, в эту годину, находим в неизданном письме немецкого министра-эмигранта барона Штейна в письме к С. С. Уварову, написанному 28 марта 1813 г. в Калише, где в то время находилась главная квартира русской армии. «Фабр сообщил мне выдержку из письма г-жи де Сталь, содержавшую отрывок из разговора с шведским наследным принцем, который я должен сообщить императору. Я не знаю, какой интерес представляют для этого монарха такие брошенные на ветер рассуждения. Мне кажется, что он должен больше знать о том, что будет с Германией и Польшей, чем может сообщить ему принц. В общем, я хотел бы, чтобы г-жа де Сталь ограничивалась литературой, но не вмешивалась бы в политику; во всяком случае, меня совершенно не интересует быть замешанным в ее политику»[92].

Осторожный политик Штейн встречался с г-жой де Сталь в Петербурге у Нарышкиных, где она читала главу об энтузиазме из запрещенной Наполеоном книги «О Германии». Глава и чтение г-жи де Сталь понравились Штейну, но вольность ее речей показалась ему неуместной и опасной настолько, что он писал в одном письме (17 августа 1812 г.): «Небрежная манера и крайняя непринужденность в обхождении объясняют бесчисленные неосторожности ее разговора, извинительные, однако, при ее положении в центре такой столицы, как Париж, среди народа испорченного и обуреваемого всеми низменными страстями»[93].

Понятно, что взятая на себя г-жой де Сталь роль посредницы между шведским наследным принцем и императором Александром казалась Штейну ролью, отнюдь не подходящей к амплуа г-жи де Сталь.

Живя в Стокгольме и часто встречаясь с Блудовым, г-жа де Сталь общалась с человеком, близким к Уварову, который сам писал про себя в третьем лице: «Он был дружен с Карамзиным, Жуковским, Дашковым и Блудовым; принимал личное участие в трудах этих замечательных людей»[94].

Возможно, что именно под влиянием Д. Н. Блудова г-жа де Сталь решила возобновить сношения с Уваровым и первая обратилась к нему с письмом. Из содержания письма видно, что написанию его предшествовало знакомство г-жи де Сталь с какою-то политической статьей или запиской Уварова, написанной на весьма острую тему: о новом конкордате, заключенном Наполеоном с папой Пием VII. Заняв Рим в 1809 г., Наполеон увез папу во Францию, и папа «гостил» у императора в Гренобле, в Савоне, а с 1812 г.—в Фонтенбло. В 1810 г., когда у Наполеона от Марии-Луизы родился сын, он «подарил» младенцу Рим и облек новорожденного титулом «Римского короля». 19 января 1813 г., ища примирения с католиками, недовольными пленением папы и отнятием у него Рима, Наполеон посетил Пия VII в Фонтенбло и долго с ним беседовал. По Европе разнеслись слухи, что папа согласился уступить свои права на Рим «королю Римскому», в обмен на новый, более благоприятный для като-

Е. И. ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА
Портрет маслом Людвига Гуттенбруна

лической церкви конкордат с императором. Слухи эти были неосновательны: конкордат 1813 г. повторил почти целиком конкордат 1802 г. Статья Уварова в печати неизвестна. Г-жа де Сталь могла познакомиться с нею только из рук Блудова.

Г-жа де Сталь писала Уварову в мае 1813 г.:

Стокгольм, 2 мая [1813 г.]

Я была немного сердита на вас,—ведь версты в России стоят вам так мало, что я ожидала вашего визита в Москве. Впрочем, ваш талант примиряет меня с вами, и я очень рада, что именно русский обладает этим талантом; так как вы приобрели своим оружием такую славу, то я вам желаю и всех прочих успехов. Вы получили доказательство того, о чем вы напечатали, т. е. того, что папа никогда не подписывал того, что ему приписывается. Он короновал бы императрицу и короля Римского, если бы нам сказали правду.—Вы превосходно выразили мысль о том, как трудно решиться умереть в переживаемую нами эпоху, но ведь затруднение это касается людей, занимающихся политикой, для военных же смерть вообще ничего не стоит. Вы пишете по-французски, как прирожденный француз. Не думаете ли вы приехать в Англию? В Европе это совершенно особый мир. Позвольте мне послать вам свою книгу. Введение, по крайней мере, может вас заинтересовать. Мне кажется, что я не сказала ничего такого, что неверно передавало бы положительные черты характера наследного принца. Через восемь дней он должен быть в Стральзунде, и он уже покинул Стокгольм, который с момента его отъезда стал похож на какое-то привидение.

Мне бы хотелось поговорить с вами о России, очень поразившей меня при моем поспешном проезде через нее. Ни то, что говорилось о ней, ни то, в особенности, что писалось, не давало о ней никакого представления.

Прощайте, прощайте! Сообщите мне сведения о предполагаемых вами путешествиях; из того, что касается вас, это интересует меня больше всего.

Н[еккер] де Сталь Г[ольстейн][95]

При письме г-жа де Сталь посылала С. С. Уварову свою книгу «Essai sur le suicide», написанную еще в 1811 г., и особенно рекомендовала предисловие, посвященное Бернадоту. В Бернадоте, утверждала г-жа де Сталь, произошло слияние «республиканского рыцарства с королевским»; она объявляла бывшего маршала Наполеона и будущего шведского короля «умозрительной душой, которой не чужд ни один философский предмет». Ответил ли Уваров г-же де Сталь на письмо от 2 мая из Стокгольма, неизвестно. У нас снова нет никаких следов их сношений вплоть до 1815 г.

В мае 1813 г. г-жа де Сталь покинула Стокгольм, направляясь в Лондон, куда давно мечтала переселиться, как в центр европейской антинаполеоновской коалиции.

На английском пакетботе она встретила молодого русского дипломата Аполлинария Петровича Бутенева (1787—1866), направлявшегося в Лондон дипломатическим курьером, и завязала с ним знакомство.

Его воспоминания о встрече с г-жой де Сталь в пути и в Лондоне малоизвестны в России и во Франции, а между тем, они дают не мало любопытных черт для изображения г-жи де Сталь в «лондонскую эпоху» 1813—1814 гг. и для ее отношения к России и русским[96].

«Мои опасения насчет того, что я буду чувствовать себя стесненным в обществе автора «Коринны», мало-помалу рассеялись, благодаря ее приветливости, отсутствию в ней всякого жеманства (только ее изысканный туалет был неподходящ ни к ее летам, ни ко всей обстановке на борте корабля) и, наконец, ее ненатянутой вежливости с таким иностранцем, как я. Скоро я стал вовсе не стесняться ее присутствием и мог только восхищаться ее прекрасным языком и ее красноречием, которое казалось вдохновением свыше, когда она отдавалась увлечению... Зная, что я русский, она, как кажется, считала долгом вежливости обращаться ко мне и распространяться о прекрасном приеме, оказанном ей в Петербурге, о благосклонности и величии характера императора Александра, о блестящем образовании столичного высшего общества, бросавшемся в глаза даже при общей озабоченности, ввиду столь грозного неприятельского нашествия».

По приезде в Лондон Бутенев встречался с г-жой де Сталь «в доме посла графа Ливена, который принимал ее с особенной любезностью, благодаря рекомендациям из Петербурга». Бутенев бывал и у самой г-жи де Сталь и вывел такое заключение о ней:

«Имев случай видеть г-жу де Сталь и в обществе, и в среде ее семейства, я пришел к убеждению, что, кроме блестящего ума, способности очаровывать общество своим разговором и своего замечательного литературного таланта, она обладала также благородными душевными качествами и сердечной теплотой в семейных и дружеских привязанностях».

Вряд ли эту характеристику г-жи де Сталь разделяли русский посол, граф Христофор Андреевич Ливен (1777—1838), и его жена Дарья Христофоровна (1784—1857), родная сестра будущего шефа жандармов, А. Х. Бенкендорфа. Ее салон был центром лондонского дипломатического мира, и она влияла на этот мир в самом консервативном духе. Наполеон

в глазах посла был революционным выскочкой, а г-жа де Сталь, дочь Неккера, в глазах его жены была не лучше,—одним словом, повторилась старая венская история.

В русском посольстве, тем не менее, встречали г-жу де Сталь с почетом. Бутенев описывает большой обед, данный в честь г-жи де Сталь русским послом на даче в Ричмонде, близ Лондона, в июле 1813 г. На обеде присутствовали все английские министры: глава кабинета лорд Ливерпуль, министр иностранных дел лорд Кэстльри, лорд Пальмерстон, лорд Бэтгёрст и др.

«За обедом я заметил, что хотя г-жа Сталь и была польщена в своем самолюбии тем, что в честь ее собралось такое избранное общество, однако, она не находила случая выказать свой ум и свое блестящее умение вести разговор, стесняясь важностью и серьезностью окружавших ее собеседников. Она попыталась вознаградить себя за это после обеда и старалась привлечь к круглому столу, за которым она сидела в гостиной, толпу слушателей для того, чтобы очаровать их своим увлекательным красноречием. Однако, это удалось ей лишь отчасти. Г-же де Сталь пришлось довольствоваться разговором с княгиней Ливен и несколькими другими дамами, которые были в числе приглашенных, но она должна была отказаться от удовольствия блеснуть своим умом или, может быть, даже вступить в спор по поводу какого-нибудь политического вопроса в присутствии всего английского министерства».

Г-жа де Сталь переживала в Лондоне трудные месяцы. Она попрежнему пламенно желала падения Наполеона, но чем яснее становилось, что война с Наполеоном с равнин России и Германии будет перенесена на поля Франции, тем сильнее пробуждалось в г-же де Сталь патриотическое чувство. Она приходила в отчаяние при мысли, что Францию зальет волна чужеземцев, для которых она не более, как неприятельская страна, с которой, по законам войны, позволено делать то же, что с любой вражеской. При мысли о военном разрушении ценностей французской культуры г-жа де Сталь приходила в пламенное негодование. Это негодование г-жа де Сталь не умела сдерживать. Немецкий поэт-эмигрант Э. Арндт, встретившийся с г-жой де Сталь в Петербурге, рассказывает о случае, которому он вместе с бароном Штейном был свидетелем:

«Следующий случай с г-жой де Сталь дал почувствовать нам, столь часто слишком равнодушным, как живо французы любят свою родину и всё родное и как часто у них слишком много того, чего у нас слишком мало. Французские актеры в Петербурге давали «Федру». Рокка́ (муж г-жи де Сталь) и ее сын пошли в театр, мы же и прочие приглашенные к знаменитой женщине сидели еще за столом. Вдруг они оба вернулись несколько взволнованные и рассказали, что с самого начала представления в театре поднялись такой шум и гам, такая брань на французов и французский театр, что представление должно было прекратиться. Оно и прекратилось; это было последнее представление французской труппы в это лето в Петербурге, и народная ненависть и гнев выразились столь резко и жестоко, что в начале следующей зимы актеры должны были оставить Петербург. А г-жа де Сталь? Она забыла о времени и месте, она помнила лишь себя и свой народ. Она вспылила, залилась слезами и воскликнула: «Варвары! Не хотят видеть расинову „Федру"!»[97].

Так было в 1812 г., когда можно было думать, что поражение Наполеона будет только освобождением Франции. В начале 1814 г. было уже ясно,

что поражение Наполеона не может не быть поражением Франции, отдающим ее судьбу в руки победителей.

Когда после смерти Кутузова встал вопрос о новом полководце, который мог бы стать во главе союзных армий, Бернадот посоветовал Александру I вызвать из Америки Моро, который в 1804 г. был выслан из Франции по делу о заговоре против Наполеона. Моро явился в лагерь союзников, но в первой же битве при Дрездене 27 августа 1813 г. был смертельно ранен и умер через несколько дней. Союзники лишились талантливого полководца, ненавидевшего Наполеона. Уваров, вступивший на путь официального политического публициста, отозвался на смерть Моро похвальным словом: «Eloge funèbre de Moreau», S.-Pétersbourg, 1813, которое рассылал по европейским знаменитостям. Другую книжку о генерале Моро выпустил в Париже Павел Петрович Свиньин (1787—1837). Литератор, художник, археолог, журналист, он был еще и маленький дипломат, занимавший ранее в Филадельфии должность секретаря русского генерального консула (1811—1813). Свиньину было поручено сопровождать генерала Моро из Америки в Европу, и он присутствовал при его смерти. В конце 1813 г. Свиньин был послан Александром I в Англию к вдове генерала Моро с письмом и денежным пособием.

Как только союзники вошли в Париж, Свиньин поспешил выпустить книжку о Моро: «Détails sur le général Moreau et ses derniers moments suivis d'une courte notice biographique, par Paul Swinine», Paris, 1814. Свиньин счел необходимым еще в рукописи доставить свое писание о генерале Моро г-же де Сталь и в ответ получил от нее следующее письмо:

[2 января 1814 г.]

Я с большим интересом прочла то, что вы написали о генерале Моро. Слог у вас совершенно правильный, и я не могу себе представить, почему наш язык настолько привычен вам. Я льщу себя надеждой, что буду иметь удовольствие видеть вас после моего возвращения из деревни, и прошу вас принять мои усердные приветствия.

Н[еккер] де Сталь Г[ольстейн][98]

2 января 1814 г.

На обороте: Г-ну Павлу Свиньину

В своем ответе Свиньину г-жа де Сталь говорит только о его слоге. Она не обмолвилась ни одним словом о содержании книжки и никак не отозвалась о самом Моро. В глазах Свиньина и Уварова Моро был герой. В глазах г-жи де Сталь Моро был едва ли не изменником родине, согласившимся стать во главе чужеземных войск, идущих на Францию.

Вторжение коалиционных войск во Францию переживалось г-жой де Сталь очень болезненно. Испытанные ею по этому поводу чувства лучше всего отражены в письме ее к Дмитрию Павловичу Татищеву (1769—1845), написанном 15 марта 1814 г., за две недели до сдачи Парижа союзникам.

«...Я глубоко уважаю вашу нацию, а мои чувства к вашему императору еще горячее. Никто, я думаю, не сможет сказать, что доблести и патриотизму русского народа кто-нибудь воздал похвалы больше, чем это сделала я. Но именно потому, что я умею ценить ваши чувства, я их испытываю и сама. Я не желаю, чтобы союзники вошли в Париж: покорение Франции причиняет мне боль, и я страдаю от несчастий страны, где я родилась и где отец мой в течение семи лет был первым министром. Вот если бы при

Павле I французы вторглись в Россию, то даже в то время вы, наверно, не желали бы успеха чужеземным армиям. Таково мое настроение... Я далека от мысли бросать упрек державам, у которых так много того, что требует отмщения, однако, при всей своей ненависти к вождю французов, я не могу желать того, чтобы до него добрались, пройдя через Францию. Образ действий вашего императора благороден и понятен, но именно ему более, чем кому-либо другому, я с полным доверием сказала бы то же самое, что пишу вам... Если бы я хотела похвалиться, то сказала бы вам, что не могу вновь увидеть Парижа (о котором тоскую уже десять лет), пока не свергнут Бонапарт; я сказала бы вам, что в то время, когда все державы Европы подчинились ему, я одна, при всей своей слабости, десять лет боролась с ним. Но дело не в похвалах мне. Просто необходимо вам знать, что я чувствую себя обязанной вашему императору и что я осмеливаюсь его любить столько же, сколько и уважать. Но не правы те русские, которые осуждают меня, когда я отказываюсь желать их успехов против Франции, точно так же, как я страстно была против успехов французов над Россией»[99].

20 апреля 1814 г. низложенный Наполеон отправился на остров Эльбу. Ровно через пять дней после этого, 25 апреля, при первой вести, что русский император мыслит будущее Франции, как конституционной монархии, г-жа де Сталь уже писала Александру I из Лондона:

«Государь! Во все времена все публицисты—Монтескьё, Неккер и другие—смотрели на английскую конституцию, как на высшую степень совершенства, какой может достигнуть человеческое общество. Основания этой конституции ваше величество предложили Франции; и как раз в то время, когда иноземное нашествие заставляло опасаться всего, ваше

ОТСТУПЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ ИЗ РОССИИ. В ВИЛЬНЕ

Рисунок, приписываемый А. Орловскому

Литературный музей, Москва

победоносное оружие даровало ей законного короля и свободное правительство. Это—событие, не имеющее себе подобного в истории, и им мы обязаны лишь вам одному. Если когда-либо Франция окажется достойна ограниченной монархии, необходимо, государь, чтобы ваше имя послужило призывом для объединения всех великодушных сердец. Верьте лишь самому себе, государь, и вы довершите и поддержите то, что вы начали. Вы—первый человек в своей империи еще более по своей природе, чем по своему положению. В этой же стране, где ваше величество пользуетесь лишь властью через общественное мнение, в стране, где всё свободно, вы будете встречены, государь, подобно триумфатору в Риме»[100].

Восторженная поклонница английской конституции, г-жа де Сталь хочет и в Александре I видеть конституционалиста на английский манер и спешит от имени Франции благодарить русского императора. Однако, никакая вера в конституционные планы и либеральные добродетели Александра I не помешала г-же де Сталь испытать настоящее потрясение при вести, что Париж находится во власти чужеземцев. Вот рассказ г-жи де Сталь о том, что пережила она, сойдя в Калэ на французскую землю вскоре после того, как Людовик XVIII, поставленный союзниками в короли Франции, вступил в Париж (3 мая 1814 г.):

«После десятилетнего отсутствия я высаживалась в Калэ. Я заранее предчувствовала радость вновь увидеть прекрасную Францию, о которой я так соскучилась. Однако, охватившие меня впечатления были совсем иного характера. Первые, кого я увидела, были люди в прусской форме,— они были хозяевами города. Это право им принадлежало, как победителям... Я продолжала свой путь, и всё те же мысли угнетали меня. Приближаясь к Парижу, я со всех сторон видела немцев, русских, казаков и башкиров: они расположились лагерем вокруг собора Saint Denis, где покоится прах наших королей... Я возвращалась в город, где когда-то протекли самые блестящие и счастливые дни моей жизни, как в каком-то тягостном сне. Уж не в Германии ли я, или не в России ли? Видеть Париж, занятый ими, Тюильри и Лувр, охраняемыми воинством, пришедшим из пределов Азии, для которого наш язык, наша история, наши великие люди менее знакомы, чем последний татарский хан,—было невыносимо больно»[101].

Когда союзники вошли в Париж и стали его хозяевами, они, по признанию г-жи де Сталь, были великодушны, в особенности, Александр. Но г-жа де Сталь спрашивала: «Какой француз, вполне восторгаясь Александром, не чувствовал все-таки страшного горя?..»[102].

Александр не изменился—так казалось г-же де Сталь: «Я имела честь беседовать с ним,—рассказывает она,—несколько раз в Петербурге и в Париже, во время его жестоких испытаний и во время его триумфа. Одинаково простой, одинаково ясный в том или другом положении, его тонкий, справедливый и мудрый ум никогда не противоречил сам себе. Его разговор не имел никакого сходства с тем, что называется официальным разговором. Любовь к человечеству внушала Александру заботу знать настроения, чувства других и делиться с теми, кого он считал достойным, великими планами относительно прогресса социального порядка»[103].

Несколько строк, приведенных здесь из «Размышлений о революции», показывают, что трудно найти характеристику Александра I более ошибочную, чем та, которая сделана г-жой де Сталь в этой ее посмертной книге.

Г-жа де Сталь жестоко ошиблась в характере Александра, почитая его главными чертами твердость, ясность и неизменность, которых в нем не было и следа.

Но г-же де Сталь мудрено было не ошибаться, если Александр—единственный из всех союзников—«стойко желая низложения Наполеона, вовсе не считал, что союзники должны вмешиваться в вопрос о преемнике и что он, русский царь, считает неплохим исходом даже, например, республику»[104].

Александр I отдал г-же де Сталь в Париже ее визит, который она нанесла ему в Петербурге, и отдал не один раз. Вновь открытый салон г-жи де Сталь в Париже был местом, где Александр охотно и успешно демонстрировал перед всей Европой свой либерализм. Он выказал полное презрение Фердинанду VII, тотчас по своем возвращении в Испанию уничтожившему конституцию; жаловался, что его добрые намерения не были ни поняты, ни поддержаны во Франции. «Бурбоны,—сказал Александр однажды,—неисправившиеся и неисправимые (non corrigés et incorrigibles), полны предрассудков старого режима; либеральные взгляды у одного герцога Орлеанского, на прочих надеяться нечего».

В течение этого же вечера Александр обещал г-же де Сталь, что на предстоящем конгрессе потребует уничтожения невольничества. «За главою страны, в которой существует крепостничество,—заметил при этом государь,—не признают права явиться посредником в деле освобождения невольников; но каждый день я получаю хорошие вести о внутреннем состоянии моей империи, и, с божьей помощью, крепостное право будет уничтожено еще в мое царствование».

Выслушивая такие речи, г-жа де Сталь имела полное основание увлекаться освободительной миссией, принятой, как ей казалось, на себя императором Александром. «Что за человек этот император России! Без него мы не имели бы ничего похожего на конституцию,—писала тогда восторженная почитательница Александра.—Я от всего сердца желаю осуществления всего того, что может возвысить этого человека, представляющегося мне чудом, ниспосланным провидением для спасения свободы, со всех сторон окруженной опасностями»[105].

Чем более реставрированные Бурбоны оправдывали данное им Александром I определение «неисправившихся и неисправимых», тем крепче становилась уверенность г-жи де Сталь в том, что Александр I—единственная гарантия прочности конституционного порядка во Франции. В 1814—1817 гг.,—с перерывом на «Сто дней» Наполеона,—в салоне г-жи де Сталь перебывало множество русских: салон был в политической моде, которую установил на него Александр I, сам бывший в то время в моде.

Г-жа де Сталь пожелала, чтобы одним из посетителей ее был граф Ф. В. Ростопчин. Осенью 1814 г. он попал в опалу и был уволен с должности московского главнокомандующего, с назначением членом Государственного совета. С досады и огорчения французоед Ростопчин уехал в Париж, который не покидал затем в течение нескольких лет. В Париже, во Франции и вообще в Европе у него была репутация поджигателя Москвы. Смотря по обстоятельствам, он то признавал пожар Москвы своим произведением, то яростно отвергал это.

Вероятно, к зиме 1814—1815 г. относится неизданная записка г-жи де Сталь к Ростопчину, не имеющая даты:

Четверг, улица Рояль, № 6.

Не знаю, помните ли вы, граф, что при очень важных в вашей жизни и судьбах Европы обстоятельствах вы были очень любезны ко мне: разрешите мне выразить вам свою благодарность и просить вас провести у меня вечер понедельника; я буду рада представить вам свою дочь, которую в детстве вы ласково приняли у себя. Передайте, пожалуйста, мой привет графине Ростопчиной. Тысячу приветов.

де Сталь[106]

О том, каков был результат одного из свиданий Ростопчина с г-жой де Сталь, мы узнаем из неизданного письма писателя Виктора-Жозефа-Этьена Жуи (1764—1846) к лицу, имя которого не удалось установить. Жуи был видным писателем своего времени и членом Французской академии. Особенную известность доставила Жуи его трагедия «Bélisaire». Написанная в 1809 г., она была запрещена при Наполеоне за то, что в ней были усмотрены намеки на генерала Моро, изгнанного из отечества. При Людовике XVIII та же трагедия была запрещена за то, что в ней были найдены намеки на Наполеона.

26 января — надо думать, 1815 г.— Жуи писал из Парижа какому-то своему постоянному корреспонденту:

26 января [1815 г.?]

Пакет, который вы получите одновременно с этим письмом, был приготовлен на другой же день после того, как я получил ваше письмо; курьер, который доставит его вам, через час уже отправляется, и у меня времени только, чтобы сообщить вам небольшой, совершенно свежий анекдот.

Граф Ростопчин сначала был очень хорошо принят баронессой де Сталь, однако, он не оказался счастливее г. Каннинга, и в результате беседы, имевшей место между этими двумя одинаково легко воспламеняющимися людьми, между ними произошел полный разрыв. Вот краткое содержание этой беседы, возникшей по поводу статьи, напечатанной в «Mercure de France», в которой Бенжамен Констан внушает мысль, что мероприятия, проводимые императором Александром, имеют целью сделать нацию из русского народа.

Баронесса: Да, граф, уровень развития широких масс русского народа остался неизменным со времени Петра Великого. Дворянство настолько далеко опередило народ, что должно сознать необходимость несколько вернуться вспять.

Граф: Но, Madame, подобный совет нужно дать не одному русскому народу,—он мог бы быть полезен и французам.

Баронесса: Мы могли бы смело отступить, потому что, всё равно, мы остались бы впереди других.

Граф: Хорошо, Madame, давайте с вами подадим пример: я готов вернуться в свои леса, под сень своего родительского замка, вы, со своей стороны, также несколько попятитесь назад и снова окажетесь в [банкирской] конторе вашего отца, и мы посмотрим, выиграете ли вы при таком обмене.

Ж[уи][107]

Письмо Жуи переносит нас в парижский салон г-жи де Сталь в один из тех обычных вечеров, когда там кипели споры по самым животрепещущим вопросам политического дня. Будущность Франции, зависимость

Г-ЖА ДЕ СТАЛЬ
Рисунок Томаса Филлипса. Лондон, 1814 г.
Национальная библиотека, Париж

ее судьбы от России и Англии, политика Александра I, либеральные перспективы, ожидающие Россию,—вот темы этих споров. Г-жа де Сталь, как видно из отрывка ее разговора с Ростопчиным, горячо защищала либеральные мероприятия Александра I, а Ростопчин, ярый представитель русского дворянского крепостничества, нападал на них. Ростопчин с высокомерием покончил спор дерзостью, впрочем, не раз уже слышанной г-жой де Сталь от французских аристократов и эмигрантов.

Отголосок парижских споров г-жи де Сталь с Ростопчиным дошел до дворца в Павловске, откуда фрейлина княжна Туркестанова, близкая к Александру I, писала 20 мая 1817 г. Кристину в Москву: «Моден мне рассказал о частых спорах, происходивших между Ростопчиным и г-жой де Сталь, из которых он всегда выходил победителем. Но она продолжает суетиться: то она за министерство, то против него. Она постоянно говорит: моя партия. Ростопчин не упустил этой фразы без того, чтобы не поднять ее на-смех. Когда кто-то спросил его, что он собирается делать вечером, он сказал: «Сначала я пойду смотреть „Сороку-воровку“ [опера Россини], затем сороку-бунтовщицу». Это он отправлялся ужинать к г-же де Сталь»[108].

Возвращение Наполеона в Париж в эпоху «Ста дней» вновь заставило г-жу де Сталь бежать в Коппе. Оттуда 22 мая 1815 г. она послала в Франкфурт-на-Майне русскому консулу банкиру Бетману обстоятельное письмо, рассчитывая, конечно, что сообщаемые ею сведения дойдут тем или иным путем до императора Александра.

22 мая [1815 г.]

Я получила, милостивый государь, одно ваше письмо от 12 мая; другое, от 25 апреля, до меня не дошло. Не могу понять, как могло оно пропасть, так как у вас письма не теряются. Нейтралитета Швейцарии желают во всей стране, и если бы попытались заставить их воевать, я уверена, возникла бы гражданская война,—какая польза от этого получилась бы

для союзников? Люсьен окончательно помирился с братом, желая мира и свободы, чего трудно или, можно сказать, невозможно достигнуть. Что же касается Франции, то—скажу вам это одному или, в крайнем случае, без ссылки на меня—юг роялистский активно, Париж роялистский пассивно, провинции Франш-Конте, Бургундия, Лотарингия, Шампань агрессивно склонны действовать для защиты страны от иностранцев. Приготовления к этому ведутся очень деятельно, но возможности, которыми располагают иностранцы, громадны. Мне кажется, что превратности, постигшие Мюрата, дают большое основание для их самонадеянности; что бы ни произошло—будет одно несчастие, и все это из-за одного человека, и какого! Столько счастия три месяца тому назад, теперь же одно отчаяние. Какая Елена для Троянской войны!—это смахивает на колдовство. Если всё не будет закончено в сентябре, я поеду в Грецию и в Иерусалим. Нужно вырваться из этого мира скорби. Конечно, теперь хороший повод для паломничества, а затем Святая земля лучше оккупированной французской. Не будете ли столь добры переслать верным путем это письмо в Гент, если последний, как я предполагаю, попрежнему спокоен. Я получаю в Женеве «Франкфуртскую Газету», так что не затрудняйте себя пересылкой ее мне. Меня очень соблазняло бы как-нибудь отправиться туда, где я могла бы снова увидеть российского императора, которым я восхищаюсь и которого люблю. Я не могу достаточно благодарить вас за вашу доброту.

Н[еккер] де Сталь

Бетман получил это письмо 30 мая 1815 г. и 1 июня переслал его императору Александру в Гейльбронн в числе разных других документов, отметив при этом: «Мне кажется, что прилагаемое письмо г-жи де Сталь достаточно хорошо выясняет внутреннее состояние Франции. Я спросил ее, что думает она о флюгерном превращении г. Бенжамена Констана, которое очень сатирически критикуется в прилагаемой брошюре „L'Errata des Journaux“»[109].

8 июня 1815 г., за десять дней до Ватерлоо, г-жа де Сталь обращается уже непосредственно к Александру с большим письмом, необыкновенно типичным для писем, с которыми она обращалась к русскому императору в 1815—1817 гг. Как в 1812—1813 гг. г-жа де Сталь упорно и непрерывно убеждала Кутузова воевать с Наполеоном до конца, так теперь она убеждает Александра I защищать независимость конституционной Франции от всех, кто покушается на ее внешнюю и внутреннюю свободу. Г-жа де Сталь как бы считает, что Александр I дал обязательство в том, что он будет таким защитником конституционных учреждений Франции: в каждом письме она напоминает об этом русскому императору. По ответам Александра I на письма г-жи де Сталь видно, что с каждым годом и месяцем такие напоминания становятся ему все неприятнее и неприятнее.

В письме от 8 июня 1815 г. г-жа де Сталь старается внушить Александру I мысль о том, что самое возвращение Наполеона стало возможным лишь в силу того, что Людовик XVIII и его министры из эмигрантов нарушили план либерального устроения Франции, будто бы твердо выработанный Александром I.

«Всё то, чего вы желали, государь, за исключением острова Эльбы, побудило бы народ защищаться от армии, а человек, которого мы ненавидим, не мог бы рассчитывать на поддержку многочисленной партии,

принявшей его, если бы осуществили ваши планы как относительно собственно конституции, так и способа ее введения».

Г-жа де Сталь не верит в продолжительность успеха Наполеона, предвидит новое, решающее вмешательство держав-победительниц в судьбу Франции и с особой силой пытается ходатайствовать за Францию перед Александром I.

«Я осмеливаюсь во имя человечества умолять ваше величество остаться верным самому себе даже при готовящихся новых обстоятельствах и принять то, что вы сделали, за образец того, что вы сделаете. Редко бывает, государь, возможным сказать монарху из глубины души:—Слушайтесь совета лишь самого себя! Но если так будет, то мне кажется, что спасение Европы обеспечено».

«Слушайтесь совета лишь самого себя»—это означало: не слушайтесь советов реакционной Пруссии, реакционнейшей Австрии и наиреакционнейших французских эмигрантов, окружавших Бурбонов. Г-жа де Сталь всячески внушала Александру I, что он сам—единственный источник европейского конституционализма и что достаточно ему быть верным себе, как либеральное разрешение французского вопроса будет неизбежным. И г-жа де Сталь спешит указать русскому императору на невозможность всякого другого решения этого вопроса:

«От Франции нельзя отнять ни одной ее малейшей части, не вызвав *этим в ней снова постоянных волнений*; она *может повиноваться лишь* конституционному королю, и если бы на этот раз предположили уничтожить все начала свободы, этим только засыпали бы вулкан, и его извержение впоследствии стало бы от этого лишь более ужасным».

Если Александр захочет противостать реакционным планам Пруссии,

ВСТУПЛЕНИЕ СОЮЗНЫХ ВОЙСК В ПАРИЖ 31 МАРТА 1814 г.
Современная гравюра неизвестного художника, изд. Артариа в Вене
Исторический музей, Москва

Австрии и дворян-эмигрантов и сохранит Франции конституцию,—«последствием этого великодушия, дважды обнаруженного, явятся удивление и признательность человеческого рода. В настоящее время я пишу историю вашего величества, пишу о вашем вступлении в Париж в прошлом году и, становясь, таким образом, на расстоянии потомства, позволяю себе предчувствовать то, чего оно ожидает от вас».

Это письмо, взывающее к Александру о пощаде для конституционных учреждений Франции, пришлось г-же де Сталь, по злой иронии судьбы, отправить императору через посредство г-жи Крюденер, мистико-реакционной собеседницы и советчицы Александра I. Император находился тогда в Гейдельберге и тотчас же—13/25 июня—ответил г-же де Сталь, но ответил сдержанно и коротко; он лишь высказал надежду, что пожелания г-жи де Сталь «относительно блага Европы и Франции исполнятся, независимо от того, как бы ни осложнились обстоятельства, которые, во всяком случае, не могут поколебать непреложных начал справедливости и истины». Ни о какой «свободе» царь не упомянул вовсе, но выразил настоятельное желание, «чтобы эта эпоха, в событиях которой я принимал деятельное участие, была изъята от преждевременных суждений моих современников». Иными словами, Александр I решительно пожелал изъять себя из круга вопросов, подлежащих обсуждению г-жи де Сталь.

Это письмо Александра I не дошло своевременно до г-жи де Сталь.

Прогремело Ватерлоо. Наполеон был отправлен на остров св. Елены, Александр I вновь вступил в Париж. Г-жа де Сталь опять решилась быть ходатайницей за Францию. 9 августа 1815 г. она писала Александру I из Коппе:

«Государь, Франция очень несчастна; Франция, которой Петр Великий обязан просвещением, цивилизовавшим его народ, которой Европа обязана своими социальными достижениями, своим философским просвещением, а в более давние времена—своим рыцарским духом, неужели она утратила все права на уважение мира потому только, что чужеземец воспользовался ее воинственным пылом для того, чтобы совратить ее с правого пути? Государь, все просвещенные люди надеются на вас; эта вторая эпоха вашей жизни труднее первой, но поэтому-то именно она будет и еще более славною. Наши опасения рассеются, и наши надежды оправдаются, если вы будете принимать решения, государь, советуясь лишь с вашим великодушным сердцем. Вашему величеству предоставлено успокоить горе двадцати четырех миллионов людей,—подобная власть превосходит пределы человеческой власти; история вознаградит вас за то, что вы пользовались ею с великодушием, отличающим вас»[110].

Это письмо г-жи де Сталь доставил Александру в Париже 13 августа н. ст. ее сын Огюст. 9/21 августа царь ответил г-же де Сталь, кстати, переслав и не дошедшее до нее письмо из Гейдельберга. В архиве сохранился отпуск письма Александра I с его собственноручными исправлениями (они набраны здесь разрядкой): «Соображения, внушенные вам вполне законным чувством к той Франции, которой вы посвящаете дарования, наследственные в вашей семье, а также приводимые вами воспоминания, заслуживают остановить на себе внимание. Тем не менее, я не могу отрешиться от убеждения, что можно надеяться положить конец бедствиям французского народа и упрочить его благосостояние лишь поскольку приложено будет старание найти гарантии нового порядка вещей в мудро уравновешенных учреждениях,

АЛЕКСАНДР I
Гравюра К.-А. Швердгебурта с его же рисунка 1813 г.
Исторический музей, Москва

вместо того, чтобы ставить его устойчивость в зависимость от чувств и влияния того или другого отдельного лица. Подобный образ действий внушен тяжелым опытом, и пример соседнего государства, обязанного этой системе долговременным процветанием и славою, достаточен, чтобы осветить все значение этого правила (maxime). Король там в течение стольких лет лишен рассудка, и, однако, всё идет своим обычным ходом, и народное благосостояние нисколько не страдает от этого. Лишь только при нейтрализации партийного духа подобными учреждениями Франции удастся положить конец беспрерывно угрожающим ей реакциям. Тогда только этот народ, в мире с самим собою, перестанет быть угрозой по отношению к Европе. Коль скоро противодействия внутри будут настолько уравновешены, что явятся лишь постоянным и спасительным противовесом, Франция снова займет свое место в системе европейского равновесия. Я, без сомнения, почту себя счастливым иметь возможность способствовать достижению этого великого результата...»[111].

Ни одно письмо Александра I не вызвало в г-же де Сталь такого волнения, как это письмо из Парижа. Она не сумела или не пожелала прочесть в нем того, что Александр I решительно уклоняется от приписываемой ему чести—вмещать гарантии французской конституции в своем сердце и благородных чувствах. Г-жа де Сталь, будучи в Лозанне, восторженно беседовала об Александре I с его либеральным ментором, Ф. Лагарпом, а самому императору писала (19 сентября 1815 г.[112]):

«Если в мире, среди всех бедствий, которые повлекла за собою политическая реформация, еще останется несколько свободы, этим будут обязаны единственно вашему величеству. Вы соблаговолили на-

писать мне пророческие слова: „Франция может спастись, лишь благодаря английской конституции“».

Так с большим упрощением и несомненным политическим заострением переводит г-жа де Сталь собственноручную фразу Александра I о том, что безумие короля Георга III не может отразиться на прочности английских государственных учреждений. «И нельзя,—продолжает г-жа де Сталь,—раз ваше величество высказали это мнение и обнаружили такое желание, допустить, чтобы оно не увенчалось успехом».

Первые по возвращении Бурбонов выборы в Палату депутатов произошли в конце августа 1815 г. Палата наполнилась теми людьми, которых называют «plus royalistes que le roi»: ленивый Людовик XVIII был либеральнее любого из членов Палаты.

Г-жа де Сталь, в том же письме от 19 сентября, ставит перед Александром I ребром волнующие ее вопросы политического дня: «Не состоят ли обе палаты, в большей своей части, из людей, которых тайное и даже явное намерение заключается в восстановлении старого режима? В особенности, Палата депутатов, которая должна быть охранительницей прав народа, не явится ли она искусным противником их? Способ, которым были произведены выборы, почти нигде не допустил воплотиться народной воле, и свобода погибла, если даже те, которые призваны защищать ее, готовятся тайком подкопаться под нее. Когда ваше величество уедете, кто поддержит созданное вами?».

Александр I не задержал ответа на это письмо, но—увы!—решительно отклонил в своем письме из Парижа от 14/26 сентября все призывы г-жи Сталь к его либерализму.

«Божественное провидение призвало не одного меня к решению этого великого вопроса [о судьбе Франции]. Ряд событий, предшествовавших настоящему моменту, поставил этот вопрос таким образом, что решение его не могло не зависеть от фактов и обстоятельств, связанных со скорым и счастливым окончанием войны. Это соображение показывает как недостаточность отвлеченных убеждений в вопросе подобного рода, так и недействительность их применения».

В последних словах заключалась холодная, но решительная отповедь г-же де Сталь: не идеи, а факты решают судьбы народов. Ни полунамека на английскую конституцию нет теперь в словах русского императора. Как будто забыв, что он, воспитанник Лагарпа, пишет письмо дочери Неккера, царь переходит на резкую критику Франции:

«Франция постоянно была и остается под угрозою двойной опасности. Сильная и могущественная, она нарушила общественный порядок и посягнула на независимость народов. Слабая и побежденная, она не может в короткое время восстановить свое спокойствие и счастие на незыблемых основаниях, обезоружить сразу дух мести в народах, оскорбленных и униженных ею, и рассеять справедливые опасения, возбуждаемые в них близостью этого революционного очага».

Надо потушить этот очаг, чтобы вернуть Франции прочность государственного существования,—вот что стремится теперь Александр I внушить г-же де Сталь.

«Проникнутый этой истиной,—заключает он письмо,—я думал, что не могу более действительным образом прийти на помощь в этой беде, как поставив восстановление этого государства под защиту большого европейского союза»[113].

ЛАГЕРЬ КАЗАКОВ НА ЕЛИСЕЙСКИХ ПОЛЯХ В ПАРИЖЕ
Гравюра Ж.-П.-М. Жазэ с рисунка А. Зауервейда, 1814 г.
Исторический музей, Москва

Судьбу Франции Александр I отдавал в руки Священного союза, этого реакционнейшего из всех союзов, известных в европейской истории XIX в.

Г-жа де Сталь еще ничего не знала о Священном союзе, но письмо Александра I не оставило в ней сомнения, что дальнейшие почтовые беседы с русским императором на темы об английской конституции невозможны, и она замолчала.

Испытывая отвращение перед торжествующей реакцией, г-жа де Сталь оставалась в Коппе. Там попали ей в руки три книжки Уварова. Первую мы уже знаем — это его «Eloge funèbre de Moreau» (1813). Второй была его брошюра «L'empereur Alexandre et Buonaparte», изданная в Петербурге в 1814 г. Эта книжка, давая параллельную характеристику торжествующего Александра I и низложенного Наполеона, полна восхвалений первому и порицаний второму, в которых Уваров теряет всякое чувство меры. Политический смысл этого уваровского панегирика Александру I сводится к туманному призыву, обращенному к королям и народам. Первые должны пожертвовать своим деспотизмом, вторые—анархией, т. е. революционными устремлениями[114]. Третьей книжкой Уварова, прочитанной г-жой де Сталь в Коппе, был его известный «Опыт об Элевсинских мистериях» («Essai sur les mystères d'Eleusis», 1812). Эту книжку, посвященную одному из труднейших вопросов классической филологии, Уваров всегда считал своим основным «ученым» трудом. На деле, это была ловкая компиляция, сделанная по немецким и английским источникам—по Вильфорду, Фр. Шлегелю и другим авторам. Когда Уваров послал эту свою книжку Жозефу де Местру, тот ни словом не обмолвился о ее научном достоинстве, но похвалил чистоту стиля и «превосходный»—т. е. консервативный—дух книги[115].

Как попали книжки Уварова в Коппе? Вернее всего, он сам послал их г-же де Сталь, как посылал их другим европейским знаменитостям, создавая себе европейскую репутацию ученого.

Г-жа де Сталь отвечала Уварову письмом:

10 сентября 1815 г.
Коппе, Швейцария, кантон Во [Ваадт]

Я с большим интересом прочла и ваши политические статьи, и превосходную брошюру об Элевсинских мистериях. Гораздо более меня сведущий во всем, что требует эрудиции, Шлегель никак не может притти в себя от удивления, что молодой русский дворянин такой же ученый, как и он. А я сама удивлена, читая о древности то, что, как будто, говорит о будущем. Впрочем, ведь существует удивительная тайна на заре известной нам истории, и еще одним новым доказательством бессмертия души служит также разумная вера в бога, какая была у этих адептов Элевсина.

Не спуститесь ли вы к нам с вашего севера? Этой зимой я не советую еще вам приезжать в Париж, и сама я уезжаю в Италию, но Франция воспрянет, благодаря вашему государю. Два дня тому назад он почтил меня письмом, прекрасно излагающим то, в чем надо видеть истинные интересы Франции. Английский публицист не смог бы лучше высказать мысли о конституционной свободе. Ему обязаны мы тем, что еще существует Франция; пруссаки, говорят, совсем об этом не заботились, совершенно забыв тот манифест, которым союзники возвещали, что они борются только с Наполеоном. Театр военных действий теперь на острове св. Елены,

там следовало бы сражаться, оставив в покое несчастную Францию. Ваш государь, право, удивительный человек. Если нам осталось отечество, если дело свободы не погибло, то этим мы обязаны ему одному. Право, я обожаю его. Я надеялась увидеть его в Италии, но он не едет туда, спеша вернуться в Россию. Я получила от него два великолепных письма, это мои трофеи. Сообщите мне ваши проекты. Невозможно, чтобы вы, если мы снова станем французами, не приехали бы показать нам, чем мы были в наши лучшие дни, потому что вы похожи на француза кануна революции. А бедный князь де Линь, вспоминаете ли вы когда-нибудь о нем? Я буду всегда помнить вас и его вместе. Прощайте, не забывайте меня.

Н[еккер] де Сталь Г[ольстейн][116]

Письмо г-жи де Сталь исполнено привычной уже для нее скорби о Франции, отданной Бурбонам. Теперь г-жу де Сталь никто не изгоняет из Парижа. Она сама удаляется оттуда в добровольное изгнание—лишь бы не видеть пошлого торжества реакции. Она с грустью предается венским воспоминаниям. Всё досадное и печальное, что пережито ею в связи с Уваровым в те годы ее любви к О'Доннелю, ею забыто так же, как самая эта любовь. Уваров останется навсегда в ее памяти, как француз кануна революции, по случайности родившийся в России, как ученик, учившийся искусству быть французом времен Людовика XV у последнего мастера этого угасшего искусства—у князя де Линя, умершего 13 декабря 1814 г.

Странствуя по Италии, г-жа де Сталь вновь пожелала вызвать Александра I на беседу. 26 февраля 1816 г. она писала ему из Флоренции: «Я не перестаю следить за вашей политической деятельностью, государь, попрежнему с интересом и уважением, которыми душа моя наполнена по отношению к вам. Вместе со всей Европой я восхищаюсь вашей конституцией для Польши, вашим указом об иезуитах и вижу проявление веротерпимости в декларации трех держав, разных по религии, но единых по их христианству».

Напомнив Александру о трех его актах, которые она считала либеральными: об открытии польского сейма (15 марта 1815 г.), об его указе, подготовлявшем изгнание иезуитов из России, и о договоре Священного союза между Россией, Австрией и Пруссией (как ошибалась г-жа де Сталь в оценке этого акта!),—напомнив русскому императору всё это, лестное для его самолюбия, г-жа де Сталь с горечью возвращалась к французским делам: «...Отчего, государь, вы не повлияли на судьбу Франции более прямым образом? Разве я не была права, государь, когда восемь месяцев тому назад осмелилась писать вам и указывать, что Палата депутатов, составленная не из представителей народа, но из числа эмигрантов, погубит Францию,—они идут к контрреволюции, нисколько не стараясь овладеть доверием народным. Французы стонут под игом чужеземных войск, при отсутствии которых они не потерпели бы того, что, пользуясь самыми произвольными приемами революции, уничтожают ее лучшие принципы. Я не знаю, сообщает ли вам ваш представитель о действительном положении дел; имею серьезные основания сомневаться в этом. Простите мне мою откровенность с вами, государь,—я могла бы сообщить вам и некоторые другие мои наблюдения, если бы можно было писать непринужденно. Здесь, в этой богатой и бедной Италии, я часто слышу, государь, пожелания, высказываемые по отношению к вам; вы покоряете общественное

мнение Европы, потому что единственный из всех государей заслуживаете памяти последующих поколений»[117].

Г-жа де Сталь ждет от Александра I действий, оправдывающих его столь возвеличенный ею либерализм. Этих действий нет. Г-жа де Сталь готова винить в этом петербургских вельмож: она отлично знает силу их реакционных вожделений и влияний; они скрывают правду от царя. Г-жа де Сталь хочет раскрыть императору глаза на положение во Франции и в Европе: той и другой грозит опасность задохнуться от реакции.

До нас дошел отпуск ответа Александра I из Петербурга на письмо г-жи де Сталь, с его поправками, помеченный 4 апреля 1816 г. Александр I благодарит г-жу де Сталь за ее сочувственное (мы знаем, что это сочувствие покоилось на недоразумении) мнение о Священном союзе. Он покровительственно хвалит ее за «внимание и просвещенное старание, с которым [она] изучает события, которыми пользуется провидение, чтобы влиять на народы примирительным и охранительным образом... Но это благотворное воздействие бога, быть орудием которого каждый из монархов должен почитать счастием для себя, часто проявляется грозным образом по отношению к тем народам, которые долгий период смут сделал менее восприимчивыми к покою и счастию».

Франция, по мнению Александра I, принадлежит к числу подобных народов. Она должна быть довольна теми мерами, которые предпринимаются для излечения ее от «смут». Император безапелляционно заявляет г-же де Сталь: «Меры, принятые для обеспечения ее [Франции] будущего, не оставляли желать ничего лучшего ни в смысле справедливости, ни в смысле человеческой предусмотрительности». Столь же безапелляционно Александр I отклоняет мысль г-жи де Сталь о его, якобы, недостаточной осведомленности в французских делах. Александр подчеркивает, что он стоял и будет стоять на принципе легитимизма и на согласовании своих действий со своими союзниками, и выражает надежду на поддержку со стороны всех благомыслящих людей как во Франции, так и в других странах. Вот и всё, что получила г-жа де Сталь в ответ от героя своей либеральной мечты,—это был вежливый и сухой ответ, устраняющий самую возможность дальнейшей переписки[118].

Было бы естественно ожидать, что переписка г-жи де Сталь с русским императором оборвется на этом письме, в котором от былого либерального «charmeur'а» не оставалось следа и в котором слышались речи союзника Меттерниха.

Пользуясь, однако, тем, что Александр I в своем письме выразил мысль, что «терпимость постоянно является непосредственным следствием чувств любви и мира, внушаемых нам истинной христианской религией», г-жа де Сталь обращает внимание царя (письмо от 2 июня 1816 г. из Флоренции) на то, что «пытки и инквизиция снова появляются в Испании; Рим объявляет, что терпимость по отношению к другим религиям противна его догматам, а Франция находится в плачевном положении».

«... При помощи казней и иностранных войск можно будет сдержать недовольство, но с каждым днем оно всё сильнее будет кипеть в сердцах; быть может, оно снова прорвется, как в Гренобле, каким-нибудь мятежом, и это возмущение назовут якобинизмом, бонапартизмом, тогда как, в сущности, это будет только проявлением раздражения, вызываемого ежедневным разрушением конституционной хартии, свободы печати, свободы выборов, нарушением судебных порядков и т. д.».

№ 120

Ayant reçu, Madame, par l'entremise de Mr. votre fils la lettre que vous m'adressez, je crois devoir joindre à ma réponse celle que je vous écrivis à mon départ de Heidelberg, et qui n'étoit point parvenue jusqu'ici à sa destination.

Les considérations que vous suggère un sentiment bien légitime pour cette France à laquelle vous consacrez des talens héréditaires dans votre famille, les souvenirs que vous rappellez, Madame, sont de nature à fixer l'attention.* Mais on ne sauroit se flatter de mettre un terme aux malheurs de la nation française et de consolider son bien être qu'autant qu'on s'appliquera à chercher les garanties du nouvel ordre de choses dans des institutions sagement combinées, au lieu de faire dépendre sa stabilité de l'influence de quelques individus. Cette marche est suggérée par une pénible expérience, et l'exemple d'un État voisin, qui doit à ce système un long cours de prospérité et de gloire, suffit pour mettre dans tout son jour l'importance de cette maxime. Ce n'est qu'en neutralisant l'esprit de parti par de semblables institutions que la France parviendra à faire cesser les réactions, qui la menacent sans cesse. Dès lors cette nation en paix avec elle-même cessera d'être aggressive envers l'Europe. Les résistances dans son intérieur une fois régularisées au point de n'être que des contrepoids permanens et salutaires, la France reprendra sa place dans la balance du système Européen. Je m'estimerais sans doute heureux de pouvoir contribuer à ce grand résultat, et j'aime à croire à l'efficacité des voeux que forment pour son accomplissement tous ceux qui, comme vous, Madame, sont doués d'une sensibilité profonde et exercés à la réflexion. Recevez ici l'assurance du plaisir que j'aurai à voir Mr. votre fils, ainsi que celle de mon estime pour vous.

Paris
le 9/21 Août 1815.

[Marginal and interlinear corrections:]

* Je ne puis cependant me départir de la conviction qu'on ne sauroit [illegible]

de sentiments — tel ou tel — x tel ou tel — de [illegible] [illegible] de l'influence

[illegible] Le Roi [illegible] [illegible]

& Le Roi [illegible] [illegible] [illegible] de l'usage et [illegible] [illegible] cependant [illegible] [illegible] plus [illegible] habituel à la bien être national [illegible] [illegible] [illegible]

ОТПУСК ОТВЕТА АЛЕКСАНДРА I Г-ЖЕ ДЕ СТАЛЬ ОТ 9 АВГУСТА 1815 г., С ЕГО СОБСТВЕННОРУЧНЫМИ ИСПРАВЛЕНИЯМИ

Архив внешней политики, Москва

Г-жа де Сталь, забыв, что в одном из предыдущих писем сам Александр I назвал Францию «очагом революционной заразы», с негодованием восклицает по адресу вернувшихся к власти реакционеров:

«Я избираю судьею ваш великодушный характер: если не перестают твердить 24-м миллионам людей, что в течение 27 лет они вели себя, как разбойники, если не допускают никаких исключений ни для друзей свободы, ни для храбрейших воинов, если с трибуны и в газетах постоянно раздаются подобные речи, и в то же время запрещено отвечать на них, — разве отчаяние французов не естественно и разве попирать подобным образом народ, военная слава которого заслужила уважение монархов Европы, не значит проявлять недостаток почтения к этим монархам?».

Г-жа де Сталь сравнивает Александра I с Карлом V и уверяет русского царя: «Политическая реформация зависит от вас, подобно тому, как религиозная реформа зависела от него. Вы, государь, в силу превосходства вашего ума, стоите в тысячу раз выше всех современных монархов; ваша империя независима; всё, что мыслит, и всё, что страдает на протяжении от севера до юга, обращает свои взоры на вас,—не упустите воспользоваться подобным случаем»[119].

Александр I не ответил на письмо г-жи де Сталь.

Она решила, что письмо перехвачено либо агентами Людовика XVIII, либо усердными слугами самого Александра I, и послала ему из Парижа 3 ноября 1816 г., через надежную оказию, новое письмо: «Государь! Я не знаю, как писать отсюда вашему величеству так, чтобы мое письмо не прошло ни по французской почте, ни через руки вашего посла,—я не хочу довериться ни той, ни другому».

Г-жа де Сталь вновь старается приковать внимание Александра I к делам Франции. «Если бы ваше величество находились здесь, вы бы в один день увидели, в чем заключается зло и где лекарство против него; но ни ваше могущество, государь, ни ваш гений, ни ваше прямодушие не имеют здесь своего представителя». Это—прямой выпад против русского посольства—стало быть, прежде всего, против старого знакомца г-жи де Сталь, Поццо ди Борго, который был русским послом при Людовике XVIII. Но в настоящем письме у г-жи де Сталь была прямая цель повлиять на Александра в деле, которое она считала самым больным для французов: «До тех пор, пока во Франции будут находиться иностранные войска, в ней будут происходить лишь о д н и и н т р и г и. Когда же ваше величество,—а только вам одним будут обязаны этим,—сократите пытку, вызываемую присутствием этих иностранных войск, тогда только вся сила вашего ума должна сосредоточиться на судьбе Франции, и вы упрочите ее во всех отношениях»[120].

Александр I не ответил и на это письмо. 14 декабря 1816 г. г-жа де Сталь обратилась из Парижа к императору с новым письмом—самым обширным из всех, которые она к нему писала. На этот раз г-жа де Сталь применяет новую тактику: она посылает свое письмо через русского посла Поццо ди Борго[121] и выгораживает его из той оценки русского посольства, которую сделала в предыдущем письме. Она дает лестную оценку послу: «Ваш министр Поццо ди Борго—человек вполне способный итти к своей цели с большим умением и ловкостью, и мне кажется, что теперь он избрал путь, указанный вашим величеством». Это изменение суждения г-жи де Сталь о роли Поццо ди Борго при дворе Людовика XVIII объясняется

тем, что ей стало известно, что еще в июне 1816 г. Поццо, по повелению Александра I, сообщил королю меморандум, в котором обращалось внимание короля, что действия его правительства не соответствуют советам, полученным от русского императора; тогда же Поццо посоветовал королю распустить «бесподобную Палату», возбуждавшую всеобщее негодование своей реакционностью.

Новое письмо г-жи де Сталь, пересылаемое через русского посла, с еще большей настойчивостью ставит перед Александром I все злобы политического дня Франции:

«До тех пор, пока иностранцы будут занимать французскую территорию, ничто внутри страны не может приобрести устойчивости, всё имеет лишь призрачный вид: деспотизм, предлагаемый одними, бессилен; свобода, требуемая другими, не обеспечена. Если вы хотите, государь, чтобы существовала Франция и чтобы политическая реформа была упрочена вами, поспешите вернуть эту страну ей самой—только тогда в ней проявится общественное мнение».

Франция не может существовать без внешней независимости, без политической свободы, гарантируемой конституцией,—вот в чем хочет г-жа де Сталь уверить русского царя.

«Все устали от революций, но предпочтут погибнуть, чем утратить учреждения, к которым стремились в течение двадцати семи лет, и сохранить за собой лишь позор от преступлений, совершенных для достижения их. Если лорду Веллингтону, как бы он ни был велик, как полководец, суждено оставаться еще четыре года повелителем Франции, мне станет понятно, что целый народ в таком положении пожелает лучше иметь возможность одним ударом уничтожить самого себя, чем продлить состояние своего унижения». Г-жа де Сталь взывает к Александру I: «Спасите Францию, а через это свободу Европы и источник просвещения! Вспомните, государь, о восторге, возбужденном вами в 1814 г. Наполеона уже нет более на острове Эльбы, а он один мог разрушить сделанное вами добро; всё, что вы решите теперь, государь, будет прочно...».

«... Вопрос об иностранной оккупации—единственный, которым живо интересуются за пределами Парижа. Слышатся слова: свобода печати, свобода личности, свобода вероисповеданий, но всё это существует, только благодаря теперешним добрым намерениям короля и министров. Если бы их заменили другие люди, то останется произвольных декретов больше, чем нужно, для того, чтобы под покровом хартии восстановить старый режим. Свобода вероисповеданий, которую ваше величество столь торжественным образом признали одною из основ Священного союза, более всего подвергается опасности во Франции. В Ниме протестанты находятся в состоянии беспрерывного угнетения, а неотрешимые [местные] власти, путем обещаний и угроз, принуждают простолюдинов-протестантов менять религию. Восемь домов иезуитов, под наименованием «отцов веры» (pères de la foi), уже водворились во Франции и теперь при посредстве священников добиваются милостей двора, и при посредстве священников же ими подготовляются самые пагубные для свободы меры. Государь, выполните свое славное назначение. Пусть Россия по своему управлению, а Франция по своей свободе и независимости будут обязаны вам своим счастием, и потомство наградит вас наименованиями, которые еще никогда не соединялись в одном лице. Вы яви-

тесь одновременно защитником религии и философии и восстановите порядок мечом, а свободу—мыслью»[122].

Когда г-жа де Сталь писала свои письма к Александру I, вряд ли она знала, что она сама, со всем кругом ее мыслей, разговоров, политических идей и политических же друзей, является предметом донесений русских дипломатов своему императору.

Русским послом в Турине в то время был князь Петр Борисович Козловский (1754—1809). Бывший московский «архивный юноша», товарищ А. И. Тургенева, впоследствии приятель кн. П. А. Вяземского и Пушкина, сотрудник его «Современника», кн. Козловский был одним из просвещеннейших людей своего времени. Он состоял при русском посольстве в Вене в 1808 г., когда там жила г-жа де Сталь, и был хорошо известен ей. В 1817 г., будучи в Париже, Козловский на правах старого знакомого посещал салон г-жи де Сталь и, вернувшись к себе в Турин, счел не лишним отправить в Петербург, 19 февраля/2 марта, депешу Александру I, в которой сообщал, между прочим, о г-же де Сталь:

«... Так как во Франции ничего не делается без влияния женщин, то и теперь герцогиня де Дюрас и г-жа де Сталь собирают у себя приверженцев обеих партий. У первой собирается партия Сен-Жерменского предместья, у второй—сторонники министерства. Каковы бы ни были чувства моей личной привязанности к г-же де Сталь и моя благодарность ей за дружбу, я не могу, однако, скрыть от в. и. в., что хотя я и считаю ее в данный момент очень полезной для министерства, но допускаю, что впоследствии она может оказаться весьма опасной. Мне удалось, думается, заметить в г-же де Сталь ясно выраженное стремление склонить своих друзей после смерти короля, которому она всецело предана, в пользу герцога Орлеанского. Это стремление вызывается у нее, с одной стороны, нетерпимостью и пристрастием к протестантизму, с другой—тайным желанием видеть восстановленным то, что она называет славой французского оружия. Представляется затруднительным заранее учесть, насколько может в будущем усилиться ее влияние, пред которым довольно трудно устоять во всех странах и которое, в особенности, сильно во Франции, где быстрый в суждениях и способный к комбинациям ум всегда может рассчитывать произвести сильнейшее впечатление.

Герцог де Брольи, ее зять, будет в скором времени, если я не ошибаюсь, одним из первых лиц в своей стране. У него с природными данными соединяется большая настойчивость в приобретении знаний и с республиканским стоицизмом—всепоглощающее честолюбие. То, что он, в его годы, оказался единственным в оппозиции при голосовании смертного приговора маршалу Нею, делает его предметом тайного почитания среди недовольных, получающих половинное жалованье»[123].

Депеша Козловского свидетельствует, с какой настороженностью, чтобы не сказать с недоверием, относилось русское правительство к политической позиции г-жи де Сталь. Нет нужды доказывать, что ответные письма Александра I к г-же де Сталь никогда не писались без согласования с руководителями министерства иностранных дел.

Приведенное выше письмо г-жи де Сталь оказалось последним, которое написала она Александру I. Переданное императору через русского посла, оно вызвало Александра I на ответ, но ответ был дан нехотя, был отослан поздно—24 февраля (ст. ст.) 1817 г. и мало принес утешения г-же де Сталь, уже совершенно больной. 14 июня того же года

эта длительная болезнь свела ее в могилу. Александр I не столько писал, сколько отписывался от г-жи де Сталь и ее упований на либеральное вмешательство в дела Франции.

«Отдавая полную справедливость вашему образу мыслей, я не могу разделить вашего взгляда на степень участия, которую вы приписываете моему влиянию в осуществлении комбинаций, благоприятных для спокойствия и славы вашего отечества. Значение, которое я придаю поддержанию во Франции установленного порядка, обусловлено одновременно верностью договорам и глубоким моим убеждением, что только непоколебимая настойчивость может упрочить результат стольких усилий».

Александр I ничего не обещает г-же де Сталь, кроме того, что Людо-

КАЗАКИ
Рисунок Карла Верне
Музей изобразительных искусств, Москва

вик XVIII не посмеет разорвать тощую хартию, которую ему приказано было дать своим подданным. С точки зрения Александра I это очень много, и он внушает г-же де Сталь: «Ваш просвещенный ум, ваша любовь к добру, не искажаемая никакими предубеждениями, заставят вас разделить мои надежды»[124].

После смерти г-жи де Сталь ее сын Огюст в письме к Александру I сообщил ему следующее в виде ответа матери на последнее письмо царя к ней.

Коппе, 5 августа 1817 г.

Среди несчастия, только-что поразившего мою семью, я осмелился рассчитывать на сочувствие в. и. в. Я осмелился, государь, приобщить вас к своей печали и думать, что в. в. не без сожаления узнаете о смерти лица, которое было вам столь почтительно предано и сумело прочесть в вашей

душе даже больше того, что нам уже открыла история. В последний день болезни, ослабившей только ее тело, она дозволила нам говорить с нею об ее самых заветных желаниях, о счастии Франции и о процветании принципов, которым отец ее посвятил свою жизнь.

Я высказал ей свои опасения за будущее, я с грустью говорил ей об ослаблении духа свободы у правительства, которое долгое время было его образцом. «Помните,—ответила она нам,—что судьба Европы покоится на императоре Александре. Он уже спас Францию; он сделает еще более для нее, а возвышенность его ума и сердца служит единственной гарантией для Европы против возврата самых пагубных идей и принципов». Благоволите, государь, простить мне, что я решился передать в. и. в. последние слова, которые моя мать высказала по поводу этого общего вопроса. Ее завещание уполномочило меня оповестить о замужестве ее с г. де Рокка и представить семье молодого брата, которого она мне поручила. Он с благоговением услышит имя в. в., и я смею надеяться, что со временем вы соблаговолите распространить и на него милости, которыми вы нас всех почтили.

Моя мать возложила на меня, совместно с г. Шлегелем и г. де Брольи, опубликование ее политической книги, которую она почти окончила. Вы увидите в ней, государь, горячее выражение тех чувств, которыми она непрестанно была преисполнена в отношении в. и. в. Я возьму на себя почтительную смелость представить вам первый ее экземпляр.

С глубочайшим уважением, государь, вашего императорского величества почтительнейший и покорнейший слуга

О[гюст] Сталь де Гольстейн[125]

Сын г-жи де Сталь сообщил Александру I давно известное ему мнение о нем знаменитой писательницы, но он не сообщил русскому царю, что г-жа де Сталь до отчаяния задыхалась в сгущающейся атмосфере реакции и с отвращением писала о героях эпохи реакции в своей неоконченной книге о революции.

На последних страницах этой книги г-жа де Сталь принуждена была написать строки, исполненные глубокого гнева. Они вызваны тем самым Священным союзом, который еще год назад г-жа де Сталь была склонна рассматривать, как акт либерализма со стороны Александра I. Теперь она разгадала истинный, глубоко реакционный, смысл этого союза.

При всем своем уважении к Александру I, г-жа де Сталь так выражается о Священном союзе: «Братство всех христианских исповеданий, в виде Священного союза, предложенного императором Александром, уже осуждено оговоркой против слияния культов. Какой же общественный порядок предлагают нам эти противники просвещения, эти враги человечества, когда оно носит имя народа и нации? Куда пришлось бы бежать, если дать им власть?»[126].

Смерть избавила г-жу де Сталь от необходимости, при буйном разгуле европейской реакции, ответить на этот вопрос одним словом: некуда.

VII. Г-ЖА ДЕ СТАЛЬ И РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ

Едва ли не в год смерти г-жи де Сталь П. А. Вяземский написал стихотворение «Библиотека». Одну из полок своей библиотеки Вяземский описывает с особой живостью—ту, на которой стоят сочинения г-жи де Сталь:

№ 418

Lausanne ce 19
7bre 1815

Sire!

je me suis entretenue de Votre Majesté avec l'homme du monde qui lui est le plus attaché parce que c'est celui qui la connait davantage [illegible] de la Harpe [illegible] que j'ai vouée à vos admirables qualités c'est de loin c'est sans aucun intérêt, Sire, comme Votre Majesté l'a dit [illegible] à la distance de l'histoire que je la contemple — l'établissement de la liberté dans le monde au milieu de tous les désastres que la réformation politique a entraînés, c'est à Votre Majesté seule qu'on le devra elle a daigné [illegible] la France ne peut se sauver que par la constitution anglaise mais il ne faut pas que Votre Majesté ait approuvé ce

votre gloire Sire serait diminuée si ce que vous avez voulu étoit renversé — l'état des protestants dans le midi les hommes placés dans la chambre des représentants qui ont authentiquement professé dans leurs écrits et dans leurs discours la haine du gouvernement représentatif tout doit donner de l'inquiétude pour l'avenir et la postérité réclame de Votre Majesté un dernier effort énergique en faveur de la cause de l'espèce humaine.

je me flatte Sire que je ne mourrai pas sans vous revoir [illegible] dans le midi dont votre pensée a [illegible] la flamme et il me sera permis de mettre encore une fois mon humble respect à vos pieds.

je suis avec respect Sire

De Votre Majesté la très humble et très obéissante servante

Necker Bnne de Staël holstein

АВТОГРАФ ПИСЬМА Г-ЖИ ДЕ СТАЛЬ К АЛЕКСАНДРУ I ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 1815 г.

Страницы первая и последняя

Архив внешней политики, Москва

Плутарховых времен достойная Коринна,
По сердцу женщина и по душе мужчина,
Философ мудростью и пламенем поэт,
Восторгов для тебя в нас недоступных нет.
Страстями движешь ты, умом, воображеньем;
Твой слог, трепещущий сердечным вдохновеньем,
Как отголосок чувств, всегда красноречив;
Как прихоть женщины, как радуги отлив,
Разнообразен он, струист и своенравен;
О, долго будешь ты воспоминаньем славен,
Коппет, где Неккеру, игре народных бурь,
Блеснула в тишине спокойствия лазурь
И где изгнанница тревожила из ссылки
Деспота чуткий ум и гнев, в порывах пылкий.
В сияньи, он робел отдельного луча:
И мир поработив владычеству меча,
С владычеством ума в совместничестве гордом,
Отличного врага воюя в мненьи твердом,
Державу мысли сам невольно признавал.

Вяземский описывал свою библиотеку в Остафьеве, в поместье под Москвой, но он описал, в то же время, любую библиотеку русского читателя своего общественного круга и культурного слоя. Библиотека арзамасца Д. Н. Блудова, декабриста Н. И. Тургенева и его брата-полуэмигранта А. И. Тургенева, библиотеки лучших поэтов эпохи—К. Н. Батюшкова, А. С. Пушкина и Ф. И. Тютчева—обладали такой же полкой с сочинениями г-жи де Сталь, как и библиотека Вяземского.

Описывая свою библиотечную полку, Вяземский прекрасно выразил всё, за что русский читатель первой четверти XIX столетия любил г-жу де Сталь.

Ее романы «Дельфина» и «Коринна» продолжали дело Руссо: они открывали изумленному русскому читателю и еще более читательнице неведомый мир освобожденного чувства, получившего право на жизнь и на язык. Недаром Пушкин сдружил свою Татьяну с двумя литературными подругами—Юлией Руссо и Дельфиной г-жи де Сталь:

Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Клариссой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит,
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты.

Но та же книга, дававшая исход освобожденному чувству, утоляла еще другую жажду: она переносила русского читателя в Италию, впервые посвящая русского читателя в неувядающую молодость античной красоты и южной природы. «Коринна или Италия»,—по этой книге сверстники Вяземского и Пушкина не только учились любить древний Рим и Италию Возрождения,—с этой книгой, как с лучшим путеводителем, путешествовали по Италии. Николай Тургенев записывает 11 декабря 1811 г. в своем дневнике: «Рим... Легши в постель, я читал Сталь, и читал с большим удовольствием». Много лет спустя, в 1833 г., Александр Иванович

Тургенев, путешествуя по Италии с «Коринной» подмышкой, писал П. А. Вяземскому из Неаполя: «В Венеции, в Помпее и здесь, там, где Коринна импровизировала, я перечитал ее книгу: сколько истины в ее описательской поэзии!»[127].

Ф. И. Тютчев сам бывал в Италии, сам создавал в стихах свою чудесную Италию, но в одном из самых замечательных своих итальянских стихотворений, «Mal'aria», отразил впечатления, навеянные чтением «Коринны»[128].

Если «Коринна» знакомила русского читателя с Италией, то книга г-жи де Сталь «О Германии» послужила основным источником для ознакомления русских читателей с литературой, философией и культурой Германии. Ранее вышедшее сочинение г-жи де Сталь «О литературе» впервые дало русскому читателю опыт построения философии литературы в связи с явлениями общественного развития. Книга г-жи де Сталь о литературе давала, взамен старых «Курсов литературы», построенных на началах формальной мнимоклассической эстетики, новую проекцию истории мировой литературы, увлекавшую своей свежестью и новизной. Успех книги «О литературе» у русского читателя был так велик, что понадобились издания извлечений из этого труда: «О философии англичан. Перев. с франц. А. Боровкова» (СПб. 1819) и в его же переводе «О философии французов» (СПб. 1820).

Сочинение «О Германии» имело еще большее значение. Знаменитой французской писательнице выпало на долю отнять, в глазах русского читателя, привилегию первенства у французской литературы; г-жа де Сталь доказала неопровержимо, что литература Шиллера и Гёте—не менее значительное явление мировой культуры, чем литература Расина и Вольтера. Книга г-жи де Сталь, идя навстречу давним исканиям Карамзина, молодого «тургеневского кружка» и Жуковского, переводила взор русских писателей с Вольтера на Гёте. Мало того: она вводила русских писателей в русло нового могучего литературного течения.

В год смерти г-жи де Сталь—1817—П. А. Вяземский писал: «Толки о романтизме пошли с легкой руки Шлегеля и ученицы его г-жи де Сталь, особенно в книге ее «О Германии». Эта книга, которая показалась Наполеону I политически-революционною, была им запрещена; во всяком случае, положила она начало литературной революции во Франции и в некоторых других странах»[129].

Из-за цензурных условий Вяземский не мог сказать, что Россия была в числе этих других стран. Книга «De l'Allemagne» была предметом не просто чтения, а изучения тех общественных кругов, из которых вышли будущие декабристы. Философские отрывки из г-жи де Сталь Кюхельбекер печатал в своем альманахе «Мнемозина».

Дневники Н. И. Тургенева за 1814—1816 гг. испещрены записями о чтении «De l'Allemagne» и выписками из этой книги. Будущего декабриста занимают не только литературные суждения г-жи де Сталь. Его увлекает та едкая критика, с которою она рисует реакционное высшее общество Европы. Прочтя известную нам характеристику венского общества, сделанную г-жой де Сталь с убийственной иронией, Н. И. Тургенев уверяет брата Александра, что у г-жи де Сталь в ее «Германии» можно найти точное описание петербургского общества: «...по крайней мере, таковым я себе его представляю, не имев довольно искусства и охоты узнать действительно»[130].

Книга г-жи де Сталь о Германии явилась для Пушкина и его литературных соратников памятной вехой, обозначающей поворот литературы на новый путь—от классицизма к романтизму.

Обе посмертные книги г-жи де Сталь—«Размышления о революции», вышедшие в 1818 г., и «Десять лет изгнания», обнародованные в 1821 г.,—были запрещены в России. Появление в печати «Considérations sur la Révolution Française» было событием такой важности, что русские дипломаты считали нужным довести о нем до сведения своего правительства. В Архиве внешней политики сохранилось донесение от 7/19 августа 1818 г. кн. П. Б. Козловского, который уже известен нам своим знакомством с г-жой де Сталь и своей депешей о ней, отправленной царю. На этот раз Козловский пишет главе русского министерства иностранных дел, графу Каподистрии:

«Существует только двое слуг императора, которые могут говорить о последнем, столь нашумевшем, труде г-жи де Сталь. Эти лица имеют, притом, неоценимое преимущество знакомства и общения с автором в тот момент, когда она наносила на свой труд последние штрихи. Эти два лица—Поццо и я. Конечно, первый мог бы гораздо лучше меня дать вам его оценку, благодаря несравненной тонкости своего ума и подробнейшему знакомству со всеми деталями событий, которые описаны в этом труде, если бы только можно было положиться на беспристрастность его суждений в вопросах политики. Что касается лично меня, признающего более, чем кто бы то ни было, незаурядность этого человека во всем, что касается ума, тонкости и такта, я всё же не могу не думать о нем того, что говорил Монтескьё о Вольтере: в некоторых вопросах он не может служить авторитетом,—подобно члену религиозного ордена, он, когда пишет, всегда думает о своем ордене...».

Перед тем, как перейти к разбору книги г-жи де Сталь «Considérations sur la Révolution Française», Козловский считает нужным посвятить Каподистрию в свой разговор с г-жой де Сталь, происходивший 6 февраля 1817 г. «...В ее комнате находились г. Вуайе д'Аржансон, г. де Сен-Леон, маршал Мармон и Шлегель, который, разделяя целиком мои мнения, подкреплял меня в моей слабости своими учеными замечаниями во время происходившего спора. Г-жа Сталь прочла нам несколько отрывков из своей работы о Директории и некоторых английских деятелях, как, напр., Грей и Ландсдаун, и, зная мое глубочайшее почтение к последним, она имела любезность прибегнуть ко мне, как к свидетелю».

Г-жа де Сталь захотела поставить кн. Козловского свидетелем в очень остром вопросе: имеет или не имеет народ права на сопротивление власти? Иными словами, это был вопрос о том, имел ли французский народ право на революцию, о которой тогда писала г-жа де Сталь. Призывая Козловского в свидетели, г-жа де Сталь сказала ему: «...„Вы не русский, милый князь, вы—европеец; да и вообще, когда люди находятся на известной высоте, то в больших вопросах они понимают друг друга во всех странах и думают одинаково". Я взял на себя смелость протестовать против истины этого утверждения и настаивал, что, наоборот, в отношении статьи о противлении и непротивлении нет ничего обязательного, что всё зависит от местных условий—и по существу, и во взглядах. „Если бы я был англичанином,—сказал я,—я бы не считал, что мой христианский долг обязывает меня смотреть на высшую власть, как на дарованную от бога; но, будучи русским или австрийцем, я думаю

КНИГА Г-ЖИ ДЕ СТАЛЬ „ДЕСЯТЬ ЛЕТ ИЗГНАНИЯ“

Титульный лист первого издания, 1821 г.

DIX ANNEES

D'EXIL;

FRAGMENS D'UN OUVRAGE INÉDIT,

COMPOSÉ DANS LES ANNÉES 1810 A 1813.

BRUXELLES,

AUGUSTE WAHLEN ET COMPAGNIE.

M·DCCC.XXI.

иначе и верю, как в символ веры, что ни в коем случае не должен сопротивляться даже притеснениям власти. Это пристрастие к вашей вере, впрочем, вполне извинительное, сударыня, заставляет вас думать, что протестанты имеют перед католиками то преимущество, что они проповедуют против абсолютной покорности...“».

Русскому дипломату польской крови и европейского образования пришлось в споре с г-жой де Сталь ссылаться на авторитеты. «Я хотел было привести примеры из библии»,—говорит Козловский, но, решив, что «г-жа де Сталь придавала гораздо большее значение авторитету Гроциуса, чем библии», он сослался на этого прославленного публициста, «который был республиканцем и утверждал, что возмущение против власти противно религии». Ссылка эта вызвала недоверие г-жи де Сталь. «...Она просила меня,—сообщает Козловский,—послать ей на следующий день приведенное мною место с указанием страницы. Я послал его ей. Требуя, чтобы я показал это место, доказывающее, что протестанты, которые проповедывали бы сопротивление, перестали бы быть христианами, она, смеясь, сказала мне, что огорчена видеть в моем лице такого скверного придворного, так как если бы император [Александр I.—*С. Д.*] стоял за дверью, ему совсем не понравились бы те турецкие принципы, что я излагал. Я ответил ей в том же тоне, заявив, что, если у меня хватило мужества противоречить ей, она могла бы предположить, что его хватит и на то, чтобы не побояться противоречить императору, когда дело касается вопросов морали, в которых его мнение никак не может оказывать воздействия на мое».

Козловский переходит к политической оценке книги г-жи де Сталь. «... Г-жа де Сталь постоянно выводит на сцену этих людей [Неккера и Лафайета.—*С. Д.*], и нужно было знать им настоящую цену, чтобы не плениться красноречием писательницы, черпающей в страстной доброте своего сердца столько оснований выступать в защиту тех, кого она любит. С тем же пристрастием г-жа де Сталь говорит о Директории—этом правлении

пяти цареубийц, которое она имеет великодушие называть Республикой. Это, конечно, не значит, что у нее была к этим людям, покрытым кровью и грязью, такая же привязанность, основанная на нежной любви и общности некоторых принципов, как к Неккеру и Лафайету. Ее заблуждение в данном случае родилось из благодарности. Ей посчастливилось спасти нескольких изгнанников при посредстве членов Директории, в частности, Баррас оказал ей большую услугу с Талейраном, услугу, с которой впоследствии ей не пришлось себя поздравлять...».

«... Директория вторглась в Швейцарию. Тут г-жа де Сталь очутилась в затруднительном положении: нужно было либо помнить только об одних услугах, оказанных ей по человечеству некоторыми лицами из состава Директории, и предать забвению благородное и неудачливое сопротивление Швейцарии, являющейся ее первой родиной,—либо говорить о том, какое ужасное преступление это вторжение. И тут ее великодушное сердце подсказало ей выбор: она услышала грохот разрушения, раздавшийся в этих мирных горах, и она по справедливости забывает о своих жестоких благодетелях, потому что ее растроганная душа на стороне тех благородных, но простых существ, которые, будучи в числе 400 человек, считали, что уметь умирать—достаточная гарантия победы. Нарисованная ею картина захвата Швейцарии великолепна и может внушить лишь справедливое отвращение к тем, кто им руководил».

Дав политическую оценку книги г-жи де Сталь, которая могла быть принята в русском министерстве иностранных дел, Козловский перестает быть дипломатом, и в дальнейших суждениях его о г-же де Сталь мы узнаем приятеля П. А. Вяземского и будущего сотрудника пушкинского «Современника»: дипломатическое донесение превращается в остроумную хвалебную статью о г-же де Сталь.

«...Я не думаю, граф, и об этом следует сказать к чести женщин, чтобы мужчина, как бы гениален он ни был, мог написать такое сочинение... К глубине идей мыслителя, привыкшего иметь дело с самыми серьезными предметами, идей на вид совсем простых, но, по существу, чрезвычайно отвлеченных, присоединяется целый ряд тонких беглых наблюдений, собранных в большом свете, которые мужчина не сумел бы ни сделать, ни развить. Между тем, эти наблюдения исключительно важны при описании характеров, а следовательно, и для объяснения событий. Один только Вольтер, насколько мне известно, благодаря необычайной тонкости своего восприятия, обладал до некоторой степени этой способностью подмечать невидимые черточки характера и настроения, интимно знакомящие вас с человеком. Г-жа де Сталь имеет над Вольтером то преимущество, что она описывает только тех людей, которых знавала лично. Благоволите хотя бы сравнить портрет, нарисованный Вольтером с Карла XII, разрывающего своими шпорами платье великого визиря, подписавшего Прутский мир, и портрет, сделанный г-жой де Сталь с Наполеона, внезапно вскакивающего, когда Баррас пытается поколебать его решимость стать деспотом Франции. Кто, кроме женщины, сумел бы извлечь из волос Мирабо или из благородной бледности Грея способ запечатлеть этих людей в вашем воображении, как они уже запечатлены в ваших мыслях? Красоты такого рода, граф, обычно мало замечаются рядовыми читателями, но те, которые читали древних, знают, какую цену придавали им эти последние.

Я почел бы, что погрешил против питаемого мною чувства уважения к литературе, если бы не поставил на первое место в ряду похвал, которых заслуживает это произведение, заслуги быть написанным с таким чувством доброжелательности, что человек, прочитавший его с удовольствием, почувствует себя великодушнее, умиротвореннее, более способным прощать и жалеть, чем до прочтения его.

Наиболее яркую и, так сказать, действенную идею всей работы, умело развитую г-жой де Сталь, следует повторять и повторять: французская революция не является событием, которое можно датировать теми или иными годами последних сорока лет, или приписать тому или иному лицу. Кардинал Ришельё начал ее путем унижения дворянства. Людовик XIV подготовил ее своими честолюбивыми войнами и расстройством финансов. Регент деморализовал нацию личным примером и побудил ее искать успеха только в интригах и наслаждениях. Людовик XV своим бессилием и предоставлением власти неумелым рукам сделал революцию неизбежной. Таким образом, Людовик XVI вступил уже на пошатнувшийся трон... ...Другая мысль, к которой г-жа де Сталь часто возвращается, чтобы ее опровергнуть, имеет особое значение для истории наших дней. В наши дни люди, выдвинуться которым помогли их ошибки, несправедливости и злоупотребления, в качестве извинения всегда ссылаются на обстоятельства. Твердая решимость благородной и великодушной души тоже представляет собой обстоятельство, говорит г-жа де Сталь, и неизвестно, к каким оно приведет результатам. И действительно, когда задумаешься над событиями, рожденными гением Карла XII, Альберони, Фридриха и Бонапарта, невозможно не возлагать на великих людей ответственности как за их поступки, так и за всё то, что принятие иных решений могло предотвратить. Государственные люди несут эту историческую ответственность—таково требование справедливости, так как тот, кому выпадает наибольшая доля успеха, должен по той же причине, по крайней мере в общественном мнении, подвергаться риску быть обвиненным в неудачах и ошибках».

«... Вот мы, наконец, подходим к области литературного триумфа г-жи де Сталь; если доброта ее сердца и могла вводить ее в заблуждение, все те, которые были знакомы с ней, как я, знают, что ненависть не имела власти над ее душой. И как только появляется Наполеон, ее стиль становится столь же блестящим, сколь величественна и правдива ее манера живописать. Восхищение этой частью ее работы никогда не будет чрезмерным»[131].

Донесение кн. П. Б. Козловского изобличает в его авторе не столько строгого цензора, сколько увлеченного читателя книги г-жи де Сталь; читатель явно взывает к министру о том, чтобы книге г-жи де Сталь не был закрыт вход в Россию. Однако, «Размышления о революции» были запрещены, как и «Десять лет изгнания».

Цензурный запрет обеих посмертных книг г-жи де Сталь не остановил их распространения в России. Их чтение было опасною контрабандою, но контрабандистов, пренебрегающих опасностью, оказалось множество.

«Размышлениями о революции» зачитывался весь круг будущих декабристов. Через полвека после декабрьского восстания декабрист П. Н. Свистунов с благодарной признательностью заявлял: «Известно, что слово liberal употребила первая г-жа де Сталь в том значении, какое оно имеет теперь»[132].

Братья Тургеневы, Пушкин, Вяземский—для всех них «Размышления» г-жи де Сталь были учительной книгой о Французской революции и катехизисом освободительных идей.

Значение этой книги Вяземский попытался своевременно раскрыть даже в подцензурной печати. Он восхвалял живую изобразительность литературного стиля г-жи де Сталь в этой книге и, вместе с тем, подчеркивал ее историческую достоверность. «Часто по одному слову, по одному движению заставляет г-жа де Сталь отгадывать душу описываемого человека. Кто, прочтя ее творение, не согласится, что Мирабо недоставало добродетели, Наполеону—великодушия». Исключительная ценность книги г-жи де Сталь заключается, по мнению Вяземского, еще и в том, что высказывания г-жи де Сталь являются плодом ее жизненного опыта, а ее жизнь является служением ее идеям[133].

Из «Размышлений о революции» Пушкин взял эпиграф к четвертой главе «Евгения Онегина»: «La morale est dans la nature des choses». Эти слова у г-жи де Сталь ее отец говорит Мирабо: «Вы слишком умны, чтобы не признать рано или поздно, что нравственность—в природе вещей» (part II, ch. XX).

Еще более сильное впечатление на прогрессивных русских читателей 20-х годов XIX в. оставила посмертная книга г-жи де Сталь «Dix années d'exil». Даже Уваров, творец пресловутой формулы: «православие, самодержавие, народность», в предельный момент николаевской реакции, в 1851 г., в своем неизданном очерке «Г-жа де Сталь» не мог не воздать должного этой книге изгнанницы: «Никогда раньше,—говорит Уваров,—ее стиль не достигал такого изящества и простоты, ее наблюдения—такой находчивости, как в этом ее произведении, достоинство которого еще и в том, что в нем содержится чрезвычайно правдивое изображение характера и ума знаменитой беглянки и тех страданий, которые ей пришлось испытать. Несколько страниц, посвященных России, сверкают проницательностью и остроумием».

Проницательность, обнаруженная г-жой де Сталь, была так велика и так остра, что запрещенные царской цензурой «Dix années d'exil» сделались настольной книгой будущих декабристов и тех, кто примыкал к ним мыслью или чувством.

Высланный Александром I из Варшавы за либерализм и принужденный жить под тайным надзором полиции в подмосковном Остафьеве, П. А. Вяземский 12 октября 1821 г. (год выхода книги г-жи де Сталь) писал А. И. Тургеневу: «Читаю «Les dix années d'exil». Очень любопытно и занимательно и сродно для меня, ссылочного»[134].

Другой ссылочный, Пушкин, прочел «Dix années d'exil», повидимому, в 1822 г. Книга г-жи де Сталь произвела на поэта сильнейшее впечатление. Отсветы и отзвуки этого впечатления остались во многих произведениях Пушкина.

Первый и сильный отклик Пушкина на только-что прочтенную книгу г-жи де Сталь находим в его «Исторических замечаниях», помеченных 2 августа 1822 г. Эта политическая статья, резко критикующая придворно-петербургский период русской истории, проникнута духом левого декабризма, но в своем подтексте она, несомненно, опирается на записки г-жи де Сталь. Читатель, только-что прочитавший ее книгу об императорском Петербурге, читатель, взволнованный нарисованной картиной народного угнетения и вельможного чванства, чувствуется в каждой строке

пушкинской статьи. Конец же своей статьи Пушкин как бы поручил дописать г-же де Сталь. Он объявляет забавной шуткой ее знаменитые слова Александру I: «Votre caractère est une constitution pour votre empire», и он же заканчивает свою статью французской фразой: «En Russie le gouvernement est un despotisme mitigé par la strangulation». Эта фраза — не что иное, как сжатое résumé знаменитой филиппики г-жи де Сталь против деспотизма, вызванной созерцанием гробниц Петра III и Павла I в Петропавловском соборе[135].

Пушкин очень ценил изображение русского светского общества и правящей знати, данное г-жой де Сталь, и несколько раз возвращался к нему.

ФРОНТИСПИС И ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ БИОГРАФИИ Г-ЖИ ДЕ СТАЛЬ, НАПИСАННОЙ П. ГАББЕ, 1822 г.

В статье «О народном воспитании» (1826), не называя г-жи де Сталь, он пользуется ее замечаниями о поверхностности образования, получаемого дворянской молодежью, о том, что она, не закончив образования, торопится как можно ранее вступить на службу и т. д. Замечания г-жи де Сталь подобного рода были приведены выше. В статье «Путешествие из Москвы в Петербург» (1833) Пушкин приводит замечание г-жи де Сталь о дворянском характере русской литературы.

Свое общее суждение о «Dix années d'exil» Пушкин выразил в известной статье «О г-же Сталь и о г-не М—ве» (9 июня 1825 г.), вызванной полемическим нападением А. А. Муханова на г-жу де Сталь по поводу двух-трех страниц ее книги, посвященных описанию природы Финляндии.

Маленькая статейка М[ухано]ва—«Отрывки г-жи Сталь о Финляндии, с замечаниями»—была наивной безделкой. А. А. Муханов, приятель Вяземского и Баратынского, двоюродный брат декабриста П. А. Муханова, был романтическим почитателем природы Финляндии. Обидевшись на г-жу де Сталь за невнимание к ее сумрачным красотам, он выступил в их защиту.

Г-же де Сталь мало удавались описания природы, она сама не раз признавалась в том, что ее интересуют человек и общество, а не природа и ее красоты. Но Муханов имел неосторожность обронить замечание, которое можно было отнести не только к описанию финской природы, а ко всему путешествию г-жи де Сталь по России. Муханов упрекнул г-жу де Сталь в «ветренном легкомыслии», в «отсутствии наблюдательности», в «совершенном неведении местности, невольно поражающих читателей, знакомых с творениями автора книги о Германии». Он уподобил рассказ г-жи де Сталь «пошлому пустомельству тех щепетильных французиков, которые немного времени тому назад, являясь со скудным запасом сведений и богатыми надеждами в Россию, так радостно принимались щедрыми и подчас неуместно добродушными нашими соотечественниками (только по образу мыслей не нашими современниками)».

Если бы все эти замечания Муханова были справедливы, то всё, что открывает г-жа де Сталь в своей книге о России, оказалось бы так же недостоверно, как то, что она пишет о финляндских скалах и озерах. Этот вывод, если бы он имел основания, уничтожил бы всю фактическую достоверность и всю политическую значимость тех суждений о русском народе, об аристократии, о правящем Петербурге, которые высказала в своей книге г-жа де Сталь. Распространительное толкование заметки Муханова о недостоверности показаний г-жи де Сталь было бы на-руку реакционерам, запретившим книгу г-жи де Сталь.

И Пушкин из глуши Михайловского, укрывшись за псевдонимом «Ст[арый] Ар[замасец]», счел политическим, а не только литературным долгом напасть на Муханова в самом либеральном из журналов—в «Московском Телеграфе», который всегда интересовался г-жой де Сталь и охотно много печатал о ней[136].

«Что за слог и что за тон!—восклицал Пушкин, выписав приведенные замечания Муханова.—Какое сношение имеют две страницы записок с «Дельфиною», «Коринною», «Взглядом на французскую революцию» и пр., и что есть общего между «щепетильными (?) французиками» и дочерью Неккера, гонимою Наполеоном и покровительствуемою великодушием русского императора!».

Статья Пушкина была написана 9 июня 1825 г., а 13 июля он писал о ней Вяземскому: «Тут есть одно Великодушие, поставленное, во-первых, ради цензуры, а, во-вторых, для вящшего анонима».

В противоположность Муханову, Пушкин, давая самую высокую оценку книге г-жи де Сталь, направлял на нее внимание русских читателей, подчеркивая проницательность ее автора и правдивость его показаний.

«Из всех сочинений г-жи Сталь книга: «Десятилетнее изгнание» должна была преимущественно обратить на себя внимание русских. Взгляд быстрый и проницательный, замечания разительные по своей новости и истине, благодарность и доброжелательство, водившие пером сочинительницы—все приносит честь уму и чувствам необыкновенной женщины. Вот что сказано об ней в одной рукописи: „Читая ее книгу Dix années d'exil, можно

видеть ясно, что, тронутая ласковым приемом русских бояр, она не высказала всего, что бросалось ей в глаза. Не смею в том укорять красноречивую, благородную чужеземку, которая первая отдала полную справедливость русскому народу, вечному предмету невежественной клеветы писателей иностранных“».

Что это за русский автор, из рукописи которого Пушкин приводит суждение о г-же де Сталь? Со времени напечатания статьи Пушкина прошло 113 лет. Бесчисленное количество рукописей современников Пушкина стало достоянием науки, но ни в чьих записках, дневниках, письмах не отыскалось доселе это место, цитированное Пушкиным. Вряд ли могут быть сомнения, что оно принадлежит самому Пушкину. Есть вероятие, что это отрывок из сожженного им после 24 декабря дневника, но скорее можно думать, что эта цитата сочинена Пушкиным нарочито для его статьи: по мысли, тону и слогу она решительно ничем не выделяется из контекста статьи. Эта мнимая цитата является (наряду с псевдонимом и с нарочитой вставкой о великодушии Александра I) одним из способов маскировки, которая нужна была ссылочному поэту, чтобы выразить и напечатать то, что он хотел, о г-же де Сталь.

А именно в цитате Пушкин и выразил главную свою мысль о «Dix années d'exil». Мысль эта такова. В своей книге г-жа де Сталь «не высказала всего, что ей бросилось в глаза», наблюдая большое общество петербургское, т. е. двор, знать, правительство; если бы она высказала в с ё,— таково естественное завершение мысли Пушкина,—картина, начертанная ею, была бы еще более безотрадна и мрачна. И наоборот, г-жа де Сталь «первая отдала полную справедливость русскому народу». Пушкин как бы подчеркивает—п о л н у ю; если о царе и знати г-жа де Сталь говорит печальную полуправду, огораживая и смягчая многое, то, говоря о величии русского народа, о его героической борьбе за свободу, родину, знаменитая писательница говорит п о л н у ю п р а в д у.

Книге г-жи де Сталь Пушкин своей статьей придал всю полноту политического значения и всю достоверность исторического сказания.

Приятель Муханова и знакомец Пушкина, Н. В. Путята, привлекавшийся к следствию по делу декабристов, соглашаясь с частными замечаниями о финляндской природе, писал автору неудачного нападения на г-жу де Сталь: «Я согласен с его [Пушкина] мнением. Не любя вообще, по какому-то предубеждению, женщин писательниц, исключаю из этого числа г-жу де Сталь, которая в сочинениях своих возвысилась над обыкновенным кругом деятельности и ума женского, обращающегося в тесной сфере наблюдений над характерами и мелочными пружинами, двигающими светское общество, и, отбросив равно приторную плаксивость и притворную любовь к природе многих из них, силою своих мыслей и глубиной чувств стала наряду с величайшими мужами нашего века»[137].

Путята почти повторяет слова Вяземского, высказанные о г-же де Сталь еще в 1822 г.: «Г-жа Сталь первая из женщин писала мужественным пером, и, не довольствуясь очаровывать воображение и растрагивать сердца, она хотела владычествовать над рассудком и успела похитить господство, обыкновенно отказываемое писателям ее пола»[138].

Эти слова высказаны Вяземским по поводу книги, одно появление которой лучше множества других фактов свидетельствует о том уважении и влиянии, которыми пользовалась г-жа де Сталь в кругах русской интеллигенции 20-х годов, породивших декабристское движение 1825 г. Эта

книга — «Биографическое похвальное слово г-же Сталь-Гольштейн», вышедшая в Петербурге в 1822 г. О писательнице г-же де Сталь автор «Похвального слова» говорил так, как старые витии говорили о монархинях,— с такой же высокой почтительностью: «Одним из незабвенных феноменов нашего времени было появление на поприще Писателей Жены великой своим гением, прекрасной своею душою!».

П. А. Вяземский приветствовал «Похвальное слово» особой статьей, в которой, давая лестную оценку сочинению, приподнимал завесу над его автором: «Сочинение, одушевленное занимательностию европейскою, и имеющее целию воздать дань признательности и уважения к Писательнице знаменитой и едва ли не первое место занимавшей посреди современников, есть явление утешительное и заслуживающее поощрительное внимание. Еще новое приобретает оно право на уважение наше, когда узнаем, что настоящим сочинением обязаны мы досугам молодого офицера, умеющего, при тяжких повинностях деятельности воинской, уделять часы на полезные труды деятельности умственной и душевной»[139].

В письме к А. И. Тургеневу (15 мая 1822 г.) Вяземский, рекомендуя его вниманию «Похвальное слово», назвал имя автора: «Габбе, литовской гвардии офицер, который в Варшаве, при звуке барабанного и палочного боя, пишет о г-же Сталь, удивительнее Невтона!»[140].

П. А. Габбе (1796—ум. после 1833), штабс-капитан лейб-гвардии Литовского полка, был лично известен цесаревичу Константину Павловичу, но своим заступничеством за солдат и прогрессивным образом мыслей заслужил его гнев. В тот самый год, когда он писал свою восторженную хвалу г-же де Сталь, над ним был учрежден тайный полицейский надзор, а в 1823 г. «за дерзкие суждения о высших себя в чине и даже о начальниках своих» Габбе был разжалован в солдаты. Вновь получив офицерский чин, он был заподозрен в сочувствии декабристам (его брат, полковник М. А. Габбе, привлекался по делу декабристов) и был в 1826 г. уволен в отставку с запрещением жить в Петербурге, Москве и Варшаве. Габбе иногда появлялся тайно в Москве у Вяземского, который познакомил его с Пушкиным. В 1833 г. Николай I разрешил Габбе уехать за границу, но с тем, чтобы впредь не въезжать в Россию ни под своим, ни под чужим именем[141].

Из этой полудекабристской биографии прекрасно вырисовывается облик писателя, который осмелился в эпоху аракчеевщины произнести похвальное слово в честь верной сторонницы принципов 1789 г.

Писатель Габбе никому не известен. Пушкин известен всем. Но оба они, один—восхваляя, другой—защищая г-жу де Сталь, превосходно выразили мнение своего поколения о знаменитой изгнаннице. Это было общее мнение всех, кто в России 20-х годов стоял за свободное развитие своей страны и просвещение своего народа.

Пушкин еще раз вернулся к г-же де Сталь в своем отрывке «Рославлев» (1831). Вместо рассуждений о г-же де Сталь, он представил здесь ее живой образ, исполненный внутренней правды и исторической достоверности. Пушкин представил г-жу де Сталь в ее повседневном столкновении с пустым и пошлым обществом, окружавшим ее в гостиных Москвы. Подтекстом любого живописного мазка Пушкина здесь могут служить десятки страниц из книги г-жи де Сталь о Германии, о России, о Франции эпохи Реставрации. Страница Пушкина, рисующая появление г-жи де Сталь на званом обеде в московском барском доме, кажется отрывком из «Десяти лет изгнания».

Пушкину свойственно проникать в дух, тон, стиль всех эпох и всех народов. Но нигде, быть может, это его свойство не обнаружено с такой разительностью, как в той французской записке, которую г-жа де Сталь его отрывка посылает Полине, негодующей на тупость и чванство московских бар:

Г-ЖА ДЕ СТАЛЬ

Рисунок Изабэ 1817 г., сделанный художником вскоре после смерти г-жи де Сталь по собственным его зарисовкам с натуры

Эпинальский музей, Франция

«Ma chère enfant, je suis toute malade. Se serait bien aimable à vous de venir me ranimer. Tâchez de l'obtenir de M-me votre mère et veuillez lui présenter les respects de votre amie».

Стоит вспомнить приведенные в этой статье записки г-жи де Сталь к Уварову или к Сухтеленам, чтобы сказать: это—слог, тон, манера г-жи де Сталь. Пушкин, можно думать, не читал ни одной из ее подлинных записок, но он угадал, как должна писать знаменитая изгнанница к русским, подарившим ее вниманием или гостеприимством. Полине, героине «Рославлева», Пушкин вложил замечательные слова: «Пускай,—пускай она [г-жа де Сталь] вывезет об этой светской черни мнение, которого они до-

стойны. По крайней мере она видела наш добрый, простой народ и понимает его. Ты слышала, что сказала она этому старому несносному шуту, который из угождения к иностранцам вздумал было смеяться над русскими бородами: „Народ, который, тому сто лет, отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову“».

Противопоставляя высокое мнение г-жи де Сталь о русском народе издевательскому суждению «несносного шута» из «светской черни», Пушкин от лица всего своего поколения присоединился и к этому презрению, питаемому г-жой де Сталь к «светской черни», правящей Россией, и к этому преклонению перед величием русского народа.

Когда Пушкин узнал в 1825 г. от Вяземского имя автора статьи, направленной против г-жи де Сталь, он с жаром и силой отвечал Вяземскому: «M-me de Staël наша, не тронь ее».

Рукою Пушкина эти слова написало одно из самых славных поколений в русской истории—поколение декабристов.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Е. В. Тарле, Наполеон, изд. Жургаза, М., 1936, 300.

[2] А. А. Васильчиков, Семейство Разумовских, СПб. 1882, III, 465.

[3] Ibid., 122, 124.

[4] «Архив кн. Воронцова» (бумаги гр. С. Р. Воронцова), М., 1876, X, 62—63.

[5] M. Bignon, Histoire de France sous Napoléon, éd. Firmin Didot, P., 1838, X, 120.

[6] А. А. Васильчиков, op. cit., СПб. 1887, IV, 418, 419, 428.

[7] А. И. Рибопьер, гр., Записки, с предисловием и примечаниями А. А. Васильчикова.—«Русский Архив», 1877, апрель, 489, 490.

[8] S. Ouvaroff, Tablettes d'un voyageur russe. 1807. Неизданная рукопись.—Исторический музей, Москва.

[9] Саксен-Тешенский Альберт, герцог (1738—1822), сын польского короля Августа III, муж эрцгерцогини Марии-Христины, наместницы в австрийских Нидерландах, после занятия их французами поселился в Вене и занялся коллекционированием предметов искусства. Fries Мориц (1777—1825), банкир, был обладателем картинной галлереи (Рафаэль, Ван-Дейк, Рембрандт, Дюрер и др.) и библиотеки в 16 000 томов.

[10] Degen Иосиф (1763—1827)—известный венский издатель и книгопродавец, славившийся роскошными изданиями и широкой торговлей французскими книгами.

[11] А. Сорель, Госпожа де Сталь, изд. журнала «Пантеон Литературы», СПб. 1892, 51, 55—56.

[12] Софья В—штейн, Госпожа де Сталь.—«Вестник Европы», 1900, кн. 10, 440.

[13] Ibid., 451—453.

[14] [Lenormant], Coppet et Weimar. Madame de Staël et la grande duchesse Louise, éd. Michel Lévy, P., 1862, 115, 116, 119.

[15] Ibid., 128, 129.

[16] Ibid., 134.

[17] Staël de, De l'Allemagne. Avec une préface par X. Marmier, 1876, 65, 69.

[18] A. La Garde, comte de, Fêtes et souvenirs du Congrès de Vienne, P., 1843, I, 267—268.

[19] «Биографическое известие».—«Русский Архив», 1871, кн. 12, 2104.

[20] «Архив братьев Тургеневых», СПб. 1911, I, 394, 414.

[21] Ibid., II, 412, 416, 421.

[22] А. А. Васильчиков, op. cit., II, 145.

[23] Esterhazy von Galantha Николай, князь (1765—1833)—генерал-фельдцейхмейстер австрийской армии, знатнейший из венгерских магнатов. Он был женат на княжне Жозефине Лихтенштейн. Harrach von Карл-Баромей, граф (1761—1829), в 1803 г., получив степень доктора медицины, занялся практикой среди беднейшего населения и во время войн 1805 и 1809 гг. работал в лазаретах.

[24] Princesse de Lorraine, comtesse de Brionne Жюли-Констанс, урожденная Роган-Рошфор—вдова кн. Шарля-Луи, занимавшего одну из первых придворных должностей Франции (grand écuyer de France).

[25] Cléry (Cant-Hanet) Жан-Батист (1759—1809)—камердинер Людовика XVI, бывший при нем в Тампле вплоть до казни короля; после 9-го термидора эмигрировал.

[26] А. В. Храповицкий, Памятные записки, с примечаниями Г. Н. Геннади, М., 1862, 25, 64, 124, 128, 147, 168, 258 и др.

[27] Примечания А. А. Васильчикова к запискам гр. А. И. Рибопьера.—«Русский Архив», 1877, кн. 4, 490.

[28] S. Ouvaroff, Madame de Staël. Неизданная рукопись 1851 г.—Исторический музей, Москва.

[29] Письма графини Ромбек в архиве гр. С. С. Уварова (неизданные).—Исторический музей, Москва.

[30] Христина—старшая дочь кн. де Линя, бывшая замужем за кн. Иоганном-Непомуком Клари (Clary et Aldringen). Титина—внучка кн. де Линя, незаконная дочь его старшего сына, воспитывавшаяся у тетки и вышедшая впоследствии за графа Морица О'Доннеля.

[31] Jean Mistler, Madame de Staël et Maurice O'Donnel. 1805—1817, d'après des lettres inédites, éd. Calmann-Lévy, P., 1926, 31. Далее цитируется кратко—Mistler.

[32] Mistler, 47.

[33] Collin von Генрих-Иосиф (1772—1811)—драматург, автор трагедий в строгом духе французского классицизма («Regulus», «Coriolan», «Polyxene» etc.).

[34] Лихтенштейн Иоганн, князь—фельдмаршал австрийской армии, был женат на графине Жозефине-Софии Фюрстенберг.

[35] Шварценберг Паулина, княгиня—жена кн. Иосифа Шварценберга, урожденная княжна Аренберг, сгорела, спасая своих детей, 2 июля 1810 г. при пожаре австрийского посольства в Париже, произошедшего во время бала, устроенного послом кн. Карлом Шварценбергом по случаю свадьбы Наполеона с эрцгерцогиней Марией-Луизой.

[36] Врбна фон Фрейденталь Флора, графиня (1779—1857)—жена гр. Евгения Врбна, была двоюродной сестрой гр. Меттерниха по матери; славилась необыкновенной красотой.

[37] Потоцкая—известная Софья Главоне (la belle Phanariote, 1766—1822), бывшая в первом браке за Иосифом Виттом, а во втором за гр. Феликсом (Щенсным) Потоцким (1752—1805), маршалком Тарговицкой конфедерации, впоследствии генералом-от-инфантерии русской службы.

[38] Замойская Софья, графиня—младшая сестра кн. Адама Чарторыйского, бывшая с 1798 г. замужем за гр. Станиславом Замойским, председателем Польского сената.

[39] Сталь де Альберт, второй сын писательницы, был помещен в Вене в военное училище; в 1812 г. сопутствовал ей в путешествии через Россию в Швецию, где был адъютантом при наследном принце Бернадоте; в 1813 г. убит на дуэли в Германии.

[40] Сталь де Альбертина (1797—1836)—единственная дочь писательницы и сама писательница; с 1816 г. замужем за политическим деятелем герцогом de Broglie (Achille-Charles-Victor, 1785—1870).

[41] Sismondi Жан-Шарль-Леонар де (1773—1842)—известный историк, автор «Истории итальянских республик в Средние века», 1807—1818, 16 томов, и многотомной «Истории французов». Новейшая работа об отношениях г-жи де Сталь и Сисмонди—Jean de Salis, M-me de Staël et Sismondi.—«Occident et Cahiers Staëliens», 1931, № 2 et 3/4.

[42] Сочинение А.-В. Шлегеля «Comparaison entre la «Phèdre» de Racine et celle d'Euripide», написанное во время его пребывания в доме г-жи де Сталь во Франции до ее высылки, было издано в 1807 г. Сочинение это навлекло на Шлегеля неудовольствие всех сторонников французского классицизма, вплоть до Наполеона.

[43] Уваров цитирует басню Лафонтена: «Les femmes et le secret».

[44] Pozzo di Borgo Шарль-Андре (1768—1842)—земляк Бонапарта по Корсике, был его личным врагом еще с корсиканских времен: Наполеон приписывал стараниям Поццо изгнание семьи Бонапартов с родного острова в первые годы революции. Поццо, представлявший в 1789 г. в Генеральные штаты петиции корсиканцев, в свою очередь, был присужден к изгнанию с Корсики, бежал в Англию, и с тех пор делом всей его жизни стала борьба с Бонапартом. В июне 1804 г., разуверившись в австрийцах, он при содействии Разумовского перешел на русскую службу. После Тильзита Поццо вышел в отставку, опасаясь, что Наполеон потребует от Александра I его выдачи. Отставка была дана, но, живя в Вене частным лицом, Поццо развивал такую антинаполеоновскую деятельность, что Наполеон, действительно, потребовал в конце 1808 г. выдачи Поццо уже не от русского, а от австрийского двора. Поццо пришлось перекочевать в Лондон. Впоследствии граф (с 1826 г.), Поццо ди Борго был многолетним (1814—1835) русским послом в Париже.

[45] Gentz Фридрих (1764—1832)—«ученик Канта, некогда горячий поклонник навеянных на Европу Французской революцией вольнолюбивых стремлений, он успел давно уже отречься от юношеских своих заблуждений, и борзое перо его, едко нападавшее на Францию и весь строй республиканских идей, было уже известно в те времена всей Европе. Разумовский вошел с ним в близкие сношения, заказывал ему разные записки политического содержания и статьи, направленные против Франции. Первые русский посол препровождал в Петербург, вторые помещал в разных периодических изданиях с целью повлиять на общественное мнение. При бездне познаний, при неимоверно легкой восприимчивости и увлекательном красноречии, фон Гентц отменно обладал новыми языками и с равной легкостью изъяснялся и писал по-французски и по-немецки. Он был эпикурейцем в душе, страстным поклонником прекрасного пола, игроком и мотом. Он вечно нуждался в деньгах. Перо свое он предлагал самому высокому плательщику, с непременным, однако, условием писать против Франции и вводимого ею нового строя идей».—Васильчиков, op. cit., III, 457—458.

[46] А. В. Храповицкий, op. cit., М., 1862, 209—230, 278.

[47] К. Осипов, Суворов, М., 1938, 319—320.

[48] Arenberg Огюст-Мари-Рэмон, князь (1753—1833), был более известен под именем графа де Ла Марка; участник войны за освобождение американских колоний, он был депутатом от дворянства в Генеральных штатах 1789 г. Друг Мирабо, он оставил Францию в 1793 г. и поступил на австрийскую службу. Аренберг был также в числе лиц, близких к герцогу Орлеанскому (Philippe Egalité). В неизданном дневнике Уварова находим такой след его бесед с д'Аренбергом: «Ответ Людовика XV герцогу Шуазёлю на его вопрос о Железной маске: „Если бы вам стал известен этот секрет, вы были бы поражены его малозначительностью" (рассказано мне кн. Августом д'Аренбергом, графом де Ла Марк)».

[49] [Lenormant], op. cit., 116, 117.

[50] Staël de, De l'Allemagne, P., 1876, 407—409.

[51] Haydn Иосиф (1732—1809)—«отец современной инструментальной музыки», в 1808 г. доживал последние месяцы жизни и скончался в следующем же году. О Гайдне есть две любопытные записи в дневнике Уварова: «Знаменитый Гайдн давно уже состоит на службе при семье Эстергази. Современный представитель этого рода недостаточно ценит его. Гайдн почти постоянно живет в Эйзенштадте. Жалованья, которое ему выдается, с трудом хватает для удовлетворения его минимальных потребностей, так что княгиня принуждена выплачивать ему дополнительную пенсию из своих личных карманных денег. Как-то в Париже князя Эстергази приветствовали с тем счастием, что у него служит такой великий артист, как Гайдн. «Но позвольте, у меня их трое!»—отвечал князь, имея в виду, что два брата Гайдна, очень посредственные музыканты, тоже состояли в его капелле. Мне еще не пришлось видеть Гайдна; говорят, он впал в детство. Всеобщее равнодушие к искусству достигает здесь своего предела...». «В течение десяти лет всякий раз, когда кн. Эстергази жил в Эйзенштадте, его загородном замке, Гайдн, бессмертный Гайдн, в ливрее дирижировал оркестром во время обеда! Принц Август Английский добился того, что Гайдна пригласили к столу. Это было в первый раз, что его так почтили. Povera gente!».

[52] [Lenormant], op. cit., 130—131—письмо к г-же Рекамье из Вены, май 1808 г.

[53] Архив гр. С. С. Уварова.—Исторический музей, Москва. О спектакле у гр. Замойской с участием г-жи де Сталь, о котором идет речь в письме, см. ниже в тексте—это первое представление «Агари». Комедия Александра Дюваля «Юность Генриха V» («La jeunesse d'Henri V»), в которой г-жа де Сталь играла вместе с Уваровым, была последней новинкой «Théâtre Français», представленной в 1806 г.

[54] Mistler, 41, 42.

[55] «Ученые женщины» Мольера, в переводе Д. Д. Минаева.

[56] О представлении «Ученых женщин» граф Цинцендорф оставил в своем дневнике следующий рассказ: «В 6 часов (11 мая 1808 г.) во дворце кн. Лихтенштейна. Я занял первое место на галлерее и прекрасно оттуда видел прелестную игру, благородную осанку, изящную веселость Полины Шварценберг. Кризаль—граф Людвиг Кобенцль, хорошо загримированный и превосходно играющий. Филаминта, его жена,—г-жа де Сталь, хорошо причесанная, плохо одетая, в какой-то желтой кацавейке, с видом, как всегда, вульгарным и со скверными манерами. Арманда, старшая дочь Филаминты,—Полина Шварценберг; несомненно, ее розовая одежда тоже была кацавейкой, но она очень шла к княгине, прическа—современная; очаровательная, естественная прелесть, никакой аффектации. Генриэтта, вторая дочь,—Флора Врбна, красиво одетая, играла очень весело и изящно, но была скверно причесана, повидимому, к стилю костюма. Арист, брат Кризаля,—Сисмонди, хорошо костюмированный, с тросточкой в руках, играл хорошо, с швейцарским акцентом.

Клитандр, любовник Генриэтты,—Мориц О'Доннель, хорошо костюмированный, играл хорошо... Триссотен, остроумец,—г. Уваров, хорошо...».—Mistler, 57.

[57] [Lenormant], op. cit., 115.

[58] Тюфякин Петр Иванович, князь (1769—1845) подвергся опале при Павле I и потому мечтал о карьере при Александре I. Обманувшись в расчете, он удалился за границу и жил там в легкой фронде против Петербурга. Тюфякин был завсегдатаем венских, а потом парижских театров; этого было достаточно, чтобы в 1812 г. его назначили вице-директором, а потом и директором петербургских императорских театров. Это назначение покончило с фрондой Тюфякина.

[59] Багратион Екатерина Павловна, княгиня, урожденная Скавронская (1782—1857), приходилась внучатной племянницей кн. Потемкину-Таврическому и была женою знаменитого суворовского генерала кн. П. И. Багратиона, будущего героя Бородина. Разъехавшись с мужем, княгиня блистала в венском обществе красотой и едким умом. В ее гостиной первенствовал Меттерних, от которого она имела дочь.

[60] [Lenormant], op. cit., 117, 128.

[61] Staël de, De l'Allemagne, P., 1876, 69.

[62] Barante де Брюжьер Проспер, барон (1782—1866)—ему принадлежит многотомная «Histoire des ducs de Bourgogne». 1824—1826, 13 vols., отрывки—в «Московском Телеграфе», 1825. Его работы по истории и истории литературы собраны в издании «Mélanges historiques et littéraires», 1835, 3 vols. Занимавший видные места при Наполеоне, Барант еще более пошел в гору при Реставрации: в 1819 г. он был сделан пэром Франции, в 1830—1835 гг. был посланником в Турине, а с сентября 1835 г. по август 1841 г.—послом в Петербурге. Пушкин, по просьбе Баранта, составил записку о правах литературной собственности в России.

[63] Архив гр. С. С. Уварова. Неизданные письма г-жи де Сталь к Уварову.—Исторический музей, Москва.

[64] На обороте письма имеется надпись рукою г-жи де Сталь: «Графу Уварову». Это ошибка: графский титул Уваров получил лишь в 1846 г.

[65] Palffy Евфемия, графиня (1773—1831)—средняя дочь кн. де Линя, бывшая замужем за гр. Иоганном Пальфи фон Эрдёд (Palffy von Erdœd).

[66] «Архив братьев Тургеневых», II, 443.

[67] Mistler, 41.

[68] Потоцкая Анна, графиня—жена графа Северина Осиповича Потоцкого (1762—1829). Личный друг Александра I с лет его юности, участник интимного конституционного кружка первых лет его царствования, граф Северин был в 1808 г. сенатором и попечителем Харьковского учебного округа. Графиня Анна, по рождению княжна Сапега, а по первому мужу княгиня Сангушко, не разделявшая русских симпатий своего мужа, предпочитала жить в Польше, а еще больше в Вене, этой столице польской аристократии. «Г-жа Северин Потоцкая оставила во мне воспоминание, как об одной из очаровательнейших женщин, какую я когда-либо знала»,—писала г-жа де Сталь о Потоцкой. Ее участие в визите г-жи де Сталь и кн. де Линя к больному Уварову хорошо рисует тот светский успех, которым баловали Уварова дамы высшего венского общества; одна из этих дам, графиня Лулу Тюрхгейм, называла его «любимцем (coqueluche) всех красивых женщин».—Mistler, 24, 39.

[69] Kasperle—в своем венском дневнике Уваров отметил: «Театр, который в просторечии называют Casperle,—любимое зрелище у венцев, там играют фарсы на венском наречии. Любовь к этим буффонадам распространена даже в высшем обществе: венские франты (les incroyables) и элегантные женщины знают наизусть целые тирады и сцены, которые они с восторгом декламируют. У каждой страны свои особые оттенки».

[70] Rocca Альбер-Жан-Мишель—обычно звался John Rocca (1788—1818)—женевец, родом из пьемонтских выходцев, участвовал в 1808 и 1809 гг. в испанском походе. Тяжело раненый, он вернулся осенью 1810 г. в Женеву, познакомился с г-жой де Сталь и страстно полюбил ее. Последствием возникшей между ними связи было рождение в 1812 г. мальчика, который был под чужим именем отдан на воспитание посторонним людям. Эта связь была оформлена браком лишь 10 октября 1816 г.—см. Pierre Kohler, M-me de Staël et la Suisse, éd. Payot, Lausanne—Paris, 1916, 165.

[71] Mistler, 88, 92. Дальнейшие цитаты из писем г-жи де Сталь к О'Доннелю взяты со стр. 144, 226, 230—233, 245.

[72] «Разговор молодого барона Августа Сталя с Наполеоном в Шамбери» (из 7-й гл. VIII части записок Бурьенна).—«Московский Телеграф», 1830, ч. 33, № 12, 442—454.

[73] С. В—штейн, op. cit., 454—456.

[74] Staël de, Dix années d'exil. Edition nouvelle par Paul Gautier, Plon, P., 1904, 239, 240. Далее это издание цитируется кратко: «Dix années d'exil» или в ссылках в тексте: «Ann. d'ex.».

[75] Сорель, op. cit., 94.

[76] J.-B. Galiffe, D'un siècle à l'autre, Genève, 1878, II, 312.

[77] А. Н. Попов, Москва в 1812 году (по новооткрытым бумагам).—«Русский Архив», 1875, II, 400. А. Я. Булгаков писал 23 июля 1812 г. к брату К. Я. в Петербург: «Вчера посылал меня граф к приехавшей сюда Mad. Staël-Holstein. О тебе спрашивала. Elle va à Pétersbourg».—«Русский Архив», 1900, II, 29.

[78] «Частные письма 1812 года».—«Русский Архив», 1872, 2388. В числе лиц, с которыми виделась г-жа де Сталь в 1812 г. в Москве, следует упомянуть ее соотечественника и давнишнего знакомого Фердинанда Кристина (Ferdinand Christin, 1763—1837). Кристин, бывший во время революции одним из агентов для сношений эмигрантов с Людовиком XVI, уехал потом из Франции и в 1794 г. оказался в Петербурге; пользуясь покровительством А. И. Моркова, он в 1796 г. поступил на службу в коллегию иностранных дел. Впоследствии, когда Морков был русским посланником в Париже, Кристин состоял при посольстве в качестве секретного агента. Заподозренный первым консулом в участии в заговорах против него, Кристин был в 1803 г. арестован и пробыл в заключении до начала 1805 г. Вернувшись после этого в Россию, он не получил никакого нового назначения и, в конце концов, поселился в Москве, где и провел остаток своей жизни.

В письме от 23 июля 1812 г. Кристин писал гр. А. И. Моркову:

«Г-жа де Сталь уверяет меня, что уже два года тому назад никто во Франции не сомневался в том, что возникнет эта война; уже с прошлого года настроения в этом смысле были настолько явными, что нельзя поверить, чтобы здесь могли ласкать себя надеждою ее избежать. Я ей сказал: — Мы очень считались с Наполеоном, чтобы не подать ему предлога напасть на нас. Она мне ответила:—Вы еще все верите тому, что ему нужен предлог; уже 13 лет он доказывает всей Европе, что при помощи падежей, имен существительных и глаголов создаются фразы, которые годны для всякого употребления; тем хуже для тех, кто придает им значение,—уверяю вас, сам он не придает им никакого».—«Вестник Европы», 1896, декабрь, 571.

В письме от 2 августа 1817 г. тот же Кристин писал своей постоянной корреспондентке, княжне В. И. Туркестановой:

«Я не знал о смерти г-жи де Сталь и очень огорчен, хотя был подготовлен к этому последними полученными о ней известиями. Увы, какие тяжелые часы должна она была перенести во время своей долгой болезни. Она больше всего на свете боялась смерти. Она жила только ради двух страстей, крайне обманчивых и та и другая,— любви и тщеславия. Первая увлекала ее всегда за пределы допускаемого, второе заставляло страдать от справедливой критики общества. Ее страсть писать книги причинила ей также не мало огорчений, и журналы со своими рецензиями являлись для нее орудиями пытки и заставляли очень дорого оплачивать наслаждение от успеха. Но ничто не могло ее удержать,—у нее была непреодолимая потребность высказывать свои мысли и выявлять свой действительно исключительный ум. Вообще, конечно, она была женщиной незаурядной—она была полна души, и эта душа чувствовалась даже в самой незначительной ее записке. У меня много ее писем. На этих днях я перечту их, чтобы сжечь всё то, что не должно быть сохранено, но это будет очень тяжелой для меня обязанностью: есть воспоминания, к которым лучше не возвращаться».—«Ferdinand Christin et la princesse Tourkestanow», Moscou, 1888, 628, 629.

Судьба писем г-жи де Сталь к Кристину неизвестна.

[79] См., напр., еще А. Н. Попов, op. cit., 400. На пути из Москвы в Петербург, на одной из станций, г-жа де Сталь встретила помощника московского почт-директора, Д. П. Рунича, который в своих записках рассказал об этой встрече: «После первых приветствий она обратилась ко мне с обычным в то время вопросом: «Что знают о Наполеоне и где он находится?». И когда я ответил, что трудно определить, где он, что он везде и нигде, г-жа Сталь сказала: «Ах, милостивый государь, доныне он доказал справедливость первого, императору Александру выпало на долю доказать второе». Она сказала мне, как русскому, таким образом, приятный комплимент, и, вместе с тем, слова ее оказались пророческими».—«Русская Старина», 1901, № 3, 598, 599.

[80] «Dix années d'exil», 331. Пушкин, в статье «Путешествие из Москвы в Петербург» (1834), сослался на г-жу де Сталь в доказательство своей мысли о дворянском характере русской литературы: «У нас, как заметила M-me de Staël, словесностью занимались большею частью дворяне» («En Russie quelques gentilshommes se sont occupés de littérature», —цитирует он не совсем точно,—у г-жи де Сталь сказано: «Quelques gentilshommes russes ont essayé de briller en littérature»).

[81] К. Н. Батюшков писал 9 августа 1812 г. к своей сестре: «Я видел недавно славную сочинительницу «Коринны» и «Дельфины», мадам Сталь, с которой провел целый вечер у графини Строгановой; она едет в Америку. У ней дочь красавица, а она одевается на манер Линеманши [Липманши?]. Дурна, как чорт, и умна, как ангел». См. К. Н. Батюшков, Сочинения, под ред. Л. Н. Майкова, СПб. 1885, III, 198. Батюшков был хорошо знаком не только с романами г-жи де Сталь, но и с ее книгой «De l'Allemagne». Большую цитату из этой книги см. II, 122.

[82] Девять писем г-жи де Сталь к семье Сухтелен хранятся в Публичной библиотеке, Ленинград; десятое письмо—из собрания Новиковой—в Институте литературы Академии наук СССР, Ленинград (№ 3 в нашей публикации).

[83] Нарышкин Александр Львович (1760—1826)—обер-камергер, главный директор театров. О празднике, устроенном им в своем загородном доме для г-жи де Сталь, см. «Dix années d'exil», 341—345.

[84] Орлов Владимир Григорьевич, граф (1743—1831)—директор Академии наук, брат екатерининского временщика. Праздник, данный Орловым в честь г-жи де Сталь, она описывает в «Dix années d'exil», 328—330.

[85] С. Глинка, Записки о 1812 годе, СПб. 1836, 34—36.

[86] «Воспоминания А. П. Бутенева».—«Русский Архив», 1883, кн. I, 11.

[87] Васильев Владимир Федорович, граф (1782—1839), родной племянник министра финансов гр. Алексея Ивановича Васильева (ум. 1807), унаследовавший после смерти дяди его графский титул, был с 1811 г. петербургским полицеймейстером, впоследствии тульским губернатором.

Публикуемое письмо к нему г-жи де Сталь хранится в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. Ленина, Москва.

[88] Н. К. Шильдер, Император Александр I, СПб. 1905, III, 505.

[89] Е. Ковалевский, Граф Блудов и его время, СПб. 1866, 84.

[90] «Из воспоминаний гр. А. Д. Блудовой. Швеция с 1812 по 1815 год».—«Русский Архив», 1879, III, 480—483.

[91] Письма г-жи де Сталь к кн. Е. И. Кутузовой были дважды полностью напечатаны—в «Русской Старине», 1872, май, 698—705, и в приложении к «Dix années d'exil», 408—414. Из 6 подлинных писем 4 хранятся в Институте литературы Академии наук СССР, Ленинград (см. опись их ниже, в Приложениях).

[92] Архив гр. С. С. Уварова.—Исторический музей, Москва.

[93] [Lenormant], op. cit., 234—235.

[94] «Русский Архив», 1871, 2104.

[95] Архив гр. С. С. Уварова.—Исторический музей, Москва.

[96] «Воспоминания А. П. Бутенева».—«Русский Архив», 1883, кн. I, 38—43. А. П. Бутенев сделал впоследствии большую дипломатическую карьеру (в 1830—1842 гг. посол в Константинополе, с 1843 г.—в Риме, после войны 1854—1856 гг. опять в Константинополе). Ламартин в своих «Impressions de voyage en Orient» так характеризует А. П. Бутенева: «обаятельная и высоконравственная личность, философ и государственный человек».

[97] «Из воспоминаний Э. И. Арндта о 1812 годе».—«Русский Архив», 1871, I, 0104. См. также: Emile Haumant, La culture française en Russie. 1700—1900, P., 1913, 571.

[98] Письмо г-жи де Сталь к П. П. Свиньину хранится в Институте литературы Академии наук СССР, Ленинград.

[99] Письмо г-жи де Сталь к Д. П. Татищеву впервые напечатано было в «Архиве князя Воронцова», XXIX, 437, и вторично в «Dix années d'exil», Приложения, 415, 416.

[100] Н. К. Шильдер, Император Александр I и г-жа де Сталь.—«Вестник Европы», 1896, кн. 12, 578. Здесь опубликованы, в русских переводах, тексты восьми писем г-жи де Сталь к Александру I и пяти его ответных писем. По копиям, предоставленным Шильдером, все эти письма были опубликованы и по-французски: «Revue de Paris», 1897, 1 janvier. В настоящей работе тексты приводятся в переводе Шильдера, исправленном на основании подлинных документов, хранящихся в Архиве внешней политики (см. опись их ниже, в Приложениях).

[101] Staël de, Considérations sur les principaux événements de la Révolution Française, P., 1818, III, 51—53.

[102] С. В—штейн, op. cit.—«Вестник Европы», 1900, кн. 10, 462.

[103] Staël de, Considérations, III, 31.

[104] Е. В. Тарле, Наполеон, М., 1936, 475.

[105] Н. К. Шильдер, Александр I, III, 230—232.

[106] Печатается в переводе с подлинника, хранящегося в Публичной библиотеке, Ленинград.

[107] Печатается в переводе с подлинника, хранящегося в Литературном музее, Москва.

[108] «Ferdinand Christin et la princesse Tourkestanow. Lettres écrites de Pétersbourg et de Moscou. 1813—1819», Moscou, 1882—1883, 573.

[109] Письмо Бетмана к Александру I от 1 июня 1815 г.—Архив внешней политики, Москва, М. И. Д., Канц. № 3976, 1815. Приложенное к нему письмо г-жи де Сталь полностью опубликовано не было, небольшая выдержка из него (по-французски) приведена в примечаниях к ст. Н. К. Шильдера, Александр I и г-жа де Сталь.—«Вестник Европы», 1896, кн. 12, 579.

[110] Н. К. Шильдер, op. cit., кн. 12, 579—582.

[111] Архив внешней политики, Москва, М. И. Д., Канц. № 11.118-а, 1815, Expéd., лл. 5—6 об. Письмо это и Шильдером и в «Revue de Paris» напечатано с неверной датой 13 августа 1815 г.—следует 9/21 августа. При публикации упущено было из виду, что письма Александра I датированы старым стилем, и, исправив произвольно дату, хотели избегнуть недоразумения, что ответ был послан раньше получения письма.

[112] В «Revue de Paris» напечатано с неверной датой 9 сентября.

[113] Архив внешней политики, Москва, М. И. Д., Канц. №№ 11.117-а и 11.118-а.

[114] Ouvaroff, L'empereur Alexandre et Buonaparte. St.-Pétersbourg. De l'Imprimerie de Pluchart, 1814, I, 33—35, 36—37.

[115] Письмо Жозефа де Местра к Уварову.—«Литературное Наследство», М., 1937, т. 29—30, 699.

[116] Архив гр. С. С. Уварова.—Исторический музей, Москва.

[117] Н. К. Шильдер, op. cit.—«Вестник Европы», 1896, кн. 12, 585—586.

[118] Ibid., 586—587.

[119] Ibid., 587—588.

[120] Ibid., 589—590. В «Revue de Paris» письмо напечатано с неверною датою 8 июля.

[121] Имеющаяся в подлинном письме приписка: «C'est par Mr Pozzo di Borgo que passe cette lettre», отсутствует в публикациях и Шильдера и «Revue de Paris».

[122] Н. К. Шильдер, op. cit., 590—593.

[123] Архив внешней политики, Москва, М. И. Д., Канц. № 11.296, 1817, Récep., лл. 18—19.

[124] Н. К. Шильдер, op. cit., 593.

[125] Архив внешней политики, Москва, М. И. Д., Канц. № 11.122. Письмо было опубликовано Шильдером в отрывке (см. прим. 100-е); полностью печатается впервые.

[126] Staël de, Considérations, III, 380—381.

[127] «Архив бр. Тургеневых», II, под ред. Е. И. Тарасова, СПб. 1913, 150; III, под ред. Н. И. Кульмана, П., 1921, 172, 202.

[128] К. В. Пигарев, Что переводил Тютчев.—Сборник «Звенья», М., 1934, III—IV, 258.

[129] П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, СПб. 1878, I, 57. Гл. VI. О жизни и сочинениях В. А. Озерова.

[130] «Архив бр. Тургеневых», II, 245—249, 308, 312—313, 450.

[131] Архив внешней политики, Москва, М. И. Д., Канц. № 11.298, лл. 114—129 об.—Там же, М. И. Д., Канц. № 9077, сохранилось письмо Поццо ди Борго к Каподистрии от 8/20 мая 1818 г.—сопроводительное к экземпляру только-что вышедшей книги г-жи де Сталь «Considérations sur les principaux événements de la Révolution Française», которую сын г-жи де Сталь, Огюст, посылал Александру I при письме. Письмо Огюста Сталя не сохранилось.

[132] П. Н. Свистунов, Отповедь.—«Русский Архив», 1871, I, 336.

[133] П. А. Вяземский, О биографическом похвальном слове Г-же Сталь-Гольстейн.—«Сын Отечества», 1822, ч. 79, № 29, 121—122.

[134] «Остафьевский Архив», СПб. 1909, II, 217.

[135] Ср. с текстом Пушкина стр. 352—353 «Dix années d'exil». Об отношениях Пушкина к г-же де Сталь см. В. Ржига, Пушкин и мемуары M-me de Staël.—«ИОРЯС Академии наук», 1914, кн. XIX, вып. 2.

[136] А. М[уханов], Отрывки г-жи Сталь о Финляндии, с замечаниями.—«Сын Отечества», 1825, ч. 101, № 10, 152—155. «О г-же Сталь и г-не М—ве».—«Московский Телеграф», 1825, № 12. Кроме статьи Пушкина, см.: 1) «Мысли лорда Байрона о г-же Сталь и Вальтер Скотте».—«Московский Телеграф», 1827, № 1; 2) «Разговор Наполеона с сыном г-жи Сталь».—Там же, 1830, № 11; 3) «Вечер у г-жи Сталь или парижские собрания 1789—1790 гг. Соч. Бульи».—Там же, 1834, № 3.

[137] «Сборник П. И. Щукина», X, М., 1902, 418—419.

[138] П. А. Вяземский, op. cit.—«Сын Отечества», 1822, № 29, 121.

[139] Ibid., 119.

[140] «Остафьевский Архив», II, СПб. 1899, 253.

[141] Ibid., 461—462; см. также С. Н. Дурылин, П. А. Вяземский и «Revue Encyclopédique».—«Литературное Наследство», М., 1937, т. 31—32, стр. 95—99.

ПРИЛОЖЕНИЯ

АВТОГРАФЫ Г-ЖИ ДЕ СТАЛЬ В СОБРАНИЯХ СССР

Знаком «*» отмечены документы, впервые публикуемые в настоящем издании. Письма под №№ 10, 16—19, 23—29 нашей описи не включены в публикацию, так как они не касаются русских отношений г-жи де Сталь.

А. ПИСЬМА, ЗАПИСКИ

1. Александру I—Лондон, 25 апреля 1814 г.
Архив внешней политики, Москва, М. И. Д., Канц. № 3802, 1814, № 24 Récep., лл. 28—29. Опубликовано в русском переводе: Н. Шильдер, Александр I и г-жа де Сталь.—„Вестник Европы", 1896, декабрь; в подлиннике: „La Revue de Paris", 1897, 1 janvier, как и нижеуказанные под №№ 2—8. См. *также* выше, стр. 287—288.

2. Ему же—Коппе, 8 июня 1815 г.
Там же, М. И. Д., Канц. № 11.117-а, Récep. 1815, лл. 2—3 об. См. выше, стр. 292—294.

3. Ему же—Коппе, 9 августа 1815 г.
Там же, лл. 4—5. См. также выше, стр. 294.

4. Ему же—Лозанна, 19 сентября 1815 г.
Там же, лл. 7—8 об. См. выше, стр. 295—296.

5. Ему же—Флоренция, 26 февраля 1816 г.
Там же, М. И. Д., Канц. № 3824, 1816, Récep. et Expéd., лл. 2—3. См. выше, 299—300.

6. Ему же—Флоренция, 2 июня 1816 г.
Там же, лл. 4—6 об. См. выше, 300—302.

7. Ему же—Париж, 3 ноября 1816 г.
Там же, лл. 7—10. См. выше, стр. 302.

8. Ему же—Париж, 14 декабря 1816 г.
Там же, лл. 11—14 об. См. выше, стр. 302—303.

9.* Бетману (Bethmann) Симону-Морицу—[Коппе] 22 мая [1815 г.]
Архив внешней политики, Москва, М. И. Д., Канц. № 3976, 1815. Листы не нумерованы. См. выше, стр. 291—292.

10. [Бонштеттену (Bonstetten) Шарлю-Виктору]—[Женева, 1806 г.]
Публичная библиотека, Ленинград. Собрание П. К. Сухтелена.

11.* Васильеву В. Ф., графу—[Петербург, август 1812 г.]
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Из собрания Театрального музея им. Бахрушина. См. выше, стр. 278.

12. Голенищевой-Кутузовой-Смоленской Е. И., княгине—[Петербург, август 1812 г.]
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Архив Кутузовых-Смоленских. Опубликовано: „Русская Старина", 1872, V, май, и Staël de, Dix années d'exil. Edition nouvelle par Paul Gautier, P., 1904, как и нижеуказанные под №№ 13—15.

13. Ей же—Стокгольм, 28 сентября [?] [1812 г.]
Там же. См. выше, стр. 279.

14. Ей же—Стокгольм, 5 декабря [1812 г.]
Там же. См. выше, стр. 279—280.

15. Ей же—Стокгольм, 20 мая 1813 г.
Там же. См. выше, стр. 280—281.

16. Дю Бюку (Du Buc)—Коппе, 28 мая [1799—1800 г.]
Исторический музей, Москва. Собр. Г. В. Орлова, 16/5.

17. Ему же—26 прериаля [1799—1800 г.]
Там же, 16/3.

18. Ему же—Коппе, 4 мессидора [1799—1800 г.]
Там же, 16/6.

19. Ему же—24 мессидора [1799—1800 г.]
Там же, 16/4.

20.* Крюденер Юлии, баронессе—Женева, 1 февраля [1803 г.]
Публичная библиотека, Ленинград. Фонд Крюденер. См. выше, статью „Юлия Крюденер и французские писатели", стр. 112.

21.* Ей же—Коппе, 14 октября [1807 г.]
Там же. См. вышеуказанную статью, стр. 120.

22.* Ей же—[Коппе], 5 февраля [1809 г.]
Там же. См. вышеуказанную статью, стр. 121—122.

23. Моро де Сен-Мери (Moreau de St.-Méry)—Милан [7 июня 1805 г.]
Институт истории Академии наук СССР, Ленинград. Фонд бывш. Института книги, документа и письма.

24. [Неизвестному]—Дрезден, понедельник [1808 г.]
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. „Альбом Элима Мещерского", л. 387.

25. [Неизвестному князю]—[Петербург, 1812 г.]
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Собр. Норова.

26. [Неизвестному]—б. д.
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. „Альбом А. Е. Шиповой".

27. [Неизвестному]—13-го вечером б. д.
Публичная библиотека, Ленинград, КП 10/39.

28. [Неизвестному поэту]—б. д.
Публичная библиотека, Ленинград. Собр. Ваксeля, № 39.

29. Ривьера (Riviera)—Пиза, 17 февраля 1816 г.
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Собр. кн. Меншикова, 397/10.

30.* Ростопчину Ф. В., графу—[Париж, зима 1814—1815 г.]
Публичная библиотека, Ленинград. Общ. собр. автогр. См. выше, стр. 290.

31.* Свиньину П. П.—2 января 1814 г.
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Карт. Гоголь—Вейдемейер. См. выше, стр. 286.

32.* Сухтелену П. К., генералу—[1812 г.]
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Собр. Новиковой, № 118. См. выше, стр. 274, № 3.

33—37.* Ему же—[1812 г.]
Публичная библиотека, Ленинград. Собр. П. К. Сухтелена. См. выше, стр. 274—275.

38—40.* Сухтелену П. П., сыну—[Петербург, 1812 г.]
Публичная библиотека, Ленинград. Собр. П. К. Сухтелена. См. выше, стр. 272—274.

41.* Сухтелен M-lle—[Петербург, 1812 г.]
Публичная библиотека, Ленинград. Собр. П. К. Сухтелена. См. выше, стр. 274.

42—58.* Уварову С. С.—[Вена, начало 1808 г.]
Исторический музей, Москва. Собр. гр. Уварова, № 41/233, ф. 48. См. выше, стр. 252—257.

59.* Ему же—[Вена, начало 1808 г.]
Исторический музей, Москва. Собр. Г. В. Орлова, 16/1. См. выше, стр. 253, № 2.

60.* Ему же—Стокгольм, 2 мая [1813 г.]
Исторический музей, Москва. Собр. гр. Уварова, № 41/233, ф. 48. См. выше, стр. 283—284.

61.* Ему же—Коппе, 10 сентября 1815 г.
Там же. См. выше, стр. 298—299.

62.* [Шиллеру (Schiller) Фридриху]—[Веймар, 1804 г.]
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Архив К. Р., фонд 137, № 127. Воспроизведение см. выше, стр. 223.

Б. НЕРАЗЫСКАННЫЕ АВТОГРАФЫ

63. Голенищевой-Кутузовой-Смоленской Е. И. княгине—Стокгольм, 15 февраля [1813 г.]
Опубликовано: „Русская Старина", 1872, V, и у Staël de, Dix années d'exil. Edit. nouvelle par Paul Gautier. См. также выше, стр. 280.

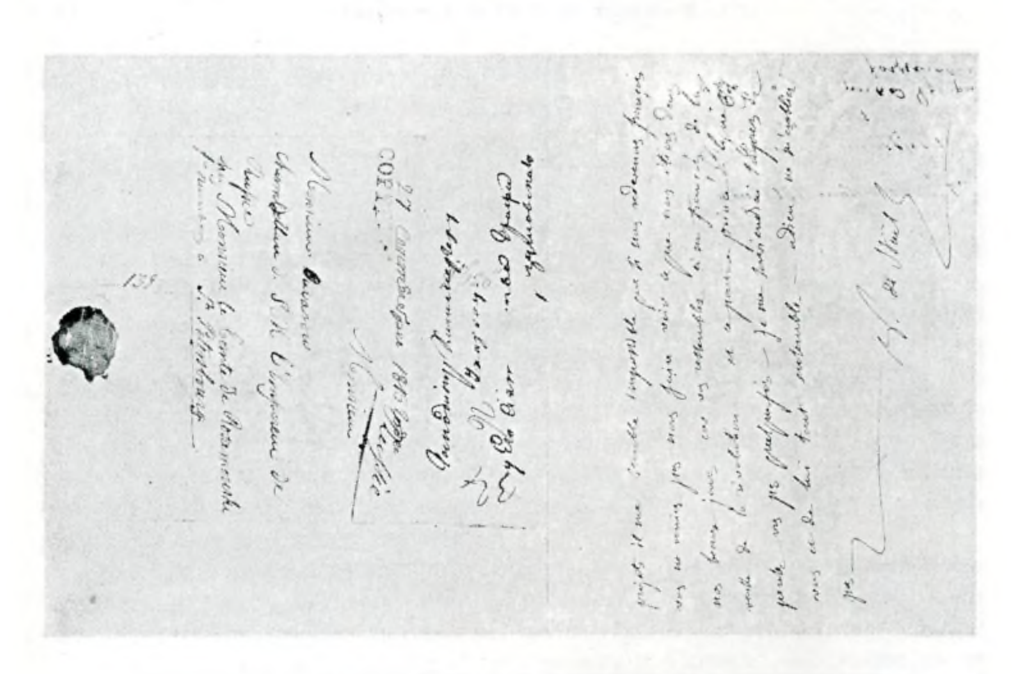
64. Ей же—Стокгольм, 3 мая 1813 г.
Опубликовано там же. См. также выше, стр. 280.

65—66. Дю Бюку.
В собрании Г. В. Орлова, Исторический музей, Москва, 16/2, значилось 6 писем г-жи де Сталь к Дю Бюку (1799—1800), налицо лишь 4 (№№ 16—19 описи).

67. Неизвестному—1816 г.
Значилось в описи „Альбома Каролины Собанской", Всеукраинский исторический музей, Киев.

68. Неизвестному—1816 г.
Значилось там же.

69. Татищеву Д. П.—[Лондон], 15 марта 1814 г.
Опубликовано: „Архив кн. Воронцова", кн. XXIX, М., 1883, 437—438, и у Staël de, op. cit. См. также выше, стр. 286—287.



АВТОГРАФ ПИСЬМА Г-ЖИ ДЕ СТАЛЬ К С. С. УВАРОВУ ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 1815 г.

Страницы первая, вторая, третья и последняя с адресом

Исторический музей, Москва

В. ПИСЬМА К Г-ЖЕ ДЕ СТАЛЬ

1. Александра I—Гейдельберг, 13/25 июня 1815 г.— отпуск письма.
Архив внешней политики, Москва, М. И. Д., Канц. № 11.118-а, 1815, Expéd., лл. 2—2 об. Опубликовано в русском переводе: Н. Шильдер, Александр I и г-жа де Сталь.—„Вестник Европы", 1896, декабрь; в подлиннике: „La Revue de Paris", 1897, 1 janvier, как и нижеуказанные под №№ 2—5. См. также выше, стр. 294.

2. Его же—Париж, 9/21 августа 1815 г.—отпуск с собственноручными исправлениями и вставками Александра.
Там же, лл. 3—4. См. выше, стр. 294—295.

3. Его же—Париж, 14/26 сентября 1815 г.—отпуск с собственноручной пометой Александра: «Approuvé» («Одобрено»).
Там же, лл. 6—7. См. выше, стр. 296.

4. Его же—Петербург, 4 апреля 1816 г.—отпуск с собственноручными поправками и вставками Александра.
Там же, лл. 8—9. См. выше, стр. 300.

5. Его же—Петербург, 24 февраля 1817 г.—отпуск с собственноручной пометой Александра: «Быть по сему».
Там же. М. И. Д., Канц. № 11.122, 1817, Récep. et Expéd., лл. 2—3. См. выше, стр. 304—305.

6. Виланда (Wieland) Христофа-Мартина—20 декабря [1803 г.]
Исторический музей, Москва. Собр. Г. В. Орлова, 18/96.

7. Линя (Ligne) Шарля, князя де—Вена, октябрь 1812 г.
Литературный музей, Москва. Собр. М. П. Алексеева, 3107—8.

ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА

Статьи Ю. Тынянова

Под общим заголовком «Французские отношения В. К. Кюхельбекера» здесь печатаются две статьи, первая из которых—«Путешествие Кюхельбекера по Западной Европе в 1820—1821 гг.»—исследует роль Кюхельбекера, как пропагандиста на Западе русской литературной культуры, понимавшейся им очень широко—начиная от народных песен и кончая только-что вышедшим «Русланом и Людмилой» Пушкина. Встреча с Бенжаменом Констаном и кругом его единомышленников является значительным эпизодом из истории общения декабристов с вождем западного либерализма.

Вторая статья—«Декабрист и Бальзак»—характеризует критические воззрения и борьбу по вопросу о «юной французской словесности», которую Кюхельбекер заочно вел в 30—40-х годах в крепости и Сибири.

Обе статьи основаны, главным образом, на неизданных материалах, каковы неизвестные записи его «Путешествия» и дневников, письма и т. д.

I. ПУТЕШЕСТВИЕ КЮХЕЛЬБЕКЕРА ПО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ в 1820—1821 гг.

Начало 20-х годов XIX в. было в Европе, а затем и в России годами бурных революционных событий. Революция в Испании (а затем в Португалии), война Греции за независимость, убийство агента Священного союза Коцебу студентом Карлом Зандом—таковы были события, сделавшие слово «вольность» для молодых русских поэтов знаменем.

Путешествие поэта Кюхельбекера по Европе в 1820—1821 гг. почти совпадает со временем высылки его великого друга Пушкина на юг. Совпадение не случайное. Пушкин писал убийственные эпиграммы на всесильного Аракчеева, ода его «Вольность» ходила по рукам; однажды в театре он показывал портрет Лувеля, убийцы герцога Беррийского, с надписью: «урок царям». Его собирались сослать в Сибирь, заточить в Соловецкий монастырь. В конце концов, 6 мая 1820 г. его выслали из Петербурга на юг, в Екатеринослав.

Его друг и лицейский товарищ Кюхельбекер, также «зараженный вольностью», вел себя гораздо тише; был членом литературных обществ, насаждал ланкастерскую систему обучения, много печатался, воспитывал мальчиков (среди них будущего композитора Глинку). «Вольности» он был предан давно: еще в лицее чтением его были Руссо, швейцарский философ времен Французской революции Вейс, Шиллер.

Пушкин был выслан 6 мая. Непосредственно за этим Кюхельбекер прочел в «Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств» стихотворение «Поэты», вскоре затем напечатанное. Оно прославляло возвышенных поэтов, а кончалось открытым воспеванием высланного Пушкина

и отданного в солдаты за проступок Баратынского. В стихах говорилось о Ювенале, в суровой руке которого «злодеям грозный бич свистит» и перед которым «власть тиранов задрожала». Тотчас же на поэта был подан донос министру внутренних дел, в котором, кроме чтения и напечатания возмутительных стихов, инкриминировалось Кюхельбекеру, что он в обществе «приватно называл государя Тиберием». Кюхельбекер хотел было скрыться куда-нибудь подальше, например, в Дерпт, где надеялся в университете занять кафедру русского языка, как вдруг подвернулся счастливый случай.

Вельможа, богач и меценат, знаменитый острослов, знаток музыки и живописи, А. Л. Нарышкин, искал секретаря для ведения корреспонденции на трех языках, для поездки за границу. Ему рекомендовали для этой цели поэта Дельвига, но Дельвиг не поехал и рекомендовал своего друга Кюхельбекера. Родителей Кюхельбекера Нарышкин хорошо знал по царствованию Павла (отец Кюхельбекера был первым директором Павловского—личного имения Павла еще в бытность его наследником); об этом свидетельствуют поклоны в письмах Кюхельбекера из-за границы к матери: принципал никогда не забывает ей поклониться.

Можно сомневаться, подходил ли Кюхельбекер к роли секретаря вельможи, но, конечно, он был вполне подготовлен для путешествия по Европе. Дело в том, что именно в 1819—1820 гг. он совершил воображаемое путешествие по ней. Таковы его замечательные «Европейские письма», которые он напечатал в журналах в 1820 г. В «предуведомлении» он так объяснял цель своего воображаемого путешествия: «Чтобы судить о современных происшествиях, нравах и вероятных их последствиях, должно мысленно перенестись в другое время. В Европейских письмах мы предполагаем, рассматривая события, законы, страсти и обыкновения веков минувших, быстрым взглядом окинуть и наш век. Посему мы мысленно переносимся в будущее. Американец, гражданин северных областей, путешествует в 26 столетии по Европе; она уже снова одичала, и наблюдатель-странник пишет к своему другу о прошлой славе, о прошлом величии, о прошлом просвещении». Таким образом, основа этих фантастических писем вполне реальна,—это, в сущности, исторический очерк современной автору Европы; автор собирается затронуть и свой век. Фантастическая часть была шаткой и придуманной наскоро: так, последующие письма именуются уже подробно: «Европейские письма, или путешествие жителя Американских Северных Штатов 25 столетия»[1] (а мы видели, что ранее речь шла о 26-м столетии). Первое же письмо показывает и назначение фантастической окраски—несколько отвлечь внимание от реальной основы. Испанское революционное движение началось в Кадиксе в 1819 г. с недовольства испанских воинских частей, отправлявшихся в Америку для усмирения беспорядков в колониях. И вот первое «Европейское письмо» носит дату: «Кадикс, 1 июля 2519 года», а во втором письме, из древнего Эскуриала, Кюхельбекер уже открыто говорит об испанской революции; он вспоминает о «веке Буонапарта»: «Испания, наводненная необузданными полчищами Мюрата; минутное царствование короля Иосифа; Испания в борьбе за свободу и независимость—за священнейшие права народов: великий и назидательный пример для потомства!».

К истории Европы Кюхельбекер относится с точки зрения задач своего времени, а стало быть, с точки зрения будущего; он вовсе не склонен

идеализировать всю историю и преклоняться перед всеми историческими деятелями: «Читаю Тацита и благодарю бога, что между нами ныне уже не может родиться Тацит: ибо не могут родиться Нероны и Тиберии. Как тщетны и безрассудны жалобы тех, которые грустят и горюют об отцветших украшениях веков минувших! Они забывают, что богатства прошлых столетий не потеряны... Усовершенствование цель человечества:

В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
Акварель П. Л. Яковлева в альбоме А. Е. Измайлова, 1821 г.
Литературный музей, Москва

пути к нему разнообразны до бесконечности... человечество подвигается вперед» (письмо 9-е).

Эта вера в «усовершенствование человечества»—основной пункт в его отношении к истории. Рассматривая постепенное расширение географических границ культуры, он с удивлением констатирует узость древней культуры: «Как тесен, как мал феатр, на котором является глазам наблюдателя художественное греческое развитие ума человеческого: Аттика, Коринф, некоторые города великой Греции, Сицилии и Малой Азии—и вот все».

К древнему миру он относится без всякой идеализации: «Большая часть жителей Эллады находилась в самом жесточайшем рабстве, между тем как некоторые, присвоив себе исключительно название граждан, буйствовали и думали, что они свободны, изгоняя Аристида и повинуясь шалуну Алкибиаду. В Риме Катоны не стыдились быть ростовщиками, Цесарь был соумышленником Катилины и назывался супругом всех Римлянок, супругою всех Римлян; Агриппа и Юлия могли присутствовать при ужасных зрелищах, в коих мечебойцы резали друг друга в увеселение жестокого народа, который называл себя царем вселенной и терпеливо рабствовал бессмысленному Клавдию и чудовищному дитяти Гелиогабалу. Не говорю тебе уже о Европейцах: раскрой их историю и оцепенеешь, подумаешь, что ты читаешь летопись диких зверей. Но забудем частные заблуждения: их нравы вообще были мягче нравов Римских, и люди более пользовались правами людей, чем в греческих самозванцах-республиках, и хотя обыкновенно не соблюдали правил нравственности, по крайней мере признавали ее Феорию».

Откуда взялось здесь отсутствие исторической лести, обычного возвеличения равно всех исторических персонажей, и кто таков «американец 25 столетия»?

У Кюхельбекера, будущего декабриста, в высокой степени были развиты чувство великого исторического б у д у щ е г о, ожидавшего его родину, и твердая вера в «усовершенствование человечества». Его «Америка»—это будущая Россия декабриста; он сознает молодость и значение своей страны, в сравнении с которою Европа обветшала. (Ср. у Пушкина: «Давно ли в е т х а я Европа свирепела?»)

Нет у него раболепства и по отношению к недавнему прошлому—веку просвещения—и к самому XIX веку: «Вообще, сколько мне кажется, обязанность всякого мыслящего выводить по возможности из того заблуждения, в котором [находится] большая часть наших историков и политиков в рассуждении мнимого просвещения времен Вольтера и Фридриха. Сколько вещей, которые бы должны всем разуверить всякого!—Не говоря уже об инквизиции и пытке, о гонениях на людей мыслящих, взглянем только на систему Меркантилистов, на заблуждение Физиократов, на то сопротивление, которое встречал Адам Смит даже и в 19 столетии своим простым и мудрым наставлениям; взглянем на коварную политику Наполеона; на беспрестанные нарушения равновесия и священнейших прав человечества; и мы, живя в счастливое время, когда политика и нравственность одно и то же, когда правительства и народы общими силами стремятся к одной цели, мы перестанем жалеть, как некогда жалели некоторые в Европе, о Золотом Греческом периоде,—перестанем жалеть о веках 17-м и 18-м» (письмо 4-е).

Для взгляда Кюхельбекера на будущее не только век просвещения, но и начало XIX столетия,—с «коварною политикой Наполеона», с беспрестанным нарушением прав человечества,—прошлое, заслуживающее осуждения. Он говорит о прошлом для американца 26-го столетия, т. е. о своем настоящем: «Купец, воин, гражданский чиновник, духовный презирали и ненавидели взаимно друг друга; они не только не были людьми, они даже не были гражданами».

И, вместе с тем, он «уверен, что человек немгновенен, что и род человеческий самыми переменами, самыми мнимыми разрушениями зреет и совершенствуется» (письмо 6-е). И последнее письмо (8-е, из Рима)

он заканчивает: «Не сомневаюсь, что настанет время, когда быть порочным и быть сумасшедшим—будет одним и тем же... Мы уже гораздо менее злополучных предков наших удалены от сего блаженного века. Конечно, пройдут, быть может, еще тысячелетия, пока не достигнет человечество сей высшей степени человечности; но оно достигнет ее, или вся история не что иное, как глупая и вместе ужасная своим бессмыслием сказка!».

Теперь он отправился в путешествие реальное. Он мог проверить свои мысли и утвердить или потерять свою веру. Мысли о новой русской поэзии (поэма Пушкина «Руслан и Людмила» вышла в конце мая), о народных песнях—старой «простонародной» русской поэзии, о великом назначении своей родины, вера в усовершенствование человечества, — вот что он вез с собой в чужие края.

Перед отъездом он писал матери (оригинал по-немецки): «Я не поеду в Дорпат, но еду путешествовать с Александром Львовичем Нарышкиным за границу. Наше путешествие будет для меня очень интересно и полезно. Мы поедем в Дрезден, оттуда в Вену; из Вены—в Северную Италию и зиму пробудем в Риме. Лето мы проведем наполовину в Париже, наполовину в Южной Франции; зимой вернемся в Париж, а весной морем проедем в Лондон, откуда, после двухлетнего путешествия по лучшим местам Европы, вернемся морем в отечество.—Я буду путешествовать совсем один, с Александром Львовичем и его врачом; супруга [Нарышкина] остается здесь.—Вы его знаете; он принял меня с большою добротою и, кажется, меня полюбил. Я буду получать ежегодно по три тысячи рублей défrayé de tout. Моей обязанностью будет вести его корреспонденцию на трех языках.—Сегодня вечером меня посетили три моих ученика, чтобы попрощаться: Соболевский, Глебов и Пушкин, брат моего несчастного друга. Добрые мальчики очень смягчили мое сердце; представьте себе: они отрезали прядь моих волос на память»[2].

В стихотворении «Прощание», написанном перед отъездом, ясны чувства и ожидания, с которыми Кюхельбекер пускался в путь; стихотворение не было напечатано. Оно находится в рукописном сборнике стихотворений Кюхельбекера, хранившемся у Пушкина (ныне в Пушкинском доме). После смерти Пушкина жандармы перенумеровали в сборнике страницы, повидимому, приняв его за рукопись Пушкина.

ПРОЩАНИЕ

Прости, отчизна дорогая!
Простите, добрые друзья!
Уже сижу в коляске я,
Надеждой время упреждая.

Уже волшебница Мечта
Рисует мне обитель Славы,
Тевтонов древние дубравы
И их живые города!

А там встают седые горы,
Влекут и ослепляют взоры
И хмурясь, всходят до небес!
О гроб и колыбель чудес,

О град бессмертья, муз и брани!
Отец народов, вечный Рим!—
К тебе я простираю длани,
Желаньем пламенным томим.

Я вижу в радужном сиянье
И Галлию и Альбион!
Кругом меня очарованье,
Горит и блещет небосклон.

Пируй и веселись, мой Гений!
Какая жатва вдохновений!
Какая пища для души—
В ее божественной тиши
Златая дивная природа...
Тяжелая гроза страстей,
Вооруженная Свобода,
Борьба народов и царей!

Не в капище ли Мельпомены
Я, ожиданий полн, вступил?
Не в храм ли тайных, грозных Сил,
Взирающих на жизнь вселенной—
Для них все ясно, все измены,
Все сокровенности сердец,
Всех дел и помыслов конец!
Святые, страшные картины!

Но, верьте! и в странах чужбины
И там вам верен буду я,
О вы, души моей друзья!—
И пусть поэтом я не буду,
Когда на миг тебя забуду,
Тебя, смиренная семья,—
Где юноши-певцы сходились,
Где их ласкали, как родных,
Где мы в мечтаньях золотых
Душой и жизнию делились.

Так, он предчувствует не только новую невиданную им природу, но и зрелище «вооруженной Свободы, борьбы народов и царей» (1 января 1820 г. произошла испанская революция, в июле 1820 г.—восстание в Неаполе). Кюхельбекер торжественно готовится вступить в «капище Мельпомены»—исторической, в «храм тайных, грозных Сил». И, как всегда, готов и впредь не забывать о «семье друзей», «юношей-певцов»—о дружбе, которая с начала до конца его жизни была для него главным жизненным содержанием и культом.

8 сентября 1820 г. Кюхельбекер выехал за границу. Ехал он, действительно, в коляске с врачом Нарышкина, доктором Алиманном. За границей он пробыл около года. Альбиона он не посетил, но зато был в Германии, Франции, Италии, о которых писал в стихотворении. Обязанности его всего менее обременяли, потому что беспечный и праздный патрон разлучался с ним по целым месяцам. (Так, в Германии он один уехал в Лейпциг, во Франции—в Монпелье). Путешествие Кюхельбекера по-

знакомило его с целым рядом выдающихся западных писателей и деятелей и столкнуло лицом к лицу с революционными событиями, тогда развивавшимися. Кюхельбекер стал за время путешествия посредником между русскою и западною литературами, а вернувшись—между западною и русскою общественною мыслью.

Кюхельбекер был, как мы видели, далек от ложного смирения перед Западом. 1812 год показал русские народные силы, изумившие весь мир. Радикальная литературная среда Вольного общества и других преддекабрьских очагов была проникнута желанием немедленной отмены крепостного рабства для крестьянства, доказавшего высокий героизм. Уважение к народному языку, как к источнику обновления языка литературного, распространялось все шире. Кюхельбекер—острый наблюдатель. Он отмечает, например, в Пруссии черты европейского рабства: «Германцы доказали в последнее время, что они любят свободу и не рождены быть рабами [намек на Карла Занда, казненного в 1820 г.—*Ю. Т.*]: но между их обыкновениями некоторые должны казаться унизительными и рабскими всякому, к ним непривыкшему»,—пишет он и далее говорит об употреблении портшезов, которые несут на себе люди, об обычае заставлять сирот петь за деньги и пр.

В Дрездене он не только внимательно изучает картинную галлерею, которая является предметом его обширного описания (он намеревался издать его отдельно), но и посещает предместья; в беллетристическом отрывке, отразившем впечатления от путешествия, он пишет: «Одно из предместий Дрездена называется Фридрихштатом; здесь живут почти одни нищие и поденщики; здесь царствуют бедность и уныние,—воздух нездоровый, улицы тесные, почва покатая и болотистая, непомерное многолюдие зарождает в сем предместии почти беспрестанные болезни и всегдашнее бессилие. Может быть, нигде на свете не встречаешь вдруг столько калек, горбатых, уродов всякого разбору.—Лица желтые, глаза впалые, взор потупленный отличают обитателей Фридрихштата от прочих Саксонцев и Дрезденцев».

Вместе с тем, блестящая столичная русская культура 20-х годов заставляла Кюхельбекера критически относиться ко многому на Западе. Берлинские учебные заведения кажутся ему, например, решительно захудалыми по сравнению с петербургскими, самое направление преподавания—реакционным и отсталым. (Сам Кюхельбекер был очень деятельным педагогом и воспитателем в новых либеральных учреждениях, например, в Педагогическом институте в Петербурге, деятельным членом О-ва ланкастерских взаимных обучений и т. д.).

В Германии он виделся с Тиком и сблизился с Гёте. При встрече с вождем романтиков он не удержался от полемики и пожалел, что Новалис (сочинения которого были незадолго перед тем изданы Тиком), при пылком воображении, «не старался быть ясным и совершенно утонул в мистических тонкостях».

Другими были встречи с Гёте. В неизвестной до сих пор записи Кюхельбекер говорит о них: «Мое первое знакомство с Гете не могло меня обнадежить приобресть его благосклонность. Однако же мы наконец довольно сблизились: он подарил мне на память свое последнее драматическое произведение и охотно объяснил мне в своих стихотворениях все то, что мог я узнать единственно от самого автора. Так, например, поверил он мне, что прелестная Евфрозина, которую уже в С.-Петер-

бурге считал я не за одно создание воображения, существовала в самом деле и была его питомицей. Известие об ее смерти получил он в Швейцарии: потому-то в его элегии ее тень является ему средь гор и утесов[3]. Гете позволил мне писать к себе и, кажется, желает, чтобы в своих письмах я ему объяснял свойство нашей поэзии и языка Русского: считаю приятной обязанностью исполнить его требование и по возвращении в С.-Петербург займусь этими письмами, в которых особенно постараюсь обратить внимание на Историю нашей словесности, на нашу простонародную поэзию и на ее просодию».

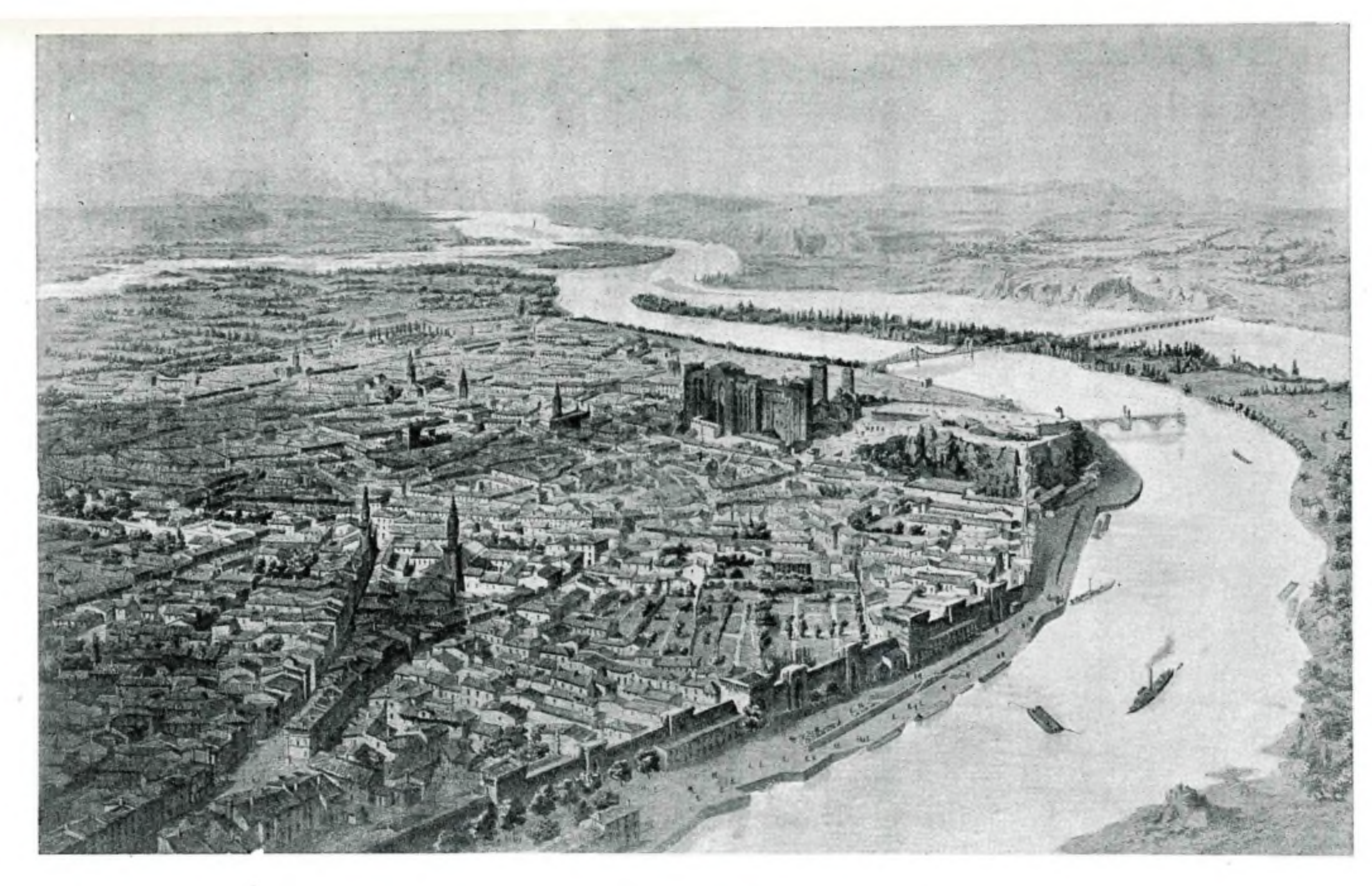
Последующая жизнь Кюхельбекера была слишком бурная, и своего обещания он не мог выполнить. Но приведенное воспоминание позволяет оценить его роль посредника между молодой русской поэзией и величайшими писателями Запада—роль, к которой он вполне подходил. «История словесности» и «простонародная поэзия»—темы разговоров с Гёте—характеризуют широту и зрелость литературных взглядов Кюхельбекера.

В письме к матери из Веймара от 17 ноября 1820 г. он пишет о том, что Гёте принял его очень хорошо и что он очень интересуется русской литературой («er war gegen mich sehr gütig, und schien sich für russische Literatur recht sehr zu interessieren») и подарил ему на память свое новое произведение[4]. Он начинает это письмо с бодрого признания: «Деятельная, живая жизнь пробудилась во мне», и кончает надеждой: «Очень поучительной была для меня Германия, Франция будет не менее поучительной».

Они путешествовали быстро. В декабре 1820 г., уже в Лионе, Кюхельбекер отметил: «Мы летим, а не путешествуем». Первоначальный план путешествия изменился: они посетили Карлсруэ (8 декабря), Страсбург (13 декабря), Кольмар, Безансон, Лион и, наконец, Марсель. Прованс производит на северянина ошеломляющее впечатление. В 1833 г., уже в крепости, он вспоминает о Провансе в стихах, совершенно необычных для него по мелодичности (начало 5-го «разговора» «поэмы в разговорах» Сирота).

Приводим здесь эти стихи:

Страну я помню: там валы седые
Дробятся, пенясь у подножья скал;
А скалы мирт кудрявый увенчал,
Им кипарис возвышенный и стройный
Дарует хлад и сумрак в полдень знойный,
И зонтик пиния над их главой
Раскинула; в стране волшебной той
В зеленой тьме горит лимон златой,
И померанец багрецом Авроры
Зовет и манит длань, гортань и взоры.
И под навесом виноградных лоз
Восходит фимиам гвоздик и роз,—
Пришлец идет, дыханьем их обвеян.
Там, в древнем граде доблестных Фокеян,
И болен и один в те дни я жил.
При блеске сладостных ночных светил
(Когда, сдается, на крылах Зефира



ВИД АВИНЬОНА

Литография Жоржа Мюллера с рисунка Гедона

Музей изобразительных искусств, Москва

Привет несется из иного мира,
Когда по лону молчаливых волн,
Как привиденье, запоздалый чолн,
Таинственный, скользит из темной дали;
Когда с гитарой песнь из уст печали,
Из уст любви раздастся под окном
Прекрасной провансалки)—редко сном
Я забывался, а мой врач жестокий
Бродить мне запретил.—Что ж, одинокий,
Я делывал? Сижу у камелька,
Гляжу на пламя; душу же тоска
Влечет туда, где не смеялись розы
В то время—нет! крещенские морозы
Неву одели в саван ледяной.
Кто променяет и на рай земной
Тот край, который дорог нам с рожденья?

Он сталкивается здесь с памятниками истории древней и новой, и та история, с которой он так смело обращался в своем воображаемом путешествии, здесь, в реальности, его пугает и отталкивает.

Он записывает где-то около Авиньона: «[Памятники] феодального дворянства 18-го столетия, разрушенные якобинцами, кажутся здесь современниками; возле бань проконсульских, гробниц патрициев или загородных домов сенаторов здесь повсюду замки и кремли, служившие обителью вассалам королевства Бургундского и Арльского; они вместе тлеют на горах и утесах, только Римские развалины своею огромностию как-будто бы напоминают племя исполинов и не имеют с зданиями готическими ничего общего—здесь для путешественника остов всей Истории,—но он смотрит на него с тем чувством, с которым смотришь на остов человеческий,—с содроганием». Он чувствует страх и перед якобинцами.

Кюхельбекер хворал; он жил в обществе врача и дрезденского живописца, которого Нарышкин взял с собою из Дрездена в путешествие, слушал воспоминания Нарышкина о Екатерине и прежних его путешествиях, а между тем, прислушивался к народной поэзии—слушал «певиц и певунов Прованса», «канцоны венецианских гондольеров», «романсы бедных детей Савойи, умилительные по простоте своего содержания и своей мелодии».

Новый год он встретил в Марселе. Нарышкин ведет широкую жизнь и любит пестрое общество. 21 января Кюхельбекер записывает: «С некоторого времени обеды Александра Львовича напоминают мне оду Державина к отцу его:

Оставя короли престолы
И ханы у тебя гостят,
Киргизы, Немчины, Моголы
Салму и соусы едят!

У нас на-днях попеременно обедали турки, начальник Египетского корабля и несколько греков, Фиц Виллиямс, брат известного члена английского парламента, принц Баденский, лифляндский граф и французы разного калибра. Турка был для меня чрезвычайно занимателен; у него и тени не было нашей европейской принужденности».

В Париже Кюхельбекер познакомился с художником Фонтенье; вообще он охотно записывает впечатления от картин. Так, в Марселе, в карантинном доме, он видел произведшую на него глубокое впечатление картину Давида и барельеф Пюже, посвященные изображению марсельской чумы. Побывал он и в «простонародном» театре, который превосходно описал. Вместе с тем, первоначальное радужное настроение исчезло: Кюхельбекера начинает тянуть домой. Он пишет матери из Марселя 10 февраля (29 января) 1821 г.: «С некоторого времени мучит меня довольно сильно тоска по родине, и если бы Париж и, возможно, Лондон не были целью нашего путешествия, мне бы хотелось прямым путем обратно в Петербург. Итальянское небо—это все же не отечество» (оригинал по-немецки).

24 февраля 1821 г. он записывает: «Завтра мы едем из Марселя в Ниццу. Ницца уже в Италии, но, к несчастью, здесь остановимся и обратимся назад; нам издали покажут Италию, но не дадут отведать ее».

Дорожная остановка в Тулоне вызвала запись Кюхельбекера, превосходно рисующую его, как путешественника,—легко падающего духом, любопытного.

Не будучи в состоянии видеть беспорядка при отъезде, который его «всякий раз лишает способности связать две мысли сряду, расстраивает и приводит кровь в волнение», он избегал своей комнаты и бродил по Марселю. «При самом нашем въезде в Тулон встретились нам каторжники в красных рубахах, скованные по два—их выгоняли на работу».

В Тулоне в первый раз он переживает чувство полной свободы и независимости, в духе Байрона: «Передо мною открылся вид необозримый: Тулон с пристанию; долина, усеянная домиками; каменные холмы, покрытые садами; прекрасное море во всем своем блеске с островами, мысами и бесчисленными судами.—Я сел на гранитный обломок; я был совершенно один; только сто шагов от меня висела на выдавшемся камне коза, которая, бог весть, как?—отделилась от стада. Свежий морской ветер свевал с меня усталость.—Странное, дикое чувство свободы и надменности наполняло мою душу: я радовался, я был счастлив, потому что никакая человеческая власть до меня не достигала и [ничто] не напоминало мне зависимости, подчиненности, всех неприятностей, неразлучных с порядком гражданского общества!» При переезде из Виллафранки в Ниццу он подвергся нападению гондольера. В послании к Пушкину он так писал об этом:

...в пучинах тихоструйных
Я в ночь, безмолвен и уныл,
С убийцей-гондольером плыл...

И тут же сделал примечание: «Отправляясь из Вилла-Франки в Ниццу морем, в глухую ночь, я подвергся было опасности быть брошенным в воды». Что это был за эпизод (весьма характерный для того бурного времени), остается неизвестным.

2 марта (нового стиля) он в Ницце, и перед этой записью—позднее вписанное заглавие: «Въезд в Италию». Природа Ниццы и Виллафранки кажется ему землею обетованною. Но одна любопытная сцена показывает, как близки были ему другие впечатления. Он посетил монастырь Сен-Симье—«обитель капуцинов ордена Доминика». «...На холме несколько выше прочего сада—роща кипарисов, темная, уединенная, насажденная для тихого размышления.—«Сюда—подумал я—сюда от сует и шуму, от людей и пороков!». Но я спустился в сад, я взглянул на мона-

хов: на лицах некоторых были написаны фанатизм и бессмыслие; другие казались хитрыми и лукавыми лицемерами; я увидел четырех или пятерых, которым не было и двадцати лет, которые еще не знали жизни, не просвещались ее скорбию и радостями, и следовательно не могли жаждать единственного истинного благоуспокоения. Я с ужасом сказал себе: «Их страсти еще спят, но они рано или поздно проснутся и горе тогда злополучным!». Мне стало душно в этих стенах и я из них почти выбежал: казалось, минута замедления лишит меня свободы, лишит возможности возвратиться в свет, где могу и должен думать, трудиться, страдать, бороться с жизнью».

Так он заметил среди прекрасной природы неблагополучие: французских каторжников, итальянских монахов. Монахи особенно поразили его. И недаром: в Сардинском королевстве (в состав которого входили Пьемонт и Ницца) царствовала черная клерикальная реакция иезуитов, были уничтожены какие-либо следы радикального равноправия, введенные было при французах; суды колесовали и четвертовали за малейшее проявление вольномыслия.

Между тем,—что ускользнуло пока от внимания путешественника,—по всему королевству кипела деятельность карбонариев. Запись о монахах датирована 8 марта, а через два дня началась в стране революция: в Алессандрии вспыхнуло восстание; восставшие солдаты захватили крепость и провозгласили испанскую конституцию.

Кюхельбекер покидал Ниццу в «хаосе чувств и мыслей противоречивых»: «Слухи, распространившиеся в последние дни моей бытности в Ницце об движении пьемонтских карбонариев, бунт Алессандрии и ропот армии, предчувствие войны и разрушения удвоили мое уныние».

Эта запись уже носит дату 16/4 марта и оканчивается стихотворением «Ницца», отразившим в полной мере чувства, о которых он говорит выше.

Край, посещенный им,—«область браней и свободы, рабских и сердечных уз». Его предчувствия безотрадны: он не сомневается в победе австрийцев («тудесков»), собирающихся раздавить народное движение.

Гром завоет; зарев блески
Ослепят унылый взор:
Ненавистные тудески
Ниспадут с ужасных гор.
Смерть из тысяч ружей грянет,
В тысячах штыков сверкнет;
Не родясь, весна увянет,
Вольность, не родясь, умрет!

Противоречие между жизнью природы и человеческой жизнью сокрушает его:

Здесь душа в лугах шелковых,
Жизнь и в камнях, и в водах!
Что ж закон судеб суровых
Шлет сюда и месть и страх?

И стихотворение кончается воспоминанием, преследующим его, о цепях французских каторжников, звон которых он слышал перед въездом в Ниццу:

Здесь я видел обещанье
Светлых, беззаботных дней:
Но и здесь не спит страданье,
Муз пугает звук цепей.

Этот робкий путешественник, ненавидящий врагов вольности—«тудесков» и, вместе с тем, страшащийся народных волнений «черни», предчувствующий с самого начала поражение восстания, не напоминает еще человека, действовавшего через четыре с лишним года с оружием в руках на Сенатской площади и стрелявшего в вел. кн. Михаила Павловича. Но боязнь выступлений «черни», при общем сочувствии освободительному движению,—черта, характерная для того крыла декабристов, к которому позднее принадлежал Кюхельбекер.

В одной из более ранних записей читаем: «Нас ожидает шерлоная [?] вселенная Парижская со всею грязью, со всем своим блеском и великолепием». Мы имеем возможность установить время прибытия Кюхельбекера в Париж. В номере газеты «Constitutionnel» от 1 апреля 1821 г. имеется заметка, датированная 31 марта: «Король принял на особой аудиенции г. Нарышкина (M. Nariskin), обер-камергера (grand-chambellan) императора России». Таким образом, Кюхельбекер прибыл в Париж в конце марта (нового стиля) 1821 г. И рукопись «Путешествия» кончается первою парижскою записью 27/15 марта: «Наконец я в Париже... что сказать о впечатлении, сделанном на меня новым Вавилоном, новыми Афинами? Я еще оглушен и не в состоянии ни восхищаться им, ни бранить его, ни бросать вокруг себя оптимизм, как то, говоря о Париже, обязанность всякого порядочного путешественника».

Весна 1821 г. была бурным временем для Парижа и Франции. Колеблющаяся и шаткая политика Людовика XVIII, все время со дня возвращения чувствовавшего себя скорее самозванцем, чем легитимным монархом, его шаткая «система качелей»—«système de bascule» грозила крушением. Весь 1820 г. был ознаменован уличными выступлениями недовольных, в том числе студенческой молодежи. Рознь между монархией Бурбонов и общественным мнением обозначалась все резче; с одной стороны, действовали ультрароялисты, предводимые графом д'Артуа, будущим Карлом X, с другой—все большую силу приобретали либералы, одним из главных и признанных вождей которых был Бенжамен Констан.

О пребывании Кюхельбекера в Париже сохранилось множество слухов и даже легенд. Из достоверных свидетельств, прежде всего, уцелел листок с лаконической записью Кюхельбекера, до сих пор не известный и являющийся самым важным и самым достоверным, хотя, к сожалению, далеко не полным, свидетельством.

Приводим его; листок записан с обеих сторон и содержит две отдельные записи:

$\frac{\text{4 апреля}}{\text{23 марта}}$

Баллет Клари.

Тальма, Лувр, Люксанбур, Тюлерии, Французская Опера, Варьете, Ш⟨е⟩валье Ланглез, Вери, Дюппинк ⟨или как Дюпень⟩, Жюльен, Гетеры, Кофейные домы, Письма из С. Петерб., встречи с старыми знакомыми, новые, минутные знакомства, ⟨открытое⟩ заседание во Француз. Институте, похвальная речь ⟨на⟩ Кавалеру Бенксу,—нищие, грязь, происшествия всякого рода, Пале Роял, целомудрие вашего друга,—⟨посреди Пале-Рояль⟩ ⟨проек[ты]⟩ воздушные башни, которые он строит ⟨в столи[це] и пр[очее]⟩. Кафедра (Фр.) в Афинее, ⟨на⟩ с которой он ⟨себ[я]⟩ ⟨он⟩ в воображении он уже знакомит французов с вашими стихами, с вашею прозою: вот ⟨что он⟩ о чем ⟨он⟩ я хотел бы ⟨по⟩ говорить с вами, но еще до сих пор не в состоянии.

$\frac{19}{7}$ апреля

Продолжаю свои лаконические отметки:

Жюльен, Жуи, Бенжамен, Камера Депутатов, действие на меня статуй — Аполлон убийца ящериц, два Бахуса, два Фавна, Диана с Ланью, боец Боргезский — вечера у Лангле и Жюльена: ‹отв[ет]› тонкое замечание первого. — Туманский. — Гейберг. — Франкони. Моя йнтрига. — Мамзель Марс. — Смерть Жозефины и Корсакова. — Смерть Мануэла. — Баггезен — Лекции. — Слабрендорф — Потье и Перле. — Итальянская Опера — Ноцци ди Фигаро — Пелегрини — Фодор.

Перед нами — план путевых заметок о Париже, набросанный вскоре после приезда и оставшийся неосуществленным; Кюхельбекер не имел времени в Париже для литературной работы, а приехав, долго рассчитывал на и з д а н и е записок (часть которых напечатал в своем альманахе «Мнемозина» и журнале «Соревнователь Просвещения»). Парижское же пребывание носило у него такой характер, что нечего было и думать о печатании парижских впечатлений. Отрывки дают возможность убедиться, что Кюхельбекер недаром рвался в Париж и что он сразу окунулся в шумную жизнь мировой столицы.

Громадное место среди первых впечатлений занимает искусство (как и всегда у него): театр и музеи. Лувр произвел на него, судя по перечислению статуй, исключительное впечатление; Кюхельбекер подробно описал Дрезденскую галлерею, выделив ее из «Путешествия», как самостоятельный очерк. Быть может, он намеревался сделать то же и с Лувром.

Жадность к впечатлениям у Кюхельбекера поразительная: за восемь дней он успел побывать в балете Клари, был во Французской опере, в Варьете, был в Лувре, обозревал Люксанбур и Тюильри. Многое напоминало ему, вероятно, о недавних происшествиях: в опере, после убийства герцога Беррийского, была разрушена зала Лувуа, и опера помещалась в зале Фавар, а в Тюильри произошел недавно взрыв.

Театральная жизнь Парижа кипела; путешественник видел Тальма, M-lle Марс, лучшую истолковательницу Мольера, Перле, знаменитого комика Потье, Франкони, знаменитого наездника; он увлечен и уличной жизнью столицы: обедает у известного ресторатора Вери, завязывает минутные знакомства, пишет о «кофейных домах», гетерах и, с некоторым сожалением, отмечает собственное целомудрие.

Вместе с тем, он сразу же попадает в средоточие научной и политической жизни страны. 4 апреля запись: «Заседание во Французском Институте, речь похвальная Кавалеру Бенксу», а 19 апреля: «Камера Депутатов».

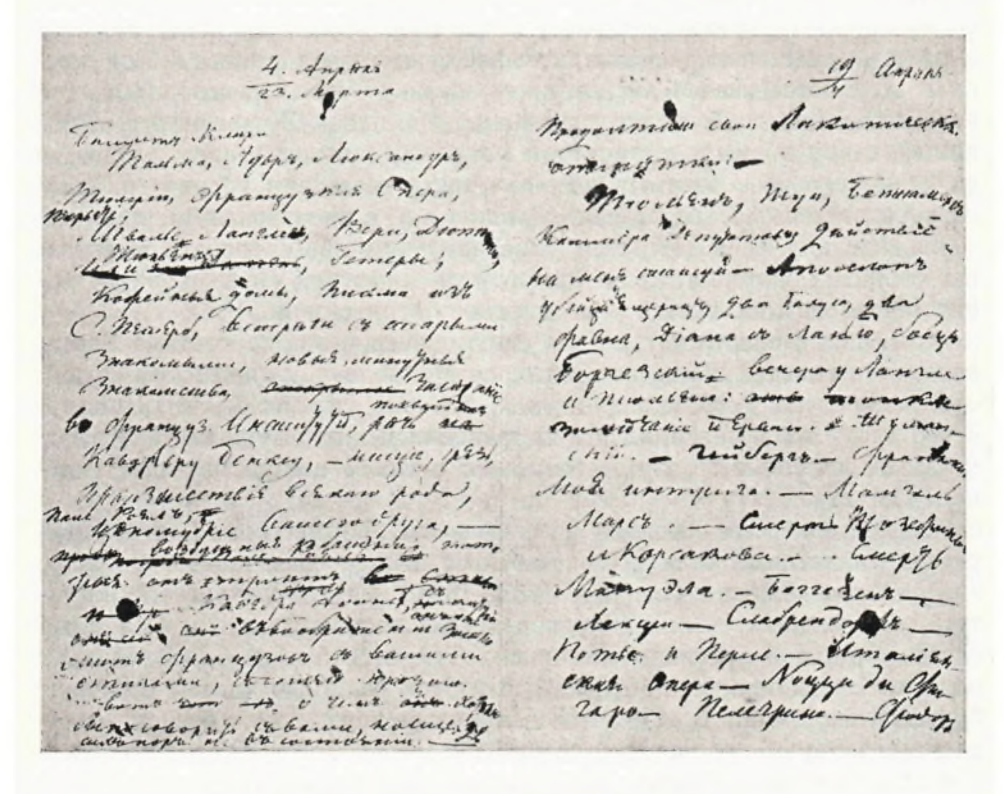
Джозеф Бенкс (1743—1820), английский ботаник и путешественник, был с 1802 г. членом Французского института. Он умер 19 июня 1820 г.; в апреле 1821 г. речь, посвященную его памяти, произнес во Французском институте Кювье. Может быть, отчасти этому непосредственному впечатлению можно приписать тот живой интерес и то преклонение, с которыми Кюхельбекер относился позднее к деятельности и трудам великого ученого. Уже сидя в Свеаборгской крепости, он встречается в журнале с именем Кювье и записывает 12 марта 1834 г.: «С удовольствием перечел я разбор Абеля Ремюза творения Кювье: голова кружится, когда соображаешь все открытия великого геолога Кювье!».

Сильное впечатление должно было произвести на будущего декабриста заседание Французской палаты. (Давая показания суду по делу 14 де-

кабря, он писал впоследствии о своем убеждении в необходимости представительного правления.) Кюхельбекер присутствовал, видимо, на заседании 18 апреля и на другой же день записал об этом (отчет об этом заседании появился в «Le Constitutionnel», в № от 19 апреля 1821 г.).

Внимательно следя за разнообразной жизнью Парижа, Кюхельбекер отмечает в первой записи «происшествия всякого рода», во второй же — «смерть Мануэла».

Кюхельбекер приехал в Париж 27/15 марта 1821 г. и пробыл в Париже


4. Апреля
23. Марта

19 Апреля
7

АВТОГРАФ ЗАПИСИ КЮХЕЛЬБЕКЕРА О ПАРИЖЕ

Листок с записью от 4 апреля/23 марта 1821 г. и оборот того же листка с записью от 19/7 апреля 1821 г.

Собрание Ю. Н. Тынянова, Ленинград

апрель и май. Каких же происшествий он был свидетелем или, по крайней мере, мог быть?

Мы видели, какое впечатление произвели на путешественника в Тулоне скованные каторжники. Между тем, 10 апреля был отправлен этапом кортеж скованных каторжников из тюрьмы «Бисетр» в Тулон. Среди них был Гравье, главный организатор покушения на герцогиню Беррийскую. Об этом много говорили в Париже.

10-го же апреля был убит на дуэли близ Бельвиля биржевой маклер Манюэль (Manuel), смерть которого Кюхельбекер отметил. Дуэль эта взволновала Париж. 12 апреля на похоронах Манюэля произошли беспорядки. Толпа заставила служить священников, отказавшихся исполнять обряд. Позднее, 24 апреля, Кюхельбекер мог присутствовать на заседании четырех академий (25-го выбрали Вильмэна во Французскую

академию), 19 апреля запись другого характера: «Смерть Жозефины и Корсакова».

26 сентября 1820 г. скончался во Флоренции от чахотки лицейский товарищ Пушкина и Кюхельбекера, Николай Александрович Корсаков, певец, музыкант и композитор-дилетант, писавший еще в лицее музыку на слова Пушкина. Пушкин посвятил его памяти сочувственную строфу в стихах 19 октября 1821 г. Таким образом, Кюхельбекер только в Париже, в апреле 1821 г., получил известие о смерти товарища. Уже будучи ссыльным, 10 ноября 1840 г., Кюхельбекер написал из Сибири Жуковскому письмо, которое показывает, что смерть его товарища, при том культе дружбы и товарищества, который существовал в лицее и был укреплен всей последующей литературной жизнью Кюхельбекера, была для него событием, глубоко его задевшим. Он писал Жуковскому: «Ваше письмо стану хранить с портретом матушки, с единственною дожившею до меня рукописью моего покойного отца, с последним письмом и манишечною застежкою, наследием Пушкина, и с померанцевым листком, сорванным для меня сестрицей Julie во Флоренции с гроба Корсакова; вот реликвии, которые, когда прилетит за мною мой ангел, передам моему Мише: по ним узнают мои друзья, что он сын мой»[5].

Жозефина, о смерти которой он узнал одновременно со смертью Корсакова,—это молодая Жозефина Вельо, памятная ему по лицейским годам[6].

В записях мы встречаем ряд имен, которые указывают, что Кюхельбекер сразу же познакомился с выдающимися литературными и общественными деятелями, сразу же очутился в самом центре интеллектуального Парижа.

Первое имя, встречающееся нам,—шевалье Ланглéс (или Ланглез; передача собственных имен у Кюхельбекера, как увидим, крайне неточна).

Луи-Матьё Ланглес (Langlès, 1763—1824), член Французского института, был видным ученым-популяризатором востоковедения и был тесно связан с русской официальной наукой. Так, в 1815 г. он был награжден орденом Владимира, а в 1818 г. был избран почетным членом С.-Петербургской академии. В 1819 г. он получил от короля знак Почетного легиона, в котором ему упорно отказывал Наполеон. Труды его были многочисленны и разнообразны: исторические (по истории Тамерлана, 1787); издание многочисленных путешествий, среди них путешествие Шардена в Персию, путешествие из Бенгалии в С.-Петербург Форстера (1802); он перевел с русского «Письма о манджурской литературе Афанасия Ларионовича Леонтьева» (1815), переводил и издавал сказки и басни персидские и индийские, составил словарь манчжурско-французский (mantchou-français, 1790) и т. д.

Единодушия в оценке его трудов не было. Французский Биографический словарь 1823 г.[7], высоко оценивая его деятельность, утверждает, что не только во Франции, но и во всей Европе мало столь трудолюбивых ученых, и подчеркивает, что его богатая библиотека и коллекции открыты с редкою любезностью для всех иностранцев.

Однако, уже Биографический словарь 1842 г.[8] характеризует все труды Ланглеса, как научно несостоятельные, и, упоминая о резкой полемике с ним Клапрота, говорит о его «азиомании», а личность его описывает в отрицательных тонах: он претендовал одновременно на роль ученого, роль писателя и вместе роль веселящегося светского человека без всяких на все это данных. Его труды оцениваются, как «посредственные публи-

кации», которые опровергались Клапротом. Впрочем, в одном согласны все: журнальная деятельность его была очень оживленной; он с 1796 г. редактировал с Дону и Боденом (Baudin) «Journal des Savants», был деятельным сотрудником «Magazin Encyclopédique», выходившего под редакцией Миллена (Millin), «Annales Encyclopédiques», «Revue Encyclopédique» и «Mercure Etranger». Конечно, не только русские связи, но и эта журнальная деятельность была качеством, интересным для путешественника, и привела Кюхельбекера в салон Ланглеса.

В записи 19/7 апреля он отмечает: «Вечера у Лангле и Жюльена: тонкое замечание первого». Таким образом, неоднократные посещения Ланглеса засвидетельствованы, а характер бесед с остроумным светским ученым и журналистом отмечен нераскрытой записью: «тонкое замечание».

Следующее имя—Вери,—повидимому, отмечено в порядке временной последовательности, а не важности; это фамилия известного ресторатора Very, ресторан которого в Пале-Рояле был в моде. Вяземский еще в 1838 г. в письме к дочери о нем отзывается: «лучшая здесь ресторация».

Зато имя, неуверенно (и неверно) переданное Кюхельбекером по-русски, как Дюппинк или Дюпень, говорит о многом. Это Георг-Бернгард Деппинг—литератор, германец по происхождению (1784—1853). Еще юношей он обосновался в Париже, а натурализовался во Франции в 1827 г. Он был связан со множеством передовых журналов, среди них, главным образом, с тем же «Magazin Encyclopédique», писал по вопросам географии, истории, состоял корреспондентом аугсбургской и кёльнской газет. В его литературной деятельности явно сказывается интерес к России. В 1821 г. он редактирует совместно с Malte-Brun многотомную «Историю России» Левека. Именно к 1821 г. относится его обширная и строгая рецензия в «Annales Encyclopédiques» на «Историю государства Российского» Карамзина. Несомненно, знакомству с Деппингом следует приписать встречи Кюхельбекера с виднейшим датским писателем Баггесеном, а также и Гейбергом, имена которых встречаются в записи Кюхельбекера от 19/7 апреля.

В лице Баггесена и Гейбергов Кюхельбекер столкнулся не только с замечательными датскими литературными деятелями, но и с политическими эмигрантами. Иенс Баггесен (1764—1826), знаменитый лирик, сатирик и юморист, выступавший против романтиков, преподававший в Кильском университете, уже в 1814 г. подал в отставку, а в конце 1820 г. покинул Данию и вместе с семьей переехал в Париж, где и обосновался. Имя Гейберга может означать либо Гейберга-отца, либо Гейберга-сына. Петер-Андреас Гейберг, известный датский сатирик, ратовавший за независимость датской литературы, против слепого подражания немецкой, находившийся под влиянием французских просветителей, был изгнан из Дании в 1799 г. и жил эмигрантом в Париже до самой смерти. Его сын, выдающийся писатель и эстетик Иоганн-Людвиг Гейберг (1791—1860), жил как раз в это время у отца в Париже (с 1819 по 1822 гг.). С его отцом встречались выдающиеся французские деятели, в числе которых были издатель «Revue Encyclopédique» Жюльен и сотрудники журнала—знаменитый естествоиспытатель Кювье, философ Кузен, Беранже. Молодой Гейберг посещал Мальте-Брёна (Malte-Brun), сотрудника Деппинга по его географическим трудам и политического противника его отца, и занимался у Кювье в Ботаническом саду (Jardin des Plantes).

Весьма возможно, что общение с датскими писателями, ратовавшими за самостоятельность родной литературы и пострадавшими за свои убеж-

дения, не осталось бесследным для Кюхельбекера, который еще в 1817 г. заявлял, что лучше всего иметь литературу народную.

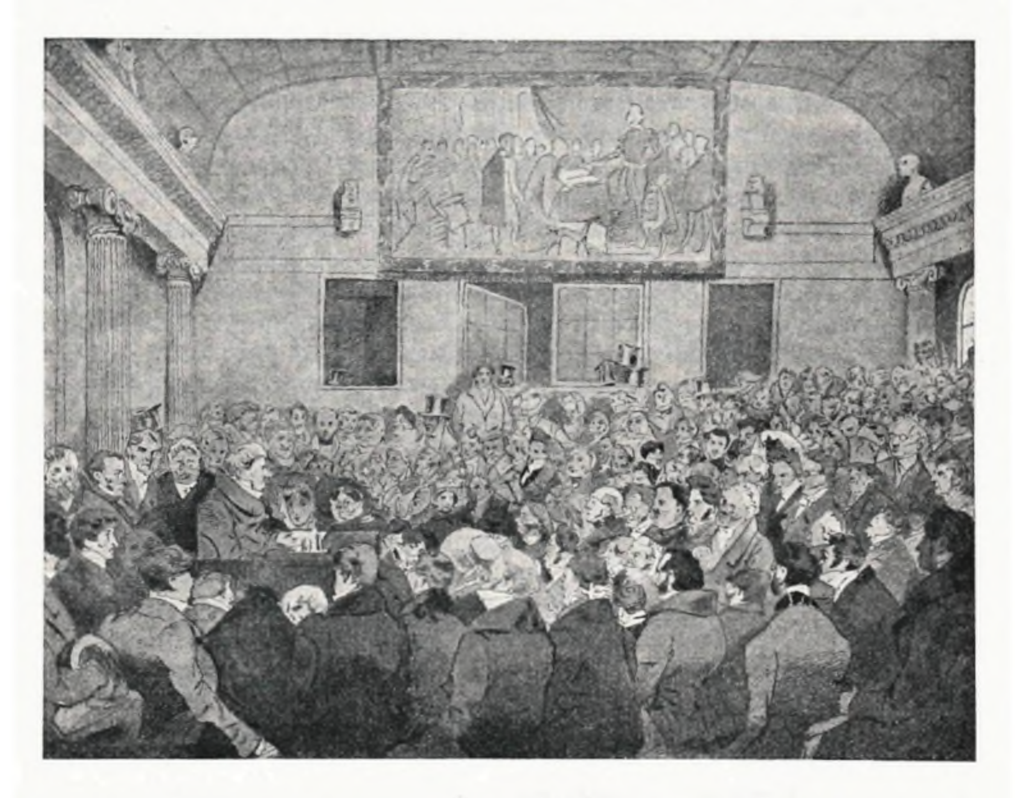
Из нефранцузских имен встречаем еще неправильно записанное Кюхельбекером имя Слабрендорф. Это граф Густав Шлабрендорф, немецкий эмигрант. Кюхельбекер встретил его уже стариком: он родился в 1750 г. В статье о Шлабрендорфе 1832 г. Варнгаген фон Энзе говорит о его эмиграции, о жизни и смерти в Париже и дает ему такую характеристику: «Государственный человек без должностей, чуждавшийся родины гражданин, богатый бедняк» («amtlos Staatsmann, heimatfremd Bürger, begütert arm»)[9]. Среди разнообразных интересов и занятий этой характерной личности достаточно упомянуть о том, что он был деятельным нововводителем в области типографского дела (введение стереотипной печати)[10], что им были написаны совместно с Рихардтом книги о Наполеоне и, наконец, что в последние годы жизни (он умер в 1824 г.) им была составлена богатая библиотека по Французской революции.

Совершенно особое место занимает в записях Кюхельбекера имя Туманского. С Василием Ивановичем Туманским, выдающимся лириком, Кюхельбекер был знаком, повидимому, еще до поездки за границу, но сблизились они в Париже. Туманский провел в столице Франции два года. Туманский известен, главным образом, как поэт-элегик, приятель Пушкина в одесский период его жизни (непосредственно после путешествия Туманского в Париж); менее известны его отношения с целым рядом декабристов: Бестужевым, Рылеевым и, наконец, Пестелем. Париж, с его вольностью, с вождями европейского либерализма—Констаном, Жуи и другими,—был для них общим впечатлением.

Имя Жюльена, близкого к кругу Гейбергов, встречается трижды в двух записях: в первой, от 4 апреля/23 марта, оно следует непосредственно за именем Деппинга (или Дюппинка, как его называет Кюхельбекер), во второй записи оно начинает многозначительный список новых знакомых: «Жюльен, Жуи, Бенжамен Констан» и, наконец: «вечера у Лангле и Жюльена». Все это указывает на близкое знакомство с Жюльеном и оживленные с ним отношения. Жюльен в это время был редактором широкого, открытого для всех областей знания и всех стран ежемесячного журнала «Revue Encyclopédique», объединявшего крупнейшие радикальные силы. Однако, нет сомнения, что Жюльен заинтересовал Кюхельбекера не только, как журналист,—разнообразная, богатая событиями жизнь этого человека, принимавшего самое деятельное участие во Французской революции, ее войнах и походах Наполеона,—вот что, конечно, привлекало молодого русского путешественника. Марк-Антуан Жюльен родился в 1775 г. В 1792 г., семнадцати лет, он был уже комиссаром революционных войск в Пиренеях, затем комиссаром Comité du salut public в Бордо, противником Каррье; редактировал во время революции журнал «L'Orateur Plébéien»; служил при итальянском легионе революционных войск, состоял при генерале Бонапарте, который поручил ему редактировать политические полуофициальные бюллетени под названием «Courrier de l'armée d'Italie»; 8 месяцев провел с армией в Египте; проделал неаполитанскую кампанию, был главным секретарем (secrétaire général) временного правительства Неаполитанской республики; предложил генералу Бонапарту план организации независимой, федеративной Италии; после битвы при Маренго ему было поручено составление мемуара об Италии. Он исполнял дипломатические миссии в Парме

и Голландии. Отношения его с Наполеоном были сложные, и он не раз попадал в опалу. В период вынужденного безделья он занимался вопросами воспитания и представил Александру I два мемуара: план военной и технической школы (école militaire et industrielle) и план административной реформы (l'organisation simplifiée des chancelliers, ou ministres de l'empire de Russie), заслужившие лестный отзыв и награды.

Жюльен участвовал в сражениях при Ульме и Аустерлице, нес обязанности интенданта, был приближен к Наполеону, снова впал в немилость, был во время «Ста дней» арестован и освобожден только после отречения Наполеона. При новом правительстве он впал, однако, в немилость, как



ПУБЛИЧНОЕ ЧТЕНИЕ КЮВЬЕ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ИНСТИТУТЕ
Литография с рисунка Г. Г. Гагарина
Частное собрание, Москва

бонапартист. Он уехал в Швейцарию, где его связывала тесная дружба с знаменитым педагогом Песталоцци (он издал в 1813 г. сочинение о его методе), а вернувшись, занимался публицистикой—был одним из основателей газеты «L'Indépendant» (затем—«Le Constitutionnel»), издал труды о выборной системе (Sur les éléctions, «Manuel Eléctoral») и в 1819 г. приступил к изданию «Revue Encyclopédique». Несомненно, человек столь бурной и разнообразной деятельности был для Кюхельбекера явлением совершенно новым и необычайно занимательным, а собеседником незаменимым[11].

Список новых знакомых идет у Кюхельбекера в возрастающем по их значению и интересу порядке: Жюльен, Жуи, Бенжамен Констан.

Виктор-Жозеф-Этьен Жуи (1764—1846) был разнообразным писателем. В его лице Кюхельбекер столкнулся не только с известным прозаиком,

автором многотомного «Пустынника» (Ermite), влиятельным литературным журналистом, сотрудником ведущих газет и журналов («Constitutionnel», «Minerve» и т. д.), но, прежде всего, с самым крупным тогдашним драматургом Франции. Он был не только признанным либреттистом таких композиторов, как Спонтини, Мегюль, Керубини, Россини, но и автором громких пьес, почти всегда, при античном историческом сюжете, наполненных злободневными политическими намеками: «Bélisaire» (1820), «Sylla» (1821). В трагедии «Велизарий» прославлялся весьма прозрачными аналогиями и намеками падший Наполеон и столь же ясны были нападки на Бурбонов. Цензура, первоначально пропустившая пьесу, затем запретила Тальма исполнять заглавную роль и изъяла ряд важнейших мест. Жуи публично читал пьесу и тогда же (1820) напечатал ее с прибавлением обширной полемики с цензурой и политической критикой. Столь же злободневна была трагедия «Sylla», в которой главный герой оправдывается в жестокости, ему приписываемой, объясняя ее необходимостью для римской свободы,—снова прозрачная полемика по поводу Наполеона с официальными публицистами бурбонской реставрации.

Кюхельбекер познакомился с Жуи в самый разгар его славы: еще не стерлось впечатление от «Велизария», и уже готовилось появление «Sylla» (премьера в Théâtre Français 7 декабря 1821 г.). Кроме того, в 1821 г. Жуи читал в «Athénée Royal» курс: «La morale appliquée à la politique», на котором остановимся позже; пока же заметим, что изданный в 1822 г. его курс стал любимым чтением декабристов и книга эта фигурировала в деле декабристов. Так, она была найдена у члена тайного общества Соединенных славян, майора Спиридова[12].

Третий, упоминаемый в этом перечне встреч и знакомств,—Бенжамен Констан. Николай Тургенев писал о нем: «Бенжамен Констан более всех сделал для политического воспитания не только Франции, но и остального европейского материка»[13]. О влиянии Бенжамена Констана на неаполитанских карбонариев говорит, например, такая широко распространенная газета, как «Journal des Débats» (номер от 4 апреля 1821 г.).

В показаниях большей части декабристов имя Бенжамена Констана фигурирует, как имя одного из идейных учителей. Его политические высказывания по отдельным вопросам, объединенные в курсе конституционной политики, были известны большей части северных декабристов. Так, вождь северных декабристов и ближайший друг Кюхельбекера, Рылеев, показывал: «Свободомыслием первоначально заразился я во время походов во Францию в 1814 и 1815 годах; потом оное постепенно возрастало во мне от чтения разных современных публицистов, каковы Биньон, Бенжамен Констан и другие...»[14]. Совершенно то же показал и Евгений Оболенский: «Вообще способствовало тому [образу мыслей декабристов.—*Ю. Т.*] чтение публицистов Benjamin Constant, Bignon и проч.»[15]. Декабрист Митьков счел даже нужным особо оговорить в показаниях, что во время пребывания в Париже он видел Бенжамена Констана только в Камере депутатов, «куда ходил иногда из любопытства». Кюхельбекер не назвал в показаниях имени Бенжамена Констана, но едва ли возможно сомневаться в значении для него знакомства и встреч с главным идеологом либерализма. Так, одною из главных причин его «неудовольствия настоящим положением дел» Кюхельбекер показал на следствии «крайнее стеснение, которое российская словесность претерпевала в последнее время не в силу цензурного устава, но, как я полагал, от само-

управства цензоров»[16]. Между тем, значительная часть памфлетов, брошюр, парламентских речей и т. д. Бенжамена Констана была посвящена именно этому вопросу.

За именем Бенжамена Констана в записи Кюхельбекера следует: «Камера Депутатов», что и замыкает фразу. Можно не сомневаться, что это есть обозначение места встречи (быть может, и не первой, а условленной вслед за первой). Можно, далее, предположить, что заседание, посещенное Кюхельбекером и посвященное жгучему вопросу о голоде, комментировалось затем в личной беседе с Бенжаменом Констаном.

Кроме того, Бенжамен Констан был интересен и ценен для Кюхельбекера, как писатель-романист, автор знаменитого романа «Адольф» (1815). Общеизвестны интерес Пушкина к этому роману и знаменитая строфа «Евгения Онегина», посвященная ему (22-я строфа VII главы). Кюхельбекер не имел случая в своей литературной деятельности отозваться на роман, но, сидя в одиночном заключении в Свеаборгской крепости, 4 апреля 1834 г. он перечел его (в переводе Вяземского, 1831) и посвятил ему целый день своей крепостной жизни.

4 апреля он записал: «Повесть Бенжамена де Констан: Адольф,— представляет мне богатую жатву для завтрашней отметки». 5 апреля он пишет рассуждение о романе: «Писать роман, повесть, стихотворение единственно с тем, чтобы ими доказать какую-нибудь нравственную истину, без сомнения не должно. Но иногда нравственная истина есть уже сама по себе и мысль поэтическая: в таком случае развитие поэтизма (поэтической стороны) оной—предприятие достойное усилий таланта.—К разряду таких истин принадлежит служащая основою повести Бенжамена де Констан: Адольф, без любви, единственно для удовлетворения своему тщеславию предпринимает соблазнить Элеонору; между тем худо понимает и себя и ее, успевает, но становится ее жертвою, рабом, тираном, убийцею.—Вообще в этой повести богатый запас мыслей,— много познания сердца человеческого, много тонкого, сильного, даже глубокого в частностях; смею однако думать, что она являлась бы в виде более поэтическом, если бы на нее еще яснее падал свет из той области, где господствует та тайная, грозная сила-воздаятельница, в которую примерами ужасными, доказательствами разительными, неодолимыми учит нас веровать не одна религия, но нередко события народные и жизнь лиц частных. Поэтической стороною этой общей истины в повести: Адольф [было бы] именно то, что тут погубленная Элеонора противу собственной воли становится Евменидою-мстительницею для своего губителя. Но чтобы вполне проявить поэзию этой мысли, нужно бы было происшествие более трагическое, даже несколько таинственное... В отдельных мыслях и замечаниях, которые выпишу, заметно что-то Сталевское; в них видно, как много необыкновенная женщина, бывшая для белокурого Бенжамена чем-то вроде Адольфовой Элеоноры, споспешествовала обогащению его познаниями, идеями, наблюдениями и опытами, подчас статься может, довольно горькими».

Далее следует десять выписок из романа.

Приводим первую: «Как скоро я слышал пустословных, усердно рассуждающих о самых неоспоримых, утвержденных правилах нравственности, приличия и религии—а они все это охотно ставят на одну черту—я не мог не противоречить, не потому чтобы мои мнения были противоположны, но потому что мне досадно было столь твердое, столь грубое убеждение».

В рассуждении по поводу романа слышится не критика, а настроения узника. Проекция частной драмы и личного понятия возмездия в область событий народных—глубоко индивидуальная черта Кюхельбекера. Последнее его стихотворение, направленное против всесильного шефа жандармов, Орлова, почти дословно повторяет рассуждение по поводу «Адольфа»:

Но есть, поверь мне, есть на свете Немезида,
И ею всякая приемлется обида
И в книгу вносится, и молча книгу ту
Читает день и ночь таинственная дева
И выбирает жертв, и их казнит без гнева,
Но и без жалости. За ложь и клевету
Заплотят некогда такою ж клеветою... и т. д.

Эта вера в Немезиду в области «событий народных» для представителя раздавленного декабристского движения была верою в будущее русского освободительного движения, будущее русского народа.

Именно так проявляет себя Кюхельбекер в 1834 г., к которому относится запись о Констане. В октябре 1834 г. он кончает большую стихотворную трагедию «Прокофий Ляпунов»—о первом земском ополчении против польской интервенции XVII в., полную этими настроениями. Но в рассуждении есть и черта личного знакомства—именно там, где Кюхельбекер комментирует автобиографичность повести, где он говорит о влиянии M-me де Сталь на «белокурого Бенжамена».

Встречи Кюхельбекера с Бенжаменом Констаном, Жуи и Жюльеном были важны еще в одном отношении. В первой записи от 4 апреля, являющейся планом путевых записок и сделанной всего через 9 дней после прибытия в Париж (Кюхельбекер прибыл, как мы видели, 27 марта), содержится совершенно определенный план выступлений и лекций, которые Кюхельбекер собирается прочесть в Париже; после описания Пале-Роаяля он говорит: «Воздушные башни, которые он[17] строит. Кафедра в Афинее, с которой в воображении он уже знакомит французов с вашими стихами, с вашею прозою». Предшествующие имена Ланглеса, Деппинга, Жюльена позволяют предполагать, что именно от них и исходил первоначальный план прочесть в «Афинее» («Athénée Royal») цикл лекций о современной русской литературе.

Что представлял собою «Athénée», в котором Кюхельбекер собирался прочесть лекции? Первоначальный ответ на это, даваемый Лависсом, нас разочаровывает. Лависс считает «Атеней» местом, где читались изысканные лекции для блестящей светской публики[18]. Здесь, несомненно, произошла интересная ошибка: светский, блестящий характер помещения, в котором происходили собрания «Атенея», а также, с одной стороны, парадное прошлое, с другой—парадное официальное назначение учреждения подменили здесь собою истинный характер заседаний «Атенея» в 20-х годах. Здание было, действительно, блестящее. Описание помещения «Атенея» на rue Valois, Palais Royal 2, когда он был в эпоху революции «Лицеем», дает сведения об исключительной роскоши убранства и архитектурном богатстве здания[19].

Официальное назначение учреждения и его аристократическое прошлое не подлежат сомнению. «Это учреждение,—читаем мы в официальном издании, относящемся ко времени, о котором мы говорим,—исключительно посвященное наукам и литературе, было учреждено Пилатром

де Розье, под покровительством старшего брата короля (ныне Людовик XVIII). Заслуженные в различных областях лица преподают здесь в продолжение большей части года. Это—арена, открытая для молодых талантов. Для того, чтобы быть принятым в это общество, нужна рекомендация двух членов. Цена абонемента 120 франков в год. Лекции начинаются с 7 часов вечера»[20]. Однако, таково было только официальное назначение учреждения. Именно ко времени пребывания Кюхельбекера в Париже относится шум, вызванный курсом, посвященным «политической морали», читавшимся в «Athénée Royal» Жуи.

«Le Courrier Français» от 10 февраля 1821 г., излагая содержание этих лекций, описывает впечатление, ими произведенное: «Толпа стремится на каждую лекцию Жуи. Лекции о морали посещаются с таким рвением, словно это заседания Палаты депутатов или представления Итальянской оперы».

Газета излагает последнюю лекцию Жуи, и становится ясной причина успеха лекций. Верный, как и в драме, своему методу намеков и аналогий, Жуи, воздав хвалу пяти историческим деятелям, являющимся, по его словам, исключениями—Suger, L'Hôpital, Sully, Turgot, Malesherbes,—«обрушился со всем негодованием на тех, которые привели столько народов к несчастью и государей к слабости». Характерно, что имена последних в газете не названы. Закончил он лекцию рассмотрением некоторых пунктов английской конституции, причем обратил особое внимание на закон об ответственности министров, «необходимость и польза которого доказана для всех, кто признает вместе с красноречивым профессором «Атенея», что на каждый период двух протекших столетий едва ли найдется более одного хорошего министра» («Courrier Français», 10. XI. 1821).

Редакцией «Литературного Наследства» любезно предоставлены мне материалы, позволяющие исключительно точно воспроизвести не только характер лекций Жуи, но и характер всего «Атенея» в бурный период начала 20-х годов. Таково содержание рапорта барона de Lourdoueix, управлявшего отделом искусств, науки и литературы (directeur de la division des beaux arts, sciences et belles lettres), министру внутренних дел де Корбьеру, датируемого концом 1821 г.—началом 1822 г., о деятельности «Атенея». Рапорт начинается с того, что литературные общества существуют только в силу дозволения правительства и под определенными условиями, которые предписываются регламентом, одобренным министерством внутренних дел, и что одним из этих условий является: деятельность общества должна оставаться чуждой политике. Соглашаясь с тем, что мораль, логика и почти все вопросы философии, история и даже поэзия связаны в некоторых отношениях с общею политикою и что поэтому трудно применять в точном смысле запрещения, накладываемые судебным кодексом и регламентом литературных обществ, Лурдуэкс указывает, однако, что, при всей неизбежной широте программы занятий общества, нельзя не назвать чисто политической лекцию по поводу поправок, принятых в Камере депутатов, лекцию, в которой эти поправки обсуждаются, истолковываются, страстно оспариваются, причем делаются «опрометчивые выводы» о проектах аристократии, об идеях обскурантизма и варварства, которые ей приписываются; лекцию, в которой, наконец, «нагромождаются все общие места полемики оппозиции против проекта закона, который еще подлежит обсуждению в палатах».

Именно таковы злоупотребления, продолжает Лурдуэкс, «в литературном обществе, называющем себя „Athénée Royal"» (последнее слово иронически подчеркнуто). Далее говорится о лекции профессора литературы Ленгэя (Lingay) в «Атенее», по поводу сочинений Шенье и по поводу молчания, которым обходит проект закона перепечатку сочинений философов. Указывается, что лекция, содержащая эти нападки, полностью напечатана в газете, выражающей при этом желание, чтобы члены Палаты пэров прислушались к ней. Лурдуэкс заключает, что невозможно отрицать политического характера этих лекций. При этом он добавляет: «Не в первый раз власти вынуждены вмешиваться в дела «Athénée Royal» для того, чтобы ограничить, насколько возможно, ясную революционную тенденцию претенциозной литературы, которую здесь преподают; достаточно справки, которую я получил, о том, что предыдущий министр вынужден был прекратить курс «морали», который вел в этом обществе Жуи». Далее Лурдуэкс добивается прекращения лекций Ленгэя, если министр «не предпочтет вовсе прекратить на несколько месяцев заседаний «Атенея» для того, чтобы наказать администрацию этого общества, как нарушившую условия его существования».

Насколько «Атеней» был неприятен и даже опасен в глазах правительства Реставрации, видно из рапорта префекта полиции министру внутренних дел от 19 января 1825 г.:

«Уже давно парижский «Атеней» привлекает внимание правительства антирелигиозными и антимонархическими доктринами, которые публично в нем проповедуются. Именно в этом обществе Тиссо, Лакретель, Бенжамен Констан и другие профессора того же учреждения последовательно развивают самые вредные принципы».

Таким образом, если уже в первой записи Кюхельбекер мечтает о влиятельной кафедре «Атенея», с которой он будет знакомить парижан с новою русскою литературою (и, конечно, в первую очередь, с творчеством друзей, к которым и обращена запись,—Пушкина, Баратынского, Дельвига), то после второй записи, в которой говорится о встречах с Бенжаменом Констаном и Жуи—идейными руководителями и лекторами «Атенея», эти мечты стали действительностью.

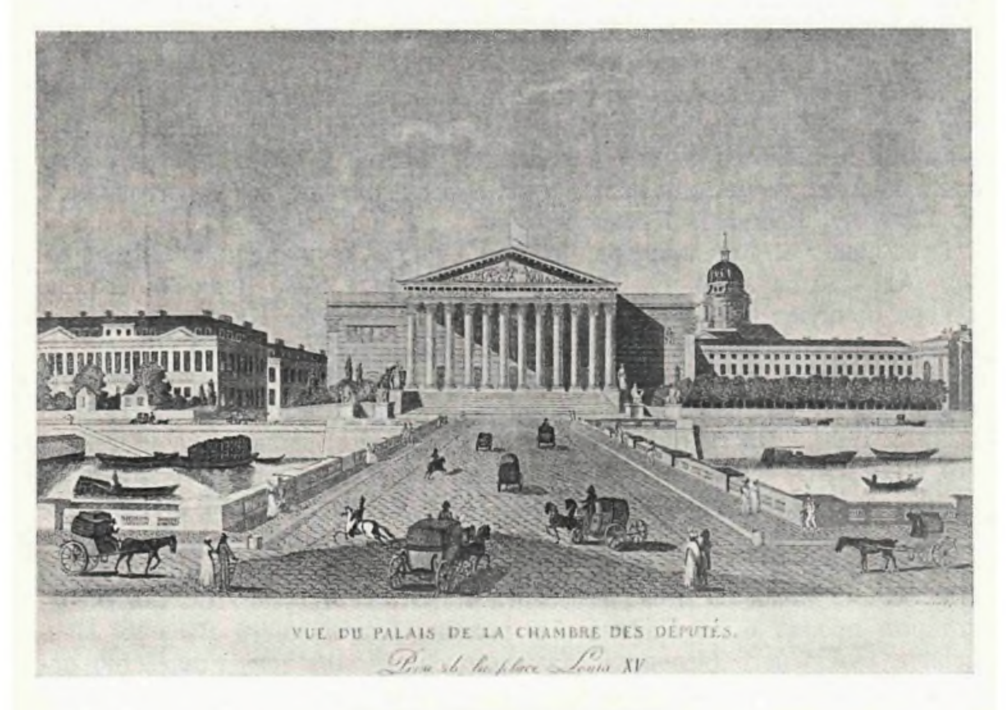
Отметим, что не только парижский путешественник думал все время о друзьях, их судьбе и творчестве. В России друзья также не забывали его. Пушкин писал Дельвигу из Кишинева 23 марта 1821 г. (когда Кюхельбекер подъезжал к Парижу): «О путешествии Кюхельбекера слышал я уж в Киеве. Желаю ему в Париже духа целомудрия, в канцелярии Нарышкина духа смиренномудрия и терпения; об духе любви не беспокоюсь: в этом нуждаться не будет; о праздногловии молчу — далекий друг не может быть излишне болтлив»[21].

Лекции Кюхельбекера в «Атенее» читались, повидимому, в конце апреля — в мае. Мы видим, что для этого нужна была рекомендация двух членов,—повидимому, ее дали Бенжамен Констан и Жуи.

Можно предполагать, что курс лекций Кюхельбекера о русской литературе был широко задуман. Вспомним, какие историко-литературные вопросы поставил в беседах с ним Гёте («свойство нашей поэзии и языка русского») и какие темы собирался осветить Кюхельбекер в переписке с ним: особое внимание он намеревался обратить на историю русской словесности, на «простонародную» русскую поэзию и на ее просодию. С другой стороны, в непосредственных планах курса он говорит именно

о современной русской поэзии, о творчестве его друзей, т. е. Пушкина, Баратынского, Дельвига. Надо сказать, что таково и его чтение во время путешествия; в Ницце 8 марта (24 февраля) он записывает: «Перечитываю в сотый раз Батюшкова, Пушкина, Дмитриева, Державина». Конечно, в своих лекциях он говорил и о Державине, и о Дмитриеве, и о Батюшкове, и больше всего о Пушкине.

Таким образом, курс, который читал Кюхельбекер, был построен, по-видимому, именно в этих широких границах. Впечатления вольности отразились на страстности политических высказываний. Курс имел шумный успех. Уже в сибирской ссылке, на диком берегу Онона, в июле 1840 г., он вспомнил о своих лекциях в стихотворении «Три тени», посвя-



ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ В ПАРИЖЕ
Гравюра Бланшара-отца с рисунка Курвуазье
Музей изобразительных искусств, Москва

щенном памяти друзей: Грибоедова, Дельвига, Пушкина. Он говорит о себе:

> Кому рукоплескал когда-то град надменный,
> Соблазн и образец, гостиница вселенной.

Но курс этот кончился ранее, чем это предполагалось. 27 июня 1821 г. старый директор Царскосельского лицея, Энгельгардт, не перестававший интересоваться (впрочем, главным образом с точки зрения репутации учебного заведения, им руководимого) жизнью питомцев первого курса (среди которых были Пушкин и Кюхельбекер), писал: «Приехав в Париж, Кюхельбекер вздумал там завести «lectures semi-publiques sur la littérature russe». Невзирая на уродливость его фигуры и отрицательный его орган, слушали его с должным участием, но чорт его дернул забраться в политику и либеральные идеи, на коих он рехнулся, запорол чепуху,

так что Нарышкин его от себя прогнал, а наш посланник запретил читать и, наконец, выслал его из Парижа. Что из него будет, бог знает, но если с ним что-нибудь сделают, то будет грех. Он свихнулся, и более ничего, но едва ли это так принято будет. Жаль его, но более жаль еще репутацию бедного лицея, на который уже и без того нынешние святые жестоко нападают и хотят доказывать, что плоды нашего заведения и воспитания суть наивреднейшие для государства. Прицепились к Пушкину, теперь прицепятся к Кюхельбекеру»[22]. В тех же чертах, но более анекдотично описывал это позднее в своих мемуарах реакционный журналист Греч. Если не обращать внимания на тон плоских насмешек, принятый по отношению к Кюхельбекеру, на совершенно вздорное утверждение, что «часть публики смеялась над ним», на несомненно придуманный анекдот о Кюхельбекере, будто бы так жестикулировавшем, что «слетел с кафедры», на ошибку в годе (1820 вместо 1821) и т. д., можно извлечь и из записок Греча несколько черт, заслуживающих внимания. Дело в том, что лето 1825 г., перед декабрьскими событиями, Кюхельбекер, вынужденный заниматься черной журнальной работой у Греча, провел с ним, и в записках, неточных и уснащенных зубоскальством, все же отразились, повидимому, рассказы Кюхельбекера.

Греч пишет о Кюхельбекере, что он «...поехал в чужие края секретарем при Александре Львовиче Нарышкине, который было полюбил его, но вскоре принужден был с ним расстаться. В Париже Кюхельбекер свел знакомство с какими-то либеральными литераторами и вздумал читать на французском языке лекцию в «Атенее» о литературе и политическом состоянии России, наполненную вздорными идеями, которые тогда (1820 г.) были в моде. Часть публики смеялась над ним; другая рукоплескала его выходкам. В конце речи он сделал какое-то размашистое движение рукою, сшиб свечу, стакан с водою, хотел удержать и сам слетел с кафедры. Один седой якобинец слушал его внимательно и поддержал со словами: «Ménagez-vous, jeune homme! Votre patrie a besoin de vous». Нарышкин, узнав об этом, взбесился и выгнал от себя Кюхельбекера, который пропал бы в Париже без помощи благородного Василия Ивановича Туманского (человека с замечательным талантом, неизвестно почему оставившего службу и свет). Он же помог Кюхельбекеру пробраться в Россию».

Формулировка: «о литературе и политическом состоянии России», заслуживает всяческого внимания. «Седой якобинец»—возможное воспоминание Кюхельбекера, и вероятнее всего, это Жюльен. Вероятна и роль опекуна, которую сыграл по отношению к Кюхельбекеру, оказавшемуся в отчаянном положении, поэт Туманский, о парижских встречах которого с Кюхельбекером мы уже говорили.

Поведение Нарышкина по отношению к вольнодумцу-секретарю описывается одинаково и Энгельгардтом и Гречем: он его прогнал. Уже находясь на службе у Ермолова в Тифлисе, 6 февраля 1822 г. Кюхельбекер недоброжелательно вспомнил о своем бывшем принципале. Он писал о Ермолове, сравнивая его с Нарышкиным: «Мой шеф—сердечный, благородный человек; какое пространство отделяет его от непостоянного, ветренного царедворца, с которым я путешествовал!» («welch ein Raum zwischen ihm und dem unste[ti]gen, windigen Höfling, mit dem ich gereist habe!»). Непостоянный, ветренный царедворец—таким остался Нарышкин в памяти Кюхельбекера.

Из Парижа в Петербург Кюхельбекер вернулся в августе 1821 г. через Варшаву вместе с Туманским.

19 августа 1821 г. Александр Иванович Тургенев писал к П. А. Вяземскому из Петербурга: «Я прочел сейчас лекцию Кюхельбекера в Париже; c'est curieux! Между тем он здесь и умирает с голоду»[23].

Кюхельбекер скрыл от матери свои злоключения. В письме от 10 августа 1821 г. он писал ей: «Я закончил свое путешествие: совершенно восстановленное здоровье, разнообразные сведения, повеселевшее настроение и большое богатство воспоминаний,—вот в немногих словах следствие этого, в высшей степени замечательного для всей моей жизни, дара моей судьбы» (оригинал по-немецки).

Он был вполне искренен: путешествие необычайно его обогатило, и впечатления его отразились на его последующей судьбе. Впечатления путешественника сохранились в корпусе «Путешествия», которое Кюхельбекеру удалось напечатать только отрывками в журналах; парижские встречи, о которых сохранился след только в бегло набросанном плане, повлияли на него.

1821 г. как начался для него, так и окончился: бурно. Он сам удивлялся повороту своей судьбы; 29 сентября 1821 г. он писал матери из Москвы: «Новый год я встречал в Марселе, пасху провел в Париже, в начале августа был в Петербурге, а рождество проведу, вероятно, в Тифлисе, Баку или на границе с Персией» (оригинал по-немецки).

Между тем, в путешествии Кюхельбекера был один факт, до сих пор еще не выясненный. Во время его путешествия началась война Греции за независимость. На Кюхельбекера она произвела громадное впечатление. Он пишет в 1821—1822 гг. ряд «греческих стихотворений» («К Ахатесу», «Пророчество» и др.), в которых зовет на борьбу за Грецию и проклинает предательскую политику Англии, а уже в 1842 г. пишет III часть своей байронической мистерии «Ижорский», где герой погибает в Греции, подобно Байрону. (Одним из действующих лиц в ней является Каподистрия.) Здесь следует упомянуть, что любимым чтением его во время путешествия в 1821 г. был именно Байрон. В Ницце 25/13 марта он пишет в дневнике своего путешествия: «едва раскрыл *своего* Байрона» и т. д.

Мы знаем, что один из лицейских товарищей Кюхельбекера и Пушкина, Сильвер Броглио, уехавший вскоре по окончании лицея за границу, погиб в 1821 г. в борьбе за независимость Греции. И вот когда возник вопрос, по возвращении из путешествия, об определении Кюхельбекера (или, проще говоря, удалении его) в Грузию, на службу при Ермолове, Ал. Ив. Тургенев, хлопотавший за Кюхельбекера, писал 30 августа 1821 г.: «Мы устроили его дело. Государь знал все о нем: *полагал его в Греции* и согласился определить к Ермолову». Разумеется, Александр I превосходно все знал о Кюхельбекере. И, повидимому, суждение царя о намерении Кюхельбекера ехать в Грецию сражаться за вольность было основано на агентурных сведениях. Кюхельбекер вообще очень скудно запечатлевал подобные намерения, и мы более ничего об этом не знаем.

Роль Кюхельбекера, как посредника между русской литературой и, в первую очередь, ее молодым авангардом, с Пушкиным во главе, с одной стороны, и такими писателями Запада, как Гёте и Бенжамен Констан,— с другой, не должна быть забыта.

Менее доступная для изучения его роль передатчика живых впечатлений от встреч с Гёте—Грибоедову и от встреч с Бенжаменом Констаном—Рылееву также не подлежит сомнению.

Вообще впечатление, произведенное его путешествием, было большое. Он возбудил всеобщее внимание, любопытство, и это сопровождалось в литературе шумом, шутками, слухами (которые отчасти и передает позднейший рассказ Греча). Все это очень живо отразилось на портрете Кюхельбекера, который удалось теперь разыскать в альбоме, принадлежавшем А. Е. Измайлову. Этот прекрасный портрет нарисован, вероятно, литератором П. Л. Яковлевым, талантливым рисовальщиком, братом лицейского товарища Пушкина и Кюхельбекера, входившим в тесный литературный круг А. Е. Измайлова, которому он доводился племянником. Акварельный портрет шаржирован в манере модного тогда Дебюкура (Debucourt) и с первого взгляда похож на модную картинку. Громадного роста поэт одет по последней моде: длиннейший голубоватого цвета редингот, под ним черный камзол и желтый жилет, желтые рейтузы, ботфорты с кисточкой, белое жабо, черная трость, велюровый цилиндр с широкими полями. Само собою, все это характеризует только-что вернувшегося путешественника и несколько его шаржирует: он как бы вернулся не только модным человеком, но и модником. Это облегчает и датировку портрета: он нарисован, несомненно, осенью 1821 г., в августе — сентябре, по приезде Кюхельбекера в Петербург и до прибытия на Кавказ (декабрь 1821 г.), когда представление о нем, как о «кавказце», тоже достаточно яркое, уже должно было вытеснить из общей памяти его «парижский» облик. Предположение это находит подтверждение и в том факте, что в первые же недели по возвращении в Петербург Кюхельбекер встречался с П. Л. Яковлевым,—21 августа Кюхельбекер записал в его альбом шуточную автохарактеристику[24].

Нарисован портрет в альбоме А. Е. Измайлова, председателя «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», членом которого Кюхельбекер был, и редактора журнала «Благонамеренный», в котором он печатался. Этот шарж—живой отклик интереса и толков о путешествии Кюхельбекера в петербургской литературе. Любопытна и подпись: «Г. Кугельбекер». Написана она (вероятно, тем же П. Яковлевым или, может быть, самим хозяином альбома, А. Е. Измайловым) с несомненной подделкой под характерный почерк самого Кюхельбекера. Соль шутки ясна. Мирный «хлебопекарь» (в шуточном переводе Ермолова, возможно, той же или, во всяком случае, немногим более поздней даты, что и подпись) превратился в воинствующего пекаря пуль и ядер (ср.: Kugelgiesser—отливщик пуль, ядер). Слава о парижских выступлениях Кюхельбекера и о его высылке явно занимала художника и автора подписи.

Отметим ценность этого портрета и самого по себе—это единственный портрет поэта во весь рост и вообще одно из немногих его изображений.

Больше всех и лучше всех знали о путешествии Кюхельбекера двое: Пушкин и Грибоедов. Пушкин—от общего приятеля, В. Туманского, свидетеля жизни Кюхельбекера в Париже, спутника его возвратного путешествия, который сразу же после того поехал в Одессу, где жил Пушкин; Грибоедов же—от самого Кюхельбекера.

Несомненно, для чернового, первоначального наброска фигуры Ленского личность Кюхельбекера дала важные материалы, но, прибавим, именно Кюхельбекера времени путешествия; самое путешествие также вошло

в этот набросок, как грунт,—притом чертами, которые, может быть, ранее не были столь ясны Пушкину.

Крикун, мятежник и поэт
Он из Германии свободной
Привез учености плоды

(или: «Привез ученость и труды», ср. «Путешествия», на которые Кюхельбекер надеялся, как на основу своего литературного и материального положения). Ср. также черновые варианты:

Вольнолюбивые мечты
[Неосторожные мечты
Немного вольные мечты]
Дух пылкий прямо благородный

Несправедливость, угнетенье робость, клевета
И жажда мщенья
Любовь и месть кипели в нем
И к людям пылкая любовь
И к ближним пылкая любовь
Рождали в нем негодованье ненависть и мщенье

Он лирой странствовал на свете
Под небом Шиллера и Гете
Их поэтическим огнем
Душа воспламенилась в нем

Все дочек прочили своих
За полу-русского соседа.

Вопрос о дружбе с Кюхельбекером, которую тогда временно осложнили литературные разногласия, волновал Пушкина. Недаром как раз в это время в письме к Кюхельбекеру Туманского с припискою Пушкина Туманский укоризненно цитирует XIII строфу II главы:

Так люди (первый каюсь я)
От делать нечего—друзья.

К тому же времени относится крайне любопытное прозвище, данное Кюхельбекеру Пушкиным: «Что журнал Анахарсиса-Клоца-Кю⟨хельбекера⟩?» (письмо Пушкина Вяземскому от 20.XII. 1823 г. из Одессы). И через полтора года, уже из Михайловского, он опять вспоминает Анахарсиса Клоца: «Надеюсь, что Дель⟨виг⟩ и Бар⟨атынский⟩ привезут мне и Анахарсиса Клоца, который верно сердится на меня, что мне не понутру резвоскачущая кровь Гриб⟨оедова⟩».

На этом замечательном прозвище стоит слегка остановиться. Прежде всего, естественно предположить, что оно возникло не сразу. Первый образ был, вероятно, просто Анахарсис. Герой знаменитого «Путешествия» Бартелеми, молодой скиф, путешествующий по Греции, дружащий с Солоном, приобщающийся к эллинской культуре, был у Пушкина общим образом русского путешественника по Западу. В 1830 г. он писал в послании «К вельможе», воображая встречи Юсупова с Дидро:

... И скромно ты внимал
За чашей медленной афею иль деисту,
Как любопытный скиф афинскому софисту.

В 1823 г. естественно было применить образ молодого скифа к Кюхельбекеру в Париже, хотя бы к его встречам с Бенжаменом Констаном, о которых, конечно, рассказывал Пушкину Туманский*.

А затем уже, ассоциативно, это имя, вероятно, вызвало имя Анахарсиса Клоотса,—и в этом имени, конечно, сгустились все рассказы Туманского о пребывании Кюхельбекера в Париже и о его выступлении в «Athénée Royal». Французский революционер, немец по происхождению, о котором Флобер составил законченное представление, как об историческом чудаке и фантасте (см. письмо к г-же де Женетт от 1.III.1878 г.),—это не только шутливое прозвище Кюхельбекера, но и художественный образ.

С Грибоедовым Кюхельбекер встретился, как единомышленник,—между ними оказалось полное единство взглядов: тот же патриотизм, то же сознание мелочности лирической поэзии, не соответствующей великим задачам, наконец, интерес к драме. Кюхельбекер присутствует при самом создании «Горя от ума» (декабрь 1821 г.—май 1822 г.). Грибоедов читает ему в Тифлисе только-что написанные два акта комедии; позднее он присутствует в Москве (и деревне Бегичева) при завершительной работе над комедией.

Грибоедов становится другом и доверенным всех замыслов Кюхельбекера. Нет сомнений, что Кюхельбекер подробно рассказывал ему о путешествии, и не только о беседах с Гёте и Бенжаменом Констаном: Грибоедову были, вероятно, интересны и разговоры Кюхельбекера с ориенталистом Ланглесом, которого он хорошо знал по изданию «Путешествия» Шардена, с драматургом Жуи и рассказы об игре M-lle Марс, учительницы А. М. Колосовой, да и вообще обо всей театральной жизни Парижа, как и о западных музыкальных впечатлениях (дирижерство Спонтини, игра Мендельсона).

Личность Кюхельбекера, вернувшегося из чужих краев и никак не могущего устроиться на родине, сразу же остро столкнувшегося с обществом,—полувынужденный отъезд на Кавказ; столкновение и дуэль на Кавказе с одним из чиновников Ермолова; даже самая версия о безумии, «болезненных припадках», которая вошла в официальный акт об его отставке,—все это было ценными материалами при создании образа вернувшегося из чужих краев Чацкого и деталей «Горя от ума».

В московском свете Кюхельбекер, после Европы и Тифлиса, возбудил подлинный шум. Князь Сергей Голицын, близкий к генерал-губернатору Москвы, собирался хлопотать о нем; граф Вл. Гр. Орлов публично несколько раз выдавал его за близкого родственника; его свойственник Петр Львович Давыдов объявил себя другом Кюхельбекера. (В это время Кюхельбекер ходил пешком, не имея возможности нанимать извозчиков, и давал частные уроки.)

В «Горе от ума», в 21-м явлении третьего действия, Хлёстова говорит с княгиней:

Хлёстова

И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних
От пансионов, школ, лицеев, как бишь их,
Да от ланкарточных взаимных обучений.

---

* Любопытно, что в заметке «О цензуре» 1833 г. он говорит о софизмах Констана.

Княгиня

Нет, в Петербурге институт
Пе-да-го-гический, так, кажется, зовут:
Там упражняются в расколах и в безверьи
Профессоры!..

СТРАНИЦА АВТОРИЗОВАННОЙ РУКОПИСИ „ПУТЕШЕСТВИЯ“ КЮХЕЛЬБЕКЕРА, 1823 г.

Собрание Ю. Н. Тынянова, Ленинград

Здесь дан полный и точный список учебных заведений, в которых учился и преподавал Кюхельбекер: он окончил лицей, преподавал в Педагогическом институте, был воспитателем пансиона и состоял при этом секретарем Общества взаимных ланкастерских обучений.

Кюхельбекер с 1826 г. пробыл 10 лет в одиночном заключении в крепостях. Мир его отныне был скуден, но литературное творчество в крепостных стенах кипело, а память была остра. 7 апреля 1835 г. он вспомнил

о своем путешествии: «Я вздумал взглянуть на довольно плохую картинку в моем английском словарчике: вид Лондона с большого Темзского моста,—и задумался: я мечтою бродил по городам, которые и я когда-то видел при подобном освещении,—в моем воображении мелькали Петербург, Москва, Париж, Лион, Марсель, их виды, их мосты, их вечера—и моя минувшая жизнь».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Невский Зритель», 1820, февраль, 35—45; апрель, 41—56. «Соревнователь Просвещения и Благотворения», 1820, № 31, 270—285.

[2] Это ученики по с.-петербургскому университетскому «благородному пансиону», в котором преподавал Кюхельбекер: Соболевский Сергей Александрович (1803—1870)—впоследствии известный эпиграмматист, библиограф, приятель А. С. Пушкина и Мериме; Глебов Михаил Николаевич (1804—1851)—декабрист, член Северного общества, содержался в Петропавловской крепости, а затем на каторге, в Нерчинских рудниках (1827—1832), на поселении с 1832 г.; умер от побоев (этапного унтер-офицера) и отравления; Пушкин Лев Сергеевич—брат поэта (1805—1852).

[3] Героиня элегии «Euphrosyne» (1799)—рано умершая артистка веймарского театра Христина Нейман (в замужестве за актером Беккером).

[4] См. «Литературное Наследство», № 4—6, М., 1932, 393.

[5] «Русский Архив», 1871, № 2, 0177; Миша—сын В. К. Кюхельбекера Михаил (1840—1879).

[6] Вельо—семья придворного банкира, проживавшая в Царском селе в лицейские годы Пушкина и Кюхельбекера. Старшая дочь, Софья, была любовницей Александра I. Младшая, Жозефина, воспитывалась у своего дяди, лицейского учителя музыки Теппера де Фергюсона. Ею увлекался П. А. Плетнев, дававший ей уроки. Смерть ее была трагической. Позднее, в 1846 г., Плетнев вспоминал: «Теппер поехал в Париж. Раз ее мать пошла гулять; Josephine забыла перчатки свои. Они жили в верхнем этаже. Прибежавши в комнату, она выглянула в окно, чтобы посмотреть, не ушла ли уже мать ее на улицу. Перевесившись за окно, она упала оттуда и тут же умерла...» («Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», II, 693).

[7] «Biographie nouvelle des contemporains ou dictionnaire historique etc.». Par M. M. A. V. Arnault, A. Say, E. Jouy, J. Norvins, P., 1823, 445—448.

[8] «Biographie universelle et moderne». A Paris, 1842, t. 70, 189—200.

[9] «Fr. v. Raumers historisches Taschenbuch», 3-r Jahrgang, Leipzig, 1832, 247—308.

[10] W. Dorow, Facsimile von Handschriften berühmter Männer u. Frauen, Berlin, 1836, 8—9.

[11] О М.-А. Жюльене см. в настоящем издании I, 538—576, и II, 92—113.

[12] Восстание декабристов. Материалы, изд. Центрархива, V, 151.

[13] В. Семевский, Политические и общественные идеи декабристов, СПб. 1905, 231.

[14] Ibid., 156.

[15] Ibid., 226.

[16] Ibid., 180.

[17] Путевые заметки ведутся в виде письма к друзьям; отрывку предшествует фраза: «целомудрие вашего друга»; отсюда в дальнейшем третье лицо вместо первого.

[18] «Le «Musée» fondé en 1781, devenu ensuite le «Lycée», puis, après 1802, «L'Athénée» ou «Société Académique des Sciences et des Arts», donnait à l'usage du public mondain des cours et conférences fort goûtées. Les Sociétées savantes se réorganisaient, et la foule se poussait à leurs séances solennelles». Ernest Lavisse, Histoire de France contemporaine, III, 325.

[19] «Etat descriptif des lieux actuellement occupés par le Lycée».

[20] «Almanach du Commerce de l'année 1822», par S. Bottin, 1822, 646. Пилатр де Розье (Jean-François Pilâtre de Rozier, 1756—1785)—математик, физик, химик, заведующий физическим кабинетом дофина, погиб при полете на воздушном шаре.

[21] Переписка Пушкина, изд. Саитова, I, 28. Пушкин был в Киеве в январе-феврале 1821 г., а слышал о Кюхельбекере от В. Г. Глинки.

[22] Д. Кобеко, Имп. царскосельский лицей, СПб. 1914, 185—186.

[23] Остафьевский Архив, II, 201. Повидимому, здесь Тургенев говорит о каком-то печатном отчете о лекции Кюхельбекера, может быть, в каком-то парижском журнале.

[24] И. Медведева, П. Л. Яковлев и его альбом.—«Звенья», 1936, VI, 128.

II. ДЕКАБРИСТ И БАЛЬЗАК

Поэт Вильгельм Кюхельбекер, друг Пушкина, Грибоедова, Рылеева, был убежденным участником декабрьского восстания 1825 г. 14 декабря 1825 г. он действовал с оружием в руках на Сенатской площади. Единственному из всех северных декабристов ему удалось бежать, но он был настигнут в Варшаве и всю остальную жизнь затем провел в крепостях и ссылке: 10 лет в одиночных казематах Петропавловской, Шлиссельбургской, Динабургской, Ревельской и Свеаборгской крепостей и 10 лет в Сибири.

Все эти годы можно назвать годами борьбы за литературную деятельность. Он с редким упорством добивается в крепости присылки журналов и книг. Пушкину иногда удается прислать ему исторические книги. Лет через пять начинают проникать к нему журналы. В Свеаборгской крепости он ухитряется получать клубные книги. Он пытается всеми способами печататься, изобретает псевдонимы, пробует печататься анонимно. Неравная борьба ведет к жалким результатам: отдельные стихотворения иногда проникают в печать. В 1835 г. Пушкин ценою больших усилий и хлопот издает романтическую драму своего друга «Ижорский». Только в наши дни восстанавливается его литературный облик и печатается собрание его сочинений.

Кюхельбекер отличался редкой горячностью и самостоятельностью литературных мнений. Это было не только личной чертой, но и чертой эпохи, подвергшей критическому пересмотру все литературные авторитеты. Пушкин высоко ценил его, как критика. В крепости Кюхельбекер принужден был пользоваться случайной, главным образом журнальной, литературой. Он знакомится с новыми явлениями литературы из вторых рук. С иностранной литературой он вынужден знакомиться по переводам. Очень редко попадают к нему произведения иностранной литературы в оригинале, да и то в отрывках. (Так, например, племянник Борис Глинка прислал ему 4 ноября 1833 г. собственный перевод какого-то романа и для сличения и исправления—оригинал.) Но уменье не соглашаться и литературное чутье были у него таковы, что он ухитрялся выносить самостоятельные суждения даже на основании цитат в статьях. Главным тогдашним журналом, влиятельным источником сведений и суждений об иностранной литературе, была «Библиотека для Чтения», издававшаяся журнальным диктатором Сенковским—дерзким, талантливым и насмешливым литературным скептиком. Первое знакомство Кюхельбекера в Свеаборгской крепости с произведениями Гоголя было такое: 26 марта 1835 г. он прочел издевательскую рецензию Сенковского на «Арабески» Гоголя с двумя цитатами из осмеиваемой книги. Кюхельбекер записал в свой дневник: «Отрывок, который приводит рецензент, вовсе не так дурен; он, напротив, возбудил во мне желание прочесть когда-нибудь эти «Арабески», которые написал, как видно по всему, человек мыслящий». Это был последний год крепостного заключения Кюхельбекера. В 1836 г., уже из Сибири, все еще не имея заинтересовавшей его книги, он пишет Пушкину о Гоголе: «Из выписок Сенковского, который, впрочем, его ругает, вижу, что он должен быть человеком с истинным дарованием. Пришли мне его комедию».

Так, познакомясь 17 февраля 1834 г. по рецензии с «Эрнани» Гюго, он ни в чем не соглашается с рецензентом и на основании цитат полемизирует с ним, догадываясь о значении трагедии и характерах действующих лиц.

Так, по переводу он судит о стиле Альфреда де Виньи.

14 мая 1834 г. он заносит в свой крепостной дневник: «Читаю отрывок из романа Альфреда де Виньи: Стелло; герой этого эпизода несчастный Андрей Шенье. Слог должен быть в подлиннике обворожительный».

В июне 1834 г. он читает рассуждение Менцеля о Шиллере и Гёте и сразу выступает в защиту тех явлений, которые опорочиваются Менцелем.

Менцелю, как защитнику «идеальной поэзии», Кюхельбекер дает бой с большой принципиальной высоты, разоблачая самое понятие «идеальной поэзии», которым оперирует тот в борьбе против Гёте и новой литературы: «Менцель приверженец идеальной поэзии и посему ее поднимает в гору; но всегда ли идеалистам позднейшим и главе их Шиллеру удавалось избегнуть того, что сам Менцель называет Харибдою идеалистов? Все ли действующие лица в Шиллеровых трагедиях истинные, живые люди? Нет ли между ними нравственных машин? Или, лучше, чего-то похожего на Гоцциевы маски, о которых наперед знаем, что они именно так, а не иначе будут говорить и действовать? Не всегда на первом плане, но во всякой трагедии Шиллера это Арлекин и Коломбина—совершенный, идеальный юноша и совершенная, идеальная дева; но в природе ли тот и другая? И так ли привлекательны в поэзии их повторения?— Без сомнения, что в них более прекрасного и даже истинного, чем в бесстрастных героях старинных немецких Haupt- und Staatsaktionen; но все-таки тут есть что-то напоминающее эти Haupt- und Staatsaktionen. Очень справедливо Менцель сравнивает Шиллера с Рафаэлем: оба они поэты красоты, поэты идеала. Но, как школа Рафаэля произвела длинный ряд художников совершенно бесхарактерных, так точно и Шиллерова может произвести их и не в одной Германии; уж и произвела некоторых.— Впрочем искренно признаюсь, что в статье, которую я когда-то тиснул в третьей части Мнемозины[1], говорю о Шиллере много лишнего: он, как жрец высокого и прекрасного, истинно заслуживает благоговения всякого, в ком способность чувствовать и постигать высокое и прекрасное не вовсе еще погасла.—Винюсь перед бессмертной его тенью; но смею сказать, что причины, побудившие меня говорить против него, были благородны. Сражался не столько с ним, сколько с пустым идолом, созданием их собственного воображения, которому готовы были поклоняться наши юноши, называя его Шиллером».

Верный соратник Грибоедова, Кюхельбекер защищает от Менцеля «фламандскую» школу поэзии: «Сильно нападает Менцель на натуралистов (которые, скажу мимоходом, могут быть и не сентименталистами, напр., Краббе); но, несмотря на все им сказанное, я должен признать изящество многих произведений школы, которую называет он Фламандскою,—они не выродки, а законные дети поэзии, ибо, что в этом роде более дурного и посредственного, нежели прекрасного, ничего не доказывает, потому что и в идеальном едва ли не то же». ...«Почему же поэзия, изображающая современные происшествия и нравы, непременно уже заслуживает все эти названия, которыми Менцель хочет унизить ее?».

Он блестяще защищает Гёте от нападок: «То, что в Гете должно непременно показаться противным, враждебным душе романтика идеалиста, естественного гражданина по мечтам и желаниям своим веков средних, не есть отсутствие вдохновения, а власть над ним и над самим собою, власть, которою Гете покоряет себе вдохновение, творит себе из вдохно-

вения орудие и предохраняет себя от рабствования порывам оного.—Это свойство находим не у одного Гете: оно принадлежит и Шекспиру и едва ли не есть отличительный, неразлучный признак гениев... Смею думать, что многосторонность Гете, следствие его власти над вдохновением не есть недостаток, но высокое вдохновение».

Художественные, эстетические основы, высказанные им в этом споре, остаются неизменными. И что главное—он отчетливо сознает, что дело здесь идет о *новой* литературе, о будущем, и решительно берет под защиту новую французскую литературу, с которой он еще так мало знаком.

БИБЛІОТЕКА
ДЛЯ ЧТЕНІЯ,
ЖУРНАЛЪ
СЛОВЕСНОСТИ, НАУКЪ, ХУДОЖЕСТВЪ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НОВОСТЕЙ и МОДЪ.

ТОМЪ ОСЬМОЙ.

ИЗДАНІЕ
книгопродавца Александра Смирдина.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ВЪ ТИПОГРАФІИ ВДОВЫ ПЛЮШАРЪ СЪ СЫНОМЪ.
1835.

СТАРИКЪ ГОРІО.

НОВѢЙШЕЕ СОЧИНЕНІЕ БАЛЬЗАКА.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

All is true.
SHAKESPEARE.

Госпожа Воке лѣтъ ужъ сорокъ живетъ въ Парижѣ въ новой улицѣ Св. Женевьевы, между Латинскимъ кварталомъ и предмѣстіемъ Сенъ-Марсо, и всегда пускала къ себѣ жильцевъ на хлѣбы. Домъ ея стоитъ на нижнемъ концѣ улицы, въ томъ мѣстѣ, гдѣ начинается спускъ, и спускъ такой крутой, что по немъ рѣдко ѣздятъ: это чрезвычайно благопріятствуетъ тишинѣ царствующей въ узкихъ, тѣсныхъ улицахъ, сдавленныхъ между куполомъ Валь-де-Грасъ и куполомъ Пантеона. Тамъ мостовая суха; въ канавкахъ нѣтъ ни воды, ни грязи; вдоль улицъ ростетъ трава; человѣку самому безпечному тамъ какъ-то неловко: прохожіе скучны; стукъ кареты—происшествіе необычайное; дома печальны; отъ стѣнъ пахнетъ тюрьмою. Тамъ только и есть гостинницы, да учебныя заведенія; бѣдность и скука; старость умирающая и веселая юность, живущая взаперти и принужденная работать. Во всемъ Парижѣ нѣтъ квартала хуже, да и неизвѣстнѣе этого. Улица Св. Женевьевы похожа на мѣдную раму,—единственную раму приличную моему разсказу, къ которому долженъ я приготовлять читателей идеями печальными, помышленіями важными. Такъ именно свѣтъ ослабѣваетъ и пѣніе проводника дѣлается печальнѣе по мѣрѣ того, какъ

* Повесть эта, въ которой примѣчательно раскрылся талантъ моднаго романиста, еще не издана по Французски. Мы сообщаемъ ее какъ новость. Само собою разумѣется, что длинноты и повторенія, которыми Г. Бальзакъ увеличиваетъ объемъ своихъ сочиненій, устранены въ переводѣ.

Т. VIII. — Отд. II. 6

СТРАНИЦА ПЕРВОПЕЧАТНОГО ТЕКСТА РУССКОГО ПЕРЕВОДА ПОВЕСТИ „СТАРИК ГОРИО" БАЛЬЗАКА, ЧИТАННОЙ КЮХЕЛЬБЕКЕРОМ В СВЕАБОРГСКОЙ КРЕПОСТИ

„Библиотека для Чтения", т. VIII за 1835 г.

«Развитием модернизма должны быть романы Альфреда де Виньи, Гюго и их последователей (напр., Notre Dame de Paris), если только сии романы действительно соответствуют понятию, какое я о них составил отчасти из отзывов Полевого. В бесстрастии модернизма вместе оправдание его безжалостливости, за которую Менцель упрекает Гете, а дюжинные французские критики Альфреда де Виньи и Гюго».

Так, еще будучи почти незнакомым с новою французскою литературой, он берет ее под защиту. До сих пор попадался ему, главным образом, Виньи.

В марте 1834 г. он читает о его романе «Сен-Марс», знакомится с ним, делает обширные выписки из его «Письма к Лорду» и т. д.

28 мая он пишет о заинтересовавшем его романе: «Слишком три года не читал я ничего французского: вот почему первые два десятка страниц романа, который теперь занимает меня, подействовали на меня странным образом; мне было точно, как будто вижу и слушаю человека, с коим я бывал очень знаком, да раззнакомился».

В июле 1834 г. он впервые знакомится с Бальзаком, и первое знакомство слегка его разочаровывает.

2 июля 1834 г. он записывает: «Прочел я в С[ыне] О[течества] повесть Бальзака: Рекрут; она занимательна и жива, но я ожидал чего-то особенного—и ошибся»[2].

5 июля он продолжает записи, пытаясь разгадать «дух нынешней Французской Словесности»: «Знакомлюсь хоть несколько с духом нынешней Французской Словесности. В некоторых из их сочинителей романов и повестей очень заметно направление Гофмановское, но по моему мнению—ни одна из читанных мною повестей (впрочем я их читал еще довольно мало) не стоит хороших сказок Гофмана.—Развязка Рекрута—после живого, вовсе не таинственного рассказа—как-то насильственна».

Он читает А. Ройе, Жакоба Библиофила. Сю производит на него впечатление: «...в другом роде—я сказал бы в байроновском—прелестное, и вместе естественно ужасное Андалузское предание Евгения Сю: Вороной конь и белый пес (Caballo negro y Perro blanco)».

12 июля у Кюхельбекера был дурной день: ровно восемь лет прошло с того дня, когда ему прочли приговор: он был приговорен к двадцатилетней каторге (срок был затем сокращен до пятнадцати лет). Он сидел в одиночном заключении и думал, что ему придется отбыть в нем весь срок своей каторги. В этот день он читал Бальзака: «Вот опять роковой день 12 июля; этот раз я почти его не заметил; более всего занимала меня мысль, что завтра можно мне будет уже сказать: до срока осталось менее 7-ми лет... В С[ыне] О[течества] прочел я превосходный отрывок из Бальзакова романа: La peau de chagrin![3]. Этот отрывок несколько напоминает курьезную пляску стульев, вешалок и столов у Вашингтона Ирвинга; быть может, арабеск американца подал даже Бальзаку первую мысль,—но разница все же непомерная: у Ирвинга хохочешь, у Бальзака содрогаешься[4]. О Поле де Кок ни слова: отрывок из его Монфермельской молочницы довольно забавен, но в нем ничего нет нового». С острым чувством человека, который ждет завтрашнего дня, чтобы сказать себе, что осталось на один день меньше семи лет одиночного заключения, он читает роман, как профессионал и настоящий знаток: по отрывку из Поль де Кока заключает о его незначительности, высоко оценивает отрывок Бальзака и строит интересную историко-литературную гипотезу об источнике эпизода «Шагреневой кожи».

В особенности, должны были здесь заинтересовать и приттись по вкусу Кюхельбекеру страницы, посвященные Кювье. Кюхельбекер не только лично слышал речь Кювье во Французской академии в 1821 г., но и не переставал высоко его ценить и интересоваться им. Было одно качество у Кюхельбекера, которое должно было, в особенности, сделать его внимательным и расположенным читателем Бальзака: разносторонность интересов. В его крепостных дневниках, представляющих отчеты о чтении, попадаются отчеты и размышления по вопросам истории, философии, естественных наук. В особенности, большое впечатление на него производят открытия Кювье. Так, 12 марта 1834 г. он записывает о Кювье

строки, прямо перекликающиеся со страницами Бальзака о Кювье в отрывке, прочтенном им несколькими месяцами позднее: «С удовольствием перечел я разбор Абеля Ремюза творения Кювье: голова кружится, когда соображаешь все открытия великого геолога Кювье!».

Уже 17 июля он записывает о Бальзаке слова, показывающие, что новые впечатления прочны: «Бальзак человек с огромным дарованием; отрывок из его повести С а р р а з и н, в Сыне Отечества под заглавием Д в а п о р т р е т а—удивителен![5].

Наконец, 25 июля он читает «Фирмиани» и начинает относиться к нему с восторгом: «Пишу о Бальзаке, потому что после его прелестной повести: Г-жа Ф и р м и а н и[6], не могу тотчас заняться чем-нибудь другим.—Это в своем роде chef-d'œuvre; тут все: и таинственность, и заманчивость, и юмор, и высокая, умилительная истина; я влюблен в эту Фирмиани!—Как бы я желал своему Николаю встретить в жизни подобную женщину!—И как хорош сам Бальзак! Что за разнообразный, прекрасный талант! Признаюсь, я б ы ж е л а л у з н а т ь е г о п о к о р о ч е».

Здесь замечательна живость восприятия образов Бальзака: искушенный в литературе, опытный и широко образованный писатель положительно относится к ним, как живым людям. Это, разумеется,—факт, характерный не только для читателя, но характерный, прежде всего, для Бальзака. Николай, которому узник желает встретить женщину, похожую на госпожу Фирмиани,—любимый племянник и ученик его, Николай Григорьевич Глинка (1811—1839). Кюхельбекер видел в нем большие дарования. Письма его к Николаю Глинке из крепости особенно замечательны: дядя пламенно критикует в них новейший «байронизм», модную разочарованность молодого поколения, которою увлекся племянник. Надежды, возлагаемые Кюхельбекером на Николая Глинку, не сбылись: он погиб от ран, сражаясь на Кавказе в 1839 г.

Чтение Бальзака, которого печатает из номера в номер журнал «Сын Отечества», попадающего, хотя с опозданием, в руки Кюхельбекера, продолжается. 26 июля он читает «Путешествие из Парижа в Яву»[7], помещенное в том же томе, что и «Госпожа Фирмиани», и записывает: «Мое уважение к Бальзаку очень велико; он чуть ли не выше и Гюго и де Виньи».

Он, впрочем, как и всегда, в своей критической и литературной деятельности относится к любимому автору строго. 31 июля он записывает в свой дневник: «Р о с т о в щ и к К о р н е л и у с Бальзака[8], по моему мнению, из слабейших его произведений. Конечно, и тут есть прекрасные подробности; но заметно несколько подражание и Гюго и Скотту,—а сверх того заметно, что род Гюго и Скотта не свойствен Бальзаку».

Бальзак становится не только его любимым чтением, но и предметом настойчивых мыслей. 1 августа запись: «После обеда прочел в Сыне Отечества повесть К р а с н ы й Т р а к т и р[9]; рассказ хорош, но окончание, как во всех почти новейших французских повестях, не удовлетворительно». Но этот отзыв его самого не удовлетворяет—он слишком общ, а отношение его к Бальзаку слишком для этого отзыва горячо, и назавтра он записывает: «Не забыть: К р а с н ы й Т р а к т и р, сочинение Бальзака».

В это время у Кюхельбекера, получившего исторические книги от Пушкина, начинается творчество: он начинает (и вскоре бросает) трагедию о Дмитрии-Самозванце, начинает переводить «Венецианского купца» (так-

же не кончает), и, наконец, в один присест, в 52 дня, пишет свою лучшую вещь—большую историческую трагедию в стихах о вожде первого земского ополчения в борьбе с польской интервенцией XVII в.: «Прокофий Ляпунов». (Все попытки доставить трагедию друзьям для напечатания оказались тщетными; трагедия эта вышла в свет только в наши дни.)

Но и всецело захваченный работой над трагедией, он иногда отрывается и продолжает чтение. Как раз в это время начинается поход против «безнравственности» новой французской литературы со стороны Менцеля в Германии, журнальных критиков «Edinburgh Review», «Quarterly Review»—в Англии.

В первом томе «Библиотеки для Чтения» за 1834 г. Кюхельбекер находит «мнение известного английского журнала Edinburgh Review о нынешней французской словесности с широковещательным примечанием о том, что она переведена в немецких и французских журналах, а как доказательство истинности статьи, приводится мнение французских журналистов, солидаризирующихся с английской критикой. Основное положение английского критика: „Два могущественных потока борются теперь один с другим: материализм 1760 года и нравственный спиритуализм, подавленный столь долгое время и старающийся ныне завоевать прежнюю власть“»[10]. «Июльская революция дала им [французским современным писателям] гибельное для славы их направление»[11].

В статье—выпады против Гюго, Дюма, Жанена, Бальзака. В одном из примечаний редакция дополняет их выпадом против Ж. Санд: «Что бы сказал сочинитель этой статьи, если б еще знал Л е л и ю, последний роман г-жи Дюдеван, скрывающейся под кровавым именем Занда?»[12].

Приводим один из выпадов против Бальзака: «В какое другое время г. Бальзак, писатель с талантом и воображением, решился бы бросить в глаза публике, имеющей притязание на изящность и знание общественных приличий, творение, написанное дремучим слогом и исполненное всякого рода непристойностей (Contes drôlatiques)?». Статья нападает также на «Философические повести» и на «Peau de chagrin» (в переводе названной «Ослиной кожей»).

21 октября Кюхельбекер записывает в дневник: «Прочел я в Библиотеке очень и, как мне кажется,—слишком строгий приговор Эдинбургской Review новейшим французским писателям. Конечно, я их слишком мало знаю, знаю почти только по отрывкам, но не все же у них совершенно безнравственно: повесть Бальзака Madame Firmiani имеет не одно литературное, но и нравственное высокое достоинство».

Трагедия пишется молниеносно: 24 октября кончено 2-е действие, 25 октября начато третье. Но тогда же, 25 октября, Кюхельбекер прочел все в той же «Библиотеке для Чтения» статью ее редактора, Сенковского; Сенковский примкнул к немецким и английским порицателям молодой французской литературы за ее безнравственность. (Любопытна запись о Сенковском Кюхельбекера, что он—«западный писатель».)

Нужно отметить, что рьяными и лицемерными охранителями «нравственности» с большим шумом выступали в литературе Булгарин—бывалый и на все готовый журналист, служивший агентом политического сыска, и Сенковский—остроумный, беспощадный и талантливый циник, искушенный в журнальных интригах.

«Нравственность» была, разумеется, сильным средством борьбы с нарождающимся реализмом, сильною «маскировкой». Это прекрасно по-

нимал Гейне, ведший яростную борьбу с Менцелем. Это прекрасно понимал Белинский, в статье «Менцель, критик Гёте» давший уничтожающую характеристику Менцеля (а заодно и Сенковского).

Кюхельбекер был разоружен физически на Сенатской площади 14 декабря, в крепости он был разоружен литературно; ему пришлось столкнуться с противниками, вооруженными всею современною литературою, которую он знал по журнальным отрывкам и враждебным, по большей части, обзорам. Иногда он робеет, но не сдается. Завязывается удивительная литературная борьба в одиночном заключении.

Он пишет 25 октября 1834 г.:

«Читал я сегодня... в Библиотеке—статью: Брамбеус и Юная Словесность. О юной словесности, может быть, судит Брамбеус вообще довольно справедливо;—но напрасно, кажется, допускает так мало исключений. В самом Бальзаке найдутся повести самой чистой, высокой нравственности, напр., Madame Firmiani.—Впрочем—цель поэзии не нравоучение, а сама поэзия: вот, что, повидимому, строгие осудители нынешней поэзии или, если угодно, словесности совершенно забывают. — Однако, я слишком худо знаю нынешнюю школу и потому воздерживаюсь от решительного суждения о ней и о толках о ней».

Кюхельбекер смущен, робеет—и недаром: нападение на новую французскую литературу в статье, прочитанной им,—открытое и сильное. Враждебный к этой литературе Сенковский чувствует силу и происхождение нарождающегося реализма: «...Новая парижская школа не ограничилась простым изменением теории: она пожелала произвести в Словесности нечто вроде революции 1789 года, с настоящею свирепостью и безумством покойного Конвента. Она решилась разрушить несомненные и единственные основания изящного потому только, что их признавал классицизм, и, в общем ниспровержении прежнего эстетического порядка, уничтожить нравственность, как революция уничтожала христианскую веру... Тут не должно обманывать себя напрасно: «Юная Словесность», совершенно отторгнувшаяся от логических начал чистого романтизма, не есть литературная школа: это прямая вторая Французская революция в священной ограде нравственности, затеянная со всей легкомысленностью и производимая со всем неистовством и остервенением, свойственным народу, который произвел и обожал Марата, Робеспьера, Сен-Жюста»[13]. С большой последовательностью он производит начало школы от Руссо и Дидро, повторяя общее мнение европейской критики и предупреждая гейневскую пародическую формулу:

An allem ist schuld Jean Jacques Rousseau,
Voltaire und die Guillotine.

«Начало школы. Начало всего от Жан-Жака Руссо. Вас это удивляет? Ну, так начало от Дидерота! Избирайте из них кого угодно, но дело в том, что новая школа есть истечение, развитие замечательного обстоятельства, в котором оба они участвовали и которое приложило печать свою в конце Словесности прошлого столетия, дописывавшей последние свои строки в день начатия Французской революции»[14]. «Секрет школы»— в том же Руссо: «Его предисловие к Новой Элоизе есть первый очерк и разительный очерк школы, которая долженствовала через пятьдесят лет родиться из его духа и тела».

В статье с фельетонным блеском наглядно нарисованы «беспорядок в нравственном хозяйстве» и разрушение семьи, порождаемые новою литературою. Кончается она так: «Мы живем в век раздражительности и смуты. Все основания потрясены продолжительною бурею умов, которой громы, уже по рассеянии тучи, еще от времени до времени раздаются над Европейским обществом и производят пожары. Если Словесность на что-либо нужна обществу, то первая ее обязанность, в настоящем его положении, скреплять всеми мерами общественные и семейные узы, успокаивать умы, ...не помогать политическому бреду в преступном намерении расторгнуть все звенья цепи, уже прерванной во многих местах».

Открытое, откровенное нападение устанавливало связь новой литературы с Французской революцией и обнажало политические мотивы борьбы с нею.

Литературные атаки на «юную французскую словесность» продолжаются. Кюхельбекер поражен дружными атаками немецких, английских журналистов, Сенковского, но оказывает сопротивление. 22 ноября он записывает в свой крепостной дневник: «Прочел я сегодня примечательного: о состоянии французской драмы из Qua⟨r⟩terley Review и разбор новой трагедии Александра Дюма, Екатерина Говард. Qua⟨r⟩terley Review судит о юной словесности столь же сурово, как Эдинбургское обозрение: должно же быть, что эти строгие приговоры не вовсе без основания; однако, признаюсь, я бы желал судить о странных феноменах французской словесности по собственному чтению, а не по наслышке.—По крайней мере в таланте корифеям молодых французских писателей невозможно отказать: в трагедии Дюма, как видно даже из разбора,—есть положения, которые могут быть ⌈изобретены⌉ только гениальным человеком».

Наконец, в его руки попадает долгожданное произведение, по которому можно судить и о значении Бальзака и о направлении «юной французской словесности»,—«Отец Горио».

Сенковский был очень ловкий журналист: «Старик Горио» (заглавие перевода) появился у него раньше французского издания—перевод был сделан с журнального текста «Revue de Paris»[15]. Но в каком виде и с какими примечаниями!

Журнал варварски расправился с романом. Уже к первой части сделано было красноречивое примечание: «Повесть эта, в которой примечательно раскрылся талант модного романиста, еще не вся издана по-французски: мы сообщаем ее как новость. Само собой разумеется, что длинноты и повторения, которыми г. Бальзак увеличивает объем своих сочинений, устранены в переводе»[16]. Редакция исполнила свои обещания. При печатании 2-й части в следующей книге журнала[17] Сенковский, ярый враг «юной французской словесности», распоясался. В громадном примечании он писал, между прочим: «Хотя этот роман, сокращенный через очищение его от общих мест и длиннот, и весьма переделан в переводе, в котором большею частью старались мы выражать не то, что говорит автор, но то, что он должен был бы говорить, если б чувствовал и рассуждал правильно; хотя мы гораздо более уважаем здравый смысл наших читателей и его удовольствие, нежели неприкосновенность плодов пера, одаренного талантом, но поверхностного и слишком легкомысленного; хотя и направление и даже ход повести изменены здесь существенно, однако мы сохранили часть этой сцены в подлинном ее виде, нарочно для обожателей ума г. Баль-

зака». Таким образом, Кюхельбекер мог прочесть в неискаженном виде сцену прощанья Растиньяка с виконтессой Босеан.

«...Как скоро удается ему осуществить эту чудесную мысль... и вывести на сцену супругу порочную, но твердую любовницу,—он без памяти от удивления ее характеру; он становится перед ней на колени, и,—скоро увидите,—он еще поставит перед ней на колени и своего героя Растиньяка. Это великая женщина г. Бальзака»,—пишет в примечании редактор.

Это беспримерное примечание, как и другое, нападающее на философию Бальзака, обнаруживало слабость неистовых антибальзаковцев, черпавших материалы у Менцеля и британских журналов: борьба с Бальзаком переходила в борьбу с его героями, что лишний раз подчеркивало их

ДОМ КЮХЕЛЬБЕКЕРА В БАРГУЗИНЕ, ГДЕ ОН ЖИЛ с 1836 по 1839 гг.
Фотография 1900-х гг.
Собрание Ю. Н. Тынянова, Ленинград

жизненность,—такова забавная полемика с виконтессой Босеан в примечании; и, наконец, журнал, вынужденный помещать Бальзака из-за требований читателя, переходит к прямой полемике именно с ним, с подписчиком и читателем, обнаруживая многочисленность «обожателей Бальзака». Далее следует полемика против Бальзака, как «защитника безнравственности»: «Одна из основных идей этого романиста, проявляющаяся почти во всех его творениях, состоит в том, что женщина тогда только бывает истинно велика, когда она обманывает своего мужа, гордо попирает свои обязанности и смело предается пороку».

Лучше всего характеризует редакторское отношение к помещаемому роману конец его, присочиненный самим редактором.

Бальзак кончает фразой о Растиньяке: «Затем, в виде первого вызова обществу, он пошел обедать к госпоже де Нюсинжен».

Сенковский поспешил сделать Растиньяка злодеем и пошляком: «Он

пошел в Париж: дорогой он еще колебался, направлять ли шаги свои к красивому жилищу в улице Артуа, или к прежней грязной квартире у мадам Воке,—и очутился у дверей дома г-на Тальфера. Тень Вотрена привела его к этому дому и положила руку его на затылок. Он зажмурил глаза, чтоб ее [не] видеть. Он искал еще в своем сердце и в своей нищете честного предлога. Викторина так нежно любила своего отца!..

Растиньяк спросил госпожу Кутюр. Теперь он миллионщик и горд, как барон».

Однако, все эти меры предосторожности и, в особенности, развязные примечания произвели на читателя из Свеаборгской крепости обратное впечатление.

8 марта 1835 г. Кюхельбекер начинает читать, не обратив внимания на первое задорное редакторское примечание. Начало повести его слегка разочаровывает: «Начало повести Бальзака Старик Горио очень заманчиво,—но я встречал даже в наших журналах отрывки и целые создания Бальзака же, в которых было более Поэзии, более воображения, теплоты и пылкости».

Кюхельбекер знал Сенковского лично и признавал за ним литературный талант. Но он знал также ложность его направления и, что сильнее всего,—смешную сторону этого направления. Он тотчас узнавал Сенковского под всеми псевдонимами. 18 марта он записал: «С наслаждением прочел я отрывок из воспоминаний о Сирии Морозова (Сенковский, Брамбеус и Морозов непременно одно и то же лицо); название этому отрывку: Затмение Солнца. Тут все хорошо,—кроме следующей ереси: «душа поистине столько же облагораживается на вершинах земли, сколько на первых высотах общества».—Охота профессору Сенковскому быть маркизом! Что за первые высоты общества?—Не читал же профессор Онегина—иное дело, если он на высотах общества полагает людей не самых светских, а самых умных и добродетельных: это соль земли и между ними подлинно чувствуешь себя благороднее и лучше. Только точно ли люди самые умные и добродетельные в тех кругах, которые в обыкновенном разговоре называются высотами общества?[18].—Как вы об этом думаете, господин профессор?».

Кюхельбекер, прекрасно уловивший комизм положения профессора, стремившегося быть аристократом, столь же ясно понимал характер и истинные причины вражды Сенковского к новой французской литературе. 26 марта он прочел окончание «Старика Горио» со всем сокрушительным аппаратом примечаний Сенковского. Примечания вызвали его возмущение и резкую полемику, а повесть, как всегда бывало с этим читателем Бальзака, пробудила в нем личные воспоминания.

«После обеда прочел окончание повести Бальзака: Старик Горио, и внутренно бесился на бессмысленные примечания г-на переводчика; но они более чем бессмысленны, они кривы и злонамеренны.—Супружеская верность и чистота нравов мне важны не менее, чем ему, драгоценны и святы; но лицемерие и ханжество мне несносны; художественное создание не есть феорема эфики, а изображение света и людей и природы в таком виде, как они есть.—Порок гнусен,—но и в порочной душе бывает нередко энергия; а эта энергия (и в самых заблуждениях) никогда не перестанет быть прекрасным и поэтическим явлением. Бальзакова виконтесса, несмотря на свои заблуждения и длинную ноту Библиотеки—все-таки необыкновенная, величавая (grandiosa) женщина; и если г. переводчик

этого не чувствует, я о нем жалею.—Вотрен мне напомнил человека, которого я знавал,

«Когда легковерен и молод я был!»[19].

Разница только, что мой Вотрен скорее был чем-то вроде Видока, нежели Жака Колена».

Так в этой литературной борьбе побежденными оказались журнал и его редактор, слишком ясно обнаруживший подоплеку своих нападений на молодую французскую литературу и, в частности, на Бальзака. Упреки в безнравственности Кюхельбекер отчетливо понял, как лицемерие и ханжество. И, наконец, этот спор помог ему формулировать с большой ясностью принципы реализма, против которых и велась на деле борьба: «художественное создание не есть теорема этики, а изображение света, людей и природы в таком виде, как они есть».

Как влиял Бальзак на своего заключенного читателя, какие глубокие вопросы и воспоминания не только эстетического, но и личного порядка он возбуждал в нем, видно из упоминания о его «собственном Вотрене». Дело в том, что положение Растиньяка было глубоко типично и для группы русской дворянской молодежи: непрестанная нужда и поиски занятий по выходе из лицея, самоотверженная мать и сестры, помогающие брату, невозможность добиться сколько-нибудь обеспеченного положения (отсрочившая брак с любимой девушкой до самой гражданской смерти, когда он стал более невозможен),—таковы черты молодости Кюхельбекера, которые сделали возможным минутное сближение с Растиньяком и воспоминание о «своем Вотрене». Чтение Бальзака, таким образом, является причиной возникновения любопытного вопроса в биографии поэта-декабриста: кто же таков этот Вотрен, да еще с примесью Видока? С полной уверенностью ответить нельзя, но есть человек, с которым встречался Кюхельбекер, привлекающий с этой точки зрения внимание. В день 14 декабря Кюхельбекер раскланялся на Сенатской площади с человеком под пудрою, в шляпе с плюмажем. При допросе он показал, что это Горский, которого он знал еще с 1821 г. на Кавказе.

В архиве III отделения есть характеристика этого Горского: «Сей человек нрава угрюмого, несообщительного, дерзкий в поступках, оставался всегда загадкою даже для людей весьма к нему близких. Никто не знает даже о его происхождении. Сперва он объявил себя графом (по-польски г р а б я, hrabia), посредством злоупотреблений белорусского помещика Янчевского, который, попав пронырством в маршалы, промышлял выданием свидетельств дворянства из Депутатского собрания. После того Горский производил себя из Горских-князей и хлопотал о сем в Сенате. Общий слух носится, что он сын мещанина из местечка Бялынич в Белоруссии, но верного ничего нет. Он всю жизнь был пронырой и, наделав много зла на Кавказе, где был вице-губернатором, бежал оттуда. Он женат, но не живет с женою. Сперва он содержал несколько (именно трех) крестьянок, купленных им в Подольской губернии. С этим сералем он года три тому назад жил в доме Варварина. Гнусный разврат и дурное обхождение заставило несчастных девок бежать от него и искать защиты у правительства, но дело замяли у графа Милорадовича. После того появилась у него девица под именем дочери; ...говорят, что будто бы Горский жил с нею и будто она и брат ее суть дети брата Горского. Но верного узнать невозможно, потому что никто не смел ни о чем спрашивать

Горского, зная, что он все лжет, а о месте пребывания его фамилии никто не знает, ибо иногда он называется литвином, иногда подолянином, иногда белорусцем, а иногда великороссиянином. В деньгах он никогда не нуждался, никогда не занимал, напротив того—жил пристойно, и все уверяют, что будто у него большие деньги в ломбарде, нажитые разными пронырствами и злоупотреблениями. Горский был домашним другом статс-секретаря Марченки, и он с женою весьма о нем хлопотали... Горский был в свете таинственное существо, без роду и племени, человек неизвестно откуда»...[20].

«По формулярному официальному списку значится: грабя Осип-Юлиан-Викентьев сын Горский, в 1821 г.—49 лет; происхождением из дворян польских, грабя или граф»; уже в 1827 г. Горский именовал себя «князем Иосифом Викентьевым Друцким-Горским, графом на Мыще и Преславле». Сослан в 1827 г. в Березов, где прожил $5^1/_2$ лет, затем переведен в Тару, оттуда в Омск и здесь же умер 7.VII. 1849 г.[21].

Разумеется, о близких отношениях между Кюхельбекером и этим человеком говорить мы не имеем оснований, но факт длительного знакомства установлен, а более явных черт Вотрена не подыскать. Черты Видока засвидетельствованы позднее—в Сибири он занимался сыском среди сосланных декабристов, доносами и провокациями[22].

Прочитав хотя искаженного и опустошенного переводом «Старика Горио», Кюхельбекер отлично понимает сущность нападок Сенковского, перечитывает его красноречивую статью и дает ему окончательный отпор; 3 апреля он записывает в крепостной дневник: «Брамбеус![23]. Перечел его Диатрибу: Брамбеус и Юная Словесность!—Какие у него понятия о словесности—«Стихотворения, т. е. поэмы в стихах—и поэмы в прозе, т. е. романы, повести, рассказы, всякого рода сатирические и описательные творения, назначенные к мимолетному услаждению образованного человека—вот область Словесности и настоящие границы».—С чем имею честь поздравить господина Брамбеуса! Я бы лучше согласился быть сапожником, чем трудиться в этих границах и для этой цели. Светский разговор у него прототип слога изящного; а публика состоит из жалких существ, которые ни рыба, ни мясо, ни мужчины, ни женщины.—«Увы!—восклицает Брамбеус в конце своего разглагольствия,—кто из нас не знает, что в числе наших нравственных истин есть много оптических обманов!»—После этого: «увы!»—подобных понятий о словесности, слоге и публике—считаю позволенным несколько сомневаться в искренности тяжких нападок, которыми обременяет Брамбеус новых французских романистов и драматургов,—искренно сказать,—мне кажется, что он просто на них клеплет или не понимает их».

Так безоружный, лишенный книг декабрист побеждает модного и влиятельного журналиста.

Более того, случай со «Стариком Горио» научил его обороняться: в тот же день, что и о Горио, он записывает в свой дневник об «Арабесках» Гоголя,—по издевательской рецензии и приведенным в ней выпискам он чувствует замечательного писателя. Он не только не доверяет теперь чужим мнениям, но научился на их основе строить свое собственное, самостоятельное.

В конце года Кюхельбекер вышел из крепости для того, чтобы прожить до конца жизни ссыльным в глухих сибирских городках.

Новая жизнь не дала ему возможности ни работать, ни печататься, ни следить за литературою, а мелочные преследования администрации, отсутствие культурной среды и бесцельность существования заставляли его порою жалеть о крепости и завидовать смерти друзей: Грибоедова, Дельвига, а вскоре и Пушкина. 1835 г., по собственному его признанию, не приблизил, а отдалил его от литературного мира.

СТРАНИЦА ИЗ ДНЕВНИКА КЮХЕЛЬБЕКЕРА С ЗАПИСЬЮ ОТ 26 МАРТА 1835 г. О „СТАРИКЕ ГОРИО“ БАЛЬЗАКА

Собрание Ю. Н. Тынянова, Ленинград

Круг его чтения не стал богаче: он вынужден пробавляться допотопными пьесами Коцебу, романами Шписа, брать на прочтение у вахтера лубочного «Милорда Георга» и «Францыла Венецияна» и только изредка отдыхает за чтением Расина и Шекспира. Иногда попадаются и новые книги. Он высоко оценивает «Флорентинские ночи» Гейне, а в русской литературе—явление Лермонтова.

Энергия литератора, перед которым—теперь уже заведомо до конца—закрыты пути к литературе, не слабеет, но меньше времени, меньше страсти может уделять он литературе. Записи о Бальзаке реже и скуднее.

Бальзака он более не получает, и только раз, в 1840 г., ему попадается запоздалый перевод старой бальзаковской повести, под названием «Страсть художника, или человек не человек»[24].

Тут у него происходит письменная стычка с Бальзаком, как когда-то в молодости происходили литературные стычки с друзьями. 28 мая он кратко и очень резко отзывается о прочтенной повести, как о вздоре. Однако, позиция Кюхельбекера в вопросе о молодой французской литературе не меняется. 20 июня 1841 г. он с огорчением констатирует, на основании какой-то переводной рецензии: «У французских литературных фешьонеблей, кажется, введено подтрунивать над Ал. Дюма и даже Виктором Hugo, как у нас Отеч[ественные] Зап[иски] трунят над Марлинским и его последователями». В этом выпаде против «литературных фешьонеблей»—не только отчетливость демократической позиции декабриста, но и литературное чутье, которое не могут заглушить ни крепость, ни Сибирь.

Долгое время Кюхельбекер не может следить за дальнейшим ростом Бальзака, и у него возникает представление об однообразности Бальзака. Такова запись о нем в дневнике от 28 июня 1841 г.:

«Итак перечитываю порою временем старые дневники: встречаю в них отметки о таких сочинениях, которые вовсе изгладились из моей памяти. На счет некоторых писателей я свое мнение переменил: к этим в особенности принадлежит Бальзак. Теперь нахожу его довольно однообразным, хотя и теперь считаю его человеком очень даровитым».

Мнимое однообразие Бальзака, повести которого с трудом доходили до глухих урочищ Сибири, было ложным представлением, навязанным декабристу самой жизнью. Но даже и теперь он продолжает думать о нем, считать его «человеком очень даровитым».

Между тем, давнее желание его исполнилось: он получил личную весть о Бальзаке, которого хотел «узнать покороче». Но какую весть!

В 1843 г. Бальзак посетил Россию, и его повстречала в Павловске молоденькая племянница Кюхельбекера, Наталья Григорьевна Глинка, дочь его старшей сестры, Юстины Карловны Глинки. Он нежно любил свою сестру и ее семью и переписывался из крепости со всеми племянниками и маленькими племянницами. Он даже надумал обучать их заочно грамоте и докучал исправлениями ошибок в их письмах. Он руководил из крепости их чтением и развитием. Они платили ему аккуратными письмами, вязали для него носки и т. п.

Но как бы Кюхельбекер нежно ни любил сестру, в молодости заботившуюся о нем, он однажды должен был признать: «Конечно, у ней чувства много, но ум робкий». Племянница была всецело во власти представлений, навязанных испуганным обывателям журналистами, и эти представления отразились даже на впечатлении, произведенном на нее самою наружностью Бальзака.

Наталья Григорьевна Глинка пишет дяде в Сибирь 12 августа 1843 г.: «На днях видели мы в Воксале Бальзака, который приехал в Россию на несколько месяцев; нет, не можите себе представить, что это за гнустная физиономиа; матушка нашла, и я совершенно с нею согласна, что он похож на портреты и описания, которые читаем о Робеспиерре, Дантоне и прочих подобных им особ, французской революции: он малого росту, толст, лицо у него свежее, румяное, глаза умные, но все выражение лица его имеет что-то зверское». Дядя так и не научил племян-

ницу грамоте: ее письмо пестрит ошибками. Племянница и не подозревала, как полемизировал дядя с Брамбеусом, со слов которого, видимо, и мать и она судили о французском писателе. Не подозревала, что в эти годы он писал и о том самом Дантоне, который для нее являлся пределом ужаса:

...Дантон
Рукой гиганта, гением титана
Попятил пруссаков—свободен край родной.

В 1843 г. Кюхельбекер получил возможность в культурной семье Разгильдеева, начальника крепости Акша, где жил Кюхельбекер, ознакомиться с Бальзаком в оригинале. Он пишет 8 декабря 1843 г. племяннице, Н. Г. Глинке: «Я ей [Наталье Алексеевне Разгильдеевой.—*Ю. Т.*] прямо по русски с французского оригинала прочел все почти повести Бальзака: тут у меня начинался иногда небольшой спор с Анной, которую нередко непременно должно было заставить удалиться, чтобы не дать ей познакомиться с грязными нравами, изображаемыми Г-н Бальзаком».

Анна—ученица Кюхельбекера, который был рьяным и строгим педагогом. В «спорах с Анной» слышится, прежде всего, педагог. Но в последней фразе слышна и литературная досада, подобная отзыву о «Страсти художника». Тем не менее, важно то обстоятельство, что он переводит «все почти повести Бальзака», что они являются его постоянным чтением рядом с сочинениями Лермонтова, Пушкина, его собственными. Он продолжает интересоваться Бальзаком.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Кюхельбекер издавал в 1824—1825 г. альманах-журнал «Мнемозина». Во II части он поместил свою известную статью «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие», вызвавшую бурную полемику. Здесь говорится о полемическом ответе Булгарину в III части «Мнемозины».

[2] «Рекрут». Повесть Бальзака.—«Сын Отечества и Северный Архив», СПб. 1832, т. 30, 121—150; подпись переводчика: «О»—по всей вероятности, Орест Сомов. Это перевод повести «Le Requisitionnaire», написанной в феврале 1831 г. и вошедшей в «Romans et contes philosophiques», 1832.

[3] Отрывок из романа Бальзака «La peau de chagrin».—«Сын Отечества и Северный Архив», 1832, т. 27, 173—194; главы IV и V, содержащие описание лавки продавца редкостей.

[4] Кюхельбекер здесь имеет в виду эпизод с пляской мебели в рассказе Вашингтона-Ирвинга «Tales of a traveller», I, 5: «The bold dragoon or the adventure of my grandfather», 1821.

[5] «Два портрета».—«Сын Отечества и Северный Архив», 1832, т. 28, 321—348. В примечании указано: «Это первая глава Бальзаковой повести «Саррацин», помещенной в его «Romans et contes philosophiques». Перевод О. Сомова».

[6] «Госпожа Фирмиани». Повесть Бальзака.—«Сын Отечества и Северный Архив», СПб. 1833, т. 33, 3—35; переводчик: «О»—повидимому, О. Сомов. В «Revue de Paris», 1832, февраль.

[7] «Путешествие из Парижа в Яву, по методе, изложенной Г-м К. Нодье в его истории Богемского короля и семи замков его, в главе, имеющей предметом разные способы перевозки у древних и новых народов».—«Сын Отечества и Северный Архив», т. 33, 253—272, перев. Н. Ю. (Юркевича).

«Voyage de Paris à Java» написано в 1832 г., в первый раз напечатано в «Revue de Paris», 1832. К Кюхельбекеру не попадали в крепость альманахи. Он немало изумился бы, если бы прочел в «Северных Цветах» на 1832 год знаменитое стихотворение Пушкина «Анчар», написанное в 1828 г. В самом деле, и стихотворение Пушкина и «Путешествие» Бальзака, написанное четыре года спустя, повествуют об одном и том же ядовитом дереве, «древе яда» (у Пушкина а н ч а р, у Бальзака у п а с). Из чер-

новых рукописей Пушкина явствует, что он знал и о названии упас, а в пушкинской литературе установлены фактические источники сведений об этом легендарном яванском дереве; эти источники, видимо, были общими и для Пушкина и для Бальзака. Интересно другое: у обоих та же последовательность деталей в изображении свойств дерева и та же грозная социальная картина: у Пушкина владыка посылает раба за смертельным ядом, чтобы напитать им стрелы, и раб, вернувшись с ядом, умирает у ног владыки; у Бальзака осужденный яванец должен принести отравленный соком дерева кинжал, за что ему даруют прощение, но редко кто из преступников выживает. Так почти одновременно Пушкин в стихотворении, которое Мериме переводил на латинский язык, полагая, что только латынь может передать сжатость и силу подлинника, и Бальзак в очерке, вошедшем в «Traité des Excitants modernes», писали на одну и ту же тему.

[8] «Ростовщик Корнелиус». Повесть Бальзака (перев. с французского).—«Сын Отечества и Северный Архив», 1833, т. 38, 73—98, 129—156, 230—258, и т. 39, 3—25 («Maître Cornelius».—«Revue de Paris», 1831, décembre).

[9] «Красный Трактир». Повесть Бальзака (перев. с французского).—«Сын Отечества и Северный Архив», 1833, т. 41, 3—63. «L'auberge rouge».—«Revue de Paris», 1831, août, вошло в «Nouveaux contes philosophiques», 1832.

[10] «Библиотека для Чтения», 1834, I, 55, 56.

[11] Ibid., 59.

[12] Полемическое использование сходства псевдонима Жорж Санд с именем Карла Занда, немецкого революционера, убившего в 1820 г. агента Священного союза Коцебу и казненного; на деле псевдоним Жорж Санд происходил от имени ее друга, литератора Жюля Сандо.

[13] «Библиотека для Чтения», 1834, III, 38—39.

[14] Ibid., 44—45.

[15] Ibid., СПб. 1835, VIII, отд. II, 61.

[16] «Le père Goriot», сентябрь 1834 г.; «Revue de Paris»—декабрь 1834 г.—февраль 1835 г. В 1835 г. вышел в издательстве Werdet и Spachmann, в двух томах.

[17] «Библиотека для Чтения», СПб. 1835, IX, отд. II, 1—106.

[18] Зачеркнута более резкая фраза: «Только к несчастью люди самые умные и благородные редко бывают там, в тех кругах» и т. д.

[19] Цитата из знаменитого стихотворения Пушкина «Черная шаль» 1820 г., распевавшегося, как романс, в 20-х годах.

[20] Центрархив. «Восстание декабристов», VIII, 251.

[21] Центрархив. «Восстание декабристов». Материалы, VIII, 252.

[22] А. И. Дмитриев-Мамонов, Декабристы в Западной Сибири, СПб. 1905, 73—78.

[23] Брамбеус—не только литературный псевдоним, но и alter ego Сенковского, его литературный герой.

[24] Сорок одна повесть лучших иностранных писателей в 12 частях, изданы Николаем Надеждиным, ч. III, М., 1836, 203—259, ценз. дата 3/I 1836 г. Перев. «Une passion d'artiste»—второй главы повести «Sarrasine» (впервые в «Revue de Paris», ноябрь 1830 г.). Восторженный отзыв Кюхельбекера о первой главе «Les deux portraits» см. выше, стр. 367.

ЖОЗЕФ ДЕ МЕСТР И СЕНТ-БЁВ В ПИСЬМАХ К Р. СТУРДЗЕ-ЭДЛИНГ

Статья и публикация А. Марковича

I

Экзотическое имя Роксандры Стурдзы для читательской памяти тускло. Оно не вызовет даже у любителей исторической литературы сколько-нибудь отчетливого образа. Скорее всего, юношеские насмешливые строчки Пушкина: «Я вкруг Стурдзы хожу, вкруг библического,—я на Стурдзу гляжу монархического», заставят читателя предположить, что речь идет о какой-либо родственнице этого дипломатического чиновника и идеолога александровской реакции 1810-х годов. Роксандра Стурдза была в самом деле старшей его сестрой, которой он обязан не только своим выдвижением в верхи придворной бюрократии, но и кругом идей, которые он от нее заимствовал. То, что общество так мало знало о ней при жизни и не многим больше после смерти,—не случайность, а нарочитость. Она не любила гласного существования. Сама она зачертила себя в осторожных и кратких мемуарах, которые были написаны ею еще в 1829 г., но пролежали под спудом полустолетие, пока П. Н. Бартенев не издал их в 1888 г.[1] За шестьдесят лет, протекших с тех пор, нет ни одного исследования, где Роксандра Скарлатовна проходила бы близко перед глазами, ни одного издания документов, которое сообщало бы настоящую осязательность ее смутному облику. Между тем, существует нетронутый и значительный архив ее бумаг[2]. Роксандра Стурдза поступила осмотрительно, избрав себе затененное существование. Вначале это было тактическим приемом успехов, в конце это стало выводом из крушения ее притязаний и надежд. В самом деле, она оказалась только неудачницей и после этого не сочла нужным ни цепляться, ни размениваться. На десять лет жадной придворной карьеры приходится тридцать лет добровольного устранения от политики и двора,—такова история ее короткого сближения с Александром I, ее соперничества с Елизаветой Алексеевной, ее положения в кругу «друзей императора», ее связей с политикой и политиками 1810-х годов, а затем длительного и малоприметного существования в качестве супруги рядового веймарского дипломата, графа Эдлинга.

Мемуары ее, написанные после смерти Александра I,—точное отражение ее приемов и ее характера: тайного честолюбия, неразглашаемых успехов и прикрытого поражения. Нет ничего нагляднее их уклончивости, обиняков и недоговоренностей. В них нет выдумки, но они говорят не всё. Роксандра Стурдза стояла рядом с важнейшими людьми и делами середины александровского царствования, для нее не было тайн в высочайшем кругу,—она знала всё и всех возле трона; она немало делала сама и еще больше через других,—и будь у нее желание написать подлин-

ные воспоминания, она могла бы, при своей зоркости, памяти и уме, оставить записки большого веса, яркую картину российско-императорской политики восемьсот десятых годов. Но она не чувствовала к этому влечения. Если она и стала писать, то для того лишь, чтобы закрепить свой образ таким, каким она его делала в жизни и каким хотела оставить будущему.

Прежде всего, в мемуарах внушается, что Роксандра Стурдза всем обязана лишь себе самой. Видимо, это соответствует тому, что было на самом деле. Внучка молдавского господаря, русского клеврета, родившаяся в Константинополе в 1786 г. и привезенная после Ясского мира в 1792 г. в Россию, она росла в довольстве, но не в богатстве, и среди провинциального дворянства, а не столичной знати[3]. Ей было пятнадцать лет, когда после убийства Павла I семья ее переселилась в Петербург, пытаясь найти себе место среди удачников, выдвинутых новым царствованием. Это осуществлялось плохо и туго, со значительными усилиями и скромными итогами, среди служебных обид и семейных несчастий. Сама Роксандра, уже взрослой девицей, на двадцатом году, была, наконец, пристроена ко двору. Она оценила обстановку сразу и сделала выводы. Она стала терпеливо, но настороженно ждать своего «случая». Когда в пору начавшегося ее фавора у царской семьи (ибо вскоре она обворожила всех троих — и обеих цариц, и царя) придворные давали ей наименование «честолюбицы, притворщицы, интриганки»[4], традиционное светское недоброжелательство лишь преувеличивало, но не изобретало черты ее душевного склада и общественного поведения. Разгоравшееся, в жажде большого влияния и больших дел, воображение Стурдза умеряла осмотрительностью влечений и обдуманностью шагов. «Открытость, доброжелательство, большая естественность», как ретроспективно описала Стурдза свою манеру держаться в придворном кругу, были свойствами, которые она поставила на службу целям личным и целям политическим. Такими были, во-первых, возобновление благополучия семьи Стурдза; во-вторых, стремление к независимости Греции и, в-третьих, удержание близости с Александром I. Цели, как будто такие разные, были в жизни лишь тремя сторонами одного предмета: восстановление блеска родового господарского имени было связано с восстановлением самостоятельности греческого государства, а это, в свою очередь, в далеко не последней степени зависело от возможности интимно влиять на российского императора.

Первые проявления своей жизненной тактики она начала в двух местах: в окружении вдовствующей императрицы и в доме морского министра Чичагова. При дворе Марии Федоровны она сосредоточила внимание на старой графине Ливен, воспитательнице великих княжен; потраченные усилия были вознаграждены успехом: она была замечена и допущена к частому общению с княжнами; вскоре ей стало известно, что она уже накануне фрейлинства у «вдовствующей». Но тут обозначились возможности большей значимости; она дала себя заметить одной из влиятельнейших женщин «молодого двора» — графине Головиной: при ее содействии она была назначена фрейлиной к новой царице, причем оказалось, что ее назначением осуществлялся план постепенного окружения молодой императрицы иными людьми, нежели она сама себе выбрала[5]. Здесь было заложено начало тем сложным отношениям, в которых она очутилась между императрицей и Александром и которые затем приняли вид, дававший в 1810-х годах основания Елизавете Алексеевне подозревать, что

ЖОЗЕФ ДЕ МЕСТР
Рисунок неизвестного художника. Сверху ошибочная помета неизвестной рукой: „Автопортрет Михаила Воинова 25 марта 1780 г."

Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

фрейлина Стурдза осуществляет возле нее политико-наблюдательные цели, а Ростопчину—говорить, что она просто царева шпионка[6]. «Дней Александровых прекрасное начало» требовало от каждого царедворца, притязавшего на внимание Александра, обладания известным запасом общеполитических идей, отчетливых или туманных, но хоть сколько-нибудь отвечающих сложности внешних и отечественных отношений в 1800-х годах. К тому времени, когда Стурдзе удалось устроиться при дворе, она, действительно, уже прошла подготовку в такой отличной школе, какой был салон Чичагова. Она знала «сумасбродного адмирала» издавна. Ее семья дружила с чичаговской еще в павловское время[7]. При дворе Александра Чичагов был на особом положении. Его поведение было образчиком придворной независимости, его связь с царем—мерилом александровской терпимости, его собственный салон — примером допустимой политической широты. В житейском обиходе он был страстным спорщиком, занимательным собеседником, causeur'ом. Он искал антагонистов, хотя бы и крайних, только бы убежденных. Он сам был умен, наблюдателен, прямолинеен и красноречив; его «Записки», посмертно напечатанные лишь в извлечениях осторожными наследниками[8], сохраняют непосредственный склад его личности и живой отзвук его речи. Он был «другом императора», не будучи ни среди «молодых друзей», ни среди «близких вельмож». Он был либералистом, западником, противокрепостником, независимо от кружка Новосильцева, Чарторыйского, Строганова, Кочубея, и был приближенным министром, старым царедворцем, независимо от Волконского, Салтыкова, братьев Толстых и других блюстителей крепостничества в интимном кругу Александра. Поэтому он был одинок, «двух станов не боец»,—больше фрондёр, чем деятель, и чаще наблюдатель, чем исполнитель. Но зато его дом представлял собой один из лучших пунктов для наблюдения и для первых связей с людьми и делами внутренней и внешней политики русского двора.

Роксандра Стурдза извлекала из чичаговского общества всё, что могло питать ее мечты и помогать ее стремлениям, но идейная сердцевина чичаговского фрондёрства была для нее и чужда и опасна. Политический романтизм сочетался в ней с житейской трезвостью. Знаменательно ее отношение к «молодым друзьям» императора. Она была почти их однолетка; она была так же честолюбива; едва ли не у нее одной, среди всего круга придворных девиц, были дарования и возможности стать с ними рядом,—это было бы естественно: время, когда она поднялась наверх, было еще их временем, последним этапом их гегемонии. Но в том, что говорят о них ее «Мемуары», слышится не голос двадцатилетней фрейлины, а ворчливое недоумение, растревоженная злость, каким «старая партия» встретила и сопровождала весь пятилетний фавор «негласного комитета»[9]. Стурдза была со «старой партией»; старики представлялись ей надежнее; у нее был верный нюх не только в том смысле, что пора «наперсников» уже была на исходе, но и в том житейском, непосредственном смысле, что покровительство Ливен и Головиной скорее и ближе вело к цели.

Тут сказалось и одно особое влияние. Именно оно сейчас занимает нас. Оно шло со стороны. К этой среде исконных царедворцев, как к собственной,—к Толстым, Волконским, Головиным—примыкал нерядовой человек, воплощавший своеобразием своего положения в высоком петербургском свете, своими идеями, своей политикой да и личными особенностями то, чего искала для себя Роксандра. Таким был Жозеф де Местр. В 1800-х годах этот савойский эмигрант и сардинский посланник, потом временный подданный и временный советник российского императора, может быть назван ее наставником. Ученики у него были редки[10].

Она познакомилась с ним в чичаговском салоне. Он был там завсегдатаем. Чем менее походил он на хозяина дома, тем более тянулись они друг к другу. Они дружили, хотя и своеобразно. Местр являлся в чичаговский дом, как на поле брани. Он выступал главным антагонистом чичаговского вольнодумия, а Чичагов на местровской реакционности испытывал надежность своего либерализма. Перед Роксандрой развертывались бои, в которых она была сначала молчаливой зрительницей, а затем оруженосцем красноречивого философа феодальной реакции. Она питалась энциклопедизмом его цитат, обнадеживалась его историческими предвидениями, проникалась его характеристиками людей и событий: «Именно там [у Чичагова] завязала я знакомство с графом де Местром и его братом [Ксавье]. Но старший, чьи сочинения составили эпоху, присоединял ко всем сокровищам знаний и дарования еще редчайшую чувствительность, которую он вносил в самые простые жизненные отношения. Непреклонный, часто даже нетерпимый в своих убеждениях, он был всегда снисходителен и дружествен в личных отношениях к людям. Страстный ценитель женщин, он искал их общества и их одобрения. Дружба, которую он мне выказывал, была для меня столь же приятна, как и полезна, ибо граф де Местр занимал видное место в обществе, и было достаточно удовольствия, какое он находил в моей беседе, чтобы создать мне репутацию. Мы были единомышленниками во всем («nous nous entendîmes sur tout»), кроме католической религии, коей он был ревностным защитником. Интимно связанный с иезуитами, он лелеял надежду увидеть день, когда русская церковь вступит в союз с ними, и он по мере сил помогал ей в этом

смелом плане. Я же, убежденно исповедуя веру моей страны, выслушивала всё то, что граф де Местр говорил мне по этому поводу, не противореча и не огорчаясь...»[11].

Несомненно, что политические соображения сыграли свою роль в краткости этих строк. Они должны были бы остаться нерасшифрованными, ежели бы не сохранившаяся в эдлинговском архиве большая пачка писем автора «Санкт-петербургских вечеров». Эта корреспонденция наполовину опубликована, наполовину нетронута. И в той и в другой части она равно важна для изучения отношений Местра и его адресатки. То, что в «Записках» сказано о Местре, очень кратко; однако, то, что с такой краткостью сообщается,—достоверно. Графиня Эдлинг утверждает две вещи: во-первых, что была известная личная заинтересованность, внутреннее влечение к ней со стороны сардинского посланника, и, во-вторых, что она чувствовала себя его единомышленницей во всем, кроме вероисповедания. Для нас ныне это второе занимательнее и существеннее первого; сто лет, прошедшие с тех пор, как написаны мемуары Стурдзы, переместили центр тяжести. Но ежели стать на точку зрения среды, в которой и ради которой составлялись «Записки», то заявления об идейном тождестве воззрений являются менее отважными и обязывающими, нежели утверждение, что Жозеф де Местр искал ее общества и бесед. Тут она выдавала себе аттестацию большого масштаба. В идейной области достаточно было оставаться местровской ученицей; здесь же надо было быть если не соперницей, то, во всяком случае, ровней. Тем не менее, Стурдза не преувеличивает. Она, в самом деле, владела столь особым искусством беседы, что даже злоязычники и недруги слагали оружие и воздавали ей должное. Природно глумливый Вигель счел нужным, для усиления эффекта, даже изобрести противоположность между неказистостью ее облика и обаянием ее речи. Он именует ее безобразнейшей из фрейлин, однако, словно бы лишь для того, чтобы это противопоставить панегирику ее талантам: «...Но лишь только она заговорит, и вы очарованы, и даже не тем, что́ она скажет, а единственно голосом ее, нежным, как прекрасная музыка. И когда эти восхитительные звуки льются, что выражают они? Или глубокое чувство, или высокую мысль, или необыкновенное знание, облеченное во всю женскую грациозность, и притом какая простота! Какое совершенное отсутствие гордости и злобы! Превосходство души равнялось в ней превосходству ума»[12].

Жозеф де Местр оценил и поддержал такое дарование тем готовнее, что тут он был неоспоримым законодателем. У него это было первым из талантов. Литературные произведения были у него остывшими пересказами словесных импровизаций. «В беседах он был еще более значителен, чем в писаниях; то, что тут отзывается остроумничанием, нарочитостью, а порой и несколько дурным тоном, лучше осваивалось и словно бы искрилось в самой речи и подкреплялось его личностью»[13]. Собеседниками ему отваживались быть немногие: «Я недостаточно силен, чтобы спорить с вами»,—говорит у него Кавалер в «Санкт-петербургских вечерах»[14]. Начинающая же Роксандра отваживалась. После чичаговского салона, пока адмирал пребывал в чужих краях, это продолжалось в собственном ее доме, «в Яссах», как острил Местр,—на обедах, которые дважды в неделю давали старики Стурдза и где она играла роль хозяйки[15]. Местр даже прижился и стал у Стурдза своим человеком. Роксандра была теперь постоянной спутницей тех часов местровских будней, когда он

«влачился прочь из дому». Прямых записей их бесед не осталось, но по отражениям в его письмах и ее рукописях можно сказать по-пушкински, что «меж ними все рождало споры и к размышлению влекло, племен минувших договоры, война и мир, добро и зло». Для Местра такой круг вопросов был обычен: от «Размышлений о Французской революции» до «Санкт-петербургских вечеров» и «Папы» он был сугубо занят тем, что̀ ему представлялось философией истории и что̀ было лишь яростной тяжбой с современностью, пророчествами реставрации, ожиданиями Немезиды для революционеров и т. д., и т. п.

Но и для Роксандры это было не чужой областью. Ее беседы с Местром были не отвлеченными упражнениями юной мысли. Она вела их применительно к своим чаяниям и к своей судьбе—к родовым утратам в прошлом, к двойственному положению в настоящем, к большим притязаниям на будущее. Для местровских рассуждений она искала жизненного применения. Ее деловитая природа воспринимала их в практическом виде. Когда впервые читаешь ее «Записки» или бумаги ее архива, удивляешься не столько общей схожести ее самочувствия с местровским, сколько совершенной переимчивости, которую она проявляет то тут, то там вослед наставнику. Характерно, что девятнадцатилетняя Стурдза определяет общий закон своего поведения, как «скромную сферу созерцания»—формула нерядовая для ума и языка подростка. Но это—лишь отражение Жозефа де Местра; он именно так говорил о себе: «Бог создал меня, чтобы мыслить, а не волить. Я не умею действовать, я провожу время в созерцании». Однако, остается место и для разногласий. Мемуары Эдлинг их подчеркивают. Во след свежей памяти изгнанию иезуитов из России и местровской скомпрометированности, Стурдза сочла необходимым дать пространное объяснение о том, как относится она к католическому прозелитизму своего друга. Но мы остались без авторских разъяснений относительно того, что̀ имела она в виду, подчеркивая свое «согласие с ним во всем, кроме религии». Это надо нам вскрыть самим—по косвенным указаниям, по сопоставлениям. Да и относительно вероисповедного расхождения Эдлинг не сказала самого важного, поскольку противоположение православия католичеству было для нее не основным, а производным. Это обнаружится позднее, когда Стурдза будет уже в больших ролях, когда в начале 1810-х годов она поведет собственную линию. Для первой поры общения с Местром нет основания ни отвергать, ни видоизменять ее решительного свидетельства. Прежде всего, у него и у нее родственно-общее ощущение жизни. Она, как и он, чувствовала себя «родов униженных обломком». Оба они—изгнанники, заброшенные в страну, которая, правда, не стала им мачехой, но не была и родиной. Для обоих прошлое—это блестящее положение их семей на родовой земле; для обоих настоящее—это перемогание, полунужда, полудостаток, полуунижение, полупочет, постоянное сознание своей жизненной второстепенности, при избытке гордости и сил; для обоих будущее—это, прежде всего, восстановление прошлого, борьба за реставрацию, за возвращение того, что было, при помощи того, что есть. Стурдзовский речитатив вступления в жизнь: «ни богатства, ни протекции, ни красоты»,—это эхо жалоб Жозефа де Местра, повторявшего целых два десятилетия: «Все потеряно для меня,—нет ни отечества, ни состояния, ни даже короля!»[16]; «...поистине... я мертв, и только похороны задержались...»[17]; «...чужой для Франции, чужой для Савойи, чужой для Пьемонта, я не знаю будущей своей судьбы...»[18]. Самые подступы к фи-

лософии и политике реставраторства были у Роксандры те же. Она вовсе не росла господаршей, княжной в изгнании. Если молодость Местра была антипапистской и франкмасонской, если зарю революции 1789 г. он встретил с непредубежденным и почти сочувственным вниманием, как конец «деспотии»[19], то и детство Роксандры проходило не среди боярско-молдавской косности и проклятий напиравшей новизне века; турецких кровавых уроков было достаточно, чтобы в семье Стурдзы раздавались также иные речи; первые же страницы эдлинговских мемуаров говорят нам: «Революция во Франции занимала тогда все умы. Мы слышали с утра до вечера споры о самых высоких предметах». Ее воображение подростка равно пленяли противоположности: «...то мученицей свободы я умирала на эшафоте с мужеством Порции, то приверженицей злосчастной королевской семьи я делила с ней опасности судьбы...»[20].

Роксандра была в состоянии понять и усвоить одну из наиболее своеобразных черт местровской программы реставрации—его убеждение в исторической, «провиденциальной» обусловленности революции и в том, что бороться с революцией надо, считаясь с ней, как с фактом; именно это приводило его в дипломатической деятельности к политике конъюнктур—«экспериментальной политике», как он ее именовал,—где ценности своеобразно перемещались, где узурпаторство и легитимизм менялись ролями, где Местр считал нужным пытаться договориться с «посланником провидения»[21], пришельцем Бонапартом, но не видел общих путей для себя с исконными австрийскими Габсбургами, и где роль суперарбитра, бескорыстного судьи европейских дел, возлагалась на русского

Р. С. СТУРДЗА-ЭДЛИНГ

С литографии 1820-х гг.

царя[22]. Многолетние апологии, которые Местр расточал Александру, которые продолжались после Аустерлица так же, как после Тильзита, и после Смоленска так же, как после Бородина, которые он доводил до императорских ушей и непосредственными меморандумами, и монологами в высоком свете, и предназначенными к перлюстрации письмами за границу, были целой системой, направляемой на то, чтобы не дать поколебаться вере в решающее значение русской мощи среди происходящей борьбы наследников абсолютизма и наследника революции. Образ «царственного рыцаря» был изобретен для Александра как раз Жозефом де Местром, назвавшим царя еще в предаустерлицкую эпоху «Godefroy de cette nouvelle croisade»—«Готфридом Бульонским нового крестового похода»[23] и умевшим превращать в душевозвышающее зрелище даже растерянное бегство и немужественные слезы Александра после аустерлицкого разгрома. Обожание, которое выказывала царю Роксандра, было продиктовано, конечно, не Местром, а исконным обычаем придворной среды, но тот особый оттенок, который Стурдза вносила в свое показное, а может быть, и в действительное чувство, умиленность перед тем, что она также именовала александровой «рыцарственностью»[24],—тут местровская печать едва ли оспорима.

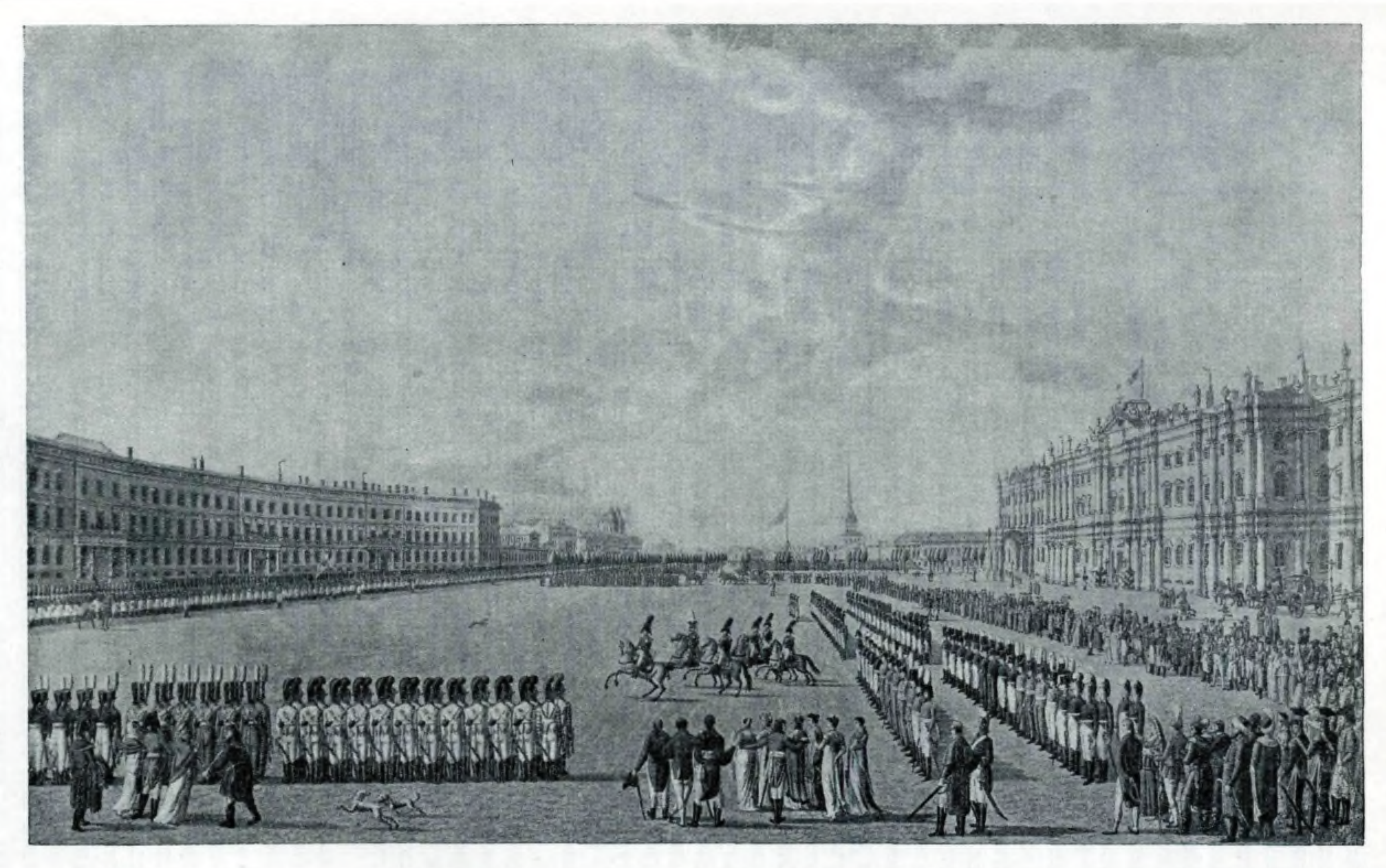
Иначе и не могло быть, поскольку и фрейлинское положение, и честолюбивые мечты требовали использования главного рычага местровской «экспериментальной политики», ставки на Александра, в самом важном, что занимало тогда Стурдзу,—в «эллинской реставрации». Опять-таки не Местр посеял это зерно. Больше того, он, видимо, даже считал восстановление греческой независимости неосуществимым, во всяком случае, преждевременным. Вдохновителем тут был Каподистрия, первый вождь молодежи в семейном кружке Роксандры, может быть, единственный человек, который вызвал в ней и бескорыстное признание и безрасчетную любовь,—«один из тех людей, чье знакомство составило бы эпоху в жизни, даже если бы он и не представлял исторического интереса; на его прекрасном лице лежала печать гения...»; «...старше нас по возрасту, он уже пытался осуществить великолепную мечту, посвятив лучшие годы юности созданию на родных Ионических островах республики, которую Тильзитский мир только-что разрушил...»[25]. Но возобновить борьбу за эллинскую самостоятельность при помощи русской политики, уметь продвинуть для этого Каподистрию в царский кабинет, не прекращать ради этого годами, вопреки капризам событий и сопротивлению Александра, и тайной и открытой работы—значило следовать тому примеру, какой давал Жозеф де Местр настойчивой, неизменяющей привязанностью к своей маленькой родине, которая была лишь разменной монетой в больших военно-дипломатических играх наполеоновской поры, но от которой его не могли оторвать ни пятнадцать лет политических неудач и патриотических унижений, ни соблазны блестящей карьеры при русском дворе, наподобие той, что сделал Паулуччи—пьемонтский «проходимец», по выражению Чичагова, или Винценгероде—«беглый пруссак», по терминологии Наполеона, или иные ренегаты своих попавших в беду отечеств.

Именно этот местровский урок патриотизма питал и главное разногласие между учителем и ученицей—в вопросе вероисповедания. Опять-таки для обоих религиозность вовсе не была чем-то бережно сохраненным с детства и естественно разросшимся со зрелостью. Их история была вновь схожей: они оба сменили ребяческую набожность на молодое вольно-

мыслие; Местр в 1770-х годах был антипапистом и франкмасоном, а Эдлинг с первых же мемуарных строк отмечает, что хотя отец ее, «глубоко верующий, внушал [своим детям] сызмальства почтение к религии, однако, чтение многочисленных философских трудов поколебало нашу веру...»[26]. Если Местр стал затем воинственным католиком и покровителем иезуитов, а Эдлинг—упорной блюстительницей православия, то внутреннее чувство здесь следовало за внешними побуждениями[27]. В мистических излияниях и в религиозном поведении Стурдзы была своя система приспособляемости к модной светской экзальтации 1800-х годов, когда громкие упования на господа и шумные пророчествования о будущем должны были прикрыть тайный ужас перед недавней революцией и безнадежное смятение перед настоящим. Роксандра лишь проявляла оглядку и сдержанность, свойственные ее природе и манере держаться. Основа ее религиозности, как и Местра,—политическая. Именно это делало ее православие твердым. Для Стурдзы отпор местровским католическим внушениям диктовался государственными видами. То, что принесли ей планы Каподистрии, то, что грезилось ей в близости к Александру, и то, чего требовали, наконец, интересы семьи Стурдза, обязывало к верности православию: оно было религией греческого народа, а какая же политика восстановления его независимости и какие расчеты на собственную роль могли сочетаться с пропагандой католичества? Для Местра была, видимо, ясна эта связь неоэллинизма и православия, и его контратаки были направлены на основное, что служило помехой: он критиковал не догму, а политику; на такое предположение наводит одно его замечание в петербургском трактате о папе—оно кажется откликом споров с Роксандрой о перспективах греческой реставрации. Местр говорит: «Я беседовал с людьми, которые долго жили в Греции и близко изучали ее жителей. Они высказывались единодушно относительно того, что никогда нельзя будет установить греческой государственной самостоятельности («une souveraineté grecque»)... Я очень желал бы ошибиться, но ни один глаз человеческий не в состоянии разглядеть, когда придет конец порабощению Греции, а если оно и кончится, как узнать, что̀ тогда произойдет?»[28]. Это было написано в 1817 г. и предъявлено читателям в 1819 г., но не прошло и двух лет, как фанариотское восстание 1821 г. показало, чего стоили пророчества Местра, а проживи он еще немного, ему довелось бы увидеть петербургского знакомца, стурдзовского Каподистрию, верховным главой греческой республики,—как Роксандре, проигравшей своей изменой Каподистрии почетное место рядом с ним, довелось дожить до времени, когда ее родич, Михаил Стурдза, стал господарем автономной Молдавии.

Отказ от Местра в делах вероисповедных, таким образом, не был запоздалым отречением мемуаристки от высланного из России иезуитского агента. Он даже глубже и больше соответствует тому, что было в действительности, нежели это явствует из верхнего слоя доводов, которыми «Записки» Эдлинг обосновывают расхождение. Но и стурдзо-местровское единомыслие было крепче и глубже, чем это отражено краткостью мемуаров. В тождествах была та же обусловленность, что и в разногласии: они становятся тем чаще, чем ближе подходят к житейской практике, к придворным и политическим будням. Тут Местр подсказывает Роксандре ходы и решения, охотно ведет ее за собой, при нужде сам действует вместо нее. Зенит его придворного фавора и начало роксандровского восхождения

совпадают. То пятилетие 1807—1812 гг., когда он был оракулом «старой партии», когда Толстые, Волконские, Головины были его людьми, когда он смешивался с ними во вражде к «любимцу» Лагарпу в прошлом и к «царевым наперсникам» в настоящем; когда он блистательно выражал то, что они выговаривали лишь косноязычно[29]; когда царские уши, то за ширмами обер-гофмаршальского кабинета, то прямо, выслушивали советы и представления староверов в личном, местровском изложении; когда он если не возглавлял, то оформлял решающую интригу против Сперанского и мог падение последнего считать и своим собственным успехом; когда, наконец, он стал неофициальным, но общеизвестным царским секретарем и на время даже российским подданным[30],—это пятилетие было и для Роксандры решающим в завоевывании положения при дворе, в сближении с Александром. После 1812 г. она уже не нуждалась в стороннем содействии; но до 1812 г. всякое покровительство было ей драгоценно. Помощь же Местра тогда была и весома и деятельна. Если графиня Головина сыграла главную роль в том, что Стурдза получила свое фрейлинство, то, в свою очередь, именно Местр сблизил Роксандру с самой Головиной. А при их общей помощи и им вослед[31], Роксандра вошла младшим сочленом в круги «старой партии», изучила ее влечения и антипатии и стала пользоваться ее возможностями: так пристроила она брата Алеко, жениха Каподистрию и нескольких других лиц своего круга; Местр был ходатаем, хлопотуном, советчиком. В его корреспонденции со Стурдзой эти заботы о ней, о ее семье, о ее протеже тянутся из письма в письмо, так же как из письма в письмо он сообщает ей о своих личных малых делах. В семье Стурдза он свой, как и она для него своя. Как ни прижился Местр у Стурдз,—связывала их всё же она одна. Его посещения стурдзовского дома стали частыми, его дружественное расположение к отцу, матери, сестре и брату Роксандры сделалось привычным, но поддерживалось это только вниманием к ней. То, что графиня Эдлинг говорит об особой склонности, которую выказывал ей Местр, подтверждается его письмами. Он оценил ее «искусство беседы». Надо знать сложившиеся навыки, любимейшие привычки Местра, чтобы понять, какого рода приманкой это для него было. «Часы бесед» завершали его день. Они были венцом, наградой его буден. Когда кончалось одиночество тянущегося дня и наступала, наконец, пора выезда на люди, Местр прикидывал, какой из очередных салонов даст ему радость лучшего собеседования. У него была даже особая теория о сравнительной ценности «разговора», «диалога» и «беседы», изложенная устами Кавалера в восьмом «разговоре» «Санкт-петербургских вечеров»[32]. Какова ее ценность—неважно; важно, что Местр над ней трудился, ее изготовил и ею пользовался. В XIX в. он был последним представителем классической линии «собеседников»,—последним потому, что г-жа де Сталь умолкла всё же раньше и он на несколько лет переговорил ее. У него было столь же точное представление и о наилучших условиях для ведения беседы. В «Санкт-петербургских вечерах» рассыпаны по страницам похвалы «беседам за чаем»[33]. Сам он хотел бы называть эти собрания друзей за чайным столом более торжественно: он предлагал для них античное имя «symposion». Более того, ради соблюдения платоновского стиля, он изображал это в своих писаниях в виде собеседования «мужей». Местр, устами Графа, отрекается здесь от женского общества. Но так было только в его книгах. В жизни у него было наоборот. Он сам признавал это в интимных



ПАРАД НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ В ПЕТЕРБУРГЕ
Гравюра с рисунка Б. Патерсена, 1807—1808 гг.
Исторический музей, Москва

письмах к оставленным на Западе друзьям, когда описывал свою трудную петербургскую жизнь; он заявлял: «... ежели бы случайно, графиня, вам пришла охота узнать, что я делаю и как живу, я тотчас ответил бы: вам это известно,—как ходит маятник—т и к-т а к. Вчера, сегодня, завтра—всегда. Я чувствую, что жизнь во мне скудеет. Мне очень трудно влачиться куда-нибудь из дому; часто даже я отказываюсь от очередных обедов, дабы доставить себе удовольствие не выходить целый день; я читаю, пишу, у ч у с ь,—ибо, в конце концов, надо же знать что-нибудь. После девяти часов я приказываю везти себя к какой-нибудь даме, ибо я всегда отдаю предпочтение женщинам...»[34].

Роксандра была среди этих «предпочтенных женщин». Она была для него тем больше «собеседницей», что в ее существе имелось то, чего он требовал для «symposie philosophique»—«философской трапезы»: женственность ее манер и облика сочетались с мужским складом ума и воли. Ее искусству собеседницы посвящены одобрительные упоминания, сочувственные отметки, подхваченные темы в его письмах к ней. Они вообще длинны, говорливы, ибо он не столько писал их, сколько записывал воображаемый разговор; они наполнены всякой-всячиной, всегда острят, и не всегда удачно, а порой и невзыскательно («d'un peu mauvais goût parfois»); они так пересыпаны намеками и иносказаниями, что для нас это часто только слова без содержания, и мы их слышим, но не понимаем. Эта домашняя складка местровской переписки когда-то составила нечаянную радость ученых читателей, от Сент-Бёва до Фаге: в теоретике изуверства и нетерпимости был открыт добродушный семьянин. Сент-Бёв говорит об этом в первой же своей статье о Местре 1843 г., Фаге начинает спустя целых полвека с этого местровскую характеристику, и даже Тибоде в новейшем кратком компендиуме истории французской литературы (1936) не считает возможным пройти мимо этого[35].

Извлечения из писем к Стурдзе были как раз первыми, привлекшими к себе внимание. Среди всей переписки Местра стурдзовская—в самом деле самая домашняя, более домашняя, чем с собственной его семьей, ибо расстояние и время—тысячи верст и многолетие разлуки—наложили на его семейную корреспонденцию нечто меланхолическое, философски-назидательное, принужденно-важное. А тут, в писаниях к Роксандре, посылаемых из дома в дом по Петербургу или в Царское село, сохраняется вся живость только-что прерванного и вновь начатого разговора. Так говорят, так пишут совсем свои люди.

Он пишет ей: «П о м е с т н и ч а т ь («castelliser») рядом с вашей семьей было бы мне особенно сладостно, а так как, к тому же, и вы были бы там,—поневоле пришлось бы набраться терпения; но, увы, нет больше замков для меня! Молния разбила всё. Для меня остались лишь сердца; это большое достояние, когда они так насыщены, как ваше. Внимание, какое вам угодно выказывать мне, я возвожу в ранг тех драгоценных обладаний, которые, по счастию, никем не могут быть конфискованы... Некогда странствующие рыцари покровительствовали дамам; ныне дамы должны покровительствовать странствующим рыцарям. Поэтому благоволите, Mademoiselle, принять меня под свое с ю з е р е н с т в о» (петербургское письмо 31 июля/11 августа 1810 г.). Эту декларацию сопровождает целый ряд таких же признаний (хоть и более беглых, но звучащих еще сердечнее), идущих сквозь все годы общения: «С тех пор, как вы нас покинули [для Царского села], душа моя занята лишь мрачными

вещами... Я представляю себе, что вас еще больше ценят в этом уединении, по той простой причине, что чем больше видишь вас, тем больше хочется вас видеть» (7/19 июня 1813 г.). «Я придаю бесконечную ценность той приносящей мне честь дружественности, которой вы меня оделяете. Все мое горе в том, что я поздно вошел в перечень друзей ваших, но зато в этом отношении я преисполнен уверенности, что не сделал ошибки» (13/25 августа 1813 г.); «Получил ваше письмо... мне пришлись весьма по вкусу ваши размышления о времени, уходящем, пока длится вся эта церемония; я не перестаю думать о «лотерее», о которой вы говорите мне» (август-сентябрь 1813 г., письмо курьезно подписано: «Ossip Xaverievitch»— Осип Ксаверьевич); «Я не знаю ни одной особы вашего пола, которая была бы более достойна сосредоточить на себе всю привязанность, всё уважение, всё доверие хоть сколько-нибудь утонченного существа нашей породы» (письмо 1/13 апреля 1814 г. из Петербурга к Стурдзе за границу).

Может быть, следует напомнить, что Местр уже был в середине своих шестидесятых, а Роксандра только переступила свои двадцатые годы, чтобы эта почти сорокалетняя разница помогла оценить удовлетворение, какое должна была испытывать Стурдза. Самое лестное было, пожалуй, не столько в общем признании ее незаурядности, сколько в этом равноправии, в этом отсутствии тона старшего к младшей и знаменитости к безвестной. Его заверения обязывали обоих к далеко идущей откровенности. Местр вообще щеголял ею. Она была у всех на виду и могла бы соперничать с чичаговской, будь она более вызывающей и не столь ловкой. «Граф де Местр—единственный человек, который громко говорит то, что думает,—и притом никогда не совершает неосторожности»,— отмечает один его коллега, общавшийся с ним[36]. Вторая половина суждения стоит первой, и, вероятно, в ней-то и надо видеть соль; но это не мешает рассказу быть свидетельством того, как держался в обществе Местр. Стурдза же сама поведала нам о своей «природной открытости». При их отношениях, откровенность должна была обрываться лишь у порога сердечных тайн одной и государственных секретов другого. Во всяком случае, в письмах Местра к Роксандре не оказалось места ни для ее отношений и разрыва с Каподистрией, ни для фаворитства и неудачи у Александра,—как не существует и темы о местровских служебно-дипломатических демаршах. Но в остальном его письма затрагивают всё, что можно затронуть,—и дела обеих семей, и дела общих друзей, и дела общего внимания при дворе и в свете. Одно лишь наблюдается: возрастание отвлеченностей, наплыв намеков, увеличение иносказаний по мере приближения к высоким людям и событиям. Тут не остается и следа от красочности и подробностей, какие милы Местру, когда он пишет о повседневных вещах. Переход к большим персонам и щекотливым новостям дает себя сразу знать метафорическими, а то и просто туманными оборотами речи, своего рода обменом условными знаками. Нас эти исторические шифры занимают прежде всего, и мы охотно пожертвовали бы изрядной долей «Местра-человека», которому так радовались первые публикаторы его корреспонденции, ради «Местра-политика». Но это так: и он, и Роксандра не пускают посторонний глаз и чужую догадливость дальше известных границ; для обоих шифр в переписке обычен и узаконен. В этих ее частях особенно чувствуется, что она—только дополнение к устным беседам, менее осмотрительным и лаконичным, где личности, отно-

шения, происшествия назывались и комментировались громче, шире и определеннее. «Я в восхищении от всего того, что вы мне говорите о прекрасном дьяволе и о лицах, которых он привлек к делу. Все это превосходно. Но что скажете вы об этом двойном командовании? Это можно встретить только здесь. Если бы он оказался победителем на суше и побежденным на море, то не потому ли, что это было бы нелепо? Со своей стороны, я считаю его весьма способным совершить то, что именуется блестящим ударом («un beau coup»), ибо он умеет импонировать («il a une tête ascendante»), а как раз это и существенно в мире. К тому же, кто мог бы отказать ему в одном даре, отнюдь не маловажном,—распознавать, подбирать и ценить честных людей...» (письмо из Полоцка, 31 мая/12 июня 1812 г.),—такой отрывок типичен для иносказаний Местра; кое-что мы можем предположить, однако, лишь самое общее; вероятно, речь идет о чичаговском назначении командующим черноморским флотом и армией в 1811 г.; но если это и так, то наша догадливость исчерпывает себя с малой удовлетворенностью. Остальное не рассекречивается.

Все эти выдержки (и здесь, и выше) позаимствованы из тех писем к Стурдзе, которые уже появлялись в печати[37]. Они были один раз использованы частично и трижды напечатаны полностью, с малыми изъятиями. Частично использовал их Сент-Бёв—первый, кто получил от самой Эдлинг копии, нарочно для него снятые. Но Сент-Бёв промедлил несколько лет, оправдываясь тем, что «перед таким атлетом позволительно испытывать некоторую робость»; когда же за год до смерти Эдлинг появилась, наконец, первая его статья, в ней было приведено лишь несколько местровских цитат, без дат, вперемежку, а характеристика адресатки подменена ходовым заявлением о «драгоценной благожелательности, позволившей» и т. д., да куртуазным указанием, что письма были написаны к «некоей молодой одухотворенной даме»[38]. Полностью эти эдлинговские копии были напечатаны в 1851 г., в двухтомном издании «Lettres et opuscules», открывшем собою публикацию местровской корреспонденции, начатую Родольфом—Местром-сыном. Но они расположены там в странном порядке, точнее—в беспорядке: без хронологической последовательности и снова без дат. В таком виде вошли они в «Собрание сочинений» («Œuvres»), осуществленное в 1884—1887 гг., в его XIV том, и так перепечатаны в новейшем издании 1924 г. Сейчас, приводя цитаты по подлинникам, хранящимся в Пушкинском доме Академии наук, мы впервые восстанавливаем датировку писем, нанесенную местровской рукой. Тем самым ход переписки получает естественное свое развитие.

Однако, этой группой писем доля Местра в эдлинговском архиве не ограничивается. Снимая копии, Роксандра Скарлатовна занялась сортировкой. Одно она решила воспроизвести, другое оставила попрежнему под спудом. Припрятанная часть пролежала еще сто лет. Что побудило к этому Эдлинг, сказать трудно. Каких-либо нескромностей или разоблачений оставшееся не содержит. Можно, пожалуй, предположить, что небольшие записки были изъяты потому, что они лишены весомости, массивности основных местровских посланий. Но чем объяснить исключение писем, ничуть не менее обширных, чем скопированные, а частью даже и более важных? Таково предотъездное письмо Местра 1817 г., заключительное для всей переписки со Стурдзой. Заниматься догадками

АЛЕКСАНДР ИПСИЛАНТИ
Рисунок неизвестного художника,
1815—1820-е гг.

Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

бесполезно. Что-то помешало графине Эдлинг выпустить полтора десятка писем из под замка,—может быть, иногда намек, который для нас безразличен, а ей неприятен, иногда тривиальное выражение, какие часты у Местра, ибо он питал к ним вкус и уснащал ими писания, когда «не было рядом предостерегателя», как выражался он сам[39]. Сейчас вся эта вторая неизвестная часть пройдет перед читателем. С ее обнародованием местровская корреспонденция с Эдлинг будет исчерпана. Она не потребует от нас сколько-нибудь подробного объяснения. К тому, что рассказано выше, надо будет добавить очень немногое, дабы содержание новых писем и место их среди опубликованного материала стали ясными. В каком порядке расположить их? С большими письмами дело обстоит просто. Они датированы и отделены изрядным временем друг от друга; хронологическая последовательность здесь самоочевидна и обязательна. Но весь ряд записок не имеет этих обозначений. В лучшем случае, стоит название дня да число какого-то неведомого и, обычно, неопределимого месяца. Но именно эти короткие записки являются, в большей своей части, наиболее ранними. С них началась переписка. Об этом говорят внутренние приметы, по которым намечается примерная дата. Они относятся к тому времени первого знакомства Местра с Роксандрой, когда поводов для большой корреспонденции еще не было,—беседы при встречах исчерпывали всё; эти письмеца—только предвестники ее; переписка начнется двумя-тремя годами позже, когда общение с «молдаванкой» станет для Местра привычкой, может быть—потребностью и когда всякий сколько-нибудь длительный перерыв уже толкает его на обширное послание, как бы заполняющее образовавшийся пробел. Ранние же записки выполняют малые служебные роли. Они то сопровождают посланную вещь или книгу, то уведомляют о выполненном поручении, то предваряют о визите, то просят ответить на житейский вопрос. И всё же, эти «повседневки» способны занять нас. Сквозь их краткость прогляды-

вают порой дела, каких не приоткрывают другие местровские послания к Роксандре, длинные, но бессюжетные, где он не отказывает себе в простой игре нанизывания занимательных выражений. Датировать всю группу записок надо примерно промежутком 1805—1813 гг. Эти границы определяются косвенными указаниями; для отдельных частей они сужиааются до года-двух. Наиболее ранними представляются те из них, которые адресованы «фрейлине их императорских величеств», ибо это означает, что они относятся к поре, когда Роксандра, начавшая девятнадцати лет, т. е. в 1805 г., службу, была еще на положении фрейлины вообще и не имела специального назначения. Более поздние записки адресованы «фрейлине ее величества императрицы», т. е. Роксандре, уже состоящей при Елизавете Алексеевне; восемьсот девятый год, повидимому, был тут рубежом. Подвижность и условность хронологии не дают возможности дать запискам выдержанную последовательность по времени. Она тут и не очень нужна. Ее может заменить примерное чередование материала от раннего к позднейшему, в пределах нескольких основных тем, которым посвящены записочки Местра.

Первая группа, собственно, бессюжетна; ее тема—домашнего порядка. Она интересна тем, что говорит о рано начавшейся задушевности отношений и простоте их. Хронологические границы довольно широки; первую записку надо, вероятно, прямо датировать 1805 г.—началом придворной службы Стурдзы; последняя записка адресуется к фрейлине Елизаветы Алексеевны, т. е. переступает 1809 г.

(1)

[Петербург, 1805 г.][40]

Уверяю вас, M-lle, что я отнюдь не приходил навестить вас вчера, ибо считал, что вы уже вся в беготне,—я приходил проведать вашу матушку; но таковы уж девицы: они вечно воображают, что мы думаем только о них. Вот так-то! Впрочем, я крайне сочувствую трудам вашим, кои чрезмерны при наличии всего лишь двух ног. Я еще не вполне знаю, чем заняты будут нынче вечером обе мои, но я не премину сделать всё, дабы убедить их заняться чем-либо наиприятнейшим. Стихи мною получены.

Примите, M-lle, подлинное почитание мое.

М.

Пятница, 10-го.

(2)

[Петербург, 1805—1806 г.][41]

Мне сказали вчера у вашего подъезда, M-lle, что кто-то у вас болен, но не объяснили, ни кто, ни чем. Умоляю вас взять перо и разъяснить мне, что случилось. Если невзначай дело идет о вас самой, беру свою просьбу назад, но обращаюсь с ней к какой-нибудь другой милосердной душе вашего дома.

Поведайте мне вкратце, чем будете заняты вы в ближайшие дни, дабы я мог получить представление о вашем поведении, не прибегая к отвратительной роли соглядатая. Примите, M-lle, выражение моего глубокого и нежного почтения.

М.

На обороте: Mademoiselle Роксандре Стурдзе,
фрейлине и[х] и[мператорских] в[еличеств]

(3)

[Петербург, 1809—1810 г.][42]

Я узнал об этом лишь со вчерашнего дня, M-lle, с десяти часов вечера,—и будь это принято, я сегодня же утром явился бы засвидетельствовать вам свое почтение. Я обедаю нынче у герцога, а после этого отправлюсь в Грецию[43], в совершенном восторге от удовольствия, что смогу повидаться с вами и уверить вас, равно как превосходную матушку вашу, в неизменных чувствах привязанности и почтения, которые питает к вам

лучший из друзей ваших
Местр

Воскресенье, 6-го.

На обороте: Mademoiselle Роксандре Стурдзе,
фрейлине е[е] в[еличества] императрицы

Наиболее важна вторая группа записок. Она приоткрывает то, что было еще неизвестно. Она впервые позволяет заглянуть в лабораторию, где Местр обрабатывал сердца и умы своих приверженцев. В записках названы книги, которыми он снабжал своих духовных детей. Поименовано немногое,—в действительности, было значительно больше, так как, по образу учителя, и ученики были чуть-чуть начетчиками, во всяком случае, книголюбами. Но и то, что названо,—типично и значительно. По времени эти записки относятся к самому концу первого десятилетия восьмисотых годов—повидимому, они должны быть датированы 1808—1810 гг.

(4)

[Петербург, 1808 г.][44]

Честь имею препроводить вам, M-lle, три речи г. де Сен-Мартена. Ежели они направят вас на путь чудес, то смею льстить себя надеждой, что первое же из них будет совершено для меня, поскольку именно я приобщил вас к ним. Оставляю за собой право, в случае надобности, объяснить вам, какой именно диковины я жду от вас,—а это требует размышления, как свидетельствует сказка о колбасе[45], наличествующая в детском сборнике для назидания взрослых.

Что касается примечаний, то их нет и не будет еще долго, может быть, никогда. Я затеял бесконечное количество вещей, но завершение их зависит от его величества Случая (как говаривал Фридрих II), или от того, что так именуется.

Завтра я проведу весь день в С.-Петербурге, так что не попаду в Яссы. Ежели вы будете там, M-lle, то засвидетельствуйте мое почтение жителям, коих я люблю и почитаю от всего своего сердца.

14/26.

На обороте: Mademoiselle Роксандре Стурдзе,
фрейлине и[х] и[мператорских] в[еличеств]

(5)

Понедельник, 23-го [Петербург, 1810 г.][46]

Вы знаете, M-lle, что такое «Господин хлопот-полон-рот»? Так вот, благодаря этому титулу, вполне заслуженному, я не имел чести повидаться с вами ни у вас, ни у графини Головиной. Когда я увидел этот

второй том, я не преминул заняться чтением.—Верните мне 1-й.— Нет, я читаю его!—Ну, так оставьте у себя оба!—какая доброта! Я постараюсь как можно меньше злоупотребить ею. Нет возможности отказаться от любезного приглашения: это будет одной из тысячи завтрашних хлопот. Но это будет наиприятнейшая.

Примите, M-lle, нежную и почтительную дань уважения.

М.

На обороте: Mademoiselle Роксандре Стурдзе,
фрейлине е[е] в[еличества] императрицы

(6)

[Петербург, 1810 г.][47]

Гр. де М. имеет честь препроводить M-lle Стурдзе прилагаемые два тома Массильона.

Он пользуется случаем, чтобы присоединить к этому книжку, написанную свыше десяти лет назад, о событиях во Франции. Просьба прочесть ее у себя в комнате и отнюдь не пускать по рукам, так как книжка эта весьма плохая.

Он имеет честь возобновить уверения в почтительной своей преданности.

Суббота, 25-го.

Как видим, три капитальных сочинения, посвященные религии, мистике и политике, были вложены Местром в руки Роксандры. Проповеди Массильона—апология католичества; речи Сен-Мартена—апология иллюминатства; наконец, книжка о Франции—памфлет против революции. Этот последний был его собственным сочинением; это—пресловутые «Размышления о Франции», одно из капитальнейших произведений эмигрантской контрреволюции, вышедшее без имени автора в свет в 1797 г.[48]. Замечание Местра, что книга появилась свыше десяти лет назад, уже доказывает и примерную дату записки. Его просьба о дискретном чтении, под предлогом, что книжка плохая,—самоуничижение паче гордости; в действительности, он похвалялся ею; он считал ее никак не менее значительной, чем остальные упомянутые труды; он находил в ней пророческую зоркость; он любил цитировать ее и сопоставлять с лучшими религиозно-политическими трактатами. В «Санкт-петербургских вечерах» его двойник, Граф, приводит обширную выдержку из этих «Considérations sur la France», которые он называет «произведением анонимного автора», в параллель ценимому сочинению Дженингса о христианстве[49]. В письме 1814 г. к графу Потоцкому Местр пишет с горделивым удовлетворением: «Я очень хотел бы, чтобы вы прочли сейчас мои «Размышления о Франции», где, по счастливой нелепице, все оказалось пророческим, вплоть до названия двух городов, которые первыми признали короля,— Лион и Бордо. К несчастию, я не могу уже предложить этой книжки в дар; тогда как во Франции ее перепечатывают и повсеместно читают, у меня самого ее нет»[50]. Роксандре, таким образом, он вручал собственный, старый экземпляр, который хранил и оберегал от чужих и небрежных рук.

Из трех классиков церковной кафедры французского католицизма— Боссюэ, Бурдалу, Массильона—последний был пригоднее всего для воздействия на душу, которая считала себя «чувствительной». Боссюэ— громовержец, Бурдалу—доказыватель, Массильон же—уговариватель.

Он пришел последним; он один переступил порог эпохи «короля-солнца» и вышел в восемнадцатый век; он уже дает место новым влечениям; у него впервые есть интимность: он стремится не устрашить и убедить, а тронуть. Его новаторство состояло «во введении патетики, более живого и близкого ощущения человеческих страстей, в сдержанность религиозной проповеди,—в легкой растроганности, хотя еще и не размягченности священной речи»[51],—определяет Сент-Бёв; а Поль де Сен-Виктор прямо говорит о «нежном Массильоне»[52]. Сочинения Массильона были модной новинкой 1810 г., когда после полувекового перерыва (1745), наконец,

МОСТИК У КОННЕТАБЛЯ В ГАТЧИНЕ
Картина маслом Семена Щедрина
Историко-бытовой музей, Гатчина

появились первые томы переиздания. Этим определяется и дата местровской записки.

Наконец, Сен-Мартена—alias «Philosophe inconnu»—«Неведомого философа», считавшего себя «официальным защитником провидения», можно назвать местровцем до Местра. Вообще говоря, различия между ними велики: один—подлинный иллюминат, чудодей и фантаст, другой—только ритор мистицизма, трезвый использователь мракобесия. Но в самом злободневном деле, в жгучем вопросе отношения к революции, один дополнял другого и один другого продолжал. «Философская роль Сен-Мартена среди Французской революции, то провиденциальное объяснение, какое он дает ей, с меньшей нетерпимостью и меньшим красноречием, уже предвозвещает и предвосхищает выводы де Местра»,—гово-

рит Сент-Бёв, многократно возвращавшийся к этому наблюдению[53] и отметивший, в частности, что основные положения местровских «Размышлений о Франции» уже наличествуют в брошюре Сен-Мартена «Письма друга, или Размышления политические, философские и религиозные о Французской революции», выпущенной в 1795 г., за два года до публикации Местра. «Неведомого философа» Местр знал хорошо. Он выделял его среди иллюминатской братии, которой недолюбливал, ибо,—заявлял он устами Графа из «Санкт-петербургских вечеров»,—«несмотря на то, что в их сочинениях есть вещи истинные, разумные и трогательные», они засорены «идеями и ложными и опасными, особенно из-за неприязни ко всякой церковной власти и иерархии»; однако, Сен-Мартен—«самый знающий, самый мудрый и самый изысканный из современных теософов», «который не только проповедует христианство, но и трудится над тем, чтобы подняться до самых дивных высот божественного закона»[54]. Роксандре, которая выказывала склонность к мистике, Местр не мог бы дать ничего более близкого себе, сохраняющего более прямую связь с политико-религиозными концепциями «Размышлений о Франции», чем сен-мартеновские философствования. Он именует то, что посылает ей, «тремя речами». Это очень неопределенно. В 1802 г. Сен-Мартен издал свой перевод «Трех принципов» Якоба Бёме, который снабдил предисловием; в 1807 г. начало выходить издание сен-мартеновских «Посмертных творений». Но у Местра были и другие возможности. Он сам для себя переписывал нужные вещи. Иллюминаты вообще, и Сен-Мартен в частности, занимали его. «Я много общался с ними, я копировал их писания собственной рукой»,—свидетельствуют за него «С.-петербургские вечера»[55]. Упоминание о примечаниях, которое имеется в местровской записке, делает наиболее правдоподобным, что Роксандре посланы были такие вот собственноручные копии сен-мартеновских вещей; сопровождать выписки своими заметками было у Местра устойчивой потребностью и излюбленной привычкой: «Взгляните, вон там, на огромные томы, лежащие на моем письменном столе,—туда выписываю я все то разительное, что приносит мне чтение; иногда я ограничиваюсь простыми отметками; иногда, слово за слово, выписываю главнейшие отрывки; часто я сопровождаю это кое-какими замечаниями и столь же часто записываю тут же приходящие на ум мысли; это внезапные озарения, которые угасли бы бесследно, если бы вспышка их не закреплялась почерком»[56]. Видимо, Местр пообещал Роксандре не только Сен-Мартена, но и свои комментарии к нему, и, выполнив первое, не выполнил второго; впрочем, привычные беседы должны были заменить ей это.

Наконец, третья группа связана с текущими придворными делами и домогательствами. По времени эти записки наиболее поздние: они начинаются 1809 г. и кончаются 1813 г. По содержанию они свидетельствуют о том, что и Роксандра, в своем возрастающем влиянии, и Местр, в своем убывающем влиянии, в эту пору, уравновешиваясь, дружно служат друг другу где могут и чем могут.

(7)

Вторник, 25-го [Петербург, 1809 г.][57]

Я считаю отнюдь не лишним, M-lle, довести до вашего сведения истину относительно того, о чем вы оказали мне честь сообщить третьего дня, дабы дать вам возможность использовать это, когда представится случай.

Французский посол потребовал на-днях ноты «Te Deum», каковые тотчас же, разумеется, и были ему посланы,—и вот на этом-то листе бумаги и построили ту басню, о которой вы мне рассказали. Вот каковы добрые друзья, M-lle,—судите же, что̀ стали бы они говорить, будь тут, в самом деле, хоть тень ошибки.

Примите, M-lle, уверения в полном моем почтении.

Гр. де М.

На обороте: Mademoiselle Роксандре Стурдзе,
фрейлине е[е] в[еличества] и[мператрицы]

Таким образом, Роксандра предупредила друга о неблагоприятных толках, дошедших высоко, относительно некоего столкновения с французским послом, где замешано было имя Местра. А он дает ей для противодействия свою версию происшествия, которую и просит при оказии довести до слуха высочайших особ. Повидимому, инцидент состоял в помехе, какую пытались оказать католические круги Петербурга, с Местром во главе, затее могущественнейшей персоны дипломатического корпуса, наполеоновского посла Коленкура: он решил отслужить торжественный благодарственный молебен по случаю очередной победы, для чего понадобились ноты «Te Deum», и встретил было отказ от петербургского католического духовенства, вызвавший его раздражение и немедленно осужденный при дворе. В итоге, противники поторопились сложить оружие, и молебен во славу Наполеона был в Петербурге отслужен. Когда и по какому случаю это могло быть? Победа должна была быть не рядовой, а настолько значительной, чтобы стоило чужую столицу оглашать «Te Deum»'ом; далее, она должна была прийтись на ту пору, когда в Петербурге такое публичное французское торжество было общественно уместно и политически выгодно; это всего прямее ведет к 1809 г., к Ваграму, к оккупации Вены, когда разгром австрийцев сдержал возобновившиеся было после Эрфурта колебания Александра между франкофильской и антинаполеоновской политикой и когда затея Коленкура должна была служить демонстрацией продолжающейся прочности наполеоно-александровского союза, столь ненавистного русской «старой партии» вообще, Местру и иезуито-католическим петербуржцам особо, а по такому поводу—тем более.

А вот образцы хлопот Местра по роксандровским затеям. Все три его записки надо датировать одним временем, ибо они относятся к одному делу и следуют непосредственно одна за другой.

(8)

[Петербург, 1813 г.][58]

Человек предполагает, а бог располагает, M-lle,—я твердо рассчитывал, что буду иметь честь вчера провести вечер с вами; но неодолимое препятствие помешало мне. Поэтому беру перо, дабы передать вам, что сказал обер-гофмаршал[59], а именно: он не сомневается в том, что ваш молодой албанец получит назначение в том самом доме, где он живет (как вы того и желали); более того, он обещал мне возобновить свои представления е[го] в[еличеству] и точнее пояснить ему, о чем именно ходатайствуют перед ним.

Завтра, если не будет эрмитажного собрания[60], я надеюсь иметь честь увидеть вас.

Примите, M-lle, чувства полнейшей преданности.

Среда, 3-го.

На обороте: Mademoiselle Роксандре Стурдзе, фрейлине е[е] и[мператорского] в[еличества]

(9)

[Петербург, февраль 1813 г.][61]

Тотчас по получении вчерашней вашей записки, M-lle, я написал графине Т[олстой][62], чтобы получить желаемое пояснение.

Она немедленно переслала мою записку мужу, который ответил запиской, при сем прилагаемой. Вы усмотрите из нее, что имп[ератор] оставляет пока известную неясность, ибо так ему благоугодно. В то же время, он как будто определенно решил дать то или иное назначение молодому человеку. Я не преминул вечером побывать у графини, дабы передать вам написанное, но не застал ее дома. Я счел проявлением присущей вам вежливости указание, которое дал мне швейцар, что вы находитесь у гр. К. Я поспешил туда, но не был принят. Брат мой пускается в путь в эту самую минуту, я же одеваюсь, чтобы отправиться утешать бедную С[офи][63].

Ваш преданнейший сл[уга] и друг

М.

(10)

Пятница утром, 29-го [Петербург, 1813 г.][64]

Спешу сообщить вам, M-lle, что наше ходатайство о юном вашем протеже увенчалось успехом. Император велел г. Вилье доложить ему о состоянии здоровья несчастного и в итоге решил, что можно вполне быть офицером и без руки,—значит, он им и будет.

Я даже не думаю, что это назначение окажется ограниченным офицерством внутренней службы покоев; но это представляется мне маловажным.

Я много размышлял о том, что вы вчера сказали мне. Пусть будет так! Не знаю почему, я боюсь этого пути; все же надо сделать попытку, ибо момент благоприятен. Ежели это дело не удастся, я все-таки думаю, что надо будет прямо приступом брать другое.

Берегитесь, прошу вас, хоть как-либо и что-либо говорить Софи[65] о той вещи, которую я рассказал вам вчера при расставанье, ибо не следует, чтобы все эти толки и пересуды шли по рукам. Да пошлет вам, M-lle, судьба то, чего вы достойны. Я тут всегда буду доволен лишь отчасти, ибо никогда не получите вы всего того, чего бы мне хотелось.

Благоволите принять мой нежный и почтительный привет.

М.

Кто этот потерявший руку молодой албанец, о котором хлопотала Роксандра, мы не знаем. Можно лишь предположить, что это был один из балканских княжичей, раненный в какой-то схватке с турецкими войсками и бежавший в Россию, в гнездо будущих главарей Гетерии,—своего рода подобие безрукого Александра Ипсиланти, тоже делавшего первые шаги своей карьеры в родственном окружении Стурдза. Так или иначе,

все три местровские записки красноречиво свидетельствуют, каким усердным толкачом роксандровых хлопот был Местр в эту пору, когда сама Роксандра только входила в фавор и была еще маловлиятельна, и с какой интимной доверительностью уже относился он к ней. Это совсем не было у него правилом: его предостережение Стурдзе против откровенности со Свечиной говорит о том, что близость идейная и близость личная для Местра не совпадали. Местр часто и зло ворчит на Свечину: послушная и прямая ученица, в недалеком будущем живое олицетворение успехов его католической пропаганды, была менее близка и менее нужна ему, чем уклончивая Роксандра.

В неопубликованном эдлинговском архиве дальше идет группа писем. По времени они почти прямо продолжают серию записок. Первое из них надо отнести к 1810 г.: установить это позволяет шутка Местра о «молдаванке 24 лет»—указание, ведущее непосредственно к названной дате.

(11

[Петербург, 1810 г.][66]

Угадайте, M-lle, что приключилось со мной нынче утром! Я проснулся в несомненной лихорадке, не покинувшей меня и посейчас. Я решил было свериться с моим секундомером, но он удостоверил мне, что пульс мой дает 108 ударов в минуту, что показалось мне способным возбудить соперничество у некоей молдаванки 24 лет. Пока я размышлял об этом небольшом расстройстве, sdroiato nella poltrona [растянувшись в кресле],—неожиданно приходит ваша записка. Экая развращенность у века и экая смелость у женщин, желающих во всем действовать по-мужски! Скоро они станут наводить пушку или рассуждать о врожденных идеях. Такова, однако же, слабость человеческая, что я был не мало польщен той крайней легкостью, с какой вы уразумели

И. КАПОДИСТРИЯ
Рисунок О. Кипренского, 1819 г.
Русский музей, Ленинград

это. Во всех вопросах у меня лишь два притязания, и прежде всего,— поверите ли?—не быть правым, т. е. побудить благосклонного слушателя знать то, о чем он говорит. Мне кажется, что в этом отношении я дело упорядочил, и я еще надеюсь услышать от вас, что вы-то, по крайней мере, хорошо знаете, что отрицают другие и что утверждаю я.

Как только я увидел, что эта наглая лихорадка овладевает мной, я тотчас же сказал себе: «Когда придет пора, я подам знак лекарю этих мусульман». Не тут-то было! Они спешат уйти, как неистовые христиане, которым ненавистен покой. Что ж, пусть так, M-lle,—буду болеть по собственному разумению!

Есть большое счастие в том, что последовательное размышление иногда превращается в чувство. Это одна из тех вещей, которые находишь, но которых не ищешь. Именно это-то и приключилось со мной в отношении маленькой девочки, которая отнюдь не умерла.

Я весь употел, как выражаются в Италии. Не кажется ли вам, что от этой бумаги несет лихорадкой? Я приношу бесконечную признательность вашей превосходной матушке за очаровательное предложение, какое она мне делает,—прошу хорошенько заверить ее, что если ради чего-либо я и готов изменить моим восточным навыкам, то как раз ради возможности пожить немного под кровом, где я нашел бы всё, что может сделать для меня общество приятным. Пока же я разыскиваю среди своих бумаг точную опись всей мебели, посуды и домашних вещей, которыми пользуюсь в П[етергофе]*, дабы вы могли сообразоваться с этим. Не бойтесь, пожалуйста,—ничто не оскорбит ваших глаз,—так далеко простирается тут деликатность.

Ну, можно ли балагурить в лапах лихорадки?

Прощайте, M-lle! Примите и передайте матушке выражение моего нежного и почтительного внимания. Тысячу пожеланий любезной Елене и тысячу дружеских «аспазисмов»[67] братцу вашему.

В[аш] ниж[айший] и посл[ушнейший] сл[уга] и преданный друг

М.

Следующее письмо—обыденнее, но содержательнее. Между ним и предыдущим — примерно полгода разницы. Отнести его нужно к самому началу 1811 г. Эта дата явствует из упоминания о ранении младшего брата Местра, Ксавье, перешедшего в июле 1810 г. снова на действительную военную службу и отправившегося в чине полковника квартирмейстерской части на Кавказ; ранен он был в Грузии в середине ноября 1810 г.

(12)

[Петербург, январь 1811 г.][68]

Уже половина одиннадцатого, M-lle,—так что я могу без дерзости считать, что вы проснулись и даже встали. Вследствие этого приемлю смелость препроводить вам прилагаемую рукопись, о коей не говорю вам ничего, дабы не повторять предисловия. Я обещал прочесть кое-что из нее одной особе, которая больна. Пока же, сделайте милость, читайте, я лишь оставляю за собой ваше разрешение истребовать ее обратно, буде окажусь вынужден к этому.

---

* Примечание, сделанное рукой Р. С. Эдлинг: «Шутка, относящаяся к пребыванию гр. де М[естра], против обыкновения, за городом, где хозяева предоставили ему помещение, лишенное всего, кроме четырех стен».

Я получил письмо от брата, которое мало чем порадовало меня. 19 декабря, через 32 дня после ранения, воспаление не уменьшилось, понадобилось вскрытие. Хирурги были не единодушны. Один твердил, что повреждено сухожилие, другой—что надкостница. Он мне повествует обо всем этом так, словно речь идет о постороннем. Мне сдается, и я не сомневаюсь в этом, что у него смутная жажда смертельного исхода; радует меня лишь то, что, по крайней мере, три-четыре месяца он все же будет вынужден путешествовать лишь вокруг собственной комнаты[69], где пушки стреляют весьма мало.

Я зол на С[офи], которая причиняет нам столько неприятностей своим неумением разбираться в нас. Непозволительно так плохо уметь читать. Знаете ли, M-lle, после вас мне пришли в голову самые сумасшедшие подозрения, что она кому-то позволила наговорить себе, будто мой малыш Р[одольф] злословил на ее счет. Поистине еще далеко до того, чтобы все черти были в аду. По счастию, есть еще и ангелы на этом свете; потому-то, когда случается мне встретить одного из них на своем пути, я тотчас же приемлю честь делаться со всем доверием и почтением

его нижайшим и покор[нейшим] слугой

М.

Так как я не питаю излишнего доверия к господам лакеям, то разрешите просить вас о простом уведомлении: получила,—ничего больше. Поскольку прилагаемый манускрипт совершенно неизвестен, очень прошу вас не выпускать его из вашей комнаты.

Ворчание на Свечину становится у Местра, как видим, уже привычкой. Не трудно догадаться, чем оно вызывалось: в ее характере было свойство, которое отличало ее в делах принципиальных, но делало ее нелегкой в общежитии,—она была прямолинейна; однажды взяв направление, она шла, не сворачивая и не колеблясь. Это было хорошо для ее католического прозелитизма, которому Местр содействовал даже специальными «писаниями для соседки»[70], как иногда он называл ее,—и недаром через три десятилетия, в конце 1830-х годов, парижский салон Свечиной, куда заглянет путешествующая графиня Эдлинг, будет одним из устоев французского ультрамонтанства и вызовет целую хвалебную литературу иезуитов и папистов[71]. Но эта же доверчивая ограниченность доставляла не мало докуки каждодневным друзьям и знакомцам, когда можно было, при желании, вкось и вкривь толковать их слова и поступки. О какой рукописи идет речь в этом письме? Явно, что это—новинка, начинающая путешествие по первым читателям, сначала близким, надежным, как Роксандра, на которых проверяется впечатление, а затем—по более дальним, чужим, менее благожелательным, полуравнодушным, а то и враждебным завсегдатаям петербургских салонов[72]. Такой местровской новинкой должны были в эту пору явиться пресловутые «Пять писем об общественном воспитании в России». Местр писал их как раз в 1810 г.[73]. Они были отмечены особой политико-религиозной заостренностью; их поводом было предположенное учреждение Царскосельского лицея, их методом—нападки на «развратный либерализм» проекта лицейского устава, составленного Сперанским, их целью—пропаганда благонадежной иезуитской системы воспитания, их официальным адресатом—министр народного просвещения Разумовский, а в действительности, конечно,—сам царь. Просьба о тайне была неизбежна: довременное разглашение грозило

неприятностями, поскольку тут начиналась кампания против Сперанского, и пером Местра «старая партия» давала бой уже ослабленному, но еще не сваленному фавориту.

Между этим письмом и очередным неопубликованным—четырехлетний промежуток. Следующее письмо носит пометку ноября 1814 г., сделанную рукой самого Местра. На четыре прошедших года приходятся не только величайшие международные потрясения Отечественной войны и последней борьбы коалиции с Наполеоном, но и решительные перемены в личной значимости обоих корреспондентов. Местр достиг зенита своего влияния на русские дела, добился преобразования Полоцкой коллегии иезуитов в академию, побывал в советниках и секретарях царя и т. д. Однако, сроки для этого ему были даны короткие, меньше года,—примерно с октября 1811 г. по май 1812 г. Дальше наступило ослабление, а с Отечественной войной и крах местровского фавора. Императорскому окружению он теперь мешал, «старой партии» он делался неудобен[74], его военные советы были неуместными, его дипломатические притязания раздражали, его иезуито-католицизм казался тем вреднее, что православие стало орудием возбуждения патриотического подъема крестьянских и солдатских масс. Наоборот, для Роксандры—это время личного сближения с царем, первых опытов прямого влияния на ход дел. На нее уже возлагаются негласные высочайшие поручения, требующие тонкости и такта, например, рассеивать среди светского общества неблагоприятные для царя слухи и толки[75]; именно теперь начинается обработка Александра в фило-эллинском духе, дабы заручиться его содействием на восстановление греческой независимости в случае пересмотра мировой карты, причем Стурдза действует доводами чувствительности, а ее друг Каподистрия—резонами политики; царедворцы уже выдвигают Роксандру, когда хотят сделать приятное монарху: «Выбор пал на меня, ибо знали, что император питает ко мне предпочтение»[76],—обмолвилась Стурдза в «Записках» об одном из таких случаев.

Взаимная перемена положения в высоких сферах могла не нарушить личной дружественности между Местром и Роксандрой, но она должна была еще более ограничить ее пределами частного общения, установить запретную зону в обсуждении русских дел, царских действий и т. д. Былые единомышленники уже расходились, и постепенно накапливалось то, что несколько лет спустя привело к разрыву. В ближайшие два года неравенство их положения в свете еще выросло. Стурдза считала, что она близка к официозности своего фавора. Для Местра же подошло время заключительных неудач в России: обозначилась и стала разрастаться кампания против иезуитов, закончившаяся их декларативным изгнанием и собственной его вынужденной отставкой и отъездом за границу. Но в его продолжавшейся корреспонденции со Стурдзой ничего этого, конечно, нет,—ни в письмах 1812 г., ни, тем более, в письмах 1813—1815 гг.

Ближайшее неопубликованное письмо из эдлинговского архива мало что меняет в таком положении. Собственно, только одно упоминание связано с темой более широкой значимости,—это слова о «последнем философском произведении» Местра, которым Стурдза «осталась довольна». Речь идет, видимо, о трактате против конституций: «Essai sur le principe générateur des Constitutions politiques», который в 1814 г. был выпущен сначала в Петербурге, а затем переиздан в Париже вместе со старым памфлетом: «Considérations sur la France». Местр считал его появление поли-

ИСААКИЕВСКИЙ МОСТ В ПЕТЕРБУРГЕ

Акварель Максима Воробьева

Русский музей, Ленинград

ВИД НА ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ С ПРОТИВОПОЛОЖНОГО БЕРЕГА НЕВЫ

Гравюра Лори с картины Б. Патерсена, 1804 г.

Русский музей, Ленинград

тическим событием и ждал почетного внимания монархов вообще, и Людовика XVIII, в частности, но выход «Essai» был сочтен ударом по конституционной хартии, подписанной королем в июне этого же года, и Местр не только не получил награды, но самая возможность его роли при реставрированном Бурбоне была пресечена. Это ноябрьское письмо к Стурдзе в Вену, в пору конгресса, таково:

(13)

С.-Петербург, 18/30 ноября 1814 г.[77]

Давно не получая вестей от вас, M-lle, я уже взялся было за перо, дабы напасть за это на вас, когда вдруг получил милое ваше письмо от 7-го числа. Я с бесконечным удовольствием прочел его. Все ваши описания сделаны рукой мастера, но особенно потешило нас—нашу милую приятельницу и меня—то место письма, где вы говорите об этих людях, которые не хотят ни вальсировать, ни бесноваться[78]; они, в самом деле, достойны жалости, разве что у них столько же ума и здравого смысла, как у вас. Впрочем, я запомню это, и ежели когда-либо меня обуяет прихоть убить вас, то неизбежной подготовкой этого будет понуждение вас плясать до упаду. По правде говоря, сам я уже слишком отяжелел для вальса, но я попрошу Родольфа, а для себя приберегу только удар кинжалом,—согласны?

Тысяча благодарностей, M-lle, за ответ, которого вы не дали, на вопрос, которого я не задавал,—уррра! Если то, о чем вы мне не говорите, правда, то я—довольнейший из людей[79].

Если вы не встретили моего гарема в Вене, то потому, что, по глубокой мудрости своей, он проследовал через Берлин. Я увидел его у себя 11/23-го минувшего октября, в сопровождении capigi barchi Родольфа, который покрыл себя славой, привезя мне свою мать и сестер после того, как взял Париж. Правда, в этом последнем предприятии ему в помощь был император российский, но союзники нисколько не умаляют славы главной державы. То, что я рассказал о вас жене, заставило ее весьма одобрить мою страсть к вам. Таким образом, этот вопрос решен. Но нужно еще, M-lle, чтобы вы были добры полюбить мою Адель. Вы обещали мне это вполне определенно. Так что на это я окончательно рассчитываю. Она, в свою очередь, получила соответствующие наставления. Я уверен, что она очень полюбит вас. Возвращайтесь же, скорее возвращайтесь, M-lle, в патриархальный наш кружок.

Итак, вы до известной степени остались довольны моим последним маленьким философским творением? Ваше одобрение преисполняет меня гордости, ибо я очень ценю его. Мне было, признаюсь, весьма приятно разбивать протестантский принцип молотом Платона[80]; некий Зонтаг, суперинтендент лютеранской церкви в Риге, написал в местной газете, что у автора произведения (имени которого он и не подозревал) нет ни ума, ни характера. Я чуть было не умер со смеху от такого суждения. Ла Сансе[81], которому я дружески послал эту работу, был много менее хладнокровен. Он сказал мне:—Знаете ли вы, что это выглядит очень серьезно?—в самом деле, нет ничего более серьезного!

Я не верю, наконец, M-lle, что уже не от вас зависит доставить моему произведению ту честь, о которой вы мне говорите. Может быть, я весьма

ошибаюсь, но только мне сдается, что оно уже пользуется ею,—я лишь не знаю, каковы суждения об этом.

Как радует меня, M-lle, что вы соединились со своим почтенным семейством. Судя по вашему молчанию относительно батюшки, я не вполне уверен, что мне говорили правду, когда уверяли, будто ему несравненно лучше[82]. Напомните, пожалуйста, обо мне всем этим достойным людям, которых я весьма ценил бы и в том случае, ежели они не были бы связаны с вами. Брат мой здесь, возле своей жены, ждущей с минуты на минуту разрешения от бремени. Она уже не покидает постели, по предписанию доктора Лейтона. Все ваши поручения к княжне Шаховской будут мною выполнены.

Возвращайтесь скорее, M-lle, дабы я смог вас убить расспросами. В ожидании же благоволите изредка вспоминать обо мне и удостоверять мне это, даже если вы вполне убеждены в своем благорасположении ко мне. Вам ведомы, M-lle, чувства почтения и преданности, кои я посвятил вам на всю жизнь.

М.

Через полгода Местр послал из Петербурга еще одно письмо (оно опубликовано, и надо лишь восстановить его дату, оставшуюся неизвестной: 16/28 июля 1815 г.)[83], где снова спрашивал о приезде и выражал нетерпение «возвратиться к беседе за круглым столом, где чай будет подан лишь для приличия... чего-чего только вы ни расскажете нам, и что за удовольствие будет слушать вас!..». Роксандра вернулась в Петербург вместе с императрицей в конце года, но призывам Местра суждено было оказаться риторикой. Стурдза вернулась не той, какой уехала, и иной, нежели казалась издалека. Их отношения изменились. Его собственное опальное положение после иезуитского скандала сыграло в этом такую же роль, как и личная ее беда. Восемьсот пятнадцатый год оказался для нее переломным. Он сначала подвел было ее к вершине величия, а затем обернулся крахом. Ее близость к царю считалась удостоверенной; Елизавета Алексеевна не скрывала ненависти; Роксандра уже не отказывала себе в тщеславии оповещать об этом доверенных лиц и сообщников, вроде новоприобретенной подруги, баронессы Крюденер: «... Случай открыл мне скрытое отвращение, какое я внушаю г-же Блюм. ... Что касается моих отношений с Блюмом, то я хочу положиться на бога,—да будет воля его. Я решила не избегать Блюма, опасаясь клеветы, и, вместе с тем, не стану предупреждать его ни о чем»[84],—писала она в конце октября 1815 г.; имена «г-жи и г. Блюма» шифровали собой царственную чету. Однако, Александр I—«в лице и в жизни Арлекин», как написал Пушкин,—не был бы самим собою, если бы изменил для Роксандры своим навыкам. Собственно, первое предупреждение ей уже было дано в пору Венского конгресса, когда «Блюм» вдруг заговорил о ее замужестве и вызвался быть сватом к Каподистрии[85]. А спустя год, когда реставрация была упрочена, Священный союз монархов учрежден и надо было возвращаться в Россию,—Стурдза на деле убедилась, каковы следствия того, что она называла существом характера Александра: быть, не подавая виду («être sans paraître»)[86]; она оказалась со всеми своими политическими и личными притязаниями так же вынесенной за скобки, как и ее ставленница, Крюденер; и если, обосновывая удаление «пророчицы», царь иносказательно говорил, что принял за божье пламя болот-

ный огонек, то Елизавета Алексеевна жестче и злораднее заявляла, что фрейлина Стурдза утратила доверие, ибо злоупотребляла царской добротой[87].

Роксандра запомнила слова Александра о «замужестве вне России» и с привычной бесшумностью переменила фамилию, ранг и подданство и стала супругой маленького министра иностранных дел маленького германского герцогства. В это переходное и труднейшее время она поддерживала связи только с близкими. Местра она уже не числила своим. Она не писала ему вовсе. Он молчал тоже. Каждый врозь нес выпавшую опалу. Только в самый канун отбытия из России Местр, печальный, томимый предотъездными хлопотами и предчувствиями[88], оживил в себе воспоминания давней дружбы и написал новонареченной графине Эдлинг, в Веймар, прощальное письмо. Это—последнее его обращение к Роксандре вообще, и последнее из неопубликованных его писем к ней.

(14)

С.-Петербург, 11/23 мая 1817 г.[89]

Графиня,

С тех пор, как вы переменили имя, я перестал писать вам. Если вы спросите меня—почему, мне будет очень трудно ответить. Какое-то общее отвращение к житейским делам, заботы, докуки разного рода неприметно погрузили меня в некую апатию, в которой, по несчастию, есть своеобразная прелесть. К ней привыкаешь понемножку, и вот становишься совершенным глупцом, прежде нежели успеешь спохватиться. И все же, графиня, несмотря на мое оцепенение, вы никогда ни на миг не выходили у меня из сердца и памяти; и в эту минуту, когда мне предстоит покинуть ваше прежнее отечество, мне думается, что я должен проститься с вами, как если бы вы жили в соседнем доме. Излишне говорить вам, графиня, насколько я и вся семья моя разделяем страшное горе, поразившее ваш дом[90]. Почтенная матушка ваша, в ком доброта не исключает силы, как всегда, покорная и, как всегда, мужественная, словом, не изменяющая себе, была предметом всех наших мыслей и нашего внимания. Я уезжаю, но ни время, ни расстояние не могут принудить меня забыть столь дорогих друзей. В свой черед, графиня, я счел бы себя бедняком, ежели бы оказался вычеркнутым из вашей памяти. Я буду всегда числить в ряду драгоценнейших воспоминаний столько очаровательных бесед, где я постоянно встречал сильнейший ум, соединенный с начитанностью нашего пола и с прелестью вашего. Так как вы тысячекратно проникали мне вглубь сердца, я надеюсь, что вы не обнаружили там ничего, что могло бы помешать вам думать обо мне. Я не сомневаюсь, графиня, что вы обрели счастие в нашем положении. Я не раз твердил, что вы рождены быть супругой. Никто в этом не может быть убежденнее меня, кроме графа Эдлинг. Не знаю, заблуждаюсь ли я, но мне кажется, что я не могу быть совсем чужим человеку, который имеет честь знать вас так близко. Поэтому прошу вас, графиня, форменным образом представить меня ему, ибо мне не хотелось бы оставаться незнакомцем для вашего дома. Вы как-то сказали мне, если не ошибаюсь, что граф Эдлинг как будто—уроженец итальянской Швейцарии. В таком случае, вам, по совести, нельзя будет, раньше или позже, не отвезти его в родные места, а когда вы там окажетесь, вам будет стоить лишь чуть-чуть подать голос, чтобы я вас услышал. Я тешу себя этой мыслью, ибо не могу при-

St Pétersbourg 11 (23) Mai 1817

Madame la Comtesse

Depuis que vous avez changé de nom je n'ai plus eu de correspondance avec vous. Si vous me demandiez pourquoi, je serais fort empêché de répondre. Un certain dégoût général des choses humaines, des soucis, des ennuis de plus d'un genre, m'amènent jusqu'insensiblement dans une ~~certaine~~ apathie qui a malheureusement une sorte de charme, on s'y habitue de peu à peu et l'on se trouve enfin parfaitement sans avoir de s'en être douté. Cependant, Mme la Comtesse, malgré ma stupéfaction, vous n'avez jamais pu sortir un moment de mon cœur ni de ma mémoire, et dans ce moment où je vais quitter votre ancienne patrie, il me semble que je dois prendre congé de vous comme si vous ~~long~~ logiez dans la maison voisine. Il est inutile de vous dire Madame la Comtesse combien le malheur affreux qui vient d'accabler votre maison est partagé par moi et par toute ma famille. Votre respectable Maman, en qui la bonté n'excluait point la force, toujours résignée, toujours intrépide, en un mot, toujours elle-même, était le sujet de toutes nos pensées et de tout notre intérêt. Je pars, mais ni le temps ni la distance ne peuvent me faire oublier des amis aussi précieux. A mon tour, Madame la Comtesse,

Adieu mille fois, Madame la Comtesse, daignez retenir toujours mon nom sur vos tablettes. Vous êtes écrite sur les miennes en caractères ineffaçables. Agréez, je vous en prie l'assurance bien sincère de la haute considération et du respectueux attachement avec lequel je suis pour la vie

Madame la Comtesse

Votre très humble et très obéissant Serviteur

Le Cte de Maistre

Mon adresse est jusqu'à nouvel ordre
à S. Exce (puisqu'Excellence il y a) —
M. le Cte d. M. Grand-croix de l'ordre
de St Maurice et de St Lazare Premier
Présid. dans les cours ~~de~~ Suprêmes de
S. M. le Roi de Sardaigne

АВТОГРАФ ПИСЬМА ЖОЗЕФА ДЕ МЕСТРА К Р. С. СТУРДЗЕ-ЭДЛИНГ ОТ 11/23 МАЯ 1817 г.

Страницы первая и последняя

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

мириться с тем, что уже не доведется больше видеть этой превосходной Роксандры, коей я был неизменным поклонником. Е[го] и[мператорское] в[еличество] соизволили разрешить мне отправиться на одном из судов флота, который он посылает во Францию, и эту милость он сопроводил кое-какими восхитительными добавлениями, в своем духе[91]. Так как заместитель мой еще не прибыл, то императору благоугодно, чтобы я передал на время дела моему сыну, который несколько месяцев тому назад начал или возобновил службу у короля в чине подполковника генерального штаба[92]. Такое непредвиденное обстоятельство, как отбытие флота, забрасывает меня в Париж—город весьма известный и, однако же, долженствовавший, судя по всему, остаться мне неизвестным. Такова моя повесть, графиня, которая вызовет у вас, надеюсь, некоторое внимание. Соблаговолите через месяц-два дать мне знать в Турин, что письмо это дошло до вас и что почерк вы узнали. Помните всегда, что я буду помнить всегда покойную M-lle Роксандру и что, не будь графини Эдлинг, у нее не было бы равных в моей душе. Я не хотел бы ничего иного, как только делить ваше счастие, но, увы, провидение бьет направо и налево, и никто не изъят из его отеческих поучений. Прошу графа благоволить принять мои приветствия, как только вы представите меня ему.

Тысячу раз прощайте, графиня,—не откажите сохранить навсегда мое имя на ваших табличках; вы же записаны на моих неизгладимыми буквами. Благоволите принять искренние уверения высокого уважения и почтительной привязанности, с коей остаюсь на всю жизнь, графиня,

вашим нижайшим и покорнейшим слугой

графом де Местром

Адрес мой, впредь до изменений, таков: е[го] с[иятельству],—поскольку сиятельства существуют,—г. гр. де М., [кавалеру] большого креста св. Маврикия и св. Лазаря, первоприсутствующему Верховного суда е. в. короля Сардинии.

В обычных обстоятельствах трудно было бы не ответить на такое прощальное письмо; его скорбная задушевность и его важная шутливость, столь отличная от былого балагурства, должны были бы вызвать должный отклик. Но его нет; по всей видимости, Роксандра Скарлатовна продолжала молчать; нет ни ее письма, ни упоминаний о нем в собственных ее примечаниях к переписке или в «Мемуарах». Она замкнулась вообще, для Местра — в частности. Можно считать, что она не желала поддерживать связей с ним; она писала брату[93]: «Мне сообщают, что граф де Местр вышел в отставку и получил назначение на родине. Я очень довольна; этот человек, такой вредный и бесполезный в России, еще может сделать много хорошего в собственной стране»[94]. Нужна была давность двух с половиной десятилетий, чтобы уже незадолго до смерти, отбирая письма для передачи в издательские руки, графиня Эдлинг погрузилась в прошлое, взвесила его и предпослала местровским посланиям скупое предисловие, где помянула о «благодарной дружбе, которая тщательно сберегла их».

II

Для этого понадобилось путешествие в Париж, которое она совершила, уже незадолго до своей смерти, зимой 1839—1840 г. Она была еще не

так стара—ей шел пятьдесят четвертый год, но она уже не видела для себя дела в жизни. Она была теперь «une déracinée»—существом без корней: по мужу и подданству—веймарка, по политическим интересам—гречанка, по хозяйствованию и доходам—русская. Она жила везде по недолгу: в Веймаре, в Италии, в Вене, в Одессе, в бессарабском своем поместье Манзыре и т. д.

Это было не от «охоты к перемене мест»,—новое время обращалось с ней неласково; оно не оставляло ее в покое: убийство Коцебу погнало ее прочь из Веймара, ибо она была связана с убитым российским агентом и испугалась; из Италии ее выбросил страх перед разразившейся революцией 1820—1821 г.; Вена заподозрила в ней русскую шпионку, и Меттерних взял ее в кольцо собственных наблюдателей; в России ее ограничили ролью провинциальной помещицы[95]. Она не теряла природной бодрости, но жить было неуютно. Она не утратила широты интересов и ясности ума, но как бы воспринимала всё издалека. Настоящее становилось лишь материалом для сравнения с прошлым. Она еще хотела знать, что нового на свете, но живое чувство отдавала воспоминаниям. Она кое-что написала сама, кое-что подобрала для печати в семейном архиве и еще охотнее предоставляла свою память и свои бумаги тем, кто вместо нее мог бы воздать хвалу ее эпохе и ее героям. Тут время шло ей навстречу: конец 20-х—начало 30-х годов были наводнены «литературой итогов»—первым разливом воспоминаний о революции и империи, мемуарами царедворцев, маршалов, депутатов, дам, полицейских, лакеев. Она не закрывала глаз и на новые явления, такие, как сен-симонизм, но воспринимала его по-стариковски; она читала о нем книги, но вычитывала в них то, что обращало ее к прошлому, а не к будущему. Типические черты современности отталкивали ее. Антиклерикальные неистовства Ламеннэ вызывали у нее слова возмущения, а вольности дебатов французского парламента шокировали. Ее размышления о сен-симонизме очерчивают границы того, что было ей доступно; в январский дневник 1835 г. она записала: «Я только-что прочла книгу, наводящую на размышление. Это—доктрина сен-симонизма[96]. С какой легкостью выносит мир свои суждения, даже не зная того, о чем он судит... Всё, что я прочла до сих пор, свидетельствует, что их учение—христианское. Если бы сен-симонисты, вместо того, чтобы опираться на существо почти мифическое (ибо, кажется мне, они сами не очень-то добросовестны по отношению к своему так называемому «учителю»), попросту придерживались евангелия в его первоначальной простоте, учение их упрочилось бы и распространилось; они стали бы понятными массам, и вся эта видимость шарлатанства исчезла бы. Ибо их стремление к миру, учение о прогрессивном развитии человеческого рода, отречение от наследования богатств как нельзя более согласуется с духом евангелия»[97]. В такой характеристике сен-симонизма исчезало самое важное и новое,—графиня Эдлинг усмотрела в нем только давно знакомое ей гернгутерство, «крюденеровщину», в ее второй, социально-уравнительной, демократически-оппозиционной ипостаси.

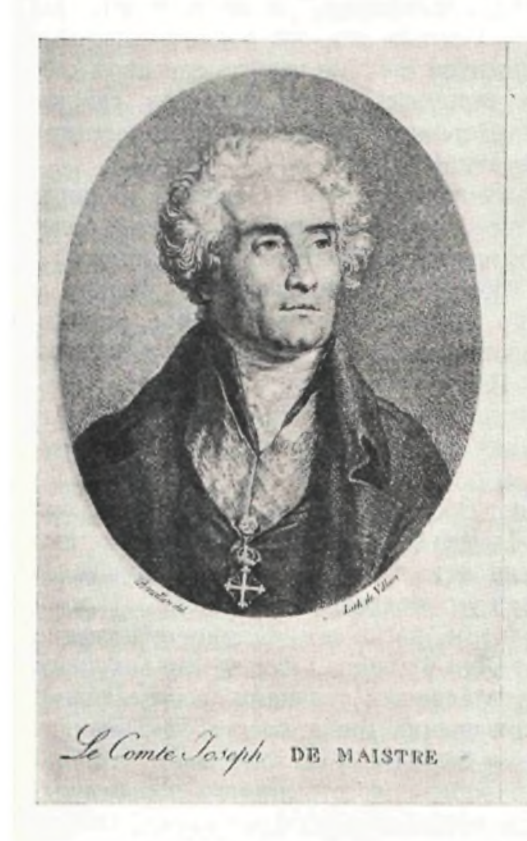
К прошлому она относилась не так. Тут она боролась с тем, что ей представлялось искажением или умалением. Она отваживалась поправлять даже таких нетерпимых летописцев, как Шатобриан. Когда вышел его «Веронский конгресс», она тотчас же взялась за перо. Ее послание свидетельствует, что она чувствовала себя как бы официальной предста-

вительницей тех, о ком и за кого говорила, живой ответчицей за безмолвных мертвых. Она сочинила обширное письмо,—приводить его целиком нет надобности, хотя оно и не опубликовано; оно легко поддается сокращениям, без утраты существа и оттенков. Вот, в извлечениях, то, что она написала:

«Как ни утомлены вы, несомненно, сударь, выражениями внимания современников, позвольте всё же мне льстить себя надеждой, что вы не отведете глаз от этих строк, продиктованных тем же чувством. Это свидетельство почитания, столь же чистого, как и искреннего, направлено к вам из самой глубины России женщиной, которая давно уже испытывает безграничное восхищение перед вашим гением и вашим характером—перед всем, что ставит вас выше прочих людей. Каждое новое творение, выходящее из под вашего пера,—счастливое событие в моей жизни... Тысячекратно испытывала я искушение написать вам, говорить с вами. Ваша душа проникла до пустынных пространств Новороссии... Боязнь быть назойливой удерживала до сих пор меня, но, читая «Веронский конгресс», я нашла повод дать удовлетворение своему желанию, и вот использую его. На тех прекрасных страницах, где вы говорите об Александре, передо мною вновь возникла великая душа, которая ныне молится за нас в месте успокоения своего. При его дворе, близ императрицы Елизаветы, вместе с ними, я пережила великую эпоху, за которой последовало столько горьких разочарований. Я обязана во имя истины, которая вам дороже всего, исправить несколько ошибок, вкравшихся в ваше великолепное описание. Император Александр никогда не был атеистом,—совсем наоборот, он с детства был проникнут живейшим чувством любви и почтения к божеству... Г-н де Лагарп, наставник его, человек искренний и добропорядочный, всегда щепетильно воздерживался от влияния на веру своего юного питомца. Последний, увлеченный потоком мирских страстей, испытал потребность в утешениях религии лишь в пору наполеонова нашествия на Россию... Но никогда Александр не чувствовал склонности к римской церкви. Католическая религия была ему дорога, как религия христианская, но он осуждал свойственную ей нетерпимость... и был весьма далек от веры в непогрешимость римской церкви. Во время последней своей болезни, в присутствии императрицы, ни на мгновение не покидавшей его, он исповедался и причастился по обряду православной веры... Когда его бессильные руки складывались для молитвы, императрица поддерживала их... Так в долгие дни болезни они соединяли руки и молитвы и вместе возносили их к тому, кто призывал их к себе. Этих скорбных и верных образов нет в вашей картине, сударь, но если, как я жду, когда-нибудь суждено выйти второму изданию «Веронского конгресса», может быть, им там найдется место и я смогу тогда переслать вам небольшое сочинение, содержащее верный и обстоятельный рассказ о мрачных сценах Таганрога. Я там была, я приняла слезы императрицы...[98]. О, если бы я могла надеяться на это,—с какой радостью поспешила бы я сообщить вам ворох данных и сведений, которыми располагаю... Простите, сударь, за длинное это письмо. Если бы вы могли пожертвовать для меня несколькими минутами вашего драгоценного времени, на которое, уверяю вас, я еще скупее вас самого,—направьте мне ответ ваш...»[99].

Ответа Шатобриана в бумагах Эдлинг нет; письмо вообще было не из тех, на которые он отвечал,—предложение сотрудничества неловко отте-

няло решительность поправок. Впрочем, нет уверенности, послала ли ему Эдлинг написанное. Можно предположить, что она отложила отправку и захватила послание спустя год с собой в Париж, как захватила рукопись своих «Мемуаров» и то описание «таганрогских сцен», о котором сообщала Шатобриану. Знаменательны для ее настроений и занятий упоминание о ворохе собранных материалов и готовность их предоставить. Значит, она уже привела их в порядок. Она спешила доверить их не только знаменитому писателю, но и любому, даже начинающему, кто мог бы использовать ее память и ее бумаги для рассказа о временах



LES SOIRÉES

DE

SAINT-PÉTERSBOURG,

OU

ENTRETIENS SUR LE GOUVERNEMENT TEMPOREL DE LA PROVIDENCE;

SUIVIS

D'UN TRAITÉ SUR LES SACRIFICES;

PAR. M. LE COMTE JOSEPH DE MAISTRE,

ANCIEN MINISTRE DE S. M. LE ROI DE SARDAIGNE A LA COUR DE RUSSIE, MINISTRE D'ÉTAT, RÉGENT DE LA GRANDE CHANCELLERIE, MEMBRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE TURIN, CHEVALIER GRAND'CROIX DE L'ORDRE RELIGIEUX ET MILITAIRE DE S. MAURICE ET DE S. LAZARE.

TOME PREMIER.

IMPRIMERIE DE COSSON.

PARIS,

LIBRAIRIE GRECQUE, LATINE ET FRANÇAISE,
RUE DE SEINE, N° 12.
M DCCC XXI.

ФРОНТИСПИС И ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ „САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕЧЕРОВ“ ЖОЗЕФА ДЕ МЕСТРА, 1821 г.

и людях, которых она считала своими. Именно в эту пору молодой Шарль Эйнар, известный ей по дяде его, швейцарскому банкиру Жану Эйнару, фило-эллину, финансовому советнику и другу Каподистрии, вел с ней переписку, записывал ее рассказы, получал копии ее архива и использовал ее рекомендации для составления крюденеровской двухтомной биографии, где и ей самой было отведено место; и в эту же пору Сент-Бёв, встречи с которым она искала в Париже, запоминал ее повествования о петербургской жизни Жозефа де Местра, уже соблазнялся мыслью дать первую публикацию его интимных писем к ней и выслушивал ее рассказы о петербургской молодости Свечиной, которые потом отразил, вместе с легким силуэтом самой рассказчицы, в этюде, посвященном парижскому салону русской папистки[100].

Свидание со старинной подругой было лишь косвенным поводом для поездки; в действительности, собравшись в Париж зимой 1839—1840 г., путешественница искала большего: ей хотелось встряхнуться, занять себя; свою Софи она знала хорошо и была наслышана достаточно, чтобы ждать чего-либо нового. Ее манили другие связи; она думала о сближении с такой замкнутой средой, как салон Abbaye aux Bois, где всё ей было по сердцу: и люди с Шатобрианом и Рекамье в центре, и аристократизм без преувеличений, и религиозность без нетерпимости, и оппозиционность без вызова, и культ того же прошлого, что у нее самой, и отношение к настоящему, наблюдаемому внимательно, но со стороны. Она осуществила то, что ей хотелось, и увидела всё, что ее занимало. Она сообщала о своих наблюдениях в письмах домой и кое-что заносила себе для памяти на бумагу. Когда она вернулась, А. И. Тургенев, сам недавно писавший корреспонденции из Парижа, был удовлетворен полнотой ее рассказов и ясностью ее наблюдений[101].

В ее бумагах сохранился конспект парижских впечатлений: «Париж; общество г-жи Свечиной; г-жа Пасторе. Ультрамонтанское рвение, более жесткое, чем по ту сторону Альп, чувство отталкивания, религиозная враждебность. Отдельные люди. Общество г-жи Свечиной, герцог де Розан, Руэтт, доктор Уикмэн и др. Общество г-жи Рекамье, чтения, Сент-Бёв, курс Ампера; благотворительные спектакли, французский характер; королевское заседание; Палата депутатов, Ламартин, Тьер, Беррье, Одилон Барро, Дюпен. Французские женщины, большой свет, котерии. Проповедники, материальная жизнь. Версаль. Сен-Клу. Дружеские связи»[102].

Эти пометки легко раскрываются. Обо всем, по свежим следам, она писала родным. Политические наблюдения и бытовые характеристики отражались в ее письмах живописно и выпукло. Ее письма лучше ее мемуаров. Она не теснила тут ни свой ум, ни свою откровенность. К тому же, Париж предстал перед нею в пору, когда все явления обнаженно обострялись. Скрытый coup d'Etat Луи-Филиппа, начало «эры личного правления» давали себя знать ощутительными толчками, сотрясавшими парламентские декорации и разваливавшими министерские комбинации. В постоянстве выступлений рабочих и бедноты, в настойчивости возобновляемых покушений на короля, в войне просвещения и поповщины, в грызне партий и лидеров уже были предвестия великого взрыва 1848 г. Для графини Эдлинг осталось скрытым кипение парижских недр, но волнение поверхности она наблюдала, полупугаясь, полулюбопытствуя, стараясь не пропустить новинок и не слишком близко подойти к ним. В письме 12 декабря 1839 г. она наперед успокаивала мужа и просила не тревожиться: «Рекомендую вам, дорогой друг, не беспокоиться за меня, ежели до вас дойдут слухи о волнениях в Париже. В нашем Сен-Жерменском предместье нам страшиться нечего. Да и правительство на-чеку. Я обедала намедни у маркизы Пасторе вместе с легитимистами,—нелепые это люди: сами путают карты, а потом кричат, что Францией невозможно управлять («que la France est ingouvernable»)!.. Все партии сейчас объединились против правительства, но и обманывают друг друга. Население же сейчас возбуждено против денежной аристократии, на которую опирается Июльская монархия, и дороговизна хлеба способствует этому. Католическая партия примкнула к правительству—не по внутреннему влечению, но в расчете, что это превосходный случай доставить триумф

Риму... А пока торговля идет из рук вон плохо...»[103]. Она побывала в Палате, чтобы воочию поглядеть на героев дня; она дважды описала это зрелище, что соответствует обоим упоминаниям ее конспекта: «королевское заседание; Палата депутатов». Она сообщала мужу: «Пишу вам, вернувшись с королевского заседания, на котором присутствовала с интересом, как на новинке («comme à une nouveauté»). Я сидела так, что видела лишь пэров Франции, с их облачениями и обликами стряпчих («tournure de scribes»). Депутаты в черных фраках, наоборот, очень молоды и элегантны. Это—подавляющая часть Палаты. Король очень хорошо произнес речь, важным голосом, с верными и мелодичными оттенками, но его раскланивания и его манера держаться никак не вязались с его речью»[104]. Так пишут о театральных премьерах, об актерах в заглавных ролях; сущность заседания она обошла,—это мало занимало ее. Слышны и нотки аристократического презрения к зрелищу нелегитимного монарха в неустойчивом парламенте. Она побывала на заседании иного рода, бурном, грозившем падением правительству, но сохранила то же впечатление зрелища, лишь с бо́льшим количеством занимательных фигур; их обликам она уделяет все внимание.

«Расскажу вам,—пишет она 3 апреля 1840 г. брату,—о дебатах в Палате, на которых я присутствовала. Весь Париж занимало то, что могло произойти: вопрос о секретных фондах был рычагом, который должен был опрокинуть или сохранить министерство[105]. Обе партии, казалось, верили в свой успех. Луи-Филипп, как передают, был в отчаянии от того, что ему навязали министерство, решившееся сломить его иго. Ждали волнений в столице. Платили до 50 франков за место на трибунах, и много народу забралось на трибуны для публики еще накануне. Я получила два билета по протекции г-жи Пасторе и была с виконтом де Мелёном, которого г-жа Свечина любит, как сына[106]. Мы были прикованы к своим скамьям от полудня до шести вечера, но было так занимательно, что я почувствовала усталость, лишь вернувшись домой. Тьер открыл заседание, и я была восхищена силой его слова, несмотря на неблагоприятнейшие данные: голос глухой и надломленный, но отчетливо слышимый, внешность хилая и заурядная, а в то же время—порыв, полнота, естественность, простота и убежденность... За ним следовали ораторы без таланта и данных,—не понимаю, откуда у них решимость или, вернее, наглость надоедать, не смущаясь... Далее выступил Ламартин. Искусство, благородство, изящество, вкладываемые им в свои выступления, придают его речам значимость, которой нет в его словах. Он, в самом деле, очень красив, когда, скрестив на груди руки, в несколько театральной позе, ждет, чтобы утихомирился поток парламентских протестов или одобрений. Он обратился с запросом к левой. Одилон Барро кинулся к трибуне и своим громовым голосом ответил не без скрытого замешательства, так как должен был голосовать за секретные фонды и хотел оправдать это. Назавтра я была в дипломатической ложе одна... Ремюза приготовил хорошую речь, но произнес ее очень плохо. После нескольких стычек на трибуну взошел, наконец, Беррье. С его появлением сразу настало глубокое молчание. Всем хотелось услышать его. Вы, вероятно, читали его речь, но стенографы утверждают, что были так увлечены удовольствием слышать его, что плохо записали его слова, горевшие одушевлением, красноречием и очарованием... Речь Беррье встретила общее одобрение—вся Палата была с ним. Мне было забавно следить за всем

этим движением. Оратор в изнеможении опустился на место, ему принесли бульон для подкрепления сил. Между тем, Тьер выждал восстановления спокойствия, чтобы заставить выслушать себя, и поднял снова вопрос, с более высокой точки зрения, ставя границы между министерством и королевской властью, так, чтобы нельзя было переступить их...»[107]. Узнаем в этой картинке былую собеседницу де Местра, великую искусницу бесед; она явно не утратила вкуса к этому, и те два парижских салона, которые видели ее своей постоянной гостьей, явились и последними свидетелями ее дарований: один салон—ее искусства спора, другой—ее искусства лести.

Первое явствует из пометок парижского конспекта, о втором свидетельствуют бумаги архива. Настороженность к Свечиной оказалась более оправданной, чем Эдлинг предполагала. Экзальтированная Свечина и в шестьдесят лет попрежнему принимала чаемое за сущее. Ее теперь обуяла иллюзия, что она сделает то, чего когда-то не смог сделать сам Местр, и что именно ей суждено приобщить Эдлинг к католической благодати. Она нетерпеливо ждала ее приезда, возвещала о нем наперед ряду лиц и была изумлена и расстроена непроницаемостью прибывшей; позднее она писала о своем замысле и поражении: «Какую горечь избыла бы моя печаль, ежели бы мне дано было сохранить близ себя эту бедную мою подругу и вместо ее деятельности, совершенно внешней, приобщить ее, столь же действенно, к лону истины!»[108]. Тут—объяснение тем неприязненным пометкам, которыми Эдлинг прокомментировала свечинскую часть своего парижского конспекта. Она с усмешкой писала о встрече брату: «Я нашла добрую нашу г-жу Свечину почти такой же, какой рассталась с ней. Видимся мы с ней ежедневно, хожу туда по утрам, дважды обедала у нее, бываю там вечером... Этот дорогой и превосходный друг находится постоянно всё в том же круге идей, которые, по-моему, больше возбуждают ее, нежели питают и согревают... Я заметила, что вся эта партия твердо верит, или делает вид, что верит, будто весь вопрос—в папском авторитете и что вне этого нет ничего важного»[109]. Итогом был, видимо, если не формальный, то жизненный разрыв отношений; переписка между подругами, до той поры столь оживленная и интимная, после Парижа оборвалась; во всяком случае, ни одного письма позднее 1838 г. нет[110].

Не то было с кругом Рекамье. Связь с ним наладилась сразу—и сохранилась позднее. Эдлинг была введена туда Свечиной и сумела завоевать благосклонность Шатобриана и дружественность Рекамье. Она гордилась этим, как нерядовым успехом, ибо старый Шатобриан был знаменит неприступностью. «Я была,—писала она 8 декабря 1839 г. мужу,—у г-жи Рекамье, которая очаровала меня: это предел изящества и простоты. Я видела у нее Шатобриана, а так как она чувствовала, что, главным образом, ради него я и приехала, она тут же представила нас друг другу... Всё, что говорят об угрюмости г. де Шатобриана, неверно. Нельзя быть более любезным, более приветливым и, особенно, более простым. Приятно видеть, как седина волос окаймляет благородство его черт, но вызывает удивление его маленький рост, потому что заочно представляешь его себе таким же высоким, как его гений. Г-жа Рекамье казалась довольной знакомством со мною,—она сказала, что отправится поблагодарить г-жу Свечину за это. Я рассчитываю поддерживать с ней знакомство («la cultiver»). Она не принимает больше иностранцев, но для меня сделала исключение...»[111].

ШАТОБРИАН В СТАРОСТИ
Гравюра неизвестного художника, 1840-е гг.
Собрание Б. М. Минервина, Москва

Оглядевшись и освоившись, она подтвердила свои впечатления: «Это—простая и добрая женщина, живущая сердцем. Она выражает большое удовольствие видеть меня. Круг людей у нее совсем маленький,—всегда встречаешь одних и тех же людей в одни и те же часы. До сих пор Шатобриан был всегда приветлив и любезен со мной. Говорят, что на него находят иногда приступы нелюдимости и что тогда он не раскрывает рта. Во взгляде у него есть что-то исключительно прекрасное. Это—взгляд гения. Добрый Балланш поистине превосходен, и мне приятно со всеми этими людьми. Ультрамонтанцы, которых я встречаю у г-жи С[вечиной], не так любезны, по меньшей мере...»[112]. Она уже входит в интересы и заботы кружка, уделяет внимание тому, чему полагается по уставу салона, и «нежное иго», как называл Сент-Бёв порядки, установленные г-жой Рекамье для «подданных» Abbaye aux Bois, ее не тяготит: она выполняет обязательный ритуал и в отношении хозяев, и в отношении их друзей,—опять-таки в противоположность кругу Свечиной: «Среди развлечений, какие я доставляю себе, надо не пропустить упоминания о курсе г. Ампера в «Коллеж де Франс». Дамы слушают его, и я тоже хожу туда дважды в неделю—большей частью, чтобы доставить удовольствие г-же Рекамье и ее обществу, ибо г. Ампер—ее протеже... На этой неделе мы будем слушать о Савонаролле. Г-жа С[вечина] не бывает там, так как ужасно страдает при малейшем споре, связанном с ее ультрамонтанскими идеями. Самое страдание это уже является доказательством, насколько в глубине души она мало верует в свое дело»[113].

Эдлинговские старания были оценены: она присутствовала на интимных чтениях рукописи «Mémoires d'Outre-Tombe». «Надеюсь на этих днях,—оповещает она мужа 1 января 1840 г.,—быть на чтении «Замогильных записок» г. де Шатобриана; это—милость, которую я очень ценила бы. Он глядит на меня благосклонно, но я всё еще не могу победить

скованности, которую он мне внушает, хотя до сих пор я видела его всегда любезным и беседующим»[114]. В архиве Эдлинг сохранились и две собственноручные записки г-жи Рекамье; как всегда, они—кратчайшие, в несколько скупых строк, но ее умение вкладывает в них все оттенки, какие она желает дать почувствовать. Одна лишена сколько-нибудь точных признаков места отправления, однако, последняя фраза и то обстоятельство, что это только записка, без адреса, может быть, посланная с рук на руки, нарочным, позволяет предположить, что Эдлинг еще в Париже; другая написана в Эмсе, уже при последней встрече на водах, перед эдлинговским отъездом домой.

(1)

[Париж] Вторник [1840 г.][115]

Примите всю мою признательность, сударыня, за обязательную память вашу и за сочинение, которое вы благоволили мне прислать; я поспешила прочесть г. де Шатобриану страницу, отмеченную вами с такой любезностью, как отклик восхищения, отразившегося вдали, на чужой стороне. Но, сударыня, умоляю вас, никогда не произносите слово «нескромность», говоря о себе, и поверьте, что я всегда буду очень счастлива и очень признательна за все минуты, которые вы пожелаете уделить мне.

Жюльетта Рекамье

На обороте: Графине Эдлинг

Слова, подчеркнутые Рекамье, взяты, видимо, из сопроводительной записки Эдлинг; явно также, что посланное сочинение было написано русским автором по-французски. Что это могло быть? Не один ли из манускриптов брата, Александра Стурдзы? Или в рукопись собственных ее мемуаров, которые, мы знаем, она захватила с собой, было вплетено то письмо к Шатобриану по поводу Веронского конгресса, которое она сочинила за год до путешествия в Париж? Во всяком случае, надо предполагать нечто подобное, близкое по происхождению.

(2)

[Эмс] Суббота [июль 1840 г.][116]

Я очарована, сударыня, известием, что вы еще в Эмсе. Как счастлива буду я вновь увидеть вас и передать вам выражение всех воспоминаний, которые вы оставили в маленьком нашем кругу Abbaye aux Bois. Я слишком утомлена, чтобы сегодня же встретиться с вами, но сообщите, в котором часу я смогу повидать вас завтра, и примите свидетельство всех моих чувств.

Ж. Р.

На обороте: Графине Эдлинг

Датировать записку можно достаточно точно: Рекамье уехала из Парижа, лечить простуду, 18 июля 1840 г.[117]—значит, в самом начале двадцатых чисел она была в Эмсе. Эдлинг могла быть довольна тем, что Рекамье сочла нужным оттенить в письмеце: «наш маленький круг» признавал ее своей. «Дружеские связи» эдлинговского конспекта, в самом деле,—это только члены «Лесного аббатства». Другие упоминания отчуждены: маркиза Пасторе была человеком и толка и среды Свечиной, и ее

легитимистские чувства и светски-католическая благотворительность мало занимали Эдлинг; она говорит о них без иронии, но и без интереса. Английского ультрамонтана доктора Уикмэна она характеризует, как «довольно простоватого англичанина», и т. д. Подлинные «célébrités du jour»—знаменитости дня, по ее утверждению, были вокруг Рекамье. Из них она облюбовала себе двоих—Сент-Бёва и Балланша: «Это единственные знаменитости, которых я бы охотно стала видеть у себя»[118],—пишет она мужу. Но осуществить это ей удалось лишь наполовину: «Ballanche plus béat que jamais»—«Балланш более блаженный, чем когда-либо», по тогдашнему замечанию Сент-Бёва[119], дряхлеющий мечтатель, фантазер демократического христианства,—«этот добрый Балланш», «этот превосходный Балланш», по неизменному выражению близких и далеких, был неспособен уделить внимание чему-либо, кроме традиционных обязанностей своего поклонения г-же Рекамье и новоприобретенных тревог своей кандидатуры во Французскую академию. Зато ее вознаградил своим вниманием Сент-Бёв. В Abbaye aux Bois за ним ухаживали; он был там желанен, признан, но своим человеком не был и не хотел быть. Он умел капризничать; он уже раз уходил—опять вернулся и мог уйти снова. Он был скрытен—во всяком случае, неясен; от него можно было ждать непредвиденностей. Его ласкали, за него держались. Г-жа Рекамье охватывала его «ласковым влиянием», которое, мстительно говорил он потом, «совершенно парализовало меня и не оставляло моему перу места для подлинного суждения»; а сам Шатобриан «дважды или трижды соблаговолил произнести мое имя с похвалой», приковывая «словно бы золотой цепочкой к своей статуе»[120]; «... шелковой петлей и золотой цепочкой»[121],—писал он еще раньше друзьям. В среде «Лесного аббатства» он был, как бы то ни было, независимее и свободнее всех прочих—жил собственными интересами и планами и если давал себя использовать во славу «petit cénacle», то и заставлял служить своим видам. Он мог общаться с Эдлинг вне круга Рекамье и независимо от него.

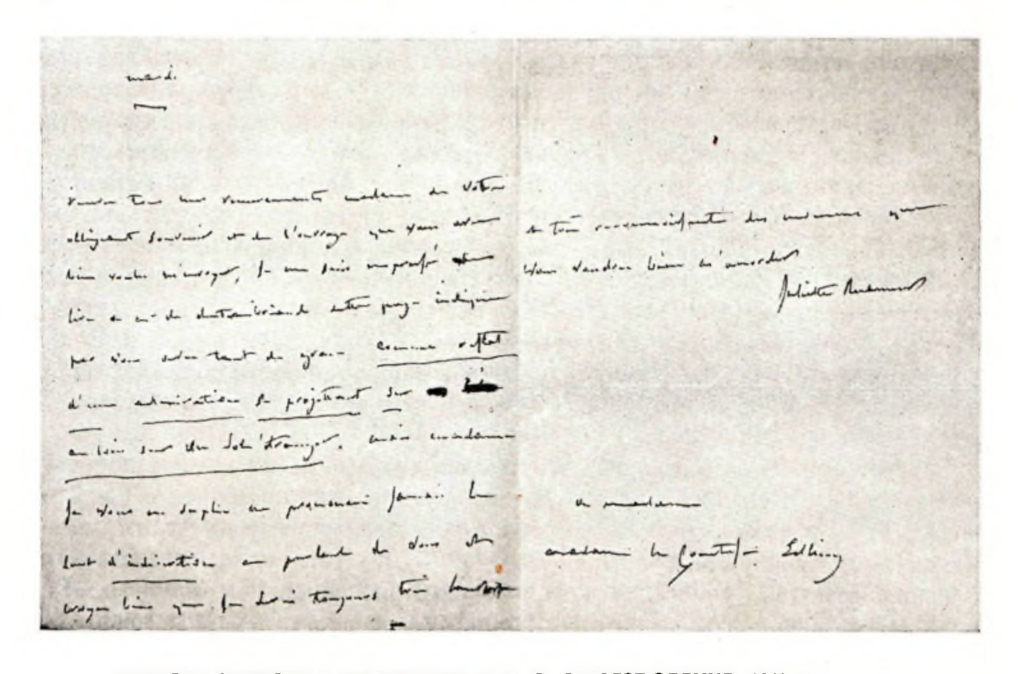
Он был вполне вхож и туда, откуда Эдлинг начинала свое знакомство с Парижем: в салоне Свечиной его принимали благожелательно. Он был так универсален, что находил точные и тонкие суждения и для вещей, единственно занимавших эту среду,—для судеб католичества, для прерогатив папы, для положения галликанской церкви, для потрясений ламеннэизма, для соревнований модных проповедников и т. д. К его характеристикам прислушивались, его произведения обсуждали[122], его слова запоминали, сама Свечина, при случае, цитировала их[123], а он, в свой черед, собирал у нее мед для своих ульев. Живое свидетельство о Жозефе де Местре он впервые получил от нее: «Приступаю к изучению Местра (большого Местра), и завтра у меня свидание с г-жой Свечиной, весьма одухотворенной русской дамой, хорошо его знавшей и приобщенной им к католичеству»[124]. Но он держался здесь много более отчужденно и настороженно, нежели у Рекамье. «Центр влияния г-жи Свечиной не привлекал меня... В понимании того, что такое салон, я остался вполне классиком... Тут был не салон; дайте этому любое имя: вестибюль рая, богадельня для светских людей»,—писал он впоследствии, когда посмертные публикации свечинского архива, предпринятые гр. де Фаллу, дали ему оказию сказать, по обыкновению, по адресу покойницы то, о чем он вежливо молчал по адресу живой, и рассыпать по страницам своих двух статей царапающие пометки о «святых, не являющихся таковыми», о «душе, ревностно

кинувшейся к богу из боязни слишком живого влечения к земным вещам», об «уме, обладающем изворотливостью византийской, или русской, или изворотливостью греческого архимандрита»[125] и т. д. и т. п. Он утверждал, что тут были отголоски его бесед с Эдлинг; несмотря на опровержения свечинского круга, он писал: «Я часто общался во время путешествия, совершенного ею в Париж, с очаровательной Роксандрой, с этим другом юности г-жи Свечиной, впоследствии—графиней Эдлинг; она часто жаловалась мне (покорнейше прошу прощения у тех, кто писал обратное) на известную холодность и сдержанность, которые она встречала теперь в старой подруге и которые приписывала разности вероисповеданий. Г-жа Эдлинг осталась православной, и это в итоге образовало лед между г-жой Свечиной и ею»; а в сносках значится: «Это место вызвало раздражение друзей г-жи Свечиной, утверждавших обратное; были сделаны попытки опорочить его достоверность, но безуспешно»[126].

Он мог бы даже сказать больше и резче. Письма Эдлинг,—мы видели,— определеннее и беспощаднее. Дело было уже не столько в различии двух исповеданий, сколько в противоположности двух мироощущений. Принужденной экзальтации Свечиной противостояла естественная охлажденность Эдлинг, как противостоял и раздраженный скептицизм Сент-Бёва. У обоих была неприязнь ко всему чрезмерному (а Свечина была сама нарочитость и сама чрезмерность), влечение к относительностям, к оттенкам, к тонкостям, к всё понимающему, но ничему не отдающемуся лицезрению жизни. Эдлинг обрела это давно и несла уже примиренно и успокоенно; Сент-Бёв—недавно и еще терзался. Он плакался перед верными людьми,—плакался и перед Эдлинг, когда обнаружил, что она может и хочет его понять. Следы его жалоб и ее советов сохранились в эдлинговских письмах. Она встретилась с ним в труднейшую пору, когда он уже совсем потерял иллюзии, но еще не вполне смирился. Он понял, что жизнь проиграна, хотя очевидность словно бы опровергала это. Он был «знаменитостью дня», несомненно. Он стал первым критиком Франции—самым весомым и решающим. От маститого Шатобриана до начинающего Мишле, все ждали его статей, а он разборчиво и несправедливо об одних писал, о других молчал, третьим обещал, не исполняя. Он сводил уже написанное в томы, издавал и переиздавал их, и эти пять томов его «Critiques et Portraits littéraires» были у всех на руках. Многомесячный курс лекций в Лозанне 1837—1838 г. уже свел воедино материал и дал первый очерк капитальнейшему труду его жизни—истории «Port-Royal». Его интересы были энциклопедичны, его работоспособность огромна, его появление в печати непрерывно. Он уже берет в железные рамки расход времени, который и теперь, в эпоху семнадцатилетнего сотрудничества в «Revue des Deux Mondes», точен, а потом, в пору «Понедельничных бесед», выльется в каторжный режим четырех дней подготовительного чтения, одного дня писания, одного дня корректур и одного дня отдыха,—и так в течение новых двадцати лет, создавших циклопическое здание «Lundis»[127]. Но за всем этим, повернутый внутрь к самому себе и к кое-каким близким, скрывался материально нуждающийся, сердечно голодный и духовно неудовлетворенный человек. Известность не обеспечивала его; достатков хватало в обрез на ежедневные расходы да на стесненное представительство в свете; он уже десять лет жил в двух студенческих комнатках, на пятом этаже, «за 23 франка в месяц, включая завтраки», и приезд Эдлинг застал его еще там. Это было не самое важное,—тягостнее было одиночество:

он не умел ни приваживать, ни удерживать людей. Семьи он не создал; на его влечения не отвечали; в «друзьях» числились у него приятели, малозначительные люди, да еще обычно отделенные от него расстоянием и временем, а единственную большую дружбу с большим человеком, с Виктором Гюго, он разрушил, попытавшись войти в его семейную жизнь третьим участником. Он сам сказал о себе: «Я—человек, которого едва ли не больше всех отвергали в любви и который сам больше всех отвергал дружбу»[128].

Купол творчества, поднимавшийся над этим бедным зданьицем личной жизни, стоял тоже в трещинах и скрепах. Знаменитый критик был им поневоле. Он страдал от вынужденности своей профессии. Его мечта, с первых же литературных шагов, была иной: он видел себя поэтом, он



АВТОГРАФ ЗАПИСКИ Г-ЖИ РЕКАМЬЕ К Р. С. СТУРДЗЕ-ЭДЛИНГ, 1840 г.

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

всю жизнь писал стихи, он упорно их печатал, он вправлял их при каждой оказии в письма к друзьям, он готов был читать их любому встречному, «даже продавщице в кафе, если она соглашалась слушать»,—презрительно вспоминал Барбе д'Орвильи[129]. Современники единодушны: «Тут было его подлинное и тайное честолюбие; он почти сожалел, что вторая репутация, столь обширная, столь заслуженная, столь признанная всеми, как бы скрывала или погребала под собой первую... Одно слово о «Жозефе Делорме», об «Утешениях» и, в особенности, об «Августовских мыслях» давало ему больше радости, чем обстоятельная похвала его последней «Понедельничной беседе»,—свидетельствовал Теофиль Готье вскоре после его смерти[130]. Можно оценить великодушие Гюго, которого каприз случая вынудил принимать официальное вступление Сент-Бёва во Французскую академию, когда он былого друга, ставшего мстительным врагом, показавшим ему когти даже в этот торжественный день, настой-

чиво именовал в приветственной речи «поэтом», говорил об его стихах, об его романе и подчеркивал даже в его критике лирическое «очарование»[131]. Вообще же его стихи считались несуществующими во французской поэзии: о них не принято было беседовать в обществе, их принято было высмеивать в прессе; даже «Жозефа Делорма», недаром почтённого похвалой нашего Пушкина, отодвигали в даль раннего романтизма и оставляли вниманию историков. В пору, когда создавалась поэзия «Ж. Делорма», у Сент-Бёва еще было что сказать миру о себе и о жизни: он искал своего подвига, страдал от несоответствия мечты и сил, торопился в будущее. К 40-м годам все это было уже позади. В нем жило теперь лишь интеллектуальное любопытство к явлениям культуры—огромное, но холодное. Изучение его общественной и духовной истории оставляет горечь у того, кто приступает к этому с живым и сочувственным интересом; нечасты у историков литературы такие признания, как у лучшего его биографа, создателя классической монографии о Сент-Бёве 1820—1850-х годов— у G. Michaut, который испытал потребность сказать своим читателям: «Я начал, признаюсь, этот труд совсем иначе, с бо́льшим жаром и радостью, нежели его кончаю... Горестно зрелище, когда человек теряет понемногу свои надежды, иллюзии, самые дорогие притязания или влечения, когда он печально довольствуется тем, что становится чистым интеллектом, «присутствующим при смерти» сердца и «мерцающим над этим кладбищем, как мертвая луна». Это зрелище Сент-Бёв дал мне; и мне кажется даже, что всем, кто слишком тесно общается с ним, он передает частицу своей разочарованной меланхолии»[132]. Молодой Золя писал об этом еще в 1879 г., за четверть века до Мишо,—новейшие исследователи повторяют это в наши дни, спустя четверть века после Мишо,—это основное, разногласий тут нет.

Самому Сент-Бёву казалось, что он всегда был таким, что молодости у него не было: уныние зрелости он переносил в свое прошлое. «Я играл во все игры разума»,—вот его формула для пережитого; «я немного занимался христианской мифологией»[133],—как будто так можно назвать его поиски веры или увлечение католическим прозелитизмом раннего Ламеннэ; «я прикоснулся к сен-симонизму»,—как будто это выражение подходит для его ученичества у Анфантена и сотрудничества в социалитическом «Globme»[134]; даже от романтизма, сделавшего из него писателя, он, в сущности, отрекался, утверждая, что был всего лишь «жирондистом», «Верньо» среди этих неистовцев. Глядя назад, он всё выравнивал под углом зрения того подчинения новинкам книжного прилавка, того меланхолического собирания литературного гербария всех идей, всех страстей, всех обманов и всех очарований человеческой мысли и чувства, в какое он превратил труд критика и которое Тэн, в некрологе Сент-Бёва, назвал «ботаническим анализом применительно к людским особям», «изобретением, внесшим в моральную историю приемы естественной истории»[135]. Сам Сент-Бёв говорил то же, но оценивал это беспощаднее и искреннее: как раз в год общения с Эдлинг, 1840, он выразился про свое писательство: «... литература—это единственное бесплодное и неблагодарное отцовство, которое мне дано»[136]. Всё, выходившее из нормы, теперь тяготило его. Он признавался, что хочет нетревожимого, размеренного, обеспеченного существования; он начинал находить вкус в политическом juste-milieu; он отталкивал всё, что считал крайним; его злили легитимисты, он морщился перед ультрамонтанством, отрекался от ламеннэистов, сторонился республиканцев,

повертывался спиной к сен-симонистам. Свою былую, настороженно охраняемую независимость он уже непрочь был уступить обеспеченности правительственной службы, почету академических отличий, внушительности университетского звания. Уже салон г-жи Рекамье предстательствовал за него перед Гизо относительно профессорской кафедры, а салон г-жи д'Абрувиль готовился выполнить для него свое назначение вестибюля Французской академии. Даже к «прогнившему роду Орлеанов» он умерил свою нетерпимость—он ворчливо выжидал. Ко времени появления Эдлинг он был уже почти «gouvernable»—«доступным управлению»[137].

Литературное знакомство с ним завязалось у Эдлинг раньше жизненного,—не потому только, что книжки «Revue des Deux Mondes» были привычны для русского читателя, но и потому, что за два года до парижского путешествия Сент-Бёв должен был привлечь к себе ее внимание: июльский номер журнала за 1837 г. содержал этюд о Крюденер, а в октябре, с этой же статьей в виде предисловия, Сент-Бёв выпустил в свет крюденеровскую «Валерию»—первое после трех с половиной десятилетий переиздание уже забытой вещи, возвращавшее Крюденер звание писательницы, с которого она начинала когда-то свой общественный путь. Это был тот первый этюд о Крюденер, где Сент-Бёв еще умалчивал обо всем, что позднее насмешливо вложил в загробные уста Сент-Эвремона и где черты каботинки были смягчены бархатисто-нежной пыльцой «пастели», по слову самого Сент-Бёва[138]. Живую связь с ним стал для Эдлинг налаживать будущий крюденеровский биограф, Шарль Эйнар. Сам он познакомился с Сент-Бёвом в Швейцарии зимой 1837—1838 г., через общих местных друзей, супругов Оливье, которые были главным рычагом приглашения, посланного Сент-Бёву Лозаннской академией, прочесть курс о «Port-Royal»; Эйнар, видимо, слушал его лекции, несомненно, общался с ним лично, как продолжал общаться и позднее, при наездах в Париж[139], и есть все основания думать, что «пастель» была толчком и отправной точкой для той крюденеровской апологии, которую затеял теперь набожный швейцарец; Сент-Бёв поощрял его литературные замыслы, помогал советами и связями, переписывался с ним[140]. Эдлинг, взявшая путь на Париж через Женеву и видевшаяся там с Эйнаром-дядей и Эйнаром-племянником, получила от последнего для вручения Сент-Бёву препроводительное письмо и первый эйнаровский труд—биографию Тиссо, знаменитого швейцарского врача XVIII в.; выполнение поручения должно было привести к непосредственному знакомству. Спустя некоторое время Шарль Эйнар писал Эдлинг: «Предполагаю, что теперь вы уже виделись с г. Сент-Бёвом. У меня было известное поползновение написать ему, в связи с одной заметкой, помещенной в «Revue des Deux Mondes», где он извещает читателей о моем намерении составить жизнеописание г-жи Крюденер. Он подает мне совет заняться также биографией Бонштеттена, но к этому я не чувствую ни способности, ни расположения. Что же касается Крюденер, то раз уж теперь заявлено публике, что я работаю над ней, хочу просить у вас советов»[141]. Это было ответом на извещение Эдлинг, отправленное 26 ноября 1839 г.: «Я послала вашу книгу г. де Сент-Бёву, присовокупив несколько слов; он ответил мне самым любезным образом и подает мне надежду на свой визит...»[142]. Действительно, в эдлинговском архиве сохранилось следующее письмо—первое в переписке Сент-Бёва с ней:

(1)

[Париж] Сего 25 ноября [1839 г.][143]

Графиня,

Я весьма обязан г. Эйнару за мысль отправить мне свое послание при помощи такого посредника. Честь, которую вы оказываете мне столь благосклонными словами о моих минувших успехах, несомненно, настолько же неожиданна, насколько и лестна. Единственное, что уменьшает мое изумление,—это сознание, что выражение чрезмерной благожелательности исходит от представительницы нации, которая искони приучила наших писателей к щедрым знакам внимания.

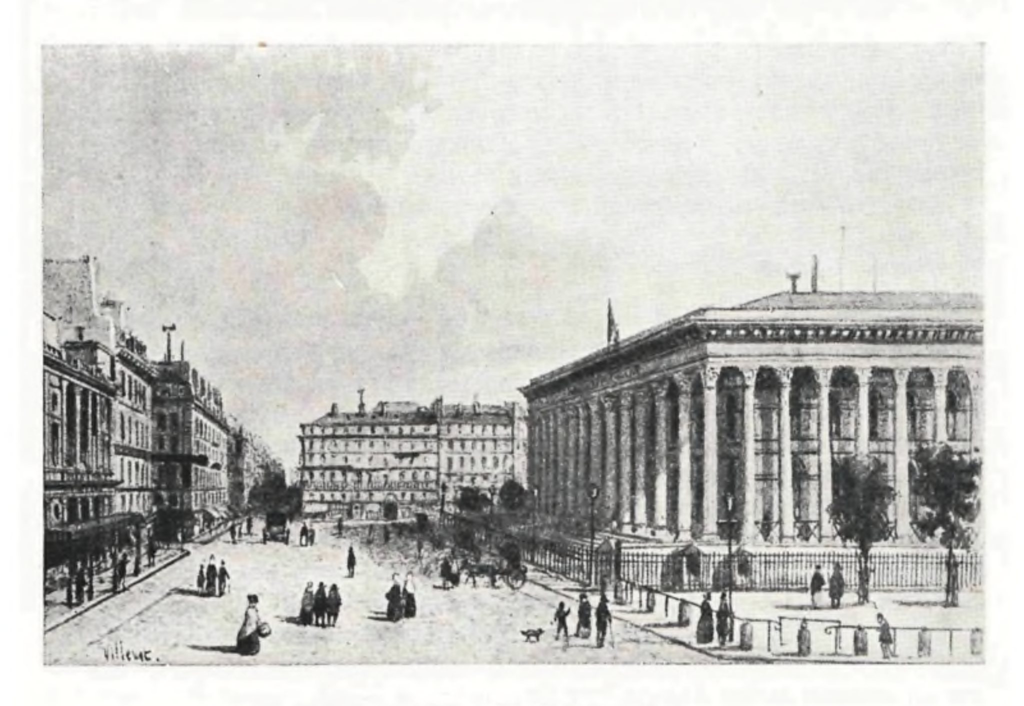
Благоволите принять, графиня, в ожидании того, что в ближайшее же время я буду иметь честь лично возобновить их,—выражения моей признательности и почтительного уважения.

Сент-Бёв

На обороте: Графине Эдлинг

Сент-Бёв, в самом деле, не замедлил явиться в отель «Orient», на улице Доминик, 34, в предместье Сен-Жермен, где, по соседству с домом Свечиной (она жила в № 74), остановилась прибывшая; первый визит был неудачен—Сент-Бёв не застал ее. Она огорченно опасалась, что знакомство не состоится: «Г-н де Сент-Бёв мне написал и пришел наведаться, но, по несчастию, меня не было дома»,—пишет она мужу[144], но Сент-Бёв счел возможным повторить посещение; Эдлинг тут же сообщила об этом домашним, а затем и Эйнару. Сент-Бёв пожелал произвести впечатление и успел в этом; неприглядность наружности он привычно перекрыл тонкостью ума и мастерством беседы—талантами исконно милыми эдлинговскому восприятию. Брату она писала: «Г-н де Сент-Бёв явился ко мне еще раз; я с удовольствием познакомилась с ним. Он застенчив, прост, добродушен, мал ростом, неказист,—и все же приятен. Первый том его «Port-Royal» должен выйти в свет. Всего их будет четыре. Всё, что он сказал мне об этой «растленной цивилизации», как он ее именует, которая овладевает душой, чтобы измотать ее во всех смыслах и затем бросить совсем опустошенную в вечность,—поразило меня. Говоря мне о своей работе над «Пор-Роаялем», он сказал еще:—Не следовало бы прикасаться к алтарю, не сохраняя его печати. Это дурно, знаю, но что делать?»[145]. Спустя четыре дня она то же повторила Эйнару, но уже с занимательными добавками: «Я виделась с г. де С.-Б.,—он пришел еще раз и очень заинтересовал меня не только своим умом, но и простотой. Он сейчас очень в моде, и в салонах он нарасхват. Первый том «Port-Royal» печатается. Очень боюсь, что он не соответствует нашим ожиданиям. Г-н де С.-Б. мне сказал: —Чувствую, что дурно прикасаться к алтарю, не сохраняя хотя бы его печати, и мысль оказаться вдруг брошенным в вечность из этой растленной цивилизации, не дающей нам времени дышать,—ужасающа. Удовлетворится ли господь извинениями, что нехватило-де времени подумать о нем?»[146]. Как видим, направление беседы и прием, применяемый Сент-Бёвом, были взяты так, чтобы сразу сломать светскую условность первого визита; тема беседы была не просто значительна, но и требовала задушевности. Перед Эдлинг был не именитый судья духовной жизни века, но страдающий ее болезнью человек; наступательной, местровской непреложности чувств и суждений здесь противостояла всевидящая, но безвольная и утверждающая свое непротивление злу душа, и притом не менее искусная в самовыражении, нежели

петербургский учитель Стурдзы. Оба ее письма свидетельствуют, что Сент-Бёв знал о ней,—вероятно, от Свечиной,—и безошибочно прикоснулся к нужной струне. Это он умел; это было его гордостью, ибо он сам, как актер, заражался очередной ролью и воплощал ее. В интимных тетрадях он снимал грим и тешил себя откровенностями: «Подлинно большие чувства и истинно высокое—не для меня; но я хорошо слышу трескотню сердца»; «...я—притворщик, у меня безразличный вид, но на деле я думаю только о славе...»; «...я знаю слова, которые придают очарование жизни; я злоупотреблял этим и злоупотребляю еще поныне...»[147] и т. д. Это не значит, что в оказиях, подобных встречам с Эдлинг, он был просто мистификатором: все своеобразие его природы состояло в том, что в нем



ЗДАНИЕ БИРЖИ В ПАРИЖЕ
Акварель Франсуа Виллере, 1840-е гг.
Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

жили корешки всех чувств, но неразвившиеся, а он с изумительной подвижностью отыскивал в себе ту черту, какая в минуту работы или беседы была ему нужна, и показывал ее сквозь увеличительное стекло своего ума и речи. Так теперь были демонстрированы для Эдлинг картины разлада сознания и чувства, воли к добру и воли к жизни—вещи такие родственные ей самой. Она дала себя по началу убедить,—сострадала и умилялась: «Это—душа очень усталая и трогательно-наивная («d'une naïveté touchante»)»,—резюмировала она итоги первых бесед и встреч. Это стало главной темой ее размышлений о Сент-Бёве даже в таком самодовлеющем кружке, как салон Abbaye aux Bois. «Г-жа Рекамье сказала мне,—сообщает она Эйнару,—что пример Ламеннэ принес ему [Сент-Бёву] много вреда»,—тут отголоски объяснений, какие печатно и изустно давал Сент-Бёв своему отступничеству от неистового аббата в решающую пору его борьбы с папизмом и какие внушал он и самой Эдлинг, совер-

шенно готовой понять и оправдать это отступничество: «Ламеннэ,—читаем в ее письме к брату,—только-что опубликовал брошюру «О современном рабстве», в которой доказывает, что невольник много менее раб, нежели пролетариат. Это уже отзывает безумием. Сент-Бёв утверждает, что никогда две идеи одновременно не входили в голову Ламеннэ и что в этом—объяснение всей его жизни»[148]. Взаимопонимание полное; столь удачно начатое общение оставалось лишь развивать. Одна из ближайших записок Сент-Бёва свидетельствует, что Эдлинг принимала меры, чтобы не только укрепить, но и упростить отношения.

(2)

[Париж] Понедельник [конец 1839—начало 1840 г.][149]

Мне очень хотелось бы сказать «сегодня», но я слишком устал и к тому же простужен и буду настолько г л у п, что не смогу беседовать с вами. Не смогу я и завтра, но мы вместе с вами, сударыня, установим день, когда я буду столь же связан всеми обычаями древних славян, как я уже связан сердцем,—благоволите верить этому.

Тысяча почтительных свидетельств уважения.

Сент-Бёв

На обороте: Графине Эдлинг.
Улица св. Доминика

Он, в самом деле, стал ее постоянным гостем, а затем даже зачастил; в середине декабря 1839 г. она упоминает о его визите вместе с г-жой Пасторе, а в январе 1840 г. уже пишет Эйнару: «Сент-Бёв навещает меня один-два раза в неделю»[150]. Она заняла устойчивое место в житейском календаре, который у Сент-Бёва, как у Местра, был установлен чувством душевной бесприютности; Сент-Бёв выражал ее по-местровски, но в еще более горькой формуле: «Я дошел в жизни до полнейшего безразличия. Не всё ли мне равно,—лишь бы ч т о - н и б у д ь делать утром и к у д а - н и б у д ь отправляться вечером»[151]. Среди этого «quelque part» эдлингские комнаты в отеле «Orient» зимой 1839—1840 г. видели его много чаще, чем свечинские апартаменты по соседству и даже чем маленький салон Abbaye aux Bois, куда он наведывался обычно в дни обязательных чтений, раз в неделю. В конце декабря, как выражается Сент-Бёв в письме к Эдлинг, они числились уже «старыми знакомыми», и на таких правах он приобщал ее к кое-каким своим житейским заботам.

(3)

[Париж] Сего 31 декабря [1839 г.][152]

Графиня,

Позвольте использовать вас, как старую знакомую,—а вы это уже почти позволили мне,—и поднять с вами разговор об одном добром деле, в котором сам я мало что могу сделать. Речь идет о некоей бедной и несчастной е в р е й с к о й семье, которая вот уже ряд лет находится в крайней нужде. Зовут их К а н т о р, живут они на у л и ц е П а в е (близ Марэ), 12; они пробудут там лишь до 8 января, так как вынуждены съехать за невзнос платы, а куда деться—не знают. Отец, мать, дочь—вот вся семья; отцу под семьдесят, он—паралитик, мать тоже. Когда-то они были в Амстердаме негоциантами, знали блестящие времена, были даже, видимо, раз представлены ко двору,—всё это уже спуталось у них

СЕНТ-БЁВ
Литография 1830-х гг.

в памяти, ослабленной болезнью и нищетой. Им помогали много в течение ряда лет, но люди устают; нет ничего реже постоянства в благотворительности. Я и сам, хотя мало что мог, тоже утомился, и, признаюсь, это лежит у меня на совести. Письмо от старика, только-что полученное мною, и память о нашем разговоре, имевшем место на-днях, соединились во мне—и вот я почел бы за грех не сделать для них того, что представляется мне возможным при вашей помощи. Этих слов, сударыня, достаточно при таком сердце, как у вас. Дочь этих несчастных—почтенная особа, помогающая им в меру своих сил, но и сама изнемогающая под бременем обстоятельств, которые сильнее ее.

Примите, сударыня, выражение глубокого и искреннего почитания.

Сент-Бёв

На обороте: Графине Эдлинг

Сент-Бёв несколько скромничал: ко времени обращения к Эдлинг он, по меньшей мере, уже шесть лет занимался Канторами[153]. Видимо, Эдлинг выполнила его просьбу с достаточной щедростью, поскольку к этой теме их переписка ни разу не возвращается. Из дальнейших посланий Сент-Бёва явствует еще один оттенок, который приняли их отношения: знакомство стало дружбой или дружественностью, очевидной уже и окружающим и признаваемой ими. Для такой мастерицы оттенков светского общежития, как г-жа Рекамье, характерно, что она сочла возможным не самолично отправить к Эдлинг извещение о чтении шатобриановских «Mémoires d'Outre-Tombe», а сделать своим вестником Сент-Бёва.

(4)

[Париж] Суббота вечером [4 января 1840 г.][154]

Сударыня,

У меня остается времени лишь настолько, чтобы поблагодарить вас за книгу и за столь очаровательные слова, какими вы меня подарили, и предупредить вас от имени г-жи Рекамье, что чтение завтра начнется

не в 3 часа, как было сначала сказано, а в 1 час: это обещает нам наслаждение более длительное или, во всяком случае, более близкое.

Примите, сударыня, дань чувств почтительного и преданного сердца.

Сент-Бёв

Вскоре Эдлинг была звана в Abbaye aux Bois и на выступление самого Сент-Бёва: он читал у Рекамье отрывки из «Port-Royal», подготовленные к печати; ему были отведены кануны отдыха, субботы; воскресенья обычно занимал genius loci—Шатобриан. Читал Сент-Бёв уже не впервые, и Эдлинг попала на одну из очередных глав; в письме домой под ее пером возникло естественное сопоставление: «Намедни я присутствовала у г-жи Рекамье на чтении «Пор-Роаяля» Сент-Бёва. После оживленного рассказа г. де Шатобриана казалось, словно покидаешь шумную сцену мира для уединения пустыни. Это картина, благородно и строго нарисованная. Испытываешь страх за Сент-Бёва,—как много ведомо ему о путях господних. Труд этот произведет сенсацию, однако, одному богу известно, когда он появится в свет...»[155]. Чтение это вызвало Эдлинг на особые размышления о судьбе Сент-Бёва; она писала Эйнару: «Я слушала отрывок «Пор-Роаяля». Это прекрасно, но бог знает, когда это будет закончено. Такой прекрасный природный склад, который обладает интуицией глубоких истин и которым мир швыряется, как ветер листьями, вызывает во мне глубокое сострадание; ни один человек, у которого есть надежда на благородное и полезное умственное поприще, не должен избирать себе местопребыванием Париж. С.-Б. чувствует это, стонет от этого, но привычка и необходимость держат его цепко на этом прокрустовом ложе»[156]. Это уже начало ясности. Следя за Сент-Бёвом, она, в самом деле, теперь отчетливо различает его действительную природу. Два месяца спустя она пишет тому же адресату резче и проще: «Здесь все крепче испытываешь грустную уверенность, что ум ветшает и слабеет от такого разбрасывания себя во-вне. Я часто твержу это С.-Б., который отчаивается, что талант в нем убывает, но у него нехватает сил вырваться из положения, в каком он очутился»[157]. Швейцарец ответил ей: «Бедный Сент-Бёв! Боюсь, как бы эта борьба не стала роковой для его дарований и способностей».

Таким образом, пришла новая фаза: у Эдлинг испарилось почтение к тому, что она приняла было в Сент-Бёве за разумение «божьих путей»; она видит его уже в душевной наготе и опустошенности; по началу она еще увещевает его, как свидетельствует приведенный отрывок письма; потом прекращает никчемные потуги, и всё обретает должный вид: она принимает его без прикрас и иллюзий, а он становится самим собой, без высоких поз и принужденных личин. Таким он будет до конца ее пребывания в Париже, таким останется в письмах к ней в Россию. К парижской поре относятся еще две небольшие записки:

(5)

[Париж] Пятница [14 февраля 1840 г.][158]

Сударыня,

Уже месяц, как все ложи на первое представление «Клеветы» расхватаны,—вот что сейчас ответили мне, и я вдвойне сожалею—как о том, что вынужден сказать это вам, так и о том, что не могу передать это вам лично: весь этот канун очередного номера «Revue» (14-е!) держит меня пригвожденным к месту.

Тысяча почтительных и преданных выражений внимания.

Сент-Бёв

Взаперти его держали, действительно, гранки для «Revue des Deux Mondes»—священнейшее время, когда он был невидим и недоступен никому: в февральском номере шла статья о Ж.-Ж. Ампере—первая статья о нем Сент-Бёва, которой так ждали в кругу Рекамье и к которой сам он относился тем взыскательнее, что говорил в ней под сурдинку и о самом себе[159]. Но всё же то, что он не выполнил просьбы Эдлинг насчет премьеры Скриба,—а интерес к спектаклю возник едва ли не из бесед на эту тему,—свидетельствует, что он не очень старался; сам он на пьесе побывал и откликнулся тогда же на спектакль статьей о драматургической технике Скриба[160]; видимо, отношения с Эдлинг настолько упростились, что он разрешал себе не беспокоиться по мелочам. О наступившей будничности говорит и последняя из парижских записок—на тему, эдлинговская прикосновенность к которой способна, пожалуй, удивить:

(6)

[Париж] Сего 19 марта [1840 г.][161]

Вот, сударыня, та пачка писем г-жи Санд, которую я на время взял у г-жи де Кастри. Благоволите вскрыть ее, прочесть то, что вам заблагорассудится и что, надеюсь, даст вам отчетливое представление о знаменитой особе,—а потом все запечатайте, дабы никто другой, кроме вас, не прочел этого.

Примите, сударыня, мои сожаления, что я не встретился с вами намедни, а равно выражение преданнейшего почитания.

Сент-Бёв

И содержание и предосторожности говорят, что Эдлинг становилась сообщницей в поступке, который был, по меньшей мере, неблаговиден. Интимные письма живой женщины, современницы, врученные скромности и охране человека, числившегося другом, были пущены им для удовлетворения нескромного любопытства светских дам, и Эдлинг не отказалась встать в их ряд.

В распоряжении Сент-Бёва были письма Санд к нему самому и ее письма к Мюссе[162]. Санд доверилась Сент-Бёву тогда, когда считала его ближайшим и надежнейшим человеком. У нее была исконная потребность говорить о себе всё и до конца, у Сент-Бёва—исконная жадность к исповедям этого рода. Сама она в письмах к Сент-Бёву называла свою откровенность «mes lâches épanchements»—«моими подлыми излияниями»[163]; но это не мешало ей продолжать свои исповеди, а ему—выслушивать их и приобщать к ним других. Правда, последнее он стал позволять себе позднее, когда между ними потянуло холодом социально-политического характера,—она ушла влево, к демократии и социализму, а он вправо, к общественному индиферентизму и поискам личного благоденствия и, с позиций своей «независимости», обвинял Санд в «партийной узости», губящей ее дарование[164]. Встреча с Эдлинг приходится как раз на пору их разрыва, но и примирение с Санд в последующие годы, на платформе «будь каждый при своем», уже не мешало ему распоряжаться ее письмами, как выморочным добром.

Сандовский эпизод освещает заключительную пору эдлинговских встреч с Сент-Бёвом. Роксандра Скарлатовна освоилась и прижилась в известном парижском кругу. Она вошла во вкус его любопытств и интересов. Когда настало время отъезжать, она отправилась в новороссийские свои

поместья «нагруженная анекдотами и воспоминаниями», по ее выражению. Она старалась не порвать нитей. Ей хотелось продолжать издалека слушать шум парижской жизни. В этом ей помог Сент-Бёв. Она из Манзыря глядела на Париж его глазами. Со Свечиной она уже не переписывалась,—было не о чем и не к чему; лишь незадолго до смерти матримониальные заботы об опекаемой племяннице заставили ее обменяться со старой подругой соображениями о возможном жениховстве одного из свечинских родственников[165]. Сент-Бёва же она понимала вполне: имена и дела в его письмах она расшифровывала с тонкостью, к которой приучили его беседы с ней, всегда скупые на прямые высказывания и щедрые на отрывистые пометки, уклончивые едкости, иносказательные разоблачения, какими,—записывают Гонкуры в «Дневнике»,—он облеплял человека, о ком говорил, словно муравьи—труп, оставляя от него к концу беседы чисто объеденные кости. Его письма к Эдлинг в Россию таковы же; они того же склада, что письма к супругам Оливье, к Теодору Пави, к Ульриху Гуттингеру и Колломбэ,—письма-обзоры, которые надо уметь читать замедленно, видя за верхним слоем нижний и слыша не только то, что Сент-Бёв говорит, но и то, что он подразумевает. Это становится его манерой даже в статьях. Он теперь упорно сопровождает тексты, особенно в переизданиях, петитными сносками, примечаниями, постскриптумами, где под сурдинку корректируется то, что сказано в парадном корпусе страницы; в этом подвальном этаже и живет его подлинное мнение. Он даже раздваивается: публично печатает одно и анонимно—другое; он направляет подписную статью, хвалебную или сдержанную, в «Revue de Deux Mondes» и анонимную заметку, едкую или бранчливую, в «Revue Suisse»; так, в письме к Эдлинг он помянет, например, «Жизнь Рансе»—последнюю старческую работу Шатобриана; он посвятит ей почтительно-лестный отзыв в парижском «Revue» и откровенно поносные строчки в «Revue Suisse». Золя назвал эти навыки Сент-Бёва «искусством удушать людей, обнимая их»[166]. Целый том составился из таких статеек, направляемых им втайне к Оливье,—и, не заглянув в «Chroniques parisiennes», так же нельзя узнать его действительных мнений о современниках, как не вчитываясь в его сноски внизу страницы или не сверяясь с пометками сокровенных записей. Получатели писем должны были, читая, слышать оттенки его голоса, припоминать слова его бесед. Для Эдлинг это было тем проще, что каждое упоминаемое в письмах имя она могла обставить доброй толикой анекдотов, наблюдений, сведений, и в ее памяти живой вереницей проходило то, что ныне перед читателями пройдет в виде наших помет и примечаний.

Письма Сент-Бёва стали появляться лишь спустя несколько месяцев. Он ждал напоминаний. Он получил их. Первое письмо было отправлено в начале 1841 г.,—этот год богаче всего его посланиями; вообще же он оказался нещедрым.

(7)

Париж, 18 января 1841 г.[167]

Сударыня,

Со дня вашего уже столь давнего отъезда до меня не раз доходили краткие вести о вас. Вас видели в Эмсе, вы промелькнули в Веймаре. Со времени вашего приезда в Одессу я узнал, что в письмах, присланных вами сюда, вы были любезны упомянуть обо мне. Я и сам не раз вспоминал вас, сударыня, и те послеобеденные часы, которые я время от времени украшал беседой с вами.

Париж и Франция со времени вашего отъезда стали весьма воинственными; однако, еще можно жить здесь, не слишком замечая это. Прибытие отца Лакордэра[168] стало кое-каким событием; он одет во всё белое и в таком виде разгуливает по нашим грязным улицам, подобно ангелу, только-что сошедшему с облаков. Один из моих друзей утверждает, что для полной иллюзии ему недостает только пальмовой ветви в руках. С проповедью он еще не выступал.

Вам были бы очень интересны лекции по славянской литературе, которые читает в «Коллеж де Франс» Мицкевич. Он щегольнул таким беспристрастием, что и русские могут слушать его: он говорит для всего славянского племени[169]. Г-жа Кислова[?] редко пропускает их. А ваше место пустует, сударыня, как показалось мне в редкие дни моих посещений.

Г-жа Санд обычно бывает на этих лекциях. За это время у г-жи Рекамье больше не состоялось чтения мемуаров г. де Шатобриана. Все сейчас очень заняты предстоящими выборами в Академию, куда выдвигает свою кандидатуру превосходнейший Балланш. Когда вы получите это письмо, вопрос уже будет решен. Соискателем выступает г. Ансло, и он, пожалуй, одержит верх над нашим философом. У госпожи Ансло хлопот полон рот[170].

Однако, я утомляю вас, сударыня, нашими мелкими сплетнями. Вы отдыхаете в благословенной тиши своих поместий. Не откажите изредка вспоминать о том, чьи помыслы вы покорили своей снисходительной благосклонностью. Мне очень хочется воззвать к ней и просить вас прислать мне, в знак памяти, несколько выдержек из имеющихся у вас писем графа Жозефа де Местра, выбранных по вашему усмотрению. Не знаю, воспользуюсь ли я ими когда-нибудь, но мне было бы приятно быть вам обязанным за них, особенно, если их будет сопровождать несколько строк от вас.

Примите, сударыня, искренние уверения в моих почтительнейших и преданнейших чувствах.

Сент-Бёв

Улица Монпарнас, № 1.

Заключительная просьба о местровских письмах должна была прийтись Эдлинг как нельзя более по сердцу: она опять была погружена в свои архивы; она занималась в эту пору крюденеровскими материалами для Шарля Эйнара, переписывалась с ним, посылала ему рекомендации к владельцам бумаг и обладателям воспоминаний о Крюденер. Пожелания Сент-Бёва дали ей повод одновременно заняться и просмотром, оценкой, выборкой местровской корреспонденции. Кое-что она аннотировала тут же, кое-что оставила до повторной встречи с критиком, ибо помышляла о новой поездке в Париж. Она снабдила отобранную пачку писем, «которые тщательно сберегла признательная дружба», кратким введением. Сохранился его черновик; он не до конца сведен воедино,—в нем почти дословны повторения того, что уже было написано ею в мемуарах, но официальный тон и литературная тщательность свидетельствуют об эдлинговских надеждах увидеть свои строчки в печати. Доверить документы почте она не решилась; надежная оказия представилась с поездкой ее супруга за границу для лечения. С ним отправились местровские копии; предварительно же она послала Сент-Бёву письмо, помеченное Одессой, 1 мая 1841 г.

«Пользуясь отъездом г. Эдлинга на воды в Германию, посылаю вам собрание писем графа Жозефа де Местра, которые вы желали получить. Эти письма познакомят вас с ним в его домашнем виде («en deshabillé»); я доверяю их вам под условием, что вы сохраните их только для себя, не назовете никогда моего имени и после того, как извлечете из них всё то, что вам понадобится,—бросите всю связку в камин. В ней есть кое-какие светские намеки, для которых нужен ключ. Быть может, я еще буду иметь вновь удовольствие лично побеседовать с вами об этом. Я пишу вам эти строки только в виде извещения о посылке, собираясь снова взяться за перо, когда отправлю ее вам. Я рассчитываю перебраться через несколько дней к себе в деревню и оттуда напишу вам. Хотя вы и живете в Париже, воспоминание о вас очень хорошо сочетается с уединенными полями и напряженной умственной жизнью—одним из главных условий пребывания в деревне. Прощайте же. До свидания—не только в письме, но и в действительности, на улице св. Доминика, при первой же возможности»[171].

Что такое дискретность Сент-Бёва, было известно Эдлинг хорошо вообще, а на примере писем Жорж Санд—в частности. Дело было, видимо, не в этом, а в натянутости отношений с кругом Свечиной, который должен был встретить публикацию, как двойное посягательство, как lèse-majesté по отношению к Местру и lèse-amitié по отношению к Свечиной; Эдлинг как бы формально слагала с себя ответственность за печатное использование местровской корреспонденции en deshabillé, как выразилась она в письме. Оно еще не дошло до Сент-Бёва, когда получено было письмо, направленное им в Одессу и являвшееся откликом на предыдущее—видимо, первое после Парижа—послание Эдлинг.

(8)

[Париж] Сего 16 июня 1841 г.[172]

Сударыня,

Любезное письмецо ваше, дошедшее до меня после ряда месяцев блужданий, я получил еще несколько недель назад; оно, повидимому, разошлось с письмом, которое свидетельствовало, сударыня, о том, что воспоминание о вас не столь стерлось, как вы того словно опасаетесь; впрочем, нет!—уверен, что вы не верите этому; вы, конечно, не сомневаетесь в том, что ваше пребывание здесь оставило привлекательный и очень живой след в сердцах у тех, кому была дана радость общения с вами, как если бы это было нечто исконное, усвоенное и прочное. Зачем же то, что казалось столь приятным, столь доступным, столь естественно-нашим со вчерашнего дня и точно бы уже много лет, должно было вдруг ускользнуть из наших рук, так что нужно, колеблясь, отправляться чуть ли не на край света, дабы вручать и испрашивать нечастый знак памяти? Со времени вашего отъезда здешнее общество пережило не мало бурь, воздух то и дело сотрясался от грома, но теперь всё уже затихло, и вы не нашли бы почти никаких перемен.

Чтения у г-жи Рекамье будут вновь происходить по установленным дням; в прошлом месяце состоялось таких два: они были посвящены «Детству» и «100 дням». Слушатели, чтецы (г. Ампер и г. Ленорман), произведенное впечатление,—всё было таким же, как при вас; я же думал о том, что ваше место пустует.

ДЕ ЛА ФОН

Портрет маслом Анри Гаскара, 1680-е гг.

Эрмитаж, Ленинград

Самой большой новостью, которую я должен сообщить и разъяснить вам, является, пожалуй, то, что я получил должность; я обязан ею 1-му марта и отдался на волю событий. Я—один из библиотекарей Библиотеки Мазарини[173]. С тех пор, как я, таким образом, получил материальную обеспеченность, я чувствую себя нравственно очень скверно: я утратил ощущение свободы, жду какого-то освобождения, которое не явится никогда. Мне кажется, словно я посажен в клетку у Моста искусств[174].

Как далеко до Одессы, сударыня! Когда я прохожу по улице св. Доминика, меня всегда тянет войти, как бывало, в известный вам отель. Я много беседовал о вас этой зимою с Шарлем Эйнаром, который гостил здесь.

В «Revue des Deux Mondes» появилась статья о Каподистрии, весьма нас огорчившая; я не смог воспрепятствовать ее появлению; французская политика сочла себя заинтересованной, и, после ряда закулисных воздействий и запретов, статья прошла[175].

Г-н де Ламеннэ, от знакомства с которым вы уклонились, все еще в тюрьме; как вам известно, он был приговорен к году тюрьмы за нарушение законов о печати. Думается, что весьма дурно со стороны правительства, имеющего в своих рядах гг. Гизо и Вильмэна, держать его в тюрьме полный срок. Его надо было в мае выпустить на травку. Ум никогда не должен быть безжалостным противником Ума[176].

Достаточно разумная и весьма положительная г-жа Санд уезжает к себе в Берри, заканчивать небольшой роман для «Revue des Deux Mondes»[177]. Г-н Гюго недавно принят или посвящен в академики; и тут, как всегда, он сумел вызвать вокруг себя целое сражение. Г-н де Сальванди пожал успех в тот же день и на том же заседании. Но при чтении мнения все еще делятся, и борьба не прекратилась[178]. Знак памяти от вас, сударыня, так драгоценен и лестен, что, смею надеяться, вы не откажете мне в нем и в дальнейшем.

Прошу вас принять, вместе с благодарностью, и почтительнейшие, преданнейшие мои чувства.

Сент-Бёв

P. S. Веймарский канцлер Мюллер сейчас здесь[179].

Улица Монпарнас, № 1.

Тем временем добралась до Парижа и эпистолярная посылка Эдлинг. Сент-Бёв оповестил ее об этом не сразу, а через полтора месяца; в его ответном письме есть косвенные извинения за промедление; больше того, обычно такой жадный к возможностям публикации неизвестных автографов большого человека, он на сей раз отступился: он не знал, как приняться за этот материал,—его позднейшие признания прямо говорят об этом. Он решил пока отговориться перед Эдлинг текущей своей занятостью.

(9)

Париж, 4 августа [1841 г.][180]

Едва только последнее мое письмо отправилось в Одессу, как я должен был бы почти тотчас же выразить вам, графиня, живейшую признательность за письма, столь тщательно переписанные и такие драгоценные. Я прочел их и неоднократно перечел снова; я весьма ясно понял, что в них следует приписать чисто светской благовоспитанности; во всяком

случае, я поступил, как обычно в разговоре, когда, еще не все понимая, оставляешь без внимания часть сказанного; но от меня не ускользнула ни одна из прекрасных и тонких мыслей, разбросанных на каждой странице. Мне было также чрезвычайно приятно увидеть, узнать в них облик женщины, с которою я встретился, к сожалению, слишком поздно, и перенестись, таким образом, к годам ранней и нежной юности; такою именно я и представлял ее себе, подумал я. Так это и оказалось, сударыня,— я увидел вас в этих письмах воочию.

Все ваши указания будут свято выполнены. Однако, я не думаю, что смогу заняться портретом г. де Местра в ближайшие месяцы, ибо должен раньше издать второй том моего «Пор-Роаяля» и покончить с его великой заботой—Паскалем[181].

Парижский свет сильно поредел; однако, знаю, что г-жа Свечина всё еще здесь и собирает у себя осколки изысканного общества, еще пребывающие на улицах Сен-Жерменского предместья. Но г. де Шатобриан уже на водах в Нери, г-жа Рекамье—в Шатнэ у г-жи Боань (Boigne), г-жа де Розан—у себя в Нормандии. Все разбрелись. Канцлеру Мюллеру, которого я имел удовольствие видеть на одном из вечеров у г-жи Рекамье и который прослушал кусочки «Мемуаров», пришлось с нами расстаться; он передал мне несколько весьма лестных слов, слышанных им из уст герцогини Орлеанской. Соединив их с тем, что дошло уже до меня через вас, я был очень тронут и даже решился написать стихотворное приветствие, которое и посылаю вам, дабы хоть один человек знал, что оно написано, и надеюсь, что вы не откажетесь быть его хранительницей. Со временем, когда вы, сударыня, вернетесь к нам, вы не откажетесь лично поднести его, и это принесет ему счастие. Но поистине досадно, что нельзя почтительно поблагодарить любезнейшую из женщин только потому, что она—принцесса[182].

Несмотря на шумиху, которую пытаются устроить некоторые газеты, я вижу, что все весьма спокойны и что, впредь до изменений, все последствия министерства 1 марта изжиты; вернулось как бы положение 15 апреля; но мы—народ взбалмошный и изменчивый, а потому ни за что ручаться нельзя.

У г. де Ламартина умер один молодой человек, которого он очень любил,—г. де Пьеркло; говорят, это был его сын.

Любезнейший г. Ампер уехал с г. Ленорманом в Грецию; не знаю, доедет ли он до Константинополя, но знаю, что, если бы он довез меня туда, я не удержался бы и поплыл бы в Одессу, хотя бы и против течения[183].

Вы оставили по себе, сударыня, воспоминание, какое суждено далеко не всем; недавно, когда я произнес ваше имя при г-же Рекамье, она сразу же стала расспрашивать, действительно ли я получаю от вас вести и каким образом, и тотчас же о вас зашел задушевный и оживленный разговор, в котором все приняли участие.

«Она была так естественно близка нам,—говорили все,—так понимала всё, словно мы расстались с нею лишь накануне».

И все же поверьте, сударыня, что есть люди, вспоминающие вас с еще большей задушевностью и с особой признательностью; им будет дорог каждый знак вашего внимания.

Благоволите принять выражение почтительнейших моих чувств.

Сент-Бёв

К письму был приложен листок:

ГЕРЦОГИНЕ ОРЛЕАНСКОЙ

В дни юности, когда так вольнодумен каждый,
По маломыслию, я троны презирал,
Но сквозь ограду я проник к дворцу однажды
И доблесть, грацию, ученость увидал.
И вот, сударыня, меня берет досада,
Что ваш высокий ранг—для чувств моих преграда,
Что дщери королей не смею я сказать,
Как ею я пленен, как перед ней немею:
На слово, ласково оброненное ею,
Ответ мой рвется с уст,—но должен я молчать!

Эти альбомные вирши (наш перевод тут неповинен, он хранит верность подлиннику), свидетельствующие лишний раз о снисходительности Сент-Бёва к каждому своему стихотворному детищу, останавливают внимание другой, более важной чертой. В общественное поведение Сент-Бёв уже переносит свои литературно-критические навыки: гласные бутады по адресу Орлеанов сопровождаются негласными комплиментами в ту же сторону, поисками связей с королевской семьей[184]; совсем так же в письме обставляется вздохами обретение желанного места в Библиотеке Мазарини, и так же потом Сент-Бёв «еще поморщится немного, как пьяница перед чаркою вина», перед креслом во Французской академии и местом в императорском Сенате; потому-то избрал он столь сложный путь

АВТОГРАФ ПИСЬМА СЕНТ-БЁВА К Р. С. СТУРДЗЕ-ЭДЛИНГ ОТ 25 НОЯБРЯ 1839 г.

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

Одесса—Манзырь, чтобы вручить свое десятистишие супруге наследника французского престола. По всем его трем письмам к Эдлинг 1841 г. проходят прямые свидетельства усиливающегося безразличия Сент-Бёва даже к большим делам страны, его нарочитого замыкания пределами литературных происшествий, академических новостей и салонных тревог. Он трижды упоминает—и трижды иронически—о «воинственности, обуявшей Париж и Францию», о «бурях, сотрясающих общество», о шумных кампаниях прессы. Однако, даже «блаженный Балланш» в том же кругу и в ту же пору сумел противопоставить свои шестьдесят пять лет тридцати семи годам Сент-Бёва и свое волнение его скептицизму. «Положение меняется,—тревожно пишет он Рекамье,—Англия играет весьма козырную роль, зато мы играем во всем этом роль весьма жалкую. Я очень боюсь, что мы прикасаемся к событиям, важность которых нам не под силу будет уменьшить»[185]. Шли, в самом деле, события международного масштаба, в которых родина Сент-Бёва была поставлена в унизительное положение, вызывавшее горечь в обществе, грозы в парламенте, смены в правительстве, но терпимое и покрываемое в династических интересах Луи-Филиппом: коалиция держав, возглавляемая Англией, грозя войной, заставила трусливого короля поступиться жизненными интересами французской политики на Ближнем Востоке, предать союзника, сирийско-египетского пашу, подчиниться указке Пальмерстона, потерять престиж и влияние; торжественная перевозка праха Наполеона со св. Елены в Париж, пышно разыгранная в декабре 1840 г. королевской семьей, лишь оттенила унижение от международных пощечин, испытываемое обществом, но не чувствуемое Сент-Бёвом; он глядел на это посторонним зрителем и приглашал русскую приятельницу разделить насмешку над волнениями его соотечественников.

Покой, умеренность, благопристойность во всем и любой ценой—du comme il faut в онегинской интонации—обусловливают теперь его вкусы и суждения, и это проступает в письмах к Эдлинг везде, где только его перо прикасается к лицам и делам общественной значимости, будь то удовлетворенное замечание о застойной тишине «положения 15 апреля», сменившей, наконец, беспокойную активность «министерства 1 марта», или неприязненная пометка об излишнем шуме, вызванном вступлением Гюго во Французскую академию, которое, в самом деле, прошло не тихим актом признания маститости поэта, а громогласным событием, отмеченным столкновением поэта и министра в речах торжественного заседания и отраженных в тетрадях самого Сент-Бёва записями редкой, даже для него, брутальности: «Итак, Виктор Гюго—в Академии. Ну что ж, пусть так: Академии нужно, чтобы время от времени ее изнасиловывали»; «Гюго, с вечной позой г и г а н т а, сменил в Академии лишь Лемерсье, а имеет вид, точно он занял место Наполеона, столько наговорил о нем в своей речи»[186]. Это не просто вспышка злобы,—зрелого Гюго он уже не понимал; у него и в литературных делах разрасталось то странное чувство недружелюбия к современникам, нарушающим средние рамки, к великанам живой литературы, которое приводило его к отрицанию Бальзака, к непониманию Стендаля, к умалению Флобера,—если упоминать только о наибольших из больших,—и которое вызвало в письме Гонкуров к Флоберу страшное слово: «Вы же знаете его злобствования против всего, что смеет быть высоким» («ce qui tente d'être haut»)[187]. Он обретал свойства великого критика, как выразился Золя, только с мертвыми: в царстве

теней он допускал существование гигантов; там он проявлял проницательность суждения, всесторонность понимания, безошибочность оценки, окончательность приговора. Он тоже был, говоря знаменитыми словами Бональда, из числа «пророков прошлого».

В последующих письмах к Эдлинг этот упрямый вкус к «juste-milieu» в современности почти не таит себя; он окрашивает упоминания всех сколько-нибудь знаменитых имен—Ламартина, Санд, Ламеннэ, Мишле—и открыто заявляет о себе в той позиции, какую Сент-Бёв занимает в новой распре, охватившей французское общество,—в войне университета с иезуитами. Однако, все эти отражения отрывочны. Писать Эдлинг он стал совсем не часто. Парижские воспоминания остыли. Собственных побуждений писать он уже не чувствует. Он откликается раз в год на полученный привет, напоминанье и опять ждет год, чтобы взяться за перо. Так, за два года приходят от него два письма. Они—последние.

(10)

Париж, 16 ноября 1842 г.[188]

Сударыня,

Я был чувствительно тронут, получив от вас знак памяти, и получив его из столь прекрасных мест. Я не преминул передать нашим друзьям из Abbaye aux Bois все указанные вами поручения. Я прочел г. Шатобриану отрывок из вашего письма; он вам за него благодарен. Его здоровье хорошо—кроме ног, которыми он почти не владеет. Г-жа Рекамье часто хворает. Люди стареют, сударыня, по сю сторону Босфора! Надиях ради г-жи де Пасторе состоялось чтение нескольких глав «Мемуаров», которых она еще совсем не знала. С тех пор, как вы нас покинули, в обществе не произошло существенных перемен. Несколько проповедников, модных в то время, уже утратило славу; выше всех сейчас ценится г. де Равиньян[189]. Одна из проповедниц, о которой вы, несомненно, слышали, княгиня Бельджойозо (из Милана), только-что издала на французском языке ценный труд: «Опыт истории развития католических догматов». Г-жа Свечина (если она переписывается с вами), вероятно, не умолчала об этом. Доселе княгиня не подавала повода ждать, что вдруг проявит себя доктором богословия, и притом столь же основательным, сколь и тонким[190]. Вы, сударыня, сможете судить об этом лучше нас. Такие книги созданы именно для людей, проводящих жизнь, подобно вам, в созерцании и высоких размышлениях. Здесь же все очень легкомысленны; все страдают от цепи, и, однако, никто уже не почувствовал бы свободы, даже если бы и получил ее. Все это—старые горести, о которых я не раз беседовал с вами и к которым вы, сударыня, всегда относились со снисходительным вниманием, давая нам благостные советы. Г-н де Ламеннэ продолжает свои писания: это какие-то диалоги, в которых выступают персидские духи и где аллегорически, но очень схоже, изображены всевозможные здешние деятели. Г-н де Шатобриан, слышавший чтения, говорит, что они очень остроумны, но в то же время излишне сатиричны и туманны в намеках[191]. Г-н де Ламартин, пользуясь парламентскими каникулами, не устает на все лады развивать свою вечную тему «общечеловечности»—на банкетах, на заседаниях муниципальных советов, при любом удобном случае. Окончание его непомерной поэмы, повидимому, навсегда отложено[192].

Жорж Санд тоже более, чем когда-либо, погружена в общечеловеческое; она называет это верою. «С тех пор,—заявила она недавно,—

как я обрела радость веры, я больше не стареюсь». Кое во что и даже кое в кого она еще долго будет верить. Однако, все это по-парижски легкомысленно. Могу еще сообщить вам, сударыня, что M-lle Рашель, которую вы так мало видели, попрежнему вызывает восторги у высшего общества и что ее чисто литературный успех, повидимому, не затихает[193]. Право, она менее комедиантка, чем многие наши знаменитости,—аббат Лакордэр решительно сошел на-нет. Тут виною—его неодоминиканские заблуждения.

Но вот я и заболтался, словно вы можете ответить мне и словно у меня избыток места для разговора о серьезных вещах, возникающих вместе с мыслью о вас, и для выражения почтительнейших чувств, с которыми я пребываю к вам.

Сент-Бёв

Адрес: Французский институт

Тайный яд Сент-Бёва направлен, как видим, в две противоположные стороны: в край налево и в край направо; налево—в литературных вожаков республиканской оппозиции всех поколений и оттенков,—правореспубликанской, как Ламартин, католико-демократической, как Ламеннэ, социалистической, как Жорж Санд; для Сент-Бёва всё это—одна «партия», «демократия», которая плоха тем, что она притязает на «общечеловечность» (он дважды издевается над этим); неугомонный, красующийся всегда на виду, декламирующий о братстве и свободе Ламартин был ему теперь особенно ненавистен: Ламартин—«grand dadais», «великовозрастный балбес»,—наслаждается он бутадой Шатобриана,—«комета с блестящим хвостом, но без ядра»; «Паганини политики»; «первый из политических шарлатанов и литературных ремесленников»[194] и т. д.; Санд—«эхо, отражающее чужой голос, но не имеющее собственного»; «кабинетная Христина шведская, уверенная, что никогда не узнают правды и фраза в итоге возьмет верх»[195]; Ламеннэ—«судно, захваченное взбунтовавшимися каторжниками и ставшее пиратским»; «злобный ребенок с заряженным ружьем, которое управляет им»[196] и т. д. Вправо его удары реже, мягче, беспредметнее: ему как бы не в кого бить; больших людей он здесь не видит вообще, поскольку Шатобриан—это уже лишь тень, во-первых, и аристократия не у дел, во-вторых; Сент-Бёв удовлетворяется язвительными намеками по адресу Лакордэра, Монталамбера, Казалеса и т. п. величин второго сорта—«учеников от природы»[197]—и общим прогнозом надвигающегося упадка католицизма во Франции; потому-то его раздражает шумная борьба с иезуитами, тем более ненужная, что ее ведет всё та же демократия и ее возглавляют люди типа Кине и Мишле, особенно нестерпимый Мишле—«один из самых зловредных, самых болезнетворных для общественного здравомыслия писателей»; «плоский от природы»; «хам, нарядившийся щеголем»[198],—между тем как всё образовалось бы само собой, в тишине и пристойности, поскольку иезуитизм наносен, ультрамонтанство—секта, а национальная галликанская церковь умирает. Этой-то темой он заполнил свое последнее письмо к Эдлинг,—столько же потому, что считал вопрос близким ей по былым местровским делам в Петербурге и по коллизиям со свечинским кругом в Париже, сколько и потому, что сам только-что писал об этом в «Revue Suisse» и, собственно, лишь перебелил свои заметки для Эдлинг, связав их с извещением, что старый его долг ей, наконец, оплачен и статья о Жозефе де Местре, использовавшая ее архив, напечатана.

Р. С. СТУРДЗА-ЭДЛИНГ В СТАРОСТИ
Литография 1846 г.

(11)

Париж, 8 августа [1843 г.][199]

Сударыня,

Я с большим удовольствием получил ваше письмо, такое любезное и принесшее мне знак памяти от вас и мелодичные, прочувствованные стихи, которые приложены. Не откажите передать автору мои скромные поздравления. Сожалею, что в моем распоряжении нет журнала, дабы тотчас же напечатать прелестное стихотворение о двух Лебедях, Незнакомку.

Постараюсь поместить их в «Revue de Paris», хотя это зависит отнюдь не от меня. Да, сударыня, Париж горит большим и ярким пламенем, спора нет,—но это не столько свет факела, сколько смятение, чад и вихрь пожара или же пламя в камине. По крайней мере, часто это именно так. Все спешат, все толкаются, все душат друг друга. Скромные, непритязательные заслуги легко могут остаться незамеченными; их истинная отчизна—в избранных сердцах, способных оценить их, а такие сердца можно встретить здесь на улицах Севр или св. Доминика, либо же в тех далеких пустынях, которые вы превращаете в благословенные убежища. Право же, страну Анахарсиса вы вновь освещаете тем светом, который был некогда позаимствован в Элладе и который вы возвращаете в еще большей чистоте, после того, как апостол Павел побывал там.

Последнее время я много внимания уделял вам; я, наконец, напечатал так долго откладывавшуюся статью о графе де Местре и пришел, в итоге, к тем же выводам, что и вы. Вы, вероятно, читаете «Revue des Deux Mondes», и мне бы очень хотелось, чтобы эти статьи пришлись вам по вкусу и чтобы вы не сочли, что я плохо использовал тот богатый материал, который вы предоставили в мое распоряжение. Главную свою задачу я видел в том, чтобы читатель, независимо от своих убеждений, получил правильное представление об этом человеке[200]. Религиозное движение за последнее время здесь весьма бурно развивалось, даже

слишком бурно; все хорошее легко портится, как только становится модным. Успехи клерикальной партии, сказавшиеся за последние два года, зародили в ней пыл и отвагу; она почувствовала себя достаточно сильной для дерзаний, — и в итоге возникла досадная полемика. Резкие оскорбления, допущенные некоторыми клерикальными газетами, в частности, «Univers», по отношению к некоторым почтенным писателям, вызвали не менее резкие ответы. Г-да Кине и Мишле в своих лекциях в «Коллеж де Франс» обвинили иезуитов в том, что они стремятся вновь завоевать прежнее положение во Франции. Лекции эти они издали отдельным томом [зачеркнуто: произведением], озаглавленным «Иезуиты», и в течение двух недель книга выдержала четыре издания[201]. Это может дать вам, сударыня, представление о живучести некоторых проблем, которые считались окончательно отмершими. Думаю, что ваш друг, г-жа Свечина, должна сожалеть об этой распре, омрачившей успехи дела, которое до тех пор развивалось действенно и кротко, по путям, указанным христианством. Г-н Лакордэр весьма замешан во всех этих размолвках; при всем таланте он, вообще, недостаточно рассудителен, недостаточно сдержан, а став монахом, он и вовсе сделался орудием в чужих руках[202]. Главное же состоит в том, если подняться над преходящими событиями, что галликанской церкви во Франции больше не существует. Эта древняя национальная [зачеркнуто: французская] церковь, которая была католической, и в то же время не слишком римской, и которая возникла в отдаленнейшей древности, была умерщвлена во время Французской революции; с тех пор она поднялась вновь, на мгновение, лишь в лице отдельных священников и прелатов, из которых ни одного сейчас не осталось в живых. Верующая католическая молодежь, не находя во Франции центра для объединения, очень легко становится разом ультрамонтанской и даже отчасти иезуитской. Было бы весьма удивительно, если бы в стране, подобной нашей, такая доктрина могла вызвать что-либо, кроме временного увлечения и окончательного отпора. Мне кажется, что если так будет продолжаться, то католичество (между нами говоря) выродится скорее в с е к т у, в большую французскую секту, чем станет религией, действительно заслуживающей этого названия. Впрочем, у будущего много возможностей и тайн[203]. Г-н де Казалес еще не вернулся из Рима, где принял священство[204]. Г-н де Монталамбер уже год, как находится на Мадере со своей молодой женой, страдающей чахоткой, и пишет житие св. Бернара. Таким образом, на общественной арене видно мало громких имен этого лагеря. Г-н де Ламеннэ все больше и больше сближается с демократическим движением, сделавшим за последнее время значительные успехи[205]. О г. де Ламартине скажу следующее: досада, денежные затруднения, не способствующие хладнокровию, честолюбие, пробужденное возможностью наступления регентства, наконец, недостаточная гибкость наших правителей,—всё это толкнуло этот благородный ум в ряды людей мало его достойных, и он растрачивает там свой дивный талант, а что еще хуже,—общественное уважение. Он уже никогда не восстановит себя во мнении людей действительно разумных и политичных после необъяснимого volte-face своего последнего отступничества[206]. Г-н де Шатобриан вернулся с Бурбонских вод; я его еще не видел. Он, кажется, собирается в траппистский монастырь, чтобы вдохновиться там и, по возвращении, закончить последние главы жизнеописания аббата де Рансе; начало он уже читал в Abbaye aux Bois[207].

Я исполнил, сударыня, ваши милые поручения, прочтя в свое время в «Аббатстве» ваше письмо, присланное с Босфора.

Примите, сударыня, выражение моей почтительнейшей преданности и благоволите удостоить меня знаком памяти, которые мне так приятно получать.

Сент-Бёв

На местровской теме, на иезуитски-католических делах, переписка с Сент-Бёвом оборвалась—как четверть века назад с автором «Soirées de Saint-Pétersbourg». На сей раз ее оборвала не размолвка, а уход из жизни одного из корреспондентов. В обоих письмах Сент-Бёва упоминается эдлинговское послание с Босфора. Она, в самом деле, почувствовала особую, предсмертную тягу к месту, где родилась. Она совершила путешествие в Константинополь. Это было последнее ее паломничество. В 1844 г., в самом его начале, 16 января, она умерла. Для Сент-Бёва же еще только приближались кануны огромного рабочего двадцатилетия «Causeries du Lundi». О кончине Эдлинг он узнал не скоро; прошел почти год, пока до него добралось это известие. Оно оказалось для него небезразличным. Эдлинг занимала уже какое-то постоянное место в его внимании и связях,—сообщение о ее смерти вызвало его на отклик: в письме к Шарлю Эйнару, посланном 8 августа 1844 г.[208], он просил рассказать ему, как всё это произошло. А спустя полтора десятилетия, в 1861 г., когда публикации писем и бумаг Свечиной возбудили в нем желание дать отпор ее канонизаторам, он вызвал свидетельницей себе в помощь тень той, чьим другом отрекомендовался читателям и кого назвал ласковым именем: «charmante Roxandre»—«очаровательная Роксандра».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Они были изданы под заглавием: «Mémoires de la comtesse Edling (née Stourdza), demoiselle d'honneur de sa majesté l'impératrice Elisabeth Alexéevna», Moscou, 1888.

[2] Архив Р. С. Стурдзы-Эдлинг хранится в Пушкинском доме Академии наук СССР, в Ленинграде. Научная разработка архива была начата Г. А. Гуковским, указавшим редакции «Литературного Наследства» на французские литературные материалы, в нем хранящиеся, и уступившим возможность их публикации в настоящем издании.

[3] Edling, Mémoires, 3—5.

[4] Ibid., 18, 106.

[5] Edling, op. cit., 47—48. О В. Н. Головиной—см. М. Степанов, Жозеф де Местр в России.—№ 29—30 «Литературного Наследства»—«Русская культура и Франция», I, 606—608.

[6] Ростопчин писал С. Р. Воронцову: «Два человека, которым больше всего удалось испортить первоначальный характер императора,—это Ла-Гарп и фрейлина Стурдза, один—своими революционными принципами, ведущими народы к несчастию, а государей к эшафоту, другая — своей корреспонденцией 1814 г. Получив задание шпионить («chargée d'espionner») за императрицей Елизаветой и не зная, о чем писать, она вступила в немецкое мистическое общество, и именно она возбудила вкус к г-же Крюденер и пристроила в России Штиллинга, сына пресловутого и знаменитого мистика, апостола мартинистов».—Архив кн. Воронцова, 1876, кн. VIII, ч. I, 409—410.

[7] Edling, op. cit., 22; см. также М. Степанов, op. cit., 590—591.

[8] «Записки адмирала Чичагова, заключающие то, что он видел и что, по его мнению, знал».—«Русский Архив», 1886—1888.

[9] Ср. «Записки, мнения и переписка адмирала Р. С. Шишкова», Берлин, 1870, I, 84.

[10] Sainte-Beuve, Joseph de Maistre.—«Portraits littéraires», II, 425: «При жизни он не создал школы; он оказывал лишь отдельные редкие влияния».

[11] Edling, op. cit., 23—24.

[12] Ф. Вигель, Записки, ч. VI (цит. по изд. 1928 г., II, 224—225). Ср. В. Надлер, Имп. Александр I и идея Священного союза, 1892, V, 330: «Предпочтение, которое отдавал император девице Стурдзе, основывалось не на каких-либо ее внешних преимуществах, так как Стурдза была некрасива собой... а единственно на ее редких душевных качествах». Ср. также отзыв о Р. С. Стурдзе по воспоминаниям Каролины Фрейштат—В. кн. Николай Михайлович, Имп. Елисавета Алексеевна, супруга имп. Александра I, 1909, III, 410.

[13] Sainte-Beuve, op. cit., 424.

[14] Цит. по первому изданию: «Les Soirées de Saint-Pétersbourg, ou Entretiens sur le Gouvernement Temporel de la Providence, suivis d'un Traité sur les Sacrifices, par M. le comte Joseph de Maistre. Paris, MDCCCXXI», I, 186.

[15] Edling, op. cit., 37.

[16] Запись в дневнике Местра под 30 апреля 1796 г.—«Les carnets du comte Joseph de Maistre—livre-journal 1797—1817», 1923, 113.

[17] Sainte-Beuve, Causeries du Lundi, IV, 169.

[18] J. de Maistre, Lettres et opuscules inédits, 1851, I, 256.

[19] F. Vermale, Joseph de Maistre émigré, 1927, 13—17, 29—30.

[20] Edling, op. cit., 4.

[21] «История, или, что то же, экспериментальная политика»,—говорит Местр во введении к «Essai sur le principe générateur des constitutions politiques» («Œuvres complètes de J. de Maistre», 1924, éd. Vitte, I, 286). В июле 1807 г. он пишет графу д'Аваре, доверенному лицу Людовика XVIII: «Бонапарт заявляет в своих бумагах, что он посланник божий. Нет ничего более верного: Бонапарт нисходит прямо с неба... как молния» (цит. по Sainte-Beuve, Causeries du Lundi, IV, 159). В своем дневнике 1807 г. Местр записывает: «Сент. 8/20—аудиенция у гр. Румянцева. Я открываю ему свой проект отправиться на собственный риск поговорить с Бонапартом в пользу короля Сардинии»; «Окт. 1/13—достопримечательная беседа с генералом Савари. Она длилась с 7 вечера до часа ночи. Он кончил тем, что вызвался переслать в Париж меморандум, в котором я прошу свидания у императора Наполеона».—«Carnets», 183; см. также 185.

[22] См. меморандум об Италии, австрийских Габсбургах, сардинских Бурбонах и т. д.—«Œuvres complètes de J. de Maistre», 1924, éd. Vitte, IX, 48 сл.; см. также «Carnets», 166—167.

[23] Накануне Аустерлица Местр писал: «Доблестный Александр двинул в поход 200 000 человек и самолично отправился с ними. Его морские силы поддерживают наземные операции, он объединяет всю разнородность воль, он—Готфрид этого нового крестового похода. Каждое европейское сердце обязано выражением восхищения, нежности и признательности этому юному монарху—образцу и заступнику всех остальных» («Œuvres complètes», IX, 464). Любопытно, что местровская апология так привилась, что перешла в традицию, и еще молодой Белинский в знаменитой статье, посвященной «Очеркам Бородинского сражения» Ф. Глинки, в 1839 г. писал об Александре I: «Царь русский является посредником между царями и народами, Готфредом Крестового похода новых веков». Оправдание аустерлицкому поведению Александра—см. в письме Местра к сардинскому королю, как обычно, предназначенном для русской перлюстрации.—«Œuvres complètes», IX, 28—29.

[24] Edling, op. cit., 60.

[25] Ibid., 39—42.

[26] Ibid., 5.

[27] Эмиль Фаге хорошо подметил и подчеркнул это в отношении Местра: «Христианизм Ж. де Местра является как бы лишь объяснением его политики и оправданием его философии, представляющей собою, в свою очередь, только большую обходную дорогу, по которой политический теоретик возвращается к своему исходному положению».—Emile Faguet, Politiques et moralistes du dix-neuvième siècle, I, 42—43, 53.

[28] Sainte-Beuve, Portraits littéraires, II, op. cit., 420.

[29] «Les Soirées de Saint-Pétersbourg», II, 142; F. Vermal, op. cit., 102.

[30] Изгнанный из своих владений сардинский король Виктор-Эммануил I не принял предосторожности оформить савойца Ж. де Местра в качестве сардинского подданного. Местр остался «аллоброгом», т. е. французом, поскольку Савойя отошла к Франции. После Эрфуртского договора о франко-русском союзе положение Местра при русском дворе стало двусмысленным и даже, с точки зрения Местра, опасным; поэтому он негласно принял русское подданство, чтобы иметь формальную защиту в случае французских посягательств. Ср. F. Vermale, op. cit., 105—106.

[31] Edling, op. cit., 44, 46, 48.

[32] «Les Soirées de Saint-Pétersbourg», II, 74—75.

Paris 18 Janvier
1841

Madame,

Ste Beuve

АВТОГРАФ ПИСЬМА СЕНТ-БЁВА К Р. С. СТУРДЗЕ-ЭДЛИНГ ОТ 18 ЯНВАРЯ 1841 г.

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

[33] Ibid., I, 10, 12; II, 167.

[34] «Lettres et opuscules», I, 43—письмо от 2/14 мая 1805 г.

[35] Sainte-Beuve, Portraits littéraires, II, 424; IV, 150—151. Ср. E. Faguet, op. cit., I, 1, и A. Thibaudet, Histoire de la littérature française, 1936, 81.

[36] Sainte-Beuve, Portraits littéraires, II, op. cit., 423.

[37] Они напечатаны без даты и с изменением обращения «Mademoiselle» на «Madame» в «Lettres et opuscules», II, 570—573, 573—576, 576—578, 578—580, 580—583, 585—590.

[38] Sainte-Beuve, Portraits contemporains, II, 126. Portraits littéraires, II, 449—453.

[39] «Мне досадно, что рядом со мной нет предостерегателя, ибо я крайне уступчив в отношении исправлений» (цит. по Sainte-Beuve, Causeries du Lundi, V, op. cit., 166).

[40] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые. Упоминания: «Вы уже вся в беготне» («déjà en plein exercice») и «чрезмерные труды... для двух ног», дают основание предположить, что речь идет о начале выполнения Роксандрой фрейлинских обязанностей, связанных с утомительной беготней по дворцовым лестницам для выполнения поручений; об этом ср. постоянные жалобы другой фрейлины той эпохи, княжны Туркестановой, в переписке с Ферд. Кристином: «Невыносимо лазать по этим ужасным лестницам по нескольку раз» (6 октября 1813 г.); «не могу выразить, как ужасны эти 113 ступеней... можно с ума сойти, когда приходится бегать по ним вверх и вниз дважды, трижды в день: хочется плакать» (22 декабря 1813 г.) и т. д. («Ferdinand Christin et la Princesse Tourkestanow», 1882, I, 46, 74, 77, 141). Датировка записки Местра 1805 г., когда Стурдза стала фрейлиной, условна и связана с таким толкованием текста записки.

[41] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые. Датировка предположительна, по титулованию Стурдзы фрейлиной обеих императриц.

[42] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые. Датировка предположительна, по титулованию Стурдзы фрейлиной обеих императриц. Речь, видимо, идет о возвращении Стурдзы в Петербург вместе со двором—вероятно, из Царского села.

[43] «Герцог»—неаполитанский посланник Серра-Каприола, друг Местра, его единомышленник и соратник по политике при русском дворе; см. М. Степанов, op. cit., 554, 588, 589, 604. «Греция»—условно-шутливое обозначение дома Стурдза, как и «Яссы» в следующей записке.

[44] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые. Датировка предположительна и связана с тем, что речь в записке идет, повидимому, об издании «Œuvres posthumes de Saint-Martin», которое стало выходить в 1807 г. L.-C. de Saint-Martin (1743—1803), писавший под псевдонимом «Philosophe Inconnu»—«Неведомый философ»,—французский мистик, глава иллюминатов.

[45] Одна из сказок, входящая в знаменитый сборник Шарля Перро (1628—1703) и повествующая о бедняке-дровосеке, не сумевшем придумать, как лучше применить исполнение трех желаний, обещанное ему свыше.

[46] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые. Датировка предположительна, по связи со следующей запиской.

[47] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые. Датировка связана с упоминанием в записке о двух томах проповедей Массильона, начатых переизданием в 1810 г. J.-B. Massillon (1663—1742)—знаменитый французский проповедник.

[48] Местр отмечает в дневнике под 16 апреля 1797 г.: «... получил „Размышления о Франции“» («Carnets», 122). В «Les Soirées de Saint-Pétersbourg» упоминается, что книга вышла в 1797 г., якобы, в Лондоне,—это было нарочито неверным указанием места издания; действительное—Базель.

[49] «Les Soirées de Saint-Pétersbourg», I, 112, 116—118.

[50] «Lettres et opuscules», I, 237.

[51] Sainte-Beuve, Massillon.—«Causeries du Lundi», IX, 5, 12, 24.

[52] См. введение П. де Сен-Виктора, стр. XX.—«Œuvres complètes de J. de Maistre», IV.

[53] Sainte-Beuve, Saint-Martin.—«Causeries du Lundi», X, 235, 256, 265, 270; ср. также Sainte-Beuve, J. de Maistre.—«Portraits littéraires», II, 414—416.

[54] «Les Soirées de St.-Pétersbourg», II, 218, 239.

[55] Ibid., II, 241.

[56] Ibid., II, 112.

[57] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые.

[58] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые.

[59] Толстой Николай Александрович, граф—обер-гофмаршал Александра I, один из наиболее влиятельных вельмож двора и главарей «старой партии», с которым Местр был особенно тесно связан; см. М. Степанов, op. cit., 590.

[60] Дневники Местра несколько раз отмечают «soupé à l'hermitage»—«ужин в Эрмитаже», где присутствует Александр I и куда приглашаются нужные царю лица; см. «Carnets», 1807, 1808, 1810, 174, 186, 187, 191.

[61] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые.

[62] Толстая Анна Ивановна, графиня, жена обер-гофмаршала, наряду с В. Н. Головиной «совращенная» в католичество иезуитами и Местром,—одна из основных фигур русско-католического высшего дворянства 1810-х годов; см. М. Степанов, op. cit., 590, 606.

[63] «Софи»—Софья Ивановна Загряжская, вышедшая 19 января 1813 г. замуж за Ксавье де Местра. «Брат мой»—Ксавье де Местр, младший брат Жозефа, рисовальщик и писатель, автор «Путешествия вокруг моей комнаты», 1795, эмигрировавший в Россию за три года до прибытия Жозефа, с 1800 г.—на русской военной службе, с 1802 г.—в отставке, с 1805 г., по хлопотам Жозефа через адм. Чичагова,—«директор всех научных учреждений реорганизованного Адмиралтейства», как помечено в «Carnets» Ж. де Местра под 10 января 1805 г. Там же под 19 января 1813 г. отмечается свадьба Ксавье с Загряжской, а под 11 февраля—отъезд Ксавье в армию (op. cit., 197). Тем самым, поскольку все три записки Местра (№№ 1, 2, 3) следуют одна за другой, и, видимо, без значительного перерыва, их можно датировать январем-февралем 1813 г.

[64] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые. Вилье Я. В. (1765—1854)—лейб-медик.

[65] Софи—здесь, видимо, С. П. Свечина.

[66] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые.

[67] У Местра стоит слово «aspasismes»—видимо, слово, заимствованное из новогреческого языка и означающее приветствие, ласку; ср. в древнегреческом глагол ἀσπάζομαι—приветствовать, любить, ласкать, целовать.

[68] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые. Для датировки—см. в тексте письма упоминание о том, что сообщение Ксавье, уехавшего в армию в Грузию 10/20 июля 1810 г. («Carnets», 192), отправлено с Кавказа 19 декабря 1810 г., через 32 дня после ранения, т. е. ранение было около 17 ноября 1810 г.; письмо Ксавье дошло в Петербург не раньше начала января 1811 г., и тогда же Местр написал Стурдзе.

[69] Намек на известную книжку Кс. де Местра: «Voyage autour de ma chambre», вышедшую в свет в 1795 г. (см. «Carnets», 83, 93, 97) и переизданную в Петербурге в 1812 г. с предисловием Жозефа де Местра.

[70] «Lettres et opuscules», I, 287—289.

[71] Falloux comte de, M-me Swetchine, sa vie et ses œuvres, 2 vols., 1854; «Lettres de M-me de Swetchine», 2 vols., 1862; «Correspondance du R. P. Lacordaire et de M-me Swetchine», 1864.

[72] См. у М. Степанова, op. cit., 611, о копии местровской рукописи «Пять писем о воспитании в России», оказавшейся у А. И. Тургенева, подготовлявшего проведение указа об изгнании иезуитов.

[73] Первое из этих «Пяти писем о публичном воспитании в России» помечено «июнь 1810»; последнее, пятое письмо—«30 июля (18 авг.) 1810».

[74] F. Vermale, op. cit., 605, 115—116; ср. М. Степанов, op. cit., 605.

[75] Edling (op. cit., 75) вспоминает, в связи с ходом кампании 1812 г.: «В столице стоял сильный ропот. Раздраженный и беспокойный народ мог с минуты на минуту восстать. Знать вслух обвиняла императора в несчастиях, постигших государство, и почти нельзя было защищать его публично. Императрица, зная, что происходит, предложила мне бывать в свете, дабы опровергать нелепые и клеветнические слухи, распространяемые насчет двора».

[76] Ibid., 128.

[77] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые.

[78] Так, видимо, характеризовала Стурдза тех из съехавшихся в Вену представителей европейского высшего света, которые во время Венского конгресса не выказывали интереса ни к непрерывным балам и празднествам, прикрывавшим медлительность и случайность переговоров, ни к политическим страстям вокруг торгов и интриг держав на конгрессе.

[79] Смысл этой фразы состоит в том, что до Местра дошли слухи о сватовстве Каподистрии к Стурдзе при посредничестве Александра I. Это подтверждается следующими словами в письме Свечиной к Стурдзе от 16 февраля 1815 г. из Петербурга: «Меня не перестают спрашивать всевозможные любопытствующие или нескромные люди, а равно и те, кто в самом деле живо интересуются вами, относительно вашего предполагаемого замужества с графом Каподистрией. Я отвечаю, что ничего не ведаю и что этого неведения достаточно не только для того, чтобы усомниться в истине новости, так широко распространившейся, но и для того, чтобы удостовериться в обратном».—«Lettres de M-me Swetchine», I, 138—139.

[80] В «Essai sur le principe générateur des constitutions politiques», в параграфе XIX, читаем: «Эти идеи не чужды (в общем своем виде) философам античности; они хорошо чувствовали слабость, скажу—ничтожество, письменного закрепления больших установлений; но ни один не был проницательнее и не изобразил этого лучше, чем Платон, которого мы встречаем всегда первым на дороге всех великих истин» и т. д.—«Œuvres complètes», I, 254.

[81] Повидимому, граф Ла Сансе—французский эмигрант, оставшийся в России, позднее редактор выходившего в Петербурге на французском языке «Journal de Saint-Pétersbourg», официоза русского министерства иностранных дел.

[82] С. Д. Стурдзу, отца Роксандры, разбил паралич: «Он в плачевном состоянии, без движения, и так одряхлел, что от него осталась только тень...»; «... я встретила в Вене свою семью... Отец, попрежнему сильно хворавший, показался мне не таким угнетенным» (Edling, op. cit., 105 сл.). С. Д. Стурдза умер в 1816 г.

[83] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Напечатан без даты в «Lettres et opuscules», II, 583—585.

[84] Письмо к Крюденер от 27/X 1815 г.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер.

[85] Edling, op. cit., 177: «Как-то раз император сказал мне о своем убеждении, что я кончу тем, что выйду замуж вне России. „Эта мысль меня заботит,—прибавил он,—мне хотелось бы видеть вас устроенной возле нас... среди тех, которые меня окружают, я считаю, что только один Каподистрия достоин вас“».

[86] Ibid., 250.

[87] Елизавета Алексеевна незадолго до смерти Александра I писала матери: «Я думаю, что другая из моих фрейлин могла бы, конечно, приехать повидать меня из Одессы, куда она, вероятно, уже вернулась,—графиня Эдлинг. Но даже пожелай она этого, все же возникли бы соображения, которые должны были бы помешать этому,—у императора уже нет к ней того чрезмерного благоволения, которым она злоупотребляла когда-то. Так все меняется на свете, и, принимая во внимание все «если» и «но», я думаю, что кончу тем, что откажусь от свидания с гр. Эдлинг» (письмо от 12 октября 1825 г. из Таганрога, цит. по «Имп. Елисавета Алексеевна, супруга имп. Александра I», III, 460).

[88] Ксавье де Местр писал о настроениях брата перед отъездом: «Печаль, из-за необходимости покинуть страну, где с ним обходились так хорошо... до такой степени угнетает его, что он постарел за последний месяц лет на десять... Спускаясь по реке, он сказал: «Итак, прощай, прекрасный Петербург!». Мы почти не обменялись ни словом за время переезда».—F. Vermale, op. cit., 136.

[89] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые. В дневнике Местра 1817 г. это письмо специально отмечено: «май...12. 24. Графине Эдлинг, урожденной Стурдза, в Веймар».—«Carnets», 201.

[90] Речь идет о смерти молодой жены Александра Скарлатовича Стурдзы, в девичестве Чичериной, умершей в начале 1817 г.

[91] В дневнике 1817 г. Местр отмечает: «в воскресенье, 13 июня, прощальная аудиенция у е. в. императора в 10 часов и у обеих императриц—в 1 час», а под 15/27: «отъезд из С.-Петербурга в 11 ч. утра... в императорском катере с братом [Ксавье], дочерьми Аделью и Констанцией, женой, графиней Разумовской и лакеем моим Жозефом-Амбруазом».—«Carnets», 201. В письме к гр. Блакасу от 27 апреля/8 мая 1817 г. Местр пишет: «...могущественный повелитель [русского флота] соблаговолил разрешить мне отправиться на одном из 74 пушечных кораблей со всем моим семейством».—«Lettres et opuscules», I, 420.

[92] Ср. F. Vermale, op. cit., 136, 168.

[93] А. С. Стурдза, по поручению двора, вел в это время кампанию против католичества, иезуитов и лично против Местра, опубликовав памфлет: «Размышление о вере и духе православной церкви» (F. Vermale, op. cit., 135). Во французских исследованиях высказывались предположения, что Местр написал свой знаменитый трактат «О папе» по прямому поручению Ватикана. Сам Местр писал 28 сентября 1818 г. де Пласу: «Эта IV книга [«О папе»] направлена против книги г. Стурдзы, вызвавшей большой шум в России... Рим очень заинтересован в опровержении его сочинения». Иезуит ван-Акен, в предисловии к «Папе», говоря о выступлениях Стурдзы и Местра, прямо пишет, что, так как «Рим выразил желание, чтобы русскому камергеру была дана отповедь, то граф поторопился кончить свой трактат «О папе», который давно задумал».—F. Brunetière, Etudes critiques sur l'histoire de la Littérature française, VIII серия, 1910, статья «Ж. де Местр и его книга о папе», 264—265.

[94] В мемуарах Эдлинг описание знакомства с Местром соединено с резкой характеристикой иезуитов в России и роли Местра (Edling, op. cit., 23—26). Местр не остался в долгу: в одном из поздних писем он говорит: «... Иллюминаты, как мне известно, бесчисленно кишат и в Петербурге, и в Москве... Я в совершенстве знаю махинации, которые были пущены в ход этими людьми, чтобы приблизиться к высочайшему создателю Священного союза и овладеть его умом. Женщины проникли сюда, как они проникают всюду»,—несомненный и прямой намек на Крюденер и Р. Стурдзу, как отмечает F. Vermale, op. cit., 132.

[95] Р. С. Эдлинг не была обойдена высочайшим вниманием в 1824 г. при распределении пустопорожних земель в Бессарабии и получила 10 000 десятин, на которых успешно поставила хлебопашество, скотоводство и винокурение, и занялась экспортом хлеба на заграничный рынок.

[96] «La doctrine Saint-Simonienne»—книга, содержащая лекции учеников Сен-Симона (Анфантена и др.), читанные адептам сен-симонизма в Париже зимой 1828—1829 г. (см. русский перевод: «Изложение учения Сен-Симона (1828—1829)», 1-я ч., 1923, перевод М. Ландау, с предисловием В. Волгина). В письме к поэту В. Г. Теплякову, от 27 апреля 1835 г., Эдлинг пишет: «Я достала себе второй том «Doctrine»; он вовсе не так замечателен, как первый»—см. письма Эдлинг к Теплякову.—«Русская Старина», август 1896, 410.

[97] Дневник 1832—1835 гг.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград.

[98] «Сцены Таганрога», т. е. описание болезни и смерти Александра I (см. «Annexe» к ее «Мемуарам», 268 сл.), были сделаны Эдлинг с чужих слов, так как в живых царя она сама уже не застала; несмотря на ее ходатайства, ей было отказано в разрешении приехать (см. прим. 87-е). Эдлинг получила доступ в Таганрог, когда Александр был уже на смертном одре; она сумела повести себя так, что угодила вдове: «Я виделась на-днях с графиней Эдлинг,—пишет Елизавета Алексеевна матери,—я думала, что она стеснит меня, однако, это не так: она умеет подойти к душе так хорошо и так верно, что ни шокировала меня, ни была мне в тягость» —см. Вел. кн. Николай Михайлович, Имп. Елисавета Алексеевна, супруга имп. Александра I, 1909, III, 353.

[99] Черновик письма—архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград.

[100] См. две статьи Сент-Бёва в связи с выходом свечинских публикаций, предпринятых гр. де Фаллу; статьи перепечатаны в «Nouveaux Lundis», I, 208—233 (25 ноября 1861 г.) и 234—254 (2 декабря 1861 г.).

[101] См. корреспонденцию А. И. Тургенева в «Современнике» 1836 г.: «Париж (хроника русского)», I, 258—295. А. И. Тургенев, встретивший Эдлинг в Веймаре, на ее обратном пути, в августе 1840 г., отзывался о ее рассказах так: «Графиня Эдлинг узнала Париж, как немногие и долго там живущие знают его. Она описывает его беспристрастно; в рассказах ее много нового и для меня».—«Современник», 1841, XXI, ст. «Хроника русского в Германии», 35.

[102] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград.

[103] Письмо к мужу от 12 декабря 1839 г.—там же.

[104] Письмо к мужу от 24 декабря 1839 г.—там же.

[105] 26 марта 1840 г. министерству Тьера (так называемому «министерству 1 марта»), опиравшемуся, в основном, на левый центр Палаты, был дан бой объединившейся на сей случай правой и левой оппозицией по вопросу о «секретных фондах»—одного миллиона, которого Тьер требовал на секретные расходы, ставя вопрос о доверии и заявляя с привычной демагогией левому большинству Палаты: «Я—сын революции, я родился в ее недрах, в этом заключается моя сила,—я черпаю силу, прикасаясь к революции, как Антей к земле». Для пигмейского роста Тьера это сравнение

было смешно. С крайней правой от легитимистов выступил Беррье. Слева Ламартин обвинял Тьера в страсти «управлять—управлять неограниченно, управлять всегда, управлять с большинством, управлять с меньшинством, как сейчас, управлять со всеми против всех». Одилон Барро, от имени поддерживавшего Тьера центра, отвечал Ламартину: «Тьер вышел из оппозиции, но не отказывается от своего происхождения; его министерство осуществляет вполне искренно и правдиво парламентское правительство...». Тьеру удалось собрать большинство и удержаться (см. Л. Грегуар, История Франции XIX в., русск. перев., 1894, II, 139—191). В письме Сент-Бёва к Эдлинг встретится, далее, в противоположность «1-му марта», упоминание о «положении 15 апреля»; это намек на относительное спокойствие, господствовавшее при графе Моле, возглавившем правительство, образованное 1 апреля 1837 г.

[106] См. переписку Свечиной с виконтом Арманом де Мелёном (de Melun) в «Lettres de Madame Swetchine», 1862, II, 157—227.

[107] Письмо к брату от 3 апреля 1840 г.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград.

[108] Сообщение Свечиной об ожидаемом приезде Эдлинг—см. «Lettres de M-me Swetchine», I, 203, 350; II, 134. О неудаче попытки привлечь Эдлинг к католичеству см. письмо Свечиной к иезуиту Гагарину.—Ibid., II, 315—316. Зовя Эдлинг в Париж, Свечина писала ей еще в 1837 г. о своей уверенности, что они поймут друг друга в вопросах о «путях провидения» и что занятия овцеводством и винокурением не могут удовлетворить запросов души.—Ibid., I, 188 сл., 205 сл.

[109] Письмо к брату от 13 ноября 1839 г.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград.

[110] «Lettres de M-me Swetchine», I, 225; последнее письмо Свечиной к Эдлинг помечено 25 августа 1838 г. В «Жизнеописании г-жи Свечиной» гр. Фаллу сообщает: «Писем M-lle Стурдзы к г-же Свечиной больше не существует; письма же Свечиной были заботливо сохранены»—op. cit., I, 75.

[111] Письмо к мужу от 8 декабря 1839 г.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград.

[112] Письмо к брату от 23 декабря 1839 г.—там же.

[113] В том же письме к брату.

[114] Письмо к мужу от 1 января 1840 г.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград.

[115] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые. Рукописи брата, А. С. Стурдзы, были у Эдлинг с собой; она подарила на обратном пути одну из них А. И. Тургеневу в Веймаре, о чем сообщала в письме к брату от 11 августа 1840 г.

[116] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые.

[117] E. Herriot, Madame Récamier et ses amis, 1934, 506. Русские источники позволяют исправить одну деталь в этом месте книги Эррио: он сообщает, что больная Рекамье почему-то должна была на воды поехать одна; А. И. Тургенев, со слов Эдлинг, говорит, что ее доставил в Эмс Ж.-Ж. Ампер, в тот же день выехавший обратно.—«Современник», 1841, op. cit., I, 35.

[118] Письмо к мужу от 8 декабря 1839 г.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград.

[119] Sainte-Beuve, Correspondance Générale, publiée par J. Bonnerot, II, 380—письмо от 8 июля 1838 г. к супругам Оливье.

[120] Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe sous l'Empire, I, 17—18.

[121] Sainte-Beuve, Correspondance Générale, II, 432—письмо от 25 августа 1838 г. к супругам Оливье.

[122] Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, I, 224: «„Когда человек написал «volupté»,—сказала она мне в первый же раз, как я увидел ее,—за это надо нести ответственность“. Я молча поклонился». Развязка романа была ему подсказана аббатом Лакордэром—см. G. Michaut, Sainte-Beuve avant les Lundis, 1903, 294. О Лакордэре—см. прим. 202. О светском увлечении состязаниями католических проповедников—см. у А. И. Тургенева, в парижской хронике 1836 г.: «В воскресение в Notre-Dame начнет свои поучения Лакордер, экс-сотрудник Ламеннэ. Надобно заранее запастись местом, иначе не услышишь его. Постараюсь не пропустить ни одной проповеди. Есть и другие духовные ораторы, но менее блистательные»; «...любители духовного ораторства делятся здесь на Лакордеристов, Равиньянистов, Кёристов и пр. У первого больше молодежи и публика несравненно многочисленнее».—«Современник», 1836, op. cit., 274—275, 289, ср. также 285.

[123] См. афоризм Сент-Бёва, цитируемый Свечиной в письме к тому же А. де Мелёну.— «Lettres de M-me Swetchine», II, 193.

[124] Sainte-Beuve, Correspondance Générale, II, 110—письмо конца октября 1836 г. к У. Гуттингеру.

[125] Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, I, 225, а также 216, 217, 222.

[126] Ibid., I, 224.

[127] Pons, Sainte-Beuve et ses inconnues, 1879, 221—224; J. Troubat, Souvenirs du dernier secrétaire de Sainte-Beuve, 1890, 274—278. A. Bellesort, Sainte-Beuve et le XIX s., 1927, 324.

[128] Sainte-Beuve, Mes poisons, 13.

[129] Barbey d'Aurevilly, Les critiques, 77.

[130] Téophile Gautier, Portraits contemporains, 208; статья написана через два года после смерти Сент-Бёва, в 1871 г.

[131] «Les Romantiques à l'Académie», préface par P. Souday, 1928, 184—185.

[132] G. Michaut, Sainte-Beuve avant les «Lundis», 1903, введение, VII.

[133] V. Giraud, La vie secrète de Sainte-Beuve, 1935, 70.

[134] G. Michaut, op. cit., 10.

[135] H. Taine, Derniers essais de critique et d'histoire, 1894, VIII, 58—59.

[136] V. Giraud, op. cit., 116.

[137] Об эволюции Сент-Бёва в эпоху Июльской монархии—см. G. Michaut, op. cit., 21, XIII, и новейшее резюме—V. Giraud, op. cit., 112—132.

[138] «В смысле биографическом эта простая пастель, в которой выразительности черт уделено больше старания, чем фактам, конечно, оставляет желать лучшего» («Portraits de femmes», 382); еще раз, позднее, он записал в интимных тетрадях: «Г-жа Крюденер. Шарль Эйнар дунул на мою пастель,—я ему дал сдачи, хлопнув по его святой» («Mes poisons», 72)—в данном случае, речь идет о втором сент-эвремонском этюде.

[139] См. в письме Сент-Бёва к Эдлинг от 16 июня 1841 г. упоминания о беседах с Эйнаром, а также его письмо к Эйнару от 15 декабря 1840 г. («Correspondance Générale», III, 401); см. также L. Séché, op. cit., II, 109, 112.

[140] В письмах Сент-Бёва к Оливье читаем: «Публикация, задуманная г. Эйнаром, могла бы представить интерес», или: «... Шарль Эйнар, чей обширный биографический труд я хотел бы видеть...».—«Correspondance Générale», III, 58, 166; см. также op. cit., 183.

[141] Письмо Шарля Эйнара к Эдлинг от 7 декабря 1839 г. из Женевы.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. В номере «Revue des Deux Mondes» от 1 ноября 1839 г. Сент-Бёв, в самом деле, поместил следующую заметку: «... Ш. Эйнар, племянник фило-эллина, только-что опубликовал обширную и очень интересную биографию знаменитого врача Тиссо. Он готовит другое, не менее полное, жизнеописание г-жи Крюденер, для которого располагает рядом ее писем. Нам известно, что он помышляет также о Бонштеттене, и мы хотели бы еще настойчивее рекомендовать ему это».—«Correspondance Générale», III, 168, прим. 5-е.

[142] Sainte-Beuve, Correspondance Générale, III, 182, прим. 2-е.

[143] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые; одновременно напечатано во французском издании всей переписки Сент-Бёва (под редакцией Jean Bonnerot), по фотоснимку с подлинника, предоставленному редакцией «Литературного Наследства»—см. «Correspondance Générale», III, 181—182.

[144] Письмо к мужу от 8 декабря 1839 г.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград.

[145] Письмо к брату от 9 декабря 1839 г.—там же.

[146] Sainte-Beuve, Correspondance Générale, III, 193, прим. 2-е.

[147] Sainte-Beuve, Mes poisons, 4, 5, 6.

[148] Письмо к брату от 23 декабря 1839 г.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград.

[149] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые; одновременно напечатано во французском издании всей переписки Сент-Бёва по фотоснимку с оригинала, предоставленному редакцией «Литературного Наследства». Датировку письма Ж. Боннеро относит к январю—марту 1840 г. (см. «Correspondance Générale», III, 240), указывая, однако, что какихлибо данных для определения нет.

[150] Sainte-Beuve, Correspondance Générale, III, 240, прим. 1-е—письмо Эдлинг к Ш. Эйнару от 29 января 1840 г.

[151] См. «Notes et pensées» в приложении к «Portraits littéraires», III, 563.

[152] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые; одновременно напечатано во французском изда-

нии всей переписки Сент-Бёва по фотоснимку с подлинника, предоставленному редакцией «Литературного Наследства»—см. «Correspondance Générale», III, 205—206.

[153] J. Bonnerot, в своем примечании к этому письму (op. cit., III, 206, прим. 2-е) приводит сохранившиеся два сообщения г-жи де Жюссье к Сент-Бёву о помощи Канторам, из которых первое датировано 1833 г.

[154] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые; одновременно напечатано во французском издании всей переписки Сент-Бёва по фотоснимку с подлинника, предоставленному редакцией «Литературного Наследства» (см. «Correspondance Générale», III, 193). Датировка письма приурочена редактором французского издания, Ж. Боннеро, к 7 декабря 1839 г. и связана с чтением Сент-Бёвом «Пор-Роаяля»; однако, ни то, ни другое не может быть принято по следующим соображениям: Сент-Бёв говорит об ожидающем его и Эдлинг «наслаждении» от предстоящего чтения, что было бы, по меньшей мере, нескромностью, если бы дело шло о его собственном выступлении; далее, днем чтения указано «воскресенье», а по воскресеньям у г-жи Рекамье обычно происходили чтения шатобриановских «Замогильных записок»,—это известно и по другим источникам и явствует также из писем Сент-Бёва; наконец, это же говорит и сам Ж. Боннеро (см. op. cit., III, 169, прим. 1-е). По письмам Сент-Бёва можно также установить, что для чтений «Пор-Роаяля» ему были отведены субботы (ibid., III, 166, 170, 193,—в последнем случае неверно указана дата: 15 января 1840 г., вместо 15 февраля, приходящегося на субботу). В отношении же даты чтения дело обстоит так: из письма Эдлинг домой от 16 января 1840 г. явствует, что она услышала у г-жи Рекамье отрывки «Port-Royal» лишь в январе 1840 г. (повидимому, в субботу, 11-го), и уже после того, как побывала на чтении «Mémoires d'Outre-Tombe»; вместе с тем, 1 января 1840 г. она сообщает, что еще ждет приглашения на «Замогильные записки»,—следовательно, ее присутствие на чтении шатобриановских мемуаров должно приходиться на одно из воскресений между 1 и 11 января,—таким может быть лишь воскресенье, 5 января; записка Сент-Бёва, тем самым, датируется субботой, 4 января 1840 г.

[155] Письмо к мужу от 16 января 1840 г.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград; мы переводим «avant-hier» словом «намедни», а не буквально «позавчера», так как этот вполне возможный оттенок точнее соответствует календарному расчету: суббота, когда Сент-Бёв читал «Port-Royal», ближайшая к 16 января, приходится на 11-е число.

[156] Sainte-Beuve, Correspondance Générale, III, 220, прим. 3-е—письмо Эдлинг к Ш. Эйнару от 29 января 1840 г.

[157] Ibid., III, 240, прим. 1-е. В архиве Стурдзы-Эдлинг сохранился ответ Шарля Эйнара от 11 марта 1840 г.

[158] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые; одновременно напечатано во французском издании всей переписки Сент-Бёва по фотоснимку с подлинника, предоставленному редакцией «Литературного Наследства» («Correspondance Générale», III, 230). Дата определяется сопоставлением дня премьеры «Клеветы» Скриба—1 марта—с пометкой Сент-Бёва, что он пишет эту записку в пятницу, 14-го; календарно это приходится на 14 февраля 1840 г.

[159] Статья помечена 15 февраля 1840 г. и вошла в состав «Portraits contemporains», II.

[160] Статья появилась в мартовском же номере «Revue des Deux Mondes»; см. «Portraits contemporains», II, appendice, 103.

[161] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые; одновременно напечатано во французском издании всей переписки Сент-Бёва по фотоснимку с подлинника, предоставленному редакцией «Литературного Наследства»—см. «Correspondance Générale», III, 250.

[162] О письмах Санд к Мюссе, находившихся в это время уже на хранении у Сент-Бёва,—см. J. Bonnerot, Correspondance Générale, III, 251, прим. 1-е. Боннеро предполагает, что именно письма к Мюссе были пущены Сент-Бёвом по рукам.

[163] G. Sand, Lettres à Sainte-Beuve.—«Revue de Paris», 1896, № 22, 277.

[164] В 1850 г. Сент-Бёв писал о Жорж Санд: «Единственный мой совет, единственное пожелание таково: пусть подобное дарование ищет путей и создает жанры какие угодно, но пусть никогда не служит какой-нибудь партии».—«Causeries du Lundi», I, 369.

[165] Falloux, M-me Swetchine, sa vie et ses œuvres, I, 411.

[166] Emile Zola, Documents littéraires, 1926, 290. Эта статья Золя о Сент-Бёве была впервые напечатана не по-французски, а по-русски в «Вестнике Европы» 1879 г., где сотрудничал молодой писатель.

[167] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые.

[168] Лакордэр Ж.-Б.-А., аббат (1802—1861)—популярный католический проповедник, папист, в начале 30-х годов бывший учеником и помощником Ламеннэ, затем, в пору его борьбы с папским престолом, подчинившийся папе и отрекшийся от учителя; в 1840 г. принял монашество и вступил в орден доминиканцев; в 1848 г., в монашеском звании, выставил свою кандидатуру в Национальное собрание и был избран, равно как позднее стал членом Французской академии—первый монах среди «бессмертных» за все время существования Академии. Сент-Бёв много общался с ним в пору своей близости с Ламеннэ (см. «Causeries du Lundi», I, 222), затем встречал его у Свечиной, весьма ценившей его, и по разным оказиям неоднократно писал о нем—почтительно или доброжелательно в подписных статьях (см. «Causeries du Lundi», I, 221—240; XV, 122—129; «Nouveaux Lundis», IV, 392—435) и едко или даже разносно в «Швейцарском Обозрении» и интимных тетрадях. Эдлинг также интересовалась им, еще будучи в России, переписывалась о нем со Свечиной, желала получить копии его писаний.—Falloux, Lettres de M-me Swetchine, I, 186.

[169] Сент-Бёв хорошо знал Мицкевича (см. «Correspondance Générale», III, 469), писал о нем, хлопотал в 1838—1839 гг. о приглашении его в Лозаннскую академию профессором истории латинской литературы; этот курс Мицкевич начал читать в Лозанне в пору приезда Эдлинг в Париж, в ноябре 1839 г., а спустя год получил курс славянских литератур в парижском «Collège de France» и начал чтение в декабре 1840 г. Он старался вначале быть академически-историчным и разносторонним, но затем не выдержал и превратил курс в проповедь польского мессианизма. Эти лекции он напечатал отдельной книжкой, дошедшей и до русских читателей. Среди них был Герцен; заметки его дневника перекликаются с тем, о чем Сент-Бёв сообщал Эдлинг: «12 [февраля] лекции Мицкевича в «Collège de France» 1840—1842. Мицкевич славянофил вроде Хомякова и C[ie], со всей той разницей, которую ему дает то, что он поляк, а не москаль, что он живет в Европе, а не в Москве, что он толкует не об одной Руси, но о чехах, иллирийцах и пр., и пр.»; «17 [марта]. Дочитал Мицкевича лекции. Много прекрасного, много пророческого, но он далек от догадки,—напротив, грустно видеть, на чем он основывает надежду Польши и славянского мира... Нет, не католицизм спасет славянский мир и воззовет его к жизни и (истина заставляет признаться) не поляки поймут будущность... [Мицкевич] далек от ненависти к России, он хвалит ее, но не понимает, до того не понимает, что иной раз лучшие ее стороны приводят его в отчаяние: так в Петре он понял одну отрицательную сторону, равно и в Пушкине, а он был дружен с ним... Польша будет спасена помимо мессианизма и папизма» (Герцен, Дневник, 1844.—Полн. собр. соч., под ред. М. Лемке, III, 308, 317). Сент-Бёв еще в 1834 г., в ранней статье о Ламеннэ, отмечает у Мицкевича эту «ограниченность чрезмерно национального и чрезмерно суженного восприятия действительности».—«Portraits contemporains», I, 170.

[170] Сент-Бёв был всегда прекрасно осведомлен о закулисной подготовке выборов в Академию, и на сей раз его прогноз тоже оправдался: большинство голосов собрал Ж.-А.-Ф. Ансло (1794—1854)—популярный драматург, избранный на место умершего Бональда; очередь Балланша пришла в следующем году на освободившееся кресло Дюваля. О победе Ансло в тетрадях Сент-Бёва сделана такая заметка: «Избрание Ансло в Академию было всего лишь неблагородством; будь избран Бальзак, это было бы низостью».—«Mes poisons», 45.

[171] Печатается по копии, любезно предоставленной M-r Jean Bonnerot, редактором выходящего в свет полного собрания писем Сент-Бёва. По сообщению г. Боннеро, на подлиннике имеется помета, сделанная рукой Сент-Бёва: «Графиня Эдлинг, скончавшаяся в Одессе, в 1844, урожденная Роксандра Стурдза, бывшая фрейлиной императрицы, супруги императора Александра».

[172] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые.

[173] Пост хранителя Библиотеки Мазарини был получен Сент-Бёвом в августе 1840 г., по предстательствам г-жи Рекамье пред Кузеном, министром народного просвещения в кабинете Тьера. Принятое назначение рассматривалось в общественных кругах, как начало сближения Сент-Бёва с луи-филипповским режимом. Сам Сент-Бёв утверждал в письме к Оливье, что принял место лишь для того, чтобы подкрепить свою кандидатуру во Французскую академию.—«Correspondance Générale», III, 351.

[174] У Pont des Arts, на берегу Сены, находится весь комплекс учреждений, образующих Французский институт, в том числе и Библиотека Мазарини.

[175] В «Revue des Deux Mondes», 1841, т. 26, была напечатана о Каподистрии статья молодого дипломата и будущего известного писателя Артюра Гобино (1816—

1882), рассматривавшего роль покойного друга Стурдзы в судьбах греческой независимости и утверждавшего, что Грецию надо освободить от руссофильского влияния, которое проводил Каподистрия. Эта статья была одним из выражений протеста французских политических кругов против антифранцузской позиции Николая I в ближневосточных осложнениях.

[176] Ламеннэ был 26 декабря 1840 г. приговорен к году тюрьмы и 2 000 франков штрафа за политические выступления против Июльской монархии, дополнившие его религиозную борьбу с папизмом: к «Словам верующего», 1834 (отметим, что издание осуществлял Сент-Бёв, тогдашний поклонник Ламеннэ—см. «Nouveaux Lundis», I, 39—41), и «Делам Рима», 1836, направленным против официального католичества, Ламеннэ присоединил теперь памфлет «Страна и правительство», 1840, приведший его в тюрьму, где он занялся писанием нового сочинения: «Голос из тюрьмы», 1841. Об этой работе и сообщает Сент-Бёв. Правительство, державшее Ламеннэ в тюрьме, включало в свой состав Гизо, в качестве министра иностранных дел и фактического руководителя кабинета (при номинальной главе маршале Сульте), и Вильмэна, в качестве министра народного просвещения. И Гизо и Вильмэна Сент-Бёв хорошо знал и жизненно весьма считался с их высокими постами; его многократные подписные статьи о них почтительны, но в тетрадях он беспощаден: «Руайе-Коллар говорит: «Гизо—государственный деятель? Это—оболочка государственного деятеля!»; «Гизо—это величественный интриган»; «Вильмэн провел свою жизнь в том, что благостно говорил и скверно поступал»; «Вильмэн—византийская подлость и речь Златоуста» («Mes poisons», 64, 67, 176). Рассказ Шатобриана о его дружеских посещениях Ламеннэ в тюрьме—см. в «Mémoires d'Outre-Tombe», VI, 465, 466: «...в последней камере верхнего этажа... мы, сумасбродные верователи свободы, Франсуа де Ламеннэ и Франсуа де Шатобриан, беседовали о вещах значительных».

[177] Ж. Санд была занята окончанием повести «Полина» («Pauline»), о которой в предисловии к переизданию 1852 г. пишет: «Я начала эту повесть в 1832 г. в Париже, в мансарде, где чувствовала себя отлично. Рукопись затерялась; я сочла, что случайно бросила ее в огонь, а так как через три дня я уже не помнила, что хотела из нее сделать (это не презрение к искусству и не пренебрежение к читателю, но подлинная болезнь), то и не думала о возобновлении. Спустя десять лет, открыв в деревне какой-то футляр, я нашла в нем половину рукописи, озаглавленной «Полина». Я едва узнала свой почерк, настолько он был лучше нынешнего... Я стала перечитывать рукопись, и память о первоначальном замысле вдруг вернулась и я уверенно дописала конец» (G. Sand, Œuvres illustrées, 1852, «Pauline», p. I). Повесть рассказывает о двух провинциальных подругах, из коих одна, уехав в Париж, становится знаменитой актрисой, другая прозябает на родине при больной матери; случайный проезд актрисы через городок и встреча с подругой зажигают в провинциалке Полине жажду жизни, славы и любви, приводящую ее к душевной катастрофе.

[178] В. Гюго произнес свою вступительную речь на торжественном заседании Академии 3 июня 1841 г., причем под предлогом, что Непомюсен Лемерсье, чье кресло он занял, был сначала другом, а затем противником Наполеона, он построил свое выступление на дифирамбе наполеоновскому гению и, вместе с тем, на похвале непримиримости его друга: «Не существовало головы, какой бы высокой или гордой она ни была, которая не склонилась бы перед этим челом [Наполеона], на которое рука господня, почти лицезримая, возложила корону... Всё на континенте согнулось перед Наполеоном, всё—кроме шести поэтов..., шести мыслителей—Дюсиса, Делиля, г-жи Сталь, Б. Констана, Шатобриана, Лемерсье... Что представляли собой эти шесть умов, восставших против гения?.. ...Милостивые государи, они представляли в Европе единственную вещь, какой нехватало Европе,—независимость; они представляли во Франции единственную вещь, какой нехватало Франции,—свободу...»; «Можно сказать, что он [Лемерсье] был последним во Франции, кто обращался к Наполеону на «ты». 14 флореаля XII года, в тот самый день, когда Сенат впервые обратился к избраннику нации с императорским титулом: «Государь!»—Лемерсье, в памятном письме, еще фамильярно назвал его великим именем Бонапарта» («Les Romantiques à l'Académie», 1928, 102—103). Министр Сальванди, член Академии и в эту пору директор ее, принимавший Гюго, счел нужным в ответной речи призвать Гюго к порядку за внесение политики в дела искусства и за излишнюю радикализацию облика Лемерсье.

[179] Веймарского канцлера Мюллера (Friedrich von Müller, 1779—1849) Эдлинг должна была хорошо знать, как сослуживца мужа; Мюллер был из числа давних иностранных поклонников г-жи Рекамье и был искони принят в ее салоне.

[180] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые.

[181] Переработка «Port-Royal» из конспекта лозаннских лекций в многотомный труд заняла ряд лет. «„Пор-Рояль" делает меня затворником»,—говорил Сент-Бёв; второй том вышел только в 1842 г.; Ш. Эйнар писал Эдлинг: «Сент-Бёв упорно работает над «Пор-Роаялем». Он всё так же превосходен, и я его очень оценил в эту зиму» (письмо от 20 июня 1841 г.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград). Однако, ссылка на «Пор-Роаяль» была у Сент-Бёва всегда наготове, когда нужно было отговориться недостатком времени, ибо, в действительности, выход «Пор-Роаяля» задерживался как раз многочисленными очередными статьями, которыми был занят Сент-Бёв.

[182] Принцесса Орлеанская Елена, в девичестве принцесса Мекленбургская,—жена старшего сына Луи-Филиппа, умершего в 1842 г.

[183] Ж.-Ж. Ампер предпринял путешествие на Восток вместе с Ш. Ленорманом (1802—1859), молодым археологом, вступившим в семейство г-жи Рекамье, благодаря женитьбе на ее племяннице, Amélie Cyvoct, будущей издательнице архива Abbaye aux Bois. Вместе с Ампером и Ленорманом поехал также Проспер Мериме, о котором Сент-Бёв в письме не упоминает. Ампер опубликовал рассказ об этом путешествии в виде письма к Сент-Бёву.—E. Herriot, op. cit., 512.

[184] V. Giraud, op. cit., 122: «Чтобы попасть в Академию, Сент-Бёв понемногу отказывается от независимости. Он становится светским человеком, посещает орлеанистские салоны, где подготовляются академические выборы». G. Michaut отмечает, что еще за два года до избрания в Академию Сент-Бёв стал вводить в свои статьи образы и выражения, которые должны были показать его удовлетворение Июльской монархией, как режимом «разумным, умеренным, вполне выносимым и, более того, достаточно счастливым»,—как выразился он в «Portraits littéraires» (II, 442—443); Мишо считает, что г-жа Жирарден имела право печатно назвать Сент-Бёва «грубым словом: ренегат» (op. cit., 472—473).

[185] E. Herriot, op. cit., 509. Международные осложнения возникли в связи с войной Турции, действенно поддержанной Англией и ее коалиционерами, против сирийско-египетского правительства Мехмета-Али, союзника Франции, оставленного, однако, Луи-Филиппом без помощи, в результате чего возник внутрифранцузский правительственный кризис, отставка тьеровского «министерства 1 марта» (см. о международной части событий «Историю XIX века», под ред. Лависса и Рамбо, III, 346—351, и о внутрифранцузской—Л. Грегуар, История Франции XIX в., II, 228—235). Позиция русского правительства была антифранцузской, поскольку у Николая I ненависть к нелегитимной монархии Луи-Филиппа брала верх над опасениями усиления влияния Англии на Ближнем Востоке. Это придает особый оттенок сообщениям Сент-Бёва Роксандре Эдлинг.

[186] Sainte-Beuve, Mes poisons, 44, 48.

[187] Письмо Ж. Гонкура к Флоберу от 9 марта 1869 г.—G. Michaut, op. cit., 3.

[188] Автограф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. Публикуется впервые.

[189] Г.-Ф.-К. Равиньян, аббат (1795—1858)—известный католический проповедник, лично знакомый Сент-Бёву по салону г-жи д'Абрувиль, избравшей Равиньяна своим духовником. О разраставшейся моде на проповеди Равиньяна Сент-Бёв писал по свежим наблюдениям в «Revue Suisse» 15 апреля 1843 г.: «... стечение народа в Notre-Dame было необыкновенным; о. Равиньян выступал с проповедями трижды в день: в час—для светских дам, вечером—для мужчин; в другие разы и в другие часы—для рабочих». В заметке 8 февраля 1844 г. Сент-Бёв там же отмечает, что, в отличие от Лакордэра и других, Равиньян—противник иезуитов и держится национальной, «галликанской» церкви.

[190] Бельджойозо, княгиня Тривульцио (1808—1871)—итальянка, великосветская католичка, жившая в Париже, принимавшая участие в итальянском освободительном движении, подвергшаяся длительным репрессиям австрийского правительства, друг Гейне. См. о ней новейшее трехтомное исследование Aldobrandini Malvezzi. Сент-Бёв записал в свои тетради: «Княгиня Бельджойозо причащалась с большой помпой во время послеполуденной мессы в церкви Мадлэн,—в час, когда никто никогда не причащается,—дабы покрасоваться на виду у всего этого бомонда. Для подобных женщин даже евхаристия—лишнее рагу» («Mes poisons», 76). Эдлинг должна была встречать ее у Свечиной и Рекамье и видела затем на водах в Эмсе в 1840 г. (см. письмо г-жи Рекамье к Амперу—Herriot, op. cit., 508).

[191] Аллегорический памфлет Ламеннэ «Amschaspands et Dorvands» был выпущен в свет в 1843 г. Парадоксальному сближению Ламеннэ с Шатобрианом способст-

вовал Беранже, который в эти годы воздавал гласную дань почитания Шатобриану, что воспринималось в кругу Рекамье, как выражение «народных чувств». Сент-Бёв сообщает в «Revue Suisse» 5 августа 1844 г.: «Беранже, Шатобриан и Ламеннэ видятся друг с другом охотно и даже с удовольствием у Беранже, в Пасси. Лукавый песенник делает свое «дьявольское дело», как он выражается...» («Chroniques Parisiennes», 242). Сам Шатобриан писал: «Моя дружба с г. Беранже принесла мне ряд «изумлений» со стороны тех, кого именовали моей партией».—«Mémoires d'Outre-Tombe», V, 449.

[192] Огромные поэмы Ламартина «Жослен» (1836) и «Падение ангела» (1838) были частями одной задуманной эпопеи, действительно, так и оставшейся незаконченной. Сент-Бёв, недавний почитатель Ламартина, теперь перенес и на его поэзию свою ненависть к нему, как к политическому деятелю: ср. хвалебную статью 1836 г. о том же «Жослене» («Ламартин—из числа гениев. В политике, в религии, в поэзии, в тесном смысле слова, он с жаром видел, как горизонт его ширится... Его последние писания, речи или поэмы обнаруживают новое вдохновение... Большая эпопея, которую он готовит и которая уже теперь дает нам больше, чем обещания, может лишь выиграть от этих движений столь благородного ума».—«Portraits contemporains», I, 219) с озлобленной статьей 1851 г. по поводу ламартиновской «Истории Реставрации» («Causeries du Lundi», IV, 300—313) и с записями в тетрадях: «... примечательная вещь: сколько встречал я значительных и понимающих людей, которые пытались читать «Жослена» и не могли дочитать до конца... Зато женщины и всё, что им подобно, яростно отстаивают прелесть произведения» («Mes poisons», 147). У Эдлинг было резко отрицательное мнение о «Падении ангела». Она писала в 1838 г. Теплякову: «Я еще совсем ошеломлена,—это чтение было, точно удар обуха по голове. Я никогда не поверила бы, что такой прекрасный талант превратится в какой-то кошмар без интереса и всякой прелести» («Письма к В. Г. Теплякову», op. cit., 421). Наоборот, Свечина была в восторге. А. И. Тургенев сообщает: «Недавно Ламартин присылал своего приятеля читать отрывок из своей огромной поэмы С. П. С[вечи]ной; этот отрывок назван, кажется, «Jocelyn». С[офья] П[етровна] уверяла, что она ничего лучшего в этом роде не читывала...».—«Современник», 1836, op. cit., I, 261.

[193] Гениальная трагическая актриса Э. Р а ш е л ь (1821—1858) была в эту пору на заре своей быстро разраставшейся славы и с 1838 г. пожинала триумфы уже в Comédie Française. Даже болевшую и никуда не выезжавшую Рекамье выступления Рашели вызывали в театр. Рашель выступала и в салоне Рекамье с чтениями классиков; сам Шатобриан после ее декламации отрывков из «Полиевкта» и «Эсфири», поднявшись с кресла на больных, дрожащих ногах, сказал ей: «Какое горе видеть рождение такой красоты, когда надо уже умирать» (H e r r i o t, op. cit., 503—504, 510). Замечание Сент-Бёва о «литературном» успехе имеет в виду заботы Рашели о безукоризненной подаче классического текста. Сент-Бёв пишет об ее выступлении в «Полиевкте»: «Людская давка, аплодисменты; следишь по книге, чтобы ничего не пропустить; к несчастию, прелестная, благородная и простая Рашель очень устает и едва держится».—«Correspondance Générale», III, 297.

[194] S a i n t e-B e u v e, Mes poisons, 79, 86, 88; см. также «Chroniques Parisiennes», 18.

[195] I b i d., 107—108.

[196] I b i d., 90, 93.

[197] «Chroniques Parisiennes», 149. Об ученичестве Лакордэра и Монталамбера у Ламеннэ в его ультрамонтанский период—см. еще «Causeries du Lundi», I, 81, 226.

[198] S a i n t e-B e u v e, Mes poisons, 112, 113.

[199] А в т о г р а ф.—Архив Стурдзы-Эдлинг, Пушк. дом АН СССР, Ленинград. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е.

[200] Эта первая статья Сент-Бёва о Жозефе де Местре была напечатана в «Revue des Deux Mondes» 1 августа 1843 г., что определяет датировку письма. Статья с пометкою «июль—август 1849» была перепечатана в «Portraits littéraires», II, 379—457.

[201] Под лозунгом «свободы преподавания» католическое духовенство, и особенно иезуиты, поддерживаемые правыми группами, требовали возможности открытия собственных школ, изъятых из государственной системы светского образования. В полемику, принявшую ожесточенный характер, были вовлечены высшее духовенство, с одной стороны, и именитая, прогрессивная профессура—с другой. Объединенные выступления в «Collège de France» известного историка Мишле и популярного философа Кине, на тему: «Иезуиты и их методы», были кульминационной точкой общественного отпора клерикальным притязаниям. В предисловии к отдельному изданию лекций Мишле и Кине говорится: «Никогда еще ни одна работа не имела такого успеха... и издание в 8°, и три издания в 18° расхватаны в шесть недель... оба автора, объединенные единомыслием и дружбой,—профессора «Коллеж де Франс».

Их курс минувшей весной вызвал волнения, шумные протесты, почти превратившиеся в скандал... Их книга была не произведением агрессии, а произведением обороны» (издательское предисловие к книге «О иезуитах», 1843). Мишле занимал более боевую позицию, нежели Кине; с первых же страниц Мишле пишет: «Остановите любого прохожего на улице, первого встречного, и спросите его: «Что такое иезуиты?»—он ответит, не колеблясь: «Контрреволюция!» («Des Jésuites», 20). Сам Сент-Бёв занимал позицию двусмысленную, как по неприязни к Мишле, так и потому, что острота полемики раздражала его; он утверждал, что иезуитская опасность преувеличена, а духовенство своей агрессией тоже «само себе создает препятствия»; таков характер его заметок для «Revue Suisse». Поэтому оценка выступления обоих профессоров у него—обратная действительности: «Кине и Мишле собрали в отдельном томе и опубликовали свои последние лекции «О иезуитах». Одновременно пущены в продажу портреты их, как двух героев дня... Часть Кине в книге хороша, очень хороша; что же касается Мишле, его часть книги—высокопарна и немного смешна, на мой взгляд, aegri somnia».—«Chroniques Parisiennes», 84.

[202] Сент-Бёв лишь резюмировал для Эдлинг то, что писал для «Revue Suisse»: «[3 дек. 1843]. Сегодня Лакордэр начал свои проповеди... Он был не в доминиканском облачении (важный вопрос!), а в одежде каноника... У Лакордэра обычно есть блеск, воображение, талант, но ум мало проницательный, исторические сближения натянутые, скорее даже сен-симонистские, нежели христианские»; «[20 дек. 1843] аббат Лакордэр продолжает проповеди перед огромной аудиторией... Он выступает успешнее, чем в первый раз... Он очень блестящ, но у него нет значительности и подлинного христианизма... Лакордэр старается выказать себя тем более светским человеком, что он—доминиканец. Он словно бы просит извинить ему его монашеское одеяние».—«Chroniques Parisiennes», 84.

[203] Сент-Бёв и здесь только переделал для Эдлинг то, что несколько раньше писал о положении французской церкви в «Revue Suisse»: «3 мая 1843. Существенным обстоятельством в религиозной жизни Франции вот уже свыше десяти лет является очевидное и полное отмирание галликанизма. Это великое, подлинно французское вероисповедание больше не существует... Революция сломала его отличительные свойства... Ныне разум или вера движутся поверх этого, первый—к современной философии, вторая—к ультрамонтанству. Доктрины Бональда, Ламеннэ, и, особенно, Жозефа де Местра взяли верх у верующих, у молодежи. Иезуитство и католицизм отныне уже не отделимы во Франции друг от друга... Иезуиты все больше завоевывают место у нас, это несомненно, ... но в этом нет ничего особо угрожающего нации, обществу, которые их сметут одним движением руки в тот день, когда они забудут, что во Франции они никогда не были у себя».—«Chroniques Parisiennes», 42—45; см. еще 92.

[204] Сент-Бёв дает о Казалесе для «Revue Suisse» следующие сведения: «[3 ноября 1843]... г. аббат де Казалес, сын известного члена Конституанты, после углубленной научной работы отправился в Рим и там принял недавно священство. Он был во время Реставрации основателем старого «Correspondant»—солидной, умеренной и очень осведомленной газеты».—«Chroniques Parisiennes», 136.

[205] Сороковые годы были в социально-политическом смысле наиболее радикальным периодом в деятельности Ламеннэ; однако, революция 1848 г. показала, что этот радикализм был чисто эмоциональным,—Ламеннэ в 1848 г. выступил против практической деятельности Луи Блана в деле организации рабочих и проповедывал социализм на основе «христианского убеждения ближних».

[206] Ненависть к Ламартину ослепляла Сент-Бёва: если Ламартин и «терял уважение», то только в тех салонно-аристократических и правобуржуазных кругах, с которыми общался Сент-Бёв. Наоборот, в левобуржуазных и демократических слоях популярность Ламартина, выступавшего с радикальными речами при каждой оказии, росла и получила яркое выражение в избрании Ламартина в 1848 г. председателем временного правительства. Впрочем, Сент-Бёв застраховал себя на случай такого исхода: «Если бы Франции надо было избрать президента Республики, у Ламартина были бы шансы получить наибольшее количество голосов. Но что это доказывает?»—«Mes poisons», 86.

[207] О предстоящем выходе шатобриановской книги о Рансе Сент-Бёв извещал 1 февраля 1844 г. швейцарских читателей: «„История аббата Рансе“, написанная Шатобрианом, уже сдана в печать и этой зимой выйдет в свет. Как прекрасно, что человек, который в 1801 г. открыл век «Гением христианства»,—тот же, кто сорок три года спустя освящает обновой сезон 1844 г.». По выходе книги Сент-Бёв писал в «Revue des Deux Mondes»: «Всё, что ознаменовало себя сколько-нибудь крупно в сфере воображения и поэзии, идет от него... Он знал наследников, продолжателей,

ставших знаменитыми, в свой черед, но не знал людей, превзошедших его... Теперь снова он дает любопытствующему вниманию всех книгу, с нетерпением ожидаемую, от собственной воли которой, если можно так выразиться, зависит стать майским цветком, первенцем сезона. Г-н де Шатобриан как будто не особенно верит в этот действенный интерес к тому, что он пишет, в это общее жадное и почтительное внимание к себе,—и это единственный упрек, который мы решаемся ему направить» («Portraits contemporains», I, 36—37,—статья носит дату 15 мая 1844 г.). В это же время в «Швейцарском Обозрении» он писал не только по адресу книги, но и автора: «4 июня 1844. «Рансе» Шатобриана был разочарованием... Автор «Рансе» влачит траур [по своему прошлому] со всхлипываниями и причитаниями какого-то азиатского царя... Можно сказать, что старцу Времени тут кричат, как г-жа Дюбарри на эшафоте: «Господин палач, еще лишь минутку!»... Что касается нас, менее обязанных, в силу отдаленности нашей, к соблюдению почтения, мы откровенно скажем, что книга эта, которая мыслилась такой простой и такой величественной, оказалась, из-за несерьезности и небрежности, настоящим б р и к - а - б р а к о м; автор кидает всё, ворошит всё и опустошает все свои шкафы. Временами кажется, что орден траппистов выведен на подмостки Парижской оперы. Впрочем, все же почтение запрещает нам продолжать».—«Chroniques Parisiennes», 221—222.

[308] S a i n t e - B e u v e, Nouvelle correspondance, 95.

РОМАНЫ «ЛУРД»—«РИМ»—«ПАРИЖ» Э. ЗОЛЯ И ИХ СУДЬБА В РОССИИ

ПО РУКОПИСНЫМ И АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ*

Публикация М. Эйхенгольца

Подготовительные рукописные материалы Золя к серийным его романам—«Ругон-Маккары», «Три города» и «Четыре евангелия»—представляют большой научный интерес. Это не предварительные редакции текста того или иного романа, а непосредственные высказывания, суждения писателя о своих произведениях, исповедь о замыслах, данная как бы в беседе с самим собою. Рукописи Золя не только раскрывают «секреты» творческой его лаборатории и знакомят с техникой его литературной работы, но и помогают лучше понять смысл его произведений.

Черновые рукописи Золя к каждому из романов, входящих в названные серии, состоят из нескольких категорий (обозначения различных рубрик рукописных материалов, взятые нами в кавычки, принадлежат самому Золя):

1. «Наброски» (ébauches)—идеологический, по преимуществу, анализ романа. Мысли писателя излагаются здесь, обычно, не вполне систематически, а так, как они зародились в процессе его размышлений над своим произведением. В них сказываются колебания писателя, сомнения, искания. Тем больший интерес вызывает эта категория рукописей Золя. Естественно, что, наряду с идейным анализом произведения, писатель касается здесь различных деталей фабулы и своих формальных задач.

2. «Персонажи» (personnages)—характеристики действующих лиц, значительно более подробные, чем у драматургов. Золя не оставляет без внимания даже второстепенных персонажей романа. Он рисует психо-физиологический и социальный облик каждого лица. Эта рубрика рукописей Золя более систематична, чем его «наброски»; в последних встречаются лишь отдельные черты действующих лиц.

3. «Планы» (plans). Помимо кратких планов, Золя анализирует каждую главу будущего романа, обращая особое внимание на развитие фабулы. При этом во второй, более распространенной, редакции (обычно имеются две редакции аналитических «планов») налицо уже моменты художественного оформления произведения. Те или иные образы и эскизы сцен переходят зачастую в окончательный текст, правда, в значительно более развитом виде.

4. Этюды с натуры—зарисовки жанровых сцен или пейзажей, свидетельствующие о непосредственных наблюдениях писателя. К этой же рубрике можно отнести и записи более технического характера, насыщенные фактическими данными.

Наконец, среди рукописей Золя встречается много документальных данных: выписки из книг, вырезки из газет, статистические таблицы и т. п. Изучение всех видов подготовительных материалов Золя позволяет судить о всем творческом процессе писателя.

Мы печатаем ниже рукописные материалы, относящиеся к творческой лаборатории романов Эмиля Золя из серии «Три города» — «Лурд», «Рим», «Париж». Руко-

---

* Перевод рукописей к «Лурду» и «Риму» сделан И. Цыпиной, к «Парижу»— Т. Ириновой. Редакция переводов—М. Эйхенгольца.

писи эти завещаны были вдовой писателя, Александриной Золя (ум. в 1925 г.), библиотеке Межан в Экс - Прованском (Bibliothèque Méjanes, Aix-en-Provence), на юге Франции, в родном городе Золя, где он прожил годы своего детства и юности. Ввиду значительного количества этих рукописей (к «Лурду» и «Парижу» насчитывается почти по тысяче рукописных страниц, а к «Риму»—более тысячи), в нашу публикацию включены лишь литературно организованные, систематические материалы, к тому же, наиболее показательные.

Помимо общего очерка под названием «Три города—Лурд, Рим, Париж», мы печатаем «наброски» ко всем трем романам Золя, как самые значительные в идейном отношении рукописные материалы этой серии. Лишь ввиду больших размеров «набросков» к «Риму» и «Парижу», мы допускаем в них некоторые купюры, касающиеся повторений и малосущественных деталей. Из аналитических «планов» нами избраны по две примерные главы во второй редакции, главы, в которых наиболее ярко выражены художественные особенности каждого романа. В качестве примерных характеристик действующих лиц, мы печатаем характеристики Мари де Герсен из «Лурда» и Бенедетты из «Рима». Наконец, в нашу публикацию входят два этюда—«Париж. Отправление белого поезда» («Лурд») и «Виды Парижа» («Париж»).

Рукописные материалы Золя к «Трем городам» печатаются впервые. Они не были опубликованы до сих пор не только в русском переводе, но и во французском подлиннике, за весьма малым исключением, именно: в «Полном собрании сочинений Золя» с примечаниями и комментариями Мориса Ле Блон напечатаны лишь начальные 1—20 страниц «наброска» к «Риму», которые мы печатаем в переводе, чтобы читатель имел перед собой этот «набросок» в целом виде, а также характеристика Пьера Фромана (194—206 стр.), значительные элементы которой входят в другие рукописные материалы из серии «Три города», и «Великий писатель, человек толпы» (366—367 стр.), относящиеся к роману «Париж».

Рукописи Золя, публикуемые на страницах «Литературного Наследства» впервые, списаны для нас от руки архивариусом библиотеки Межан, г. Анри Вьелем (M-r Henri Vieil), которому мы выражаем здесь благодарность. Мы пользуемся случаем также выразить благодарность директору библиотеки Межан, г. Эдуарду Оду (M-r Edouard Aude), любезно разрешившему использовать рукописные материалы Золя и произвести с них фотоснимки.

«Три города» Золя (1894, 1896, 1898) посвящены современности. Важнейшим моментом этой серии романов явилось изображение спиритуалистической реакции 90-х годов, захватившей науку, литературу и искусство. Избрав главным героем своих романов священника Пьера Фромана, переживающего душевный кризис, который приводит его к естественно-научному мировоззрению, Золя, как писатель-социолог, антирелигиозно настроенный, хотел, по его словам, дать критическую, «развернутую картину всего неокатолицизма, всех тенденций к нему; пробуждение мистицизма, усилия спиритуалистов» (очерк «Три города»).

Золя непосредственно наблюдал все эти явления. Известно, что он совершил поездку в Лурд, был в Риме, где добивался свидания с папой, что ему сделать не удалось, благодаря интригам враждебных кругов; парижская жизнь была предметом его многолетних наблюдений. Сверх того, в соответствии с обычным для Золя методом работы, он пополнял живые впечатления данными из книжных источников. Об этом свидетельствуют многочисленные материалы, сохранившиеся среди его рукописей.

В романах Золя имеется несколько подлинно исторических персонажей (папа Лев XIII и Бернадетта, о которой, собственно, лишь повествуется). Но зато многие из персонажей имеют в качестве своих прототипов лиц исторических. Это относится, главным образом, к «Парижу». Действительно, анархисту Сальва прототипом послужил Вайян,

Матису—Эмиль Анри, в лице депутата Межа Золя изобразил Жюля Геда, барон Дювильяр, видимо,—барон Рейнак и Субейран, министр Барру списан с Флоке, Монферран—с Рувье и Констана; ученый Бертеруа—не кто иной, как знаменитый химик Бертело; редактор консервативной газеты «Глобус»—это Эбрар, главный редактор «Тан», Санье и его «Глас Народа» напоминают реакционного журналиста, католика и антисемита Дрюмона и его «Свободное Слово», в лице Шансонье Легра, поющего песенку «Цветы с мостовой», видимо, изображен монмартрский шансонье Аристид Брюан и т. д. В отношении многих из перечисленных лиц имеются прямые указания в рукописных материалах Золя.

Нужно отметить, что для творчества Золя в целом портретность нехарактерна. Члены семьи Ругон-Маккаров, например, не имеют прототипов,—это типические образы, созданные творческим воображением писателя, за некоторым исключением, разумеется. Что же касается «Парижа», то, в смысле документированности, роман этот можно отнести к категории исторических.

Идеалистическая реакция 90-х годов была направлена против естественно-научного (механистического) материализма, выдающимся представителем которого в литературе являлся натуралист Золя. Значительный размах спиритуалистической реакции объясняет и резкость, остроту противодействия этому движению в «Трех городах». Достаточно привести ряд фактов.

Характерной фигурой того времени был, например, Ф. Брюнетьер, автор книги «Натуралистический роман» (1892), направленной против «материалистических» романов Флобера, Гонкуров и Золя. В этой книге имеется статья, озаглавленная «Банкротство натурализма». Брюнетьер прочел в 90-х годах ряд публичных докладов (они вошли в его книги «Боевые речи, 1896—1904 гг.»), среди них речь о возрождении идеализма (1896), в которой он выступает противником позитивизма в философии, реализма и натурализма в литературе и живописи,—против Тэна и Литре, Леконт де Лиля и Флобера, Александра Дюма-сына, Курбе и др. Защита идеалистической философии сочетается у Брюнетьера с пропагандой католицизма («Потребность в вере»—доклад в связи с конгрессом католической молодежи, 1898), шовинистического национализма («Враги французской души», «Латинский гений», 1899) и милитаризма («Нация и армия», направленная против Дрейфуса, 1899).

Брюнетьер был не одинок. Наряду с ним можно назвать Жюля Лемэтра, Мельхиора де Вогюэ и др. Анкета журналиста Жюля Юре (1891) «об эволюции современной литературы» прошла под знаком ликвидации натуралистического движения. Количество противоборствующих групп было значительно: разнообразные представители символистской литературы, эпигонствующие романтики с католическими тенденциями, как Барбе д'Оревильи, представители магизма и сатанизма—Сар Пеладан и Жюль Буа, наконец, писатели, отошедшие от натурализма, как Гюисманс, ставший яростным католиком и мистиком, или Дюма-сын, написавший к роману Марселя Прево «Исповедь любовника» предисловие, в котором он предсказывает «невиданное устремление молодежи к спиритуализму» и восхваляет «мораль сына Марии».

Даже среди представителей научного естествознания заметна была некоторая склонность к спиритуализму. По крайней мере, Герберт Спенсер стал развивать теорию «непостигаемого». Химик Бертело, оставшийся убежденным сторонником естественно-научного мировоззрения, констатировал «наступательное движение мистицизма против науки». Против «мнимого банкротства науки» (так названа одна из рубрик рукописных материалов Золя) выступил в своих романах «Три города» и Золя.

Известно, что многие романы из серии «Ругон-Маккаров» политически заострены, злободневны («Карьера Ругонов», «Чрево Парижа», «Жерминаль» и др.). Такой же характер носят и романы из серии «Три города». Но они в большей мере публицистичны: тенденция их обнажена, декларативна. В «Трех городах» Золя проявил себя,

как радикальный мелкобуржуазный писатель и общественный деятель. Защита Дрейфуса (1898) явилась естественным продолжением литературной деятельности автора «Парижа» (1898). В этом смысле социальная функция романов Золя из серии «Три города» была объективно положительной, хотя, в конечном счете, восприятие современного общественного движения и пропаганда социальных идеалов у Золя не вышли за пределы реформизма, характерного для последнего периода его творчества.

Рукописные материалы, которые мы ниже печатаем, с большой остротой передают основные идеи романов Золя.

I. ОБЩИЙ «НАБРОСОК» К «ТРЕМ ГОРОДАМ»

Первый публикуемый очерк, по типу относящийся к категории «набросков»,—«Три города: Лурд—Рим—Париж»,—Золя написал, видимо, после того, как роман «Лурд» был им уже задуман. В этом очерке устанавливается связь всех трех романов серии.

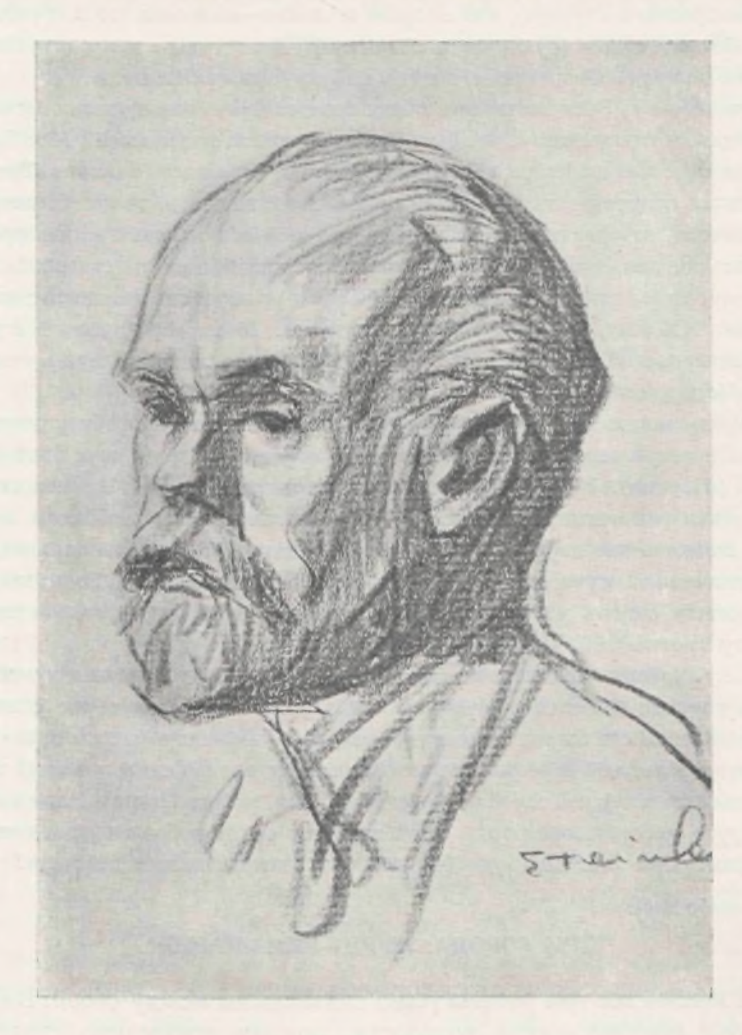
По замыслу Золя, эволюция идей главного персонажа трилогии, Пьера Фромана, такова: в «Лурде» показана «религия человеческого страдания», Пьер прибегает к «вредной поддержке иллюзий», веры в чудеса. Стремясь к исцелению человеческих бедствий, Фроман, несмотря на охлаждение его религиозной веры, руководствуется «милосердием». В «Риме» попытка вернуть первоначальную веру «побуждает его обратить свои взоры к первобытной христианской общине и поддержать идеи неокатолического движения». Как пишет Золя, Фроман еще считает, что ни наука, ни труд не могут удовлетворить непонятной жажды сверхъестественного, заложенной в человеке. На этом основании он и стремится реформировать христианство. Все же, в «Риме» поставлена проблема «примирения христианского учения с современной наукой». Лишь в конце анализируемого первого очерка, после значительных колебаний, Золя дает синтетическую характеристику своих романов. Весь рукописный очерк ценен для исследователя возможностью определить мысль писателя в динамике. И здесь следует выделить тему о «любви к жизни». Идея эта, как лейтмотив, проходящая через три романа, связывает «Три города» Золя со всем его творчеством, с культом вечной жизни в биологическом ее понимании.

Источником человеческих бедствий в «Лурде» является ущербность физиологическая. В «Риме» же выступает социальное осмысление религиозных чаяний (если оставить в стороне сочетание чувственных и религиозных порывов у Бенедетты). Именно в этом романе обрисовано разочарование Пьера в действенности и искренности социальных чаяний неокатолицизма, поскольку они выражены папской церковью.

Наконец, в «Париже» религия «милосердия» отходит на задний план. Выступает в полной мере проблема социальной «справедливости». В «Париже» Золя хочет «показать социальную борьбу во всей ее остроте...». В «Париже», как и в «Жерминале», «бездна человеческого страдания... Это будет находиться в соответствии с «Лурдом», где я показываю страдания физические». Так постепенно заостряется антирелигиозный мотив романов Золя. Писатель подчеркивает, что «идея о будущей (загробной) жизни окончательно обанкротится в связи с развитием науки», и это приведет к иной «социальной базе, основанной на справедливости». Такова проблематика Золя.

Уже на основании очерка «Три города» можно судить, что романы «Лурд», «Рим» и «Париж» должны носить обнаженно-публицистический характер. Романы эти полны размышлений главных героев—Пьера и Гильома Фроманов. Разумеется, нельзя отождествлять Пьера Фромана—«необыкновенного человека», священника, переживающего религиозный кризис, хотя и приводящий его к естественно-научному мировоззрению, с самим писателем. Антирелигиозный характер творчества Золя в целом не требует доказательств. Помимо отдельных мотивов его, можно указать на роман «Проступок аббата Муре», направленный против спиритуализма и христианства, или на анти-

клерикальный роман «Покорение Плассана» (70-е годы). Но и в 90-х годах Золя не переживал никаких колебаний в отношении своем к религиозным проблемам. Об этом красноречиво свидетельствуют его письма и статьи этого периода («Был ли Рим когда-либо христианским?», «Наука и католицизм»). «Паломничество» Золя в Лурд в качестве наблюдателя было ложно воспринято католическими кругами, как свидетельство «обращения Золя», и роман «Лурд» вызвал большое разочарование католических кругов



ЭМИЛЬ ЗОЛЯ
Рисунок Т. Стейнлена
Выставка революционного искусства Запада, Москва, 1926 г.

(см. ниже о полемике по поводу «Лурда»). Не менее разочарованы были церковники поездкой Золя в Рим. Никоим образом не отождествляя Золя с Пьером Фроманом, нужно, все же, отметить, что в ряде случаев Золя вкладывает в уста Пьера Фромана свои собственные суждения, что особенно явственно видно при изучении рукописей, где эти мысли выражены в прямой форме, от лица автора (хотя бы суждение о социальном характере религии и отрицательное отношение к евангелию).

То же можно сказать и о Гильоме Фромане, который, в известной мере, является выразителем идей (porte parole) самого Золя. Вот почему Золя стремился связать анархизм

Гильома с эволюционной теорией, последователем которой он сам являлся. Но, вместе с тем, Золя пишет в «наброске»: «Ввести в теорию об эволюции момент насилия. Эволюция не всегда происходит равномерно и постепенно, ее размеренный ход нарушают катаклизмы».

У Золя была даже попытка ввести себя непосредственно в действие романа в лице «человека свободной мысли, трезвого анализа, который верил бы только в прогресс науки» («набросок» к «Лурду»), или в образе писателя—«человека толпы», который «все видит и обо всех судит» (рукописи к «Парижу»). Аналогичное намерение Золя ранее осуществил в романе «Творчество», введя в фабулу писателя Сандоза.

В конечном счете, Золя заставляет обоих братьев Фроманов притти к культу труда и плодородия, к гимну жизни, что было его собственной философией. Как бы отождествляя конечные выводы Пьера и Гильома со своими, Золя писал в очерке «Три города»: «Я не в силах пожертвовать убеждениями всей моей жизни, я за постепенное образование общества, за удовлетворение всех нужд, всех общечеловеческих потребностей, против католицизма, который считает землю нечестивой, а жизнь скверной». И дальше: «Я хочу, чтобы мой роман [«Париж»] был над уровнем современности; это как бы предвидение XX века, блаженный город будущего». После «критической» серии Золя «Ругон-Маккары», «Три города» занимают переходное место к серии утопических романов «Четыре евангелия».

В анализируемом нами очерке видно стремление Золя оживить фабулу романов, создать драматическую интригу. Много внимания он уделяет борьбе двух братьев, Пьера и Гильома («Париж»). Но она не имеет личного характера, это борьба идеологий. И тут Золя допускал различные варианты. Он предполагал вначале изобразить «жестокое, кровавое столкновение двух миров». Пьер «подчинялся церковной охранке, Гильом был представителем научного и общественного свободомыслия». Но Золя, как обычно, избег опасности создать мелодраму (вначале у него братья «готовы были перегрызть друг другу глотки»).

Поскольку идейная борьба является центром «Трех городов», романической интриге уделено в романах значительно меньшее внимание. Первоначально же Золя предполагал обратное: «Было бы так романтично устроить как можно больше драм». Можно сказать, что в известной мере романтическим мотивам придан символический характер, они связаны с философской темой произведения. Так, любовь Пьера и Мари в «Париже» иллюстрирует тему плодовитости. Иной характер носят побочные романические детали фабулы. Они характеризуют бытовой фон развивающегося действия.

Текст «наброска»:

ТРИ ГОРОДА: ЛУРД—РИМ—ПАРИЖ

[2]* Я мыслю все три романа тесно связанными между собой. В «Лурде», как я уже говорил,—вера молодости, призыв неизлечимо страдающего человечества к всемогущей воле божества. Священник делает последнюю попытку сохранить эту веру, но безуспешно. Он, однако, с уважением относится к этой вере: ведь она приносит беднякам облегчение. Его трогают страдания, и он не хочет закрыть перед людьми грот, где они находят утешение и исцеление.

По сути, это религия человеческого страдания. И все же, в конце, нужно, чтобы священник поставил перед собой вопрос: а хорошо ли поддерживать суеверие? Быть может, лучше смело разоблачать обман и трудиться над тем, чтобы сделать человечество [3] мудрым и рассудительным, научить его брать жизнь такой, какова она есть, не прибегая к шаткой и вредной

* Цифры в скобках обозначают пагинацию рукописей Золя.

поддержке иллюзии? Поддерживать иллюзию, распространять ее из сострадания к несчастному, которому она дает утешение,—значит укреплять тяжкое наследие слабости и нищеты, значит поддерживать одно из уродств человеческих. Тогда как, разоблачая иллюзии и суеверия, трудишься над тем, чтобы сделать человека смелым: он постепенно учится смотреть жизни прямо в глаза, мужественно идет вперед, живет и действует на благо ближнего. Только так вырабатываешь в себе непреклонность и мужество. Труд—совершенное творение, к которому мы идем.

Итак, «Лурд» можно закончить тревожным вопросом, который ставит священник. Он не разрешит его [4], он останется в том же тревожном недоумении, так как я хочу закончить роман милосердием, терпимым отношением к человеческим страданиям. И все это проникнуто большой тоской, трепетным чувством долга, повелевающим бороться с суеверием, и глубоко уязвленным чувством жалости, которое удерживает от борьбы: ведь это отнимет последнее утешение у стольких несчастных верующих, так сильно нуждающихся в иллюзии. Это еще более широко даст мне момент самоотверженности. Что же касается борьбы против суеверия, я дам ее в третьем томе—«Париже». Он будет служить как бы связующим звеном для всех трех романов. Третья книга может быть борьбой справедливости против милосердия; ниже я раскрою это. Но остается второй том—«Рим». [5] Я уже говорил, что священник, после тщетных попыток вернуть первоначальную веру («Лурд»), пытается («Рим») примирить католицизм или, по крайней мере, христианское учение с современной наукой, современным обществом, прогрессом. Но и тут его ждет неудача. Я дам развернутую картину всего неокатолицизма, всех тенденций к нему; пробуждение мистицизма, усилия спиритуалистов. Правильно изучить всю обстановку. Мораль, борьба духа против страстей во имя добродетели; отказ от идеи, будто человек есть высшее существо; чистота; девственность; борьба против природы, плодовитости, жизни. Я хочу, чтобы все это дала мне женщина-римлянка. [6] Она страстно любит, обладает пылкой душой и идет на мученичество, только чтобы побороть свое чувство. Словом, показать их пресловутую психологию, вся суть которой сводится к борьбе между чувством долга и страстью.

Я поставлю мою героиню в такие условия, где у нее будет множество случаев пасть: муж уродливый и жестокий; тупая, грубая среда. Детей нет или, быть может, неблагодарные дети. Показать, как она приносит себя в жертву религии, долгу. И результат. Я, конечно, за торжество природы, за свободное чувство. Как раз тут можно дать жесточайшую иронию. Но чего мне хочется всего больше—это показать [7] страсть, готовую вырваться наружу, которую всячески сдерживают. Итак, центром произведения будет страсть; подобно солнцу, она озарит всю книгу: ведь в «Лурде» любовной интриги нет, и в «Париже» ее, должно быть, также не будет. Итак, это состояние я дам как раз в середине трилогии. Как мне кажется, развитию основной фабулы—священник, пытающийся примирить церковь с современностью,—любовная интрига не помешает.

Священник отправится в Рим с епископом. Быть может, героиня будет поверять ему свои тайны. Со своей стороны, священник через нее захочет добиться торжества своей идеи. Но [8] героиня падает жертвой этой идеи, так и не добившись успеха.

Интрига вокруг папы, чтобы вынудить его принять какое-то решение. Более отдаленные цели. Не забывать о том, что я не хочу Италии созер-

цательной, Рима в обычном представлении о нем. Я дам современный Рим—кричащий модернизм на фоне старины, измельчавший современный народ и современную буржуазию. Все это необходимо изучить на месте. Здесь я даю лишь основную мысль. В заключение должно показать бессилие католической церкви, ее неспособность примениться к веку, [9] настолько обновиться, чтобы отвечать требованиям современности. Носителем революционной идеи—поднять малых сих против власть имущих, против собственности и праздной жизни—будет кардинал, представитель высшего духовенства.

Христианский социализм ведет к анархии: разрушить современное общество и заменить его обществом примитивным, обществом евангельских времен. Революция, пусть кровавая, под руководством Христа. Вернуться к традициям Христа, который боролся революционным словом в Иудее (примерно, эти мысли высказывались в 48-м году). Быть может, священник будет сторонником этих идей и сделает римлянку своей ученицей, попытается в своих целях использовать ее страсть. Однако, все попытки священника тщетны. Он видит, [10] что со старой, изношенной машиной католицизма ничего не сделаешь. Идея милосердия пережила себя, всюду берет верх идея справедливости. Вот на этом и будет построена моя третья книга—«Париж».

В этой книге мне хотелось бы дать борьбу между двумя братьями (священником и его братом). Это нужно обдумать и в общих чертах наметить уже в «Лурде». Брата сразу дать бунтарем. Можно сделать из него анархиста, второго Суварина[1]. И хорошо непосредственно поставить братьев во враждебные отношения. После неудачи в «Риме» священник погрузился в безмолвное отчаяние, [11] полное бессилие. Он не мог обрести веры рядового человека («Лурд») и не смог обновить католицизм, сделать его милосердной, человечной религией («Рим»). Таким образом, священник с самого начала считает, что человек нуждается в религии. Ни наука, ни труд не могут всецело удовлетворить непонятную жажду сверхъестественного, заложенную в человеке, которого точное определение тех или иных проявлений жизни не удовлетворяет. Священник не пускается в метафизические рассуждения, он просто констатирует. Удовлетвориться жизнью, в которой царит лишь наука с ее точным восприятием реального, не надеясь на вознаграждение в будущем, могут только светлые, развитые умы, смелые натуры. [12] Такое миропонимание может быть только у весьма ограниченного числа избранных. Но, в таком случае, что же происходит с огромной массой остального человечества? Ведь именно тут и наталкиваешься на бесчисленные потребности, требующие удовлетворения. Как раз тут и нужна вера, религия, причем религия, основанная на сверхъестественном (и в этом основная трудность). Итак, в силу самой человеческой природы—несправедливой и порочной, породившей первородный грех,—в силу неравенства и несправедливости пришлось все основывать на милосердии. Ведь милосердие исправляет. Однако, и оно постепенно становится бессильным,—это доказывает многовековой опыт,—да и беднякам уже надоела филантропия, которая даже не обеспечивает им хлеба насущного. Следовательно, сейчас можно взывать к справедливости. [13] Вся борьба, таким образом, будет итти между исчерпавшим себя милосердием и справедливостью, которая кажется неприменимой. Сущность всей книги заключается в этой борьбе.

Но вернемся к священнику. Итак, он не мог верить, как рядовой чело-

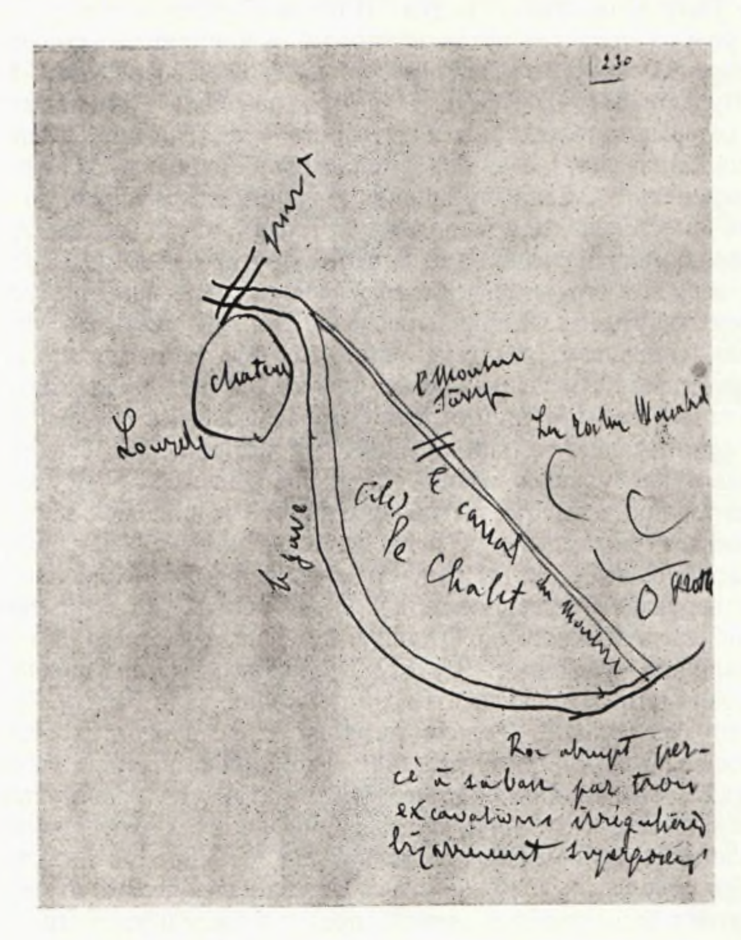
век, и не смог примирить католицизм с современностью. Он натолкнулся на отказ науки от сверхъестественного и на возрастающую в народе потребность в справедливости. Последнее, пожалуй, хорошо дать в «Риме», чтобы показать всю тщетность попыток священника. Есть и другие причины, приведшие его к неудаче. Обдумать все это. Почему католицизм, христианство не могут настолько перердиться, чтобы стать религией новых поколений. [14] Священник окончательно разбит, все его надежды рухнули. Изучить это состояние полной безнадежности. Он погиб. Быть может, он отказывается от духовного сана.

Я не представляю себе, однако, на какой почве развернется борьба между ним и его братом. Мне хотелось бы борьбы героической, жестокой, кровавой, столкновения двух миров. Но это возможно лишь в том случае, если в конце романа «Рим» я покажу, как религиозный аппарат католической церкви снова захватил священника; он подчиняется церковной охранке—и все это из страха перед пустотой, небытием. Он весь поглощен чисто внешней, технической стороной религии. Попрежнему неверующий, ибо верить по заказу нельзя, он делает сверхчеловеческое усилие, чтобы побороть свое существо, подчинить себя [15] самому строгому соблюдению обрядов католической церкви. Святой. Он умерщвляет плоть. Он беден, все раздает, полон скромности; для каждого, кто приходит к нему, находит чудесный совет. Почти делает чудеса, свято следуя всем обрядам католической церкви. Он даже перестает считать все это чистейшей механикой, и это чувство дает ему возможность жить и трудиться. Вокруг него словно разоренное поле, пепелище. Он больше ни во что не верит. Ни счастья, ни надежды; только голая механика, размеренные часы и то спокойное благоразумие, которое дает полное отрицание, поддерживают его дух. Он поступает так из честности, из врожденного чувства равновесия. Мне кажется, что нет надобности давать это в конце «Рима». Там священник потрясен своей второй неудачей. Я снова вернусь к нему в [16] «Париже» и дам его таким, каким описал выше. Крупная, удивительная фигура. Тут-то я и столкну его с братом. Брат—бунтарь, пророк, светлая личность; ради своих идей он готов пойти на преступление. Быть может, анархистское покушение (изучить эту среду). Первый спор. Священник выступает резко и энергично: он так же мало верит в возможность преобразования человечества путем переворота или хотя бы эволюции, как и в свою религию. Анархисту могут быть неизвестны истинные взгляды священника, он считает его убежденным католиком. Но вот преступление разоблачено, и анархисту грозит арест. Он приходит к брату, и тот его скрывает у себя. Совместная жизнь, беседы, мечты, [17] картина будущего общества; попытка обратить священника в эту новую веру, веру будущего. А если для спасения брата нужна будет чья-нибудь жизнь, пусть священник отдаст свою. Но в начале книги резко столкнуть обоих братьев. Найти что-либо, отчего они готовы перегрызть друг другу глотку.

Я хочу, чтобы мой роман был над уровнем современности, это как бы предвидение XX в.; блаженный город будущего. Таким образом, вся та часть, когда священник скрывает брата, когда последний его просвещает, должна давать представление о будущем социальном Параду[2]. Не забывать о заголовке «Париж»: действие должно развертываться именно в Париже; Париж должен чувствоваться; [18] именно в парижском котле выковываются, зарождаются все эти идеи об обществе будущего. Вся

история социализма до наших дней. Я уже говорил, что брат священника будет анархистом, но, быть может, сделать его последователем эволюционной теории (я бы предпочел последнее). Но и в том и в другом случае он должен совершить преступление против существующего порядка: убийство в политических целях или что-либо иное; кровь. И нужно также, чтобы священник в конце пожертвовал жизнью для брата. Снова символ Христа, искупающего вину, отдающего свою кровь для счастья ближнего. Да, нужно ввести женщину. Брат женат, быть может, у него дети. Все это даст мне костяк драмы. Вокруг бурлит Париж. Особенно показать политическую среду [19] в том случае, если я дам политическое убийство. В «Лурде» сказать о брате лишь в общих чертах. После смерти отца он получил свою часть наследства наличными деньгами и затем исчез. Химик, как и отец, он отличается многими странностями, оригинал, замкнутый, дикарь. Вместе с тем, очень добродушный, мягкий. Стремится жить уединенно. Когда брат сообщил ему о своем решении стать священником, только пристально посмотрел на него и больше не стал с ним разговаривать. Поселился отдельно, в глуши какого-то предместья, с женщиной, с которой даже не венчался. Ходят слухи, будто он все свое состояние тратит на какие-то безумные опыты, весь поглощенный какими-то фантастическими идеями. В «Лурде» дать только наметку и вернуться к этому персонажу в дальнейшем. [20] Только в вере кроется животворная сила, но в вере, отвечающей требованиям современности. Мучительная жажда сверхъестественного, удовлетворенная всеобщим благосостоянием, торжеством справедливости. В этой борьбе справедливости и милосердия священник воплощает милосердие, а брат его—справедливость, и справедливость одержит верх. Требования, предъявляемые справедливостью. Определить и показать их. Осанна. Соединенные штаты Европы. Мечта о едином народе. Совершенное счастье. Идеальный город, такой, каким он представляется в воображении поэтов. Мощная архитектура. Но я не в силах пожертвовать убеждениями всей моей жизни, я—за постепенное преобразование, за удовлетворение всех нужд, всех общечеловеческих потребностей, против католицизма, который считает землю нечестивой, а жизнь скверной. [21] Исцеление всех страданий. Снова формула: «Все сказать, все познать, дабы все излечить». Что сулит человечеству постепенное преобразование общества. Смысл жизни, конечная цель. Куда мы идем, каковы могут быть наши надежды. И основное—это дать ответ священнику, который всегда считал религию необходимой: раз наука не в силах удовлетворить это наше стремление к потустороннему, как утолить его. Теперь относительно удовлетворения требований: если милосердие бессильно, каким путем воцарится справедливость. Новый Иерусалим—вот конечная цель. Одним словом, дать разрешение проблемы. Фраза относительно «труда освобождающего и умиротворяющего» из моего доклада студентам[3]. Вот, пожалуй, носителем каких идей я могу сделать моего социалиста. Итак, он—последователь эволюционной теории. Но в таком случае, [22] откуда возьмется политическое убийство? Нужно ввести в теорию об эволюции момент насилия. Эволюция не всегда происходит равномерно и постепенно, ее размеренный ход нарушают катаклизмы, в жертву которым приносятся миллиарды жизней. Обдумать это. Быть может, он совершит не единоличное убийство, а коллективное. Словом, все это надо еще решить. Он тоже верующий. Но в основе его веры—человеческое страдание. Всеми его действиями руководит одна

цель—утешить и излечить их. Снова, как то было в «Лурде», долгий страдальческий вопль; порыв к свету из жуткого мрака подземелья. Большое великодушие, безудержное стремление к радости и, если бы это было [23] возможно, новая религия. Однако, стремление к идеалу, желание несуществующего—все это должно быть дано на фоне вполне реальной обстановки. Все происходит в определенный исторический момент существования III республики. Особенно важно как можно более четко поста-



МЕСТО ДЕЙСТВИЯ РОМАНА „ЛУРД“—СКАЛА И ГРОТ
Чертеж Эмиля Золя
Библиотека Межан в Экс-Прованском, Франция

вить все социальные проблемы. Различные школы; уступки, к которым склоняется буржуазия; различные проекты разрешения вопроса; почва, завоеванная социалистами, их дальнейшие требования. Наконец, показать социальную битву во всей ее остроте, борьбу за существование. А там, на горизонте, уже занимается великая заря... В «Париже», как и в «Жерминале»,—бездна человеческого страдания. [24] Это будет находиться в соответствии с «Лурдом», где я показываю страдания физические. Удовлетворение требований социалистов избавит бедняков от мук. Показать ужасающую нищету в одном из предместий Парижа, парижский ад. Страдания обездоленных, пасынков жизни. На этом фоне я покажу Жака,

на этом фоне развернется вся драма. Вопль несчастных, стремящихся к новой жизни.

Для симметрии «Париж» будет также состоять из пяти частей, по пять глав в каждой. Что же касается «Рима», центральной части трилогии, то в нем будет три части; определить число глав в каждой. [25] «Рим»— центральная часть полотна, «Лурд» и «Париж»—левый и правый фланги.

Потеря веры у Пьера происходит именно, как следствие возмущения разума. Пьер обожествляет разум. И после «Лурда», в «Риме», священник во имя разума пытается путем компромисса примирить церковь с современностью. И позже, в «Париже», опять торжество разума.—Мне говорили в Лурде: «Вот, если бы вы обратили рабочих!» Сила надежды и утешения, которые католицизм и христианство внесли в мир, иссякла, осталась лишь иллюзия, но и она становится бессильной. Следовательно, нужно заменить ее. Если стремились к христианскому раю, то лишь потому, что он воплощал в себе надежду. Теперь, когда восемнадцать веков [26] исчерпали эту надежду, нужно что-то другое (см. «Лурд», 32). Народ потерял веру, он стремится к более жизненным идеалам, требует результатов более ощутимых. Такое заключение должны иметь и «Рим», и «Париж»; это—социализм, распределение. Это тоже лишь мечта... Но ведь мечта христианства исчерпала себя, вместо нее нужна другая.

Самое страшное—это уничтожение загробной жизни: все ведь покоилось на этой спиритуалистической надежде, все человеческое общество верило и надеялось на будущую жизнь. Стоит ли жаловаться на несправедливость, зачем протестовать против чудовищной социальной лестницы, несправедливого распределения богатств и жизненных благ, раз впереди ждет счастье на небесах. И так, сгибаясь под тяжким бременем жизни, наивные верующие терпеливо ждали и надеялись. Но если уничтожить рай, если убить надежду на будущую компенсацию, тогда все рушится. Обман слишком чудовищен. Итак, когда идея о будущей жизни окончательно обанкротится, понадобится другая социальная база, [27] основанная на справедливости. Только тогда на земле воцарится счастье. Не надо также забывать о силе традиции: мы с молоком матери всосали веру в рай, в будущее вознаграждение. Именно это дает жизнь спиритуалистическим течениям (к примеру, реакция конца века). Нужно учесть также, какое отчаяние вызовет мысль о том, что никогда не встретишься с дорогими умершими, не соединишься с ними навеки. Все, что есть и чего нет, понятие о бесконечности, жажда справедливости и равенства, источник ее (до сих пор неразрешенная проблема). [28] Гимном заре нового, поднимающегося общества—вот чем я хотел бы сделать третью книгу моей трилогии—«Париж». В первой—«Лурд»—я покажу стремление человека к иллюзии и вере; стремление человечества к счастью; любовь к жизни здесь, на земле. Все это я только намечу, точно так же, как и надежду на будущее. В «Лурде» больше ничего не должно быть. В «Риме» я могу показать крах старого католицизма, попытки неокатолицизма вернуть церкви прежнюю власть над миром. Итог века. Наука оспаривается, истины ее подвергаются сомнению, реакция спиритуализма и неизбежный провал его. Наконец, «Париж»—торжество социализма; гимн заре, поиски человечной религии, полное счастье на земле,—и все это на фоне современного Парижа. Однако, не слишком увлекаться действительностью. Мечта. Письмо, которое я получил. Германия. Соединенные штаты Европы.

II. «НАБРОСОК» К «ЛУРДУ»

Естественно, что в рассмотренном нами очерке «Три города: Лурд—Рим—Париж» повторены некоторые мысли «наброска» к «Лурду», первого по времени синтетического высказывания Золя о своем романе. Основные идеи его («потребность страдающего человека в иллюзии», «религия человеческого страдания») намечены, но не раскрыты в «наброске». И хотя Золя ссылается на проблемы общего характера и говорит о современном спиритуалистическом движении, как об источнике религиозных устремлений, «набросок» разработан в большей мере со стороны бытовой фабулы романа. При этом Золя стремится противопоставить «оба Лурда» в целях разоблачения «чудес» и «исцелений» и нарисовать интеллектуально-психологическую драму священника Пьера Фромана и интимную трагедию Пьера и Мари.

Не следует забывать, что выздоровление Мари, которое она приняла за чудесное «исцеление», было предсказано диагнозом доктора Боклера. А так как Пьер Фроман об этом осведомлен, то выздоровление Мари не только не способствует возрождению в нем веры, а, наоборот, усиливает его неверие в христианскую религию и католицизм. Все же, он остается убежденным сторонником «религии человеческого страдания», утешающих иллюзий, во имя облегчения участи физически страдающего человечества.

Золя не ограничивается декларативным разоблачением лурдских «чудес». Наряду с публицистическими рассуждениями, он детально останавливается в «наброске» на «параллельных интригах», образах второстепенных действующих лиц, и, используя фабулу романа, стремится более наглядным путем, художественно раскрывая ее, разоблачить «благочестивую» атмосферу лурдских «чудес». Он подчеркивает корыстную утилитарность и эгоистические упования некоторых паломников (эпизод с наследством г-жи Шез, тетки больного мальчика Гюстава), парадоксальное использование мнимых благодеяний девы Марии во вред другим (смерть начальника, место которого должен занять взывающий к богоматери о милости Виньерон) и в целях чувственных (мольбы г-жи Маз о возвращении ей мужа), а не для избавления от физических бедствий. Золя создает ряд жанровых эпизодов, которые значительно оживляют его роман. Разработаны они в обычной для автора «Ругон-Маккаров» манере.

Обращают на себя внимание в «наброске» некоторые формальные проблемы романа. Прежде всего, вопросы композиционные. Здесь сказывается обычный прием Золя— вводить читателя in medias res. И действительно, «Лурд» начинается с описания поезда с паломниками, что дает возможность показать почти всех действующих в романе лиц. Описание несколько раз варьируется в первых пяти главах романа, а затем и в конце его. Такая экспозиция характерна и для других романов Золя. Это относится к «Чреву Парижа» (описание Центрального рынка), к «Дамскому счастью» (описание большого магазина), к «Деньгам» (описание биржи).

Таким образом, тенденция к публицистической заостренности «наброска» к «Лурду» сочетается с обычными для Золя формальными задачами, разрешение которых должно было способствовать художественной законченности романа.

Текст «наброска» к «Лурду»:

[68] Большое затруднение для меня представит самая организация книги. Мне хочется дать всю жизнь Бернадетты, описать оба Лурда и борьбу священника Пейрамаля. Но основной идеей книги является потребность страдающего человека в иллюзии.

Пожалуй, лучше всего начать роман с описания поезда паломников по дороге в Лурд. Таким путем я смогу показать сразу всех моих страдальцев. Сначала вагон третьего класса, переполненный больными; затем, слева, вагон второго класса; в вагоне справа, третьего или первого класса,

я помещу тех персонажей, которые должны дать мне типы моих больных: такое объединение значительно облегчит мне их характеристику. Историю каждого из них можно передать самыми различными способами: разговоры в вагоне, рассказы, личные размышления и т. д. [69] Бездна человеческого страдания, потрясающая картина несчастий (все, что мне только удастся придумать),—и все это под непрерывный стук колес поезда. Масса страдальцев, теснящаяся в вагонах поезда. Дать почувствовать, что со всех концов Франции, со всех концов мира двигаются подобные же поезда. Все те, помочь которым наука оказалась бессильна, все те, кто надеется найти утешение в химере.

Прошлое больных, нищета и муки, которые остались позади. Один из больных может скончаться между Тарбом и Лурдом, его будут уже мертвого окунать в святую купель. Монахини странноприимного ордена; одна или две сестры из общины успения богородицы; одним словом, дать типы всех персонажей, подходящих к данной обстановке. Студент-медик, практикант. После того, как я дам полную картину этого поезда страдальцев, дать почувствовать надежду: чтение [70] вслух в вагоне третьего класса, или рассказы о детстве Бернадетты; видения и чудеса. И вот в ночи, под стук колес рождается великая надежда.

Это составит первую часть книги. Во второй части—прибытие к гроту; неудовлетворенная мольба о даровании чудесного исцеления. Больница; купель в гроте. Отчаяние больных, узнавших, что исцеление невозможно. Ночь в больнице. Продолжение повествования: Бернадетта отправляется в Невер, борьба священника Пейрамаля.

Книга должна состоять из пяти частей.

Четвертую часть я посвящу другим деталям: ночь в Розэре; подробное описание обеден—и доведу повествование до четырехчасового шествия богомольцев; подъем к храму; завершающее торжество [71] грота. Затем, при помощи искусственного приема, я закончу главу посещением церкви священника Пейрамаля и комнаты Бернадетты. Вифлеем. Все идет оттуда. Наконец, в пятой части покончить с больными: подробнейшее описание; снова поезд; стук колес; обратный путь. Выводы. Отъезд—описание вокзала. Возвращение в Париж в том же поезде. И все-таки надежда еще жива. Закончить Пейрамалем и, главным образом, Бернадеттой. По всей вероятности, ее смерть; дать полную, обособленную картину. Противопоставление нового и старого Лурда, описание которого [72] я дал в первой части; здесь уже не могло бы появиться такой Бернадетты. Даже сраженная смертью, она все-таки осталась избранной. Выводы моего анархиста. Обдумать. Чтобы не слишком распылять факты, мне хочется ввести какой-нибудь центральный персонаж. Быть может, выставить в том или ином виде себя самого. Тут нужен человек свободной мысли, трезвого анализа, который верил бы только в прогресс науки. Он против суеверия, которое находит вредным, против взгляда, будто христианское учение принесло благополучие человечеству путем милосердия. Все здание христианства готово обрушиться, необходимо нечто иное, но он не знает, что именно. [73] Его поражает это стремление ко лжи, к иллюзии, которое с такой силой проявилось в конце нашего столетия, и он отправляется в Лурд, чтобы увидеть все собственными глазами, получить необходимые сведения. Итак, он приезжает, почти со злобным чувством поднимается к храму; и тут следует показать всю гамму его переживаний: сначала он растроган, а затем, к концу, над всем берет верх чувство необходимо-

сти чего-то иного. Этот персонаж может быть мне полезен и в дальнейшем, в «Риме» и «Париже». Меня несколько затрудняет его общественное положение. Не хотелось бы делать его врачом, вторым доктором Паскалем[4]; зато весьма соблазнительна мысль сделать его священником. Но как это будет трудно. Священник обладает специфическими, только ему присущими чертами, которые будут здорово стеснять меня. [74] Допустим так: молодой священник, тридцати двух лет, впал в безверие. Он никому не признается в этом. Тщетно он борется с собой, вера не возвращается. Ему не хочется скандала; у него маленький приход в Париже, где он и продолжает исправно выполнять свои священнические обязанности, хотя его терзают сомнения. Как поступить? Он не знает. Он ищет. Уйти, сбросить сутану, жениться, иметь детей, пахать землю? Пожалуй, он охотно пошел бы на это, но дает себя знать семинарское воспитание, а также и то, что по натуре своей он немножко проповедник. Затем дать его роман, но не выдвигать последний на передний план. Он надел рясу, потому что не мог жениться на девушке, которую любил с детских лет, так как болезнь с девятилетнего возраста приковала ее к постели. Он встречался с нею во время каникул, любил ее целомудренной, чистой любовью и, быть может, [75] пошел бы на все, если бы мог жениться на ней. Но можно ли было думать о браке с этим больным, обреченным существом (во всю эту историю замешан врач, как раз тот, который стал верующим в Лурде). Врач был атеистом, а семинарист верующим. Сейчас роли переменились. Прошли годы. Наука оказалась бессильной излечить девушку, и она все больше упований стала возлагать на религию, надеяться на чудо. После смерти отца пришла нужда. Быть может, лучше, чтобы отец был вдовцом, тип фантазера, вечно витает в облаках. Две дочери: одна калека, совершенно нетрудоспособная, очаровательная головка на высохшем теле; другая, старшая, учительница, некрасивая, убивает себя работой, [76] чтобы прокормить отца и сестру. Мать, пожалуй, только помешает мне (впрочем, если мне понадобится, дам и мать). Я хочу, чтобы это были интеллигенты. Это даст мне возможность заняться анализом явлений. Простой ум я оставлю в стороне. Уроженцы Прованса, они живут в одном из парижских предместий или в каком-нибудь пригороде, вроде Клиши или Леваллуа Перре. Здесь же поселился и викарий; сестра-учительница каждый день ездит в Париж на трамвае. Пожалуй, довольно оригинальной покажется эта психологическая драма—неверие в душе священника в чудо. Священник отправляется в Лурд только под влиянием неотступных просьб больной, тщательно взвесив вопрос со всех сторон. В свое время он знавал человека, который был в курсе всех лурдских дел, прекрасно знал, как там все обделывали. [77] Все основывалось на легковерии публики; все делалось с ведома и соизволения императора. Священник чутьем угадывает истинную сущность дела и хочет только убедиться в правильности своих предположений. Затем его потрясает даже самая мысль о том, что есть возможность излечить больную девушку.

Конечно, это болезнь чисто нервная, необходимо лишь сильно воздействовать на ее пол. Последнее как можно более пристойно: я хочу, чтобы все могли читать мою книгу. Он посвятил себя богу, потому что не мог жениться на девушке. Он отдал себя свободно, честно. И если бог здесь сейчас исцелит ее, какая горькая насмешка! Но, по существу, бог здесь не при чем, это вполне естественный исход болезни! В конце концов, ему придется опять-таки пожертвовать всем: ведь она, уверенная в том,

что ее исцелил господь, никогда не пойдет за расстригу. Итак, он жертва обстоятельств, он должен еще сильнее укрепиться [78] в своем самоотречении. Психологический вывод должен быть таков: если в легковерии кроется утешение... тут нужно обдумать. Священник—одинокий страдалец, стойко переносящий муки в среде счастливых мистиков. Больная выздоровела—она счастлива, а он терзается. Всеми фибрами души он стремится к истине, к жизненной правде: не яркий ли пример этого налицо? Итак, чудо его не убедило, он еще не верит в окончательное выздоровление. Его беседа со знаменитым врачом, который советует отвезти больную в Лурд. Разговор между двумя мужчинами после осмотра больной: «Г-н аббат, ее нужно свезти в Лурд». Священник даже вздрогнул: «Ужели вы верите в это, доктор?». «У меня были случаи, когда подобные больные там излечивались. Только подготовьте ее—она должна горячо верить!». Тонкий, проницательный взгляд. Священник подготовляет больную и затем, [79] когда она выздоравливает,—его радость и печаль. Он ничего не говорит, он признает силу легковерия, всю радость этого утешения, чувствуя, в то же время, необходимость чего-то другого. Очень умный, он крайне скромен, не желая использовать в своих интересах религию, в которую больше не верит. Очень усидчивый, он втихомолку много занимается; вообще отличается приветливостью, простотой в обращении, крайне целомудрен, превосходно владеет собой. До известной степени человек рассудка, так как, если сделать его человеком сильных страстей, чувства, то ему пришлось бы бороться с собой, и, быть может, он не в силах был бы противостоять им. Итак, все его переживания исходят скорее от головы. Он полюбил больную за ее обаяние и муки. Я могу вернуться к священнику в дальнейшем и в «Риме» и в «Париже», где он также будет центральным персонажем.

[80] Остается только придумать биографию священника и юной больной. Священник может быть племянником новообращенного врача, который поселился в Лурде. Разумеется, священник, больная и ее отец поедут в вагоне третьего класса, где развернутся главные сцены начала романа. Больная едет от убежища, чтобы ничего не стоить сестре. Священник также поступил в больницу, чтобы сопутствовать ей. Не знаю, использую ли я его, как санитара, или в какой-нибудь иной роли. Обдумать. Не забывать только, что он мне понадобится во всех основных сценах. Присутствие священника на протяжении всей первой части вполне оправдывается всем ходом повествования. Во вторую часть я включу его искусственным приемом: он будет переносить больную, поступит в больницу, будет [81] выполнять всякие работы, но только не свои священнические обязанности. Он никогда не исповедывал и не причащал больную. В третьей части он добивается разрешения для больной провести ночь в передней части грота (после приступа сомнений она боится ночевать в больнице). Он сопровождает ее в больницу и дежурит около нее всю ночь. Священник отправится также в Розэр; таким образом, он даст мне все ночные сцены. Меня сильно затрудняет процессия с факелами: как сделать, чтобы она явилась концовкой главы? И все-таки я не вижу возможности закончить главу процессией. Священник и больная могут лишь встретить ее, когда они идут вечером в грот.

Придумать для концовки что-либо другое. Некоторой помехой для общего хода романа представляется то обстоятельство, что священник сейчас слишком выдвинулся на передний план.

[82] Священник участвует во всех сценах, но лишь в роли безмолвного наблюдателя; другими словами, у него не будет никаких столкновений, никакого нарастания действия, следовательно, и сильного интереса этот тип вызывать не будет. Нужно дать ему более активную роль или же сохранить его в роли пассивного наблюдателя, но тогда постараться извлечь из этого положения возможно бо́льшую оригинальность. Он выступает лишь в роли наблюдателя тех или иных событий, не стоит выводить его во всех мелких сценах; пусть он принимает активное участие в действии лишь тогда, когда это естественно вытекает из самого хода повествования. Он не перестает надеяться на то, что и его осенит милость господня. Священник неверующий. Отправляясь в Лурд, он не преследовал специальной цели вновь вернуть себе веру, однако, он надеется на милость всевышнего: годы, проведенные в семинарии, дают себя знать. Я могу даже сделать так, чтобы больная оттолкнула его и как-то раз сказала: «Я молилась за вас»... «За меня!». «Да, я знаю, что вы страдаете, [83] вы нуждаетесь в молитве!». Она единственная, кто разгадал его. Все это чрезвычайно целомудренно, возвышенно. С этого момента в нем оживает надежда, возврат веры кажется возможным, милость господня снова снизойдет на него. Он больше уже не равнодушный свидетель. Однако, Лурд оказывает на него как раз обратное действие. Лурд не излечивает его, подобно тому, как он излечил больную, а, напротив, рождает в нем еще бо́льшие сомнения, окончательно убивает в нем веру. Итак, в момент отъезда в Лурд в глубине души его есть стремление убедиться, посмотреть: быть может, и с ним произойдет чудо, невзирая на то состояние недоверчивости, ко-

„ЛУРД“ ЭМИЛЯ ЗОЛЯ
Рисунок Т. Стейнлена

Иллюстрированное приложение
к „Gil Blas“ от 11 апреля 1894 г.

торое он переживает. Однако, Лурд еще больше отталкивает его от веры. Особенно горько поражают его симония, уродство самого культа, изгнание Бернадетты (к последней он чувствует большую нежность), борьба [84] священника Пейрамаля, два Лурда. Он уезжает еще более неверующим, чем до приезда. Итак, наиболее важной представляется мне характеристика и роль аббата. Он знал больную еще девочкой; когда-то они играли вместе. Затем они были разлучены. Священник сохранил об этой десятилетней девочке (ему было тогда шестнадцать лет) самые восхитительные воспоминания. Их, так сказать, поженили уже с детства, заставляли играть в мужа и жену. В дальнейшем он живет с матерью, вдовой, которая и убеждает его стать священником (причины этого). Да и у него самого есть склонность к духовной карьере. После смерти отца мать воспитывала его в строго религиозном (католическом) духе. Отец был свободомыслящим человеком, хотя бы химиком по профессии, и умер от несчастного случая—взрыва перегонного куба. Мать, потрясенную насильственной смертью мужа, преследует мысль, что он попал в ад; [85] она постоянно замаливает его грехи, заказывает обедни и хочет, чтобы сын сделался священником. Священник, раздираемый этими двумя наследственными началами. Небольшое состояние позволяет ему вести вполне независимую, даже зажиточную жизнь. Быть может, мне даже удобнее будет сделать его состоятельным человеком. Мать священника умрет, но я, пожалуй, хорошо сделаю, если дам ему брата, с которым мать не встречается. Брат гораздо старше священника, ему сорок лет, он мне может пригодиться и в «Риме» и в «Париже». В особенности, этот брат может мне пригодиться в «Париже», если я сделаю его активным анархистом. Я могу столкнуть его со священником, и, таким образом, у меня будет борьба между двумя братьями. Здесь допустимы любые комбинации, особенно, если я этого брата женю или дам ему любовницу: вмешательство женщины в борьбу между двумя братьями. В «Лурде» я лишь упомяну [86] о брате и вернусь к нему в дальнейшем; в «Риме» же, по всей вероятности, использую. Но возвратимся к священнику. Основное—это решить, каким путем в нем происходит упадок веры. Если я сделаю его честным человеком, то он будет верить постольку, поскольку будут исполняться его желания. Однако, эпизод, когда он встречается с больной, показывает всю тщетность обетов. Итак, на момент его охватывает сомнение, он даже хочет бросить семинарию. Это случается как раз в период каникул: он вновь встречается с молоденькой девушкой; ему двадцать четыре года, следовательно, ей восемнадцать; это как раз наиболее острый период ее болезни, она лежит в лубках, осуждена на полную неподвижность; болезнь неизлечима—таков приговор всех [87] врачей. Она уже не женщина, предполагают, что у нее никогда не было регул. Она, так сказать, сброшена со счета человеческого. С грустной улыбкой говорит больная об их прежней любви. Она никогда не будет женщиной, он станет священником—оба они умрут для мира. Тогда священник решается пожертвовать своей жизнью, посвятить себя богу, произнести священные обеты. Разум логический и трезвый молчит в нем, он не задается вопросами, весь поглощенный одним желанием—доставить удовольствие матери. Итак, горе, вызванное крушением всех грез его юности, а также возможность осчастливить мать—вот что, в конечном счете, побудило его надеть рясу. Помимо того, он, как честный, хладнокровный человек, чувствует в себе силу сдержать произносимые им клятвы. Затем мать умирает, и вот он [88] предоставлен самому себе. В семинарии,

следуя совету своих наставников, он всегда подавлял в себе желание заглянуть в корень вещей. Все, чему учили его, вызывало в нем удивление, но он заставлял себя жертвовать разумом, заглушая в себе голос логики, как от него того требовали. Однако, не стало матери—и наступил кризис; мне хотелось бы, впрочем, чтобы этот кризис был вызван каким-нибудь вполне определенным фактом. Кризис приводит к тому, что священник подвергает сомнению абсолютно все догматы. Он окончательно потерял веру и, вместе с тем, носит духовное звание. Мне хотелось бы, чтобы это случилось с ним тотчас же по окончании семинарии, непосредственно после рукоположения в духовный сан. Мать испытала высочайшую радость—присутствовать на первой обедне, которую служил сын. Вскоре она умирает. Действие развертывается в маленьком, принадлежащем священнику домике. После смерти матери он заболевает; [89] слабый и печальный, он медленно поправляется в одиночестве своего жилища. Здесь, в кабинете его отца, заперта вся библиотека покойного. Он открывает шкафы, читает книги. Забытые бумаги. Он производит буквально целое расследование. И тогда в нем заговорил отец. Умерла мать—и в сыне заговорила отцовская кровь. Но ведь он священник. Как ему поступить? Ненарушимость священных обетов. Ему противна мысль о том, чтобы сбросить сутану. Он знает священника, который так поступил, женился, но сейчас чувствует лишь отвращение к браку. Каким путем священник приходит к решению и дальше честно исполнять все обязанности, налагаемые на него его званием. И как только здоровье его несколько поправляется, он снова служит обедни; [90] ни на момент не хочет прерывать исполнение своих священнических обязанностей. Он навеки прикован к религиозной машине и не будет делать попыток освободиться. Мне хочется, чтобы один и тот же доктор лечил и его и больную девушку в Лурде. Больная женщина, которую увозят в Кантерэ, девушка, умирающая в Лурде.

Врач, обращенный в веру, поверивший в чудо ввиду бессилия его науки. Этот врач, друг отца священника, рассказывает последнему о покойном, рисует сыну правдивый образ отца, а не тот, который сложился о нем в воображении матери. С этой минуты врач способствует укреплению сомнений в душе священника. В таком случае, врач—неверующий и [91] убивает веру в священнике; в дальнейшем—обратное явление. Я уже сейчас могу наметить место, где перезнакомились все мои персонажи, где, так сказать, начались все события. Мне хотелось бы взять какое-нибудь парижское предместье или деревню в окрестностях. Весьма подходящим местом мне представляется Нейльи. Семья священника занимает здесь маленький собственный домик. Отец, интеллигентный человек, химик по специальности, занимает какой-нибудь официальный пост, быть может, на монетном дворе или где-нибудь в другом месте. Врач, с хорошей клиентурой, переехал в Нейльи из-за слабого здоровья жены, и совершенно случайно как-то раз вечером его позвали к матери священника. В дальнейшем, доктор навсегда поселяется в Нейльи, где он приобрел себе хорошую клиентуру. Наметить все даты таким образом, [92] чтобы одно событие отделялось от другого логически обоснованным промежутком времени. Что же касается семьи больной, то она постепенно падает все ниже и ниже. Сначала семья занимает маленький соседний жилищу священника домик. Палисадники отделялись один от другого лишь живой изгородью, и дети легко перезнакомились. Затем дела отца больной девушки пошатнулись.

Мне хочется сделать его архитектором, которого сильно скомпрометировало несколько неудачных построек (обрушились конструкции). В дело была замешана церковь, священники. Жена его, весьма религиозная женщина, совершенно покорила мать священника. Пока была жива мать больной девушки, чрезвычайно практичная женщина, дела еще как-то шли. Домик продали. Сняли квартиру по соседству. Но вот уже год, как мать умерла, и семья испытывает все более острую нужду. Сестра-учительница кормит отца и сестру. [93] Отец—грубый человек, тип архитектора-выдумщика, он всегда парит в небесах, совершенно не замечая окружающей его нужды. Семья скатывается все ниже и ниже. Учительница кормит всех. Ее я оставляю в тени, только упомяну о ней. Священник продолжает выполнять свои обязанности, причем не как свободное духовное лицо, а как викарий церкви в Нейльи. Он ведет скромную, уединенную жизнь, попрежнему занимает тот же маленький домик. О нем идет слава, как об умном человеке. Архиепископство не раз делало ему всевозможные предложения, всячески желая привлечь его к работе. Но он на все отвечал отказом. Быть может, одно из таких отвергнутых им предложений заставляет его даже пожалеть об упадке в нем веры: ведь будь он верующим, он бы принял предложение и мог бы принести пользу. С этой минуты — его попытки вернуть себе веру в Лурде. Именно потому, [94] что он не верит, он стремится остаться в тени, продолжать жизнь скромного, никому неизвестного священника, остаться честным человеком. Он мечтает о великом милосердии (но это лишь в конце романа «Лурд», вместе с идеей религии человеческого отрицания). «Лурд»—это попытка священника возродить слепую, наивную веру XII века, и священник терпит неудачу. В «Риме» он пытается примирить церковь с современностью (де Вогюэ), и снова его ждет поражение. Наконец, в «Париже» дать социализм, грядущий XX век.

Итак, «Лурд»—это попытка священника вновь возродить абсолютную веру. Но напрасно он горячо молится об этом, вера не возвращается. [95] Последнее как-то оживляет тип священника. Все только отвращает его от веры! Именно Лурд не дает ему вернуться к наивной вере детских лет. Какое действие оказывает на него Лурд. Даже если сделать уступку на слабость и хрупкость человеческого организма, все равно, верить невозможно. В конце нужно, чтобы священник просто верил в религию человеческого страдания. Но какие возражения выдвигает тут его разум? Разве можно во имя веры уничтожить разум? Опасность абсурда: каковы будут грядущие поколения? Долгий опыт уже показал, что представляет собой общество, основанное на милосердии; пора, наконец, обратиться к справедливости (социализм): словом, нужно, чтобы священник был против суеверия, против стремления [96] к сверхъестественному, в котором человечество ищет убежища от жестокой реальности. Именно в этом должна состоять роль священника. И если он больше не верит, то это есть следствие возмущения его разума. Он обожествляет разум. Позже, в «Риме», как раз во имя разума он попытается путем компромисса примирить церковь с современным веком, и еще позже, в «Париже»,—конечное торжество разума. Я уже сказал, что именно священник убеждает отца больной отвезти ее в «Лурд». Известный врач (Шарко[5]) настаивает на том, чтобы священник уговорил больную, чрезвычайно набожную, отправиться в Лурд. Таким образом, чудо предусмотрено, врач, так сказать, предупредил о нем. Нужно, чтобы и сам священник был в курсе всех лурдских дел. В силу некоторых обстоятельств, у него в руках оказались

документы, [97] касающиеся Лурда. Он был знаком также с одним из видных тамошних деятелей, сыгравших большую роль во всех лурдских делах, и знает, что его там встретит. В течение какого-то времени священник даже с увлечением изучает документы, касающиеся Лурда; и в ослаблении его веры это исследование сыграло известную роль. В таком случае, лучше всего, чтобы священник нашел папку с документами в кабинете отца, который был приятелем вышеупомянутого крупного должностного лица. Дубликаты протоколов администрации, полицейские рапорты, опрос Бернадетты, определение врача, всевозможные дознания.

Священник разыскал все, что было в свое время написано по поводу Лурда: газеты, журналы и т. д. Одним словом, все материалы. И у него сложилось определенное мнение. Поэтому, на первое предложение врача он ответил резким отказом. Любопытная получается сцена! Неверующий священник из уважения к сутане отказывается принимать участие в этой истории, где, по существу, дело идет лишь о внушении. Почему же, в конце концов, священник соглашается? [98] Здесь, во-первых, играет роль его привязанность к девушке, а также, до известной степени, желание продолжить изучение Лурда на месте. Кроме того, в глубине души он лелеет желание еще раз попытаться вернуть себе веру, раствориться, умалиться перед творцом, если вера к нему возвратится. И вот последний опыт. Он чувствует большую нежность к Бернадетте; это чувство еще усиливается в Лурде. Жертва, высший предел самоотречения. Священник подозревает, что аббат Адер, быть может, сам того и не сознавая, пустил в ход все средства. Дать священнику все мои переживания и закончить,—я повторяю,—тем, что возвращение веры немыслимо, а также стремлением к религии человеческого страдания, с оговоркой о той опасности, которую представляет расплата за легковерие. Это может служить лишь утешением для немногих. С точки зрения социальной опыт уже проделан, и человечество [99] гибнет. Не забывать о том, что больная разгадала внутреннюю драму священника и молится за него. Никогда она не будет его женой, никогда не выйдет за священника, отступившего от своих клятв; однако, она стала женщиной, может выйти замуж. Обдумать; быть может, она дает ему клятву остаться навсегда девственницей, сделаться монахиней, как Бернадетта. В поезде, увозящем их в Париж, она шепчет священнику на ухо свою клятву—пожалуй, в этой сцене будет много возвышенного. Они целуются. Так как мой священник представляет собой довольно своеобразный тип, мне нужен еще один священник, вполне заурядный, верующий человек, при этом весьма целомудренный и очень добрый. Мне хотелось бы также дать тип салонного аббата, слегка скептика, но подчиняющегося всем законам религии; потребуется также отец из общины успения, вроде того, который в свое время показывал мне все достопримечательности Лурда. Должен быть также святой отец [100] и при гроте, хотя бы отец Ног, директор «Ежегодника», или сам отец Бордедеба.

Мне нужно было бы придумать несколько параллельных интриг, чтобы заполнить некоторые сравнительно пустые части. В этом смысле мне помогут санитары и больные. Я уже говорил, что у меня будет брак между сестрой милосердия и санитаром. Мать этой девушки может быть заведующей приемным покоем; это женщина, достойная всякого уважения, всецело преданная делу милосердия, что, впрочем, не мешает ей иметь дочь и стремиться выдать ее замуж. Итак, она вдова из очень хорошей семьи, у нее дочь, не слишком красивая, но очень приятная. Весьма ограничен-

ные средства. Девушке уже двадцать три года, и ее немного беспокоит вопрос о замужестве. Брак удается, главным образом, стараниями дочки, но и мать, ни на минуту не переставая заботиться о своих больных, до известной степени помогает ей. Матери [101] пятьдесят лет, дочке двадцать три года; когда последняя сообщает ей о предстоящей свадьбе, мать говорит: «Я вымолила успешное окончание дела у святой девы». Большая самоотверженность, золотое сердце. Дочка несколько похожа на мать, но в ней больше предприимчивости. Юноша, за которого она выходит замуж,—поместный дворянчик, провинциал, одного возраста с нею; он—сирота, обладает приличным состоянием и довольно большим честолюбием. Мать сохранила связи с несколькими влиятельными лицами и без труда может сделать зятя дипломатом. Итак, она вдова человека, сделавшего в свое время карьеру. Я введу еще одного санитара, судейского, отставленного от дел после издания новых законов; в Лурде он занимает должность директора при службе источников; он двоюродный брат молоденького санитара, который занят на перевозке больных с вокзала в больницу и из больницы в грот, а также [102] обслуживает самый грот. Именно бывший судейский советует санитару жениться на девушке. Сам он большой реакционер, политик, выступает в Лурде против республики. Впрочем, веселого нрава, всецело преданный своему делу, не из тех, кто—лишь бы сделать и с плеч долой. Молоденький санитар любит порисоваться... и т. д. Вот уже три года, как он живет в Лурде с одной лишь мыслью найти себе там жену. В провинции, хотя бы в Тарбе, он не мог найти то, что ему нужно; он хочет парижанку, которая помогла бы ему сделать карьеру, и он женится на названной девушке лишь после очень долгих размышлений, выбрав ее из трех представившихся ему невест. Двух других я лишь назову, чтобы не слишком загромождать книгу. Не знаю, стоит ли мне включать в число персонажей еще других санитаров; впрочем, я могу показать их за работой. Пожалуй, стоило бы дать тип знатного дворянина, большого барина, [103] всецело посвятившего себя делу милосердия; во всяком случае, оставить его на заднем плане. Это было бы неплохо. Мне хотелось бы, чтобы среди дам—сестер милосердия, обслуживающих больных, была одна помощница. Ей тридцать пять лет, и ее пожирает страсть. Всецело под властью мужа, который лишает ее всего, и свекрови, которая держит ее взаперти, она уступает любовнику; его я лишь назову. Это чрезвычайно корректный, серьезный человек; я покажу его один раз в гостинице, а также молящимся в гроте. В течение целого года дама пользуется лишь тремя днями полной свободы, когда приезжает в Лурд. Свекровь, деспотичная, требовательная женщина, никуда ее не пускает. Краткие мгновения восторга, которые она проводит с любовником. Номер в гостинице, так как ее любовнику не удалось найти ничего иного. Приключение. Хотелось бы, чтобы священник был знаком с ней или был замешан в ее историю, он дает ей отпущение грехов. Являясь ее духовником, [104] он знает всю ее историю из исповедей. Наконец, мне хотелось бы иметь сестру милосердия во всем блеске молодости и красоты. Вот уже третий раз, как она приезжает в Лурд; она преисполнена горячим чувством жалости и сострадания, все свое время отдает больным, примерная сестра милосердия. Детей еще нет. «Вот мое призвание—ухаживать за больными». «Но почему бы вам не сделаться сестрой милосердия?». «Я не могу, я замужем. Муж очень любит меня, да и я его не меньше». Муж с друзьями ждет ее в Котерэ. Ее самое большое удоволь-

ствие—три дня в году проводить в Лурде, ухаживать за больными. У нее нет детей, и она молит святую деву ниспослать ей благословение. На этот раз в ней зародилась надежда, она что-то почувствовала. Своей жизнерадостностью, веселостью, звонким смехом она словно освещает весь приемный покой. Немножко взбалмошная, вечно громко болтает, звонко хохочет. Тип сам по себе хорош, но он как-то выпадает из общего тона повествования; придется [105] или сделать ее второстепенным персонажем, отодвинуть на задний план, или найти возможность использовать гораздо шире. В качестве больных, не считая главной героини, у меня есть еще маленькая девочка, которая приехала с матерью. Они очень бедны, но им удалось скопить денег на путешествие. Мать, работница одного из окраинных кварталов Парижа, потеряла мужа—его убил труд. Осталась с дочкой, болезненным ребенком, к которой она страстно привязана. Она работала (портниха) непокладая рук, чтобы хорошо воспитать ее. Бессилие медицины. Она неверующая, не исполняет никаких обрядов, и только раз, совершенно случайно зайдя в церковь, чтобы помолиться о здоровье дочери, она, как ей показалось, услышала какой-то голос. Тут она сделала все возможное, чтобы попасть в Лурд. Не имея протекции, она не смогла устроить дочь в больницу, не смогла достать ей проездной билет со скидкой и теперь не знает, [106] на что ей дальше жить в Лурде. Ребенок еще мог ходить, но утомление от путешествия. Ребенку пять лет. Его можно легко носить на руках, ведь он такой слабенький, такой легкий. Смерть девочки. Это персонаж, который стоит совершенно в стороне, он даст мне описание убежища, смерть.

Будет у меня также экстраординарный профессор университета или что-либо в этом роде, который даст мне тип интеллигента. Вот уж семь лет подряд он ежегодно приезжает в Лурд после того, как советовался со всеми врачами и побывал на всех водах. Вера в этом мозгу интеллигента. Кратенько рассказать его историю. Когда-то он был атеистом, страдание привело его к вере, и он прекрасно отдает себе в этом отчет. Его жена, молчаливая и нежная, ходит за ним, как нянька. На этот раз он зачисляется в общину, ему захотелось приехать в Лурд, как бедняку. Эпизодический персонаж. Приезжая, он говорит: «На этот раз я излечусь». А возвращаясь, сначала [107] он обескуражен, а потом в нем вновь зарождается надежда: «Ну, это случится в будущем году». Чахоточная нянька, ничего не ест, едва волочит ноги, кашляет. В гроте на нее вдруг словно снисходит благодать: она ест, бегает, участвует в процессии с факелами, умирает в поезде на обратном пути. Клементина—найденыш; ребенка, который излечился два года назад, ежегодно привозят в Лурд, как пример и рекламу. Беспрерывное снование взад и вперед в больничной палате. Дамская община. В гроте то же самое. К второстепенным персонажам я прибавлю красотку, страдающую водянкой головы, женщину с раком желудка, которая умирает ночью в больнице, и другую, с лицом, изъеденным волчанкой; последней кажется, что она поправляется (заметные раны). Наконец, мне хотелось бы иметь еще одну больную—у нее поражены туберкулезом все внутренние органы. [108] Ей шестнадцать лет. Парижанка, работница, очень красивая, нежная, огромные глаза, расплачивается за тяжкое наследие сифилиса и алкоголизма. Ей гораздо лучше, и ее еще раз привозят к гроту, где она и умирает, вперив широко открытые глаза в святую деву. Пожалуй, лучше, чтобы это была не женщина, а юноша двадцати пяти лет, воспитанник школы для бедных, который приехал

с сестрой. Их поместили в помещении для семейных или в больнице. Пожалуй, лучше, чтобы он приехал один. Скверная наследственность; обдумать. Он умирает, как я уже сказал выше. Наконец, у меня остается лишь маленький золотушный, приехавший со всей семьей. Тут я разверну целую драму, которая займет как раз две недостающие мне главы. Семья (буржуазная) остановится в гостинице. Отец, [109] мать, тетка и маленький больной. Драму, построенную на корыстных целях, дать очень легко; ребенок должен был получить наследство, которое в случае его смерти родители потеряют. Бездетная, очень богатая тетка привозит всю семью в Лурд. Она обожает ребенка, который похож на нее. Все дело в том, чтобы она умерла раньше ребенка. Итак, она тоже больна, у нее болезнь сердца; она приехала, чтобы вымолить себе исцеление. Она составила завещание в пользу ребенка. Достаточно, таким образом, сердечного припадка ночью, чтобы она отправилась на тот свет и оставила свое состояние маленькому племяннику. Вся эта скрытая и, вместе с тем, страшная семейная драма; маленькому больному, которого недуг сделал чрезвычайно чутким, все понятно. Его глубокая грусть, страшная улыбка. Как он реагирует на радость своих родителей, которой они не в состоянии скрыть. Ведь наследство достанется им. [110] Мой священник примет участие во всей этой истории, так как его призовут для последней исповеди и отпущения грехов умирающей. Он случайно услышал разговор между отцом и матерью. Ему понятно состояние и грусть ребенка, которого родители заставляют определенным образом вести себя по отношению к тетке, чтобы умилостивить ее и получить наследство. Отец и мать—добропорядочные буржуа, ими руководит исключительно практичность, они вовсе не преследуют каких-либо злостных целей. Они или должны выполнить взятые на себя обязательства или попросту хотят поправить дела, которые в последнее время идут неважно. Ни в коем случае не делать так, чтобы они запутались в долгах и хотели бы наследством спасти свои дела. Итак, в гостинице происходят две сцены. [111] Наконец, у меня есть женщина, которая приехала испросить милости нравственного порядка; остановилась она у монахинь общины святого духа. Мне хотелось бы, чтобы это была молодая, но уже увядшая женщина; она приехала, чтобы вымолить у святой девы возвращения на путь истинный своего мужа, которого она очень любит; но он всячески отравляет ей жизнь; увядшая раньше времени, не способна бороться. Очень грустная, молчаливая, покорная. Она ищет утешения в религии. Муж, коммивояжер, почти всегда в отсутствии, она живет совершенно одиноко в Париже или в Анжере, где останавливаются по дороге в Лурд. Ей известно, что муж бегает за каждой юбкой и тратит на женщин все зарабатываемые им деньги, и немало денег. Итак, она молит святую деву вернуть ей мужа и обещает, в свою очередь, обратить его на путь божий. Эта женщина останавливается у монахинь [112] общины святого духа, и я хочу, чтобы ее муж, который как раз объезжает юг Франции, покинутый в По любовницей, неожиданно приехал за женой в Лурд и, по странной прихоти, увез ее на две недели в Люшон. Она на платформе как раз в момент отхода голубого поезда. «Вы уезжаете?». «О нет, муж увозит меня в Люшон», и лицо ее сияет. Так получится очень удачно. Что касается эпизодов второстепенных, дать один, не больше. Я думаю о том, что мои буржуа, родители золотушного мальчика, приехали в Лурд также для отца: испросить для него места начальника в управлении, где он занимает должность заместителя. Особенно рьяно выма-

„ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАЛОМНИК“
Карикатура на Золя в связи с его поездкой в Рим
Рисунок А. А. Лабудзь. „Стрекоза“ 1894 г., № 47

ливает эту милость отец. [113] И вот из письма своего приятеля он вдруг узнает, что начальника хватил апоплексический удар, после которого тот окончательно впал в детство, и что, по всей вероятности, место начальника достанется ему. В этой семье каждый вымаливает себе какую-нибудь милость. Итак, масса просьб. Затем есть у меня две сестры из общины успения богородицы, одна постарше, которая заведует питанием больных в поезде, и другая молоденькая, приятная, даже красивая: ей двадцать пять лет, блондинка, прекрасные голубые глаза, молочная белизна кожи; бодрая, приветливая, веселая. Ничего специфически женского, [114] за исключением мягкости, доброты, лучезарной приветливости. Чтобы особенно подчеркнуть этот момент, мне хотелось бы, чтобы эта сестра еще в Париже ухаживала за умирающим бедным юношей у него на дому: между ними ничего не было, исключительно братские отношения. Но каким образом рассказать эту историю? Как ее кончить? Мне кажется, что юноша может быть медиком, практикантом в больнице; он одного возраста с девушкой. В Париже, не имея ни гроша денег, он тяжело заболевает и лежит один, без всякого ухода, в своей мансарде. Девушка переезжает к нему, ухаживает за ним, спасает ему жизнь. Они встречаются в поезде. [115] Он неверующий и решился поехать в Лурд отчасти из любопытства, отчасти потому, что ему пришлось заменить приятеля. Его радость при встрече с сестрой. Их прошлая история. Затем они встречаются в больнице, где он заведует аптекой. Оба присутствуют при агонии женщины, страдающей раком желудка (той известна их история). Наконец, они вместе возвращаются в Париж. Все это, чтобы показать мужество молоденькой сестры; я в двух или трех случаях показываю ее всегда мужественную, всегда в первых рядах. В ее раз-

говорах с юношей «чудо», как таковое, никакого места не занимает, речь идет только о милосердии. Вторая сестра, тоже хорошая, мужественная женщина, но о ней я упомяну лишь мимоходом. Она, так сказать, второстепенный персонаж, один из тех, которые дают мне фон общего полотна. Заведующий подаяниями приемного покоя, хороший священник, чудесно исцелившийся от болезни глаз, святая душа; крайне набожный, твердо верит [116] в чудо. Вера в нем крепка, ее не в силах смутить никакие испытания, в нем нет места борьбе и сомнениям. Он мне нужен для противопоставления моему священнику, который переживает внутреннюю борьбу. Он неглупый человек, но целиком посвятил себя религии. Это средний тип тамошних священников. Впрочем, мой священник сумеет на протяжении одной странички охарактеризовать все типы служителей бога, которые встречаются в Лурде. Заведующего подаяниями я могу также показать в поезде, он сопровождает больную, страдающую водянкой головы. Ему во что бы то ни стало хочется, чтобы она выздоровела, но все его старания тщетны. Я еще поразмыслю над ее болезнью, может быть лучше сделать ее дурочкой, с разбитыми параличом ногами. Я покажу ее в поезде, в больнице, в гроте, в процессии и, наконец, на обратном пути в Париж. Больная весьма опечалена тем, что ей не удалось излечиться, но не теряет надежды. [117] Что касается отцов из общины успения, я возьму отца Пикара, причем изменю лишь его имя, а тип оставлю тот же. Это—властный человек, генерал, энергично, со страстью отдающийся своему делу. Мне хотелось бы дать еще одного отца из общины успения; этот последний носит духовный сан по призванию, учился в семинарии вместе с моим священником (его противоположность). Горячая вера; фанатически верит в чудеса. Он проповедует, выкрикивает литании. Среди капуцинов и других священников он единственный, кто слепо верит в чудо. Участвует в четырехчасовой процессии. Он всегда вместе с отцом Пикаром, который его очень любит. Что касается святых отцов в гроте, я отведу им самую скромную роль. Они совершенно стираются перед отцами из общины успения. [118] Я их представлю, как внутреннюю силу, на заднем плане. Они вершат всеми делами, стараясь извлечь наибольшую выгоду. Я их, подобно силуэтам, только очерчу. Их борьба с городом; коммерческие дела; монахиня из общины святого духа. Найти место, чтобы дать необходимые высказывания. Профили; отец-настоятель, отец Ног. Алчные крестьяне. Тип врача-диагноста мне может дать хотя бы Буассари. Он будет играть роль только в зале освидетельствований. Мой врач, обращенный в веру, даже до известной степени уважает его. Известный врач, вернувшийся в лоно церкви. Тут нужно дать крупную, большую фигуру. Каким образом человек высокоразвитого ума, светлого ума, вскормленный на точном анализе всех явлений, мог притти к тому, чтобы под влиянием большого горя уверовать в чудо. [119] Показать это в разговорах со священником. Мальчик из палаты доктора Буассари, который постоянно ворчит во время споров и которого вечно просят замолчать. Он один прав. Нужно или покориться или уйти.

Хозяин гостиницы, в которой развертывается часть эпизодов. Это человек, делающий вид, что верит, но внутренне он против грота, так как содержит лавку святых реликвий в соседнем доме. Он обвиняет святых отцов в том, что они захватили в свои руки всю торговлю, и, быть может, передает некоторые их тайны. Как хозяин гостиницы, он настроен против сестер общины святого духа, а как торговец святыми реликвиями—про-

тив лурдского духовенства. Магазин ведет его племянница, [120] красивая девушка; нужно, чтобы и она была замешана в какую-нибудь интригу. Сообщения насчет святых отцов могут быть сделаны отцу моей больной и какому-нибудь священнику (после того, как трактирщик удостоверится в том, что последний также настроен против святых отцов из грота). Обдумать интрижку между племянницей трактирщика и одним из святых отцов (салонный аббат). Наконец, против гостиницы расположился парикмахер, который пускает жильцов и дает им пансион. Мне хотелось бы, чтобы парикмахер был из верхнего города. Он республиканец, яростно выступает против грота, но, вместе с тем, тревожится, когда слышит разговоры о том, будто бы грот собираются прикрыть, так как он его кормит. Итак, старается выжать все, что можно, из паломников. Парикмахер может быть членом муниципального совета, или же туда входит его дядя (пожалуй, я предпочел бы последнее). Одним словом, парикмахер—представитель верхнего города, прогресса, свободной мысли, скорей [120-бис]—свободной конкуренции. Ведь носителем истинной свободной мысли является мой священник. Как-то раз отец больной в сопровождении священника отправился побриться и вызвал парикмахера на откровенность. Сначала тот рьяно выступал против грота, но стоило только коснуться его интересов, как он тотчас же забил отбой. Парикмахер может также сопровождать священника (когда этого требуют его интересы) в комнату Бернадетты или в церковь, где служит священник Пейрамаль. Хотя, пожалуй, лучше, чтобы это сделал обращенный в веру врач.

III. «НАБРОСОК» К «РИМУ»

Начальную часть «наброска» к «Риму» занимают мысли о христианстве в историческом его развитии. Почти дословно, лишь с добавлениями, мысли эти высказывает в романе Пьер; они составляют содержание его книги «Новый Рим». Основные идеи этой части «наброска» являются своего рода тезисами ко всему роману «Рим»; они очень характерны для писателя-социолога Золя и, вместе с тем, могут свидетельствовать о резкой эволюции образа Пьера Фромана, героя «Лурда».

Прежде всего, Золя устанавливает, что «в развитии человечества за вопросами религии всегда скрывались вопросы экономические». Этот вывод, естественно, приводит к пониманию религиозных движений, как одной из форм классовой борьбы. Первоначальное христианство представляется Золя выражением социальных чаяний обездоленной массы. «Христианство было религией бедняков»,—пишет Золя,—и направлено против римского общества, но эволюция христианства, его огосударствление привело католицизм к «защите богачей и собственности». Констатируя, что первая буржуазная французская революция не удовлетворила чаяний масс («четвертое сословие, трудящиеся страдают попрежнему и мечтают о своем 89-м годе»), Золя сознает, что «проблема социализма... встала между миром капитала и миром труда». И он предлагает «заменить наемный труд чем-то иным, участием рабочего в прибылях капиталиста». Эти мысли Золя лягут в основу его фурьеристской утопии «Труд», написанной позднее.

Однако, когда Золя касается «католического социализма», выступившего на арену в последние десятилетия XIX в., особенно в девяностые годы, он излагает мысли лишь своего героя Пьера Фромана, который от восприятия физических страданий в «Лурде» переходит к оценке социальных страданий бедноты в рабочих кварталах Парижа. Перед угрозой резкого социального кризиса, как результата классовой борьбы труда и капитала, Фроман ищет исхода в новых формах религиозного движения. Рисуя историю священника Пьера Фромана, Золя синтезировал данные о «социальном католи-

цизме» в ряде стран, о чем он упоминает в «наброске». Это—пропаганда епископов Кеттелера, Маннинга, Гиббона, Ирeланда и светских лиц—де Мена, де Курциуса и других. Нужно иметь в виду, что в 90-х годах вышел целый ряд книг, посвященных «социальному католицизму», или «католическому социализму»: Л. Грегуар, «Папа. Католики и социальный вопрос», 1898; Нитти, «Католический социализм», 1894; М. де Жирар, «Кеттелер и рабочий вопрос», 1896, и др. Во время работы над романом Золя пользовался перечисленными трудами, особенно Нитти. Так что «Рим», в котором одним из действующих лиц является папа Лев XIII, автор энциклики «De rerum novarum» (1891), основан на исторических фактах. В этой энциклике, посвященной «положению рабочих», констатированы могущество и изобилие некоторых социальных групп, с одной стороны, и слабость бедноты, уязвленной и «всегда готовой к беспорядку»—с другой. Положение это приписывается исчезновению религиозного духа из общественных установлений. Косвенно говоря о капитализме и не отрицая прав частной собственности, энциклика хотя и ставит вопрос о справедливости и правах трудящихся, но резко возражает против «материалистической теории политической экономии» и устанавливает уровень заработной платы рабочих с точки зрения неопределенного морально-религиозного принципа, в соответствии с потребностями «трезвого и честного рабочего».

Еще в 1878 г. тот же Лев XIII опубликовал энциклику против социализма, объединяя «социалистов, коммунистов или анархистов», которых он осуждал, как «смертоносную чуму». И если Пьер Фроман, автор книги «Новый Рим»,—сторонник «католического социализма», то, в конечном счете, через посредство самого же Пьера Фромана вскрывается обман католической церкви, мнимый демократизм которой сводится к стремлению захватить власть над массами в целях закрепления светской власти папы. Отсюда вывод: «В руках церкви, даже одемокраченной, вера является орудием угнетения», как сказано в «наброске» Золя. Слова эти подчеркивают антирелигиозный характер романа. Они ценны для нас потому, что «все современные религии и церкви, все и всяческие религиозные организации марксизм рассматривает всегда, как органы буржуазной реакции, служащие защите эксплоатации и одурманению рабочего класса» (В. И. Ленин, Сочинения, т. XIV, 1929, стр. 68).

Однако Золя просветительной роли науки придает большее значение, чем организованной борьбе масс против господства капитала, который является источником всякой религии; он верит, что «наука неизбежно должна привести к атеистической демократии».

В дальнейшем, Золя стремится в «наброске» сочетать высказанные мысли с конкретной фабулой романа. Отсюда—история Пьера, его поездка в Рим, стремление оправдаться перед конгрегацией Индекса, запретившей его труд, свидание с папой, интриги ватиканских деятелей, отказ Пьера от своей книги «Новый Рим» и т. п. Все это нашло отражение в романе.

Интересно в «наброске» стремление писателя найти для романа любовную драму, сделать фабулу живой, действенной. Так возникла любовь Бенедетты и Дарио. Однако, связать эту интригу с основным идейным замыслом романа и драмой Пьера Фромана было очень трудно. Вот почему, легко справившись с чисто фабульной, внешней связью Фромана с Бенедеттой, Дарио, Прада и другими, Золя должен был придать любви Бенедетты какой-то символический характер. Бенедетта становится воплощением старой Италии, представительницей целостной, но мертвой религии, и она гибнет. Это дитя, «выпестованное чернорясниками». А Прада—«сын завоевателей»—становится у Золя, в конечном счете, представителем новой, светской и промышленной Италии, хотя и грюндерской, но связанной с благородными предками: ведь отец Прада—республиканец, гарибальдиец.

Таким путем Золя вводит в фабулу романа два мира: Рим Ватикана и Квиринала, с одной стороны; в меньшей мере Рим богачей и бедноты Трастевера—с другой. Проти-

вопоставлению старого и нового Рима должны были способствовать бесчисленные описания города Рима и всего богатого разнообразия его памятников. То, что в «наброске» слишком много внимания уделено писателем некоторым деталям фабулы (вопрос о разводе Бенедетты или отравление при помощи фиг), лишь свидетельствует, в какой мере Золя было трудно связать свои тезисы о «католическом социализме» и драме Пьера Фромана, главным образом его занимавшие, со всей канвой художественного произведения.

Текст «наброска» к «Риму»:

[1—20] В развитии человечества за вопросами религии всегда скрывались вопросы экономические. Вопрос хлеба насущного, вопрос счастья.

Стоило только евреям перейти к оседлой жизни, покорить земли Ханаанские, стоило только возникнуть собственности, как разгорелась классовая борьба, появились богачи и бедняки, и, тем самым, было положено начало социальному вопросу. Переход был столь резким, новый порядок вещей установился столь быстро, что бедняки, в которых живы были еще воспоминания о золотых временах кочевой жизни, тем острее почувствовали свои бедствия, и тем большими стали их требования. Все пророки, вплоть до Христа, были, по существу, лишь восставшими представителями народа; они рассказывали об его бедствиях и обрушивались на богачей, призывая на их головы всевозможные беды в наказание за жестокость и несправедливость. Сам Христос был лишь последним представителем этого рода людей; он являл собой как бы живое воплощение требования прав для бедняков. Ненависть к богачам, царство небесное — вот что Христос принес обездоленным и нищим. Если под этим «царством небесным» Христос подразумевал мир и братство народов на нашей планете, то он являлся подлинным социалистом, как это говорили в 48-м году. Секта эбионитов[6] очень во многом сходна с первой христианской общиной. Затем христианская коммуна для малых сих, для бедняков; попытка создать коммунистическое общество (все общее, за исключением женщин), против богачей и могущественных представителей римского общества. Безусловно, в течение первых веков после его возникновения—и это доказывают апологеты и первые патриархи церкви—христианство было религией бедняков, меньшого люда; это была демократия, социализм, направленные против римского общества. И если римское общество распалось, то не знаю, что в этом сыграло бóльшую роль: нашествие варваров и христиан или финансовые катастрофы—постоянные панамы; империя рушилась под бременем банковских афер, ажиотажа, расточения богатств. Однако, христианство восторжествовало и вскоре было вынуждено, чтобы добиться окончательной победы, согласиться на введение частной собственности. Все те ухищрения, все те софизмы, к которым прибегали отцы церкви, чтобы доказать, что христово евангелие защищает богачей и собственность. Христианство превращается в католицизм (всемирная религия) и нуждается в сильных мира сего. С этого момента католическое общество вырастает во всесильный аппарат власти, каким является католицизм. Сверху сильные мира сего, богачи, чей долг делиться с бедняками,—увы, слишком часто они ничего для них не делают,—внизу бедняки, трудящиеся,—им внушают терпение и покорность, обещая царство небесное. Все зиждется на этом обещании потустороннего, на спекуляции заложенным в человеке стремлении к сверхестественному. Следовательно, папа—такой же полновластный владыка, как и любой монарх. Императоры

и короли царствуют в силу права, дарованного им свыше. Частенько они вступают с папой в борьбу: общество средневековья. Земля и власть даются немногим, ценой определенных обязательств. Увы, слишком часто об этих обязательствах забывают! Например, по уставу, монастыри должны делить свое имущество на три части: треть—бедным, другая—на потребности культа, остальное—монастырю. В этом кроется тайная мечта церкви: весь мир превращен в одну общину, причем церковь контролирует все богатства, треть отдает беднякам, а остальное берет себе. Сущность в том, чтобы восстановить все это прошлое церкви в соответствии с данным моментом, изменив лишь названия.

Но вот мы приходим к Французской революции, к той громадной надежде, которую дала миру идея свободы. Третье сословие, буржуазия, приходит к власти, возникает большая либеральная партия. В этом весь наш век. Одно лишь несомненно—идея свободы переживает сейчас упадок. Ведь, по существу, больше счастья она миру не дала. Во всяком случае, четвертое сословие, трудящиеся страдают попрежнему и мечтают о своем 89-м годе. С этого момента возникают все требования социализма. Между миром капитала и миром труда возникает проблема социализма. Переход от рабского труда античного мира к труду наемному произвел колоссальную революцию; без сомнения, идея христианства была одним из ее факторов. В настоящее время нужно заменить наемный труд чем-то иным, участием рабочего в прибылях капиталиста. Борьба между трудом и капиталом. Нужно создать новое общество, к власти идет демократия, начинается новая эра в истории человечества. Именно в этот момент на сцену выступает католический социализм. Вне всякого сомнения, принципы католической церкви нисколько не противоречат принципам демократии; ей нужно лишь вернуться к евангельским традициям, снова сделаться церковью бедняков и малых сих, снова возродить христианскую общину. Ведь, по существу своему, церковь демократична, и возврат к евангельским традициям лишь очистит, облагородит, возвеличит ее. Если в момент превращения христианства в католицизм церковь перешла на сторону сильных мира сего и богачей, то лишь для того, чтобы укрепить свое господство, превратиться в государственную религию; именно тогда церковь поступилась своей первоначальной чистотой. Сейчас, отвергнув сильных мира сего и богачей и встав на сторону народа, церковь,—я повторяю,—лишь приблизится к Христу и очистится от всей той грязи, которая прилипла к ней в борьбе за свое право на жизнь. Отсюда становится понятным все современное движение. У католиков при виде того, что народ восстает против правящих классов и имеет шансы на победу, зарождается желание снова завоевать его. Бедствия народа, все несправедливости, которые он терпит. Я представляю себе народ, как великого немого; в роли жалобщика выступает все человечество, право на него оспаривают друг у друга сильные мира сего. С одной стороны, это правящая буржуазия, одержавшая победу в 89-м году, которая стремится во что бы то ни стало удержать власть; с другой—например, германский император: путем социализма он хочет сохранить трон; наконец, это эволюция, которую претерпевает католицизм в Риме, причем цель его—вновь завоевать народы. С того момента, как свобода сделала народ силой, все хотят заполучить его, удержать, господствовать через него и даже, если это нужно, вместе с ним. Социализм—вот будущее!—и все занимаются социализмом: государственный социализм, католический социализм и т. д. Особенно сильна борьба ка-

толиков за народ в тех странах, где католическая церковь борется против протестантизма. Католическим священникам волей-неволей приходится с бою добывать души, поскольку у них тут есть конкуренты—пасторы-протестанты. Вот почему социалистическое движение особенно бурно развернулось в Германии, в Англии, в Америке: Кеттелеры[7], Маннинги[8], Гиббоны[9] и Ирееланды[10]. Если сначала считали, что только церковь должна возглавлять социалистическое движение, то в дальнейшем наиболее ярые последователи его соглашаются уже на государственный социализм. В латинских странах католический социализм развивается гораздо медленнее. Следует отметить тут следующее любопытное обстоятельство: равнодушное отношение к религии особенно сильно в Италии; здесь status quo, смерть от собственного бессилия, никакой инициативы; таким образом, выходит, что чем дальше от Рима, тем интенсивнее ведется борьба за будущий католицизм. В Риме—развалины, которые вот-вот окончательно обрушатся и погребут под своим прахом все прошлое. Тем не менее, с тех пор, как папа перестал быть каким-то маленьким итальянским царьком, духовное влияние его, безусловно, возросло. Он стал воплощением власти духовной и командует всем миром. Благодаря парламентам и всеобщему голосованию, его представители имеются во всех странах мира, он завоевал авторитет и могущество. Папа интернационализировался—из римского прелата он вырос во всемирного владыку. Отсюда его притязания на всемирную власть,—вот мечта, веками лелеемая всеми папами. С другой стороны, кажется, что и обстановка для осуществления этой мечты благоприятна.

Упадок идеи свободы. По существу, 89-й год никому не принес счастья, а особенно народу. Либеральная партия с каждым днем все больше

Человѣкъ, не принятый папою.—Романъ Эмиля Зола «Римъ» вскорѣ появится. Облечемся въ лохмотья! Это во всякомъ случаѣ будетъ рекламой роману.

„ЧЕЛОВЕК, НЕ ПРИНЯТЫЙ ПАПОЮ“

Карикатура на Золя, появившаяся незадолго до выхода в свет романа „Рим“

Иллюстрированное приложение к „Новому Времени“ от 24 февраля 1896 г.

и больше теряет почву под ногами. Со всех концов только и слышишь одни жалобы. В области экономической либеральная партия уже потерпела поражение. Свободную конкуренцию клянут всячески. Все социалистическое движение зиждется на контроле, плане: с одной стороны, коммунизм, с другой стороны — коллективистическое государство. В народе растет недовольство, усиливается брожение, он стремится к перестройке всего общества. И вот церковь хочет воспользоваться обстоятельствами и вновь заполучить народ. Она склоняется к тому, чтобы отвергнуть правящие классы, на которые опиралась до сих пор, поскольку их, все равно, рано или поздно сметет этот поток недовольства. Она уходит от монархов и богачей. Маннинг, Ирeланд хотят служить только беднякам. Возврат к евангельской традиции. С этого момента на сцену выходят социалисты-католики: поскольку зло найдено, нужны лекарства. И вот появляются книги по этому вопросу, организуются ассоциации. Почти все социалисты-католики стремятся возродить прежние корпорации — корпорации замкнутые, корпорации свободные. Одни стоят за то, чтобы движение ограничилось лишь церковью, другие выступают за более или менее ярко выраженный государственный социализм. Папа смотрит на это движение сквозь пальцы и даже, пожалуй, пассивно приветствует его. В силу догмы о своей непогрешимости, он не может решительно высказаться за или против. Известно, что папа за корпорации, но не знают — замкнутые или свободные. С другой стороны, папа глубоко неправ, упорствуя в своем требовании светской власти для церкви: роль пастыря душ, которая осталась на его долю, значительно возвеличила его. Почему он так цепляется за светскую власть церкви — корень всех бед и ошибок. Италия гибнет при этой власти. И мечта о папе, который покинул бы Рим и ушел куда-нибудь *в иное место*, чтобы править всем католическим миром. Соединенные штаты, границ не существует, нет родины — только община во главе с духовным вождем, папой (?).

Подчеркнуть, что все в социализме видят лишь одну цель — способ завоевать народ, управлять им. Германский император; французская буржуазия, стоящая у власти; папа, стремящийся претворить в жизнь веками вынашиваемую мечту. Вот почему народ, темная живая масса, которой все распоряжаются, представляется мне великим немым. Всеми руководят наилучшие чувства, все желают его блага, все трудятся ради него, против несправедливой природы. Но в глубине души в народе всегда живо опасение, — и прошлое служит тому доказательством, — что о нем так заботятся лишь для того, чтобы овладеть им и поглотить его. Разве история не может повториться? Не превратится ли это демократическое христианство в католицизм — религию новой абсолютной власти? Придет день, когда великий немой скажет свое слово. И вот это-то слово я и хочу дать в «Париже».

Если не приходится сомневаться в том, что католицизм вполне уживается с демократией (ему нужно только вернуться к евангелию, так сказать, к своей первоначальной сущности и тем самым очиститься), я не думаю, чтобы он мог ужиться с наукой. Именно в науке католицизм найдет свою гибель. Ведь без отказа от догм, таинств и чудес он не сможет быть религией атеистической демократии. А наука неизбежно должна привести к атеистической демократии. Народ, который не будет верить в загробную жизнь, в вознаграждение и возмездие, никогда не признает католицизм. Как обречь на неравенство малых сих, если не обещать им

вознаграждения в другой жизни. С той минуты, как откажутся от сверхъестественного, отбросят надежду на потустороннее, католицизм погиб. Вот почему католицизм всегда основывается на возрождении в народе религиозных чувств, на вере. Возможно ли это? Не думаю. Чем дальше мы будем двигаться вперед, тем более будут распространяться, устанавливаться научные, позитивные идеи. Все дело во Франции. Протестанты—англо-саксы и германцы—смогут сохранить религию и спиритуализм; позитивистские идеи все больше и больше будут завоевывать умы, с каждым днем люди будут прозревать; вот что, по-моему, обрекает католицизм на более или менее скорую гибель. Можно ли представить себе католицизм, лишенный всего чудесного, другими словами, взять из евангелия одну лишь христианскую мораль и поставить ее на службу человечеству, человеческому обществу? Для этого нужно только отбросить чудеса, как средство, к которому эпохи вынуждены были прибегать в силу своей невежественности. В таком случае, можно представить себе грандиозную человеческую общину, царство божие на земле, регламентированный труд, правильное распределение богатств, господство справедливости. Однако, необходимо все это согласовать с наукой (что мыслится мне затруднительным). А папа,—если предположить, что таковой будет существовать, отказавшись от своей власти,—превратится тогда в нечто вроде духовного вождя, контролирующего все морально-нравственные вопросы общины. Где будет его резиденция? Только не в Иерусалиме—это еще бо̀льшая развалина, чем Рим. Лучше в какой-нибудь жизнедеятельной, энергичной стране. Тревожный симптом: католицизм умирает как раз в Италии, погибает в атмосфере безверия именно там, где в его руках абсолютная власть, где нет борьбы, и в то же время он процветает в тех странах, где ему приходится бороться против протестантизма, где он стремится завоевать демократию. Отсюда может возникнуть вопрос: что же произойдет с католицизмом после его окончательной победы во всем мире? Он—хозяин мира,—эволюционируя, в конце концов, переживет сам себя. Но я повторяю, католицизм сможет просуществовать еще какое-то время, только превратившись в простой моральный кодекс демократического общества, ибо наука, превращающая людей в атеистов, неизбежно убьет его. Можно ли сказать, что вера прогрессирует в наши дни? Это очень важный момент. Не думаю. Свободная мысль все шире пробивает себе путь и движется вперед к завоеванию мира. В руках церкви, даже перестроившейся, даже одемокраченной, вера является орудием угнетения.

[21] Лурд. Я вернусь к Пьеру после романа «Лурд». Я уже говорил об его деятельности в Париже, охарактеризовал его в роли священника и, главным образом, показал, как посещение Лурда и затем место викария в густо населенном бедном предместье Парижа побудили его написать книгу. Это должен быть труд о католическом социализме, в котором автор доказывает, что католицизм может вновь вернуться к демократии, как к своему основному принципу. Итак, я даю всю демократическую часть программы, историю древней, первоначальной христианской общины; далее я показываю, почему церковь была вынуждена стать на сторону богачей и собственников; анализирую социальное зло, картину современной нищеты; наконец, я показываю, как церковь снова должна перейти на сторону бедных, оставить богачей и монархов. По сути дела, это идеи Маннинга и Ireланда. Причем в основе всех этих идей лежит политическая гуманность, [22] никакого применения к экономике они иметь не

должны. Простая душа. Ламменэ, преисполненный пламенной любви к малым сим, полный надежды облегчить их страдания.

Несомненно, следовало бы, чтобы Пьер, при отсутствии у него веры, находил большое удовлетворение в догматах, таинствах, чудесах. Надежда на то, что церковь еще в силах принести благо человечеству, возглавить демократическое движение и, тем самым, предотвратить угрожающую страшную социальную катастрофу. И с того момента, как Пьер возложил на себя миссию—проповедывать в своем приходе нравственные евангельские истины, словно мир снизошел на него, душа успокоилась, погрузилась в какое-то забытье. Страдания утихли: в его руках дело, он пионер этого нового христианского учения, он больше не мучит себя вопросами, сомнения перестают терзать его. Его апостольство в нищем парижском предместье (я выберу—какое). Сначала Пьер всецело [23] поглощен, почти ослеплен своей миссией, своей мечтой, и только в Риме, когда он сталкивается с первыми трудностями, наступает отрезвление. Итак, Пьер не ставит непосредственно вопроса о вере; подобно непреодолимой преграде, этот вопрос возникнет перед ним лишь в конце, в Риме. Он весь во власти своей надежды на христианскую, евангельскую демократию. Пьер может даже притти к убеждению, что вся совокупность таинств, совершаемых им, есть лишь необходимый обряд, от которого в дальнейшем откажутся. По сути дела, в книге его нет ничего особенно предосудительного в смысле тех католических и демократических идей, которые в ней изложены. И если произведение его под угрозой внесения в список запрещенных книг, то это потому, что оно направлено против светской власти церкви и резко порицает то упорство, с которым папа борется за установление ее. Это подтверждают факты; привести их. Папа стал велик именно с того момента, когда он перестал быть каким-то маленьким царьком. Итак, [24] Пьера вызывают в Рим, или же он отправляется туда сам (я думаю, скорей последнее). Пьер в Риме. Все перипетии романа, все сцены; все хлопоты Пьера. Римское духовенство—от кардиналов до сельских пастырей. Желая заинтересовать римское духовенство своим делом, Пьер сталкивается и с кардиналами (все типы) и с простыми священниками, наблюдает их при разных обстоятельствах. Встречи Пьера с кардиналом-секретарем; присутствие на заседании конгрегации Индекса[11], где решается вопрос об его книге. Порядок ведения дела этой последней. И, наконец, как завершающий удар,—аудиенция у папы. Все это даст мне полную картину Ватикана, до самых мельчайших деталей.

Внутренняя жизнь Ватикана; сеть интриг; борьба против итальянского правительства; переживаемый момент. Наряду с этим, Пьер знакомится с городом: прогулки [25] по Риму; гостиница, где он остановился, люди, с которыми он встречается, словом, его жизнь в Риме. Весь Рим: как бы три города, выросшие один над другим,—античный, первоначальный христианский; папский—эпоха средневековья, и современный, модернизирующийся.

Весь этот прах минувшего, среди которого римский католицизм доживает свой век. Большое полотно, изобилующее фактами. Особенный упор следует делать на тех деталях, которые ведут к заключительным выводам, к философской развязке. Подобно тому, как Лурд убил в Пьере веру, Рим показал ему полное банкротство современного католицизма. Итак, за бронзовыми дверями Ватикана все еще XV в., там царят тревога и смятение. Тщетны были попытки католицизма возродиться в Германии,

Англии и Америке в своей прежней, неизменной монашеской личине. Можно ли рассчитывать на то, что католицизм сумеет сбросит с себя ворох традиций и формальностей, отказаться от символизма, отринуть все, что душит его? Хватит ли у него силы [26] освободиться от прошлого и возродиться в какой-то новой форме в будущем? Ведь католицизм убежден в том, что именно в традиции—вся его мощь, именно из праха веков старается он черпать свои силы. Да и никогда до сих пор не было такого случая, чтобы какой-либо институт с целью обновления возвращался к своим первоисточникам и возрождался вновь, отбросив все то, что он когда-либо завоевал, все, что, по его мнению, как раз и составляло его силу. Пьер не верит в это. Он замечает, что католицизм теряет свое влияние, распадается в атмосфере безверия, царящей в Италии, т. е. как раз там, где он особенно упорен в своих притязаниях, особенно цепляется за традицию, и, напротив, активен и развивается только в тех странах, где ему приходится бороться за свое существование, против протестантизма, где он вынужден искать опоры в демократии, или, скорее, должен завоевать ее. [27] Отсюда,—конечно, дать это лишь в заключении,—мечта Пьера: папа должен оставить Рим, отряхнуть от себя прах веков и где-нибудь вне Рима стать духовным пастырем демократии. Облечь эту мечту в костяк реальности: предвидение 2000-го года. Однако, это лишь мечта, вряд ли можно будет осуществить ее. И тут факт, который заставляет Пьера прозреть, увидеть истину: если католицизм не противоречит демократии, никогда он не уживется с наукой, и именно в ней его гибель. Жизнь католицизму может дать только возрождение веры в народе. Католицизм не может отказаться ни от таинств, ни от догм, ни от чудес, а они противоречат естественным явлениям жизни. Если лишить католицизм всего этого, то от него останется лишь евангельская мораль (в этом последняя надежда Пьера—неохристианизм, [28] основанный исключительно на евангельской морали). Царство небесное служит лишь примером, так как оно осуществлено на земле. И тут придется, пожалуй, оправдать Христа: ему пришлось солгать—придумать чудо, чтобы дать утешение малым сим и невежественным. Наука рано или поздно убьет католицизм, но, в таком случае, не есть ли нечто возвышенное в том, чтобы католицизм встретил смерть таким, какой он есть, столь же непримиримым, как в прежние времена. Один из персонажей, кардинал, будет носителем этих взглядов. «Покинуть Рим? Никогда!» и т. д. Лучше умереть под его развалинами. Да, погибнуть! Погибнуть, но не изменяя своим убеждениям, мужественно, с твердыми мускулами, окаменевшими. Погибнуть, подобно древним памятникам, окружающим нас, которые гложет солнце, распыляет ветер. Погибнуть, как погибает все! И провести мысль о том, что, если католицизм [29] даже откажется от своей непримиримости, это ничему не поможет—его все равно ждет конец, но конец низкий, подлый, позорный. Так лучше ничего не делать, остаться неподвижным и, когда придет время, исчезнуть навсегда. Необходимо строго классифицировать все интеллектуальные и моральные побуждения Пьера.

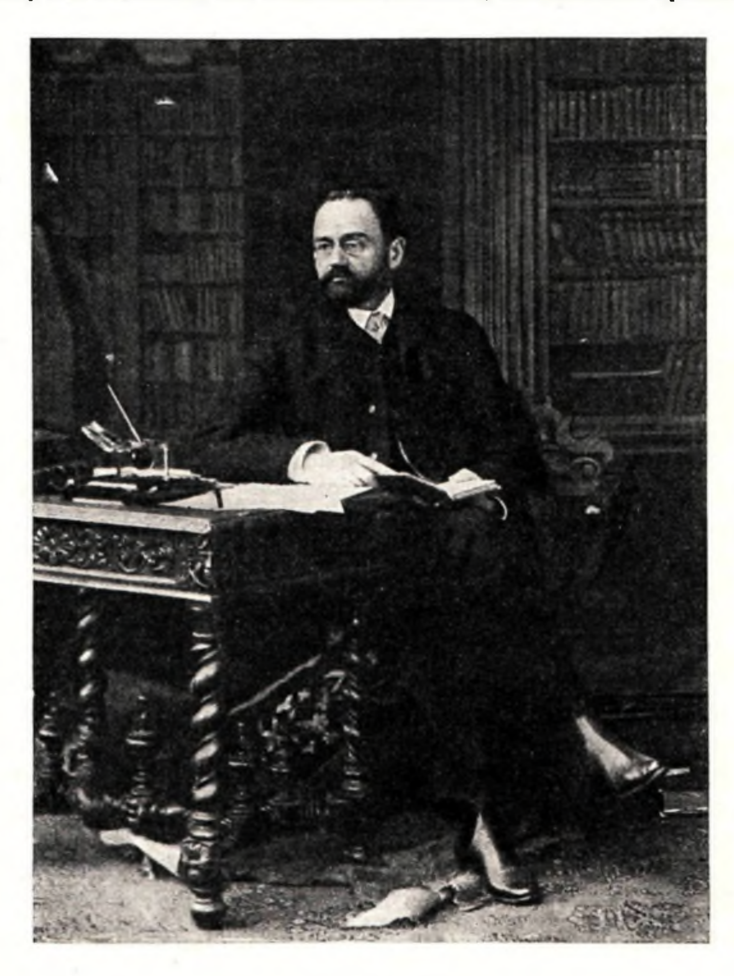
Сначала, когда он приезжает, надежда на то, что католицизм будет существовать вечно, возродится, возглавив демократическое движение и спасая, тем самым, народы от варварства революции. Все это весьма туманно, без ясной мысли о возможности эволюционного пути. Затем, с той минуты, как он попадает в Рим, его сомнения и борьба. Его недоумение перед окаменевшим в рамках традиций католицизмом, погибающим в атмосфере

безверия, царящего в Италии, тогда как в странах протестантизма католицизм отличается боевым характером и прогрессирует. Однако, Пьер не теряет надежды; ведь говорят, будто католицизм отличается [30] большой гибкостью. Борьба духа завоевательного против традиции; надежда на папу, который примкнул к социализму. Итак, в Пьере идет борьба, он колеблется между своими надеждами и теми все более серьезными фактами, с которыми он сталкивается ежедневно. Он борется против конгрегации Индекса, борется против своих собственных впечатлений; иногда благоприятные впечатления ободряют его. Книгу необходимо как-то оживить. Однако, в Пьере не может итти борьба за веру, поскольку он ее бесповоротно потерял в Лурде, за веру в догмы, в чудеса и таинства. Теперь его одушевляют иная вера, иной долг—облегчение человеческих страданий. Пьер стремится найти в католицизме средство дать человечеству счастье. Итак, он преисполнен желания помочь, альтруистического энтузиазма. И нужно, чтобы Пьер страдал, верил, снова впадал в отчаяние, по мере того, как он то надеется, то теряет надежду в возможность для [31] католицизма возродиться на благо человечеству. Большой человек, преисполненный любви к малым сим, к обездоленным. Вся трагедия его души, причем трагедия, лишенная того эгоистического чувства, какое представляет, например, любовь к женщине. Пьер полон подлинной веры в светлое будущее человечества. Его увлекает страстное, горячее желание добиться всеобщего счастья. И все же, в конце концов, он приходит к горькому убеждению (после разговора с кардиналом), что католицизм должен погибнуть, погибнуть в Риме, погребенный среди праха веков. З а т е м, с л о в н о о т к р о в е н и е, к а к о й-л и б о ф а к т с непобедимой логикой доказывает ему, что наука неизбежно должна убить католицизм; его существование немыслимо среди народа трудящихся, который не верит больше в будущую жизнь, в возмездие и вознаграждение.

Итак, [32] все должно рухнуть. И закончить идеей о новой религии! Идеи католиков, вроде Кеттелера, Маннинга и Ирееланда, могут привести лишь к отпадению от церкви. Крупная фигура какого-нибудь раскольника, епископа нового общества, который порвет с Римом, станет на сторону науки, отбросит догмы, таинства и чудеса и будет пользоваться евангелием, лишь как кодексом морали, осуществит царство небесное на земле. Торжество разума! Все силы отдать делу благосостояния и братства народов. Да, следовать евангелию! Да, избегать насилия! Но отказаться от разума? Никогда! Все это несколько сухо, и мне нужна была бы параллельная фабула.

В Париже, в своем приходе [33] в одном из бедных кварталов, Пьер мог познакомиться с каким-нибудь де Меном[12]. Назовем его Графом. Последний пытается создать католическую организацию; я не хочу, чтобы это исходило от Пьера, ему я предоставляю лишь область чувств. Граф— бойкий ум, оратор, считает себя человеком с большими организаторскими способностями. Граф, например, может быть за возрождение замкнутых корпораций. Он основал ассоциацию, выпускает газету, в которой ведет борьбу, может быть даже депутатом. Это даст мне возможность на конкретном материале охарактеризовать движение католического социализма во Франции и даже во всем мире. Агитация, которую ведут католики против либеральных теорий о возврате церкви к прошлому (к первоначальной христианской общине); борьба против революционных социалистов, борьба церкви, императора и всей правящей буржуазии за народ, за

великого немого, который разочаровался в идее свободы: ведь 89-й год пошел на пользу только буржуазии. [34] Граф может также отправиться в Рим. Он высказывается в пользу замкнутых корпораций, против свободных содружеств. Со своей стороны, папа еще не выявил своей точки зрения по этому вопросу: он, как всегда, вынужден держаться неопределенной позиции. По сути дела, будут ли корпорации замкнутые или свободные, это ничему не поможет, это недействительное, обманчивое средство. Граф



ЭМИЛЬ ЗОЛЯ
Фотография 1890-х гг.
Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

в Риме; его хлопоты, свидания с папой и т. д. В конце концов, Граф приходит к тем же горьким выводам, что и Пьер.

Но это еще не все. Я хотел бы рядом дать любовную драму. Хлопоты о разводе через церковь; папа должен вынести решение по этому делу. Например, случай импотентности мужа. Нужно, чтобы женщину посещали почтенные дамы. Оказывается, развод в римском суде стоит колоссальных денег. Дать ряд любопытных деталей. Но и это еще не все. Мне хотелось бы нарисовать большую, пылкую страсть женщины, предпочтительно итальянки, сделать ее как бы символом церкви, погибающей

среди праха веков; что-нибудь очень значительное. Крик всепоглощающей, великой любви. Обдумать. Женщина, быть может, увлечена мужем той, которая разводится. Или же та, которая хлопочет о разводе, сама любит не мужа, а другого, и хочет купить развод, чтобы законным путем сойтись с любовником, так как, в силу своей набожности, она отвергает адюльтер. И все это в обстановке итальянской жизни, во дворце, где остановился Граф и где он оказывает гостеприимство Пьеру. [36] Героиня отказалась от выполнения супружеских обязанностей и осталась девственной. Каким путем ей удается заставить мужа выдавать себя за импотента, хотя у него есть дети от другой женщины. Но основное — это страсть. Пьер, конечно, должен быть замешан в эту историю. Наконец, случай, который открывает ему глаза: с необычайной ясностью он вдруг понимает, что католицизм убила наука, что он не может возродиться в атеистическом обществе.

Во дворце бывают кардиналы, вращается все римское общество. В последний раз Пьер из окна обозревает мертвый Рим. Последнее видение.

Я хочу дать любовную трагедию, страсть, доведенную до предела, слезы и кровь. Мне кажется, что не стоит делать героиню совсем юной девушкой, лучше, чтобы это была женщина в возрасте 29—30 лет. Тем более достойным покажется, что она сумела остаться девственной. [37] Очень набожная, она не пожелала принадлежать мужу, которого не любит. Она обожает прекрасного юношу своего возраста, очень богатого, который буквально разоряется, чтобы добиться развода. Но он так и не женится на ней, так как умирает, отравленный ее бывшим мужем. И у смертного одра своего любимого она сбрасывает с себя одежды, желая отдаться ему: «Возьми меня! Пусть проклятия падут на мою голову, но я буду твоей! Я твоя, возьми меня!». Все это происходит на глазах у Пьера. Не стоит делать умирающего чересчур слабым, пусть героиня испустит дух в объятиях своего возлюбленного. Их похоронят вместе, не решаясь оторвать друг от друга. Как будто, достаточно трагично! Героиня будет дочерью кардинала. Любовника я оставлю в стороне и, главным образом, дам детальный анализ героини — страсть и религия. Однако, муж играет во всей этой истории весьма значительную роль. Мне хотелось бы, чтобы отравление любовника оказало определенное влияние на интриги Ватикана. Не героиня (дочь), а ее любовник будет сыном кардинала, которого прочат в папы; [38] нужно, чтобы исчезновение сына скомпрометировало отца: он никогда не займет папского престола. Это довольно трудно устроить, только разве путем скандала. Хорошо, чтобы яд предназначался и отцу и сыну (племяннику было бы менее антирелигиозно, тем более, что племянник мог бы жить с дядей). Тогда, примерно, получается так. Бывшему мужу известно, что кардинала собираются отравить и, тем самым, удалить из конклава. Ему известны день и час отравления, а также то лицо, которому непосредственно поручено передать яд. Он посылает юношу (любовника) на завтрак к дяде. Фрукты, корзинка персиков. Но кардиналу персики показались подозрительными, он сам не ест их, и, быть может, дает попробовать племяннику (чтобы посмотреть). Таким образом, коварный муж непосредственного участия в убийстве не принимает, он использует лишь первое подвернувшееся ему под руку средство, чтобы устранить любовника. Однако, жена узнает правду и обвиняет мужа. Нужно, чтобы все эти персонажи жили вместе. У героини есть мать, которой и принадлежит дворец. Мать ее — [39] сестра кардинала. Послед-

ний занимает одно крыло дворца, а любовник, кузен героини и его племянник, живет вместе с ним. Героиня переезжает к матери с того момента, как завязывается дело о разводе. Она оставляет дом мужа и перебирается к матери. Ее дядя, кардинал, и его племянник, ее кузен, занимают соседний флигель дворца. Здесь как раз останавливаются Граф и Пьер или же один только Пьер. Комната Пьера. Пьер постепенно принимает все большее и большее участие в развертывающейся драме. Нужно будет начать всю историю с момента приезда Пьера и объявления развода, который повлек за собой трагическую развязку. Что же касается отравления, то тут дело темное, никто толком ничего не знает, но подозрения заходят весьма далеко, чуть ли не до римской курии. Слухи в Ватикане помогут мне, укажут, стоит ли делать из кардинала сторонника или врага Льва XIII[13]. [40] Моего кардинала посещают собратья по сану, лица духовного звания, вплоть до невежественных сельских священников. Таким образом, Пьер, живя во дворце, имеет возможность наблюдать все римское духовенство. Мать и дочь, в свою очередь, дадут мне все римское общество, а муж, быть может,—Рим Квиринала. Это даст мне противопоставление двух миров. Дело об отравлении будет носить загадочный характер, причем я расширю этот момент: страх перед отравлениями в Ватикане; кушанья папы; предосторожности и т. д. Я не собираюсь делать мужа каким-то чудовищем, мрачным заговорщиком, он просто воспользуется обстоятельствами, совершенно случайно узнав о готовящемся отравлении. Итак, это веселый малый, быть может, кутила; найти подходящий итальянский тип. Мне кажется, что именно кардинал должен быть сторонником сохранения католицизма во всей его непримиримой суровости; кардинала не пугает смерть. Это удобно и потому, что кардинал у меня под рукой, и как раз его [41] я имею возможность охарактеризовать как можно подробнее. Суровая, величественная фигура. Затем мне нужен тип кардинала более современных взглядов (поскольку это возможно в Италии), и, наконец, кардинал—бедный старик, наполовину выживший из ума. Я думаю, что персики может послать священник-фанатик, совершенно невежественный, который думает этим содействовать освобождению церкви. Я покажу его уже в самом начале: он явится с каким-нибудь прошением. Позднее он попадает в руки врагов кардинала. И в конце я дам понять, что фрукты отравлены именно им, вообще же он—слепое орудие. В ход пущен какой-то редкий яд, не оставляющий никаких следов; он убивает особым способом (не забывать, что героиня отдается умирающему от этого яда человеку). Пояснить, каким образом муж оказывается в курсе всех этих дел и подсылает к кардиналу возлюбленного жены. Ведь он вообще не встречается с ним, [42] каким же образом ему удается послать его к кардиналу. Здесь что-то неладно, необходимо придумать что-нибудь, и притом возможно более простое. Мне хотелось бы, чтобы кардиналу послали не персики, а фиги.

О фигах дать разговор в самом начале. «Я пришлю вам несколько прекрасных белых фиг (или черных) из одного плодового сада». Крохотное отверстие, через которое был влит яд; фрукты уложены в изящную маленькую корзиночку. Их так и подают на стол. Муж, как я уже говорил, приветливый, веселый малый, но лишь по внешности; по натуре же—жестокий, хладнокровный, способный на все. Его коварство проявляется уже в самом начале—ловушка, подстроенная любовнику; нечто жестокое. Однако, любовнику удается ускользнуть. Это как раз может повлечь за собой взрыв

страсти со стороны героини. Мне нужна такая вспышка страсти, чтобы показать истинный характер героини и, тем самым, подготовить развязку, когда она сбрасывает с себя одежды и отдается умирающему любовнику. При виде раненого любовника [43] (пустяковая царапина, которая, однако, может показаться ей смертельной) она бросается к нему на шею; взрыв страсти. Первая попытка мужа. Несмотря на всю ее набожность, героиню пожирает бешеная, чисто чувственная страсть—жажда наслаждений, Италия прежних времен. Нужно дать все это чрезвычайно сжато, бурно—словно молнией страсти и крови осветить мой роман о милосердии и счастье человечества. Наиболее затруднительным мне представляется отравление. Покушение исходит от противников кардинала; однако, этот момент я насколько возможно смажу: я покажу только, как священник попадает в руки врагов кардинала и посылает ему отравленные фиги. Но откуда же мужу будет известно, что фиги отравлены, и каким образом он вмешается в эту историю? У мужа может быть усадьба в той местности, где находится приход священника. Муж встречает священника, когда тот с корзиночкой фиг направляется в город, и предлагает подвезти его. Таким образом, имение мужа находится в одном из римских пригородов, в нескольких километрах от столицы. Откуда муж узнает, что фрукты отравлены (собака съедает фигу или курица клюет корзинку). Они останавливаются в какой-нибудь харчевне, священник глаз не спускает с корзинки, все время держит ее около себя. Курица, клюнув фигу, тотчас же падает замертво. Муж замечает это, но ничего не говорит. Он все понял, размышляет, как ему быть, и тут же принимает решение. Дать весь план действий. Ему совершенно безразлично, умрет кардинал или нет, но племянник должен непременно отведать фруктов и погибнуть. Мужу известно, что по воскресеньям (было как раз воскресенье) юноша завтракает у дяди. Однако, он хочет в этом быть уверенным. Служанка, которая в свое время служила у него, сейчас живет в доме кардинала. Она сообщает мужу, что юноша действительно у кардинала, но собирается уйти до завтрака. [45] Как тот поступает? Он пишет записку следующего содержания: «Сударь, не покидайте дома ранее трех часов (следовательно, после завтрака), мне необходимо с вами поговорить. Не выходите до завтрашнего дня. Важное дело—от него зависит благополучие всей вашей семьи». Эту записку, написанную карандашом, он передает через упомянутую служанку. Таким образом, она может в дальнейшем восстановить всю картину отравления. Она видела бывшего мужа своей хозяйки вместе со священником, который принес отравленные фиги. Затем муж, прекрасно зная, что фиги отравлены, желая смерти юноше, передал ему записку, в силу которой тот, ничего не подозревая, остался завтракать у кардинала. Однако, сам кардинал не притронулся к фруктам, ни минуты не сомневаясь насчет того, кому они в действительности предназначались. Кстати, и яд оказался ему знакомым (это было средство, частенько употребляемое в Ватикане). Чтобы убедиться в правильности своих подозрений, он дает попробовать фигу любимому попугаю, который тут же падает замертво. Кардинал прекрасно знает, что яд [46] приготовлен для него. Рок поразил его племянника. Он молится. Драма женщины в комнате умирающего, куда поднимается Пьер. Первое покушение на племянника кардинала также должно отличаться крайним вероломством. Когда любовник однажды вечером возвращается домой, ему почти у самого входа во дворец наносят удар ножом в спину. Он входит шатаясь, из раны

льет кровь; от потери крови он лишается чувств. За ним всячески ухаживают, но, боясь вызвать скандал, ничего не говорят о причинах покушения, хотя никто не сомневается, что это исходит от бывшего мужа его возлюбленной. Юноша всячески оберегается, старается не покидать дома. Она ухаживает за ним. Вся ее страсть проявляется в тот момент, когда приносят ее раненого возлюбленного. Болезнь, ее заботы особенно сближают их. Развод объявлен, и уже назначен день свадьбы. Их пылкая взаимная страсть крепнет и ждет своего завершения [47]—брака. И как раз после своего выздоровления, когда юноша собирается в небольшое деловое путешествие, бывший муж его возлюбленной удерживает его дома, и он умирает. Осталось лишь наметить причину развода. Женщина ссылается на импотентность мужа, что и признается веским основанием после щедрой взятки и медицинского осмотра, установившего ее девственность. Таким образом, фактически брак не был совершен. Почему? Быть может, мать выдала ее замуж против воли, и, поскольку мать умерла, дочь не считает более нужным считаться с ней. Быть может, в брачную ночь пьяный муж грубо обошелся со своей молодой супругой. Она отказала ему и никогда принадлежать не будет. Покупает развод—щедрая взятка мужу, который согласен выдать себя за импотента; благо весь Рим знает, что у него есть двое детей от одной актрисы, он относится ко всему этому, как к забавному анекдоту. Итак, героиня, чтобы добиться развода по причине импотентности мужа, что является явной ложью, платит и ему, и римской курии. [48] Вероломство мужа, который, получив деньги, стремится убить любовника, причем без всякого риска для себя. Удар ножом со стороны неизвестного, который должен был пронзить юношу насквозь. Затем история с фигами: использование яда, предназначенного кардиналу. Муж—поистине чудовище! Он не хочет, чтобы кто-либо другой получил то, в чем ему было отказано. Удар ножом может быть дан как раз в день объявления развода, хотя предпочтительнее дать историю развода как можно подробнее, показать все сутяжничество, все формальности при римском суде. Словом, муж—тип Яго, какой-то гений зла, и все это под маской самого удивительного добродушия... Хотелось бы, чтобы героиня дала мне символ. Быть может, символ церкви, всецело отдавшей себя служению одной мечте—всеобщего владычества; лучше погибнуть, но остаться неизменной! Я охотно сделал бы героиню олицетворением церкви...

Сравнение, которое проводит Пьер между героиней и церковью. Если вековая мечта не может осуществиться,—[51] причем в условиях, желательных для церкви,—пусть все погибнет! Я уже говорил, что моя драма наносит контрудар Пьеру. Мысль о том, что торжество католицизма невозможно среди неверующего народа. Наука должна убить католицизм. Нужно, чтобы все это непосредственно вытекало из самой драмы. Однако, я не представляю себе, как это сделать,—или, по крайней мере, из слов кардинала по поводу разыгравшейся драмы. Быть может, стоило бы сделать героиню высокоразвитой женщиной, большой энтузиасткой: она тоже мечтает о победе католицизма. Книгу Пьера героиня прочла и полна восхищения. Она преисполнена веры и в своих мечтах идет еще дальше Пьера: ей грезится завоевание всего мира. Итак, частые беседы с Пьером. Последнего как-то тревожит этот пыл. Ее страстная вера оказывает на него какое-то обратное действие: чем сильнее она верит, тем больше в нем возникает сомнений. Самая драма разыгрывается как раз в момент их

беседы. В своих мечтах героиня видит [52] все народы обращенными на путь веры. Сама драма должна развернуться очень быстро. Снова размышления Пьера. Что́ он противопоставляет умершей? Гибель мечты о возможности завоевания народов оружием религии. Наука убьет католицизм, веру в загробную жизнь, надежду на возмездие и вознаграждение. Все это, хоть и не вытекает непосредственно из самой драмы, выйдет достаточно сильным, если дать это вслед за ней.

Я могу создать еще один центральный персонаж—служанку, замешанную в историю с фигами. Она может быть француженкой; преисполнена скептицизма, причем пребывание в Риме только усиливает эту черту. Как она смотрит на то, что, быть может, после смерти умершие соединились: «Ах, сударь, и на что это нужно: уж коли человек умер, то лучше ему спать спокойно. Мало разве они здесь натерпелись горя? [53] Ну стоит ли поднимать все снова!». Словом, полное здравого смысла суждение неверующего народа. Пожалуй, на фоне римского общества эта служанка, преисполненная спокойного скептицизма, даст мне довольно удачный тип. Вот уже около сорока лет, с пятнадцатилетнего возраста, живет она в Риме. Она полна благоразумия и скромности. В Италию ее привезла хозяйка—мать героини. В прошлом у служанки была какая-то история со священником, навсегда отвратившая ее от религии. По ее собственным словам: «Хватит с нее священников; уж кого-кого, а их-то она хорошо знает». Своего неверия она не скрывает, и держат ее в доме только за честность и преданность. Кардинала почитает всячески. В глазах Пьера эта служанка является воплощением всего неверующего французского народа, всех тех, кто никогда не будет верить. В ней много здравого смысла: «Ну что может быть после смерти? Ничто. Сон. Его-то уж во всяком случае заслужили. И это, пожалуй, еще самое хорошее! [54] А уж если пришлось бы награждать добрых да наказывать злых, богу, право слово, было бы слишком много дела. Разве это мыслимо!».

Мне говорили, что за бронзовыми дверями Ватикана все еще царит XV в. Все как бы застыло в минувшем. Но, наряду с этим, в самой атмосфере чувствуется что-то языческое. Содержанки кардиналов. Какое-то особенно безразличное отношение ко всем вопросам религии. То, что так волнует у нас, здесь никого не трогает. Причины политические заставляют папу замкнуться в своем углу. С ним гораздо меньше считаются в Италии, чем в других странах. Все дело в дипломатии. Как раз это своеобразное положение мне нужно тщательно изучить и осветить в моем романе. Два современных Рима.

[55] Чтобы несколько оживить мою героиню, нужно показать, как она борется с собой. Это вполне возможно, если я сделаю ее возлюбленного страстным, чувственным мужчиной, который желает насладиться своей любимой. Ей приходится выдержать несколько бурных атак. Любовник то бросается к ее ногам, то пробует овладеть ею путем нежнейших ласк, рыдает, упрекает ее в недостатке любви к нему, уверяет, что он не выдержит—наложит на себя руки. Разве стесняются с таким мужем, как у нее? Но набожность, клятва, данная ею, принадлежать только мужу дают ей силу бороться, противиться, отказывать, несмотря на всю страсть, которую она питает к своему возлюбленному. Обессиленная внутренней борьбой, совершенно разбитая нравственно, она нежно, словно мать, относится к своему возлюбленному, но не отдается ему. Мне хотелось бы дать одну какую-нибудь сцену между ней и ее другом, из которой она

выходит победительницей. Пылкая, готовая прорваться страсть, потоки ласк и молений—и в ответ нежное, кроткое [56] упорство. Она выходит из этого поединка сломленной, без сил. Пьер может присутствовать при этой сцене, хотя бы в конце. Она говорит: «Вы видите, сколько мне нужно мужества». А у Пьера мелькает мысль, что, быть может, он пришел вовремя. Однако, она угадывает мысль Пьера: нет, никогда она бы не поддалась. «Он получил бы меня только мертвую от печали». Все та же мысль о девственности...

[57] Необходимо наметить все даты. Пьер может пробыть в Риме два или три месяца, столько времени, сколько тянется дело об его книге. Кстати, чем же закончится это дело? Мне кажется, что Пьер должен смириться, он уничтожает свой труд, отрекается от него. По существу, Пьер и должен был бы выступить в роли великого раскольника будущего, но у него, пожалуй, нет ни возможностей, ни сил для этого. Все это лишь предвидение, пророчество. А тогда зачем бороться за свое произведение— ведь это лишь мечта! Никогда народ-атеист не станет верующим, наука убьет католицизм с его догматами, таинствами и чудесами. И Пьер уничтожает свой труд, как бесполезную мечту. Но сердце его разбито, сомнения снова терзают душу, туманят голову. Вот и второй опыт (после Лурда) подходит к концу. [58] В сцене отказа Пьера от своей книги очень много величия и силы. Быть может, он объявляет о своем решении непосредственно папе, во время аудиенции, или же в каком-нибудь другом месте (пожалуй, лучше при свидании с папой)... Я уже говорил, что сделаю мою героиню развитой, ученой женщиной. Мне хочется, чтобы она близко сошлась с Пьером. Она сопровождает его в некоторых прогулках по городу. Три исторических Рима—какое чувство они вызывают? Убежденная католичка, очень религиозная, не забывать об этом. Но, наряду с этим, удивительно обаятельная, от нее словно исходит какой-то волнующий аромат, присущий соблазнительным женщинам. Царственно красивая,— чем ближе узнаешь ее, тем больше проникаешься этой красотой. Пьер, если сам и не влюблен в нее, прекрасно понимает, что в нее можно влюбиться [59] до безумия. Быть может, он даже любит ее, сам того не сознавая; она как бы живет в нем, и он глубоко потрясен ее смертью, словно она унесла в могилу его мечту, его книгу о неохристианизме, которую она так хорошо поняла. В своей религиозности она может разделять взгляды Пьера, она тоже против светской власти церкви. Тут целая спиритуалистическая религия, религия гуманности и милосердия. Итак, женщина воплотит в себе церковь, гуманную мечту Пьера. Ее смерть уносит все его химеры. С первого часа их знакомства между ними возникла большая духовная близость. Она читала его книгу, она встретила его, как родного, как брата...

Пьера я несколько изменю после Лурда. Он сильно похудел (потеря Мари, тоска), живет исключительно духовной жизнью—огромный лоб, [60] заострившаяся нижняя часть лица, взор, пылающий лихорадкой милосердия. Крупная фигура; спиритуалист. Решить, должен ли я здесь упомянуть о Лурде, еще раз дать картину Лурда. Стеснение, испытываемое Пьером, когда он и в Ватикане наталкивается на Лурд, конечно, в том случае, если Лев XIII действительно открыто признает себя сторонником Лурда. Героиня может заговорить с Пьером о Лурде. Ее суждения по этому поводу. Возражения Пьера. Все это окончательно решить к тому моменту, когда будет разработан план. Муж—капиталист. Капитал

против труда, против рабочего. Мне кажется, что в Риме была какая-то панама. Использовать, как материал, дело одного из тамошних финансистов, промышленников. Аферист, который в своих целях использовал правительственный аппарат. Мне хочется, чтобы итальянское правительство тоже сыграло определенную роль в моем романе...

Формальности, бюрократизм Индекса (дело о книге Пьера), а также римского суда (развод). Весь Ватикан. Одну или две главы [62] посвятить подробному описанию Ватикана и посещению Рима (три города). Женщина, чтобы заглушить неудовлетворенную потребность в любви, старается забыться в развлечениях. Покушение на любовника, когда он однажды вечером возвращается во дворец (удар ножом в спину). Она ухаживает за ним. Период счастливой любви.

Ватикан и Рим, наконец, пришли к определенному решению. Индекс должен объявить приговор, осуждающий книгу Пьера; развод разрешен. В этот момент, вероятно, Пьер увидится с папой.

Священник-отравитель и фиги. Вся драма. Смерть юноши и смерть его возлюбленной, которая не в силах пережить гибель друга. Пьер присутствует при этом, затем он узнает, что Индекс осудил его книгу (через Графа, кстати, мне нужно заняться им). Пьер на аудиенции у папы объявляет о своем решении подчиниться приговору Индекса и уничтожить свой труд. [63] Возвратившись домой (на другой день он навсегда покидает Рим), он видит мертвых любовников, тела которых не удалось разъединить, их и похоронить собираются вместе. Беседа Пьера с кардиналом. Католицизм должен мужественно встретить смерть. Раз конец неизбежен, пусть католицизм погибнет во всем своем прежнем величии. В последний раз Пьер поднимается к себе в комнату (вечер, ночь, утро?). Перед ним расстилается Рим—три города. В эту минуту в нем особенно крепко убеждение (именно поэтому на аудиенции у папы он объявил о своем решении уничтожить книгу), что наука неизбежно должна убить католицизм. Веры в народе не возродить! А католицизм немыслим без сверхъестественного, без загробной жизни, без возмездия и вознаграждения. И под развалинами Рима, в прахе веков, погибнет папа. Грядет великая схизма! От католицизма уцелеет лишь евангельская мораль.

[64] (После моей поездки в Рим).

Мне предстоит еще наметить моих чернорясников. Правда, мне их подскажет самый ход драмы. Прежде всего, нужно дать тип кардинала—противника моего героя, а также прелатов, священников и т. д. Мне думается, что граф после вспышки страсти к юной героине может охладеть к ней в силу какого-либо события. Придумать. С этой минуты он на глазах всего города заводит любовницу, [73] что делает еще более нелепым обвинение в импотентности. Впрочем, это обвинение вызывает у него лишь смех...

Я считаю все-таки, что он сохраняет любовь к жене. И допускает отравление кузена жены, именно движимый своей страстью к ней. Итак, драма ревности, однако, ничего низкого. [74] Я до сих пор еще не нашел ничего, что сблизило бы Пьера и Бенедетту, графиню Прада. Она снова стала носить свой прежний титул графини, или имя Бенедетты. Я хочу сделать ее типичной римлянкой; пожалуй, нельзя будет, в таком случае, чтобы она путешествовала. Мне также не хотелось бы делать Бенедетту современной женщиной, которая жаждет заниматься филантропией, или синим чулком. Именно в силу всего этого так трудно найти связующее звено.

В моем представлении Бенедетта невежественна, по натуре своей практична, суеверна, словом, римлянка прошлого столетия; она вся отдается своему чувству, но весьма своеобразно. Быть может, чтение книг смутит ее невежество и практичность. В таком случае она сможет прочесть и книгу Пьера. Бенедетта пытается понять, удивляясь, как можно интересоваться жителями Трастевере[14]. Это придает ее жизни, столь неудачно сложившейся, столь тоскливой, новый интерес. С этого момента [75] и Пьер начинает интересоваться Бенедеттой. Он пытается завоевать эту душу на служение народу, истине, Италии завтрашнего дня, о которой он мечтает. Италия вчерашнего дня, праздная и невежественная, столь

ЗОЛЯ В СВОЕМ РАБОЧЕМ КАБИНЕТЕ
Фотография 1890-х гг.
Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

красивая в своем сонном безмолвии. Даже разрыв между Бенедеттой и ее мужем (Прада) как бы выражает столкновение старой—римской Италии и современной—Северной. Последняя слишком быстро, слишком резко модернизировалась. Пьер прекрасно отдает себе в этом отчет, вот почему он хочет очень осторожно, очень мягко переделать Бенедетту, сделать ее современным человеком.

Таким образом, поскольку Пьер выступает в роли учителя Бенедетты, между ними вполне уместны беседы, прогулки и т. д. Пьер даже чуть-чуть влюбляется в эту прекрасную Италию, такую невежественную и кроткую, [76] такую обольстительную в своей ленивой дремоте. В конце—бурная развязка, все увлекает атавизм. Мнение Пьера о Дарио—последнем отпрыске умирающей расы. Дарио иногда участвует в беседах и прогулках Пьера и Бенедетты. Так получается удачно: с одной стороны,

Пьер будет замешан в интригу, с другой—это оживит весь образ Бенедетты, позволит дать подробную характеристику римлянки. Бенедетта—это образ пробуждающегося Рима, столицы Италии. Как уже решено, ее дядя, кардинал Бокканера,—олицетворение непреклонности, фигура отжившего века, символ умирающего католицизма. Он хочет умереть таким, какой он есть; пусть католицизм ждет полный крах... [85] Я хотел бы вокруг развода Бенедетты дать борьбу мира черных ряс и светских людей. Борьба эта, разумеется, не должна носить резкого характера, это сплетни, мелкие уколы. Итак, Рим много говорит о разводе именно потому, что немало толков вызвало замужество. Дитя, выпестованное чернорясниками, выходит за сына мира завоевателей. Это произошло как раз в тот момент, когда отношения между старой и новой Италией приняли менее напряженный характер. И хотя брак вызвал немало разговоров, все же находили, что подобные браки, пожалуй, благоприятствуют примирению. Однако, разлад в семье Бенедетты, затем требование развода как раз совпали с резким обострением отношений между Ватиканом и светской властью, Квириналом. Итак, мир чернорясников [86] может поощрительно отнестись к разводу, тем не менее, действуя с чрезвычайной осторожностью, так как Прада утверждает, что, поскольку гражданского развода в Италии не существует, брак, даже расторгнутый церковью, юридически остается в силе. Ватикан же не хочет быть более податливым, чем светская власть. Однако, обстоятельства побуждают его расторгнуть брак. Меня несколько смущает поведение Прада. Сначала он против развода. Он попрежнему стремится обладать женой именно потому, что она упорно ему сопротивляется. Прада—тип завоевателя, человек страстей. Когда Бенедетта уходит от него, он начинает страстно желать ее. Законным путем устанавливает факт ее ухода из дому. Прада не из тех, кто прощает: он мстит (отравление Дарио). Итак, сначала он борется. Затем перестает интересоваться этим делом, [87] когда его любовница, с которой он никогда не порывал, Лизбет Кауфман, жена художника, становится беременной от него. Ему кажется нелепым обвинение его врачом, исследовавшим Бенедетту, в импотентности в тот момент, когда он ждет ребенка. Суд может развести его с Бенедеттой. Последняя надеется, что правительство расторгнет брак, поскольку он фактически не существовал, разумеется, после того, как его расторгнет папа. Конечно, никакой открытой борьбы вокруг этого развода между миром духовенства и светской властью не ведется, но могут быть сплетни, ядовитые словечки, словом, своего рода подпольная агитация. Все это дать чрезвычайно сжато и, поскольку возможно, не выдвигать на передний план. [88] Следовало бы сделать Серафину княгиней Бокканера. Она носит этот титул, и я дам ей более активную роль, чем предполагал раньше, так как мне очень важно, чтобы она носила титул и имела салон—салон католический (чернорясников). Раз в неделю Серафина принимает, причем посещает ее очень немного народа, все из Ватикана. Кардинал чрезвычайно редко спускается к ней. По существу, весь дом ведет Серафина, она как бы представляет всю семью. Это, так сказать, включит семью Бокканера в общественную жизнь Рима. И сюда, к своей тетке, приносит Бенедетта свою юную смятенную душу. Наконец, это даст мне среду, где Пьер увидит людей. Я могу собрать здесь всех нужных мне по ходу действия представителей Ватикана. С другой стороны, мне хочется, чтобы семья Сакко также вела более светскую жизнь. [89] Мне нужен светский салон, однако,

тоже сравнительно мало посещаемый, не слишком известный. Скорее, попытка создать салон. В салоне главную роль играет кузина Прады—Стефана Пагани, жена Сакко; несколько светская, Прада—украшение салона. Муж рассчитывал ее использовать в своих целях, но отказался от этого. Сын Аттилио, жених Челии, может также бывать в этом салоне. Впрочем, ни одного действия в этом салоне происходить не будет, я его лишь назову. Там, разумеется, защищают Прада, тогда как в салоне Бокканера на него яростно нападают. У Буонджованни нет определенных приемных дней. Раз в год они дают большой вечер, где бывает весь Рим. Изредка они принимают лишь друзей дома. Дом Буонджованни занимает промежуточную позицию [90] между Квириналом и Ватиканом. Значительно облегчает брак Челии и Аттилио то обстоятельство, что последний очень падок на деньги: скупость князя Буонджованни. Наконец, артистический салон у Лизбет Кауфман, любовницы Прада. Художница не слишком хорошая. Салон космополитический, там бывают все, масса сплетен. Обдумать ее интригу с Прада. [91] Надо поставить рядом с Прада какого-нибудь приятного человека, представителя Северной Италии—добродушной, умной, республиканской, трудолюбивой. Этот тип может дать мне его отец, старый Прада, или, как его обычно называют, «старый Орландо». Крупная, благородная личность, я сделаю его величественным. Он даст мне историю всей Италии, борьбу за объединение. Он был тем-то, сделал то-то и т. д. История Италии, начиная от карбонариев и до взятия Рима, куда старик Прада вступил первым. Этот кусок надо обработать. Старик был одним из тех, кто стремился сделать Рим столицей; рассказать, как он перебрался туда с сыном. Последний колоссально разбогател. Старика разбил паралич, он осужден на полную неподвижность. И вот среди окружающей его роскоши (он отвергает ее) он занимает абсолютно пустую комнату; за ним ухаживает пожилая женщина (против итальянских обычаев). Сын [92] обожает отца, всячески ухаживает за ним. Старик сурово относится к сыну, осуждает его; сын приводит его в отчаяние, хотя он сознает, что по натуре тот неплохой человек. Прада обитает на улице 20 сентября в современного типа особняке, почти напротив министерства финансов. Здесь, в бельэтаже, поселились Бенедетта с мужем, и тут развернулась вся ссора. Старый Орландо благосклонно отнесся к браку своего сына и был очень хорош с Бенедеттой. В ссоре Бенедетты с мужем он почти принимает ее сторону (решить). Его взгляд на все это дело. Связать его с Пьером. Как раз к нему отправляется Пьер на второй день после приезда: Пьер знает старика и привез ему письмо. Как раз во время этого первого визита дать характеристику старика: завоевание; вступление в Рим; [93] сумасшедшие надежды; роль Прада; сын героя, развращенный победой; финансовый водоворот; безумные постройки; начато строительство новых кварталов. «Вы увидите все это»,—говорит Орландо с грустью. Итак, дать все, что может поднять этот вопрос. Старый герой! Всю жизнь он боролся за свою родину. И его сын—неплохой малый, которого уже начала развращать собственность.

Не забывать о семье Сакко. Конечно, вместе с Орландо они жить не могут, но мне необходимо сказать о них. Быть может, Сакко приходят навестить старого Орландо как раз тогда, когда у него сидит Пьер. Во всяком случае, отрывок, касающийся Сакко, должен войти в эту главу. В той же комнате, неизменным, только опечаленным известием о трагическом эпизоде, находит Пьер старика Орландо, когда он, в конце, приходит

прощаться с ним. И все-таки Орландо не теряет надежды; он говорит об Италии будущего. Самое скверное [94]—это невозможность уничтожить сделанное. Ну что ж—остальное доделают. Страна больших возможностей, не исключая и Юга. Орландо—сторонник союза с Францией, в этом—залог мира. Мысли о сближении с Францией. Сделать Орландо другом Франции. Значительная фигура. Республиканец. За ним будущее.

Хотелось бы, чтобы Прада присутствовал при этой последней сцене. Отравление, которому он попустительствовал. Ватикан. Суждение Орландо по этому поводу. Пора покончить. А затем монархия. Я недостаточно подчеркнул антагонизм между Югом и Севером в лице Прада и Сакко. Нужно, чтобы это отметил Орландо. Сакко уже постепенно пожирает Прада. Как раз Сакко—тот депутат, которого прочат в правительство. Быть может, сразу сделать его министром, [95] одним из мелких, например, общественных работ. При кабинете Криспи[15]—о нем я упоминать не буду. Сакко попал в правительство и остается там до сих пор. Жена его немножко смущена, однако, приходит навестить дядю. У нее салон, однако, она чувствует себя весьма стесненной. Итак, в ней Юг преобладает над Севером даже в делах. Прада в шуточной форме говорит обо всем этом. Итак, в этой главе все разъясняется. Пьер приходит к Орландо. Особняк. Образ жизни старого Орландо. Его избрали сенатором. Но он пригвожден болезнью к креслу. Охарактеризовать его. Беседа с Пьером. Приход г-жи Сакко и Прада (замешательство Пьера). Беседа, касающаяся Сакко. В кратких чертах вся история Аттилио. Затем Пьер может посетить дворец Буонджованни, побывать на Корсо и на Пинчо. Старик Орландо противопоставляется кардиналу Бокканера. [96] Это более крупная, величественная фигура, светлая личность—будущее. Конец должен быть бодрым! Сколь величественной получается эта фигура героя, обреченного на неподвижность! Запертый в своей пустой комнате, он все-таки властвует над Римом. С высоты холмов Орландо обозревает весь Рим.

Теперь мне хочется обдумать покушение на Дарио. Допустим так. Чрезвычайно бедная семья в Трастевере. Отец—маляр, но приостановка работ выбросила его на улицу. У него дочь шестнадцати лет, очаровательно-красивая, и сын двенадцати, который ревниво оберегает сестру; затем следуют еще четверо или пятеро ребят, последний грудной. Матери всего тридцать пять лет, но дать ей можно все шестьдесят. Первую дочь она родила 20-ти лет, сына—22-х, затем еще двоих—29-ти лет и, наконец, последних—32-х и 34-х. Все они не работают и вообще любят побездельничать. Дочь учится делать искусственный жемчуг. [97] Бенедетта узнает о девушке от Дарио. Дарио рассказывает о девушке в первый же вечер, как он повстречался с ней. Она несла на руках маленького брата. Его поразила ее красота. Очень чувствительный к красоте, Дарио только о ней и говорит. Но перед Пьером встает картина нищеты, в которой живет девушка, он взволнован. Он предлагает Бенедетте пойти навестить бедняков. Девушка слегка удивлена. Однако, шестнадцатилетняя девушка влюбляется в Дарио и затем отдается ему. Тогда брат ее ранит Дарио ножом. Бенедетта же может думать, что покушение исходит от ее мужа. Во время ссоры юноше наносят рану.

Обдумать всю эту историю. Мне хочется, чтобы семья возлюбленной Дарио дала мне настроение народа, жителей Трастевере.

Быть может, придется (пожалуй, это даже обязательно) увеличить семью. Отцу [98] может быть сорок пять лет. Он покорился своей участи

и жалеет о прошедших папских временах: тогда было не хуже; он вспоминает о своем отце. Рядом я дам его дядю, тот пережил 48-й год и до сих пор сохранил республиканские убеждения (но своеобразный тип). Его разговоры. Семью изгнали из Трастевере: их жилище, расположенное как раз в том месте, где должен проходить центральный проспект, сначала разрушили, потом снесли. Семья очутилась на улице и нашла убежище в Прати ди Кастелло. Там она ютится среди ужасающей нищеты, отребьев человечества, собравшихся сюда со всех концов света. Сами же они чистокровные римляне. Эта семья даст мне Трастевере. Пьер чувствует себя в Трастевере, как у себя дома: он привык к бедным парижским предместьям...

[101] Необходимо ввести персонаж, который дал бы мне искусство. Брат художника—пенсионер виллы Медичи[16], атташе французского посольства (дворец Фарнезе). Дипломат по традиции, но своей профессией занимается чрезвычайно мало. Большую часть времени бродит по городу; за остроту в искусстве, против фанатического преследования Ботичелли. Часами созерцает Ботичелли в Сикстинской капелле; отвергает Микель-Анджело—чудовище—и даже Рафаэля; признает Бернини; живет в Риме, где его несказанно пленяют изломанная грация, изнеженный Ренессанс. Этот персонаж даст мне дворец Фарнезе, виллу Медичи, Сикстинскую капеллу, не говоря уже о других галлереях. Мне хотелось бы как-нибудь связать его с основной фабулой. Впрочем, интереснее дать его лишь мимоходом, он как бы олицетворяет тот своеобразный момент, который переживает искусство: какое-то бессилие, тяготение к изящному, к болезненному сладострастию. Его суждение об итальянском искусстве. Он служит во французском посольстве при Ватикане и занимается делами Пьера. [102] Советует ему переждать, так как папа в данный момент принять его не может, говорит, что какие-либо хлопоты через Рамполла могут испортить все дело, и предлагает Пьеру свои услуги в качестве гида по садам Ватикана: пусть он сначала ознакомится с новыми местами, а затем уже с людьми, населяющими их. Совместное посещение капеллы, музеев, парков. Страсть к искусству. Своеобразный католицизм, который получается в результате всего этого; слова виконта де Ла Шу. Все это сделать заключительной частью той главы, где описывается насилие Дарио. Условившись встретиться со своим приятелем в Сикстинской капелле, Пьер приходит туда и застает последнего всецело поглощенным созерцанием Ботичелли: Ботичелли царит над всем, и даже в конце, когда я даю насилие, торжество Ботичелли. Не говорить пока о внутренней отделке собора св. Петра и т. д.—это даст мне в дальнейшем возможность освободиться от папы и описания парка. Главу VII посвятить приему большой партии паломников, причем подробно рассказать о всех денежных сделках, касающихся папы [103]. Однако, я до сих пор не представляю себе, по существу, книги Пьера. Я уже сказал, что в ней не будет ни рассуждений, ни проектов организации католического социализма; вся книга будет преисполнена горячей любви, евангельского милосердия.

Итак, Пьер в одном из бедных кварталов Парижа. В этом беднейшем предместье, среди ужасающей нищеты, Пьер мечтает об обновлении христианства, возвращении христианского учения к своим истокам—христианской общине. В третьем (или четвертом) веке христианство в силу политических причин, от которых зависели его существование и окончательная победа, превратилось в католицизм и стало на сторону богачей

и власть имущих. Итак, нужно, чтобы католицизм вновь обратился к беднякам, покинул царей и богатых, стал на сторону трудящихся. Таким образом, первая часть книги—исторический обзор, где показывается, как возник католицизм и во что он выродился. Вторая часть—анализ современного общества, в основном—анализ нищеты, картина того, чем стал католицизм, [104] почему невозможно дальнейшее существование несправедливости, почему милосердие исчерпало себя, почему вековая несправедливость привела к ослаблению веры. В этом основное. Народ слишком страдает, чтобы сохранить веру. Чудовищная картина разлагающегося современного общества, вызывающая злобу и жажду мести,—вот что убивает веру. Старый католический мир сгнил, и, если все не будет перестроено, он окончательно развалится. Третья часть—пылкие мечты о том, чем бы стало современное общество, если бы оно вернулось к евангельским традициям, к христианской общине. Бедняка, простого, скромного человека—вот кого надо превозносить. Все общее, за исключением женщин. Весь мир перестраивается на основе христовой морали. А для этого папа вместо того, чтобы поддерживать царей и власть имущих, должен решительно перейти на сторону бедняков и малых сих. Пьер считает, что Лев XIII уже приступил к такой перестройке общества. Полный наивности, [105] он доводит свою идею до конца; ему действительно кажется, что папа обладает горячим сердцем, тогда как тот, по существу, подобно цезарю, уступает лишь в силу необходимости вновь завоевать народ и сохранить могущество церкви. Пьер поймет это лишь в конце; церковь сплачивает все свои силы; соглашение с первосвященниками на Востоке, призыв к Америке; конгресс всех религиозных течений.

Пьер мечтает о папе, как о духовном пастыре; Ватикан владычествует только над душами, завоевывает мир оружием евангельской морали, подготовляя великую христианскую семью, царство божие на земле. Все народы составят единый великий народ, исчезнут братоубийственные войны, будет построен всемирный, блаженный город будущего. В этом сущность третьей части; будущее—мечта Пьера. Итак, по существу, Пьер мог назвать свою книгу «Новый Рим». Он понимает под этим Рим евангельских времен, [106] в его мечтах Рим снова должен стать владыкой мира, принести благосостояние страждущему человечеству, всеобщий мир.

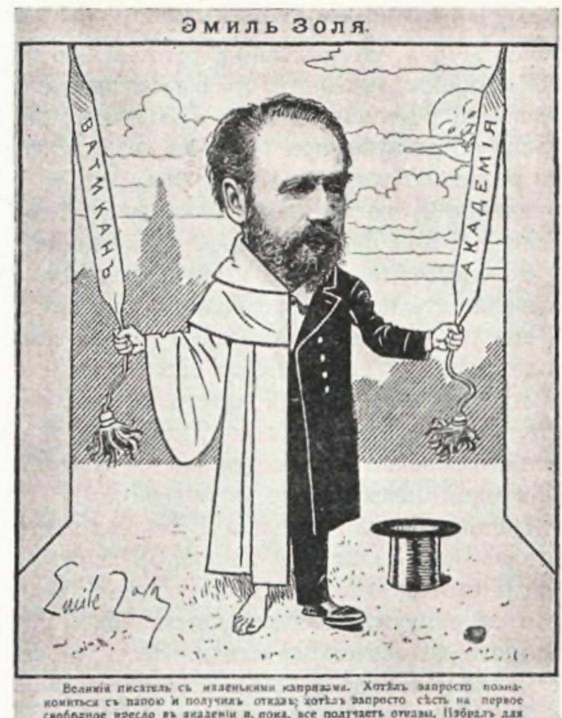
Так, пожалуй, получится неплохо. Во-первых, это даст мне историю первоначальной церковной общины и покажет, каким путем католицизм стал на сторону власть имущих и богачей. Затем, у меня будет картина современной нищеты, рушащегося общества. Наконец, возникает весьма пленительная мечта,—и именно здесь Пьер, не зная, что в действительности представляет собой Рим, допускает ошибку. Как раз эту последнюю часть и уничтожает его пребывание в Риме. Что такое папство, эта обреченная, мертвая сила, которая скрывается за бронзовыми дверями Ватикана? Папа — скорее политик, чем милосердный пастырь; он весь поглощен одним желанием—сохранить народ для церкви, а с этой целью ему важно лишь уничтожить влияние цезаря. Языческий католицизм; в Риме нет места милосердию; тяжкий груз римского язычества и тщеславия несет на себе весь католицизм. Папа со своей веками вынашиваемой мечтой стать цезарем, занять место цезаря.

Только тут Пьер понимает всю нелепость своей книги, все безумие своей мечты и сам сжигает свой труд. Папа не может вернуться к евангельским традициям—он в плену веков, в плену догм. И прав кардинал

„ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ С МАЛЕНЬКИМИ КАПРИЗАМИ“

Карикатура на Золя в связи с его неудачной попыткой быть избранным в Академию

„Стрекоза“ 1897 г., № 47



Бокканера: лучше, чтобы католицизм погиб таким, каков он есть. Нужна схизма, нужна новая религия, которая отбросит порочные догмы, возродит веру. Пьер недооценивает значения науки, которая неизбежно должна привести католицизм к гибели. Не нужно, чтобы Пьер слишком ясно высказывался относительно догм, так как это придаст его книге слишком одиозный характер. Вопрос о догмах Пьер оставляет в стороне, старается уклониться от него, как если бы он надеялся, что догмы, по существу, сводятся лишь к обрядам, которые исчезнут сами собой. Однако, несмотря на все старания Пьера, в книге то и дело наталкиваешься на еретические высказывания. [108] Тут было к чему придраться богослову монсиньору Форнаро. Пьер оправдывается, заявляет о своем подчинении церкви, уверяет, что никак не хотел касаться догм, оставил их неприкосновенными и готов изъять из книги все, что сколько-нибудь задевает догмы. Его книга—это вопль страдания и любви. Однако, Пьер не мог сдержаться в части, касающейся Лурда. В книге есть страница, где он утверждает, что подобные суеверия могут привести лишь к еще бо́льшим страданиям. Пьер описывает несчастных, которые стремятся в Лурд, где они находят лишь кажущееся облегчение своим мукам. Он считает, что лишь евангельское учение, распространенное и применяемое во всем мире, способно уничтожить суеверия, обеспечить страдальцам помощь на дому со стороны их ближних. Неправильное распределение общего имущества, тяжкое зрелище людских страданий, дух борьбы, которые замечаются в Лурде,—все это не будет иметь места в истинно христианском [109] обществе. Эту страничку, двадцать строчек, которые вменяются Пьеру в вину, нужно сделать. Лурдское духовенство выступило в Риме против книги Пьера.

Пьер узнает об этом на месте. Кардинал Сангвинетти оказался покровителем Лурда, что вызвало по отношению к Пьеру особые строгости. С другой стороны, мне хотелось бы создать крепкий костяк вокруг церковной интриги, поставив за спиной Пьера французского епископа, на которого давно точат зубы при римском дворе. Это весьма благочестивый человек; он разделяет взгляды Пьера; быть может, епископ в одном из парижских предместий, воспитанник семинарии Сен-Сюльпис[17], если это удастся и если в Риме будут бояться его влияния. На Пьера донесло лурдское духовенство; последнее, кстати, покажет, насколько велика материальная зависимость папы. Еще больше напортило Пьеру то обстоятельство, что в его лице хотят задеть французского епископа; из-за этого Сангвинетти, а затем и другие начинают вести в Риме кампанию. [110] Пьер высказывается против светской власти церкви, говоря, что папа никогда не был столь велик, как с тех пор, когда он лишился своего царства. Наметить все его доводы. Это расценивается, как преступление, и служит еще одной причиной неизбежного осуждения.

Папа коснется вопроса о светской власти церкви, от которой он не может отказаться; он клялся защищать ее во всей полноте еще в тот момент, когда был возведен в сан кардинала. Впрочем, папа коснется всех вопросов, затронутых Пьером: христианской общины, всеобщего мира, пастыря единого человеческого стада. Все это рассматривается вне всякой связи с наукой; вопрос о науке возникнет лишь в конце.

Заголовок произведения Пьера «Новый Рим» дает мне возможность включить в весьма интересную главу анализ книги Пьера на фоне Рима, который он созерцает однажды утром. Здесь только нужно подчеркнуть, что Пьер видит город как бы в тумане своей мечты; в утренней дымке Пьеру рисуется город его грез. [111] Что за большое желтое здание виднеется там вдали? Квиринал. Пьер не придал ему никакого значения. А эти хмурые фасады? Новые кварталы? Они столь же мало его беспокоили. Словом, первое описание Рима таким, как он рисуется в мечтах Пьера. Наряду с этим, охарактеризовать античный Рим, Рим папства, современный Рим, причем Пьер видит лишь то, что представляется его воображению. Кардинал Бокканера, Орландо, Бенедетта—все они прочли книгу Пьера. Их мнение о ней. Только прочтя книгу Пьера, Орландо, как я уже упоминал, написал Пьеру письмо, где он говорит как раз то, что и послужит заключением. Мне кажется, что момент научный может исходить от Орландо, так как он как раз должен войти в последнюю главу. Обдумать, может ли Орландо работать в какой-нибудь научной отрасли и в какой именно. Во время беседы между Орландо и Пьером [112] вопрос о науке может быть лишь поставлен, а выводы будут даны в конце. Это было бы прекрасно. Письмо Орландо, в котором он советует Пьеру увидеть все собственными глазами. Орландо поразило то чувство пламенного милосердия, которое руководит Пьером. Именно за это Орландо полюбил Пьера, но сам он убежден, что Пьер ошибается, что папа бессилен что-либо сделать и нужно искать нечто иное. Орландо противопоставляется кардиналу Бокканера: последний—за неизменность католицизма, тогда как Орландо—за вечную правоту и торжество науки.

Каково незначительное научное явление, которое показывает Пьеру всю важность науки? Что-нибудь, связанное с Орландо. Мне хотелось бы, чтобы во время первого посещения Пьером старого Орландо он увидел на столе учебник—чрезвычайно простой, элементарный. Пьер замечает

книжку, но не обращает на нее большого внимания, и все-таки какой-то трепет охватывает его. Пьер снова [113] наталкивается на эту книжку в конце, и тут его постигает жестокий удар. Это должно быть элементарное руководство,—особенно ярко подчеркнуть это,—признанное научное произведение, разоблачающее «таинства» или, даже проще, одно какое-нибудь «таинство». Обдумать.

Быть может, учебник—одно из тех руководств, которыми пользуются баккалавры, затрагивающее все отрасли науки. Книжка может быть издана на французском языке. Старый боевой товарищ Орландо, француз, с которым тот участвовал в освободительных итальянских войнах, преподаватель университета, посылает Орландо это краткое руководство по всем отраслям науки; он надеется, что, быть может, переведенная на итальянский язык книжка будет принята в итальянских учебных заведениях. Приятель Орландо находится в весьма стесненных обстоятельствах и принужден зарабатывать себе на пропитание. Во время первого посещения Пьера Орландо вкратце упоминает обо всем этом—и контрудар в заключении. «Руководство по физическим и естественным наукам»—физика, химия, ботаника, зоология. Этого достаточно, чтобы показать, как наука развивается, [114] движется вперед становится бесспорной истиной и несет гибель догмам. Школы выращивают все более просвещенные поколения, и догмам не будет места в новых развитых людских обществах. И сколько бы церковь ни пыталась приспособить догмы к новым научным открытиям, она всегда остается в накладе; ей все труднее заставлять верить в непреложную истину старых писаний, и она вынуждена искать защиту в символе. Придет день, когда будет сметено все. Церковь слишком хорошо понимает это. Вот почему папа тратит столько денег на школы, вот почему церковь стремится удержать в своих руках дело просвещения новых поколений. Но книга, как таковая, действует и в духовных школах. Скромный школьный учебник, который церковь отбросить не может, насаждает все большее число неверующих.

Церковь волей-неволей вынуждена знакомить учащихся с общепризнанными [115] истинами, и именно школьные учебники, скромные руководства по мере того, как они будут проливать все более яркий свет на неизвестное, доконают ее окончательно. Я вспомнил об одном персонаже, весьма нужном мне, которого я было упустил из виду, а именно о секретаре кардинала Бокканера. Это маленький, худой, болезненный, желтолицый, вследствие полученной им в Риме лихорадки, аббат. Его постоянно мучают припадки. Я включу его в число персонажей. Наконец, я уяснил себе роль франкмасонства, ненависть к нему церкви. Это церковь против церкви. Крупная организация деистов словно создана для того, чтобы окончательно разбить другую ассоциацию, ассоциацию католическую. Католицизм относится с такой ненавистью к франкмасонству потому, что последнее организовало секту в противовес его собственной сектантской организации; [116] та же иерархия, тот же правительственный аппарат; длительная борьба; взаимопомощь; пособия; община. Масонская община против общины католической. Католическая церковь боится мощного аппарата франкмасонов, в нем таится большая опасность для нее. Франкмасонство грозит все смести. Католическая церковь всегда на-чеку. Мое мнение таково: франкмасонство столь же мало может способствовать гибели католицизма, как и реформа самого католицизма, так как и католицизм и франкмасонство представляют собой лишь два уста-

ревших и, следовательно, застывших явления в развитии человечества. Франкмасонство с его традициями и философией, с его спиритуализмом (?), по существу, есть не что иное, как любая другая отжившая, застывшая в старых рамках религия, которую рано или поздно ждет гибель. Разум человеческий в своем неуклонном движении вперед уже обогнал франкмасонство, превратил его в старую, отжившую, конченную вещь. Франкмасонство только тогда представляло бы для католицизма реальную опасность, если бы оно возродилось, стало бы [117] проявлением самой науки, непрерывно двигающейся вперед. Наука завтрашнего дня—вот что сотрет с лица земли и католицизм и франкмасонство. Словом, франкмасонство с того момента, как оно застыло в каких-то определенных рамках (нужно как следует ознакомиться и проверить это), не есть та сила, которая может уничтожить католицизм. Мне сказали, что в понимании католиков франкмасонство есть деизм, направленный против бога; должно быть, идея божества масонами понимается в гораздо более расширительном смысле и, тем самым, побивает идею католического бога. Что же касается нас, мы никогда не придавали значения социальной и философской роли франкмасонства, так как мы, бесспорно, всегда шли впереди него, наша мысль всегда обгоняла франкмасонские теории.

Франкмасонство как-то и в счет не идет, над ним даже слегка подшучивают. Но одно бесспорно—это мощный покровительственный аппарат для своих членов, для людей, которые взаимно помогают друг другу, проталкивают один другого. Говорят, [118] будто Гамбетта—создание франкмасонов. По мнению некоторых, все деятели III республики вышли из франкмасонов. Многие становятся франкмасонами, чтобы только сделать карьеру. Попадаются неудачники, которые считают, что, будь они во-время франкмасонами, колесо фортуны для них повернулось бы иначе. Быть может, они правы, не в этом суть. Я попрежнему вижу в франкмасонстве лишь орудие, годное для людей ограниченных, и меня только поражает страх, до сих пор испытываемый церковью перед этой новой религией, созданной для служения одному и тому же хозяину.

Все это лишь доказывает вполне реальное происхождение католицизма, я хочу сказать, его организации. В Риме франкмасонство попрежнему служит для духовенства пугалом. Франкмасоны одержали победу, когда им удалось занять под свою ложу первый этаж дворца Боргезе. Это помещение предназначалось для миланской сберегательной кассы, но франкмасоны пустились на всякие махинации, решившись заплатить любую [119] сумму, только бы добиться своего—отбить помещение и, так сказать, утвердить право на свое существование, показать свою силу, расположившись в одном из самых знаменитых римских дворцов. Необходимо, чтобы Пьер в какой-нибудь главе сказал обо всем этом. Франкмасонство нисколько его не занимает, и он совершенно поражен, когда, например, Нани начинает расспрашивать его, интересуется, не был ли франкмасоном его отец (Пьеру ничего об этом неизвестно) и не поддавался ли он сам влиянию франкмасонов. Объяснения Пьера. Он не верит в отпадение от церкви ради новой, столь же устаревшей религии. Опасность для католицизма представляет наука завтрашнего дня, неуклонно двигающаяся вперед, маленькое школьное руководство, которое, однако, заставляет прозревать.

Теперь, как будто, салон Бокканера достаточно полон. Нужно лишь как-то упорядочить всех персонажей. Салон черных ряс. Конечно, Сера-

фина и Бенедетта, Коклиа со своей немой теткой—[120] вот, пожалуй, и все дамы. Быть может, еще несколько статисток, если это понадобится. Нужно подобрать подходящие типы римлянок. Затем, как основа,— Дарио и Морано. В доме живет также аббат Виджилио, который иногда спускается в гостиную. Я уже говорил о том, что кардинала Бокканера там никогда не бывает. Зато там можно встретить монсиньора Нани, монсиньора Гамбиа (злой язык) и кардинала Сарно. Относительно двух последних я до сих пор еще окончательно ничего не решил, так как мне бы не хотелось слишком загромождать книгу.

Типы двух кардиналов-противников—Бокканера и Сангвинетти—у меня достаточно разработаны. Остается кардинал — «канцелярская крыса», бесцветная личность. Однако, все это дает мне весьма мало, не мешало бы как-нибудь все это упорядочить. Я оставляю в стороне кардинала-викария, главного исповедника, государственного секретаря; о них я упомяну лишь мимоходом. Мне очень хотелось бы иметь одного представителя пропаганды, так как в ней вся сила.

Я могу дать тип [121] кардинала, работающего в аппарате церковной пропаганды. Он руководит миром, не выходя из своей канцелярии; он один из нужных, важнейших, страшных колес аппарата пропаганды. Этот кардинал также вхож в салон Бокканера. Его характеристику я дам через других присутствующих, которые говорят о нем за его спиной. Сам монсиньор Нани чувствует себя смущенным перед этой столь всесильной глупостью. Вот где сила! Как мне говорил Бехэн: «Необходимо тщательно следить за деятельностью пропаганды, так как она представляет собой страшное орудие». Быть может, сделать его префектом; он носит сан кардинала; основная пружина, тупая и, вместе с тем, страшная. Обдумать, возможно ли это. Что же касается монсиньора Гамба, дяди Нарцисса Габера (его сестра замужем за одним из Габеров, убежденным католиком, нотариусом в Париже), я сделаю его одним из агентов Ватикана. Однако, мне кажется, что, пожалуй, лучше совсем выбросить этот персонаж. В таком случае, Нарцисс будет племянником кардинала Сарно. Одна из сестер кардинала [122] замужем за парижским нотариусом, ярым католиком, сына же послали в Рим, к дяде. Это родство открывает перед ним двери Ватикана; кроме того, у него может быть также двоюродный брат, другой племянник Сарно, который служит и живет в Ватикане, какой-нибудь монсиньор (Гардароба). Найти. Во всяком случае, ему известны все тайны папского двора. Так, пожалуй, будет неплохо, так как этот последний даст мне все мелкие интрижки Ватикана, а кардинал Сарно, со своей стороны,—пропаганду.

IV. «НАБРОСОК» К «ПАРИЖУ»

«Набросок» к «Парижу» разработан у Золя значительно острее, чем другие «наброски» романов из серии «Три города». Поэтому мы коснемся его подробнее и установим тесную связь его с романом; это должно послужить материалом к характеристике творческого процесса у Золя.

«Париж»—наиболее социально насыщенный из романов серии «Три города». В публикуемом «наброске» к «Парижу» Золя пишет, что «самой волнующей является проблема социальная и религиозная». При этом он «сливает их воедино» и устанавливает, что экономический вопрос—основа всего, а особенно религии». Такое материалистическое, по существу, разрешение проблемы религии намечалось и в «наброске» к «Риму».

В «Париже» социально-религиозная проблема приобретает характер социально-политический.

До своего горячего участия в деле Дрейфуса Золя одно время относился отрицательно к политической деятельности. Но, имея в виду социально-политическую остроту многих романов Золя (его антибонапартизм, а также враждебные буржуазии мотивы в «Чреве Парижа», «Добыче», «Жерминале», «Разгроме» и др.), «аполитизм» Золя следует считать выражением его скептического отношения к буржуазному парламентаризму, к «гнили, царящей в парламенте». Так нужно понимать и его статьи конца 70-х годов (Сборник «Кампания», 1881) и роман «Его превосходительство Эжен Ругон», 1878, где показаны, по словам писателя, «политические кулисы». Новым в «наброске» к «Парижу» является подчеркнуто-оптимистический вывод Золя: «В повседневной политической истории... под слоем грязи, глупости и безумия все же вырабатывается и постепенно, с каждым днем, разрешается социальная и религиозная проблема». Успокоительные свои надежды Золя оправдывает при помощи условных параллелей: «Нельзя родить ребенка, не запятнав простыней».

«Париж», по замыслу Золя, должен был быть социальной фреской современности. Отсюда, наблюдаемое в «наброске» стремление писателя не упустить ни одной из сторон парижской жизни. Чтобы избегнуть калейдоскопического изображения, нужно было найти объединяющий фокус. Для этого Золя пользуется в рукописном «наброске» панорамным развертыванием фабулы с точки зрения основных своих героев—Пьера Фромана («пассивного наблюдателя», по первоначальному замыслу), главным образом, а также Гильома. Рукописные замыслы Золя определили особенности романа. Писатель не избег известного фабульного нагромождения событий, несколько искусственного, условного их накопления. Стройность фабулы подменена у него схематичностью, построением картины вокруг двух антитетических центров—бедности и богатства, которые должны иллюстрировать существенный мотив романа—потрясающую остроту социальных контрастов в современном Париже, т. е. в буржуазном обществе.

Изображая «черную нищету», с одной стороны, и «денежный веселящийся» Париж—с другой, Золя не дает, однако, в «наброске» четкой картины социальных противоречий этого общества. Она неполна. Социальный облик его «нищеты» неопределенен: «рабочие и нищая проституция, дом в предместье, густо населенный семьями, терпящими величайшие страдания» и т. п.—словом, городская беднота. Мотив труда («а для труда имеется фабрика») не развит в «наброске»; недостаточно развит он и в романе.

Разумеется, Золя—автора «Жерминаля», а также «Западни» и «Труда»—нельзя упрекнуть в том, что он оставил без внимания труд индустриального пролетариата и ремесленников. Но для целостности социальной фрески Парижа картин угнетенного труда в романе недостаточно; это наглядно сказывается и в его замыслах.

В соответствии с «наброском», картины страданий бедняков в романе ярки. Золя описывает умирающего с голоду семидесятилетнего старика-рабочего Лавёва, рисует голодающую семью безработного слесаря Сальва; но это единичные образы трудящихся. Больше внимания уделяется писателем деклассированным элементам, выбитым из социальной колеи. «Социальный ад», который видит Фроман,—это зачастую лишь «чудовищная парижская ночь, полная рыданий отчаянья, разврата и проституции».

Об угнетенном положении трудящегося Золя говорит лишь в образной форме: «отрывистое пыхтение и зловещий рокот заводов и фабрик, где злится, изнывая в тяжелой работе, физический труд». В романе наблюдаются либеральная риторика, цветистые заявления о «несметных легионах нищеты, всей массе обездоленных бедняков, которая в предсмертной агонии требует правосудия».

В романе фигурирует, к тому же, символическая «мстительница»—жрица любви, вышедшая из народа, развратная красавица Сильвиана, любовница барона Дювильяра. В «наброске» образ этот имеет исключительно реалистический, бытовой

характер. В романе же Сильвиана «мстит за всех голодных и обездоленных», «является олицетворением правосудия». Мотив этот, не предусмотренный в первоначальных замыслах писателя, несомненно, навеян был в процессе работы образом Нана, героини одноименного романа, ибо она тоже обрисована мстительницей, как «гниение снизу», «орудие разрушения». В целом же, «денежный и веселящийся» Париж Золя изобразил в ряде ярких эпизодов, продолжающих литературную традицию автора «Ругон-Маккаров».

В отношении моментов художественно-изобразительных больше данных сравнительно с «наброском» имеется в аналитическом «плане». Мы к этому вернемся. Сейчас же достаточно указать для примера на описание музыкального утра у княгини де Арт, Английского кафе, «Кабинета ужасов», наконец, на сцену гильотинирования Сальва, наблюдать которое собираются представители буржуазных верхов и городские низы — воры и проститутки, тогда как рабочие кварталы,—по словам Золя,—загадочно молчат, тая глухой протест против буржуазной расправы. (Замечание это верно, если правильны наблюдения Лейре в его книге «В гуще предместья, рабочие нравы» (1895), что «покушение Вайяна в Палате было встречено одобрительно в парижских фобургах».) Во всех этих эпизодах Золя уподобляется буржуазному моралисту, который бичует, не разрушая: «Не следует проклинать Париж, выставляя его городом публичных девок». Через весь «набросок» проходит красной нитью мысль о том, что «весь этот блеск разврата приемлется». Париж—это какой-то синтез добра и зла, контрастных социальных сил.

Извращенность физическая и нравственное разложение семьи барона Дювильяра сочетаются у буржуазии с модным увлечением символизмом и эстетизмом в литературе, пессимизмом в философии, оккультизмом, анархизмом и т. п. Крайний индивидуализм сына Дювильяра, Гиацинта (Ибсен, Ницше), и авантюристки княгини де Арт особенно подчеркивается в «наброске». Золя пользуется жанровыми картинами из жизни буржуазного светского общества, чтобы опорочить весь комплекс идеалистических и спиритуалистических устремлений конца века. В изображении семьи

ЗОЛЯ НА ПРОГУЛКЕ В МЕДАНЕ

С любительской фотографии 1890-х гг.

Дювильяров дан также мотив когда-то «прогрессивного» буржуазного рода завоевателей, стяжателей денег, разложившихся через несколько поколений, что четко раскрыто у Золя в романе «Труд».

Но в «Париже» показано не только бытовое, но и социально-политическое разложение буржуазного общества. Тезис, которым руководствовался здесь Золя, заслуживает внимания. Он так характеризует в «наброске» буржуазное миропонимание: «Все, что творится в низах, среди нищеты, является преступлением, а то, что происходит в верхах, у богачей, называется политикой». Вот это «преступление - политику» Золя и показывает прежде всего.

Воплощением буржуазии, «разбогатевшей, благодаря революции», является барон Дювильяр, «золотой телец», «торжествующий Толстяк», «загрязняющий все, к чему он ни прикасается», и, вместе с тем, «грозный человек», «представитель целого класса», как сказано в «наброске». Кризис министерства, которому Золя уделяет в «наброске» очень большое внимание, происходит в атмосфере борьбы за власть представителя республиканской буржуазной демократии, «романтика в политике», министра Барру (Флоке), и человека с волчьим аппетитом, представителя «молодого поколения, жаждущего власти», агента финансового капитала, министра Монферрана (Рувье). Вся парламентская интрига у Золя обрисована, как можно судить по «наброску», на основе и в соответствии с историческими прототипами — политическими деятелями и событиями Франции 90-х годов. Золя показывает, как вся парламентская жизнь подчиняется подлинному руководителю политической жизни страны—финансовому капиталу, который использует республиканскую форму правления («Дювильяр понял, что ему следует делать в республиканском Париже») для реализации своих целей при помощи монархистов и клерикалов. Характерно, что Золя изобразил Дювильяра католиком, подчеркивая, тем самым, связь его с реакцией 90-х годов.

Чтобы полностью «высказать суждения о парламентской машине» («набросок»), Золя большое внимание уделяет буржуазной прессе, бульварной и «серьезной», в равной мере связанной с реакцией. В романе фигурируют бульварный листок роялиста и «католического социалиста» Санье «Голос Народа» и солидный буржуазный орган «Глобус» Фонсега, консервативного республиканца, защищающего порядок, семью и собственность. Оба журналиста, как мы указали, имели прототипов в современной французской прессе.

В целом, Золя хочет показать «торжество буржуазии», то, что «буржуазия пришла к власти, между тем как народ обманут: в этом основная идея» («набросок»). Вот почему он уделяет много внимания историческому происхождению буржуазной власти, указывая, что она захвачена «при дележе добычи 89-го года... в ущерб четвертому сословию». Здесь Золя нельзя отказать в понимании закономерности исторического развития.

Рисуя социальные противоречия буржуазного общества, контрасты нищеты и богатства, Золя особенной критике подвергает правящую финансовую олигархию. Под влиянием увлечения Золя индустриальным развитием, отношение его к буржуазии, стоящей во главе промышленности и торговли, несколько иное. Я имею в виду (в романе) заводчика Грандидье, представителя передовой индустрии (производство велосипедов, автомобилей), и его брата, заправилу крупной торговли (магазина «Бон-Марше»). Грандидье обрисован, как последовательный капиталист. Но, по мнению писателя, Грандидье подчиняется железному закону производственной эволюции: «У него не было ни малейшей возможности удовлетворить даже такие требования рабочих, законность которых он сам в принципе признавал». Это знакомый нам по «Жерминалю» и «Дамскому счастью» «прогрессивный капиталист» (характерно, что Грандидье, по словам рабочих,—«добрый человек»). Он иллюстрирует, по мысли Золя, фатальность экономического развития капиталистической системы.

Отголоском биологизма Золя является следующий мотив. Золя рассказывает о мрачной семейной драме фабриканта Грандидье, любимая жена которого сошла с ума и продолжает жить в его доме. Эти человеческие муки Грандидье используются Золя для защиты своей мысли о том, что достижение социальной справедливости еще не разрешает проблемы человеческого счастья. И вот, чтобы обострить контраст социального и биологического, Золя рисует в романе благоденствующий завод Грандидье, семейная трагедия которого остается неизменной. Этот мотив имеет существенное значение для характеристики мыслей Золя, он встречается и в романе «Жерминаль». И там семейная драма директора Энбо противопоставляется социальной драме шахтеров. Но и в «Жерминале» и в «Париже» мотив этот имеет декларативный характер и органически не связан ни с фабулой, ни с конфликтами действующих лиц.

На фоне социальных контрастов «Парижа нищеты и роскоши» Золя нарисовал образ анархиста Сальва. Его террористический акт—брошенная в карету барона Дювильяра бомба, преследование Сальва полицией в Булонском лесу, суд над ним и затем казнь—центральные эпизоды фабулы, вокруг которых развертывается все действие романа. Характерно, что в «наброске» у Золя были колебания между образом Э. Анри (Матисом), молодым анархистом, который свидетельствовал о «горечи, накопившейся у молодого поколения», и Вайяном (Сальва). Золя предпочел, в конечном счете, Вайяна—старого рабочего, теснее связанного с тяжелым бытом рабочей среды: «Пожалуй, лучше взять Вайяна. Черная нужда, жена или любовница, малолетняя дочь». Умонастроение безработного Сальва объясняется в романе, как акт отчаяния и протеста. «В основе террористического акта—нищета». Эмилю Анри Золя отвел роль на втором плане, отбросив мелодраматическую интригу (юноша Анри—брат девушки, на которой женится Пьер, по первоначальному предположению писателя). Но органической связи у Сальва с рабочим движением нет. Золя сравнивает Сальва с рабами-христианами, говоря о его «мечтах об искуплении»; идеи Сальва определяются в романе, как хаотическое сочетание современных социалистических воззрений со стремлениями к абсолютной справедливости, всеобщему счастью.

Характеристику анархиста Сальва можно отнести, в известном смысле, к категории сочувственных высказываний, стремящихся объяснить, но не оправдать его действия. Покушение Сальва, по мысли Золя,—это «предупреждение по адресу богачей»: «только намекнуть на то, что все это возобновится». Но Пьер Фроман относится к покушению Сальва, как к недопустимому насилию, и потому, в сущности, что оно рассматривается им не столько, как акт анархического террора, но вообще, как проявление революционной борьбы с буржуазией. Ведь, по словам Золя, «анархист [т. е. Сальва] восстает против денег, против капиталистического общества».

Пьер Фроман отвергает революционное завоевание массами земных благ, «братоубийственную войну классов, которая уничтожит старый мир... поглотит нашу цивилизацию». При всей критике буржуазии Пьер Фроман не мыслит новых форм социальной жизни вне капиталистических отношений, и все его старания направлены на то, чтобы избегнуть катастрофы—«урагана гнева и справедливости, грозы возмездия» и т. п. В страхе перед «грядущим кровавым возмездием подыхающих с голоду бедняков» он обращается к благотворительности буржуазии и «хочет смягчить эгоизм верхов». В их среде «очаровательный священник», «настоящий святой» находит известный отклик. В конечном счете, Пьер Фроман становится орудием в руках буржуазии.

Гильом Фроман, по первоначальному замыслу Золя, мечтал «взорвать биржу» или же Сакре-Кёр, Триумфальную арку, богатый квартал («набросок»), т. е. сочувственно относился «к самым преступным видам революционных насилий», но, в конечном счете, так же как и Пьер Фроман, он становится принципиальным противником «анархического братства, достигнутого путем террора» («набросок»). То же следует сказать о Бартесе, Баше, Морене, Меже и других представителях различных течений социальной мысли.

Золя достаточно ярко показывает, что террористический акт Сальва, «гидра анархии» расцвечивается в прессе для устрашения буржуазии. Защита цивилизации от взрыва бомбы «спасает кабинет». Правосудие находится «в полном подчинении у властей». Цель буржуазии—«опозорить анархию, а также социалистическое революционное движение в целом», «свирепый социализм, собирающийся разрушить все до основания».

Девяностые годы были во Франции временем мощного развития рабочего социалистического движения, и, в известной мере, роман «Париж» был ответом на обострение классовой борьбы. Однако, внимание писателя сосредоточилось на анархических покушениях, поразивших в то время общественное мнение.

В начале 90-х годов в Париже был произведен ряд покушений, следовавших одно за другим; бомбы взрывались то перед казармами, то в домах судей, приговаривавших анархистов. Арест одного из главных виновников, Равашоля, не положил конца этим актам; в ночь, предшествовавшую его процессу, был взорван ресторан, где его арестовали, а через несколько месяцев произошел новый взрыв в полицейском участке. «Был момент, когда в Париже и во всей Франции царила общая паника». Так пишет Ф. Дюбуа в своей книге «Анархическая опасность» (1894). Наглядным свидетельством остроты анархистской пропаганды является, например, сатирический журнал «Le Père Peinard» (1888—1894). Наконец, в 1893 г. анархист Вайян бросил бомбу в Палате депутатов. Под впечатлением этого события были вотированы репрессивные законы против революционеров в целом. Золя изучал анархическое движение по целому ряду книг и документов (судебные отчеты о процессах Равашоля, Вайяна, Анри и др.).

Золя стремился дать себе отчет и в социалистическом движении XIX в.: «Я изучу все социалистические секты, чтобы узнать, в каком положении находится социалистическое движение в настоящее время» («набросок»).

Но, рисуя представителей учений Сен-Симона, Фурье, Огюста Конта, Прудона и Маркса, Золя односторонне подводит итог социалистическим теориям. За исключением коммуниста-коллективиста, депутата Межа (Жюля Геда), которого он изображает на парламентской трибуне, другие—Баш, Морен, Бартес—представлены не в обстановке социально-политической борьбы, а в интимном кругу, что позволяет им ограничиться декларациями. Золя сознательно делает их «статистами». Конкретного социалистического и рабочего движения конца XIX в. Золя не касается, хотя, как известно, в 80-х и 90-х годах рабочее социалистическое движение Франции отличалось значительной активностью и сложностью (поссибилисты, гедисты, аллеманисты и др.).

Однако, характеристики, данные Золя различным представителям «революционного» движения, интересны. Бартес (Гамилькар Чиприани или Бланки) изображен, как вечный заговорщик, «апостол свободы, который провел всю жизнь в тюрьмах», «республиканец, преследуемый самой же республикой». Это мученик-идеалист, как Флоран из «Чрева Парижа», верящий в доброту человека, преисполненный отвлеченных надежд на торжество истины, добра и справедливости. Учитель Морен, демократ в духе Прудона, обрисован у Золя, как эволюционист, сторонник позитивиста Конта, противник крайних революционных действий. Следует подчеркнуть, что Золя осознал, что этот идеалист в душе «склоняется к реакции». С наибольшим сочувствием относится Золя к муниципальному советнику Башу, стороннику идей Фурье. Взоры Золя, по существу, устремлены в прошлое, «к идеям реформаторов начала века—Сен-Симона, Конта, Фурье... К тому порыву гуманитарных чувств, которые рухнули вместе с 48-м годом». Золя верит, что «наука вернется к мечте реформаторов и сохранит все, что нужно сохранить для того, чтобы мечта эта, наконец, осуществилась». Это был возрожденный утопический социализм, фурьеризм, который вдохновит Золя на роман «Труд», где нарисованы привлекательные картины в духе фаланстерской организации Фурье и проводится мысль о сотрудничестве «труда, капитала и таланта». В романе «Париж», в противоположность «наброску», можно отметить критическое суждение Золя о пред-

ставителях утопического социализма. Золя говорит, что Баш придерживался идеи о труде, «облеченном полицейскими правилами, о фаланстере, устроенном наподобие казармы».

При всей человеческой симпатии к вождю «коллективистической партии», депутату Межу, которого Золя изображает благородным (личная, семейная жизнь, демонстрация против казни Сальва, несмотря на различные с ним убеждения), Золя говорит о нем, как о властном мечтателе.

Связь «Парижа» с предшествующими романами из серии «Три города» сказывается в том, что Пьер Фроман изображен социальным реформатором в церковном обличии. Религиозный кризис имеет у него социальную окраску. И поэтому Золя разработал образ Фромана в романе так, что сознание социальных противоречий буржуазного общества облекается у него в формы апокалиптические—это «неизбежная катастрофа», «бунт, избиение, пожар», которые оставят на месте Парижа «зловонное болото среди развалин». Фроман воспринимает преступления буржуазии «с мучительной тоской человека, ожидающего каждый вечер удара в набат, который возвестит о предсмертном часе устаревшего общества». Так пишет Золя в романе. Эта социальная «катастрофа» мыслится Фроману не как прогрессивная смена одной социальной формации другой, а как последствие греховности человечества. Ему представляется «снесенный с лица земли преступный и осужденный род человеческий».

В «наброске» к «Парижу» Золя говорит, что «социальное и политическое влияние евангелия было бы пагубным, будь возможно его применение», и это приводит Золя без обиняков к заключению, что «с христианством, как таковым, покончено». Здесь—средоточие антирелигиозного акцента всей серии романов «Три города». Именно потому, что проповедью о «покорности» и «ложью о будущем рае» уже нельзя обманывать бедняков, тщетны уловки неокатолического движения, маскирующегося под демократию. Христианской религии герой романа Пьер Фроман противопоставляет новую «социальную религию»—науку и труд. Это—ось, вокруг которой вращается вся фабула книги.

Осознав «смехотворную бесполезность благотворительности», Пьер Фроман приходит к пропаганде социальной справедливости. Но лозунгу этому придан вначале религиозный характер в духе Достоевского: «Разве не довольно смерти от холода и голода хотя бы одного старика, чтобы рухнул общественный строй... Одна жертва влечет за собой бесповоротный приговор такому общественному строю». Помощь бедноте рассматривалась Фроманом, как проявление религиозного сознания, как «искупление». И поэтому проявление «милосердия» со стороны буржуазии пробуждает в нем надежды, что это путь к спасению общества. Но, в конечном счете, Пьер Фроман понимает всю ложь и утилитарный характер буржуазной филантропии. В романе особенно ярко показано, как при распределении помощи отвергаются неугодные буржуазии элементы. В старике Лавёве «видят революционера, потому что он ругает буржуазию». От религиозного сознания гибели современного греховного общества Пьер Фроман пришел к социальному требованию умерить эксплоатацию трудящихся в надежде, тем самым, избежать социальной катастрофы.

Если Пьер Фроман меняет лозунг «милосердия» на лозунг «справедливости», то эта отвлеченная формула имеет у него и конкретный социальный смысл, ибо само содержание «справедливости»—не в отказе буржуазии от власти, а в более равномерном распределении общественных благ. Золя апеллирует к сентиментальному доводу о «справедливости», страшась «бунта против общественной несправедливости». По общему замыслу романа «Париж» ясно, что полнее других высказывает эти мысли ученый Бертеруа (химик Бертело, на которого Золя ссылается в «наброске»).

Отношение Бертеруа к революционному действию отрицательно. Бертеруа защищает идею «о науке, стоящей над всем», ибо «только наука революционна». Это поддерживают в конце романа и Пьер и Гильом Фроманы. Но, судя по ряду замечаний Золя

в романе, он сознает, что «спокойный и грозный сторонник эволюции, Бертеруа с политической точки зрения консервативен».

Нужно помнить, что в процессе работы Золя не вполне представлял себе роль Бертеруа—Бертело. Он считал его представителем научного мира и хотел использовать то как химика, определяющего значение изобретений Гильома, то как хирурга, лечащего его после взрыва. Лишь в романе фигура Бертеруа окончательно определилась, и выросло значение этого первоначально «эпизодического персонажа».

В 90-х годах социальные идеи Золя складываются в определенную концепцию о мирном сотрудничестве классов; он бросает лозунг о «солидарности, как средстве». В социальном развитии Золя оставляет организующую роль за научно-технической интеллигенцией, как это видно из романа «Париж» и четко обрисовано в социальной утопии «Труд». Прообразом людей будущего является у Золя семья Фроманов, которых вдохновляет труд: «Оба брата сходятся на идее труда». Всех членов семьи Фроманов Золя называет рабочими, включая Пьера («священник, ставший рабочим», потому что «искупление не в Христе, а в труде»). Сыновья Гильома, в равной мере, представляют как Нормальную школу, так и заводы. «Других рабочих,—говорит Золя в «наброске»,—не надо». В лице девушки Мари, жены Пьера, Золя хотел дать образ передовой женщины, сочетающей знания (у нее диплом) с женственностью (воплощение плодовитости).

Название романа «Париж», по замыслу Золя, имеет особый идейный смысл. Носителями социальных чаяний Пьера Фромана являются не те или иные общественные группы, а город Париж в целом—«город жатвы, город—источник всякого света» («набросок»), откуда должны распространяться истина и справедливость. Париж изображен в романе, как «улей трудящегося человечества», «бродильный чан, где вырабатывается вино будущего», своего рода мистический синтез—«чудовищная смесь наилучших и самых худших элементов». Для возвеличения Парижа Золя обращается к его истории и говорит о французской столице, «изборожденной столькими революциями, удобренной потом и кровью стольких тружеников и мучеников».

Идеальное социальное освобождение в представлении Пьера Фромана неизменно связано с судьбой Парижа, «стоящего во главе всего мира» («набросок»), а потому, естественно, для спасения мира необходимо, чтобы победа осталась за Парижем. Этот своеобразный мессианизм сочетается в «наброске» Золя с проблемой использования взрывчатого вещества, изобретенного Гильомом Фроманом, о чем сказано ниже.

Золя несколько раз подчеркивает в «наброске», что роман «Париж» носит оптимистический характер: он хочет «закончить гимном надежды». Золя проповедует «веру в науку и разум», новую религию, основанную на «законе труда», «религию жизни и плодовитости». Это он называет социализмом («В будущем—социализм»). Вот почему в «наброске» говорится о «всеобщем и безусловном труде», о том, что необходимо «сократить труд при помощи машин» и т. п. Но, хотя Золя и говорит о труде, как о новой «социальной религии», представление его о новых формах социальной организации общества неопределенно. Из «наброска» особенно явствует, что, когда Золя заявляет, что «все регулирует закон труда», он мыслит «труд» не только как социально-экономическую, но и как биологическую категорию («жизнь есть труд»), связывая ее с проблемой плодовитости. Все же гимн труду в романе «Париж» возвышает положение трудящегося, и в этом интерес положительной концепции романа «Париж». Критическая же сторона романа Золя подчеркнута его тезисом, что «старое общество рушится».

Много внимания уделяет Золя в «наброске» к «Парижу» проблемам войны и всеобщего разоружения. Золя бросает идею, что усовершенствование разрушительных качеств техники сделает войну невозможной. Вот почему он предполагает, что Гильом изобретет взрывчатое вещество или снаряд, благодаря которому «целая армия» (или флот, город, страна) может быть уничтожена на расстоянии. Два пути представляются Гильому. Как «интернационалист», он хочет достигнуть братства народов, одновре-

менно опубликовав свое изобретение в ряде стран или доведя о нем до сведения различных правительств, что приведет ко всеобщему разоружению. Как «патриот» (отчасти под влиянием того, что его ученик «хочет тайну... изобретения продать Германии»), он стремится передать свой секрет Франции, так как считает ее «способной спасти мир». Утопическую идею о невозможности войны в связи с развитием военной техники Золя разовьет затем в романе «Труд». Соответствующую мысль высказывает он и в предсмертных своих замыслах. В «наброске» к «Парижу» мысль о роли взрывчатого вещества мучительно выкристаллизовывается у Золя, и в результате взрывчатое вещество используется не в качестве разрушительной, а созидательной силы при конструкции нового двигателя, средств передвижения, воздушных шаров, машин и т. п. В конечном счете, труды Гильома «толкают человечество на путь прогресса и братства», «освобождения, справедливости, труда». Но в обоих вариантах проблемы с взрывчатыми веществами—«интернациональном» и «патриотическом»—руководящей идеей для Золя и его героя была идея «о любви к человечеству». Этот гуманитаризм характерен как для Пьера, так и для Гильома.

Значительный интерес представляет «набросок» Золя к «Парижу» и как свидетельство работы писателя над фабулой романа. Разумеется, больше внимания уделил этому Золя в своих аналитических «планах». Но и в «наброске» проблема построения романа в соответствии с общими идеями произведения (например, контраст нищеты и богатства) выявлена в достаточной мере. Золя хочет создать «необходимое живое действие», «все крепко скомпановать, построить разумно и интересно» и т. п. Поэтому он стремится описывать «не запутанно», а, наоборот, «очень легко», в ряде коротеньких сцен, радуется при мысли, что «первая часть задумана блестяще, живо», распределяет в целях композиционной стройности всю фабулу на пять частей по пять глав в каждой и т. п.

Заботит Золя и психологическое правдоподобие отдельных мотивов. Взять хотя бы «драму с братом». После ряда колебаний Золя пришел к реализованной им в романе коллизии: вместо самоотречения Пьера, отказа от плотской жизни, Гильом уступает ему любимую девушку. Так Золя разрешает проблему плодовитости в отношении священника, отрекающегося от католического, церковнического мировоззрения. С другой стороны, Гильом под влиянием Пьера отказывается от террористического акта. В конечном счете, борьба между братьями завершается гимном жизни. Большое внимание уделял Золя также анализу взаимоотношений Пьера, Мари и Гильома. Первоначальную мысль свою о девушке, которую Пьер «спасает от какой-нибудь беды» («она уже не девственница, голодная и избитая»), Золя, видимо, реализовал в романе «Труд». Здесь Жозина является воплощением страданий всех трудящихся.

Несомненно, художественные проблемы «Трех городов», сравнительно с предшествующей серией романов «Ругон-Маккары», привлекали значительно меньшее внимание писателя. В анализируемых нами «набросках» Золя сосредоточивался, главным образом, на вопросах тезисного характера. С художественной стороны наибольший интерес представляет роман «Париж».

Текст «наброска» к «Парижу»:

[1] Из всех современных вопросов самой волнующей является проблема социальная и религиозная. Иных не существует. В повседневной политической истории—низкой, грязной, отвратительной—проблема эта, тем не менее, втайне обсуждается, и, по сути, самое разрешение ее и вызывает ожесточенную борьбу гнуснейших интересов, которые, сталкиваясь, готовы пожрать друг друга (всевозможные панамы, глупейшая антисемитская война и весь позор нашего времени, с его продажной политикой отдельных личностей).

Здесь, быть может, и заложена основная идея, в целом, моего «Парижа». Показать, что под слоем грязи, глупости и безумия все же вырабатывается и постепенно, с каждым днем, разрешается социальная и религиозная проблема... [2] Это именно и поймет Пьер в конце, в заключительной части, где он, в целом, резюмирует все политические гнусности, коих был свидетелем, и это выливается у него в громком крике успокоительной надежды. Париж—город жатвы, город—источник всякого света (Рим, Лондон, Нью-Йорк, Берлин, нет—Париж). Говоря о проблеме социальной и религиозной, я сливаю их воедино. Социальное движение должно поглотить движение религиозное, оно захватывает его: религия должна быть социальной. Равным образом, в основе лежит только одна экономическая проблема—богатство, собственность, и в конечном счете все регулирует лишь закон труда. Всеобщий научный закон труда: жизнь есть труд. Затем плодовитость, жизнь, мать и отец, чета существуют только ради ребенка. Почитание жизни на основе идеи, составляющей, думается мне, сущность старых религий—Египта, Азии, Греции, для уничтожения которых явился Христос (изучить). [3] Но с самого начала книги хорошенько установить, что основой всего является вопрос социальный и религиозный, от него зависит будущее, и лишь он занимает всех, даже бессознательно. Таким образом, содержание книги—Пьер в поисках за разрешением проблемы среди всей окружающей низости, приступы уныния и надежда в конце, когда он констатирует, что мы все же движемся вперед. Все современное социалистическое движение, все школы, беспристрастно изучающие предмет: они занимаются только возбуждением тех или иных вопросов о новом законе труда, который лишь намечается; католицизм утверждался в течение четырех столетий. Старое общество рушится, помимо воли все увлекая за собой. А будущее сулит мир и справедливость. [4] Аббату Пьеру трудно оставаться аббатом до конца. Он уже не может больше носить сутану и совершать богослужение. Он должен уйти из церкви если не немедленно, то хотя бы после размышления. После Рима всякая вера в нем умерла, было бы гнусно оставаться священником. Он может еще некоторое время носить сутану, но не должен совершать богослужения. Итак, [5] сперва он снова сходится с аббатом Розом, пока не убеждается в смехотворной бесполезности благотворительности (здесь придется, пожалуй, дать ужасающий очерк страшного Парижа). Все, что творится в низах, среди нищеты, является преступлением, а то, что происходит в верхах, у богачей, называется политикой. Буржуазия пришла к власти, между тем как народ обманут: в этом основная идея, все должно начаться сызнова, новый шаг вперед.

Он больше не совершает богослужения, но рясу носит, продолжая свое дело благотворительности вместе с аббатом Розом (ряса—последнее его достояние, с которым он расстается, в конце концов, когда порвет совсем, когда перестанет верить даже в милосердие и у него останется лишь вера в будущую справедливость).

Его драма с братом, а затем знакомство с миром социалистов всех толков. Весь Париж. [6] Стесняет меня, однако, то, что я никак не могу его женить. Для меня очень важна идея плодовитости, но я отнюдь не представляю себе Пьера плодовитым, женатым, отцом многочисленной семьи; мне кажется, что это противоречит созданному мною образу, а между тем, такой конец был бы логичен—возвращение к природе, вера в жизнь, надежда на плодовитость. В таком случае, надо закончить ребенком, как в «Докторе

АВТОГРАФ „НАБРОСКА“ К РОМАНУ ЗОЛЯ „ПАРИЖ“

Библиотека Межан в Экс-Провансском, Франция

Паскале». В первой главе появляется девушка, которую Пьер спасает от какой-нибудь беды; она уже не девственница, голодная, избитая, такая грязная, что он не может ее разглядеть. И вот на протяжении всей книги любовь к нему этой девушки (постепенно возрастающая). Он ее не любит, потом начинает ее желать, затем обладает ею и в тот день снимает рясу навсегда (само собою разумеется, что он не совершает больше богослужений). Заметки по этому поводу. Было бы так романтично устроить как можно больше драм. (А Мари? Может быть, не упоминать о ней больше?)

[7] Итак, в заключение ребенок, плодовитость, долг, труд. Но мне хотелось бы, чтобы настоящая драма разыгралась между обоими братьями. Их связывает огромное братское чувство. Меня берет большое сомнение. Мне очень хочется, чтобы в заключение Пьер был женат, имел ребенка—примиренный с жизнью, плодовитостью. Но это не соответствует моему представлению о священнике. Я мыслю его несчастным; оплодотворив женщину, он уходит и живет отдельно, удовлетворенный. Мне хотелось бы, чтобы он был если не возвышеннее, то хотя бы более трагичным. Ему сорок лет, цветущий по возрасту, но он наполовину обессилен долгим воздержанием. Обдумать, сделать ли его девственником или же дать ему пережить позор желания познать женщину, перед которой он, однако, отступает из-за робости, неведения, отвращения, в силу долголетней привычки священника, отталкивающей ее. [8] Если какой-нибудь орган не употребляют, он атрофируется. Тут нужен крайне деликатный физиологический анализ. Затем идея, что церковь налагает на своих священников известный отпечаток, истощает их и обособляет. Он чувствует себя обособленным, робким, неловким, клятвопреступником. Впрочем, разве не бывает в природе подобных жертв; ведь он один из тех, кому не удается

выполнить того дела, какое он призван выполнить—воспроизвести себя. И вытекающее отсюда унижение. Обратное тому, что говорит и осуществляет церковь—облагораживающее действие целомудрия и самоотречения. Он не вытерпит в конце, но будет ужасно страдать и окажется жертвой. Этим и объясняется жестокая борьба. Поэтому я и сохраню эту идею: красивая девушка, которую он подберет на улице в ужасной нищете и которую полюбит за ее здоровье, красоту, плодовитость. Он бросает [9] рясу (мысли девушки в тот день, когда он снимает рясу и впервые надевает партикулярное платье; но ему ясно, что девушка никогда не забудет, что он был священником).

Итак, неизгладимый след, оставленный священническим саном, целый мир, который умирает, должен умереть бесплодным. Мне представляется, что он отдает девушку своему брату, который живет с двумя детьми; любовница его умерла. Свободный брак. Брат ценит девушку, считает, что она произведет на свет прекрасное потомство. Она ходит за детьми брата. Это Пьер поместил ее у брата в качестве воспитательницы его детей. И замечание брата: «О! Эта народила бы прекрасных детей». Любовь к ней Пьера. Брат, зная, что Пьер ее любит, не думает о ней, несмотря на то, что считает ее прелестной.

Далее—каким образом Пьеру удается выдать ее за брата, рождение ребенка в заключительной части [10] и еще много прекрасных детей в перспективе.

Итак, самоотречение Пьера, который уступает эту женщину брату; мне хотелось бы еще, чтобы он героически пожертвовал жизнью ради брата. Предположим, что я возьму одного из Реклю[18] (без семьи), я сделаю из него анархиста, занимающегося пропагандой действием. Молодой человек мечтает о коллективном убийстве. Предположим даже, что он совершает его в начале книги. Он исчезает, его не сразу находят. Гильом, брат Пьера, скомпрометирован, он спасается бегством и встречает Пьера, который его прячет. Быть может, следует поместить покушение в начале книги. Он исчезает, его не сразу находят. Скомпрометированный Гильом бежит, оставив двоих детей в маленьком доме на Монмартре. Итак, братья встречаются. Молодой анархист, который совершит покушение, бывает запросто у Гильома. Я ничего не могу сделать, пока не зафиксирую психологический образ Гильома. Ученый-химик, изучающий [11] взрывчатые вещества; но у него имеются другие важные научные труды; пользуется большой известностью у официальных ученых, несмотря на свой замкнутый образ жизни. Если Пьер, в конце концов, становится сторонником эволюции, то и Гильом от него не отстает. Но в его представлении эволюция допускает вулкан, который извергается и все смешивает. Все революции на земном шаре произошли путем катастроф; жизнь развивается отнюдь не равномерно, ибо бывают внезапные революции, катастрофы, ускоряющие смену новых явлений. В истории и социальном движении существует такой же порядок—все исторические насильственные перевороты, Французская революция и т. д. Итак, он убеждается в возможности и даже необходимости насилия.

Может ли он сам задумать его, пожелать самому его выполнить? На этом пункте я должен остановиться, чтобы точно зафиксировать события в моем романе. Я прекрасно понимаю, как трудно, чтобы такой ученый и такой добрый человек, как Гильом, оказался виновником коллективного [12] покушения. Но в теории он может его одобрять, в крайнем случае извинить, и то, что он говорит своему брату, возмущает того.

Итак, я сделаю Гильома ученым, который работает на пользу будущего. Идея, что изобретение взрывчатых веществ сделает в будущем войну невозможной. Целая армия может быть уничтожена на расстоянии; таким образом, братство народов достигается в силу самой доступности разрушения. Идея родины; Гильом—интернационалист. Но я могу дать ему другого ученика, который хочет тайну какого-нибудь своего изобретения продать Германии; гнев Гильома, в нем пробуждается любовь к родине. У него может явиться мысль опубликовать свое открытие, чтобы весь мир узнал о нем, и тогда прекратятся всякие войны и всеобщее разоружение будет вопросом дней.

Я, кажется, придумал нечто очень величественное—ученого-изобретателя: [13] одного снаряда достаточно, чтобы уничтожить армию, флот, город, целую страну; и связанное с этим могущество, внутренняя борьба. Я сделаю его очень добрым, простым, отнюдь не стремящимся к власти и к славе, а главное, к деньгам. Если бы он захотел, то завтра же был бы очень богат, окружен большим почетом, хозяином мира. Но он очень добрый, и у него только одно желание—быть полезным, водворить царство справедливости; интернационалист, пожалуй, коллективист, по существу же, мечтатель или, наоборот, очень практичен, раз я хочу мечтателем сделать Пьера. И вот он останется патриотом, хранит секрет своего изобретения для Франции и хочет передать ей власть над миром, ибо считает ее способной спасти мир; тут и возникает идея о Париже, стоящем во главе всего мира, ему предначертано судьбой создать будущее.

Когда Гильом чувствует, что его хотят обокрасть, что его ученик хочет продать тайну Германии, он распаляется гневом, становится патриотом; его [14] первоначальный план—как интернационалиста, социалиста, не имеющего родины, мечтающего о всеобщем братстве,—опубликовать свой проект, дабы все народы разоружились, о чем я уже объяснял выше. Потом он может передать все могущество Франции для того, чтобы она стала воспитательницей, инициатором. Париж—родоначальник будущего. Тут Гильом должен посвятить в тайну своего изобретения Пьера, считая свою жизнь в опасности, быть может, от полученной раны или по другой причине. Это нужно для того, чтобы Пьер не исчез и принял на себя долю ответственности и душевной борьбы.

Анархист, совершающий покушение в общественном месте—в Палате или где-нибудь еще, может быть, на бирже,—близкий знакомый Гильома, так что тут возможна попытка вмешательства; и Гильом, для которого ясна цель преступления, бежит, прячется, [15] чтобы не быть замешанным в дело, особенно боясь, как бы у него не выкрали его тайны. Он укрывается у Пьера, приносит документы, все свои рукописи. Ночь, когда, истекая кровью, он объясняет Пьеру свое изобретение, извиняет анархиста, говорит о своей душевной борьбе.

Но у меня все еще нет развязки, где мне хотелось бы изобразить одновременно Париж—инициатора, своим усилием, трудом, освободительным гением приносящего впоследствии миру справедливость, и Пьера, умирающего за брата, за человечество, спасающего будущее. Развязка должна заключать в себе судьбу изобретения взрывчатого снаряда.

Изобретение Гильома несет с собою власть при посредстве террора, и если Пьер преследует только справедливость и регламентацию закона всеобщего труда, он, по существу, должен питать лишь ненависть к насилию, к средствам разрушения. Если он на миг допускает их, [16] то

единственно, как переходное средство, временную насильственную меру в эволюции, как это происходит и в природе. Но властвовать только потому, что обладаешь возможностью все разрушить,—такая мысль кажется ему дикой, она леденит его. Он видит в ней диктатора, который заставляет всех повиноваться, потому что держит в своих руках жизнь и смерть; в этой мысли есть что-то варварское, даже если допустить, что диктатор является апостолом правды и справедливости. Ведь у него всегда наготове его смертоносный снаряд, чтобы поразить тех, кто не хочет быть добрым. Это библейский Иегова. И у Пьера он вызывает ужас. Таким образом, если бы я даже сделал так, что он на мгновение допускает подобную теорию, я не мог бы заставить его придерживаться ее в развязке. Поэтому я хотел бы закончить новым изобретением; все же прекрасные [17] труды Гильома, в целом, толкают человечество на путь прогресса и братства. Трудно придумать одно-единственное изобретение, которое осчастливило бы человечество; между тем, совокупность научных работ толкает его на путь освобождения, справедливости, труда. В основе развязки должна, главным образом, лежать идея всеобщего и безусловного труда. В ней должна быть сущность религии и философии. Изобретения выдвигают необходимость всеобщего труда. Сократить труд при помощи машин, уменьшить усилия, людские страдания. Но человек все же остается работником, руководителем, и каждый получает свою долю по заслугам. Таким образом, мне нужна в конце драма именно в этом смысле. Изобретенное взрывчатое вещество может оказаться искомой силой для средств передвижения, воздушных шаров, а главное, для машин.

Это было бы отлично, но у меня все же [18] нет драмы. Пьер олицетворяет у меня самопожертвование; оно уже имеется в уступке брату любимой женщины, ввиду того, что Пьер чувствует себя скопцом, неспособным создавать. Нет, я оставлю только боязнь бессилия и все переделаю. Вот он, мой роман, почти целиком. Итак, Гильом изобрел взрывчатое вещество, машину, которая может разрушить целый город. И я должен привести его после внутренней борьбы к желанию совершить ужасающее преступление, в котором будет играть роль его снаряд; например, он решается взорвать биржу и сам погибнуть под развалинами (придумать). И все подготовлено, чтобы на следующий день появились в печати подробности, касающиеся его изобретения. Он хочет потрясти умы, совершить акт справедливости и в то же время завещать машину, которая приведет к разрушению, к братству путем [19] террора.

Он как бы подает пример, производит страшное испытание своей машины, показывает ее мощь, а назавтра объясняет, какое можно ей дать применение. Он отдает свою жизнь и свою тайну, но лишь после большой внутренней борьбы, придя к сознанию необходимости этого путем ряда драматических рассуждений. Но Пьер посвящен в тайну, его собственная борьба, и как ему удается помешать преступлению. В каком-нибудь погребе (быть может, наверху, в Сакре-Кёр)—весь Монмартр сотрясается. Братья лицом к лицу, спор. Мысль о братоубийстве зажигает в глазах Гильома зловещий огонек, когда он видит, что Пьер ему мешает. Пьер тушит фитиль пальцами, ожог или, пожалуй, Гильом наносит брату удар топориком; и тут, потрясенный видом братней крови, [20] отказывается от террористического акта.

Я сохраню первое анархистское покушение, совершаемое каким-нибудь Вайяном, Эмилем Анри. Тогда в заключительной части взрывчатое

вещество Гильома становится той двигательной силой, которой доискиваются. Уничтожение превращается в прогресс. Маленькая самодвижущаяся машина. А Пьер женился на девушке, у нее на коленях их ребенок, он смеется и протягивает ручки, глядя на движущуюся машину. Идея труда. Пьер с тремя обрубками вместо пальцев стал помощником брата. Все это перед лицом Парижа.

Итак, в конце плодовитость и любовь (женщина и ребенок), труд, братство, Париж, работающий на будущее.

А в общем, оптимистический конец; все то, что варится в ужасном котле, работает на пользу счастливого будущего. Я изображу это выше. Весь рабочий Париж (не следует забывать Париж сладострастный и утонченный, занимающий также значительное место и играющий свою роль). Движение вперед, к будущим векам, Париж-инициатор. Все, что накипает в нем со времени революции, идеи, которые он бросает миру. Его роль не окончена. Религия науки. К чему идет человечество. Главным образом, идея справедливости противопоставляется идее милосердия. Нищета Парижа толкает Гильома на покушение. Париж. В конце все побеждает идея труда. Такой конец более удачен. [21] Но можно было бы обдумать еще один конец, в котором, кроме разрушительного взрывчатого вещества, превращенного в активное средство, я изобразил бы Пьера, жертвующего собою за идею. Снова получилось бы отречение от Иисуса, а я именно противник этого. Поэтому мне кажется, что лучше сделать благополучный конец. Это спорный вопрос.

Само собою разумеется, я изучу все социалистические секты, чтобы узнать, в каком положении находится социалистическое движение в настоящее время. Будет уделено место политике, гнили, царящей в парламенте и в остальном; но, повторяю, я покажу, насколько это недостойно внимания, идет к неизбежному падению и служит ферментом, из которого возникнут новые миры. [22] Я все еще не уверен в развязке, потому что боюсь, как бы благополучная развязка не опошлила произведения. Я представляю себе Пьера в рабочей блузе, черного от угля, помогающего брату мастерить двигатель, который должен перевернуть мир, благодаря взрывчатому веществу. Кузнечный горн, Пьер раздувает мех, а Гильом—химик и механик одновременно. Он делает двигатель для того, чтобы у него не украли его тайны, желая затем принести [23] миру свое изобретение, как свободный дар свободомыслящего человека. Итак, кузнечный горн и священник, ставший рабочим, три сына Гильома—также рабочие. Мать умерла, разница в возрасте сыновей—два года: 22 года, 20 лет и 18 лет (установить); три различных типа, но все трое ученые, механики и т. д. Один—немного мечтатель, три типичных представителя будущего человеческого общества. Итак, других рабочих не надо. Быть может, бабушка, да, мать их матери, героиня, очень старая; она воспитала и вывела в люди троих. Сомкнуть эту семью в общем героизме и воле будущего. Весь этот мирок работает, надеется, закон труда. И тут же молодая чета, Пьер и девушка—очень здоровая, очень сильная, с которой он познакомился вначале и которая в конце дарит ему сына. Дитя на коленях у матери в развязке. Добавить, [24] что семейство живет под вечной угрозой взрыва, пока она не подчинит себе взрывчатое вещество, но они и не думают об этой возможности взлететь на воздух, быть взорванными ради прогресса. Никаких денежных расчетов нет у Гильома. Он истратил свое маленькое состояние на опыты. Теперь он живет на свои труды химика (узнать,

расспросить, какие заработки может иметь химик). Бабушка ведет хозяйство со строжайшей экономией. Она вносит всюду порядок. И когда Пьер появляется здесь, он хочет работать, как все, зарабатывать на жизнь и, действительно, зарабатывает. Также и его жена. Вероятно, я женю их гражданским браком, повинуясь современному социальному закону; но я еще посмотрю, может быть—свободная любовь. Итак, весь конец основан на труде, на законе труда, который будет, несомненно, [25] когда-нибудь выработан и утвержден. Таким образом, концовку я дам оптимистическую, потому что все побочные интриги должны свестись к следующему: Париж, несмотря на совершающиеся в нем позорные явления, на нищету,—котел, в котором кипит будущее и откуда это будущее возьмет свое начало. Итак,—город-светоч, царственный город, вечный город взамен Рима, город, где зародится новая религия науки, дабы умиротворить вселенную. Сейчас этот будущий мир еще лепечет, колеблется, едва-едва намечается; и вновь вернуться к идеям реформаторов начала века—Сен-Симона, Конта, Фурье и других, к тому порыву гуманитарных чувств, которые рухнули вместе с 48-м годом. Затем наступает царство позитивизма, стремящегося разрешить проблемы на основе фактов. Но движение будет продолжаться, наука вернется к мечте реформаторов и сохранит все, что нужно сохранить для того, чтобы она, наконец, осуществилась. В этом конечное значение века, величайшего из веков. Я изображу Париж на протяжении всего XIX в., показав на пороге его Французскую революцию, с которой он начался. Сперва в одной из картин я бегло подведу итог минувшим векам. Затем—весь век. Париж—картина будущего, Париж, завоевавший мир. Париж—зачинатель революции, всегда идущий впереди, вечный носитель идеи. Я найду место, где уточню зараз идею трех моих городов: Лурд—древняя умершая вера; Рим—неокатоличество, ставшее неприемлемым, Париж—новый народ, новая религия, основанная на законе труда, и религия плодовитости, примиренность с жизнью, зачатие ребенка, ибо он—символ завтрашнего дня. [27] Всё вперед.

В качестве драмы у меня имеется внутренняя борьба Гильома и Пьера, которая приводит их к этой развязке. Я могу еще сделать так, что Гильом приносит женщину в дар Пьеру, а не наоборот, как я замыслил сначала. Это изменит сюжет, но, кажется, будет неплохо.

Представим себе, например, что девушка—дочь друга Гильома, внезапно умершего от несчастного случая; Гильом взял ее к себе, когда ей было 18 лет. Теперь ей 22 года (установить точный возраст). Роскошная девушка, сильная и красивая, способная подарить мужу десяток ребят. И Гильом, потерявший жену, [28] может ее полюбить. Она относится к его сыновьям, как сестра, как друг. Она старше их. Итак, ей лет двадцать пять, расцвет сил и духа. Готова выйти за Пьера, как только Пьер появляется. Она может полюбить его, не признаваясь в этом. Зарождающаяся страсть Пьера, любовь. Короткая борьба между обоими братьями—и дар Гильома, который отдает девушку Пьеру, как более молодому, кто сумеет ее лучше любить и оплодотворить. Все это просто, с большим величием, на глазах у бабушки и сыновей.

Установить дату рождения ребенка. Идейные разногласия двух братьев. Прежде всего, у меня Пьер, весь отдавшийся благотворительности, он еще носит рясу, но в душе у него мертво. Раскол смешон и немыслим среди народа, утратившего веру. Лютера подняли бы на-смех, и вот Пьер чув-

ствует всю смехотворность идеи о расколе, [29] мучившей его в Риме. В Америке он также немыслим. Он встречается со схизматиком, некоим аббатом Шарбоннелем — несчастное существо. Таким образом, Пьер с опустошенной душой продолжает благотворительность вместе с аббатом Розом. Но он чувствует, что делать добро невозможно. И когда я все это изложу, разразится анархистский взрыв. Я вновь вернусь к парижской нищете, а покушение будет совершено вечером, когда зажгутся огни веселящегося Парижа. В кафе, в большом ресторане. Здесь я изображу всех своих персонажей, все второстепенные действия, которыми займусь после.

Я думаю, что первая часть задумана у меня блестяще, очень живо. Париж нищеты и роскоши, покушение какого-нибудь Эмиля Анри и вмешательство Пьера, принимающего живейшее участие, подбирающего раненых. Затем его брат, который у него укрывается, в уверенности, что он все еще верующий католик. Затем оба брата лицом к лицу, [30] взаимный анализ, столкновение. Само собою разумеется, я выведу на сцену Гильома, его тещу, трех сыновей и красивую девушку, которую он приютил у себя. Пьер может пойти к ним, чтобы успокоить их насчет оставшегося у него на ночь или на несколько дней брата, так как тот беспокоится; и раздражение Гильома против своего ученика-анархиста, который украл у него взрывчатое вещество, в то время как изобретение страшного снаряда не было еще завершено. Из-за этого все может сорваться. Между тем, он извиняет, вернее, объясняет возмущенному Пьеру поступок молодого человека. И вот однажды вечером, боясь умереть, он

МОНМАРТРСКИЙ ХОЛМ — ОДНО ИЗ МЕСТ ДЕЙСТВИЯ РОМАНА „ПАРИЖ“

Чертеж Эмиля Золя

Библиотека Межан в Экс-Прованском, Франция

открывает брату тайну, так как Пьер должен быть в курсе дела. Взрывчатое вещество, снаряд может взорвать город, уничтожить армию, и тогда война окажется невозможной, неизбежное разоружение, план Гильома опубликовать [31] секрет изобретения, дабы все народы узнали о нем одновременно, и уничтожить, таким образом, возможность войны (любовь к человечеству); но не отдавать его Франции, хотя это было бы патриотично, чтобы одна страна не могла главенствовать над другими.

Я предпочел бы обратное: Гильом мечтает отдать свое изобретение Франции, чтобы путем террора сделать ее победительницей, зачинательницей, как я уже говорил. Молодой анархист слишком поспешил отдать дань своей нищете, своей ненависти; создать из него настоящий тип (и ряд других типов первобытных христиан, подвергавшихся гонениям, и т. д.). Изучить во второй части, создать два-три резюмирующих типа; человек, бросивший бомбу, может быть в самом начале арестован, и у Гильома под влиянием гнева постепенно меняются [32] взгляды; вернее, они укрепляются в нем и внушают ему самому великую идею, полную мрачной поэзии,—страшный взрыв, во время которого он сам погибает, чтобы поразить террором все нации; в то же время бабушка рассылает секрет изобретения всем правительствам, побуждая их уничтожить армию. Следовательно, роль взрыва—воздействие путем анархистского террора и в то же время предостережение, долженствующее принудить людей к братству. Следовательно, драматическое движение у Гильома идет от простой патриотической мысли к мысли интернациональной и гуманитарной. Но происходит это в уме, который возмущен нищетой, который не верит более в милосердие и взывает к одной лишь справедливости. Он—сторонник эволюции, но считает геологическую катастрофу естественной и необходимой. А в конце Пьер, переживающий эволюцию, также оказывает на него влияние в большой сцене, когда мешает ему произвести покушение и внушает идею о труде, единственном факторе жизни и прогресса. [33] Таким образом, фигура Гильома представлена довольно живо, три фазы—патриотизм, интернационализм, затем поборник труда. Оба брата должны оказывать взаимное влияние и, наконец, сойтись в вопросе о труде. У Пьера—первая фаза отчаянья и неизменная доброта; затем, под влиянием воспоминаний об отце, заражаясь его примером, он приходит к идее о справедливости. Нищета становится так ненавистна ему, что он начинает понимать анархистов; наконец, он успокаивается на идее труда, на религии жизни и плодовитости.

Для Парижа мне нужны группы второстепенных персонажей. Так, наряду с аббатом Розом и Пьером, я покажу ночное убежище, созданное ими, [34] и там—черную нищету. Это будет уголок квартала, где я изображу ужасную нужду. Рабочие и низшая проституция, дом в предместье, густо населенный семьями, терпящими величайшие страдания. Мой анархист пройдет через убежище аббата Роза (чей образ до конца останется ангельским, олицетворяющим тщетную благотворительность). В конце я покажу его побежденным, оплакивающим свое напрасное самопожертвование, захлебнувшимся в море нищеты: «Я больше не могу! Я больше не могу!». Но он трогателен и прекрасен. Бессилие христианства. Быть может, подвергнуть его оскорблениям, как Иисуса.

Затем, как противопоставление отвратительной нищете, Париж денежный и веселящийся. Большой банкет, являющий картину торжествующей буржуазии. Какой-нибудь католический Ротшильд; роскошный особняк,

наполненный множеством произведений искусства. Выезды, драгоценности, [35] кружева. Все, что составляет очарование больших столичных городов. Необходимая роскошь. Необходимый блеск городов, властвующих над миром. Но отнюдь не глупец, а человек, разбогатевший благодаря революции; торжество буржуазии. Я дам ему, пожалуй, жену и детей; группа, долженствующая представить светское общество. Нужен также представитель старого угасающего дворянства. И тут же высшая проституция, наслаждение самое утонченное и дорогостоящее.

Мне также нужна политическая группа. Власть и Палаты; связать дело моего анархиста с какой-нибудь интригой в духе панамы. Например, он хочет взорвать дом, принадлежащий одному банкиру; как и почему. В дело замешана кокотка высшего полета; [36] все это является очень кстати, так как укрепляет министерство, которое должно было пасть, вследствие растраты; это очень хорошо и вполне достаточно. Дело молодого анархиста, который не расстается с книгой вплоть до казни. Гильом любит это хрупкое дитя и как раз в день вынесения смертного приговора, в приступе горестного гнева, хочет взорвать весь Париж. Затем им овладевает спокойствие, и в конце его захватывает работа. С этого момента очень удобно связать все детали вокруг дела, которое надо растянуть на несколько месяцев.

У меня все будет налицо, если я переплету интересы моей группы счастливых людей с делом анархиста; тут же будут и группы политиков, совершивших кражу, и мои [37] несчастные, мои бедняки, типы анархистов, блуждающих в тени. Весь Париж потрясен до основания. Кризис. Хорошо то, что я задумал необыкновенно живое действие—мне хотелось бы, чтобы оно распространилось на все описываемое общество. Этого нетрудно достичь, установив родственные социальные отношения. И не забыть Париж, как воплощение гениальности, ввести какого-нибудь великого писателя, высказывающегося за или против покушения. Мне необходима также пресса, ее роль в данный момент, ибо она говорит о преступлении, и я ее использую также. Отношение народа к покушению—он читает газеты, толкует, судит.

Наконец, чтобы представить науку в целом, я введу химика из Института, бывшего учителя Гильома или, скорее, друга его. Это [38] даст мне официальную науку. Не забыть школы, юношество, которому принадлежит будущее. Дел немало, но все они необходимы; надо сделать сжато и насыщенно.

Книга представляется мне в пяти частях. В первой—покушение и все, что создается вокруг него, в четвертой—развертывание драмы, покушение Гильома и полный переворот с помощью Пьера. В пятой—процесс и казнь анархиста, его конец, женитьба Пьера, и последняя глава, посвященная новому двигателю, вокруг которого собираются все персонажи. Во второй и третьей частях—изложение интриги и завязка действия, развитие персонажей. Мне хочется, чтобы было пять частей, по пяти глав в каждой.

[39] Я думаю представить научную молодежь, современную учащуюся молодежь; для этого у меня имеются три сына Гильома, из них я сделаю три очень интересных типа. Отец послал всех троих в лицей, желая, чтобы они воспитывались в обществе товарищей, как все современные дети. Только первоначальное воспитание и даже образование они получили дома. Я хочу, чтобы они были очень различны: один, пожалуй, самый младший, более хилый, бледный и мечтательный, немного утопичен, но

с непоколебимой энергией (у этого будет роман); второй, старший,—сильный, коренастый, остается с отцом, колосс, не так умен, как братья, помощник отца, верный его ученик, со спокойной совестью, добросовестный в работе, уверенный в себе; третий поступает в Нормальную школу, представитель научной молодежи наших школ. Один из тех, кто мне писал, [40] изобразив со всеми деталями Нормальную школу, научный отдел, работающий в библиотеках и лабораториях, далекий от сумасбродств Латинского квартала и глухих происков духовенства. Я заставлю его притти к отцу, говорить и высказаться. Несомненный противник анархии, тем не менее, очень сходится с Пьером. В будущем—значительное лицо. Все трое тесно сплочены вокруг отца, которого обожают, прекращают все споры и еще теснее сплачиваются вокруг него, как только нужно его защитить, любят его за доброту и справедливость, воспитанные им в духе правды и справедливости. Такая группа очень хороша. Тут же бабушка— [41] мужественная и добрая.

Таким образом, когда Пьер женится на молоденькой девушке, он как бы становится членом семьи. Семья увеличивается сперва благодаря ему, затем появляется новорожденный ребенок. Все это показать последовательно в ряде сцен. Девушка пользуется среди всех них всеобщей любовью и уважением. Все три сына относятся к ней, как братья. У самого младшего любовь на стороне, двое других не думают о ней, зная, что отец ее любит. Урегулировать. Главным образом, урегулировать взаимоотношения девушки и Гильома. Я говорил, что она дочь его покойного друга. Ей 25 лет, ему около 50-ти. Может быть 47, [42] чтобы старшему сыну было 25, среднему 22 и младшему 18. Таким образом, между девушкой и Гильомом разница только в 22 года. Подумать о докторе Паскале, не повторять его (развязка, во всяком случае, совершенно противоположна). Объяснить, в силу каких соображений у них разумно возникает мысль о браке. Я думаю, что не надо примешивать страсть. Гильом хотел выдать девушку замуж на следующий год ее пребывания у него в доме, но она отказалась. Ей хорошо там, она тоже оказывает услуги. Бабушка того же мнения. Мне кажется, что роль бабушки может быть более активной, [43] она сама поддерживает брак. Девушка не видит надобности уходить и пытать счастья в другом месте, коль скоро она никого не любит. Но бабушка и Гильом считают, что женщина должна быть замужней. Гильому может притти в голову самому на ней жениться, так как он очень одинок; его умиляет мысль вновь пережить молодость. Он не женился вторично только ради детей и потому, что бабушка заменила им мать. Он не желал вводить в дом другую женщину, которая могла бы нарушить их радость. Твердо установить это. Самопожертвование отца, ибо он был еще молод, бодр [44] и в принципе считает, что мужчине не следует жить без жены. Надо, однако, сказать, что он приносит свою жертву чрезвычайно просто и не страдает от этого,—настолько он поглощен своими трудами (некоторое уклонение в сторону работы позволит ему примириться без особых страданий, когда он уступит девушку Пьеру). Довести дело до того, что Гильом чувствует себя все более и более смущенным присутствием девушки и, постепенно проникаясь желанием обладать ею, поддается уговорам бабушки и сыновей, которые сватают за него девушку. С другой стороны, психология девушки, очень растроганной и благодарной, соглашающейся выйти за него замуж в порыве благодарности, которую она принимает за любовь. Дать очень тонкий анализ всех

этих чувств, где много целомудрия, отсутствие подлинной страсти, [45] но настолько прочная связь, что Гильому потребуется известный героизм, чтобы отдать девушку Пьеру, причем это произойдет не без некоторой сердечной боли. Для этого он должен быть убежден, что девушка, сама не сознавая, любит Пьера и будет счастлива и плодовита с ним. Итак, надо, чтобы девушка полюбила Пьера. Забыл сказать, что к тому времени, когда Пьер введен в дом Гильома, женитьба последнего окончательно решена. Свадьба откладывается по какой-нибудь причине, вроде того, что Гильом ожидает результатов какого-нибудь опыта. Связать это с идеей труда. Следовательно, я должен рассказать все, [46] что предшествовало вопросу о свадьбе, назначенной на определенное число. Тут появляется Пьер, и я хочу, чтобы девушка его полюбила (почему, как, благодаря какому стечению обстоятельств). В этом—самое действие романа. Она любит его, и Гильом это замечает, тяжелое объяснение, она из благородства отпирается, говорит, что не любит, начинает рыдать. Будет красиво, если Гильом побудит ее глубже заглянуть в ее собственное сердце. «Не меня вы любите, вы питаете ко мне лишь дружеское чувство, уважение и благодарность. А вот Пьера вы любите настоящей любовью!» (Как это случилось.) Гильом страдает, убедившись, что она не знала о своей любви, что он сам открыл и усилил эту любовь. [47] Он очень страдает, но счастлив своим открытием. Борьба, девушка не хочет взять обратно данное ею слово, вмешательство бабушки и сыновей. Наконец, Гильом требует, чтобы она вышла за Пьера, коль скоро она его любит, и затем он устраивает всю семью. Необходимо обдумать любовь Пьера к молоденькой девушке. Припоминаю только его юношескую любовь к Мари Герсен; это меня не смущает. Мари могла сделаться очень благочестивой. Не надо снижать ее образ, выдав ее замуж. Она продолжает верить в то, что св. дева ее исцелила. Она поклоняется деве. Она может сделаться монахиней или же посвятить жизнь долгу. Ее сестра [48] продолжает давать уроки и содержит безумного старика-отца. Пожалуй, если оставить ее незамужней, лучше всего сделать ее монахиней, посвятившей себя благотворительности. Если же она замужем и у нее есть дети, ее встреча с Пьером может оказаться причиной, побуждающей его самого жениться. Если он встретит ее монахиней, это также может на него повлиять. Можно просто только упомянуть о ней, чтобы сказать, что Пьер думает о ней в мечтах. Оставлю это и обдумаю. Но Пьер поглощен благотворительностью, тщетно пытается найти в ней удовлетворение. Бесполезность благотворительности, большое рассуждение по этому поводу, дающее ответ на некоторые труды, затрагивающие вопрос о благотворительности в Париже. Суровое величие этого священника, утратившего веру [49] и продолжающего, тем не менее, совершать богослужение, хотя он отрицает все самым беспощадным образом. После Лурда Рим окончательно убил в нем веру. Он опустошен, ни один человек в мире не отрицал всего так, как он. В первой части он должен быть великим и скорбным. Затем, в два приема, он бросает сперва богослужение, потом рясу. Идея необходимой справедливости—тот рычаг, который руководит им, когда он видит пример брата; в конце концов, он придет к убеждению, что труд необходим и что существует лишь одна вера—наука во имя справедливости, во имя будущего счастья.

Я начинаю с полного отрицания, опустошенности, полнейшего мрака; нет даже возможного вероотступничества; и в то же время он занимается

благотворительностью, которую считает смехотворной. Итак, [50] с самого начала, когда он впервые видит девушку, в нем должно быть внутреннее противоречие. Я непрочь вернуться к типу Викторины, неверующей и спокойной служанки, изменив его; сделать тип высокого, образованного, прекрасного человека. Девушка—современный тип, прошла курс учения, посещала женский лицей (обработать, это будет очень интересно). У нее такие же знания, как и у всех, имеются дипломы, но в ней нет поэзии наших несведущих, глупеньких юных девиц; тем не менее, это натура спокойная и добрая. Такое образование при солидном уме, прямом характере — обдумать. Быть может, сделать ее велосипедисткой, изучившей дороги, умеющей во-время повернуть и т. д. При этом очень честная и, [51] хотя она все знает, тем не менее, сохранила, благодаря своей прямоте, девственную наивность. Прелестный, благородный тип. Отнюдь не мечтательна и не требует от жизни невозможного. Очень работящая, не может сидеть без дела, охотно занимается хозяйством, даже кухней, чему ее научили; всегда была бедна, но относилась к этому без горечи. Из ничего умеет создать красивое. Всякий пустяк ее забавляет. Всегда весела и довольна. Никогда не думает о завтрашнем дне, о смерти. Надеется, верит в счастье. Очень женственна, очень нежна, главное—никаких крайностей, не синий чулок и не стоит за права женщины. Равноправие считает совершенно естественным явлением, женщина равноправна мужчине всякий раз, когда это возможно; понятно, почему она согласилась выйти замуж за Гильома [52]—она так благоразумна, так практична. Но вот появляется Пьер. Сперва этот необыкновенный человек поражает ее. Она начинает интересоваться им, потому что видит, что он сильно страдает. И когда он открывает ей свое сердце и она видит, как он страдает из-за своего неверия, она недоумевающе смотрит на него: «Да вы сумасшедший!». Таким образом, исходной точкой их взаимоотношений является столкновение, полное расхождение во взглядах, и это очень хорошо. Когда проходит недоумение, она может проникнуться жалостью к нему, хочет его успокоить. Она пытается передать ему частицу своей душевной безмятежности—это первый шаг к сближению между ними; благодаря ей, он перестает совершать богослужение, она открывает ему глаза, удивляясь, зачем он продолжает служить мессы: «Ведь это нечестно» (за это именно и упрекают Пьера). Он, в свою очередь, чувствует, что это нечестно. [53] Его мечта о суровом и одиноком величии рушится.

Он возвращается с нею вместе в жизнь обыкновенных людей.

Она так спокойно относится к смерти, загробной жизни, так спокойно живет без веры, что вызывает в нем удивление; он хочет ее понять. Ее поддерживает идея труда, долга; надо прожить жизнь, и единственная забота—это прожить ее честно и т. д. Относительно благотворительности ее мнение сводится к тому, что благотворительность не исцеляет, но временно облегчает, в ожидании лучшего. И идея справедливости. Воплотить в ней также идею справедливости,—это ее единственный недостаток, как говорит Гильом, смеясь. Сделать ее, благодаря этому, несколько менее [54] совершенной; по временам она разражается ужасным гневом при виде какой-нибудь несправедливости. Тогда она становится упрямой и сварливой. Она со стыдом сознает это. Иногда бывает вследствие этого невыносимой.

Очень интересуется Пьером. Когда они однажды касаются вопроса о ее свадьбе с Гильомом, Пьеру внезапно становится очень больно, он

потрясен. Его внутренняя борьба, он признается самому себе, что любит ее. Не окажется ли он бессильным? И тут фраза, сказанная Лютером. Я уже говорил, что она не сознает своей любви, которая обнаруживается лишь во время объяснения с Гильомом. Пьер хочет исчезнуть, она страдает, и тут в дело вмешивается Гильом. День, когда Пьер снимает рясу, и она [55] видит его в партикулярном платье—эффект. Волосы отросли, тонзуры не видно. Какие чувства она питает к священникам, согласно своему воспитанию. Такие же мужчины, как и все. Когда Пьер говорит с ней о неизгладимых следах, налагаемых священническим саном, она, смеясь,

ПАРИЖЪ.

Романъ Эмиля Зола*).

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

II.

Вечеромъ, однако, баронесса Дювилларъ извинилась, что не можетъ быть на представленіи «Поліевкта». Она слишкомъ утомилась и пожелала раньше лечь въ постель; уткнувъ голову въ подушку, она проплакала всю ночь.

Въ крайней около сцены ложѣ бель-этажа появились только баронъ съ Гіацинтомъ, Дютиль и княгиня де-Гарнъ.

Къ девяти часамъ театръ былъ биткомъ набитъ. Залъ, сіявшій огнями, переполненный жужжаніемъ толпы, имѣлъ такой видъ, какъ въ дни самыхъ парадныхъ спектаклей. Весь Парижъ, тотъ самый, что дефилировалъ поутру въ ризницѣ церкви св. Магдалины, вечеромъ очутился здѣсь, охваченный той же лихорадкой любопытства, той же жаждой непредвидѣннаго, необыкновеннаго; виднѣлись все тѣ же лица, тѣ же улыбки; дамы здоровались легкими, дружескими кивками головы, мужчины понимали другъ друга съ полуслова, даже съ жеста. Всѣ акуратно явились на свиданіе, разряженные, съ обнаженными плечами, съ цвѣткомъ въ бутоньеркѣ, въ сіяющей праздничной роскоши. Фонсегъ сидѣлъ въ ложѣ «Globe» съ двумя знакомыми семействами.

Въ партерѣ маленькій Массо занималъ свое всегдашнее кресло. Тамъ же виднѣлись судебный слѣдователь Амадьо, одинъ изъ завсегдатаевъ «Комедіи», а также генералъ де-Бозонне и прокуроръ Леманъ. Особенное вниманіе обращено было на Санье, на ужаснаго Санье, съ его рожей толстяка, близкаго къ апоплексическому удару,—до того всеобщее любопытство было возбуждено его сегодняшней статьей. Шеме, оставившій для себя скромную скамеечку, носился по коридорамъ, сновалъ по всѣмъ ярусамъ, напослѣдокъ подогрѣвая публику. И когда въ ложѣ, помѣщавшейся противъ Дювилларовъ, показались оба министра, Монферанъ и Доверль, въ публикѣ пробѣжалъ легкій трепетъ, улыбки стали веселѣе и какъ бы интимнѣе,—ни для кого не было тайной, какое участіе оба принимали въ успѣхѣ дебютантки.

Однако еще со вчерашняго дня носились скверные слухи. Санье объявилъ, что дебютъ Сильвіаны, этой завѣдомой твари, на сценѣ «Французской Комедіи», да еще въ роли Полины, такой возвышенной и благородной,—есть настоящее оскорбленіе общественной нравственности. Впрочемъ, эта сумасбродная прихоть хорошенькой кокетки давно возмущала всю печать. О ней говорили уже съ полгода, и Парижъ, въ концѣ-концовъ, освоившійся съ этой мыслью, сбѣжался сюда, единственно повинуясь своей потребности развлечься. Передъ поднятіемъ занавѣса уже чувствовалось, въ какомъ смѣшливомъ, добродушномъ, игривомъ настроеніи находится вся публика; по угламъ посмѣивались, и зрители готовы были рукоплескать, если имъ вздумается.

Спектакль вышелъ дѣйствительно поразительный. Когда Сильвіана появилась въ первомъ дѣйствіи, цѣломудренно задрапированная, она всѣхъ удивила чистымъ оваломъ своего дѣвственнаго личика, своимъ невиннымъ ртомъ и глазами не-

*) См. «Новое Время» №№ 7774, 7778, 7781, 7785, 7788, 7792, 7797, 7799, 7802, 7809, 7813, 7816, 7820, 7823, 7827, 7830 7834, 7837, 7841, 7846, 7849, 7853, 7856, 7860, 7863, 7867, 7870 7874, 7877, 7881 и 7884.

ПРОЦЕСЪ ЭМИЛЯ ЗОЛА.
У входа въ Palais de Justice.

СТРАНИЦА ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ К „НОВОМУ ВРЕМЕНИ" ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 1898 г. С ПЕРЕВОДОМ РОМАНА „ПАРИЖ" И ЗАРИСОВКАМИ ПРОЦЕССА ЗОЛЯ

глядит на него. Почему? Очевидно, вопрос воспитания. Но, помимо этого, ничего не остается. Она, понятно, не соблюдает обрядов и не верит. Но отличается терпимостью и говорит, что когда-нибудь все будут такими же, как она; очень деликатна. Первое причастие приняла ради матери... Мать очень благочестива, отец-атеист предоставил матери воспитать дочь по своему усмотрению, так как дочерью не интересовался. Итак, первоначально она получила религиозное воспитание, но оно не оставило на ней [56] следа. Это заинтересовало Пьера, мать которого была также религиозна; но ее влияние он глубоко впитал. Именно по ее побуждению он отправился в Лурд, затем в Рим. Но теперь преобладает влияние отца, всемогущий разум. Это влияние отца победит окончательно. Женщина-мать внесла в его душу разлад, женщина-любовница, а затем жена окон-

чательно спасет его. Они—воспитательницы, а также и освободительницы. Беседы по этому поводу, вернее факты, которые это рельефно показывают. В особенности, мне хочется, чтобы в конце ее не смущала мысль, что она вышла замуж за священника; поэтому надо с самого начала так строить ее образ. Впрочем, Пьера я представлю воскресшим от счастья, [57] с отросшими волосами и бородой, блестящими уверенными глазами, веселым, сильным—портрет радостного человека, в противоположность мрачному и растерянному человеку с отчаянием и страданием в глазах — портрет его в начале романа. После испытаний Лурда и Рима Париж также является испытанием. От верований и надежд осталось гладкое место; где найти силы и радость жить? Но на сей раз я делаю вывод. Их можно найти в мужестве, в надежде на справедливость, в законе труда, принятом пока в ожидании лучшего, в жизни, которая есть плодовитость, любовь женщины, жены, детей. Это и будет заключением: в будущем—социализм, и Париж, само собой разумеется, трудится во имя грядущих веков. [58] Именно ради этого опыта Пьер и должен ознакомиться с различными социалистическими сектами, сейчас же после примирения с братом. Он, естественно, начинает вращаться среди людей, увлекается, ищет, к какой бы вере примкнуть, а в конце, не примкнув ни к одной, видит во всех усилиях века труд нашего XIX века, сильного, самого великого (найти связь между нашими современными социалистами и гуманитаристами 48-го года). И если абсолютной истины нет еще ни в одной школе, то она в зародыше, она бродит, она зачата всеми.

Найти объяснение даже для анархизма, [59] оправдание, как крайнему, роковому принципу. Итак, весь наш век—носитель будущего (сравнить с первыми веками евангелия). И объяснить мерзости современного Парижа, голосование биржевиков, продажный парламент тем, что экономический вопрос—основа всего, а особенно религии. Так что во всем этом—в зародыше целый мир. Закончить видением будущего, всеобъемлющего, ко всему терпимого и, в ожидании грядущих времен, прощающего страдания, и грязь настоящего—нельзя родить ребенка, не запятнав простыней. Все это дано широкими штрихами, в уверенности, что труд прекрасен и ведет к будущему. Спокойное отношение к неизвестному. Доверие к науке, [60] царящей над всем. Последнее слово Пьера, раздувающего горн: «Будем работать, будем ждать и строить жизнь, будем рожать детей, чтобы они продолжали наше дело». Перед лицом огромного Парижа, перед котлом, где варится будущее, столько труда и научных изобретений, такая упорная надежда внутри, бесконечное стремление к спасению мира. Человечество найдет искупление не в Христе, а в труде и в истине. Можно пренебречь тем, что кажется нам отвратительным, ну, а неудачи и грязные пятна неизбежны.

Мне кажется, что Пьер должен отойти от евангелия. Это тяжело, но необходимо. Применение евангелия в будущем очень трудно; разве лишь, если по-новому толковать его. Покорность хороша, но пагубна для меньшого люда. Любовь превосходна, но пренебрежительное отношение к женщине, преувеличенное восхваление девственности, потворство лени недопустимы. Царство божие, но на земле. В этой части проводится мысль, что Пьер отказался от своего «Нового Рима» и не только не верит больше в возможность спасения, благодаря неокатоличеству, центр коего находится в Риме, но даже в раскол, основанный на очищенном евангелии. Нет, с христианством, как с таковым, покончено. Еванге-

лие—не более, как талантливая и трогательная поэма, нравственная книга, социальное и политическое влияние которой было бы пагубно, будь возможным ее применение. Надо все это обдумать, изучить и сделать вывод. Это необходимо. И относительно Пьера нельзя сделать вывода, если не выяснить его отношения к роли евангелия. Тот, кто признает его, ищет тонкостей, приходит, как Толстой, к ненависти к жизни, к непротивлению, к нравственной мании, разрушающей действие.

Если отнять у евангелия несколько нравственных положений, вроде: возлюбите друг друга и пр., от него останется лишь самый неясный социальный кодекс. Париж в собственной грязи, сутолоке, дыме, зарождение [62] мира.

Надо установить, каким будет Гильом в качестве анархиста, мечтающего о покушении, а это не просто...

Согласно композиции романа, покушение может быть совершено лишь после того, как Гильом выдаст девушку за Пьера. Но я хотел бы также, чтобы покушение [69] молодого анархиста, которое я охотно поместил бы в начале романа, оказало большое влияние на мечту Гильома о его собственном покушении. Важно как следует обдумать образ молодого анархиста. Я думаю взять Эмиля Анри или приближающийся к нему тип. Восемнадцать лет, незавершенное образование. Горечь, накопившаяся у молодого поколения. Пожалуй, это лучше, чем Вайян, старый рабочий. Я сделаю тот же тип. Но для моей истории, быть может, лучше подойдет Эмиль Анри. Я хочу, чтобы покушение заняло собою весь том; для этого я припутаю сюда какую-нибудь парламентскую интригу. Совершив покушение, он исчезнет. Его ищут, арестуют, казнят, или же он кончает самоубийством, или же спасается бегством. Для связности повествования хорошо бы сделать его младшим братом девушки, но [70] тогда тревоги и опасения за брата окажутся слишком большой помехой в ее любви, и мне не ясно, как она полюбит Пьера и т. д. Родственные узы стеснят меня, придется более тонко подойти к женитьбе Пьера; проще, если мой молодой анархист будет одинок. Достаточно, если я установлю связь между ним и Гильомом. Юноша будет сыном вдовы, которая живет в одном доме с Гильомом. Вот и связь: Гильом совершенно спокоен, так как вдова—честная труженица. Но, пожалуй, лучше взять Вайяна. Пожилой рабочий, жена или любовница и маленькая дочь. Черная нужда. Все это возле Гильома. Ужасная история, которой он потрясен. Гильом их хорошо знает, иногда дает работу мужу. Последний—молчаливый человек, анархист; [71] это позволит мне сделать так, чтобы он украл взрывчатое вещество для преступления. Это хорошо потому, что в основе—нищета. Ужасно нищенская квартира, куда мой анархист приходит после неудачного покушения. Затем, когда его арестуют, Гильом присутствует при агонии жены и маленькой дочки. Это его все более и более волнует. А после казни анархиста жена и умирающая дочь остаются без хлеба; Гильом, уступая гневу, обдумывает свое покушение. Надо также, чтобы его патриотизм покорила идея о победоносной, царящей над всем Франции. Он переживает последовательно гнев, тревогу ввиду того, что анархист обокрал его, и это может помешать ему завершить свое изобретение. Затем симпатия к арестованному и осужденному анархисту, потом мысль [72] о собственном покушении во имя человечества, а не во имя родины.

Теперь, пожалуй, надо урегулировать покушение анархиста—где и против кого. Я не представляю себе, чтобы покушение Вайяна произошло

в Палате. Мой анархист восстает против денег, против капиталистического общества, и поэтому я хочу противопоставить нищенскому дому роскошный дом. Я хочу, чтобы он бросил бомбу в дом банкира, роскошный особняк, который я кратко опишу. Я охотно представил бы его в одном из кварталов веселящегося Парижа, около церкви Магдалины, вечером, незадолго до того, как зажигается газ, когда среди роскоши начинается вечерняя и ночная жизнь веселящегося города. Анархист ждет на бульваре Мальзерб, затем зажигает или бросает бомбу в тот момент, когда карета банкира возвращается из Булонского леса. Но ни банкира, ни его жены в карете нет. Убита одна из двух лошадей, кучер опасно ранен (он умирает от раны), растерзана девочка-модистка, выходившая от барыни, которой она принесла из магазина шляпу. У девочки улыбающееся лицо, но живот разрезан надвое. Гильом должен находиться тут же, он понял намерение анархиста, пошел за ним следом и, когда тот спасался бегством, храбро подошел, движимый непреодолимым чувством человеколюбия, чтобы потушить фитиль. Он опасно ранен, рука наполовину оторвана. Пьер присутствует при покушении—он очутился здесь случайно, прогуливаясь и размышляя о парижской роскоши и наслаждениях, наряду с парижской нищетой и страданиями. Описание Парижа; знакомство с персонажем. И взрыв. Затем Гильом узнает брата: [74] «Уведи меня». Пьер прячет раненого брата. Все это надо крепко скомпановать, построить разумно и интересно.

Богатый и веселый Париж будет представлен только семьей банкира, я сделаю его представителем капитализма и дам ему любовницу, которую он открыто содержит. У жены—любовник, она еще молода и хороша собой. Двое детей—они могли ехать с гувернанткой в карете и остаться невредимыми. Следовало бы, чтобы он оказался в клубе, а жена на свидании с любовником—пошла к нему под каким-нибудь предлогом. Банкир может, пожалуй, быть немолодым, чем объяснилось бы его богатство, у него взрослые дети—сын и дочь; он женился вторично на тридцатилетней женщине, которая ему изменяет—это или что-нибудь еще. Мне хотелось бы [75] сделать нечто очень типичное и краткое. Описание роскоши и безнравственности; но не запутанно, а, наоборот, очень легко. И очень коротенькие сцены. Надо, главным образом, чтобы банкир ворочал миллионами, нажитыми на подозрительных делах с правительством. В прессе появляются именно в тот день разоблачения, бульварная печать злобствует. Это имеет ужасный отклик в Палате. Уличные продавцы создают газетам успех: покупайте—новый скандал, кражи и пр. В одной из газет Пьер читает, что в Палате большое волнение. Один из министров, председатель совета, скомпрометирован в деле с банкиром. Пожалуй, железнодорожная афера. Предполагается падение кабинета. Оппозиция воспользуется случаем, чтобы опрокинуть [76] кабинет. А в конце взрыв бомбы (он-то и спасет кабинет).

Итак, мне представляется первая часть картины в таком виде: психологическое состояние Пьера; вложенное в его уста описание ужасной сцены; банкир, его жена, дети, любовница, любовник жены, заседание Палаты в тот день, разоблачение деятельности банкира (скрывающаяся за ней Панама). Роскошествующий и веселящийся Париж осенним вечером, Содом, когда зажигается газ и наступает ночь с ее весельем и развратом. Окунуть во все это всю первую часть и закончить взорвавшейся среди этого бомбой анархиста. Все—в пяти главах.

Мне кажется, что первая часть может быть очень хороша: политический, финансовый, светский Париж, веселящийся Париж с зажигающимися уличными огнями,—и все [77] заканчивается взрывом, который убивает лошадь и девочку-модистку. Сделать очень блестяще, очень насыщенно и, в особенности, получше противопоставить этому нищету и Пьера, с его анализом уничтожения всего существующего. Надо построить план. А во второй части я обязательно хочу дать трудящийся Париж. У меня имеется Гильом, которого уводит Пьер. Таким образом, вторая часть посвящается Гильому—его признание Пьеру, его труды, лаборатория, его три сына, бабушка. Сыновья дадут мне Ecole normale, лаборатории, музеи, заводы, парижское производство, ручной труд Парижа, наряду с трудом интеллектуальным. Итак—завод, заводы [78] рядом с квартирой Гильома, его старший сын—безусловно механик, стал механиком, чтобы помогать отцу. Наверху, на Монмартре,—лабораторная, беспрерывная работа, а внизу блестящий, веселящийся Париж. Этому должна быть посвящена вся вторая часть.

Начальные сцены с Пьером и девушкой, но при этом продолжение истории анархиста, которого ищут, не находят или же находят. Затем далее—третья часть представляется мне, как развитие действия первой, и второй части, где описан Париж, анархиста арестуют, и все, что с этим связано; возвращение к интриге банкира и его жены, ко всей политической авантюре.

Пресса, суд [79] и полиция. Обдумать, не следует ли закончить эту часть одним арестом анархиста, и не спешить, чтобы сохранился интерес. Всю четвертую часть посвятить Гильому—любовная борьба между ним и девушкой, которую он отдает Пьеру в последней главе этой части. Нужно снова вывести на сцену сыновей и бабушку, а также вернуться к нищете. Анализ Пьера. Пьер является без рясы, с отросшими волосами. В конце, когда Гильом отдает девушку Пьеру, тот узнает, что анархист приговорен к смертной казни. Это свяжет обе части. В первой главе пятой и последней части казнь [80] анархиста и резюме всех социалистических теорий.

Следующие две главы для меня не совсем ясны; очевидно, в них будет показано, насколько казнь анархиста с внешней стороны обеспечила общественное спокойствие. Таким образом, в этих двух главах я покончу с политикой и светским обществом. С другой стороны, у меня имеется покушение, задуманное Гильомом; его надо поместить в начале этой части, Гильом озабочен им; я покажу, как Гильом работает над ним потихоньку от всех. Дать кое-что понять, не говоря точно, в чем дело, чтобы вызвать больше интереса.

В первой главе я возвращаюсь к нищете и преступлению для того, чтобы побудить Гильома решиться. Раннее утро в Париже, по улицам которого он проходит с Пьером. Ужасное стенание, проносящееся над городом вместе с пробуждающимся рабочим людом—параллель с Парижем первой части, когда зажигаются огни веселящегося, наслаждающегося Парижа.

[81] Все это должно повлиять на Гильома и Пьера. Обе последующие главы, повторяю, будут такими же волнующими, и в них можно закончить второстепенные интриги. Показать также, как мысль о покушении постепенно созревает у Гильома. Затем, в четвертой главе—только покушение; как можно лучше развить действие. Наконец, в последней главе—заключительной, год спустя после рождения ребенка,—Париж, возвращаю-

щийся с работы, будущее принадлежит труду. Воздержаться в первых четырех главах пятой части от философских заключений, чтобы иметь как можно больше фактов, несколько замечаний в пятой и последней главах. Все это, по-моему, очень хорошо. [82] Второстепенные интриги надо обдумать.

Я хочу, чтобы они были очень типичны, очень колоритны, но кратки. Наиболее яркой должна быть интрига банкира... Сделать его не евреем, а католиком. У него не должно быть огромного и солидного состояния, как у Ротшильдов. Быть может, отметить это в основном—золотой телец, [83] не очень давнее и не очень большое состояние. Его мог нажить отец банкира, а сам банкир увеличил его. Положение не столь солидное, сколь блестящее. Сделать его, главным образом, игроком, человеком, разлагающим и загрязняющим все, к чему он ни прикасается. Отец его приехал из-за границы, из Германии, сам он родился в Париже, отец и мать немцы, с виду истый парижанин, но атавизм дает себя знать. Его отец чуть ли не бедняк, в царствование Луи-Филиппа занимался темными делами (однако, не еврей). Сын унаследовал от отца порядочное состояние для начала и характер жуира, разлагающего и развращающего все, к чему он ни прикоснется. Он понял, что ему следует делать в республиканском Париже; как соблазнитель, он всегда на-чеку, готовый купить чью-нибудь совесть. Пустил в ход одно дело, которое закончилось удачей, благодаря поддержке депутатов, и заработал на нем около [84] тридцати миллионов. Пустился было снова в аферу, например, с железными дорогами в Африке, но на этот раз был разоблачен; одна из газет опубликовала список, и делу грозит крах. Таким образом, необходимо, чтобы в министерстве было одно-два лица, помогавших ему в первый раз и готовых помочь сейчас. Я намекну на крупную аферу, панаму; затем последует моя афера, как выражение высшей пошлости; она будет последней каплей, переполнившей чашу.

Я начну с разоблачения, появляющегося в утренней газете: банкир обвиняется в подкупе депутатов (в числе их два министра). Я представляю себе довольно ясно тип министра финансов, вроде Рувье[19], пускающегося на всякого рода аферы, хитрого говоруна, умного, по-настоящему значительного человека, который будет защищаться и победит (он использует бомбу); [85] второй министр будет в духе Флоке[20]—честный человек, не отказывающийся от денег для того, чтобы бороться с врагами республики. Три депутата представляют три типа: один—делец, некрасивый, бедный, озлобленный, всегда готов продаться, другой—провинциал, рубаха-парень, вращается среди женщин и поэтому нуждается в деньгах, третий может быть главным редактором продажной газеты. Затем надо показать различные группировки, на которые делится Палата,—правую, центр, в особенности республиканцев и социалистов; о последних Гильом и анархист довольно плохо отзываются. Обдумать. Высказать суждение о парламентской машине.

Возвращаюсь к своему банкиру, разлагающему всех и вся. Первая его афера стоила ему много денег, он подкупил газеты, депутатов, дело удалось, только благодаря взяткам; никто не жаловался, несмотря на циркулировавшие слухи. Зато второе дело, [86] в которое он пустился необдуманно, проваливается—тут жалобы и разоблачения, угрозы выдать имена и шумиха вокруг брошенной бомбы. Конец эпизода покажет, что дело замяли благодаря истории с бомбой. Торжество министра на пуб-

личном заседании (после казни). Только намекнуть на то, что все это возобновится. Чтобы задержать анархиста, пущена в ход вся полиция; это позволяет устроить бегство посредника, подкупившего людей от имени банкира...

Я хотел бы также иметь ученого из Института, старинного друга отца Гильома и Пьера; ему 75 лет, он живет на улице Мазарини, у него все собираются, к нему ходят сыновья Гильома или хотя бы тот, который учится в Нормальной школе. Этот ученый—представитель научного Парижа. Но я не особенно хорошо представляю себе его роль. Я могу привести его к Гильому, [92] но зачем? Разве только констатировать в конце книги изобретение. Гильом будет очень почтителен по отношению к нему. Быть может, лучше сделать этого ученого врачом-хирургом, за которым раненый Гильом посылает Пьера. Нет, я боюсь, что врач меня стеснит. А между тем, это было бы удобно. Мне обязательно нужен официальный представитель науки, член Института, старинный друг отца Гильома. Трудно сделать его революционером; ведь даже такой ученый, как Бертело[21], друг Ренана, атеист, ведет буржуазный образ жизни. С другой стороны, меня бы стеснил тип ученого, вроде Пастёра, который верит в бога и все время говорит: «Немного науки уводит от бога, много науки приводит к богу». Следовало бы сперва узнать, какой бог имеется в виду.

Лучше был бы тип Бертело (судя по опубликованной им брошюре), но Бертело с характером—он может появиться только, когда Гильом ранен, [93] затем в конце, когда исследовано взрывчатое вещество, как сила. Гильом, его бывший ученик, почитает и слушается своего старого профессора. Старик еще работает в своей лаборатории, он член Института и с философской улыбкой говорит об изречении Пастёра: «„Немного науки уводит от бога, много науки приводит к богу". Я не разделяю этого мнения, но понимаю, что творится в душе у других», и поясняет. Представить в его лице всю науку нашего века и веру в будущее. Он мог также быть профессором сына Гильома, и тот чтит его так же, как отец. Впрочем, это только эпизодическая фигура. У меня нет для него роли. Быть может, в конце его идеи повлияют на решение Гильома.

Мне хотелось бы также показать крупного писателя, чтобы иметь представителя литературного Парижа. Это не совсем подходит, так как я не вижу связи. Он может быть свидетелем происходящего, [94] эпизодической фигурой, появляющейся три-четыре раза и регистрирующей события: он смотрит и описывает, это было бы довольно занимательно, но трудно выполнимо. Дать физический облик, отличный от моего собственного; говорить о писателе будет Пьер, который с ним немного знаком. Он пишет монографии о Париже, беспрестанно изучает его в целом и создает чудесные произведения. Я дам ему близкого друга, великого художника, их постоянно встречают вместе. Художник рисует современную жизнь, но не исключает из своего творчества мечты. Они постоянно бродят вдвоем, не разговаривая друг с другом или же обмениваясь словами, освещающими ситуацию. Представить в их лице литературный и художественный Париж—взгляд писателя и художника, постоянно устремленный на людей и вещи. Оба будут изображены большими тружениками, которые безжалостно запираются по целым дням, несколько одиноки, [95] в стороне от интриг. Я назову писателя человеком толпы; по зрелом размышлении, мне кажется, что, пожалуй, лучше будет оставить только пи-

сателя, без художника. Он будет один, одинокий, все видит и всех судит. Тогда надо будет найти другое применение художнику или скульптору. Монмартр—артистический квартал; из окон дома Гильома может быть видно ателье, где работает скульптор. Рядом делают также лепные работы для Сакре-Кёр; неверие скульптора, работающего в церкви; а у себя дома, куда он может повести Пьера, он показывает цветущих женщин, великолепные современные произведения. Искусство будущего; высказывания его о скульптуре в те времена, когда перестанут верить в человеческую красоту или когда религиозная вера умрет. В своем ателье он работает над скульптурой, которую разбил и стал лепить статую справедливости [96]—нечто в этом роде; это даст мне артистический Париж, очаг искусства, котел, в котором кипят идеи будущего.

Пресса будет у меня представлена депутатом, главным редактором большой серьезной утренней газеты, которая берет взятки; затем газетой, занимающейся скандалами, печатающей разоблачения—вечерняя газета. Ее издатель—делец и любитель шумихи. Тираж—это все. Путается с мелкой прессой, принимая участие в деле Лже-Людовика XVII[22] и, наконец, сделался специалистом по финансовым вопросам. Донос, ложь. Воспользоваться этим для осуждения современной прессы: преувеличенное репортерство, нервирующее, ослабляющее нацию. Ни одной статьи по существу, одни лишь коротенькие заметки. Все ради тиража и пр. и пр. Надо будет, однако, дать ему более четкую характеристику. Будучи причастен к делу буланжистов, стал крайним монархистом, [97] одним из тех, которые ищут чистокровного Бурбона за пределами Франции. Нет, всего этого недостаточно, надо придумать что-нибудь получше. В конечном счете—негодяй. Впрочем, достаточно депутата, редактора большой газеты. Я добавлю репортера серьезной газеты, который пройдет через все действие от начала до конца, и сделаю из него законченный тип человека, ко всему относящегося наплевательски; это очень хорошо для характеристики прессы современного жанра. Гильом пишет для серьезной газеты научные статьи, подписываясь псевдонимом. Это хорошо, так как устанавливает связь между Гильомом, газетой и редактором-депутатом. Затем это дает мне серьезную сторону журналистики.

Я хотел бы также показать в другой плоскости трудящийся люд, рабочих, занимающихся ручным трудом.

В моем плане есть еще один момент — крайняя нужда и анархист, историю которого я должен привести в порядок, это совершенно необходимо...

Чтобы показать ужасную, полнейшую нищету, у меня будет дом, где укрывается анархист, и его окружение, а для труда имеется фабрика, на которой работают сын Гильома и оба рабочих. Служащего я покажу в каком-нибудь государственном учреждении. За всем этим кишит весь рабочий и нищий Париж.

Крупная торговля и крупная промышленность может быть представлена [100] хозяином фабрики. Чутье верно подсказало ему, он один из первых начал производство велосипедов и зарабатывает целое состояние. Он предполагает также заняться производством автомобилей (позднее). Другой брат его может быть связан с каким-нибудь большим магазином— он один из заправил «Бон-Марше». Я только вскользь о нем упоминаю для полноты картины, чтобы показать как можно больше отраслей парижской деятельности. А затем я возвращаюсь к своему банкиру, которого

ЭМИЛЬ ЗОЛЯ

Шарж К. Леандра в связи с выходом в свет „Трех городов"

хочу сделать представителем французской буржуазии, получившей от 89-го года все блага...

Я думаю, что среди моих социалистов и анархистов можно изобразить иностранцев, причем они будут [102] связаны с дамой-иностранкой. Она также занимается наукой, само собою разумеется—сторонница интернационализма и передового социализма. Ее помощь соотечественникам. Ее могут обокрасть бродяги, бродяги-анархисты (принципиальное воровство). Это приводит меня к моим социалистам, моим анархистам. Пусть они будут только посетителями, навещающими Гильома. Пьер расспрашивает их, беседует с ними.

Мне нужно, главным образом, лицо, похожее на Геда, иностранец-анархист и затем очень молодой человек, вроде Эмиля Анри; а наряду с ними—нежный мечтатель, последователь Фурье, Сен-Симона и гуманистов 48-го года. Пожалуй, я сделаю Гильома позитивистом, нет, это, кажется, невозможно; но позитивист все же нужен. Впрочем, я создам все необходимые фигуры и, поскольку они лишь статисты, [103] количество их может быть неограниченно. Они выступят, когда будут мне нужны для экспозиции или выводов... Итак, закончить гимном надежды. Итог века. Этот именно итог и подводит моя книга. Полнейшая вера в науку и разум. Ответ [104] тем, кто не признает науки, управляющей миром (по ту сторону морали, тайны, религии). Как прекрасна работа, несмотря на всю кажущуюся мерзость. Да, отмирающий мир, и я показываю, что кончает он грязно. Зато намечается другой мир (закон труда, община, плодовитость), и, несмотря на неизбежные изъяны и невежество, этот мир обещает в будущем величие, мир, братство, больше справедливости и правды. Подводя итог столетию, я должен обязательно использовать приготовления к выставке. Отметить их и показать, как триумфальное завершение века во Франции...

Основное в том, чтобы дать ощущение Парижа—котла, в котором кипит

будущее, и вложить все—и хорошее, и плохое, и самое худшее. Целый мир в стадии брожения, сама жизнь с ее непотребством, творящая будущее. Труд громадный, страшный труд, составляющий жизнь Парижа, ручной труд—фабрики, рабочие, и труд умственный — школы, лаборатории, повседневное, непомерное усилие. А также политика, финансы, наслаждение—все это, даже в отвратительном своем виде, служит будущему, несет цивилизацию и прогресс. Все большие столицы были орудием [108] прогресса, и даже города наслаждения и разврата были очагами цивилизации. Поэтому мне не следует проклинать Париж, выставляя его городом публичных девок, любить которых люди стекаются со всех концов мира. Красота также должна сыграть роль, эта роль будет поручена моей девке-актрисе—она очень красива, отдается ради наслаждения, и в заключительной части ее приветствуют. Итак, весь этот блеск разврата приемлется. На каком разложении построен новый мир; очень смело высказать это и показать, в конце, клич надежды на заре, восходящей над Парижем.

Все это надо использовать, ибо это—жизнь. Если мы возмущаемся от гнева и отвращения, то потому лишь, что прислушиваемся к голосу относительной морали, для которой важны детали, [109] а не целое. Это тесно подчинено временным требованиям, которыми управляет социальный порядок, необходимый на сегодняшний день, неприемлемый завтра. А над всем—идея труда и плодовитости, заключение предвещает будущее...

Группу банкиров надо представить так, чтобы в ней было больше правды. Он очень значительное лицо, особенно благодаря отцу, нажившему состояние (в 89-м году). Сын еще больше увеличил его. Но он не так расчетлив, как отец, любит пожить—этим надо объяснить его связь с актрисой. С другой стороны, я не могу сделать его банальным, так как он является представителем целого класса, я резюмирую в нем весь его класс: выдвинуть его фигуру, сделать ее типичной, грозный человек. Это не голодный, беспокойный Саккар[23], а торжествующий Толстяк[24], бьющий наверняка, прямолинейный и самоуверенный, ворочающий миллионами. В доме у него подавляющая роскошь—лакеи, апартаменты, пышные приемы, чудеса искусства; он на короткую ногу [113] с правительством, в большой силе, всеми признан и держит в руках если не всю Францию, то, по меньшей мере, министерство. В некоторые моменты эта фигура должна вырасти еще больше, стать непомерной, олицетворять буржуазию, все захватившую в свои руки, разжиревшую и, главное, не желающую ничего отдать. Рассказать его историю, историю его семьи и попутно царствования Наполеона, Людовика XVIII, Карла X, Луи-Филиппа, республики и Наполеона III.

Единственная его слабость—актриса. Она отчасти обирает его. Ради нее он готов совершить подлый поступок. Потребность утолить свои желания. Деньги—для него пустое. Хуже, когда она требует, чтобы он устроил ее во «Французскую комедию», и запрещает трогать ее до тех пор, пока он этого не выполнит; отсюда его гнев и отчаянное вожделение. Очень хорошо сделать так, будто министерство сопротивляется и он грозит свергнуть его единственно для того, [114] чтобы новое министерство поддержало его просьбу о принятии его любовницы во «Французскую комедию». Даже если министерство останется, министр народного просвещения вылетит единственно за это. В министерстве, поддержанном банкиром, новый министр просвещения, более снисходительный, откроет перед нею двери театра; и дело этой особы легкого поведения должно закончиться

успешно. А банкирша даст мне благотворительность, ради которой Пьер бывает у нее в доме. Вопрос о ее широких затеях—целое исследование о благотворительности. Бессилие, обманчивость парижской благотворительности. Это мне нужно для последующего; этим оправдываются выходы банкирши из дома, объясняется ее присутствие там, где мне нужно. Я сохраню любовную историю ее с аристократом и ненависть к дочери, которая отнимает у матери любовника и женит его на себе. Банкиршу я сделаю почти симпатичной. Оставленная мужем, которому [115] принесла в приданое миллион, она влюбилась в молодого дворянина. Сделать ее влюбленной женщиной, не желающей стареть; у нее уже было два любовника, которых она страстно любила и должна была женить. Нежная, влюбленная, никуда негодная мать. Всегда хотела нравиться, жила лишь для любви, вне дома, когда муж ее оставил; очень красива, только и думает о своей красоте. Этим объясняется ненависть дочери, которую она забросила, оскорбила. У дочери физический недостаток, она слегка горбата, с продолговатым лицом, не слишком некрасива, но очень худа. Ненависть дочери, двадцатипятилетней девушки, чувствующей, что она не возбуждает ни у кого желаний; зла за это на мать, к которой льнут мужчины. Очень умна, озлоблена. Таким образом, драма в том, что дворянин, по существу, добрый малый, проявляет к ней интерес из жалости, видя, что никто ее не любит. Раз я [116] не хочу слишком ее унижать, я должен придумать вместо нужды в деньгах какую-нибудь другую причину, побуждающую его жениться на ней. Его может тронуть и разжалобить любовь этой полукалеки. У нее-то нет недостатка в женихах, она уже отказала четырем или пяти претендентам, привлеченным ее пятимиллионным приданым. «Ей-богу, за пять миллионов они не погнушаются взять невесту из Сен-Лазарской больницы». Но она полюбила молодого дворянина, который по доброте сердечной хорошо к ней отнесся, а кроме того, ей захотелось отбить его у матери, чтобы утолить давнишнюю злобу—тут нужны тонкий анализ и чувство меры. Таким образом, все зависит от молодого дворянина.

Старинный, но разорившийся род. У матери салон в Сен-Жерменском предместье, где собираются остатки старинной аристократии. Камень преткновения в том, чтобы сделать [117] этих людей очень подлыми либо очень смешными. Придется, конечно, сказать, что громкие имена пользуются еще влиянием во Франции, благодаря деньгам, своей роли (особенно в дипломатическом мире). Сказать, что для моего молодого дворянина был открыт лишь один путь—дипломатия; причины, почему он не пошел по этому пути. Дядя—посланник в Берлине, куда он мог поехать в качестве атташе. Ему это не понравилось. Быть может, какой-нибудь проступок, скандальный карточный проигрыш, уплаченный дядей. Никакого продвижения на военной службе. Чтобы получить повышение, нужна была бы война. Поэтому он вернулся к матери, не найдя подходящей должности—везде принят с распростертыми объятиями, но ничего не делает. У матери есть еще пятнадцать—двадцать тысяч франков дохода, можно скромно прожить. Она очень благочестива, чопорна, но очаровательная старушка, [118] не очень спесива. Обожает сына, прощает ему все его проказы, предоставляет ему жить, как он хочет, предпочитая видеть его праздным и пугаясь всякий раз, как он хочет чем-нибудь заняться...

Во всех этих историях замешан сын, которого они забавляют; у него, как я уже говорил, будет приключение с авантюристкой, это надо обду-

мать. Тип у меня для него придуман хороший; товарищеские отношения с сестрой; они все поверяют друг другу, пытаются «удивить один другого своим поведением», но неудачно, он любит прихвастнуть своей порочностью и, в особенности, педерастией, «Дуглас». Женщины внушают ему отвращение, и он ходит к авантюристке, чтобы встречаться с одним молодым англичанином, английским лордом. Настоящий отпрыск аристократической семьи и современный эстет, то революционер, то католик, каждую минуту меняет вкусы. Любовное приключение с авантюристкой, увлекшейся им,—он не поддавался, тогда она напала на него и принудила его [121] уступить. Главное, не позабыть про ограбление особняка, где живет авантюристка,—она принимала у себя очень смешанное общество: анархистов, воспользовавшихся ее отсутствием и обокравших ее, мелких воришек, мелких убийц... Я сделаю ее венкой или [122] русской, очень эксцентричной, очень передовой; она красива, но с неправильными чертами лица, у нее немного мужской склад характера. Она всем интересуется, даже химией; познакомившись с Гильомом, идет к нему в гости; умная, но взбалмошная. Несомненно, богата, но богатство ее неизвестного происхождения. Ей 30 лет, хотя она говорит, что 27, выдает себя за вдову, но полагают, что ее муж жив и ездит по белу свету с молодой княжной, которую он похитил. Легенда по поводу мужа: он прекрасен, как архангел, и неотразим, пламенная страсть, любовь.

У меня имеется группа рабочих, которых я также хочу сделать типичными. Итак, мой анархист будет Вайяном, обездоленным бедняком, рабочим, который постепенно озлобляется, но еще гуманен. У него жена, которую он бросил, любовница и дочь от нее, или [123], пожалуй, жена бросила его с маленьким ребенком, которого воспитывает любовница. У этой женщины он оставляет ребенка (обдумать, при каких обстоятельствах). Затем возвращение из Америки, он разыскивает эту женщину, в свою очередь, брошенную мужем, очень бедную. И естественно, найдя у нее свою дочь, увидев, что она одна, он становится ее мужем в силу обстоятельств. Характер женщины—добрая, мягкая, придумать характер девочки. Мне трудно окончательно установить эти характеры, не прочитав еще раз дело Вайяна. Во всяком случае, большая нужда: в первой главе нищета этой четы настолько велика, что два дня нет даже хлеба. Вокруг них такая же нужда, [124] безуспешная попытка занять кусок хлеба. Затем—вся группа...

Далее: у любовницы моего Вайяна два брата. Старший уже старик, женат, имеет троих детей, они уехали и трудятся в других местах. Сделать хорошую рабочую семью парижан; сам работает, пьет мало; дела, в общем, шли хорошо, но вот ему стукнуло 45 лет, мысль, что годы идут.

Невозможность скопить что-либо на черный день, надвигающаяся страшная старость. Те же мысли у жены. Если случится болезнь или безработица, наступит черная нужда. Болезни мужа достаточно, чтобы иссякли все их жалкие сбережения. Я описываю семью именно с этого момента; в сорок лет приходится начинать новую жизнь: жена ищет места поденщицы, муж снова принимается за работу. [127] Сопряженные с этим трудности, никаких надежд впереди. Он немного опустился, отяжелел; республиканец по политическим убеждениям, но стал скептиком и только пожимает плечами, ничего не ожидая лично для себя от революции, о которой говорят окружающие: поздно, если это и случится когда-нибудь, его уже не будет в живых. Я могу вывести его на сцену только в связи

с сестрой, которая придет к нему за помощью после покушения Вайяна. Но он так же беден, как сестра, почти ничего не может дать ей взаймы. И его мнение о том, кого он называет своим шурином; сам он не анархист, но если в буржуа бросают бомбы, то пусть буржуа устраиваются как хотят, тем хуже для них, они добились того, чего хотели. А в конце он снова заболеет — я покажу старость рабочего, [128] который не мог ничего скопить и сражен болезнью...

Фигурирующие у меня типы: гедист, сен-симонист, член Парижского муниципального совета; анархист-иностранец; тип Эмиля Анри; позитивист, мелкие убийцы. Прежде чем окончательно установить их, я должен познакомиться с анархистским и социалистическим движением. [132] Это, очевидно, будут второстепенные лица, не участвующие в драматическом действии. Они будут вращаться вокруг Вайяна и Гильома. Я представляю себе, что иностранец-анархист—соотечественник или сосед моей авантюристки и ходит к Гильому беседовать о науке и анархии. Не повторять Суварина, Суварина я трогать не хочу. Он примет участие в действии мимоходом; это эмигрант, человек, не имеющий родины, за которым, безусловно, числится террористический акт где-нибудь в Испании. Известен полиции, не имеет права передвижения под страхом высылки и, несомненно, выслан в конце. Я имел также в виду какого-нибудь Гамилькара Чиприани[25]. Значит, старик—«апостол свободы, который провел жизнь в тюрьмах». Также эпизодическая фигура; старого закала, несколько пассивная любовь к свободе, всегда кончавшаяся для него заключением в тюрьме, и он несколько удивленно и грустно смотрит на анархистов, [133] этих новых пришельцев, чуждый им. Я покажу его во Франции, между двух тюрем; он выпущен на свободу и снова попадает в изгнание, действительно выслан в конце. Он знаком с Гильомом, приходит к нему поговорить, когда тот лежит раненый у Пьера, там перед ним проходят другие типы, даже иностранец-анархист; этот никогда не бывал в тюрьме, но в конце он также вынужден покинуть Францию. Мой Эмиль Анри может быть знакомым Гильома и его сыновей. Итак, на Монмартре, по соседству. У него мать, очень бедная, но не совсем лишенная средств, она имеет маленькую ренту. Весь тип целиком, но не играет активной роли. Не сходится во взглядах с сыновьями Гильома.

Типичный представитель сбившейся с пути, нетерпеливой молодежи, растущей в тени, придерживающейся крайних убеждений. Он один знает, [134] чего добивается, и рассуждает в качестве образованного человека. Дитя буржуазии. Я не представляю себе, чтобы он мог бросить бомбу, хотя мне бы этого, пожалуй, хотелось. Гильом не совершит покушения, это сделает в последнюю минуту Эмиль Анри. И с той поры эта фигура становится интересной; я покажу его не более двух-трех раз, молча и упорно обдумывающим свою идею. А в конце он мстит за Вайяна, бросая бомбу в кафе, причем я даю понять, что его осудят и казнят, как того. Его несчастная мать. Слова Гильома, когда он использовал взрывчатое вещество для механических целей и узнал о покушении моего Эмиля Анри: «Это еще не кончено». Его печаль, быть может, сожаление. И оптимизм Пьера в отношении Парижа, бомбардируемого требованиями политических прав со стороны четвертого сословия. Коллективист, бывший член [135] Коммуны, ставший членом Муниципального совета, позитивист—все они могут быть немыми персонажами. Пожалуй, их следовало бы исключить. Мне непременно нужен коллективист, я могу сделать им

депутата, вроде Геда, я даже использую тип самого Геда; но, пожалуй, помещу его в Палату, не связывая с Гильомом. Это теоретик, он заинтересовывает Пьера, но неприемлем для Гильома. В качестве муниципального советника я предпочитаю человека уже в летах, бывшего члена Коммуны, сен-симониста в прошлом, гуманитариста старой школы—Фурье и других. Он—друг Гильома, бывает у него, навещает его, когда тот ранен. Но он склоняется к реакции, его братья считают, что он недостаточно привержен делу революции, идеалист в душе, и это на самом деле так: коллективисты его презирают, анархисты ненавидят; старый хрыч. Гильом—позитивист, но идеалистическая сторона у него отсутствует, он вполне допускает возможность вулканического потрясения. Отнюдь не классический, ортодоксальный позитивист, просто—сторонник эволюции. Затем мне нужен анархист, [136] связанный с полицией, до известной степени предатель моего Вайяна; Гильом его боится—это просто вор, замысливший вместе с другими тремя бандитами обокрасть богатую авантюристку—анархия ради кражи. О них я только упомяну вскользь, а покажу того, кто связан с полицией. Он яростный фанатик публичных собраний, никогда не попадается, умеет всегда увернуться от ареста. Я покажу его только однажды, а в конце он окажется причастным к краже. О нем ходит слух, будто он служит в полиции; на этот раз, однако, его арестовывают, но, в конце концов, освобождают. Мелкие воры и мелкие убийцы нужны, чтобы показать, в чем теория анархии: воровать, отбирать то, что принадлежит собственнику, в пользу общины.

Я окончательно установил типы дворянина и его матери, но мне хотелось бы присоединить к ней генерала или полковника. Не знаю, какую дать ему роль. Он мог бы быть начальником [137] старшего сына Гильома и сына рабочего. Сожалеет о старой армии, более замкнутой, когда не все служили. Солдаты нужны, чтобы защищать землю, каста, но всеобщая воинская повинность через некоторое время приведет армию к гибели; противник новых армий, это—конец войне через более или менее продолжительный промежуток времени. Военное сословие гибнет, на военной службе нечего больше делать. Понемногу ее оставляют так же, как духовную службу. Итак, он родственник дворянина, тот вводит его к банкиру, где он и высказывает свои теории. В конце он будет свидетелем на свадьбе племянника; таким образом, я свяжу его с женитьбой. Но мне хотелось бы еще раз вывести его—у Гильома или в другом месте, связав с сыном Гильома или сыном рабочего. Славный старик, достаточно светский. Громкое имя, связать с ним роль армии в Париже, пожалуй, хорошо бы поместить смотр. [138] Блестящая армия в Париже, а также армия, охраняющая Париж от насилий революционеров...

Но политическая интрига представляется мне пока неясной. Я изображу дело с железными дорогами, банкира, подкупившего некоторых членов Палаты, чтобы те голосовали за него. Он действует через посредника-англичанина, например, который [139] скрывается за границу. Между тем, газета, занимающаяся скандалами, выдает тайну, и возникает угроза опубликования списка взяточников. В сущности, обыкновенное дело, какие случались в любом парламенте, но оно приняло более серьезный оборот, благодаря тем или иным обстоятельствам; не следует делать его особенно ужасным, так как тогда мой банкир будет скомпрометирован, а это совершенно нежелательно. Он должен сказать: «О, я не боюсь, я сделал то, что все делают». Но, по существу, у него возникли опасения. Он

купил голоса различными способами. Много денег дал прессе под предлогом рекламы. В один прекрасный вечер дело разоблачается, и вот министр оказывается под угрозой. Разоблачающая газета определенно указывает на главу кабинета, бывшего министром торговли в момент вотирования в пользу железных дорог. Он, действительно, получил деньги, но для республики (?). Указаны также главный редактор большой газеты, депутат, депутат-делец и депутат, разоряющийся ради женщин. Их имена циркулируют. Носятся слухи о всяких пакостях. [140] Вот тут-то и вносит запрос депутат-гедист. Но обсуждаться он будет позднее, в заседании, которое я подготовлю в конце III книги. Председатель кабинета использует в свое оправдание бомбу, арест анархиста и закончит, пожалуй, отставкой всего кабинета с ним самим во главе; это даст мне министерский кризис, а в заключение—этот же председатель совета министров восторжествует и вернется к власти, причем он просто возьмет другой портфель—министра юстиции, оставаясь во главе кабинета. Это позволит мне упомянуть в связи с делом имя президента республики и показать типичную картину обмана. Но, чтобы кабинет был опрокинут, нужен противник, и вот тут-то я и хотел бы показать, что под всякими министерскими кризисами чаще всего кроется вопрос о той или иной личности. [141] Все дело в том, кто окажется у власти, кто будет царить, распределять ордена, должности и пр. Таким образом, различие взглядов между группой, находящейся у власти, и группой, стремящейся к власти, очень невелико. Я могу взять тип Констана[26]—самоуверенного, новоиспеченного республиканца, весьма солидного и не слишком разборчивого в средствах; он пользуется кассой банкира для борьбы с врагами республики и своими противниками, которые обливают его грязью. Сочетание Флоке с Констаном. Его не обвинят прямо в воровстве. Он богат, любит роскошь. Но возможно,

„ФИНАЛ ДЕЛА ДРЕЙФУСА"
Враждебная Золя и дрейфусарам карикатура
Рисунок А. А. Лабудзь
„Стрекоза" 1898 г., № 8

что один из министров откровенно клал себе денежки в карман. Против него выступает какой-нибудь Буржуа[27], радикал, стремящийся подняться на вершину власти, требуя смертной казни, реформ, хотя, достигнув ее, он оказывается совершенно бессильным. Он не должен слишком отличаться от своего соперника. Итак, в первой книге вся эта парламентская публика находится под угрозой разоблачения (после панамы, возобновление панамы). Сплетни, угрозы министерству, [142] предвидят уже его падение, группа, представляющая его, в большой тревоге, между тем как группа, жаждущая его заместить, радуется, алчная, готовая взять приступом власть. Требование запроса снимается, почему откладывается и обсуждение. Буржуа поднимает вопрос относительно интерпелляции. Затем, когда я покажу все эти постыдные явления, а также возвращение к панаме,—все завершит бомба. Если бы не бомба, министерство, несомненно, должно было бы пасть. Все это нужно, чтобы показать, что Париж, республика находились в руках у различных парламентских групп, раздиравших их; политическая борьба сверху, а истинная подкладка—устремление вожделений к богатству и власти. В третьей книге—министерство пользуется бомбой, чтобы сохранить власть, но я хотел бы привести его к отставке и показать министерский кризис, [143] это послужило бы содержанием моих двух последних книг. После ареста анархиста глава кабинета может, конечно, указать с трибуны, что он вновь является спасителем республики. За него большинство, но очень слабое. Тут он может подать в отставку, и тогда наступает кризис. Бессилие буржуазии что-либо предпринять и обращение к бывшему премьеру с просьбой сформировать новый кабинет; прежний кабинет возвращается целиком, пожертвовав невиновным министром (финансы), который подвергся обвинениям, и передав портфель министра внутренних дел другой своей кандидатуре. Это может произойти после второй бомбы моего Эмиля Анри и служить объяснением нового ужаса, объявшего Париж, и быстрого разрешения министерского кризиса.

Чтобы министерский кризис был более драматизирован, я должен [144] обыкновенного министра сделать значительным персонажем, лицом, которое станет во главе парламентской интриги. Именно ему будет поручено после отставки министерства сформировать новый кабинет из остатков прежнего; он же окажется премьер-министром и получит портфель министра финансов. Это несколько изменит положение вещей. Итак, разоблачение аферы с железной дорогой—угроза кабинету. Обвинение по адресу двух министров—главы кабинета, типа Флоке, который брал взятки, чтобы субсидировать газеты, защищающие республику—романтичен, красноречив; затем—министра финансов, запутавшегося в деньгах, причем непонятно, чтó собственно он сделал; намекнуть, что он брал взятки, но окружить его тайной, сложными махинациями, он не сознается. Два типа—романтический, [145] глуповатый, но честный Флоке; и Рувье—честолюбец, любящий деньгу, при этом человек твердый, в котором нуждаются. Сочетание Рувье и Констана. Вот как развертывается в данном случае история: железнодорожная афера при другом министерстве, когда Флоке был министром внутренних дел и председателем совета, а Рувье имел вновь портфель министра общественных работ. Как бы то ни было, они оба скомпрометированы; им угрожают запросом. Взрыв бомбы отсрочивает запрос, ходят слухи, будто бомба их спасла, но анархиста не сразу арестовывают, и появляются новые разоблачения. Кабинет снова переживает

тяжелые минуты. Буржуа, стремясь к власти, требует [146] назначить день для запроса, но тут арестовывают анархиста, и кабинет опять укрепляется. Заседание, где Флоке защищается с большим красноречием, и падение министерства, получившего меньшинство в два-три голоса. Рувье взбешен признаниями Флоке. «Какой дурак, разве в этом сознаются?». Разъяренный Рувье чувствует, что положение его неустойчиво, и с апломбом лжет, но, понимая, что падение кабинета неизбежно, он скрыто подстраивает так, чтобы голосование было против него, сам оставаясь в тени. Наступает кризис. Буржуа готов уже воспользоваться наследством, тем более, что президент республики вызвал его к себе, но Рувье—Констан вставляет ему палки в колеса, старается затянуть кризис, предполагая, что никогда не ограничиваются одним-единственным покушением, и предвидя отмщение после казни; затянувшийся кризис и покушение моего Эмиля Анри; Рувье поручено сформировать, вернее обновить, [147] кабинет, ему удается сделать это в 24 часа, причем он берет себе портфель министра финансов, к которому давно уже подбирается, и становится премьером — конечная цель его честолюбия. Меня стесняют только даты, так как приходится сделать кризис слишком продолжительным. Это надо продумать, разве только устроить так, чтобы у власти было министерство Буржуа, которое падет в день покушения Эмиля Анри по милости моего Рувье, причем он сам окажется заместителем Буржуа. Это только еще лучше подчеркнет постоянную смену министров, покажет, что все кабинеты похожи один на другой и чередуются между собою. Вечное балансирование.

Но основные типы остаются. Глава кабинета Флоке, честный и романтичный. Спас республику, благодаря субсидированию газет, недалекий, очень смелый, говорит правду в ущерб самому себе. Старинная дружба с Гамбеттой. Жертва во всей этой истории. Министр Рувье—Констан, [148] деятельная, интересная фигура. Новый человек, однако, не молод, нечто среднее между Флоке и Буржуа. Талантлив, практичен, слегка испорченная репутация. Тип Рувье в несколько измененном виде. Энергичный человек, на которого Палата может положиться в опасный момент. Неразборчив в средствах, но ловок, неспособен попасться на удочку. Короче говоря, Буржуа новейшей формации. Принадлежит к молодому поколению, жаждущему власти, радикал, мечтающий захватить и удержать в своих руках республику; разумный, живой, обладает большими знаниями, непрочь попытаться ввести давно обещанные реформы. Олицетворение всяких Буржуа, Пуанкаре, Лейгов[28], будущее. Пройдоха, способен осуществлять—очень честолюбив, хочет сделать карьеру быстро, пока еще молод, понимает, что республика нуждается в новых людях.

В числе депутатов у меня имеется депутат—главный редактор большой утренней газеты.

Я возьму тип Эбрара[29], изменив его облик. [149] Делец, главным образом спекулирующий на своей газете, несомненно, брал взятки, но жуир, имеет собственный особняк, живет с женщинами, афиширует свою связь с певичкой, дружен с банкиром. Я возьму портрет Берарди. Другой депутат, пожилой, нуждается, провинциал, домашняя жизнь—ад, молодая жена проживает весь его заработок, сын от первого брака делает долги. Короче говоря—нужда. Затем молодой депутат, не отличается щепетильностью, кутила, весельчак, приятный собеседник, игра, жен-

щины, истый парижанин и т. д. Наконец, воинствующий социалист Гед, принимающий участие в спорах; но не имеет ничего общего с группой Гильома. Вот какую я дам ему роль, когда окончательно продумаю социалистов. Бесполезное действие в интересах других.

[150] Редактор разоблачающей газеты—тип Дрюмона[30], продумать. Человек, доведенный до крайности, по уши в долгах, страдает манией гласности, неудавшийся журналист, опубликовал две-три неудачных книги; ведет кампанию шантажа против больших кредитных учреждений Парижа. Репортер из тех, кому на все наплевать, приятный малый, олицетворяет мелкую прессу, посредник банкира; я показываю его на всех собраниях; другой исчез, о нем только говорят.

У меня есть судебный следователь, парижанин, любезный, сметливый человек, бывает у банкира, председатель суда, представитель старой Франции, друг матери дворянина и завсегдатай ее салона, прокурор по политическим делам, которого я сделаю политиком, консервативным республиканцем. [151] Впрочем, у них чисто эпизодические роли, дающие пищу суждениям, чтобы Пьер мог делать выводы и судить обо всем Париже.

То же относится к полицейскому комиссару, начальнику охранки и сыщику, который арестует анархиста: это все проходящие фигуры...

Не забывать, что «Париж»—продолжение «Рима» и «Лурда», он должен служить заключительной частью. Итак, вернуться к идеям первых двух томов...

[190] Я хочу, чтобы после «Рима» в «Париже» чувствовалась непрерывная деятельность ватиканских священников. Политика Льва XIII заключается в том, чтобы завладеть Французской республикой; я должен вернуться к словам, которые Мари говорит Пьеру во время их последней встречи. Нужно, чтобы кардинал Бержеро умер: у него было расовое и сословное предубеждение против иезуитов: «О, если вы подразумеваете под словом иезуиты мудрых пастырей, пытающихся человечным способом привлечь современное общество к церкви», и т. д. Он с ожесточением преследует иезуитов, которые стоят за Францию, за богатство, силу и смелость. Великая католическая нация держится стойко. Напрасно республика не помогает святому отцу в деле примирения. Папа в будущем; в этом именно и заключается для Франции весь вопрос и т. д. «Будьте молодцом, Пьер, не портите себе жизнь». Нет, нет, он не забудет того, что видел во время своего странствования. Он хорошо знает дружбу всех народов в лоне их святой матери—церкви, диктатуру Августа, хозяина мира. Таким образом, мне необходимо вернуться к этому с первой же главы. [191] Надо показать, что Пьер прекрасно сознает победу священников, иезуитов, людей из Ватикана, над Парижем, и это сознание усугубляет его отчаянье. Знаменитое новое веяние, о котором говорят, волна мистицизма, угроза возврата к старине. Недостаток истинного милосердия, пример которого подает аббат Роз, преследуемый, впавший в немилость. Но мне неясно, какой из персонажей может олицетворять в Париже политику Льва XIII. Кардинал Бержеро умер; печаль Пьера: это был единственный добрый, светлый ум. Теперь в епископстве остались одни ослы, сектанты или политики. Мне нужен священник, который олицетворит новое веяние, попытку завоевать республику. [192] Какой-нибудь французский прелат, стоящий во главе епархии, нечто вроде персепольского епископа у неверных. Очень деятельный, большой приверженец папы, светский человек, дипломатичен и сдержан, до некоторой степени

миссионер. Монсиньор Марта, итальянец по происхождению. Читал проповеди в Сакре-Кёр. Играет большую роль в епископстве, занимает место аббата Роз в Сакре-Кёр. В таком случае, я упомяну о нем в первой главе. Я выведу его в пятой главе первой книги—в церкви Магдалины, он прочтет проповедь о новом веянии. В четвертой главе второй книги речь о нем поведут Пьер и Франсуа. Я покажу его в третьей главе третьей книги у Монферрана; он явится для заключения какой-нибудь сделки; затем в сцене, когда Пьер и аббат Роз расстаются, в третьей главе четвертой книги, на бракосочетании в церкви Магдалины, где он торжествует вместе с буржуазией, во второй главе пятой книги и в последней главе романа.

V. ДВЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖЕЙ ИЗ «ЛУРДА» И «РИМА»

Мы приводим из рукописной рубрики «персонажи», в качестве примера, характеристики двух главных действующих лиц—Мари де Герсен из романа «Лурд» и Бенедетты Брандини из романа «Рим». Нужно иметь в виду, что в этих характеристиках повторяются или сведены воедино отдельные черты этих образов, намеченные в соответствующих «набросках». Они даны в развитом виде в последнем рукописном варианте. Однако, и здесь, сравнительно с романом, Золя оставляет место для дальнейших исканий: «разработать» (об отце), «разработать тип старшей сестры». Физический портрет обеих героинь, биографические данные о них в преломлении фабулы романа, их душевная драма—все это дано в достаточной мере осложненно. Так что заключать о психологическом примитивизме автора, как это делают некоторые критики, в результате знакомства с рукописями творческой лаборатории Золя уже нельзя. В приведенных характеристиках нет, однако, важной для Золя черты—социальных обликов героинь. Но в данном случае мы имеем дело с исключением: среди действующих лиц романов Золя образов интимно-психологических неизмеримо меньше, чем типов социальных.

Текст характеристики Мари де Герсен («Лурд»):

[20] МАРИ ДЕ ГЕРСЕН — 23 ГОДА

Блондинка, изумительные волосы, которые остались густыми и красивыми даже во время болезни. От десяти до пятнадцати лет она была здоровой, сильной девочкой, очень живой, полной жизненной энергии. Итак, веселая, сияющая, с круглым личиком, свежими щечками, голубыми глазами и смеющимся ртом. Точеный носик, открытый лоб, крайне подвижное лицо. Кожа ослепительной белизны. Вся—блеск, сияние: глаза—звезды, рот—цветок, молочной белизны кожа, золотые волосы, сама лучезарность. Я уже сказал, что у нее сохранились прекрасные золотые волосы; [21] тяжелые и густые, они спускаются ниже колен, Мари могла бы вся завернуться в них. Тело же ее все словно съежилось, она как бы вновь стала девочкой, рот побледнел, глаза стали светлыми и какими-то пустыми, лицо вытянулось. Все такая же беленькая, она как бы всю свою жизнерадостность вобрала в себя. Чувствуется, что, даже измученная болезнью, она сумела сохранить много мужества и жизнерадостности. Очень трогательная именно потому, что ей, столь живой, столь веселой и энергичной, столь полной жизни, приходится годами сохранять полную неподвижность. Что касается болезни, нужно ее еще придумать. Мне хочется, чтобы у нее были поражены какие-нибудь внутренние половые органы.

Болезнь яичников или матки. У нее никогда не было регул. И если бы мне это удалось, чудо [22] как раз и будет состоять в том, что вдруг появится кровь. Но с какой осторожностью и деликатностью все это должно быть сказано! Лучше всего, чтобы болезнь возникла в результате какого-нибудь несчастного случая. Пока семья располагала некоторыми средствами, Мари возили по всяким водам. Потом отчаялись в ее выздоровлении. Взять весь материал из истории чудесного исцеления мадмуазель Фонтенон де Ласёр. В конце концов, Мари положили в шину и для передвижения приспособили тележку на колесиках. Теперь ее история. Г-н де Герсен, уроженец Анжу, выходец из мелкой дворянской семьи, располагал маленьким состоянием. В Нейльи у него был небольшой собственный домик, соседний с домиком Фроманов. По профессии Герсен был архитектором; он был большим фантазером и набожным католиком. В результате спекуляций во время постройки рабочих городков с церквами и школами, он потерял все состояние. С точки зрения искусства Герсен был небольшой величиной; много дилетантства, недостаток знаний [23] (архитектор—экспериментатор и выдумщик, постоянно парит в небесах). Однако, по временам у него были проблески таланта. Когда-то он даже написал стихи в честь богоматери. Влюблен в природу, что мне позволяет ссылаться на Гаварни. У него вполне установившийся взгляд на архитектуру, он критикует церковь в Розэре и базилику. Словом, интересный человек, убежденный католик, что не мешает ему, при случае, сбиваться с прямого пути. Разработать. Итак, это тип отца, дела которого хорошо итти не могут. Даты—следующие. Когда Мари было десять лет, семья благоденствовала. Как раз в это время развернулся ее идиллический роман с шестнадцатилетним Пьером. Она заболевает тринадцати лет, в период переходного возраста. Пьер вновь встречает девушку, когда ей уже восемнадцать лет,—именно под влиянием ее болезни он решается стать священником. Следовательно, вот уже пять лет подряд ее возят по всяким водам, советуются со всеми светилами врачебного мира. Она обречена, наука бессильна помочь ей. [24] Как раз в это время отец теряет все свое состояние. Проходит еще шесть лет, в течение которых Герсены скатываются все ниже и ниже. Они принуждены оставить свой дом и поселиться в скромной и бедной квартирке. Я сделаю г-жу Герсен чрезвычайно благочестивой, практичной женщиной. Суровая, благородная фигура. Пока она была жива, дела еще кой-как шли. Она воспитала своих двух дочерей в строго религиозных правилах. В строгости держала и мужа; именно религия особенно сближала г-жу и г-на Герсен. Г-жа Герсен умирает первая от воспаления легких, простудившись, ухаживая за дочерью. Пьер вновь встречает Мари, когда она носит траур по матери. Ей восемнадцать лет, она неизлечимо больна, обречена на полную неподвижность. Мать скончалась на водах, куда она повезла дочь лечиться от молниеносного [25] воспаления легких. Однажды на прогулке их застиг дождь, и мать простудилась, так как сняла свое пальто, чтобы прикрыть Мари. Итак, после смерти матери семья испытывает все более острую нужду. Старшая сестра Бланш, которая как раз успешно сдала последние экзамены, кое-как своим трудом кормит отца и сестру. Тяжелая нищета. Разработать тип старшей сестры, которая буквально показывает чудеса трудолюбия, чтобы прокормить семью. Уроки французского и музыки, постоянная езда на трамваях и омнибусах из одного конца города в другой. Итак, Пьер вновь видит Мари. Она

Benedetta, contessina Brandini — 25 ans. — Donc est née en 69. — A perdu sa mère, il y a dix-huit mois, et vient de finir son deuil; mais reste toujours en noir. Est revenue près de sa tante depuis un an, ce qui fait que les formalités en cour de Rome traînent depuis un an, pour le divorce. Est restée avec son mari, Prada, pendant un an, et a perdu sa mère six mois après son mariage, sa mère morte de chagrin d'avoir si mal marié sa fille; ce qui fait qu'elle a été mariée à 23 ans, il y a deux ans.

Son portrait physique, très brune avec une peau blanche mais très mate, très ivoirine. Figure un peu immobile, avec des yeux immenses, très noirs, très profonds et mystérieux. Un sourire rare et exquis, d'une séduction irrésistible quand il luit. Non pas énigmatique, mais indolente au fond rêveuse, un peu le commencement de l'Orient. Très jeune, très blanche, très calme, avec ses yeux brûlants. Les mouvements lents et rai-

АВТОГРАФ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕНЕДЕТТЫ ИЗ РУКОПИСЕЙ К РОМАНУ ЗОЛЯ „РИМ“

Библиотека Межан в Экс-Провансном, Франция

осталась такой же религиозной, болезнь даже усилила ее набожность. Анализ всего этого. Ей пришло в голову отправиться в Лурд, так как она уверена, что там поправится. Пьер советуется с известным врачом. Тот говорит ему [26]: «Если она так уверена в выздоровлении, она излечится». Каким образом Пьер решается отвезти больную в Лурд. Он священник церкви в Нейльи, очень скромный, ведет уединенную жизнь. Слывет умным человеком, и архиепископство не раз делало ему всякие предложения, желая привлечь его к работе. Но Пьер от всего отказывался. Быть может, после одного из таких предложений он сожалеет об упадке в нем веры; будь он верующим, он мог бы принять это предложение и принести пользу. Все его попытки возродить в себе веру в Лурд. Именно потому, что он не верит, он решает остаться скромным, никому неизвестным священником, но честным человеком (да и к чему быть мужчиной, если Мари не может быть женщиной). Как воспринимает Пьер мысль о возможности излечения Мари. Пьер мечтает о великом милосердии. Последнее дать в самом конце вместе с идеей о религии человеческого страдания. Итак, Лурд—это попытка священника вернуть себе веру, [27] слепую веру XII столетия. Однако, Пьера ожидает провал. Он стремится горячо верить и не может. Нужно, чтобы Мари догадалась о внутренней драме Пьера. Она единственная в мире знает о том, что Пьер не верит. Откуда ей это известно? Придумать что-нибудь. В Лурде Мари горячо молится за обращение Пьера, но ее мольбы тщетны. Мари верит в чудо, которое будто бы ее исцелило, и Пьер возненавидел бы себя, если бы стал ее разубеждать в этом. Пусть она останется такой же верующей, как была. Даже выздоровевшая, она никогда не будет его женой, никогда не выйдет замуж

за священника, забывшего свои клятвы. А ведь теперь она стала женщиной, может выйти замуж. Клятва остаться девственницей, которую она шепчет ему на ухо в поезде на обратном пути, под стук колес.

Текст характеристики Бенедетты («Рим»):

[148] Бенедетта, графиня Брандини, 25 лет, т. е. родилась в 69-м году. Потеряла мать полтора года назад, срок траура уже истек, но она попрежнему ходит вся в черном. Вот уже с год, как Бенедетта живет у тетки; таким образом, дело о разводе из-за формальностей в римском суде тянется уже год. До этого жила со своим мужем Прада и спустя шесть месяцев после свадьбы потеряла мать. Мать умерла через полгода после замужества дочери с горя, что так скверно выдала дочь. Значит, Бенедетта вышла замуж двадцати трех лет, два года назад.

Привлекательная внешность; белая, матовая кожа напоминает слоновую кость. Несколько неподвижное лицо, огромные глаза, совершенно черные, глубокие, полные тайны. На-редкость очаровательная улыбка, блеск ее неотразим. Не столько загадочна, сколько ленива, мечтательна. В ней есть какой-то налет Востока. Очень юная, очень беленькая, спокойная, несмотря на знойные глаза. Движения медленные и обдуманные; [149] походка спокойная, благородная и ритмичная. Вся жизнь сосредоточена в пылающем взоре и в несколько полном, чувственном рте. Вместе с тем, под гладкой белой кожей ощущается напряженность всего существа. Весь облик несколько загадочный; очень сдержанная и замкнутая. Нужно, чтобы за пламенным взором чувствовалась религиозность, доходящая до ханжества. Суеверная, своевольная и тщеславная; девственница, упорно бережет себя для любви, и главное — практичная женщина, не обманывается платоническими мечтами. Способна, несмотря на все свое благоразумие, на безумную страсть; вся—противоречие рассудка и чувства; нужно, чтобы это отражалось на ее лице. В ушах всегда жемчужные серьги; прекрасное жемчужное ожерелье, которое досталось ей от матери, а той подарил ее муж, граф Брандини, это—фамильные драгоценности. На примере Бенедетты показать воспитание девушки в Риме (также на примере Челии). Типичная римлянка; невежественная и суеверная. Итак, [150] отнюдь не синий чулок; никакого стремления к благотворительности. Очень практичная и, вместе с тем, страстная натура. Вся поглощена своим чувством, но очень своеобразно. Чтобы оживить этот тип, смутить Бенедетту в ее невежестве и практичности хотя бы путем чтения книг. Она прочла книгу Пьера и, встревоженная собственными несчастьями, пытается понять ее. Ее удивляет, каким образом можно интересоваться населением Трастевере. Она пытается заинтересоваться этим. И в силу столь неудачно сложившейся жизни, среди скуки и пустоты своих дней в ней просыпается интерес к этим людям. Нужно, чтобы это несколько изменило ее и повлияло на развязку, когда она отдается умирающему любовнику. С той минуты, как Бенедетта читает его книгу, Пьер заинтересовывается ею, старается завоевать эту душу для народа, для истины, для Италии завтрашнего дня, о которой он мечтает. Италия вчерашнего дня—невежественная и праздная—как хороша она в своей сонной красоте! Даже разрыв Бенедетты и Прада как бы воплощает столкновение старой Италии с Римом во главе и современной Северной Италии. Пьер прекрасно понимает это. Он хочет [151] мягко и осторожно сделать эту прекрасную женщину современным человеком. Отсюда их дружба,

совместные посещения руин и новых кварталов Рима. Пьер в роли учителя. В какой степени он влюбляется в Бенедетту, в эту прекрасную Италию, столь невежественную и кроткую, чей пламенный, страстный взор скрывает столько тайны. Итак, сделать Бенедетту как бы прототипом Италии, передать всю умирающую грацию этой страны, столь пленительной в своем сонном безмолвии. И в конце ужасная развязка. Атавизм сметает все.

Характеристика, какую Пьер во время совместных прогулок дает Дарио—последнему отпрыску вымирающего рода. Бенедетта и Рим—сердце страны—оба пытаются стряхнуть с себя дрему. Римлянка—невежественная, способная на преданность и страсть. Неудачно выданная замуж, она влюбилась в Дарио и бережет свою девственность для него, с какой-то почти суеверной набожностью [152]. Чрезвычайно практичная по натуре, она стремится к серьезному чувству, к чувственной стороне любви. Именно потому во всех ее действиях очень много благоразумия и рассудительности. Никакой склонности к мечтательности, ее именно интересует реальная сторона брака. Наряду с этим набожное суеверие, обет, данный любимой святой. Бенедетта даже отделяет мадонну от бога.

Ее взгляд на девственность. Она поклялась сохранить девственность для Дарио, и это является движущей силой ее поступков на протяжении всей книги. Почему Бенедетта отвергает Прада и хочет развестись. Религиозное суеверие. Она хочет отдать чудесный дар своей девственности тому, кого она полюбит. Как она блюдет себя со страстью и благоразумием. Но и тут должна быть рука божия, благословение священника, религия. А в конце—показать то дикое величие, с которым Бенедетта встречает смерть; тут уже нет священника,—это крик плоти, победа природы.

VI. АНАЛИТИЧЕСКИЕ «ПЛАНЫ» К «ЛУРДУ», «РИМУ» И «ПАРИЖУ»

Аналитический «план» романа Золя писал обычно после «наброска», и естественно, что здесь общие замыслы и темы писателя преломлялись в фабуле романа и выступали с большей конкретностью. Таким образом, помимо ценности «планов» для характеристики творческого процесса писателя, они дают интересный материал и для определения основных идей романа.

Из публикуемых нами глав аналитических «планов» Золя к романам серии «Три города» мы избрали для более или менее детального разбора рукописный материал одной из глав «Парижа»; остальных «планов» мы коснемся кратко.

«План»—распространенный сценарий. Изложение событий и основные признаки описываемой обстановки чередуются в нем с размышлениями писателя, замечаниями, ссылками на источники и т. п.

Глава первая V книги «Парижа» о казни анархиста Сальва—одна из наиболее социально насыщенных в романе. Социальная тема развивается в этой главе в смешанной форме—публицистически-декларативной (устами Пьера, Гильома или от имени автора) и в ряде жанровых эпизодов. Особенно подчеркивается в аналитическом «плане» контрастность картин: «Описание нищеты» и «Возвращение домой светских кутил, разъезд из клуба»; «Главный упор сделан на рабочий квартал, еще не проснувшийся»; «Особая толпа посетителей казней, светский Париж, мошенники» и т. п. Исходным тезисом для этих изображений служит следующее замечание писателя: «Гильотина в квартале бедноты. Ее не воздвигают в богатом квартале, где она не имела бы никакого значения. Но здесь, в рабочем и бедном квартале, она служит угрозой и развязкой. Нищета, страдание приводят к ней, она держит в повиновении нищих и страждущих, всегда готовых к возмущению».

В какой форме отдельные кадры в аналитическом «плане» получили в дальнейшем законченное выражение, свидетельствует хотя бы роль следующего замечания писателя: «описание гильотины, она низкая». Изображение гильотины в романе выросло в пространное описание (самой гильотины, помощников палача, священника, палача и т. д.), причем одна деталь—«она низкая»—послужила к насыщенному метафорами параллелизму между былым «величественным красным эшафотом» и стоявшей на нем гильотиной, которая «воздымала к небу громадные, словно окровавленные руки», свидетельствуя «о всенародной расправе в эпоху революции», и современным ее состоянием, когда «хищного зверя свалили наземь, и он стал от этого еще более коварным, омерзительным и подлым».

Золя использовал для этого описания технические заметки, в большом количестве имеющиеся среди его рукописных материалов (рубрика «Разные детали»). Вот чем объясняется его ссылка в «плане»: «Придумать... посмотреть заметки... слова в заметках» и т. п. Промежуточной стадии между аналитическими «планами» (не следует забывать, что мы имеем дело со второй редакцией «плана») и текстом романа у Золя не было.

Таким образом, один из основных мотивов романа «Париж»—показать социальный контраст нищеты и богатства, «досужей жизни буржуазии и трудовой жизни рабочего»—в «плане» данной главы настойчиво подчеркивается писателем с характерной для него схематичностью. Сравнительно с другими главами романа, особенно ценны здесь моменты живописно-пластического изображения (рассвет, лунный пейзаж, метельщики, тряпичники и т. д.). Жанровые картины этой главы убедительнее риторических рассуждений.

Несколько иной, публицистический характер приобретают в романе замечания Золя в «плане» о беседе Пьера с Гильомом на Монмартре. Декларации их в романе против католической церкви и религии были написаны на основе и в духе многочисленных высказываний писателя в «набросках» к «Трем городам». Я имею в виду рассуждения Гильома о видениях Алакок—«сердце Иисусовом—низменном и отвратительном материализме, напоминавшем мясную лавку с выставленным в ней ливером, мясом и кровью», или слова Пьера о Сакре-Кёр—«гигантской крепости, воздвигнутой для того, чтобы обстреливать и держать в повиновении город».

«План» IV главы из третьей книги «Парижа» интересен, благодаря объективности, так сказать, констатирующего описания облавы на фоне пейзажа Булонского леса. Краткие заметки в «плане» определяют самый характер этих описаний: «Пасмурный день. Ночью шел дождь, небо осталось серым, предвидится снова ливень. Описать лес в этот пасмурный день в конце марта. Листья едва начинают распускаться» и «Выходит Сальва—жалкий призрак. Охота, загнанный, выбившийся из сил зверь... Исхудалый, землистого цвета, голодный, в лохмотьях, промокший от дождя. Ночь в яме с листьями... Отвратительный ком грязи». Эти заметки используются писателем для пространных декоративных описаний в манере литературного, по аналогии с живописью, импрессионизма.

В большей же части своей «план» этой главы представляет собой полные динамики заметки сценарного характера о бегстве и преследовании Сальва или же насыщенные значительными психологическими чертами заметки о свидании Жерара и Евы в кафе.

Наряду с последней, вполне естественной жизненной сценой, в этой главе «плана» обнажается один их характерных композиционных приемов Золя: искусственное сосредоточение главных действующих лиц в одном из мест действия романа. Здесь, в кафе Булонского леса, встречаются Сальва, Гильом и Пьер Фроман, Жерар и баронесса Ева, Розамунда, Гиацинт и др.

В какой мере каждая глава романа у Золя отличается единой устремленностью, видно хотя бы из «плана» III главы третьего дня к «Лурду». В ней центром является изображение процессии паломников с факелами. Это зрелище, привлекающее «художественной красотой», служит искусной рамкой для картин, в которых религиозный экстаз па-

ломников сочетается с чувственным возбуждением окружающих лиц («навязчивые мелодии церковных песнопений» и «гуляки, развратницы; на улицах слышны подавленные смешки, голоса»). Указание «плана» о «подробном описании всего этого» разработано в романе с обычным стремлением Золя вскрыть живописную сторону явлений. Но картина мерцающих огоньков служит не только для живописных целей писателя, она подчеркивает основную задачу автора — пробудить в читателе недоверие ко всей бытовой обстановке «чудесных» исцелений.

Во II главе четвертого дня «плана» к «Лурду» наблюдается обычный для Золя прием: опорными пунктами в развертывании фабулы романа он делает «удачные эпизоды», привлекающие читателя остротой выдумки. Таков в этой главе эпизод с братом Исидором, вскрывающий горько-ироническое отношение писателя к «чудесам». Именно: больной брат Исидор умирает в «молитвенном экстазе», устремив взгляд на статую богородицы, тогда как окружающие паломники, не замечая его смерти, говорят: «Смотрите, вот этот человек верит, уж он-то исцелится,—больно у него довольный вид».

В этой главе Золя проявляет себя, как мастер коллективных образов. Толпа выступает у него в роли «главного, всеобъемлющего персонажа». При этом явственна здесь обычная для Золя манера изображения коллективного персонажа не как совокупности безликих, безымянных образов, а через посредство отдельных протагонистов толпы, т. е. охарактеризованных в романе действующих лиц. Замечание писателя о необходимости «детального описания», действительно, осуществлено в романе. Краткость подобных заметок в «планах» объясняется тем, что Золя прибегает в процессе работы над текстом романа к привычным для себя приемам, которые часто в «планах» им даже не фиксируются. Примером может служить повторяющаяся в этой главе романа, вроде лейтмотива, тема литании, а в другом случае—контрастная болезненному облику Мари тема «золотых волос».

Глава IX аналитического «плана» к «Риму» дает интересный материал для суждения

1600

Plan définitif

L'humanité est une malade qui la science semble condamner et qui se jette dans la foi aux miracles, par besoin de consolation.

Des chapitres de 30 à 35 pages, en moyenne, au plus.

Le cri de la souffrance. Et une émotion, une charité ardente, devant la misère humaine.

АВТОГРАФ ТЕЗИСОВ К ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ „ПЛАНУ“ РОМАНА ЗОЛЯ „ЛУРД“

Библиотека Межан в Экс-Провансном, Франция

о процессе дальнейшей работы Золя над «наброском». В ней основные идеи романа, тезисно выраженные в «наброске», приобретают наглядный пластический характер. Глава бездейственна. Задание Золя определено словами: «Глава статична, неподвижна, подобно Дарио, прикованному к постели». Она заполнена описаниями римских парков, Трастевере, Тибра. Но Золя, как всегда, избегает описаний ради самих описаний. Трастевере наводит Пьера на мысль: «Ни народа, ни аристократии... Развитие промышленности невозможно». И этот вывод Золя хочет связать с описанием пейзажа Тибра, который представляется ему мертвой рекой. Риму, с его прошлой славой, Золя противопоставляет Милан, «оплетенный сетью железных дорог, вокруг которого расстилаются плодородные поля, где кипит коммерческая и промышленная жизнь». Так, Золя тесно связывает католицизм с судьбой Рима, стремится опорочить «вечный» город.

В главе XIV «плана», посвященной аудиенции Пьера у папы, Золя вынужден был опираться лишь на книжные материалы и сведения из вторых рук. Это сказалось в «плане». За исключением описания площади собора св. Петра, сделанного на основе записей «с натуры», во всех других случаях чувствуется недостаток непосредственных впечатлений. Описание облика самого папы—это сочетание психологических наблюдений общего характера с рассуждениями о католицизме и «католическом социализме», известными из «наброска». Они приводят Пьера Фромана к убеждению, что нельзя «возродить христианство, как религию демократии». Для иллюстрации этого тезиса и написана глава.

Текст аналитических «планов» к «Лурду»:

ТРЕТИЙ ДЕНЬ. ГЛАВА III

ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

[358] Процессия с факелами. Она должна служить как бы рамкой для всей главы. Мари, несмотря на ее состояние, удалось добиться разрешения провести всю ночь перед гротом. «Поскольку я в больнице все равно не сплю, мне здесь будет ничуть не хуже, напротив. Ведь августовские ночи так прекрасны!». Благодаря хлопотам г-жи Жонкьер, заведующей приемным покоем, а также барона Сюира, разрешение получено. Наутро в гроте произойдет причащение. Это даст мне концовку четвертой главы. Итак, в девять часов вечера Пьер приходит за Мари. И вот они на улице. Я хочу, чтобы они увидели всю процессию. Огоньки [359] собираются у грота, потом поднимаются кверху, следуя зигзагам дороги. Мари и Пьер, который везет ее тележку, как раз увидали процессию в этот момент. Но Мари захотелось увидеть все до конца, она попросила Пьера вернуться обратно. Пьер подвез ее к убежищу. Таким образом, Мари видела как процессия спускалась по ступенькам лестницы, прошла через весь сад и остановилась на площади Розэр. Подробное описание всего этого. Быть может, Мари и Пьер даже подымутся на Крестовую гору, чтобы увидеть процессию сверху. Господин де Герсен также может быть на Крестовой горе, его поражает поистине художественная красота этого зрелища. Впервые ему случилось увидеть нечто столь прекрасное. Быть может, г-н де Герсен один поднимется на Крестовую гору и потом вернется к дочери. В конце концов, Мари посылает его спать, ведь он должен уехать в три часа утра. Быть может, [360] сама Мари очень мило настаивает на том, чтобы отец поднялся на Крестовую гору и доставил себе удовольствие полюбоваться столь редким зрелищем. Пьер объявляет, что он, по всей вероятности, и вовсе не будет ложиться. Господин де Герсен один возвращается в гостиницу. Мне необходимо ввести еще несколько эпизодов, которые дали бы мне, так сказать, костяк главы; в особенности мне хочется дать эпизод

в убежище с Мари Венсен и маленькой Розой. Мари приехала без гроша денег. Она устроилась в убежище, ребенок спит у нее на коленях. Девочка до сих пор не поправилась, но мать не теряет надежды и горячо молится. Описание убежища, людей, населяющих его. Быть может, лучше не давать здесь детального описания обстановки убежища, а только упомянуть о нем. Люди, которые здесь обедают, закусывают. В этот час (процессия) [361] убежище пусто. Лучше всего подробно сказать о ней позже, ночью, когда весьма смешанное население его заснет. Итак, мать и ребенок расположились на скамейке у входа в убежище. Пьер как раз провозит колясочку Мари мимо скамейки, и обе женщины разговаривают. На каком месте прервалась их беседа, ввиду того что, как только кончилась процессия, госпожа Венсен поспешила войти в убежище, чтобы не потерять своего места. Пока женщины беседуют, Пьер заходит в убежище, все осматривает. Он коснется его в следующей главе. И все-таки глава несколько пустовата. Я могу дать здесь идиллическую сцену между Мари и Пьером во время их ночной прогулки. [362] Во мраке прекрасной ночи Пьер медленно подталкивает вперед колясочку Мари. На секунду они задерживаются в тени аллеи, тянущейся вдоль берега Гава. Мари преисполнена надежды, она уверена, что в эту ночь умилостивит святую деву и та дарует ей исцеление. В Пьере также возродилась надежда. В эту ночь он решает сделать последнюю решительную попытку возродить в себе веру. Эта прекрасная ночь, зрелище необычайной процессии, словно унесли все плохие дни (главы I и II). Дать отрывок, о котором я уже говорил в предыдущей главе. Помимо этого, если мне понадобится, я могу ввести еще несколько эпизодов. Например, в процессии может участвовать госпожа Маз. Отметить тех персонажей, которые будут участвовать в процессии. [363] Тут могут быть Виньероны, Гривотт (она держит в руках свечу, у нее вид помешанной), Софи Конто, в толпе может быть также доктор Шасень; я уже давно не упоминал о нем, и как раз в этой или в следующей главе вполне уместно к нему вернуться. Наконец, я могу дать разговоры в толпе. Люди посетили новые места и делятся впечатлениями. Закрытие ярмарки в этот прекрасный воскресный день. Царит самое непринужденное веселье. Некоторые еще спешат закусить до наступления темноты (не очень подчеркивать момент успокоения в душе Пьера. Пусть он почувствует это состояние полного покоя лишь к концу главы). Закончить тем чувством, которое охватывает меня [364] при виде всех этих возвращающихся на ночлег людей, медленно бредущих по плохо освещенным улицам. Медленно шагают паломники, спрашивая у встречных дорогу. Очень осторожно сказать о гуляках, развратницах; на улицах слышны подавленные смешки, голоса. И Пьер, провожая Мари к гроту, может заметить издали в окне гостиницы свет в комнате г-жи Вольмар и ее любовника. Он узнает ее силуэт. Собрать персонажей из всех глав и посмотреть, какие из них могут участвовать в этой главе. Упомянуть о сестре Мари—Бланш. Какое бы удовольствие ей доставило увидеть все это. Навязчивые мелодии церковных песнопений. Итак, дать непрерывную цепь глав вплоть до чудесного исцеления Мари; и дальше уже не оставлять ее.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ. ГЛАВА II

ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

[423] Итак, в этой главе все действие развертывается перед гротом, причем еще до того, как объявляется об исцелении Мари. Мари просила

Пьера притти за ней не раньше трех часов; таким образом, в продолжение полутора часов Пьер совершенно один. Он бросился на кровать или, лучше, задремал на скамейке. Он не спал всю ночь. Его словно трясет лихорадка, он возбужден. Это лихорадка, которая постепенно охватывает всех паломников. Многие почти совершенно не спят, доходя до состояния страшного возбуждения, галлюцинируют. Это состояние возбуждения все нарастает. Оно постепенно [424] охватит всех моих персонажей и, главным образом, толпу.

Чтобы заполнить главу, я включу в нее два эпизода, касающиеся г-на Сабатье и брата Исидора. Я их дам один за другим. Г-н Сабатье присутствует при смерти Исидора. Он терпеливо ждет, чтобы святая дева избрала его, удостоила взглядом. Вот уже в седьмой раз он приезжает в Лурд; с каким преисполненным терпения видом он читает молитву, перебирая четки. Г-жа Сабатье стоит рядом с мужем, вперив пристальный взор в мраморную статую. Рядом с г-ном Сабатье Исидор со своей сестрой Мартой. Исидор полон молитвенного экстаза, его неподвижный взор также устремлен на статую. И так, не спуская с нее взора, он тихо угасает (так сказал Ферран). Какая легкая смерть! Он умер, [425] но глаза его остались открытыми и попрежнему смотрят на богородицу. Сестра, заметив, что он скончался, хочет закрыть ему глаза, но они упорно открываются. Исидор попрежнему смотрит на богородицу, на лице его выражение глубокого экстаза, на устах улыбка, исполненная бесконечного блаженства. Так как кругом собралась огромная толпа народа и тела унести все равно нельзя было, Марта никому не стала говорить о том, что брат ее умер; не сказали этого и другие присутствовавшие при его смерти. Умерший так и остался лежать с широко открытыми глазами, словно весь отдавшись горячей мольбе. Вид его трогает всех проходящих мимо людей. Кто-то говорит: «Смотрите, вот этот человек верит, уж он-то исцелится, больно у него довольный вид». Оба эти эпизода, безусловно, удачны, но они не заполнят мне главы. [426] В качестве больных я могу показать только еще, пожалуй, Виньеронов и Дьёлафей. Первые всецело отдались молитве, каждый эгоистически вымаливает для себя какую-нибудь милость, вторые, несмотря на окружающую их роскошь, несмотря на то, что они с легкостью могли бы пожертвовать миллионом, не могут, однако, изыскать средства, чтобы смягчить святую деву. Г-жа Дьёлафей, такая молоденькая, с глубоким взором огромных глаз, наконец, г-жа Маз, которая молится об обращении на истинный путь своего мужа. Итак, всю эту главу я могу посвятить описанию моих второстепенных персонажей перед гротом (до сих пор я мог не давать этого описания). Я хочу лишь упомянуть о них в других частях, [427] чтобы подробно описать их только в сцене перед гротом. Мари здесь не будет, и, таким образом, у меня останутся лишь мои второстепенные персонажи. Я распределю все касающиеся их эпизоды таким образом, чтобы они как следует заполнили мне главу.

Главным образом, использовать второстепенные персонажи, чтобы показать нарастающее возбуждение. Первое описание толпы, которое мне понадобится в двух последующих главах. Толпу показать сравнительно спокойной, еще только на грани возбуждения. В дальнейшем дать постепенное нарастание возбуждения. Итак, толпа выступит в роли главного, всеобъемлющего персонажа. Тридцать тысяч паломников; давка; санитары с трудом сдерживают этот поток людей [428]. Больные рядами

уложены перед гротом. Детальное описание. Каждый больной участвует в определенном эпизоде. Проповеди священников, литании—все, что зажигает толпу. Все это только наметить и развить в последней главе. Вернуться к служащим больницы и священникам. Вновь показать отца Фуркада и отца Массиаса, последнего, быть может, на кафедре. Мимоходом показать отца Даржелеса. Вообще же лучше, чтобы святые лурдские отцы оставались на заднем плане. Наконец, если мне понадобится Пьер, использовать его исключительно в зале исследований, куда отправляют к доктору Бонами якобы исцелившихся больных. [429] Здесь как раз удобно напомнить о зале исследований. История с дамой, которая потребовала, чтобы ее исследовали, так как она уверена, что излечилась. Она действительно выздоровела. Отчаяние доктора Бонами. Таким образом, еще раз вернуться в залу исследований. Эту главу я смогу дать только в том случае, если я приберегу для нее все эпизоды, в которых участвуют больные. Мне бы не хотелось выводить в ней Пьера. Коленопреклоненные богачи Дьёлафей; погруженные в молитву муж и сестра. Муж обожает жену. Обдумать персонажей. Если я еще раз возвращаюсь к залу исследований, то это для того, чтобы показать торжество доктора Бонами в случае с Элизой Туке. Заметные шрамы на ее лице, о которых шла речь во второй главе второй части, показывают, что болезнь Элизы отнюдь не нервного происхождения. [430] Сказать об этом. Только эпизод с Элизой может несколько оживить вторичное описание зала исследований. Рабуан возвращается. Аббат Жюден молит о чуде для госпожи Дьёлафей, он ею живо интересуется. Не забывать также об аббате Дегермуазе. Обдумать его характеристику. В спорах о чудесах он не касается церкви, не требует, чтобы в эти чудеса верили. Предоставить отцу Массиасу выкрикивать литании (его характеристика). Массиас учился в семинарии вместе с Пьером, они—полная противоположность друг другу. Отец Массиас сыграл некоторую роль в исцелении Мари. В четырехчасовой процессии он шел вместе с Мари и Пьером позади балдахина.

Текст аналитических «планов» к «Риму»:

С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ. ГЛАВА IX

ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

[1] Итак, Пьер пытается забыться. Он все ближе и ближе сходится с Бенедеттой. Безмолвная Серафина над своим Морано. Кардинал Бокканера никогда не показывается. Пьер каждый день видит Бенедетту, которая поверяет ему свои тайны. Бенедетта знает, что Дарио развлекается на стороне. Она слегка подшучивает над этим: раз она не отдается ему, вполне понятно, что он хочет рассеяться. Он ведь свободен, не связан духовным званием. Она рассказывает Пьеру о Зониетте. Все детали любовной связи в Риме—Корсо, Пинчо, театр, квартал Макао, сплетни. Веселящийся Рим. Затем описание охоты на лисицу, чтобы дать несколько ярких мазков. И закончить все это личностью Бенедетты с ее пониманием девственности. Ее суеверное поклонение мадонне в одной из римских церквей. Пьер служит мессу как раз в том приходе, где находится эта церковь. У Серафины и Бенедетты один исповедник—[2] иезуит. Быть может, оставить все эти подробности для другой главы, которую я посвя-

щаю религии и распространению суеверий в Риме. Мне нужно подойти к покушению на Дарио: его пырнули ножом, когда он однажды вечером возвращался во дворец. Какой-то мужчина, притаившийся в углу, в дверях, всадил ему нож в спину, позади плеча. Дарио узнал убийцу, но не пожелал назвать его имя. Приглашен доктор, который лечит всю семью, на чью скромность можно положиться. Бенедетта бурно проявляет свое горе. Думая, что Дарио уже мертв, она бросается на тело раненого. Вся ее страсть вырывается наружу; страсть и сожаление о том, что она не отдалась любимому человеку. Пьер ее не узнает. Все это для того, чтобы сделать правдоподобной ее гибель в конце романа. Покушение на Дарио дать в самом начале главы. Пьер принимает участие во всей истории. Затем последующие дни. Пьер может узнавать о здоровье Дарио [3] через Викторину и дона Виджилио, которым также известна вся история. Особенно Викторине: в вечер покушения именно она поднимается бегом по лестнице, чтобы позвать свою хозяйку. Руки у нее окровавлены. Итак, по утрам Пьер уходит гулять; вечером он встречается с Бенедеттой у постели Дарио. Последний не хочет говорить о покушении, и Бенедетта не настаивает, не желая, чтобы Дарио знал, что это Тото (?) мстил за Пьерину. Однако, в начале главы, там, где рассказывается о развлечениях, сказать о Пьерине; как раз над этим увлечением Дарио и подшучивают.

Приходят ли навестить больного кардинал Бокканера, Серафина и другие члены семьи? Покушение тщательно скрывают: всем говорят, что это несчастный случай, серьезное растяжение связок.

Я уже сказал, что Пьер с утра один уходит гулять, поскольку спутник его прикован к постели. [4] Прогулки по римским паркам (скверам, бульварам), посещение виллы Боргезе, виллы Маттеи и Памфиле, откуда открывается такой чудесный вид на собор св. Петра. Особенно Пьер любит посещать виллу Фарнезина, столь печальную в своей разрушенности и заброшенности. По вечерам он делится своими впечатлениями с Бенедеттой и Дарио, лежащим в постели. Бенедетта и Дарио, в свою очередь, вспоминают об очаровательном римском парке на вилле Монтефиори, где они полюбили друг друга. Я могу в этой главе дать описание всех прогулок Пьера—от Коэлиона до Мальтийской часовни. Описание всех тех мест, которые бы я сам посетил, включая Аква Ачетоза и другие пригороды Рима. Какой-то меланхолической прелестью веет от этих рассказов Пьера у постели выздоравливающего. Он почти всегда выходит один [5] и каждый день открывает все новые и новые для себя места. Наконец, в заключение прогулка в Трастевере, там Пьер встретил Нарцисса Габера, который повез его затем во дворец Фарнезе. Итак, этот кусок у меня есть, но без народа (использовать моих рабочих) и без аристократии (только Дарио и другие). Вымирающая нация. Все это окрашено большой жалостью. Трастевере Пьер посетил, подобно тому, как он навещал бедные кварталы в Париже, преисполненный братских чувств. Что он там видел. Все прилегающие кварталы, в которых я в свое время побывал. Нет, здесь Пьер должен быть один. Пусть он встретит только Нарцисса. И тут теория о том, что Рим осквернили (la Roma sporca). Развалины, покрытые мхом, нечистоты у подножия памятников; упомянуть о набережных, которые я оставляю для другой главы. Пьер защищает все сделанное. Но это не мешает ему, когда Нарцисс приводит его во дворец Фарнезе, сделать вывод: ни народа, [6] ни аристократии (ни источника живой силы, ни

наших сбережений. Последнее только наметить и развить в конце). Дворцы сдаются в наем, все дворяне более или менее разорены; нет живых капиталов. Состояния поделены между наследниками, а развитие промышленности невозможно, так как в силу их неумелости все их предприятия терпят крах. Мертвые, неподвижные капиталы, которые иссякают сами собой. И в этот вечер, вернувшись домой, Пьер видит разоренного Дарио, мертвый дворец, кардинала,—последний иногда, словно какая-то непреклонная тень, встречается на его пути, а большей частью об его существовании возвещает лишь стук колес его кареты, которая привозит и увозит его в определенные часы. Все это лишь подтверждает суровый приговор Пьера. И снова все смягчается братской жалостью. Закончить главу можно, пожалуй, посещением Нани, пришедшего навестить выздоравливающего Дарио. Нани говорит Пьеру, что пора действовать, [7] и вводит его в дома Сангвинетти, Форнаро и отца Данжели. Все это может также произойти на одном из еженедельных вечеров у Серафины. Нужно, чтобы вся глава как бы намеренно прерывала ход драмы. Она статична, неподвижна, подобно Дарио, прикованному к постели. Болезнь может тянуться три недели. Не нужно, чтобы рана была серьезна. Дарио сделал движение, что уменьшило силу удара, нож лишь скользнул по лопатке. Между тем, дело о разводе идет успешно. Бенедетта то и дело весело повторяет: «Выздоравливай, скоро мы будем принадлежать друг другу». И однажды, быть может, ее исследует еще один врач, чье решение может сыграть большую роль. Обо всем этом она спокойно рассказывает в присутствии Пьера. Все это—пока Дарио выздоравливает. Таким образом, всю следующую главу я смогу [8] посвятить исключительно Пьеру. Дон Виджилио и Викторина проходят через всю главу, или, скорей, я дам их в начале и в конце ее. Не забывать о том, что расторжение брака стоит денег. На этот раз Бенедетта раздобыла нужную сумму.

Ничего относительно развода не оставлять для другой главы,—она будет посвящена только хлопотам Пьера по поводу своей книги. В этой главе я дам описание набережных Тибра; Пьер часто там гуляет. Вид на дворец Бокканера со стороны реки, наполовину провалившийся в землю балкон. Напротив, на высоком берегу, старая часть Трастевере. Незаконченная набережная. Мертвая река,—на ее поверхности не видно и лодки,— столь же разоренная, как и окружающие ее развалины. Дать весь отрывок. Сколько здесь, по существу, богатств, если бы осушить реку! Одним словом, все размышления, которые вызывает у Пьера пейзаж. Хорошо бы, если бы это следовало непосредственно [9] за выводом: «Ни народа, ни аристократии».

И опять Рим, мертвая река, безмолвие смерти, нависшее над городом. Какая странная современная столица! Обдумать, поместить ли тут отрывок целиком или дать выводы в конце вместе с Орландо. Мне кажется, что здесь нужно все лишь наметить и вернуться к этому в конце, причем окрасить все это надеждой. Рим, выбор Рима—гиря на ногах Италии. Нельзя было не делать Рима, с его историей и прошлой славой, столицей. Но именно эта прошлая слава и подавляет всю Италию; и не только в силу уничтожающего сравнения: времена изменились, крупная современная столица должна быть центром, подобно Милану, оплетенному сетью железных дорог, вокруг которого расстилаются плодородные поля, где кипит коммерческая и промышленная жизнь; а здесь—смерть, нечем прокормить народ. Мертвый Тибр.

Можно ли сделать Тибр судоходным, [10] очистив от песков устье, а землю плодородной путем облесения? Все это очень сжато и, вместе с тем, полно. Я оставляю описание набережной ночью для следующих глав. Огни отражаются в мертвой воде. Пьер, отчаявшийся и измученный, бродит по набережным.

Нужно, чтобы в ходе главы Пьер или, пожалуй, Бенедетта узнали истинную причину покушения на Дарио; удар в спину, который нанес Тото; что его к этому побудило. В конце главы Пьер в парке, около саркофага.

4 ДЕКАБРЯ. ГЛАВА XIV

ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

[1] Аудиенция у папы. Пьера приняли вечером, в 8—9 часов; пожалуй, лучше в девять. Не забывать о том, в каком состоянии должен быть Пьер: Дарио и Бенедетта скончались около пяти часов. Пьер остался около усопших, тела которых нельзя было разъединить (отложить это для следующей главы, затруднения). Совершенно подавленный, он поднялся к себе. Викторина подала ему обед. Пьер даже не помнит, съел ли он что-либо. Его размышления. Затем он идет на аудиенцию. У Нани было назначено свидание с папой, но мне не хотелось бы, чтобы Нани присутствовал на аудиенции. Он остается в стороне. Паролем для входа во дворец должно служить имя какого-нибудь лакея (только не Кюистра, найти что-нибудь в этом роде). Пьер тихонько произносит пароль перед караулом швейцарцев [2] у бронзовых дверей; он пересекает двор св. Дамаса и снова повторяет пароль жандарму, стоящему внизу лестницы, и, наконец, еще раз произносит его в большом зале Клементины. Здесь только идут за названным лицом. Последний ведет Пьера через пустые залы в апартаменты папы. Так получится неплохо: на протяжении всей главы у меня будут лишь Пьер и папа, без посредников.

Итак, Пьер на площади св. Петра. Время еще не подошло к девяти часам, и Пьер поджидает на площади. Площадь вечером. Этот отрывок у меня есть. Пьер предается размышлениям. Смерть Дарио и Бенедетты в связи с его книгой. Эта смерть преисполняет его еще большей жалостью, еще большей отзывчивостью ко всем человеческим страданиям. Пьер близок к слезам. Быть может, он расплачется в присутствии папы: такой порыв чувствительности был бы, пожалуй, неплох.

Затем бронзовая дверь и швейцарцы [3], лестница во дворе св. Дамаса, двор и вестибюль, опять лестница, наконец, апартаменты папы. И всюду торжественное безмолвие и пустота. Пьера ведут через анфиладу комнат,— дать описание,—полных молчания, безлюдных, тонущих во мраке. Лакей весь в черном не произносит ни одного звука, объясняется знаками. Быть может, он скажет лишь одно слово: «Пойдемте», или несколько других итальянских слов.

Наконец, опочивальня папы. Папа сидит за столом, в руках у него может быть стакан с сахарной водой, которую он медленно помешивает ложечкой. Пьер хочет поцеловать папскую туфлю, но папа тут же его поднимает. Портрет папы, его одежда, поношенная и не совсем свежая. Необходимо все это оживить. Первое впечатление самое обыденное, и только потом поднять все это. Папа, однако, не сразу усаживает Пьера на скамеечку. Беседа [4] построена строго логично. Папа заговорит

первым. Пьер очень взволнован, он понимает, какое решающее значение имеет для него этот разговор. Сначала папа отеческим тоном задает Пьеру несколько вопросов—о нем лично, его возрасте, духовной карьере (службе); расспрашивает о Франции и Париже. Затем говорит о книге Пьера, по крайней мере, половину ее он прочел. Сначала останавливается на тех местах книги, за которые обвиняют автора, а затем переходит к другим. Спор будет касаться светской власти папы и святых отцов в Лурде, причем ведется он крайне осторожно, так как не надо забывать, что папа охотно говорит, но мало слушает. Нужно сказать, правда, что здесь случай особый. Папа защищает светскую власть церкви, от которой он не в силах отказаться, затем он говорит о Лурде, о догматах: долг повелевает защитить их, он никогда от них не отступится. И тут нужно, чтобы слова папы захватили Пьера, он [5] увлечен, говорит, что все это лишь мечта: новое христианство, которое трудилось бы на благо общества; возрождение первоначальной церкви, религии бедняков и страдальцев. Пьер разражается слезами. Растроганный его слезами, папа, хотевший было прервать его, дает ему говорить. Речь Пьера. Пьер еще весь потрясен смертью Бенедетты и Дарио. Необходимо, чтобы это проявилось. Однако, после этой вспышки наступает разочарование. Пьер удивлен своей откровенностью, а папа снова начинает защищать догмы и светскую власть церкви. Каким образом слова папы приводят Пьера окончательно в себя. Наступает реакция: Пьер вспоминает о Риме, который он наблюдает вот уже два месяца, о населении Ватикана, о всех его действиях и [6] только тут понимает все безумие своей мечты: за этой бронзовой дверью все еще царит XV век. Тяжкое бремя традиций, подобно цепи, сковывает папу по рукам и ногам. Он может быть лишь первосвященником, цезарем, потомком Августа. Все это его связывает и держит. Все его уступки делаются лишь для формы или преследуют политические цели. По сути, католицизм—попрежнему неприступная крепость, его нужно брать таким, какой он есть, он не станет склоняться перед мелочами. И, таким образом, привести к тому, что Пьер отрекается от своей книги. На другой день папа должен утвердить включение книги Пьера в Индекс запрещенных книг. Пьер заранее подчиняется решению. Латинская формула: «Laudabiliter reprobavit...». Какая ирония: ведь Пьер уступает лишь потому, что он понял всю бесполезность своей мечты. Стоит ли показать здесь страх папы перед схизмой. [7] Пожалуй, стоит, это даст возможность охарактеризовать всю политику папы; рассказать о конгрессе всех религиозных течений, к которому он примкнул, о веротерпимости его в Америке, борьбе за объединение всех сект на Востоке и в Англии. Папа уже унифицировал обряды—повсюду предписывается римская обрядность. Его задача—объединить все силы церкви для грядущей борьбы; охарактеризовать церковную пропаганду. Затруднения папы; суммы, пожертвованные школам. Неустанная, тянущаяся веками борьба за всемирное владычество церкви. Папа иначе действовать не может, и Пьер это прекрасно понимает. Вот почему он отрекается от своей книги. Итак, дать историю Льва XIII в этом освещении. Необходимость светской власти церкви; потомок Августа; завоевание мира. Все остальное [8]—ложь. Социализм, заигрывание с Францией—все это лишь дипломатия, путь к победе.

Папа-социалист и император-социалист ведут борьбу за народ, за великого немого. Это меня наводит на мысль о том, что папа должен пред-

варительно беседовать с де Ла Шу относительно замкнутых корпораций. Его соображения на этот счет.

В общем дать все то, что мог бы сказать папа, и охарактеризовать его самого. Итальянский священник, первосвященник, бывший нунций[31]. Умный (хотя Дэзу уверяет, что нет). Он видел свет только, пока занимал должность нунция в Брюсселе. С тех пор, вот уже восемнадцать лет, как он живет взаперти, оторванный от людей, представление о них ему дают лишь окружающие. Отсюда столь извращенные понятия и представления. Как может он судить о современном обществе. Им, главным образом, руководит интуиция, ему кажется, [9] что церкви грозит опасность (отпадение, схизма), и все это в голове политика (человека более рассудочного, чем чувствительного). Но прежде всего он служитель бога—папа. Нужно, чтобы он говорил именно с этой точки зрения. Его отношение к Франции. Сначала он как будто хотел опереться на Германию, но после посещения императором Берна он склоняется к Франции. Тщеславный, обожает лесть, единственная его забота—оставить после себя память, как о великом папе. Чутко прислушивается к прессе, читает газеты («Трибуна», «Фигаро», «Дебаты») и придает некоторым статьям значение, которого они не заслуживают. Последнее проистекает оттого, что в глубине своей тюрьмы он плохо осведомлен, утерял ясное представление о современном обществе. Около стакана с сахарной водой может лежать газета. Папа оторвался от чтения, когда пришел Пьер; описание праздника, бывшего накануне [10], или же сообщение о смерти Дарио и Бенедетты. В газетах уже может быть объявление о смерти. Он заговорит об этом, упомянет также о кардинале Бокканера, камерлинге[32], который должен три раза стукнуть его молотком (вспоминает, как он сам три раза ударил молотком по голове усопшего Пия IX[33]). В газетах пишут также об его здоровье: он поправился, чувствует себя лучше. Сказать об этом. Однако, в его возрасте, при каждом недомогании ему приходит на ум кардинал-камерлинг. И мысль о конклаве[34]: папа назначил Бокканера камерлингом, чтобы отстранить его, подобно тому, как Пий IX в свое время назначил камерлингом его самого. Правда, это ничего не изменило, но, с другой стороны, маловероятно, чтобы два раза подряд камерлинга избирали папой. Мне хочется, чтобы папа на мгновение поднялся и подошел к окну. Выйдет это или нет; [11] мне бы хотелось, во всяком случае, дать описание Рима сверху. Не забывать о том, что шторы обычно бывают спущены. Таким образом, окно может оказаться открытым только по недосмотру. Если Пьеру придется некоторое время ожидать в потайной передней, он может подойти к окну и увидеть Рим ночью. Но вот аудиенция пришла к концу. Пьер, совершенно разбитый, уходит пятясь, спиной к двери. И вот он снова на площади св. Петра. Бьет десять часов. Размышления Пьера на безлюдной площади; площадь погружена во мрак, тишину прерывает лишь плеск воды в фонтанах; на фоне звездного неба вздымается темная громада собора. Мечта Пьера вырвана с корнем, все кончено, еще одно верование похоронено. Все это лишь наметить, так как я вернусь к этому в последней главе. Пьер приехал в Рим, чтобы проделать свой опыт, [12] но его постигла неудача. Вот этот опыт—может ли возродиться христианство, как религия демократии. Вера, к которой стремится современное общество, надеясь найти в ней успокоение. В ней ли лекарство от всех наших стремлений и тревог? Нужно, чтобы эта проблема совершенно четко была поставлена уже в первой главе.

АВТОГРАФ КРАТКОГО „ПЛАНА“ ПЯТОЙ КНИГИ РОМАНА ЗОЛЯ „ПАРИЖ“

Библиотека Межан в Экс-Прованском, Франция

Текст двух аналитических «планов» к «Парижу»:

КНИГА ТРЕТЬЯ. ГЛАВА IV

ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

[294] Послеобеденный час того же дня. Пьер и Гильом отправляются в Булонский лес. Гильом увлечен мыслью о большой прогулке, ему не терпится быть на воле, на открытом воздухе; к тому же, опасности нет никакой, так как о нем никто не думает. Дело Бартеса. Гильом возмущен тем, что его вновь изгнали. 48 часов отсрочки, а Пьер не решается сказать об этом старику, удалившемуся к себе, живущему, точно в пустыне. Они уведомят Морена; Морен отвозит Бартеса до границы, но лишь в следующей главе. Они с грустью говорят об этом в краткой беседе. Пасмурный день. Ночью шел дождь, небо осталось серым, предвидится снова ливень. Описать лес в этот пасмурный день в конце марта. Листья едва начинают распускаться. Братья вошли в лес через ворота Нейльи (узкие, крытые), прошли по Мадридской дороге к воротам Майо, затем вышли на Лоншанскую аллею (акации) (народ, масляница), там они спустились немного [295] к озерам и уселись в чаще у ручья, который течет от ворот Майо в бассейн Каскада. И тут они видят Сальва—грязного до неузнаваемости; он переходит ручей, а за ним следом сторожа и полицейские. Мондезир, Гасконь, Дюпо. Несколько негодяев. Облава в лесу. Два часа. Кадр светского Парижа.

Вернуться к Сальва, все о Сальва: пальто, фуражка. Бросился в лес, ночью. Переждали дождь и утром возобновили облаву. Полицейские, сторожа (хорошо знакомые с лесом). Но они никого не находят. Как

Сальва бежал вдоль укреплений, прошел ворота Дофина и возле самого жандармского управления зарылся в яму, наполненную листьями, выставив наружу одну лишь голову; он даже слышал шум, доносящийся оттуда, по другую сторону вала. Итак, до полудня его не нашли. Голод заставил его выйти, [296] и сперва, никем не замеченный, он переходит лужайку Мюэтты в надежде убежать через Булонские ворота — он знает там какую-то лазейку. Но он встречает препятствие на авеню Сен-Клу и тогда бросается в чащу, натыкается на полицейских с авеню королевы Маргариты, устремляется к выходу через Мадридские ворота, вдоль берега, избегая открытых пространств ипподрома и тренировочного круга; попадает в гущу акаций, и здесь-то его замечают Пьер и Гильом в тот момент, когда он переходит ручей. Он продолжает путь, вспомнив об острове, круто поворачивает в конце озер и прячется в маленьком кафе на том же месте, откуда вышел, описав огромный круг. Четверть третьего. Тут след его затерялся, но теперь он вновь обнаружен. Должно быть, напали на след, возобновив погоню в направлении ворот Майо и укреплений. Они возвращаются. Пьер и Гильом продолжают путь, прогуливаясь вокруг нижних озер. [297] Они спускаются, проходят между нижними и верхними озерами к перекрестку Каскадов. Затем поднимаются вдоль верхнего озера, когда их застигает проливной дождь и им приходит мысль укрыться в кафе, среди деревьев. Они видят в одной из аллей одинокого извозчика и входят в кафе. Описать шале для действия. Внизу—зал, над ним нечто вроде веранды. Наверху—кабинеты, выходящие в коридор. Сзади—службы, конюшня и сарай, небольшой навес и закрытое помещение, где хранятся различные принадлежности. Впереди них Пьер узнал Жерара, входившего в кафе, и удивился, не видя его там. Жерар быстро поднялся в кабинет, где уже находилась Ева. Надо также, чтобы Пьер и Гильом опять увидели возле кафе сторожей, которые возвратились, напав на след. Преследование продолжается. Братья усаживаются, [298] они еще не встревожены. И сцена наверху. Три часа, свидание в кабинете; дать описание. Газовая печь, которая быстро нагревает. Они могли бывать здесь в первую зиму своей любви, в начале весны. Приятные воспоминания Евы. Поэтичная идея расставания в этом маленьком скрытом от глаз шале, где посетители бывают только летом. Пустыня рядом с оживлением, царящим в лесу, в соседней аллее. Экипажи, велосипеды и пр. И сейчас же сцена, тяжелое и ужасное объяснение. Ева с рыданием бросается в объятия Жерара. Она хотела держаться с достоинством, говорить спокойно, объясниться с ним, но не может. Безудержный порыв, страдание плоти. Незлая женщина, но все существо ее истекает кровью. Она рыдает, она так громко вопит, что он заставляет ее молчать, боясь как бы не услыхали. Все это молниеносно, [299] в самом начале. Он сам пришел, вооруженный прекрасными доводами, вынуждавшими его решиться на женитьбу, хотел говорить, убедить ее, но увлекся, взволнован, плачет. Он также неплохой человек. «Нет, нет, ты не можешь на ней жениться, я не хочу, я так страдаю», и мучительный крик: «Поклянись мне, что не женишься на ней никогда, никогда. Она! Моя дочь — твоя жена! О, какая мука для меня!». И молодость девушки, и ревность, которая говорит в этой женщине. Впрочем, она никогда не даст своего согласия. Он сам начинает колебаться, не говорит больше, что решил формально жениться, пытается ее успокоить, клянется, что любит только ее одну, что поддался чувству жалости, что он еще подумает. А когда

Ева немного успокаивается, он начинает приводить доводы морального порядка: как же так, он не может жениться [300] на ее дочери, это было бы равносильно смерти, это недостойно его, деньги, имя, свет. Она защищает мужчину, чтобы сохранить его для себя. И тогда ему становится неловко, он соглашается с нею, объявляет, что не женится на Камилле. Тут сцена принимает другой оборот. Ева, разбитая своей победой, несчастная, прекрасно понимает, что так продолжаться не может. Все это— одни лишь слова и слезы. Жизнь идет своим чередом, неизбежное совершится. И вот постепенно она сама начинает приводить доводы в пользу брака. Она не может решать судьбу Жерара. Она не может принести ему никакой пользы, не может быть его прибежищем, не может из эгоизма испортить ему жизнь. Если она привяжется к нему, она погубит его жизнь, так как для него пришло время устроиться. Между тем, брак с Камиллой даст ему деньги и положение, обеспеченную, счастливую жизнь. Привести ее таким образом к героизму, к жертве; [301] почти силой принуждая его жениться на своей дочери, она принесет себя в жертву, женит его. А он долго противится этому. «Подумай и соглашайся». «Нет, я люблю тебя (снова слезы), одну тебя». «Ах, дорогой друг». «Ну, хорошо, не будем порывать, оставим себе время до лета» (нежно). Наконец, сообщить, что брак состоялся, но они некоторое время еще продолжают быть в связи. Хотя теперь это было бы гадко! Урегулировать. Свадьба будет лишь в пятой книжке. Выиграть время для возбуждения интереса или же закончить тут же, это последнее их свидание, они чувствуют, но не хотят в этом сознаться. Они надеются на другие встречи—оба они очень хорошие люди. Не хотят причинять друг другу горя. К концу сцены—ужас, шум, шаги, удары. Боясь холостой квартиры, они избрали это шале. Страх перед Камиллой. Кажется, что-то грозит им. Шале окружено полицией. [302] Внизу Пьер и Гильом заметили возвратившихся полицейских, которые кружат вокруг шале. Мысль об облаве, затем беспокойство за самих себя. В это самое время Розамунда с Гиацинтом подъезжают в открытой коляске, которая останавливается перед кафе. Дождь. Описать их ночь. Она оставила его у себя, победила его ударами хлыста, собирается увезти в Христианию. Он немного опешил от своей удачи, охотно поедет в Норвегию, потому что это шикарно. Фиорды. У него маленькое красное пятнышко у левого глаза. Она хотела поехать с ним на велосипеде, но он не захотел из-за дождя. Велосипед—как неэстетично! Его взгляд на женщину, ребенка, он гадкий человек. Она также. Что они делают, бесплодны. Розамунда узнает Пьера, приближается и тогда угадывает, что другой Гильом. Гиацинт может знать Гильома через сыновей последнего. «О, милостивый государь, я так преклоняюсь перед вами. Вы знаете, ведь я немного занимаюсь [303] химией (теперь поэзией). Я приду к вам». Разговор может коснуться Янсена. Любопытство к космополитическому миру, анархистам; затем вскользь упоминает о своем отъезде в Христианию. Затем шале окружается прибывшей полицией. Жизнь Булонского леса, пасмурный день, великий пост. Портреты—комиссар Дюпо появляется с Гасконем и Мондезиром. Полицейские, сторожа окружают дом. Они убеждены, что Сальва укрывается в доме. Обыскали безуспешно сарай под навесом, конюшню. Комиссар, войдя в зал и бросив взгляд на обедающих, не обращает на них больше внимания. Требует, чтобы открыли весь дом. Один из лакеев: «Дело в том, что наверху дама с господином». «Посмотрим, ладно». Они поднимаются. Шум. И Жерар спускается

с Евой, закрывшей лицо густой вуалеткой; они быстро убегают, [304] Жерар смотрит по сторонам, замечает Гиацинта, боится, как бы тот не проболтался (болтун, все рассказывает сестре). Розамунда: «Скажите, пожалуйста, ведь это г-н де Гиссак. А дама кто?». Гиацинт узнал свою мать, Пьер также. Но Гиацинт отвечает что-то неопределенное. Тут один из сержантов кричит, что поймал человека, плохо обыскали сарай. Наверху, в бочке с сеном. Выходит Сальва—жалкий призрак. Охота, загнанный, выбившийся из сил зверь. Его фуражка, пальто, которое ему одолжил Матис. Исхудалый, землистого цвета, голодный, в лохмотьях, промокший от дождя. Ночь в яме с листьями, вымок от дождя. По щиколотку в канаве, два часа облавы, бешеного бега. Отвратительный ком грязи. Особенно напирать на эту охоту на человека. Первое его слово: «Я голоден». Он не ел двое суток. Желудок его был пуст, еще когда Матис угостил его пивом. С тех пор [305] два дня—ничего, кроме этого стакана пива. Сцена с Дюпо, Гасконем и Мондезиром. Один из полицейских бежит за фиакром. Только Пьер и Гильом узнают Сальва. Остальные—Розамунда, Гиацинт могут думать, что он просто злоумышленник. Арест должен совершиться незаметно, в этом маленьком заброшенном кафе. Никто ничего не заметил. Парижский свет. Обычно полный жизни лес, в большой аллее рядом. Теперь великий пост и пасмурный день—в лесу пусто, благодаря этому облава прошла незамеченной.

Гильом и Пьер потрясены, глубоко опечалены, узнав Сальва; они смотрят, как он с жадностью ест хлеб. Взгляд, брошенный им на Гильома, очень бледный взгляд, преисполненный почтительной нежности и обещающий ненарушимое молчание. Сначала он удивлен, поглощает хлеб. Затем—взгляд благодарной собаки. Никогда он не станет говорить. Его увозит фиакр.

КНИГА ПЯТАЯ. ГЛАВА I

ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Казнь анархиста на рассвете. Холодно. Гильом захотел привести сюда Пьера. Все, кого я мог бы здесь ввести в действие. Упоминание о парижской нищете (здесь или в другой главе). Затем труд, пробуждающийся Париж выходит на работу (начало «Западни»). Гильом обдумывает покушение. Идея труда у Пьера.

Гильом хочет присутствовать на казни Сальва и берет с собой Пьера, который ночевал на Монмартре. День казни, рассвет. Они уходят из дома около двух часов. Прекрасная ночь. Первый майский день. Полная луна. Залитый лунным светом, перед ними встает Сакре-Кёр, имеющий очень внушительный вид на фоне заснувшего в лунном сиянии Парижа. Ночь, когда восход солнца явится сигналом для смерти человека. Уснувший, истомленный, терпимый ко всему Париж. Вид Парижа, особенно Сакре-Кёр, заметки. О чем говорит Пьер Гильому, когда они останавливаются на холме и глядят на Париж и Сакре-Кёр. Их дальнейший путь. Описание их пути. Психология того и другого, чувства, с какими каждый из них идет смотреть на казнь. Гильом молчалив, он охвачен трепетом, он уже во власти своей навязчивой идеи; Пьер немного встревожен за брата, но полон жалости к Сальва. Солнце еще не взошло, метельщики, тряпичники. Довольно холодная ночь в начале мая. Вновь описание нищеты, объясняющей возмущение, ужас покушения (пожалуй, немного дальше). Здесь же все нищенское и страждущее, что порождает парижская ночь.

Далее я покажу, в виде контраста, ночной веселящийся Париж, который Пьер видел в вечер покушения. Здесь только перечисление; люди, ночующие на улице, на скамьях, покинутые дети, выброшенные на улицу, проститутки, усталые, уснувшие (продолжение или конец «Кабинета ужасов»).

Возвращение домой светских кутил. Разъезд из клубов, подозрительных домов, возвращение украдкой женщины. Для этого надо изобразить богатый квартал. Темные улицы, газовые рожки, появляющийся в окнах свет. Час работы еще не наступил, но приближается.

Не забыть далее, что Пьер посещал по делам благотворительности Шаронский квартал, который ему хорошо знаком. Аббат Роз. Пьер проходит с братом по этому кварталу; воспоминания, связанные с ним, факты. Он может снова встретиться с несколькими бедняками. Несчастный, которому они помогли выбиться, снова впавший в нищету; спасенная ими девочка, вернувшаяся к проституции. Целое семейство, покончившее с жизнью самоубийством. Смехотворная, бесполезная благотворительность. Главный упор сделать на рабочий квартал, еще не проснувшийся. Описываемый в этот момент квартал служит, естественно, рамкой для гильотины.

Они пришли на Рокетскую площадь и направились к углу улицы Мерлина, где винный погребок, к дому, откуда лучше всего видно. Здесь может жить Меж. Пьер знает этот дом, он знает, что только отсюда можно увидеть казнь. Не следует, однако, чтобы он поднимался в квартиру Межа, у которого окна закрыты (придумать). Но тотчас же описание рабочего квартала (посмотреть заметки), где воздвигнута гильотина. Тотчас же квартал, топография и характер. Труд, заводы еще не пробудились. Затем совершенно особая толпа посетителей казней, светский Париж, мошенники; в ожидании закусывают, смеются. Люди на деревьях, на крышах. Ничего не видно, дома в отдалении. Едва виднеется гильотина под низкорослыми платанами. Приглашенные на Малой Рокетской площади (Сильвиана в отчаяньи, что она не в их числе).

Сильвиана с Дютейлем после ужина в отдельном кабинете представят светский Париж. На ужине был Дювильяр и другие; и она, внезапная прихоть явиться сюда. Почему не хотел этого Дювильяр. Ее привел Дютейль. Это позволит мне, помимо свадьбы Камиллы и Жерара, срок которой у меня назначен, упомянуть о дебюте во «Французской комедии», предстоящем в этот самый вечер. Министр Монферран действует, Довернь очень мил. Затем разговор о Сальва, симпатия к нему, заботы о нем Селины, подробности и пр. Давка в винном погребке. Розамунды нет, мне хочется ввести ее в самом конце—она ничего не видела, она в отчаянии. И здесь, или немного дальше, перед казнью, гильотина в квартале бедноты. Ее не воздвигают в богатом квартале, где она не имела бы никакого значения. Но здесь, в рабочем и бедном квартале, она служит угрозой и развязкой. Нищета, страдание приводят к ней, она держит в повиновении нищих и страждущих, всегда готовых к возмущению. Надо, чтобы нож гильотины, с грохотом падающий среди тишины, служил символом. Итак, казнь.

Появляется Массо, в связи с его приходом может произойти разговор Сильвианы и Дютейля. Появление Розамунды; он видит, как она подъехала, ее коляска не может продвинуться вперед. Наконец, Массо помогает Гильому и Пьеру пройти оцепленное солдатами пространство. Он узнал Пьера, улыбается ему, нисколько не удивлен, видя его без рясы. Каким образом он помогает им пройти, выдав их за журналистов знакомому

полицейскому. «А я?»—просит Сильвиана.—«О нет!». И она остается с Дютейлем в погребке. Приглашенные на Малую Рокетскую площадь. Проходя, братья узнают в первом ряду в толпе, рядом с солдатом, Матиса. Меж, закрытые окна.

Пьер и Гильом посреди обширного пустого пространства. Они приближаются, слушают. Описание гильотины—она низкая; барьер, с помощью которого сдерживают несколько лиц: журналистов, любопытных и других. Описание площади в этот предрассветный час. Я хочу дать описание рабочего квартала, заводы просыпаются, над трубами появляется дым. Гильотина в этом квартале нищеты и труда.

Пьер и Гильом ждут. Их чувства и ощущения. У Гильома продолжается гнев, заражающее действие. Массо вошел в тюрьму; выйдя оттуда, он сообщает сведения о Сальва—пробуждение и т. д. Священник. Он говорит также о том, что предшествовало. Селина. Г-жа Теодор. Помилование и т. д. Нищета заставила бросить бомбу и привела этого человека к казни.

И, наконец, утро и смерть Сальва. Его прибытие (модистка обязательно), как он умирает, его мечта. Его мужество, мученик, воодушевляющая его вера. Возглас: «Да здравствует анархия!». Он оглядывается кругом—нет ли тут кого-нибудь из товарищей—и последний взгляд бросает на Гильома, узнав его. Решающее значение этого взгляда, что читает в нем Гильом, заражающее действие. Символический стук падающего в молчании ножа. Париж на рассвете, пробуждающийся, чтобы итти на работу, после бедственной ночи; занимающийся трудовой день; параллель к пятой главе первой книги, в которой показан Париж, зажигающийся ночными огнями радости и веселья.

Отсюда, до конца главы, Гильом весь во власти своей идеи, решил действовать, молчалив. Толпа расходится, братья и Массо машинально возвращаются на свои места. Матис все еще остается на своем месте (или стоит на виду сейчас, обменявшись несколькими словами с Межем). Массо, Розамунда, Дютейль, Сильвиана.

Розамунда в отчаянии, она опоздала; или оказалась с Дютейлем и Сильвианой. Она просила, чтобы ее представили, завязать интригу.

Посмотреть заметки о Меже. Гильом и Пьер остались одни. Они могут увидеть Межа, окна которого продолжают оставаться закрытыми. Его слова в заметках. И, может быть, только здесь показать Матиса. Окончить большим описанием Парижа, начинающего трудовой день. Вновь описать квартал, лавки, особенно шумные фабрики с поднимающимся из труб дымом. Толпа разошлась. Братья возвращаются через внешние бульвары; весь Париж, идущий на работу; рабочие и работницы. Подавленный Пьер все яснее сознает идею труда. Труд, несущий воздаяние и спасение, но сейчас несправедливый и тягостный.

Гильом молчалив, задумчив, весь во власти гнева, который приведет его к покушению.

В заключение Монмартр и торжествующий Сакре-Кёр, возвышающийся над залитым солнцем Парижем. И, глядя на него, Гильом решается.

VII. ДВА ЭТЮДА С НАТУРЫ К «ПАРИЖУ» И «ЛУРДУ»

Среди рукописных материалов Золя к роману «Париж» имеется очерк «Виды Парижа»—характерный для писателя-натуралиста этюд «с натуры». Такие художественно-фактографические этюды имеются для всех романов Золя из серии «Ругон-Маккары». Наиболее близок к печатаемому нами этюд к «Странице любви», под тем же названием «Виды

Парижа» (см. «Собрание сочинений Золя», под ред. М. Д. Эйхенгольца, ЗИФ, 1928, «Страница любви», 394—395).

К такой же категории живописных этюдов, хотя и не пейзажного типа, относятся опубликованные нами (op. cit.) очерки «Ночь на Центральном рынке» («Чрево Парижа»), «Публика» и «Париж вечером» («Творчество»), «Биржа» («Деньги»), «Париж. Отправление поезда 6.30» («Человек-зверь») и др.

Этюды-очерки «с натуры» показательны для художественного метода Золя. Обычно они многообразно используются писателем в характерных для него повторных описаниях. Пуантирование социально-философской темы романа происходит здесь путем включения в фактографическое описание «с натуры» эмоционально-метафорических образов. Точно так же использовал Золя и этюд «Виды Парижа» в начале и в конце романа «Париж», и в отдельных его местах. Опорные описательные образы этюда сохранены в романе (неподвижный, застойный туман в низинах... кровли возвышенных кварталов... и т. п.), причем эмоциональный мотив конца этюда органически сочетается в романе со всем описанием, которому придана социальная контрастность: с одной стороны—«кварталы нищеты и труда», с другой—«кварталы богатства и наслаждения». В результате, наряду с законченным декоративно-живописным этюдом «Виды Парижа», возникает символическая картина, в которой использованы лишь элементы рукописного описания.

По замыслу Золя, Париж, как мы видим, становится в романе социальным символом. Соответственно этому и само изображение города приобретает символический характер. Социальная топография Парижа (северная и восточная часть Парижа—город физического труда, юг, левый берег—труда умственного, центр и запад—средоточие страстей к наживе, сильных мира сего) отражается и в пейзажах. Очерк «Виды Парижа», послуживший материалом для соответствующих пейзажей романа, однако, отличается от последних,—они полны метафор и эмоционально окрашены соответственно теме романа.

АВТОГРАФ „ВИДОВ ПАРИЖА" ИЗ ЭТЮДОВ К РОМАНУ ЗОЛЯ „ПАРИЖ"

Библиотека Межан в Экс-Провансском, Франция

Так, при описании солнца над Парижем в романе «богатые городские кварталы утопают в бурой мгле, тогда как доброе семя сыплется густой золотой пылью на левый берег Сены и на восточные, густо населенные кварталы. Очевидно, там именно и должна взойти ожидаемая обильная жатва». Этот мотив повторяется у Золя в ряде концовок, что особенно для него показательно. «Солнце озаряет своими лучами несметную эскадру. Тут целые тысячи вызолоченных кораблей, отплывающих из парижского океана, дабы просветить и умиротворить землю». Заканчивается роман также символической картиной городского пейзажа Парижа, как гармонического целого: «В лучах солнца уже нельзя различить отдельных кварталов, социальные грани которых стирались»... Это картина «одной и той же нивы» и «братской гармонии» передает идеи Золя о социальном сотрудничестве, свойственные ему в эти годы.

Иной характер имеет очерк «Париж. Отправление Белого поезда» («Лурд»), который мы печатаем ниже. Этюд этот, несомненно, сделан в записной книжке писателя на основании непосредственных наблюдений; однако, в отличие от аналогичного этюда «Отправление поезда 6.30» («Человек-зверь»), внимание писателя сосредоточено здесь исключительно на сведениях и деталях технического характера (состав поезда, его устройство, посадка и размещение больных, обслуживающий персонал и т. п.), без какой-либо заботы о живописной стороне явлений. Главная же особенность очерка из «Человека-зверя»—наблюдения живописного характера: огни, дымы, шумы и т. п., вся новая эстетика железнодорожной индустрии.

Аналогичные информационно-технические этюды можно найти и в других романах Золя, хотя бы в том же романе «Человек-зверь», среди рукописных материалов которого имеется запись писателя «Мое путешествие» (на паровозе), или в «Жерминале»—описание спуска в шахту.

Анализ литературных приемов Золя на материале рукописных «планов» и этюдов писателя свидетельствует не только о наличии у него целостной системы художественного изображения, но и о том, что она органически связывается им с темами романов и служит для их раскрытия методами художественного мастерства.

Текст этюда к «Парижу»:

ВИДЫ ПАРИЖА

[106—109] Ненастный декабрьский полдень. Изборожденное легкими серыми облаками небо. Слабый солнечный свет, окутанный какой-то мутной дымкой. Круглое очертание необъятного горизонта, едва обозначенное в густом тумане, лишь угадывается. Весь запад погружен во мрак: горизонт исчезает—кругом сплошной туман, сквозь который вздымаются густые заводские дымы. По всей западной рабочей части города чувствуется, таким образом, дыхание заводов. К югу, и особенно к востоку, круглое очертание горизонта выделяется очень слабо, но отчетливо, и эта часть города лучше освещена. Однако, весь город как бы утопает в мелком пепле, в зыбком паре. В низинах этот пар неподвижный, как бы застойный, более белый и более освещенный; между тем как кровли возвышенных кварталов, крыши и, особенно, памятники выделяются, сырые и мрачные, как черный дым. Трините, дальше Опера—особенно заметны. Эйфелева башня, очень высокая, как привидение из черного кружева. Нотр-Дам, затем Пантеон, Сен-Сюльпис, колокольни св. Клотильды—теряются в тумане. Особенно характерны низины, полные стоячего тумана, молочного цвета, тогда как кровли и памятники чернеют на более светлом фоне. Париж поглощен, затерян в этом неведомом тумане; Париж мрачный, траурный, скрывающийся под таинственным покровом, наполовину исчезнувший в мерзостном и постыдном, которое он вмещает.

Текст этюда к «Лурду»:

ПАРИЖ. ОТПРАВЛЕНИЕ БЕЛОГО ПОЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА 1893 г.

[180] ОТЪЕЗД ИЗ ПАРИЖА

Белый поезд отправился из Парижа в понедельник, 21 августа, в 10 часов 29 минут. Поезд был очень длинен; он состоял из двух или трех вагонов первого класса, пяти или шести второго, все остальные были третьего класса—всего не меньше пятнадцати вагонов. Число больных составляло 379 человек, а здоровых—от четырехсот до пятисот. Таким образом, всего поезд увозил от восьмисот до девятисот человек. Посередине поезда помещался вагон-столовая, багажного совсем не было: отъезжающие имели право брать с собой только ручной багаж. Паровозы Орлеанской компании были прицеплены к концу поезда. На последнем вагоне, а также еще на двух или трех вагонах, отстоящих друг от друга на одинаковом расстоянии, развевался белый флаг с большим красным крестом, обозначающий цвет поезда. Снаружи на некоторых отделениях были прикреплены дощечки, указывающие, кому оставлены места; крупная цифра показывала число больных, [181] в редких случаях девять или восемь, обычно пять или четыре. Над цифрой было написано имя дамы—сестры милосердия, а над ней еще обычно фамилии двух сестер, сопровождающих больных. На некоторых вагонах перед дверцами отделений, на деревянной подножке, было просто мелом написано имя одной из сестер. Вот и все, что можно сказать о внешнем виде поезда. Внутри в вагоне третьего класса отделения разделялись довольно высокими перегородками, что, впрочем, совершенно не мешало свободной циркуляции воздуха. Потолок штучный, досчатый, окрашенный белой краской, сверкал чистотой. Больной мог сосчитать число дощечек от лампы до дверцы отделения. Каждое отделение освещалось лампой, вставленной в деревянную рамку. Боковые стенки, так же как потолок, штучные, а перегородки между отделениями были досчатые, окрашенные в желтый цвет. На скамейках лежали подушки, обшитые кожею. Однако, сами скамейки были довольно узкие; [182] утомление больных также вызывали перпендикулярно поставленные перегородки. От середины перегородки к потолку шла железная полоса, а над перегородкой имелись крюки, на которые можно было повесить вещи. Там уже висело немало вещей, не только верхнее платье и шляпы, но и дорожные мешки, корзинки, чемоданчики, повязки. Точно так же множество вещей стояло под скамейками, где было много пустого места (тазы, судна, чашки, резиновые трубки). Я видел также оцинкованные кувшины для воды. Итак, заполненное отделение представляло собой причудливую смесь из корзин, чемоданов, саквояжей, коробок, шляпных картонок, дорожных мешков и всевозможных пакетов. В большинстве своем все это было очень бедное, старое, кое-как починенное при помощи веревок. Вещи имели столь же плачевный, столь же страдальческий вид, как и их хозяева. Так как известно, что больных в пути кормить не полагается, [183] их обычно еще нагружают мешками с провизией. Наконец, как размещают самих больных. Тяжело больных, которые не владеют членами, кладут на матрацы, лицом к окну (в третьем классе в дверцы вагонов, так же как и в первом, вделаны стекла). Почти все лежачие больные одеты. Одни лежат вытянувшись во всю длину, другие сидят. Койки некоторых

больных подвешены к потолку на ремнях. Многие держат рядом с собой костыли, другие сидят, опираясь на подушки. Таким образом, даже в заполненных отделениях неравное число больных—их больше или меньше в соответствии с тем количеством мест, которые им должны предоставить. Мужчины, женщины, дети—все помещаются вместе. Внутри отделений больные размещаются по собственному усмотрению; [184] дамы—сестры милосердия или сестры лишь заранее заказывают для своих больных одно или несколько отделений. Вот почему на дверцах отделений, в знак того, что они заказаны заранее, висят дощечки, о которых я говорил выше. Эти дощечки остаются на все время путешествия. Священники также оставляют за собой одно отделение. На дощечке в этом случае написаны их имена и число едущих с ними паломников. Наконец, в некоторых отделениях снаружи на стекле наклеена полоса бумаги, на ней написано: «Дирекция». Такие отделения сестры оставляют за собой на обоих концах каждого вагона. Тут они на спиртовках варят кофе и пр. и распределяют все среди больных. Хотя они не обязаны кормить больных, им все же хочется их чем-нибудь побаловать, а уж если дать одному, тут же начинают просить и все остальные. [185] Словом, больница на колесах. Больные, словно дети: сестры следят за ними, слегка бранят и, вместе с тем, балуют. Святые отцы также оставляют за собой определенные отделения. Дамы—сестры милосердия едут также этим поездом, причем одни вместе со своими больными, а другие отдельно. К моменту отхода поезда белые флаги снимаются, их кладут в вагоны, так же как и все предметы, необходимые для переноски больных: ремни, носилки и т. д. Поезд дает свисток и отходит от платформы. При этом здесь не испытываешь того чувства радости и, вместе с тем, волнения, которое охватывает тебя в момент отхода поезда из Лурда. Больных я встретил очень немного. Ребенок на костылях, горбатый, искалеченный, с ужасной головой, свернутой набок, медленно шагал сквозь толпу, опираясь на свои деревяшки; у него был вид гнома. На носилках лежала женщина, огромный живот ее вздымался, как гора. Это была клиентка д-ра Астье, [186] элегантная дама, прекрасно одетая, в хорошем белье. Голова ее была прикрыта кружевом. Как-то удивительно беспомощно выделялись на парусиновых носилках ее затянутые в ботинки ноги; бедра сохраняли полную неподвижность, как у мертвой, а ступни дергались. Какое мучение очутиться вот так на носилках, стоящих на перроне среди глазеющей на вас толпы! Женщина еще ниже спустила кружево на лицо, глаза ее были полузакрыты. С большим трудом втиснули ее в вагон первого класса. Двое мужчин поддерживали голову, врач помогал им, поддерживая больную за ноги. Наконец, ее устроили на диване вагона, ее сопровождала какая-то особа, нечто вроде приживалки-приятельницы. В отделение никого не пускали. Больная страдала какой-то болезнью живота, а кроме того находилась в ужасном нервном состоянии. Ей задурили голову,—объяснил мне врач. Но мне сам врач показался, по меньшей мере, странным: он верит в благотворное влияние Лурда [187] на больных нервными болезнями. Говорил он мне и о волчанке: «Вот непонятный для меня случай». У него был пациент, коммивояжер, который делал прекрасные дела, неверующий. Врач наблюдал у него появление волчанки с самой первой стадии. Сначала это было раздражение сальной железы, затем появился один нарыв, и, наконец, все лицо покрылось язвами. Он безуспешно лечил его в течение долгого времени, затем тот побывал во всевозможных лечебных заведениях

ЖЕНТИ-БЕРНАР

Рисунок Андре Пюжо, 1760-е гг.

Эрмитаж, Ленинград

и, в конце концов, излечился меньше, чем в месяц, в Лурде. Теперь больной иначе, как лурдской богоматерью, не клянется. В чем же тут дело? Разве волчанка — болезнь нервного происхождения? Больной нисколько не был истеричным, неуравновешенным человеком. Что же произошло? Доктор ничего не понимает. Я в своей книге также приведу подобный случай излечения, совершенно непонятный для врачей (медицина не наука, а искусство, развить). Изучить это. Спокойствие сестер, всего этого мирка, который живет чудом, в ожидании чуда: «Подумать только, что женщина с огромным животом оставит все это [188] в Лурде». Они улыбаются, их ничто не поражает, они как бы живут в какой-то атмосфере чудес. И все это у них выходит удивительно просто, естественно. Некоторых больных ведут под руки. Все больные должны быть на вокзале за час до отхода поезда. Посадка происходит весьма организованно, без всякой суеты. Правда, при посадке в зеленый поезд я наблюдал ужасающую давку. Поток паломников беспорядочно, словно стадо баранов, заполнил зал ожидания, все толкались, давили друг друга. Тут было множество женщин, несколько священников, дети. Этот, так сказать, увеселительный поезд имел удивительно плачевный вид; быть может, этому содействовал унылый, изможденный вид людей, наполнявших его. Зеленый поезд заполняется, главным образом, жителями парижских пригородов и других городков департамента. К нему было прицеплено четыре или пять версальских вагонов и несколько вагонов из других городов. Точно так же в белом поезде [189] было несколько вагонов, оставленных, кажется, для пассажиров Амьена и Эвре. Наконец, нужно себе представить жизнь в вагоне во время тех двадцати двух часов, которые длится переезд. Больные усажены. В вагоне едет не меньше двух сестер и в каждом отделении одна дама — сестра милосердия. Дамы эти большей частью немолодые и некрасивые, одеты они в легкие ткани неярких цветов. Поезд отходит; в определенные часы поют хором; затем беседуют. Молятся, перебирая четки; смотрят в окна; отдают поклоны церквам, мимо которых проносится поезд. Ночью просят соблюдать тишину. Кстати, у меня есть точная программа всего этого, включая песнопения и молитвы. Порой в отделениях становится душно, плохо пахнет (раковые и желудочные больные, испражнения и т. д.). Окна не всегда можно открывать. Солнце палит нещадно. Слышатся жалобы. [190] Словом, больница на колесах. Сестры ухаживают за больными, утешают, обнадеживают их и, вместе с тем, поддерживают дисциплину. Больные, дети. Во всем этом, несмотря на бездну страданий, очень много чего-то по-детски наивного. Сколько нищеты и мук! Серые лица, серые одежды, груда жалких лохмотьев и изможденных, искалеченных тел. Одежда сестер из общины успения: черное платье, белый чепец с гладким того же цвета нагрудником, все это туго накрахмалено. На чепец накинута черная вуаль, из-под нее выглядывает лишь белый краешек чепца. За кожаный пояс заткнуто распятие. Зато, когда сестры надевают большие белые передники, закрывающие почти всю юбку, с широким красным крестом, вышитым на груди, и подвязывают белые нарукавники над локтями, [191] они просто ослепительны; сверкающие чистотой и опрятностью, живые, веселые, они словно освещают весь поезд; от них веет целомудрием и непорочностью.

Одежда святых отцов: черная ряса с пелериной и капюшоном. Плащ-пелерина на спине заострена книзу. Широкая пушистая шляпа (меховая). Почти у всех длинные бороды. Разумеется, когда кто-нибудь умирает

в Лурде, общество не берет на себя перевозки тела, оно доставляет обратно лишь живых. Перевозка тела из Лурда в Париж стоит от трехсот до четырехсот франков. Орлеанская компания берет у отцов убежища успения 40 франков за доставку больного туда и обратно. По крайней мере, такова официальная цифра. [192] Мне кажется, что существуют еще какие-то скидки. При отходе поезда продают маленькую книжонку «Паломничество к лурдской богоматери», а также раздают в вагонах нечто вроде проспекта, содержащего все необходимые сведения во время путешествия. Каждый проспект носит цвет того поезда, в котором его распространяют. Итак, каждый больной располагает проспектом с необходимыми ему по дороге справками. У каждого больного, едущего от общины, на шее, на ленточке цвета поезда, висит карточка. Таким образом, можно сейчас же узнать, из какого поезда больной, даже если он сам забыл это. Заплатив за больного 40 франков, дирекция записывает его фамилию, и он находится в ее ведении во время путешествия и пребывания в Лурде. Так как г-н Сабатье не хотел ехать на правах бедняка, он сам заплатил 40 франков, то-есть, по существу, оплатил свой проезд.

VIII. ФРАНЦУЗСКАЯ И РУССКАЯ КРИТИКА О «ТРЕХ ГОРОДАХ»

Современная Золя французская критика «Трех городов» отличается значительным разнообразием и страстностью. Обзор ее не входит в наши задачи. Мы коснемся лишь некоторых моментов, наиболее ярко подчеркивающих социальную функцию романов Золя.

Роман «Лурд» вызвал ожесточенную критику со стороны католических кругов, а также врачей, имевших то или иное отношение к лурдским «исцелениям». По поводу «Лурда» в короткое время было выпущено большое количество полемических книг и брошюр. Достаточно назвать следующие: аб. Жозеф Крестей, «„Лурд“ Золя, критика исторического романа», 1894; аб. Доменек, «Лурд, люди и дела», 1894; монсиньор Рикар, «Подлинная Бернадетта Лурдская», 1894; Феликс Лаказ, «За правду. В Лурде с Золя» (посвящено папе Льву XIII), 1894; Э. Дюплесси, «Золя и Лурд», 1894; Колен, «Что думает о романе Золя Анри Лассер, автор книги „Лурдская богоматерь“»; Можере, «Аббат Золя в Лурде (маскарад романиста)», 1894; д-р Буассари (директор медицинского бюро в Лурде), «Лурд после 1858 года и до наших дней», 1894; д-р Монкок, «Исчерпывающий ответ на „Лурд“ Золя», 1894, и др. Все упомянутые церковники, католические и медицинские деятели отнеслись к роману Золя, как к документальному произведению, и стремились опорочить, прежде всего, правдивость изложенных им фактов и событий.

В романе нашли место все руководящие мотивы и мысли «наброска». Золя считал, что видения Бернадетты явились результатом нервного возбуждения, подготовленного религиозным воспитанием и знакомством, хотя бы с голоса, со священными книгами; что «чудеса богоматери» были использованы с корыстными целями лурдским духовенством, а Бернадетта Субиру отстранена от ею же прославленного места «исцелений»; что «исцеления» эти, т. е. выздоровление известной части больных, страдающих от нервных болезней, легко объясняются с медицинской точки зрения. Если иметь все сказанное в виду, становится понятным характер полемики против Золя. Книга монсиньора Рикара в форме нескольких писем к Золя характерна для враждебной писателю литературы. Так, Рикар комментирует письмо членов муниципалитета Бартреса, опровергающих сведения Золя о детстве Бернадетты (знание священных книг—источник галлюцинаций), чтобы подтвердить реальность ее видений и действительность явлений богоматери; настаивает на наивной непосредственности Бернадетты и отсутствии про-

исков лурдского духовенства с целью удалить ее от места «чудес»—источника их доходов (нужно иметь в виду, что количество паломников в Лурд доходило до двухсот тысяч в год). Золя, воздерживавшийся от опровержения обвинений в искажении правды, все же ответил на письмо муниципалитета Бартреса, чтобы установить заинтересованность лурдских отцов и утилитарность всей кампании против его романа.

Но и высшее духовенство считало опасным «Лурд», и уже в сентябре 1894 г. роман Золя был осужден папской конгрегацией Индекса. Интересно, что это был первый роман Золя, включенный в список «запрещенных книг», от которых римская инквизиция предостерегала всех христиан под угрозой наказаний.

В связи с «Парижем» интересно коснуться высказываний части радикальной современной критики о романе Золя.

Нужно иметь в виду, что «Париж», как роман социальный, выделяется среди широкого потока французской литературы 90-х годов (Рони, «Обязательный. Революционные парижские нравы», 1887, и «Марк Фан», 1889; Ж. Ренар, «Обращение Андре Савенея», 1892; Поль Адан, «Тайна толп», 1893; Жеффруа, «Заключенный», 1898; Рогенан, «Муравейник», 1895; Ж. Клемансо, «Самые сильные», 1898; Эстонье, «Закваска», 1899, и др.). Естественно, поэтому, что в целом «Париж» не мог не встретить сочувственного отклика со стороны социалистической печати и деятелей того времени.

Но характерно, что даже Эжен Фурньер в реформистском «Социалистическом Обозрении» (март 1898 г.) подчеркивал умеренный характер идей Золя в этом романе, его эволюционизм, его «примиренческую теорию». Фурньер указывал, что конечную мысль автора Золя вложил в уста Бертеруа, так что «если правда и справедливость должны восторжествовать сами по себе, то нечего людям и вмешиваться в это дело... Заканчивается книга буржуазными образами Пьера, его жены и ребенка; конец как нельзя лучше характеризует эту теорию примиренчества... Доблестный работник Золя основательно расчистил социальный лес, но за его спиной снова вырос лес, еще более густой и непроходимый». В том же «Социалистическом Обозрении» (апрель 1898 г.) Фурньер в ответ на письмо к нему Золя писал, что «фаталистические теории Золя о механическом вечном прогрессе, устремление человечества к истине и справедливости гибельны».

Против неправильного восприятия у Золя политической деятельности социалистов и роли науки высказался в «Фонаре» (20 марта 1898 г.) Жорес, вообще старавшийся оправдать, смягчить реформистские идеи писателя. «Главная ошибка Золя,—писал он,—в том, что он неверно понимает роль науки. Конечно, мы согласны с ним, что наука—великая освободительная сила; она освобождает человека от социального рабства... Но ошибка Золя в том, что, по его мнению, наука, как таковая, без помощи воинствующей человеческой деятельности революционизирует социальный порядок. Да, создав новые средства производства, машинизацию, химию, наука делает возможными новые социальные формы; но она создает лишь возможности... Нет, для восстановления справедливости мало одного научного прогресса. Наука поможет только росту капитализма, если мы не разрушим его».

Отношение русской критики к «Трем городам» Золя представляет значительный интерес, особенно ввиду громадного успеха предшествующих произведений французского романиста в России. Популярность произведений Золя в России и сотрудничество его в «Вестнике Европы» (1875—1880) сыграли известную роль в признании таланта Золя и на Западе.

Первыми пропагандистами произведений Золя в России были представители либеральной буржуазной литературы—В. В. Чуйко, И. С. Тургенев, П. Д. Боборыкин, А. Н. Плещеев, С. А. Венгеров, А. М. Скабичевский и др. Но к началу 80-х годов благо-

желательное отношение к Золя, как к социальному писателю, со стороны этих кругов несколько изменилось, в связи с односторонне воспринятым романом «Нана» и разочарованием в теории и художественном методе натуралистического романа, приравненного к роману «физиологическому». Успех «Дамского счастья» в качестве романа социального сыграл большую роль в известной реабилитации Золя. Все же либеральная печать не могла забыть некоторых высказываний Золя об аполитичности литературы, а консервативная критика находила его произведения излишне радикальными.

Диференциация русской критики в 90-х годах сказалась на отношении к Золя «толстых» журналов. Помимо враждебных отзывов консервативных и реакционных кругов, наблюдались отрицательные оценки творчества французского писателя и со стороны либеральной буржуазной критики, поскольку она находилась под влиянием возродившегося идеализма.

Критик А. Б. [Богданович] из радикального «Мира Божьего» (июль 1898 г.), где подвизались легальные марксисты, с оговоркой ценит Золя, как «художника-наблюдателя», и отрицательно относится к его общественным идеалам. Хотя лучшими страницами романа «Париж» А. Б. считает «широкую картину современной архибуржуазной Франции», тем не менее, он упрекает Золя в «одностороннем освещении» именно образов буржуа, заключая, что Золя «при всем своем натурализме редко бывает реален». Он указывает на «преувеличения» в фигуре банкира Дювильяра, который «нарисован однотонно и слишком беспощадно и мрачно». Статья противоречива. Признавая виновность современной буржуазии в «унизительных преступлениях», критик все же предлагает соблюдать «историческую перспективу», указывая на «постепенное завоевание, какое делает справедливость в области социальных отношений». Вместе с тем, критик указывает, что сам Золя—чистейший образец буржуазного мыслителя, плоть от плоти той же буржуазии: «Насколько он увлекается, описывая темные стороны современного Парижа, настолько же смутно представляет себе и возможные перемены, которые поведут к водворению лучшего мира». И это, замечает критик, «лишает роман того глубокого общественного значения, какое он мог бы иметь, если бы автор сумел указать путь к столь восторженно приветствуемой им справедливости». Золя заканчивает «полным примирением со всем тем, против чего выступал вначале столь грозно и свирепо».

В народнически-либеральных «Книжках Недели», под редакцией В. Гайдебурова (октябрь 1894 г.), Л. Оболенский в статье «Роман о религии и науке» (о «Лурде») считает, что Золя напрасно берет на себя роль защитника науки, упрекая писателя в «узко-наивном понимании современного душевного кризиса». Критик считает закономерными «поправки к позитивизму» в духе признания «непознаваемого» и ссылается на Г. Спенсера и О. Конта (взгляды их к концу творческой деятельности). В этих словах Л. Оболенского чувствуется влияние возродившегося спиритуализма.

То же следует сказать о статье З. В. [Венгеровой] в либерально-буржуазном «Вестнике Европы». В отзыве о «Риме» (июнь 1896 г.) говорится об «интересной идее показать, как в современном человечестве живы религиозные чувства и как мало оно удовлетворяется существующими формами культа». Критик подчеркивает: «У Золя показано, что современное папство совершенно мертво», но, вместе с тем, писатель обнаружил, в целом, «одностороннее понимание жизни и игнорирование духовной ее стороны».

Либеральные тенденции журнала сказались и в оценке «Парижа» (статья З. В., апрель 1898 г.), где, как отмечает критик, Золя дал «безотрадную картину всеобщего растления нравов, но пришел к жизнерадостной проповеди труда и любви». Особенно подчеркивает критик у Золя искренность его идей, проверенную общественной деятельностью писателя (участием Золя в деле Дрейфуса в 1898 г.), так что «нет ни малейшего повода обвинять Золя в риторичности и напускной сентиментальности».

Для спиритуалистической реакции 90-х годов в России, соответствующей аналогичному движению во Франции, показательна обширная статья одного из идеологов идеализма, мистицизма и символизма, критика А. А. Волынского: «Два последних романа Золя— „Лурд", „Рим"» («Северный Вестник», 1896, № 9).

Волынский был не одинок. Наряду с ним действовали «богоискатели» из буржуазной интеллигенции—Д. Мережковский, Н. Бердяев и др., которые в контр-революционных целях русской буржуазии стремились оживить религию, поднять на нее спрос, выдумать особую «возвышенную» религию, чтобы тем самым по-новому укрепить ее в народе.

А. Волынский указывает в своей статье на огромный интерес этих произведений «одного из самых даровитых» французских писателей. Острие критики Волынского направлено не в сторону антиклерикальных мотивов Золя. Он пишет, что Золя «понял сложную систему сознательных фальсификаций, которой заинтересованные люди окружили это дело ради грубых денежных или узкопрофессиональных интересов католической церковности». Враждебность Волынского проявляется больше в отношении материалистического мировоззрения французского писателя, потому что «твердой рукой убежденного поборника эмпирического знания Золя по-своему разлагает все то, что есть в современном человеке мистического, неразгаданного, таинственного в идейном отношении».

По мнению Волынского, «натуралистическое созерцание жизни» привело Золя к тому, что его романы—собрание «мертвых фактов», при помощи которых он стремится доказать, что «в мире не случилось ничего нового» и что провозглашенное им философское мировоззрение «никем не расшатано». Волынский упрекает Золя за холодное упоение физиологическими деталями, за то, что «никакого другого, немедицинского, психологического анализа религиозных волнений общества вы у Золя не встретите». Золя, пишет критик, «крайне сузил свою художественную задачу», потому что «видит источник религиозного настроения, овладевшего массой, в неудовлетворительности современного политического и социального строя». Благодаря «упорству верного партизана отживающего позитивизма», Золя, как говорит Волынский, «изгнал из религии все метафизическое».

Явно отклоняя читателя от социальных проблем, которые лежат в основе романов Золя, Волынский упрекает его в «грубой физиологии, медицинско-полицейской точности, поверхностно-научном мышлении» и т. п. Вся статья написана в защиту «метафизического мышления», «религиозного чувства», «мистического экстаза», «ощущения божества», «духовной тайны» и т. п.

По мнению Волынского, у Золя не видно людей, а есть лишь «бесформенная груда человеческого мяса», «свиные и собачьи рыла, объятые предчувствием чуда». Лишь иногда, кажется Волынскому, Золя выходит из тесных рамок натуралистических описаний и научно-позитивных рассуждений (это относится к описанию развалин церкви Пейрамаля).

«Рим» интересует Волынского меньше, чем «Лурд». И здесь, анализируя взгляды Пьера Фромана, он выделяет не столько социальные мотивы Золя,—мысль, что в основе религиозного движения лежала социальная неудовлетворенность масс,—сколько борьбу его против светской власти папы. Социальные темы Золя Волынский называет «сухим идолопоклонством перед плохо понятой наукой и буржуазно-гражданственными стремлениями современной Европы». Волынский считает, что Золя «не справился с религиозными вопросами современности», и противопоставляет ему Достоевского, которого он превозносит в своей работе «Книга великого гнева».

Таким образом, основной задачей статьи Волынского было фиксировать внимание читателя на религиозно-спиритуалистическом движении на Западе и в России, для которого романы Золя из серии «Три города» представляли значительную опасность.

В чисто литературном плане, сторонник символистского движения, Волынский выступает против «холодного», «кричащего» натурализма Золя. По мнению Волынского, «грубое изображение в натуралистическом духе Золя предпочитает тонкой, почти неуловимой правде чисто психологических описаний». Вообще Волынский отрицательно относился к литературному реализму и натурализму, защищая, наряду с Мережковским, «внутреннюю жизнь». Свидетельством тому являются его «Литературные очерки» (СПб. 1896), направленные против всякого рода позитивизма в искусстве—против материализма Чернышевского, реалистического утилитаризма Писарева и т. д.

Естественно, что представитель русской эклектико-идеалистической академической науки, профессор Л. Шепелевич, касаясь в своих «Литературных очерках» («Наши современники», 1899) романов Золя, пишет о «Лурде», как о «философски неудовлетворительном изображении современной религиозной реакции на Западе, отвернувшейся от науки и даже презирающей ее».

И в реакционном «Русском Вестнике» (1898, № 5) критик в явно враждебном тоне передает читателям основную идею «Трех городов», говоря о духовном кризисе, который переживает Пьер Фроман: «Он не находит себе удовлетворения до тех пор, пока не решается отрешиться от всех прежних идеальных стремлений и основать свое благополучие исключительно на личном счастии, хотя бы и невысокого разбора». Слова эти относятся к заключительному аккорду биографии Пьера Фромана—его любви к Мари и к пропагандируемой им «религии будущего, основанной исключительно на вере в науку, любовь и труд», как формулирует сам критик. Реакционность критика явственно сказывается в словах его о том, что у Золя масса рабочего люда состоит исключительно из нуждающихся, «тогда как есть же и другие, и в гораздо большем числе,—те, которые кормятся своим трудом и живут в довольствии и сытости». Особенно возмущает критика, что у Золя «нет ни одного положительного типа в среде парламентских деятелей, банковых дельцов, золотой молодежи и дам высшего круга,—это тоже вредит правдивости впечатления». Здесь можно упомянуть и крайне враждебную заметку о «Трех городах» Максима Белинского в «Ежемесячных Сочинениях» (апрель 1900 г.). По мнению критика, в «Париже» Золя «примиряется с кровожадностью общественных убийц» и в результате «возвращает ее [душу] к тому же первобытному животному состоянию, из которого она рвалась, украсив только ее клетку позолотой мещанского счастья» (имеется в виду любовь Пьера к Мари). Вывод критика—«пошлость составляет, должно быть, органический элемент в творчестве Эмиля Золя».

Как и следовало предполагать, в полемике по поводу романа Золя из серии «Три города», особенно в связи с «Лурдом», активное участие приняли русские церковники. Представители православия, само собой разумеется, не столь были задеты романами Золя, как католическое духовенство, на что мы указывали выше. Больше того, они даже стремились антирелигиозные мотивы Золя, в силу специфической их антикатолической окраски, использовать для возвеличения православия. Беспокойство с их стороны вызвали затронутые у Золя общие вопросы христианской религии и церковно-священнической практики. Среди этих критических отзывов можно отметить статью С. Глаголева «Религиозный дальтонизм в изящной литературе» («Богословский Вестник», 1894, № 12), посвященную роману Золя «Лурд». Полемизируя с Золя, Глаголев стремится защитить мысль о том, что «религия не против науки». Наоборот, «совершенствование здесь при помощи науки для блаженства на небе»—вот истинная цель жизни. Под видом защиты науки Глаголев хочет подчинить научные знания религии.

Упомянем также книжку Ф. Белявского «Старая и новая вера («Лурд», «Рим», «Париж» Э. Золя)», СПб. 1900, визированную С.-Петербургским духовным цензурным комитетом.

Как и Глаголев, Белявский стремится доказать, что «католичество—не единственная форма религии в мире, и разочарование в нем не может вести непосредственно к отри-

цанию всякой религии». Характерно, что Белявский приводит примеры из современной французской литературы, свидетельствующие о пессимистических ее тенденциях на почве «бессилия науки» (творчество Бурже, Бодлэра, Верлэна, Барбе д'Оревильи, Гюисманса и др.), и ссылается, как на положительное явление, на Брюнетьера, идеолога спиритуалистической реакции.

Используя роман Золя для критики католицизма, Белявский приходит к выводу, что «только церковь владеет средством, спасающим человека от власти греха и постыдного бессилия воли». Говоря о церкви, автор подразумевает «церковь православную». Из критических работ Глаголева и Белявского ясно, что стрелы их были направлены против антирелигиозных идей Золя.

Анализ русских критических отзывов о серии романов Золя «Три города» с несомненностью позволяет установить отрицательное или ослабленное восприятие социального радикализма писателя, критической стороны его творчества, по меньшей мере, в романе «Париж». Произошло это, видимо, в связи с идеалистической реакцией 90-х годов в России.

Для самых различных представителей буржуазной критики, от либеральной до реакционной и от эстетствующей до церковнической, характерна враждебная оценка Золя, как выразителя антирелигиозного, естественно-научного, позитивного мировоззрения.

IX. ЦАРСКАЯ ЦЕНЗУРА О «ТРЕХ ГОРОДАХ»

Популярностью произведений Золя у русского читателя, начиная с 70-х годов, объясняется то, что романы из серии «Три города»—«Лурд», «Рим», «Париж»—стали переводиться на русский язык непосредственно по выходе их в свет во Франции и печатались в нескольких русских журналах. Это вызывало настороженное отношение к ним царской цензуры.

ОТНОШЕНИЕ МОСКОВСКОГО ЦЕНЗУРНОГО КОМИТЕТА В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ ОТ 14 МАРТА 1898 г. С СООБЩЕНИЕМ О ПРОИЗВЕДЕННЫХ ИЗЪЯТИЯХ ИЗ РОМАНА ЗОЛЯ „ПАРИЖ" В ПЕРЕВОДЕ МОСОЛОВОЙ

Ленинградское отделение Центрального исторического архива (ЛОЦИА)

Естественно, что, помимо социальной остроты некоторых мотивов романа «Париж», весь антирелигиозный характер серии должен был смущать защитников «православия, самодержавия и народности». Это и отразилось в цензурных делах о романах Золя.

Смягчающим, так сказать, обстоятельством было то, что цензура старалась, подобно критикам-церковникам, истолковать антирелигиозность Золя в некоторых случаях, как ограниченный антиклерикализм со специфическим антикатолическим уклоном, что не представлялось опасным для ревнителей православия. Вот почему «Рим»—роман, касавшийся папства, привлек, видимо, меньше внимания. Но «чудеса» христианской церкви, описанные в «Лурде», имея в виду аналогичные явления русской действительности—«чудотворные» мощи и иконы, не могли не вызвать запретительной рьяности цензуры.

24 августа 1894 г. Московский цензурный комитет направил в Главное управление по делам печати доклад о романе «Лурд» в переводе Е. Поливановой[35], который был отпечатан «бесцензурно». По сличении его с переводами «Лурда», вышедшими в свет в Петербурге как под предварительной цензурой, так и без цензуры, было обнаружено, что «в петербургских изданиях значительно сокращено все то, что, при общем стремлении Золя подорвать веру в чудеса, представляется особенно нецензурным в издании московском». В качестве примера указывается на «исповедь аббата Пьера, исполненную неверия в христианство и полнейшей веры в то, что анархисты расчищают путь для новой религии, основанной на разуме и науке».

На это отношение последовало сначала телеграфное распоряжение начальника Главного управления по делам печати М. Г. Феоктистова: «Роман «Лурд» следует задержать» (25 августа 1894 г.), а затем (27 августа) более подробное отношение: «Имею честь покорнейше просить ваше превосходительство предложить переводчице этого романа исключить из него те возмутительные места, которые в Петербурге ни один из переводчиков не решился напечатать, и предупредить ее, что без исключения таких мест книга не может быть выпущена в свет».

Нужно иметь в виду, что Феоктистов был тесно связан с обер-прокурором «святейшего» синода К. Победоносцевым.

Действительно, перевод Е. Поливановой, оставляя в стороне художественные качества его, выгодно отличался от других переводов полнотой, если не считать случайных мелких пропусков (напр., стр. 89). Но вследствие вмешательства цензуры, после 580-й страницы книги был вырезан с десяток страниц и конец романа допечатан. Вырезанные страницы некоторыми частями текста соответствуют 535—538 и 540—541 страницам французского текста (éd. Bernouard, 1929). Они касаются «исповеди» Пьера Фромана, направленной против христианства и «чудес».

Любопытно, что в петербургских изданиях, на которые ссылается цензор, по инициативе самих переводчиков или издателей, пропущены приблизительно те же места романа, которые указаны были затем цензурой. Так, в тексте романа «Лурд», печатавшегося в журнале «Наблюдатель» (1894, №№ 7—12), на страницах 388—390, в конце романа, сделаны еще более значительные купюры, чем в переводе Поливановой, в результате требований цензуры. Во многих же случаях дан неточный перевод, «смягчающий» текст. Так, фраза «il fallait tolérer Lourdes, ainsi qu'on tolère le mensonge qui aide à vivre» передана следующим образом: «Не надо вооружаться против Лурда хотя бы потому, что он помогает человеку нести бремя жизни». О «лжи» Лурда пропущено. Такие же изменения и купюры имеются во многих местах книги. Для примера укажем, что в переводе, соответствующем 322—324 страницам французского текста (éd. Bernouard, 1929), мы насчитали около пятидесяти строчек купюр в пяти местах.

Обширные цензурные материалы сохранились о романе Золя «Париж». В докладной записке С.-Петербургского цензурного комитета (20 февраля 1898 г.)[36], направленной Главному управлению по делам печати, сообщается суждение о романе «Париж» в пе-

реводе Л. Гея. Цензор Воршев выделяет следующие темы романа Золя: филантропическую деятельность католической иерархии и богатой буржуазии, «которая, в свою очередь, старается разыграть роль благодетельницы нагих и голодных рабочих города Парижа, уделяя последним жалкие крупицы из своих богатств», мысли священника Пьера, который «приходит к заключению, что милосердие, оказываемое клерикализмом и буржуа ради тщеславия и препровождения времени, слишком ничтожно среди возрастающей нищеты» и что милосердие, не принеся пользы, «вызвало сильную реакцию в новом учении анархизма, имеющем целью все разрушить, ничего не созидать», выводы Пьера, который «уразумел закон труда» и «спасение которого совершилось посредством женщины, посредством ребенка» и т. д. Нужно, однако, обратить внимание на то, что цензор некоторые мотивы Золя воспринял совершенно искаженно. Ему кажется, например, что «по мнению автора, для уничтожения сонма недовольных и водворения счастья на земле необходимо не милосердие, а совокупная работа религии с наукой». С другой стороны, цензор дает заключение, не противоречащее мыслям Золя: «Роман может быть терпим в бесцензурной печати и выпущен в свет, так как в окончательных выводах своих вовсе не стоит за анархизм; автор признает все возмутительные действия анархистов за одно печальное недоразумение». Все же цензор предлагал исключить «особенно резкие места, где героями высказываются мысли противу католичества и христианства и излагается вкратце учение анархизма».

Однако, Петербургский цензурный комитет, принимая во внимание немногочисленность указанных цензором «опасных» мест романа и то, что роман печатался во многих периодических и отдельных изданиях, «полагал возможным выпустить роман, не требуя исключений и перепечаток». Видимо, благодаря определенному освещению цензора, комитет нашел, что «полезная, лежащая в основе романа тенденция несочувствия к анархизму сглаживает попадающиеся там и сям шероховатости и неудобства».

Главное управление по делам печати согласилось с мнением С.-Петербургского комитета (5 марта 1898 г.)[37]. По-иному отнеслась цензура, на этот раз московская, к почти одновременно появившемуся другому переводу романа «Париж», сделанному Мосоловой. Московский цензурный комитет по докладу цензора М. В. Никольского, который, судя по его отзыву о романе Золя «Труд»[38], не поддавался излишним страхам, предложил все же сделать в переводе Мосоловой «некоторые исключения», «на что и получил полное согласие [издателя] Г. Митрофанова» (14 марта 1898 г.). Были ли сделаны сокращения эти в действительности (на стр. 14, 15—16, 286—287, 543, 589, 670 и 717), как этого требовала цензура, сказать трудно.

В экземпляре Публичной библиотеки им. Ленина в Москве, который был нами изучен, на переводе Мосоловой имеются карандашные пометки (купюры) неизвестного лица (книга эта имеет штемпель библиотеки К. М. Соловьева), касающиеся именно указанных мест.

Приведем из перевода Мосоловой примеры купюр, которых требовала цензура: «Все католичество, даже все христианство во Франции может быть унесено этим потоком,— ибо евангелие, исключая несколько нравственных правил, не представляет более социального кодекса» (стр. 14—15); «Тайная пропаганда воинствующей веры анархистов уже и раньше поражала его сходством с учением первых христианских сектантов; как те, так и другие отдавались новой надежде, чтобы справедливость была, наконец, возвращена униженным» (стр. 286—287); «Здесь собрались одни счастливцы, одни привилегированные, которые защищают здание, готовое рухнуть, употребляют всю громадную силу, еще находящуюся в их распоряжении, чтобы раздавить жалкую муху, этого бедняка с помутившимся рассудком, попавшего сюда благодаря своей страстной, но туманной мечте о каком-то ином правосудии, высшем, карающем» (речь идет о суде над Сальва, стр. 543); «Я не знаю более гадкой бессмыслицы,—Париж увенчан, его давит этот храм! Какая наглость, какая оплеуха человеческому смыслу после целых веков науки и борьбы!» (слова Вильгельма о храме Сакре-Кёр, стр. 589).

Подобные «опасные места», направленные против христианской религии или буржуазного общества, царская цензура и под влиянием ее сами переводчики стремились изъять и в других изданиях романа «Париж». Так, в переводе романа «Париж», который печатался «Московским Вестником» (1898), пропущены, например, следующие места французского текста: «pour prêcher la religion nouvelle des démocraties, l'Evangile épuré, humain et vivant» (о книге Пьера), а также: «Et cette certitude augmentait son tourment, les jours où la soutane pesait plus lourde à ses épaules, où il finissait par se mépriser de célébrer ainsi le mystère divin de cette messe, qui était devenue pour lui le geste d'une religion morte» (pp. 15—16).

Обращает на себя внимание и то, что французское издание романа Золя подверглось рассмотрению Комитета иностранной цензуры и получило суровый отзыв цензора: «Принимая во внимание, что в романе проводится отрицание религиозных идеалов, глумление над всем современным общественным строем, поругание имущих классов и заигрывание с классом рабочих и даже если не полное оправдание, то извинение анархизма, как справедливой реакции против жестокости капиталистического уклада, а также, что роман испещрен эпизодами безнравственного свойства, г-н Штейн полагал, что по содержанию своему «Paris» подлежит запрещению»[39]. Исключения отдельных мест цензор не допускал, так как роман «по общему своему направлению остался бы неисправимым».

Комитет, «соглашаясь в принципе с мнением цензора», нашел возможным из соображений практического порядка допустить все же роман к обращению, потому что он появился в нескольких переводах, печатался во французской газете, пропущенной почтовой цензурой, и «по недоразумению» допущен был в количестве 48 экземпляров почтовой конторой в Ревеле. Начальник Главного управления по делам печати, М. П. Соловьев, наложил следующую резолюцию: «В оригинале и переводе роман Золя не представляет собой какого-либо исключения из прочих его произведений, допущенных в России, уже обращается в России, и без особенного успеха» (27 февраля 1898 г.).

«Утешительный» аргумент М. П. Соловьева, что Золя «обращается в России без особенного успеха», вряд ли, однако, соответствовал действительности. Об этом свидетельствуют рапорты Иностранной цензуры о романах Золя вообще и, в частности, о романе «Париж» на французском языке и в переводах на другие иностранные языки, хотя книги эти были рассчитаны на относительно ограниченный круг читателей из интеллигенции и буржуазно-аристократических кругов.

Имеются, например, отзывы Иностранной цензуры о немецком переводе романа «Париж»[40], с предложением исключить те места, которые, как указывает рапорт, «исключались во французском оригинале». Резолюция гласила: «Исключить, согласно рапорту». Аналогичный рапорт и резолюция имеются в отношении известного английского перевода E. A. Vizetelly, London, 1898 г.[41]. Интересно, что иностранная цензура долгое время продолжала остерегаться революционизирующего влияния романа Золя «Париж». В 1907 г., после революции 1905 г., в «конституционной» России, допускавшей свободу совести, цензор Гейнц предлагал не исключать более некоторых мест романа, «ввиду того, что отрицательное отношение к христианству в настоящее время приходится допускать в литературе в тех случаях, когда оно не соединяется с грубым кощунством». Но «более сильные резкости, в которых выражена мысль о ненужности и даже вреде христианства», цензор предлагал исключить, именно те, где «христианство называется cette folie malpropre», вера в загробную жизнь—«duperie», христианский бог—палачом («un dieu bourreau»)[42].

Еще в 1912 г. цензор Трейман констатирует, что «роман „Paris"—единственный роман Эмиля Золя, поступающий в продажу с исключениями», и предлагает в новом немецком переводе исключить места, «где говорится о бессилии евангелия, потерпевшего крушение, несмотря на то, что существует почти две тысячи лет, ибо Иисус ничего для чело-

вечества не сделал... По мнению автора, евангелие является потерявшим всякое значение кодексом и должно быть заменено учениями социализма и наукой»[43].

Даже датский перевод вызвал страх у цензора Мичатека, который предлагал исключить «известное profession de foi автора, направленное против христианства и запрещенное русской цензурой во французском подлиннике».

Правда, председатель комитета, граф А. Муравьев, наложил резолюцию: «Позволить на датском языке», догадавшись, что читатели этой книги могут насчитываться лишь единицами.

Цензурные материалы, таким образом, дополняют отзывы русской критики о романах Золя «Три города». Антирелигиозная тема их, несомненно, казалась правительственным кругам опасной, социальный критицизм «Парижа», несмотря на некоторые успокоительные разъяснения, вызывал тревогу. Близилась революция 1905 года.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Суварин—одно из действующих лиц романа Золя «Жерминаль», анархист, «русский нигилист»; подготовляет обвал в шахте, чтобы вызвать возмущение рабочих.

[2] Параду—парк с пышной южной растительностью, описанный в романе Золя «Проступок аббата Муре» (прототипом ему послужило одно из поместий близ Экса-Прованского). В этом парке, напоминающем, по определению Золя, рай из книги Бытия, действующие лица романа, аббат Серж и Альбина, познают плотскую любовь, чувственное блаженство.

[3] Имеется в виду речь Золя, председательствовавшего на банкете французской молодежи, организованном «Всеобщим объединением студентов» (18 мая 1893 г.). Напечатана в сборнике «Mélanges. Préfaces et discours. Emile Zola. Les œuvres complètes». Ed. Bernouard, 1929. Подобные «Письма к юношеству» Золя опубликовывал несколько раз: письмо в защиту научного мышления, против романтизма в литературе (сборник статей «Le roman expérimental», 1880); письмо против идеалистической и спиритуалистической реакции (сборник статей «Nouvelle campagne», 1897); письмо в связи с делом Дрейфуса (опубликовано брошюрой в 1897 г., включено в сборник статей «La vérité en marche», 1901).

[4] Доктор Паскаль—главное действующее лицо одноименного романа Золя; последовательный представитель естественно-научного мировоззрения, наблюдает за влиянием наследственности на членов семьи Ругон-Маккаров, к которой он сам принадлежит.

[5] Charcot Жан-Мартен (1825—1893)—французский врач, член Академии наук; прославился трудами по анатомо-патологии нервной системы и клиническому изучению невроза.

[6] Эбиониты (бедняки)—одна из ранних демократических христианских сект (I в.), близкая к иудаизму; отрицала божественность Христа.

[7] Ketteler Вильгельм-Эммануил, барон (1811—1877)—деятель «католического социализма» в Германии, архиепископ Майнцский, представитель феодальной идеологии, сторонник светской власти папы, воинствующего клерикализма, хотя в 1869 г. на Римском соборе выступал против провозглашения догмы о непогрешимости папы. Насаждал школы иезуитов, боролся с либеральной профессурой, но в экономике был сторонником различных реформ, облегчающих положение трудящихся (требовал ограничения труда женщин и детей и т. п.), и на этой почве сблизился с Лассалем. Член рейхстага в 1871 г.

[8] Manning Генри-Эдвард (1808—1892)—архиепископ Вестминстерский и кардинал, глава католической церкви в Англии, защитник светской власти папы (соч. «Cæsarism and Ultramontanism»); консерватор и, вместе с тем, деятель «католического социализма»; на этой почве он был связан с лейбористами (Labour Party) и не раз участвовал в качестве примирителя в конфликтах между рабочими и предпринимателями, напр., во время забастовки докеров, настаивая на регулировании рабочего времени и требуя установления минимума заработной платы.

[9] Gibbon Джемс (1834—?)—американский кардинал, деятель «католического социализма», защищал (совместно с Маннингом) американское рабочее объединение «Рыцарей труда», которое папа предполагал отлучить от церкви (1887). Стремясь привлечь к католицизму трудящиеся массы, побудил папу Льва XIII обнародовать энциклику о положении рабочих.

[10] Ireland *Джон (1838—?)—американский прелат, архиепископ Сен-Поля (штат* Миннезота), сын сапожника. Стремился примирить религию с современным демократическим движением, деятель «католического социализма».

[11] Индекс (список, указатель) запрещенных книг (Index librorum prohibitorum) издан был впервые папой Павлом IV (1559). С опубликованием Индекса инквизиция предостерегала всех христиан от чтения, хранения и переписывания указанных в нем сочинений под угрозой отлучения от церкви и суровых наказаний. В 1881 г. папа Лев XIII издал Индекс с перечнем запрещенных книг от начала книгопечатания. Кроме предисловия, Индекс состоял из 352 страниц. Индекс Льва XIII, изданный в 1901 г., включал 2 500 названий, относящихся к XVII—XVIII вв., 1 300 названий—к XIX в. и 132—к XX в. Принципы составления Индекса случайны и неопределенны. В Индекс не включены, например, труды Ч. Дарвина, учение которого о происхождении человека враждебно церкви, но имеются сочинения Дюма-отца и сына, Жорж Санд, Э. Сю и Бальзака. Конт и Ренан Индексом запрещены, Литре не упомянут. В целом, борьба с позитивным знанием была одной из задач Индекса. Лишь в 1836 г. из Индекса были вычеркнуты имена великих ученых Коперника, Кеплера, Галилея. В 1882 г. конгрегация (совет) Индекса состояла из 36 кардиналов, 39 консультантов и 5 докладчиков (delatores).

[12] De Mun Альбер, граф (1841—1914)—французский политический деятель, легитимист, выдающийся оратор, член Палаты депутатов и Французской академии. Поддерживал организованные в Париже рабочие католические объединения и вскоре после Коммуны основал «Œuvre des Cercles catholiques d'ouvriers». Боролся с революционным движением и с либерализмом. Социальные проблемы рассматривал, как моральные, а не как экономические.

[13] Лев XIII (1810—1903)—римский папа в 1878—1903 гг. Стремясь использовать науку в религиозных целях, открыл ученым доступ в секретные архивы Ватикана. Призывал французское католическое духовенство поддерживать существующее государственное управление (республику). Под влиянием революционной пропаганды, а также анархических покушений, возникновения тайных обществ («Черная рука», «Динамит» и др.) и участия сельского духовенства в восстаниях (процесс в Капуе в 1878 г.), обнародовал в 1878 г. энциклику (обращение папы ко всем подчиненным ему церквам) против революционного социализма («diversis ac pene barbaris nominabus Socialistæ, Communistæ, vel Nihilistæ appelantur»). Осудив революционный социализм, как «смертоносную чуму» («lethiferam pestem»), Лев XIII позднее, стремясь привлечь к католицизму рабочих, стал поддерживать «католический социализм» и обнародовал энциклику о положении рабочих под названием «De rerum novarum» (от 15 мая 1891 г.), в которой защищал рабочих от жадности хозяев, указывал на небольшое число необычайно богатых людей и рабство массы пролетариев, но, вместе с тем, считал частную собственность естественным правом, ратовал за сотрудничество классов и корпоративный строй, ссылался на существующее в природе неравенство и требовал реформ, носящих моральный характер.

[14] Трастевере—кварталы, находящиеся по правую сторону реки Тибра, окраинная часть города Рима, заселенная, главным образом, рабочим людом (конец XIX— начало XX вв.).

[15] Crispi Франческо (1819—1901)—итальянский государственный деятель, сторонник Тройственного союза, враждебно относившийся к Франции.

[16] Вилла Медичи—дворец в Риме, в котором с 1803 г. помещается «Французская школа» или «Французская академия», куда направляют на три года французских деятелей искусств (архитекторов, скульпторов, художников-граверов и музыкантов), получивших «Большую римскую премию».

[17] Семинария Сен-Сюльпис (св. Сульпиция) в Париже—богословское учебное заведение, в котором преподавали члены «клира св. Сульпиция». Семинария была основана в 1641 г.

[18] Reclus Элизе (1830—1905)—известный французский ученый-географ, автор «Всемирной географии», анархист; во время Коммуны сражался на стороне инсургентов в качестве солдата национальной гвардии, был приговорен военным судом версальцев к ссылке, но, благодаря вмешательству крупных мировых ученых во главе с Дарвином, Тьер заменил Реклю ссылку изгнанием. Брат его, Онезим, также был ученым-географом.

[19] Rouvier Морис (1842—1911)—французский политический деятель, радикал. В 1871 г. был избран в Национальное собрание, член Палаты депутатов, несколько раз был министром, в 1887 г.—председателем совета министров; будучи министром финансов, оказался замешанным в панамской афере, в результате чего вышел в отставку (1892).

[20] Floquer Шарль-Тома (1828—1896)—французский государственный деятель, участник революции 1848 г., талантливый оратор. В 1871 г., как член Национального собрания, пытался участвовать вместе с другими депутатами в посредничестве между Коммуной и версальским правительством. В 1885 г.—председатель совета министров, противник Буланже; в 1889 г. был председателем Палаты депутатов, но, скомпрометированный разоблачениями по панамскому делу, лишился депутатских полномочий.

[21] Bertelot Марселен (1827—1907)—выдающийся французский химик и политический деятель; с 1881 г.—сенатор-радикал, в 1895—1896 г. был министром иностранных дел в кабинете Буржуа.

[22] Лже-Людовик XVII. После казни Людовика XVI малолетний сын его (род. 1785 г.), герцог Нормандский, был своим дядей, графом Прованским (будущим Людовиком XVIII), провозглашен королем Франции. Заключенный якобинцами в тюрьму, принц умер в 1795 г. Несмотря на очевидность смерти принца, различные авантюристы пытались выдавать себя за Людовика XVII. Можно упомянуть Жана-Мария Герваго (умер, как бродяга, в тюрьме в 1812 г.), Матюрена Брюно (исчез после Июльской революции), герцога Ричмонда—Анри Эбера, который бежал от тюрьмы в Лондон и умер там в 1845 г., наконец, немца Карла-Вильгельма Наундорфа и его сына, оспаривавшего права на французский престол у графа Шамбора. В 1893 г. в Париже даже основано было «Société d'études sur la question de Louis XVII».

[23] Саккар Аристид—герой нескольких романов Золя из серии «Ругон-Маккары». В «Карьере Ругонов»—это стремящийся к власти и наживе, политически беспринципный карьерист; в «Добыче»—мелкий служащий, превратившийся в крупного дельца, спекулирующего на земельных участках в связи с реконструкцией Парижа; в «Деньгах»—финансист-авантюрист, основавший «Всемирный банк» для эксплоатации природных богатств Малой Азии. И в «Добыче» и в «Деньгах» деятельность Саккара заканчивается крахом.

[24] Толстяками названы в романе Золя «Чрево Парижа» некоторые действующие лица, представители торжествующей, сытой средней и мелкой буржуазии, поддерживающей империю Наполеона III (Лиза Маккар и ее муж Кеню, Мегюдены и другие торговцы Центрального рынка), в противоположность Тощим—оппозиционерам-республиканцам Флорану и художнику Клоду.

[25] Cipriani Гамилькар (1844—1918)—итальянский политический деятель, социалист, член I Интернационала, участник сицилийского и римского походов Гарибальди. После поражения Гарибальди был приговорен к смерти, но бежал из Церковной области во Францию. Во время Коммуны сражался в качестве адъютанта Флуренса и полковника национальной гвардии против версальцев. Был приговорен к смертной казни, сослан в Каледонию. После амнистии 1879 г. вернулся в Европу, был выдан Италии и осужден за революционную деятельность на десять лет. Позднее сблизился с социалистами, сторонниками Жореса, вступил во II Интернационал. В 1897 г. сражался в качестве добровольца в греческой армии против турок, был тяжело ранен.

[26] Constans Эрнест (1833—1913)—французский политический деятель, радикал, противник буланжистов.

[27] Bourgeois Леон-Виктор (1851—1925)—французский политический деятель. В 1888 г. выступал в Палате депутатов против генерала Буланже и примкнул к левым радикалам; товарищ министра внутренних дел в кабинете Флоке (1888—1889), министр внутренних дел (1890), участвовал в качестве министра в других кабинетах. Как министр юстиции, начал энергичное расследование панамского дела, но вскоре вынужден был подать в отставку (1893). В 1895 г. сформировал кабинет из радикалов, в 1899 г. был делегатом Франции на Гаагской мирной конференции.

[28] Leygues Жорж (1857—?)—французский политический деятель, неоднократно занимал должность министра, председатель совета министров в 1920—1921 гг.

[29] Hebrard Адриен (1833—1914)—французский журналист, долголетний редактор «Temps».

[30] Drumont Эдуард-Адольф (1841—1917)—французский публицист, антисемит, реакционер. Сотрудник «Gaulois» и «Liberté» (орган еврея-банкира Перейры). Играл руководящую роль в антисемитском движении 80—90-х годов. Написал «La France juive» (1886), основал орган «Libre parole». Во время дела Дрейфуса выступал, как яростный его противник, боролся с Э. Золя.

[31] Нунций—прелат аккредитированный папой при иностранном правительстве.

[32] Камерлинг—кардинал-управитель делами католической церкви во время отсутствия папы.

[33] Пий IX (1792—1879)—римский папа в 1846—1879 гг. Организовал государственное управление Церковной областью, допустил в министерство светских лиц. Во время революции 1848 г., в связи с заговором против него, бежал в Неаполь. В Риме

же Учредительное собрание провозгласило республику (6 февраля 1849 г.), подавленную французской оккупационной армией, причем глава восстания Гарибальди и глава правительства Мадзини были изгнаны. В 1854 г. провозгласил догму «непорочного зачатия», в 1869 г. созвал в Ватикане собор, провозгласивший догму о непогрешимости папы (18 июля 1870 г.). Во время франко-прусской войны 1870 г. французские оккупационные войска покинули Рим, и тогда итальянский парламент, находившийся во Флоренции, объявил Рим столицей объединенного королевства Италии. Папе был предоставлен в постоянное пользование Ватикан.

[34] К о н к л а в—собрание кардиналов для избрания папы.

[35] Главное управление по делам печати, III отд., 1894 г., д. № 8, лл. 15, 16, 17. Ленинградское отделение Центрального исторического архива (ЛОЦИА).

[36] Главн. управл. по делам печати, III отд., 1898 г., д. № 22, лл. 1—15 (?)

[37] Главн. управл. по делам печати, III отд., 1898 г., д. № 22, лл. 10—11.

[38] См. ниже публикацию Л. Полянской и И. Айзенштока («Французские писатели в оценках царской цензуры», стр. 838—842).

[39] Главн. управл. по делам печати, III отд., 1898 г., д. № 22, лл. 6—7.

[40] Центральный комитет цензуры иностранной. Рапорты за 1898 г., № 3864. Ленинградское отделение Центрального исторического архива (ЛОЦИА).

[41] Центр. к-т ценз. иностр. Рапорты за 1898 г., № 6859.

[42] Центр. к-т ценз. иностр. Рапорты за 1907 г., № 2221.

[43] Центр. к-т ценз. иностр. Рапорты за 1912 г., № 331.

ПАРИЖСКИЙ АРХИВ А. И. УРУСОВА

Статья Зин. Венгеровой

Широкое развитие франко-русских литературных взаимоотношений относится ко второй половине XIX в. и связано с именем И. С. Тургенева. Благодаря Тургеневу, прежний отвлеченный интерес к французской литературе в России, так же как интерес французов к русской литературе, заметно возрос и превратился в живую духовную связь. В лице Тургенева, впервые в истории литературы, великий писатель одной страны активно участвовал в созидании нового литературного движения в другой, был одним из признанных главарей литературной жизни в этой дружественной стране. Почти двадцатилетняя тесная дружба Тургенева с Флобером, от первой встречи в 1863 г. на одном из обедов Маньи и до самой смерти Флобера, посвященность Тургенева в многотрудную творческую работу Флобера, который читал ему свои произведения в далеко не законченных рукописях и внимательно прислушивался к его суждениям, их прославленные друзьями беседы наедине в Круассе, когда они, по словам Тургенева, «упивались литературой» («se soûlaient de littérature»), прямое участие Тургенева в создании и появлении в свет «Легенды о Юлиане Страннолриимце»,—все это само по себе, как и дружеские отношения со всем флоберовским кругом, с Э. Гонкуром, Додэ и другими, и затем с младшим поколением натуралистической школы, Золя и Мопассаном, роднило Тургенева с литературной жизнью Франции. Помощь Тургенева, по инициативе которого Золя писал свои «Парижские письма» для «Вестника Европы», не только облегчила материальное положение этого молодого неимущего романиста, но и способствовала распространению идей натуралистической школы в самый трудный, воинствующий период ее развития. Идейное понимание и активное дружеское содействие были щедрым вкладом Тургенева в отношения с французскими писателями, и это сделало «le bon moscove», как его называл Флобер, интимно «своим» в парижской писательской среде, где он и его близкие друзья составляли виднейшую передовую «группу пяти» (Флобер, Э. Гонкур, Додэ, Тургенев и Золя). Все французские собратья Тургенева по этой группе сохранили, как об этом свидетельствуют и знаменитый «Дневник» Гонкура и другие мемуарные материалы, память о личном обаянии Тургенева и о тонкости его литературных суждений, неотделимо слившихся с общим духом той литературной эпохи. Один только А. Додэ высказывался скептически о Тургеневе после его смерти, но и то потому, что был обижен резкими отзывами Тургенева о нем, сплетнически преданными гласности заведомым клеветником, нововременцем Павловским (Яковлевым) в его «Воспоминаниях». На этом основании и вдова Додэ в своих мемуарах («Autour d'un groupe littéraire») называет Тургенева «северным великаном с кошачьей улыбкой, изваянием из льда и снега его родины».

Откликом на близость и преданность Тургенева интересам современной ему французской литературы была готовность, с которой французские писатели воспринимали тургеневскую пропаганду произведений Пушкина, Гоголя, Достоевского, молодого Льва Толстого, как и всего лучшего в русской литературе.

Русский роман проник во Францию через Тургенева,—это то, что следует всегда помнить в истории франко-русских литературных взаимоотношений. Вот почему для французских писателей он с самого начала был не экзотикой, возбуждающей только любопытство снобов, а чем-то «своим», как и сам Тургенев, живой силой в развитии французской художественной литературы. Благодаря подготовительной работе Тургенева, русский роман естественно и просто привился во Франции в конце 80-х годов прошлого века, когда в роли как бы манифеста «русской идеи» появилась знаменитая книга М. де Вогюэ о русском романе (1886 г.), когда огромный успех романа Бурже «Ученик» (1889 г.) санкционировал русское влияние на передовую французскую литературу, когда забеспокоилась шовинистская печать и «Petit Journal» с собратьями стал вышучивать увлечение «Достоевскими, Чайковскими, Машинскими и Бузинскими и другими главарями с фамилиями, кончающимися на „ский“», стал возмущаться тем, что всякое превосходство во Франции приписывается только русским, что «общим признанием пользуются только русские писатели».

В связи с растущим интересом к литературной России, появилась тогда во Франции, как непосредственное наследие тургеневской подготовительной работы над созданием близких русско-французских литературных отношений, особая группа франко-русских писателей, преимущественно осевших во Франции русских выходцев. Они переводили и комментировали русских авторов, популяризировали русскую литературу, и хотя переводы их были далеко не образцовые, им были благодарны за насаждение во Франции хотя бы элементарных сведений о России, необходимых для понимания русских писателей. Это было еще далеко от позднейшего и, в особенности, от теперешнего времени твердой культурной франко-русской связи, когда произведения русских писателей переводятся французами, вполне владеющими русским языком, и о русской литературе пишут специализировавшиеся в этой области французские ученые.

Другим явлением, характерным для 90-х годов прошлого века, для этой «именинной» поры франко-русского культурного сближения, было необычайное увлечение со стороны русской интеллигенции новой французской литературой—как натуралистическим романом, возглавляемым Флобером, так и крайним эстетизмом французской лирики, которая вела начало от Бодлэра. Особенное положение среди представителей этой части русской интеллигенции занимает известный московский, а потом петербургский адвокат Александр Иванович Урусов.

Не будучи профессиональным писателем, занятый своей адвокатской и широкой общественной деятельностью, подвергавшийся репрессиям за свои либеральные взгляды и деятельность защитника в ряде крупных политических процессов, А. И. Урусов связан был с литературой русской близкими и дружескими отношениями с большинством современных ему писателей (Некрасов, Тургенев, Щедрин и др.), а с литературой французской своим преклонением перед Бодлэром и, особенно, Флобером. Он был значительно моложе Тургенева (А. И. Урусов родился в 1843 г. и умер

в 1900 г.), но продолжал тургеневские традиции взаимно содействующих и, тем самым, творческих франко-русских литературных отношений. Он не только сам изучал Флобера и способствовал ознакомлению с ним русских читателей, но считал как бы священным долгом содействовать по мере сил исследовательской работе, связанной с Флобером, в самой Франции и, тоже по мере сил, участвовал в литературной жизни Франции. Так как его французские выступления совпали по времени с большим оживлением франко-русской политической дружбы, то тем легче, успешнее и, так сказать, естественнее протекала его французская деятельность, напоминая кое в чем непосредственное участие Тургенева во французских литературных делах.

В чем же заключалась литературная деятельность А. И. Урусова, укрепившая за ним в России и во Франции репутацию «первого русского флобериста»?

Je désire que cette collection
après ma mort, soit donnée au
Musée Carnavalet, c'est à dire à
la Bibliothèque de la Ville de
Paris — ou, dans le cas où ce
don ~~[illegible]~~ ne serait pas
accepté, au Musée de Rouen.

A. Ourousof

30 Mars 1871

ДАРСТВЕННАЯ ЗАПИСЬ УРУСОВА ОТ 30 МАРТА 1891 г., ЗАВЕЩАЮЩАЯ ЕГО КОЛЛЕКЦИЮ ДОКУМЕНТОВ О ФЛОБЕРЕ БИБЛИОТЕКЕ г. ПАРИЖА

Музей Карнавале, Париж

Наиболее полное представление о литературных выступлениях Урусова в России дает посвященная его памяти статья в «Вестнике Европы» (сентябрь 1900 г.); автор статьи, по всем данным,—К. К. Арсеньев. «Вне судебной сферы,—читаем мы в этой статье,—интересы А. И. сосредоточивались преимущественно на французской литературе. Он преклонялся перед Флобером, любил Бодлэра, но, вместе с тем, высоко ценил великих писателей XVII в. Нам пришлось прослушать в небольшом кружке, лет 20 тому назад, его чтения о «Сиде» Корнеля, «Митридате» Расина и «Эдипе» Вольтера, и мы до сих пор хорошо помним, как горячо, живо и остроумно А. И. восставал против незаслуженного пренебрежения, с которым у нас принято относиться к «псевдо-классической» трагедии. Вообще, чтения А. И. по литературным вопросам были так же оригинальны, так же богаты содержанием и изящны по форме, как и его судебные защиты. Если бы адвокатская деятельность не поглощала его всецело, он был бы замечательным критиком и эссеистом».

К этим описаниям литературных чтений Урусова те, кто знали его, могут присоединить воспоминания о его выступлениях в прославленном «шекспировском обществе», где происходили литературные беседы и прения на литературные темы. Среди писательской публики, сходившейся на этих собраниях, выступала группа «писателей от адвокатуры»: знаменитый адвокат и ученый-юрист В. Д. Спасович—академист, поклонник классиков, затем эстет и лирик С. А. Андреевский и «флоберист» Урусов. Репутация «флобериста» за ним особенно твердо укрепилась с самого начала его литературных выступлений. На «шекспировских» вечерах и на других литературных собраниях Урусов знакомил с новейшими явлениями текущей французской литературной жизни. Он хорошо знал все слои литературного Парижа—и академиков и самых левых декадентов, и по поводу его выступления в одном литературном процессе французские газетные хроникеры причислили его к «иностранцам, которые верят в бульвар», т. е. в esprit boulevardier, в положительном смысле этого выражения, обозначающего не поверхностность суждений, а особый интеллектуализм, освобождающий всякое явление от власти случайных признаков умением метко определить это явление. Эта черта была свойственна самому Александру Ивановичу, который славился своим насмешливым умом, часто обращенным и на современную ему русскую действительность.

Страстью Урусова было собирание «перлов»—характерных, особенно удачных и неудачных выражений и изречений в печати, на суде и в жизни. Его записные книжки, которые он охотно показывал друзьям и знакомым, были полны такого анекдотического материала и напоминали флоберовский «сотизье» («sottisier»), эту «сокровищницу человеческой глупости», несомненно, послужившую Урусову образцом для его собственной коллекции.

Деятельность Урусова в русской печати далеко не отражает полностью его связи с литературой. Он вел театральный фельетон в газете «Порядок», помещал, под псевдонимом «Александр Иванов», статьи о литературе в разных журналах, но высказанная в статье «Вестника Европы» (сентябрь 1910 г.) надежда, что вместе с избранными речами А. И. Урусова будут изданы и лучшие его литературные этюды, как напечатанные, так и оставшиеся в рукописи, не оправдалась, и поэтому нет достаточной документации, подтверждающей его писательскую репутацию, в особенности прочно утвердившуюся за ним репутацию «флобериста».

Но, при недостаточности русской документации, имеется восполняющая ее документация французская—отзывы французских писателей, общественных деятелей и специалистов по Флоберу, вполне устанавливающие «флоберизм» Урусова. В результате литературной деятельности Урусова, во Франции имеются материалы, очень интересные и для характеристики Урусова, как писателя и историка литературы, и для истории франко-русских литературных отношений, так как они содержат и французские и русские документы по вопросу о Флобере и о всем, касающемся Флобера.

Эти материалы—архив А. И. Урусова («Collection Ourousof»), хранящийся в Париже, в библиотеке музея Карнавале (Musée Carnavalet). До сих пор этот архив не был известен русским исследователям, и в русской печати мы теперь впервые указываем на него. Во Франции же о составлении Урусовым этой коллекции были хорошо осведомлены лица, специально занимавшиеся и интересовавшиеся Флобером; к предприятию Урусова они относились с большим вниманием и сочувствием и высоко ценили специальные флоберовские знания Урусова.

Очень показательно в этом отношении письмо известного журналиста и писателя Луи Гандеракса, помещенное в номере газеты «Gil Blas» от 24 ноября 1890 г., посвященном открытию памятника Флоберу в Руане: «Вы запрашиваете меня относительно Флобера,—пишет Гандеракс, обращаясь к редактору газеты,—меня, француза, да еще в 1890 г. Почему бы лучше не запросить меня о Толстом? Я бы тогда, между прочим, упомянул о Флобере, чтобы с похвальным беспристрастием принести в жертву русскому натурализму натурализм французский. Но сегодня, конечно, вам не то нужно. Так обратитесь лучше к князю Урусову в Москву, Никольский пер., 15, Арбат. Этот настоящий русский лучше знаком с вашим Флобером, чем я. Он пишет историю его произведений, которая будет литературным памятником Флоберу».

Несмотря на несколько иронический тон по поводу эксцессов франко-русской дружбы того времени, Гандеракс относился очень сочувственно к флоберовским начинаниям самого Урусова. Повидимому, в этом флоберовском номере «Gil Blas» предполагалось поместить более точные сведения о задуманной Урусовым коллекции, но письмо Гандеракса заменило фактическую заметку лестной аттестацией самого коллекционера. В архиве Урусова сохранился набросок предполагавшейся статьи под заглавием: «Проект статьи для Жиль Блаза», интересный, как первая формулировка его замысла. Заметка написана по-французски, не от имени Урусова, но его почерком. Вот ее содержание:

«У Флобера, памятник которому только-что—наконец!—открыт в Руане, имеются верные поклонники не в одной только Нормандии и даже вдали от Франции. Нам об этом сообщают некоторые подробности, которые могут быть интересны для флоберистов всех стран. Один московский адвокат, князь А. Урусов, уже около десяти лет коллекционирует всё, что относится к Флоберу. Эта коллекция имеет следующие подразделения: 1. Произведения Флобера в разных изданиях, начиная с «Мадам Бовари» в двух томиках по франку в изд. Мишель Леви и до семи томов ne varietur Квантена. 2. Переводы и отзывы. 3. Иконография: портрет работы Каржа (Carjat), увеличение редкой карточки, изображающей Флобера стоя. Оригинал принадлежит принцессе Матильде. Другой портрет кабинетного формата Надара—лучший из портретов Флобера. Портрет-шарж Жиро (репродукция в журнале «Carricature»). Офорт Э. Липгарта. 4. Газетные статьи».

Впоследствии содержание коллекции обогатилось, во-первых, рукописным материалом—набросками статей и всяческими записями самого Урусова и ценными автографами его корреспондентов по вопросам, касающимся Флобера. С другой стороны, из собранной им иконографии многое исчезло. Но, как мы увидим далее, первоначальный план остался тем же, и позднейшие новые формулировки Урусовым своих заданий сходятся с этой первой.

Внимание, которое Урусов встретил к своей работе по Флоберу во Франции, укрепило его связь с современной ему французской литературой. Быть может, с наибольшей яркостью эта связь сказалась через год после открытия памятника Флоберу в любопытном инциденте выступления Урусова в качестве защитника в литературном процессе Блуа—Сар Пеладан. Творчество Леона Блуа и Жозефина Сара Пеладана, при несомненной талантливости их обоих, представляло собой в декадентстве конца XIX в. крайний элемент бредовой фантастики идеалистического порядка. Блуа был пламенный памфлетист, автор более 30 томов бунтарских сатир, на-

правленных против его современности, социальные противоречия которой он остро ощущал, и против большинства его современников, главным образом, против удачников в литературе и общественной жизни («Propos d'un entrepreneur de démolitions»). Он называл себя католиком, но бешенее всего нападал на официальную католическую церковь и считал своей миссией ее уничтожение («не все еще мертвецы свезены на кладбища»,—говорил он о священниках); в политике он держался консервативных взглядов, но при этом ненавидел «буржуазную корку» общества, под которой не видно, как несправедливо распределены места в жизни и как в тюрьмы попадают преимущественно поэты и люди беспомощные.

Интеллектуальное бунтарство Блуа было как раз тем, что привлекло на его сторону Урусова, когда он взял на себя защиту памфлетиста против нашумевшего в то время своими романами и скандалами «мага» Жозефина Пеладана, присвоившего себе фантастический восточный титул «сара», главным образом, для рекламы серии своих философских романов («Décadence latine»), которые представляли собой смесь исступленного католицизма и мистицизма с весьма явной порнографией. В лице Блуа Урусов отстаивал свободу художественного творчества, хотя бы даже разнузданного по форме, но искреннего.

Дело возникло из-за напечатанного в мае 1891 г. в «La France» письма Сара Пеладана с нападками на Л. Блуа за то, что тот не пустил его к умиравшему Барбэ д'Оревильи, или, как он высокопарно выразился в письме, «кулачным боем преградил к нему путь» («d'avoir barré de pugilat») старейшим его друзьям и священнику, пришедшему его исповедать. Барбэ д'Оревильи, автор «Les Diaboliques», был большой художник слова, романтик высокого стиля, увлекавший блеском фантазии и оригинальностью замыслов. Он умер 80-ти лет (в 1889 г.) и в конце своей жизни, из своего рода литературного дэндизма, вместе с представителями младшего поколения декадентов, интересовался оккультизмом и другими течениями того же рода. Поэтому Барбэ д'Оревильи покровительствовал Пеладану и дружил с Блуа, который преклонялся только перед ним одним из всех писателей того времени и считал его своим идейным вдохновителем. Вся распря между Блуа и Пеладаном была вызвана, главным образом, стремлением Пеладана овладеть исключительным расположением д'Оревильи и вытеснить Блуа.

На выпад Пеладана Блуа ответил в главном органе декадентов, в журнале «La Plume» (см. номер от 15 мая 1891 г.), письмом на имя редактора журнала, Л. Дешана; в этом письме он обличал во лжи, клевете и, главным образом, в грубой рекламности Пеладана, этого, как он его называет, «тротуарного ассирийца», и каялся, что сам «выдумал» Пеладана, сжалившись над явившимся к нему «молодчиком из Нима, без имени и без сапог», сочинил ему смехотворный титул «сара», которым тот ловко воспользовался, и познакомил его с Барбэ д'Оревильи. А д'Оревильи, по своей доброте, облагодетельствовал этого «шута», написав предисловие к его роману «Vice suprême», и потом не знал, как отделаться от его приставаний.

По главному пункту нападок Пеладана Блуа презрительно заявил, что вытолкал «этого шакала в лиловом пиджаке» из дома больного Барбэ д'Оревильи, и при этом грозил разоблачить, что Пеладан убил д'Оревильи тем, что неожиданно привел к его постели священника. Слово «убил» «assassiné» было неосторожно употреблено в письме. Оно дало повод Пеладану, любителю рекламных процессов, привлечь Блуа и редактора

«La Plume» к судебной ответственности и предъявить им иск в 25000 франков за диффамацию.

Выступив защитником Блуа, Урусов перенес процесс из области писательского скандала в область литературы. Самая тяжба двух «фантазистов» была ничтожная, тем более, что хотя речь шла об «assassinat», но ни одна сторона ни малейшего преступления не совершала, и дело сводилось к словесной несдержанности, к живописной ругани, часто совершенно непередаваемой. Но все это было типично для литературных нравов, открывало закулисную жизнь некоторых крайних спиритуалистических течений в декадентстве и, вместе с тем, было освещено именем большого писателя, Барбэ д'Оревильи, из-за которого возник процесс. Создавалась атмосфера литературного события, и Урусов выказал большое чутье, построив защиту на литературной критике, обличая порнографический характер мистических романов Пеладана, издеваясь над его «оккультными силами», обладанием которыми всегда похвалялся Пеладан: «Уж если быть «саром», т. е. существом, обладающим верховным могуществом,— говорил Урусов,—то следует заколдовывать своих противников, а не тащить их в суд». Дело Урусов выиграл: «магу» отказали в иске и возложили на него судебные издержки. «Неизвестно,—писала газета «Temps», вторя шуточному тону Урусова,—что уготовит Сару Пеладану божественное правосудие, но правосудие земное не оказалось благосклонным к нему».

Выступление Урусова было сенсацией, главным образом, из-за литературного характера процесса. Зал исправительного суда был переполнен представителями французской адвокатуры, интеллигенции, которая чествовала в Урусове не только адвоката, но человека близкого литературе. Знаменитый адвокат Лабори, будущий защитник Дрейфуса, представляя Урусова суду, как иностранного собрата, превознес его «высокие каче-

Vous m'interrogez sur Flaubert, moi, Français, en 1890; ne pourriez-vous pas, Monsieur, m'interroger sur Tolstoï? Je parlerais de Flaubert, incidemment, pour immoler au naturalisme russe, avec une belle impartialité, le naturalisme français.

Mais aujourd'hui, sans doute, ce n'est pas cela que vous demandez... Adressez-vous donc au Pce Ouroussof (15 ruelle Nikolski, rue Arbate, Moscou); ce Russe authentique est mieux renseigné que moi sur votre homme: il écrit une histoire de ses ouvrages, qui sera un monument littéraire. Il me disait, l'autre jour, que Tolstoï avait appris beaucoup en lisant Flaubert, — mais pas encore assez!

Louis Ganderax

Paris, ce 23 novembre 1890.

АВТОГРАФ ПИСЬМА ЛУИ ГАНДЕРАКСА ОТ 23 НОЯБРЯ 1890 г. К РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ „GIL BLAS", С ХАРАКТЕРИСТИКОЙ УРУСОВА, КАК „ФЛОБЕРИСТА"

Музей Карнавале, Париж

ства» и напомнил о его «культе Флобера» («l'homme distingué qui a fait de Flaubert le culte de sa vie»). Пресса отметила «сжатость и убедительность» его речи, произнесенной на чистейшем французском языке, без иностранного акцента, и украшенной блестками тонкого юмора. Журнал «La Plume», в номере от 15 ноября (1891 г.), напечатал портрет Урусова, дал точный отчет о всем деле и всячески превозносил таланты Урусова.

Свои активные литературные взаимоотношения с Францией Урусов сосредоточил на работе по Флоберу, о которой, как мы видели выше, в печать все чаще проникали и общие и более подробные сведения. Завершающим в этом отношении сообщением о предприятии Урусова явился включенный им в архив фельетон близкого друга Флобера, Шарля Лапьера, редактора «Le Nouvelliste de Rouen», из «Journal des Débats» от 4 июля 1893 г., под заглавием: «Г. Флобер по его письмам». Фельетон заканчивался словами: «Флобер был предметом серьезного изучения не только во Франции,—пламенные его поклонники имеются и за границей. Один из них, князь Урусов, живя в Москве, вот уже пять лет собирает всё, что относится к личной жизни Флобера и к его произведениям. Выжав сок из собранного материала, он передаст свои «досье» библиотеке города Парижа во дворце Карнавале».

А. И. Урусов выполнил свои намерения, о которых заранее оповещал своих литературных французских друзей, в свою очередь, широко разгласивших его планы. Если теперь зайти в Париже в старинную уютную библиотеку Musée Carnavalet на улице Савиньи и потребовать неизданные «материалы по Флоберу», то вместо ожидаемых рукописей какого-нибудь из флоберовских романов, которые имеются в главных книгохранилищах Франции, вам принесут и поставят на стол большие картонные ящики зеленого цвета, каждый с надписью крупными буквами: «Collection Ourousof» I, II, III и так до VI. Эту коллекцию, очевидно, считают достаточно ценной, чтобы заполнить собой в библиотеке рубрику рукописных и неиспользованных печатных материалов по Флоберу.

Когда урусовская коллекция поступила в библиотеку Musée Carnavalet и кем была туда передана, теперешний библиотекарь не знает, но внешний вид материалов, в особенности рукописных, обнаруживает некоторую небрежность при укладке в ящики: алфавитный порядок во многих случаях нарушен, металлические стержни, укрепляющие карточки, сломаны, карточки оторваны и свалены в кучки. Зато в полном порядке сохранились большие коллекции газетных вырезок по разным вопросам, касающимся Флобера.

Коллекции материалов предшествуют некоторые разъяснения, написанные Урусовым и точно определяющие его задания и технику их выполнения. В первом же ящике имеется дарственная запись по-французски: «Я желаю, чтобы после моей смерти эта коллекция была передана в Musée Carnavalet, т. е. в библиотеку города Парижа или, в случае, если там ее не примут, то в руанский музей». Следуют подпись—«А. Урусов» и дата: «30 марта 1891 г.». Отметим, между прочим, что это завещание написано даже не на отдельном листе, а на внутренней стороне оторванной половины какого-то переплета, служащего перегородкой между двумя связками материалов, и ввиду этого надпись Урусова легко может остаться незамеченной.

Но, делая дарственную надпись на «перегородке», Урусов, очевидно, еще не решил окончательно, кому завещать свою коллекцию, и колебался,

А. И. УРУСОВ

Портрет, помещенный в номере парижского журнала „La Plume" от 15 ноября 1891 г.

не отдать ли ее руанскому музею-библиотеке. Мотивы, которые его к этому побуждали, характерны для его особого чувства поклонения Флоберу. «Именно там, в Руане,—говорит он в записи от 28 мая 1892 г. (V),—там, где покоится прах Флобера, где возвышается его скромный памятник, где живут его родные, его друзья, где живы интимные воспоминания, столь часто разрешающие сомнения относительно темных пунктов в его творчестве и биографии, именно там должно быть сосредоточено все, касающееся Флобера». Все же, первоначальное решение передать архив в библиотеку Carnavalet одержало верх.

По замыслу Урусова, его коллекция должна была стать систематическим толковым указателем по всем вопросам, касающимся жизни и творчества Флобера, своего рода энциклопедией по Флоберу. Технику, которой он держался при составлении каждого тома, Урусов объясняет во французской Note, помеченной 1892 г. Он говорит в ней, что все статьи, помещенные в I томе, зарегистрированы и отчасти критически разобраны на карточках, расположенных в алфавитном порядке на металлических стержнях. Таким образом, коллекция представляет собой систематический указатель всего, касающегося великого художника, и становится книгой, составленной из отдельных отрывков, надлежащим образом классифицированных и снабженных надписями («livre en morceaux, classés et étiquetés»). Как пример, он приводит: A—Article sur Flaubert. B—Biographie, Bouillet, Bouvard et Pecuchet и т. д.

Названием «livre en morceaux» для своей коллекции Урусов дорожит и несколько раз повторяет его. Или же, помышляя хотя бы о частичном издании коллекции, он заранее придумывает заглавие для такого издания. Одно из таких заглавий (т. V, связка 10-я): «Flaubert et son œuvre: Catalogue raisonné d'une collection de pièces se rapportant aux écrits et à la biographie de Gustave Flaubert par le Prince A. I. Ourousof, avocat au barreau de Moscou».

Другое заглавие намечено в т. I, связка 2-я: «Matériaux pour servir

à une histoire des œuvres de Flaubert»; оно сопровождается небольшим предисловием, в котором Урусов излагает мотивы, руководившие им при составлении коллекции. Мотивы эти тем более интересны, что относятся ко всей франко-русской литературной деятельности Урусова, и с этим написанным по-французски предисловием к несостоявшемуся изданию интересно ознакомиться для характеристики Урусова.

«Документы, входящие в этот том,—пишет Урусов,—составляют коллекцию, начатую в ... [год не проставлен] и которая еще далеко не закончена полностью. Я все же решаюсь приступить к изданию ее, из опасения, как бы какой-нибудь несчастный случай не сделал публикацию невозможной. Пожар или кража могут рассеять эту груду хрупких газетных вырезок; может также умереть коллекционер, и эти листки исчезнут навсегда. Ведь если и существуют все газеты, из которых взяты статьи, вошедшие в коллекцию, все же проделать наново все изыскания было бы огромным и утомительным трудом. Поэтому сохранить сделанное, облегчить пользование им—значит продолжить жизнь себе подобных. Моя коллекция состоит: из 1) заметок и библиографических указаний, касающихся критических статей о Флобере; 2) из газетных статей и книг на ту же тему и 3) из портретов и автографов, очень немногочисленных.

Моя цель при составлении этой коллекции, быть может, единственной в своем роде, заключалась в содействии славе великого писателя и современной французской литературы. Мы, иностранцы, обязаны долгом большой благодарности французской литературе. Этот долг нужно выплачивать. В детстве мы кое-как болтали по-французски, в молодости изучали... [пропущено слово], а потом опять-таки только литература составляет живое благо... [фраза не закончена]. Так вот я хочу уплатить кое-что в счет этого долга».

Это незаконченное предисловие указывает на то, что у Урусова было серьезное намерение напечатать хоть часть своего материала, т. е. первый том, отвечающий содержанию первого картона коллекции. Намерение это привело к дальнейшим шагам, так как в архиве имеется (картон V, связка 10-я) собственноручное письмо известного издателя передовых французских писателей 90-х годов, Л. Ванье, ставящее издание на деловую почву. Письмо адресовано типографу Эресси в Эвре.

«Князь А. Урусов, московский адвокат,—пишет Ванье типографу,— намерен напечатать книгу под заглавием «Заметки о Флобере». Я ему рекомендовал вашу типографию для его работы, которая должна была быть закончена к началу октября, ввиду того, что открытие памятника Флоберу, вашему соотечественнику, назначено на 15 октября. Я сказал, что печатание, бумага и брошировка издания в 1100—1000 экземпляров обойдется в 1000 франков. Прошу вас ответить Урусову и мне, и надеюсь, что ответ будет благоприятный... Я вас считаю нормандцем, потому что вы живете в Эвре».

Несмотря на все приготовления, это издание не состоялось. Как мы это дальше увидим, такова была, к сожалению, судьба многих чисто писательских предприятий Урусова.

Урусов, как мы это видели по его предисловиям и заметкам, придавал большое значение библиографической части коллекции, классификации материала, обнимающего все флоберовские проблемы, строгой выдержанности алфавитного порядка в целях пользования архивом, как указателем. Последнее, однако, оказалось самым непрочным в архиве, веро-

ятно, из-за переправки бумаг из одного места в другое, и от алфавитного распределения материалов теперь почти ничего не осталось. Но главное, что Урусов хотел видеть в своей коллекции,—это как можно более полную книгу о Флобере, собрание и изложение всего, что было сказано значительного о творчестве великого романиста. Достижения в этой области составляют основную ценность урусовского архива. Для русских же исследователей Флобера и для изучения истории франко-русских литературных отношений, в особенности, ценны вклады в архив самого составителя архива—рукописи неизданных работ Урусова, так как в них особое внимание уделено русской стороне флоберизма, вопросу о том, что знали и чего не знали у нас о Флобере до появления «Парижских писем» Золя в «Вестнике Европы» в 1875 г.—и затем позже, в 80-х и 90-х годах, когда, главным образом, создавалась и пополнялась коллекция Урусова.

В первом же намеченном к изданию томе,—на основании I и II картонов архива, наиболее богатых рукописным материалом, статьями и заметками, а также критическими разборами Флобера,—имеется довольно много статей самого Урусова, посвященных Флоберу. Статьи эти большей частью не закончены, за исключением нескольких коротких заметок о памятнике Флобера и других маленьких очерков, которые мы приводим в приложении к настоящей статье. По существу, все эти работы являются разрозненными отрывками незавершенного большого труда Урусова о Флобере, или, говоря точнее, его исследования о Флобере, как авторе «Мадам Бовари», так как Урусов считал этот роман Флобера основным в его творчестве и постоянно к этому роману возвращался. Он с особым удовлетворением и как бы в подкрепление своих взглядов на «Мадам Бовари» ссылается на мнение Тургенева: «Мы слышали неоднократно от И. С. Тургенева,—пишет Урусов в конце одной из статей,—что «Мадам Бовари»—лучший роман, появившийся после Бальзака», и прибавляет, что «разнообразие оттенков характера в изображениях Флобера может быть приравнено только к пластике шекспировских типов».

Собранные в архиве рукописные отрывки статей или незаконченные более пространные очерки носят разные заглавия. Самый большой очерк в 20 листов, исписанных с одной стороны, озаглавлен: «Флобер. Аналитический этюд. I часть. Жизнь Флобера»; другой вариант той же статьи надписан по-французски: «Flaubert, article manuscrit inédit russe» («Статья о Флобере, неизданная русская рукопись»). Рукопись датирована 9 августа 1889 г. и предназначалась, повидимому, для журнала «Новое Обозрение», но осталась незаконченной. Кроме того, в архиве имеется ряд разрозненных фрагментов, иногда носящих заглавие «Мои заметки».

Изложение взглядов Урусова на Флобера во всех этих рукописях одинаково, а отдельные сведения, имеющиеся в разных версиях, взаимно пополняют друг друга. В своих статьях Урусов занят вопросом о методах изучения Флобера. Увлеченный культурно-историческим методом Тэна, он доказывает, что подлинное и плодотворное изучение Флобера должно быть изучением «комбинируемых условий личности и среды» и что необходим экскурс в область истории Нормандии, чтобы показать влияние на Флобера местности, в которой он жил и работал. Поэтому в большом «Аналитическом этюде» Урусов приводит пространные извлечения из авторитетных ученых книг о Нормандии и нормандцах. Затем он считает, что биографию Флобера должны были бы разрабатывать его друзья: Тэн,

Э. Гонкур, Золя, Мопассан, которым знакомы условия, среди которых развивалось его творчество; кроме того, само собой разумеется, что автору этюда о Флобере следовало бы и внешней форме своего труда придать ту стилистическую законченность, которой так дорожил автор «Искушения св. Антония».

Дополняя свои требования, предъявляемые биографу и критику Флобера, Урусов дает в другом, тоже незаконченном, отрывке подробную программу статьи о Флобере, куда входит не только изучение Флобера, как нормандца, но и параллель с Бальзаком и Золя, туринцем и провансальцем, обследование экономических условий (материальная обеспеченность Флобера), влияния семейной среды (близость к медицинскому миру), затем особенностей темперамента Флобера и его политического склада: его презрение к буржуазии и любовь к «простым людям», при равнодушии к политическим формам. На этой программе Урусов строит схему критической или, по его терминологии, «аналитической» статьи, «сколько-нибудь достойной Флобера».

«Следует,—пишет Урусов в одной из своих заметок (довольно неразборчиво написанной карандашом),—поступить, как поступал великий писатель [Тэн]: положить в основу статьи глубокое многолетнее изучение условий среды, в которой он [Флобер] развился, влияний расы, страны, наследственности, личного темперамента, его жизни, материальной обстановки, а как результат, его произведений. Следовало бы в основу такой работы положить личное, непосредственное изучение писателя в его интимной обстановке и придать внешним формам критического о нем исследования строгость линий и классическую сдержанность. Другими словами, критический очерк о Флобере должен бы, при документальности содержания, явиться еще облеченным в те изящные формы слога, которым он владел в совершенстве».

Своей собственной работе о Флобере Урусов, однако, не ставит столь широких задач, ввиду «недостаточности багажа материалов», которыми, по его мнению, он располагал для своего критико-биографического очерка о Флобере. «Нам, русским почитателям Флобера,—пишет он,—предстоит скромная, но не менее трудная задача—попытаться изучить писателя по его произведениям, попытаться разъяснить вопрос: какое значение, какой интерес имеет Флобер для нас, русских».

Ставя этот вопрос, Урусов затрагивает любопытную тему о параллелизме судеб творчества Флобера во Франции и в России. Во Франции, как хорошо известно, культ Флобера сопровождался не малой долей нападок и преследований автора «Мадам Бовари». Помимо знаменитого процесса, вызванного появлением «Мадам Бовари», Э. Гонкур имел полное основание в своей речи на открытии памятника Флоберу говорить о несправедливости к Флоберу критиков; из них некоторые утверждали, что «проза Флобера позорит эпоху Наполеона III», а другие ставили ему в упрек его «эпилептический» стиль, с явным и ядовитым намеком на непроверенные и злостные слухи о его припадках падучей, которые распространял «друг» Флобера—Максим Дю Кан (Maxime Du Camps).

В России отношение к Флоберу тоже резко разделило литературную критику на два лагеря и сделалось одним из лозунгов распри, почти гражданской войны, между передовой литературой, поддерживаемой культурным слоем читающей публики, и обскурантской массой реакции, тем

более, что «флоберизм» и нападки на него в момент смерти Флобера в 1880 г. и начала подписки на памятник ему, при непосредственном активном участии Тургенева, приняли характер явно политический. Этой теме посвящены особая статья и заметка Урусова, которые мы приводим в приложении к нашему очерку.

Почти во всех своих русских статьях Урусов останавливается на вопросе о том, какое место принадлежит Флоберу в европейской литературе, и, в особенности, на значении Флобера для русских. «Разрешение этих вопросов,—пишет Урусов в «Аналитическом этюде» 1886/7 г.,—теперь может быть современным. Оно может до известной степени определить значение патриотических нареканий, с которыми часть нашей прессы сочла нужным обратиться к И. С. Тургеневу (аргументация их: какое нам дело до Флобера, да еще при нынешней дороговизне?)».

Враждебность к Флоберу многих представителей русского общественного мнения, в другой своей заметке, Урусов объясняет плохой их осведомленностью. «Один из моих знакомых,—пишет он,—человек образованный, но равнодушный к литературе, спрашивал меня на-днях, что означает подписка, предложенная Тургеневым на памятник какому-то Флоберу. Кто этот Флобер? Что он сделал и за что ему памятник? Такое же недоразумение вызвал Тургенев в чуждых литературе сферах. Одна московская газета [вычеркнуто «Современные Известия»] сочла нужным оспаривать подписку, предложенную Тургеневым, на том основании, что у нас-де и своих памятников мало и что лучше деньги приберечь на памятник Тургеневу (sic!). Понятие о солидарности литературных инте-

1892 Note.

Tous les articles de ce 1er volume ont été catalogués et analysés en partie sur des fiches en bristol, disposées dans l'ordre alphabétique sur des tiges en métal. Elles forment ainsi un répertoire systématique des matières ayant trait au grand romancier et sont, pour ainsi dire, un livre en morceaux classés et étiquetés.

АВТОГРАФ „ПАМЯТКИ“ УРУСОВА, ОБЪЯСНЯЮЩЕЙ ХАРАКТЕР ЕГО КОЛЛЕКЦИИ, 1892 г.

Музей Карнавале, Париж

ресов в цивилизованном мире и о том, что представители высшего художественного развития одинаково дороги для всей цивилизации, а не только для какой-нибудь одной страны, кажется огромному большинству читателей, выражаясь учтиво, фантазией».

Необходимость, прежде всего, заняться делом ознакомления русского читателя с Флобером заставляет Урусова отказаться на время от соблазнявшей его большой работы в духе исследовательских приемов Тэна и сосредоточить свое внимание на изучении и показе творчества Флобера. «Если справедливо вообще,—говорит он,—что жизнь писателей вся в их книгах, что книги—их события, то ни к кому это мнение не применимо более, чем к Флоберу... И так как русская публика в последнее время очень много слышит о Флобере, его хвалят, ему воздвигают памятник, и знаменитый писатель [Тургенев] патронирует это литературное предприятие, то именно теперь следует сказать с в о е м н е н и е [подчеркнуто Урусовым] о Флобере».

Для Урусова этот довод является наиболее привлекательным, так как «высказывание своего мнения» дает ему возможность передавать в импрессионистской манере свои впечатления от каждой книги Флобера, лирически описывать свои переживания от повторного чтения его романов, в особенности, конечно, от любимого произведения Урусова «Мадам Бовари», и попутно, под рубрикой «Мои заметки», на отдельных листках и карточках набрасывать критические суждения по разнообразным вопросам творчества и биографии писателя.

В этой импрессионистской манере написан и упомянутый нами незаконченный «Аналитический этюд». Большая часть составляющих его двадцати рукописных страниц in-folio посвящена восторженному подробному пересказу «Мадам Бовари»,—это вполне соответствовало не раз высказанному Урусовым намерению приохотить читателя к чтению не комментариев к Флоберу, а самых его произведений: «Читайте Флобера—вот единственный полезный вывод, который настоящий этюд может дать читателю»,—часто повторяет Урусов в своих писаниях относительно «Мадам Бовари», прибавляя по адресу русских читателей: «Цель моя будет достигнута, если читатели прочитают роман в подлиннике». Первые русские переводы, о которых он говорит, были плохие и неполные, и он перечисляет их: «Мадам Бовари» в «Библиотеке для Чтения» 1858 г., «Саламбо» в «Отечественных Записках» 1868 г. («если не ошибаюсь»,—прибавляет Урусов), «Сентиментальное воспитание» отдельным изданием, «Легенда о Юлиане» в «Вестнике Европы» в классическом переводе Тургенева («единственное исключение по своему совершенству»), «Бувар и Пекюше» в «нашем» журнале, т. е. в «Новом Обозрении» Урусова, «Искушение» в «Еженедельнике Нового Времени». О русском переводе «Мадам Бовари» Урусов говорит отдельно и более подробно:

«Роман Флобера «Мадам Бовари» пользуется известностью в России, что можно заключить из того факта, что он вышел в двух различных переводах в 1857 и в 1880 гг. Первый перевод, хотя изобилует промахами и неточностями, все же литературнее второго. Недаром первый напечатан был впервые в «Библиотеке для Чтения» Писемского. Кажется, что в этом первом переводе участвовал П. И. Вейнберг. Что же касается второго, то при неисправности текста он еще отличается ремесленностью формы. Так и чувствуется, что перевод этот—дешевая заказная работа, сделанная кое-как. Вообще Флоберу не посчастливилось. Роман, репутация кото-

рого в течение полувека не падала, а возрастала в мнении литературной критики, не нашел себе еще хорошего переводчика».

Пересказывая в своем очерке «Мадам Бовари», Урусов останавливается на красотах отдельных мест: «Если бы картины деревенского праздника и другие,—утверждает он,—были написаны на полотне так, как они воспроизведены Флобером, они заняли бы место между лучшими произведениями живописи». Но еще больше, чем «живопись» Флобера, Урусов ценил глубину психологического анализа в «Мадам Бовари». Он отмечает конкретность отдельных сцен (ухаживание Шарля Бовари за Эммой), неподражаемую тонкость и отчетливость, а также тонкий юмор эпизодов начала брачной жизни Эммы (свадебный пир и другие) и момента, когда Эмма начинает тяготиться буржуазным спокойствием.

«Здесь,—отмечает Урусов,—начинается глубокий, сжатый психологический анализ. Флобер воскрешает всё до последней тайной пружинки душевных движений Эммы. Из этого анализа читатели уже могут заметить, что в более или менее далеком будущем катастрофа неизбежна».

С такой же тщательностью Урусов разбирает другие типы романа, в особенности аптекаря Омэ (Урусов пишет «Гомэ»), в котором, по его определению, Флобер «соединил громадный запас наблюдений над пошлостью французского буржуа либерального пошиба...» и «проявил свою ненависть к буржуазии, ко всему тому, что соответствует типу самодовольного эгоизма господствующего класса». Урусов отмечает также, при разборе Омэ, систему характеристики действующих лиц, которой держится Флобер. Он указывает, что «с самого начала не описывается ни наружность его [Омэ], ни биография. Гомэ прямо выставляется действующим лицом в разговоре, и лишь мало-помалу в течение всего рассказа обрисовываются его особенности».

Высказав, как ему хотелось, в «Аналитическом этюде» и в других отрывках более пространно «свое мнение» о «Мадам Бовари» и вкратце о других произведениях Флобера, Урусов дает много отдельных критических указаний в общей рубрике «Мои заметки». Так, он говорит о «синкопах» в «Мадам Бовари», т. е. об острых моментах личной драмы, отделяющих действующих лиц от окружающего, но непременно на фоне столь же заостренных проявлений коллективных интересов. Таковы диалог Леона и Эммы и речь Омэ о химии, диалог Родольфа и Эммы и речь советника о земледелии, описание переживаний Эммы и Леона, слушающих объяснения швейцара в соборе. Другой отмеченный Урусовым любимый мотив в творчестве Флобера—дружба двух очень различных по характеру людей. Этот мотив отчасти автобиографичен, так как соответствует отношениям, существовавшим между самим Флобером и его другом Буле, а отчасти и отношениям Флобера к столь отличной от него Луизе Коле. В романах Флобера этот мотив очень часто повторяется: Мато и Спендий в «Саламбо», Фредерик и Делорье в «Воспитании чувств», а затем наиболее ярко—в дружбе Бувара и Пекюше.

Совершенство первого же романа Флобера Урусов в своих критических заметках объясняет (см. листок, озаглавленный «Отрывок для статьи о Бовари») «методой» Флобера, выработанной до совершенства и которой он оставался верен во всех романах. «Вкратце,—говорит Урусов,—метода эта может быть выражена так: внутренняя жизнь действующего лица все время иллюстрируется маленькими характерными фактами жизни внешней. Те и другие выдержаны в одном стиле с описанием обстановки. Такая

метода доступна только очень большому таланту, и главное в том, что она требует громадных подготовительных работ, этюдов и коллекционирования фактов».

Помимо детального изучения художественных приемов Флобера, в этюдах и отрывках Урусова намечается также стремление высказать обобщающие суждения о Флобере. Любопытно при этом, что, говоря о «грозных социальных проблемах» времени Флобера, Урусов утверждает, что Флобер только казался индиферентным к политике, и с недоверием относится к мнению, будто от Флобера нельзя было ждать хоть сколько-нибудь активного отношения к политическим движениям. Урусов отстаивает мысль, что косвенным образом через свое творчество Флобер стремился влиять на общественно-политическую жизнь своего времени. Это показывает, что Урусов гораздо ближе к нашему послереволюционному взгляду на Флобера и на динамизм его суровой антибуржуазности, в которой даже наиболее проницательные критики его времени видели лишь эстетический протест замкнутой в себе личности.

И недаром, поэтому, в своих статьях Урусов так ополчается на Сент-Бёва за недостаточно высокую оценку автора «Бовари». Недаром он — почти по-адвокатски — берет под свою защиту Флобера, объясняя отсутствие чуткости к Флоберу у Сент-Бёва противоположностью их темпераментов: «Суровый пессимист Флобер,—говорит Урусов,—не по нраву женственному Сент-Бёву. Эпикурейцу трудно понять стоика. Сент-Бёв симпатизирует более всего тонкому, игривому, слегка сладострастному. Ужасное ему кажется опасным в литературе. Приятное он ставит выше».

Один только Золя удовлетворяет Урусова—и как источник биографических сведений о Флобере и как его критик. Урусов не мог тогда знать, какое обилие биографического материала даст постепенное опубликовывание «Переписки» Флобера и какие широкие размеры примет обследование всех обстоятельств его жизни. Больше всего он ценит статью Золя в «Вестнике Европы» 1875 г. «Флобер и его сочинения», вошедшую в I том «Парижских писем» Золя (СПб. 1878). Излагая эту статью, Урусов вполне принимает основное положение Золя, что «натурализм все более вытесняет вымирающие формы субъективного романа и фантастического вымысла, выдаваемого за действительность».

Он считает, что вообще только с Золя и началось подлинное изучение Флобера, в особенности в России, и ко всему, что в русских журналах писали о Флобере до 1875 г., относится с сарказмом собирателя «сокровищницы человеческой глупости».

Таким образом, из краткого обзора сохранившихся в архиве и все еще не изданных рукописей Урусова мы видим, что он был вполне на высоте современных ему исследовательских работ о Флобере, а кое в чем и превосходил их, что он глубоко изучил произведения знаменитого романиста и в своих суждениях о Флобере соединял преклонение перед художественной стороной его творчества с пониманием и сочувствием его философским и социальным идеям. Из этого не вышло большой, исчерпывающей работы о Флобере, о которой Урусов, по всей видимости, мечтал и для которой более десяти лет собирал материалы, но осталось все то ценное, что вложено в его заметки и отрывки, большие и малые, и то понимание и критический вкус, с которым подобраны и аннотированы материалы его коллекции.

Если почти все написанное Урусовым обращено к русскому читателю с целью научить его читать и почитать Флобера, то весь остальной французский материал коллекции имеет в виду скорее флоберистов-французов, особенно нуждавшихся в пополнении всякого рода данных о Флобере новым, еще не изданным материалом и в систематизации существующего материала для облегчения исследовательской работы над Флобером. Это и есть «уплата в счет долга» Франции, о которой говорит Урусов в предисловии.

К неизданным материалам относятся автографы писем, полученных Урусовым в ответ на запросы относительно Флобера. В числе их отметим, прежде всего, письмо Тэна по поводу суждения о «Мадам Бовари» в его книге «De l'Intelligence» (Hachette, 1870). Вот слова Тэна: «Мои вымышленные персонажи,—пишет мне самый точный и наиболее ясно видящий из современных романистов,—влияют на меня, преследуют меня, или, вернее, я переселяюсь в них. Когда я описывал сцену отравления Эммы Бовари, я настолько чувствовал в к у с м ы ш ь я к а в о р т у, что был сам отравлен. У меня была настоящая рвота два раза подряд, и я вернул весь свой обед».

Письмо Тэна, вместе с другими автографами, мы даем в Приложениях, отметив здесь только, что оригинала письма нет в коллекции (оно, вероятно, передано Флоберовскому музею в Круассе), но имеются копия, сделанная рукой Урусова, и конверт с адресом Урусова и московским штемпелем от 30 октября 1890 г.

Другие автографы свидетельствуют о том, что Урусов хорошо знал, из кого состояло окружение Флобера, и умел находить наиболее осведомленных лиц, к которым и обращался с вопросами о нем. Собираясь лично повидать племянницу Флобера, мадам Коммонвиль, он подготовил список вопросов (список составлен по-французски): 1) реликвии; 2) библиотека; 3) рукописи; 4) Бувар и Пекюше; 5) Будда; 6) Круассе; 7) рукописи того, что было издано; 8) варианты текста; 9) разрешение для воспроизведения портретов и автографов; 10) к кому обращаться за сведениями. Свидание с мадам Коммонвиль не состоялось, но в своих ответных письмах (см. Приложение) она хотя и отказала в разрешении воспроизводить принадлежавшие ей портреты Флобера, но дала ценные указания о предполагавшемся продолжении «Бувара и Пекюше» и о «Переписке» Флобера, первые четыре тома которой, невзирая на все нападки на нее, наследницу Флобера, за разоблачение его личной жизни, она издала между 1887 и 1889 гг.

Наиболее содержательным и богатым сведениями о Флобере из числа подлинных писем является письмо Шарля Лапьера (см. Приложения), автора «Esquisse sur Flaubert intime». В этом письме, среди ответов Урусову по разным пунктам, Лапьер в пункте втором второго письма советует не слишком верить сообщениям «вероятно, только временного и случайного секретаря Флобера» о том, как работал Флобер. Это относится к Эдуару Гашо (Gachaut). Он был секретарем Флобера в последний год его жизни и потом, ко времени открытия памятника Флоберу в 1890 г., напечатал в газете «Paris» (24 ноября 1890 г.) свои воспоминания, в которых сообщал фантастические подробности о том, как Флобер писал свои романы: будто у него была черная доска, скрытая от взоров посетителей, и на ней во время работы он чертил план задуманной сцены; будто на диване были свалены семь-восемь одеяний и плащей, изображавших для Флобера эпоху и быт романа. Флобер надевал платье, подходившее к дан-

ному персонажу (это он называл «le coup du pardessus»), и «играл» перед доской весь диалог намеченной сцены, меняя голос, подражая аффектам действующих лиц, переходя от смеха к слезам, изображая то бешенство, то любовь, то злобу. Гашо уверял, что весь роман «Саламбо» был так разыгран; будто бы Флобер «двадцать раз» повторял ему, что именно это приохотило его расхаживать дома в античных одеяниях.

Включая в архив статью Гашо из газеты «Paris», Урусов сопровождает ее скептической припиской.

В коллекции Урусова имеется также подлинное письмо скульптора Шапю, на чью долю, после долгих пререканий и выборов, выпала честь выполнения руанского памятника Флоберу. Урусов обратился к нему с просьбой прислать фотографию памятника для ее опубликования до его открытия. В ответном письме Шапю (от 16 августа 1890 г.) чувствуется некоторая неуверенность в себе и в своем произведении, и действительно, оно

КОНВЕРТ ПИСЬМА ШАРЛЯ ЛАПЬЕРА К УРУСОВУ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 1891 г.

Музей Карнавале, Париж

совсем не удовлетворило друзей и почитателей Флобера. «Я прошу извинить меня за промедление с ответом,—пишет Шапю,—работа моя не была закончена. После Салона [т. е. выставки] мне пришлось кое-что подправить, и я посылаю вам фотографию, снятую перед отправкой памятника в Руан... Для медальона я воспользовался портретом Надара, самым лучшим, и моя копия его далека от совершенства («je l'ai imparfaitement copié»). Существует портрет в профиль у графа Ньюверкерка, но было уже поздно, когда мне его показали». Этот тон письма считающего нужным оправдываться Шапю прибавляет любопытную черту к сложной истории памятника Флоберу.

Урусов очень старался обогатить свою коллекцию неопубликованными портретами Флобера. В этом отношении интересно письмо одного атташе французского посольства в Петербурге (от 3/15 июля 1885 г.), который, наведя справки, сообщил Урусову, что нигде в Руане портрета Флобера нельзя достать, потому что «Флобер никогда не снимался». В настоящее время всякому исследователю Флобера известно, что это неверно, что

имеется достаточно портретов Флобера в разные периоды его жизни и что Флобер сам поддерживал эту легенду, подтверждавшую его прославленные слова: «Я считаю несуществующим все, что вне самого произведения писателя» («Je considère comme néant tout ce qui est en dehors de l'œuvre elle-même»).

В числе интересных автографов коллекции следует отметить еще письмо первого издателя Флобера, К. Леви, который, в ответ на запрос Урусова,

Journal le Nouvelliste de Rouen
1, Rue Saint-Etienne-des-Tonneliers, 1

DIRECTION
JOURNAL
ET
IMPRIMERIE

Rouen, le 21 février 91

Monsieur
J'étais l'intime ami de Flaubert et ma famille était la seule de Rouen où il vint s'épancher avec toute l'originalité et l'exubérance de sa nature. C'est vous dire avec quel empressement sympathique je me mets à votre disposition pour la recherche des documents qui pourront servir à vos précieuses études sur celui que nous appelions familièrement « notre grand Flau. » et qui signait encore St-Polycarpe par suite d'un incident que j'ai raconté dans une notice semi-biographique.

Trois circonstances ont exercé une influence pessimiste sur son talent: une maladie de jeunesse dont il s'était guéri et qui s'était arrivée dans les dernières années par l'effet de vives

АВТОГРАФ ПИСЬМА ШАРЛЯ ЛАПЬЕРА, ДРУГА ФЛОБЕРА, К УРУСОВУ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 1891 г.
Первая страница
Музей Карнавале, Париж

сообщает, что первое издание «Мадам Бовари» в 1857 г. вышло в количестве 1400 экземпляров, а второе в 1858 г. в количестве 4000. Есть также некоторое количество других автографов, свидетельствующих о том, с какой тщательностью, умением и знаниями составлялась осведомительная часть архива.

Большое место в «Collection Ourousof» (в общем, не менее половины архива) составляют газетные вырезки, журнальные статьи, брошюры, кое-какие портреты и т. п. Многое из этого материала устарело. Как пример,

можно указать на брошюрку Ш. Ришара (Charles Richard, Chenonceaux et Gustave Flaubert». Cours 1887). Урусов вносит ее в архив, как библиографическую редкость, и придает большое значение этому описанию жизни Флобера в замке Шенонсо, где «у Флобера было символическое видение „Искушения св. Антония“ и где он нашел в библиотеке замка старинные книги, послужившие ему материалом для „Бувара и Пекюше“». Теперь эта брошюра вошла в давно использованный и корректированный материал Р. Дешарма, Р. Дюмениля и других ученых французских флобористов и потеряла свою ценность. То же самое относится и к некоторым другим находкам Урусова. Кроме того, газетные вырезки только частью просмотрены и в некоторых случаях аннотированы Урусовым. Большая же часть вырезок включена в архив автоматически, как бы в сыром виде, в каком доставлялась Argus de la presse. Отсюда неизбежная пухлость материала: одна и та же статья или информация повторяется много раз, по мере того, как столичный газетный материал проходит через провинциальную прессу. Это особенно заметно в отзывах о «Переписке» Флобера, составляющих целый огромный том.

Несмотря на этот и еще некоторые другие недостатки, вырезки архива сохраняют большой литературный интерес, раньше всего, для исследователя, который может найти кое-что новое среди устаревших и хорошо известных ему фактов, а потом, как отражение писательского роста Флобера, сказавшегося в меняющихся откликах его критиков и ценителей.

Особый интерес представляет объемистая коллекция вырезок под общим заглавием «Памятник» («Le monument»), куда включен материал по вопросу о памятнике Флоберу, поднятому сейчас же после его смерти и остававшемуся в положении «вопроса» еще долгие годы, а также все, что писалось в прессе, когда памятник был, наконец, поставлен и открыт. Вместе с этой историей памятника Флоберу в архиве Урусова имеются отклики на нее в России, что дает возможность проводить любопытные параллели.

Из собранных в архиве вырезок выясняется вся трудность сооружения памятника тому, кого вся Франция признавала великим художником. Подписка шла плохо. Газеты иронизировали, что вся беда в пренебрежении Флобера к политике. Будь он хотя бы муниципальным советником, он бы уж давно «имел свою статую» («serait statuifié»). Государственные театры отказались поставить спектакль для сбора на памятник. У комитета шел спор с семьей Флобера, которая настаивала на передаче заказа на памятник скульптору Гильому, с самого начала предложившему безвозмездно свои услуги. Комитет, в интересах памятника, предпочитал Клезенжера (Clesinger), который уже, по собственному почину, начал лепить бюст Флобера. В извинительном письме к Клезенжеру Мопассан, тщетно старавшийся его «отстоять», рассказывает некоторые любопытные подробности: «Тургенев, которому я говорил о вашем бюсте, предложил комитету направить к вам в мастерскую нескольких своих членов, но из боязни вызвать неприятности и всяческие затруднения большинство решило примириться с совершившимся фактом и утвердить выбор семьи. Я очень огорчен этим решением». В конце концов, в 1886 г. заказ на памятник был окончательно передан Шапю; в 1887 г. его проект был утвержден, в 1888 г. модель, по сведениям газет, была готова (она изображала сидящую на краю колодца фигуру Истины, протягивавшую свое зеркало Флоберу, т. е. в сторону медальона с его барельефом). Недостающие суммы

на покрытие расходов внесены были Э. Гонкуром, Мопассаном, Золя и Додэ, и в 1890 г., наконец, состоялось в Руане открытие памятника, сделанного Шапю. За отвергнутого Клезенжера вступился журнал «Mercure de France»; в нем появилась статья за подписью К. Ж. (K. G.), вышучивавшая Гильома, который «все еще лепит шляпу Наполеона», а о памятнике Флоберу работы Шапю говорится, как о «хромолитографии в виде барельефа, освященной прошлым летом под пользительным дождем». Статья сопровождалась фотографией бюста, оставшегося «на память» у частных лиц.

Пока все это разыгрывалось во Франции, в России рассказывались небылицы о том, как за границей чтят великих людей. Урусов, любитель «перлов», все это тщательно собирал. «Живописное Обозрение» (31 мая 1880 г.) писало: «Подписка на памятник Флоберу дала в несколько дней 200 000 франков. Что же бы собрала Франция, если бы дело шло о памятнике писателю, имевшему для нее такое значение, как Пушкин для России». «Еженедельник Нового Времени» от 17 июля 1880 г. писал: «Не успело пройти месяца со смерти главы французских писателей, как автору «Бовари», «Саламбо» собираются поставить памятник в его родном городе Руане». Таких вырезок в архиве много, и они пополняются французским переводом письма Тургенева Полонскому, напечатанного в «Nouvelliste de Rouen» от 25 августа 1886 г., в котором Тургенев, возмущенный нападками, отказывается собирать в России деньги на памятник Флоберу.

Из вырезок, относящихся к открытию памятника, кроме исключительно интересного номера «Gil Blas», о котором мы уже упоминали, Урусов отмечает «очень сочувственную Флоберу, но строгую к скульптору» статью известного художественного критика Арсена Александра. Еще более объемистая коллекция вырезок посвящена «Мадам Бовари»; в ней собраны извлечения из отзывов об этом романе не только времени Урусова, но и переписанные от руки важнейшие статьи времени появления романа и времени процесса, возникшего из-за его появления.

Из всего, что нам удалось отметить из достижений Урусова и как коллекционера, и как писателя-флобериста, видна высокая ценность его труда. Остается пожалеть, что, в сущности, его работой очень мало воспользовались исследователи Флобера во Франции,—и, конечно, следует пожелать, чтобы советская наука извлекла и издала в русских переводах все, что есть ценного в шести томах «Collection Ourousof».

ПРИЛОЖЕНИЯ

НЕСКОЛЬКО НЕИЗДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ПАРИЖСКОГО АРХИВА А. И. УРУСОВА

I. СТАТЬИ А. И. УРУСОВА

1

ПАМЯТНИК ФЛОБЕРУ [СТАТЬЯ 1881 г.]

В № 267 «Русских Ведомостей» сообщается, что в ноябре в Руане состоится торжество открытия памятника Густаву Флоберу. Сначала оно было назначено на октябрь, но его вынуждены были отложить отчасти потому, что не закончены некоторые скульптурные работы, отчасти ввиду отсутствия Мопассана, который вернется из Алжира в ноябре.

Об этом памятнике и о его истории—у него уже есть история—мы можем сообщить несколько новых данных, не лишенных интереса для русских почитателей автора «Мадам Бовари».

Флобер поражен был апоплексическим ударом за письменным столом и умер 7 мая 1880 г. на 59-м году от рождения. Эта внезапная кончина человека рослого, тучного и румяного, у которого, казалось, здоровье исполинское и жизненной энергии непочатый край, произвела в Париже, по словам одного из его друзей, Анри Соареса, подавляющее впечатление: в литературных и журналистских кругах, даже в тех, которые не любили Флобера, почувствовали, что вдруг исчезла большая творческая сила. Впечатление это сказалось в целом ряде передовых статей, посвященных умершему. Как начал Флобер, так он и кончил. Дебютировал он прямо с шедевра—«Мадам Бовари», без слабых попыток и юношеских опытов. Кончил он в полном расцвете сил, без старческих немощей, когда от автора «Искушения св. Антония» и «Трех сказок» можно было ждать еще более значительных произведений. Повидимому, мысль о памятнике возникла тотчас же. Парижский корреспондент «Отечественных Записок» [июньская книжка журнала за 1880 г.] писал, что при погребении в Руане, на которое съехалось множество писателей из Парижа, тотчас же составилась подписка на сооружение памятника. То же известие подтверждало «Еженедельное Новое Время» [№ от 17 июля 1880 г.]: «Не успело пройти месяца со смерти главы французских писателей реалистов, как автору «Бовари» и «Саламбо» уже собираются поставить памятник в его родном городе Руане. Руанский городской совет постановил отвести место для памятника, и двое ваятелей вызвались безвозмездно сделать бюст знаменитого писателя». Эти известия, как видно будет впоследствии, страдали неточностями и отличались избытком розовых тонов.

1 декабря 1880 г. Ив. С. Тургенев писал редактору прекратившегося на три месяца журнала «Новое Обозрение» [т. е. автору статьи—А. И. Урусову]: «Я пошлю вам на днях небольшую статейку о подписке на памятник Флоберу» [Первое собрание писем И. С. Тургенева... Спб. 1884, стр. 367]. В то же время «Вестник Европы» [декабрь, стр. 948] возвестил о подписке на памятник Гоголю в России и Флоберу во Франции. Но несмотря на это дипломатическое сопоставление имен Гоголя и Флобера, предложение Тургенева вызвало если и не бурю, то известный враждебный гам в журналистике. И. С. Аксаков ополчился на Тургенева и грянул одною из тех филиппик, до которых, как известно, он был большой мастер. Досталось Тургеневу и за то, что он живет за границей, и за то, что он смеет предложить подписку в России, когда еще нет памятника Гоголю, когда у нее неурожай, и пошел, и пошел, забыв о русской пословице, что запрос в карман не лезет и что спрос не беда. Выходило как будто, что во всем этом виноваты Франция и Тургенев, а может быть, и Флобер. Впрочем, последний по складу своей натуры вообще едва ли был симпатичен Аксакову. «Отделка», однако, возымела свое действие. Бедный Иван Сергеевич, томившийся в Париже ужасными болями, писал 21 декабря 1880 г. тому же русскому почитателю Флобера: «Болезнь однако не извиняет меня в том, что я не сдержал своего обещания и не выслал вам статейку о Флобере. Но признаюсь вам, прием, встреченный мною у российской публики по поводу запроса нескольких грошей на его памятник, меня обескуражил. Представьте: не только [?] статьи во всех журналах, посыпались на меня негодующие, оскорбленные и просто ругающие, точно я бездельничество какое совершил. Все это вместе взятое возбудило во мне чувство гадливости».

Известно, какую дружбу питал к Флоберу Тургенев. Журналист, близко знавший его в Париже в 1879 г., Исаак Павловский, уверяет, что «Флобер был идеалом Тургенева. Он считал его сильнее всех бывших, настоящих и будущих писателей. Он перевел два рассказа Флобера—«Иродиаду» и «Св. Юлиана Милостивого», с любовью, доходившей до страсти. Он посвятил целый месяц переводу каждого рассказа, проводя часы в отыскивании точного выражения. Вот почему можно сказать, что Флобер переведен так, как никогда ни на какой язык переведен не будет».

[*В конце статьи приписка по-французски:*]

Наконец, у Флобера после десяти лет стараний будет памятник—не в Париже!—в Руане и не памятник—о нет!—а большая мраморная плита с прекрасной фигурой Истины и медальоном с мало похожим портретом Флобера. Ну уж и памятник!

2

[ОТРЫВОК ИЗ НЕЗАКОНЧЕННОЙ СТАТЬИ 1881 г.]

«Мне говорят,—пишет Золя в одном из «Парижских писем»,—что в России Дюма превозносят до небес, а между тем, там почти не знают «Мадам Бовари» и «Жермини Ласерте» Гонкуров. По правде сказать, обидно для французов редко встречать их имена в газетах, поклоняющихся кумирам дня. Что у нас Флобера почти не знают, это правда или почти правда, если бы только можно было подвести словечко «почти» к какой-нибудь мерке. Недаром же какая-то московская газетка, известная специалистка по

вопросам о протодиаконах, красном звоне и других интересных материях, выражала на-днях изумление, почему Ив. С. Тургенев стал вице-президентом комитета для сооружения бронзового бюста Густаву Флоберу. И зачем это он приглашает нас, православных русских людей, пожертвовать рубли, когда у нас дескать и своих памятников еще мало. Хотя в этом последнем обстоятельстве французы едва ли виноваты, но нельзя не согласиться с почтенной московской просвирней: тратить деньги на памятники, да еще чужие, совершенно бесполезно не только теперь, но и вообще когда бы то ни было. Есть, правда, фантазеры, утверждающие, что литература—общее достояние цивилизованных людей, что у всех народов есть нечто общее в искусстве и поэзии, что писатель, внесший новую струю в литературу, создавший типы, которые живут идеальной жизнью, живет в нашем сердце с той минуты, как мы его узнали. Но все это для большинства пустые фразы, и всегда легче будет доказать, что денег бог знает на чьи памятники давать не следует.

3

ФЛОБЕР. КРИТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК [ОТРЫВОК ИЗ СТАТЬИ 1892 г.]

Мне всегда казалось, что лучший комментарий к хорошему литературному произведению не дает столько, сколько дает прочтение его вторично. В нем самом, в его глубине, скрыты его смысл и значение. При первом прочтении захватывает фабула. Вы увлечены потоком событий. Вы взволнованы драматическими перипетиями рассказа. Вы переживаете его.

В таком состоянии читатель не может оценить богатство фантазии автора. В воспроизведении отдельных эпизодов он лишь бегло замечает тщательную выписку деталей и удивительно тонкую чеканку отдельных образов. Нужно иметь очень большое литературное чутье, чтобы с первого же разу оценить художественность вымысла и исполнения.

Вот почему почитателю Флобера как-то не хочется ни писать к нему комментарии, точно застраивать лесами готический собор, ни объяснять его красоты равнодушной к искусству публике, точно показывать этот собор зевающим туристам.

Какая надобность собирать данные об истории романа, когда сам роман может быть прочтен всяким. И что значит его история сравнительно с богатством и неувядаемой прелестью его содержания. И главное, к чему объяснять во что бы то ни стало, когда вас ничто к этому не обязывает.

Все это совершенно справедливо, и потому я долго колебался, докучать ли читателю настоящими строками или оставить всю работу втуне. Ни в интересе ее, ни в пользе я не убежден, и единственный читатель, которому она наверно доставит удовольствие, будет автор, и то потому, что какой-то назойливый голос жужжит ему: надо кончать, надо кончать. Сколько лет собирался и, наконец, кончаю. Быть может, и эта мысль очень поддерживала автора—не один читатель этого комментария бросит его на половине и, заинтересованный цитатами, прочтет или перечитает самый роман. Такой читатель поступит, конечно, лучше того, который не прочтет комментарий до конца, а до романа и не коснется. Впрочем, без основательного знакомства с текстом «Мадам Бовари» чтение моих заметок излишне. Может быть, это своего рода мания, но я должен сказать, что в течение больше четверти века я перечитывал «Мадам Бовари» бесчисленное множество раз—в последний раз летом 1892 г., и всегда испытывал то особенное умственное возбуждение, которое вызывается прикосновением к шедевру. Около десяти лет я собирал всевозможные исторические, библиографические, критические данные об этом романе—в чем я сознаюсь со всем смирением, ибо, конечно, мог употребить это время более полезным образом. Для объяснения такой странности я могу только сказать, что для меня нет в жизни более важного события, чем появление литературного шедевра.

II. ПИСЬМО И. ТЭНА—А. И. УРУСОВУ

Перевод:

Париж, 23, улица Cassotte
6 ноября 1890 г.

Милостивый государь,

Дата моей первой встречи с Флобером явствует из даты появления в свет «Саламбо»; он прислал мне свою книгу тотчас по опубликовании, и я немедленно отправился к нему с визитом, в его квартиру на бульваре Temple. Мы сразу сошлись; вскоре мы стали встречаться два раза в месяц на обедах Сент-Бёва у Маньи. Затем мы часто беседовали с глазу на глаз по три-четыре часа в его маленькой квартирке на улице

Мурильо; иногда к нам присоединялся Иван Тургенев, тогда мы вели долгие, серьезные беседы втроем.

Ввиду того, что моя корреспонденция не классифицирована, я затрудняюсь найти письмо по поводу «Госпожи Бовари», цитированное мной в «L'Intelligence», но могу почти с уверенностью сказать, что оно 1867 г. К этой дате относится начало главы, где напечатано письмо, и я тогда задавал письменно вопросы моим знакомым врачам и художникам.

Из произведений Флобера я предпочитаю «Госпожу Бовари» и «Три повести»; в других произведениях в одинаковой степени проявляются его талант и труд, но самая тема менее удовлетворительна, и общая концепция менее удачна, по крайней мере, с моей точки зрения.

Флобер принадлежит к числу пяти-шести человек наиболее мной уважаемых и любимых,—вот почему известное целомудрие мешает мне писать о нем; не следует вдаваться в анализ, когда речь идет о близком друге, даже с целью возвеличения его.

Примите, милостивый государь, уверение в совершенном почтении и симпатии преданного вам

И. Тэна

III. ДВА ПИСЬМА Г-ЖИ КОММАНВИЛЬ—А. И. УРУСОВУ

1

Перевод:

13 августа 1890 г.

Милостивый государь,

Ваше письмо я получила в Сен-Жерве, этим объясняется мой запоздалый ответ вам.

Я бесконечно сожалею, что обстоятельства лишают меня удовольствия познакомиться с вами. Ваш культ памяти моего дяди, Гюстава Флобера, трогает меня, и я была бы счастлива побеседовать с вами. Я вернусь в Париж в октябре.

Если вы когда-нибудь снова приедете к нам во Францию, я надеюсь, милостивый государь, что вы пожелаете навестить меня, и тогда вы найдете открытыми двери моего дома.

Благодарю вас за все то лестное, что вы мне говорите и чего я отнюдь не заслуживаю. Примите и т. д.

Каролина Комманвиль

Воды Сен-Жерве

Само собой разумеется, милостивый государь, что я с величайшим интересом прочту ваш труд.

2

Перевод:

Сен-Жерве, деревня в Верхней Савойе
18 августа 1891 г.

Милостивый государь,

Я с большим интересом прочла ваше письмо и очень сожалею, что не имела возможности лично побеседовать с вами; я бы смогла лучше удовлетворить ваше любопытство почитателя и коллекционера. Я могла бы, быть может, передать вам также несколько статей о «Госпоже Бовари». Все они у меня, кажется, имеются. Статья [нерзб.] поистине—шедевр буржуазности.

В качестве наследницы литературных трудов моего дяди, я являюсь собственницей всех его рукописей, начиная с тех, которые он писал в двенадцатилетнем возрасте, а также значительных материалов к предполагавшемуся второму тому «Бувара и Пекюше». Я приняла меры, чтобы эти ценные рукописи сохранились после меня, завещав их библиотекам. Что касается заметок к «Бувару и Пекюше», то я думала было выпустить их вместе с изданием романа; они были даны на просмотр Ги де Мопассану, но он отказался от публикации их, хотя более, чем кто-либо, мог это сделать, ввиду того, что ему прекрасно знаком план его учителя*. Однако, я не думаю отказаться от своего намерения.

Что касается писем, то, считая себя выше людей ограниченных или злонамеренных, я буду продолжать предпринятый мной труд; если бы не смерть мужа, я подготовила бы том прошлой зимою.

---

* Я опубликовала отрывки в книге под заглавием: «Par les champs et les grèves» («По полям и берегам»).

Я намерена также собрать все портреты дяди (у меня имеются его портреты, начиная с детских лет). Я хочу приложить их к нескольким страницам моих интимных воспоминаний, и, пока не издана эта брошюрка, я не могу дать разрешения на опубликование портретов, еще ни разу не появившихся в печати.

Вы поймете поэтому, я надеюсь, что я не могу дать согласия на воспроизведение фотографического портрета, сделанного Кайо (Cayot). Что касается факсимиле автографа, то я не возражаю и очень благодарна вам за ваше любезное желание предоставить мне это письмо для моего сборника. Мне его передал г-н Поплен (Popelin), и я сняла с него копию. У меня имеется несколько дядиных писем; возможно, что есть и то, о котором вы говорите.

Кажется, я ответила на все ваши вопросы.

Надеюсь, вы извините мое честолюбивое желание первой познакомить читателей с полной иконографией Г. Флобера; еще раз выражаю свои сожаления, что не могу быть вам полезной. Примите и т. д.

Каролина Комманвиль

У меня находится также библиотека дяди. Она состоит приблизительно из 3000 томов, но каталога к ней у меня нет.

IV. ДВА ПИСЬМА Ш.-Ф. ЛАПЬЕРА—А. И. УРУСОВУ

Перевод:

1

Le Novelliste de Rouen,
1, rue St. Etienne des Tonneliers

Руан, 21 февраля 1891 г.

Милостивый государь,

Я был близким другом Флобера, и моя семья—единственная [в Руане], у кого он бывал и где выказывал всю оригинальность и неисчерпаемые богатства своей натуры. Этим объясняется сочувствие, с каким я спешу предложить вам свои услуги в деле собирания документов, которые пригодятся для вашего ценного труда о том, кого мы фамильярно называли «наш великий Фло»; он подписывался также «Святой Поликарп» после одного случая, упоминаемого мною в биографическом очерке.

Три обстоятельства дали пессимистическое направление его таланту: болезнь в юности, от которой он вылечился, но которая обострилась в последние годы жизни вследствие крупных неприятностей, и умер он от удара на почве эпилепсии; связь с г-жой Л. Коле, дрянью, на долгое время сделавшей его женоненавистником, и, наконец, потеря его маленького состояния, неосторожно вложенного в дело племянника, не отличавшегося честностью. Пессимизм, проявляющийся уже в «Воспитании чувств», еще более подчеркнут в последнем его произведении, «Бувар и Пекюше»; он сам говаривал, что после опубликования книги его придется поместить в Шарантон [городок департамента Сены, известный находящимся там домом умалишенных].

Впрочем, я не имею претензии предложить вам критические заметки. У меня имеются, главным образом, воспоминания, и некоторые из них помещены мною в издании, которое я вам послал и которое является лишь отдельно опубликованной главой большого иллюстрированного труда о Нормандии. Это рассказ о Флобере в белом доме в Круассе и в Руане, среди редких друзей, неизвестном большинству своих сограждан, лучше знавших его брата—врача. Я даю вам самую точную картину его жизни и быта.

Вы говорите о воздвигнутом ему памятнике и о подписке. Я получил сто франков, которые вы послали Мопассану. Подписка покрыла расходы по сооружению памятника, за который Шапю потребовал 12000 франков (по счету уплачено). Должен сказать, что Шапю был весьма благороден, так как за цену, какую стоит камень, дал нам каррарский мрамор. Хоть и воздают должное таланту художника, но замысел отнюдь не нравится; совершенно справедливо считают, что скульптор ради фигуры прелестной женщины слегка пожертвовал главным персонажем, сведя его место к скромному простому медальону, да и то мало похожему. Как вы остроумно заметили, это не столько Флобер, сколько, в некотором роде, Жюль Сандо (после Жорж Санд, разумеется) в сочетании с Бисмарком. Всему виною комитет, члены которого никак не могли собраться: Гонкур дулся, Золя ничем не интересовался, Мопассан путешествовал, я хворал и сносился из Ниццы и других мест с Шапю лишь письменно, когда ему уже предоставили действовать по своему усмотрению. В сущности, художник навязал свой проект. Но публика считает, что настоящего памятника еще нет.

Церемония открытия, на которой я не мог присутствовать, хотя и был вице-президентом, была мало торжественной. Я лежал в постели. Ввиду отсутствия ярких

речей, похоже было на траурное торжество, проведенное на скорую руку. Парижане не побеспокоились. И не мудрено! Не было ведь ничего интересного в смысле политики.

Благодаря Флоберу, я, разумеется, знал и Тургенева; трудно вообразить нечто более трогательное, чем дружба этих двух гигантов: Тургенев—мягкий, утонченный и грустный, сравнивающий себя с жирным цыпленком, неосторожно выпущенным на свет божий, Флобер—буйный, особенно после того, как кончался период работы, когда он замыкался от всего мира, зачастую возмущенный, мечтающий о неведомых казнях для политиков и глупцов, которых он отождествлял. Вижу словно сейчас, как он ежегодно приходит к своему другу в день его рождения с бутылкой Редерера в кармане шубы, как проводит с ним день в Круассе, где, по его выражению, они «упивались» литературой.

Мне незнаком бюст, находящийся у Шарпантье, работы скульптора—русского еврея [Л. Бернштама].

Вы спрашиваете, найдется ли в Руане переписчик, который мог бы наводить для вас справки и делать копии. Дня через три-четыре у меня будет возможность дать вам соответствующее указание. В остальном вы можете вполне располагать мною, если вам нужны будут те или иные сведения.

Примите, милостивый государь, уверение в самых лучших чувствах.

Ш.-Ф. Лапьер

22, Rue Nationale

2

Перевод:

Руан, 27 мая 1891 г.

Милостивый государь,

Прошу у вас прощения за запоздалый ответ на ваше последнее письмо, но я был болен. Я нашел вам переписчика, который должен был непосредственно снестись с вами. Я его больше не видел. Писал ли он вам?

Теперь я по пунктам отвечу вам на вопросы:

1. Флобер не изучал медицины, равно как и права, в чем могу вас уверить. Путешествовать он начал в ранней юности.

2. Секретарь, о котором вы говорите, мог быть лишь случайным, так как я никогда не видал его, несмотря на интимные и постоянные сношения с Флобером; я, конечно, читал письмо, опубликованное им в одной газете в период открытия памятника. Там имеется несколько точных деталей, но другие меня поразили; я лишь наполовину верил бы полученным от него [Гашо] сведениям.

Я не знаю никакой истории с пальто и никогда не видел пресловутой черной доски.

3. Племянник, о котором я вам говорил, действительно Комманвиль, муж племянницы Флобера, которую он воспитывал и учителем которой был Луи Буйе. Комманвиль торговал лесом на севере и, запутавшись в спекуляциях, вынужден был просить поручительства Флобера, потерявшего во время краха свое маленькое состояние.

4. Сознаюсь, только под влиянием клики Додэ я заметил в своем письме, что Флобер должен быть счастлив, так дешево отделавшись. Имперский прокурор, нормандец Кордоэн, действовал в его пользу, несмотря на старания прокуратуры.

Флобер не простил обвинявшему его товарищу прокурора, П и н а р у, банкиру, ставшему впоследствии министром, как и П е к ю ш е, который вмешал его в дело против Комманвиля.

Что касается Б у в а р а, то он был тенором, а затем театральным режиссером; имя его поразило Флобера.

Готовый дать все необходимые вам сведения, прошу принять уверение в совершенном моем почтении.

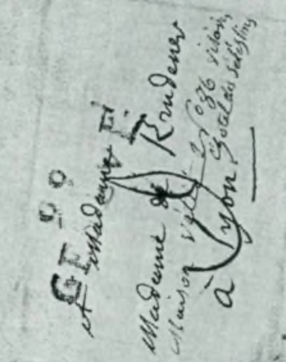
Ш.-Ф. Лапьер

НОВЫЕ ТЕКСТЫ ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

4. Genève ce 1er fevrier

je ne puis concevoir madame, ni ce qu'on vous a
dit ni quelle est la personne qui vous l'a dit
je n'ai jamais parlé de vous qu'avec le plus
tendre interet, j'ai cru par quelques mots de
camille et de mr de chateaubriand qu'une
tracasserie m'avoit été faite avec eux et je
n'ai pas encor cherché à l'éclaircir parce
que je hais les tracasseries et que je trouve
qu'on les multiplie en s'en occupant mais
je serois pourtant curieuse de savoir qui
vous dit que je dis mal pour vous qui le dit
à mr de chateaubriand à camille &c
c'est un moyen bien misérable et dont
il me sembloit que ma conversation
qui ne porte presque jamais sur les noms propres
devroit me mettre à l'abri — je vous
remercie cependant de tout mon coeur de
m'avoir écrit avec la sincérité qui vous
caractérise mais convenez qu'il est bien
aisé de brouiller par de tels moyens c'est
un tour si facile que l'on ne devroit pas s'y
laisser prendre — j'espere vous voir à paris
et j'ose me flatter qu'en causant vous
me retrouverez telle que vous avez bien voulu
me juger. il est très vrai que c'est votre
danse et celle de juliette qui m'a donné
l'idée de celle de delphine il n'y a pas
de mal à cela ce me semble je n'ai
d'ailleurs éprouvé aucun changement dans ma
disposition pour vous et plus je vous verrois plus
il me seroit impossible de cesser de vous
aimer.

N. Staël de H.



АВТОГРАФ ПИСЬМА Г-ЖИ ДЕ СТАЛЬ К Ю. КРЮДЕНЕР ОТ 1 ФЕВРАЛЯ 1803 г.
Публичная библиотека, Ленинград

НОВОНАЙДЕННЫЕ АВТОГРАФЫ РУССО

Публикация В. Измаильской

Закончившееся в 1934 г. в Париже издание двадцатитомного собрания переписки Ж.-Ж. Руссо включает около 3000 его писем и свыше 1000 писем, адресованных к нему. Подготовлявшееся в течение почти 60 лет известным руссоведом Теофилом Дюфуром, оно вышло уже после его смерти, под редакцией продолжателя его дела, Пьера-Поля Плана, сохранившего на издании имя Дюфура. Со времени издания писем Руссо, выпущенного Мюссе-Патэ (Musset-Pathay) в Париже в 1825 г., его переписка в более поздних публикациях не подвергалась, до издания Дюфура, каким-либо значительным изменениям. Издание же последнего пополнено 600 новыми письмами, а все опубликованные ранее письма Руссо были Дюфуром тщательно сверены с автографами, черновиками, копиями и первопечатными текстами. При этом Дюфуром были использованы и связанные с Руссо документы, находившиеся в русских собраниях. Несмотря на это, редакции «Литературного Наследства» удалось обнаружить в архивах Ленинграда и Москвы автографы семи писем и одной расписки Руссо, оставшиеся неизвестными Дюфуру. Четыре из этих автографов не были вовсе опубликованы. Тексты остальных четырех писем известны, но они были напечатаны Дюфуром по черновикам и копиям. Опубликование этих последних документов на основании автографов дает возможность внести некоторые уточнения, дополнения и поправки в их печатные тексты.

Публикуемые письма относятся к 1754—1765 гг., наиболее значительным и творчески напряженным в жизни Руссо. В этот период им были созданы и появились в печати такие произведения, как «Речь о возникновении неравенства между людьми», «Новая Элоиза», «Эмиль», «Общественный договор», «Письма с горы». Эти годы расцвета его творчества и славы были одновременно годами борьбы, преследований и гонений. Публикуемые письма дают интересный материал для выявления облика Руссо именно этого времени. Два из впервые публикуемых писем, в частности, связаны с крупными фактами литературной деятельности Руссо—с публикацией его «Речи о происхождении неравенства между людьми» (письмо к г-же Левассёр, 1754) и историей создания «Писем с горы» (письмо к Л. Устери 27 сентября 1764 г.).

Записка к г-же Левассёр, матери будущей жены Руссо, Терезы Левассёр, любопытна также и потому, что она является первым и единственным до сих пор обнаруженным письмом к ней.

Все ссылки и цитаты из писем Руссо и его корреспондентов в настоящей работе сделаны по последнему изданию переписки Руссо: «Correspondance Générale de J. J. Rousseau, collectionnée sur les originaux, annotée et commentée par Théophile Dufour, librairie Armand Colin. Paris, 1924—1934».—Указывается сокращенно Corr. Gén.

Помещаемые автографы Руссо расположены в хронологическом порядке. В приложении мы печатаем письмо Терезы Левассёр—вдовы Руссо—к Екатерине II, обнаруженное и сообщенное нам Е. В. Александровой.

1. [Г-же ЛЕВАССЁР]

[Около 1 июня 1754 г.]

Попросить г. Мюссара написать самым точным образом свой адрес для того, чтобы мои письма, которые я буду посылать почтой, наверное бы до него доходили; прислать мне этот адрес в вашем первом письме.

Предупредить того же г. Мюссара, что г. Дидро должен к нему зайти и что я прошу его дать ему [Дидро] настоящую рукопись для просмотра. После этого пусть г. Мюссар будет добр оставить рукопись у себя и распорядиться ею, как я ему укажу в письме, если он захочет оказать мне эту любезность.

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. Собрание Ваксели, № 15.

Датировка и адресат записки определяются по двум связанным с нею по содержанию письмам Руссо к своему близкому другу и родственнику, Франсуа Мюссару (Corr. Gén., II, №№ 165—168). Первое письмо к Мюссару (Mussard), от 9 июня 1754 г., было отправлено Руссо из Дижона, по пути в Женеву, куда он выехал 1 июня 1754 г. вместе со своей постоянной спутницей и будущей женой, Терезой Левассёр (Levasseur). В письме Руссо просит передать оставленный им у г-жи Левассёр (матери Терезы) пакет с рукописью своему «другу», т. е., как мы теперь знаем, Дидро, на просмотр. Адресуя письмо по неточному адресу Мюссара (Près les anciennes eaux à Passy), Руссо, как и в публикуемой записке, и даже в тех же выражениях, высказывает Мюссару просьбу оставить свой адрес, только на этот раз не у Левассёр, а у книгопродавца и первого издателя Руссо—Писсо (Pissot). Тут же он дает Мюссару обещанные им ранее в записке подробные указания относительно дальнейшей судьбы рукописи. Таким образом, пакет с рукописью мог быть передан Руссо г-же Левассёр перед отъездом в Женеву (т. е. до 1 июня 1754 г.), и само собой напрашивается предположение, что записка была обращена к г-же Левассёр и оставлена у нее при пакете в качестве письменной инструкции для нее.

Второе письмо к Мюссару, от 6 июля 1754 г., отправленное уже, повидимому, по получении точного адреса на имя зятя Мюссара, г. Вальмалетта, на улице Моконсейль в Париже, также содержит указание на рукопись, оставленную Руссо в Париже для передачи Дидро. В нем Руссо уже высказывает удовлетворение по поводу того, что сочинение понравилось и Мюссару и «другу», т. е. Дидро, которому он его передал.

Датировка записки помогает установить, о какой именно рукописи Руссо идет речь в ней. К этому времени относится его знаменитая диссертация на тему «О причинах возникновения неравенства между людьми» — вторая диссертация, написанная на конкурс Дижонской академии. Упомянутое письмо к Мюссару от 6 июля 1754 г., со своей стороны, дает основание утверждать, что рукопись, оставленная Руссо у г-жи Левассёр, была именно этой самой «Речью о возникновении неравенства». Руссо намекает в этом письме на содержащуюся в оставленной им рукописи скрытую полемику по вопросам искусства и театра. Взгляды Руссо по этим вопросам, высказанные им ранее, в предисловии к пьесе «Нарцисс», были углублены и развиты им именно во «Второй речи».

2. [ДАНИЭЛЮ РОГЕНУ]

Монморанси, 14 сентября 1761 г.

Вы не могли бы, мой дорогой и почтенный друг, прислать мне более прискорбной вести, чем сообщение о вашем близком отъезде. Как! Вы боитесь холодов и при наступлении зимы отправляетесь проводить ее в климате гораздо более суровом, чем наш здешний. Почему бы вам не подождать весны? Ваше переселение произошло бы в благоприятное время года, и, может быть, я имел бы удовольствие сопровождать вас, так как более, чем когда-либо, питаю намерение если не совсем обосноваться в Швейцарии, то хотя бы совершить туда путешествие. Печаль-

ное состояние моего здоровья делает ныне выполнение этого проекта невозможным, но либо он будет осуществлен в ближайшем году, либо вовсе не осуществится. Мне кажется, мой добрый друг, что, если бы я мог мирно провести остаток дней своих подле вас, вдали от людской суеты, вдали от докучных людей, в полной безвестности, я был бы безмерно счастлив. Подумайте об этом, умоляю вас. Что до меня, я думаю об этом всерьез и в душе твердо решил либо последовать за вами, либо посетить вас в мае месяце, только бы зима оставила мне надежду перенести это путешествие. Поскольку я надеюсь время от времени иметь от вас известия и не прерывать с вами сношений, я рассчитываю, что мы не раз еще вернемся к разговору об этом путешествии, по поводу которого я, в своих мечтах, строю восхитительные воздушные замки, и притом близ Ивердена*. Так как, судя по вашему письму, вы остаетесь здесь до начала будущего месяца и так как я представляю себе также, что подобное переселение на новое местожительство должно доставить вам много хлопот, я сделаю, если только буду в состоянии, то, что вам теперь сделать будет неудобно. Итак, не очень удивляйтесь, если вдруг в один из ближайших дней вы очутитесь у себя дома, на улице Кокерон, в объятиях самого признательного, самого нежного и верного из своих друзей.

Ж. Руссо

Мадемуазель Левассёр весьма тронута оказанным ей вниманием, покорнейше благодарит вас за него и просит принять уверение в совершенном своем почтении. Кстати, я не понимаю, почему это вы постоянно оплачиваете почтовые издержки своих писем? Я теперь вполне в состоянии принять на себя этот небольшой расход и уверяю вас, что ни на какой другой не согласился бы с более легким сердцем.

P. S. Особенно прошу держать все втайне.

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. Собр. Андреева.

В коллекции А. Моррисона в Лондоне, вместе с более поздним письмом Руссо к Даниэлю Рогену (Corr. Gén., XV, № 2934), хранится 4-я страница одного из писем Руссо с собственноручно написанным им адресом: «Г-ну Рогену на улице Кокерон в Париже» и почтовым штемпелем: «Enghien-Les-Paris» (Ангиен; другое название местности — Монморанси). На этом листке другим почерком карандашом сделана помета: «Из Монморанси 14 сентября 1761 г.», на основании которой Т. Дюфур высказал предположение о существовании необнаруженного письма Руссо к Рогену (Corr. Gén., VI, № 1129).

Совпадение даты и места отправки публикуемого нами автографа (14 сентября 1761 г., Монморанси), его содержание и, наконец, внешний вид (он представляет собою 1-ю и 2-ю страницы разорванного на две части письма) дают все основания считать, что это и есть то самое письмо Руссо к Д. Рогену, страница с адресом которого хранится в Лондоне и о существовании которого предполагал Дюфур.

Одно из своих писем к Д. Рогену Руссо считал затерявшимся на почте. Его-то Дюфур идентифицировал с необнаруженным тогда и публикуемым теперь нами письмом. Однако, сопоставление содержания пропавшего письма, которое Руссо повторил в письме к Рогену от 16 октября (Corr. Gén., VI, № 1146), с данным не позволяет отождествлять эти письма.

Адресат письма, Даниэль Роген (Roguin), — старинный друг Руссо, оказывавший ему еще в годы его безвестности в Париже материальную поддержку (Corr. Gén., I, № 94). Говоря в письме 1761 г. (Corr. Gén., VI, № 1205) о двадцатилетней,

* Непереводимая игра слов: «châteaux en Espagne»—значит воздушные замки, дословно—замки в Испании; Руссо поэтому пишет, что замки строит не в Испании, а близ Ивердена, в Швейцарии, на родине адресата.

а в письме 1766 г. (Corr. Gén., XV, № 2991) о двадцатипятилетней связывавшей их дружбе, Руссо сам определяет начало знакомства с Рогеном 1741 г., т. е. относит его еще к первому приезду своему в Париж.

Д. Роген—родом из Ивердена в Швейцарии; в молодости офицер голландской службы. Впоследствии, оставив службу, поселился в Париже. Был в приятельских отношениях с Дидро. В годы пребывания Руссо в Монморанси Роген вместе с Леньепсом и Куанде были единственными близкими людьми, оставшимися у Руссо из прежних парижских друзей. Поэтому он с таким искренним огорчением принял весть об отъезде Рогена в Швейцарию.

Postscriptum этого письма говорит о державшемся пока в секрете намерении Руссо переселиться из Монморанси в Иверден. Спустя девять месяцев, декрет французского правительства об аресте автора «Эмиля» принудил Руссо, уже не по доброй воле, осуществить это намерение и в ночь на 9 июня 1762 г., тайно покинув Монморанси, искать убежища у своего друга Рогена в Ивердене. Но, преследуемый также и бернским правительством, Руссо мог провести в Ивердене всего лишь несколько недель (с 14 июня по 9 июля 1762 г.).

3. БАНКИРУ ЛЕНЬЕПСУ

Мотье, 9 января 1763 г.

Больше с огорчением, чем с удивлением, узнал я, мой добрый друг, о перемене религии г. Ламбером. К этой уловке он, разумеется, должен был прибегнуть, и я прекрасно понимаю, как это должно сказаться на исходе вашей тяжбы с ним. Ах, дорогой Леньепс! Для успеха в делах хорошо быть лицемером, пройдохой и лжецом. Против таких людей не издают декретов, и такие люди в редких случаях проигрывают процессы. От всего сердца желаю, чтобы ваш процесс с ним [Ламбером] закончился в вашу пользу. Но мне представляется чрезвычайно трудным, чтобы честный человек, особенно во Франции, мог выиграть дело.

Я очень тронут всеми любезностями г. Латура. Этот человек достоин такого глубокого уважения, что свидетельства дружбы, им оказываемые, всегда делают честь тому, кто их получает. А я уже так много получал их, что они навсегда оставят в моем сердце благодарную память. Я очень рад, что он согласен руководить изготовлением гравюры с моего портрета; это оградит его произведение от искажения; но очень трудно избежать этого, если гравюра должна быть такого малого формата, чтобы она могла поместиться в книге. И хотя при нынешних обстоятельствах я ничего не имею против того, чтобы мой гравированный портрет появился в Париже, все же, если бы это зависело от меня, я никогда не поместил бы его впереди текста моих сочинений. К несчастию, со мной советуются об этом не больше, чем о самом собрании сочинений, и господа де Лапорт и Дюшен распоряжаются моей собственностью так же непринужденно, как своей. Комплимент г. аббата де Лапорта по поводу моего письма, которое он так развязно у вас просит, походит на развязность человека, похитившего у вас кошелек и явившегося бесцеремонно спросить вас, не оставил ли он вам по ошибке нескольких экю. Вы знаете, дорогой друг, что единственным источником средств, который я для себя приберег, чтобы иметь кусок хлеба, было полное собрание моих сочинений. Эти господа, отнимая у меня этот источник, делают все от них зависящее, чтобы заставить меня или умереть с голоду или просить милостыню, чего я твердо решил никогда не делать. И если аббату де Лапорту, который мне ничем не обязан и с которым я не имел никаких сношений, я могу поставить в упрек лишь этот единственный грубый и непорядочный поступок, то г. Дюшен ведет себя в этом деле очень недобросовестно и проявляет большую не-

благодарность. Так, обратившись ко мне несколько времени тому назад с письмом, он остерегся сказать мне что-либо об этом предприятии. Одно уж это молчание показывает, что он сам обо всем этом думает. После того, как мои книги были сожжены в Париже, я не могу противиться тому, чтобы их там печатали, но если эти господа заходят так далеко, что вовсе не желают считаться с автором, пусть они не рассчитывают на то, что я буду молчать и еще до выхода издания в свет не выскажу публично своего к нему отношения. Воздержитесь, прошу вас, по крайней мере, до получения от меня нового извещения, от передачи им вышеупомянутого письма; но если бы вы могли на досуге прислать для меня лично с него копию, вы бы сделали мне большое одолжение.

Ж.-Ж. РУССО
Миниатюра на кости неизвестного художника французской школы XVIII в.
Эрмитаж, Ленинград

Возвращаясь к г. Латуру, должен сказать, что, не желая быть нескромным, я тем более не могу принять от него в подарок портрет, который он писал в Монморанси, что он уже подарил мне с него копию, им же самим и столь превосходно сделанную, и за свой счет поместил ее в раму и под стекло. Я же и по сию пору не выполнил по отношению к нему своих обязательств, хотя бы по возмещению издержек. Этот портрет находится в кабинете маршала де Люксанбура, которому угодно было оказать ему сию честь после того, как сам он, в свою очередь, как вы знаете, подарил мне свой портрет. Посудите сами, могу ли я после этого принять в подарок еще один портрет? Это не значит, что, будучи его обладателем, я не нашел бы для него подходящего и даже важного применения. Но так как ничто не дает права на скверный поступок и так как то, что было вначале проявлением дружбы, стало бы в таких условиях низо-

стью и жадностью с моей стороны, я прошу вас выразить г. Латуру мою живейшую и нежнейшую признательность за предложение второго дара и просить его, при этом, не поднимать об этом больше речи.

Я полагаю, что г. Байо не замедлит отбыть к вам. Как бы то ни было, прошу вас, когда вы будете писать нам обоим, не слать больше писем на его имя, а лучше на мое. Я не поддерживаю с ним никаких сношений, и мне неприятно пользоваться его услугами. Мне очень досадно, дорогой друг, что вы вынуждены один нести почти все расходы по нашей переписке. Но я предоставляю вам это делать, поскольку иначе нельзя и поскольку у меня нет иного способа устранить это неравенство, как лишь вернув вам свой долг, на что вы не согласитесь.

Прощайте, мой добрый, дорогой друг. Обнимаю вас. Я все время хвораю; среди ваших огорчений старайтесь, по крайней мере, сохранить свое здоровье лучше, чем это делаю я.

Руссо

Адрес: Господину банкиру
Леньепсу
на улице Савуа, в Париже

Почтовый штемпель:
«Pontarlier»

На том же последнем листе письма зачеркнутая помета Руссо: «Fr-o. Pontarlier» и, вероятно, помета Леньепса: «Руссо, Мотье, 9 января 1763 г.; получено 13 янв., отв. 15 февр. [дата ответного письма Леньепса, действительно, помечена 15-м февраля], пол. [?] 22 февр.». На первом листе сбоку неизвестной рукой: «тридцать девятое».

Автограф.—Институт Маркса—Энгельса—Ленина, Москва.

Настоящее письмо было впервые опубликовано лишь в 1927 г. по копии, снятой с оригинала в 1795 г. (Corr. Gén., VIII, № 1650). Помета «тридцать девятое», сделанная на автографе, указывает, что оно было тридцать девятым из числа пронумерованных сорока шести писем Руссо к Леньепсу. Копии с этих писем, снятые наследниками Леньепса в 1795 г. для представления в Конвент, от которого они хотели получить субсидию на издание этих автографов, в настоящее время принадлежат П.-П. Плану. Что же касается подлинников, то можно думать, что, не получив от Конвента субсидии на издание писем Руссо, наследники Леньепса распродали автографы поодиночке. Таким путем, в течение XIX в. часть их появилась на аукционах (Corr. Gén., II, № 147). Из сорока шести писем лишь двенадцать известны в автографах и использованы Дюфуром при издании в Corr. Gén. Наше письмо увеличивает число этих автографов до тринадцати. Копии с писем были сделаны весьма тщательно, и текст публикуемого нами письма, напечатанного с такой копии, никаких существенных различий с автографом не имеет.

Адресат письма Леньепс (Lenieps Туссен-Пьер, 1694—1774)—женевский банкир, земляк и друг Руссо. Был поверенным во всех его литературных делах. Соединяла их и некоторая общность судьбы. За принадлежность к так называемой «народной» партии, которая уже с 1731 г. повела борьбу с «аристократической», Леньепс должен был эмигрировать из Женевы и жил в Париже таким же изгнанником, преследуемый и в изгнании, как и Руссо в Мотье. Начало их переписки относится к 1752 г. После смерти дочери Леньепс вел долгую тяжбу со своим зятем Ламбером из-за оставленного в пользу малолетнего внука наследства. Одной из уловок Ламбера, при этом, была перемена религии, так как путем присоединения к господствующей во Франции католической церкви Ламбер надеялся получить преимущество перед своим тестем в глазах французского суда.

Латур (Latour Мари-Квентин, 1704—1788)—знаменитый художник-пастелист, оставивший после себя целую галлерею портретов своих современников, в том числе портреты Дидро, Вольтера, г-жи Жоффрен и других. Латур—давний знакомый Руссо. С ним Руссо встречался еще при жизни Мюссара в доме последнего и ценил художника не только за талант и благородство натуры, но и за сочувствие своим взглядам.

à Motiers-travers le 6. avril 1764. 3.

Assurément, Madame, vous serez une bonne mere, et avec le zèle que vous marquez pour les devoirs attachés à ce titre, c'eut été grand domage que Monsieur Roguin ne vous eut pas mis en état de les remplir. Vous vous inquiettez déja de l'attitude à donner à votre enfant, du tems où vous pourrez commencer à le baigner dans l'eau froide, de la maniére de parvenir graduellement à lui couvrir la tête, et il n'est pas encore né! C'est, Madame, une sollicitude maternelle très bien placée à certains egards, d'autres un peu précoce, mais fort louable en tout sens et qui mérite bien que j'y réponde de mon mieux.

En prémier lieu il importe peu que l'enfant soit dans un panier d'osier ou dans autre chose, pourvu qu'il soit couché peu mollement, un peu de biais, et souvent au grand air. S'il est en liberté, il ne tardera pas d'acquerir la force nécessaire pour se donner l'attitude qui lui convient, et d'ailleurs il ne sera pas toujours couché, puisqu'une aussi bonne nourrice que vous voulez l'être, daignera bien le tenir quelquefois dans ses bras.

Vous me demandez à quel âge on peut commencer à le baigner dans l'eau froide: à sa naissance, Madame. Le genre du monde Chrétien, savoir tous les Russes et la pluspart des Grecs baptisent leurs enfans nouveaux nés en les plongeant trois fois de suite dans l'eau toute froide, et même glacée. Faites de même; baptisez votre enfant par immersion deux fois par jour, et n'ayez pas peur des rhumes.

Vous songez de loin au tems de lui couvrir la tête, mais pourquoi lui couvrir la tête? Je n'en vois jamais la necessité si c'est un garçon: si c'est une fille, il sera tems d'y songer à sa prémiére communion, et cela moins pour obéir à la raison qu'à St. Paul, qui ne veut que dans l'Eglise les femmes aient la tête couverte. A la bonne heure donc, puisque St. Paul le veut ainsi. Mais le reste du tems qu'elle soit toujours coëffée en cheveux, jusqu'à l'age de trente ans, qu'une pareille coëffure devient indécente et ridicule dans une femme.

Comme un exemple dit plus que tout ceci qui sont pages d'application, je joins ici l'extrait d'un Mémoire où vous pourrez voir en faits les solutions de vos difficultés. Quoique les Sophies et les Emiles soient rares, comme vous dites fort bien, Madame, il s'en éleve pourtant quelques uns en Europe, même en Suisse, et ce qui est encore plus étonnant, même à votre voisinage. Le succès promet déja aux dignes peres et méres le prix de la tendresse qui leur fait supporter les soins d'une Education si pénible, et du courage qui leur fait braver les clabauderies des sots, des gens d'Eglise, et les ricanneries encore plus sottes des beaux-esprits.

Si vous voulez, Madame, faire par vous même les observations nécessaires, prenez la peine d'aller près de Lausanne voir M. le Prince de Wirtemberg; c'est sa fille dont il s'agit dans le Mémoire, et s'il vous faut là-dessus des applications plus détaillées, consultez l'illustre M. Tissot. Vous renvoyer à ses avis est le meilleur que je puisse vous donner. Agréez, Madame, je vous supplie, mes salutations et mon respect

J. J. Rousseau

Extraits
d'un Memoire sur l'état d'un Enfant, reçu en 8bre 1763. 4.

Dans quatorze jours ma fille aura quatre mois complets. Elle est bien constituée &c...

Tous les matins nous baignons la petite dans l'eau de fontaine la plus froide, et après l'avoir essuyée légérement on la laisse nue une partie de la matinée. Nous la promenons de la sorte au grand air quelque tems qu'il fasse, et elle y est déja tellement accoutumée, que la bise même ne l'éprouve plus.

Nous ne lui couvrons jamais la tête, et elle ne porte ni gands ni bas. Une petite chemise fort ample et ouverte sur la poitrine lui sert de vêtement.

Son lit est composé d'une paillasse et d'un satin, et elle ne se trouve jamais mieux couchée que quand nous étendons son petit lit sur l'herbe; car elle aime prodigieusement le grand air. Aussi nous étonne-t-elle chaque jour du progrès de ses forces; elle se tourne déja fort librement sur le côté, et même elle est déja parvenue à se lever sur son séant.

Après tout ce que je viens de dire vous comprendrez aisément que sa santé est très bonne ...... elle ne pleure jamais; au contraire, elle rit à tout venant.

Le chaud le froid, la pluye le vent le tonnerre, rien de tout cela ne l'étonne, ni ne lui fait peur. &c. —

A Madame
Madame Roguin
née Bouquet
A Rolle

АВТОГРАФ ПИСЬМА РУССО К Г-ЖЕ РОГЕН ОТ 6 АПРЕЛЯ 1764 г. И ПРИЛОЖЕННОЙ К НЕМУ ВЫДЕРЖКИ ИЗ „ЗАПИСКИ О СОСТОЯНИИ РЕБЕНКА“

Исторический музей, Москва

Портрет Ж.-Ж. Руссо, исполненный Латуром, появился в Салоне в 1753 г.; ныне в Сен-Кентенском музее находится портрет Руссо, взятый из мастерской художника после его смерти и являющийся, по всей вероятности, одной из авторских копий; первая, сделанная в 1757 г., была подарена художником Руссо, в свою очередь, передавшему ее своему покровителю, герцогу де Люксанбуру (Corr. Gén., III, № 389; ср. «Исповедь», СПб. 1898, кн. X). В 1761 г. Руссо дал Латуру согласие на изготовление гравюры с этого портрета, но с условием, что под ним будет подписан лишь его девиз, а не его имя (Corr. Gén., XIII, № 1617). Этим разрешением, данным Руссо Латуру, воспользовались издатели Руссо—аббат де Лапорт (Laporte) и Дюшен (Duchesne)—для того, чтобы поместить гравированный портрет Руссо в собрании его сочинений, раскрыв, тем самым, и имя обладателя девиза. Из публикуемого письма видно, что Руссо не воспрепятствовал этому намерению, а его переписка 1762—1764 гг. с издателями его сочинений, с Леньепсом, г-жой Буа де Латур и Рейем, в значительной степени посвящена вопросу гравирования портрета и выбору гравера. В то время, когда в Париже гравировался портрет, Латур выразил через Леньепса желание переслать Руссо в подарок вторую написанную им с его портрета копию (Corr. Gén., VIII, № 1628). Несмотря на отказ от подарка, который содержит наше письмо, Руссо все же через год согласился принять портрет и очень дорожил им (Corr. Gén., XII, №№ 2253, 2255 и 2256).

Об издании сочинений Руссо, выпущенном книгопродавцем Дюшеном и аббатом де Лапортом—лучшем прижизненном издании сочинений Руссо,—известно следующее: в 1762 г., по предложению герцогини де Люксанбур, Дюшен издал в Париже «Эмиля» Руссо. Летом того же года Парижский парламент потребовал сожжения книги рукою палача, а в сентябре Леньепс предупредил Руссо, что в Париже тот же Дюшен, совместно с аббатом де Лапортом, затевает издание собрания его сочинений (Corr. Gén., VIII, №№ 1595, 1648).

О проекте этого издания Дюшен написал Руссо 8 января 1763 г., объяснив ему, что переиздание его сочинений предпринято с одобрения герцогини де Люксанбур и с молчаливого согласия Мальзерба (цензора) и вызвано необходимостью изъять из употребления появившиеся в других городах двухтомные издания его сочинений, полные ошибок и неточностей и вышедшие в свет без ведома автора.

Это разъяснение Дюшена все же не рассеивало неприятного для Руссо впечатления, что его сочинениями распоряжаются лица, права на это не имеющие. Но он покорился, потребовав от своих издателей лишь оговорки в предисловии, что издание выходит без участия автора. Тем не менее, жалобами Руссо на Дюшена и де Лапорта, и в тех же выражениях, с упоминанием о «куске хлеба» и «милостыне», что и в нашем письме, пестрят и другие письма Руссо того же периода.

Письмо Руссо, которое аббат де Лапорт просил у Леньепса,—очень подробное письмо к Леньепсу от 5 апреля 1759 г. о злоключениях автора с пьесой «Деревенский колдун» и о его взаимоотношениях с издателями Писсо и Рейем. Руссо разрешил Дюшену, в конце концов, напечатать это письмо. Автограф его хранится в Публичной библиотеке в Ленинграде и опубликован Дюфуром (Corr. Gén., IV, № 620). Это письмо не входит в число сорока шести пронумерованных писем Руссо к Леньепсу.

Упоминаемый в письме Байо—один из парижских знакомых Леньепса, предполагавший основаться в Мотье. Леньепс хотел через него наладить переписку с Руссо, который из осторожности получал письма на другие адреса, напр., Д. Рогена.

4. Г-же РОГЕН

Мотье-Травер, 6 апреля 1764 г.

Без сомнения, сударыня, вы будете прекрасной матерью, и при том рвении, которое вы проявляете к обязанностям, связанным с этим званием, можно только пожалеть, что г. Роген до сих пор не дал вам возможности их выполнить. Вы обеспокоены мыслью о том, как держать ребенка, с какого времени можно начать купать его в холодной воде и как постепенно покрывать ему головку, а он еще и не родился. Такое проявление материнской заботливости, сударыня, можно признать, с одной точки зрения, вполне уместным, с другой—несколько преждевремен-

ным, но оно во всех отношениях весьма похвально и заслуживает того, чтобы я ответил вам как можно лучше.

На первых порах неважно, лежит ли ребенок в тростниковой корзине или в чем-нибудь другом—лишь бы ему не было слишком мягко, чтобы он лежал повернутым немного на бочок и почаще находился на свежем воздухе. Если он не будет стеснен, он вскóре наберется необходимых сил, чтобы принять удобное для себя положение. Впрочем, он не все время будет находиться в лежачем положении, потому что такая прекрасная кормилица, какой вы желаете стать, будет, разумеется, брать его время от времени на руки.

Вы спрашиваете, с какого возраста можно начать его купать в холодной воде,—с самого рождения, сударыня! Четвертая часть христианского мира, включая всех русских и большую часть греков, крестит своих новорожденных детей, погружая их троекратно в совсем холодную и даже ледяную воду. Поступайте так же. Крестите вашего ребенка, окуная его два раза в день, и не бойтесь простуды.

Вы заранее думаете о том, когда начать покрывать ему голову. Но зачем покрывать ему голову? Я совсем не вижу в этом необходимости, если это мальчик, если же это девочка, то об этом будет время подумать при ее первом причастии, и то повинуясь больше требованиям апостола Павла, который желает, чтобы женщины были в церкви с покрытой головой, чем требованиям разума. Ну что же, в добрый час, раз так угодно апостолу Павлу! Но в остальное время пусть ее собственные волосы служат ей головным убором, вплоть до 30-летнего возраста, когда такая прическа становится неприличной и смешной для женщины.

Так как пример подтвердит все здесь высказанное лучше, чем сотня

РУССО

Фигура из папье-маше работы конца XVIII в., сделана по гравюре Моро-младшего, 1779 г.

Музей „Архангельское“

страниц всяких пояснений, я присоединяю к этому письму выдержку из одной записки, из которой вы увидите, как разрешаются на практике все ваши затруднения. Хотя Софьи и Эми́ли, как вы прекрасно выразились, сударыня, встречаются редко, все же такие воспитываются в Европе, даже в Швейцарии и, что еще удивительнее, даже по соседству с вами. Успех обещает уже служить наградой достойным отцам и матерям за чувство любви к ребенку, которое дает им силу переносить столь обременительные заботы этой системы воспитания, и за их мужество, позволяющее им не обращать внимания на травлю глупцов и церковников и на еще более тупое зубоскальство остроумцев.

Если вы захотите, сударыня, лично сделать необходимые наблюдения, потрудитесь навестить неподалеку от Лозанны принца Вюртембергского, так как это об его единственной дочери идет речь в прилагаемой записке. Если же вам, помимо того, понадобились бы более подробные пояснения, посоветуйтесь со знаменитым Тиссо. Лучшее, что я могу сделать,—это предложить вам обратиться к нему. Убедительно прошу вас, сударыня, принять мои поздравления и уверения в совершенном почтении.

Ж. Руссо

Адрес: Г-же Роген, урожденной Буке
в Рол

Выдержки

из полученной в октябре 1763 г. записки о состоянии ребенка

Через 14 дней моей дочери исполнится полных 4 месяца. Она крепкого сложения и т. д.

Каждое утро мы купаем малютку в самой холодной ключевой воде. После этого легонько обтираем ее и оставляем голой часть утра. В таком виде мы выносим ее во всякую погоду на некоторое время на свежий воздух, и она уже так к этому привыкла, что не боится даже холодного ветра.

Мы никогда не покрываем ей голову, и она не носит ни перчаток, ни чулок. Просторная и открытая на груди рубашонка служит ей одеждой.

Кровать ее состоит из соломенного тюфячка на козлах, и ей лучше всего спится, когда мы расстилаем ее постельку на траве, потому что она необычайно любит свежий воздух. И вот каждый день она удивляет нас развитием своих сил. Она уже довольно свободно поворачивается набок и даже сама садится в постели.

После всего здесь сказанного вы сами поймете, что у нее прекрасное здоровье... Она никогда не плачет, напротив, она всем улыбается. Жара, холод, дождь, ветер, гром—ничто не удивляет и не пугает ее и т. д...

Автограф.—Исторический музей, Москва. Альбом С. С. Уварова.

Адресат письма—г-жа Роген (Roguin), урожденная Буке, жена Огюстена-Габриэля Рогена, старшего из двух племянников Даниэля Рогена, именуемых в переписке Руссо «полковниками». Огюстен Роген помог Руссо в 1762 г. перебраться через горы из Ивердона, находящегося в Швейцарии, в деревушку Мотье, в долине Травер, принадлежавшую Невшательскому княжеству, где преследуемый автор «Эмиля» и «Общественного договора» нашел, наконец, убежище. О. Роген был уже тогда женат на г-же Роген, урожденной Буке, и о визите ее в Мотье вместе с мужем в августе того же 1762 г. вспоминают в своих письмах как Руссо, так и Д. Ро-

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ ПИСЕМ РУССО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 1783 г.

Книга содержит четыре письма к Мальзербу от 1762 г.

НОВЫЯ ПИСЬМА
Ж. Ж. РУССО.
Переведенныя съ Французскаго языка,
1783 года.

ПЕЧАТАНО
ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ
1783 года.

ген. К своему письму к г-же Роген Руссо приложил выписку о состоянии ребенка из Записки, составленной принцем Вюртембергским и присланной им в письме к Руссо 4 октября 1763 г. (Corr. Gén., X, № 1933). Принц Вюртембергский Людовик-Евгений (1732—1795), вступивший в 1793 г. на герцогский престол, проживал неподалеку от Лозанны, считал себя одним из последователей Руссо и воспитывал свою дочь Софью, названную так в честь героини «Эмиля», в духе принципов этого произведения. Впоследствии, в связи с высылкой Руссо из пределов Бернской республики, принц Вюртембергский предпринял хлопоты о разрешении своему «дорогому наставнику» переселиться в Вену. Но после некоторых колебаний в выборе нового отечества Руссо переехал в Англию, после чего переписка их прекратилась.

Публикуемое письмо находится в альбоме автографов, принадлежавшем графу С. С. Уварову и хранящемся ныне в архиве Исторического музея в Москве. Автограф был подарен Уварову княгиней Е. Ф. Долгоруковой, урожд. Барятинской (1769—1849), вместе с автографом письма Вольтера к девицам Буке и большим количеством писем князя де Линь к самой княгине. В сопроводительном письме Долгоруковой к Уварову встречаются указания на то, что письма Вольтера и Руссо были получены ею в подарок непосредственно от адресатов.

Письмо к г-же Роген, урожд. Буке, опубликовано в Corr. Gén. (XI, № 2050) по хранящемуся в Невшательской библиотеке черновому автографу. Дата черновика—31 марта 1764 г.—не совпадает с датой нашего чистового автографа, помеченного более поздним числом—6 апреля 1764 г. При черновом автографе не было также собственноручно сделанной Руссо выдержки из Записки принца Вюртембергского, публикуемой нами впервые. Отсутствие этого приложения послужило причиной неправильного истолкования Дюфуром указания Руссо на посылаемые г-же Роген «выдержки».

Дюфур предполагал, что выдержки сделаны из более раннего письма самого Руссо к принцу Вюртембергскому (от 10 декабря 1763 г.), между тем, в этом письме говорится о воспитании ребенка в более поздний период его жизни и специально о воспитании княжеских детей (Corr. Gén., X, № 1961).

Упоминаемый в письме Тиссо (Tissot Андре-Симон, 1728—1797)—пользовавшийся европейской известностью доктор, живший в Лозанне. Под его наблюдением находилась маленькая дочь принца Вюртембергского.

5. НИКОЛА ДЮШЕНУ

Мотье, 20 июля 1764 г.

Здоровье мое не хуже, чем всегда, милостивый государь, но я все время странствую, и не только для того, чтобы обмануть праздных людей, которые не дают мне покоя, но также из-за своего болезненного состояния. Я убеждаюсь постоянно на опыте, что воздух этих мест, как бы он ни был хорош сам по себе, смертелен для моего здоровья. Это заставляет меня, невзирая на мою слабость и леность, искать другого местожительства, и я решил посвятить весь остаток лета на эти поиски, чтобы иметь возможность переселиться еще до наступления зимы. Ибо я чувствую, что, если останусь здесь еще и на эту зиму, я ни в коем случае ее не переживу.

Я не писал вам не только потому, что при моем скитальческом образе жизни писать неудобно, но также и потому, что у меня не было ничего спешного сообщить вам; я и поджидал, чтобы какая-нибудь новость подтолкнула меня это сделать. Благодарю вас за хлопоты по распространению моего письма. Надеюсь, оно разубедило публику, иначе пришлось бы думать, что она хочет быть обманутой. Тем более, что всем известно, что совсем не в моих нравах скрываться и отрекаться от своих произведений.

Вы очень хорошо сделали, вернув два тома естественной истории г. Панкуку, так как вы были столь внимательны, что уже приобрели их для меня одновременно с четвертым томом. Эти три тома, вместе со всем тем, что вы к ним присоедините, и в совокупности со всем присланным ранее, составляют уже порядочную сумму, и я прошу вас прислать мне счет расходов, чтобы я мог их оплатить.

Меня не интересуют эстампы в книгах, я предпочитаю, чтобы они были отдельно и я мог бы сложить их в папку. Более всего я люблю пейзажи и портреты знаменитых людей как минувшего, так и нынешнего века. Но если под портретами не подписаны имена, прошу вас их поставить, ибо я никого не сумею узнать. Видаете ли вы попрежнему г. Куанде? Пожалуйста, сообщите мне, что он поделывает и как поживает.

Мне придется, любезный друг, просить у вас еще один комплект десятитомного издания in 8°, и не откажите отправить от моего имени один экземпляр этого издания Панкуку, который присылает непосредственно мне «L'Avant-Coureur» и еще другой журнал и не соглашается, чтобы я ему за них платил. Я расплачиваюсь со своими долгами некоторым образом за ваш счет; впрочем, это будет уже в последний раз, если только вам не угодно будет поставить мне этот экземпляр в счет, что было бы, конечно, вполне справедливо.

Кстати, об этом издании; вы опустили в нем одну статью, на которую я вам указывал и которая помещена в «Mercure» за 1751 г. Я весьма тронут и признателен за все любезное и благожелательное, сказанное по моему адресу во введении к тому «Maximes». Мне приятно думать, что именно аббату де Лапорту обязан я этим поступком, требующим в нынешних обстоятельствах весьма большого мужества. Что касается самих «Maximes», то я прекрасно понимаю, что автор не может быть доволен отбором материала, не им самим сделанным. Опечаток в издании немного, но зато есть кое-что похуже—бессмыслицы, которые искажают текст и вводят в заблуждение читателя. Например, Собрание сочинений, т. V, стр. 254, строка 15, напечатано «возвращаться», сле-

дует «о т р е к а т ь с я»*; т. VI, стр. 302, строка 14, напечатано «в к р а д ы в а ю т с я», следует «п о у ч а ю т с я». «Элоиза», т. I, строка 14, напечатано «р а з н о о б р а з и е», следует «и с т и н а» ⟨и тысячи других подобных... это не имело...⟩**. Шлю вам от всего сердца привет.

Ж. Руссо

18 A Motiers 27. 7bre 1764.

Voici, mon cher Ami, un écrit que j'ai fait avec la plus grande répugnance; mais je le devois à ma juste defense et à celle de mes anciens concitoyens. Je ne vous ai jamais vu la robe de Theologien; mais si par hazard vous l'aviez endossée avec celle de Professeur, tâchez de la poser, je vous en prie, pour me lire avec équité. Vous verrez que cet ouvrage n'est presque qu'un commentaire de celui de M. Wegelin; du moins quant à la Religion. Je voudrois avoir le moyen de lui faire passer un exemplaire. Mais n'ayant d'autre occasion que la poste, les frais passeroient la valeur de l'envoi. Je le salue et vous embrasse de tout mon coeur.

JJRousseau

АВТОГРАФ ПИСЬМА РУССО К ЛЕОНАРУ УСТЕРИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 1764 г.
Институт истории Академии наук СССР, Ленинград

Разве выпуск таблиц Энциклопедии прекратился? Вы ведь знаете, что у меня только две первые части в трех томах.

* Ошибки при печатании произошли потому, что по-французски все перечисленные Руссо слова очень близки по звучанию и транскрипции, напр., variété и vérité, s'introduisent и s'instruisent и т. п. В переводе это непередаваемо.

** Слова, помещенные в скобках, зачеркнуты.

Адрес: Господину Дюшену,
книгопродавцу на улице св. Якова
в Париже

На первой странице над текстом помета Руссо:

«Сохранить для нового издания № 50-bis».

На четвертой странице с адресом другим почерком:

«Г-н Куанде передал мне целую серию эстампов к сочинениям Корнеля, которые он вам преподносит и вас [нерзб.] в своем письме».

Автограф.—Исторический музей, Москва. Собрание Г. В. Орлова, № 15/110.

В публикуемом письме Руссо касается некоторых вопросов, имеющих отношение к изданию его десятитомного «Собрания сочинений», которое Дюшен выпускал в 1764 г. вместе с аббатом де Лапортом. Таким образом, это письмо связано по содержанию с письмом к Леньепсу (см. выше, № 3).

Публикуемое письмо напечатано с некоторыми купюрами в Corr. Gén., по тексту издания Мюссе-Патэ 1825 г. («Œuvres inédites»). В печатном тексте отсутствуют конец письма, от слов: «Что касается самих «Maximes», постскриптум, надпись на письме и адрес, имеющиеся в автографе. Надпись, сделанная в самом начале первой страницы письма: «Сохранить для нового издания № 50-bis», указывает, что это письмо не должно было быть включено в издание, выпускаемое Дюшеном, а предназначалось, очевидно, для того нового, которое Руссо сам начал подготовлять с автографов и намеревался печатать под собственным руководством (издание вышло уже после смерти автора, в 1782 г.). Помета на четвертой странице письма касается друга и земляка-женевца Руссо—художника Куанде (Coindet). Куанде, автор цикла гравюр к первому изданию «Новой Элоизы», был также одним из граверов портрета Руссо с оригинала Латура для дюшеновского издания (см. выше, № 3). Письмо соиздателя Дюшена, Гюйи (от 15 августа 1764 г., Corr. Gén., XI, № 2166), с извещением, что им уже выслан для Руссо ящик с гравюрами, новинками литературы и «коллекцией эстампов к Корнелю, переданной для него Куанде», дает основание полагать, что помета могла быть сделана Гюйи для себя, как наметка для ответа Руссо. В этом же письме Гюйи заявляет Руссо, что он не допускает возможности внесения авторских экземпляров в счет, предоставляя автору право распоряжаться ими без стеснения для подарков своим друзьям.

В Corr. Gén. (XI, № 2142) опубликована записка Руссо с перечнем эстампов из различных изданий, которые он хотел бы иметь в отдельных оттисках. По утверждению Т. Дюфура, эта записка, печатаемая им с неподписанного подлинника, служила добавлением к публикуемому нами письму. Однако, имеющийся в этой записке повторный вопрос относительно дальнейшего выпуска таблиц Энциклопедии вряд ли понадобился бы Руссо, если он уже поместил его в приписке к самому письму. Повидимому, эта записка явилась приложением к какому-то другому письму, а не к настоящему.

Встречающаяся в письме ссылка на пропущенную статью в «Mercure» («Réponse aux observations sur le discours de Dijon»—«Mercure», июнь 1751 г.) говорит о том, что Руссо, вопреки собственным его утверждениям, все же следил за печатанием своих сочинений у Дюшена, особенно же за тем, чтобы не допустить включения в издание произведений, выходящих под его именем, но не принадлежащих его перу. Таким и явилось опубликованное от его имени 15 мая 1764 г. и направленное против иезуитов письмо к архиепископу д'Ошу: «J. J. Rousseau, citoyen de Genève à Jean François Montillet, archevêque D'Auch, Neufchâtel». Благодарность, которую высказывает Руссо Дюшену,—это благодарность за распространение опровержения именно этого письма. Опровержение было напечатано в Париже (1764) под названием: «Lettre de M. Rousseau de Genève à M.***».

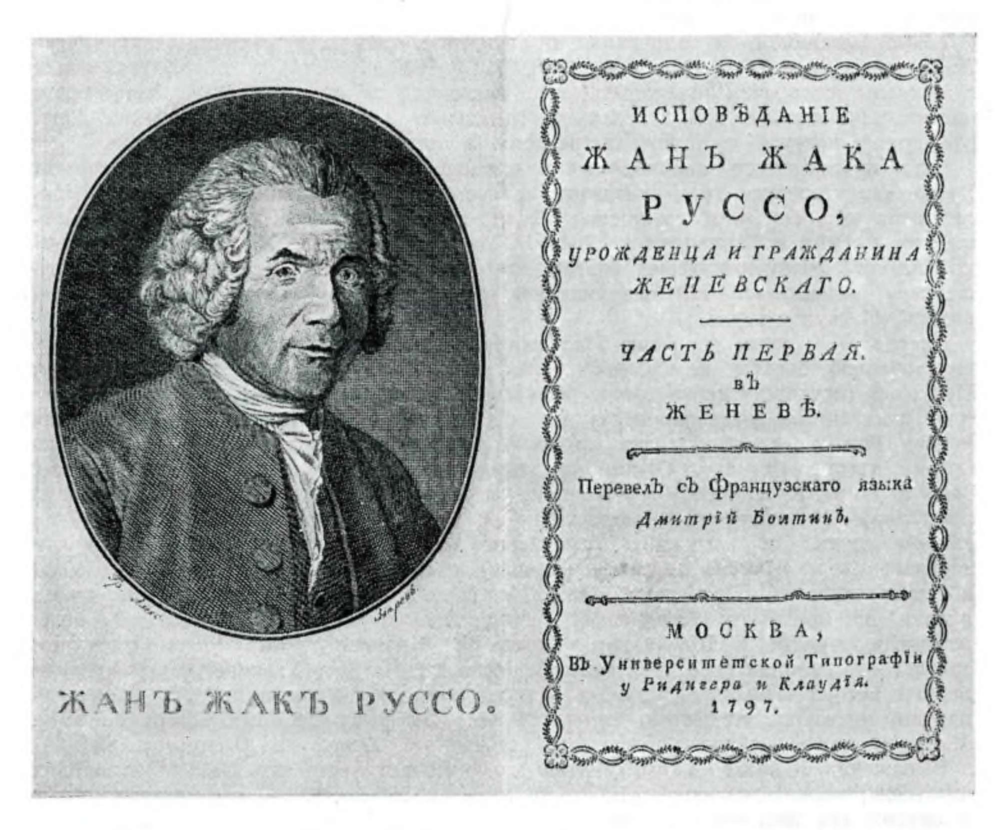
Упоминаемый в письме Панкук (Panckoucke)—книгопродавец в Париже, выступивший печатно в «Энциклопедическом Журнале» 1 июня 1761 г. в защиту «Новой Элоизы» («Contre-Prédiction au sujet de la Nouvelle Héloïse, roman de M. Rousseau de Genève, juin 1761»).

Говоря о двух томах естественной истории, возвращенных Панкуку, Руссо имеет в виду «Естественную историю» Бюффона, издававшуюся с 1749—1789 гг. «Естественная история животных» особенно интересовала Руссо.

6. [ЛЕОНАРУ УСТЕРИ]

Мотье, 27 декабря 1764 г.

Вот, мой дорогой друг, сочинение, которое я писал с величайшим отвращением. Но я должен был его написать, как в справедливую защиту самого себя, так и моих прежних сограждан. Я никогда не видал вас в одеянии теолога, но если случайно, вместе с профессорским, вы надели и его,—постарайтесь, прошу вас, его снять, чтобы читать меня без пристрастия. Вы увидите, что это сочинение, пожалуй, не более, как комментарий к сочинению г. Вегелина, по крайней мере, в вопросах, касающихся религии. Мне хотелось бы при случае послать ему экземпляр. Однако, стоимость пересылки, за неимением иного способа, кроме почты, превзойдет стоимость самой посылки. Шлю ему привет и обнимаю вас от всего сердца.



ФРОНТИСПИС И ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РУССКОГО ПЕРЕВОДА „ИСПОВЕДИ“ РУССО

Издание 1797 г. Гравюра А. Зверева

Ж. Руссо

Сбоку помета, вероятно, рукою Руссо: «18».

Автограф.—Институт истории Академии наук СССР, Ленинград. Фонд бывш. Института книги, документа и письма.

Встречающееся в этом письме имя Вегелина дает возможность установить фамилию адресата письма. Первые сведения о жительствующем в Сен-Галлене, тогда ему еще не известном, французском пасторе Вегелине (Wegelin) Руссо получил от молодого Леонара Устери (Usteri, 1741—1789), одного из деятелей просветительного движения в Швейцарии, позже известного швейцарского педагога, который был лично знаком с Руссо, посетив его впервые, будучи студентом теологии, в Мон-

моранси 10 июля 1761 г. (Corr. Gén., VI, №№ 1114, 1125). Письмом от 25 сентября 1763 г. Устери сообщил Руссо, что Вегелин на страницах одного из берлинских журналов высказал себя сторонником доктрины «Общественного договора» и является первым переводчиком на немецкий язык сочинения Руссо «Письма о театрах». Через Устери скрывавший еще свое авторство Вегелин прислал Руссо на отзыв рукописи двух своих статей, написанных в защиту последнего. Статьи эти были опубликованы в брошюре «Dialogues par un ministre suisse», 1763.

Первая статья—«J. J. Rousseau et Jacob Vernes»—являлась ответом на «Lettre sur le christianisme de J. J. Rousseau» Якова Верна, женевского пастора из круга Вольтера, обвинявшего Руссо за взгляды, высказанные в «Эмиле», в еретическом образе мыслей. Во второй статье—«L'apôtre Saint-Jacques et l'empereur Marc Antoine»—Вегелин пытался защитить деистические взгляды Руссо от яростных нападок протестантского духовенства. Так как и все дальнейшие сношения Руссо с Вегелином, до эмиграции последнего в 1765 г. в Берлин, велись через Л. Устери (Corr. Gén., X, №№ 1948, 1988, 1932, 1999, 2005 и др.), то можно с полным основанием утверждать, что последний и является адресатом нашего письма. Лишним доводом в пользу этого служит и обращение письма: «Мой дорогой друг», которое постоянно встречается в письмах Руссо к Л. Устери.

Дата публикуемого письма, как и отдельные слова и выражения, которыми Руссо характеризует свое отношение к посылаемому Вегелином сочинению, свидетельствуют, что этим сочинением были его знаменитые «Письма с горы», вышедшие у Рейя в Голландии в 1764 г. Утверждение Руссо, что он считал издание посылаемого сочинения своим долгом, который он исполнял «с величайшим отвращением», объясняется той напряженной обстановкой, в которой писались и появились «Письма с горы».

Начало 60-х годов в жизни Женевы было ознаменовано продолжением крайне ожесточенной борьбы между «народной» партией и партией «аристократической». Приговор государственного совета Женевы, осуждавший сочинения Руссо «Эмиль» и «Общественный договор», послужил для первой из них лишь предлогом для нового боя с «аристократами», в свою очередь, не скупившимися на нападки против автора «Эмиля». Одним из таких враждебных для Руссо выступлений был анонимный памфлет «Письма из деревни», принадлежавший генеральному прокурору Троншену из Рола, другу Вольтера, действовавшему, вероятно, в данном случае по наущению фернейского философа. Ответом на «Письма из деревни» были «Письма с горы», написанные Руссо на тему о религии, свободе и справедливости. Появление «Писем с горы», впоследствии сожженных рукою палача по приговору Парижского парламента от апреля 1765 г., еще более разожгли страсти в Швейцарии. Вслед за Женевой против Руссо выступило также и протестантское духовенство Невшателя, потребовавшее отлучения от церкви автора «Писем с горы», а у представителей оппозиции (т. е. «народной» партии) нехватило мужества отстоять Руссо. Он вынужден был вскоре покинуть Мотье, пытаясь найти убежище на острове св. Петра на Бьеннском озере.

Выражения о долге и отвращении, о желании встретить «беспристрастного читателя», характеризующие отношение Руссо к «Письмам с горы», встречаются и в других его письмах того же периода (Corr. Gén., XII, №№ 2267, 2385, 2369; XIV, № 2716; ср. также «Исповедь», кн. XII). Под «прежними согражданами», в защиту которых, по словам Руссо, он написал «Письма с горы», подразумевались женевцы, так как, в знак протеста против нападок на него «аристократической» партии, Руссо еще 12 мая 1763 г. отказался от преподнесенных ему в 1754 г. звания и прав гражданина Женевской республики.

Что же касается утверждения Руссо, будто его «Письма с горы»—не что иное, как комментарии к сочинениям Вегелина, то этими парадоксальными словами Руссо хотел, повидимому, подчеркнуть, что он разъясняет в «Письмах» свои высказанные ранее, в других сочинениях, взгляды на религию, которые уже до него пытался в иной аргументации истолковать Вегелин в вышеупомянутых двух своих статьях, а также принести дань благодарности сен-галленскому пастору за его заступничество в печати.

7. [КНИГОИЗДАТЕЛЮ ГЮЙИ]

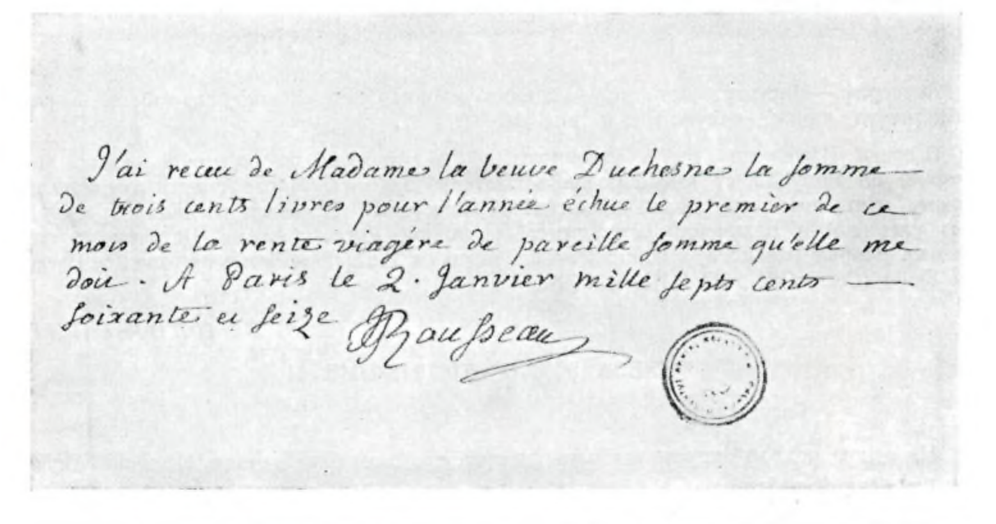
Страсбург, 20 ноября 1765 г.

Ввиду невозможности тотчас же снова отправиться в дорогу, я решил, милостивый государь, воспользоваться хорошим приемом, мне здесь ока-

занным, и задержаться еще на некоторое время в Страсбурге. Я останусь здесь до тех пор, пока не оправлюсь настолько, что буду в состоянии предпринять путешествие либо в Англию,—в таком случае я непременно повидаюсь с вами,—либо в Берлин, где меня ждут.

Тем временем, я могу просмотреть ваши листы и начинаю с возвращения вам C и D, которые вы направили мне в Бьенну. Вы можете и впредь, до нового уведомления, посылать мне непосредственно по адресу Ла Флёр, у г. Камма последующие корректуры, и я верну вам их незамедлительно. Но прошу вас, приложите старания, чтобы они были набраны более тщательно и чтобы в них не попадалось больше квипрокво, вроде того, что на странице 18-й.

Я чрезвычайно тронут всеми заботами, которые вы проявляете, чтобы снабдить меня нужными сведениями и ознакомить с наиболее удобными


J'ai recu de Madame la veuve Duchesne la somme de trois cents livres pour l'année échue le premier de ce mois de la rente viagère de pareille somme qu'elle me doit. A Paris le 2. Janvier mille sept cents soixante et seize

Rousseau

АВТОГРАФ РАСПИСКИ РУССО ОТ 2 ЯНВАРЯ 1776 г. В ПОЛУЧЕНИИ ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ

Выдана вдове книгопродавца Дюшена

Институт истории Академии наук СССР, Ленинград

условиями путешествия. Когда я буду в состоянии его предпринять, мне помогут здесь во всех хлопотах, с ним связанных, и я постараюсь отправить свой багаж вперед, адресовав его, как вы предлагаете, на ваше имя. Мадемуазель Левассёр сейчас не со мной. Я вынужден был оставить ее на Острове, где она будет находиться до тех пор, пока я окончательно не определю места своего убежища и она не сможет туда переехать. Шлю тысячу благодарностей и приветов г-же Дюшен. Примите и от меня, милостивый государь, самые сердечные приветы.

Ж. Руссо

Автограф.—Исторический музей, Москва. Собрание Г. В. Орлова, № $^{15}/_{115}$.

Настоящее письмо, не имеющее ни обращения, ни адреса, опубликовано в Corr. Gén. (IV, № 2844) с печатного издания Мюссе-Патэ 1825 г. («Œuvres inédites»), в котором оно было, и вполне правильно, помечено, как письмо Руссо к Гюйи (Guuy), компаньону Дюшена. В печатном тексте, по сравнению с публикуемым автографом, имеются некоторые пропуски и разночтения.

Публикуемый автограф является одним из четырех писем к Гюйи, написанных Руссо во время его недолгого пребывания в Страсбурге (со 2 ноября по 9 де-

кабря 1765 г.) после высылки с острова св. Петра на Бьеннском озере. Тема всех этих писем — обсуждение возможного переезда в Берлин или в Англию, сопряженного для Руссо с многочисленными трудностями. В Страсбурге Руссо продолжает работу над правкой статей на буквы С и D «Музыкального словаря», издававшегося фирмой Дюшен; две первые корректуры были им получены еще в Мотье (19 мая 1765 г.). Наш автограф подтверждает правильность утверждения П.-П. Плана, что адрес Руссо в Страсбурге следует читать «Ла Флёр, у г. Камма», а не г. Кёнига, как напечатано у Мюссе-Патэ (изд. 1825 г.).

8. [РАСПИСКА, ВЫДАННАЯ Г-ЖЕ ДЮШЕН]

[2 января 1776 г.]

Первого числа сего месяца я получил от вдовы Дюшен триста ливров за истекший год, в счет пожизненной ренты в указанном размере, которую она должна мне выплачивать. Париж, 2 января тысяча семьсот семьдесят шестого года.

Руссо

Автограф.—Институт истории Академии наук СССР, Ленинград. Фонд бывш. Института книги, документа и письма.

В своей «Исповеди» Руссо упоминает о 300 франках пожизненной ренты, которую он получал от книгопродавца-издателя Дюшена. После смерти последнего рента выплачивалась вдовой Дюшена. Публикуемый автограф и является одной из расписок в получении этих денег, выданной Руссо уже не Дюшену, а его вдове. Вторая расписка, выданная г-же Дюшен за 1767 г., найдена при письме Руссо к Гюйи (Corr. Gén., XVIII, № 3669).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕРЕЗА РУССО—ЕКАТЕРИНЕ II

[Осень 1790 г.]

Государыня!

Не ценою похвал даруете вы, ваше величество, свои благодеяния. Истинная слава выше всякой похвалы.

С того счастливого времени, когда ваше величество вступили на престол, науки и все те, кто ими занимаются, стали предметами вашего уважения и вашей благосклонности. Подобно императору Титу, ваши дни отмечались благодеяниями, и Франция увидела своих лучших ученых осыпанными вашими щедротами. Но среди них был один, строгая душа которого склонна была уклониться от какого-либо благодеяния. Но, тем не менее, он преклонялся перед настоящим величием и восхищался вами. Жан-Жак Руссо платил справедливую дань величию вашей души, которая непрестанно направляла ваши труды на счастие ваших народов и привлекала к вам, благодаря вашим благодеяниям и щедрости, всех ученых, просвещение которых могло содействовать вашему величеству в сем благородном деле. С величайшим интересом увидел он, как плоды всего этого выявились в бессмертном труде—«Наказе для комиссии нового уложения» и во всех других начинаниях вашего благодетельного и философского правления.

Добродетельный философ, с которым судьба моя была связана в течение 30 с лишним лет, жил лишь для человечества и не думал о себе. Пока он был жив, я переносила это благородное отречение. Счастливая его славой, я не была несчастной из-за его бедности. Но с тех пор, что он отнят у меня, одинокая, покинутая и даже оклеветанная, как был он сам в течение своей жизни, я чувствую свою нищету. Один взгляд вашего величества может облегчить мои бедствия. Разрешите, государыня, молить вас о нем и льстить себя надеждой, что это не будет напрасно.

Madame

Ce n'est point au prix des Eloges que Votre Majesté accorde ses Bienfaits. la vraie Gloire est au dessus de toute louange.

Depuis l'époque heureuse ou vous êtes montée sur le trône, les sciences et ceux qui les cultivent ont été l'objet de votre estime et de votre bienveillance; semblable à Titus vos jours ont été marqués par des bienfaits; et la France a vu ses principaux sçavants prévenus par vos libéralités. il en étoit un parmi eux, dont l'ame austere sembloit se refuser à toute espece de bienfait.

Mais il n'en étoit pas moins admirateur du vrai mérite. il le fut du Vôtre, Madame. Jean Jaques Rousseau paia le juste tribut du à cette grandeur d'ame

qui

qui vous a fait travailler constament au bonheur de vos Peuples, en vous attachant par des honneurs et des largesses, tous les sçavants dont les lumieres pouvoient seconder Votre Majesté dans ce noble dessein. il en vit, avec le plus vif intérêt, éclore les fruits dans ce Chef-d'oeuvre immortel, l'instruction qui trace un nouveau Code de Loix, et dans tous les autres Projets d'un Gouvernement humain et Philosophique.

Ce vertueux Philosophe, auquel mon sort fut uni pendant plus de trente années, ne respiroit que pour l'humanité et s'oublioit lui même. tant qu'il a vécu j'ai supporté cette généreuse abnégation. heureuse de sa Gloire; je n'étois pas malheureuse de sa pauvreté.

Mais depuis qu'il m'a été ravi; seule, abandonnée, calomniée même; comme il le fut durant sa vie, je sens toute ma détresse. un regard de Votre Majesté peut soulager mes maux. permettez, Madame, que je l'invoque. je me flatte que ce ne sera point en vain.

Votre Majesté peut quelque fois porter

Ses

Ses regards sur les traits de celui qui fut mon Epoux. vous avez donné place à son Buste dans l'enceinte de votre Palais. daignez, Madame, donner place à sa Veuve sur la liste de vos Protégés. cette bonté de votre part sera une leçon pour les Souverains auxquels vous en avez donné tant d'autres.

Je suis avec le plus profond respect

de Votre Majesté impériale

La tres humble et tres obéissante Servante.
Marie therese levasseur veuve de j. j. rousseau

ПИСЬМО ТЕРЕЗЫ ЛЕВАССЁР, ВДОВЫ РУССО, К ЕКАТЕРИНЕ II. ОСЕНЬ 1790 г.

Архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ), Москва

Ваше величество, вы изволите иногда обращать свои взоры на черты лица того, кто был моим супругом. Вы поместили его бюст в одной из комнат своего дворца. Соблаговолите, государыня, включить его вдову в список лиц, пользующихся вашим покровительством. Ваша доброта послужит примером для государей, которым вы уже дали столько других примеров.

С глубоким уважением вашего императорского величества

нижайшая и покорнейшая слуга

Мария-Тереза Левассёр,

вдова Жан-Жака Руссо

На обороте помета: «К письму министра Симолина из Парижа под № 94—1790».

Автограф.—Государственный архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ), Москва, I отд. бывш. Госархива, разряд XVII, № 123. «Прошение Терезы Руссо, вдовы Жан-Жака, о пожаловании ей пенсии».

Публикуемое нами обращение Терезы Левассёр, вдовы Ж.-Ж. Руссо, было послано Екатерине II через русского посла в Париже, И. М. Симолина, при донесении от 4/15 октября 1790 г., № 94, и хранится в ГАФКЭ. Датировка донесения Симолина дает основания датировать и самое письмо Терезы Руссо предположительно осенью 1790 г. Первоначальный вариант этого прошения опубликован был бароном Мораном в журнале «Le Gaulois du Dimanche», 14 avril 1907. По свидетельству Морана, прошение было передано секретарю русского посольства Домбровскому (sic)* и подверглось его цензуре. Домбровский высказался против сопоставления имени русской императрицы с именем Людовика XIV («comme fit autrefois Louis le Grand»), которого мы в нашем автографе уже не находим.

В ответном письме к Терезе Левассёр, помещенном в той же статье названного журнала, Домбровский выражает свое удивление по поводу того, что Тереза не знала до сей поры о существовании «великой императрицы», к которой достаточно обратиться вдове, «носящей столь высокочтимое имя Руссо», чтобы не терпеть более нужды. Между тем, Тереза Левассёр стремилась извлечь материальную пользу из своего положения вдовы Руссо, не отказываясь даже и от такой помощи, которую сам Руссо при жизни отвергал (например, от ежегодной пенсии в 2 500 ливров от английского короля). И если в последние годы жизни Руссо в Париже его совместный с Терезой бюджет равнялся 1 450 ливрам в год пожизненной ренты с добавкой около 800 ливров от заработка по переписке нот, то после его смерти Тереза располагала верными 2 800 ливрами (см. Louis D u c r o s, J. J. Rousseau, 1908, III, app. 211; André Martin D e c o e n, Marie Thérèse Levasseur.—«Revue de Paris», 15 sept. 1911). Таким образом, и без обращения к Екатерине II Тереза могла бы существовать безбедно.

Что касается отношений Екатерины II к Руссо, то они менее всего могут быть охарактеризованы так, как об этом пишет Тереза. Екатерина и Руссо питали друг к другу взаимную ненависть. Екатерина запретила «Эмиля» в России, а в письмах к Вольтеру издевалась над демократическими и республиканскими идеями Руссо. Наряду с этим, она делала попытки привлечь Руссо на свою сторону: через Григория Орлова она предлагала ему приют у себя под Петербургом (см. письмо Гр. Орлова к Руссо от 2 января 1767 г., Corr. Gén., XVI, 325), через Дидро — 100 000 франков наличными и пенсию (см. недавно найденную в архиве графа д'Антрега копию письма Руссо к Сесили Говард 1773 г., которую исследователи этого архива, A. Cobban и R. Elmes, считают заслуживающей доверия.—«Revue d'Histoire littéraire», avril—juin 1936). Оба предложения Руссо отверг, и с особым негодованием последнее, увидя в этом попытку со стороны Екатерины обесчестить его в глазах потомства. Вот почему он «никогда, нигде, ни одним словом» не обмолвился о «тиране», «неразбирающемся в средствах чудовище», как он называл Екатерину (см. упоминаемое письмо к Сесили Говард). Естественно, что ответа на прошение Терезы не последовало.

Упоминаемый Терезой Левассёр бюст Руссо, будто бы находившийся в одной из комнат дворца Екатерины, в инвентарной описи скульптур Эрмитажа не значится (справки Ж. А. Мацулевич).

---

* Среди сотрудников русского посольства в те годы никакой Домбровский не значится. Возможно, что речь идет о Дубровском, переводчике посольства.

НЕИЗДАННЫЙ ШАТОБРИАН

Публикация M-me Cécile Daubray (Париж)*

Эти неизданные документы, так удачно разысканные и собранные редакцией «Литературного Наследства», в своем разнообразии освещают с различных сторон одного из неоспоримых литературных гениев Франции.

Политика занимает большое место на этих страницах. В них отражается честолюбие Шатобриана, впрочем, вполне законное, по ним можно проследить быстрое возвышение государственного человека и не менее стремительное его падение. Они выявляют одну из привлекательных сторон его характера: никогда не жертвовать ради своих личных интересов тем, что он считает своим долгом. Линия его поведения ясна в его письмах к Александру I,—под официальным стилем, с присущей эпохе почти обязательной лестью, чувствуется та независимость ума, которая продиктовала ему еще в 1812 г. следующее признание: «Я был роялистом по рассудку, приверженцем Бурбонов по долгу чести, республиканцем по склонности» («Mémoires d'Outre Tombe»).

Заслуживают также быть отмеченными в письме от 25 ноября 1813 г. к неизвестному автору «Похвального слова Паскалю» тонкая оценка Паскаля, равно как и известная нетерпимость, все еще сохраняемая и проявляемая Шатобрианом в то время по отношению к некоторым «выражениям и революционным словам, которых следует избегать» и которым несколько лет спустя Виктор Гюго так смело даст право гражданства.

Два письма к барону Деказу и, в особенности, письмо к герцогу Лавалю-Монморанси свидетельствуют о легкости, с которой деньги текли между пальцев этого блестящего барина, всю жизнь старавшегося преодолеть денежные затруднения, постоянно умножавшиеся его расточительностью и постоянно возникавшие вновь, едва их удавалось устранить.

Но особенно сказывается его эпистолярный блеск, когда он пишет к женщинам. Возраст корреспонденток не влияет на нежный тон его писем. Пишет ли он к А. И. Толстой, матери двух взрослых сыновей, или к неизвестной польской графине, которая, можно предположить, молода и красива, или к княгине М. А. Голицыной-Суворовой, также молодой и привлекательной,—в письмах этого неутомимого очарователя всегда звучат все те же ласковые, почтительные и в то же время обольстительные ноты.

Поскольку все, что касается Шатобриана, представляет интерес, публикуемые впервые сорок два письма его вносят скромный, но весьма полезный вклад в изучение основоположника французского романтизма**.

---

* Перевод писем Шатобриана, как и всей публикации, сделан Е. Гунстом и Л. Шпет.

** Из числа обнаруженных «Литературным Наследством» неизданных писем Шатобриана в настоящую публикацию не вошли четыре письма, адресованных баронессе Ю. Крюденер. Читатель найдет их в другом месте настоящей книги, в работе, озаглавленной: «Юлия Крюденер и французские писатели» (см. выше, стр. 131, 137, 140, 141).—*Редакция*.

1. [НЕИЗВЕСТНОМУ]

Париж, 25 ноября 1813 г.

С большим удовольствием, милостивый государь, прочел я рукопись, которую вы соблаговолили мне доверить. В вашем Похвальном слове[1] есть стройность, система и ясность. Стиль, в целом, здоровый, и я отметил несколько прекрасных выражений, но иногда проскальзывают неологизмы и некоторые нынешние слова. «Терпкий» [acerbe]— слово революционное, его следует избегать. «Широкая манера»—выражение, заимствованное из жаргона художников, и должно быть отвергнуто. Кроме того, я говорил бы более почтительно об Аристотеле, равно как и о том человеке, которого век, столь справедливо превозносимый вами, называл великим Арно[2]. Аристотель столь же велик, как Декарт и Паскаль. Некоторые заблуждения в области физики не уничтожают ни славы, ни гения автора «Поэтики», «Политики», «Истории животных» и пр. Ваши суждения о сочинениях Паскаля свидетельствуют о правильном их понимании. Однако, «Провинциальные письма», являющиеся шедевром, как раз не обладают тем достоинством, которое вы им приписываете,—прелестью стиля. Они полны высшего комизма и напоминают порой лучшие сцены Мольера, но в них больше откровенности и естественности, нежели грации. Я не стал бы приводить, в качестве особо красноречивого, тот отрывок, который приводите вы. Поискав, можно найти что-нибудь получше.

Вот, сударь, что я думаю о вашем похвальном слове Паскалю. Прошу простить мне критику, принимая во внимание мое уважение к сочинению в целом. Я пишу наспех, так как меня очень торопят. Примите уверение, сударь, в моей совершенной и искренней преданности.

де Шатобриан

Автограф.—Институт истории Академии наук СССР, Ленинград. Фонд бывшего Института книги, документа и письма.

[1] В 1813 и 1815 гг. Тулузская академия (Académie des Jeux Floraux de Toulouse) объявляла конкурс на составление «Похвального слова Паскалю». Очевидно, один из соискателей премии прислал свою рукопись Шатобриану; среди многочисленных «Похвальных слов Паскалю», появившихся в печати и находящихся в парижской Bibliothèque Nationale, нам не удалось найти ни одного, к которому могли бы относиться замечания, высказанные в настоящем письме. Возможно, что автор своевременно учел их, а в таком случае даже самые кропотливые изыскания не позволят установить адресата настоящего письма.

Отрывок из этого письма (шесть строк) приведен в каталоге Charavay (апрель 1909 г.) и перепечатан в V томе «Correspondance Générale de Chateaubriand» par Louis Thomas (tt. 1—V, P., 1912—1924).

[2] Arnauld Антуан (1612—1694)—знаменитый французский теолог и философ, один из крупнейших деятелей янсенизма и Пор-Рояля. Янсенисты называли его «le grand Arnauld» («великий Арно»).

2. ПРОСПЕРУ БАРАНТУ

[Орлеан, вторая половина августа 1815 г.]

Имею честь препроводить г. де Баранту[1] свою председательскую присягу[2]. Итак, раз я назначен пэром, исчезла надежда на возвышение через народное признание[3]: по всей вероятности, я был бы депутатом. Вы знаете, милостивый государь, что выборы в нашем округе идут превосходно. Надеюсь, что департаментские пройдут не хуже.

Благодарю вас за моих трех племянников Блоссака[4], Гебриака[5] и Шатобура[6]. Первым вы будете довольны, он только немного переоценивает свои способности. Работа исправит его. Что касается двух других, родных моих племянников, сыновей моей сестры,—это превосходные ребята, но им следует еще многому поучиться. Для них прошу у вас, особенно на первых порах, немного снисходительности. Простите мне заботливость дядюшки.

Верьте, милостивый государь, что вы имеете во мне самого верного, самого признательного и самого преданного из слуг.

де Шатобриан

Благоволите, прошу вас, подтвердить получение присяги.

Автограф.—Исторический музей, Москва. Собр. Г. В. Орлова, 4/132.

[1] Barante Амабль-Гийом-Проспер Брюжьер, барон де (1782—1866)—историк и государственный деятель, при Наполеоне I—префект, при Реставрации—депутат, с 1814 г.—академик, при Луи-Филиппе—пэр Франции и посол в России. В 1815 г. Барант был главным секретарем министерства внутренних дел.

[2] В своих «Воспоминаниях» (т. II) Барант пишет: «Мне пришлось наметить большинство председателей собраний». Шатобриан был назначен председателем избирательного собрания департамента Луаре. Поэтому-то он и послал Баранту из Орлеана свою присягу.

[3] Шатобриан был назначен пэром Франции 17 августа 1815 г.; это дает основание датировать настоящее письмо второю половиною августа.

[4] Blossac Мишель-Эдуар-Локе де (р. 1789), в действительности, приходился Шатобриану лишь дальним родственником. Шатобриан называл его племянником по бретонскому обычаю. Де Блоссак занимал при Наполеоне должность супрефекта в Сенте и во время Реставрации был смещен. Шатобриан ходатайствовал перед министром внутренних дел Лэне о предоставлении де Блоссаку должности супрефекта в Шатильоне-на-Сене.

[5] Guébriac Франсуа-Ипполит-Мари, граф де (1782—1866) —сын Бенины де Шатобриан и графа де Гебриак. В начале Реставрации был мэром г. Фужера, а затем супрефектом в Ланьоне.

[6] Chateaubourg Поль-Шарль-Мари де Ла Сель де (1788—1847)—сын Бенины де Шатобриан от второго ее брака. Он был советником в префектуре г. Ренна, затем заведующим охотой и вышел в отставку в 1830 г., не желая служить Луи-Филиппу.

3. А. И. ТОЛСТОЙ

[3 мая 1820 г.]

Имею честь препроводить к графине Толстой[1] корректурный лист письма[2].

Некие высокопоставленные лица были в восторге, что это письмо включено в мою книгу. Мне кажется, что в том виде, в каком я его привел, оно не содержит ничего неудобного для принцессы, его написавшей. Графиня Толстая укажет мне, если найдет, что я чрезмерно расхвалил принцессу. Я старался держаться в рамках, намеченных мне графиней. Прошу ее принять выражение моего глубочайшего уважения.

Шатобриан

3 мая 1820 г.

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Собр. Орлова-Давыдова, 45.

[1] Толстая Анна Ивановна, графиня (1774—1826)—дочь кн. Ивана Сергеевича Барятинского, русского посла при дворе Людовика XVI, жена обер-гофмаршала графа Н. А. Толстого; перешла в католичество; много путешествовала, жила в Берлине, Флоренции и Париже. См. о ней вып. I настоящего издания, в статье М. Степанова (стр. по указателю).

[3] Речь идет о письме «принцессы», помеченном 17 марта 1820 г. и адресованном, как говорит Шатобриан, «другу, спутнику его высочества герцога Беррийского», т. е., несомненно, графу де Ла Ферронэ, занимавшему в 1820 г. должность первого камергера и маршала штаба герцога Беррийского. Де Ла Ферронэ известил об убийстве герцога одну «принцессу», которую Шатобриан не называет и которая живет «на дальних берегах». Можно предполагать, что эта «принцесса»—не кто иная, как русская императрица Елизавета Алексеевна, состоявшая в большой дружбе с А. И. Толстой. Письмо «принцессы», доставленное Шатобриану, предназначалось им для включения в издание: «Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de S. A. R. Monseigneur Charles Ferdinand d'Artois, fils de France, duc de Berry». Однако, письмо это не вошло ни в первое издание этих «Mémoires», которое было выпущено в 1820 г., непосредственно после убийства герцога Беррийского, ни во второе издание, а появилось впервые лишь в «Mélanges historiques», в составе III тома «Полного собрания сочинений» Шатобриана (1827).

4. А. И. ТОЛСТОЙ

Париж, 31 декабря 1820 г.

Вы были слишком добры ко мне, графиня! Молите небо, чтобы оно поскорее вернуло меня во Францию[1], дабы я мог выразить вам, как тронут я и как признателен вам за ваши милости; сделайте еще одну и не забывайте несчастную вдову[2].

Примите, сударыня, уверение в моем глубочайшем уважении и передайте, пожалуйста, мой сердечный привет вашему сыну[3] и г. де Вернегу[4].

Шатобриан

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Собр. Орлова-Давыдова, 46.

[1] О назначении Шатобриана чрезвычайным посланником и полномочным министром в Берлин было объявлено в «Moniteur» 30 ноября 1820 г. Однако, Шатобриан надеялся при первом же удобном случае вернуться в Париж и войти в состав кабинета министров. 1 января 1821 г., на другой день после этого письма, он выехал в Берлин.

[2] Так Шатобриан называл свою жену, которую оставлял в Париже.

[3] У А. И. Толстой было два сына, но, кажется, только один из них—Эммануэль (1802—1825) находился при ней.

[4] С кавалером де Вернегом (Vernègues) Шатобриан познакомился в Риме в 1803 г. Во время революции Вернег эмигрировал сначала в Россию, потом в Италию, где послужил причиной к серьезному конфликту между Ватиканом, Францией и Россией. Первый консул, получив доказательства о готовящемся со стороны Вернега покушении на его жизнь, потребовал от папы ареста и выдачи Вернега. Но последний получил из русского посольства в Риме документ о принятии его в российское подданство и вел себя по отношению к римской полиции вызывающе, так как папа не решался принять решительные меры против русского подданного. Однако, ввиду угроз Наполеона, Вернег все же был арестован, заключен в замок св. Ангела, а затем выдан французским войскам; освобожден он был лишь во время приезда папы во Францию в связи с коронованием Наполеона (см. «Mémoires du cardinal Consalvi»). Все эти приключения должны были весьма сблизить Шатобриана с Вернегом, который, повидимому, жил у А. И. Толстой.

5. ГРАФУ МОДЕНУ

Берлин, 19 января 1821 г.

Имею честь препроводить к графу де Модену[1] небольшой пакет для царствующей императрицы[2]. Благодарю его за милую любезность и прошу принять уверение в моем глубоком почтении.

Шатобриан

Адрес: Графу де Модену,
гофмаршалу двора е. и. в.
великой княгини[3] и пр., и пр.
Берлин

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Шах. II, п. 65.

[1] Raimond de Modène Шарль-Луи-Франсуа-Габриэль, граф де (1774—1833) служил в карабинерном полку младшего брата короля, во время революции 1789 г. эмигрировал, совершил под командою Конде кампании 1792 и 1793 гг., затем перешел на русскую службу, в 1817 г. был назначен гофмаршалом двора вел. кн. Николая Павловича, потом шталмейстером и гофмаршалом большого двора.

[2] Елизаветы Алексеевны (1779—1826)—жены Александра I.

[3] Александры Федоровны (1798—1860)—жены вел. кн. Николая Павловича (будущего Николая I).

ШАТОБРИАН
Литография Алофа
Музей изобразительных искусств, Москва

6. А. И. ТОЛСТОЙ

[Берлин, 6 марта 1821 г.]

Я хочу еще раз поблагодарить вас, милостивая государыня, ибо доброта ваша неистощима.

Вот и зима у вас почти-что прошла, а здесь она царит еще во всей своей суровости.

С радостью вижу приближение минуты, когда надеюсь получить отпуск, чтобы поехать за г-жою де Шатобриан и когда смогу, следовательно, лично высказать вам, как я признателен за ваши заботы о моей вдове.

Ваш пакет уже прибыл в Петербург. Я получил вчера письмо с благодарностью от графа Нарышкина[1], но был бы гораздо более рад увидеть несколько слов, написанных другой рукой.

Сегодня мы заканчиваем наши карнавальные развлечения, и я буду иметь честь находиться несколько часов в обществе вашей очаровательной великой княгини. Великий князь должен возвратиться к нам через месяц. Он так же милостив, как и прекрасен[2].

Благоволите, графиня, верить моей искренней признательности и примите выражение моего глубочайшего уважения. Не дайте забыть меня вашему сыну и г. де Вернегу.

Шатобриан

Берлин, 6 марта 1821 г.

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Собр. Орлова-Давыдова, 60.

[1] Возможно, что речь идет о Льве Александровиче Нарышкине (1785—1846)—генерал-майоре, позднее генерал-адъютанте, участнике кампаний против Наполеона, в частности, кампании 1812 и 1813—1814 гг. Нарышкин провел 1816—1818 гг. во Франции в составе оккупационного корпуса Воронцова. Тогда-то он и мог познакомиться с Шатобрианом.

[2] Речь идет о вел. кн. Александре Федоровне и вел. кн. Николае Павловиче, проводивших зиму 1821 г. в Берлине.

7. ГРАФУ МОДЕНУ

Париж, 2 июня 1821 г.

Ваше письмо, граф, доставило мне живейшее удовольствие: я заслужил это письмо общностью наших взглядов и тем чувством братства, которое связывает в несчастии между собой всех роялистов. Я не узнал ничего нового по прибытии сюда[1]: я увидел все то же, о чем мы говорили в Берлине. Ничто не изменилось, или, во всяком случае, изменилось весьма немногое. Прения в Палате депутатов[2], процесс в суде пэров[3] должны в достаточной мере показать вам, до чего мы дошли.

Быть может, граф, вы уже покинули Берлин; если мне суждено вернуться туда, я буду очень огорчен, не застав вас там. Я так устал блуждать по свету, что двадцать раз на дню меня охватывает желание отказаться от всех королевских милостей, удалиться в какой-нибудь уголок и закончить в уединении и независимости тот остаток дней, который еще сохранило для меня провидение. Если бы не вопли моих друзей, это было бы уже давно приведено в исполнение.

Где бы вы ни находились, граф, благоволите сохранить память о соотечественнике, гордящемся тем, что разделяет ваши чувства, и преданном вам на всю жизнь.

Шатобриан

Г-жа де Дюрас[4] неоднократно поручала мне поблагодарить вас за память и передать вам привет. Я болен и пишу вам между двумя приступами лихорадки.

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Шах. II, п. 65.

[1] Шатобриан взял отпуск и 28 апреля 1821 г. вернулся в Париж. 30 апреля он был восстановлен в звании государственного министра (которого был лишен в сентябре 1816 г.), вновь стал получать положенный для государственных министров оклад и был пожалован в кавалеры Почетного легиона.

[2] В то время в Палате депутатов обсуждалось несколько законопроектов, вызывавших сильное недовольство среди роялистов, и, между прочим, законопроект о возмещении убытков, которые понесли лица, лишившиеся земель, предоставленных им

Наполеоном за пределами Франции; законопроект предусматривал установление для таких лиц определенной пенсии.

[3] Дело о заговоре 19 августа 1820 г. Заговорщики ставили своей задачей покушение на жизнь нескольких членов королевской семьи; поскольку была утрачена всякая надежда на восстановление Наполеона I, заговорщики хотели возвести на престол его сына, герцога Рейхштадтского. В связи с этим процессом, Шатобриан винил правительство в том, что оно недостаточно тщательно расследует причастность некоторых либералов к тайным обществам. Процесс закончился в мае; трое из обвиняемых были приговорены к самому легкому наказанию.

[4] Duras Клэр де Керсен, герцогиня де (1778—1828)—близкий друг Шатобриана, который называл ее «любезною сестрою»; постоянно пользовалась своими связями и влиянием, чтобы содействовать политическим притязаниям Шатобриана. Издала несколько книг, из них два романа—«Ourika» (1823) и «Edouard» (1825)—имели успех.

8. А. И. ТОЛСТОЙ

Суббота, утро 2 фев[раля] 1822 г.

Вот два билета, графиня, но я должен предупредить вас, что Виллель[1] в своей записке уведомляет меня, что это всего только детский бал.

Тем не менее, вы не можете теперь отступить, раз билеты получены, и должны будете танцовать, как в пятнадцать лет.

Примите, сударыня, выражение моей постоянной преданности и привет от г-жи де Ш[атобриан].

Шатобриан

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Собр. Орлова-Давыдова, 59.

[1] Villèle, граф де (1773—1854)—с 1815 г. депутат, затем министр финансов, а в 1821—1828 гг.—председатель совета министров.

9. А. И. ТОЛСТОЙ

Лондон[1], 10 мая 1822 г.

Уже давным-давно собираюсь я писать вам, графиня, но всякий раз какое-либо проклятое дело или какая-нибудь из моих обязанностей дипломата являются тому помехой.

Г-жа де Ш[атобриан] сообщает мне о вас. Она рассказывает о том, как благосклонны вы к ней, и я миллион раз благодарю вас за это. Я ставлю ее под ваше особое покровительство, и хоть я и страдаю от разлуки с нею, но лондонский климат такой скверный, печальный и сырой, что я тревожился бы, если бы она была здесь[2].

Г-жа де Ш[атобриан], наверное, расхвалила вам мои успехи[3]. Я весьма радуюсь им, но не за себя, а за роялистов. Я считаю себя их представителем и был бы глубоко огорчен за них, если бы не преуспел в этой стране. К тому же, я положил на это не мало труда. Зная меня, сударыня, вы можете судить о том, что значит для меня одеваться в одиннадцать часов вечера, чтобы выезжать в свет в половине первого ночи и оставаться там до половины четвертого утра. Что касается политики, то, мне думается, я оказал здесь некоторые услуги, и для полного моего успеха недостает только одобрения кавалера де Вернега.

Сохраните, сударыня, вашу благосклонную память обо мне и верьте, что во всем мире нет никого, кто был бы нежнее и почтительнее привязан и предан вам, нежели я.

Шатобриан

Будьте добры, сударыня, передать вашему сыну и кавалеру де Вернегу мой нижайший поклон.

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Собр. Орлова-Давыдова, 68.

[1] Шатобриан был назначен послом в Лондон 9 января 1822 г. Он получил королевскую инструкцию 29 марта, а в Лондон прибыл 5 апреля.

[2] Шатобриан не взял с собою жены, ссылаясь на лондонский климат; в действительности же, ему не хотелось в то время иметь ее при себе, и он постоянно опасался ее приезда.

[3] Здесь речь идет не только о дипломатическом, но и о личных успехах, которыми он пользовался в английском высшем свете, благодаря славе писателя и любезности светского человека. Свой дом в посольстве он поставил на очень широкую ногу.

10. А. И. ТОЛСТОЙ

Верона, 28 ноября 1822 г.

Со времени отъезда г. де М[онморанси][1] дела мои здесь пошли совсем иначе*. Я в большой милости, и возложенный на меня труд увенчался успехом, превзошедшим все мои ожидания[2].

Вот, сударыня, приятные новости не только для меня, но даже для вас, ибо я знаю, с каким участием вы относитесь ко всему, что меня касается. Но что у вас? Как живется вам в Париже? В тот момент, когда я вам пишу, вопрос как раз решается, и мы ожидаем событий с большим нетерпением[3]. Теперь мы недолго останемся в Вероне. Все уезжают. Передайте, пожалуйста, от меня тысячу всяких пожеланий Эммануэлю и кавалеру де Вернегу. Надеюсь, вы благополучно доехали[4].

Примите тысячу приветов, сударыня, с заверениями в моей нежной и искренней преданности.

Шатобриан

Адрес: Графине Толстой.
Бульвар Монмартр, против театра «Варьете».
Париж

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Собр. Орлова-Давыдова, 74.

[1] Montmorency Матьё-Жан-Фелисите, виконт (1767—1826)—министр иностранных дел, был вместе с Шатобрианом представителем Франции на Веронском конгрессе. Монморанси уехал из Вероны 22 ноября. Людовик XVIII возвел его в герцогское достоинство.

[2] Монморанси поручил Шатобриану составить докладную записку «О торговле неграми»—в ответ на докладную записку по вопросу об отмене торговли неграми, составленную Веллингтоном и поставленную на обсуждение Веронского конгресса. Шатобриан опубликовал текст своей ответной записки в «Congrès de Vérone».

[3] Речь шла о посылке Испании нот правительствами Австрии, России, Пруссии и Франции и об отзыве послов этих стран.

[4] Во время конгресса А. И. Толстая находилась в Вероне.

11. К. В. НЕССЕЛЬРОДЕ[1]

Париж, 28 января 1823 г.

Граф, я поручил г. Буа Ле Конту[2] сообщить вам несколько важных документов, по которым вы будете иметь возможность судить о состоянии переговоров[3] со времени моего вступления в министерство[4]. Г-н де Ла Ферронэ[5], который имеет честь писать вам одновременно, выедет, как только мы договоримся о наших дальнейших действиях. Я ничего не пишу императору, ибо я уже просил генерала Поццо[6] доставить письмо его величеству и боюсь быть назойливым. Он увидит, что я оставался верен Континентальному союзу и сумел дать нашему кабинету такое на-

* О подлинной роли, сыгранной Шатобрианом на Веронском конгрессе, см. Маркс и Энгельс, Сочинения, XXII, 62, 65.—*Прим. ред.*

АВТОГРАФ ПИСЬМА ШАТОБРИАНА К А. И. ТОЛСТОЙ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 1820 г.

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

правление, счастливые последствия которого уже ощущаются. Прошу ваше сиятельство повергнуть меня к стопам императора и принять вновь уверения в моем глубочайшем уважении, с которым имею честь быть вашим, граф, самым почтительным и преданным слугою.

Шатобриан

Дата получения: 4 февраля 1823 г.

Автограф.—Архив внешней политики, Москва. Récep. 1823, № 3897, л. 3.

[1] Нессельроде Карл Васильевич, граф (1780—1862)—управляющий министерством иностранных дел с 1816 по 1856 гг., вице-канцлер с 1828 г. и государственный канцлер с 1845 г.

[2] Bois-le-Comte, граф де (1796—1863)—французский дипломат, на дипломатической службе с 1814 г.; после революции 1848 г. вышел в отставку.

[3] По поводу испанских дел.

[4] По окончании Веронского конгресса герцог де Монморанси подал в отставку, и министром иностранных дел 28 декабря 1822 г. был назначен Шатобриан; в исправление своих обязанностей он вступил 1 января 1823 г.

Отставка Монморанси была вызвана его расхождением с главой французского правительства Виллелем по испанскому вопросу. Монморанси настаивал на немедленном выполнении взятого Францией на Веронском конгрессе обязательства о вооруженном вмешательстве в дела Испании. Обязательство было взято Монморанси вопреки указаниям Виллеля, и реализация его встречала противодействие французского кабинета. Шатобриан, поддерживавший ранее Виллеля, тотчас по вступлении в министерство заявил себя сторонником немедленной посылки военной экспедиции в Испанию, что и было осуществлено (см. ниже, прим. 2-е к след. письму).

[5] La Ferronnays, граф де (1777—1842)—бывший адъютант герцога Беррийского, занимал должность посла в Дании, затем в России; принимал участие в Троппауском, Лайбахском и Веронском конгрессах; министр иностранных дел в кабинете Мартиньяка; вышел в отставку по болезни в 1829 г. В донесениях Ла Ферронэ из Петербурга за 1823—1824 гг., адресованных Шатобриану, как министру

иностранных дел, содержится ряд сведений об отношении Петербурга к французской внешней политике того периода и к ее руководителю. Так, в донесении от 24 марта 1823 г. Ла Ферронэ, сообщая о своей беседе с Александром I, пишет, что отставка Монморанси была встречена в Петербурге с тревогой, но все скоро успокоились, ибо, по словам царя, «преемник г. де Монморанси сразу же занял такую благородную и, вместе с тем, такую твердую позицию, вложил в свою деятельность с момента вступления своего в министерство столько чистосердечия и прямоты, что нам оставалось лишь поздравить себя с тем, что он призван оказывать влияние в королевском совете» (В. к. Николай Михайлович, Император Александр I, СПб. 1912, II, 426).

[6] Поццо ди Борго Карл Осипович, граф (1764—1842), родом корсиканец; на русской службе с 1804 г. Играл значительную роль в иностранной политике России, особенно в отношении Франции. Во время Венского конгресса—один из советников императора Александра I. После первой реставрации Бурбонов был назначен комиссаром Парижа. Впоследствии занимал должность полномочного министра и посла России во Франции (1814—1832) и советовал Александру I искать союза с Францией. Член Веронского конгресса, где высказал мысль, что Франция более, чем какое-либо другое государство, должна принять самые решительные меры для подавления испанской революции.

12. АЛЕКСАНДРУ I

[Париж, 1 марта 1823 г.]

Государь,

Ваше императорское величество, вероятно, имеете перед глазами речь, произнесенную мною 23-го прошлого месяца в Палате депутатов[1]. Вы дозволили мне говорить о ваших чувствах, и я имел честь тогда же сказать вам, что я воспользуюсь этим дозволением, дабы сделать эти чувства известными всей Франции. Энтузиазм, вызванный словами вашего величества, не поддается описанию: когда я передавал их, я был прерван возгласами восторженных приветствий. Это отнюдь не было обычною лестью, которую расточают по адресу монархов,—это было чувство восхищения, тем более искреннее, что оно внушено добродетелями вашего величества.

Государь, принципы Союза провозглашены, их нельзя более отрицать, и всякая клевета должна будет разбиться о ваши августейшие слова. Испания все глубже и глубже погружается в бездну. К счастию, силы ее убывают в той же мере, в какой растет ее безумие. Если не произойдет каких-либо неожиданных событий, мы вступим в Испанию между 23-м и 30-м сего месяца[2]. Если война не осложнится, у нас есть все основания надеяться, что она окончится быстро. Все заставляет нас думать также, что Англия не пренебрежет своими интересами и славой и не станет оказывать помощи народной власти и военному мятежу в Испании. Но, как бы то ни было, если Испания не откажется от своих принципов, мы исполним свой долг и надеемся, что не останемся без поддержки.

Государь, самой лестной наградой за труды для меня является заслужить ваше одобрение и получить от вашего величества разрешение повергать к вашим стопам свое уважение и восхищение.

Остаюсь с глубоким уважением
вашего императорского величества
усерднейшим, почтительнейшим и преданнейшим слугою.

Шатобриан

Париж, 1 марта 1823 г.

Дата получения: 14 марта 1823 г.

Автограф.—Архив внешней политики, Москва. Récep. 1823, № 3893, лл. 5—6.

[1] Речь Шатобриана, произнесенная в Палате депутатов 25 февраля 1823 г. по поводу закона о займе в сто миллионов. В ней приведены следующие два заявления Александра I, сделанные в беседе с Шатобрианом в Вероне: «Теперь не может быть более политики английской, французской, русской, прусской, австрийской,—теперь существует только одна общая политика, которая, для всеобщего блага, должна проводиться сообща народами и монархами. Я первый должен показать себя убежденным сторонником принципов, которые положены мною в основу Союза»... «Провидение предоставило в мое распоряжение 800.000 солдат не для удовлетворения моего честолюбия, а для защиты религии, нравственности и справедливости и для укрепления этих основ порядка, на которых зиждется человеческое общество».

Шатобриан опубликовал ответ Александра на настоящее письмо в своем «Congrès de Vérone». Царь указывал в нем, в частности, на некоторые неточности, допущенные Шатобрианом в изложении его слов.

[2] На Веронском конгрессе (осенью 1822 г.), по настоянию царя, было принято решение об организации военной интервенции для подавления революции в Испании. Исполнение решения было поручено Франции. Французский, австрийский, русский и прусский посланники потребовали от испанского правительства и кортесов перемены в конституции, и когда это требование было отклонено (9 января 1823 г.), оставили Испанию. В апреле французская экспедиционная армия под начальством герцога Ангулемского перешла границу. 11 апреля кортесы, захватив с собой короля, покинули Мадрид, куда 24 мая вступил герцог Ангулемский. Французы обложили с моря и суши Кадикс, где находились кортесы и король. Дальнейшее сопротивление было невозможно, и 28 сентября, после взятия фортов французами, кортесы были вынуждены возвратить королю абсолютную власть и разойтись. Испанская революция 1820 г. была подавлена.

13. ПОЦЦО ди БОРГО

Париж, 21 мая 1823 г.

Господин посол,

Супруга Жозефа Буонапарте[1] испросила у короля разрешение совершить путешествие во Францию, чтобы повидать своего брата, г. Клари, который опасно заболел. Его величество, тронутый причиной, побудив-

DE BUONAPARTE,

DES BOURBONS,

ET DE LA NÉCESSITÉ DE SE RALLIER A NOS PRINCES LÉGITIMES, POUR LE BONHEUR DE LA FRANCE ET CELUI DE L'EUROPE.

PAR M. DE CHATEAUBRIAND.

S^T. PÉTERSBOURG,

DE L'IMPRIMERIE DE PLUCHART ET COMP.

1814.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РУССКОГО ИЗДАНИЯ КНИГИ ШАТОБРИАНА „О БУОНАПАРТЕ И БУРБОНАХ“

С.-Петербург, 1814 г.

шей ее просить об этой милости, уполномочил меня выдать ей паспорт через министра Франции в Брюсселе. Г-жа Ж. Буонапарте намерена путешествовать под именем графини Вильнёв. Так как на нее распространяется не только закон об амнистии, но и постановления, касающиеся семейства Буонапарте, я спешу предупредить вас о милости, которую его величество склонен ей оказать, с тем, чтобы мы могли договориться по настоящему вопросу, как это имело место и ранее в подобных случаях[2].

Прошу, ваше сиятельство, принять вновь уверение в глубоком уважении, с которым честь имею быть вашим,

господин посол,

преданнейшим и покорнейшим слугою.

Шатобриан

Адрес: Его сиятельству графу Поццо ди Борго, послу его величества императора всея Руси и пр. и пр.

На письме помета: «Отвечено 11/23 мая». Письмо написано неизвестной рукой. Шатобриану принадлежит только подпись.

Архив внешней политики, Москва. № 3897, л. 7.

[1] Clary Мари-Жюли (1777—1845), с 1794 г. замужем за Жозефом Бонапартом, старшим братом Наполеона, бывшим королем Испании. В 1814 г. она переехала сначала во Франкфурт, затем в Брюссель, где прожила до 1823 г.; после поездки во Францию поселилась во Флоренции.

[2] Постановления эти были приняты союзниками, а потому всякое изменение их, хотя бы и временное, могло быть допущено лишь с общего согласия.

14. Г. В. ОРЛОВУ[1]

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

КАБИНЕТ

[Париж, 10 июля 1823 г.]

Вместе с письмом от 6-го сего месяца, которым вы почтили меня, граф, я получил и приложенное к нему сочинение ваше[2]. Я как нельзя более тронут этим подношением и прошу вас принять мою искреннюю благодарность.

Имею честь, равным образом, засвидетельствовать вам, граф, свое глубочайшее почтение.

Шатобриан

Париж, 10 июля 1823 г.

Адрес: Его сиятельству графу Орлову, в Париже

Написано рукою личного секретаря Шатобриана, Ипполита Пилоржа. Шатобриану принадлежит только подпись.

Исторический музей, Москва. Собр. Г. В. Орлова, 4/131.

[1] Орлов Григорий Владимирович, граф (1777—1826)—племянник известного фаворита Екатерины II, камергер, тайный советник, сенатор. Издал несколько трудов на французском языке. Последние годы жизни провел за границей, главным образом, в Париже, где в его вилле в Пасси собирались многие французские писатели и ученые. Его богатая коллекция французских, английских и итальянских автографов ныне находится в Историческом музее, в Москве.

[2] «Essai sur l'histoire de la peinture en Italie» («Очерк истории итальянской живописи»), в 2 томах, изданный в Париже в марте 1823 г.

15. АЛЕКСАНДРУ I

Государь, [Париж, 8 октября 1823 г.]

Испания и Португалия освобождены; две революции прекращены одновременно; два короля вновь возведены на троны[1]; таковы результаты войны, которую король, мой повелитель, предпринял в интересах всех европейских монархий. Депеша, которую я имею честь препроводить вашему величеству, оповестит вас о событии[2]. Вам, государь, как вдохновителю Союза, должны быть, в известной мере, приписаны эти удивительные успехи; это вы, дав политике такое благородное направление, предоставили Франции возможность, не подвергаясь особым опасностям, предпринять шаг, вновь возведший ее на ту ступень, с которой она была низведена своими несчастиями. Буду безмерно счастлив, если ваше величество найдете, что мои взгляды и мои усилия были не совсем бесполезны в выполнении столь славных задач.

Остаюсь в глубочайшем почтении, государь,
вашего величества нижайший и покорнейший слуга

Шатобриан

Париж, 8 октября 1823 г.

Автограф.—Архив внешней политики, Москва. № 3897, лл. 9—11.

Приложение:

Депеша, прибывшая из Байонны 8 октября 1823 г.

Порт Сен-Мари, 1 октября.

От герцога Ангулемского
председателю совета министров

Король и королевское семейство прибыли сегодня в 11½ ч. утра в порт Сен-Мари.

С подлинным верно:

Шатобриан

[1] Фердинанд VII, испанский король (1784—1833), принужденный Наполеоном отречься в 1808 г. от престола, был восстановлен на троне договором от декабря 1813 г., но в 1820 г. в Испании вспыхнула революция, и тогда Фердинанд обратился за помощью против кортесов к государям, образовавшим Священный союз; в 1823 г. французские войска под начальством герцога Ангулемского восстановили абсолютную власть Фердинанда VII.

Иоанн VI, португальский король, дал согласие в 1821 г. на установление конституционного образа правления, но в 1823 г., при помощи Священного союза, снова восстановил абсолютную монархию.

[2] Депеша опубликована Шатобрианом в «Congrès de Vérone».

16. [НЕИЗВЕСТНОМУ][1]

Париж, 20 декабря 1823 г.

С большим опозданием, сударь, приношу вам благодарность за любезный подарок. Не то, чтобы я не почувствовал всей ценности его, но в продолжение нескольких дней общественные празднества и дела не оставляли мне ни минуты свободной. Я буду чрезвычайно рад видеть у себя автора «Эброина» [«Ebroïn»], если он окажет мне честь пожаловать ко мне.

Примите, сударь, уверение в моем совершенном почтении.

Шатобриан

Автограф.—Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. «Альбом А. Е. Шиповой», 144/199.

[1] Адресата письма установить не удалось.

17. АЛЕКСАНДРУ I

[Париж, 29 декабря 1823 г.]

Государь,

Я был весьма далек от мысли, что слабые услуги, которые я имел честь оказать делу монархов, заслужат тот блистательный знак почета, какого удостоили меня ваше величество[1].

Государь, я буду носить его всю свою жизнь не только, как свидетельство высокой милости могущественного монарха, но и как дар властелина, память о котором надолго сохранится среди людей.

Остаюсь с живейшей благодарностью
и глубочайшим почтением, государь,
вашего величества нижайший и покорнейший слуга

Шатобриан

Париж, 29 декабря 1823 г.

Дата получения: 9 января 1824 г., вх. № 21076.

Автограф.—Архив внешней политики, Москва. Récep. 1824, № 3908, лл. 6—7.

[1] Письмом от 24 ноября 1823 г. из Петербурга Александр I известил Шатобриана о пожаловании его орденом Андрея Первозванного. Это служило знаком удовлетворения позицией, занятой Шатобрианом в основном вопросе тогдашней международной политики—в испанском вопросе. Царь писал: «Во время грозных событий, приковывавших к себе за последний год внимание Европы, я не раз имел случай рукоплескать вашим талантам и вашим убеждениям. Блистательный успех увенчал благородную настойчивость, с коей вы поддерживали дело порядка, и всем тем, кто разделял с вами желание видеть торжество этого дела, надлежит засвидетельствовать вам свое уважение» (см. «Congrès de Vérone»).

18. [ГРАФУ ДЕ СЕРРУ]

Париж, 9 апреля 1824 г.

Дела наши, граф[1], идут здесь, попрежнему, как нельзя лучше. Не могу сообщить вам решительно ничего нового. Мы надеемся склонить швейцарцев предоставить Неаполю войска. Дело идет на лад, позаботьтесь о наших коммерческих интересах.

В понедельник 5-го мы внесем предложение о семилетнем сроке[2], об уменьшении 5%[3], бюджет, закон о рекрутском наборе—все это пройдет. Сессия закроется, вероятно, в первых числах июля. Заседание английского парламента отсрочивается до будущего месяца, а независимость испанских колоний остается непризнанной.

Примите, граф, вновь искреннее уверение в моей преданности и глубоком уважении.

Шатобриан

Автограф. — Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. Собр. А. С. Меншикова, 397/14.

[1] Судя по содержанию письма, можно предположить, что оно адресовано графу де Серру (Serr, 1776—1824)—французскому послу в Неаполе с 1822 г.

[2] В 1824 г. министр финансов Виллель и министр внутренних дел Корбьер внесли предложение заменить ежегодную смену 1/5 части Палаты полным обновлением Палаты через каждые семь лет. Закон этот («закон о септеннате») был вотирован 9 июня 1824 г.

[3] Шатобриан не поддержал в Палате предложения Виллеля о конверсии государственной ренты; он воздержался от выступления, что и явилось одною из причин увольнения его в отставку.

19. АЛЕКСАНДРУ I

[Париж, 16 июня 1824 г.]

Государь,

Знаки уважения, которыми ваше величество меня осыпали, обязывают меня, заканчивая свою министерскую карьеру[1], принести к вашим стопам самую почтительную и горячую благодарность. Я счастлив, если

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОВЕСТИ ШАТОБРИАНА „АТАЛА"
Фарфор завода Юсупова, 1820-е гг.
Музей керамики, Кусково

в течение семнадцати месяцев бедствий и опасностей не уклонился от той великой и священной политики, которой Европа обязана вашему величеству. Я не осуществил всего того, чего хотел бы, но осмеливаюсь утешаться тем, что не допустил совершиться многому злому. Если бы я судил о своих успехах по силе того удара, который мне нанесен, я должен был бы считать их несоизмеримо бо̀льшими, нежели они есть в действительности.

Я еще не знаю, государь, что станется со мною,—возможно, что я покину Францию, но я повсюду унесу с собой память о ваших добродетелях и милостях[2].

Остаюсь с глубочайшим почтением,
государь,
вашего величества нижайший и покорнейший слуга

Шатобриан

Париж, 16 июня 1824 г.

Дата получения: 10 июля 1824 г. *Помета:* «Сообщено Поццо».

Автограф.—Архив внешней политики, Москва. Récep. 1824, № 3908, лл. 3—4.

[1] Указом от 6 июня 1824 г. Шатобриан был отрешен от должности министра иностранных дел.

[2] Александр I ответил на это извещение об отставке письмом от 24 июля 1824 г., в котором, как и в письме от 24 ноября 1823 г., благодарит Шатобриана за его испанскую политику. «Воспоминание о днях славы связано со временем вашего министерства. Правое дело обязано вам истинной признательностью...»—писал царь (см. «Congrès de Vérone»).

20. ГРАФУ МОДЕНУ

Париж, 16 января 1826 г.

Примите мой прощальный привет, граф. Вам выпало большое счастие: вы покидаете эту несчастную Францию, будущее которой зловеще. Я написал через русское посольство императору и императрице, чтобы передать им свои почтительные поздравления[1]. Если когда-нибудь они будут нуждаться в моих услугах, им стоит лишь позвать меня. Я не нужен более моему отечеству и, возможно, вскоре покину его.

Мой усерднейший привет. Г-жа де Шатобриан поручила мне передать вам свои сожаления по поводу того, что она была все время больна, когда вы оказывали честь посещать ее.

Шатобриан

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Шах. II, п. 65.

[1] По поводу восшествия на престол Николая I.

21. КНИГОИЗДАТЕЛЮ ЛАВОКÀ

Лозанна, 17 июля 1826 г.

Вот подписка от трех лиц, от которых у меня есть для вас деньги[1]:

Граф де Сен-Жорж[2], в Шагене, близ Ниона, кантон Во. Г-н де Сен-Жорж сам едет в Париж, и если он потребует свои выпуски, вы их ему выдайте (один или оба), не беря с него платы, а рассчитаетесь со мною.

Г-жа де Коттан[3], улица Бур, в Лозанне, кантон Во.

Г-жа Бони де Кастеллан[4], улица Аркад, 10, в Париже.

Нужно отправить выпуски немедленно.

Г-жа де Шатобриан, которая должна была прибыть в Париж вчера, 16-го, перешлет вам третий выпуск с г. Лемуаном[5]. Сам я буду в Париже, как уже уведомлял вас, к 1 августа.

Мои лучшие пожелания.

Шатобриан

Адрес: Господину Лавокà, книготорговцу в Пале-Рояле,
Деревянная галлерея.
Париж

Автограф.—Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. 9783/LXIX Б 39.

Sire,

ad acta

L'Espagne et le Portugal délivrés; deux révolutions tombées à la fois; deux rois rétablis sur leur trône, tels sont les résultats de la guerre que le Roi mon maître avoit entreprise dans l'intérêt de toutes les monarchies de l'Europe. La dépêche télégraphique que j'ai l'honneur de transmettre à Votre Majesté l'instruira de l'événement.

C'est à Vous Sire, comme auteur de l'Alliance que ces étonnants succès doivent être en quelque sorte rapportés; c'est Vous qui en donnant une généreuse direction à la politique avez mis la France à lieu de tenter, sans être exposée à trop de périls, une entreprise qui la fait remonter au rang dont ses malheurs l'avoient fait descendre. Trop heureux si Votre Majesté trouve que mes principes et mes efforts n'ont pas été tout-à-fait inutiles à l'accomplissement d'aussi glorieux desseins.

Je suis avec le plus profond respect,

Sire,

de Votre Majesté

le très humble et très obéissant Serviteur

Chateaubriand.

Paris le 8 octobre, 1823.

Dépêche télégraphique arrivée de Bayonne le 8 Octobre 1823

Port Ste Marie, le 1er 8bre

Le Duc d'Angoulême au Président du Conseil des Ministres

Le Roi et la famille Royale sont arrivés aujourd'hui, à 11h 1/2 du matin à Port Ste Marie.

Pour copie conforme

Chateaubriand

АВТОГРАФ ПИСЬМА ШАТОБРИАНА К АЛЕКСАНДРУ I ОТ 8 ОКТЯБРЯ 1823 г.

Архив внешней политики, Москва

[1] Ladvocat (1790—1854)—издатель В. Гюго, Ламартина, А. де Виньи—заключил с Шатобрианом договор на издание его сочинений, которые должны были выходить выпусками; первый выпуск заключал в себе «Общее предисловие», «Атала», «Рене», «Последний Абенсераж». К июлю 1826 г. вышло только два выпуска.

[2] Никаких данных о гр. де Сен-Жорже найти не удалось.

[3] Cottens Лора, урожденная де Казнов д'Арлан (1788—1807)—автор нескольких романов. Во время своего пребывания в Лозанне, в 1826 г., Шатобриан жил некоторое время у г-жи Коттан. В «Correspondant» (25 августа 1901 г.) опубликованы 72 весьма интересных письма Шатобриана к ней.

[4] Boni de Castellane Корделия, графиня, урожденная Грефюль (1796—1847). В 1823 г. Шатобриан сильно увлекся ею; это увлечение перешло затем в длительную дружбу. В 1844 г. Виктор Гюго привел в «Choses vues» четверостишие, написанное Шатобрианом в честь г-жи де Кастеллан.

[5] Лемуан согласился исполнять обязанности «министра финансов» Шатобриана, за внешней роскошью которого скрывалось безденежье; он был хорошим управляющим, и, благодаря ему, затруднения Шатобриана никогда не доходили до катастрофы. Он верно служил Шатобриану в течение пятнадцати лет (с 1814 по 1829 гг.) и умер за несколько дней до возвращения своего друга в Париж (см. Maurice Levaillant, Splendeurs et misères de M. de Chateaubriand).

22. [ЛЕМУАНУ?]

[Париж] Четверг, 8 фев[раля] 1827 г.

Не хотите ли, старый друг мой[1], доставить большое удовольствие г-же де Ш[атобриан] и мне и притти к нам пообедать в будущее воскресенье, 11-го, на улицу д'Анфер, вместе с Лабори?[2]. Мы постараемся, чтобы огонь был достоин названия улицы, ибо люди мерзнут, а закон не согревает[3]. Тысячу приветов, весь ваш

Шатобриан

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. Общее собрание автографов.

[1] Весьма возможно, что письмо это адресовано Лемуану (см. прим. 5-е к предыд. письму), которого Шатобриан часто называл своим «старым другом» и часто приглашал к себе обедать. Что касается названия улицы, где он жил, упоминаемого в письме и, казалось бы, ненужного для старого друга, то Шатобриан мог написать его для того, чтобы построить свой каламбур об огне (анфер по-французски значит—ад).

[2] Laborie Амбруаз-Ру де (1769—1860)—дипломат, секретарь и друг Талейрана.

[3] Закон «справедливости и любви», или, по выражению Шатобриана, «вандальский закон», разработанный в 1826 г., являлся угрозой независимости писателей. Законопроект обсуждался в начале 1827 г.; этим и объясняется намек Шатобриана. Палата пэров отклонила этот законопроект.

23. [ЛУИ ОЖЕ]

Париж, 3 июля 1827 г.

Тысячу раз благодарю вас, мой глубокоуважаемый собрат[1]. Я—страстный поклонник великого гения Мольера, и среди всякого рода многочисленных занятий, о коих вы догадываетесь, я не мог устоять, чтобы не прочесть ваше превосходное произведение[2] почти все целиком нынче же утром.

[нерзб.][3] моей благодарности и искренней преданности.

Шатобриан

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. 3253/64.

[1] Auger Луи-Симон (1772—1829)—критик и литератор, член Французской академии и, следовательно, коллега Шатобриана. С 1827 г. был непременным секретарем Академии.

[2] «Discours sur la Comédie et Vie de Molière» («Речь о творчестве и жизни Мольера»). Повидимому, Оже послал Шатобриану рукопись, так как выход брошюры зарегистрирован во французской библиографии лишь 31 октября 1827 г.

[3] Одно слово неразборчиво.

24. [НЕИЗВЕСТНОЙ ПОЛЬСКОЙ ГРАФИНЕ][1]

Париж, 27 марта 1828 г.

Вашу записку от 7 февраля, графиня, я получил 25 марта. Находитесь ли вы все еще в Митаве или перенесли свое любезное воспоминание обо мне еще дальше от Франции? Я склонен был считать себя вычеркну-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОВЕСТИ ШАТОБРИАНА „АТАЛА"
Фарфор завода Юсупова, 1829 г.
Музей керамики, Кусково

тым из вашей памяти. Что̀ я для вас? Чужестранец, имевший счастие видеть вас один лишь миг, чтобы непрестанно сожалеть о вас, и не сумевший внушить вам подобных же сожалений. Как бы то ни было, сударыня, я с поспешностью приношу к вашим ногам нежную и почтительную признательность. Мы были сильно больны в нашем убежище на улице д'Анфер, но теперь нам лучше. Впрочем, жизнь моя в руках божиих, и я мало дорожу годами, что мне суждены.

Город, в котором вы живете, видел изгнание наследника Людовика Святого[2]. Трудно было бы найти точку на земном шаре, куда революционный ураган не забросил бы хоть одного француза. Сделает ли это нас более благоразумными?

Вы надеетесь, сударыня, вновь побывать в приюте отшельника на улице д'Анфер, а это мне дороже всего. Но торопитесь: престарелый странник может завершить свой путь ранее, чем вы появитесь вновь,—его срок уже близок. Нельзя медлить у порога последнего пристанища, нужно входить.

Вы, сударыня, прелестны и молоды, живите долго на этом свете, чтобы служить его украшением и очарованием. Польша—вторая Франция, и мы вас требуем к себе от имени отечества.

Примите, прошу вас, с благосклонностью мое преклонение и выражение моего почтения.

Шатобриан

Автограф.—Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. Собр. Н. С. Голицына.

[1] Адресатки письма установить не удалось. Оно обращено, повидимому, к какой-то польской графине.

[2] Будущий король Людовик XVIII, находясь в эмиграции, прожил в Митаве, где Павел I предоставил ему резиденцию, с 1798 по 1807 гг.

25. [БАРОНУ ДЕКАЗУ][1]

Рим[2], 14 окт[ября] 1828 г.

Вы были так добры, милостивый государь, предложить мне свои дружеские услуги в Ливорно. Разрешите же мне обратиться к вам и воспользоваться вашей любезностью. Мне хотелось бы знать, есть ли в Ливорно склады или лавки французского или английского хрусталя, и сколько может стоить хороший хрустальный сервиз на пятьдесят кувертов. Под сервизом я подразумеваю не блюда и тарелки, а только стаканы для различных сортов вин—бордо, шампанского, мадеры, стаканы для воды, пива и пр. Я хотел бы сервиз самого лучшего качества, шлифованный, а не литой хрусталь. Но, в конце концов, я полагаюсь на ваш вкус. Вы знаете, что во Франции цена на хрусталь, так же как и на зеркала, сильно упала; не знаю, наблюдается ли такое же снижение в Англии.

Не могли ли бы вы также сообщить мне, нельзя ли купить в Ливорно хорошее столовое и постельное белье, и что стоил бы хороший саксонский сервиз на 15, 20, 30, 40 и 50 персон.

Вот, милостивый государь, письмо, весьма мало касающееся политики, но здесь нет ничего более важного для сообщения. Покупая то, что мне необходимо иметь, хоть это и вещи совершенно бесполезные, я менее думаю о себе, нежели о своем преемнике: я хочу, чтобы он извлек, как принято, пользу из оставшегося после меня добра. Будете ли вы в Риме? Г-жа де Шатобриан и я будем счастливы иметь честь принять вас, равно как и г-жу Деказ.

Примите, прошу вас, сударь, вновь уверения в моей давнишней и известной вам преданности.

Шатобриан

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. Собр. автографов 369 № 55.

[1] Это и следующее письмо адресованы, повидимому, барону Деказу (Décazes Пьер-Элизé, 1793—1846), занимавшему в 1822 г., в бытность Шатобриана по-

слом, должность второго секретаря посольства в Лондоне. В 1828 г. Деказ был консулом в Ливорно.

[2] В это время Шатобриан был послом в Риме, откуда он уехал в отпуск 27 мая 1829 г. В августе того же года он подал в отставку, не желая служить при министерстве Полиньяка, которое он считал пагубным для Франции.

26. [БАРОНУ ДЕКАЗУ]

Рим, 18 окт[ября] 1828 г.

Это опять я, милостивый государь, и все с важными делами. Вы увидите из перечня, при сем прилагаемого, о каком одолжении я вас прошу, но пункт о белье требует пояснения.

Если в Ливорно можно найти столовое белье очень тонкого саксонского полотна на 50 или 45 кувертов, тогда мне не нужно восьми кусков полотна из Аза[1]: они нужны только в том случае, если нельзя будет найти чего-нибудь лучшего, другого сорта. Из этих, по всей вероятности, узких кусков нельзя будет сделать скатертей иначе, как со швом, а я хотел бы иметь цельные скатерти больших размеров.

Не знаю, милостивый государь, разобрались ли вы во всей моей истории с хрусталем; мне стыдно так докучать вам, и все-таки приходится просить вас еще о дюжине пар чулок мужских и дюжине женских: английских, бумажных высшего сорта. Если вы будете так любезны приложить к этому еще два скромных платья из английского материала по вкусу г-жи Деказ, вы меня бесконечно обяжете.

Я все надеюсь увидеть вас в Риме, и прошу вас верить, милостивый государь, моей давней и искренней преданности.

Шатобриан

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. Собр. П. К. Сухтелена.

[1] Слово, вызывающее сомнение.

27. Г. И. ГАГАРИНУ

Рим, пятница вечер, 21 нояб[ря] 1828 г.

Сегодня утром, князь[1], я послал представителя посольства приветствовать ее императорское высочество великую княгиню[2] и осведомиться, окажет ли она нам честь принять нас. Нам велели передать, что в отношении дипломатического корпуса все поручено вам. Итак, князь, я отдаю себя в ваше распоряжение и заверяю вас в своем глубочайшем почтении.

Шатобриан

Автограф.— Публичная библиотека, Ленинград. Общее собр. автографов.

[1] Гагарин Григорий Иванович, князь (1782—1837). С 1827 по 1832 гг.—русский посол в Риме. Большой любитель литературы, театра, искусства.

[2] Елену Павловну (1806—1873)—жену вел. кн. Михаила Павловича.

28. [ГЕРЦОГУ ЛАВАЛЮ-МОНМОРАНСИ][1]

Париж, 31 августа 1829 г.

Из газет вы знаете, герцог, что я подал в отставку и оставил должность посла в Риме.

Я сдержал данное вам слово и просил кн. Полиньяка о том, чтобы римское посольство было вновь вам предоставлено. Я рассчитывал также попросить об этом короля, но не смог добиться чести видеть короля.

Теперь, ежели вы вернетесь в Рим, герцог, наше дело легко уладится. Я предложу вам вновь занять ваш дворец, сохранившийся в том виде, в каком вы мне его оставили. Я условился выплатить вам в различные сроки сумму в 50 000 франков. Только один из платежей, насколько помню, был произведен, и, если вы не возражаете, я прекращу дальнейшие. Расчет мы произведем, исходя из первоначальной суммы, за вычетом той, что я уже уплатил, которая пойдет за пользование мебелью и пр. в течение тех восьми месяцев, что я занимал ваш дворец. Таким образом, все будет окончено, и ни той, ни другой стороне не придется ничего платить. Я заберу с собой и отправлю всё, что привез из белья, серебра и пр. Остаются вина и лошади. Если они не будут распроданы к вашему приезду, вы выберете то, что вам наиболее подойдет. Особенно хороши три английских лошади, которые еще даже не прибыли в Рим и которые обошлись мне в 15 000 франков. Быть может, они вам понравятся—они будут ваши за ту цену, какую вы захотите за них дать.

Приезжайте же, герцог, в Рим, где я не переставал оповещать о вашем возвращении и где вы пользуетесь всеобщим почетом и уважением. Вы убедитесь, что отнюдь не враг жил в вашем дворце.

Примите, прошу вас, уверения в моем глубоком почтении.

Шатобриан[2]

Если вы остановитесь на лондонском посольстве, я попрошу у вас некоторой рассрочки для выплаты 50 000 франков. Я погашу долг тотчас же, как продам свой домик на улице Анфер, откуда я пишу вам в настоящий момент.

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград, КП 10/39.

[1] Montmorency Анн-Пьер-Адриен, герцог де Лаваль (1767—1837) был предшественником Шатобриана по римскому посольству. Он не вернулся в Рим и предпочел занять должность посла в Лондоне. В июле 1830 г. он отказался от всякой службы и должностей, не желая, как и Шатобриан, служить при министерстве Полиньяка.

[2] Настоящее письмо показывает, до какой степени Шатобриан мало заботился о своих материальных интересах. Легко объяснить себе поэтому, почему над ним постоянно тяготели денежные затруднения и жизнь его протекала то в роскоши, то— и это чаще—в нужде.

29. [ХРИСТИНЕ ФОНТАН][1]

3 октября 1829 г.

Миллион оправданий и извинений! Я был нездоров и завален работой. Благодарю за ваше милое и любезное письмо. Я хотел бы иметь возможность и самому навестить вас. Прошу вас передать выражение моего нижайшего почтения г-же де Фонтан, а также примите его сами.

Шатобриан

Автограф.—Институт мировой литературы им. Горького, Москва. «Альбом А. С. Голицыной».

[1] Fontanes Христина де (1801—1873)—дочь графа де Фонтана, литератора, государственного деятеля и близкого друга Шатобриана. Дружбу свою к де Фонтану, умершему в 1821 г., Шатобриан перенес на его дочь, которую он называл «моя дочь Христина».

(une lettre de Chateaubriand) Paris le 5 oct. 1830

Je serois presque tenté, Madame, de me réjouir de ce qui vous afflige. Vous n'êtes pas obligée de retourner dans cette ville menacée des fléaux dont vous avez si bien peint les désastres; vous n'êtes forcée qu'à quitter la France. Vous adoptez une retraite en Suisse, et vous voyez où j'en veux venir. Ce seroit un grand bonheur pour moi

Madame, si mon désert s'embellissoit de votre présence.

Je ne puis juger avec toute la rigueur d'une personne désintéressée les vers dont vous voulez bien me parler; si quelquefois la pensée en est obscure, la bienveillance s'y montre clairement; je n'ai pas le droit d'être sévère. Je n'ose plus, Madame, terminer ma

lettre comme à l'ordinaire. Un souvenir encore singulier que la pensée me fait venir, elle est pourtant bien naturelle, et depuis le jour où je vous ai lue et vue, même m'a pas quitté un instant: quel effet lorsque j'étois <u>sorti</u> de Rome, j'ai essayé vous montrer les solitudes dignes de vos pinceaux! à présent, Madame, daignez moi me flatter de vous recevoir dans une chaumière. Mes hommages

n'en seront ni moins sincères ni moins empressés et ils auront de plus pour eux l'épreuve du temps et de la fortune.

Chateaubriand

Un jeune homme m'a apporté un billet de votre part. Tout ce qui vient de vous est bien reçu.

АВТОГРАФ ПИСЬМА ШАТОБРИАНА К М. А. ГОЛИЦЫНОЙ-СУВОРОВОЙ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 1830 г.

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

30. [НЕИЗВЕСТНОЙ][1]

Париж, 22 августа 1830 г.

Вы не датировали своего письма, сударыня; я принужден поставить адрес наугад, руководствуясь почтовым штемпелем. Забыть вас, сударыня? Никогда! Я без конца справлялся о вас; я почти-что ждал вас в Риме; я повсюду надеялся встретить вас. А теперь где я увижу вас?

Я собираюсь покинуть Францию: жизнь моя, начавшись в изгнании, должна так же и закончиться; надо следовать своему предначертанию. Я отнюдь не заслуживаю, сударыня, вашего восхищения: о нескольких, принесенных в жертву старческих часах, бесполезных как для меня, так и для других, не стоит говорить.

Я уеду, по всей вероятности, в первых числах октября. Не знаю еще, у какого солнца стану я вымаливать лучи, чтобы согреть свои последние дни. Если письмо мое до вас дойдет, окажете ли вы мне честь ответить на него?

Г-жа де Шатобриан бесконечно благодарит вас за благосклонную память и шлет вам свои лучшие пожелания. Я же, сударыня, приношу к вашим ногам искреннее преклонение и выражение моего почтения.

Шатобриан

Улица д'Анфер, 84.

Автограф.—Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. Собр. Н. С. Голицына.

[1] Адресатки письма установить не удалось.

31. [М. А. ГОЛИЦЫНОЙ-СУВОРОВОЙ][1]

Париж, 5 окт[ября] 1830 г.

Я почти готов радоваться, сударыня, тому, что огорчает вас. Вам не нужно возвращаться в этот город, которому грозят потоки бедствий, столь прекрасно вами изображенных. Вы всего лишь принуждены покинуть Францию. У вас есть прибежище в Швейцарии[2], и вы видите, к чему я клоню. Для меня было бы большим счастием, сударыня, если бы мое последнее изгнание украсилось вашим присутствием.

Я не могу судить со всей строгостью незаинтересованного лица о стихах, по поводу которых вы ко мне обратились. Если мысль в них порой туманна, зато ясно выражена благожелательность. Я не имею права быть строгим. Я не осмеливаюсь более, сударыня, закончить свое письмо, подобно предыдущему; вы опять сочли бы странным, что мне явилась такая мысль; между тем, она вполне естественна, и с того дня, как я вас впервые прочел и увидел, она не покидает меня ни на миг. Сколько раз, еще когда я ц а р и л в Риме, мечтал я показать вам пустынные уголки, достойные вашей кисти![3]. Теперь же, сударыня, позвольте мне льстить себя надеждой принять вас в хижине. Моя преданность не станет оттого ни менее искренней, ни менее усердной и только выиграет от испытания ее временем и судьбою.

Шатобриан

Некий молодой человек принес мне вашу записку; все, что исходит от вас, встречает хороший прием.

Автограф.—Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. «Альбом М. А. Голицыной-Суворовой», 244/197.

[1] Голицына Мария Аркадьевна, княгиня, урожденная княжна Италийская, графиня Суворова-Рымникская (1802—1870)—внучка Суворова, в 1820 г. вышла замуж за генерал-майора кн. Михаила Михайловича Голицына (1793—1856). Большую часть жизни провела за границей, где поддерживала отношения со многими европейскими знаменитостями. Помимо публикуемого письма, сохранились указания на существование еще нескольких писем к ней Шатобриана. В письме П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу от 25 марта 1833 г. читаем: «Шатобриан не силен в географии. Я читал письмо его к Мери Голицыной, в котором, жалея, что она не в Париже, говорит ей: В конце концов, находясь в Митаве, вы все еще среди нас, ибо поляки и французы всегда были соотечественниками» («Остафьевский Архив», III, 229). Из переписки А. И. Тургенева с Вяземским мы узнаем, что Голицына подарила Тургеневу в сентябре 1833 г. «два письма Шатобриана с прелестными фразами». В письме от 7 сентября 1833 г. Тургенев цитировал письмо Шатобриана: «Вот что Шатобриан писал княгине Голицыной, рожденной Суворовой, 3 января 1831 г. из Парижа: «Я все время собирался ехать в Швейцарию и все время задерживался, то из-за состояния здоровья, то из-за работы, и вот я отложил путешествие до весны. Буду ли я иметь счастие, сударыня, увидеть вас в Швейцарии? Или вы опять в Пиренеях? Мне не хотелось бы, однако, искать вас так долго по белу свету, ибо жизнь моя идет на убыль; вот и еще один год истек, а годы проделывают с нами странные вещи, они отнимают у нас время и оставляют взамен дни». Второе письмо Шатобриана написано из Женевы 3 октября 1831 г.: «Я с утра до вечера был занят речью в защиту моего бедного Анри [Генриха V], которого опять собираются подвергнуть изгнанию, вместе с его родными. Я еду в Париж, чтобы напечатать речь, ибо не умею разыгрывать из себя храбреца, укрывшись от неприятеля, сидя за горами. Жизнь и честь моя неразрывны, первая идет туда, куда зовет ее вторая. Если бы я знал, сударыня, что пакет—это опять-таки я сам, я бы не привез его вам; с меня хватит в единственном числе нести бремя собственной персоны (он ей привез пакет из Парижа со своими сочинениями)» («Архив братьев Тургеневых», выпуск VI, Пгр., 1921, 336, 339). Сохранились ли подлинники этих писем, как и письмо о котором говорит Вяземский, нам неизвестно.

[2] У М. А. Голицыной в Швейцарии была собственная вилла в Versoix. Францию Голицына принуждена была покинуть, вероятно, в связи с распоряжением царского правительства, предписавшего после Июльской революции всем русским выехать из Франции.

[3] Никаких сведений о том, что М. А. Голицына писала стихи или занималась живописью, не сохранилось. Известно, что она обладала очень хорошим голосом, и ее пение даже прославлено Пушкиным в стихотворении, ей посвященном («Кн. Голицыной, урожденной Суворовой», 1823). Поэт И. И. Козлов, с которым М. А. Голицына была в дружеских отношениях, также говорит об ее пении в стихотворном послании, к ней обращенном. Шатобриан употребил выражение «достойно вашей кисти», по всей вероятности, образно, имея в виду письма Голицыной и желая похвалить ее эпистолярный стиль.

32. БАЛЛАНШУ[1]

[Женева] 1 августа 1831 г.

Тысячу благодарностей, мой старый друг, за ваше словечко от 29-го. Как милосердно с вашей стороны, что вы дали мне знать о здоровье, за которое я с радостью отдал бы жизнь[2]. Жду бо̀льших подробностей, обещанных вами назавтра. Я спешу с приготовлениями к отъезду. Сообразно с тем, что вы сообщите, я ускорю его. Хотелось бы быть уже в пути.

Пускай больная не пишет мне; только покажите и прочтите ей мою записку. До скорого свидания. Я считаю минуты.

Ваш, ваш

Ш.

На обороте: Господину Балланшу

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Собр. Норова.

[1] Ballanche Пьер-Симон (1776—1847)—мистический писатель. Он издал несколько книг, ныне основательно забытых, но в свое время вызвавших много толков.

Он был избран в Академию в 1842 г. В качестве старинного, близкого друга г-жи Рекамье, Балланш был одним из самых ревностных завсегдатаев Abbaye aux Bois. Он всю жизнь сохранил верность г-же Рекамье и умер у нее на руках.

[2] Речь идет о г-же Рекамье, которая лежала больная в Париже. Шатобриан находился в то время в Женеве и собирался ехать в Париж.

33. [П. Б. КОЗЛОВСКОМУ][1]

Париж, 6 марта 1832 г.

Вы очень хорошо и гораздо лучше меня, князь, сказали то, что следовало бы сказать по тому трогательному вопросу, к которому привлекаете мое внимание. Но мне для этого нужно время и повод, а у меня нет ни того, ни другого. Я хотел бы также принять ваше приглашение на Людовика XI[2], но перед тиранами я отступаю. Что же касается вашего некто, обнаружившего, что перо мне изменяет, то не принадлежит ли он к тем простакам, которые понимают буквально всё, что я говорю о своих старых годах? Мои друзья, согласен, должны находить меня старым, ибо они судят обо мне по моей долгой верности, выдержавшей все превратности их судьбы. Но мои враги, полагаю, убедились, что мне не более 20 лет.

Весь ваш, дорогой князь. Ваши четыре ящика с шоколадом имели полный успех у г-жи де Шатобриан.

Шатобриан

Сверху неизвестной рукой: «к князю Козловскому».

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. КП 10/39.

[1] Козловский Петр Борисович, князь (1783—1840) в течение ряда лет был на дипломатической службе в Риме, Лондоне, Турине и др. См. о нем вып. I настоящего издания, в статье М. Степанова. Биограф Козловского, В. Доров, называет среди иностранных друзей последнего также Шатобриана, с которым у Козловского во время одного из его первых пребываний за границей (начало 1800-х годов) установились «очень сердечные отношения, сохранившиеся до самой смерти князя» (Dr. Wilhelm Dorow, Fürst Kosloffsky, Leipzig, 1846, 6).

[2] Драма Казимира Делавиня, впервые поставленная на театре Comédie Française 11 февраля 1832 г.

34. [НЕИЗВЕСТНОМУ][1]

Париж, 23 августа 1832 г.

Я только-что прочел, милостивый государь, приехав в Париж, статью в «Semeur», которую вы соблаговолили мне прислать. Спешу поблагодарить вас за снисходительность, с какой в этой статье говорится о моем последнем сочинении; осмелюсь, однако, заметить, что предисловием к своему Essai и подзаголовком этого Essai я пытался предупредить некоторые возражения находчивого и остроумного критика, но, быть может, я ошибся[2].

Примите еще раз, сударь, и передайте, пожалуйста, автору статьи заверения в искренней моей благодарности и совершенном почтении.

Шатобриан

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. 3253/65.

[1] Письмо адресовано, повидимому, к главному редактору или к издателю религиозного, политического и литературного журнала «Сеятель» («Le Semeur»).

[2] В письме имеется несколько противоречий. Шатобриан помечает его: Париж, 23 августа 1832 г. Между тем, в 1832 г. он выехал из Парижа 8 августа; 23 августа он был в Люцерне, откуда направился в Цюрих и Констанцу. Следовательно, 23 августа он не мог быть в Париже.

В «Semeur» были помещены две статьи о Шатобриане, к которым могло бы относиться настоящее письмо. В номере от 18 апреля 1832 г. напечатана статья «О христианстве, как его понимает г. Шатобриан в своих исторических очерках» («Очерки» появились в свет 14 апреля 1831 г., т. е. до основания «Semeur», первый номер которого вышел 7 сентября 1831 г.). Автор статьи осуждал точку зрения, с которой Шатобриан рассматривал христианство, считая его поддержкой и утешением в земной жизни и ничего не говоря о загробном существовании души. «Нет ничего опаснее,—заключал автор статьи,—как давать людям ложное представление о христианстве, смягченном разумом или гордыней».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОВЕСТИ ШАТОБРИАНА „АТАЛА"
Фарфор завода Сафронова, 1830-е гг.
Музей керамики, Кусково

Эта статья, хоть и относящаяся к «Историческим очеркам», могла бы послужить поводом к написанию настоящего письма, если бы... Шатобриан мог находиться в Париже в августе 1832 г.

Вторая статья в «Semeur» появилась 17 августа и 26 октября 1836 г. и касалась «Очерков английской литературы», вышедших в свет 25 июля 1836 г. По содержанию помещаемое письмо могло быть скорее отнесено к этой статье, чем к статье 1832 г. «Очерк», действительно, имеет подзаголовок: «...и рассуждение о духе человека и духе времени»; «Очерку» предпослано предисловие, заранее отвечающее на некоторые возможные выражения. Статьи в «Semeur» 1836 г. появились анонимно (как и все статьи в отделе «религиозной философии»); судя по одному письму Шатобриана, автором этих статей является Александр Вине («Lettres d'Alexandre Vinet», Lausanne, 1882).

Если Шатобриан благодарил за эти именно статьи, то как тогда объяснить поставленную им на письме дату: 23 августа 1832 г.?

35. ИЗДАТЕЛЯМ ГОССЛЕНУ И ФЮРНУ

Париж, 20 июня 1835 г.

Милостивые государи,

Г-н Флаттерс[1] склонен, повидимому, вступить с вами в переговоры относительно передачи моего перевода «Потерянного рая»[2]. Мне очень хочется, чтобы вы пошли ему навстречу. Я надеюсь, что увеличение объема моей работы[3] окажется выгодным вашему предприятию и облегчит денежные уступки, которые вам придется сделать г. Флаттерсу.

Издания совершенно не схожи между собою и не только не смогут повредить одно другому, но, напротив, могут быть лишь взаимно полезны[4].

Вступление, которое составит толстый том, готово, равно как и перевод 1-й книги «Потерянного рая». Гг. Госслен и Фюрн могут, следовательно, притти за рукописью на будущей неделе, когда им заблагорассудится; я буду очень рад побеседовать с ними.

Мой усердный привет.

Шатобриан

Написано неизвестной рукой. Шатобриану принадлежит только подпись.

Исторический музей, Москва. Собр. А. И. Барятинского, 209/310.

[1] Flatters Жан-Жак (1786—1845)—скульптор; среди его работ славится «Сатана», навеянный поэзией Мильтона.

[2] В 1836 г. в издательстве Госслена и Фюрна появились два издания перевода Шатобриана мильтонова «Потерянного рая»; оба издания—двуязычные, каждое из них в двух томах.

[3] Повидимому, речь идет о «Замечаниях», предшествующих переводу.

[4] Издание, о котором говорит Шатобриан, было выпущено лишь в 1855 г. фирмой Фюрна; оно заключало в себе двадцать пять иллюстраций по рисункам Флаттерса, Бенувиля, Лемерсье, Мелена, Ришома (см. «Bibliographie de Chateaubriand», par Kerviler).

36. И. И. КОЗЛОВУ

Париж, 17 декабря 1835 г.

Милостивый государь,

Я должен просить у вас тысячу извинений, что не мог раньше поблагодарить вас за письмо, которое вы оказали честь написать мне, и за прекрасные стихи, которые вы оказали честь мне прислать[1]. Вы слепы, сударь; Гомер и Мильтон были слепы. Я не знаю ничего, в чем не могли бы утешить Поэзия и Религия[2].

Благодарю вас также за Жофруа де Шатобриана. Он сражался в Мансуре подле Людовика Святого. Этот великий и святой монарх в награду за доблесть Жофруа заменил герб Шатобрианов гербом Франции, в те времена украшенным бесчисленными цветами лилий[3],—герб, который мой род сохранил и по сию пору и отказаться от которого не смогут заставить меня никакие революции в мире. Я считаю также большой честью то, что верная Сибилла де Шатобриан умерла от радости, вновь свидевшись со своим мужем. В наши дни не слышно более о подобных вещах. Еще раз прошу вас принять мою самую искреннюю благодарность и уверение в глубоком почтении, с коим имею честь быть, сударь, вашим нижайшим и покорнейшим слугою.

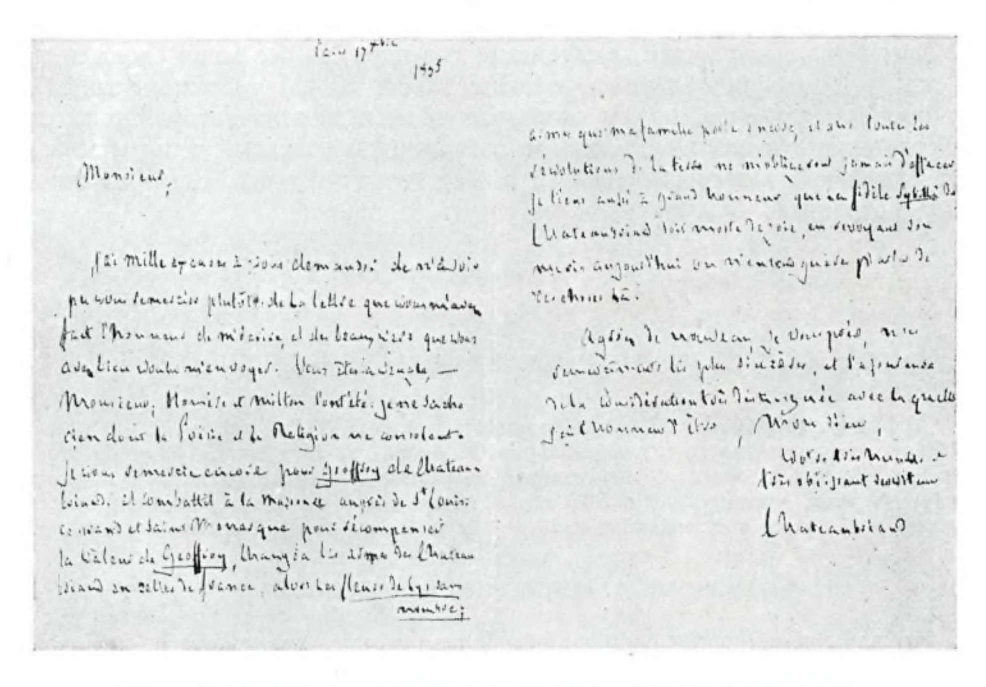
Шатобриан

Автограф.—Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград, 15989/XCIX Б 5 (из бумаг поэта И. И. Козлова).

[1] «Возвращение крестоносца»—стихотворение Козлова, посвященное Шатобриану; в нем говорится о возвращении из крестового похода рыцаря Жофруа де Шатобриана и о смерти его жены Сибиллы, умершей от радости при его возвращении. «Возвращение крестоносца» опубликовано впервые в сборнике «Новоселье», II, 1834. Настоящее письмо Шатобриана было напечатано («Русский Архив» 1886, I, 193—194), однако совершенно забыто, вот почему мы считали возможным включить его в нашу публикацию.

[2] Козлов Иван Иванович (1779—1840), как известно, потерял зрение после длительной и тяжкой болезни (1821); лишь после этого он начал писать, и поэзия, действительно, явилась для него утешением.

[3] Все же это не совсем точно. Kerviler в своем «Essai bio-bibliographique» говорит, что Людовик Святой разрешил около 1240 г. Жофруа IV переменить герб и поместить на новом гербе французские королевские лилии, но на красном фоне.


Monsieur,

Chateaubriand

АВТОГРАФ ПИСЬМА ШАТОБРИАНА К И. И. КОЗЛОВУ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 1835 г.

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

37. ШТЮБЕРУ[1]

[Париж, 27 декабря 1841 г.]

Милостивый государь,

Князя Козловского[2] я имел честь видеть мельком в Риме в 1803 г. Могила Вергилия находится не в Риме, а в Неаполе. Мне бы хотелось быть в состоянии дать вам иные разъяснения, но, к несчастию, с князем Козловским у меня были лишь мимолетные встречи.

Прошу принять, милостивый государь, вместе с сожалением и благодарностью, уверение в моем глубочайшем почтении.

Шатобриан

Понедельник, 27 декабря 1841 г.

Адрес: Господину Штюберу.
Улица Лилля, 97.
Париж

Почтовый штемпель: «Париж 27 дек.»

Написано рукой секретаря Шатобриана, Ипполита Пилоржа. Шатобриану принадлежит только подпись.

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. Собр. Кутузова-Смоленского.

[1] Об этом лице не удалось разыскать никаких сведений. В «L'Almanach des 25.000 adresses» упоминается некий Штюбер, адвокат, но нет никаких данных считать его адресатом настоящего письма.

[2] Следует отметить, что заявление Шатобриана о встречах с Козловским в 1803 г. подтверждает указание биографа последнего. Вместе с тем, вопреки утверждению того же биографа о существовании дружеских отношений между Шатобрианом и Козловским (см. выше, прим. 1-е к письму 33-му). Шатобриан обнаруживает здесь к нему равнодушие. Быть может, это объясняется тем, что ему не хотелось давать о покойном уже в то время Козловском (ум. в 1840 г.) тех сведений, о которых его просил Штюбер и сущности которых мы не знаем.

38. ДОКТОРУ АЛИБЕРУ[1]

В среду вечером

Тысячу благодарностей, милостивый государь, за все ваши одолжения. Г-жа де Ш[атобриан] больна, я тоже; мы не были в состоянии эти дни заниматься чем-либо, но мы скоро выпутаемся из этих затруднительных обстоятельств и возьмемся за дела лазарета. Мы каждый день посылаем за банками, но господин Алибер забыл назначить час. Еще раз шлем ему искреннюю благодарность и усердный привет.

де Шатобриан

Адрес: Господину Алиберу,
в Тюильри

Автограф.—Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. Собр. З. И. Юсуповой.

[1] Alibert (1766—1837)—лейб-медик Людовика XVIII и Карла X, профессор медицинского факультета и главный врач больницы св. Людовика. Судя по этому письму, Алибер прописал и пожертвовал некоторые лекарства больным богадельни Марии-Терезы, учрежденной в 1819 г. в Париже г-жой де Шатобриан для престарелых и больных священников. Алибер был известен своей благотворительностью.

39. [М. А. ГОЛИЦЫНОЙ-СУВОРОВОЙ]

Мы забываем иногда свои скорби, затем снова взваливаем их на себя, подобно бремени, которое сбрасываешь на миг, чтобы передохнуть.

Шатобриан

Автограф.—Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. «Альбом М. А. Голицыной-Суворовой», 244/197.

40. [НЕИЗВЕСТНОМУ]

[После 1833 г.]

Я дважды совершил путешествие в Прагу[1], милостивый государь, и приложу все старания к тому, чтобы в третий раз совершить его с вами, как только мне позволит это мое здоровье, в настоящее время значительно ухудшившееся: я не сумею найти лучшего путеводителя и более приятного спутника, чем вы.

Благодарю вас за письмо, слишком лестное, и за ваш прекрасный подарок, и прошу вас принять, милостивый государь, уверение в моем совершенном почтении.

Шатобриан

Написано рукой секретаря Шатобриана, Ипполита Пилоржа. Шатобриану принадлежат только подпись и несколько знаков препинания.

Институт мировой литературы им. Горького, Москва. «Альбом А. С. Голицыной».

[1] 7 мая 1833 г. герцогиня Беррийская, находившаяся в заключении в крепости в Блэ, передала Шатобриану письмо, в котором «она поручала ему съездить в Прагу, переговорить от ее имени с королем Карлом X и выразить детям всю ее любовь» (см. E. Biré, Les dernières années de Chateaubriand).

18 августа 1833 г. герцогиня Беррийская вызвала Шатобриана в Феррару и просила его сопровождать ее в Прагу; однако, Шатобриану пришлось ехать туда одному, так как герцогиня не получила разрешения на эту поездку. Дело заключалось в том, чтобы Карл X одобрил заявление герцога Бордосского, в котором последний, по случаю своего совершеннолетия, протестовал против узурпаторства Луи-Филиппа и излагал свои притязания на престол. Шатобриан получил одобрение Карла X и 30 сентября выехал из Праги.

Адресата этого письма, написанного после 1833 г., установить не удалось.

41. [НЕИЗВЕСТНОМУ][1]

Мы сильно обременены годами, все мы, бессмертные, и скоро освободим вам место.

Верьте, генерал, моим искренним сожалениям и примите, прошу вас, вместе с моим восхищением, уверение в глубоком моем уважении.

Ш[атобриан]

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. Собр. П. К. Сухтелена.

[1] Письмо обращено, повидимому, к генералу графу Филиппу-Полю де Сегюру (Ségur, 1780—1873)—автору «Retraite de Russie» («Отступление из России»), члену Французской академии с 1830 г. В таком случае, письмо должно быть датировано временем до 1830 г., а высказываемые Шатобрианом сожаления могут относиться к тому, что де Сегюр был забаллотирован на выборах в предшествовавшем году. Но все это, однако, не более, как предположения.

42. А. И. ТОЛСТОЙ

Я провел нынешнюю ночь под вашим кровом, графиня, и, проснувшись вместе с прекраснейшим солнцем, почувствовал живейшую признательность за ваше гостеприимство. Я расположился в одном из уголков вашего замка, дабы занять как можно меньше места.

Шлю вам миллион благодарностей и заверений в преданности и прошу вас напомнить обо мне кавалеру де Вернегу и вашему сыну.

Шатобриан

Вторник, 7 ч. у[тра].

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Собр. Орлова-Давыдова, 47.

ПРИЛОЖЕНИЕ

АВТОГРАФЫ ШАТОБРИАНА В СОБРАНИЯХ СССР

Знаком «*» отмечены документы, впервые публикуемые в настоящем издании. №№ 1, 11, 28, 33, 34, 36, 38, 50, 60—62 настоящей описи в публикацию не включены, так как их содержание не представляет достаточного интереса.

А. ПИСЬМА, ЗАПИСКИ, АЛЬБОМНЫЕ ЗАПИСИ, ПОДПИСИ

1. Агу (Agould) Гектору—18 июня 1823 г.
Публичная библиотека, Ленинград. Собр. П. К. Сухтелена.

2.* Александру I—Париж, 1 марта 1823 г.
Архив внешней политики, Москва. Récep. 1823, № 3893, лл. 5—6. См. выше, стр. 648.

3.* Ему же—Париж, 8 октября 1823 г.
Там же. № 3897, лл. 9—11. См. выше, стр. 651.

4.* Ему же—Париж, 29 декабря 1823 г.
Там же. Récep. 1824, № 3908, лл. 6—7. См. выше, стр. 652.

5.* Ему же—Париж, 16 июня 1824 г.
Там же. Récep. 1824, № 3908, лл. 3—4. См. выше, стр. 653—654.

6.* Алиберу (Alibert), д-ру—б. г.
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Собр. З. И. Юсуповой. См. выше, стр. 668.

7.* Балланшу (Ballanche)—[Женева] 1 августа 1831 г.
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Собр. Норова. См. выше, стр. 663.

8.* Баранту (Barante) Проспер у—[Орлеан, вторая половина августа 1815 г.].
Исторический музей, Москва. Собр. Г. В. Орлова, 4/132. См. выше, стр. 640—641.

9. Вяземскому П. А.—[Париж, март 1839 г.].
Архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ), Москва. Опубликовано по копии Вяземского, «Лит. Насл.» № 16—18, 811, а также т. II настоящего издания, 146.

10.* Гагарину Г. И.—Рим, 21 ноября 1828 г.
Публичная библиотека, Ленинград. Общее собр. авт. См. выше, стр. 659.

11. Голицыной Е. И.—подпись в альбоме.
Собр. А. Б. Гольденвейзера, Москва. «Альбом Е. И. Голицыной» («Princesse Nocturne»).

12.* [Голицыной-Суворовой М. А.]—Париж, 5 октября 1830 г.
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. «Альбом М. А. Голицыной-Суворовой», 244/197. См. выше, стр. 662.

13.* [Ей же]—альбомная запись б. г.
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. «Альбом М. А. Голицыной-Суворовой», 244/197. См. выше, стр. 668.

14.* Госслену (Gosselin), издателю, совместно с издателем Фюрном (Furne)—Париж, 20 июня 1835 г.
Исторический музей, Москва. Собр. А. И. Барятинского, 209/310. См. выше, стр. 666.

15.* [Деказу (Décazes), барону]—Рим, 14 октября 1828 г.
Публичная библиотека, Ленинград. Собр. авт. 369 № 55. См. выше, стр. 658.

16.* [Ему же]—Рим, 18 октября 1828 г.
Там же. Собр. П. К. Сухтелена. См. выше, стр. 659.

17.* [Козловскому П. Б.]—Париж, 6 марта 1832 г.
Публичная библиотека, Ленинград. КП 10/39. См. выше, стр. 664.

18. Козлову И. И., поэту—Париж, 17 декабря 1835 г.
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. 15989/XCIX Б 5. См. выше, стр. 666. Опубликовано «Русский Архив» 1886, I, 193—194.

19.* Крюденер Юлии—Париж, 17 января 1803 г.
Публичная библиотека, Ленинград. Фонд Крюденер. См. выше, статью „Юлия Крюденер и французские писатели“, стр. 131.

20.* Ей же—[Париж] 12 августа 1815 г.
Там же. См. выше, стр. 137.

21. Ей же—Париж, 31 августа 1815 г.
Всеукраинский исторический музей, Киев. «Альбом Каролины Собанской». Опубликовано Ch. Eynard, La vie de M-me Krudener, P., 1849, II, 79—80. См. также выше, стр. 138.

22.* Ей же—[Париж, сентябрь 1815 г.].
Публичная библиотека, Ленинград. Фонд Крюденер. См. выше, стр. 140.

23.* Ей же—[Париж, сентябрь 1815 г.].
Там же. См. выше, стр. 141.

24.* [Лавалю-Монморанси (Laval-Montmorency), герцогу]—Париж, 31 августа 1829 г.
Публичная библиотека, Ленинград. КП 10/39. См. выше, стр. 659—660.

25.* Лавока̀ (Ladvocat), издателю—Лозанна, 17 июля 1826 г.
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. 9783/LXIX Б 39. См. выше, стр. 654.

26.* [Лемуану? (Le Moine)]—[Париж] 8 февраля 1827 г.
Публичная библиотека, Ленинград. Общее собр. авт. См. выше, стр. 656.

27.* Модену (Raimond de Modène), графу—Берлин, 19 января 1821 г.
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Шах. II, п. 65. См. выше, стр. 642.

28. Ему же—[Берлин] 20 марта 1821 г.
Там же.

29.* Ему же—Париж, 2 июня 1821 г.
Там же. См. выше, стр. 644.

30.* Ему же—Париж, 16 января 1826 г.
Там же. См. выше, стр. 654.

31.* [Неизвестной польской графине]—Париж, 27 марта 1828 г.
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Собр. Н. С. Голицына. См. выше, стр. 657—658.

32.* [Неизвестной]—Париж, 22 августа 1830 г.
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Собр. Н. С. Голицына. См. выше, стр. 662.

33. [Неизвестной]—Париж, 27 мая б. г.
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Собр. Н. С. Голицына.

34. [Неизвестной]—понедельник, 28 б. г. и м. отпр.
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Собр. Н. С. Голицына.

35.* [Неизвестному]—Париж, 25 ноября 1813 г.
Институт истории Академии наук СССР, Ленинград. Фонд бывш. Института книги, документа и письма. См. выше, стр. 640.

36. [Неизвестному]—27 сентября 1822 г.
Публичная библиотека, Ленинград. Собр. П. Вакселя, 43.

37.* [Неизвестному]—Париж, 20 декабря 1823 г.
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. «Альбом А. Е. Шиповой», 144/199. См. выше, стр. 651.

38. [Неизвестному]—записка б. г. и м. отпр.
Исторический музей, Москва. Собр. А. И. Барятинского, 209/310. На обороте подпись владельца автографа, свидетельствующая, что автограф был получен им 8 марта 1826 г.

39.* [Неизвестному]—Париж, 23 августа 1832 г.
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. 3253/65. См. выше, стр. 664.

40.* [Неизвестному]—[после 1833 г.].
Институт мировой литературы им. Горького, Москва. „Альбом А. С. Голицыной". См. выше, стр. 668.

41.* [Неизвестному]—б. г. и м. отпр.
Публичная библиотека, Ленинград. Собр. П. К. Сухтелена. См. выше, стр. 669.

42.* Нессельроде К. В.—Париж, 28 января 1823 г.
Архив внешней политики, Москва. Récep. 1823, № 3897, л. 3. См. выше, стр. 646—647.

43.* [Оже (Auger) Луи]—Париж, 3 июля 1827 г.
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. 3253/64. См. выше, стр. 656.

44.* Орлову Г. В.—Париж, 10 июля 1823 г.
Исторический музей, Москва. Собр. Г. В. Орлова, 4/131. См. выше, стр. 650.

45.* Поццо ди Борго—Париж, 21 мая 1823 г.
Архив внешней политики, Москва. № 3897, л. 7. См. выше, стр. 649—650.

46. Рекамье (Récamier) Жюльетте—Рим, 10 января 1829 г.
Публичная библиотека, Ленинград. Общее собр. авт. Опубликовано «Société Chateaubriand», Bulletin № 1, 1930, как и нижеуказанные под №№ 47, 48 письма к ней.

47. Ей же—Венеция, 8 июня 1845 г.
Там же.

48. Ей же—Марсель, 18 июня 1845 г.
Там же.

49.* [Серру (Serr), графу де]—Париж, 9 апреля 1824 г.
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Собр. А. С. Меншикова, 397/14. См. выше, стр. 652.

50. Спонтини (Spontini), г-же—15 сентября 1835 г.
Публичная библиотека, Ленинград. Собр. авт. 348, № 95.

51.* Толстой А. И.—3 мая 1820 г.
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Собр. Орлова-Давыдова, 45. См. выше, стр. 641.

52.* Ей же—Париж, 31 декабря 1820 г.
Там же, 46. См. выше, стр. 642.

53.* Ей же—Берлин, 6 марта 1821 г.
Там же, 60. См. выше, стр. 643—644.

54.* Ей же—2 февраля 1822 г.
Там же, 59. См. выше, стр. 645.

55.* Ей же—Лондон, 10 мая 1822 г.
Там же, 68. См. выше, стр. 645.

56.* Ей же—Верона, 28 ноября 1822 г.
Там же, 74. См. выше, стр. 646.

57.* Ей же—б. г. и м. отпр.
Там же, 47. См. выше, стр. 669.

58.* [Фонтан (Fontanes) Христине]—3 октября 1829 г.
Институт мировой литературы им. Горького, Москва. „Альбом А. С. Голицыной". См. выше, стр. 660.

59.* Штюберу (Stuber)—[Париж] 27 декабря 1841 г.
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Собр. Кутузова-Смоленского. См. выше, стр. 667.

60. Подпись с датой 27 июня 1823 г. На листке из книги записей останавливающихся в гостинице; название и местонахождение последней неизвестно.
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. 3253/63.

61. Авторская подпись на книге: «Discours servant d'introduction à l'histoire de France», Paris, 1826.
Литературный музей, Москва. Б. инв. № 17871.

Б. НЕРАЗЫСКАННЫЕ АВТОГРАФЫ ПИСЕМ.

62. Бельджойозо (Belgiojoso), княгине—Париж, март 1837 г.
Значилось под № 44 в бывш. собр. П. Вакселя, хранящемся ныне в Публичной библиотеке в Ленинграде.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПИСЬМА БЕРАНЖЕ

Публикация И. Кацнельсона

Переписка знаменитого французского песенника П.-Ж. Беранже (1780—1857) даже среди богатейшей эпистолярной литературы XIX в., включающей такие выдающиеся памятники, как письма Шиллера, Гёте, Пушкина, Маркса, Энгельса и других, представляет значительный интерес. Это явление далеко не заурядное. В письмах Беранже не менее самобытен и содержателен, чем в песнях. В них, подчас, шире развиваются отдельные положения, защищаемые поэтом в песнях, взгляды формулируются яснее и категоричнее.

Переписывался Беранже много, и количество сохранившихся его писем громадно (одна только «Correspondance de Béranger», éd. 1860, издание отнюдь не исчерпывающее, насчитывает свыше 1000 писем), и столь же обширен и разнообразен круг его корреспондентов. Автор политических песен революционно-демократической направленности, горячо откликавшийся не только на французские, но и на общеевропейские события, писатель, проявлявший живейший интерес к литературной жизни Франции и, в частности, к рабочей поэзии, наконец, человек, известный независимостью своих убеждений, отличавшийся исключительной чуткостью и отзывчивостью,—Беранже привлекал к себе самые широкие симпатии. Переписки с ним, естественно, искали самые различные люди по самым различным поводам. Среди адресатов Беранже, наряду с именами крупнейших современников: писателей, художников, ученых, политических деятелей (Антуан Арно, Проспер Мериме, Шатобриан, Ад. Шамиссо, В. Гюго, Ал. Дюма-отец, Ламартин, Жорж Санд, Эжен Сю, Сент-Бёв, Мишле, Тьер, Грандвиль, Давид д'Анже, Лафайет, Луи-Наполеон Бонапарт и др.), встречаются имена скромных тружеников, дебютировавших в качестве поэтов (Савиньен Лапуант, Эрнестина Друэ, Евг. Байе, Тампуччи и др.), и целая вереница неизвестных, к которым Беранже обращался со словами помощи, совета и поддержки.

Из обширной переписки Беранже до сих пор опубликовано лишь примерно около одной трети. Остальное хранится в французских архивах и, судя по тому, что со времени последней крупной публикации писем Беранже прошло уже свыше 20 лет («Lettres inédites de Béranger à Scribe et à M-me Scribe».—«Revue d'Histoire littéraire de la France», 1918), едва ли скоро увидит свет. Это обстоятельство придает тем бо́льший интерес публикации неизданных писем Беранже из советских собраний. Наша публикация явится, в то же время, существенным дополнением к изданию писем Беранже на русском языке. Русский читатель имел возможность познакомиться с эпистолярным наследием Беранже, в сущности, впервые лишь по избранным письмам Беранже, выпущенным издательством «Academia» («Полное собрание песен Беранже», «Academia», 1935, II), так как, если не считать отдельных публикаций в журналах, это первое издание писем поэта на русском языке.

Печатаемые ниже автографы Беранже, за исключением альбомной записи, даты которой установить не удалось, относятся к периоду 1816—1852 гг. Преобладающее число публикуемых писем принадлежит к довольно часто встречающимся в переписке Беранже письмам просительного характера, т. е. таким, где Беранже выступает ходатаем за различных нуждающихся в помощи людей. Специфическая особенность

этих писем—упорство и настойчивость, с которыми Беранже добивается успеха в задуманном им деле помощи, обращаясь, зачастую, к тем самым «сильным мира сего», от чьей поддержки сам он почти всегда отказывался в затруднительных обстоятельствах своей личной жизни. Виды помощи, о которой просит Беранже, столь же разнообразны, как и разнообразны лица, о которых он просит. Здесь и приискание работы безработным соотечественникам и польским эмигрантам, и устройство на учебу сына вдовы какого-то артиллерийского офицера, и материальная помощь неимущим и т. п. Наибольший интерес из публикуемых писем заслуживают те, где Беранже дает молодым и начинающим авторам советы, делает оценки их произведений, высказывает свои суждения о задачах литературы. Эти письма (№№ 7, 8, 10, 12 нашей публикации) явятся любопытным дополнением к тому ценнейшему историко-литературному материалу, который представляет собой переписка Беранже, насыщенная высказываниями поэта по различным вопросам литературной жизни, изумляющими своей самобытностью и тонкостью. Наши документы дают также материал, подчеркивающий критическое отношение Беранже к учреждениям и порядкам Июльской монархии (напр., письмо № 9). В них разбросаны, далее, свидетельства об интересе поэта к социальным проблемам (напр., письма №№ 11 и 12). Наконец, публикация дает ряд любопытных деталей для биографии знаменитого песенника. С этой точки зрения заслуживает особенного внимания письмо № 1, знакомящее с некоторыми обстоятельствами ранних изданий песен Беранже.

В приложении к публикации мы помещаем опись всех выявленных редакцией «Литературного Наследства» автографов Беранже в собраниях СССР.

1. ПУАРСОНУ-ПРЮНЬО

[Париж, 1816 г.][1]

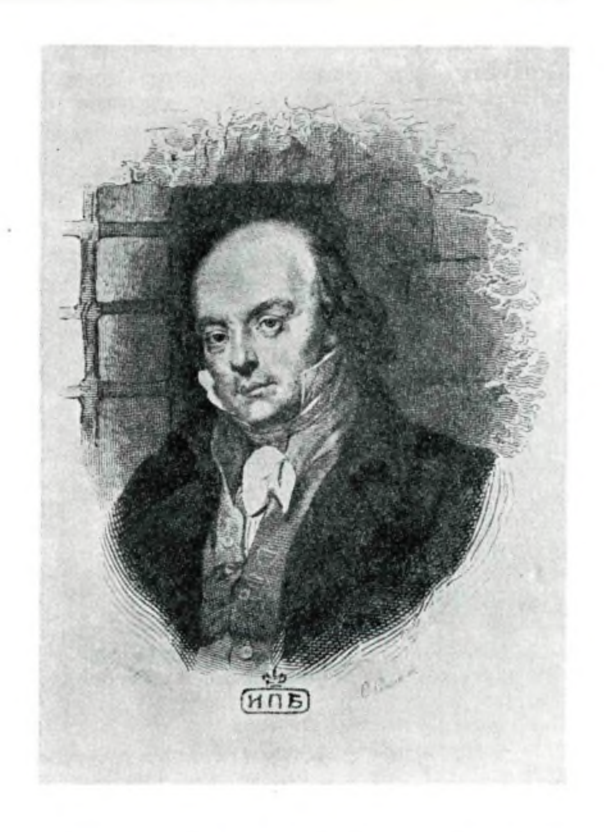
Сударь, мне следует два экземпляра «Le Caveau»[2]—на обыкновенной и на веленевой бумаге. Присутствие г. Эмери[3] вовсе не обязательно, чтобы завершить это дело. Впрочем, если угодно, предъявитель сего уплатит вам стоимость экземпляра, который мне совершенно необходим сегодня же.

Что касается того, что вы мне говорите о песнях, напечатанных в «Soupers de Momus»[4], я считаю необходимым дать относительно себя следующие объяснения, которые мне казались излишними, но с которыми я прошу вас ознакомить г. Эмери.

В «Soupers de Momus» есть две мои песни, которые помещены также в «Le Caveau»,—я полагаю, что ваше замечание относится именно к этим двум песням. «Les Gueux» входят в сборник, изданный год тому назад г. Эмери[5],—сборник, мне не принадлежащий, и, на мой взгляд, их переизданию ничто не могло воспрепятствовать.

С «Paillasse» дело немного серьезнее, но эта вещь не предназначалась для «Le Caveau», по причинам мне одному известным[6], и только по просьбе г. Жакелена[7] я решился дать ее в этот сборник. Но, посылая ее вашему секретарю, я не преминул его предупредить, что эта песня отдана уже в другой сборник. Если я не упоминал о «Soupers de Momus», то только потому, что я предполагал тогда, что они составляют собственность г. Эмери; в таком случае, предупреждения были бы излишни. Если бы г. Жакелен показал мое письмо г. Эмери, то никто не был бы ныне в праве упрекать меня, что я дважды напечатал одну и ту же песню. Впрочем, должен вам заметить, что мои песни не составляют чьей-нибудь собственности, даже и «Le Caveau», следовательно, никто не имеет права упрекать меня в том, что я располагаю ими по собственному усмотрению.

БЕРАНЖЕ В ТЮРЬМЕ
Гравюра К. Кузена с портрета Ари Шеффера, 1828 г.
Публичная библиотека, Ленинград



А у г. Эмери тем меньше оснований жаловаться, что именно для него я поторопился написать еще несколько песен, чтобы пополнить сборник. И если бы с завершением этого тома не так спешили, я мог бы хоть сегодня сдать четыре песни, никому не известные даже в рукописи.

Я прошу вас, сударь, ознакомить г. Эмери с изложенными соображениями, которые, как вы сами видите, исходят от человека, не любящего упрекать себя даже в самых незначительных вещах.

Остаюсь с почтением

ваш покорный слуга
П.-Ж. де Беранже

Адрес: Господину Пуарсону-Прюньо[8],
у г. Эмери

Автограф.—Исторический музей, Москва. Собрание Г. В. Орлова, № 2/20.

[1] Письмо датируется на основании встречающегося в нем упоминания о первом сборнике писем Беранже, вышедшем «год тому назад»—изданном в 1815 г. См. ниже, прим. 3-е.

[2] «Le Caveau»—ежегодник, издававшийся обществом песенников «Современный погребок» («Le Caveau moderne», 1806—1817). Общество было основано в подражание старым погребкам (1729—1739, 1759; 1796—1806), собиравшим для веселых застольных бесед и песен поэтов, писателей, музыкантов, художников. Среди членов старых погребков встречаются имена Пирона, Коле, Кребийона-отца, Кребийона-сына, Мармонтеля, художника Буше, музыканта Рамо и др. «Современный погребок» также насчитывал в своей среде крупных поэтов и славился остроумием и весельем. Ежемесячно члены погребка выпускали тетрадь песен, а в конце года—сборник. Беранже был принят в общество в конце 1813 г. Он оставался членом погребка до «последних конвульсий империи и Ста дней...», когда «разногласие мнений посеяло в нашем обществе недоразумения (так же, как и во всей Франции),

и мой патриотизм не мог долго выносить то, что я видел и слышал за нашими обедами» («Моя биография».—Полное собрание песен Беранже в переводе русских поэтов, СПб. 1904, I, 69—далее всюду сокращенно «Моя биография»). В ежегодниках «Погребка» за 1814—1816 гг. напечатан ряд песен Беранже.

[3] Eymery Алексис—издатель первого сборника песен Беранже, выпущенного в свет в 1815 г. под названием «Chansons morales et autres» par M. P. J. de Béranger, convive du Caveau moderne, avec gravures et musique. Paris, à la librairie d'Alexis Eymery, rue Mazarine № 30, 1816; фактически книга вышла в 1815 г. (см. «Bibliographie de l'œuvre de P. J. de Béranger par Jules Brivois», P., 1876). Книжка включала 83 песни и вышла тиражом в 3 000 экземпляров.

[4] «Soupers de Momus»—сборники содружества «Ужины Мома» (1813—1828). Содружество являлось как бы филиалом «Современного погребка». После закрытия последнего, вследствие политических разногласий между его членами, наиболее радикально настроенные из них присоединились к «Ужинам Мома». Беранже был членом содружества.

[5] То-есть в упомянутый выше первый сборник стихотворений Беранже «Chansons morales et autres». «Les Gueux» («Бедняки»)—одна из наиболее популярных песен Беранже—относится к тем годам его поэтической деятельности (написана в 1812 г.), когда он, совместно со своим другом Кенекуром, основал кружок «Монастырь беззаботных» («Couvent des Sans-Souci»), состоявший преимущественно из перонских ремесленников.

[6] Причины, по которым песня «Паяц» («Paillasse», 1816) не предназначалась для «Le Caveau», указаны Беранже в примечаниях к песне: «Многие думали, что эта песня имеет в виду Дезожье. Они забывают, что Беранже направляет стрелы сатиры только против сильных мира сего. К тому же, когда появился «Паяц», Беранже был еще в дружеских отношениях с Дезожье» (см. П.-Ж. Беранже, Полное собрание песен, «Academia», второе исправленное издание, 1936, I, 801). Désaugiers Марк-Антуан-Мадлэн (1772—1827)—известный песенник, председатель «Современного погребка». Беранже посвятил ему свою песню «К моему другу Дезожье» («A mon ami Désaugiers»). Впоследствии, однако, он с ним разошелся.

[7] Jacquelin Жак-Андре (1776—1827)—драматург и песенник. С 1812 г. был в составе членов «Погребка». Автор ряда комедий и водевилей, часть которых написана в сотрудничестве с его близким другом Дезожье.

[8] Адресата письма установить не удалось.

2. МОНТАНДОНУ

[Париж], 1 февраля 1828 г.

Мой дорогой Монтандон[1],

Г-ну Лафитту известно о деле г-жи Жюли Бонно. Он обещал мне одолжить ей сумму, которую она просит. Как только эта дама придет к вам в контору, будьте добры доложить об этом г. Лафитту. Г-н Лафитт согласен также перенести на 29 февраля то, что он высказал готовность сделать для г-жи Грав[2]. Итак, примите это к сведению и уплатите ей.

Весь ваш
Беранже

Адрес: Господину Монтандону.
Улица Астор

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. Собр. П. В. Вакселя, № 56.

[1] Montandon—в 1827—1828 гг. секретарь известного своей благотворительностью банкира Лафитта (Laffitte Жак, 1767—1844), впоследствии, при Луи-Филиппе, председателя совета министров и министра финансов (ноябрь 1830 г.—март 1831 г.). Сохранилось большое количество писем Беранже к Монтандону, содержащих, как и публикуемое, ходатайства и напоминания о помощи различным лицам («Correspondance de Béranger, recueillie par P. Boiteau, Paris, 1860, 4 volumes»,—в дальнейшем, при ссылках, сокращенно Corr. de B.; I, 310, прим. 1-е). С Монтандоном Беранже продолжал переписку и в последующие годы, когда тот служил в почтовом ведомстве.

[2] Жюли Бонно и г-жа Грав—повидимому, одни из многочисленных просительниц Беранже.

Monsieur,

Il me revient cinq exemplaires du Caveau en papier ordinaire et un en papier vélin. M. Eymery n'a pas besoin d'être ici pour terminer cette affaire. Cependant si vous l'exigez le porteur vous donnera le prix des exemplaires dont j'ai absolument besoin aujourd'hui.

Quant à ce que vous me dites des chansons imprimées dans les Soupers de Momus je crois vous devoir donner pour ce qui me regarde les explications suivantes, explications que je croyois inutiles, mais que je vous prie de faire connaître à M. Eymery.

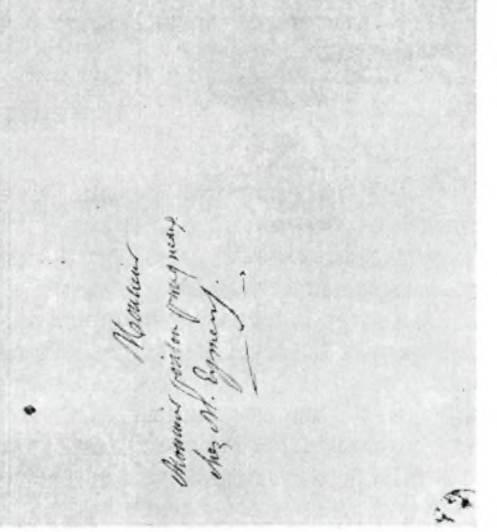
J'ai donné dans les Soupers de Momus deux chansons qui sont également dans le Caveau; et je pense que [illegible] pour ces deux chansons. Les Gaulois font partie d'un recueil publié il y a un an par M. Eymery, recueil qui n'est pas le mien, et rien ne pouvait en empêcher la réimpression; du moins je le pensais. Paillasse est un peu plus important, mais il n'était pas destiné au Caveau par des raisons à moi seul connues, et ce n'est que sur la demande de M. Jacquelin que je me suis décidé à le donner à ce recueil. Mais en l'envoyant à notre secrétaire, j'eus bien soin de le prévenir qu'il était déjà livré à d'autres recueils. Si je n'ai point parlé des Soupers de Momus, c'est que je croyois alors qu'ils étaient la propriété de M. Eymery, ce qui rendoit l'avertissement inutile à cet égard.

Si M. Jacquelin eût communiqué cette lettre à M. Eymery on ne serait point en droit aujourd'hui de me reprocher cette double insertion. Je dois cependant vous faire observer que mes chansons ne sont la propriété de personne pas même du Caveau, que par conséquent personne n'a droit de me reprocher d'en disposer comme bon me semble. Au reste M. Eymery aurait d'autant plus tort de se plaindre que c'est pour lui que je me suis hâté d'en faire plusieurs pour grossir le recueil, et que si l'on se fût un peu moins pressé de clore le volume j'en [illegible] 4 chansons qui n'ont même pas [illegible] manuscrites.

Soumettez lui, je vous prie, Monsieur, les observations que vous [illegible] cette lettre, d'un homme qui n'aime à avoir rien à se reprocher même dans les choses les moins importantes.

Je suis avec considération, votre serviteur

P. J. Béranger



Monsieur

Monsieur Poirson Prugnaud

chez M. Eymery.

АВТОГРАФ ПИСЬМА БЕРАНЖЕ К ПУАРСОНУ - ПРЮНЬО, 1816 г.

Исторический музей, Москва

3. ЛАФАЙЕТУ

[26 февраля 1831 г.]

Дорогой генерал[1],

Удерживаемый дома недомоганием в течение двух недель, я надеялся, что смогу, наконец, завтра участвовать в заседании Польского комитета[2]. Возобновление боли в груди не позволяет мне выполнить эту обязанность. Будьте добры, дорогой генерал, передать мои извинения коллегам по комитету и заверить их, что тотчас же по выздоровлении я поспешу принять участие в совещаниях.

Остаюсь с неизменной дружбой, уважением и восхищением

Беранже

26 февраля 1831 г.

Адрес: Генералу Лафайету.
Улица Анжу, Сент-Оноре, 6.
Париж

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Собр. Театрального музея им. Бахрушина.

[1] Lafayette Мари-Жозеф (1757—1834) был, как известно, горячим сторонником национальной независимости народов. Когда вспыхнуло польское восстание 1830 г., он стал во главе организованного в Париже в помощь Польше Польского комитета.

[2] Беранже был членом Польского комитета и издал в пользу комитета сборник, состоящий из четырех песен («Спешите», «Понятовский», «14-е июля 1829 г.», «Друзьям, которые стали министрами») и посвящения генералу Лафайету—«Президенту Польского комитета и первому гренадеру польской национальной гвардии» (см. «Моя биография», 128). Отношение Беранже к польскому вопросу выразилось в следующих словах этого посвящения: «Будучи членом комитета, который под вашим [Лафайета] руководством поддерживает сношения с этим народом, таким великим и таким несчастным, я считал за честь одним из первых поддержать начинания, которые вы предприняли в пользу этого справедливейшего дела» («Полное собрание песен Беранже», 1936, «Academia», II, 563).

4. [НЕИЗВЕСТНОМУ]

[9 мая 1831 г.]

Отнюдь не ко мне, сударь, следовало направить эти бумаги. Вам следовало бы поскорее повидать кого-нибудь из членов комиссии по вознаграждениям и уточнить суть вашей просьбы. Я думаю даже, что г. Винье, принимающий участие в этой комиссии,—самое подходящее лицо, которое может предпринять необходимые шаги. Мне неизвестно, собирается ли еще комиссия. Поспешите же снова повидать г. Винье и попробуйте добиться поддержки с его стороны. Что касается меня, сударь, то я уже говорил вам, что если бы понадобилось обратиться к г. Каде де Гассикуру[1], мэру четвертого округа, я вас порекомендую ему. Если же вы считаете, что вам может оказаться нужной моя рекомендация к некоторым членам комиссии, то я разрешаю вам сослаться на мою заинтересованность в вашей судьбе и показать это письмо.

Примите, сударь, уверение в этой моей заинтересованности, равно как и в моем уважении.

Беранже

9 мая 1831 г.

Автограф.—Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград.

[1] Cadet de Gassicourt Луи-Феликс (1789—1861)—сын поэта Шарля-Луи Каде де Гассикура, члена «Современного погребка», по специальности—химик-фармацевт, политический деятель либеральной партии. Был мэром IV округа Парижа (1831—1833).

5. БРИССО

[Пасси, 20 апреля 1832—1835 г.]

Мой дорогой Бриссо[1],

Вы обещали мне доставить службу польскому эмигранту, г. Козицкому[2], имеющему лучшие рекомендации, между прочим, и г. де Ла Рошжакелена[3], который устроил его в пароходной компании, перешедшей позднее в другие руки. Г-н Козицкий два или три дня нес дежурства по оказанию медицинской помощи населению. Эта работа была ему предоставлена во время холодов. С тех пор ни о какой другой службе для него ничего не слышно. Не найдется ли у вас в ожидании лучшего какого-нибудь местечка для этого достойного офицера?

Сердечно ваш
Беранже

Пасси, 20 апреля.

Автограф.—Музей революции, Ленинград.

[1] Brissot (умер в марте 1850 г.)—племянник члена Конвента, Жана-Пьера Бриссо (1754—1793). До 1830 г. был книгопродавцем. После Июльской революции ведал здравоохранением Парижа. В 1849 г.—префект департамента Финистер. С Бриссо и его женой Беранже был в дружеских отношениях. Сохранилось много его писем к супругам Бриссо (см. Corr. de B.).

[2] Это письмо, как и письмо № 3, связано, повидимому, с деятельностью Беранже в качестве члена Франко-польского комитета. Очевидно, в связи с польскими событиями и службой Бриссо по здравоохранению, Беранже хлопочет о польском эмигранте Козицком. Письмо могло быть, следовательно, написано не ранее 1832 г., т. е. после подавления польского восстания (осень 1831 г.), так как Беранже называет Козицкого эмигрантом, и не позднее 1835 г.—последнего года пребывания Беранже в Пасси в первый период его жизни там (Беранже снова поселяется в Пасси лишь в апреле 1841 г.).

[3] Вероятно, Rochejaquelin Огюст (1783—1868)—один из видных легитимистов.

6. [Г-ЖЕ ЖАНДО]

[Пасси, 2 февраля 1833 г.]

Я боюсь, сударыня[1], что вы обратились по ложному адресу, думая, что я смогу быть вам чем-либо полезен. Я уже давно лишился влияния, и мои желания оказать кому-нибудь услугу остаются совершенно бесплодными[2]. К тому же, я очень далек от парижских верхов, а довольно сильное нездоровье (ужасные головные боли) делает меня в настоящее время неспособным не только к какой-нибудь работе, но даже к чтению.

Тем не менее, если вас не смущает поездка в Пасси, улица Басс, 22, вы можете быть уверены, что в течение ближайших двух-трех дней застанете меня дома от 10 часов утра до полудня. Не сомневайтесь, что доставите мне удовольствие, оказав мне честь своим посещением.

Ваш покорный слуга
Беранже

Пасси, 2 февраля 1833 г.

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. Собр. авт. 348, № 94.

[1] Письмо по содержанию и дате близко к двум письмам Беранже к Тьеру за 1833 г., в которых он просит оказать помощь вдове артиллерийского офицера

Шарля-Клода Жандо (Jeandot) и устроить ее сына в «Ecole des Arts et Métiers de Châlons» (ср. «Revue d'Histoire littéraire de la France», 1917, juin-mars, 133—134). Это позволяет высказать предположение, что письмо адресовано г-же Жандо.

[2] Беранже утратил влияние в связи с общим поправением политики правительства Луи-Филиппа и приходом на смену Лафитту консерватора Казимира Перье. Переселение Беранже в предместье Парижа, Пасси, также было связано с происшедшими политическими переменами.

7. ЭЛИЗЕ МОРО

[Пасси, 10 апреля 1833 г.]

M-lle[1],

Я очень виноват, что не поблагодарил вас раньше за «Послание», которое вам угодно было мне адресовать. Будьте, тем не менее, уверены, что среди стихов, полученных мною в связи с последней моей книгой[2], найдется мало доставивших мне такое удовольствие, как ваши. Неужели ваша муза, столь юная и блистательная, вышла из деревенской школы?! Разумеется, она не достигла еще полного своего развития, но подобный цвет сулит наилучшие плоды. А затем, что замечательно в вашем «Послании», так это возвышенность и благородство чувств. Родина и человечество находят в вас своего глашатая, которого однажды, без сомнения, они будут иметь радость приветствовать.

Не подумайте, M-lle, что я намерен обмениваться с вами похвалами. Вы слишком превозносите мой талант, вы верите в мой успех, как бы я и сам хотел в него верить; но это заблуждение вашего ума проистекает от симпатий наших чувств. То, о чем я пел, заставляет вас верить, будто я пел хорошо. Вашему возрасту свойственно создавать себе такие счастливые иллюзии. Мой же предохраняет меня от подобных обольщений. Что меня приводит в восхищение в вашем «Послании», так это мысль о том, что голос, находящийся так далеко от мест, где вырабатываются идеи, голос, не искушенный в уроках искусства, сумел сложить созвучия, к которым время обещает добавить то, чего недостает еще для их совершенства.

Я буду рад, M-lle, если вы захотите избрать меня наперсником и доверить мне свои опыты. Верьте, что моя старая муза отнесется с полным участием к вашей—столь юной и обольстительной.

Примите, вместе с извинением за запоздание, с которым я вам отвечаю, мои уверения в благодарности и глубоком почтении.

Беранже

Улица Басс, № 22.

Пасси, 10 апреля 1833 г.

Адрес: M-lle Элизе Моро.
В Кулонж на Отизе,
округ Ниор
(Дё-Севр)

Почтовый штамп:
«Пасси, 11 апреля 1833»

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. КП 10/39.

[1] Moreau Элиза—литературный псевдоним французской писательницы Элизы Дерю (Derus, род. 1813 г. в Рошфоре), жены (с 1853 г.) поэта Ганя (Gagne, 1806—1876). Литературные дебюты Элизы Моро относятся к 1836 г., когда ее стихотворение «L'Arc de Triomphe» было премировано Французской академией. Вскоре после этого вышел и первый сборник ее стихотворений «Les rêves d'une jeune fille» (1837). Она писала также прозу, рассказы для детей, сотрудничала в периодической печати. Заслуживает быть отмеченным, что Моро—самоучка, не получившая законченного

образования. Наше письмо датировано 1833 г. и написано, следовательно, еще до выступления будущей писательницы в печати. Но Беранже, как и в других аналогичных случаях, распознал у своей безвестной провинциальной корреспондентки дарование и поощрил юного, начинающего поэта к дальнейшей работе.

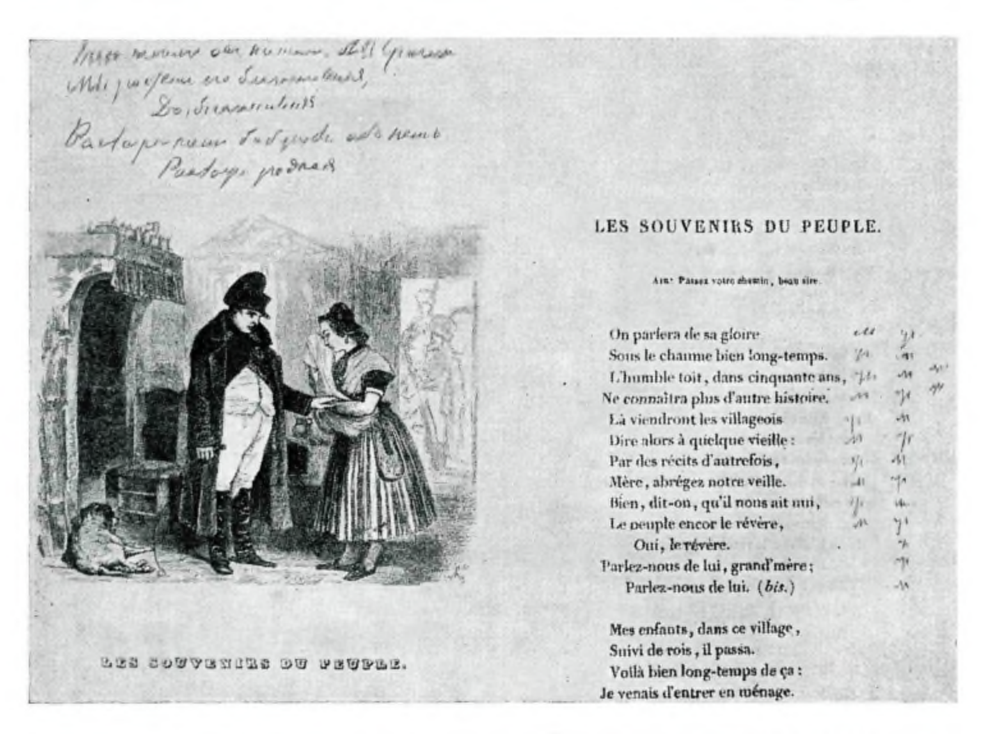
Имя Элизы Моро упоминается среди корреспондентов Беранже. В списке писем, которые были известны составителю переписки Беранже, Полю Буато, но не включены им в издание, значатся два письма песенника к Элизе Моро — от 10 апреля 1833 г. из Пасси (очевидно, то, что мы публикуем) и от 6 июня 1833 г. (см. Corr. de B., IV, 373).

[2] В 1833 г. у Перротена вышло новое издание песен Беранже: «Chansons nouvelles et dernières de P. J. de Béranger, dédiées à M. Lucien Bonaparte». Paris, Perrotin éditeur, rue des Filles-St.-Thomas, № 1 (Place de la Bourse), 1833. Это то самое издание, в котором Беранже прощался со своими читателями, не предполагая более появляться в печати, и о котором он пишет в своей автобиографии: «Я мог дать публике мой последний том только в 1833 г. Я это сделал, обещав ей никогда больше не занимать ее моей особой» («Моя биография», 128). Том включал 56 впервые публикуемых песен, в том числе ставшие такими популярными вещи, как «Le feu du prisonnier» («Камин в тюрьме»), «Le vieux caporal» («Старый капрал»), «Jacques» («Жак»), «Le vieux vagabond» («Старый бродяга»), «La pauvre femme» («Нищая») и др. Книга появилась в январе 1833 г. (Corr. de B., II, 110—112). В том же году, под тем же названием «Chansons nouvelles et dernières», Перротен напечатал еще два издания песен Беранже, а всего в 1833 г. песни Беранже, не считая контрафакций, вышли тиражом в 31 000 экз. (Ср. «Bibliographie de l'œuvre de P. J. de Béranger par Jules Brivois», P., 1876, 41).

8. МАЛЬФИЛЮ

[Фонтенебло, 23 мая 1836 г.]

Я не знаю, сударь, чему я обязан присылкой «Infants de Lara», которой вам угодно было меня почтить[1]. Возможно, что вам рассказали об интересе, проявляемом мною к успехам нашей молодой литературы. Если


LES SOUVENIRS DU PEUPLE.

On parlera de sa gloire
Sous le chaume bien long-temps.
L'humble toit, dans cinquante ans,
Ne connaîtra plus d'autre histoire.
Là viendront les villageois
Dire alors à quelque vieille :
Par des récits d'autrefois,
Mère, abrégez notre veille.
Bien, dit-on, qu'il nous ait nui,
Le peuple encor le révère,
Oui, le révère.
Parlez-nous de lui, grand'mère ;
Parlez-nous de lui. (*bis.*)

Mes enfants, dans ce village,
Suivi de rois, il passa.
Voilà bien long-temps de ça :
Je venais d'entrer en ménage.

LES SOUVENIRS DU PEUPLE.

ЭКЗЕМПЛЯР „ПЕСЕН“ БЕРАНЖЕ, ПРИНАДЛЕЖАВШИЙ В. С. КУРОЧКИНУ, С ЕГО НАБРОСКОМ ПЕРЕВОДА И ПОМЕТАМИ

Литературный музей, Москва

это так, я, действительно, заслужил ваш подарок. Вот почему вместо того, чтобы начать с благодарности, я предпочту сказать вам, сударь, что чтение вашей драмы доставило мне живейшее удовлетворение, и это не только благодаря ее достоинствам, но также в силу ее недостатков, которых, не скрою от вас, я считаю, у нее много. Но недостатки эти такого рода, что позволяют возлагать надежды на ваш талант, ибо свидетельствуют о его молодости и силе. И сколько прекрасных мест подтверждает это мое мнение! Расточитель большого богатства, вы легко научитесь разумно им пользоваться, особенно, когда хорошо уразумеете, что пренебрегать теми возможностями, которые предоставляет искусство для успешного выражения мысли,—значит недостаточно любить эту мысль. Вы должны были и сами почувствовать это, сударь, поскольку вы придаете такое высокое значение поэту. Не могу устоять перед желанием высказать по этому поводу одно замечание: вы говорите в своем «Предисловии», что поэт является жрецом, и, действительно, нужно, чтобы он стремился к священному служению. Однако, осуществить это ему удается лишь в известные эпохи развития человечества. В наше время поэт—только апостол, подвергающийся, как некогда апостолы Христа, всяческим оскорблениям и нередко обреченный даже на мученичество. Вот почему в наше время нужно, чтобы талант опирался на характер: в противном случае он скоро зачахнет. Чувства, выраженные в вашем «Введении», дают мне уверенность, что вы будете переходить от успеха к успеху и сумеете устоять перед эгоистическими увлечениями нашего времени, которые заглушили столько хороших ростков. Главное же, сударь, работайте самостоятельно. Не сближайтесь ни с теми, что выше, ни с теми, что ниже вас. Уважайте свою самобытность, и если среди признанья, которое вы, благодаря этому, обретете, вам случится вспомнить советы старого отшельника, верьте, что он из своего далека будет с радостью приветствовать похвалы, которыми вас станут награждать.

Примите, вместе с искренней благодарностью, сударь, уверение в совершеннейшем почтении.

Беранже

Фонтенбло, 23 мая 1836 г.

Адрес: Господину Мальфилю.
Париж

Автограф.—Исторический музей, Москва. Собр. Бахрушина, фонд № 1.

[1] Mallefille Жан-Пьер-Фелисьен (1813—1868)—драматург. Одной из первых его драм, шедших в театре «Порт Сен-Мартен», были «Семь инфантов Лара» («Sept infants de Lara»), на тему испанского романса. В предисловии к своей драме Мальфиль пишет: «По мнению автора этой пьесы, поэзия должна быть инструментом, имеющим три струны, поочередно звучащие: общий аккорд—это драма: жалость, восхищение, страх; жалость к угнетенным, восхищение праведниками, страх перед злодеями.

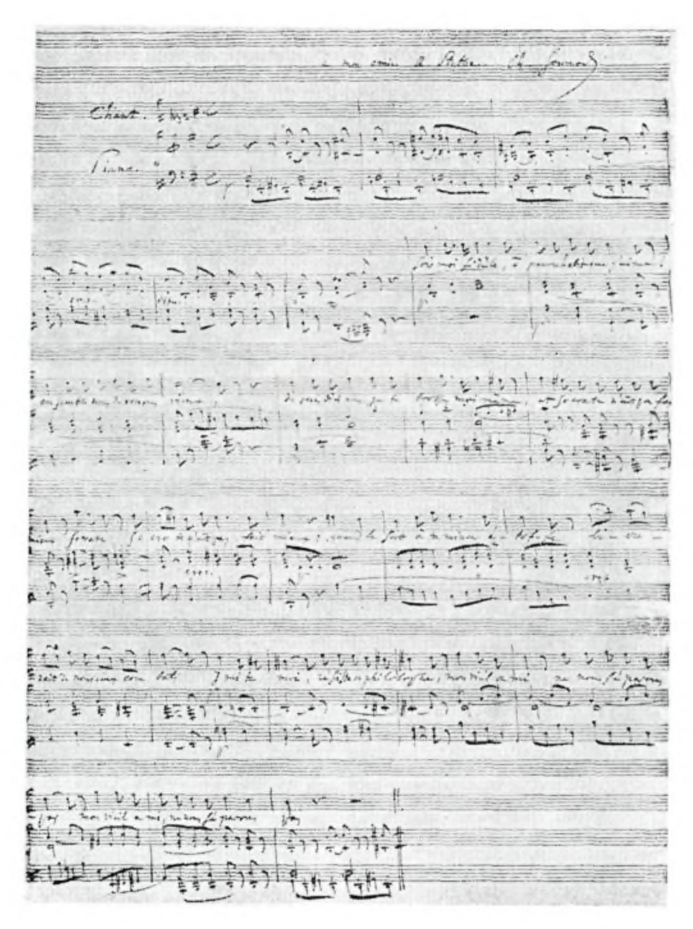
В письме к г-же Бриссо-Тивар от 15 мая 1836 г. Беранже сообщает: «Вчера я получил «Обозрение» от 1-го и «Инфантов Лара». Я напишу Форту (Fortoul), чтобы поблагодарить Мальфиля (Corr. de B., II, 331—332).

9. [АВГУСТУ ЧЕШКОВСКОМУ]

[Пасси, 2 декабря 1844 г.]

Примите, сударь, уверение в моем сочувствии идеям, высказанным в вашей ценной и умной брошюре[1]. Я прочел ее внимательно и одобряю ваши взгляды. Но не придавайте слишком большого значения моей по-

хвале. Не говоря уже о моей бесталанности, я должен вам признаться, что давно разделяю мнение, более или менее сходное с вашим. Вы видите, что в таких условиях я не могу быть беспристрастным. Я не раз говорил нашим, с позволения сказать, государственным мужам о школе высшего управления, безусловно необходимой для сохранения традиций в эпоху полной демократии. Но нужно вам сказать, что мне чуть ли не смеялись в лицо. Запомните это. Что касается пэрства, значение которого вы



НОТНЫЙ АВТОГРАФ ШАРЛЯ ГУНО НА СЛОВА ПЕСНИ БЕРАНЖЕ „МОЙ СТАРЫЙ ФРАК“
Сверху дарственная надпись Гуно А. Штуббе
Литературный музей, Москва

хотите усилить и которое, с этой целью, наделяете прекрасными и полезными функциями, я сомневаюсь, что вы найдете много пэров, которые захотели бы взять на себя труд заставить большинство своих коллег принять ваши идеи. Эти господа предпочитают судить бунтовщиков. Наши, с позволения сказать, конституционные учреждения словно страшатся обрести душу живу. Это мельницы, боящиеся ветра, так как он заставил бы их вертеться. Может быть, они считают себя недостаточно прочными: в наше время строят так ненадежно.

Если вы непрочь притти побеседовать со старым отшельником, который всегда держался в стороне от дел, но отнюдь не относится к ним без-

различно, приходите и верьте, что доставите мне удовольствие. К сожалению, я чаще всего бываю дома до полудня. Но если это время вам неудобно, укажите другое, я буду вас ждать.

Примите, сударь, уверение в моем дружеском уважении.

Преданный вам
Беранже

2 декабря[2].

Пасси, ул. Винёз, 19.

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. Общ. собр. авт.

[1] Адресатом письма, вероятно, является граф Август Чешковский (Cieszkowski, 1814—1894)—автор брошюры «De la pairie et de l'aristocratie moderne», P., 1844. Об этой брошюре, повидимому, и идет речь в письме.

Чешковский был известен, как польский общественный деятель. В 1848 г. был депутатом Прусского национального собрания. Его перу принадлежит ряд философских и экономических работ. По своим взглядам Чешковский близок к фурьеристам (см. его брошюру «Du Crédit agricole, mobilier et immobilier», 1847, éd. Phalanstérienne, P., 1847). Мицкевич в своем курсе славянской литературы, читанном в 1842—1843 гг. в «Collège de France», привлекал внимание французов к работам Чешковского, считая их полезными для людей, занимающихся философией, ибо он «очень ясно резюмировал выводы философских трудов нескольких немецких школ». Мицкевич уделил Чешковскому почти сплошь лекцию от 6 июня 1843 г. и вновь вернулся к нему в лекции от 13 июня 1843 г. См. Adam Mickiewicz, Les Slaves. Cour, professé au Collège de France (1842—1843), P., 1849, t. IV, 432—448, 457—462, 498.

[2] Если предположение, что адресатом письма является Чешковский, правильно, то письмо должно быть датировано 1844 г.—годом выхода в свет работы Чешковского о пэрстве. Эту датировку подтверждает и указанный Беранже адрес: на улице Винёз, 19, в Пасси, Беранже жил с апреля 1841 г. по апрель 1845 г.

10. [НЕИЗВЕСТНОМУ]

[Париж, 16 апреля 1845 г.]

Г-н де Мервиль[1] передал мне ваше письмо, сударь, и, узнав, что вы послали Тьеру стихи, которые ему понравились, я поспешил написать ему по поводу вас, указав, каким образом он мог бы быть вам полезным. Я надеялся получить ответ, но время идет, а его все нет. Хотя мы и остались добрыми друзьями, видимся мы очень редко; тем не менее, я уверен, что, если он сможет быть вам полезным, он постарается это сделать. К сожалению, он очень занят правкой своих корректур[2], а в Париже для чужих дел остается мало времени, потому что его едва хватает на свои.

Мы с Мервилем говорили о вас. Как и я, он не очень хорошо себе представляет, что можно было бы для вас сделать. Путешествие в Россию, к которому я пытался вас склонить, не представляется мне более возможным, по крайней мере, в настоящее время. К тому же, Мервиль сказал мне, что вы не закончили ни своего учения в коллеже, ни своих медицинских занятий. В ваши годы, будучи бедным юношей, я почувствовал необходимость иметь заработок, чтобы обеспечить себе духовную независимость. Я добивался, поэтому, конторской службы и не бросал ее почти до 48 лет. Правда, природа наделила меня способностями к делам, даже к счетоводству. Если бы мне, в 24 года, предложили место по сбору податей в деревне, я бы и с этим примирился, чтобы выполнять те обязанности, которые провидение возложило на меня с ранних лет, и иметь досуг, чтобы посвятить его поэзии. Все это, я знаю, не признаки большого поэта, поэтому я был только сочинителем песен; но зато, по крайней мере, я смог слу-

жить примером полезной независимости, ибо приносить пользу было всегда моей целью и в искусстве и в жизни.

Вы живете в другую эпоху, вы поддались общему увлечению и являетесь жертвой этого, как и многие другие, которых я вижу каждодневно и чья судьба похожа на вашу. Я делаю, что могу, чтобы поддержать бодрость страдающих людей. К несчастию, повторяю вам это в десятый раз, мое влияние только случайно, и, кроме того, места всюду заняты. Это не помешает мне, тем не менее, подыскивать что-нибудь подходящее для вас и хлопотать за вас у небольшого числа друзей, которых я сохранил среди сильных мира сего. Итак, рассчитывайте на мои добрые намерения и на мои старания и считайте меня всегда

вашим Беранже

P. S. В вашем письме к генеральному сборщику [receveur général] есть слово, заставившее меня улыбнуться. Вы говорите о подношении книги, которое сделал вам Тьер. Вы понимаете, что в своем письме к нему я говорил только о подарке. О, поэты! Почему вы не написали о своем негодовании? Ввиду этого, я должен вас просить не писать Тьеру, пока я вам об этом не скажу, так как я ему сказал, что не предупредил вас о том, что я прошу его за вас. Я не хотел бы, чтобы он подумал, что это я посоветовал вам послать ему стихи.

16 апреля 1845 г.

Адрес: Господину...[3]
В Бове, близ и через Амьен.
Сомма

Почтовые штампы: «Париж 17 апреля 45»;
«Амьен 18 апреля 1845».

Автограф.—Институт истории Академии наук СССР, Ленинград. Фонд бывш. Института книги, документа и письма.

[1] Merville Пьер-Франсуа-Камю (1785—1863)—актер и драматург, составивший себе имя рядом комедий.

[2] В 1845 г. появились первые томы «Histoire du Consulat et de l'Empire» Тьера, работе над которыми он посвящал много времени. Политическая деятельность Тьера с 1845 по 1848 гг. протекала в Палате депутатов, где он примыкал к оппозиции против министерства Гизо. В заботах о своих многочисленных просителях Беранже неоднократно на протяжении многих лет адресовался к Тьеру. Просьбы его носили самый разнообразный, а подчас и неожиданный характер. В одном из писем 1833 г., обращенном к Тьеру-министру, Беранже сам говорит об этом и дает объяснение мотивам, побуждавшим его заниматься делами, казалось, имевшими к нему весьма отдаленное отношение. «Вы спросите, быть может, зачем я мешаюсь во все это [речь шла о поддержке в судебной тяжбе каких-то бедняков, обойденных наследством], и отвечает:—Потому что, как вам известно, я питаю отвращение к несправедливости и бесчеловечности» (см. «Revue d'Histoire littéraire de la France», 1817, juin, 136).

[3] Фамилия адресата в подлиннике уничтожена.

11. ЖИЛАРУ

[Пасси, 24 мая 1847 г.]

Мой дорогой Жилар[1],

Я поблагодарил бы вас раньше за посылку, если бы у меня в руках не было VI тома «Жирондистов», который Ламартин принес мне как раз в тот момент, когда я получил подарок ваших милых горцев[2]. Восхищение, которое я питаю к этой новой истории нашей великой Революции, и испытываемая мною потребность пресечь неразумные упреки по ее адресу со стороны некоторых лиц заставили меня проглотить эту книгу, сумев-

шую восстановить славу великих принципов, нисколько не уменьшая ни жалости, какую должны вызывать жертвы, ни ужаса, который возбуждает несправедливо и не на поле брани пролитая кровь[3]. Все это, повторяю, заставило меня проглотить эту книгу, служащую, наконец, также подтверждением того, что можно писать историческую работу в красивом стиле, и помешало тотчас уведомить вас о получении чудотворной Иерихонской розы. Я хотел отдать ее моей сестре—монахине[4], считая ее более достойной подобного сокровища, но Жюдит и Фанни хотят ее сохранить хотя бы до будущего рождества, чтобы увидеть чудо оживления[5].

Вы ничего не пишете о моем письме, которое вы должны были получить более двух месяцев назад, по поводу пожара, произошедшего, повидимому, в окрестностях Эгперса. Вообразив, что это могло случиться в деревне, где вы проводите лето, я просил вас успокоить меня на этот счет.

Трудно было допустить, что письмо это до вас не дошло, но мне казалось также странным, что вы ничего не ответили. Я думал даже, что вы больны, и перестал беспокоиться только потому, что дней 10 назад Антье[6] сказал мне, что получил от вас известия. Что же случилось с моим письмом?

Антье также заставил меня беспокоиться. Какой-то общий упадок сил, сопровождаемый обмороками, потребовал кровопускания и других мер. Я навестил его вчера. Ему лучше.

Что касается меня, то сейчас я чувствую себя хорошо. Бретонно[7] взялся лечить мне глаза, которые теперь больше не болят. Здесь у нас сильная жара, заставляющая меня бояться за жатву и опасаться болезни, от которой я так страдал в прошлом году. К счастью, в нашем климате нельзя насчитать подряд двух таких жарких годов, как 1846-й.

А в ваших краях невзгодам все еще нет конца. Что у вас думают об урожае? Если он обещает быть хорошим, хлеб сам собой упадет в цене меньше, чем в течение месяца. Если же нет, это будет на-руку коммунизму.

До свидания, мой дорогой Жилар. Жюдит и Фанни шлют вам поклоны. Передайте мой почтительный привет вашей матушке.

Сердечно ваш
Беранже

Пасси, 24 мая 1847 г.

Автограф.—Литературный музей, Москва. Из собр. бывш. Павловского дворца, 3244—29.

[1] Gilhard—один из постоянных корреспондентов Беранже, сын мирового судьи в Эгперсе, пользовался особым вниманием со стороны песенника. Начало письма, до слов: «историческую работу в красивом стиле», помещено, как самостоятельное письмо, в Corr. de B., III, 364, с неправильной датировкой 1846 г.

[2] Беранже называет Жилара, его близких и земляков «горцами» потому, вероятно, что они жили в гористой местности. (Ср. также письма к Жилару в Corr. de B., III, 125, 156.)

[3] «Histoire des Girondins» Ламартина вышла в 1847 г. Появление ее в годы министерства Гизо содействовало еще большему успеху этой живо и интересно написанной книги, мало похожей на обычное сухое историческое исследование и являющейся апологией жирондистов. «Histoire des Girondins» состоит из восьми томов, подразделяющихся на 61 книгу. Шестой том (книги 40—46) посвящен описанию самых острых моментов борьбы Жиронды и Горы, падению Жиронды, убийству Марата, попыткам жирондистов поднять восстание в провинции, их поражению и судьбе отдельных жирондистов.

Под непосредственным впечатлением от чтения «Истории жирондистов» Беранже обратился к Ламартину с письмом, о чем последний так вспоминает в своей статье о Беранже, появившейся, уже после смерти песенника, 1 января 1858 г.: «Я только что опубликовал тогда «Историю жирондистов». Привыкнув к почти обязательному

чередованию похвалы и хулы, которым отмечена деятельность поэтов, писателей, политиков, я еще сомневался в успехе «Истории жирондистов». Не прошло и трех дней с момента появления книги в свет, как я получил совсем неожиданно письмо от Беранже. Письмо это, первое распечатанное мною после опубликования книги, дышало суровым и проникновенным энтузиазмом, так что казалось—бумага все еще трепещет под пером патриота. Оно было длинно: оно содержало рассуждения и мысли государственного мужа, оно сулило мне нивесть какую судьбу, так жестоко несбывшуюся потом». (Corr. de B., III, 378—379).

[4] Sophie Béranger (род. в 1787 г.) еще подростком вступила в монастырь, поддерживала слабую связь со своим знаменитым братом, навещая его раз в год и участив визиты лишь во время болезни Беранже. (Ср. ее письмо от 17 июля 1857 г. к Антье.—P. Boiteau, Philosophie et politique de Béranger, P., 1860.)

[5] Judith Frère (1778—1857)—многолетний друг и жена Беранже. О ней многочисленные упоминания в переписке, в «Моей биографии»; безусловно, о ней говорит

АВТОГРАФ ПЕСНИ БЕРАНЖЕ „МОЙ КЮРЕ"
Страницы первая и последняя
Публичная библиотека, Ленинград

Беранже в песне «Старушка» («La bonne vieille»). Фанни—девочка, взятая на воспитание Жюдит Фрер и Беранже. О цветении посланной Жиларом Иерихонской розы Беранже пишет в письме к нему от 15 января 1848 г.: «...Кстати, скажите этой милейшей даме [матери Жилара], что так называемая Иерихонская роза распустилась еще за несколько дней до рождества. Я говорю так называемая, потому что сомневаюсь, чтобы это была роза: скорее уж вереск или бессмертник другой формы, чем цветы, носящие эти названия. Но я говорю все это не для того, чтобы отрицать чудо, боже упаси. На-днях я снесу ее моей сестре. Быть может, в монастыре обретет она вновь форму розы, которую я так хотел увидеть в ней» (Corr. de B., III, 405).

[6] Antier Бенжамен (1787—1870)—драматический писатель и песенник. О нем Беранже говорит в «Моей биографии» (стр. 47): «В то время [первые годы XIX в.] у меня завязалось много приятных знакомств, которые длятся до сих пор. Я узнал Антье, доставившего столько произведений нашим второстепенным театрам, написавшего столько приятных песен, не изданных потому, что он никогда не думал о славе, хотя имел на нее право».

[7] Bretonneau Пьер (1771—1862)—врач, пользовавшийся исключительной популярностью. Автор заметок и небольших статей, являвшихся результатом многолетней практики.

12. [НЕИЗВЕСТНОМУ]

[Париж, 23 октября 1847 г.]

Посылая мне свою замечательную брошюру, вы должны были быть уверены, сударь[1], что я буду приветствовать ваши столь же разумные, сколь и настойчивые усилия, направленные к улучшению положения многочисленных классов, слишком пренебрегаемых, обычно, литераторами-профессионалами, которые полагают, что легче льстить им, чем просвещать их. Честь вам, сумевшему стать доступным простому люду. За ваши песни я отдал бы много своих, если бы такой обмен был возможен.

Продолжайте, сударь, этот столь благородный и полезный труд. Да будет вам за него наградой, —и многие позавидуют этой награде,—посеянная в молодых душах любовь к добру, за которую они будут вас вечно благословлять.

Вместе с искренней благодарностью примите, сударь, уверение в моем уважении и преданности.

Беранже

P. S. Вы были бы очень добры, если бы прислали мне 20 экземпляров своей пропагандистской брошюры, распространению которой я хотел бы быть полезен. Если вам удобнее, пошлите их в Париж, к Перротену[2], Place de Doyenin; по предъявлении настоящего письма 10 франков будут переданы посыльному.

Париж, 23 октября 1847 г.

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Собр. Театрального музея им. Бахрушина.

[1] Установить, кому адресовано письмо, не представляется возможным. В 1846—1847 гг. было издано много сборников песен и стихотворений на социальные темы. Письмо Беранже не дает достаточного материала для определения того сборника, автором которого является его корреспондент.

[2] Perrotin Шарль-Артур (1796—1865)—издатель песен Беранже. Незадолго до смерти Беранже сделал Перротена своим душеприказчиком и до конца дней своих ценил его очень высоко. В воспоминаниях Лапуанта читаем: «Я избрал Перротена,—сказал мне Беранже,—потому что он беден, старый солдат и честный человек. К тому же, он питает ко мне совершенно сыновнюю привязанность» (Savinien Lapointe, Mémoires sur Béranger, P., 1857).

13. Г-же БРИССО-ТИВАР

[Париж, 7 октября 1852 г.]

Дорогой друг[1], у нас переезд в полном разгаре, я не знаю, сколько это продлится[2]. Итак, не рассчитывайте застать стол накрытым ранее нескольких дней. Я бы и сам пришел сообщить вам это, если бы меня не удерживала усилившаяся простуда, которая мешает мне укрыться в Сель-Сен-Клу[3].

Сердечно ваш
Беранже

7 октября.

Адрес: Г-же Бриссо-Тивар.
Улица Вернёль, 9 или 11.
Париж

Сверху помета неизвестной рукой: «Беранже 1852 г.».

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. КП 10/39.

[1] Адресатка письма, г-жа Brissot-Thivard,—многолетняя приятельница Беранже и вдова его друга (см. выше, прим. 1-е к письму № 5).

[2] В 1850—1857 гг. Беранже жил: на Rue d'Enfer, 117, Avenue de Chateaubriand, 5, и Rue de Vendôme, 5, где и умер. Возможно, что речь идет о переезде на Avenue de Chateaubriand.

[3] В Сель-Сен-Клу Беранже неоднократно живал в 1840—1850 годах.

14. [НЕИЗВЕСТНОЙ]

Не плачьте, M-lle Лиз; вот вам «изречение»[1], которое ваша матушка хотела получить от меня для своего «альбома» ценою слишком лестной для меня настойчивости.

Я заставил себя просить. Извините мне это, но не забудьте, что великие люди сегодняшнего дня не останутся великими людьми для вечности.

Беранже

Автограф.—Литературный музей, Москва. 3254—I.

[1] Ни кому сделана эта—столь характерная для Беранже—альбомная запись, ни даты ее установить не удалось.

ПРИЛОЖЕНИЯ

АВТОГРАФЫ БЕРАНЖЕ В СОБРАНИЯХ СССР

Знаком «*» отмечены документы, впервые опубликованные в настоящей работе

А. ПЕСНИ

1. «Mon curé» («Мой кюре»). Опубликована впервые в сборнике «Le Caveau» (1815).
Беловая рукопись б/д. Подпись: P. J. de Béranger. В первой строке пятого куплета вариант: «Monseigneur un peu mécréant» (вместо: «Notre maire un peu mécréant»).
Публичная библиотека, Ленинград. Собр. П. К. Сухтелена. Воспроизведение см. выше, на стр. 687.

2. «La fortune» («Фортуна»). Опубликована впервые в «Chansons par M. P. J. Béranger», P., 1821.
Беловая рукопись б/д и подписи.
Исторический музей, Москва. Собр. Г. В. Орлова, № 2/21.

3. «La petite fée» («Добрая фея»). Опубликована впервые в «Chansons par M. P. J. Béranger», P., 1821.
Беловая рукопись б/д и подписи. Во второй строке второго куплета вариант: «A huit papillons attelée» (вместо: «De huit papillons attelée»), и в шестой строке четвертого куплета: «Leur clémence n'était muette» (вместо: «La clémence n'était muette»).
Публичная библиотека, Ленинград. Общ. собр. авт.

Б. ПИСЬМА, ЗАПИСКИ, ЗАПИСИ

4.* Бриссо (Brissot)—Пасси, 20 апреля [1832—1835 гг.].
Музей революции, Ленинград. См. выше, стр. 679.

5.* Бриссо-Тивар (Brissot-Thivard), г-же—[Париж] 7 октября [1852 г.].
Публичная библиотека, Ленинград. КП 10/39. См. выше, стр. 688.

6.* [Жандо (Jeandot), г-же]—Пасси, 2 февраля 1833 г.
Публичная библиотека, Ленинград. Собр. авт. 348, № 94. См. выше, стр. 679.

7.* Жилару (Gilhard)—Пасси, 24 мая 1847 г.
Литературный музей, Москва. Из собр. бывш. Павловского дворца. 3244—29. См. выше, стр. 685—687.

8.* Лафайету (Lafayette) Мари-Жозефу, генералу—26 февраля 1831 г.
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Собр. Театрального музея им. Бахрушина. См. выше, стр. 678.

9.* Мальфилю (Mallefille) Жану-Пьеру-Фелисьену—Фонтенбло, 23 мая 1836 г.
Исторический музей, Москва. Собр. Бахрушина, фонд № 1. См. выше, стр. 681—682.

10.* Монтандону (Montandon)—[Париж] 1 февраля 1828 г.
Публичная библиотека, Ленинград. Собр. П. В. Ваксела, № 56. См. выше, стр. 676.

11.* Моро (Moreau) Элизе—Пасси, 10 апреля 1833 г.
Публичная библиотека, Ленинград. КП 10/39. См. выше, стр. 680.

12.* [Неизвестной]—Альбомная запись б/д.
Литературный музей, Москва. 3254—I. См. выше, стр. 689.

13.* [Неизвестному]—9 мая 1831 г.
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. 9810—LIX б 39. См. выше, стр. 678.

14.* [Неизвестиому]—[Париж] 16 апреля 1845 г.
Институт истории Академии наук СССР, Ленинград. Фонд бывш. Института книги, документа и письма. См. выше, стр. 684—685.

15.* [Неизвестному]—Париж, 23 октября 1847 г.
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Собр. Театрального музея им. Бахрушина. См. выше, стр. 688.

16.* Пуарсону-Прюньо (Poirson-Prugneaux)—[Париж, 1816 г.].
Исторический музей, Москва. Собр. Г. В. Орлова, № 2/20. См. выше, стр. 674—675, 677.

17.* [Чешковскому (Cieszkowski) Августу]—Пасси, 2 декабря [1844 г.].
Публичная библиотека, Ленинград. Общ. собр. авт. См. выше, стр. 682—684.

АВТОГРАФЫ ЖОРЖ САНД В СССР

Публикация Вл. Каренина

Известных нам автографов Жорж Санд в собраниях СССР немного—всего 32 документа, в том числе 2 рукописи, 26 писем, 1 дарственная надпись на книге, 1 надпись на конверте и, наконец, 2 рисунка, которые мы условно также присоединяем к нашему списку автографов. Несмотря на свою малочисленность, автографы эти являются достаточно ценным материалом для биографии писательницы. Наибольший интерес представляют письма, за исключением одного неизданные и публикуемые здесь впервые. Относятся они к различным годам жизни Жорж Санд, охватывая в своих начальных и конечных датах период с 1832 по 1874 гг., т. е. почти весь период ее литературной деятельности, от первых дебютов до последних лет жизни. Написанные по разным поводам и в разные моменты, письма эти сохранили в скупо брошенных словах, намеках большое количество биографических фактов, запечатлели живой облик Жорж Санд.

По содержанию наша переписка очень разнообразна. Письма делового характера, связанные с литературной работой, как, например, письмо к Олифанту дю Шазе, чередуются в ней с записками и посланиями к друзьям, среди которых—целый ряд знаменитых современников (Полина Виардо, Франц Лист, Александр Дюма-сын, Эжен Делакруа, И. С. Тургенев и др.). Их сменяют письма, обращенные к авторам и художникам по поводу их произведений (например, письмо к неизвестному, от 7 августа 1863 г., и к Клезенже, 1846 г.) и др.

Наша публикация является ценной также и потому, что она расширяет круг известных до сих пор лиц, с которыми Жорж Санд была в переписке. Некоторые из наших писем обращены к людям, имена которых не встречаются ни в шести томах «Корреспонденции» Жорж Санд, ни в отдельных публикациях ее писем в различных журналах, наконец, не упоминаются ни в воспоминаниях, ни в трудах о ней. Таково, например, ее письмо к Элизе Анстер 1836 г., написанное в тревожное и трудное для Жорж Санд время и содержащее ряд любопытных автобиографических сведений.

Публикуемые письма представляют интерес и в графическом отношении,—они дают образцы двух почерков Жорж Санд: первый почерк мелкий, с наклоном вправо; этим почерком Жорж Санд писала до наполеоновского переворота 2 декабря 1851 г. После переворота, опасаясь, что, подобно многим из ее друзей, она подвергнется преследованию со стороны правительства Наполеона III, Санд стала писать свои письма крупным, прямым, искусственно выработанным почерком. Этот второй почерк писательница сохранила на всю остальную жизнь. Первым почерком написаны письма 1—13 нашей публикации, остальные—вторым.

Мы помещаем в нашей публикации также две никогда ранее не воспроизводившиеся акварели Жорж Санд, ее так называемые «дендриты». Происхождение этого заимствованного из минералогии названия таково: «дендритами» в минералогии называются отпечатки древесных пород в каменных разломах или просто окаменелые растения. Однажды, разглядывая фантастический рисунок, получившийся случайно оттого, что к не успевшей засохнуть красочной кляксе на бумаге приложили другой лист бумаги и краски размазались, образуя пятна и контуры, Жорж Санд заметила, что пятна эти воспроизводят словно окаменелые растения. Ей захотелось повторить опыт. Раздавив между двумя листами бумаги несколько комков краски, Жорж Санд

попробовала дополнить и выявить несколькими штрихами и мазками кисти те образы, которые представлялись ей в этих красочных пятнах. Получился пейзаж с фантастическими фигурами. Жорж Санд увлеклась этим способом рисования. Свои «дендриты» она выполняла акварелью или масляной краской. Наши рисунки, изображающие какой-то фантастический морской залив, были сделаны Жорж Санд для ее внучек Лоло (Авроры) и Титит (Габриэль), которые изображены на одном из рисунков вместе с ноганской собачкой Фаде.

Тексты неизданных автографов Жорж Санд печатаются расположенными в хронологическом порядке. В приложении к публикации мы помещаем опись всех известных нам автографов Жорж Санд в собраниях СССР.

В комментариях писем мы неоднократно ссылаемся на русское и французское издания нашей книги: Владимир Каренин, Жорж Санд, ее жизнь и произведения, т. 1, 1899, 635+XI; т. 2, 1916, 672+IX. Vladimir Karénine, George Sand, sa vie et ses œuvres, tt. 1—2, 1899, 448+III, 460; t. 3, 1912, 696+V; t. 4, 1926, 757. При ссылках нами всюду дается сокращенное обозначение этой работы: Каренин и Karénine, с последующим указанием тома и страницы.

1. ИЗДАТЕЛЮ ДЮПЮИ

Пятница, вечер [Париж, 7 июля 1832 г.]

Мой дорогой издатель, окажите еще услугу! Хотите? На этот раз пострадают только ваши ноги. Мы хотим увезти вас с собою на прогулку. Можете вы пожертвовать нам часок? Мы вас будем ждать у себя. Выберите такое время дня, которое для вас наименее неудобно, или отложите на следующий день, если так вам удобнее.

Вы так добры и любезны, что я боюсь, не начинаем ли мы становиться навязчивыми.

Жорж С.

Я только-что видела г. А. Пишо. Статья в «Revue» о нас вот-вот появится. Он также похлопочет за нас в «Journal des Débats».

В верхнем левом углу помета: «7 июля 1832 г.».

Адрес: Господину Дюпюи.
Улица Сены, 57.
Париж

Почтовый штамп: «Июль, 7»

Автограф.—Институт мировой литературы им. Горького, Москва. «Альбом А. С. Голицыной».

Дата «7 июля 1832 г.» написана, вероятно, адресатом письма, издателем Dupuy. Письмо относится к началу литературной деятельности Жорж Санд, после того, как она, расставшись в 1831 г. со своим прозаическим и скучным мужем, бароном Дюдеваном, уехала в Париж, где в сотрудничестве с Жюлем Сандо принялась за литературную работу. Из публикуемого письма видно, что у Авроры Дюдеван и Жюля Сандо были простые и дружеские отношения с их издателем Дюпюи. Письмо подписано Georges с «s» на конце, по французской орфографии, а не по английской, без «s», как всегда впоследствии подписывалась Жорж Санд. Подробнее о псевдониме Жорж Санд см. Karénine, I, 341. Письмо Жорж Санд к самому Амедею Пишо (Pichot, 1795—1877), от того же 1832 г., было напечатано в 1864 г. в «L'Autographe».

2. [НЕИЗВЕСТНОМУ]

[Не позднее весны 1833 г.]

Здравствуйте, мой друг! Так как же?

Посылаю вам Мериме. Я проглотила его сегодня за ночь. Это восхитительно, как всё, что он делает. Когда вы вернетесь? Заканчивайте скорее ваши дела и me ama [любите меня].

Ж. С.

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. КП 10/39.

ЖОРЖ САНД

Бюст работы Каррье-Беллёза. Терракота, 1861 г.

Эрмитаж, Ленинград

Записка интересна упоминанием о Мериме. Можно предполагать, что она адресована Сент-Бёву или, что вероятнее, другому литературному ментору Жорж Санд— Анри де Латушу. Написана записка, очевидно, до кратковременного романа Жорж Санд с Мериме, сразу оборвавшегося в июне 1833 г. После этого Жорж Санд уже никогда о Мериме так сочувственно не отзывалась. Таким образом, датировать записку следует не позже весны 1833 г.

В нашем распоряжении есть копия с письма Мериме к Жорж Санд, бросающего некоторый свет на этот эпизод, который Мериме называл потом «двойной ошибкой» и по поводу эпилога которого сплетены целые легенды. Вот текст этого письма, из которого можно заключить, что Мериме искал встречи и пытался объясниться с Жорж Санд (подробнее о взаимоотношениях Жорж Санд и Мериме см. Каренин, I, 281 сл.):

Министерство внутренних дел.

Париж ...дня 183[3г.]

Предположим, что какой-нибудь дипломат получает просьбу об аудиенции от надоедающего ему лица. Он назначит эту аудиенцию, но в назначенный день с ним приключится невралгия.

На другой день он извинится, но если еще раз придут повидать его, то узнают, что он позабыл о назначенном свидании и вышел из дому.

Так как вы не дипломат, то я верю в вашу невралгию, я верю, что вы по-семейному отправились куда-то с г. Дюдеваном. Я поверю всему, что вам будет угодно. Тем не менее, я был бы вам очень признателен, если бы вы мне сообщили, что вы поправились, что ваш муж иногда уходит из дому, и один, словом, что мне как-нибудь посчастливится повидать вас, не надоедая и не рассердив вас.

Среда.

В подлиннике сверху помета рукою Жорж Санд: «Мериме».

3. [ЭЛИЗЕ АНСТЕР]

[Ла Шатр, 1836 г.]

Милая и дорогая моя Элиза,

День, когда я получила от вас такую дружескую и нежную памятку, был счастливым днем в моей жизни. Я бы тотчас на нее ответила, если бы получила ее раньше. Но я уже давно живу в деревне и получила письмо всего два дня тому назад. Оно было доставлено на мою парижскую квартиру. Вы видите, что я не медлю с ответом. Будьте уверены, что никогда и ни при каких обстоятельствах подобный знак вашего внимания не вызовет во мне иного чувства, кроме радости и признательности.

Не знаю, уважаемая и дорогая сестра, что́ говорят обо мне, и я не ответственна за то, что вам могли передать. Вполне возможно, что я весьма заслужила порицание, и, тем не менее, я могла оказаться жертвой клеветы, порожденной светской суетностью и праздностью. Не зная, в чем меня обвиняют, я не могу оправдаться. Как бы то ни было, я не стану этого делать, ибо, если вам сказали правду, то ваше милосердие и доброта вашей души—более красноречивые мои защитники, чем я сама. А если меня несправедливо в чем-нибудь обвиняют, то найдется, без сомнения, много других поводов к обвинению, о которых свет не знает, и лишь божественная благость может отпустить мне вину. Единственное, что я могу сказать (и я говорю это не для того, чтобы возвеличиться или возвыситься в ваших глазах, а для того, чтобы успокоить ваше дружеское чувство),— это то, что меня не постигли несчастия, которых вы опасались. Я не утратила бога. Во всяком случае, он не отвратил от меня своей отеческой благости, и сердце мое не потеряло ни любви, ни безграничного доверия, которого он один достоин. Однажды познав счастие веры и надежды, почти невозможно отказаться от него ради ложных благ. Таково, по

крайней мере, мое мнение, поскольку мне столь сладко верить и надеяться.

Равным образом, я не испытала несчастия пристраститься к светским удовольствиям, но чуждалась я их всегда не из добродетели, а по склонности. Мои дети и наука были единственным и настоящим занятием моей жизни.

Я не знала подобно вам, блаженства затворничества вдали от мира и испытала много всяческих невзгод, отнюдь, однако, не по собственной вине. Но, не поднимаясь до высоты монастырской жизни (жизни, которой я всегда завидовала и о которой сожалела), в занятиях наукой и в созерцании красот природы я постоянно находила радости, которых никто у меня не мог отнять, ибо всё это—дело рук божиих, а он не лишает своих благ даже самых недостойных своих детей.

Наконец, что касается моих детей, я думаю, что их юные души не запятнаны ничем, что могло бы помешать им быть из тех, к кому обращены благие слова спасителя: «Benite parvulos venire ad me»*. У них намечаются благородные характеры. Сын мой кроток и искренен. Дочь поживее, но сердце у нее превосходное. Иногда мне кажется, что она немного похожа на вас лицом и что характером тоже будет в вас, такой, какой я знала вас когда-то: очень впечатлительной и, вместе с тем, хорошо владеющей своими чувствами. Уверяю вас, что я предпочла бы, чтобы меня постигли самые большие несчастия, но не стала бы пренебрегать этими двумя дорогими существами. Они—самое драгоценное, что бог даровал мне в этой жизни, после счастия познавать его и надеяться на него.

Уж очень давно я не имею вестей о милейшем аббате де Преморе, о котором сохранила признательную и почтительную память. Мне не сразу удалось перенести на другого святого отца то большое уважение и то безграничное доверие, которые я всегда питала к его советам и знанию.

Вы видите, возлюбленная моя сестра, что я не страшусь вам надоесть, говоря так подробно о своей жизни. Неужели вы сомневаетесь, как была бы я рада узнать подробности вашего святого и блаженного существования, и потому не говорите мне о них? Если вы найдете уместным давать мне время от времени вести о себе, это будет для меня источником высокого назидания и ободрения. Если же вы найдете, что не следует поддерживать сношения [дальше залито чернилами]... в вашем приюте, я безропотно, но не без сожаления покорюсь вашему мудрому решению. Но мне было бы очень отрадно узнать о чистых радостях вашей святой жизни и услышать, жива ли еще достопочтенная матушка Борджиа. Всегда с умилением вспоминаю я вашу келью в нашем монастыре, наши беседы, взаимные признания и наше почти одинаковое желание постричься в монахини. Мне кажется, что я еще вижу иконки, перед которыми мы по нескольку раз читали молитвы, перебирая четки, и ту белую восковую свечу, которую мы зажигали перед образом пресвятой девы. Я сохранила ладанку, которую вы мне тогда подарили и которую получили от милой матушки Борджиа. Я с этой ладанкой никогда не расставалась.

Прощайте, моя дорогая и любимая сестра Мария-Аустина; имя, взятое вами при посвящении,—как раз то самое, которое и я хотела взять. Помните ли вы это? С тех пор мне всегда казалось, что я была бы счастливее в монастыре, чем оказалась в миру. Ведь мне-то известно, что я никак не могла привыкнуть к обществу, к светским разговорам и что самым

---

* Не препятствуйте малым сим приходить ко мне.

большим развлечением для меня были, если можно так выразиться, одинокие размышления. Посудите, могла ли я позабыть те счастливые дни, когда душа столь прекрасная и благословенная, как ваша, разделяла со мною благо сосредоточения и молитвы. Между тем, мы могли бы и на расстоянии продолжать наше духовное общение. Благоволите осуществить это, молясь за меня богу, который для вас будет богом праведным и благословит вас, а для меня богом милосердным и простит меня.

Аврора Дюпен

Ла Шатр, Эндр.

Автограф.—Институт мировой литературы им. Горького, Москва. «Альбом А. С. Голицыной».

Фамилия адресата письма не названа, но оно, без сомнения, обращено к Элизе Анстер, подруге Авроры Дюпен (будущей Жорж Санд) по монастырскому пансиону, где Аврора воспитывалась в возрасте от 13 до 16 лет. Имя этой корреспондентки не встречается в собраниях писем Жорж Санд, да и вообще из писем к монастырским подругам до сих пор появились в печати лишь письма к Эмилии де Вим (de Wismes). Об Элизе Анстер мы находим интересные подробности в 3-й части «Histoire de ma vie» Жорж Санд. Элиза Анстер—дочь ирландца и индуски, родилась в Индии; вместе с сестрой и братом она была отправлена в Европу и отдана в Париже в тот же «Монастырь англиканок», где воспитывалась Аврора Дюпен. Элиза Анстер рано приняла монашество и впоследствии стала настоятельницей монастыря в Корке (Ирландия), где ее брат был священником. Упоминаемый в письме аббат де Премор—духовник Авроры; он отговорил ее от возникшего у нее в последний год пребывания в пансионе решения постричься в монахини.

Публикуемое письмо следует отнести к 1836 г., времени процесса Авроры Дюдеван с мужем о разводе. Общее настроение письма—стремление к уединению, созерцанию—чрезвычайно характерно для Жорж Санд того периода. Тем же настроением проникнуты как ее письма того времени к Листу и графине д'Агу, так и страницы переделывавшейся в 1836 г. «Лелии».

Интересно отметить, как осторожно Жорж Санд касается вопроса о дошедших, очевидно, до Элизы Анстер слухов о ее, Авроры, разводе, недопустимой, с точки зрения общепринятой морали, жизни в Париже, об опасении потерять по суду право на воспитание детей. Обо всем этом Жорж Санд говорит столь же неясно и туманно, сколь ясно вспоминает о подробностях жизни в монастыре.

4. ОГЮСТУ ШАРПАНТЬЕ

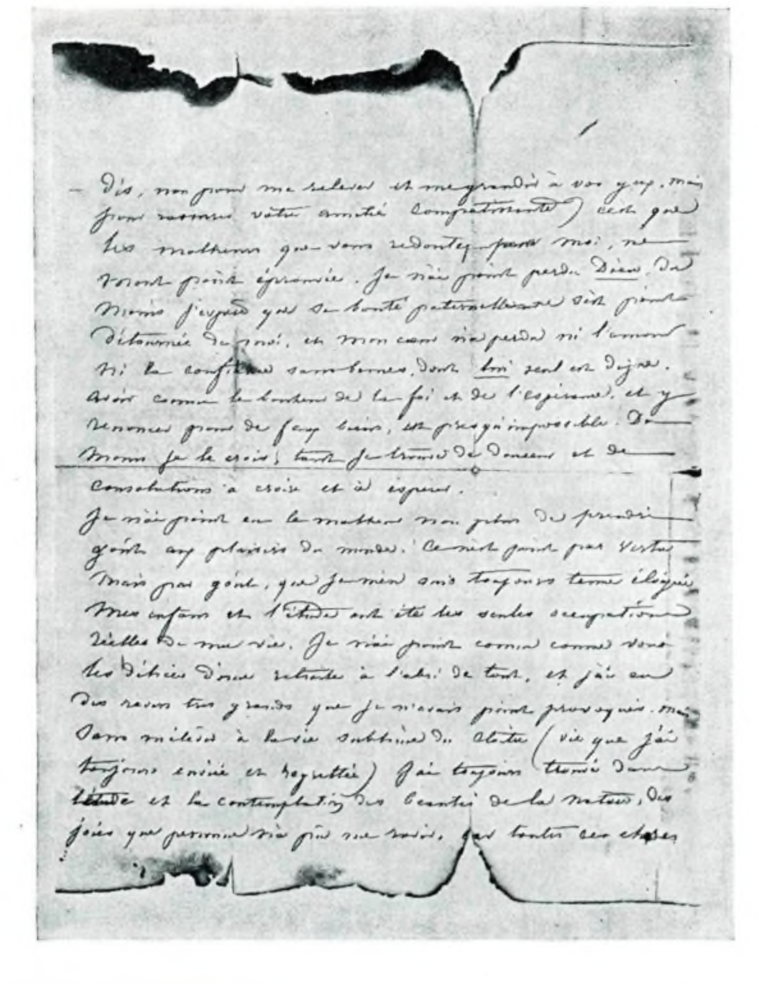
[Париж, 9 мая 1838 г.]

Вот Мальфиль и приехал. Значит, детей будете оберегать вы, мой добрый Шарпантье? Значит, ради того, чтобы изобразить мое глупое лицо, вы попались в ловушку и принуждены вместо меня быть матерью семейства? И вы берете на себя ответственность за сражение, если бы моему дражайшему супругу вздумалось выкинуть какую-нибудь штуку? Как вас отблагодарить за такую самоотверженность и дружбу? Позволяю себе думать, что я ее достойна, но вы-то этого не знаете, а нам доверяете. Это доверие доказывает, насколько от природы вы добры, великодушны, любящи. Но это и хорошо, и если вы когда-нибудь попадете впросак, вы найдете искренних друзей, и я решаюсь поставить себя во главе их, несмотря на всё то чувство страха, которое вы ко мне питаете. Надеюсь, что этот великий страх перед моей особой у вас пройдет и вы сумеете открыть мне свою привязанность, которую так красноречиво доказываете своими заботами о моих детях. Мальфиль так много мне об этом рассказывал, что я не в состоянии выразить вам, как я этим тронута. Будьте же терпеливы, и если я не приеду в Ноган одновременно с этим письмом, так я буду там на другой день. Мальфиль хорошо сделал, что приехал. Сегодня он за одно

Ma bonne et chère Elisa.

C'est un jour de bonheur dans ma vie que celui où je reçois un si doux et si affectueux souvenir de vous. J'y aurais répondu sur le champ, si je l'avais reçu plutôt. mais j'étais depuis longtemps à la campagne. Je n'ai reçu qu'il y a deux jours, cette lettre égarée à mon habitation de Paris. Vous voyez que je n'hésite pas à y répondre et soyez sûre qu'en aucun temps, en aucune circonstance, une marque de votre sollicitude ne m'apportera d'autres sentiments que la joie et la reconnaissance.

Je ne sais pas ce qu'on dit de moi, ~~[illegible]~~ [illegible] sans. et je ne puis être responsable de ce qui a pu vous être rapporté. J'ai pu mériter beaucoup de blâme et cependant être victime de [illegible] calomnies, engendrées par la frivolité et l'oisiveté du monde. ne sachant quelles sont les accusations, je ne puis m'en justifier. En tout cas, je ne le ferais pas: car si on vous a dit la vérité, j'ai dans votre charité et dans la bonté de votre cœur, un avocat plus éloquent que je ne le serais de moi-même; et si l'on m'a accusée injustement sur quelque point, il y en a bien d'autres que le monde sans doute ignore, et dont la bonté divine, je crois, seule m'absoudra. Tout ce que je puis dire, (et je le



dis, non pour me relever et me grandir à vos yeux, mais pour mériter votre amitié complètement) c'est que les malheurs que vous redoutez pour moi, ne m'ont point épargnée. Je n'ai point perdu Dieu. Du moins j'espère que sa bonté paternelle s'est point détournée de moi. et mon cœur n'a perdu ni l'amour ni la confiance sans bornes, dont lui seul est digne. Avoir connu le bonheur de la foi et de l'espérance, et y renoncer pour de faux biens, est presqu'impossible. Du moins je le crois, tant je trouve de douceur et de consolation à croire et à espérer.

Je n'ai point eu le malheur non plus de prendre goût aux plaisirs du monde. Ce n'est point par vertu mais par goût, que je m'en suis toujours tenue éloignée. Mes enfants et l'étude ont été les seules occupations réelles de ma vie. Je n'ai point connu comme vous les délices d'une retraite à l'abri de tout, et j'ai eu des revers très grands que je n'avais point provoqués. mais sans m'élever à la vie sublime du cloître (vie que j'ai toujours enviée et regrettée) j'ai toujours trouvé dans l'étude et la contemplation des beautés de la nature, des joies que personne n'a pu me ravir, et toutes ces choses

АВТОГРАФ ПИСЬМА ЖОРЖ САНД К ЭЛИЗЕ АНСТЕР, 1836 г.

Страницы первая и вторая

Институт мировой литературы им. Горького, Москва

АВТОГРАФ ПИСЬМА ЖОРЖ САНД К ЭЛИЗЕ АНСТЕР, 1836 г.

Страницы третья и четвертая

утро продвинул дело больше, чем я за неделю. Как я буду счастлив вернуться домой, к моим детям и к вам—ведь вы тоже стали теперь членом семьи. До свидания же! Будьте очень строги в соблюдении режима и поцелуйте их тысячу раз за меня.

Всем сердцем ваш

Жорж

Адрес: Г-ну Шарпантье
в Ноган.
Эндр Ла Шатр

Почтовые штампы: «9 мая 1838»; «Ла Шатр 10 мая 1838»

Автограф.—Собрание К. В. Пигарева, Москва.

Письмо было написано Жорж Санд в мае 1838 г., когда она должна была уехать в Париж по случаю эпилога своего бракоразводного процесса с Дюдеваном. На этот раз дело не дошло до судебного разбирательства, а закончилось соглашением между бывшими супругами, которое утверждало Жорж Санд в качестве единственной опекунши детей. Это ограждало ее от сюрпризов со стороны Дюдевана вроде того, который он устроил в 1837 г., «похитив» дочь Жорж Санд, Соланж, из Ногана. К возможности подобных сюрпризов относятся слова нашего письма о «сражении, если бы моему дражайшему супругу вздумалось выкинуть какую-нибудь штуку...».

Что касается Мальфиля (Mallefille Жан-Пьер-Фелисьен, 1813—1868), то это был второстепенный, хотя в те годы довольно известный писатель, с которым Жорж Санд познакомил Пьер Леру и который в 1837—1838 гг. был учителем сына Жорж Санд, Мориса, и ее интимнейшим другом (см. Каренин, I, 617—621 и Karénine, II, 438—442).

Шарпантье (Charpentier Огюст, 1815—1868), гостивший весну и лето 1838 г. в Ногане, написал маслом превосходные портреты Жорж Санд, Мориса и Соланж. Портрет Жорж Санд не раз воспроизводился графически (например, Робинсоном—гравюрой и Лассалем—литографией).

Тогда же Шарпантье на веере нарисовал акварелью всех тогдашних друзей и гостей Ногана, в том числе самого себя и Мальфиля, над которым все трунили по поводу его длинной бороды (так, Жорж Санд в одном письме к Мишелю де Буржу называет его «субъектом с длинной бородой»). Морис сделал с этого веера карикатурный рисунок карандашом под заглавием: «Салон Жорж Санд в 1838 г.» (см. воспроизведение Каренин, II, 38—39, см. также Ikonographie de George Sand—Karénine, IV, 664, №№ 13 et 24).

5. ЭДМОНУ КОМБУ

[Париж, начало лета 1838 г.]

Хотя я и отшельник, живущий вдали от мирского шума, однако, в один из своих коротких наездов в Париж я слышала о вас и о ваших больших путешествиях. Я была бы очень счастлива прочесть их описание. А если бы вы захотели принести мне это описание лично и я могла бы принять вас у себя, то удовольствие было бы полным.

Примите, милостивый государь, уверение в моем совершенном уважении.

Улица Гранж-Бательер, 7.

Жорж Санд

Адрес: Эд. Комбу.
Улица Жи Ле Кёр, 11.
Париж

Почтовый штамп: «Париж 15... 183[8]»

На листке почтовой бумаги с вытисненными в левом верхнем углу инициалами «G. S.».

Автограф.—Литературный музей, Москва. Собр. Р. М. Хин, 2430—3.

Адресат письма, Эдмон Комб (Combes, р. 1812 г.)—французский путешественник, обследовавший берега Красного моря, Аравию и проделавший ряд экспедиций вглубь Африки. Комб опубликовал описание своих путешествий, в частности, в 1837—1838 гг. вышел его 4-х томный труд о пребывании в Абиссинии («Voyage en Abyssinie», 1837—1838, 4 vols. in 8° rédigé en collaboration avec M. Tamissier). Об этом сочинении, по всей вероятности, идет речь в письме Жорж Санд, так как письмо, судя по сохранившемуся не вполне ясному почтовому штампу, датируется 1838 г. Датировку под-

тверждает и уточняет также указанный Жорж Санд адрес: «Улица Гранж-Бательер, 7». Это—адрес госпожи Марлиани, у которой Жорж Санд, не жившая с июля 1836 г. до осени 1839 г. в Париже и не имевшая там собственной квартиры, останавливалась во время кратковременного пребывания в столице в начале лета 1838 г. Этот же адрес—«попрежнему у г-жи Марлиани» Жорж Санд дает и Гжимале в письме, написанном в начале лета того же 1838 г. (см. Каренин, II, 48 и Karénine, III). С Комбом Жорж Санд встречалась и позднее. В письме к Огюстине Бро, от 5 марта 1848 г., она сообщает, что виделась с Комбом. Как явствует из письма Шопена к дочери Санд Соланж, от того же 5 марта 1848 г., встреча с «Комбом-абиссинцем, ввалившимся из Марокко в разгар революции», произошла у г-жи Марлиани (см. Каренин, II, 573 и Karénine, IV, 20).

6. ИЗДАТЕЛЮ ОЛИФАНТУ ДЮ ШАЗЕ

[Июль 1839 г.]

Милостивый государь, принимая во внимание объяснение, которое у меня только-что было с моим издателем, я вижу, что он мог бы придраться ко мне с некоторым основанием, если бы я открыто выступила в качестве сотрудника вашей газеты. Но он не может помешать мне доставлять вам время от времени несколько страниц, и он не станет к этому слишком придираться. Его больше всего пугает возможность увидеть мое имя в списке сотрудников какой-нибудь газеты или нового журнала, потому что, по его мнению, это равносильно заявлению о моем уходе из «Revue des Deux Mondes», что, как он утверждает, разорит журнал. Итак, я ему обещала не допускать объявления о моем сотрудничестве и потому прошу вас не публиковать заранее моего имени в списке участников вашего издания. Посылая вам рукописи, я их буду подписывать своим именем, но г. Бюллоз может рассматривать мое сотрудничество, как случайное, а не как выполнение взятого на себя по отношению к вам обязательства. Без такой предосторожности я рискую судебным процессом или, по меньшей мере, очень неприятным объяснением, ибо мы с ним не сходимся во мнениях относительно пределов независимости, которые я за собой оставила, заключив договор с его журналом.

Примите, милостивый государь, уверение в чувствах совершенного моего уважения.

Ваша Жорж Санд

Адрес: Господину Олифанту дю Шазе.
Улица Сен-Лазар, 40

Почтовый штамп:
«Июль 183[9]»

Автограф.—Институт истории Академии наук СССР, Ленинград. Собр. бывш. Института книги, документа и письма. Архив Н. П. Лихачева.

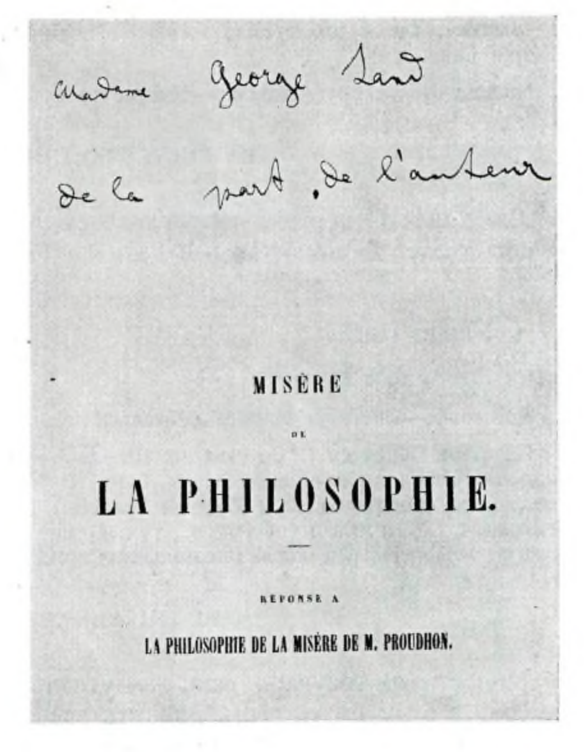
Адресат этого письма, Олифант дю Шазе (Oliffant du Chazet), предпринял в 1839 г. издание какого-то журнала, куда, очевидно, для приманки, желал привлечь Жорж Санд в качестве постоянного сотрудника. Бюллоз же, редактор-издатель «Revue des Deux Mondes», к своим сотрудникам относился очень ревниво и сурово, так что Жорж Санд в своем дневнике и в письмах к Пьеру Леру и другим то серьезно, то в шутливой форме изображает эксплоататорские замашки и жесткие условия, предъявляемые ей Бюллозом. В конце концов, дело дошло-таки до суда (см. Каренин, II, 223, 226).

Письмо без даты. Мы датируем его по сохранившемуся почтовому штампу и по упоминанию о договоре с Бюллозом.

7. [ЭЖЕНУ ДЕЛАКРУА]

[Париж, 1839—1842 гг.]

Любезный друг, по вечерам вы всегда нас застанете, а если мы идем в театр, то это лишь, как редкое исключение. Так, например, сегодня нас не будет дома, но во все остальные вечера на этой неделе мы дома.


Madame George Sand
de la part de l'auteur

MISÈRE

DE

LA PHILOSOPHIE.

RÉPONSE A

LA PHILOSOPHIE DE LA MISÈRE DE M. PROUDHON.

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ КАРЛА МАРКСА НА ЭКЗЕМПЛЯРЕ „НИЩЕТЫ ФИЛОСОФИИ“, ПОДАРЕННОМ ЖОРЖ САНД

Историческая библиотека, Москва

Мы всегда обедаем у себя, и ваш прибор всегда накрыт. Итак, после 5 часов для вас никаких запретов нет.

До скорого свидания и тысяча дружеских приветов.

Ж. Санд

Четверг.

На листке почтовой бумаги с вытисненными в левом верхнем углу инициалами «G. S.».

Автограф.—Исторический музей, Москва.

Весьма вероятно, что письмо адресовано знаменитому живописцу Эжену Делакруа (Delacroix, 1799—1863), многолетнему приятелю Жорж Санд и Шопена и учителю Мориса Санд, который в течение нескольких лет занимался живописью в мастерской Делакруа. В 1835 г. Делакруа написал известный поясной портрет Жорж Санд в мужском костюме.

Делакруа неоднократно гостил в Ногане и был постоянным гостем в семье Жорж Санд в начале 40-х годов в Париже.

8. ФРАНЦУ ЛИСТУ

[Париж, весна 1840 г.]

Друг мой, благодарю вас за вашу милую памятку, украшенную цветами, которые я увезу с собой в Ноган. Я уже беспокоюсь о вас целую неделю. Шопен заходил вчера узнать о вашем здоровье, но не мог проникнуть к вам. Надеюсь, что буду еще здесь в субботу. Итак, до свидания, поправляйтесь скорей.

Ж. Санд

На обороте: Господину Листу

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. Собр. П. Вакселя, № 130а.

Эта записка является ответом на письмо Листа, написанное им весною 1840 г., когда композитор, проездом из Венеции в Лондон, останавливался на короткое время

в Париже, где в это время, в связи с постановкой своей драмы «Козима», была и Жорж Санд.

Письмо Листа опубликовано—Каренин, I, 575 и Karénine, II, 375.

9. ИЗДАТЕЛЮ ПЕРРОТЕНУ

[Париж, лето 1842 г.]

Любезный Перротен, я приехала сюда на неделю. Тотчас же зайдите повидаться. Я дома каждый день до 11 часов утра.

Всем сердцем ваша

Ж. Санд

Улица Пигаль.

Воскресенье вечером.

Автограф.—Институт Маркса—Энгельса—Ленина, Москва.

Издатель Перротен (Perrotin Шарль-Артур) напечатал в 1842—1844 гг. второе издание Собрания сочинений Жорж Санд. В 1841 г. он выпустил отдельное издание ее романа «Compagnons du Tour de France». Так как Жорж Санд жила на улице Пигаль с 1839 г. по осень 1842 г., то настоящее письмо должно быть отнесено к лету этого последнего года, когда писательница приезжала «на неделю» из Ногана в Париж.

10. [НЕИЗВЕСТНОМУ]

[Париж, 1842—1847 гг.]

Милостивый государь, если вам угодно зайти ко мне в пятницу, в пять часов, я буду иметь честь принять вас. Благоволите при входе сказать моему швейцару и слуге, что свидание вам назначено.

Примите, милостивый государь, уверение в совершенном моем уважении.

Жорж Санд

5, Орлеанский сквер.

Улица Сен-Лазар.

Среда вечером.

Автограф.—Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. Собр. Е. А. Ляцкого.

Судя по адресу письма, оно должно быть отнесено к 1842—1847 гг., когда Жорж Санд с семьей и Шопеном жила в № 5 в Орлеанском сквере, на улице Сен-Лазар. Данных для более точной датировки, так же как и для установления адресата, найти не удалось.

11. ПОЛИНЕ ВИАРДО

[Париж, 1845 г.]

Я не вижу ничего привлекательного сегодня, дорогая; по крайней мере, в большинстве театров нет ничего заслуживающего внимания, за исключением «La biche au Bois» и «Françoise». Я не знаю, что такое «Sylvandire», и сомневаюсь, чтобы можно было попасть на эту вещь, потому что это новинка. Я не заказала поэтому ложи и думаю, что лучше всего будет, если мы отправимся куда-нибудь по вдохновению. Во всяком случае, обед будет готов пораньше. Обнимаю вас, до скорого свидания.

Жорж

На обороте: Г-же Виардо

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. Собр. А. А. Краевского.

Письмо относится к тому времени, когда Полина Виардо, Жорж Санд, Шопен, скульптор Дантан и их общая приятельница Карлотта Марлиани, жена испанского консула, жили на улице Сен-Лазар, в Орлеанском сквере, где все их квартиры находились в доме, посреди которого был усыпанный песком, обсаженный деревьями,

освещенный по вечерам двор. Таким образом, они могли, не выходя на улицу, «бегать друг к другу, как в провинции»; столовались они все у Марлиани, у нее же часто собирались по вечерам, а днем всякий занимался у себя своим делом. В этом, по выражению Жорж Санд, «своего рода фаланстере, где, однако, было гораздо приятнее и свободнее, чем у фурьеристов», Жорж Санд и Шопен прожили с 1842 по 1847 гг. Полина Виардо, начиная с 1843 по 1848 гг.. почти все время провела в гастролях по европейским столицам, так что письмо могло относиться к тем коротким промежуткам, когда в 1844 и 1845 гг. она на время возвращалась во Францию и, проведя неделю в Париже, уезжала на лето к себе в Куртавнель, чтобы осенью опять торопиться в Берлин, Петербург, Вену или Лейпциг. Мы относим письмо к 1845 г., когда пьеса братьев Коньяр «La biche au Bois» была поставлена на театре Porte St.-Martin «Sylvandire»—очевидно, переделка романа Дюма, вышедшего в 1844 г.

ПИСЬМО ЖОРЖ САНД К АЛЬБЕРУ ГЖИМАЛЕ, 1846 г.

Написано рукою Мориса Санда и других лиц. Автографом Жорж Санд являются только последние три строки. *Последнее слово письма написано Шопеном*

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

12. [АЛЬБЕРУ ГЖИМАЛЕ]

[Ноган, лето 1846 г.]

Нынче вечером нам пришло в голову тебе написать, а по какой причине—вот какой: мы завели себе скверную привычку тебя любить; и это так, как это ни поразительно, потому что ты una bestia fosse! Шоп[ен] бормочет на этот счет себе под нос разные размышления, но мы опять-таки понять его не можем, так как он живет в мире блох—уж такой он во всем великатный.

Гипролморполь очень огорчен твоим отсутствием—потерял из-за этого аппетит; Ширатон тоже. Одна M-lle Гапп рада, что ты уехал, потому что

ты чересчур много работал и чересчур хорошо говорил по-риузальтски, который парижане, в своем неведении русильонского произношения, зовут ривзальтским.

Кто вернет нам твою яблочную голову... которая [? оборвано]... так славно пожирала груши с головами! ...[оборвано]... возвратить—ну, всё равно; мы все плачем и воздыхаем об упомянутом овоще,—с горя мы так потеем, что и ключ заржавел бы... ох! (вздох Бинья) Бинья? А этому еще что нужно, чего ему не угодно?—Ему не угодно воображения,—когда есть воображение, тогда занимаешься литературой, а если не заниматься литературой, то на что тогда воображение?

Прощай, мы тебя ненавидим (неправда)!

Прощай, дорогой Альбер-младший.

Прощай, Джумала,

П р о щ а й, п р о щ а й, п р о щ а й.

+

Пен же нья, вдова пен ЛА жен

За обедом мы ели дыни трех сортов—повесься! Мы напишем тебе каждый в отдельности по разумному письму. А пока подумай о моей квартире.—M o j a [оборвано].

Написано рукою Мориса Санда и др. Автографом Жорж Санд является только последний абзац письма со слов: «Мы напишем тебе...». Последнее слово письма «Moja»—рукою Шопена.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Собр. Театрального музея им. Бахрушина.

Письмо без обозначения адресата и без даты. Мы считаем, что оно обращено к Альберу (Войцеху) Гжимале, другу Шопена, и написано летом 1846 г. Из писем Жорж Санд к нему до сих пор опубликовано только три (см. К а р е н и н, II, 39—48, 553—555 и K a r é n i n e, III, 43—53, 570—571). В составлении письма принимала участие не одна Жорж Санд, а целая компания. Письмо веселое, шуточное, полное всевозможных намеков, прозвищ и переделок слов, для понимания которых необходимо знать некоторые подробности о лицах, его писавших, и жизни Жорж Санд того времени. Но многие шутки все-таки не поддаются расшифровке, а тем более, точному переводу, так как построены на непередаваемой игре слов.

Летом 1846 г.,—это было последнее лето, проведенное Шопеном в Ногане,—там то поочередно, то одновременно гостили графиня Лаура Чосновская, приятельница Шопена, адресат публикуемого письма Альбер Гжимала, Луи Блан и впоследствии известный политический деятель Эммանюэль Араго, старый поэт Анри де Латуш и молодой поэт Виктор де Лапрад, знаменитый живописец Эжен Делакруа и его ученик, начинающий живописец Эжен Ламбер, приятель семьи Жорж Санд граф д'Ор (отец известной писательницы Бентцон) и граф Савари де Ланком-Брев, бреннский помещик, молодой помещик Фернан де Прэо, претендент на руку дочери Жорж Санд, Соланж, и, следовательно, соперник Луи Блана, одно время также бывшего кандидатом в зятья знаменитой романистки. Наконец, вместе с сыном и дочерью Жорж Санд в том году там постоянно находилась и молоденькая ее кузина, Огюстина Бро, называемая в письме «M-lle Гапп»—именем, которое она носила в одной из импровизированных ноганских пьес, где играла акробатку, а Соланж—королеву (о чем в своих письмах вспоминает Луи Блан; в других он их называет героинями Руссо—M-lle Galley и M-lle Grafenried).

Молодежь, а с нею и старшие то и дело устраивали прогулки, катанья и дальние экскурсии, ездили на скачки в Мезьер на Бренне, организованные «Скаковым обществом», о котором Жорж Санд написала целую статью, а о поездке туда, как и о всем веселом лете 1846 г., вспоминала в своем интересном письме к Виктору де Лапраду (см. его статью, подписанную инициалами L. V., в «Vie Parisienne», 1876). Постоянно устраивались игры, шарады, переодевания, разыгрывались так называемые commedia dell'arte—импровизации, послужившие началом Ноганского театра. А за обедами и завтраками неизменно начинались несмолкаемая болтовня, шутки, остроты, поддразнивания, причем присутствующие обычно говорили на языке, понятном лишь в их тесном, семейном кругу. Это нашло отражение в публикуемом нами письме, и потому далеко не всё для нас в нем понятно. Если, например, ясно, что под име-

нем «Ширатона» подразумевается Шатирон, сводный брат Жорж Санд, а под неизвестно как возникшим прозвищем «Бинья»—Эммануэль Араго, то откуда произошло варварское имя «Гипролморполь» и кого оно обозначает, мы установить не смогли. Письмо подписано рядом окончаний имен и фамилий и ребусами. Пен—Шопен, же—Соланж, нья—Бинья, жен—Эжен Ламбер. Кроме того, в нем встречается подпись «вдова пен». Для ее расшифровки надо знать, что в течение многих лет Жорж Санд и Гжимала в шутку назывались матерью и отцом Шопена, а он—их «малюткой». Отсюда, под многими шуточными письмами Ж. Санд к Гжимале подпись по-польски: «twoya zona» (твоя жена). Многие ее письма к Гжимале начинаются словами: «Дорогой супруг». В данном же случае, оплакивая отсутствие Гжималы, она подписалась

ŒUVRES DE GEORGE SAND

ILLUSTRÉES PAR TONY JOHANNOT

A M. Alexandre Moustaphine souvenir d'estime et de sympathie. G. Sand

Nohant 21 août 1852

PRÉFACE

En publiant une édition complète de mes ouvrages dans le format le plus populaire aujourd'hui et au plus bas prix, je n'ai eu ni le dessein de m'enrichir en cas de succès, ni la prétention de faire un grand sacrifice dans le cas contraire. Mais je puis dire que ce qui m'a le plus préoccupé, c'est le désir de faire lire à la classe pauvre ... malaisée, des ouvrages dont une grande partie a été ... pour elle. J'ai dû attendre pour m'y décider

d'éclairer le peuple sur ses devoirs autant que sur ses droits. Quelques-uns, les premiers surtout, n'ont été que le cri d'une âme fortement impressionnée, atteinte parfois de doute et de découragement; peu pressée de conclure parce qu'elle craignait d'avoir à maudire l'humanité, qu'elle éprouvait le besoin d'aimer. Peu à peu la lumière s'est faite dans ce chaos d'émotions diverses, à mesure que l'âge y amenait

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ЖОРЖ САНД НА ТОМЕ ЕЕ СОЧИНЕНИЙ, ПОДАРЕННОМ АЛЕКСАНДРУ МУСТАФИНУ 21 АВГУСТА 1852 г.

С фотографии, принадлежащей В. Д. Комаровой (Вл. Каренину), Ленинград

«вдовой». Наконец, Делакруа подписался большими буквами ЛА, над которыми поставил крест—по-французски croix (круа). Самому Гжимале было дано прозвище Альбера-младшего, причем под Альбером-старшим, повидимому, подразумевался герой романа «Консуэло»—Альбер Рудолштадский. Кроме того, его еще называли Джумалой, в насмешку над его неудобопроизносимой для французов польской фамилией. Фраза о русильонском произношении названия городка Ривзальт (Rivesaltes)—это стрела по адресу Эммануэля Араго, родом из города Эстажель близ Перпиньяна, в департаменте Восточных Пиренеев, образованного из старинной провинции Русильон (Roussillon). А так как Ривзальт славился своим вином, то «чересчур хорошо говорить по-ривзальтски»—значит и чересчур выпивать. Это уже намек на пристрастие Гжималы к вину. По адресу Араго, под его кличкой Бинья, рацея о ненужности воображения.

Совсем непонятны и не поддаются разгадке фразы о «яблочной голове, пожиравшей груши с головами», если тут не намек на Луи-Филиппа, в сороковых годах носившего непочтительную кличку «груша». Но трудно решить, кроется ли в этих словах какой-нибудь политический намек или же это просто безобидная насмешка над наружностью Гжималы, которого Морис Санд однажды нарисовал со щеками в виде двух круглых яблок. К тому же, письмо в этом месте порвано, и отсутствие нескольких слов еще более затемняет смысл сказанного.

Весьма многозначительны шутливые, якобы, слова по адресу Шопена. Они являются вариациями того, что можно не раз прочесть о нем в письмах того же года, да и вообще в письмах Жорж Санд. Тут и намек на его манеру гнусавить («nasillard»), как пишет Жорж Санд в другом, сохранившемся у нас в копии письме ее к Альберу Гжимале. Тут затрагивается и непонятная для других болезненная, мелочная придирчивость Шопена, которую Жорж Санд, пользуясь простонародным французским выражением, называет «исканьем вшей в голове у других» («chercher des poux dans la tête des autres»—придираться к мелочам, в буквальном смысле—искать вшей в голове у других). «Шопен,—пишет она в одном из писем к сыну в начале того же лета 1846 г.,—вернулся из Тура, вылечившись от простуды, но он больше, чем когда-либо, ищет вшей в чужой голове». В публикуемом письме «вши» заменились «блохами» и говорится, что Шопен—«в мире блох». Наконец, его чрезвычайная утонченность названа выдуманным словом «frélicatesse» от слова «frêle», вместо «délicatesse». Эти болезненно-мелочные непонятные причины неудовольствия со стороны Шопена привели мало-помалу к отчуждению между этими двумя выдающимися людьми, связанными долголетней привязанностью, а это внутреннее расхождение, под влиянием происшедших в это время трагических событий в семье Жорж Санд, повело к их окончательному разрыву (см. Каренин, II, гл. V, VI и Karénine, III, chap. VI).

В конце письма Жорж Санд уже серьезно просит Гжималу позаботиться о ее квартире, т. е. приготовить ее ко времени возвращения всей семьи в Париж, а вслед за этими словами Шопен начинает свое польское письмо к нему словом «Moja». Дальнейшие слова оборваны, как оборван и весь второй лист письма.

13. СКУЛЬПТОРУ КЛЕЗЕНЖЕ

[Париж, 1846 г.]

Г-н Клезенже,

Я очень счастлива удачей, выпавшей вам на долю. Она вполне вами заслужена, и я уверена, что успех будет соответствовать достоинству вашего произведения.

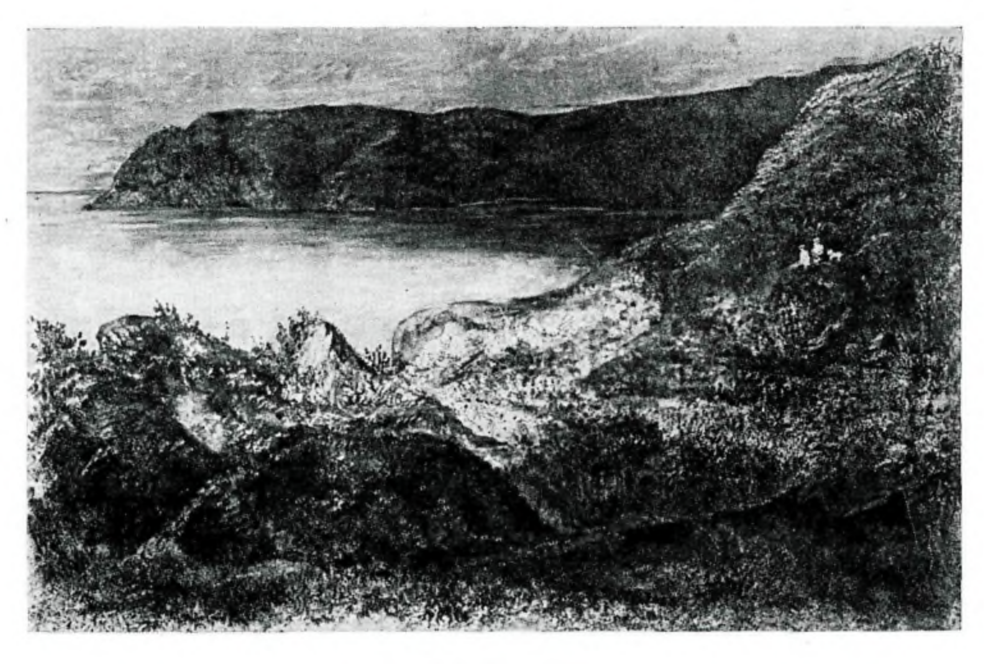
Зайдите же как-нибудь поутру, когда вы не заняты, к нам на минутку, чтобы мы с сыном могли лично поздравить вас, так как мы живо интересуемся и вашим настоящим и вашей будущностью.

Жорж Санд

Автограф.—Государственный архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ), Москва. «Альбом Голицына», № 82.

Адресат этого письма—скульптор Клезенже (Clésinger Жан-Батист-Огюст, 1814—1883) в молодости служил фурьером в кирасирском полку, позднее занялся искусством и оказался весьма талантливым скульптором. Он был представлен Жорж Санд в 1846 г., вскоре после того, как его статуя «Женщина, укушенная змеей» была принята в Салоне, обратила на себя внимание и заслужила премию. Об этом успехе, видимо, и идет речь в публикуемом письме, которое мы, на этом основании, датируем 1846 г. Тогда же Клезенже сделал статую «Меланхолия» и обратился к Жорж Санд с письмом, прося позволения посвятить эту работу ей, как писательнице, которой он обязан минутами наивысшего вдохновения. В 1847 г. он сделал бюсты Жорж Санд, ее сына и дочери Соланж и летом того же года женился на Соланж. Этот брак, как известно, оказался очень неудачным. (О Клезенже и его отношениях с семьей Санд см. Каренин, II, 542—557 и Karénine, III, 556—585). Клезенже сделал также мраморную статую Жорж Санд в виде «Литературы», изобразив писательницу в классических драпировках, босоногой. (См. воспроизведение ниже, на стр. 823). Один экземпляр статуи находится в вестибюле Comédie Française, другой—в Эрмитаже, в Ленинграде.

ГОРА НА БЕРЕГУ ЗАЛИВА
Акварель „дендрит“ Жорж Санд
Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград



МОРСКОЙ ЗАЛИВ
Акварель „дендрит“ Жорж Санд
Литературный музей, Москва

14. [НЕИЗВЕСТНОЙ]

[Ноган, 21 июня 1856 г.]

Милостивая государыня,

Я получила здесь, за восемьдесят льё от Парижа, вашу карточку и карточку г. [имя неразборчиво] в письме нашего друга Ребиццо. Он забыл, что я живу в Париже лишь краткие промежутки времени, и, тем самым, заставил меня испытать самые искренние сожаления. Я поспешила бы отозваться на его рекомендацию и с восторгом выказала бы свою симпатию столь сердечной и талантливой особе, как вы, так же как и всему вашему уважаемому семейству. Мне очень хотелось бы, чтобы вы продлили свое пребывание в Париже и мне удалось бы вас там еще застать. К несчастию, я принуждена оставаться в провинции, живя то у себя, то у своих друзей, почти весь остаток этого года. Поэтому позволяю себе просить вас, когда вы будете писать нашему другу, передать ему мои извинения и высказать ему чувства моей привязанности. Прошу вас также сохранить до более благоприятного случая, когда мы будем поближе друг от друга, ваши добрые намерения повидать меня. Это намерение всегда встретит с моей стороны полную готовность и благодарность.

Жорж Санд

Ноган, через Ла Шатр.
Департамент Эндр.
21 июня 56 г.

Автограф.—Институт истории Академии наук СССР, Ленинград. Собр. бывш. Института книги, документа и письма. Архив Н. П. Лихачева.

Как видно из упоминания «нашего друга Ребиццо», письмо адресовано к одной из тех итальянских знакомых, с которой Жорж Санд подружилась во время пребывания в Венеции в 1834 г. Ребиццо был одним из докторов, лечивших Жорж Санд в начале ее пребывания в Венеции. Он был родом генуэзец, человек очень образованный. Весной 1834 г. он часто бывал по вечерам у Жорж Санд и Паджело, с которым был дружен.

15. [НЕИЗВЕСТНОМУ]

[Ноган, 1862—1864 гг.]

Милостивый государь,

Мне пишут, что вы сказали свое слово об «Игроке» и об одном из моих романов. Я не благодарю вас,—вы сделали это не для того, чтобы доставить мне удовольствие, но я все же считаю себя в праве сказать вам, что довольна и польщена вашим одобрением.

Жорж Санд

Ноган, 25 ...бря.

Автограф.—Институт истории Академии наук СССР, Ленинград. Собр. бывш. Института книги, документа и письма. Архив Н. П. Лихачева.

Письмо обращено, повидимому, к какому-то рецензенту или критику. Если бы существовала лишь одна пьеса под названием «Игрок», то легко можно было бы установить дату письма и заглавие того романа, на который Жорж Санд указывает своему критику. Но мы знаем четыре такие пьесы, из них две носят название просто «Le Joueur», а две другие «Le Joueur de flûte». Это, во-первых, пьесы Реньяра, Дени Амьеля и Фреда Косса и, во-вторых, Эмиля Ожье и Муано (водевиль с музыкой Эрве). Вероятнее всего, что речь идет о пятиактной комедии в стихах «Le Joueur» писателя XVIII в. Реньяра. В 1862 г. у Firmin Didot вышло новое издание этой комедии, много раз возобновлявшейся на сцене и переиздававшейся и в XIX в. Можно предположить, что в статье критика, о которой упоминает Жорж Санд, говорится об ее романе «Маркиз де Вильмер» («Le marquis de Villemer»), один из героев которого—тоже «игрок», беспутный прожигатель жизни, но очаровательный и остроумный, герцог д'Агерия—проиграл все свое состояние и впал в долги.

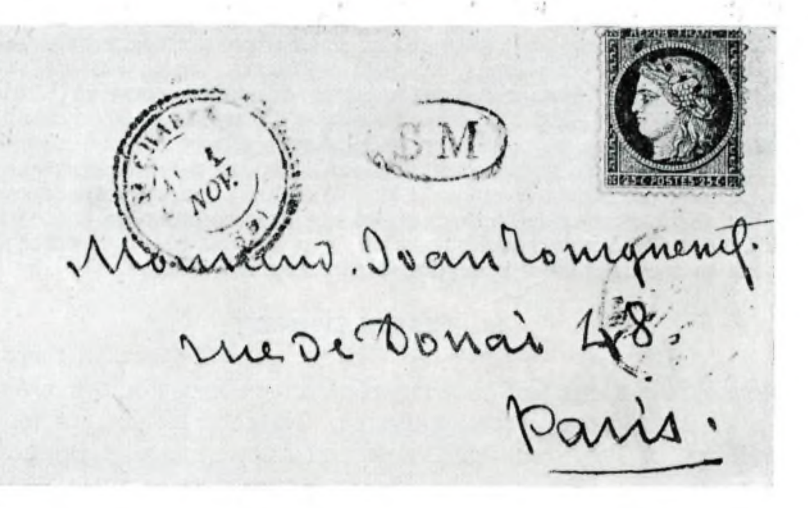
Cher ami, je n'ai rien dit de trop, je n'ai pas su dire assez.

Je vous aime, nous vous aimons. Soyez l'interprète de toutes nos adorations à la divine Pauline et à ses anges

G Sand

Nohant 1. 9. 72.

Êtes vous guéri, on ne nous le dit pas. Flaubert soupire après vous. Il est triste, triste, guérissez le donc!


SM

Monsieur Ivan Tourguenef.
rue de Douai 48.
Paris.

АВТОГРАФ ПИСЬМА ЖОРЖ САНД К И. С. ТУРГЕНЕВУ ОТ 1 НОЯБРЯ 1872 г.
И КОНВЕРТ ЭТОГО ПИСЬМА

Литературный музей, Москва

Значит, мы можем помещаемое письмо отнести к 1862—1864 гг., когда появление нового издания «Le Joueur» Реньяра могло напомнить о свежем еще в памяти романе Жорж Санд (вышел в 1861 г.) и когда в 1864 г. с блестящим успехом шла пьеса Жорж Санд, из него переделанная.

16. ЭДУАРУ КАДОЛЮ

[Февраль 1863 г.]

Вещь очень мила, детка, с некоторыми длиннотами в первых двух актах, но очень удачна и трогательна к концу. Играют хорошо, за исключением [нерзб.], который слишком шаржирует, но публика это принимает, и в итоге всё к лучшему. Я нахожу, что Ла Рошель превосходен, первый любовник очень мил, а дурнушка—прелестна. Я счастлива вашим успехом. У вас будут еще и другие. Вот вы и на дороге. Морис и Лина скоро пойдут вам поаплодировать.

Ж. Санд

Среда вечером.

Автограф.—Публичная библиотека, Ленинград. Собр. П. Вакселя, № 130.

Адресат письма—Эдуар Кадоль (Cadol, 1831—1898). В публикуемом письме речь идет о его первой пьесе «La Germaine», появившейся на сцене театра «Vaudeville» 6 февраля 1863 г. На основании этого датируем письмо февралем 1863 г. Помимо настоящего письма, существует еще несколько писем Жорж Санд к Кадолю по поводу его первой пьесы (см. т. IV «Корреспонденции» Жорж Санд).

17. [АЛЕКСАНДРУ ДЮМА-СЫНУ]

[Ноган, 15 февраля 1863 г.]

Что с вами, мой великий сын? Когда от вас долго нет ни слова, я начинаю опасаться, не больны ли вы. Напишите словечко о своем здоровье и о работе. Здесь все здоровы и любят вас.

Ж. Санд

15 февраля 63 г.

Автограф.—Частное собрание, Ленинград. Из архива поэтессы Е. К. Зыбиной.

Письмо без имени адресата, но оно, как мы можем установить, обращено к Александру Дюма-сыну. Жорж Санд всегда называла его своим сыном, прибавляя к этому то прилагательное «великий», то «блистательный». Письмо было написано Жорж Санд в период наиболее интенсивной ее переписки с драматургом, когда они вместе переделывали для сцены ее роман «Le marquis de Villemer» (Karénine, IV, 392—396, 517—520). Эта пьеса была впервые поставлена весною 1864 г. на сцене «Odéon». Она имела непередаваемый успех, явилась поводом к грандиозной манифестации молодежи по адресу Жорж Санд и до сих пор периодически возобновляется на парижских театрах, и всегда с большим успехом. В чем заключалось участие Александра Дюма в переработке для сцены «Маркиза де Вильмер»—см. Karénine, IV, 394—395. В этой же книге, т. II, стр. 603—609 русского и т. III, стр. 627—633 французского издания рассказывается, как и при каких обстоятельствах Жорж Санд, уже дружившая с Александром Дюма-отцом, подружилась с его сыном. Дюма-сын много раз гостил в Ногане и был очень любим всей семьей писательницы. Отсюда слова ее письма: «Здесь все здоровы и любят вас». Часть писем Жорж Санд к Дюма-сыну напечатана в IV, V и VI томах ее «Корреспонденции», но почти все со значительными пропусками и измененным текстом.

18. [НЕИЗВЕСТНОМУ]

[Ноган, 7 августа 1863 г.]

В настоящее время мой дом так переполнен народом, что я буду вынуждена изменить долгу гостеприимства. Но если вы обеспечены приютом в Ла Шатре, я буду очень рада повидать вас в течение нескольких часов, если только вы не предпочтете приехать к нам на несколько дней после вакаций, во время которых я несколько стеснена.

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ ЖОРЖ САНД „ЧТО ГОВОРИТ РУЧЕЙ“
Первый лист рукописи
Литературный музей, Москва

Ce que dit le ruisseau.

J'étais fatigué quand je m'arrêtai au bord du ruisseau babillard.
La nymphe qui est de ma connaissance vu que je la rencontre souvent dans la forêt et dans la montagne, vint à moi toute courroucée.
— Que fais-tu si près de ma source, et d'où te vient cette hardiesse d'écouter des choses qui ne sont pas dites pour toi?
— Je ne connais pas la langue des ruisseaux, ma belle amie! Je ne répéterai donc pas...

Я получила вашу книгу, но могла прочесть пока лишь половину. Всё это очень хорошо, очень возвышенно и вполне соответствует тому, что я считаю лучшим течением прогрессивной философии. Итак, в том или ином случае—до свидания. Примите мой дружеский привет.

Жорж Санд

Ноган,
7 августа 63 г.

На листке почтовой бумаги с вытисненными в левом верхнем углу инициалами «G. S.».

Автограф.—Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Собр. Театрального музея им. Бахрушина.

Весьма возможно, что это письмо адресовано Эдуару де Помпери (Pompéry, р. 1812), фурьеристу и республиканцу, сотруднику «Phalange», «La Démocratie pacifique», «La Revue indépendante» и ряда других периодических органов, автору книги «Quintessence féminine», присланной им Жорж Санд. В 1863 г. вышла его книга «Décadence et renouvellement de la foi». Если письмо, действительно, адресовано Помпери, можно предположить, что Жорж Санд имеет в виду именно это его сочинение. Но еще вероятнее, что оно написано одному из тех четырех протестантских пасторов, к которым Жорж Санд обращалась в ту эпоху с вопросом об их догматах, не желая крестить своего внука католиком. А если это так, то адресатом письма является Атанас Кокрель (Coquerel), автор книги «Les forçats de la foi».

19. [МИШЕЛЮ ЛЕВИ]

[Ноган, 1865 г.]

Милостивый государь,

Я получила ваше письмо. Не посылайте мне корректуру в Палезо, а пришлите ее сюда, куда я возвращаюсь послезавтра, и сюда же сообщите о дне вашего посещения.

Преданная вам Ж. Санд

На листе помета неизвестной рукой: «В Ногане, через Ла Шатр».

Автограф.—Институт истории Академии наук СССР, Ленинград. Собр. бывш. Института книги, документа и письма. Архив Н. П. Лихачева.

В местечке Палезо, под Парижем, Жорж Санд временно поселилась (1863—1865 гг.) после женитьбы своего сына Мориса на Лине, дочери гравера Каламатты. Осенью 1865 г. Жорж Санд несколько времени пробыла в Ногане, потом ездила в Париж, в Бретань, к Флоберу в Круассе и, наконец, окончательно вернулась в Ноган. Очень возможно, что письмо адресовано Мишелю Леви, в то время печатавшему четвертое издание Собрания сочинений Жорж Санд.

20. [НЕИЗВЕСТНОМУ]

[Ноган, 11 июля 1866 г.]

Мой племянник просит два места на водевиль и еще два на следующий день в «Gaîté». Удовлетворите его просьбу, милостивый государь, буду вам признательна.

Сердечно ваша

Ж. Санд

Получила ваше письмо сегодня утром. Я наготове, чтобы выехать, как только вы меня позовете.

Ноган, 11 июля 66 г.

Внизу помета неизвестной рукой: «Жорж Санд директору „Gaîté“».

На листке почтовой бумаги с вытисненными в левом верхнем углу инициалами «G. S.».

Автограф.—Литературный музей, Москва. 6309—I. Вклеен в книгу J. Barbey d'Aurevilly «Les vieilles actrices. Le musée des antiques», P., 1884, как и автографы почти всех упоминаемых в ней актрис, музыкантов, писателей и прочих выдающихся французских деятелей искусств и литературы.

Судя по содержанию, записка могла быть адресована директору или кому-либо из администрации театра, кто мог бы вызвать Жорж Санд на репетицию ее пьесы, о чем она говорит: «Я наготове, чтобы выехать, как только вы меня позовете». В 1866 г., в августе, в театре «Водевиль» шли одна за другой две пьесы Жорж Санд: «Les Don Juan de village» (написанная в сотрудничестве с Морисом Сандом)—9 августа и «Le lys du Japon», переделанная из ее романа «Антония»,—14 августа. Таким образом, весьма проблематична имеющаяся на письме помета о том, что оно адресовано директору театра «Gaîté», где никакой пьесы Жорж Санд тогда не ставилось. Директором «Gaîté» был в те годы актер Дюмэн (Dumaine Луи-Филипп Персон, 1831—1893). Его имя не встречается среди лиц, с которыми Жорж Санд поддерживала дружеские или деловые отношения.

21. ЭМИЛЮ ДЕ ЖИРАРДЕНУ

[Ноган, 15 февраля 1867 г.]

Мой дорогой и знаменитый друг,

Г-жа Анна де Вуазен—особа весьма достойная уважения, очень сведущая в африканских делах, хорошо знающая арабский язык. Она сможет доставлять вам полезные и хорошо написанные работы. Примите ее, пожалуйста, полюбезнее и считайте меня всегда вашей наипреданнейшей [vostrissima]

Ж. Санд

Ноган, 15 февраля 67 г.

На обороте: Г-ну Эмилю де Жирардену

Автограф.—Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград. Собр. О. А. Новиковой.

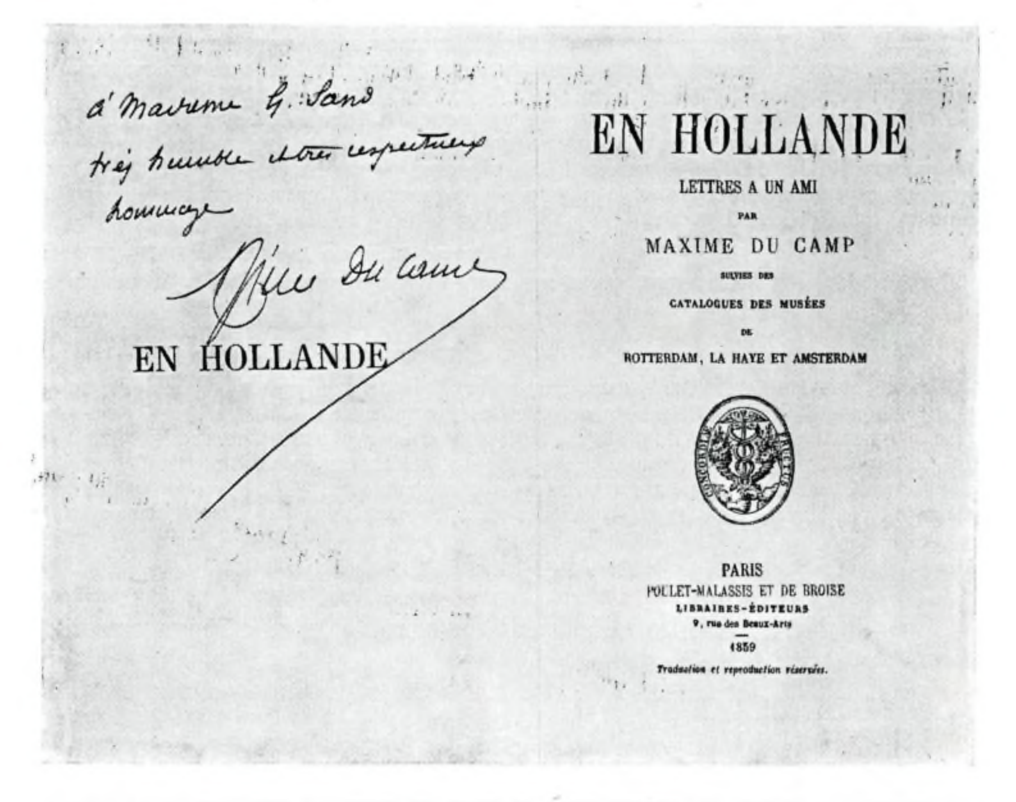
Эмиль де Жирарден (Girardin, 1806—1881)—известный публицист, создатель французской дешевой многотиражной газеты. Вуазен (Des Voisins Анна-Каролина, р. 1827)—известная под псевдонимом Pierre Cœur. Во время длительного пребывания в Алжире основательно изучила арабский язык. Начало ее литературной деятельно-

сти под покровительством Жорж Санд относится к 1866 г. Письмо Жорж Санд к самой г-же Вуазен было напечатано после смерти писательницы в «Revue Politique et Littéraire» от 17 июня 1876 г.

22. ПОЛИНЕ ВИАРДО

[Париж, 1871—1874 гг.]

Дорогая моя дочка, с фортепиано все обстоит превосходно. Мы договорились, вы выберете. Но так как это не к спеху,—впереди еще 19 дней,—то я не хочу, чтобы ради этого вы вышли из дому днем раньше. Я не смогу


EN HOLLANDE

EN HOLLANDE
LETTRES A UN AMI
PAR
MAXIME DU CAMP
SUIVIES DES
CATALOGUES DES MUSÉES
DE
ROTTERDAM, LA HAYE ET AMSTERDAM

PARIS
POULET-MALASSIS ET DE BROISE
LIBRAIRES-ÉDITEURS
9, rue des Beaux-Arts
1859
Traduction et reproduction réservées.

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ МАКСИМА ДЮ-КАНА НА ЭКЗЕМПЛЯРЕ ЕГО КНИГИ „В ГОЛЛАНДИИ", ПОДАРЕННОМ ЖОРЖ САНД

Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

притти к вам обедать. У меня всякий день гости, но завтра я сделаю все возможное, чтобы расцеловать вас вечером у вас, между 10-ю и 11-ю часами. Обожаю вас и всех ваших.

Ж. Санд

Адрес: Г-же Виардо.
Улица Дуэ, № 48

Автограф.—Институт Маркса—Энгельса—Ленина, Москва.

Так как Полина Виардо с семьей и Тургеневым поселилась на улице Дуэ, 48, в 1871 г., а осенью 1874 г. дом был перенумерован в № 50, то мы относим это письмо Жорж Санд, как и четыре помещаемые ниже письма к ней Виардо, к трехлетию 1871—1874 гг. Письмо Жорж Санд является ответом на письмо Полины Виардо, которая, по желанию писательницы, обратилась к известному фортепианному фабриканту Плейелю с просьбой выбрать для Жорж Санд пианино и сообщить, не может ли он починить старое ее фортепиано. Полина Виардо пишет следующее:

48, улица Дуэ, 29 апреля [1871—1874 гг.]

Дорогая моя Нинона, цена пианино от 1 000 до 2 000 франков. Пианино среднего размера в 1 500 франков достаточно хорошо и подходит. Скидка 10%, т. е. 150 франков, в пользу артистки, которые последняя передаст вам лично. Согласны? Когда же, дорогая Нинона, вы придете пообедать с нами? Завтра, в четверг? А если не сможете, то в пятницу или в субботу? Приведите с собой кого хотите. Г-н Плошю сам собою разумеется. Ответьте «да» вашей верной дочке.

Еще в трех письмах Виардо к Жорж Санд мы имеем и дальнейшие подробности о покупке этого фортепиано. Эти письма Виардо к Жорж Санд, как и приведенные выше, не изданы и публикуются здесь впервые.

48, улица Дуэ, 22 мая [1871—1874 гг.]

Дорогая моя Нинона, я заходила к Плейелю посмотреть фортепиано. По части пианино ничего нет хорошего, но я нашла нечто лучшее: рояль с совсем маленьким хвостом. Стоит он 2 000 франков, вам будет 1 800, а мне 1 500 фр. Согласны? Г-н Вольф, глава фирмы Плейель, просит вас прислать к нему вашу теперешнюю кастрюльку, которую он с удовольствием исправит. Предложение любезное и очень приемлемое. Итак, 1 500 фр. вместо 1 350, которые вы мне дали,—и у вас будет прелестный маленький рояль и ваше пианино—исправлено. Ответьте поскорее, дорогая Нинона, вашей старой дочке.

Париж, 48, улица Дуэ, 26 мая [1871—1874 гг.]

Дорогая Нинона моей души, скоро вы получите фортепиано. Деньги я получила.

Полина.

Париж, улица Дуэ, 7 июня [1871—1874 гг.]

Дорогая моя Нинона, дело сделано, и, может быть, в данную минуту вы уже получили ваш новый музыкальный ящик. Вот счет и расписка. Я знаю, что вы очень, очень осчастливили бы г. Вольфа, написав ему словечко вашей прелестной лапкой. Это осталось бы в архивах фирмы. Он был так любезен и приложил столько стараний к этому делу, что положительно заслужил эту милость. Довольны ли вы? Угодил ли я вам, барин? Ответьте: «Да, толстая дура», и я буду довольна.

23. И. С. ТУРГЕНЕВУ

[Ноган, 1 ноября 1872 г.]

Дорогой друг, я ничего не сказала лишнего, я даже сказала слишком мало.

Я вас люблю, мы вас любим. Не откажите передать божественной Полине и ее ангелочкам, что мы их обожаем.

Ж. Санд

Поправились ли вы? Мы об этом ничего не знаем. Флобер по вас вздыхает. Он грустный, грустный. Вылечите же его.

Ноган, 1 ноября 72 г.

Адрес: Господину Ивану Тургеневу.
Улица Дуэ, 48.
Париж

Почтовый штамп: «1 ноября 72».

Автограф.—Литературный музей, Москва. Собр. Е. Н. Званцевой, 431—22.

Письмо написано в ответ на письмо Тургенева от 30 октября 1872 г., в котором он с восторгом благодарил Жорж Санд за только-что прочитанный в «Temps» посвященный ему очерк «Pierre Bonnin», в котором она, в чрезвычайно хвалебных выражениях, говорила о «Записках охотника». Перед тем Тургенев впервые прогостил несколько дней в Ногане, одновременно с Полиной Виардо и ее двумя дочерьми. Тургенев собирался посвятить Жорж Санд свой рассказ «Живые мощи», но Луи Виардо его отговорил, о чем Тургенев очень жалел после смерти Жорж Санд. Об отношениях Жорж Санд с Тургеневым см. нашу статью «Тургенев и Жорж Санд» (Тургеневский сборник, Ленинград, изд. «Атеней», 1922). О публикуемом письме см. также в статье: А. Мазон, Неизданные письма И. С. Тургенева к Дюкану, Флоберу и Гонкуру. (Том 2-й настоящего издания, 681—682).

ДОМ ЖОРЖ САНД В НОГАНЕ
Рисунок Эжена Ламбера, 1852 г.
Литературный музей, Москва

24. Г-НУ ВАНУЧЧИ

[Ноган, 17 июля 1874 г.]

Милостивый государь,

Моя дорогая дочь Лина сказала мне, что вы больны и что вам доставило бы некоторое удовольствие услышать, что я принимаю в вас участие. Знайте же это и не сомневайтесь. Я знаю, насколько вы заслуживаете привязанность, которую она к вам питает.

Жорж Санд

Ноган, 17 июля 74 г.

Автограф.—Институт истории Академии наук СССР, Ленинград. Собр. бывш. Института книги, документа и письма. Архив Н. П. Лихачева.

Это письмо было приложено к следующему письму на итальянском языке невестки Жорж Санд, Лины Санд:

Дражайший синьор Вануччи,

Г-жа Крамер пишет мне, что вы больны, и я не могу удержаться от того, чтобы не послать вам непосредственно своих пожеланий полнейшего выздоровления. Мне кажется, что эти пожелания, посланные от расположенного к вам сердца, исполнятся и сбудутся. Наш друг, синьора Тереза, удручена своими горестями, но я от нее знаю, насколько ваша верная дружба ее поддерживает. Будьте благословенны, дорогой синьор, за то добро, которое вы ей делаете, и благоволите принять выражение моей неизменной привязанности.

Лина Санд Каламатта

25. [НЕИЗВЕСТНОМУ]

Надо будет перечитать, ибо многие буквы так неотчетливы, что я не могу разглядеть, не выпали ли они. Мое плохое зрение не позволяет мне править такие небрежные корректуры.

Ж. Санд

Автограф.—Институт Маркса—Энгельса—Ленина, Москва.

Очевидно, это записка к какому-нибудь метранпажу или корректору. Никаких данных для определения даты ее написания и установления адресата нет.

ПРИЛОЖЕНИЯ

АВТОГРАФЫ ЖОРЖ САНД В СОБРАНИЯХ СССР

Знаком «*» обозначены документы, впервые публикуемые в настоящем издании

А. РУКОПИСИ

1. Переписка с Альфредом де Мюссе. Копия, сделанная Жорж Санд в 1861 г.
Рукопись на 196+3 листах почтовой бумаги in 8°. Из них первые 130 листов—автограф Жорж Санд, остальные написаны не ее рукой. На последней странице несколько строк покойного секретаря Жорж Санд, Эмиля Оканта, 1864 г., свидетельствующие об абсолютной точности копии. Рукопись принадлежала Оканту и была им в 1904 г. подарена автору настоящей статьи, как и указанный ниже под № 2 автограф (подарен в 1902 г.).—Литературный музей, Москва. Собр. В. Д. Комаровой (Вл. Каренина), 3212—2. Опубликована Феликсом Декори («La Correspondance de George Sand et d'Alfred de Musset», publ. par Félix Decori chez E. Demann, Bruxelles, 1904).

2. «Ce que dit le ruisseau» («Что говорит ручей»)—стихотворение в прозе, 1863 г.
Беловая рукопись на 49 листах почтовой бумаги in 8°.—Литературный музей, Москва. Собр. В. Д. Комаровой (Вл. Каренина), 3212—1. Опубликовано «Revue des Deux Mondes» 15 sept. 1863. Вошло также в «Œuvres complètes de George Sand», éd. Calmann Lévy, vol. de «Laura». Воспроизведение см. выше, стр. 711.

Б. ПИСЬМА, ЗАПИСКИ, ПОДПИСИ

3.* [Анстер (Anster) Элизе]—[Ла Шатр, 1836 г.].
Институт мировой литературы им. Горького, Москва. «Альбом А. С. Голицыной». См. выше, стр. 694—698.

4.* Ванучч и (Vannucci)—Ноган, 17 июля 1874 г.
Институт истории Академии наук СССР, Ленинград. Собр. бывш. Института книги, документа и письма. Архив Н. П. Лихачева. См. выше, стр. 716.

5.* Виардо (Viardot) Полине—[Париж, 1845 г.].
Публичная библиотека, Ленинград. Собр. А. А. Краевского. См. выше, стр. 702.

6.* Ей же—[Париж, 1871—1874 гг.].
Институт Маркса—Энгельса—Ленина (ИМЭЛ), Москва, 205. См. выше, стр. 713.

7. Гаррису (Harrisse) Анри—надпись на конверте [начало 1870-х годов].
Литературный музей, Москва. Собр. Н. О. Лернера, 598—2. Ранее в собр. В. Д. Комаровой (Вл. Каренина).

8.* [Гжимале (Gřgimali) Альберу]—[Ноган, лето 1846 г.].
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Собр. Театрального музея им. Бахрушина. См. выше, стр. 703—704.

9.* [Делакруа (Delacroix) Эжену]—[Париж, 1839—1842 гг.].
Исторический музей, Москва. См. выше, стр. 700—701.

10.* [Дюма (Dumas) Александру (сыну)]—[Ноган] 15 февраля 1863 г.
Частное собрание, Ленинград. Из архива поэтессы Е. К. Зыбиной. См. выше, стр. 710.

11.* Дюпюи (Dupuy), издателю—[Париж, 7 июля 1832 г.].
Институт мировой литературы им. Горького, Москва. «Альбом А. С. Голицыной». См. выше, стр. 692.

12.* Жирардену (Girardin) Эмилю де—Ноган, 15 февраля 1867 г.
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Собр. О. А. Новиковой. См. выше, стр. 712.

13.* Кадолю (Cadol) Эдуару—[февраль 1863 г.].
Публичная библиотека, Ленинград. Собр. П. Вакселя, № 130. См. выше, стр. 710.

14.* Клезенже (Clésinger), скульптору—[Париж, 1846 г.].
Государственный архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ), Москва. «Альбом Голицына», № 82. См. выше, стр. 706.

15.* Комбу (Combes) Эдмону—[Париж, начало лета 1838 г.].
Литературный музей, Москва. Собр. Р. М. Хин, 2430—3. См. выше, стр. 699.

16.* [Леви (Lévy) Мишелю, издателю]—Ноган [1865 г.].
Институт истории Академии наук СССР, Ленинград. Собр. бывш. Института книги, документа и письма. Архив Н. П. Лихачева. См. выше, стр. 711.

17.* Листу (Liszt) Францу—[Париж, весна 1840 г.].
Публичная библиотека, Ленинград. Собр. П. Вакселя, № 130а. См. выше, стр. 701.

18.* [Неизвестной]—Ноган, 21 июня 1856 г.
Институт истории Академии наук СССР, Ленинград. Собр. бывш. Института книги, документа и письма. Архив Н. П. Лихачева. См. выше, стр. 708.

19.* [Неизвестному]—[весна 1833 г.].
Публичная библиотека, Ленинград. КП 10/39. См. выше, стр. 692.

20.* [Неизвестному]—[Париж, 1842—1847 гг.].
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Собр. Е. А. Ляцкого. См. выше, стр. 702.

21.* [Неизвестному]—Ноган, 25 ...бря [1862—1864 гг.].
Институт истории Академии наук СССР, Ленинград. Собр. бывш. Института книги, документа и письма. Архив Н. П. Лихачева. См. выше, стр. 708.

22.* [Неизвестному]—Ноган, 7 августа 1863 г.
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва. Собр. Театрального музея им. Бахрушина. См. выше, стр. 710—711.

23.* [Неизвестному]—Ноган, 11 июля 1866 г.
Литературный музей, Москва, 6309—1. См. выше, стр. 712.

24.* [Неизвестному]—б. д.
Институт Маркса—Энгельса—Ленина (ИМЭЛ), Москва, 776/5. См. выше, стр. 716.

25.* Перротену (Perrotin), издателю—[Париж, лето 1842 г.].
Институт Маркса—Энгельса—Ленина (ИМЭЛ), Москва, 10.168 395. См. выше, стр. 702.

26. Собольщиковой Н. И.—Ноган, 27 марта 1859 г.
Публичная библиотека, Ленинград. Общ. собр автогр. Опубликовано: Вл. Каренин, Жорж Санд, ее жизнь и произведения, т. II, 537, и W. Karénine, George Sand, sa vie et ses œuvres, v. III, 551.

27.* Тургеневу И. С.—Ноган, 1 ноября 1872 г.
Литературный музей, Москва. Собр. Е. Н. Званцевой, 431—22. См. выше, стр. 709, 714.

28.* Шазе (Chazet) Олифантудю, издателю—[июль 1839 г.].
Институт истории Академии наук СССР, Ленинград. Собр. бывш. Института книги, документа и письма. Архив Н. П. Лихачева. См. выше, стр. 700.

29.* Шарпантье (Charpentier) Огюсту, живописцу—[Париж, 9 мая 1838 г.].
Собрание К. В. Пигарева, Москва. См. выше, стр. 696, 699.

В. РИСУНКИ

30.* [«Морской залив»]—акварель «дендрит», 15,4×23,7 см.
Литературный музей, Москва. Собр. В. Д. Комаровой (Вл. Каренина), 3212—4. Воспроизведение см. выше, стр. 707.

31.* [«Гора на берегу залива»]—акварель «дендрит», 12×16 см.
Институт литературы Академии наук СССР (ИЛИ), Ленинград. Собр. В. Д. Комаровой (Вл. Каренина). Воспроизведение см. выше, стр. 707.

Г. НЕРАЗЫСКАННЫЕ АВТОГРАФЫ

32.* Мустафину Александру—дарственная надпись на томе «Œuvres de George Sand. Illustrées par Tony Johannot»—Ноган, 21 августа 1852 г.
Издание 1851—1856 гг., с иллюстрациями Тони Жоанно и Мориса Санда. Воспроизведение см. выше, на стр. 705. Книга находилась ранее в собрании П. П. Башилова. Воспроизводится по фотографии, принадлежащей В. Д. Комаровой (Вл. Каренину), Ленинград.

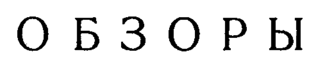
КНИГИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ ЖОРЖ САНД

1. «En Hollande. Lettres à un ami par Maxime du Camp», éd. 1859, с дарственной надписью автора.

Собрание И. С. Зильберштейна, Москва. Воспроизведение см. выше, стр. 713.

2. K. Marx, «Misère de la philosophie. Réponse à la Philosophie de la misère de M. Proudhon», с дарственной надписью автора.

Историческая библиотека, Москва. Воспроизведение см. выше, стр. 701.



О Б З О Р Ы

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВО ФРАНЦИИ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ [1]

Обзор П. Беркова

I

В середине XVI в. история литературы возникла, как наука «универсальная», изучающая литературные произведения всех веков, стран и народов, написанные на «универсальных» языках—латинском, греческом и древнееврейском. Однако, по мере того, как в рамках отдельных государственных единиц упрочивалось положение буржуазии и под напором новых идеологических требований ослабевало средневековое «универсальное» мировоззрение, падало обаяние идеи вселенской монархии, возникали, отрываясь от римской церкви, новые религиозные учения,—по мере падения прежнего «универсализма» в науке, приобретавшей все более и более буржуазный характер, начинает проявляться интерес к культурной жизни отдельных наций. Литературоведческие работы поздних итальянских, немецких, английских гуманистов появляются сперва, как факты единичные, не осознаваемые в плане методологическом; но к концу XVII в. «этнографический», как его тогда называли, момент в изучении истории литературы выдвигается все настойчивее. В 1710 г. появляется даже специальный трактат Михаэля Лилиенталя (1686—1750): «Consultatio de historia litteraria certæ cujusdam gentis scribendæ» («О необходимости написания истории литературы отдельных племен»). Попытка эта, по словам современника, удалась автору в достаточной мере[2].

Постепенно появляются работы не только по истории национальной литературы того народа, к которому принадлежит автор такой работы, но и посвященные другим литературам и народам, иногда даже и раньше, чем появляются самостоятельные работы об этих литературах на их национальных языках.

В круг западно-европейских литературных изучений русская литература попадает лишь в XVIII в. Неудивительно, что первые труды о ней выросли на германской и шведской почве, т. е. в соседних странах, близко заинтересованных «московитскими делами»[3].

Во Франции с русской литературой стали знакомиться позднее, чем в других европейских государствах[4]. Это и было естественно, если вспомнить, что первый французский купец, прибывший с коммерческими целями в Россию, Жан Соваж из Диеппа, приехал в Архангельск, единственный русский порт в допетровскую пору, лишь в 1586 г., когда английская, немецкая и голландская буржуазия имела уже с Россией длительные торговые связи[5]. Хотя в докладной записке, поданной французскими купцами в 1628 г. главе правительства, кардиналу Ришельё,—на предмет создания обширной северной торговой компании, которая сосредоточила бы в своих руках все коммерческие отношения Франции с Швецией, Данией и Россией,—и указывалось, что лет шестьдесят назад вся торговля с Московией находилась в руках французов[6], однако, фактически это было не так. Торговые связи Франции с Россией до XVIII в. носят случайный и второстепенный характер.

Следствием этого является и тот факт, что среди так называемых сказаний иностранцев о России сравнительно небольшое число принадлежит французам. Знание русского языка среди французов до XVIII в. не встречалось почти вовсе. Когда в 1654 г. прибыл в Париж русский дипломатический агент с письмом от царя Алексея Михайловича, среди парижан не оказалось ни одного, владевшего в какой-нибудь мере русским языком; из затруднения вывел проживавший тогда в Париже фламандец Вильнер, уроженец Москвы, не владевший, однако, французской речью. С помощью банкира-француза, знавшего по-фламандски, и через посредство Вильнера московский посол вел переговоры с французским правительством[7].

Правда, через шестьдесят лет после этого (1715) французы уже могли поднести приехавшему во Францию Петру I описание Парижа на русском языке[8], тем не менее, Россию и русскую культуру во Франции знали очень мало[9]. Французские дипломаты подчеркивали, что нравы и обычаи французов так разнятся от нравов России, что нет вероятности, чтобы эти две нации, столь различные, остались надолго в согласии[10].

Наконец, независимо от общего отношения к русским и к русской культуре, и сама русская литература не располагала в то время ничем таким, что могло бы представить интерес для западного, в частности, французского, читателя. Однако, надо полагать, что французским ученым все же была известна статья врача Михаила Схенда фан дер Беха: «Современное состояние русской литературы» (Mich. Schend van der Bech, Præsens Russiæ litterariæ status). Написанная в 1725 г., помещенная в венских «Acta physico-medica Academiæ Cæsareæ Naturæ Curiosorum», 1727, т. I (прилож., стр. 131—149), она была перепечатана в ряде изданий того времени, между прочим, и в пользовавшемся большим распространением итальянском ученом журнале «Galleria di Minerva». В статье М. Схенда фан дер Беха упоминаются в качестве деятелей русской науки и поэзии Феофан Прокопович, Феофилакт Лопатинский, А. Кондоиди, кн. Дмитрий Кантемир, отец сатирика, Гавриил Бужинский и др.[11].

Около этого же времени стали создаваться условия и для самостоятельного ознакомления французов с русской литературой. В связи с оживлением экономических и, еще больше, политических сношений Франции с Россией, на русскую службу стали в большом числе направляться французские специалисты—инженеры, военные, моряки, живописцы и др.[12]. Во вновь открытую Академию наук (1725) приглашаются академики-французы: братья Делили, Ле Руа, позднее Майяр.

Повидимому, их сообщения о состоянии образованности в России, в частности, о положении Академии наук, проникали во французские научные издания того времени. Во всяком случае, в знаменитом «Journal des Sçavans» за первую половину XVIII в. встречается, как отметил проф. Т. Буле[13], ряд сведений о русских ученых и вообще о русской образованности.

Чтобы понять, в каких условиях возникал во Франции в XVIII в. интерес к русской литературе, необходимо, в основных чертах, вспомнить политические взаимоотношения России и Франции за это столетие. В то время как для Голландии, Англии и немецких государств Россия представляла важный рынок, Франция экономически была мало заинтересована в далекой Московии; все попытки завязать более тесные экономические связи терпели неудачу по вине то одной, то другой стороны. Другое дело—политика. На европейском континенте Франция издавна соперничала со «Священной римской империей»—Австрией. Это соперничество привело к ряду войн XVII и XVIII вв.; оно же направляло и линию внешней политики Франции. Вражда к Австрии и интересы левантской торговли—в Константинополе, Малой Азии, Сирии и Египте—заставляли Францию быть в постоянной дружбе с Турцией. Роль Франции в турецких делах в XVIII в. была исключительно

велика. А территориальная экспансия России в XVIII в. была как раз направлена к югу, к Черному морю, побережья которого принадлежали тогда Турции. Таким образом, внешняя политика России в южном направлении сталкивалась с интересами Франции. Так же обстояло дело и с северо-западом. Для ослабления Австрии и отторжения от нее возможных северных союзников, Франция субсидиями и военной инструктивной помощью усиливала Швецию и курфюршество Бранденбург (позднее Прусское королевство) и поддерживала Польшу. Таким образом, и здесь интересы России, стремившейся к принадлежавшему шведам Балтийскому морю, сталкивались с политической линией Франции. Естественно, что при таких условиях вся дипломатия Франции сводилась в отношении России к удержанию последней от союза с Австрией, а позднее—по мере усиления Пруссии—и с последней. Только этими политическими соображениями и диктовались отношения Франции к России в XVIII в. Между тем, в России, особенно в послепетровскую эпоху, эпоху дворянской реакции, возникло естественное тяготение к Франции, где, еще по словам петровского дипломата, гр. А. А. Матвеева, «все шляхетство николи ни мирского, ни духовного правления не отпадает». Задолго до Матвеева, записи которого относятся к 1705—1706 гг., другой русский дипломат отмечал, что «люди во французском государстве человечны и ко всяким наукам, к философским и рыцарским, тщательны. Из иных государств во французскую землю в город Париж и в иные города приезжают для науки философской и для учения ратного строя королевичи и великородные и разных чинов люди»[14]. Естественно, что в эпоху дворянской реакции Россия отдаляется от постоянной симпатии Петра—буржуазной Голландии и Англии и обращается к дворянской Франции. Начинаются бесчисленные поездки русской знати в Париж: Шуваловы, Воронцовы, Строгановы, Чернышевы

L'ANNÉE

LITTÉRAIRE.

ANNÉE M. DCC. LX.

Par M. FRÉRON, des Académies d'Angers, de Montauban, de Nancy, d'Arras, de Caën, de Marſeille, & des Arcades de Rome.

Parcere perſonis, dicere de vitiis. MART.

TOME V.

A AMSTERDAM.

Et ſe trouve à Paris,

Chez MICHEL LAMBERT, Imprimeur-Libraire, rue & à côté de la Comédie Françoiſe, au Parnaſſe.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ V ТОМА ЖУРНАЛА „L'ANNÉE LITTÉRAIRE" ЗА 1760 г., В КОТОРОМ БЫЛА ПОМЕЩЕНА ПЕРВАЯ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ СТАТЬЯ О РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

и другие представители правящей русской аристократии во время своих поездок во французскую столицу входят в тесное соприкосновение с тамошней знатью[15]; это обстоятельство имело важное значение для развития взаимного литературного изучения России и Франции. Несомненно, русские путешественники воспринимали значительно больше от французов, нежели давали им. Именно с этого времени начинается то явление в жизни русского дворянства, которое носит название галломании. «В царствование императрицы Елизаветы,—вспоминал историк Н. Болтин,—введено было в язык русский множество слов французских, не по нужде, а по буйственному пристрастию ко всему, что называется французским»[16]. Французский язык входит в обиход высшего дворянства в России и отдельными лицами усваивается настолько, что, например, французские стихи гр. Андрея Шувалова приписываются парижанами Вольтеру и Лагарпу. В Петербурге возникает даже специальный французский журнал «Le Caméléon littéraire» (1755), в котором принимают участие как французы, так и русские[17]. Появление французского журнала не было случайностью. Оно, несомненно, представляло звено в том, что можно назвать «новой русской политикой» Франции.

К концу первой половины XVIII в. внешнеполитические интересы версальского двора привели к тому, что дипломатические сношения между Россией и Францией были прерваны: в 1747 г. французский полномочный министр д'Алион, а в 1748 г. и консул Сен-Совёр покинули Петербург, и замещения им не последовало в течение восьми лет. Равным образом, и российскому министру во Франции было предписано демонстративно покинуть Париж, не требуя от короля аудиенции; в отзывной же грамоте указывалось, что «причиною сему недоброхотство французского двора к России и вкоренившаяся ненависть»[18]. О той же «вкоренившейся ненависти» говорит и Альфред Рамбо, историк франко-русских дипломатических отношений в эпоху, предшествовавшую революции 1789 г. Характеризуя позицию Франции по отношению к России в начале 50-х годов XVIII в., он прямо называет французскую политику «традиционной враждебностью» («hostilité traditionelle»)[19]. Отсутствие официальных дипломатических представителей в России Франция компенсировала посылкой ряда тайных наблюдателей и агентов, к которым, повидимому, принадлежал и барон Теодор-Генрих Чуди (le Chevalier de Lussy), редактор журнала «Le Caméléon littéraire».

Между тем, осложнение европейского равновесия быстрым ростом Пруссии, прежней союзницы России и Австрии, притязания Пруссии на часть австрийской территории («австрийское наследство»), стремление Франции ограничить влияние Англии на Россию, которую усиленно втягивали в войну против Австрии,—все это заставило Францию изменить свою прежнюю политику в отношении России, возобновить с ней в 1756 г. дипломатические отношения, а в следующем году вовлечь ее в союз с Францией и Австрией для войны с Пруссией («семилетняя» война 1756—1763).

Новая политическая союзница, Россия, вызывает во Франции и литературный интерес. Вольтер, выпустивший в 1759 г. первый том «Истории России в царствование Петра Великого», пишет в мае 1760 г., под псевдонимом «Иван Алетов, секретарь русского посольства в Париже», небольшую поэму «Le Russe à Paris» («Русский в Париже»)[20].

В то же время постоянный противник Вольтера, Фрерон, помещает в своем журнале «L'Année littéraire» (1760, № 5, pp. 194—203) первую на французском языке статью о русской художественной литературе: «Письмо молодого русского вельможи», графа А. П. Шувалова[21]. Статья эта любопытна не только по содержанию, но и по своему политическому обрамлению. Дело в том, что письмо Шувалова было вставлено в письмо какого-то француза (не барона ли Чуди?), который, сообщая о существовании в Петербурге русско-французского литературного салона, указывал, что на одном из собраний этого салона было прочтено «Письмо молодого русского вель-

А. П. ШУВАЛОВ
Бюст работы Андре Лебрена, мрамор, ок. 1770 г.
Эрмитаж, Ленинград

можи»; сейчас же после этого сообщения анонимный автор приоткрывает свою политическую установку: «Громадное пространство, разделяющее оба государства, существует, как будто, только для того, чтобы сблизить гений, остроумие и самое сердце обоих народов». Не останавливаясь на других литературных произведениях на французском языке, которые связаны с салоном Шувалова и тоже касались культурной жизни России, следует отметить, что деятельность этого литературного общества приходится как раз на особенно важный момент «семилетней» войны, и политическая роль этого салона сделается очевидной.

В то же время французский читатель получает возможность ознакомиться с новейшей русской литературой во французских переводах. В 1740 г. были напечатаны в Петербурге «Оды» А. П. Сумарокова с приложением прозаического французского их перевода. В 1749 и 1750 гг. в Лондоне появляются переводы «Сатир» кн. А. Кантемира[22]. В следующем, 1751 г. кн. Александр Долгорукий переводит трагедию Сумарокова «Синав и Трувор»; в апрельской книжке «Journal Etranger» за 1755 г. (стр. 114—156) был помещен обстоятельный разбор этой трагедии, впоследствии переведенный Сумароковым (Сочинения, 2-е изд., т. X, стр. 162—190); в 1755 г. появляется перевод оперы того же Сумарокова «Цефал и Прокрис»; около того же времени выходит перевод его же трагедии «Семира». В 1755 г. бар. Чуди переводит «Слово похвальное Петру Великому» Ломоносова, которому, однако, перевод совсем не понравился, а в 1765 г. появляются переводы стихов Ломоносова, сделанные прозой гр. Андреем Шуваловым[23].

Таким образом, в течение 1750—1760-х годов французский читатель получил возможность познакомиться с наиболее крупными русскими писателями того времени. Необходимо при этом отметить, что переводы эти, конечно, имели не столько литературный, сколько политический характер, демонстрируя европейскому и, в первую очередь, французскому читателю степень культурного роста России[24].

В 1768 г. в лейпцигской «Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste» (часть VII, вып. 2) анонимно появилась статья «Nachricht von einigen russischen Schriftstellern». Автором ее был русский—повидимому, Александр Андреевич Волков[25]. Вскоре статья эта, содержавшая краткие характеристики 42 русских писателей с эпохи Петра Великого и до последнего (к тому времени) момента, начиная с Феофана Прокоповича и кончая мелкими поэтами начала 60-х годов XVIII в., была переведена на французский язык и дважды (в 1771 и 1774 гг.) отдельно издана в Италии, в Ливорно, где стоял во время первой войны с Турцией русский флот. Из предисловий к этим отдельным изданиям лейпцигской статьи, озаглавленным «Essai sur la littérature russe», явствует, что издатель перевода не был русским и, повидимому, предпринял это издание с коммерческой целью, в расчете на покупателей из среды русских офицеров. Однако, эта непосредственная цель издания «Essai» была мотивирована знакомой уже по предшествующему изложению политической тенденцией: «Славное правление августейшей всероссийской самодержицы и военные подвиги русских ныне обращают на них внимание всей Европы. С тех пор, как Петр Великий насадил в своем царстве науки, этот народ блещет военною славой. Мы полагаем, что Опыт об их литературе может быть только приятен публике»[26].

О переводчике или издателе «Essai» ничего более или менее определенного неизвестно. Существует только глухое указание, что перевод принадлежал какому-то англичанину Доминику де Блекфорду (Dominique de Blackford). Можно только отметить, что предположение акад. М. И. Сухомлинова, что Блекфорд—псевдоним кн. А. М. Белосельского, совершенно неверно: Доминику Блекфорду принадлежат, помимо «Essai», еще четыре брошюры, вышедшие в 1771—1772 гг. частью в Милане, частью в Вене и ничего общего с кн. Белосельским не имеющие[27].

Несомненно, теми же внешнеполитическими основаниями была вызвана и совпадающая по времени аналогичная работа на французском языке о русской литературе. Это «Рассуждение о российском стихотворстве» М. М. Хераскова, помещенное под заглавием «Discours sur la poésie russe», в качестве предисловия к переводу его поэмы «Le combat de Tzesmé» («Чесмесский бой»), СПб. 1771[28].

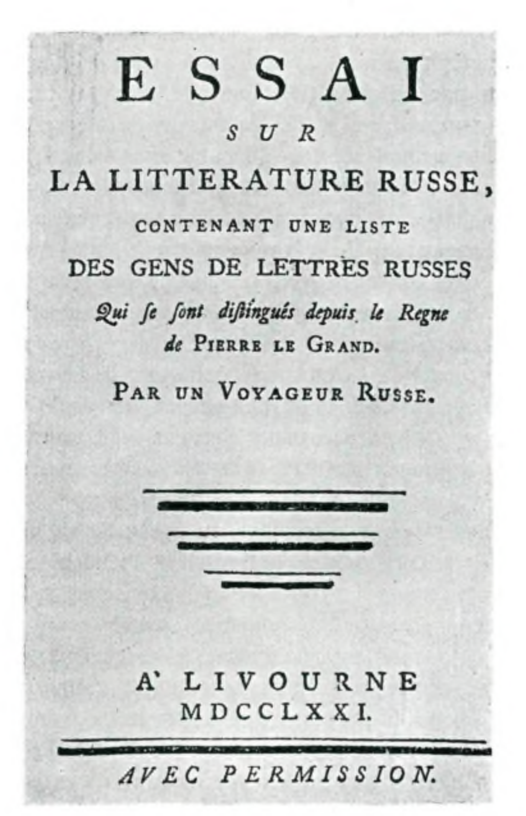
Если самая поэма Хераскова должна была служить литературной формой прославления одного из наиболее важных политических моментов тогдашней русско-турецкой войны, то «Рассуждение» имело целью показать, что «язык наш равно удобен для слога важного, возвышенного, нежного, печального, забавного и шутливого... для комедий... для оперы героической и комической», иными словами, что русская литература ни в чем не уступает европейским. В переводе же на язык внешней политики это должно было означать, что Россия представляет силу не только в военном, но и в культурном отношении[29]. Отметим, что экземпляр этого издания был препровожден тогдашним французским послом в Париж, в министерство иностранных дел, в архиве которого, в отделе «Correspondance de Russie», оно хранится до сих пор[30].

Как видно было из изложенного, все до сих пор рассмотренные работы представляли произведения русских авторов и были либо ими же самими, либо кем-нибудь из иностранцев переведены на французский язык. В начале 80-х годов XVIII в. почти одновременно, с промежутком в один год, появились обзоры русской литературы, принадлежавшие уже непосредственно французам—Левеку и Леклерку.

В 1782—1783 гг. выходит пятитомная «Histoire de Russie» Левека (Pierre-Charles Levesque, 1736—1812), в течение семи с лишним лет состоявшего преподавателем словесности в Петербургском кадетском корпусе[31]. Согласно принятому в XVIII в. пониманию задач историка, Левек включил в свой труд обозрение истории просвещения и изящной литературы в России (т. IV, стр. 535—538, и т. V, стр. 331—352). Особенно подробно рассматривает Левек литературу XVIII в., говорит о Ф. Прокоповиче, кн. Кантемире, Тредиаковском, Ломоносове, Сумарокове, Хераскове,

гр. Андрее Шувалове и приводит ряд прозаических переводов из произведений Ломоносова, Сумарокова и Хераскова. Выражая настроения руссофильских групп французского общества последней четверти XVIII в., Левек как во всей своей «Истории России», так, в частности, в главе о русской литературе проводит соответствующую точку зрения. «Если отрывки, приведенные только-что мною, недостаточны, чтобы дать полное представление о состоянии литературы в России, они дают, по крайней мере, понять, что русские очень далеки от того варварского состояния, за которое некоторым нравится их упрекать. Эти отрывки дают возможность предугадать, чем станет русская литература, когда она получит у них общее признание и поддержку»[32]. Сведения о русской литературе у Левека настолько невелики, что можно не сомневаться в том, что он использовал непосредственно свои личные сведения, не прибегая к другим пособиям.

Автор «Histoire de la Russie ancienne et moderne» Леклерк (Nicolas-Gabriel Le Clerc, 1726—1798), излагая историю русской литературы, в главе «Des poètes, des historiens et des littérateurs russes» (т. I, стр. 51—100), воспользовался «Рассуждением» Хераскова, «Опытом словаря исторического о российских писателях» (1772) Н. И. Новикова, которого он благодарит за сообщение сведений о русской литературе (т. I, стр. 96), и, повидимому, «Историей» Левека[33]. Статья Леклерка представляет частью пересказ «Рассуждения» Хераскова, впрочем, не называемого им, а частью не вполне грамотный перевод ряда характеристик русских писателей из «Словаря» Новикова. Кроме того, сюда включены собственные переводы Леклерка «Чесменского боя» и первой песни поэмы Ломоносова «Петр Великий». Далее следуют критические замечания об этой поэме и вообще о творчестве Ломоносова (стр. 140—143), памяти которого, кстати сказать, посвящена часть речи, произнесенной Леклерком в апреле 1765 г., при избрании его почетным членом Петербургской академии наук[34].


ESSAI
SUR
LA LITTERATURE RUSSE,
CONTENANT UNE LISTE
DES GENS DE LETTRÈS RUSSES
Qui se sont distingués depuis le Regne de PIERRE LE GRAND.
PAR UN VOYAGEUR RUSSE.

A' LIVOURNE
MDCCLXXI.
AVEC PERMISSION.

ФРАНЦУЗСКИЙ ПЕРЕВОД ПОЯВИВШЕГОСЯ В 1768 г. НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ АНОНИМНОГО „ОЧЕРКА О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ“

Титульный лист первого издания перевода, 1771 г.

Несмотря, однако, на большее количество сведений о русской литературе, работа Леклерка пользовалась на Западе меньшей известностью, нежели «История» Левека, на которую довольно часто ссылаются иностранные историки литературы конца XVIII в., говоря о русской словесности.

Начавшаяся вскоре революция вызвала, повидимому, с одной стороны, временную приостановку французских изучений русской литературы, а с другой, благодаря наплыву в Россию эмигрантов, создала условия, при которых французы могли притти в непосредственное соприкосновение с русской литературой.

В первые годы революции, конечно, не появлялось ни переводов русских писателей, ни работ о русской литературе, хотя памфлетная политическая литература о России быстро растет[35].

В самом начале XIX в. вышли в Париже из под пера Манюэля-Леонарда Паппадопуло и гражданина Галле: «Choix des meilleurs morceaux de la littérature russe», P., 1800 (два издания в один год) и «Théâtre tragique d'A. Soumarocoff», P., 1801, 2 vols. (последнее издание—перевод одного лишь Паппадопуло).

Появление этих работ, конечно, не случайно. После перерыва дипломатических сношений между Россией и Францией в самом конце царствования Екатерины и после участия России в контрреволюционной коалиции при Павле, к началу XIX столетия во Франции постепенно создается иное отношение к России[36]. С конца 1800 г., по инициативе Наполеона, начинаются переговоры о мире и даже союзе с Россией[37]. Таким образом, переводы Паппадопуло и Галле, с их отчетливой политической тенденцией, никак нельзя рассматривать, как явление случайное, непреднамеренно совпавшее с новой фазой в политике Франции по отношению к России.

Появившаяся в самом конце революционного периода книга Паппадопуло и Галле давала количественно и, пожалуй, качественно не особенно много французскому читателю: одну оду Тредиаковского, шесть од Ломоносова и две песни из его поэмы «Петр Великий», одну трагедию и одну комедию Сумарокова и три отрывка из его исторических и критических произведений. Интерес этого издания заключается в предисловии (Discours préliminaire), где высказываются авторами-переводчиками (повидимому, М.-Л. Паппадопуло) общие соображения о русской литературе и о целях данной книги. Сборник этот возник, по словам переводчиков, из желания показать неосновательность общераспространенного в Европе убеждения в совершенном варварстве русских в отношении искусств и наук. «Необходимость основательно познакомить («de faire connaître à fond») с этим народом, играющим в настоящее время столь большую роль и приобретающим с каждым днем все больший и больший перевес в делах, побудила нас осуществить этот перевод» (стр. V); «политика и искусства имели нужду в переводах с русского, чтобы быть в состоянии судить эту нацию, и они, без сомнения, останутся в выигрыше, познакомившись с ними» (стр. VI). Рассматривая свой труд скорее, как «дань общественной потребности, чем литературе» (стр. VI), переводчики считают необходимым предпослать переводам краткие сведения об авторах выбранных ими произведений. Сообщаемые переводчиками данные о Тредиаковском, Ломоносове и Сумарокове довольно точны, хотя и кратки. Но самым любопытным в цитируемом предисловии является анализ трагедии Сумарокова «Дмитрий Самозванец» («Dimitri le Pseudonyme, ou le Faux»). Выбор свой переводчики объясняют так: «Из его [Сумарокова] драматических произведений мы взяли трагедию «Дмитрий Самозванец» потому, что она показалась нам более занимательной («piquant»), нежели прочие, по следующим двум мотивам: во-первых, потому, что сюжет ее, почти революционный («qui est presque révolutionnaire»), очевидно, находится в противоречии («semble faire contraste») с нравами и политической системой этой страны: второстепенные персонажи (Шуйский, Георгий, Пармен и Ксения) произносят речи о правах народа и обязанностях государей. С другой стороны, философия создает

СБОРНИК ПЕРЕВОДОВ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК ИЗБРАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, СОСТАВЛЕННЫЙ ПЕРЕВОДЧИКАМИ ПАППАДОПУЛО И ГАЛЛЕ

Титульный лист первого из двух вышедших в 1800 г. изданий книги

CHOIX
DES
MEILLEURS MORCEAUX
DE LA
LITTÉRATURE RUSSE,
A dater de sa naissance jusqu'au règne de CATHERINE II;
TRADUITS EN FRANÇAIS,
PAR M. L. PAPPA DO POULO
ET PAR LE Cen. GALLET.

A PARIS,
Chez LEFORT, Libraire, rue du Rempart Honoré, N°. 961, dans l'enfoncement, à côté du cordonnier, près la rue de la Loi.
AN IX — 1800.

в ней и второй контраст, не менее исключительный («extraordinaire»), и именно там, где с особенной силой подвергается нападению фанатизм. Нельзя было бы поверить, если бы в том не было полной достоверности, что человек, происходящий из народа, наиболее привязанного во всей вселенной к своей религии, сумеет с таким пылом и смелостью напасть на фанатизм римской церкви и что этот самый народ рукоплескал этому произведению и до наших дней терпит его на своем театре; вот одно из тех противоречий, на которые только способен человеческий дух» (стр. XIX—XX).

Касаясь недостатков «Дмитрия Самозванца», переводчики подчеркивают, что «действие в этой трагедии загромождается политическими рассуждениями» (стр. XX) и что «мнения героя о божестве настолько непостоянны, что он является то фанатиком, то атеистом» (стр. XXI). Затем предисловие сопоставляет творчество Сумарокова с творчеством Расина и Корнеля и кончается замечаниями о комедии «Лихоимец».

Бросается в глаза то, что переводчики все время выдвигают те моменты в творчестве Сумарокова, которые делают его близким и понятным французскому читателю революционной эпохи. Отсюда подчеркивание революционности «Дмитрия Самозванца», антиклерикальности Сумарокова, пропаганды им идей патриотизма, столь популярных в ту эпоху, и т. д. Можно, однако, почти безошибочно утверждать, что эта тенденция проводилась только вторым переводчиком, «гражданином Галле» («citoyen Gallet»). К такому выводу приводит то обстоятельство, что во втором переводном издании одного М.-Л. Паппадопуло «Théâtre tragique d'A. Soumarocoff» основная идея предисловия переводчика не революционная, а монархическая: «Утешительно для человечества и для философии видеть, как эта нация [русские], столь долгое время погруженная в потемки невежества, открыла, по следам Петра Великого, поприще знаний и истины и в настоящее время, ободренная его достойными

преемниками, славно соперничает с наиболее цивилизованными народами» (t. I, pp. XII—XIII).

Появление переводов Паппадопуло не прошло незамеченным. Ими в большой мере воспользовался некий Франсуа-Ксавье Пажес (François-Xavier Pagès, 1745—1801). В его «Nouveau traité de littérature ancienne et moderne», P., 1802, имеется краткий обзор русской литературы (т. I, стр. 323—333, 412—416). Материалы для этого раздела своего труда Пажес черпал из французских переводов русских писателей и некоторых по-французски написанных статей об отдельных русских авторах. Основными его источниками были «Письмо молодого русского вельможи» гр. Андрея Шувалова, «Epître aux Français» кн. А. М. Белосельского-Белозерского, не содержащее, впрочем, данных о русской литературе, и, в особенности, «Предварительное рассуждение» из упомянутой книги Паппадопуло и Галле. Сведения Пажеса не обширны: он называет кн. А. Кантемира, Сумарокова, Богдановича (в его транскрипции Bogdovitch и Bogdourwitchs), далее князя Кленерцова[38], которого он считает русским автором, Тредиаковского и Ломоносова. Говоря о лирике Ломоносова и Тредиаковского, Пажес, судящий об этих авторах по французским переводам, находит, что, несмотря на длинноты, на неровности стиля и отсутствие меры («des choses outrées»), встречаются подлинно изумительные места не только в одах Ломоносова, но даже и у Тредиаковского (стр. 325—326); в доказательство этой мысли Пажес приводит из книги Паппадопуло «великолепное», по его мнению, начало оды Тредиаковского «На взятие Гданска», являющееся, как известно, переводом «Ode sur la prise de Namur» Буало. Свои суждения о трагедиях Сумарокова Пажес прямо заимствует у Паппадопуло и Галле (стр. 325), и их попытка найти созвучный французской революционной литературе материал в творчестве русского драматурга не показалась Пажесу неубедительной и встретила в нем сочувствие[39].

Если изучение русской литературы французами в самой Франции не имело в эти годы особенно интенсивного характера, то гораздо более оживленной оказалась деятельность французских эмигрантов в России. Отрицательное отношение Екатерины к Французской революции сразу привлекло в Россию значительное количество эмигрантов[40]. Как на оплот контрреволюции, смотрели на Россию французские эмигранты, находившиеся и в других странах Европы. Активизация русской политики против революционной Франции при Павле, закончившаяся вступлением России в антифранцузскую коалицию, еще больше укрепила позиции эмигрантов. Безусловно, в связи с этим находится интерес, который постепенно пробуждается в эмигрантских кругах к русской литературе.

В 1797 г. в Гамбурге начал выходить издаваемый эмигрантом Ж.-Л.-А. де Бодю журнал «Le Spectateur du Nord». В помещенной в № 1 программе журнала сообщалось о предполагаемом помещении критического разбора недавно вышедшей русской повести «Юлия». В следующем номере, однако, вместо разбора этой повести Карамзина был помещен ее перевод, принадлежащий некоему де Булье (de Boulliers). Поясняя причины подобной замены, издатель в предисловии писал, между прочим: «Эта повесть покажет, что в стране, которую во Франции не отвыкли еще считать несколько варварской, имеются писатели, которые могут соперничать с Мармонтелями и Флорианами»[41]. Не лишне отметить, что по-русски повесть Карамзина появилась в 1796 г. и перевод был сделан немедленно после появления повести в оригинале. Вскоре после этого, по просьбе де Бодю, Карамзин прислал статью «Un mot sur la littérature russe», которая была помещена в октябрьской книжке «Le Spectateur du Nord» (стр. 53—72)[42]. В статье Карамзина дается общая характеристика устной словесности, сообщается, впервые вообще в печати, о находке «Слова о полку Игореве», затем следует суммарный обзор русской литературы послепетровского времени и все время проводится мысль, что, несмотря на высокий уровень рус-

ской литературы, она все же еще недостаточно прочна. Перечисляя причины этого явления, Карамзин, между прочим, отмечает, в соответствии со своей тогда еще полуоппозиционной точкой зрения, что «это происходит потому, что в стране, где чины составляют все, слава писателя имеет мало привлекательного». Указав, что в России *больше поэтов, нежели прозаиков*, Карамзин, согласно просьбе де Бодю[43], во второй части статьи излагает вкратце содержание «Писем русского путешественника».

Вскоре за переводом «Юлии» Карамзина последовали переводы «Марфы Посадницы» (1804—1805), выдержавшей три издания и вновь переведенной в 1818 г., «Бедной Лизы» (1803—1808) и ряда других его произведений[44]. Особенно большое значение имел перевод «Истории государства Российского», сделанный Сен-Тома и Жоффре

Н. М. КАРАМЗИН
Портрет маслом Дамона, 1805 г.
Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

(11 тт., 1819—1826). Перевод этот привлек во Франции серьезное внимание прессы и критики[45]. Почти одновременно появляются переводы из Озерова («Фингал», 1808), Дмитриева (1813), Крылова[46] и других писателей.

В 1823 г. выходит «Anthologie russe», P., 1823 (два издания) Эмиля Дюпре де Сен-Мора (Dupré de Saint-Maure, 1772—1854). Таких антологий французские эмигранты выпустили в разных странах изрядное количество, но как ни слабы они вообще, антология Дюпре де Сен-Мора должна быть отнесена к наиболее слабым. Прожив в России довольно короткое время, не владея вовсе русским языком, а пользуясь сообщенными ему дословными переводами, сделанными, повидимому, некоторыми из «переведенных» им авторов, Дюпре де Сен-Мор счел, однако, возможным полагать, что его антология «сможет,—как он говорит в посвящении книги Александру I,—дать во Франции представление о некоторых достойных примечания произведениях поэтов, которые делают честь России»[47]. В «Антологии» даны переводы из Дмитриева, Батюшкова,

В. Л. Пушкина, А. С. Пушкина (из «Руслана и Людмилы»—Руслан у Финна), Озерова, Жуковского, Гнедича, гр. Хвостова, Хемницера, Кантемира, Воейкова, Державина, Д. Давыдова, Боброва, Хераскова и Крылова. В начале книги имеется введение, а переводам отдельных поэтов предпосланы биографические и критические заметки. Как введение, так и вводные заметки составлены были Дюпре де Сен-Мором на основании переданного ему известным впоследствии лексикографом Рейфом перевода «Опыта краткой истории русской литературы» Н. И. Греча, подготовленного Рейфом для печати (1822) и оставшегося неопубликованным.

Посредственная во всех отношениях книга Дюпре де Сен-Мора, тем не менее, вызвала к себе во Франции внимание, но в суждениях о ней отразились отголоски старых событий 1812—1815 гг. В «Journal de Paris» от 2 января 1824 г. появилась на нее рецензия за подписью «B. L.», за которой скрывался поэт-академик Баур-Лормиан. Тон рецензии был явно недружелюбным в отношении России. «Вот автор, который хочет заставить нас полюбить русских. Мы же знаем их только по их многочисленным батальонам». По мнению рецензента, составитель «Антологии» имеет намерение «убедить своих многочисленных соотечественников, что на берегах Невы есть другой Аполлон».

Рецензия Баур-Лормиана вызвала ответную статью, вышедшую отдельной брошюрой: «Quelques pages sur l'Anthologie russe pour servir de réponse à une critique de cet ouvrage insérée dans le Journal de Paris», P., 1824. Автор ее, Я. Н. Толстой[48], отвечая Баур-Лормиану, указал, что русская литература уже не совсем неизвестная французам вещь, что в журнале «Revue Encyclopédique» ежемесячно помещаются обзоры новинок русской словесности, что не так давно (в 1822 г.) появился даже целый сборник переводов басен Крылова, сделанный невшательцем Рейфом[49], и т. д. Центром полемики было толкование Баур-Лормианом басни Крылова «Сочинитель и Разбойник»[50], в которой французский рецензент совершенно правильно увидел выпад против Вольтера. Толстой категорически отрицал это, выдвигая наивное доказательство, что басня, написанная по-русски, для русских читателей, не станет заниматься чужеземцем, а обращена, повидимому, против какого-либо русского философа. Сама брошюра Я. Н. Толстого не представляет существенного интереса, однако, в ней обращает внимание указание на особую позицию «Revue Encyclopédique» в отношении русской литературы. Действительно, роль этого журнала в истории знакомства Франции с русской литературой заслуживает специального упоминания.

Журнал «Revue Encyclopédique» возник в 1819 г. и просуществовал до 1833 г. Издававшийся сперва под редакцией М.-А. Жюльена де Пари (Marc-Antoine Jullien de Paris, 1775—1848)[51], а затем Пьера Леру (Pierre Leroux, 1798—1871), журнал этот, в особенности до 1830 г., обращал большое внимание на культурную и специально литературную хронику как Франции, так и заграницы. Уже в первом томе имелись сведения по истории просвещения в России, а в последующих, в особенности с шестого тома (с конца 1820 г.), здесь стали регулярно появляться статьи, рецензии и хроника о русской литературе. Главным вкладчиком материала в этот отдел был Э. Эро (Edme-Ioachim Héreau, 1791—1836), проживший долгое время в России и очень основательно изучивший русский язык и литературу. Им была написана статья о «Слове о полку Игореве» («R. E.», т. XL, pp. 140 suiv., 709 suiv.) и даны подробные анализы «Anthologie russe», статьи Vidal о русской литературе, помещенной в журнале «Spectateur Marseillais» за 1823 г. (t. VI, p. 147) и т. д.[52]. Другими сотрудниками «Revue Encyclopédique» по русскому отделу были известный русский библиограф С. Д. Полторацкий, пропагандировавший тогдашнюю современную русскую литературу, в частности, произведения Пушкина, и Я. Н. Толстой. Опубликованное в настоящем издании (т. II, стр. 94—98) неизвестное

до сего времени письмо П. А. Вяземского к М.-А. Жюльену вскрывает факт сотрудничества в журнале в 1824—1825 гг. также и Вяземского.

Благодаря систематическому и регулярному освещению новинок русской литературы, читатели «Revue» имели возможность создать себе более или менее точное представление о состоянии русской литературы в 20-е годы, о выдающихся явлениях и главных деятелях ее. Но, повидимому, круг читателей «Revue Encyclopédique» был во Франции не особенно значителен, и обилие материалов о русской литературе не могло повлиять на общее отношение французских читателей к русской литературе[53]. Не следует, конечно, упускать из виду, что в глазах радикальной мелкой буржуазии и даже либеральной части французской буржуазии Россия, способствовавшая реставрации Бурбонов, поддерживавшая легитимизм и стоявшая во главе реакционного Священного союза,—эта феодально-аристократическая Россия была объектом нескрываемой вражды, распространявшейся, конечно, и на русскую литературу.

Почти одновременно с выходом брошюры Я. Н. Толстого в журнале «Mercure du XIX[e] siècle» за 1824 г. (t. VI, livr. 77, pp. 505 suiv.) была помещена статья, озаглавленная «Quelques notes d'un russe présentement à Paris sur l'Anthologie russe de Dupré de Saint-Maure».

Статья эта, подписанная инициалами L. N., была опубликована с целью обнаружить тенденциозность Дюпре де Сен-Мора как в отношении отбора русских авторов, так и их характеристик. Рецензент подчеркивает, что «г. Дюпре де Сен-Мор, не зная русского языка, перекладывал в стихи только то, что ему переводили прежде во французскую прозу; и также все им сказанное в жизнеописаниях наших писателей есть только отголосок посторонних внушений»[54]. В основном, статья L. N. состоит из двух частей: из коррективов в историческом плане и из указаний на пропуски в современной литературе. И самый перечень авторов, отмечаемых в качестве незаслуженно обойденных, чрезвычайно характерен,—это все почти члены шишковского кружка, это, главным образом, писатели, группировавшиеся вокруг кн. Шаховского. В этой последней части своей статьи L. N. говорит о Пушкине, Вяземском, Бестужеве, но обо всех этих авторах отзывается неодобрительно. Вообще рецензия имела неприкрыто партийный характер и именно в таком духе была воспринята группой так называемых «романтиков», во главе с Вяземским; на нее последовал ответ, вызвавший, в свою очередь, ответы, но рассмотрение возникшей полемики выходит за пределы настоящей статьи. Достаточно, однако, указать, что в настоящее время установлено, что за инициалами L. N. скрывался писатель Н. И. Бахтин (1796—1869), большой почитатель П. А. Катенина и член кружка кн. Шаховского[55].

Но с Н. И. Бахтиным связано еще одно звено во французских изучениях русской литературы. В 1826 г. в Париже вышла книга, озаглавленная «Introduction à l'Atlas ethnographique du globe, ou classification des peuples anciens et modernes d'après leur langue». Автором этой книги был венецианец Адриан Бальби (1782—1848), преподаватель географии, физики и математики в разных учебных заведениях. По словам А. И. Тургенева, «он—большой шарлатан, пишет о том, чего сам не знает»[56], но это не помешало ему дать в своем «Введении» («Introduction») интересные материалы о русском языке и литературе. Сведения эти были ему сообщены покинувшим Париж в 1825 г. (p. 321) «молодым русским литератором, оказывающим нам,—как говорит Бальби (p. 192),—честь своей дружбой; он изъездил почти всю Европейскую Россию и западную часть Азиатской, и с глубоким знанием своего национального языка как древнего, так и современного, равно как и литературы, он соединяет то преимущество, что, побывав во всех этих местах, может самостоятельно судить о различиях, представляемых главными наречиями русского языка, которые он слышал в Тобольске, Харькове, Москве, Петербурге и т. д., и т. д.».

Anthologie russe,

SUIVIE DE

POÉSIES ORIGINALES,

DÉDIÉES

A S. M. L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES;

Par P. J. Emile Dupré de Saint-Maure.

AVEC SIX DESSINS LITHOGRAPHIES.

PARIS,

CHEZ C. J. TROUVÉ, IMPRIMEUR-LIBRAIRE, RUE NEUVE-St.-AUGUSTIN, No 17.

„АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ ПОЭЗИИ“, СОСТАВЛЕННАЯ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ ДЮПРЕ ДЕ СЕН-МОРОМ

Титульный лист первого издания, 1823 г.

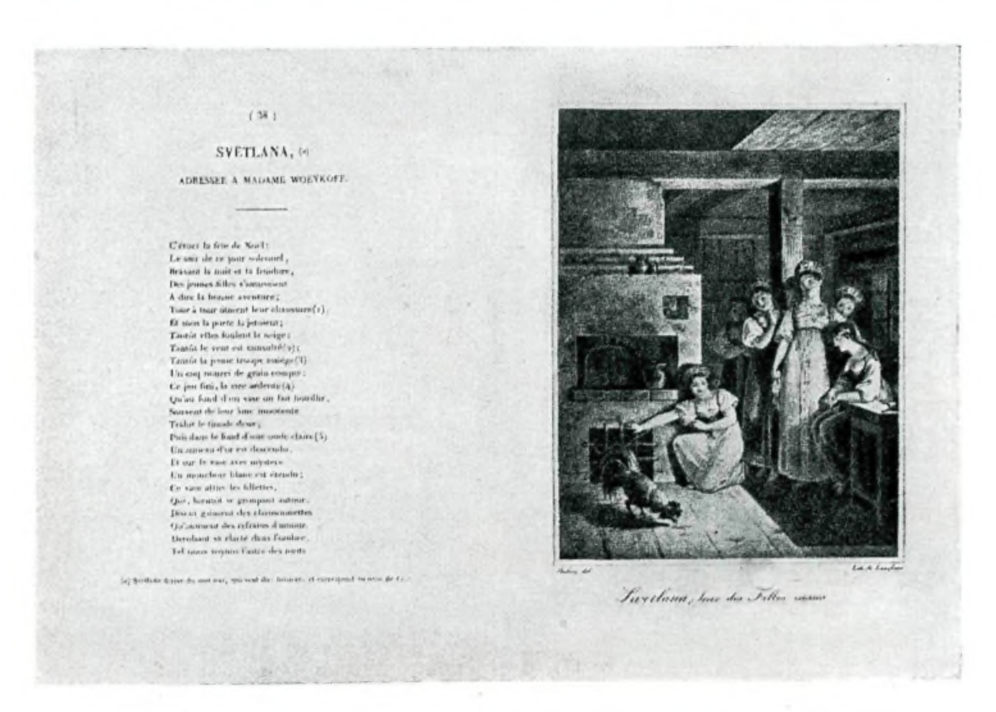
Самая статья о русской литературе («Coup d'œil sur la littérature russe») представляет интересное изложение хода развития русской словесности с точки зрения кружка кн. Шаховского. Этим и объясняется сдержанность отзывов о Карамзине, Жуковском и даже Пушкине, о «Кавказском пленнике» которого говорится, что «отсутствие плана и цельности («d'ensemble»), а в особенности, однообразие чувств («la monotonie des sentiments»), а также повторение нескольких излюбленных выражений—таковы недостатки этой поэмы». «Нам прискорбно,—продолжает автор,—делать ему эти упреки именно здесь, но, к несчастью, нас обязывают к этому его подражатели». Признавая, далее, лучшим произведением Пушкина «Руслана и Людмилу», автор статьи и здесь находит повод уколоть поэта: «В этом случае руководителем Пушкина был несчастный пример («le malheureux exemple») одного прославленного писателя, пример, который, подобно фонарю, отвращал его от опасностей, которых ему следовало избегнуть. Можно пожалеть, что Пушкин не привязался более основательно к этому истинно национальному жанру и не снискал себе имени русского Ариоста» (стр. 353).

Более подробно сведения даны, конечно, о кружке кн. Шаховского. Последнему отведено довольно значительное место в тексте статьи, а вместе с тем, достаточно обстоятельно говорится и о членах его группы. Между прочим, сообщается, что «совсем недавно Грибоедов сочинил оригинальную комедию, которая еще не была представлена. Нам о ней ничего не известно» («nous n'en avons aucune idée») (стр. 354, 355). Это, повидимому, самое раннее упоминание о «Горе от ума» в западной литературе. В конце статьи автор признает субъективный характер своих оценок и принимает ответственность за них на себя.

Появление «Атласа» Бальби не прошло незамеченным. «Bibliothèque Universelle», распространенный во всей Европе швейцарский журнал, перепечатал статью о русской литературе; затем она была переведена на русский язык и помещена

в «Сыне Отечества» за 1828 г. В одной из рецензий на «Атлас», помещенной в «Московском Телеграфе» за 1827 г. (№№ 17 и 18) и принадлежащей Н. А. Полевому, устанавливалась идентичность автора «Coup d'œil sur la littérature russe» с L. N. Действительно, как явствует из работы А. А. Чебышева, опубликовавшего письма Катенина к Бахтину[57], статья в «Атласе» Бальби принадлежала также Бахтину. Распространенность книги Бальби создавала условия, при которых литературные воззрения Бахтина получали возможность широкого обращения в среде французских и, более того, европейских читателей.

К этому же времени относится попытка В. К. Кюхельбекера познакомить французское общество со славянским языком и литературой. Находясь в 1821 г. в Париже, Кюхельбекер прочел в Athénée Royal несколько публичных лекций. Хотя самый текст чтений до нас не дошел, однако, известно содержание последней лекции, в которой Кюхельбекер говорил о влиянии вольного города Новгорода и его веча на древнюю русскую литературу. Русское посольство узнало об этом и приказало Кюхельбекеру прекратить курс и вернуться в Россию[58]. Современники сохранили сравнительно незначительные сведения об этом эпизоде. Так, Александр Тургенев сообщает кн. П. А. Вяземскому о том, что ему удалось прочесть лекцию Кюхельбекера, и добавляет: «Это любопытно!» («C'est curieux!»)[59]. Другой современник, П. Ф. Гаккель, утверждал (с чужих слов), что в своих парижских лекциях Кюхельбекер говорил «с энтузиазмом о свободе и о духе революции, которые он пытался вызвать у французов»[60]. Вместе с тем, отмечалось, что «по новизне предмета, при искусстве чтеца, лекции эти возбудили живейший интерес в публике»[61]. К сожалению, в доступных нам французских источниках (например, «Revue Encyclopédique» за 1821 г.) не удалось обнаружить каких бы то ни было отголосков этой попытки Кюхельбекера установить контакт с французской общественностью при помощи литературных чтений. Но едва ли можно сомневаться, что более на-


(38)

SVETLANA, (a)

ADRESSÉE A MADAME WOEYKOFF.

[illegible]

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „СВЕТЛАНЕ" ЖУКОВСКОГО В „АНТОЛОГИИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ" ДЮПРЕ ДЕ СЕН-МОРА

Литография Ланглюме с рисунка Ш. Обри, 1823 г.

стойчивые и систематичные поиски, например, по линии отчетов о деятельности Athénée Royal, должны увенчаться успехом. Повидимому, задачу эту смогут выполнить французские литературоведы, располагающие бо̀льшими возможностями в отношении обследования французской прессы начала 20-х годов прошлого века.

Обращаясь снова к нашей теме, следует отметить, что гораздо больше повлияла на отношение французов к русской литературе книга воспоминаний M-me de Staël, Dix années d'exil, P., 1821, где в последних письмах, посвященных России, мельком говорится и о русской литературе. Суждения г-жи Сталь заслуживают внимания[62].

«Так как русские вообще мало образованы,—пишет г-жа Сталь,—они находят мало удовольствия в сериозных беседах и вовсе не ставят задачей своего самолюбия блистать в них остроумием («briller par l'esprit»). Поэзия, красноречие, литература еще совсем не встречаются в России; роскошь, могущество и отвага—вот главные для них объекты гордости и честолюбия; все прочие способы отличиться кажутся этой нации слишком изнеженными и пустыми» (стр. 275).

После этой общей характеристики г-жа Сталь переходит к констатированию других важных моментов: «Третье сословие не существует в России; это—громадное затруднение для развития литературы и искусств в России, так как обычно просвещение развивается именно в этом третьем классе» (стр. 276). Отмечая, далее, тяготение и близость русской культуры к византийско-греческой, г-жа Сталь указывает на необходимость того, чтобы русские писатели искали источник поэзии в том, что имеется наиболее сокровенного в глубине их души. «Произведения их до настоящего времени написаны принужденно и поверхностно («du bout des lèvres»), и никогда пылкую («véhémente») нацию не смогут растрогать такие хилые созвучия» (стр. 291).

Давая в другом месте характеристику высшего петербургского общества, г-жа Сталь пишет: «Несколько русских дворян пробовали блистать в литературе и обнаружили в этой области талант. Но просвещение недостаточно распространено, чтобы там могло сложиться общественное суждение, основанное на отдельных мнениях. Характер русских слишком страстен, чтобы любить мало-мальски отвлеченную мысль,—их занимают только факты: у них не было еще ни времени, ни склонности, чтобы свести факты к общим идеям. А затем всякая значительная мысль всегда более или менее опасна вблизи двора, где все наблюдают друг за другом и всего чаще даже питают зависть» (стр. 308)[63].

Путешественница отмечает и то, что «обе столицы не умеют еще снабжать провинцию своими достижениями в области литературы и искусства» (стр. 340). Впрочем, г-жа Сталь полагает, что «гений придет к ним в искусствах и, в особенности, в литературе, когда они найдут средство проявить свое подлинное естество в языке, как они проявляют его в своих поступках» (стр. 341).

Эти страницы воспоминаний г-жи Сталь сыграли, несомненно, свою роль в истории изучения, вернее неизучения, французами русской литературы в течение 20-х, 30-х и даже 40-х годов XIX в.

Не нужно, однако, думать, что в указанные годы вовсе прекращаются подобные изучения. Количественно они, может быть, даже возрастают, но бо̀льшую часть их составляют либо переводы, либо довольно бедные фактами компиляции по русским материалам. Так, кроме отмеченных выше переводов из Карамзина, Озерова, Крылова, Дмитриева и других авторов, в 20-е годы появляются переводы Жана-Мари Шопена (Jean-Marie Chopin)[64] из Пушкина, Державина и др.; Эген де Герля (J.-N.-M. Héguin de Guerle)[65]; Ферри де Пиньи и Ж. Акена (Ferry de Pigny et J. Haquin), Les conteurs russes, 1833, 2 vols., Поля де Жюльвекура (Paul de Julvécourt), С. Д. Полторацкого, кн. Николая и Эммануила Голицыных, кн. Элима Мещерского и ряда других лиц[66]. Кроме того, появляется

САД АМУРА. ТАНЕЦ

Миниатюра французской работы начала XVI в. из рукописи „Роман Розы“

Эрмитаж, Ленинград

ряд компилятивных обзоров русской литературы. Так, в книге П. Эннекена (P. Hennequin, Cours de littérature ancienne et moderne, Moscou, 1821—1822, 4 vols.) среди прочих авторов даны и русские; приводятся краткие биографические и библиографические сведения, иногда цитируются стихотворные, большею же частью прозаические переводы из произведений русских писателей, сопровожденные беглыми критическими замечаниями. Ничего существенного или даже просто нового эти заметки не вносят; следует только отметить, что в IV томе (стр. 19 и 130) сообщается наиболее, повидимому, раннее в работе историко-литературного характера сведение об А. С. Пушкине[67].

Следует отметить также книгу J.-H. Schnitzler, Essai d'une statistique générale de l'empire Russe, accompagnée d'aperçus historiques, Strasbourg, 1829. В главе VI этой книги «Peuple Russe en lui-même» разделы II и III посвящены истории русского языка и русской литературы («La langue russe», pp. 172—180, «Littérature russe», pp. 180—195). Свой обзор русской литературы автор начинает с X—XI вв. и кончает современными ему писателями: Карамзиным, Жуковским, Батюшковым, Пушкиным и др., отдавая предпочтение перед всеми Карамзину. Обзор снабжен библиографическими указаниями литературы по вопросу на французском и немецком языках. В главе IV той же книги «Civilisation et instruction», в разделе VI «Développement de lumière au moyen de la presse», pp. 106—109, даются сведения о русской периодике[68].

Известны еще и другие аналогичные издания, носящие компилятивный характер и потому не представляющие интереса.

Гораздо важнее отметить то, что, в связи с национально-освободительными движениями в буржуазии отдельных славянских народностей, в течение 30-х годов постепенно возникает во Франции интерес к славянству, причем этот интерес имеет неприкрыто политический характер. Славянство Австро-Венгрии, старинного врага Франции, и Польша, противостоявшая России,—вот силы, которые французская политика эпохи Июльской монархии хотела сделать своими союзниками, но были попытки примириться и с Россией. Одним из опытов именно этой политики явилась книга Ф.-Г. Эйхгофа (1799—1875): F. G. Eichhoff, Histoire de la langue et de la littérature des Slaves, Russes, Serbes, Bohêmes, Polonais et Lettons, P., 1839. Общую оценку этой книги сохранила переписка Маркса и Энгельса. В своих занятиях славянским вопросом и так называемым «панславизмом», под которым в то время понималась агрессивная, реакционная политика Николая I, прикрывавшаяся лозунгом защиты угнетенного славянства в Западной и Южной Европе, Маркс обратился к работе Эйхгофа, которую аттестовал, как «весьма жалкую книгу... большей частью плагиат из Шафарика». В ответном письме Энгельс писал, что «Эйхгоф и раньше был известен как филологический шарлатан, перешарлатанивший даже Клапрота (который все же кое-что знал)»[69].

Оценка, данная Марксом и Энгельсом, вполне заслужена книгой Эйхгофа. В ней масса фактических ошибок, невероятной небрежности, множество повторений одних и тех же фактов. По своим установкам книга Эйхгофа может быть охарактеризована, как руссофильская. «Господствующая тенденция нынешнего царствования [в России],—пишет Эйхгоф,—коего мудрую попечительность нельзя не признать, очевидно, состоит, прежде всего, в национализации России и в освобождении ее от рабской подражательности нравам и обычаям других народов» (стр. 206). Истории русской литературы вместе со славянской («esclavonne») отведены в третьей части книги гл. I (стр. 176—186) и гл. II (стр. 187—207). Величайшим русским поэтом автор считает Державина «из-за великолепия его мыслей, которые часто поднимают его до уровня прекрасных гениев древности» (стр. 198). Пушкин, по словам Эйхгофа, «сумел наложить на все свои произведения печать русской национальности. Сила и живость

его мыслей («conceptions»), чистота и гармония его стиля доставили ему господствующее место над всеми его современниками» (стр. 203—204). Наконец, в числе «выдающихся авторов песен» («chansonniers distingués») Эйхгоф называет Дельвига и Розена, очевидно, барона Е. Розена («Ай-Булат») (стр. 204).

Впрочем, несмотря на все свои очевидные промахи, книга Эйхгофа представляет известный интерес: по ней Маркс познакомился со «Словом о полку Игореве», которому посвящено несколько страниц, а в приложении дан перевод texte en regard (стр. 264—267, 296—319, 349—355, прим.)[70].

Еще более «руссофильский», реакционно-монархический характер имела книга Поля де Жюльвекура (Paul de Julvécourt): «La Balalayka», P., 1837, в которой автор, захлебываясь от восторга, превозносит Николая I[71].

Не останавливаясь на других фактах историко-литературных изучений русской литературы на французском языке в эту эпоху, должно сказать, что все они представляли либо политически обусловленные работы дилетантов из русской знати, либо продукцию реакционных групп французской интеллигенции, ориентировавшихся на Россию, представлявшуюся в те годы европейскому общественному мнению воплощением и источником мировой реакции. В новую фазу вступает изучение русской литературы во Франции с начала 40-х годов XIX в., когда в Collège de France учреждается кафедра «славянского языка и литературы».

II

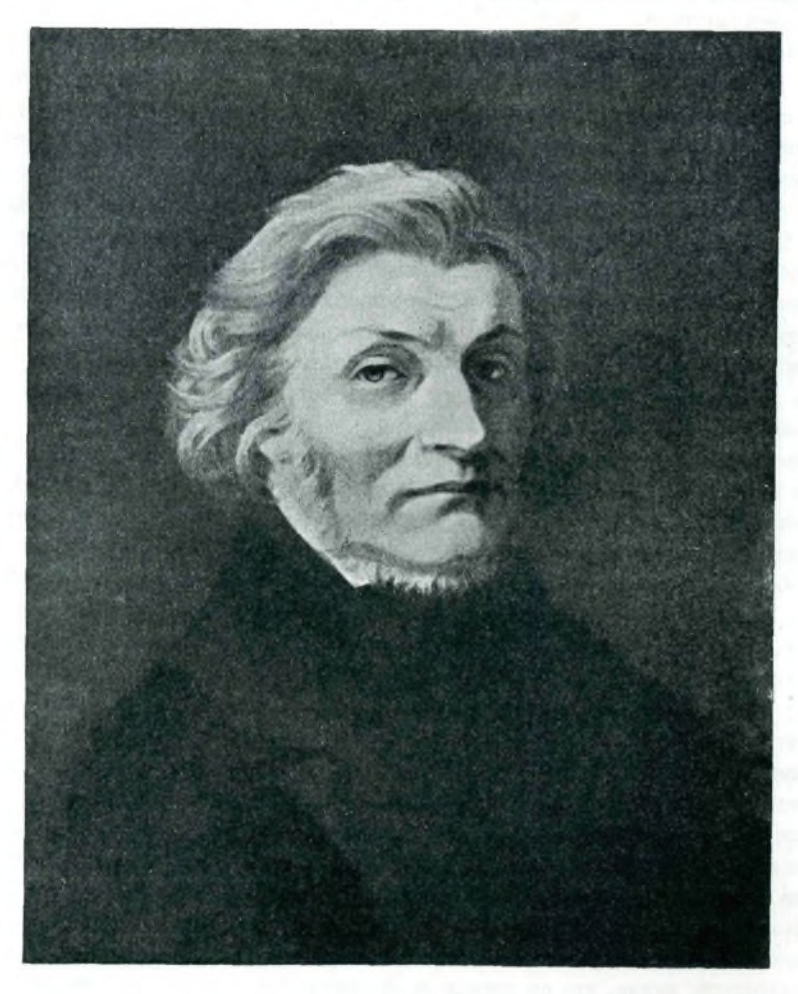
В то время как реакционные группы французской аристократии и крупной буржуазии ориентировались в 30-х годах на Россию, в мелкобуржуазных демократических кругах как во Франции, так и во всей Западной Европе на Николая I и на Россию смотрели, как на оплот контрреволюции, как на «жандарма европейской свободы». Ненависть Николая I к Июльской революции и к «королю баррикад», Луи-Филиппу, попытки России к воссозданию Священного союза,—все это способствовало усилению антирусских настроений в тогдашней Франции и вместе с отмеченной выше ее «славянофильской» политикой создало почву, на которой оказалось возможным учреждение кафедры славянской литературы в Collège de France.

История возникновения этой кафедры дважды рассказана была известным французским славистом Луи Леже (Louis Léger): сперва во вступительной лекции в том же Collège de France в 1885 г., изданной сначала отдельно под заглавием «Le monde Slave au XIX^{e} siècle» и вошедшей потом в книгу «Nouvelles études slaves», P., 1886, а затем в статье «La chaire des littératures slaves au Collège de France» в книге «Russes et Slaves», 2-e série, P., 1896, pp. 207—241[72].

После польского восстания 1831 г. и создания в Париже центра польской политической эмиграции, в демократических кругах Франции стали видеть в восстановлении польской государственности важный фактор усиления революционного движения в Европе и ослабления самодержавной России. Именно из этих целей была создана кафедра славянского языка и литературы в Collège de France, которую занял польский поэт Адам Мицкевич.

Министр народного просвещения, философ Виктор Кузен, приглашая Мицкевича занять кафедру, написал ему в Лозанну достаточно двусмысленное письмо, в котором между строк давал понять, чего от кафедры ждут: «Уже одно ваше присутствие в Париже будет само по себе событием крупного политического характера. Но я не должен думать и не думаю ни о чем другом, кроме науки и литературы. Я имею в виду только литературу и ничего более. Я говорю с вами, как благородный человек с благородным человеком. Поляки составляют в Париже группу, справедливо возбуждающую великодушные симпатии молодежи. Эти симпатии, есте-

ственно, коснутся и вас; но я живейшим образом желаю, чтобы тон вашего преподавания, в подтверждение ваших высоких достоинств, поддерживал в учреждении новой кафедры исключительно свойственный ей литературный характер. Льщу себя надеждой, что вы меня понимаете и примете благосклонно высказанные мною сомнения: они продиктованы моими обязанностями». То, чего «по своим обязанностям», т. е. по своему официальному положению, не мог сказать Кузен прямо, он передал Мицкевичу через Леона Фоше, который на следующий же день после вышеприве-



АДАМ МИЦКЕВИЧ

Портрет маслом Софии Шимановской. Авторская копия 1858 г. с портрета, писанного в Париже в 1840-х гг.

Исторический музей, Москва

денного письма Кузена писал Мицкевичу: «Кафедра, на которую вас приглашают, имеет политический характер: хотят создать для польской нации центр, хотя бы литературный»[73].

Но, создавая эту кафедру, совершая акт, направленный, по существу, против России, либеральное министерство опасалось неприятных последствий. Поэтому в проекте, внесенном в Палату депутатов, из литератур славянских народов особенно много места уделено было русской литературе и вообще сделано несколько «реверансов» в сторону России.

Чтение лекций Мицкевичем, начавшееся в декабре 1840 г., продлилось до октября 1844 г., когда профессор-поэт был уволен, сперва в месячный отпуск, а затем и совсем в отставку. Причиной этому послужило не то, что он ввел в свои лекции элемент политики, а то, что самая политическая линия Мицкевича—мистический культ Наполеона—была чрезвычайно неприятна тогдашнему французскому правительству. Подробный анализ общеславянского курса лекций Мицкевича не входит в план настоящей работы; здесь придется бегло остановиться только на разделах, касавшихся русской литературы[74].

В предисловии к немецкому изданию своих лекций (1845) Мицкевич писал, что «принял должность профессора в Париже, рассматривая ее, как долг слуги польского и славянского дела, дела Франции». В соответствии с этим находятся достаточно резкие и в мрачных тонах данные картины из русской истории и литературы.

С русской литературой Мицкевич, питомец Виленского университета, был достаточно хорошо знаком. Интересны его замечания о «Слове о полку Игореве» («Les Slaves», t. I, pp. 183—197), о Ломоносове, Тредиаковском, Кантемире (t. II, pp. 427—444), особенно любопытны страницы, посвященные Пушкину (t. III, pp. 284—296), где Мицкевич выступает, как очевидец и человек, близко знавший Пушкина.

Никакой общей концепции истории русской литературы у Мицкевича в курсе нет: это одни только отрывочные эскизы, лишенные цельности и законченности. Тем не менее, и этот материал давал известное освещение развитию русской литературы, отводя ей второстепенное место, за польской и сербской литературами.

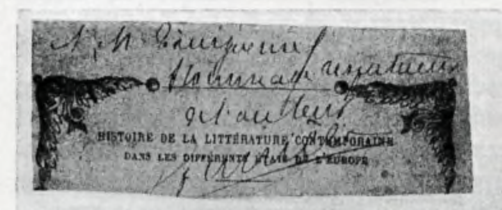
Подобную же установку усвоил преемник Мицкевича, Сиприен Робер (Cyprien Robert, 1807—1856). Об этом слависте сведений в литературе сохранилось очень мало. И. В. Ягич в «Истории славянской филологии» вовсе не упоминает о нем, как, впрочем, и об остальных французских славистах. В русской литературе о С. Робере сохранился пристрастный и несправедливый отзыв А. А. Котляревского[75]. Единственным источником остается первая из упомянутых раньше статей Л. Леже. По его словам, С. Робер был странным, эксцентричным, но основательно образованным славистом, впрочем, преимущественно в отношении балканского славянства; России он не знал почти вовсе, в ней не был и избегал о ней говорить. Этому утверждению Леже противоречат, однако, факты.

В очень интересной статье Робера, его вступительной лекции в Collège de France: «De l'enseignement des langues et des littératures slaves au Collège de France» («Revue des Deux Mondes», 1846, 15 janvier, и отдельно), сообщается, что он прожил десять лет среди славян, причем побывал и в Москве, и на юге России и лишь затем отправился на Балканский полуостров. Вообще же о России он не избегал говорить, касался и ее истории, и политического строя, и литературы, при изложении которой не делал сколько-нибудь грубых ошибок. По статьям его, в которых идет речь о русской литературе, видно, что он следил за ее движением и знал даже свежие литературные новости. При всем том он, конечно, был настроен не руссофильски. Отмечая, что существующие программы славянских кафедр либо руссофильские, либо полонофильские, он предупреждал, что его курс не будет ни тем, ни другим: «Единственным нашим путеводителем будут либеральное мнение («l'opinion libérale») и интересы Франции», и, чтобы избежать вмешательства во внутренние распри русских и поляков, он высказывал намерение главное внимание уделять южным славянам (отд. оттиск, стр. 7).

Задачу своего курса С. Робер понимал, как известную политическую проблему. В этом курсе заключается, по его словам, практическая цель, цель национальной пользы. Курс должен сцементировать связи между Францией и славянством Польши, Австрии, Иллирии. Для вящей аргументации своего тезиса Робер провел любопытную параллель: «В средние века во Флоренции была основана кафедра иллирий-

ского языка единственно потому, что соперница Флоренции, Венеция, владела Иллирийским краем и притесняла его жителей. Аналогичный мотив должен заставить Францию пропагандировать изучение славянских проблем. Замечательно, что повсюду—в Пруссии, Австрии, Венгрии—славяне сплошь франкофилы» (там же, стр. 5 и 6).

Свои общие взгляды Робер конкретизировал в ряде статей и, в особенности, в двухтомной книге «Le Monde Slave, son état présent et son avenir», P., 1852. России в этой последней книге посвящено сравнительно немного места; здесь дана не лишенная интереса характеристика «устоев русской культуры»: «le tsar, le tschin et le knout» (царь, чин и кнут) и «трех элементов русской нации»: «le pope, le moujik et le gost» (поп, мужик и гость, т. е. купец).



HISTOIRE
DE LA
LITTÉRATURE CONTEMPORAINE
CHEZ LES SLAVES

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE CONTEMPORAINE
DANS LES DIFFÉRENTS ÉTATS DE L'EUROPE

HISTOIRE
DE LA
LITTÉRATURE CONTEMPORAINE
CHEZ LES SLAVES
PAR
C. COURRIÈRE

PARIS
G. CHARPENTIER, ÉDITEUR
13, RUE DE GRENELLE-SAINT-GERMAIN, 13
1879
Tous droits réservés.

ЭКЗЕМПЛЯР КНИГИ К. КУРРЬЕРА „ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ“ С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА И. С. ТУРГЕНЕВУ, 1879 г.

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

Собственно русской литературе посвящены отдельные страницы в трех статьях Робера в «Revue des Deux Mondes» за 1852 и 1854 гг., но ничего вопиюще-безграмотного, по крайней мере, в отношении русской литературы, в этих статьях нет, они достаточно добросовестны и представляют несомненный интерес[76]. Следует заметить, что во время крымской войны, когда во Франции началась усиленная публикация антирусской литературы, Робер не проявил себя ничем некорректным.

Конец С. Робера неизвестен; на одну из лекций в 1856 г. он не явился и с той поры исчез совершенно.

Преемником Робера был назначен Александр Ходзько, польский поэт-эмигрант, ориенталист по специальности[77]. Из работ Ходзько к русской литературе имеют отношение следующие: (1) «Coup d'œil général sur la littérature russe depuis Pierre le Grand jusqu'à nos jours» («Revue des cours littéraires», 1865—1866, IIIe année,

№ 6, pp. 89—94); (2) «Le drame moderne en Russie, Ivan le Terrible» (там же, 1867—1868, V^e année, № 47, pp. 746—751, изложение Л. Леже); (3) «Les chants historiques de l'Ukraîne et les chansons des latyches des bords de la Dvina Occidentale», P., 1879; эта книга вышла, как параллель к известной работе Alfred Rambaud, La Russie épique, P., 1875; там же библиография отдельных изданий трудов Ходзько.

В первой работе Ходзько обнаруживает удивительную неосведомленность, незнание элементарных фактов русской истории и культуры. «Ломоносову,—говорит Ходзько,—покровительствовали четыре императрицы: Екатерина I, Анна, Елизавета и Екатерина II» (стр. 91). О деле Радищева он говорит: «Это было в то время, когда, после смерти своего августейшего супруга, Екатерина располагала всеми силами государства» (стр. 92). Основная мысль курса Ходзько сводилась к тому, что литература в России представляла постоянную оппозицию правительству. При проведении этой идеи лектор доходил до курьезов: «„Руслан и Людмила", повидимому, имела целью через противопоставление нарисовать картину счастья, которым могли бы пользоваться славянские народы, если бы им была предоставлена возможность свободно развиваться в духе их древних установлений» (стр. 93). Вывод Ходзько таков: «Русская литература уже доказала, что в ней содержится плодотворный зародыш дальнейшего развития. Несмотря на враждебные обстоятельства, которые трижды (при Екатерине, Николае I и Александре II) задерживали ее в ее поступательном движении, эта литература прогрессирует. Она должна сделать русский народ более гуманным» (стр. 95).

Более любопытна вторая статья его—о современной русской драме. Анализируя трагедию А. Толстого «Смерть Ивана Грозного», Ходзько указывает, что «в характере Грозного сочеталось подозрительное беспокойство Дионисия Сиракузского с детской жестокостью туранского тирана («d'un tyran touranien»), любящего зло ради зла и страдание ради страдания» (стр. 746). Это сравнение показывает, что Ходзько стоял на так называемой «туранской» точке зрения, отказывавшейся видеть в русских настоящих славян и считавшей их азиатскими выселенцами, туранцами, которых должно отбросить назад, в Азию. Выдвинутая в книге Henri Martin, La Russie et l'Europe, P., 1866, теория эта, уже своим эпиграфом—«Европа для европейцев»—обнаруживавшая политический характер, нашла широкое распространение в кругах польской эмиграции, и одним из адептов ее стал, как видно, и А. Ходзько.

Подробно разобрав пьесу Толстого, Ходзько заканчивает намеком на современность: «Читатель, знакомый с историей, видит уже вдали длинную вереницу катастроф, ожидающих Россию. Они являются продолжением и следствием тирании Ивана Грозного, и эта драма служит в одинаковой мере уроком для деспотических владык, как и для народов, позволяющих последним править собой» (стр. 751). В своей же первой статье Ходзько писал, что «после 1863 г. русское правительство начало преследования, которые можно сравнить только с теми, какие были предприняты Николаем I. В Русской Польше—еще более печально—я вижу одни лишь опрокинутые алтари, пустыню и лужи крови» (стр. 95).

Следует отметить, что Ходзько в значительной мере использовал для своих лекций материалы, а иногда и аргументацию А. И. Герцена в брошюре «Nouvelle phase de la littérature russe», Bruxelles, 1864[78].

Три первых преподавателя славянских литератур в Collège de France занимали как в отношении России, так и русской литературы достаточно отчетливую отрицательную позицию. Это вполне отвечало антирусской политике французского правительства.

Между тем, в других кругах, кругах более широких, интерес к русской литературе все возрастал. Появился ряд переводов из произведений русских классиков, при-

чем переводы эти принадлежали видным писателям. Так, ряд вещей Пушкина и Гоголя перевел Проспер Мериме[79], затем Ксавье Мармье[80], Луи Виардо (совместно с Тургеневым)[81], Александр Дюма-отец, «переводивший» с русского, не зная языка, и ряд более мелких переводчиков, из которых следует упомянуть маркиза Эжена де Порри (Eugène de Porry), Тардифа де Мелло[82], а также Анри Делаво (H. Delaveau)[83].

Особо следует отметить в истории взаимного литературного изучения России и Франции роль И. С. Тургенева. Хотя у него нет ни одной специальной работы в данном направлении, но, как литературный посредник между Францией и Россией, он сделал чрезвычайно много. Благодаря ему, появились во французских переводах произведения многих русских классических писателей, а также авторов, в то время еще современных, но впоследствии признанных классическими (Л. Толстой, Писемский, А. Толстой, Островский и др.). Впрочем, бо̀льшая часть деятельности И. С. Тургенева в данном направлении относится уже к последующему периоду, ко времени после франко-прусской войны и Парижской Коммуны.

III

Роль седанского разгрома и Парижской Коммуны, в особенности последней, в формировании реакционной идеологии буржуазии Третьей республики общеизвестна. Оба эти события были датами, после которых французская реакционная буржуазия начала искать опору против Германии и собственного пролетариата в России, которая хотя и не была уже к тому времени столь сильной, чтобы сохранять роль «европейского жандарма», но все же была наиболее реакционным и, вместе с тем, достаточно могущественным государством. Географическое положение России—в тылу у Германии и ее союзницы, Австрии,—делало ее для Франции чрезвычайно важным политическим партнером. В ближайшие десятилетия (80-е, а особенно 90-е годы) к этому присоединилось и другое, еще более важное обстоятельство: вложение огромных капиталов французскими предпринимателями и создание ими ряда крупнейших промышленных предприятий в России. Подробнее об этом будет упомянуто ниже, сейчас же достаточно указать, что именно в таких условиях—социальных, политических и экономических—стало развиваться изучение французами русской культуры и литературы в годы с 1871 по 1914.

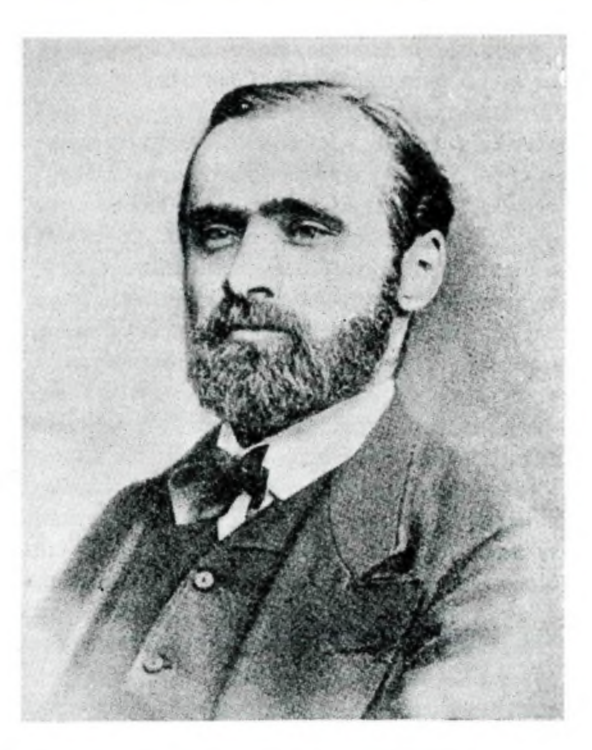
За это время появился ряд капитальных работ по истории России, принадлежащих таким французским авторам, как Анатоль Леруа-Больё, Альфред Рамбо, Леонс Пенго и др. Работы эти не представляли, как прежде, только компиляции из немецких и русских источников, а, наоборот, вносили свой новый материал, вводили в оборот науки ряд свежих фактов и, безусловно, являлись некоторым неотъемлемым звеном в развитии и русской буржуазной исторической науки.

Значительно меньше, на первых порах, была ощутима в эту эпоху деятельность французов в изучении истории русской литературы. Французы любят выдвигать вперед в данной области имя известного слависта, профессора Collège de France (с 1885 по 1923 гг.), Луи Леже (Louis Léger, 1844—1923). Но, будучи славистом в самом широком смысле слова, Леже в области специального изучения русской литературы не сделал ничего такого, что могло бы заставить признать его права на какую-либо особую известность. Несомненно, последующие французские исследователи—Вогюэ, а в особенности А. Мазон, А. Лирондель, Ж. Патуйе, Э. Дюшен—сделали гораздо больше Л. Леже, который был скорее популяризатором, чем самостоятельным исследователем. Нельзя, конечно, отрицать, что для ознакомления французского читателя и начинающего ученого с русской литературой Леже, как талантливый популяризатор и умелый педагог, сделал много.

В 1892 г. Леже выпустил большую антологию по русской литературе, в своих и чужих переводах, дав, в основном, удачный подбор образцов произведений русских писателей,—«La littérature russe», P., 1892 (2-е изд. 1905). Около того же времени вышла его не менее популярная «Histoire de la littérature russe». Bibliothèque Larousse, P., 1893 (2-е изд. 1908, 3-е изд. 1925?). Если прибавить к этому несколько ценных с фактической стороны страниц в «Souvenir d'un Slavophile». 1863—1897, P., 1904, а также популярно написанный очерк «Nicolas Gogol», P., 1914[84], и, наконец, сборник разновременно опубликованных и собранных вместе статей в «La Russie intellectuelle», P., 1914, то это, в соединении с рядом информационных статей более раннего периода, и представляет весь вклад Леже в историю французских изучений русской литературы. Ничего самостоятельного во всем этом нет, нет ничего такого, за чем пришлось бы русскому ученому обратиться к трудам Леже. Конечно, следует повторить: Леже было сделано очень много, но он слишком часто и даже в ущерб исторической истине сам утверждал, что начало изучения русской культуры и литературы во Франции нужно считать со времени выступления на научное поприще А. Леруа-Больё, его, Л. Леже, и А. Рамбо[85]. Факты, однако, показывают, что и до Леже во Франции занимались русской литературой и знали ее недурно (Эро, Робер). Между тем, французские авторы склонны слишком явно преувеличивать значение Леже. Так, Поль Буайе (Paul Boyer) считает, что можно без натяжки поставить подобный вопрос: «Когда по свободному выбору, обусловленному случайной встречей, он [Леже] отдался изучению славистики, занявшей потом всю его жизнь, кто во Франции или в другой стране («en France et ailleurs») имел точное представление о славянских народах, их географическом расселении, их языках, их чаяниях?». Буайе полагает возможным утверждать, что «универсальность его [Леже] любознательности и его производительности дает ему в истории славистики место в одном ряду с Ягичем и может быть лишь ниже Буслаева»[86].

Несомненно, Леже сделал очень много также и в деле осведомления русских ученых о состоянии французской исторической и филологической науки: с 1869 по 1917 гг. включительно почти из номера в номер печатались в «Журнале Министерства Народного Просвещения» его «Письма из Парижа», подписанные «Л. Л—р». Здесь регулярно сообщались данные не только общекультурного и научно-литературного порядка, но и материалы, касавшиеся специального вопроса—о развитии во Франции изучения русского языка и литературы. Эти письма имеют большую ценность, может быть, именно благодаря своей непритязательности и спешности писания: то, что в более строгих научных работах едва ли нашло бы место, здесь дается в откровенных формулировках. Так, например, в «Письме из Парижа», помещенном в декабрьской книжке «Журнала Министерства Народного Просвещения» за 1904 г., о причинах открытия второй (после Collège de France) кафедры русского языка и литературы в г. Лилле, Леже сообщает: «Лет 12 тому назад представители промышленности из Лилля настойчиво требовали открытия курсов русского языка для облегчения их сношений с Россией, и именно с Псковской губернией, в которой они закупают лен». Там же встречаются фразы, довольно определенно отдающие антисемитизмом. Говоря о русских эмигрантах, евреях из Литвы, Леже прибавляет: «Многие из них дают уроки русского языка, если не московского, то бердичевского»[87].

Одной из первых литературных работ Л. Леже была статья об изучении русского языка («Revue des cours littéraires», 1867—1868, V^{e} année, № 7, pp. 116—117). Она представляет интерес для характеристики позиции автора в данном вопросе. Уже самое заглавие статьи симптоматично: «Les langues d'utilité publique.—L'enseignement du russe». Указав на странный факт наличия в Париже двух кафедр турецкого языка и отсутствия хотя бы одной русской, Леже оговаривается, что, поскольку Collège de France творит науку и не должен вмешиваться в политику и коммерцию,



ЛУИ ЛЕЖЕ
С фотографии 1890-х гг.

постольку организация публичного обучения русскому языку, естественно, должна найти место на курсах при императорской библиотеке. Указав далее, что, ввиду отсутствия у Чехии и Польши международной самостоятельности, изучение их языков не имеет практического интереса, Леже обращает, вместе с тем, внимание на то, что, при наличии в Турции 8 миллионов славян и слабом знакомстве Франции с литературной продукцией славянства за последние тридцать лет, могло случиться так, что не сделано ничего, кроме перевода нескольких русских романов и сербских песен. «То, что эти романы и песни переведены,—заканчивает Леже,—очень хорошо, но не нужно забывать, что этим песням не сегодня-завтра могут начать аккомпанировать пушки».

Под знаком этой политической установки и развивалась в дальнейшем свыше чем полувековая научная и литературная деятельность Л. Леже в изучении славянства, в частности, и русской литературы.

Нельзя, конечно, забывать роли Леже, как преподавателя русской литературы и русского языка в Collège de France. Впрочем, как будто учеников-руссоведов (russisants) Леже после себя не оставил,—все новые научные силы шли, кажется, независимо от него, примыкая больше к движению, вызванному де Вогюэ.

Не будучи цеховым ученым по специальности, аристократ по происхождению и принципам, консерватор по убеждениям, дипломат по роду своей не особенно длительной служебной карьеры, виконт Эжен-Мельхиор де Вогюэ[88] сыграл исключительно большую роль в истории изучения русской литературы во Франции. И. Д. Гальперин-Каминский приводит в своей статье[89] чрезвычайно интересное письмо М. де Вогюэ, касающееся начала его критических и историко-литературных работ по русской литературе. Сообщив о первых шагах своей дипломатической службы в Константинополе и о своей личной неудовлетворенности тамошней жизнью, Вогюэ прибавляет: «Кроме того, и это было главное, я пережил все те жалкие унижения, которые испытал каждый, кто был представителем Франции за границей после 1870 г.,—унижения, прикрытые на Западе дипломатической вежливостью и резче

ощущаемые на Востоке, где с каждым человеком обращаются совершенно открыто, сообразно предполагаемой в нем силе. Чтобы прекратить эти унижения, нужна была поддержка, и достаточно было бросить взгляд на карту и задать себе вопрос о ближайшем будущем, чтобы увидать, где следует искать этой поддержки». Переведясь на службу во французское посольство в Петербурге, Вогюэ быстро овладел русским языком, женился на русской, ознакомился с новой русской литературой и, по совету графини С. А. Толстой, жены поэта Алексея Толстого, в ряде статей, помещавшихся в «Revue des Deux Mondes», стал знакомить французских читателей с русскими литературно-художественными ценностями. Затем эти статьи были выпущены отдельным изданием под заглавием «Le roman russe», P., 1886. Цель своей книги Вогюэ определил в предисловии следующим образом: «По соображениям литературным,— о них я скажу далее,—по мотивам другого порядка, о коих умолчу, так как каждый догадывается о них, я убежден в необходимости работать над сближением двух стран [России и Франции] при помощи взаимного влияния умственной, творческой деятельности в обеих странах» («des choses d'esprit», p. VII). Он считает, что русская литература, в лице своих романистов, опередила Запад вместо того, чтобы плестись за ним. Русский роман реалистичен, но «русские защищают дело реализма новыми и, на мой взгляд,—добавляет Вогюэ,—лучшими аргументами, нежели их западные соперники» (pp. XII, XIII). В дальнейшем выясняется, что «русский реализм» Вогюэ желал противопоставить буржуазному французскому натурализму и его философской основе, позитивизму, с одной стороны, и агностицизму—с другой. «Русский же реализм» Вогюэ понимал и принимал лишь в его буржуазно-дворянской формации; реализма революционно-демократической и народнической литературы он, как будто, и не заметил, во всяком случае, на нем в своей главной работе не останавливался; позднее Вогюэ даже выступал против переводов произведений народников, мотивируя свою позицию «художественной малоценностью» этих писателей.

Таким образом, работа Вогюэ была вызвана внешне- и внутриполитическими условиями жизни первых десятилетий Третьей республики. Она отвечала потребностям определенной, повидимому, консервативной, крупнобуржуазной части французского общества и в соответствующих кругах («Revue des Deux Mondes») снискала огромную популярность. Леже писал, что «Le roman russe» Вогюэ составил эпоху, как в свое время книга г-жи де Сталь «О Германии»[90]. Почти в тех же выражениях говорит об этом и А. Мазон: «По своему влиянию «Le roman russe» может быть с достаточным основанием сравнен с «Германией» г-жи де Сталь»[91].

Было бы неверно приписать успех книги Вогюэ исключительно внутренним французским политическим обстоятельствам. Несомненно, художественная ценность русской литературы сыграла при этом крупную роль, однако, одного этого факта самого по себе было бы недостаточно. И именно то, что политические интересы Франции заставили ее искать сближения и союза с Россией, той самой страной «казаков», варварства и дикости, какой она изображалась во французской прессе десятки лет,— именно это обстоятельство заставило французских литераторов и ученых найти в высоком уровне русской литературы и искусства[92] веский аргумент в пользу политического союза с Россией.

В течение этого периода (1870—1914) начинается усиленная переводческая деятельность как французов, так и русских политических эмигрантов, благодаря которым русская литература—в ее наиболее крупных явлениях—сделалась доступной французскому читателю. Таковы: Виктор Дерели (переводчик Достоевского и Писемского), Э. Дюран-Гревиль (Тургенев, Островский), А. Легрель («Горе от ума», «Гроза» и др.)[93], И. Д. Гальперин-Каминский (Л. Толстой, Тургенев и др.)[94], И. Я. Павловский, Е. Семенов, Мишель Делинь (М. Ашкинази), М. Нейруд и др.

Вместе с тем, надо отметить тот своеобразный факт, что русская литература подавалась, как некая экзотика, знакомящая с загадочной для европейца «русской душой». Не случайно, что именно так озаглавленная книга Леона Гольшмана и Э. Жобера, L'âme russe. Contes choisis de Pouchkine, Gogol, Tourguéniev, Dostoïevsky, Garchine, Léon Tolstoï», P., 1896, выдержала подряд несколько изданий.

Появляются и общие обзоры истории русской литературы, напр., К. Курьерр, Histoire de la littérature contemporaine en Russie, P., 1875. Политическая установка Курьерра, французского журналиста в Петербурге, отчетливо выражена в следующих словах: «Мне нет необходимости доказывать здесь интерес, который представляет для нас в настоящее время сближение с Россией. Этот интерес очевиден из последних событий, давших России значительный перевес в Европе. Немцы, предупредившие нас, имеют в Петербурге ежемесячник и две газеты» (стр. 431). Задача французской колонии в России состоит в том, чтобы создать тут периодическую печать на французском языке и пропагандировать сближение.

Аналогично, однако, с меньшей осведомленностью написана книга Leon Sichler, Histoire de la littérature russe depuis les origines jusqu'à nos jours, P., 1886[95]. Около этого же времени выходит книга E. Hins, La Russie dévoilée au moyen de sa littérature populaire, P., 1883.

Наряду с такими обобщающими книгами, следует упомянуть и ряд сборников критических статей по русской литературе: Ernest Dupuy, Grands maîtres de la littérature russe, P., 1885[96]; Ernest Combes, Profiles et types de la littérature russe, P., 1896. В 1890—1900 гг. довольно часто касался русских тем Теодор де Визева (Théodor de Wyzéwa—Т. Вызевский), печатавший статьи по русской литературе в «Revue des Deux Mondes» и в своих сборниках статей, а также переводивший с русского[97]. Выдвигается переводчица и критик M-me Венсан (Vincens), писавшая под псевдонимом Арвед Барин[98].

Постепенно русская литература делается предметом широкого внимания француз-

LA

LITTÉRATURE RUSSE

NOTICES ET EXTRAITS

DES PRINCIPAUX AUTEURS

DEPUIS LES ORIGINES JUSQU'A NOS JOURS

PAR

Louis LEGER

Professeur au Collège de France.

PARIS

ARMAND COLIN ET C^ie, ÉDITEURS

5, RUE DE MÉZIÈRES, 5

Tous droits réservés.

АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ЛУИ ЛЕЖЕ

Титульный лист первого издания, 1892 г.

ских читателей. О русской литературе (по французским переводам) пишут Брюнетьер (о «Что делать?» Чернышевского в «Revue des Deux Mondes», 1876, от 15 октября), Сарсе, Барбе д'Орвильи, Поль Бурже, Катюль Мандес, Эд. Род[99], Ги де Мопассан (предисловие к избранным произведениям В. М. Гаршина), Р. Думик и др. Особенным успехом пользуются произведения Тургенева, Достоевского и Л. Толстого. Свои статьи об этих авторах Эмиль Эннекен (Hennequin) включает в книгу, которую озаглавливает «Ecrivains francisés» («Офранцузившиеся писатели»), P., 1889[100].

Тургенев считался первым русским писателем, обратившим внимание европейского, в особенности, французского, читателя на русскую литературу. Успех произведений самого Тургенева во Франции был вначале связан с событиями крымской войны. Именно в апреле 1854 г. появился перевод «Записок охотника», сделанный Шарьером (E. Charrière) под политически заостренным заглавием «Mémoires d'un seigneur russe ou Tableaux de la situation actuelle des nobles et des paysans dans les provinces russes»[101]. Одновременно большим успехом пользовались «Scènes de la vie russe», переведенные К. Мармье и авторизованные Тургеневым; этот сборник, содержащий шесть повестей Тургенева, вышел в 1858 г. и до 1919 г. выдержал девять изданий. Вскоре после этого появились переводы тургеневских романов—«Une nichée de gentilhomme» (1861), «Dimitri Roudine» (1862), «Eléna» («Накануне») (1863), «Pères et enfants» (1863), «Fumée» (1868), «Terres vierges» («Новь») (1877) и т. д.

Значительно больший успех выпал на долю Льва Толстого. Правда, переводить его стали позднее, чем Тургенева, именно в 1866 г., причем не непосредственно с подлинника, а с английского перевода. Это было «Детство», переданное как «Nikolinka, l'enfance d'un seigneur russe». Однако, подлинный расцвет интереса к Толстому и его влияние во Франции приходятся на 80—90-е годы. В 1879 г. в Петербурге был напечатан перевод «Войны и мира», сделанный кн. Ириной Паскевич (последнее, 21-е, издание вышло в 1930 г.). Появление сперва статей, а потом и книги М. де Вогюэ послужило особенно интенсивным толчком, определившим интерес французского читателя к Толстому.

Толстой привлекает к себе внимание не только, как художник, но в еще большей мере, как мыслитель. О нем создается обширная литература на французском языке. В 1902 г. начал даже выходить специальный журнал «Ere nouvelle», посвященный пропаганде толстовства. Особенно сильное влияние оказал Толстой на Ромэн Роллана[102].

Еще позднее—с 80-х годов—начали появляться переводы из Достоевского, о котором более подробно говорится на дальнейших страницах настоящего обзора.

Однако, увлечение русской литературой доходит в 80—90-х годах до того, что начинают переводить авторов третьестепенных. М. де Вогюэ находит даже нужным выступить против этого явления («Les livres russes en France» в «Revue des Deux Mondes», 1886, от 15 декабря). Если протест Вогюэ был вызван опасениями, что в потоке переводов нашли место такие писатели, как Салтыков-Щедрин[103], Решетников и другие, показывавшие русскую литературу в ином аспекте, чем это представлялось ему самому, то теоретико-философскими причинами была вызвана статья известного критика Жюля Лемэтра, где ставится вопрос о неизбежности реакции со стороны «латинского гения»[104]. При различии мотивов и тот и другой протест исходили из реакционно-идеалистических кругов буржуазии.

Однако, все это не меняет положения; политические и, главным образом, экономические причины—огромное и быстрое завоевание французским капиталом русской промышленности и политическое следствие этого—франко-русский союз 1891 г.[105]—заставили уделить большее внимание изучению русского языка и литературы. В 90-х годах при провинциальных университетах организуется ряд кафедр русского языка

и литературы; в 1891 г. Поль Буайе занимает кафедру русского языка в Школе восточных языков: он, как отличный лингвист и знаток русской литературы, а помимо того, прекрасный учитель, не перестанет в течение 45 лет привлекать к себе учеников и направлять самых лучших из них на научную работу (Лабри, Мазон, Мартель, Патуйе, Дюшен и др., почти все руссоведы 10—20-х годов XX столетия, были его учениками); в 1892 г. открывается кафедра в Лилле (с Э. Оманом во главе), затем открываются курсы русского языка и литературы в Канне (проф. Пьер Камена д'Альмейда[106]), в Дижоне (Жюль Легра; впоследствии дижонские курсы обращаются в кафедру при университете), в Марселе и других городах. Русский язык вводится, как предмет преподавания, в ряде военно-учебных заведений и лицеев[107].

Наряду с расширением университетского преподавания русского языка и литературы, возникает в 90-е и последующие годы ряд научных обществ и периодических изданий. Так, в 1898 г. учреждается в Париже «Франко-русское общество» («Société franco-russe»), в состав которого, кроме ряда ученых, входят и политические, и финансово-промышленные деятели, участники акционерных компаний, действовавших тогда в России. Этим обществом выпускался журнал «Revue des Etudes russes» (1899—1900), переименованный затем в «Revue des Etudes franco-russes» (1910—1911). Здесь было напечатано несколько интересных по материалу историко-литературных статей, давались критические обзоры, а также переводы русских авторов и небесполезная в историографическом плане хроника. Главным редактором этого издания был де Ларивьер (Charles de Larivière)[108].

В 1909 г. французские руссоведы (Леже, Вогюэ, Лирондель и Легра) приняли участие в московских торжествах по случаю столетнего юбилея со дня рождения Гоголя и присутствовали на открытии памятника писателю. Выступление это нельзя рассматривать, как случайный факт,—оно имело политическую окраску, что откровенно подчеркивалось в речах большинства ораторов-французов, в форме признания франко-русского единения[109].

В том же 1909 г. возникло при Парижском университете новое общество «Association franco-slave de l'Université de Paris», при участии П. Буайе, Э. Дени, А. Мейе, Л. Леже, А. Леруа-Больё и др. Это общество, помимо научных целей, имело и популяризационные задачи, ориентируясь, главным образом, на студенчество[110]. В течение 1910—1912 гг. вышло 3 номера «Bulletin de l'Association franco-slave de l'Université de Paris». Почти одновременно с последним изданием стал выходить «Bulletin de l'Enseignement français en Russie» (Moscou, 1911—1912).

Но гораздо серьезнее всех названных обществ и изданий должно быть рассматриваемо учреждение, по мысли П. Буайе, Французского института в Петербурге (Institut français de St.-Pétersbourg); он теперь продолжает существовать в Париже под названием Institut français de Léningrad, причем деятельность его проявляется в издании «Bibliothèque de l'Institut français de Léningrad», где печатались капитальнейшие работы, в дальнейшем перечисляемые, Мазона, Патуйе, Лиронделя, Дюшена, Мартеля и др.[111].

Из французских руссоведов этого периода особо следует остановиться на Эмиле Омане (Emile Haumant). Как было отмечено выше, он с 1892 г. преподавал русский язык и литературу в Лилле, затем перешел на вновь открытую кафедру русского языка в Париже, в Сорбонне, которую занимал до 1929 г., когда ушел в отставку. Ученик и родственник Альфреда Рамбо, на дочери которого он женат, Оман начал с исторических работ: «La Guerre du Nord et la Paix d'Oliva (1655—1660)», P., 1896, и «Quid detrimenti Slavi ceperunt ex invasione Hungarorum», P., 1896, и лишь затем перешел к истории русской культуры и литературы. Омана особенно интересовал вопрос о взаимоотношениях Франции и России. Одна из первых значительных статей его в этом направлении была посвящена судьбе и роли

французского романа в России («Journal des Débats», 1896, от 20 мая); не менее интересна с фактической стороны и статья «La Sorbonne et la Russie» («Revue internationale de l'Enseignement supérieur», 1903). Наиболее крупным трудом Омана в данной области является его «La Culture française en Russie (1700—1900)», P., 1910; 2-e éd., 1911. Труд этот представляет солидный вклад, не столько самостоятельный, сколько обобщающий и сводный, без помощи которого, однако, не обойтись ни одному из тех, кого привлекает та же проблема. Книга Омана не случайно была премирована Академией моральных и политических наук. Эта научная работа имела целью показать, что Россия из отсталой азиатской державы стала могущественным культурным европейским государством «если не благодаря нам, то, по крайней мере, при нашей помощи» (стр. 527). Оман считает нужным указать, цитируя при этом Ж. де Местра, что Франция нередко «отравляла» русские умы. «Мы должны также отметить, что мы посылали русским и всевозможные противоядия, включая самого Жозефа де Местра,—им был предоставлен выбор» (там же). Отсюда понятна тревога Омана за судьбу франко-русской дружбы после 1905 г. Отмечая уменьшение роли тех классов русского общества, которые больше всего стояли за Францию, Оман не выражает опасений относительно сохранения контакта с новыми классами, с «народной» Россией («la Russie populaire»), т. е. с Россией буржуазной,—его волнует вопрос о «России инородческой» («la Russie des allogènes»).

Таким же политическим характером проникнуты и другие работы Омана: «La Russie au XVIII^{e} siècle», P., 1904, и «L'empereur Nicolas I^{er} et la France» («Revue de Paris», 1902, avril).

Не останавливаясь подробнее на этих исторических трудах Омана,—хотя в первом из них заключительный (IV) раздел посвящен литературе,—обратимся к двум собственно литературным работам его: «Ivan Tourguénief. La Vie et l'Œuvre», P., 1906 (премирована Французской академией) и «Pouchkine», P., 1911. Первая из них дает довольно подробную и хорошо документированную биографию Тургенева и ставит себе целью остановиться на тех сторонах его творчества, которые представляют интерес для французского читателя в связи с «современным кризисом», т. е. с событиями 1905—1906 гг. (книга вышла в ноябре 1906 г.). Рассмотрев «жизнь и творчество» Тургенева, Оман приходит к выводу, что «если его творчество в некоторой части устарело, то другая часть еще ярко освещает нынешнюю драму». Его искусство всегда останется образцом «той чистоты линий, той идеальной и реальной красоты», которой он восторгался у Гуно (стр. 308). Кроме того, Оман посвятил Тургеневу статью «Тургенев на Западе» («Минувшие Годы», 1908, № 11).

Еще более биографична книга Омана о Пушкине (в серии «Les grands Ecrivains étrangers»). Местами встречаются в ней не лишенные интереса замечания (например, о пушкинской прозе, стр. 181—194), иногда недурные стихотворные переводы из Пушкина, недурные постольку, поскольку они близки к тексту и в некоторых случаях к настроению подлинника (ср. перевод «Послания в Сибирь», стр. 153—154). Основная мысль книги о Пушкине выражена Оманом, как обычно, в заключительных строках его работы. Это мысль о том, что французское начало в Пушкине, несмотря на весь его русский характер, наиболее сильное и что в творчестве его французы узнают, «наряду с французским изяществом былых времен, тот дух отваги и веселья, апостолами которого они были в Европе» (стр. 217). К книге Омана приложена небольшая, но полезная библиография переводов из Пушкина на французский язык и работ о нем.

В 1914—1918 гг. вышли 6-е и 7-е издания «Истории России» Альфреда Рамбо, при участии Э. Омана. К 1921 г. относится отсутствующая в ленинградских книгохранилищах работа Омана «Le Problème de l'unité russe». Прочие работы Омана посвящены Югославии (1918 и 1930)[112].

МЕЛЬХИОР ДЕ ВОГЮЭ
Фотография 1880-х гг.
Литературный музей, Москва

В течение 90-х и 900-х годов появляется ряд антологий из русской поэзии, например, «Les poètes russes», P., 1891; E. de Saint-Albin, Les poètes russes, P., 1893; Olga Lanceray, Anthologie des poètes russes. 2 vols., SPB., 1902—1903; 2-e éd., P., 1911; J. Chuzeville, Anthologie des poètes russes, P., 1914 и др. Многочисленные переводы появляются в журналах, сборниках и т. д. К старым писателям—Тургеневу, Толстому и Достоевскому,—переводы из которых очень часты, присоединяются также Чехов и, в особенности, Горький, брошюра о котором Вогюэ выдержала свыше тридцати изданий. Привлекают внимание новые течения в литературе (Ivan Strannik, La Pensée Russe contemporaine, P., 1903). Печатаются популярные истории русской литературы (Валишевского, 1900, два издания, Л. Боярского, 1910). Кроме такой полунаучной продукции, появляются труды серьезного характера. Исследования о русских писателях становятся постепенно темами докторских диссертаций (Раина Тырнева—о Гоголе, 1901; Ольга Крамарева—о Грибоедове, 1907, Патуйе—об Островском, Лирондель—об А. Толстом, Мазон—о Гончарове, 1914, Э. Дюшен[113]—о Лермонтове). Большая часть этих работ представляет по материалу явление значительное, заставляющее и советского специалиста—историка русской литературы обращаться к этим трудам. Французское руссоведение постепенно завоевывает себе достойное место и признание[114].

IV

Так обстояло дело с изучением русской литературы ко времени европейской войны и революции. Совершенно естественно, что социальный переворот, происшедший в нашей стране, повлекший за собой, в первую очередь, уничтожение права частной собственности на промышленные капиталистические предприятия, как русские, так и иностранные, не мог не отразиться на судьбах изучения русской литературы французами. Если, как правильно отметил Ж. Мишон[115], франко-русский союз (и, следует прибавить, выросшее на его почве руссоведение) явился следствием уси-

ления реакционных элементов в политике Франции, то естественно, что революционные события в определенном смысле сказались на характере дальнейших работ французских историков русской литературы. Прежде всего, это выразилось в отмене преподавания русского языка в лицеях.

Затем, примерно до 1923—1924 гг. литературные русские темы почти не привлекают внимания французских исследователей. Наоборот, общеславянские и специально чешские, югославские и польские материалы притягивают к себе и новых и старых работников, что, конечно, стоит в тесной связи с политическим значением Малой Антанты и возросшим удельным весом западного и южного славянства. Для большей концентрации и координирования работы по изучению славянства в целом (включая и русских) был основан Institut des études slaves (1920), при котором с 1921 г. стал выходить журнал «Revue des études slaves», под редакцией слависта-лингвиста А. Мейе, где, наряду с ценными исследовательскими работами, находит место обстоятельная библиографическая хроника, русский отдел которой ведет проф. А. Мазон. Журнал этот стремится быть объективным и аполитичным. Другой журнал, такого же общеславянского направления, «Le Monde Slave», выходил в 1917—1918 гг. и после перерыва возобновлен с 1924 г.[116].

В 1927 г. в Париже возникло новое литературно-научное общество взамен распавшихся предвоенных, упомянутых выше,—это «Société des Slavisants», где, наряду с прочими славянскими темами, ставятся и русские[117].

В настоящее время университетское преподавание русского языка и литературы во Франции имеет место в следующих научных учреждениях:

1. Париж. Collège de France—проф. А. Мазон.
2. Париж. Sorbonne (Université de Paris)—проф. Р. Лабри.
3. Париж. Ecole des langues orientales—проф. П. Паскаль.
4. Лилль. Университет—проф. А. Эрман.
5. Лион. » —проф. М. Эрарт.
6. Страсбург. » —проф. Б. Унбегаун.
7. Монпелье. » —проф. Л. Теньер.

Число новых работников по русской литературе за этот период растет сравнительно медленно. Выдвинулись за эти годы А. Мартель (о нем см. ниже), Л. Жуссерандо (Louis Jousserandot)[118], А. Монго (Henri Mongault)[119].

Наиболее крупным историком литературы среди современных французских руссоведов, несомненно, является президент Institut des études slaves, профессор в Collège de France, член-корреспондент Академии наук СССР, Андре Мазон[120]. Не касаясь его важных лингвистических работ, должно отметить, что уже первый историко-литературный труд Мазона по русской литературе: «Un maître du roman russe. Ivan Gontcharov», P., 1914, представлял ценнейший вклад в изучение русского романа вообще и, в особенности, деятельности Гончарова. Эта работа остается единственной цельной монографией о Гончарове до сих пор[121]. И последующие публикации Мазона, в частности, связанные с его работами в архиве И. С. Тургенева, а также исследования былин и древнерусской литературы (работы о «Слове о полку Игореве» и «Задонщине»), занимающие его в последние годы, являются трудами, знакомство с которыми необходимо для каждого специалиста по соответствующим проблемам.

Свои взгляды на изучение истории славянских литератур Мазон изложил во вступительной лекции в Collège de France 6 февраля 1924 г., напечатанной под заглавием: «Le patrimoine commun des études slaves» («Revue des études slaves», 1924, t. IV, fasc. 1—2, pp. 113—132). Из этой лекции, читанной еще до признания Францией Советского Союза (осенью 1924 г.), явствует, что Мазон отчасти примыкает к традициям своих предшественников по кафедре в Collège de France, рассматривая рус-

скую литературу, по крайней мере средневековую, лишь, как часть славянской. Хотя он и признает ее своеобразие, как, впрочем, и остальных славянских литератур, но считает возможным подчинить изучение ее идее «общего наследия» («patrimoine commun»). При этом невольно бросается в глаза то обстоятельство, что об отношении своем к изучению новейшей и современной русской литературы Мазон не говорит вовсе. Это, несомненно, большой пробел. Интересы французских изучений истории русской литературы в праве требовать от А. Мазона более определенного ответа на данный вопрос: его слово, как признанного главы французских историков русской литературы, имеет большое значение.

Из остальных французских russisants следует остановиться на трех представителях старшего поколения—Ж. Легра, А. Лиронделе и Ж. Патуйе, на сравнительно молодом, начавшем интенсивно работать уже после Октябрьской революции Р. Лабри и на недавно умершем А. Мартеле.

Из них Жюль Легра[122]—наиболее старый. Его диссертация, написанная еще, по старинному французскому обычаю, по-латыни, вышла в 1897 г. и была посвящена Карамзину и его отношениям к западным сентименталистам. Она называлась «De Karamzinio Laurentii Sterni et J. J. Rousseau nostri discipulo» («О Карамзине, ученике Лаврентия Стерна и нашего Ж.-Ж. Руссо»). В отличие от вышеперечисленных авторов, давших ряд солидных монографий, с которыми должен считаться и советский литературовед, Легра больше занимался беллетристическими зарисовками «русских нравов» и философскими анализами «русской души»[123].

Кроме переводов из Л. Толстого, П. Ф. Якубовича («Dans le monde de réprouvés», P., 1901) и др., «Опыта русской грамматики» («Précis de grammaire russe», P., 1922) и ряда статей в журнале «Le Monde Slave», Легра принадлежит первая, после старой работы Леже, попытка дать связный очерк развития русской литературы. В 1929 г. им была выпущена в издательстве Armand Collin изящная книжечка «La littérature en Russie» (222 pp.). На этой работе Легра следует остановиться

V^{TE} E. M. DE VOGÜÉ

LE

ROMAN RUSSE

PARIS

LIBRAIRIE PLON

E. PLON, NOURRIT ET C^{ie}, IMPRIMEURS-ÉDITEURS

RUE GARANCIÈRE, 10

1886

Tous droits réservés

„РУССКИЙ РОМАН“
МЕЛЬХИОРА ДЕ ВОГЮЭ

Титульный лист первого отдельного издания, 1886 г.

несколько подробнее. Свою методологическую позицию Легра определяет уже в предисловии; для него русская литература является выражением «русского характера и русского духа» («esprit russe»), которые, повидимому, нисколько не изменились за семь-восемь веков («lesquels semblent n'avoir guère changé au cours de sept ou huit siècles de vicissitudes»). Древнерусская литература вплоть до петровских и даже екатерининских времен представляется Легра «огромной пустыней». Значительно выше ценит Легра устную словесность и затем переходит к беглой импрессионистской характеристике отдельных явлений новой русской литературы. С фактической стороны книжечка Легра несвободна от ошибок, в особенности в датировках[124]. Самые характеристики отдельных авторов, даваемые Легра, строятся по определенным разделам—подчеркивается «славянофильство» или «западничество» анализируемого писателя, наличие «типичных» черт «русской души» у того или другого автора и т. п.

Не приходится говорить о специфичности отбора авторов в книге Легра. Сам Легра отмечает в предисловии, что «без колебаний выдвигал я из несправедливого забвения («d'une ombre injuste») различные имена, казавшиеся мне характеристичными... С другой стороны, я не ощущал никаких сомнений, когда обходил молчанием имена некоторых писателей, фигурирующие обычно в истории литературы только для увеличения ее количественной стороны» («pour faire nombre»). Так, в книге Легра нет упоминаний о Рылееве, Чернышевском и др., буквально только названы Добролюбов, Писарев, Глеб и Николай Успенские и др. Что касается «имен, выдвигаемых из несправедливого забвения», то автор ограничился одним только митрополитом Филаретом (стр. 65).

Другому видному современному французскому russisant, Андре Лиронделю[125], принадлежит ряд интересных и полезных работ, как, например: 1) «Le poète Alexis Tolstoï. L'homme et l'œuvre», P., 1912; 2) «Shakespeare en Russie, 1748—1840. Etude de littérature comparée», P., 1912; 3) «La poésie lyrique russe de Koltsov à Nadson. Introduction, traduction et notes», P., 1921; 4) «La poésie russe de l'art pour l'art et sa destinée» («Revue des études slaves», 1921, fasc. 1 et 2, pp. 98—116); 5) «De Tolstoï à Gorki», Dunkerque, 1924; 6) «Les destinées du roman russe en France à la fin du XIX^{e} siècle» («Revue des cours et conférences», 1925, pp. 717—741); 7) «Pouchkine, œuvres choisies, introduction et notes», P., 1926.

Наибольший интерес представляют две первые из перечисленных работ. Как большая часть исследований французских руссоведов, книги Лиронделя строго фактичны, привлекают обильный материал и в этом смысле сохраняют свое значение, несмотря на неприемлемость для советского литературоведения их методологии. А. Лирондель—ученик Э. Омана. Подобно своему учителю, Лирондель интересуется темами, касающимися проникновения в Россию западных культур и влияния их на русскую. Важнейшая работа Омана, как указывалось, посвящена была французской культуре в России,—главные исследования Лиронделя об Алексее Толстом и о Шекспире в России примыкают к тому же направлению: первое ставит себе целью найти в «поэте-космополите» черты чисто славянские (стр. IX), второе трактует о судьбе шекспиризма в России, являвшегося, по мнению Лиронделя, ссылающегося на своего учителя, Омана, противодействием французским культурным и литературным влияниям[126].

Жюль Патуйе—автор капитального исследования об Островском: «Ostrovski et son théâtre de mœurs russes», P., 1912, вызывавшего единодушную положительную оценку в русской критике[127]. Более сдержанную, хотя и благоприятную, в общем, характеристику работы Патуйе дал Н. К. Пиксанов в своей библиографической работе об Островском[128]. Объемистое исследование об Островском отодвинуло в тень другую, менее обширную, но едва ли не более ценную работу Патуйе, вышедшую одновременно с первой,—«Le théâtre de mœurs russes des origines à Ost-

rovski (1672—1850)», P., 1912. Здесь дано довольно тщательное обозрение постепенного развития реально-бытовой русской драматургии, богато документированное библиографическими материалами, сохраняющее, благодаря этому, известное значение, несмотря на почти четверть-вековую давность. Из более поздних работ Патуйе лишь одна касается русской литературы, именно вышедшая на русском языке книжечка: «Мольер в России», Берлин, 1924; кроме того, Патуйе принадлежит совместно с Raoul Dufour трехтомное издание «Les codes de la Russie Soviétique, P., 1925—1929.

АНДРЕ МАЗОН

С фотографии, снятой в Харькове, в бытность А. Мазона доцентом Харьковского университета, 1906 г.

Из материалов, изложенных выше, можно заметить, что бо́льшая часть французских руссоведов отошла в настоящее время от русских литературных тем. Наиболее активным руссоведом является сейчас Р. Лабри, профессор русского языка и литературы в Сорбонне. В довоенное время он работал в Institut français de Pétersbourg, был в первые годы революции в России, а затем, по возвращении во Францию, стал много писать о русских делах. Некоторые, очень краткие, правда, выдержки из его ранних статей о русской революции приведены в упоминавшейся уже книге Жоржа Мишона. По этим данным можно предположить, что Р. Лабри стоял на иной позиции

в оценке Октябрьской революции, чем его французские коллеги. К сожалению, как с его статьями, так и с брошюрой «L'industrie russe et la Révolution», P., 1919, и с книгой «Autour du Moujik», P., 1923, нам познакомиться не удалось. Последняя работа посвящена анализу «мужицкой темы» в русской литературе. Наибольшее же значение имеют две монографии Лабри о Герцене: (1) «Herzen et Proudhon», P., 1928, и (2) «Alexandre Ivanovitch Herzen (1812—1870). Essai sur la formation et le développement de ses idées», P., 1928 (см. рецензию Мазона—«Revue critique», 1929, pp. 277—278).

Большой интерес представляет работа Антуана Мартеля (1899—1931), вышедшая после смерти автора,—«Michel Lomonosov et la langue littéraire russe», P., 1933. Покойный ученый проявил себя в этом исследовании во всем блеске эрудиции, строгого филологического метода и исключительно добросовестного отношения к материалу[129]. Им использованы не только многочисленные печатные источники о Ломоносове, но и ряд рукописных, не попавших до него в поле зрения исследователей. Особенный интерес представляет детальный анализ языка и стиля Ломоносова со стороны содержащихся в них элементов русского и славянского языков и «высокого» и «низкого» стиля. Эти наблюдения займут прочное место в изучении как Ломоносова, так и истории русского литературного языка в XVIII в. Однако, к своей теме А. Мартель подошел, как лингвист, и не учел историко-литературной стороны вопроса, хотя историко-литературный материал использован им очень тщательно. Вследствие этого Ломоносов у Мартеля получается без динамики, без развития; не учтена эволюция во взглядах Ломоносова на роль русского и славянского языков в формировании русского литературного языка; оставлен без внимания частично опубликованный акад. М. И. Сухомлиновым материал, относящийся к студенческому периоду деятельности Ломоносова,—пометки на принадлежавшем ему экземпляре «Нового и краткого способа к сложению российских стихов» Тредиаковского; в этих пометках Ломоносов является ярым противником славянизмов и в таком духе пишет свои ранние стихи, совершенно свободные от славянизмов[130]. Наконец, А. Мартель не обратил внимания на полемический характер ряда работ Ломоносова, их персональную и, главное, классовую направленность против поэтов «дворянской фронды».

Посмертно изданная книга А. Мартеля была подготовлена к печати Б. Унбегауном и А. Мазоном. Редакторам пришлось проделать большую работу по сверке и уточнению библиографического аппарата диссертации Мартеля, оставившего эту часть своего труда незавершенной. Справились редакторы с этим достаточно удовлетворительно, хотя несколько упреков сделать им можно: например, «Физика», переведенная Ломоносовым («Волфиянская экспериментальная физика»), принадлежала не Wolfian, как указано у Мартеля (стр. 2), а известному Вольфу; затем неверно утверждение (стр. 11) о сожжении палачом «Гимна бороде» Ломоносова; наконец, «Ода на смерть Ломоносова», из предисловия к которой приведена цитата, принадлежала не И. И. Шувалову, а гр. А. П. Шувалову. Как эти, так и другие, впрочем, немногочисленные, неточности нисколько не изменяют общего характера интересной и ценной работы Мартеля. Поль Буайе сообщает в предисловии к книге Мартеля, что вскоре должно выйти в издании Варшавского института еще одно посмертное произведение покойного ученого—«Судьба польского языка на Украине и в Белоруссии». Хотя эта работа, как, впрочем, и исследование о Ломоносове, относится к области языка, но не приходится сомневаться в ее значении и для истории литературы.

Попутно следует отметить имеющую отношение к нашей теме очень интересную работу Фердинанда Брюно: «Histoire de la langue française des origines à 1900», t. VIII. «Le français hors de France au XVIII^{e} siècle. 1-re partie. Le français dans les divers pays d'Europe», P., 1934. Одиннадцатый раздел этой книги

(pp. 489—529) озаглавлен: «Le français en Russie», и посвящен истории распространения французского языка в России. Эти сорок страниц работы французского академика содержат огромное количество материала и представляют необходимое пособие при изучении франко-русских культурных отношений в XVIII в.

Возвращаясь к рассмотрению послеоктябрьских изучений русской литературы во Франции, должно отметить, что, при сравнительном затишье историко-литературных штудий, интенсивно развивается в эти годы переводческая деятельность. На первых порах внимание уделялось, главным образом, дореволюционной (классической, по преимуществу) русской литературе. Возникает ряд серий: «Les Auteurs classiques russes»[131], «Collection des textes intégraux de la littérature russe»[132], «Les jeunes Rus-

АНТУАН МАРТЕЛЬ
С фотографии 1920-х гг.

ses»[133] и др. Попрежнему большим и даже еще бо́льшим успехом пользуется Достоевский. Его не только переводят, ему не только подражают, но и изучают[134].

Из других фактов, характеризующих интерес французов к русской литературе, должно отметить выход собрания сочинений и писем Чехова в переводе D. Roche и многочисленные переводы из Горького[135]. Современная литература привлекает внимание не ученых-специалистов, а литераторов и журналистов. Так, статьи по литературе послеоктябрьского периода находятся в литературных газетах «Les Nouvelles littéraires» и «Candide». К «Cahiers de la quinzaine» дан был ряд приложений, из которых следует упомянуть «La littérature soviétique» (P., s. a., 80 pp.); в № 8 этого журнала за 1930 г. была статья B. Cremieux et Wsewolod de Vogt о русском романе после 1918 г. В 1929 г. вышла «Panorama de la littérature russe contemporaine» В. Познера, представляющая перепечатку статей о современной русской литературе, ранее опубликованных в газете «Nouvelles littéraires»; в том же году он выпустил «Anthologie de la prose russe contemporaine» (P., 1929, 2-e éd.).

Переводчик J. Chuzeville поместил в «Mercure de France» (1925, 15 sept.) большую статью «La poésie russe de 1890 à nos jours», впрочем, без учета пролетарской поэзии.

Особое внимание стали привлекать во Франции факты из истории русской философской и религиозной мысли: Séillère, Le cœur et la raison de M-me Swetchine, P., 1924; I. Rouët de Journel, Une Russe catholique, Madame Swetchine, d'après de nombreux documents nouveaux, P., 1929. Этому же автору принадлежат работы по истории католицизма в России. Сюда же следует отнести сугубо идеалистические книги: белоэмигранта Alexandre Koyré, La philosophie et le problème national en Russie au début du XIX^{e} siècle, P., 1929 (рецензия А. Мазона—«Revue critique», 1929, pp. 228—229) и Charles Quénet, Tchaadaev et les lettres philosophiques; contribution à l'étude du mouvement des idées en Russie», P., 1931. К этой линии «истории идей в России» примыкают и указанные выше работы Р. Лабри. Из работ, представленных в виде диссертаций, следует отметить вызвавшую отрицательный отзыв А. Мазона («Revue des études slaves», 1926, fasc. 1—2, p. 123) книгу P. Kovalevsky, N. S. Leskov, peintre méconnu de la vie nationale russe, P., 1926, а также Josephe Vaichère, Dostoïevsky au regard de la médecine, Bordeaux, 1930.

Из сказанного явствует, что современная советская литература недостаточно привлекает внимание французских ученых-специалистов. Также не уделяют французы соответствующего внимания изучению литературоведческих споров в СССР. Кроме статей о формальном методе Б. В. Томашевского («Revue des études slaves», 1928, fasc. 3—4, pp. 226—240), Нины Гурфинкель («Le Monde Slave», 1929, fasc. 2, pp. 234—263) и ее же и P. Van-Tieghem (в «Revue de littérature comparée» за 1931 г.), другие сведения о литературоведческой жизни СССР в научную литературу Франции, кажется, не проникали.

К числу новых явлений послеоктябрьского периода изучения русской литературы о Франции должно отнести опубликование ряда довольно полезных работ библиографического характера, каковы: V. Victoroff-Toporoff, Rossica et Sovietica. Bibliographie des ouvrages parus en français de 1917 à 1930 inclus relatifs à la Russie et à l'USSR, P., 1931; Boris Unbégaun, Catalogue des Périodiques Slaves et relatifs aux études slaves des bibliothèques de Paris, P., 1929; Vladimir Boutchik, Bibliographie des œuvres littéraires russes traduites en français, P., 1935[136]. Несмотря на свой компилятивный характер, несмотря на ряд неизбежных пропусков, обусловленных принципом составления этой библиографии, являющейся, в сущности, сводным каталогом, а не самостоятельным разысканием,—несмотря на все это, книга Boutchik представляет полезное пособие, позволяющее наводить первые и основные справки. Досадно только, что автор ограничился перечислением одних лишь отдельных изданий переводов русских писателей и почти не включил журнальных и газетных публикаций, которые иногда играли исключительно важную роль. Затем, если бы автор, кроме перечисленных им в предисловии источников, использовал также и персональные библиографии (например, о Ломоносове, Державине, Крылове, Пушкине, Гоголе, Лермонтове, вплоть до Брюсова), в которых перечисляются переводы на французский язык произведений названных писателей, то его труд только выиграл бы от этого.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Попытки обзора изучений русской литературы и русского языка во Франции делались неоднократно. Однако, они ограничивались преимущественно XIX в., именно второй его половиной. В большинстве своем это были простые перечисления библиографического и отчасти биографического материала. Наиболее важные работы следующие: 1) L[ouis] L[éger], Les études russes en France.—«La Russie»,

éd. P. Larousse, P., 1892, pp. 475—484; 2) Halpérine-Kaminsky, L'enseignement de la langue russe en France.—«Revue bleue», 1892, № 13, 24 septembre, pp. 402—408; 3) И. Д. Гальперин-Каминский, Руссоведение во Франции.—«Русская Мысль», 1894, № 9, отд. II, стр. 28—42; 4) Halpérine-Kaminsky, Sur la littérature russe en France.—«Revue générale internationale», 1897, mars; 5) Ch. de Larivière, De l'enseignement du russe en France et du rôle commercial de la France en Russie.—«La Revue politique et parlementaire», 1898, 10 mai; 6) Leonce Pingaud, Les précurseurs des études russes en France au XVIII[e] siècle.—«Revue des études russes», 1899, № 2, pp. 48—53; 7) E.-M. de Vogüé, Lettre sur les études russes.—«Revue hebdomadaire», 1910, от 9 апреля; 8) С. В. Соловьев, Современное положение русского языка и литературы во Франции.—«Вестник Харьковского Историко-Филологического Общества», 1911, вып. 2-й, стр. 22—27 и отд., перепечатано также в собрании статей Соловьева по истории западно-европейских литератур; 9) J. Patouillet, Les études russes contemporaines en France.—«Известия Академии Наук, VI серия», 1916, № 18, стр. 1779—1788; 10) A. Mazon, Les études slaves.—«La Science française», 2-e éd., P., 1933, t. II, pp. 451—474. Брошюра P. Kovalevsky, Les études littéraires russes en France 1830—1930, P., 1933, 16 pp., и статья Фельдмановой-Родштейн, Об истории славяноведения во Франции.—«Ruch Slovianski», 1933, № 7, str. 123—127 (см. рецензию в «Zeitschrift für ost-europäische Geschichte», 1934, B. VII, Heft 3, S. 433), остались мне недоступны.

[2] Гейманн, Conspectus historiæ litterariæ, 4-е изд., L., 1735, p. 21, прим. (n).

[3] «Язык и Литература», т. V, Л., 1930.—«Изучение русской литературы иностранцами в XVIII веке», стр. 87—136.

[4] О степени знакомства Франции с Россией в средние века, по крайней мере, в отражениях художественной литературы, информирует статья Grégoire Lozinsky, La Russie dans la littérature française du moyen âge.—«Revue des études slaves», 1929, fasc. 1—2, pp. 71—88; fasc. 3—4, pp. 253—269. О более поздней эпохе сведения собраны у Abel Mansuy, Le monde slave et les classiques français aux XVI[e]—XVII[e] siècles, P., 1912, pp. 423—476, гл. «La Russie et la littérature française du XVII[e] siècle».

[5] Записка о путешествии в Россию в 1586 г. Жана Соважа была напечатана в русском переводе в «Русском Вестнике», изд. Н. А. Полевого, 1841, т. I, стр. 223—230. Ср. Paul Boyer, Un vocabulaire français-russe de la fin du XVI[e] siècle. Extrait du Grand Insulaire d'André Thevet.—«Recueil des Mémoires orientaux», 1905, V[e] série, vol. V, pp. 437—495 и отд., P., 1905. Ср. Ch. de La Roncière, Premier toast de l'alliance franco-russe 1586.—«Le Correspondant», 1903, от 10 января, pp. 129—133, по поводу «Dictionnaire moscovite» из 621 слова и коротких фраз, приложенного к одному из списков «Записки» Жана Соважа. Ср. Б. А. Ларин, Парижский словарь русского языка 1586 года.—«Советское Языкознание», 1936, № 2, стр. 65—89.

[6] «Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France», t. VIII. Russie. Partie I[e], P., 1889, p. 23; П. В. Безобразов, О сношениях России с Францией, М., 1892, стр. 5.

[7] Безобразов, op. cit., стр. 14; В. С. Иконников, Сношения России с Францией (XVI—XVIII вв.), Киев, 1893, стр. 16.

[8] В. С. Иконников, Новые материалы для истории царствования Петра Великого (сношения России с Францией), Киев, 1887, приложение, стр. 2.

[9] В лингвистической литературе известна рукопись так называемой «Grammaire russienne» Жана Сойе (Jean Sohiers), 1724. По изысканиям Н. Кульмана, эта рукопись представляет собой перевод известной грамматики Лудольфа, Grammatica russica, Оксфорд, 1696. Ср. «De Grammatica russica par H. W. Ludolf».—«Le Monde Slave», 1932, № 1, pp. 404—414; ср. также «Revue des études slaves», 1932, fasc. 1—2, pp. 103, 155. О Лудольфе см. также С. П. Обнорский, Русская грамматика Лудольфа 1696 года.—«Советское Языкознание», 1937, № 3, стр. 41—58; переиздание книги Лудольфа с русским переводом и комментарием Б. А. Ларина вышло в 1937 г.

Попутно обращаю внимание специалистов на любопытное указание в книге Martini Lipenii, Bibliotheca realis philosophica omnium materiarum, rerum & titulorum ordine alphabetico disposita, Fr. a. M., 1682, t. II, p. 964, под рубрикой «Moscovitica lingua», на анонимное издание «Elementa linguæ Russicæ» in 8°; ни автор, ни место, ни дата издания не приведены.

[10] Безобразов, op. cit., стр. 27; E. Haumant, La culture française en Russie, P., 1910, p. 6; ср. «Chevræana ou pensées diverses d'histoire, de critique...», Amsterdam, 1700, t. I, p. 16.

[11] О Схенде фан дер Бехе см. «Язык и Литература», т. V, Л., 1930, стр. 97—99; перевод его статьи «О состоянии просвещения в России в 1725 г.».—«Сын Отечества», 1842, № 1, стр. 3—35.

[12] В. С. Иконников, Новые материалы..., Киев, 1887, стр. 54—56; L. Pingaud, Les Français en Russie et les Russes en France, P., 1885, pp. 14—16; E. Haumant, op. cit., pp. 25—28.

[13] Joh.-Th. Buhle, Prolusio de Auctoribus supellectilis litterariæ Historiam Russicam proxime spectantis.—«Catalogus praelectionum in Universitate Literarum Cæsarea Mosquensi, A. D. XVII Aug. MDCCCXI habendarum», M. (s. a.), p. 12.

[14] Иконников, Новые материалы..., стр. 16; Сношения России с Францией, стр. 23.

[15] L. Pingaud, op. cit., pp. 106—109; E. Haumant, op. cit., pp. 23—25, 54—66.

[16] Н. Болтин, Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка, СПб. 1788, т. II, стр. 31.

[17] М. Н. Попова, Теодор-Генрих Чуди и основанный им в 1755 г. журнал «Le Caméléon littéraire».—«Известия Академии Наук СССР, Отделение Гуманитарных Наук», 1929, № 1, стр. 17—48.

[18] Н. Н. Бантыш-Каменский, Обзор внешних сношений России (по 1800 год), М., 1902, ч. IV, стр. 106.

[19] «Recueil des instructions... Russie», P., 1890, t. II, p. 3.

[20] «Le Russe à Paris, petit poème en vers alexandrins, composé à Paris, au mois de mai 1760, par M. Ivan Alethoff, secrétaire de l'ambassade russe».—Voltaire, Œuvres complètes, éd. Moland, P., 1877, t. X, p. 119—131. Поэма Вольтера представляет диалог между русским и французом, причем последний в резкой форме порицает современную французскую жизнь. Смысл поэмы заключен в последних стихах, представляющих слова русского (стр. 131):

Hélas! Ce que j'apprends de votre nation
Me remplit de douleur et de compassion.
. . . .
Adieu, je reviendrai quand ils [les français] seront changés.

(Увы! То, что я узнаю о вашем народе,
Наполняет меня скорбью и состраданием.
. . . .
Прощайте, я вернусь, когда они [французы] изменятся).

Вольтеровской формой воспользовался во время первой Французской революции Леклерк де Вож (Leclerc des Vosges), выпустивший под псевдонимом Peters-Subwathékoff, под тем же названием, что и Вольтер, аналогичную поэму, выдержавшую три издания,—«Le Russe à Paris, petit poème en vers alexandrins, imités de M. Ivan Alethoff», P., 1796 (3-e éd., Liège, 1799). Это подражание оканчивается приблизительно так же, как и оригинал Вольтера:

Adieu, je reviendrai quand vous serez libres!
(Прощайте, я вернусь, когда вы станете свободными!).

[21] Сборник «XVIII век», изд. ИРЛИ, под ред. акад. А. С. Орлова, Л., 1935, стр. 351—366.

[22] «Satyres de Monsieur le Prince Cantemir avec l'histoire de sa vie. Traduites en françois», Londres, 1749; 2-е издание, Londres, 1750.

Переводчик-итальянец подписался инициалами L. A. В литературе о Кантемире переводчиком принято считать аббата Гуаско; впрочем, высказывалось без достаточного основания мнение, что переводчиком был аббат Венути. О Гуаско см. «Biographie Universelle», éd. Michaud, 1857, t. XVIII, pp. 19—20.

[23] В корреспонденции своей от 9 марта 1782 г. Блен де Сенмор сообщает о выходе в свет в Париже книги члена Французской академии Ле Миерра «Poésies fugitives» и отмечает в ней стихотворение «Lever du Soleil», как вольное подражание русскому поэту. Это стихотворение Ле Миерра является переводом «Утреннего размышления о божьем величестве» Ломоносова—см. в настоящем издании статью Ю. Готье, Литературная корреспонденция Блен де Сенмора в Россию (т. I, стр. 210 и 254).

[24] В «Gazette Universelle de littérature, ou Gazette des Deux-Ponts» за 1770 г. (стр. 366) был помещен разбор комедии В. Бибикова «Лихоимец».—Сборник «XVIII век», изд. ИРЛИ, под ред. акад. А. С. Орлова, Л., 1935, стр. 370—376. В той же «Gazette des Deux-Ponts» была помещена перепечатанная затем в «L'Esprit des Journaux» (1776, pp. 227—234) статья «Essai sur l'ancien théâtre russe», представлявшая

переработку первой главы статьи Я. Штелина о русском театре, помещенной в «Haygold's Beylagen zum neuveränderten Russland», B. II, S. 397—399.—«Germanoslavica», 1931, № 2, стр. 237, прим. к стр. 236.

[25] См. «Известия Академии Наук СССР, Отделение Общественных Наук», 1931, № 8, стр. 937, 952. Следует отметить в том же выпуске «Известий» статьи А. И. Лященко и Д. Д. Шамрая, где автором «Nachricht» признается С. Г. Домашнев.

[26] «Essai», изд. 1771, стр. 3; ср. «Материалы для истории русской литературы», под ред. П. А. Ефремова, СПб. 1867, стр. 129, 145.

[27] Joh.-Georg Sulzer, Allgemeine Theorie der schönen Künste, Leipzig, 1792, S. 649; М. И. Сухомлинов, Подробный конспект по словесности 1877—1878 гг. (литографированный курс), стр. 28—29. В отмеченной в прим. 25-м статье А. И. Лященко высказывается, однако, довольно категорически: «Можно с полной уверенностью утверждать, что издателем французского текста было то же лицо, которое передало в 1768 г. «Известие» для напечатания в немецком лейпцигском издании».—«Известия АН СССР, Отд. Общ. Наук», 1931, № 8, стр. 966.

[28] «Литературное Наследство», 1933, № 9—10, стр. 286—294. Статья была переведена на французский язык М. В. Сушковой (урожд. Храповицкой). См. о ней Н. Н. Голицын, Библиографический словарь русских писательниц, СПб. 1889, стр. 241—242.

[29] В 1772 г. это издание вышло и в немецком переводе, что делает еще очевиднее его политическую тенденцию.

[30] Выставка «Ломоносов и елизаветинское время», т. VII, П., 1915, стр. 199.

[31] «Язык и Литература», т. V, Л., 1930, стр. 117—119.

[32] Насколько у нас ценили взгляды Левека на русскую литературу, видно из того, что через 25 лет по выходе его «Истории России» (второе издание вышло в 1800 г.) в «Вестнике Европы» была помещена статья «Мнение Левеково о Русской словесности» («Вестник Европы», 1807, № 10, стр. 114—118), представляющая перевод соответствующих глав «Истории».

[33] «Язык и Литература», т. V, стр. 119—120; М. И. Сухомлинов, История Российской академии, вып. V, стр. 110—128 и 377—394. Нелишне напомнить, что очень много материалов по истории России, а может быть, и литературы Леклерк получил от М. Г. Собакина, о котором см. «Литературное Наследство», 1933, № 9—10, стр. 421—432.

[34] Полностью речь—см. Сухомлинов, История Российской академии, т. V, стр. 383—390; ср. «Записки Академии Наук», т. X, кн. II, СПб., стр. 178—181, и П. Пекарский, История Академии наук, т. II, СПб. 1873, стр. 877—879. Резкую критику историко-литературной части сочинения Леклерка см. Н. Болтин, Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка, СПб. 1788, т. II, стр. 28—104.

[35] В 1792 г. выходят «Œuvres posthumes» Рюльера, очевидца переворота 1762 г.; в 1797 г. появляются его «Anecdotes sur la Révolution de la Russie en 1762», в рукописи, причинившие в свое время Екатерине не мало неприятностей и, согласно уговору с автором, долженствовавшие выйти в свет только после смерти императрицы. Тогда же выходят памфлеты: 1) «Conférance de Catherine II avec Louis XVI»; 2) «Catherine II aux Champs Elysées» (1797); 3) «Pierre le Grand», tragédie (1796); 4) Sylvain Maréchal, Le dernier jugement des rois, P., 1795 (перевод—см. сборник «Театральное Наследие», 1934, т. I, стр. 255—276); 5) Sylvain Maréchal, Histoire de la Russie réduite aux seuls faits importants, Londres, 1802.

Отметим также изданную Blin de Sainmore, Histoire de Russie représentée par figures accompagnées d'un précis historique; les figures gravées par F. A. David, d'après les dessins de Monnet. Le discours par Blin de Sainmore (1797—1799), 2 vols. (в серии «Collection de l'artiste»; переиздана в 1813 г. в трех томах). В предисловии автор указывает, что он пользовался, как основным источником, «Историей» Левека, ставя себе задачей дать лишь занимательные пояснения к иллюстрациям, тексту же отводится подчиненное по сравнению с иллюстрациями положение. О Блен де Сенморе см. в настоящем издании публикацию Ю. Готье, т. I, стр. 201—258.

[36] Не лишено интереса то обстоятельство, что в 4-м томе Desessarts, Bibliothèque d'un homme de goût, P., 1799, включена небольшая статейка «О русском красноречии» («De l'éloquence russe», pp. 167—169). Составитель пользовался «Историей» Левека, на которую ссылается, затем, без ссылки, «Essai sur la littérature russe» (о Сумарокове) или какой-нибудь его обработкой и, наконец, «Dell'origine etc.» Хуана Адреса.—«Язык и Литература», т. V, стр. 120—123. Статейка имеет исключительно информационный характер, но симптоматичным является самое включение материалов о русской литературе.

[37] П. В. Безобразов, op. cit., стр. 304.

[38] Prince Clénerzow—псевдоним французского писателя Кармонтеля (Carmontel, 1717—1806), выпустившего в 1771 г. «Théâtre du Prince Clénerzow, Russe, traduit en François par le Baron Blening, Saxon», 2 тт. О Кармонтеле см. М. И. Сухомлинов, Исследования и статьи, т. II, стр. 4.

[39] Повидимому, переводы Паппадопуло не прошли во Франции незамеченными. Ср. Т. В. Эмерик-Давид, Recherches sur l'art statuaire considéré chez les anciens et les modernes, P., an XIII—1805, где автор среди имен «великих гениев всех стран» упоминает и Сумарокова (стр. 531).

[40] О французских эмигрантах в России см. Pingaud, op. cit., pp. 179—207, 415—426, 459, 470, и Haumant, op. cit., pp. 184—197 suiv. Литературу по вопросу об отношении правительства Екатерины к Французской революции см. Н. К. Пиксанов, Два века русской литературы, 2-е изд., М.—Л., 1924, стр. 51—53. Ср. также: С. Пумпянский, Великая Французская революция в освещении екатерининских газет.—«Звезда», 1930, № 9—10, стр. 247—252.

[41] Цитируется по «Письмам Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», СПб. 1866, стр. 037. В том же 1797 г. перевод этот был напечатан и в Москве под названием: «Julie. Nouvelle russe. Traduite par M. Boulliers, Moscou, 1797».

[42] «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», СПб. 1866, стр. 037—038, 044, 82, 91, 92. Самая статья Карамзина перепечатана там же, стр. 471—483; ср. стр. 0186.

[43] «От меня требовали несколько строк о Русской литературе вообще и притом извлечения из моих писем». —«Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», стр. 92.

[44] С. И. Пономарев, Материалы для библиографии литературы о Н. М. Карамзине, СПб. 1883, стр. 47—48.

[45] «Письма к Дмитриеву», стр. 252, 299 и 301 и прим. на стр. 0015, 0016, 0138—0140. О переводе «Истории» Карамзина см. «Вестник Европы», 1819, ч. 103, № 2—4, и ч. 104, № 5—6. Рецензии на перевод во Франции появились: 1) в официальном «Moniteur», 1820, № 306, от 1 ноября; 2) в «Constitutionnel», 1820, от 13 октября; 3) в «Journal des Débats», 1820, от 5, 10 и 12 декабря; 4) в «Revue Encyclopédique», XIX, p. 689, XXXIV, p. 740 и, вероятно, еще и в других изданиях.

[46] Ср. А. Ф. Бычков, О баснях Крылова в переводах на иностранные языки.—«Сборник ОРЯС», т. VI, стр. 81—108; «Записки Академии Наук», т. XV, кн. I, стр. 33—60.

[47] О Дюпре де Сен-Море см. «Остафьевский Архив», т. I, стр. 631—632; ср. также письмо П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу от 13 августа 1819 г., где сообщается, что приехал «ультрароялист Сен-Мор,... не без ума, но почти без таланта» (там же, стр. 288). Впрочем, L. Jousserandot, Pouchkine en France («Le Monde Slave», 1918, № 7, janvier, p. 39) называет его бонапартистом; в этой статье приводятся также (p. 44) некоторые данные о том, как встречена была «Anthologie Russe» критикою.

[48] Б. Л. Модзалевский, Яков Николаевич Толстой (биографический очерк), СПб. 1899 (оттиск из «Русской Старины» за 1899 г., №№ 9 и 10); Центрархив, «Революция 1848 г. во Франции». Донесения Я. Толстого, Л., 1926; Е. В. Тарле, Донесения Якова Толстого из Парижа в III отделение. Июльская монархия, Вторая республика, начало Второй империи—в настоящем издании, т. II, стр. 563—662.

[49] Jean Kryloff, Choix des fables, traduites par F. R. (SPB. 1822). В «Catalogue des Russica» (t. I, p. 677) ошибочно указано Riffé вместо Reif.

[50] Напечатанный в «Anthologie Russe» перевод этой басни был сделан Ксавье де Местром. Перевод этот перепечатан и в брошюре Я. Н. Толстого.

[51] О М.-А. Жюльене см. в настоящем издании: вступительную статью К. Державина к публикации пьесы Жюльена «Обеты гражданок» (т. I, стр. 539—544) и статью С. Дурылина, П. А. Вяземский и «Revue Encyclopédique» (т. II, стр. 89—108).

[52] Об Héreau см. «Остафьевский Архив», т. III, стр. 512, а также статью Ж. Порше (библиотекаря парижской Национальной библиотеки), К истории русского фонда Национальной библиотеки.—«Временник Общества Друзей Русской Книги», вып. II, Париж, 1928, стр. 49—54. Перечень статей и рецензий Эро в «Revue Encyclopédique» см. P.-A.-M. Miger, Table décennale de la Revue Encyclopédique, P., 1831, т. I, pp. 416—423.

[53] В работе историка французской журналистики Eugène Hatin, Bibliographie historique et critique de la presse périodique française, P., 1865 (по указателю), несмотря на заявление, что журнал «Revue Encyclopédique» «по заслугам пользовался уважением» и что в нем «сотрудничали самые выдающиеся люди эпохи», о нем даны

весьма скудные сведения. В другой работе E. Hatin, Histoire de la presse en France (1631—1865), P., 1864, совсем не упоминается о «Revue». H. Avenel, Histoire de la presse française depuis 1789 à 1900, P., 1900, p. 382, ограничивается о нем также лишь кратким упоминанием. Это дает основание считать журнал недостаточно распространенным.

[54] Цитируем по русскому переводу этой статьи в «Вестнике Европы» (1824, ч. 132, № 22, стр. 103), помещенной там под заглавием: «Некоторые замечания Россиянина, живущего ныне в Париже, на Антологию г. Дюпре де Сен-Мора». Русский перевод подписан инициалами А. Р.—это, вероятно, Александр Федорович Рихтер, переводчик, сотрудник петербургских и московских журналов 20-х годов XIX в. К сожалению, русский перевод был напечатан не полностью: «Мы должны были выпустить несколько строк из сей пиесы,—пишет редактор «Вестника Европы» (стр. 113—114, прим.),—и напоследок здесь остановиться. В окончании, как читатель мог уже заметить, говорится о самой щекотливой и раздражительной половине словесности нашей, еще в живых находящейся. Предлагать о ней свои мнения небезопасно. „Irritabile genus vatum“».

[55] Более подробно об этом см. «Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину. (Материалы для истории русской литературы 20-х и 30-х годов XIX в.)», со вступительной статьей и примечаниями А. А. Чебышева, СПб. 1911, стр. 15—16; ср. также стр. 69, 72—73, 84—85; ср. еще В. Ф. Боцяновский, К истории русского театра. Письма П. А. Катенина к А. М. Колосовой. 1822—1826 гг., СПб. 1893, стр. 47—48.

[56] О Бальби см. «Остафьевский Архив», т. III, стр. 521; ср. «Сын Отечества», 1828, ч. CXVII, стр. 103—107 и 189—193; ч. CXIX, стр. 64—80, 175—190, 263—278 и 360—375.

[57] «Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину», стр. 16—17, 86, 87, 95, 96, 102, 103, 107.

[58] Ю. В. Косов и М. В. Кюхельбекер, Вильгельм Карлович Кюхельбекер. 1797—1846.—«Русская Старина», 1875, июль, стр. 342—343.

[59] «Остафьевский Архив», СПб. 1899, т. II, стр. 201, 500, 501.

[60] «Записки П. Ф. Гаккеля о 14 декабря 1825 г.».—«Летопись занятий историко-археографической комиссии Академии наук СССР за 1926 г.», Л., 1927, стр. 262; ср. «Дневник В. К. Кюхельбекера», Л., 1929, предисловие Ю. Тынянова, стр. 9—10.

[61] «Русская Старина», 1875, июль, стр. 342; ср. также Н. И. Греч, Записки о моей жизни, СПб. 1886, стр. 383.

[62] О русских интересах и отношениях г-жи Сталь см. в настоящем томе (стр. 215—330) статью С. Дурылина, Г-жа де Сталь и ее русские отношения.

[63] Отрывки из «Dix années d'exil», касающиеся России, были в свое время переведены на русский язык и под заглавием «Воспоминания г-жи Сталь о России. Москва—С.-Петербург» помещены в «Новостях Литературы» (прибавления к «Русскому Инвалиду») за 1822 г., кн. I. Однако, перевод этот и сокращенный, и вольный. Только-что приведенная цитата передана так: «Многие благородные россияне упражнялись в Литературе и показали отличные таланты на сем поприще. Но благотворные лучи просвещения не успели еще распространиться на все сословия, постоянное занятие и здравый вкус не успели еще соединить полезных идей в одно целое» (стр. 179—180). Вот и все. К этому примечание переводчика: «Сочинительница имела, как кажется, весьма поверхностные сведения о Русской Литературе. Как жаль, что у нас не было своего Шлегеля, который бы познакомил ее с сокровищами оной, столь же многочисленными, как и разнообразными».

[64] О Jean-Marie Chopin см. «Остафьевский Архив», т. III, стр. 390—391.

[65] J.-M. Héguin de Guerle, Les veillées russes, 1827—см. «Остафьевский Архив», т. III, стр. 505. В дополнение к имеющимся там сведениям можно указать, что Эген де Герль был, по его словам, «профессором французского красноречия на словесном факультете», но где именно—неизвестно. Следует отметить, что в конце вступительной статьи к «Les veillées russes» упоминаются Рылеев и Александр Бестужев, как поэты и как деятели 14 декабря.

[66] Роль русских популяризаторов и пропагандистов русской литературы на Западе, в частности, во Франции, еще недостаточно изучена. Больше всех посчастливилось кн. Э. П. Мещерскому; о нем см. работу A. Mazon в настоящем издании, т. II, стр. 373—490, а также статью С. Дурылина, Русские писатели у Гёте в Веймаре.—«Литературное Наследство», 1932, № 4—6, стр. 222—236.

Попутно следует отметить статью одной Demoiselle russe, Etat actuel de la Littérature Russe, помещенную в октябрьской книжке «Bibliothèque Universelle», 1829, вышедшую также отдельно и затем перепечатанную в 1832 г. в «Karlsbader Almanach». Автором этой статьи была Анастасия Семеновна Хлюстина

(впоследствии по мужу графиня Сиркур)—см. «Остафьевский Архив», т. III, стр. 635—636. Статья А. С. Хлюстиной в русском переводе была помещена, также анонимно, в «Галатее», 1830, ч. 12, № 7, стр. 3—17.

[67] Наиболее ранним упоминанием о Пушкине в западной литературе надо, повидимому, считать заметку в «Revue Encyclopédique», 1821, t. XI, p. 382. См. М. П. Алексеев, Пушкин на Западе.—«Пушкинский Временник Пушкинской Комиссии», вып. 3-й, М.—Л., 1937, стр. 104, 105, см. также «Остафьевский Архив», т. II, стр. 501; Louis Jousserandot, Pouchkine en France.—«Le Monde Slave», 1918, № 7, janvier, pp. 32—56. Подробный, но далеко не полный перечень переводов из Пушкина на французский язык—G. Lanson, Manuel bibliographique de la Littérature Française, P., 1925, p. 1178.

[68] Schnitzler Жан-Анри (1802—1871)—преподаватель немецкого языка в семье герцога Орлеанского; впоследствии Шницлер выпустил ряд трудов, касающихся России: «Histoire intime de la Russie», P., 1845, 2 vols.; «La Russie et son agrandissement territorial depuis quatre siècles», P., 1854; «La Russie ancienne et moderne», P., 1854. Ср. упомянутую уже статью Е. В. Тарле в настоящем издании, т. II, стр. 583, 650, 651.

[69] Маркс и Энгельс, Соч., т. XXII, стр. 122, 129.

[70] А. С. Орлов, «Слово о полку Игореве» в переписке Маркса и Энгельса.—Сборник «Карлу Марксу—Академия наук», Л., 1934, стр. 643—655. О французских переводах «Слова» см. «Journal de Moscou», 1938, от 25 мая.

[71] О Жюльвекуре—см. «Остафьевский Архив», т. III, стр. 699—700. Для характеристики «Балалайки» приводим отрывок из предисловия: «Императора [Николая I] нам изображали в качестве жестокого северного султана, неограниченного владыки, тяготеющего своей железной рукой на каждом из подданных, а мы видим его посреди своего народа, любимым, ласкаемым, обожаемым наподобие отца» (стр. VIII—IX).

[72] Относительно некоторых подробностей истории создания в Collège de France кафедры славянской литературы см. также А. Л. Погодин, Адам Мицкевич, его жизнь и творчество, изд. В. М. Саблина, М., 1912, т. II, стр. 266—271. Большое участие в этом деле принял известный тогда журналист (главный редактор газеты «Courrier Français»), экономист и политический деятель Faucher Леон (1803—1854), женатый на Воловской, кузине жены Мицкевича, стремившейся, помимо желания устроить благосостояние Мицкевича, создать, благодаря этой кафедре, центр для польских эмигрантов («elle offrirait un centre aux polonais exilés»). Отметим, кстати, довольно странную ошибку Louis Léger (p. 208), сперва смешавшего Леона Фоше с зятем Виктора Гюго Полем Фуше, а затем (p. 209) называвшего его Леоном Фуше.

[73] Louis Léger, Russes et Slaves. Deuxième série, pp. 210—211.

[74] Самый курс по стенограммам лекций Мицкевича был опубликован в 1849 г. под названием «Les Slaves. Cours professé au Collège de France», vols. I—III, P., 1849. Ранее вышли польский и немецкий переводы, выдержавшие затем ряд изданий. Изложение курса см. L. Léger, Russes et Slaves, t. II, pp. 218—233; А. Л. Погодин, op. cit., т. II, стр. 271—308.

[75] А. А. Котляревский, Сочинения, т. IV, стр. 415.—Сборник Отд. русск. яз. и словесности Ак. наук, т. 50, СПб. 1895, статья «Литературный подлог» (по поводу сборника «Die Balalayka». Russische Volkslieder, gesammelt von J. Altmann, Berlin, 1863); в этой статье, перечисляя факты вопиющего невежества европейских авторов, пишущих о России, в вопросах русской культуры и литературы, Котляревский, между прочим, отметил: «Известный французский славянист Киприан Робер в одной из своих статей о России довольно подробно говорит о великом русском поэте Тшири (Tschiri)». На самом деле, речь идет о нескольких строчках в статье C. Robert, Les quatre littératures slaves. Renaissance des lettres dans l'Europe Orientale («Revue des Deux Mondes», 1852, t. XVI, p. 1135), с отзывом о книге Щирого (Chtchiri), Жизнь без горя и печали, СПб. 1845. И. М. Щирый—псевдоним писателя А. Ф. Погосского, названная книга которого, действительно, имела в то время успех.

[76] Эти статьи С. Робера следующие: 1) «Les quatres littératures slaves».—«Revue des Deux Mondes», 1852, t. XVI, p. 1116—1147; 2) «Le Gouslo et la poésie populaire des Slaves».—«R. D. M.», 1853, t. II, p. 159—1200; 3) «La poésie slave au XIX^e siècle, son caractère et ses sources».—«R. D. M.», 1854, t. VI, pp. 140—169.

[77] Луи Леже был слушателем Ходзько. В своих «Souvenirs d'un Slavophile 1863—1897», P., 1905, а также и в цитированной выше статье о славянской кафедре в Collège de France Леже сообщает некоторые довольно скудные данные о Ходзько.

[78] А. И. Герцен, Полн. собр. соч., т. XVII, стр. 178—217 (франц. текст), 217—259 (русский перевод); ранее русский перевод был дан в «Русском Богатстве», 1912, №№ 3 и 4.

[79] Мериме принадлежат переводы «Пиковой дамы», «Цыган», «Гусара», «Выстрела», «Ревизора», «Мцыри» (совместно с Тургеневым) и др. Кроме того, в «Revue des Deux Mondes» были напечатаны его статьи о Гоголе (1851, 15 ноября) и о «Записках охотника» (1854, 1 июля); см. Prosper Mérimée, Etudes sur la littérature russe, t. I, P., 1931 (под ред. H. Mongault, рецензия в «Revue critique», 1931, № 10, p. 475—476); t. II, P., 1932. О Мериме см. Anatole Winogradoff, Mérimée et la langue russe.—«Revue de littérature comparée», 1927, fasc. 4, pp. 747—751; А. К. Виноградов, Мериме в письмах к Соболевскому, М., 1928; Henri Mongault, Mérimée et Pouchkine.—«Le Monde Slave», 1930, t. IV, pp. 25—45 et 201—226; Henri Mongault, Mérimée, Beyle et quelques Russes.—«Mercure de France», 1928, от 1 марта; H. Mongault, Mérimée et l'histoire russe.—«Mercure de France», 1932, № 2; о Мериме и Гоголе: Louis Léger, Nicolas Gogol, P., 1914 (гл. XI, стр. 204—217, на стр. 209—215—перечень неправильностей в переводах Мериме из Гоголя); В. Горленко, Отблески. Заметки по словесности и искусству, гл. «Гоголь и иностранцы», 2-е изд., СПб. 1908, стр. 8—13; Eugène Duchesne, Mérimée et Gogol.—«Revue de littérature comparée», 1929, p. 140 etc. Кроме того, см. Nesselstrauss, Mérimée und die Russen.—«N. Zürcher Zeitung», 1927, 6 ноября, и W. Friedmann, P. Mérimée und die russische Literatur.—«Festschrift Wechsler», Jena, 1929.

[80] Мармье перевел «Бахчисарайский фонтан», «Метель», «Станционного смотрителя», «Героя нашего времени», «Шинель» и ряд произведений второстепенных писателей. О нем см. René Martel, Xavier Marmier: un précurseur ignoré des études slaves en France.—Сборник «Mélanges publiés en l'honneur de Paul Boyer», P., 1925, pp. 289—296.

[81] Из Пушкина Луи Виардо перевел: «Капитанскую дочку», драматические произведения, «Евгения Онегина» (прозой), «Дубровского» и др.; из Гоголя: «Тараса Бульбу», «Записки сумасшедшего», «Коляску», «Старосветских помещиков», «Вия» (перевод последнего впервые был напечатан в «Journal des Débats», 1845, №№ от 16, 17 и 18 декабря, со вступлением от редакции, характеризующим творчество Гоголя). Ср. Sainte-Beuve, «Premiers Lundis», P., 1879, t. III, p. 24—38—отзыв от 1. XII. 1845 о переводе Виардо и о встрече самого Сент-Бёва с Гоголем; из Тургенева были переведены Виардо «Первая любовь» и ряд более ранних повестей.

[82] Achille Tardif de Mello, Histoire intellectuelle de l'Empire de la Russie et des peuples européens et de leurs divers gouvernements, P., 1854. Рецензия об этой книге Н. И. Сазонова—в журнале «L'Atheneum Français» за 1855 г., № 8 (от 24 февраля). К работе над этой книгой автор, повидимому, приступил еще в 1836 г., когда переписывался по поводу нее с Пушкиным. См. П. Е. Щеголев, Пушкин и Тардиф. Неизданное и неизвестное.—«Звезда», 1930, № 7, стр. 232—240. Книга Тардифа представляет собою хрестоматию, сопровожденную малоценным опытом истории русской литературы; отзыв о ней Щеголева слишком снисходителен. О Тардифе см. также А. И. Герцен, Собр. соч. под ред. М. Лемке, т. XIII, стр. 581, 595.

[83] Делаво переводил преимущественно Тургенева (в «Revue des Deux Mondes», 1854—1858 гг.); там же помещены его статьи о русской литературе.

[84] См. рецензию на книгу Луи Леже о Гоголе—Ю. А. Веселовский, Французская книга о Гоголе.—«Вестник Воспитания», 1914, кн. IX.

[85] Alfred Rambaud, La Russie épique, P., 1875 (2-е изд. должно было выйти под ред. Э. Омана и Л. Леже в 1914 г. в изд-ве Maison-Neuve; осуществилось ли оно, установить не удалось). Эта работа представляла серьезный вклад в изучение русского эпоса. См. отзывы о ней: К. Н. Бестужев-Рюмин—«Журнал Министерства Народного Просвещения», 1876, кн. 9, отд. II, стр. 85—89; ср. «Вестник Европы», 1876, № 4.

[86] Paul Boyer, Louis Léger (13 janvier 1844—30 avril 1923).—«Revue des études slaves», 1923, fasc. 1—2, p. 128. О Леже см. также: В. И. Модестов, О Франции, 1889, стр. 253—273; П. А. Лавров, Памяти Л. Леже.—«Известия Русского Отделения Ак. Наук», 1923, т. XXVIII, стр. 427—441; Fr. Pastrnek, Louis Léger.—«Slavia», 1923—1924, Ročnik II, Sešit 2—3, str. 576—577; A. Mazon, Louis Léger. Nécrologue.—«Revue des études slaves», 1923, fasc. 1—2, pp. 170—171; A. Mazon, Les études slaves.—«La Science française», 2-e éd., P., 1933, pp. 454—455; здесь же на стр. 468—наиболее подробный список отдельно изданных трудов Леже.

[87] «Журн. Мин. Нар. Пр.», 1904, № 12, отд. Современная Летопись, стр. 113. Ср. статью L. Léger, Les études russes en France.—«La Russie», éd. P. Larousse, P., 1892.

[88] О Вогюэ, как руссоведе, см.: A. Mazon, Le vicomte Eugène-Melchior de Vogüé et les études russes.—«Revue des études franco-russes», 1910, № 4, от 15 апреля, pp. 137—144. Недавно вышедший дневник E.-M. de Vogüé, Journal. Paris—Saint-Pétersbourg, 1871—1883, P., 1932, остался мне недоступен, равно как и работа Léon Le Meur, L'adolescense et la jeunesse d'Eugène-M. de Vogüé, P., 1932. Наиболее полная библиография о Вогюэ дана в диссертации E. Tillmann, Eugène-Melhior de Vogüé. Seine Stellung in der Geistesgeschichte der Zeit, Bonn, 1934, 94 Ss.

[89] И. Д. Гальперин-Каминский, Руссоведение во Франции.—«Русская Мысль», 1894, № 9, отд. 2, стр. 36—40.

[90] L. Léger, Les études russes en France.—«La Russie», éd. Larousse, P., 1892, p. 483.

[91] A. Mazon, Les études slaves.—«La Science française», 2-e éd., t. II, p. 457.

[92] Ср. Violet le Duc, L'art russe, P., 1877; C. Cui, La musique en Russie, P., 1880; Alb. Soubiès, La musique en Russie, 1898; более поздние работы L. Réaux о русской архитектуре и искусстве.

[93] О нем см. Louis Léger, La Russie intellectuelle, P., 1914, pp. 83—84; ср. также «Журн. Мин. Нар. Пр.», 1886, № 10, стр. 416—417.

[94] О Гальперине-Каминском см. «Исторический Вестник», 1892, т. L, декабрь, стр. 855—857; ср. также С. А. Венгеров, Источники Словаря русских писателей, СПб. 1900, стр. 694. Умер Гальперин-Каминский в 1936 г.

[95] Резко отрицательный отзыв о книге Léon Sichler см. П. О. Морозов, Иностранные сочинения о русской литературе.—«Журн. Мин. Нар. Пр.», 1887, ч. 251, кн. 5, отд. II, стр. 179—181.

[96] О книге Ernest Dupuy см. В. Горленко, Отблески. Страницы литературы и искусства, 2-е изд., СПб. 1908, стр. 13—15.

[97] О Wyzéwa неоднократные упоминания в «Письмах из Парижа» Л. Леже; ср. также статью З. А. Венгеровой («Вестник Европы», 1895, № 10) о книге Т. де Визева «Наши учителя».

[98] Об Arvède Barine несколько упоминаний у Леже в «Письмах из Парижа» и статья Ch. Salomon, L'Abécédaire de Tolstoï et Arvède Barine.—«Mélanges publiés en l'honneur de Paul Boyer», P., 1925, pp. 49—60.

[99] Русский перевод—Э. Род, Идеалистическая реакция во французской литературе.—«Русский Вестник», 1893, № 1, стр. 135—157.

[100] Частичный русский перевод книги Emile Hennequin—см. Вогюэ и Геннекен, Граф Л. Н. Толстой, М., 1892.

[101] Эпизод этот послужил темой для специального этюда—М. К. Клеман, «Записки охотника» и французская публицистика 1854 года.—Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А. С. Орлова, Л., 1934, стр. 305—314. Перевод Шарьера выдержал до 1912 г. еще 12 изданий; за это же время вышло еще 6 других переводов «Записок охотника», а в последние годы появилось еще 6 переводов. Материал для характеристики роли Тургенева в истории взаимного литературного изучения России и Франции см. также в настоящем издании: А. Мазон и М. Горлин, Неизданные письма И. С. Тургенева к Дюкану, Флоберу и Эд. Гонкуру (т. II, стр. 663—706) и М. К. Клеман, И. С. Тургенев и Проспер Мериме (т. II, стр. 707—752). Ср. М. К. Клеман, Эмиль Золя. Сборник статей, ГИХЛ, Л., 1934, стр. 167—171.

[102] Ср. М. Алданов, Толстой и Роллан, П., 1915. Об интересе к Толстому и его влиянии во Франции см. также в настоящем издании: М. Чистякова, Лев Толстой и Франция (т. II, стр. 981—1025).

[103] Библиографию переводов Салтыкова-Щедрина на французский язык см. С. Макашин, Щедрин в иностранной литературе.—«Литературное Наследство», 1934, № 13—14, стр. 673—698.

[104] Jules Lemaître, De l'influence récente des littératures du Nord.—«Revue des Deux Mondes», 1894, 15 декабря; перепечатано в «Les Contemporains», IV.

[105] Библиографию франко-русского союза (на иностр. языках) см. R. J. Kerner, Slavic Europe. A selected bibliographie in the Western European languages, Cambridge, Harvard University Presse, 1918, pp. 59—60. На русском языке см. М. Н. Покровский, Дипломатия и войны царской России в XIX столетии, М., 1923; М. Н. Покровский, Внешняя политика в России в XX в., М., 1926.

[106] О Камена д'Альмейда см. «Revue des études russes», 1899, № 1, p. 26; «Журн. Мин. Нар. Пр.», 1898, № 11, Совр. Лет., стр. 11. В 1932 г. он выпустил в издательстве Colin, в серии «Géographie universelle», том пятый—«Russie d'Europe et d'Asie».

[107] «Revue des études russes», 1899, № 1, pp. 26—27 suiv., № 2, p. 60; J. Patouillet, Les études russes contemporaines en France.—«Известия АН, VI серия», 1916, № 18; A. Mazon, Les études slaves.—«La Science française», P., 1933, 2-e éd., t. II.

[108] Его работы: Charles de Larivière, L'Alliance franco-russe, P., 1887; Catherine II et la Révolution française, d'après des nouveaux documents, P., 1895; La France et la Russie au XVIII[e] siècle. Etudes d'histoire et de littérature franco-russe, P., 1909.

[109] Речи их напечатаны в выпущенном Обществом любителей российской словесности при Московском университете сборнике «Гоголевские дни в Москве», М., 1909.

[110] С. В. Соловьев, Современное положение русского языка и литературы во Франции.—«Вестник Харьковского Историко-Филологического Общества», 1912, вып. II, стр. 24—26.

[111] См. «Mélanges publiés en l'honneur de Paul Boyer», P., 1925, p. V; об Институте см. Jules Patouillet, Les études russes contemporaines en France.—«Изв. АН, VI серия», 1916, № 18, стр. 1783 сл.

[112] См. «Revue des études slaves», 1929, fasc. 1—2, p. 216.

[113] Недавно умерший Дюшен (Eugène Duchesne)—автор: 1) M. J. Lermontov, sa vie et ses œuvres, P., 1910 (русский—неполный перевод: «Поэзия М. Ю. Лермонтова в ее отношении к русской и западно-европейской литературам», Казань, 1914); 2) Le Stoglav ou les cent chapitres, P., 1920; 3) Le Domostroï, P., 1925.

[114] Не следует упускать из виду и ряда работ литературоведческого характера, принадлежавших перу переводчиков и литераторов: Jacques Flach, Un grand poète russe. A. Pouchkine, P., 1894; Osip Lourié, Psychologie des grands romanciers russes du XIX[e] siècle, P., 1905; Tolstoï, La vie de Tolstoï, l'œuvre, le tolstoïsme. Tolstoï et son temps, P. (s. a.); Pierre Korvin-Krukovski, Le théâtre en Russie depuis ses origines jusqu'à nos jours, P., 1890; Serge Persky, Les maîtres du roman russe contemporain, P., 1912. Также переводы и статьи Ш. Саломона, Ж. Шюзвиля, Д. Роша и др. Большое значение имеют публикации Гальперина-Каминского писем Тургенева к Полине Виардо и к ряду французских корреспондентов.

[115] Georges Michon, L'Alliance franco-russe 1891—1917, P., 1927, p. 304. В этой работе собран интересный архивный и газетный материал.

[116] «Историк-Марксист», 1933, № 1, стр. 144—146, отмечает антисоветский характер этого журнала.

[117] «Revue des études slaves», 1927, fasc. 3—4, pp. 175—176. В последующих номерах этого журнала в отделе информации дается хроника этого общества.

[118] Кроме упомянутой раньше статьи «Pouchkine en France» («Le Monde Slave», 1918), см. Louis Jousserandot, Les bylines russes. Introduction, traduction et commentaires, P., 1927; кроме того, им дан новый перевод «Войны и мира» Л. Толстого, а также ряд других переводов.

[119] А. Монго занимается, главным образом, П. Мериме и его связями с русской литературой. Под редакцией Монго в издательстве Броссар вышли переводы русских авторов: 1) Théâtre de Tourguénev; 2) Théâtre tragique de Mérežkovskii; 3) «Le Duel» de A. Kouprine; 4) «Le Village» de I. Bounine; 5) «Le Démon mesquin» de Th. Sologub; 6) «Les Tchouraïev» de Jouri Grébenščikov.

[120] См. «Записка об ученых трудах проф. А. Мазона».—«Известия АН СССР, Отделение Гуманитарных Наук», 1928, № 8—10, стр. 466—470. См. также Н. Ф. Сумцов, Научные труды А.-А. Мазона.—«Южный Край», 1914, № 11963.

[121] Важнейшие рецензии на книгу Мазона о Гончарове: Ф. Д. Батюшков—«Журн. Мин. Нар. Пр.», 1914, № 9; Е. А. Ляцкий—«Изв. Отд. Русск. Яз. и Сл. АН», 1914, т. XIX, кн. 4, стр. 284—293; М. Ф. Суперанский—«Голос Минувшего», 1914, № 7.

[122] О Легра см. «Журн. Мин. Нар. Пр.», 1898, № 11, Совр. Лет., стр. 11; 1899, № 4, Совр. Лет., стр. 109; «Revue des études slaves», 1929, fasc. 1—2, p. 216; «Гоголевские дни в Москве», М., 1909, стр. 75—79. Важнейшие работы Легра по русской литературе: «La littérature en Russie», P., 1929 (рецензия А. Мазона—«Revue critique», 1929, pp. 524—527); об искусстве Гоголя («Revue des cours et conférences», 1931); о Толстом («Le Monde Slave», 1928, № 8). С автобиографической книгой Легра «Mémoires de Russie», P., 1921, познакомиться не удалось.

[123] Jules Legras, Au pays russe, P., 1895 (4-e éd., 1910); J. Legras, En Sibérie, P., 1898 (3-e éd., 1913); J. Legras, L'âme russe, P., 1914. Ср. И. Эренбург, Русская душа.—«Известия», 1934, от 28 октября.

[124] «Горькая судьбина» Писемского вышла не в 1863 г., а в 1859 г.; дебют Горького относится не к 1894 г., а к 1892 г.; Брюсов умер не в 1927 г., а в 1924 г.; В. Соловьев не участвовал в «Козьме Пруткове» и т. п.

[125] Андре Лирондель—с 1930 г. ректор Академии в Лионе, а до того в Клермон-Ферране (см. «Revue des études slaves», 1927, fasc. 1—2, p. 176), ранее проф. в Лилле

(после E. Haumant, с 1902 г.). О Лиронделе см. также «Гоголевские дни в Москве», 1909, стр. 74—75.

[126] Рецензии о книгах Лиронделя см. «Русская Мысль», 1913, № 3; «Русский Библиофил», 1913, № 3, стр. 101; № 4, стр. 90; «Русское Богатство», 1913, № 6; «Исторический Вестник», 1913, № 6; «Речь», 1913, № 295 от 28 октября; кроме того, перечень рецензий о книге Лиронделя об Алексее Толстом см. В. Н. Бенешевич, Обозрение трудов по славяноведению, 1913, вып. II, стр. 402.

[127] Перечень рецензий на книгу Патуйе см. В. Н. Бенешевич, op. cit., вып. II, стр. 389.

[128] Н. К. Пиксанов, Островский. Литературно-театральный семинарий. Иваново-Вознесенск, 1923, стр. 22—24; «Лит. Энциклопедия», т. VIII, стр. 479—480, где имя Патуйе указано ошибочно Жорж—следует Жюль.

[129] См. его некролог, написанный А. Мазоном в «Revue des études slaves», 1931, fasc. 3—4, pp. 283—286, и предисловие П. Буайе к книге А. Мартеля о Ломоносове, pp. I—III.

[130] Ломоносов, Сочинения, изд. Академии наук, т. I, стр. 12—13.

[131] Пушкин—La fille de capitaine, Nouvelles; Лермонтов—Un héros de notre temps; Гоголь—Récits de Pétersbourg, Le portrait; Тургенев—Premier amour, Nouvelles, Poèmes en prose; Достоевский—L'éternel mari, Contes fantastiques; Толстой—Hadji-Mourad; Лесков—Le vagabond ensorcelé; Чехов—Une morne histoire; сборник «De Pouchkine à Tolstoï».

[132] Об этой серии см. «Revue des études slaves», 1927, fasc. 3—4, p. 280; пока, насколько удалось установить, вышли «Мертвые души», «Дневник писателя», «Четыре книги для чтения», «Идиот», «Преступление и наказание».

[133] В эту серию вошли: Вс. Иванов—Le train blindé numéro 1469, 1927 (5-e éd.); Л. Сейфуллина—Virineya, 1927 (5-e éd.); В. Катаев—Rastratchiki, 1928; А. Неверов—Tachkent ville d'abondance, 1928 (6-e éd.); К. Федин—Les cités et les années, 1930 (3-e éd.); М. Зощенко—La vie joyeuse, 1931 (3-e éd.) и др. Помимо этой серии, переводы советских авторов печатались в серии «Horizons». См. «Иностранная Книга», №№ 2 и 3, 1935, стр. 65—73; 56—66.

[134] К старым работам, как, например, Gaston Loygue, Un homme de génie. Etude médico-psychologique sur Dostojévsky, Lyon, 1904, присоединяются новые, вроде Serge Persky, La vie et l'œuvre de Dostojévsky, P., 1918; Idem, Les trois épouses (о Н. Н. Пушкиной, С. А. Толстой и А. Г. Достоевской), P., 1932; 2-e éd., 1933; André Suarèz, Trois hommes: Pascal, Ibsen, Dostojévsky, P., 1919; Idem, Dostojévsky, P., s. a. и др. Русская литература о Достоевском во Франции: М. Зайдман, Ф. М. Достоевский в западной литературе, Одесса, 1911 (библиография, стр. 125—126), изд. 2-е, 1916; Риза-Заде, Ф. Достоевский и современная французская литература.—«Печать и Революция», 1927, кн. 6; Idem, Ф. Достоевский в западной критике.—«Литература и Марксизм», 1929, кн. III; Вережков, Ф. Достоевский на Западе.—Сборник «Достоевский», ГАХН, М., 1928, стр. 277—327; см. также «Литература и Марксизм», 1928, кн. V (библиография, стр. 104—106). Переводы Достоевского на французский язык до 1903 г. см. А. Г. Достоевская, Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского, СПб. 1906, стр. 232—235; ср. Ibid., стр. 235—240 и 332, а также Vl. Boutchik, Bibliographie des œuvres littéraires russes traduites en français, P., 1934, pp. 50—59.

[135] См. «Иностранная Книга», № 2, 1935, стр. 67—68. Больше всего переводились: «Мать»—«La mère», P., 1927; P., 1929; P., 1934; P., 1936 (Préface de Romain Rolland); «В людях»—«Le patron», P., 1921, «En gagnant mon pain. Mémoires autobiographiques», P., 1923; «В. И. Ленин»—«V. I. Lénine», P., 1920; Lénine et les paysans russes, P., s. a. 2-e éd., 1925; «Детство»—«Ma vie d'enfance», P., 1921; «Souvenirs d'enfance», P., 1927; «Бродяги»—«Les vagabonds», P., 1921; P., 1928; P., 1931.

[136] Из более ранних библиографических работ можно указать: Gr. Ghennadi, Les écrivains franco-russes, Dresden, 1874, G. Lanson, Manuel bibliographique de la littérature française moderne, nouv. éd., P., 1925, pp. 562, 563, 605, 938, 963, 1125—1128, 1177—1183. Ср. также Louis-P. Betz, La littérature comparée. Essai bibliographique. 2-e éd., Strasbourg, 1904, pp. 249—256.

ФРАНЦУЗСКИЕ ПИСАТЕЛИ В ОЦЕНКАХ ЦАРСКОЙ ЦЕНЗУРЫ

Очерки И. Айзенштока

Публикация материалов Л. Полянской и И. Айзенштока

История царской цензуры до сих пор не написана, и хотя материалов для нее собрано немало, нельзя сказать, что в понимании этой истории мы далеко ушли от анекдотическо-беллетристических воспоминаний, от буржуазно-либеральных схем и штампов, имеющих уже многолетнюю и малопочтенную давность. Еще в 1904 г. М. Ольминский в осторожных терминах, рассчитанных на придирчивое внимание как строгой цензуры, так и всеведущего жандармского управления, выразил мысль, что «причины той или иной системы действий по отношению к печати нужно искать не в произволе лиц и учреждений, а в условиях, которые определяют общий характер жизни в стране,—в той стадии экономического развития, на которой стояла жизнь народа» (статья «Свобода печати» в журнале «Правда», 1904, № 10). Эта мысль,—о классовом характере всего законодательства о печати (и, в частности, конечно, о классовом характере цензуры), о необходимости изучения всей системы царской цензуры, как аппарата классового господства и угнетения, не ограничиваясь собиранием отдельных фактов цензурного произвола, коллекционированием анекдотических «подвигов» отдельных цензоров,—эта мысль в настоящее время едва ли вызовет среди советских исследователей принципиально какие-либо возражения. Между тем, практически изучение царской цензуры до сих пор продолжает итти именно по этому порочному пути, давая лишь более или менее яркие бытовые иллюстрации для историка русской литературы и общественной мысли. В большинстве работ по истории царской цензуры, вплоть до сегодняшнего дня, почти вовсе отсутствует изучение самого существа, организма царской цензуры, как аппарата классово-политического гнета, как одного из орудий жандармско-полицейского управления вопросами культуры и, в частности, литературы. И если до недавнего времени ощутительным и явным препятствием для изучений подобного рода являлся довлевший в исторической науке схематизм школы Покровского, то сегодня эти изучения должны, очевидно, занять свое место в ряду иных конкретных исторических изучений, настоятельную необходимость которых подчеркивают известные постановления ЦК ВКП (б). В частности, изучение царской цензуры может существенно помочь уяснению «контрреволюционной роли русского царизма во внешней политике со времени Екатерины II до пятидесятых годов XIX столетия и дальше («царизм, как международный жандарм»)» (замечания товарищей И. Сталина, А. Жданова, С. Кирова по поводу конспекта учебника по истории СССР).

В самом деле, для развития тезиса о контрреволюционной роли русского царизма во внешней политике история царской цензуры дает достаточно яркие и убедительные материалы. Именно на цензуру,—точнее, на целый ряд учреждений и установлений, носивших цензурные функции,—ложилась в общей бюрократической системе Российской империи задача борьбы с «революционной заразой», заносимой извне,

с Запада, борьбы с теми идеологическими влияниями, которые могли породить в умах «благополучных россиян» какие бы то ни было сомнения в незыблемости, непреложности существующего строя, существующего порядка вещей. Борьба эта в разные времена приобретала различные формы, проводилась под различными лозунгами и в различных видах, но по смыслу своему всегда оставалась борьбой реакционных, охранительных сил с прогрессивными, демократическими и, тем более, революционными веяниями и настроениями, просачивавшимися в царскую Россию, несмотря на всяческие—явные и тайные—преграды и рогатки.

В настоящей работе мы используем материалы французской литературы в отражении и преломлении царской цензуры почти за весь период ее существования. Сделать это тем более интересно и полезно, что именно французская литература всегда являлась в представлении правящих кругов царизма носительницей прогрессивных, буржуазно-демократических идей и настроений, особенно для них ненавистных, особенно ими преследуемых.

Предлагаемая вниманию читателя работа является первой в литературе сводкой и одновременно первой систематической публикацией обширных материалов царской цензуры о произведениях французских писателей. Это обстоятельство, в ряде случаев, не могло не отразиться отрицательно на полноте и яркости содержания публикации. Еще далеко не все материалы, относящиеся к нашей теме, выявлены и учтены. Однако, общую картину отношения царской цензуры к главным направлениям и крупнейшим именам французской литературы наши материалы дают, а показать эту картину, хотя бы и неясную еще в ряде деталей, и являлось нашей основной задачей в данной работе.

Публикуемые документы в подавляющем большинстве хранятся в Архиве внутренней политики, культуры и быта Ленинградского отделения Центрального исторического архива РСФСР (ЛОЦИА), в фондах Центрального (до 1893 г. С.-Петербургского) комитета цензуры иностранной, С.-Петербургского цензурного комитета, Главного управления по делам печати, Главного управления цензуры и Драматической цензуры (в том числе цензурной экспедиции III отделения собственной е. и. в. канцелярии). Отдельные документы извлечены нами из других хранилищ, а также из печатных публикаций.

I. ВОЛЬТЕР—РУССО—ДИДРО

Широкое знакомство русского читателя с французской литературой начинается в середине XVIII в., когда могучей волной хлынули переводы французских романов, когда французская просветительная философия, в своих наиболее выдающихся представителях, начинает находить горячих и активных русских адептов, когда впервые галломания перерастает рамки чисто литературного увлечения и входит в быт.

Строгие ревнители литературных канонов относятся к этому потоку французской беллетристики с большим предубеждением, отказывая ей, вслед за Ломоносовым, в какой бы то ни было художественности (французские романы,—писал Ломоносов,—«все составлены от людей неискусных и время свое тщетно препровождающих»), считают, что она служит «только к развращению нравов человеческих и к вящему закосновению в роскоши и плотских страстях»[1]. Но эти единичные голоса, эти строгие и суровые оценки совершенно теряются в более широких увлечениях и не оказывают сколько-нибудь ощутительного влияния на дальнейшее распространение в России французских романов.

Еще более поразительна распространенность увлечения французской просветительной философией, получившей в обиходе ходячее название «вольтерьянства». Если для небольшой кучки представителей дворянской фронды «вольтерьянство» явля-

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ИЗДАНИЯ „ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ“ ВОЛЬТЕРА В ПЕРЕВОДЕ В. ЗАЙЦЕВА, 1868 г., ПОДВЕРГАВШЕГОСЯ РЕЗКИМ НАПАДКАМ ДУХОВНОЙ ЦЕНЗУРЫ

ФИЛОСОФІЯ
ИСТОРІИ
сочиненіе
Фр. М. ВОЛЬТЕРА
переводъ съ французскаго подъ редакціею
В. ЗАЙЦЕВА
С.-ПЕТЕРБУРГЪ
1868

лось, как показал недавно Г. А. Гуковский, идейным оружием в политической борьбе за расширение прав «народа», т. е., в основном, дворянства же, и основывалось на глубоком и тщательном изучении источников[2], то для большинства читателей увлечение это было только внешней данью моде и зачастую имело своей основой лишь поверхностное знакомство с одной-двумя случайными книгами. Казанова рассказывает,— и в данном случае мы можем ему поверить, ибо его рассказ подтверждается другими мемуаристами,—что русский перевод «Философии истории» («Philosophie de l'histoire») Вольтера, посвященной Екатерине II, был раскуплен в течение недели. «Каждый русский, читающий по-французски, носил книгу в кармане, словно молитвенник или катехизис. Особы высшего круга только и бредили Вольтером и божились не иначе, как его именем. Прочитав его, они считали себя обладателями знаний самобытных и всесторонних, почти наравне со своим учителем... Фернейский патриарх был в их глазах—альфа и омега всякого знания и всякой премудрости»[3].

Это увлечение французской литературой и философией, как известно, возглавлялось и поощрялось самой Екатериной; однако, размеры, которые приняло это увлечение, заставили ее, уже в самом начале царствования, задуматься о средствах его ограничения, об установлении специальной цензуры ввозимых в Россию (и переводимых безвозбранно) книг. «Слышно,—писала она в именном повелении генерал-прокурору Глебову 6 сентября 1763 г.,—что в Академии Наук продают также книги, которые против закона, доброго нрава, нас самих и российской нации, которые во всем свете запрещены, как например: Эмиль Руссо, Мемории Петра III, Письма жидовина по французскому и много других подобных. А у вольных здешнего и московского городов книгопродавцов, думать надобно, что еще более есть таких книг, которые служат к преобращению нравов, по той причине, что оные лавки ни под чьим ведомством не состоят. И так надлежит приказать наикрепчайшим образом Академии Наук

иметь смотрение, дабы в ее книжной лавке такие непорядки не происходили, а прочим книгопродавцам приказать ежегодно реестр посылать в Академию Наук и университет московский, какие книги они намерены выписывать, а оным местам вычернивать в тех реестрах такие книги, которые против закона, доброго нрава и нас. А если после того сыщется преступник сему в продаже таких книг, то конфисковать всю лавку и продать на счет сиропитального дома»[4].

Академия наук, не осмеливаясь ослушаться царского приказа, приняла на себя цензурные функции, выработав свои «предложения» для борьбы с ввозом «вредных» книг; «предложения» эти заслуживают внимания, как первая попытка сформулировать признаки «вредной» книги, подлежащей условному или безусловному запрещению. К последним Академия предполагала относить лишь следующие: «1) которые явно опровергают основания христианской веры и гражданского общества, 2) соблазнительные и честные нравы повреждающие, 3) пасквили и сатирические сочинения, предосудительные государству и чести народной или некоторым персонам особливо». «К сумнительным книгам,—говорилось дальше в «предложении»,—о которых дóлжно наперед доложиться и истребовать повеления, причтены быть могут особливо из политических те, в которых сочинители, либо по пристрастию какому-либо, либо по неимению достовернейших известий, ложно писали о России. Однако, благоразумие советует, чтобы, последуя в том примеру других государств, не причислять их к действительно запрещаемым, а наблюдать только, чтоб на продажу вывозимы не были». Наконец, совсем не подлежат, по мнению Академии, запрещению такие книги, «которые в основаниях своих хотя не сходствуют с нашею формою правления, или со мнениями восточной церкви, однако, дозволены во всех европейских и христианских землях; також прежних и нонешних времен писатели исторические и политические, которые между прочими и в Европе достопамятными приключениями, упоминая и о России, погрешили незнанием, или писали, утверждаясь на ложных и пристрастных известиях, а хотя бы наконец и нашлось, что о явно прошедших временах предосудительное, однако, разумные читатели тем тронуты не будут, особливо, когда прочее, к знанию полезное, несравненно превосходить будет усмотренные неисправности»[5].

Эта апелляция к «разумным читателям», чрезвычайно характерная для всей эпохи, еще яснее выступала в заключительных пунктах «предложения», где говорилось: «За твердое правило принять можно, что добродетельно воспитанные и страх божий в сердце имеющие люди, хотя б каким случаем и попались им в руки подлежащие запрещению книги, тем не поколеблются в благонравии и в должностях своих к закону и обществу, а злонравные—и без читания оных к худым делам и развращенным мнениям всегда поползновение иметь будут». Не менее характерно было и утверждение о том, что «успехам наук и просвещению человеческого разума ничто столько препятствовать не может, как отнятие свободности в читании всяких книг»[6].

Во всяком случае, никаких сколько-нибудь ощутительных результатов эта ранняя попытка цензурной борьбы с иностранными, в основном французскими, книгами не имела, да и не могла иметь, поскольку самые цензурные функции навязывались Академии наук, не имевшей в своем распоряжении соответствующего цензорского аппарата и нисколько не заинтересованной в каком-либо ограничении как ввоза самих иностранных книг, так и русских их переводов. В течение ряда лет борьба со всякого рода вольнодумством, «вольтерьянством» выражалась исключительно в отдельных нападках на «энциклопедистов» и «свободных философов», нападках, направленных с церковной кафедры или из некоторых журнальных редакций (например, «Собеседник» и др.).

Впрочем, несмотря на эту относительную свободу, сами переводчики далеко не всегда решались на полный перевод того же Вольтера и зачастую фактически оказывались теми же цензорами, устранявшими из переводимых произведений всё казав-

шееся им недопустимым, даже присочинявшими новые эпизоды, новые примеры в философских рассуждениях и, таким образом, существенно изменявшими самое существо вольтеровского творчества. Так, например, в статье «Утешение в печали» («Смесь», 1769, лист II, стр. 9 и сл.), являющейся переводом-переделкой «Les deux consolés» Вольтера, переводчик выпустил ряд исторических примеров несчастной судьбы некоторых высокопоставленных женщин: рассказ об Анне Неаполитанской заменен в переводе рассказом о казни Анны де Булен (Анны Болейн), рассказ же о приключениях государыни, которая была низвергнута с престола ночью, после ужина, и умерла на пустынном острове (Вольтер имел здесь в виду правительницу Анну Леопольдовну), был и вовсе исключен. Одновременно в переводе совершенно пропал иронический тон рассказов Вольтера, скрытая насмешка над всеми теми высокопоставленными особами, о чьих судьбах он повествует. В той же «Смеси» (1769, лист III, стр. 17 и сл.) помещена «Индейская повесть»—перевод «Aventure indienne» Вольтера. В переводе наново присочинен весь конец рассказа—вместо оригинального окончания, в котором Вольтер смеется над духовенством, глумится над рассказами писания, издевается над религиозными догматами и т. д. Насколько строгой в данном случае оказалась цензура переводчика, видно хотя бы из того, что оба произведения Вольтера были несколько позднее беспрепятственно переведены полностью Рахманиновым в томе «Аллегорических, философических и критических сочинений г. Вольтера» (СПб. 1784)[7].

Очевидно, в данном случае имели место недоверие к «либерализму» правительства, допускавшего, как будто, без специальной цензуры переводы большинства произведений Вольтера, неуверенность в возможности их свободного распространения в России. Симптоматичной поэтому представляется нам позднейшая (1793 г.) жалоба Е. Болховитинова (впоследствии известного митрополита Евгения) на широкое распространение «письменного Вольтера»: «Любезное наше отечество, — писал он, — доныне предохранялось еще от самой вреднейшей части вольтерова яда, и мы в скромной нашей литературе не видим еще самых возмутительных и нечестивейших вольтеровых книг; но, может быть, от сего предохранены только книжные наши лавки, между тем как сокровенными путями повсюду разливается вся его зараза. Ибо письменный Вольтер становится у нас известен столько же, как и печатный»[8]. И распространенность «письменного Вольтера»,—а наряду с ним и Руссо, и энциклопедистов,—становилась всё большей по мере того, как «либеральные» настроения Екатерины испарялись под влиянием крестьянских восстаний, затем Французской революции, по мере того, как в литературе усматривала она источники политического вольнодумства.

В последние годы жизни Екатерины на имя П. Д. Еропкина отправляется особый рескрипт «не печатать новое издание сочинений Вольтера без цензуры и апробации московского митрополита»[9], а через генерал-прокурора Самойлова посылается в Тамбов предписание конфисковать полное собрание вольтеровских произведений (упоминавшийся выше перевод Рахманинова), как «вредных и наполненных развращением»[10]. И, отвечая волне реакционных веяний и резкому поправению правительственного курса, в литературе появляется целый поток памфлетов, переводных и собственного, отечественного производства, направленных против «энциклопедистов» и «свободных философов» и, в первую очередь, против самого Вольтера. Поток этот захватывает и начало нового века[11].

Наряду с этим намечаются и более широкие, уже собственно цензурные, мероприятия, направленные, с одной стороны, к недопущению слишком подробных и откровенных сообщений о событиях во Франции, с другой—к дальнейшему ограничению ввоза иностранных книг, как источника вольнодумства и революционных настроений. Так, например, в 1791 г. «Санктпетербургские Ведомости» получили предписание «сократительнее переводить о суматохе, во Франции ныне царствующей, и не упускать прибавлять известие или примечание, колико их колобродство им самим вредно»[12]. А год

спустя небезызвестный князь А. Прозоровский «всеподданнейше просил» Екатерину (письмо от 20 мая 1792 г.), чтобы она «повелеть изволила» «положить границы книгопродавцам книг иностранных и отнять способы еще на границах и при портах подобные сему книги вывозить, а паче из расстроенной ныне Франции, служащие только к заблуждению и разврату людей, не основанных в правилах честности». И дальше: «Я хотя все меры к сему взял, всемилостивейшая государыня, но довольно способов не достает совершенно еще удержать, паче потому, что они [книгопродавцы] таковые книги продают скрытно, а тем вводят многих в любопытство их покупать, и, без ошибки сказать, всемилостивейшая государыня, можно, что все, какие только во Франции печатаются книги, здесь скрытно купить можно»[13].

Нам неизвестны в точности практические результаты этих предложений; повидимому, дело не пошло далее отдельных, более или менее случайных запрещений и конфискаций, силами полиции, без специальной организации самостоятельного цензурного аппарата. И только в 1796 г. «в прекращение разных неудобств, которые встречаются от свободного и неограниченного печатания книг», был издан указ об учреждении в ряде городов цензур как для просмотра книг, печатающихся внутри империи, так и привозимых из-за границы. В отношении этих последних указ гласил, что «никакая книга не может быть ввезена без подобного осмотра», и предлагал «подвергать сожжению» те из книг, «кои найдутся противными закону божию, верховной власти, или же развращающие нравы»[14]. В виде комментария к последним словам, можно указать, что в современной охранительной печати (например, в предисловии к «Новейшему повествовательному землеописанию всех четырех частей света», СПб. 1795), в качестве наиболее характерных примеров книг, «поглощающих ум и благонравие растлевающих», назывались «Фобласы..., Новые Элоизы, Кандиды и т. д.», т. е. преимущественно произведения всё той же французской литературы.

Практически мероприятия, предусмотренные указом 1796 г., были осуществлены уже в новое царствование, по непосредственным указаниям самого Павла, ненависть которого к иностранным книгам и, в особенности, к «французской заразе» слишком общеизвестна, чтобы о ней следовало еще распространяться. Не довольствуясь уже принятыми мерами, Павел дает 17 мая 1798 г. именной указ Сенату: «О устроении цензуры при всех портах; о непропуске без позволения оной привозимых книг и о наказании за непредставление цензорам получаемых газет, или иных периодических сочинений и за пропуск вредных книг»—указ, всецело направленный против французской политической прессы и французской литературы. «Правительство, ныне во Франции существующее, желая распространить безбожные свои правила во все устроенные государства, ищет развращать спокойных обитателей оных сочинениями, наполненными зловредными умствованиями, стараясь те сочинения разными образами рассеивать в обществе, наполняя даже оными и газеты свои». «Подтверждая ныне прежде сего состоявшиеся указы о сочинениях французских, под именем Монитера известных, да и других такого рода издаваемых вообще в областях под обладанием Французским состоящих, видя также, что многие газетчики отступают от прямой цели должности своей и ищут, по подущению и французов, или же по собственным своим дурным расположениям, подражать им, и что, к сожалению, власти некоторые взирают на сие спокойным духом», указ предписывал ряд строгих запретительных мер против проникновения французской прессы в пределы Российской империи, подчеркивая, что за ослушание будут подвергаться строжайшим наказаниям как лица, непосредственно получающие или провозящие французские газеты, так и начальствующие в почтамтах и цензоры, «коль скоро пропустят вообще сочинения в местах под обладанием Французским составленные, или же другие, в коих найдется что-либо оскорбляющее закон божий, верховную власть и общее устройство»[15]. Некоторое же время спустя, 18 апреля 1800 г., новым указом был и вовсе воспрещен

ввоз иностранных книг: «Так как чрез вывозимые из заграницы разные книги наносится разврат веры, гражданского закона и благонравия, то отныне впредь до указа повелеваем запретить впуск из заграницы всякого рода книг, на каком бы языке оные ни были, без изъятия, в государство наше, равномерно и музыку»[16].

На практике установление строгого цензурного заслона от Запада и Франции, прежде всего, привело к небывало резкому увеличению контрабандного провоза и распространения литературы из-за границы. Контрабанда просачивалась отовсюду, и никакие рогатки, никакие запреты остановить ее не были в силах. «И так как,—говорит Шторх,—итти на такой риск, какой связывался с ввозом книг, стоило только для самых пикантных вещей, то строгость мер была причиной, что из всех литературных произведений приходили в империю только такие, по поводу которых запрещение и было, главным образом, сделано. Некоторые букинисты, в числе которых были также и эмигранты, занимались этим опасным, но прибыльным промыслом с неслыханною смелостью. Их склады были известны почти всякому, и, однако, не нашлось ни одного доносчика»[17].

Особенно свирепствовала рижская цензура, через которую, главным образом, и проходили иностранные книги и которой ведал Ф. О. Туманский, первым из цензоров удостоившийся своеобразного бессмертия за свои цензурные «подвиги». Вот несколько заключений его о французских книгах. О «Нравственных рассказах» А. Лафонтена: «Довлеет воспретить; на стр. 159 автор осмеливается говорить о постыдности искать чинов, унижая себя перед златом, или высшею степенью негодяя». О книге Prudhomme «Les crimes des reines de France, depuis le commencement de la monarchie, jusqu'à Marie

ОТНОШЕНИЕ КОМИТЕТА ДЛЯ ЦЕНЗУРЫ ДУХОВНЫХ КНИГ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 1870 г. В ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЗЪЯТИЯ РЯДА СТРАНИЦ ИЗ КНИГИ „РОМАНЫ И ПОВЕСТИ ВОЛЬТЕРА. ПЕРЕВОД ДМИТРИЕВА“

Ленинградское отделение Центрального исторического архива (ЛОЦИА)

Antoinette»: «Титул книги, мотто под заглавною карикатурою и приложенные изображения доказывают дерзкую и злобную цель, так что ни единой страницы без содрогания читать было нельзя, следственно, выписывать дерзости—было бы переписывать книгу»[18].

Для правильной оценки этих заключений, производящих в настоящее время несколько юмористическое впечатление, необходимо сделать поправку на общеизвестные нравы павловской администрации, по сравнению с которыми даже позднейшие николаевские порядки казались какой-то законностью. И, однако, наряду с этой жестокостью, соединенной с мелочной придирчивостью, павловская цензура сплошь да рядом допускала «промахи», трудно объяснимые в настоящее время без учета всех сопровождавших их обстоятельств. Так, тот же Туманский представил к запрещению знаменитый трактат Ж.-Ж. Руссо «Du contrat social ou principes du droit politique», указывая коротко: «Известно, что мнимое равенство во французской революции большею частию из сей книги заимствовано». Но Петербургский цензурный совет, под председательством князя А. Б. Куракина, нашел, что книга эта может быть пропущена, «яко принадлежащая к сочинениям Руссовым, которых привоз и продажа были равномерно свободны, а потому, конечно, и есть уже они здесь во многих собраниях книжных». Подобным же образом, отвечая на запрос петербургской цензуры о том, как ей поступать с сочинениями Вольтера, совет решил, что так как «до сего времени сочинения Вольтера были ввозимы в Россию в великом множестве экземпляров и находятся во всех книжных магазинах и библиотеках, то преграждением дальнейшего ввоза их не будет достигнута цель», а потому совет и постановил поступать с ними, как с сочинениями дозволенными. Лишь после непосредственного вмешательства самого Павла совет изменил свою точку зрения и запретил безоговорочно все сочинения Вольтера[19].

Не останавливаясь на ряде последующих гонений на Вольтера, «вольтерьянство» и на сочинения французских энциклопедистов, заметим лишь, что и значительно позже произведения их неизменно ассоциировались с идеями политического и религиозного свободомыслия, с призраком революции вообще, пугавшим воображение самодержавной императорской России.

В 1850 г. министр народного просвещения, князь Ширинский-Шихматов, представлял «всеподданнейший доклад» о затруднениях, встреченных цензурой при дозволении нового издания, в собрании сочинений Екатерины II, ее писем к Вольтеру и доктору Циммерману, изданных уже прежде, в 1802—1803 гг. «Цензор, рассматривавший эту переписку,—докладывал министр,—встретил затруднение в одобрении к напечатанию многих мест, заключавших в себе или выражение нескромных похвал Вольтеру и сочинениям его, или шутки и остроты в отношении к предметам, тесно связанным с нашими религиозными убеждениями». Особую пикантность этому отзыву цензора придавало то обстоятельство, что дело шло о письмах российской императрицы, действия и писания которой, казалось бы, не должны были подлежать какому бы то ни было цензурному контролю. Николай I, ненавидевший Екатерину, личным вмешательством запретил новое издание ее переписки с Вольтером, «в чем и не настоит особенной надобности»[20].

В 1852 г. секретный Бутурлинский комитет в книге свящ. Н. Сокольского «Всеобщая гражданская история для классического и домашнего употребления»—учебнике для духовных семинарий—нашел «несоответственным и цели учебной книги и званию автора» главу, посвященную философии XVIII в. «Здесь говорится, между прочим, что в философии прославились: Юм, Фихте, Гельвеций, Руссо, Вольтер и множество сочинителей больших энциклопедий. Но Руссо, Вольтер и другие из поименованных известны, как разрушители верований, как отрицатели божественного учения церкви; и потому не странно ли, что пастырь церкви относит труды их к усовершенствованию философии»[21].

В этом же направлении усиленного подчеркивания антирелигиозных настроений Вольтера шли и позднейшие цензурные высказывания о нем, исходящие преимущественно от духовной цензуры. Так, в 1868 г. член Петербургского комитета духовной цензуры, архимандрит Фотий, подверг обстоятельному разносу книгу: Фр. М. Вольтер, «Философия истории, перевод с французского под редакцией Зайцева» (СПб. 1868). Упомянув, что книга эта «должна была предварительно быть представлена, еще в рукописи, на рассмотрение духовной цензуры, потому что в этом сочинении автор рассуждает о событиях и других предметах священной истории ветхо-заветной церкви, также касается догматов христианской веры», цензор переходит, собственно, к оценке Вольтера.

«Книга эта, заключающая в себе «Философию истории» и антикритику на это сочинение, под названием: «Защита дядюшки», содержит в себе весьма много противного св. писанию или вере христианской. Автор, хотя и прикрывается заявлениями уважения своего к божественному откровению, но эти заявления имеют у него несомненное значение иронии, потому что все сочинение его направлено к противному. Он не только наводит тень сомнения на многие истины веры, но и подкапывается под самые основания их и даже дерзко глумится над ними. Так он с возмутительною дерзостью подкапывается под самые основы церкви ветхо-заветной, которая составляет другую половину или часть церкви христовой, доказывая, что в ней будто бы допускалось многобожие и не было веры в будущую жизнь и бессмертие души,—что рассказ о Моисее, которого автор называет секретарем бога (стр. 223), будто бы есть позднейшая переделка индейского сказания о Бахусе (стр. 155); еврейский народ считает предками воров, называя его шайкою воров и разбойников, грубыми варварами, народом тупым и жестоким, и глумится над проявлениями сему народу божиих благодеяний (стр. 234—235). На стр. 29 видимо издевается над воплощением господа и спасителя нашего Иисуса Христа; на стр. 65 дает понять, что христианское таинство крещения будто бы заимствовано из религии персов и халдеев; на стр. 263 подкапывает веру в учение о воскресении; на стр. 222 упрекает духа святого в сообразовании будто бы с народными суевериями, а св. писание—в подтверждении предрассудков. И все это всюду сопровождает циническими остротами и оговорками, в роде следующей: что в истории евреев все человеческое есть верх ужаса, а божественное непостижимо нашему ограниченному рассудку; стало быть остается безмолвствовать (стр. 222). Кроме сих мест... можно указать еще следующие, замечательные по дерзкому противоречию св. писанию:

1) Автор, вопреки ясной истории ветхо-заветной, полагает первоначальное состояние рода человеческого—дикое (стр. 16). 2) Теократию называет тираниею, безумным, гнусным образом правления (стр. 52). 3) Подвергает сомнению путешествие израильтян по пустыне (стр. 58). 4) Еврейский обрядовый закон, который дан богом, почитает сумасбродством (стр. 408). 5) Историю сотворения мира называет нелепостию (стр. 107). Такие, и многие другие, дерзкие противоречия учению св. писания содержит в себе эта книга».

Из сказанного цензор делал практический вывод о необходимости запрещения книги («не может быть дозволена к обращению в публике»), отвергая одновременно просьбу издателя (Н. П. Полякова) об «исправлении» книги, т. е., повидимому, о снабжении ее каким-то предисловием, которое бы «разъясняло» и «опровергало» Вольтера, либо об исключении наиболее предосудительных с цензурной точки зрения мест. «Исправление этого сочинения,—писал цензор,—во всяком случае, неудобно и почти невозможно, потому что: 1) здесь требуются не краткие заметки, а обширные опровержения. А так как в упомянутой книге весьма много вредного истине, то нужно составить почти такую же по величине книгу опровержений удовлетворительных. 2) В этом сочинении много глумлений и насмешек над предметами священными.

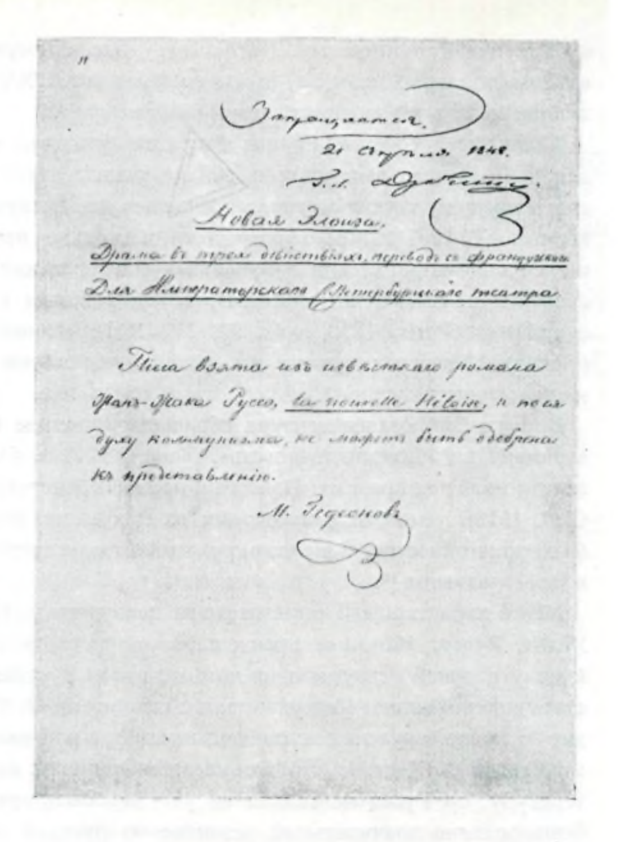
А насмешки, хотя много вредят истине, неудобны для опровержения. Исключить же все вредные для веры места этого сочинения неудобно потому, что их чрезвычайное множество. Притом, всё сочинение проникнуто дурным духом, враждою и ненавистью к христианству, как религии положительной, откровенной, особенно к первой части христианства—к церкви ветхо-заветной, которая, в некотором отношении, есть основание церкви ново-заветной»[22].

В 1870 г. духовная же цензура настояла на исключении ряда страниц из книги «Романы и повести Фр. М. Вольтера. Перевод Дмитриева», которые «касаются некоторых священных лиц и событий ветхого и нового заветов, а также учения и догматов христианской веры». «В вымышленной форме писем последователей Брамы,—писал цензор,—автор в примечании на стр. 442 и 443 набрасывает тень неверия на действительное существование Моисея, воспользовавшись для этого баснею о Бахусе, кощунственно сравнивает Бахуса с Моисеем и первого предпочитает последнему; на стр. 449—452 с иронией относится к обращению апостола Павла в христианство, к его страданиям и, в особенности, к его восхищению на третие небо; перечисляет далее некоторые события из ветхого завета и, придавши им особый смысл и значение, представляет их, как события частию сказочные, частию ужасные и омерзительные, очевидно желая тем унизить достоинство священной истории, а на стр. 464 с намерением указывает на такие чудеса Иисуса Христа и при этом выражается так, что они служат к унижению достоинства совершающего; в вымышленной форме разговора, на стр. 525—528, иронически представляет встречу апостола Петра с Симоном волхвом, старается заподозрить достоинство пресвятой девы, как божией матери, с сомнением говорит о действительности вечных мучений. Таким образом, вышеуказанные страницы по изложению, духу и направлению клонятся к унижению священных лиц и событий и к поколебанию истин и догматов христианской веры и, как явно неблагонамеренные и оскорбительные для чувства христианской веры... подлежат запрещению»[23].

С духовной цензурой соперничала по части уловления и истребления антирелигиозных мест у Вольтера также цензура иностранная. Цензор Л. Ивановский, по ознакомлении с книгой Voltaire, «Œuvres choisies» (Paris, 1878), доносил в своем рапорте, что «часть книги, озаглавленная «Religion», заключает в себе, вместе с весьма справедливыми замечаниями о веротерпимости и вреде фанатизма, бесчисленное множество мест, в коих Вольтер, со свойственною ему колкостью, издевается над догматами, над текстом священного писания и, наконец, над самою личностью спасителя», и полагал, что «эта часть следует вся к исключению». Комитет, однако, предпочел запретить всю книгу целиком[24].

Первая часть философского лексикона Вольтера («Œuvres complètes», vol. XVI, Paris, 1876) в 1883 г. подверглась запрещению за то, что в нем автор «подвергает предания св. писания своей едкой сатире и профанирует их с свойственной автору беспощадностью»[25]. В 1884 г. «Romans suivis de ses contes en vers» (Berlin) были разрешены с исключением непочтительного отзыва о деве Марии[26]. В 1888 г. запрещена книжка «L'ingénue» (Petite bibliothèque universelle. Chefs d'œuvre français et étrangers), «в виду того, что тенденция автора осмеивать религию и что он возбуждает чувственность в читателе»[27].

Однако, в том же 1888 г. поэт и цензор Я. П. Полонский, рассматривая том избранных произведений Вольтера,—правда, приспособленных к школьным потребностям (Voltaire, «Extraits en prose. Philosophie, histoire, littérature, mélanges. A l'usage des classes supérieures de l'enseignement secondaire classique et special». Par Eug. Fallex, Paris, 1888),—попытался «реабилитировать» Вольтера перед цензурой указанием на его устарелость, на отсутствие какой бы то ни было актуальности в его политических, антирелигиозных и антицерковных выступлениях, особенно по сравнению с тем, что давала современная политическая (особенно, конечно, зарубежная) печать.



Запрещается.
21 Апреля 1848.
Л. Дубельтъ.

Новая Элоиза.
Драма въ трехъ дѣйствiяхъ, переводъ съ французскаго
Для Императорскаго С.Петербургскаго театра.

Пиеса взята изъ извѣстнаго романа Жанъ-Жака Руссо, la nouvelle Heloise, и по ея духу коммунизма, не можетъ быть одобрена къ представленію.

М. Гедеоновъ

ЗАПРЕЩЕНИЕ СДЕЛАННОЙ ПО РОМАНУ РУССО ПЬЕСЫ „НОВАЯ ЭЛОИЗА". ПОДПИСАНО ЦЕНЗОРОМ М. ГЕДЕОНОВЫМ И ДУБЕЛЬТОМ 21 АПРЕЛЯ 1848 г.

Ленинградское отделение Центрального исторического архива (ЛОЦИА)

«После всего того, что писалось и печаталось не только за границей, но даже и у нас, в наших журналах, после Вольтера,—писал Полонский,—когда принимаешься читать его, Вольтер кажется нисколько не страшным. Напротив, все, что писал он, кажется уже пресным после той наркотической пищи, которую дает нам современная литература. Для наших доморощенных философов и атеистов Вольтер, несомненно, кажется верующим, а нашим анархистам и нигилистам будет неприятен, так как Вольтер проповедует, что самая счастливая страна есть та, которая повинуется законам... Может быть, в этой книге и встретятся места сомнительные, но в общем, в наше время, книга эта не представляет собой никакой опасности. Вольтер был страшен, да и теперь еще страшен для западного, католического духовенства, но он нигде в этом сборнике не отрицает религии и не затрагивает сущности христианства.

Книжка эта — сборник статей самого разнообразного содержания, и я думаю, очень полезен для желающего ознакомиться с Вольтером, для людей, занимающихся историей литературы. Для нас, русских, сочинения Герцена заключают в себе гораздо больше яда, чем Вольтер, но и Герцен потерял уже свое обаяние»[28].

В этом любопытном документе наиболее примечателен, конечно, не самый факт пропуска книги, представлявшей, действительно, самую безобидную выборку из произведений и высказываний Вольтера; примечательны, с одной стороны, «либерализм» цензора, указывавшего на необходимость какого-то исторического подхода к Вольтеру, с другой—система его доказательств, по которым Вольтер (в причудливом сочетании с Герценом) является меньшим злом, по сравнению с более современными публицистами и философами, «анархистами» и «нигилистами»—подлинными «потрясателями основ». Эффекта этого выступления Полонского не могут затушевать ни позднейшая его оценка «Dialogues satiriques et philosophiques suivi du sermon des cinquante» (Paris, 1890)[29], ни опасения цензора, при рассмотрении русского перевода

«Вавилонской принцессы» (1896), что у нас в России сочинения Вольтера должны оказать такое же влияние, что и во Франции в XVIII в., т. е. «подготовить революцию и дать ей антирелигиозный характер»[30].

Дальнейшее содержание под запретом философских и художественных произведений Вольтера, вошедших в обиход университетского и даже отчасти гимназического преподавания и изучения, делалось все затруднительнее, все менее оправдываемым. В 1897 г. было разрешено несколько произведений Вольтера, находившихся под запретом или допущенных с исключениями: «Dictionnaire historique des événements remarquables» (Paris, 1874); «Œuvres choisies» (Paris, 1878); «Œuvres complètes» (Paris, 1876, vols. II, IV, XII); «Romans suivis de ses contes en vers» (Berlin). Цензура признала их достоянием истории и нашла возможным проявить к ним «снисхождение»[31].

Впрочем, и позднее цензура обращала внимание на произведения Вольтера, подчеркивая их «безнравственность». Так, в 1912 г. Петербургский комитет по делам печати наложил арест на «Повести и рассказы» (перевод Л. Буха, издание Павленкова, СПб. 1912), усмотрев в некоторых из них места «явно противные нравственности и благопристойности». Однако, окружный суд не нашел в книге состава преступления и арест отменил[32].

Менее характерны и выразительны цензурные дела о другом великом философе— Ж.-Ж. Руссо. Конечно, произошло это не по причине особенной благосклонности к нему царской цензуры и не потому, чтобы русская литература уделяла ему недостаточное внимание. Как указывал в свое время В. В. Сиповский, имя Руссо не сходит со страниц русских журналов, начиная с половины XVIII в. и вплоть до сороковых годов XIX ст.[33]; что же касается влияния на русскую художественную литературу, то Руссо не только не уступал Вольтеру, но, пожалуй, превосходил его. Одновременно значительный резонанс на русской почве получил и руссоизм, как философское явление, вызывая восторженные оценки, громадное количество подражаний и изредка попытки полемики с ним. Эта же философия Руссо вызвала, еще в XVIII в., обвинения его со стороны цензурно-полицейских учреждений в коммунизме и безбожии; образцы подобных обвинений приводились уже выше, повторялись они неоднократно и позднее.

Так, в 1831 г. духовной цензурой было запрещено «Размышление о величестве божием» Руссо[34]; в 1851 г., при цензировании «Библейско-биографического словаря» Яцкевича и Благовещенского, духовный цензурный комитет обнаружил в нем разные «излишности и неуместные суждения», в числе которых видное место занимали ссылки на Руссо в защиту св. писания (?!)[35]. В 1848 г. театральной цензурой, находившейся в ведении III отделения, была запрещена—по докладу директора петербургских театров М. Гедеонова—переводная пьеса «Новая Элоиза», переделанная из одноименного романа Руссо: Гедеонов нашел (и с ним согласился в своей запретительной резолюции Дубельт), что пьеса «не может быть одобрена к представлению... по ее духу коммунизма»[36]. В 1854 г. цензор Гольмбладт, рассматривая «Les confessions», нашел, «что, кроме безнравственного направления этого сочинения, неудовлетворительными в цензурном отношении представляются и религиозные понятия автора, и что, кроме того, в книге этой встречаются места, противные благоприличию». По мнению цензора, «„Исповедь“ эта, несмотря на все значение свое для психолога и литератора, должна быть запрещена для публики». Комитет цензуры иностранной не только подтвердил мнение цензора, но и запретил еще находившиеся в той же книге «Lettres à Sare»[37].

Правда, позднее, в 1872 г., были пропущены «Discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes» и «Emile ou l'éducation», а в 1872—1873 гг. «Œuvres complètes» (vols. I—XIII), однако, «Contrat social» в течение нескольких десятилетий

вызывал пристальное внимание цензуры. Выдержки из «Contrat social», приведенные в книге: «J. J. Rousseau, Morceaux choisis. Edition classique avec notes, jugement... par Eug. Fallex» (Paris, 1884), были исключены иностранной цензурой в 1886 г. Однако, в 1897 г. это издание было разрешено полностью[38].

Чрезвычайно показательно запрещение русского перевода «Contrat social» в 1905 г.: очевидно, содержание трактата Руссо показалось цензуре слишком созвучным революционным и конституционным настроениям, чтобы его можно было свободно пустить в обращение. По поводу представленной в цензуру рукописи перевода «Общественного договора» Руссо (перевод А. А. Френкеля) цензор Ф. Федоров писал: «По учению Руссо совершеннейшею формою государственного устройства является самодержавная демократия: нераздельное, неотчуждаемое и непогрешимое народовластие осуществляет всю полноту власти при посредстве «правительства», являющегося ставленником народа, всецело от него зависимого и им сменяемого. Известно, какую выдающуюся, если не главную, роль сыграла эта идея властного народа в формулировке принципов Великой французской революции». И дальше: «Принимая во внимание, что изложенные рассуждения и выводы находятся в полном противоречии с существующим государственным нашим строем и коренными законами, я полагал бы рукопись: «Об общественном договоре или начала политического права» Ж.-Ж. Руссо к печати не дозволять... К сему считаю необходимым присовокупить, что названное сочинение J. J. Rousseau «Du contrat social ou principes du droit politique» запрещено в подлиннике к ввозу в пределы России». С заключением цензора согласился и Петербургский цензурный комитет[39].

Весьма систематическим, последовательно отрицательным было отношение царской цензуры и к третьему великому представителю французской философии и литературы XVIII в.—Дидро, или Дидероту, как его называли в России вплоть до сороковых годов XIX в. Не касаясь более старых отзывов и характеристик, в которых имя Дидро неизменно сопровождало имена Вольтера и Руссо, приведем ниже ряд документов позднейших годов, ярко демонстрирующих, насколько силен и упорен был страх царской цензуры перед проникновением в Россию революционных идей французского просветительства.

В августе 1829 г. цензор Г. Р. Дукшта-Дукшинский представил С.-Петербургскому комитету цензуры иностранной обширный рапорт о книге: «Correspondance inédite de Grimm et de Diderot et recueil de lettres, poésies, morceaux et fragments retranchés par la censure imperiale en 1812—1813» (Paris, 1829), в котором писал: «Переписка Гримма, Дидерота, статьи, запрещенные цензурою,—вот заглавие заманчивое для толпы ветреных читателей, но ужасающее благомыслящего человека. Можно ли ожидать какой-либо пользы от сочинений корифеев безбожия?—Издатель предвидел сей вопрос и, признаваясь откровенно в том, что его герои исповедуют и обнаруживают бесстыдно правила атеизма и материализма, он спешит уверить, что их сочинения теперь не только уже не вредны, но и служат к утверждению истины.

«Религия победила противников более серьезных, чем Гримм и Дидро, и мы не только полагаем, что их писания не представляют никакой опасности, но даже убеждены, что содержащиеся в них многочисленные и ощутительные непоследовательности могут только содействовать триумфу истины» (стр. X).

Так верно г. издатель принял на себя труд показать неосновательность их мнения? Ни мало. «Не давая оценки их мнений,—говорит он (стр. XI),—мы не старались ни смягчать, ни опровергать даже такие из них, ложность и опасное преувеличение которых были доказаны опытом».

Из 59 статей, составляющих ее содержание, большая часть относится до религии; в прочих рассуждается о политических и других менее важных предметах. Правила так называемых философов XVIII в. вообще и, в особенности, мнения Дидерота

и Гримма довольно известны. Самое бесстыдное безверие, отвратительное кощунство, материализм и вражда к монархическому правлению, составляющие отличительные качества их сочинений, обнаруживаются и в настоящей их переписке». Приводя затем несколько отрывков, «подающих понятие о ее духе» и иллюстрирующих высказанные выше положения, цензор продолжал: «Мысли о политике основаны здесь на понятиях, изображенных в известной книге Жан-Жака Руссо «Le contrat social», но мы почитаем излишним приводить оные, поелику безбожие и кощунство, наполняющие сию книгу, уже слишком достаточны к строжайшему оной запрещению»[40].

В 1831 г. цензура запретила первые два тома книги «Mémoires, correspondance et ouvrages inédits de Diderot, publiés d'après les manuscrits confiés, en mourant, par l'auteur à Grimm» (Paris, 1831), усмотрев в них «следы опасного вольнодумства автора, состоящего в непристойных шутках, обнаруживающих неуважение к вере христианской и оскорбляющих добрые нравы»[41]. Докладывая же комитету о томах III—IV этого издания, цензор В. Соц обратил особое внимание на помещенные в них «Философские беседы», в которых «излагается опасная теория материализма» и, особенно, на «Прогулку скептика», сочинение, «в коем автор рассуждает о религии, философии и мире» и которое «исполнено ужасного безбожия, соединенного с гнусным кощунством на счет веры христианской и книг ветхого и нового завета». «Имея в виду решение Главного управления ценсуры... о запрещении для публики первых двух томов,— продолжал цензор,—мы полагаем, что оно должно распространяться и на третий, заключающий в себе несколько предосудительных мест, отмеченных на страницах: 32, 49, 72, 308, 390 и 447. Но четвертый том, в коем находятся вышеобъясненные опасные статьи, требует, по мнению нашему, меры безусловного запрещения»[42]. С мнением цензора согласился комитет, и запрещение всех четырех томов было отменено лишь в 1897 г.[43].

Запрещению подвергались и некоторые другие издания произведений Дидро, например, «Mélanges philosophiques» (Paris, 1870), как заключающие «суждения о боге и религии, проникнутые духом сомнения, насмешки и отрицания», или «Nouvelles et mélanges. Anecdotes diverses» (Berlin)—несмотря на снисходительный отзыв цензора[44].

Если философские сочинения Дидро вызывали преимущественно обвинения в кощунстве, в оскорблении добрых нравов, то его художественные произведения неизменно запрещались, ввиду «крайней безнравственности» их содержания. В 1868 г. были запрещены «Romans et contes» Дидро (3 тома), причем рассматривавший их цензор особенное внимание обратил на дешевизну, а следовательно, доступность издания[45]. Когда же в 1872 г. было выпущено бесцензурное русское издание «Романов и повестей» (в переводе В. Зайцева), оно было запрещено и уничтожено по постановлению комитета министров. В своем представлении по этому поводу Главное управление по делам печати писало: «Означенный том «Романов и повестей Дидро» состоит из пяти отдельных статей, из которых первые две, большие по объему, «Жак фаталист и его барин» и «Белая птица», отличаются особенно вредным содержанием, а из остальных, меньших статей, в двух встречаются только некоторые места неудобные для печати... Вся книга эта как в общем, так и в частностях по своему антирелигиозному и циническому характеру представляется в высшей степени безнравственною и безбожною; такой характер подлинника оной признан даже в самой Франции».

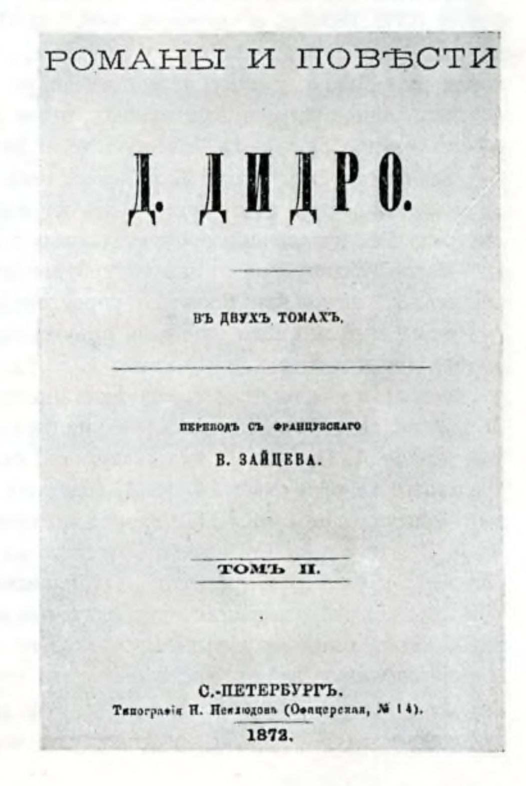
Комитет министров полностью согласился с такой оценкой, признал книгу «не только безнравственной, но и антирелигиозной» и постановил запретить ее; все издание (2462 экз.) было уничтожено[46].

В начале восьмидесятых годов в цензурном ведомстве возникло несколько дел в связи с исследованиями о Дидро и материалистической философии XVIII в.; дела

эти весьма убедительно показывают, насколько опасной казалась эта философия самодержавию и через сто лет после ее появления. Особенно характерно в этом отношении дело о книге (переводной) Джона Морлея «Дидро и энциклопедисты» (перевод В. Н. Неведомского, изд. К. Т. Солдатенкова, М., 1882), о которой обширный доклад представил цензор Федоров.

«Названная книга,—писал цензор,—завершает собою ряд исследований о литературных произведениях, подготовивших французскую революцию, и знакомит читателя преимущественно с идеями безбожия, господствовавшими в XVIII в. Особенное внимание обращают на себя стр. 1—169, содержащие в себе разбор сочинений Дидро и современных ему философов, и глава XIV, излагающая «Систему природы» Гольбаха. Идеи рационализма и атеизма, а также идеи, подрывающие монархическую власть, изложены здесь в более последовательном порядке и способны произвести тем большее впечатление на читателя. Читатель узнает из названных страниц, что стремление к евангельскому совершенству, по мнению Дидро, есть не что иное, как «вредное искусство заглушать природу» (стр. 10). По мнению того же философа, откровенная религия не доставляет никаких выгод, которые уже не были бы обеспечены нам натуральной религией; религия эта не познакомила нас ни с какими новыми истинами; все, что она прибавила к натуральным законам, заключается в пяти-шести положениях, которые так же мало понятны, как если бы они были выражены на древнем карфагенском наречии (стр. 42). Профессор Кембриджского университета Саундерсон, слепой от рождения, но человек с поразительной силой ума, допускает существование бога только в таком случае, если бы можно было осязать его (стр. 62). И. Христос представляется не более, как гениальным человеком, и ставится в ряду Эсхила, Пиндара, Магомета, Шекспира (стр. 143).

Религия вообще низводится на степень суеверия, и если человеку, склонному от природы к суеверию, необходим какой-нибудь идол (говорится на стр. 151), то жела-


РОМАНЫ И ПОВѢСТИ

Д. ДИДРО.

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ.

ПЕРЕВОДЪ СЪ ФРАНЦУЗСКАГО

В. ЗАЙЦЕВА.

ТОМЪ II.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Н. Неклюдова (Офицерская, № 14).

1872.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ II ТОМА ИЗДАНИЯ „РОМАНОВ И ПОВЕСТЕЙ“ ДИДРО В ПЕРЕВОДЕ В. ЗАЙЦЕВА, ЗАПРЕЩЕННОГО И УНИЧТОЖЕННОГО ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ, 1872 г.

тельно, чтобы этот идол был самый простой и безвредный. «Система природы» Гольбаха, по мнению самого Д. Морлея, есть такая книга, в которой все разбросанные критикой XVIII в. взрывчатые вещества были соединены в одну громоносную машину бунта и разрушения. Книга эта поразила самого Вольтера, и лишь только он прочел «Систему природы», как тотчас схватился за перо, чтобы писать возражения. Фридрих II был оскорблен книгой, которая так же мало щадила политические предрассудки, как и богословские догматы. Гольбах, по словам Морлея, нападает на самые основные идеи теологии и на идею о божестве смотрит, как на болезненный нарост. Для характеристики политических убеждений Гольбаха достаточно следующей цитаты: «Повсюду люди находятся под игом такого властелина, который пренебрегает образованием своего народа, стараясь лишь о том, чтобы его надуть и провести. Во всех странах земного шара правители—люди несправедливые, неспособные, изнеженные роскошью, нравственно испорченные лестью, развратившиеся от своеволия и безнаказанности, не отличающиеся ни талантами, ни нравственными правилами, ни добродетелями... Во всех странах нравственность народа в совершенном пренебрежении, и правительства заботятся только о том, чтобы сделать управляемых боязливыми и подлыми» (стр. 368)[47].

По моему убеждению, новый перевод сочинения Д. Морлея, знакомящий русскую публику с такими идеями, которые, как говорит сам автор, подготовили кровавый переворот в прошлом столетии, не может не представляться вредным вкладом в русскую литературу».

Это убеждение в крамольности книги было настолько велико, что, когда Главное управление по делам печати задержалось несколько с решением вопроса о запрещении, специальную телеграмму прислал московский генерал-губернатор В. А. Долгоруков, подчеркнув, что и он, со своей стороны, находит книгу вредною. Однако, министр внутренних дел разрешил выпустить книгу, «ввиду ее ученого характера»[48].

В 1884 г. внимание цензуры привлекла книга В. А. Бильбасова «Дидро в Петербурге» (СПб. 1884) и, в частности, стр. 142—143, где «издатель Бильбасов с едкостью замечает, что через сто лет после Фонвизина, с презрением отзывавшегося о таких философах, как Дидро, у нас и теперь имеют успех невежество и отсталость, в качестве основ народно-русского направления, и что до сих пор произведения французских философов прошлого века, в том числе и Дидро, признаются вредными и находятся под запретом». Этот отзыв Бильбасова «относительно обскурантизма русского правительства» цензор счел «совершенно неуместным» и, по совокупности отмеченных прегрешений, предложил книгу «подвергнуть аресту, с условием исключения указанных мест». Несмотря на то, что Петербургский цензурный комитет с мнением цензора согласился, начальник Главного управления по делам печати, Е. М. Феоктистов, разрешил выпуск книги, положив резолюцию: «В указанных местах книги не усматриваю ничего такого, что должно было бы служить поводом к ее запрещению»[49].

Наконец, в том же 1884 г. внимание иностранной цензуры обратила на себя книга D. Diderot, «Les Eleuthéromanes (avec un commentaire historique)» (Paris, 1884), о которой цензор А. Певницкий дал следующий отзыв: «Эта книжка, изданная по случаю столетнего юбилея смерти Diderot, содержит перепечатку одного из его стихотворений, напечатанного им в 1772 г., под заглавием: «Les Eleuthéromanes, ou les furieux de la liberté», которому издатель предпослал исторический комментарий о значении Дидро, как философа, писателя и публициста.

Восторженный поклонник проповедуемых издателем «Энциклопедии» радикальных идей, автор ставит ему в высокую заслугу его ожесточенные нападки на религию и монархическую власть, восхищается его отрицанием верования в бога, оправдывает все совершенные французскою революциею неистовства и жестокости и выставляет последователя Дидро, Дантона, идеалом честного и мужественного гражданина...

Воспроизведенное здесь стихотворение «Les Eleuthéromanes» содержит в себе исполненное ненависти к алтарю и престолу воззвание к диким страстям толпы, открыто призывающее к убийству царей и священников (см. на странице 96 слова: «Его руки готовы свить кишки попа, чтобы, за недостатком веревки, удушить ими королей»). Посему не может быть сомнения, что эта книга подлежит запрещению»[50].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] М. В. Ломоносов, Риторика, СПб. 1748, стр. 153; М. В. Ломоносов, *Полное собрание сочинений, под ред. М. И. Сухомлинова*, т. III, стр. 207.

[2] Гр. Гуковский, Очерки по истории русской литературы XVIII века. Дворянская фронда в литературе 1750-х—1760-х гг., М. 1936, стр. 98—99.

[3] «Записки венецианца Казановы» («Русск. Старина», 1874, кн. 9, стр. 540—541). Ср. также «Записки Г. Винского» («Русск. Архив», 1877, т. I, стр. 103); «Записки А. Т. Болотова», т. IV, стр. 184 и др. Свод мемуарных данных о «вольтерьянстве» дал В. В. Сиповский в статье «Из истории русской мысли XVIII—XIX вв. (Русское вольтерьянство)» («Голос Минувшего», 1914, № 1, стр. 105—131); там же—краткая библиография вопроса.

[4] «Сборник Императорского Русского Исторического Общества», т. VII, стр. 318; ср. также «Осьмнадцатый век», кн. III, стр. 391.

[5] В. Семенников, К истории цензуры в Екатерининскую эпоху («Русск. Библиофил», 1913, № 1, стр. 55—56).

[6] Там же, стр. 56.

[7] В. Ф. Солнцев, «Смесь», сатирический журнал 1769 г., СПб. 1894, стр. 11—13.

[8] «Вольтеровы заблуждения», М. 1793, стр. 2; ср. «Сборник Общества Любителей Российской Словесности», М. 1891, стр. 216, 244—245, 267; «Журн. Мин. Народн. Просвещ.», 1895, № 7, стр. 100.

[9] «Москвитянин», 1844, ч. VI, стр. 213; «Русск. Архив», 1872, № 2, стр. 319.

[10] «Древняя и Новая Россия», 1878, № 3, стр. 279.

[11] См., например, «Обнаженный Вольтер» (СПб. 1787), «Письмо, содержащее некоторые рассуждения о поэме г. Вольтера „На разрушение Лиссабона"» В. Левшина (М. 1788), «Изобличенный Вольтер» (СПб. 1792), «Ах, как вы глупы, господа французы!» (М. 1793), «Оракул новых философов или кто таков г. Вольтер» (М. 1803), «Основатели новой философии, Вольтер, Даламбер и Дидерот—энциклопедисты без маски» (СПб. 1809), «Иудейские письма к г. Вольтеру» (М. 1808—1809) и др. Сюда же нужно присоединить и упомянутые выше «Вольтеровы заблуждения» аббата Нонота (М. 1793) в переводе Евгения Болховитинова (см. «Русск. Вестник», 1869, № 5, стр. 34—36). Библиографические, хотя весьма неполные данные о переводах Вольтера и распространении его сочинений в России см. в статье Д. Языкова, Вольтер в русской литературе («Под знаменем науки». Сборник в честь Н. И. Стороженко, М. 1902, стр. 703—704 и др.). В 1929 г. в Ленинградском обществе библиофилов был прочитан доклад П. А. Картавова, содержавший ряд новых и свежих материалов: «Вольтер в России, архивные и библиографические разыскания о переводах произведений Вольтера на русский язык и о влиянии их на русскую литературу и общество» (остался ненапечатанным).

[12] Архив Академии наук СССР, журнал заседаний Академии наук 1791, № 602; ср. В. Семенников, К истории цензуры в Екатерининскую эпоху («Русск. Библиофил», 1913, № 1, стр. 62).

[13] «Летописи Русской Литературы и Древностей», 1863, т. V, стр. 41.

[14] «Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год», СПб. 1862, стр. 33—34.

[15] Там же, стр. 46, 47.

[16] Там же, стр. 59.

[17] «Русск. Старина», 1894, № 9, стр. 172—173.

[18] Г. К. Репинский, Цензура в России при императоре Павле («Русск. Старина», 1875, № 11, стр. 454—459).

[19] «Русск. Старина», 1875, № 11, стр. 457, 458, 460.

[20] [В. В. Стасов], Цензура в царствование императора Николая I («Русск. Старина», 1903, № 10, стр. 173—174).

[21] В результате произведенного расследования книга Н. Сокольского была запрещена, а сам автор отстранен от должности преподавателя семинарии. См. А. Котович, Духовная цензура в России, СПб. 1909, стр. 584—588.

[22] СПб. ценз. к-т, 1868 г., д. № 61, лл. 16—17. После запрещения книги духовной цензурой издатель Поляков в 1871 г. просил цензурное ведомство возбудить против него судебное преследование, рассчитывая на оправдательный приговор. Однако, одновременно с возбуждением этого преследования Главное управление по делам печати обратилось в комитет министров с представлением о запрещении книги, как особо вредной. 7 ноября 1872 г. книга, действительно, подверглась запрещению, и 775 экземпляров ее были уничтожены. В связи с этим судебное преследование против Н. П. Полякова было прекращено (Главн. управл. по делам печати, II отд., 1871 г., д. № 139).

[23] СПб. ценз. к-т, 1870 г., д. № 17, л. 9.

[24] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1878 г., № 4336.

[25] Там же, рапорты за 1883 г., № 5187.

[26] Там же, рапорты за 1884 г., № 7112.

[27] Там же, рапорты за 1888 г., № 10568.

[28] Там же, рапорты за 1888 г., № 3760.

[29] Там же, рапорты за 1893 г., № 9855.

[30] СПб. ценз. к-т, 1896 г., д. № 149; ср. также Н. В. Дризен, Драматическая цензура двух эпох 1825—1881, Пгр., стр. 248—249; В. Евгеньев-Максимов, Очерки по истории социалистической журналистики в России XIX века, Л. 1927, стр. 165.

[31] Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1897 г., №№ 8031—8034.

[32] СПб. к-т по делам печати, 1912 г., д. № 91.

[33] В. В. Сиповский, Очерки из истории русского романа, т. II. СПб. 1910, стр. 422; ср. проф. В. И. Резанов, Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского, вып. II, Пгр. 1916, стр. 561—566. Е. Боброва, Жан-Жак Руссо в России («Книжные Новости», 1937, № 12, стр. 6—9).

[34] Московск. ценз. к-т, 1831 г., д. № 20.

[35] А. Котович, Духовная цензура в России, СПб. 1909, стр. 514.

[36] Драм. ценз., рапорты за 1848 г., № 14.

[37] СПб. к-т ценз. иностр., журнал заседаний за 1854 г.

[38] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1886 г., № 5962; 1897 г., № 8027.

[39] СПб. ценз. к-т, 1905 г., д. № 4, лл. 2—3.

[40] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1829 г., № 300; комитет постановил книгу запретить «с выдачей по разрешению Главного управления цензуры лицам известным».

[41] Там же, рапорты за 1831 г., № 745.

[42] Там же, рапорты за 1831 г., № 951.

[43] Там же, рапорты за 1897 г., № 8004.

[44] Там же, рапорты за 1872 г., № 1737; 1891 г., № 3; 1897 г., № 8002.

[45] Там же, рапорты за 1868 г., №№ 4079-а, b, с. «Romans et contes» были дозволены к ввозу и распространению в 1897 г. (см. рапорты за 1897 г., № 8006).

[46] Главн. управл. по делам печати, III отд., 1872 г., д. № 99, лл. 11—16.

[47] Мы не имеем возможности останавливаться здесь на отношении цензуры к сочинениям Гольбаха, не менее выразительном, чем отношение ее к Вольтеру, Руссо и Дидро. Чрезвычайно показателен в этом смысле отзыв московского духовного цензора о рукописи «Обеденных бесед» Гольбаха. «Рукопись, — писал цензор,—выставляя богохульство, нечестие и подлость вольнодумцев XVIII в. в собственном их виде и из собственных их слов и сочинений и сопровождая главнейшие из них опровержениями, содержит, однако, ...много таких мест, которые, будучи взяты отдельно, заключают не только противное христианской нравственности, правительству и религии, но и столь едки, неблагопристойны, грубы и вредны, что всего лучше бы и не слыхать их. Большая часть из них таковы, что никакие серьезные опровержения не могут отвратить вреда, который они произвели бы, повторяясь в воображении и памяти узнавшего их не столько по любви к истине, сколько из любопытства» (Московск. к-т дух. ценз., 1830 г., д. № 28; А. Котович, стр. 457—458).

[48] Главн. управл. по делам печати, 1882 г., д. № 83, лл. 1—5.

[49] Главн. управл. по делам печати, 1884 г., д. № 67, лл. 2—3. Можно предположить, что на благоприятную резолюцию Феоктистова, крайне реакционные тенденции которого достаточно известны (см., например, нашу публикацию «Письма К. П. Победоносцева к Е. М. Феоктистову» в «Литер. Наследстве», кн. 22—24, 1935), в данном случае оказал влияние К. Н. Бестужев-Рюмин, покровительствовавший Бильбасову и в то же время бывший близким приятелем Феоктистова.

[50] Комитетом книга была запрещена; см. СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1884 г., № 6223.

II. ВИКТОР ГЮГО

Совершенно исключительный успех произведений Гюго во Франции очень рано получил в России шумный и продолжительный резонанс, обнаружил среди русских его читателей как строгих критиков, даже хулителей, так и восторженных почитателей, страстных поклонников, нетерпеливо ожидавших каждой новой книги своего кумира, превозносивших ее до небес. Особенно чутко и остро воспринимались на фоне николаевской действительности ноты социального протеста, звучавшие уже в ранних романах французского писателя[1].

Быстро и неизменно растущая популярность Гюго в России побудила цензуру обратить на его творчество пристальное внимание. В 1831 г. в цензуру был представлен русский перевод романа «Бюг Жаргаль», по поводу которого цензор В. Семенов обратился в Петербургский комитет со следующим донесением:

«Представляя при сем на благоусмотрение комитета роман Виктора Гюго, под заглавием «Бюг Жаргаль», переведенный г. Матцневым, долгом поставляю объяснить:

1) что предмет романа есть возмущение невольников во французских Сан-Домингских колониях в конце прошедшего столетия;

2) что главное действующее лицо, герой романа Бюг Жаргаль, представленный каким-то неустрашимым, благородным и добродетельным человеком, каким-то идеалом совершенства, есть глава возмутившихся невольников.

По сим двум обстоятельствам, не поставляя себя в праве одобрить означенную рукопись сам собою, я всепокорнейше прошу комитет снабдить меня разрешением: может ли в настоящем положении дел быть дозволена книга, предмет коей есть возмущение, а герой—глава бунтовщиков.

В заключение долгом поставляю присовокупить, что, кроме сего вопроса, я не нашел во всей рукописи ни одного сомнительного места, и что даже роман сей написан в духе более монархическом, нежели республиканском, и не заключает в себе тех гнусных начал якобинства, тех выходок противу общественного порядка и законной власти, коими наполнена бóльшая часть новейших французских романов»[2].

Несмотря на сомнительные по своему качеству реверансы по адресу Гюго, содержавшиеся в заключительных строках цензорского донесения, роман не был пропущен: Петербургский цензурный комитет, признав себя не в праве дозволить роман к печати, представил его на рассмотрение Главного управления цензуры, которое признало «неудобным при настоящих обстоятельствах дозволять на русском языке книгу, имеющую предметом возмущение невольников против своих владельцев»[3]. «Настоящие обстоятельства», на которые ссылаются и цензор и резолюция,—это, конечно, крестьянские волнения, возникшие в 1830—1831 гг. в ряде губерний, доставившие немало беспокойства и хлопот правительству и неожиданно сделавшие роман французского писателя злободневным в России.

В 1833 г. министр народного просвещения С. С. Уваров обратил внимание на драму В. Гюго «Lucrèce Borgia», перепечатанную в России в журнале «Revue étrangère». В письме по этому поводу к Бенкендорфу он писал: «Книгопродавец Дюфур, издатель «Revue étrangère», объявил мне, что последний № оного, заключающий театральную пьесу «Lucrèce Borgia», был рассмотрен цензурою III отделения и ею одобрен. Благоволите, милостивый государь, уведомить меня, есть ли сие показание Дюфура основательно, ибо я нахожу несколько затруднительным издание сей пьесы, по крайней мере без некоторых перемен, и желал бы в сем случае руководствоваться мнением вашего сиятельства». Бенкендорф отвечал, что «цензура III отделения не рассматривала и не одобряла упомянутой театральной пьесы, имея обязанность рассматривать те только, которые назначаются к представлению на сцене», а что он сам, прочтя пьесу, «нашел всё содержание оной предосудительным». После такого отзыва

Уваров распорядился уничтожить весь № 5 «Revue étrangère», предоставив издателю взыскивать убытки с цензора О. Сенковского, разрешившего перепечатку пьесы Гюго; в то же время всем цензурным комитетам было предписано не дозволять ни новых перепечаток этой пьесы, ни помещения отрывков и выписок из нее в переводе[4].

9 апреля 1834 г. А. В. Никитенко записал в свой дневник, что тот же Уваров «приказал не пропускать» русский перевод «Notre Dame de Paris», хотя при этом «отзывался с великой похвалой об этом произведении». «Министр,—продолжает Никитенко,—полагает, что нам еще рано читать такие книги, забывая при этом, что Виктора Гюго и без того читают в подлиннике все те, для кого он считает это чтение опасным»[5].

Общеизвестен рассказ того же Никитенко о том, как в начале 1835 г. он, по приказанию Николая I, попал на гауптвахту за пропуск напечатанного в «Библиотеке для Чтения» перевода (М. Деларю) одного из стихотворений Гюго «Красавице»[6].

По свидетельству П. А. Вяземского, непосредственно Николаем I было запрещено также представление на русской сцене известной драмы Гюго «Марион Делорм»: «Bressan хотел дать для своего бенефиса Marion de Lorme, уже пропущенную с некоторыми обрезками театральною ценсурою и графом Орловым. Волконский потребовал пиесу и показал ее государю. Она подана ему была 14 декабря. Он попал на место, где говорится о виселицах, бросил книжку на пол и запретил представление»[7].

В течение ряда последующих лет новые переводы произведений В. Гюго почти не появлялись: кроме подозрительного отношения со стороны цензуры к писателю, зарекомендовавшему себя предосудительной социальной тематикой своих романов, сыграли роль также общие распоряжения против проникновения в Россию французских романов, издававшиеся неоднократно в начале тридцатых годов и еще раз подтвержденные в 1847 г. События же 1848 г. и позиция Гюго по отношению к «Наполеону-маленькому», истолкованная более обще—как неуважение к носителю верховной власти вообще, — сделали и самое имя его опальным. В 1852 г. цензор Г. Дукшта-Дукшинский представил следующий отзыв о книге В. Гюго «Napoléon le Petit» (Londres, 1852):

«Исполненный ненависти против Лудовика Наполеона за разрушение планов партии беспорядка, которой автор признает себя поборником, Виктор Гюго излил в сей книжке всю желчь свою против президента французской республики, употребляя для сего всё свое красноречие и вдохновение поэзии. Это памфлет или, лучше сказать, пасквиль, в котором Гюго представляет Лудовика Наполеона не только политическим преступником и клятвонарушителем, но самым низким злодеем и мошенником... осыпает укоризнами людей, содействовавших в перевороте 2 декабря и участвующих в правлении Франции, возбуждает к восстанию народ и предвещает падение нового Нерона Франции. Сравнение дел президента с делами императора Наполеона, представленное, в отношении к первому, в карикатурном виде, и обещание Франции божественного управления, под которым автор понимает торжество революции, довершают цель автора, стремящуюся к унижению Лудовика Наполеона и к ободрению революционеров. Такое предосудительное направление памфлета усугубляется еще резкими выходками против политики государей и, в особенности, против России».

На основании этого отзыва знаменитый памфлет Гюго был «запрещен безусловно»[8].

Весьма длительные и сложные цензурные пертурбации испытал роман «Les Misérables», с которым впервые цензура столкнулась в 1862 г. в связи с т.т. VII—VIII французского издания (Bruxelles, 1862).

«Эти два тома, описывающие события первых лет Июльской монархии,—писал о них цензор Комаровский,—носят политический характер более, чем тома предшествующие. Общие взгляды автора-демагога, по моему мнению, должны были вызвать запрещение этого произведения, если бы только оно не пользовалось такою известностью и не читалось бы во всей Европе. В подобных случаях, впрочем, достаточно

СТРАНИЦА ИЗ ДОКЛАДА ЦЕНЗОРА СКУРАТОВА ОТ 17 АВГУСТА 1866 г. С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЗАДЕРЖАТЬ I ТОМ РОМАНА ГЮГО „НЕСЧАСТНЫЕ“ (ИЗДАНИЕ ГЕНКЕЛЯ)

Ленинградское отделение Центрального исторического архива (ЛОЦИА)

редких, запрещение может оказаться более вредным, чем разрешение. Запрещенные книги, в конце концов, всегда проникнут в публику (так как нет книги, которой нельзя было бы при желании достать в Петербурге), и в этом случае они приобрели бы в глазах читателей лишнюю привлекательность от тайной их известности и прелесть запрещенного плода. Есть, однако, два места романа, которые я считаю нужным отметить, так как они имеют вид особых формул и идейно соответствуют друг другу, выражая параллельные теории. В одном (т. VII, стр. 53) автор одобряет в принципе революции и осуждает возмущения, в другом (т. VIII, стр. 135—139, 344, 345) он хвалит восстание и бунт. Я отмечу еще безусловное одобрение корифеев XVIII века (т. VII, стр. 473, 474) и то, как автор развивает мысль, что чувство революционное есть чувство нравственное (там же, стр. 477). Так как эти отрывки не очень длинны и не очень многочисленны, то я и предложил бы комитету раньше, чем уродовать большое произведение, остальная часть которого уже пропущена, представить эти отрывки на благоусмотрение г. управляющего министерством»[9].

Потребованные цензором исключения были сделаны, и оба тома были «разрешены к обращению».

Иное отношение цензуры встретили русские издания этого романа. В том же 1862 г. состоялось высочайшее повеление о недопущении русских переводов «Les Misérables» на том основании, что «последние тома романа имеют самое вредное направление» и особенно отрывок—разговор сенатора и епископа, где, по мнению цензора, «развиты основные мысли материализма» и «ясно высказывается одностороннее стремление автора-демократа подорвать религию и монархию». За допущение к печати

в № 16 «Русского Вестника» за 1862 г. этого отрывка одному из цензоров был объявлен «по высочайшему повелению» выговор. Однако, несмотря на это, в 1866 г. издатель Генкель попытался всё же выпустить роман отдельным изданием, исключив из него наиболее предосудительные с цензурной точки зрения места. Попытка эта не удалась: цензуре сделанные купюры показались недостаточными, целиком сохраняющими «безнравственную тенденцию» этого «социалистического сочинения».

«Хотя г. Генкель в прошении своем и указывает, что он исключил места, которые считал неприличными в русском переводе, но содержание означенной книги всё еще никак не может назваться безупречным и еще менее высоконравственным, как то утверждает г. Генкель,—писал в своем докладе цензор Скуратов.—Как и во всех социалистических сочинениях, в этой книге несомненно господствует безнравственная тенденция производить все нарушения и преступления против установленного законом общественного порядка не от испорченной и развращенной воли преступников, а из дурного устройства общества и бесчеловечной жестокости сильных и облеченных властью лиц...

Цензор не считает возможным оцензурить эту книгу, так как она вся пропитана социалистическим направлением; да если б это и было возможно, то, по мнению цензора, было бы противно высочайшему повелению дозволить продолжение под цензурою этого перевода. Почему цензор и полагает наложение ареста на первый том оставить в силе на том основании, что это сочинение, уничтожая личную ответственность человека, подкапывает общественную нравственность и что действие его тем опаснее, что по занимательности и роду сочинения оно доступно всякому, даже необразованному, читателю»[10].

В соответствии с этим заключением, Петербургский цензурный комитет нашел, что роман проникнут революционными и социалистическими тенденциями и, ссылаясь на «высочайшее повеление» 1862 г. о запрещении печатания перевода романа на русский язык, наложил арест на книгу и возбудил судебное преследование против издателя книги. Однако, прокурорский надзор и министерство юстиции не признали возможным подвергнуть ответственности издателя судебным порядком, так как «высочайшее повеление» 1862 г. не было объявлено ни издателю настоящей книги, ни содержателю типографии, в которой она печаталась, и первый том романа «Несчастные», в переводе Конради, был выпущен в свет. Это, впрочем, не помешало тем же инстанциям четыре года спустя, в сентябре 1870 г., на основании того же «высочайшего повеления» 1862 г., запретить второй том романа «Несчастные», в издании того же В. Е. Генкеля. Арестованные экземпляры этого издания были уничтожены.

Здесь следует заметить, что на резко-враждебное отношение цензуры к Гюго в это время должна была оказать существенное влияние также позиция писателя в польском вопросе. Отголоски слухов, распространявшихся на этот счет в правительственных кругах, мы встречаем, например, в следующей записи дневника Никитенко: «Говорят, Виктор Гюго написал прокламацию к полякам. Что же делать другого, как не возмущать общество этому высокопарному пустомеле, который, проповедуя равенство, так хорошо умеет обделывать свои собственные дела. Вот он и сейчас преподнес Европе, продав его ей за 400 т. франков, новый гениальный продукт своего уродливого воображения». В последних словах содержится очевидный намек именно на «Misérables»[11].

Уже значительно позднее, в 1880 г., перевод этого романа Гюго, под названием «Отверженные», был начат печатанием в воскресном приложении к газете А. С. Суворина «Новое Время», но приостановлен цензурой, причем с издателя было взято обязательство, что роман будет печататься впредь с исключением из него всех неудобных в цензурном отношении мест. В марте 1882 г. перевод этот, как бесцензурное издание, вышел отдельною книгой без всяких замечаний со стороны цензуры, в

том виде, в каком печатался в газете. Вслед за тем, в 1891 г. товариществом М. О. Вольф было предпринято издание на русском языке «Полного собрания сочинений В. Гюго в переводе русских писателей», куда (т. II) вошел и роман «Несчастные», в переводе Ю. Доппельмайера. Так как этот последний перевод был значительно полнее изданного Сувориным и больше приближался к французскому подлиннику, то вопрос о нем был представлен на разрешение комитета министров, который и запретил выпуск его в свет.

Дальнейшие переводы романа «Les Misérables» на русский язык, ввиду значительного их сокращения против подлинника, пропускались цензурою беспрепятственно, с исключением, однако, отдельных мест. Так, в 1894 г. роман был выпущен в свет в «Сочинениях В. Гюго», том II, издания Ф. Павленкова, на основании следующего отзыва цензора Коссовича: «В том сокращенном виде, в каком этот роман появляется в настоящее время, он содержит в себе лишь фабулу рассказа. Все трескучие либеральные фразы французского подлинника исключены тщательно». Дозволен был роман также в 1897 г., в переводе В. Д. Владимирова, под названием «Отверженцы», издание М. М. Ледерле,—в нем были исключены переводчиком такие «неудобные» места, как встреча епископа с конвенционистом и несколько строк, заключающих порицание современного общественного строя. Также дозволен был, с исключением некоторых мест, роман «Несчастные» в переводе и издании О. Н. Поповой (1902)[12].

Наряду с самим романом систематически подвергались весьма строгой цензуре также драматические его переделки, об одной из которых сохранился пространный доклад цензора И. М. Литвинова (1896 г.) с своеобразным историческим экскурсом в область предшествовавших запрещений переделок этого романа Гюго для сцены. Приводим этот доклад полностью:

«Из имеющихся в делах Драматической цензуры сведений усматривается, что переделка романа Виктора Гюго «Les Misérables» для сцены, в форме драмы под тем же названием, сделанная сыном этого писателя, Шарлем Гюго, была признана неудобной к представлению и запрещена[13]. Равным образом, запрещен был в июне 1881 г. и перевод этой драмы на русский язык Г. Высоцкой[14]. Из сделанной на запрещенном экземпляре надписи усматривается лишь, что перевод драмы «Несчастные» признан неудобным к представлению ввиду запрещения ее французского подлинника. Доклад же, из которого можно было бы видеть подробные мотивы, послужившие поводом к запрещению в свое время драмы Шарля Гюго, в Драматической цензуре не имеется. С достоверностью можно, однако, предположить, что одним из самых главных мотивов к недопущению у нас на сцену драматических переделок романа В. Гюго «Les Misérables»[15] послужило то обстоятельство, что и самый роман, как имевший известный оттенок протеста против некоторых форм общественного устройства Франции, находился в семидесятых годах под цензурным запрещением и разрешен был в русском переводе лишь с некоторыми сокращениями в 1882 г.

Если допущение на театральной сцене произведений, хотя бы и не заключающих в себе ничего противного требованиям цензуры и морали, но заимствованных из источника, находящегося под запретом, является неудобным и несвоевременным, то с устранением таковых запрещений едва ли представляется возможным рассматривать данное произведение с иной точки зрения, как по существу.

Произведения Виктора Гюго, имеющие в глазах публики, главным образом, интерес литературный и чуждые уже в настоящее время так называемых вопросов «злобы дня», должны быть всецело относимы к категории сочинений классических. Приведенный взгляд, принятый в последнее время и Главным управлением по делам печати, послужил, между прочим, основанием к тому, что весьма многие драматические произведения В. Гюго, как например: «Эрнани» и «Рюи Блаз», весьма долгое время находившиеся под запрещением, ныне разрешены.

Основываясь на изложенных соображениях, я полагал бы в настоящее время вполне возможным разрешить переделку романа «Les Misérables», сделанную г. Нотовичем, но с тем, чтобы содержание этой драмы было строго ограничено автором исключительно лишь общегуманными идеями христианской любви и милосердия, положенными Гюго в основание его романа, и чтобы в пьесе были исключены те неудобные места, в которых затрагиваются социальный и экономический вопросы. При этом, по мнению моему, представлялось бы целесообразным и нелишним ограничиться пока разрешением этой пьесы лишь для какого-либо одного, указанного самим автором, столичного театра—императорского или частного, что дало бы Главному управлению по делам печати, с одной стороны, возможность непосредственно наблюсти за правильностью постановки пьесы, а во-вторых, в случае надобности, во всякое время снять ее с репертуара»[16].

Упоминаемое в этом докладе запрещение «Эрнани» (1884 г.) выясняется из следующего донесения цензора П. Фридберга: «Хотя драма эта, в сокращенном виде и в форме либретто на итальянском языке, для оперы Верди того же названия, и была разрешена цензурою III отделения собственной его величества канцелярии, но я находил бы неуместным дозволить ее для русской сцены, так как она построена на заговоре испанских грандов против законного их монарха Дон-Карлоса. Предполагаемое запрещение представляется тем более основательным, что почти все драмы Виктора Гюго, по его собственным словам, направлены к тому, чтобы уронить значение монархической власти. В предисловии к полному изданию драматических его произведений выражена, между прочим, следующая мысль: „Краска выступит на лицах королей, когда они увидят себя так верно изображенными в моих произведениях“».

Начальник Главного управления по делам печати, Е. М. Феоктистов, согласился с мнением цензора, и пьеса была запрещена[17]. Однако, два года спустя, в 1886 г., тому же цензору П. Фридбергу снова пришлось решать вопрос о возможности театральной постановки «Эрнани». Из нового его доклада видно, что наиболее смущала его самая фигура Эрнани (Гернани) — «разбойника и заговорщика, замышляющего убийство государя»; цензору, очевидно, этот образ казался слишком злободневным в связи с недавним сравнительно убийством Александра II и не прекращавшейся террористической деятельностью народовольцев. Но Феоктистов оказался на сей раз благосклоннее и признал возможным разрешить пьесу с некоторыми исключениями, ограничив, впрочем, это разрешение исключительно столичными театрами. Лишь в 1904 г. она была дозволена цензурою для исполнения в провинции. Для народных же театров пьеса «Гернани» (перевод С. С. Татищева) даже и в 1907 г. была «признана к постановке несвоевременной»[18].

Возвращаясь к другим произведениям В. Гюго, отметим, что в 1873 г., по докладу цензора А. С. Любовникова, была запрещена поэма Гюго «La libération du territoire» (Paris, 1873), так как она, по словам цензора, «содержит в себе предосудительные выходки против власти государей и заканчивается воззванием к народу французскому терпеть, думать постоянно о возмездии и ожидать всеобщей республики»[19].

Начиная с 1867 г., неоднократно подвергался запрещению перевод небольшого рассказа В. Гюго «Клод Гё», «как направленный к потрясению существующего, законом установленного порядка»[20]. Лишь однажды, в собрании сочинений Гюго, среди других произведений, рассказ этот был пропущен с подробной о том мотивировкой цензора. Мотивировка эта, представляющая своеобразную характеристику всего творчества Гюго, заслуживает быть опубликованной целиком.

«Фирма «Товарищество М. О. Вольф»,—писал цензор П. Г. Сватковский,—предположила издать в пяти томах «Полное собрание сочинений Виктора Гюго в переводе русских писателей». Ныне в представленном в цензурный комитет первом томе (которому назначена цена 6 руб.) помещены: Ганс исландец, Бюг Жаргаль, Последний

день приговоренного к смерти, Клод Гё, Собор парижской богоматери, Труженики моря и Девяносто третий год.

Между всеми этими произведениями В. Гюго с цензурной точки зрения возбуждает особенное внимание статья: Клод Гё, на стр. 269—278, потому что в индексе книг на русском языке, запрещенных к обращению и перепечатыванию в России, значится книга: Гюго, Виктор. Клод Гё, перевод с французского. Цена 15 коп.

Если бы «Клод Гё» вышло новым изданием, отдельною брошюрою, то цензор без колебания считал бы себя обязанным воспрепятствовать ее появлению в свет, но в настоящем случае статья эта, напечатанная в полном собрании сочинений, принимает другое значение и другой смысл, заимствуя свой характер от прочих статей; почему цензор считает долгом представить на благоусмотрение комитета свое мнение о свободном пропуске этой статьи, без исключений.

Всякий, кто несколько ознакомлен с манерою рассказа Виктора Гюго, согласится, что этот гениальный писатель—весьма отважный энтузиаст. Он постоянно в каком-то гениальном чаду, в сверхъестественном экстазе, гордый своим нравственным и умственным превосходством, выискивает во всем, даже в самых простых, ежедневных явлениях жизни людей, наиболее обыденных, вопиющие, по его мнению, общественные задачи, следы политических промахов, роковые тайны законов природы; с крайне преувеличенным пафосом и сарказмом громит то, что ему кажется злом, преступлением или пороком, и умиляется до сладострастной неги в хвалебных гимнах тому, что он лично принимает за великое и благое. Пощады у него нет никому, он смело судит по-своему о сильных и слабых, злодеях и великих гениях, могуществе и бессилии, судит их в пламенных речах и в громких гармонических стихах. Но он вовсе не серьезный учитель морали, он лишь чародей, увлекающий читателей в фантастический мир.

Все его произведения носят на себе отпечаток театральной обстановки, все герои его загримированы, чтобы яснее обозначить навязанные им характер и наклонности; обстановка действия необычайно роскошна, всюду блестят краски, золото, мишура, всюду театральное освещение, всюду феерия. Читатели считаются им за каких-то досужливых, праздных зрителей, сидящих пред ним в прекрасной театральной зале,

НЕСЧАСТНЫЕ,

Виктора Гюго.

ПЕРЕВОДЪ СЪ ФРАНЦУЗСКАГО.

II.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе В. Е. Генкеля
у [illegible] моста, домъ Утина, кварт. № 37.
1870.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ II ТОМА РОМАНА „НЕСЧАСТНЫЕ“ ВИКТОРА ГЮГО (ИЗДАНИЕ ГЕНКЕЛЯ), ЗАДЕРЖАННОГО И УНИЧТОЖЕННОГО ПО ТРЕБОВАНИЮ ЦЕНЗУРЫ, 1870 г.

где он на театральных подмостках рисуется перед ними, лицедействует, волнует склонную к забавам публику фантастическими ужасами, страшными рассказами о несчастных жертвах будто бы общественного или политического неустройства.

Видя всю эту напыщенную обстановку во всех произведениях пылкого воображения В. Гюго, цензор не может заметить чего-либо исключительного в статье «Клод Гё». Слишком уже яркими и нежными красками окрашен и фантастически освещен вор и убийца Клод Гё, которого будто голод и холод толкают в объятия преступления, и слишком уже болтлива и цветиста речь восторженного романиста о необходимости отмены смертной казни, чтобы возможно было видеть в статье серьезное оправдание преступлений, учение о невменяемости или серьезное осуждение смертной казни вообще.

В отдельном издании эта статейка в $9^1/_2$ страниц, не освещенная общим колоритом театральной торжественности других произведений, очевидно, непригодна для народного чтения, может быть не понята и необразованному человеку может быть растолкована с вредною тенденциею, но этот опасный характер ее совершенно исчезает в массе других произведений того же рода»[21].

В 1889 г. была запрещена цензурой переделка (А. Юрьевой) романа «Человек, который смеется», под названием «Гвинплен. Горе—смех», так как «перед читателями переделки вместо чудных и художественных картин и образов оригинала, тщательно прикрывающих социальную мысль автора, восстает во всей неприглядной наготе безобразный и саркастический оскал писателя над глубокою рознью имущих и неимущих»[22]; другая переделка того же романа, «Зубоскал», не была дозволена к напечатанию, «как произведение тенденциозное», а по объему и изложению предназначаемое к распространению, по преимуществу, в малограмотной среде[23]. А в 1891 г. комитетом министров был запрещен и самый роман в упоминавшемся уже «Полном собрании сочинений В. Гюго в переводе русских писателей» (т. II)[24].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Разработке темы Гюго в России посвящена во II томе настоящего издания специальная работа М. П. Алексеева, Виктор Гюго и его русские знакомства, к которой мы и отсылаем читателя.

[2] СПб. ценз. к-т, 1831 г., д. № 207598, л. 1.

[3] Главное управление цензуры, 1831 г., д. № 147068, л. 3; по тем же причинам был запрещен «Бюг Жаргаль» и в 1832 г. в переводе Лазарева (Главн. управл. цензуры, 1832 г., д. № 147185, лл. 1—2). Ср. также [В. В. Стасов], Цензура в царствование императора Николая I. («Русск. Старина», 1903, № 2, стр. 321).

[4] «Русск. Старина», 1903, № 3, стр. 573.

[5] А. В. Никитенко, Записки и дневник, т. I, СПб. 1905, стр. 240.

[6] Там-же, стр. 256—258.

[7] П. А. Вяземский, Старая записная книжка, Л. 1929, стр. 79.

[8] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1852 г., № 1915. Разрешение на «обращение» этого сочинения Гюго в России было дано лишь в 1897 г. (СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1897 г., № 8010).

[9] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1862 г., № 1951. Подлинник по-французски.

[10] СПб. ценз. комитет, 1866 г., д. № 82, лл. 8—9.

[11] А. В. Никитенко, Записки и дневник, т. II, СПб. 1905, стр. 117. Ср. «Книжн. Вестник», 1862, № 24, стр. 500—503.

[12] Особая канцелярия министра народного просвещения, 1862, д. № 106; СПб. ценз. к-т, 1870 г., д. № 55; 1894 г., д. № 177; 1902 г., д. № 57; Главн. управ. по делам печати, III отд., 1891 г., д. № 69.

[13] Запрещена к представлению Главным управлением по делам печати в 1875 г. на основании отзыва цензора П. И. Фридберга, что «талантливое перо В. Гюго, выражая горячее сочувствие ко всему высокому и изящному, даже нравственному и религиозному, вместе с тем, вносит в область практического приложения проводимых им неоспоримых истин значительную долю парадоксальных и субверсивных суждений и выводов, так что читатель или зритель невольным образом увлекается на скольз-

ком пути коммунистического учения, которое, естественно, расшатывает самое здание и основы современного общественного строя» (журналы заседаний совета Главн. управ. по делам печати за 1875 г., № 5, п. III).

[14] Сведения о причинах запрещения этого перевода в материалах Драматической цензуры отсутствуют.

[15] В 1878 г. был запрещен перевод драмы «Les Misérables» под названием «Каторжник» (Главн. управ. по делам печати, журналы заседаний совета за 1878 г., № 60, п. V).

[16] Начальник Главного управления по делам печати, М. П. Соловьев, в своей резолюции согласился с мнением цензора. Драм. ценз., 1896 г., д. № 36, лл. 4—5.

[17] Драм. ценз., рапорты за 1884 г., № 1.

[18] Драм. ценз., 1904 г., д. № 23, л. 1; рапорты за 1886 г., № 66; 1907 г., л. 39. О причинах благосклонности Феоктистова см. дальше, в «Заключении».

[19] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1873 г., № 4365. Лишь в 1897 г. эта поэма была допущена к обращению в России (рапорты за 1897 г., № 8009).

[20] См. СПб. ценз. к-т, 1895 г., д. № 191, л. 1; 1899 г., д. № 209, л. 1; 1901 г., д. № 202, л. 3.

[21] СПб. ценз. к-т, 1886 г., д. № 78, лл. 2—3, 4.

[22] СПб. ценз. к-т, 1890 г., д. № 144, л. 1.

[23] СПб. ценз. к-т, 1891 г., д. № 144, л. 3.

[24] Главное управ. по делам печати, III отд., 1891 г., д. № 69, л. 23. Приведя в тексте наиболее существенные моменты отношений царской цензуры к произведениям Гюго, укажем здесь дополнительно на другие цензурные действия, имевшие место в отношении французского писателя. Из других сочинений Виктора Гюго иностранной цензурой были запрещены или дозволены с исключением некоторых мест к обращению в России следующие: «Cromwell (Drame)», Paris, 1854. Запрещено в 1855 г. (рапорты Варшавского цензурного комитета за 1854 г., № 2666); «Le Pape», Paris, 1878. Запрещено в 1878 г. и дозволено только в 1897 г. (рапорты за 1897 г., № 8012); «Œuvres complètes de V. Hugo», vol. XIII, Paris, 1881. Дозволено с исключением поэмы «Le Pape» (рапорты за 1881 г., № 2924); «Les Travailleurs de la mer», Paris. Дозволено с исключением в I томе некоторых мест, и др.

Из переводов на русский язык запрещены: в 1874 г.—перевод романа «Девяносто третий год», предназначенный для журнала «Переводы Отдельных Романов» (отзыв цензора: роман «написан в духе сочувствия революции»), и статья для журнала «Сияние», под названием «Виктор Гюго и его роман „1793 г.“» (СПб. ценз. к-т, 1868 г., д. № 56, л. 36). В 1886 г. запрещен перевод стихотворения «2 декабря 1852 г.» для книги «Избранные места из сочинений В. Гюго» на основании отзыва цензора Сватковского, что стихотворение представляет «дерзкий памфлет на Наполеона III, неприличный по циническому описанию сцен ночи политического переворота во Франции 2 декабря 1852 г.» (СПб. ценз. к-т, 1886 г., д. № 28, л. 85). В 1887 г. запрещен перевод рассказа «Шпион Гюбер» для подцензурного журнала «Северный Вестник», ввиду того, что «типы республиканцев изображены в крайне привлекательном свете» (СПб. ценз. к-т, 1885 г., д. № 43, л. 63).

В том же году не пропущен рассказ для народа «Архиерей и разбойник» (по роману «Les Misérables»), на том основании, что «для образованного читателя такой рассказ понятен, но простой человек выведет ложное представление о необходимости прощения и непреследования воровства, о невменяемости преступления» (СПб. ценз. к-т, 1887 г., д. № 13, л. 11). В 1897 г. запрещена для народных театров драма «Шут» («Le roi s'amuse»), в переводе Д. Лобанова, ввиду отзыва цензора И. Литвинова, что «французское правительство держало ее под запрещением 50 лет и только при 3-й республике она была разрешена к представлению» и что, по его убеждению, «пьеса не может быть дозволена к представлению на театрах вообще, а на народных тем паче» (Драм. ценз., рапорты за 1897 г., л. 114). В 1886 г. запрещен перевод избранных речей В. Гюго, предназначавшийся для «Библиотеки европейских писателей», ввиду отзыва цензора В. Юза, находившего, что «из первых страниц издания усматривается сила и страстность языка В. Гюго в изложении идей о праве, законе, свободе, равенстве, братстве и что появление в свет в России отдельного издания речей знаменитого поэта и политика едва ли желательно» (СПб. ценз. к-т, 1886 г., д. № 28, л. 7).

Наконец, в 1902 г. комитетом министров была запрещена и уничтожена книга «1802—1902. Виктор Гюго. Поэт и гражданин. Биографический очерк О. Н. Поповой», ввиду отзыва С.-Петербургского цензурного комитета, что в ней «автор проводит мысль о преимуществе республиканского образа правления перед монархическим и сочувствует деятельности В. Гюго, как противника монархического начала» (Главн. управ. по делам печати, III отд., 1902 г., д. № 41).

III. П. БЕРАНЖЕ—О. БАРБЬЕ

Июльская революция во Франции,—поскольку о ней узнавали из случайных и сильно урезанных цензурой газетных сообщений,—вызвала в довольно широких кругах русского общества сочувственное к себе отношение. Там, наверху социальной лестницы, коронованный жандарм Европы, Николай I, неистовствовал, получая сведения о нарушении легитимистских принципов, читая французские газеты, восхвалявшие Луи-Филиппа, «roi simple et bourgeois», превозносившие «простые и буржуазные нравы короля—хорошего семьянина, деятельного собственника, ловкого и предприимчивого промышленника и притом друга искусства и литературы»[1]. Скромного и благонамеренного профессора А. В. Никитенко мало тревожили принципы легитимизма; для него важнее было то, что «Франции удалось оттолкнуть от себя руку, готовившуюся сковать ее цепями», что «в три дня в ней остались одни развалины от безумного деспотизма, который стремился в ней водворить Карл X»[2]. Между этими двумя крайними взглядами на Июльскую революцию располагалась целая гамма отношений к ней, отношений более близких, впрочем, ко второму взгляду, нежели к первому. «Июльская революция,—вспоминал позднее А. И. Дельвиг,—тогда всех занимала, а так как о ней ничего не печатали, то единственным средством узнать что-либо было посещение знати»[3]. Социальным группам, удаленным от «знати», этого непосредственного источника информации, благодаря постоянной и близкой связи с иностранными посольствами и возможности пользоваться сообщениями заграничной прессы, оставалось питаться скудными слухами и—молчать, удерживая при себе приходящие на мысль выводы и соображения. «Что у нас говорят о сих событиях?—записывает в своем дневнике А. В. Никитенко,—у нас боятся думать вслух, но, очевидно, про себя думают много»[4].

На фоне интереса к политическим событиям обостряется интерес и к литературе, порожденной революцией; в частности, в это время начинается в России известность П. Беранже и О. Барбье, известность, с течением времени всё более расширяющаяся, переходящая в подлинную популярность, несмотря на все цензурные рогатки и препоны.

Впрочем, Беранже проник в Россию еще в первой четверти XIX в. (тогда же появились и первые переводы из него) и даже приобрел некоторое количество почитателей, например, В. Л. Пушкина[5]. Однако, в это время в России (как и во Франции), по позднейшему замечанию Н. Г. Чернышевского, Беранже «не понимали, считая его не более, как певцом гризеток»[6]. Бо́льшее понимание политической направленности песенок Беранже обнаружила, в данном случае, царская цензура, запретившая в 1831 и 1833 гг. два сборника: «Chansons de P. J. Béranger. Supplément» (Paris, 1831) и «Chansons nouvelles et dernières de Béranger dediées à M. Lucien Bonaparte» (Bruxelles, 1833).

О первой из этих книг в журнал заседаний Петербургского комитета цензуры иностранной (14 мая 1831 г.) было занесено следующее: «По отзыву г. цензора Дукшинского, помянутая книжка состоит из трех отделений: 1) Chansons politiques, 2) Chansons grivoises и 3) Chansons attribuées à P. J. Béranger. Помещенные в первом из сих отделений сатиры против бывшего правления Франции и духовенства содержат в себе насмешки на счет самодержавной власти и религии; песни второго отделения наполнены картинами бесстыдства и разврата, а стихи последнего отделения, сочиненные на предметы отчасти политические, отчасти же эротические, написаны в том же предосудительном духе, как и песни предыдущих отделений». Поэтому цензор ходатайствовал о полном запрещении этой книжки. Комитет, со своей стороны, признавая книжку «по революционному, нечестивому и безнравственному духу ее противною цензурным правилам, положил: запретить оную безусловно»[7].

Несколько иначе отозвался цензор В. Соц о втором из названных выше сборников: «Господин Беранже, находя теперешние политические обстоятельства и состояние умов во Франции неблагоприятными для народной и сатирической музы, намерен остальное время жизни своей посвятить составлению исторического и анекдотического словаря о современниках и, таким образом, удаляясь с прежнего своего поприща, объявляет, что сие третье собрание новейших его произведений есть уже последнее». Отметив несколько стихотворений, подлежащих «осуждению в цензурном отношении» («Les reliques», «Le proverbe», «Conseil aux Belges», «Les tombeaux de Juillet»), цензор полагал, что «по исключении вышеозначенных страниц, содержащих в себе приведенные предосудительные места, книга сия может быть выпущена в публику». Цензурный комитет, однако, распространение книги запретил[8].

Последствием этих запрещений явилось то, что стихи и песни Беранже в России на ряд лет сделались достоянием лишь немногих избранных; популярность его для широких кругов читателей зачастую ограничивалась лишь рассказами о нем, об его песнях. «Знали,—писал в 1858 г. Н. А. Добролюбов,—что Беранже сочиняет хорошие песни, но этим все сведения и ограничивались. Переводов этих песен почти не было, а если и появлялись они, то всегда, по какой-то странной случайности, выбор переводчиков падал на самые невинные вещи Беранже, и печатались эти переводы, тоже по какой-то особенной скромности, с невинным изъяснением: с французского, а иногда и вовсе без изъяснения»[9]. Впрочем, и в это время в представлении многих Беранже, как поэт, стоял чрезвычайно высоко. Белинский в одной из статей о Пушкине называет Беранже «народным поэтом» Франции, а в письме к В. П. Боткину в 1841 г. пишет, что «боготворит» его: «Это французский Шиллер, это апостол разума, в смысле французов, это бич предания. Это пророк свободы гражданской и свободы мысли»[10]. Песни Беранже переводили петрашевцы Дуров и Кашкин, считая его своим любимым поэтом[11]. В 1845 г. Беранже собирался переводить Ап. Григорьев и перевод этот считал «за notion méritoire, ибо это—поэт истины, поэт будущего»[12].

В середине пятидесятых годов, в связи с общественным подъемом после севастопольского разгрома, наступает некоторое ослабление цензурных строгостей, и стихотворения Беранже не только беспрепятственно проходят на страницах журналов, но разрешаются и в отдельном издании: в 1858 г. выходит знаменитый сборник переводов В. С. Курочкина, явившийся настоящим литературным событием, характеризующим эпоху[13]. Кроме печатных изданий, по рукам ходили во множестве рукописные списки переводов некоторых песен Беранже, которые не могли рассчитывать на милость цензуры, при всем ее «либерализме»; насколько широко было распространение этих списков, видно хотя бы из того, что с одним из них познакомился возвращавшийся из ссылки Т. Шевченко, получивший его на Волге от капитана волжского парохода[14]. Одновременно начинается и борьба вокруг Беранже в печати: если для критиков «Библиотеки для Чтения» или «Русского Вестника» Беранже—только безыскусственный певец, сочиняющий свои песни так же легко и беззаботно, как поет птица, и так же беспредметно, то революционно-демократическая критика в пределах возможного подчеркивала революционность и свободолюбие французского поэта. «Беранже,—писал о нем Добролюбов в цитированной уже статье,—судя по его песням и по его собственным признаниям, был... один из немногих людей, обладающих... высшим, гуманным взглядом. Очень может быть, что он и не выработал своих воззрений с последовательностью и строгостью теоретика, но он ясно сознавал и сильно чувствовал их инстинктом своей благородной натуры. Инстинкт этот далеко возвышался над мелкими интересами враждебных партий; он всею силою своей направлялся в одну сторону—к достижению блага народного. Кто более делал или даже только желал, обещал сделать для народа, кто приобретал народную любовь, к тому стремились и симпатии поэта»[15]. В терминологии Добролюбова, хорошо зна-

комой и его читателям, термин «народный» был равнозначащ термину «революционный», ибо для критика «народ» был именно тем «классом», который таил в себе революционные возможности.

В связи с этой возросшей популярностью Беранже цензура снова обратила на него внимание; ближайшим поводом для этого оказалась переводная статья «Беранже и его политические мнения» в «Московских Ведомостях» (1858, №№ 6, 7). Статья была беспрепятственно пропущена московской цензурой, но затем обратила на себя внимание министра народного просвещения, А. С. Норова, который обратился к попечителю Московского учебного округа, Е. П. Ковалевскому, со следующим посланием:

«Газета «Московские Ведомости» имеет в глазах читающей публики характер официальный или полуофициальный. Она издается от имени Импер. московского университета и составляет его собственность. К тому же эта газета имеет в России едва ли не бóльшее, в сравнении с другими периодическими изданиями, число подписчиков и читателей. Во внутренней за-московской России она читается и в городах и в селах, людьми образованными и простолюдинами. Все сии соображения возлагают на редакцию ее особенную обязанность, особенные условия и предусмотрительность при выборе статей, в ней помещаемых. Редакция нередко отступает от этих правил и не довольно внимательно и строго соображается с разнородным кругом читателей, которых она должна иметь в виду. В 6 и 7 №№ «Московских Ведомостей» нынешнего года напечатана статья под заглавием: «Беранже и его политические мнения». Такая статья совершенно неуместна в подобной газете. Неумеренно похвальные отзывы о литературном и политическом значении Беранже могут ввести многих читателей в заблуждение. Редакция не могла не знать, что некоторые из стихотворений поэта носят на себе характер противурелигиозный и противунравственный; что они подвергались во Франции, во время конституционного правления, всей строгости законов, относящихся до злоупотреблений печати, что сам автор за сочинения свои присужден был к тюремному заключению и, наконец, что французские сочинения Беранже у нас запрещены по распоряжению цензуры иностранной. Знакомить многочисленную и вместе с тем необразованную часть читающей публики в России с таким автором, каков Беранже, вовсе неуместно, а ставить его еще в какой-то образец гражданских доблестей—крайне неблагоразумно и до некоторой степени предосудительно.

Вследствие сего покорнейше прошу ваше превосходительство поставить на вид редакции «Московских Ведомостей» и цензору ее неприличие помещения помянутой статьи в газете общенародной и к тому же издаваемой под ведомством правительственного и высшего учебного учреждения; засим внушить им, чтобы впредь в издании этой газеты согласовались они внимательнее с целью ее, которая должна заключаться в распространении полезных сведений, здравых понятий и нравственного учения, способствующих духовному и умственному образованию народа, всегда строго воздерживаясь от всего, что возбуждает одно праздное, а часто и неблагоразумное любопытство и увлекает умы в исключительные сферы политических страстей, теорий и партий»[16].

Несмотря на министерский нагоняй, иностранная цензура всё же разрешила в 1860 г., с немногими исключениями, новое издание Беранже: «Le Béranger des familles» (Paris, 1859). В своем докладе цензор Н. Лебедев писал об этой книге:

«Полное собрание стихотворений Беранже запрещено иностранною цензурою частию для публики, частию безусловно. Такому запрещению подверглись предыдущие издания потому, что в них заключалось весьма много стихотворений, противных религии или эротического содержания, исключение которых было неудобно; но, как известно, на русском языке вышла небольшая книжка его стихотворений, в переводе Курочкина, поэтому, мне кажется, и иностранная цензура не обязана безусловно держаться прежнего решения и не допускать в публике никаких стихотворений Беранже.

НАДПИСЬ НА ЭКЗЕМПЛЯРЕ „CHANSONS DE BERANGER“, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩАЯ, ЧТО КНИГА БЫЛА ЗАДЕРЖАНА НА РУССКОЙ ТАМОЖНЕ, 1833 г.

Публичная библиотека, Ленинград

Рассмотренное мною собрание стихотворений этого автора составляет, так называемое, очищенное издание, в котором выпущены все непристойные в религиозном и нравственном отношении песни. Тем не менее, мне показались предосудительными: стихотворение «L'échelle de Jacob» на страницах 201—203, две последние строфы на странице 233 в стихотворении «Le 14 Juillet», стихотворение «Hâtons-nous» на страницах 263—264, последняя строфа на странице 267 в стихотворении «Poniatowski» и всё стихотворение «Le déluge» на странице 303. С этими исключениями я считаю возможным позволить новое издание песней Беранже к обращению в публике».

Цензурный комитет оказался в данном случае даже либеральнее цензора и дозволил весь сборник, за исключением лишь двух стихотворений: «Hâtons-nous» и «Le déluge»[17].

К 1866 г. относится сложная волокита с новым, шестым изданием переводов В. С. Курочкина. Следует заметить, что еще в 1863 г., в связи с начавшимся наступлением реакции, цензура запретила предполагавшееся отдельное издание стихотворений «Безумцы», «Птицы» и «Сон бедняка», разрешив, впрочем, внести их, с исключением двух строк о Христе («Безумцы»), в сборник стихотворений Беранже[18]. После каракозовского выстрела, в эпоху муравьевского истребления всякой крамолы, однако, сборник переводов Курочкина снова привлек к себе внимание цензуры. В своем докладе об этой книге цензор Ф. Еленев особенно останавливался на трех стихотворениях: «Кукольная комедия», «Безумцы» и «Маркиз де Караба». «Стихотворение „Безумцы“,—писал он,—представляет восторженное восхваление корифеев коммунизма: Сен-Симона, Фурье и Анфантена»; впрочем, по мнению цензора, здесь «не высказывается, однако ж, самых идей этого противообщественного учения, и потому для читателя, незнакомого с сочинениями упоминаемых писателей, стихотворение это не представляет никакого определенного содержания»[19]. Усмотрев в настроениях цензора перспективу возможного соглашения, Курочкин выторговал сохранение в книге «Маркиза де Караба» и обратился в Главное управление по делам печати

с просьбой дозволить книгу к выпуску, исключив лишь «Кукольную комедию» и «Безумцы». Главное управление передало книгу на новый отзыв И. А. Гончарову, который представил о ней весьма любопытный доклад, крайне сурово отнесшись к переводам Курочкина и к успеху, которым они пользовались у читателей.

«В представлении комитета,—писал Гончаров,—верно определен характер песен Беранже, в которых развивались и выражались тенденции вольности, равенства, честного труда, честного веселья в контрасте с богатством, праздностью и проч., как они параллельно развивались в низших классах французского общества. Но всё это выражается, во французском подлиннике, в умных, тонких, игривых и иногда энергических куплетах Беранже.

В русском переводе, напротив, по бездарности переводчика, вышел бесхарактерный сбор неуклюжих стихов, ни к чему не относящихся, каких-то темных, местами непонятных намеков, и вся книга вообще едва стоит выше наших старых песенников, услаждавших досуги лакейских и девичьих.

Из трех капитальных пиес, послуживших поводом к задержанию книги, а именно «Безумцы», «Кукольная комедия», «Маркиз де Караба̀», следовало бы, по моему мнению, предложить Курочкину исключить только первую, т. е. «Безумцы», и то потому разве, чтобы не знакомить тот круг читателей, в котором будет обращаться книга автора, с именами Фурье, Сен-Симона и Анфантена, потому что, кроме имен их, сказано о них только, что они были великие люди.

В «Кукольной комедии» рассказано, что капитан невольничьего судна заставляет забыть негров о своем рабстве не бичами, а кукольной комедией, говоря им в каждом куплете: «рабы, смотрите, как смешно!».

Если даже и обобщить эту плохую аллегорию, то и тогда трудно было бы приложить ее к чему-нибудь в современном русском быту, особенно после освобождения крестьян от крепостной зависимости.

«Маркиз де Караба̀» представляет образчик глупого и чванливого барства, но такой допотопной эпохи, что едва ли напомнит собою не только тип наших помещиков, но даже и феодальных баронов или испанских грандов старого времени, потому что этот барин ставит себя выше короля и проч.

Книга г. Курочкина выходит шестым изданием и, вероятно, повредила уже многим, дав образцы изложенных в переводе мыслей и стихов и дурно действуя на эстетическое развитие ее читателей, но по этой особенно причине она всего менее представляет вреда в цензурном отношении»[20].

В. Е. Евгеньев-Максимов, впервые опубликовавший этот доклад, сопроводил его замечанием о том, что «литературный вкус и критическое чутье иногда странным образом изменяли Гончарову, конечно, не Гончарову—автору «Обломова», а действительному статскому советнику Гончарову, Гончарову-цензору». Очевидно, однако, что в данном случае следует говорить не об «измене вкуса», а об определенных вкусах определенных групп читателей, среди которых переводы Курочкина вызывали отнюдь не одни только похвалы, но подчас и осуждения, и именно в том самом направлении, в каком осуждал их и Гончаров[21].

Возвращаясь к докладу И. А. Гончарова, отметим, что в Совете по делам печати он вызвал разнобой в мнениях. Часть членов (Ф. И. Тютчев, М. Н. Турунов, Т. М. Толстой) согласилась с докладчиком, председатель же (М. П. Щербинин) и остальные члены (Н. В. Варадинов, В. М. Лазаревский, А. Г. Петров и В. Я. Фукс) требовали исключить также и стихотворение «Кукольная комедия», считая это необходимым для поддержания авторитета Петербургского цензурного комитета, который-де уже вел соответствующие переговоры с переводчиком. Министр внутренних дел, П. А. Валуев, утвердил последнее мнение[22].

Последнее по времени столкновение цензуры с Беранже имело место в 1892 г., когда

КАРЛ ВЕЛИКИЙ ПРИНИМАЕТ ПОДАРКИ, ПОСЛАННЫЕ ГАРУН-АЛЬ-РАШИДОМ

Справа — Папа возлагает на Карла императорскую корону

Миниатюра Симона Мармиона (?) из рукописи „Grandes Chroniques de France“, 1455—1457 гг.

Публичная библиотека, Ленинград

Кавказский цензурный комитет запретил помещение в «Полном собрании песен Беранже» (Тифлис, 1892), издававшемся И. Ф. Тхоржевским отдельными выпусками, стихотворений: «Моя республика» («в стихотворении «Моя республика» проводятся, хотя и в свойственной всем произведениям Беранже шутливой форме, крайне радикальные идеи»), «Пьяница и его жена» («за циничное описание поведения неверной жены») и 4-й куплет «Старого скрипача» («в котором автор советует не хулить атеистов и говорит, что людям следует собираться вместе не для молитвы, а для веселья»).

Сообщая об этом в Главное управление по делам печати, в связи с жалобой Тхоржевского на несправедливость сделанных исключений, Кавказский комитет писал: «При запрещении к напечатанию упомянутых песен комитет считал необходимым отнестись с особенною осторожностью при рассмотрении «Полного собрания песен Беранже», издаваемого Иваном Тхоржевским, ввиду того, что собрание это выходит небольшими выпусками, которые по своей дешевизне (20 к. каждый) вполне доступны громадному кругу читателей и легко могут распространиться среди подрастающего поколения, в особенности среди учащейся молодежи. При таких условиях некоторые стихотворения, которые могли быть допущены при прежних изданиях, являются, по мнению комитета, крайне неудобными и нежелательными в таком общедоступном издании, как настоящий сборник г. Тхоржевского». Главное управление утвердило это запрещение Кавказского комитета[23].

Одновременно с популярностью Беранже и параллельно ей росла и крепла известность в России О. Барбье, выдвинувшегося в качестве одного из поэтов Июльской революции. «Поэтом революции» называет его и первый цензурный отзыв цензора Л. Роде о книге «Iambes» (Bruxelles, 1832). «Г-н Барбье,—писал цензор,—молодой поэт, выдвинувшийся в несчастные июльские дни 1830 г., занимается тем, что в стихах своих критикует и бичует сатирою, полною желчи, чуть ли не крови, свое время, своих соотечественников и, в особенности, столицу своей родины [т. е. французскую буржуазию и буржуазный Париж и их роль во время июльского переворота.—*И. А.*]. Он не пытается прикрыть их недостатки, но, наоборот, изображает их во всей наготе, и его перо рисует картины с такой решительною дерзостью, что издатели вынуждены были снабдить его «Ямбы» предисловием, где стараются защитить автора от обвинения в цинизме»[24]. Комитет запретил книгу для публики. Как справедливо указывает М. П. Алексеев, одним из мотивов запрещения, не приведенным в докладе цензора, могло послужить то обстоятельство, что в сборнике Барбье была мрачная поэма, направленная против Николая I и его политики в польском вопросе [25].

Однако, несмотря на запрещение, стихи Барбье всё же проникали в Россию: два сборника («Iambes» и «Il pianto»), например, имелись в библиотеке А. С. Пушкина[26]; в журналах появлялись упоминания о нем с весьма высокой оценкой его творчества. К несколько более позднему времени относится знакомство с Барбье М. Ю. Лермонтова[27], петрашевцев—Ф. М. и М. М. Достоевских[28], С. Ф. Дурова[29], А. П. Милюкова, А. Н. Плещеева[30]. В пятидесятые-шестидесятые годы Барбье принадлежал к любимейшим поэтам демократического лагеря русской поэзии: его стихотворения в громадном количестве переводят «искровцы» (В. Курочкин, Д. Минаев, П. Вейнберг, молодой В. Буренин), некоторые из этих переводов, минуя цензуру, попадают в русскую зарубежную печать, печатаются в «Русской потаенной литературе XIX столетия» Огарева, «Подпольном слове» Элпидина, «Народной расправе» Ткачева и др. и во множестве распространяются в списках[31].

Соответственно росту в России популярности Барбье, чьи произведения сыграли немалую роль в развитии гражданских мотивов русской лирики, росла и цензорская активность по отношению к «поэту революции». Так, в 1840 г. была запрещена книга Барбье «Nouvelles satires» (Paris, 1840), содержавшая две сатиры—«Pot-de-vin» и «Erostrate». В данном случае, внимание цензора В. Соца остановила особенно первая

сатира, о которой он писал: «В первой сатире политического содержания представительницы Италии, Польши и Испании, претерпевая бедствия, последовавшие за революционным стремлением трех народов к свободе, и обвиняя первая—Австрию, вторая—Россию в мнимых несправедливостях, обращаются к сестре их, Франции, с просьбою о защите и вспомоществовании; но По-де-Вень, жених Франции, старается удержать ее от того, под разными предлогами. Многие предосудительные и оскорбительные для России места, встречающиеся, например, на страницах 14, 16, 19, 25, 61, 98, 113, и разные акты революционного польского правительства и Парижского комитета, помещенные на 205 и 225 страницах, требуют запрещения этой сатиры, а вместе и целой книги, ибо вторая сатира, хотя и позволительного содержания, но, занимая собою небольшое число страниц, не может быть выпущена в настоящем виде отдельно от первой»[32].

Несколько благосклоннее отнеслась цензура к другому сборнику—«Rimes héroïques» (Paris, 1843), дозволенному с исключением ряда мест, из которых некоторые были указаны в отзыве цензора. Последний (Г. Нагель) в своем докладе комитету писал следующее:

«Под заглавием «Rimes héroïques» г. Барбье дает читателю сборник сонетов, сюжеты которых были ему внушены или волнением, вызванным благоговейным воспоминанием, или каким-нибудь высоким проявлением добродетели и патриотизма. Автор, сгруппировав в хронологическом порядке эту галлерею своих поэтических воспоминаний, в предисловии заявляет: «Не всегда воспевал я людей наиболее блестящих и пользовавшихся наибольшим успехом, но чаще тех несчастных, которые склонны ко всему доброму и наиболее симпатичны моим взглядам и чувствам».

Просматривая этот сборник сонетов, мы нашли там несколько таких, которые, по нашему мнению, должны быть исключены при допущении книги к свободному обращению. Выдержки из этих сонетов, заслуживающие порицания, я считаю необходимым процитировать.

Стр. 98 в сонете под заглавием «Le jeune Barras»:

L'ange du peuple alors passait devant ses yeux,
Il le vit et criant: Vive la république!
Il tomba sous les coups des chouans furieux.
(Ангел народа тогда представился его глазам,
Он его увидел и с криком: Да здравствует республика!
Пал под ударами озверевших шуанов).

Стр. 102:

De même, o Lafayette! honneur de la cité,
Ton âme blanche au sein du plus sombre des âges
Traversa le pouvoir, le sang et les outrages,
Sans qu'une tâche vint souiller sa pureté.
(Таюже, о Лафайет! слава нашего города,
Твоя чистая душа во время самой мрачной эпохи
Прошла через власть, кровь и оскорбления,
И ни одно пятно не смогло замарать ее белизны).

Стр. 110. Подлежит исключению весь сонет под заглавием «Kosciusko», из которого мы цитируем здесь последние шесть стихов:

Ainsi de ta patrie, ô guerrier magnanime!
Ainsi de ta Pologne, innocente victime
Toujours comme Jésus trainée au Golgotha:
Son front échevelé qui gît dans la poussière
A beau nous sembler morne et froid comme la pierre,

Dieu lui garde la vie et la relevera.
(Так и с твоей родиной, о великодушный воин!
Так и с твоей Польшей, невинной жертвой,
Которую, как Христа, влачили на Голгофу:
Пусть ее чело с растрепанными волосами, лежащее в прахе,
Нам кажется безжизненным и холодным, как камень,
Но бог хранит ее живой и воскресит ее).

Стр. 129. Подлежит исключению весь сонет под заглавием «Les morts de Juillet», из которого мы цитируем первые четыре стиха:

Recevez, recevez l'hommage de ma voix
Morts sacrés des trois jours, victime du parjure,
Enfants du grand Paris qui pour venger l'injure
Avez rougi de sang le bouciiers des lois!..
(Примите, примите привет моего голоса,
Священные падшие этих трех дней, жертвы клятвопреступника,
Сыны великого Парижа, который, чтобы отмстить за оскорбление,
Окрасил кровью щит законов»).

Стр. 134. В сонете, озаглавленном «Christ», автор ставит спасителя в ряду героев, которых он прославляет в своей книге,—вот строфа из этого сонета:

O Jésus! quelque soit le hardi jugement
Que l'humaine raison porte sur ta nature
Je finirai par toi: je veux que ta figure
De mes nobles héros soit le couronnement!
(О Иисус! каково бы ни было смелое суждение
Человеческого разума о твоей природе,
Я кончу тобою: я хочу, чтобы твой образ
Был венцом изображенных мною благородных героев!)

В конце тома имеются пояснительные примечания в прозе; надлежит удалить те из них, на стр. 204, 205—207, которые касаются вышеупомянутых сонетов»[33].

Русские переводы из Барбье в течение 30—40-х годов не привлекали особенного внимания цензуры. Объяснение этому следует искать отнюдь не в непонимании ею бунтарско-протестантского характера «ямбов» и сатир французского поэта (приведенные выше отзывы о французских изданиях свидетельствуют об обратном), но в том, что в печать в эти годы попадали переводы наименее острых произведений, иногда, к тому же, приспособленные применительно к российским обстоятельствам; значительная же часть русских переводов, как сказано выше, распространялась в рукописях либо в зарубежных изданиях. Когда же в 50—60-х годах, в связи с наметившимся ослаблением гнета предреформенной цензуры, переводчики попытались сделать доступной и эту запретную прежде часть творческого наследия Барбье, им тотчас же пришлось столкнуться с весьма категорическими оценками и запрещениями.

Так, например, в 1862 г. был запрещен анонимный перевод стихотворения Барбье «Жертвы» («Les Victimes»), в котором поэт изображал сонм «замученных под тяжестью оков страдальцев, гордых пыткой и позором, святых, ораторов, поэтов, мудрецов». Возможно, в данном случае одним из мотивов запрещения «Жертв» было опасение, что скорбные строфы Барбье могли бы вызвать у русского читателя нежелательные параллели с отечественными административными репрессиями 1861—1862 гг. и, по аналогии, быть отнесенными к жертвам этих репрессий, в том числе и к Н. Г. Чернышевскому[34]. В 1865 г. напечатание нескольких «ямбов» в переводе К. И. Бабикова («Пролог», «Лев», «Жертвы» и др.)[35] вызвало замечание цензуры, что стихотворения Барбье

имеют «мрачный революционно-демократический характер». Отметим, что и на этот раз особенно подозрительными показались цензору «Жертвы», впрочем, с оговоркой, что смысл стихотворения «довольно неясен»[36].

В 1868 г., в связи с помещением ряда переводов В. П. Буренина в «Современном Обозрении» (1868, июнь), цензура, связав их с «юбилеем» революции 1848 г., усмотрела в них оскорбление авторитета монархической власти, признала в них произведения, имеющие целью «возбуждение революционных страстей вообще, яркою картиною торжества удавшегося народного бунта над законною властью»[37].

В том же 1868 г. Главное управление по делам печати особое внимание обратило на перевод В. П. Буренина «Собачий пир» («Вестник Европы», 1868, № 11, стр. 286—289). Как вспоминал позднее сам Буренин, переводы эти «провел» в цензуре М. М. Стасюлевич, имевший большие связи в цензурных кругах. При этом, однако, осторожный либерал Стасюлевич попытался предварительно осуществить свою внутреннюю, «дружескую» цензуру, максимально облагообразив перевод, исключив из него всё, что в какой бы то ни было степени могло вызвать недовольство цензурных органов. До нас не дошли, к сожалению, замечания Стасюлевича на этот перевод и его советы переводчику, но достаточно полное представление о них дает ответное письмо В. П. Буренина. «Относительно ваших замечаний на три стиха,— писал он к Стасюлевичу 12 октября 1868 г.,—я и согласен и не согласен с вами. «Святую сволочь», по-моему, следует оставить, потому что в подлиннике именно значится «sainte canaille». Выражение это по-русски не совсем ловко звучит, но оно характерно, оно рисует манеру Барбье, и потому с ним, по-моему, следует помириться. Что касается до «салонной» сволочи, то ваше замечание вполне справедливо, что одно и то же слово в двух значениях неуместно. В подлиннике стоит не сволочь, а «courreurs de salon». Буквально этого выражения перевести нельзя. Вот как, по-моему, можно переменить стих с этой фразой и последующие за ним:

Салонных шаркунов (хотите—пожалуй, прихвостней) он сделался притоном:
К пустым чинам и почестям жадна,
Толпа их бегает из двери в дверь с поклоном,
Чтоб выпросить обрывок галуна.

Вот насчет суки я с вами расхожусь. Разумеется, и речи не может быть о том, что я для вас готов и уступить и заменить самкой. Но сделать подобную уступку мне было бы совестно. И признаюсь вам, что меня сука нисколько не шокирует, и самка мне кажется менее уместной в стихе. Надо привыкнуть к цинизму Барбье, чтоб подобными выражениями не смущаться. У меня везде почти цинизм его смягчен. Он, например, выражается так: свобода поставила весь народ на течку или подставляет свой живот для любви и т. п. Как видите, такому поэту всякое слово впору, как бы вульгарно оно ни звучало, лишь бы выражало резко мысль. Впрочем, повторяю, я вовсе не стою за непременное удержание суки и только заявляю причины, по которым я не убоялся употребить это слово в стихе»[38].

Однако, несмотря на старания Стасюлевича и уступчивость Буренина, Главное управление по делам печати всё же нашло, что стихотворение это «посвящено идеализированию французской уличной революции 1830 г. в самой цинической форме». «Совет Главного управления по делам печати, рассмотрев означенное стихотворение, находил, что если таковое могло печататься безнаказанно во Франции и в других государствах, в которых существующие правительства основаны на успехе недавних революций, то в России появление в печати такого страстного описания уличной революции более чем неуместно, особенно в столь серьезном и бывшем доселе безукоризненным журнале, как «Вестник Европы», а потому совет полагал: предупредить редак-

тора о возможности неблагоприятных для его журнала последствий, в случае помещения в его издании статей, подобных вышеприведенному стихотворению Барбье»[39].

Впрочем, политическая актуальность и заостренность поэзии Барбье постепенно сглаживались как на Западе, так и у нас, хотя популярность его среди русских читателей-демократов держалась всё же вплоть до конца семидесятых годов. В 1871 г. из сборника «Œuvres comprenant les Iambes, Il pianto, Lazare etc.» (Bruxelles, 1853) подверглось исключению лишь стихотворение «Varsovie», как непосредственно задевавшее русское правительство[40]. В 1897 же году, как указывалось, произведения Барбье были целиком допущены в Россию: его творчество было признано исключительно достоянием истории.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Revue de Paris» от 15 августа 1830 г. О взглядах Николая I на Июльскую революцию см. Т. Богданович, Французская эмиграция, вопрос об интервенции, империя, польская революция в свидетельствах русского вельможи («Анналы», т. IV, Л. 1924, стр. 131—135, 136—137), ср. также Б. В. Томашевский, Французские дела 1830—1831 гг. в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово («Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово 1827—1832», Л. 1927, стр. 301—361).

[2] А. В. Никитенко, Записки и дневник, т. I, СПб. 1905, стр. 202.

[3] А. И. Дельвиг, Мои воспоминания, т. I, М. 1912, стр. 107.

[4] А. В. Никитенко, Записки и дневник, т. I, СПб. 1905, стр. 202.

[5] П. В. Анненков, Пушкин в Александровскую эпоху, СПб. 1874, стр. 18. Заметим кстати, что два издания Беранже — «Chansons» (8e édition, Bruxelles, 1824) и «Chansons nouvelles» (Paris, 1825) были запрещены цензурой еще в 1825 г.; мотивировки этого запрещения, однако, не сохранилось.

[6] Н. Г. Чернышевский, Избранные сочинения, т. IV, М. 1931, стр. 243.

[7] СПб. к-т ценз. иностр., журналы заседаний за 1831 г.

[8] Там же, рапорты за 1833 г., № 712.

[9] Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, под общей редакцией П. И. Лебедева-Полянского, т. I, М. 1934, стр. 462 («Современник», 1858, кн. XII, стр. 209—225).

[10] Белинский, Письма, т. II, СПб. 1914, стр. 250.

[11] П. Сакулин, Русская литература и социализм, ч. I, М. 1924, стр. 313, 356, 364.

[12] Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. VIII, СПб. 1894, стр. 38, 41; также «А. А. Григорьев, Материалы для биографии», под ред. В. Н. Княжнина, Пгр. 1917, стр. 104. Сжатый, но очень содержательный свод материалов о популярности Беранже в России сделан И. Г. Ямпольским (см. «Поэты «Искры», Л. 1933, стр. 33—34; Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. I, М. 1934, стр. 653—655).

[13] «Литература в это время,—писал С. В. Максимов,—заручилась уже «Губернскими очерками». Песни Беранже в прелестных переводах и счастливых переделках В. С. Курочкина входили во вкус и сильно увлекали» («Сочинения П. И. Якушкина», СПб. 1884, стр. 1).

[14] Т. Г. Шевченко, Дневник, М.—Л. 1931, стр. 69, 275 и др.

[15] Н. А. Добролюбов, цит. изд., т. I, стр. 464.

[16] Главн. управл. цензуры 1858 г., д. № 48, лл. 38—39. Французское издание «Моей биографии», разбор которой вошел в состав помещенной в «Московских Ведомостях» статьи, было беспрепятственно пропущено цензурой в 1858 г. («Ma biographie, ouvrage posthume», Paris, 1857). При рассмотрении перевода ее на русский язык в 1860 г. Московский цензурный комитет, в связи с приведенным предложением министра народного просвещения, не решился одобрить этого перевода собственной властью и представил его на рассмотрение Главного управления цензуры. После исключения из рукописи перевода нескольких мест он был разрешен к печати (Главное управление цензуры, 1860 г., д. № 345).

[17] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1860 г., № 1020. В 70-х и 80-х годах из всех сборников Беранже обыкновенно исключались четыре песни: «Les deux sœurs de charité», «Le bon dieu», «Conseil aux Belges» и «Prédiction de Nostradamus»—«ввиду их антирелигиозного и антимонархического содержания» (см. СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1872 г., № 1941; 1874 г., № 2286; 1877 г., № 3251; 1882 г., № 382).

[18] СПб. ценз. к-т, журналы заседаний за 1863 г., 12 октября; ср. «Поэты «Искры», стр. 621; там же, стр. 57—58, стихотворение напечатано полностью, с восстановлением исключенных цензурой строк.

[19] СПб. ценз. к-т, журналы заседаний за 1886 г., 19 октября.

[20] В. Евгеньев-Максимов, И. А. Гончаров, как член совета Главного управления по делам печати («Голос Минувшего», 1916, № 12, стр. 174).

[21] Ср., например, статью Т. Талычевой, Беранже и его переводчик («Отечеств. Записки», 1862, № 9), автор которой обвиняет Курочкина в преднамеренном искажении Беранже, в замене простоты и наивности оригинала «тривиальностью выражений» и т. д. К 1863 г. относится эпиграмма Н. Ф. Щербины на Курочкина (Н. Щербина, Стихотворения. Вступительная статья, редакция и примечания И. Айзенштока, Л. 1937, стр. 203, 280):

Тупоумным для забавы
Балаганно он острил
И на щукинские нравы
Беранже переложил.

[22] Главн. управл. по делам печати, журнал заседаний совета за 1866 г., № 101, п. 1.

[23] Главн. управл. по делам печати, III отд., 1892 г., д. № 23, лл. 61—62.

[24] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1832 г., № 512. Подлинник по-французски.

[25] О. Барбье, Ямбы и поэмы. Редакция, вступительная статья и примечания М. П. Алексеева. Одесса, 1922, стр. XXVI; во вступительной статье М. П. Алексеева собран обширный материал относительно известности Барбье в России.

[26] Б. Л. Модзалевский, Библиотека Пушкина, СПб. 1910, стр. 149.

[27] «Русск. Обозрение», 1890, № 8, стр. 749; ср. А. Милюков, Очерки истории русской поэзии, 3-е изд., СПб. 1864, стр. 223, где отмечены следы влияния «Ямбов» Барбье на Лермонтова; также С. В. Шувалов, Влияние на творчество Лермонтова русской и европейской поэзии («Венок М. Ю. Лермонтову», М. 1914, стр. 337—338).

[28] Ф. М. Достоевский, Письма, т. I, Л. 1928, стр. 55; ср. Достоевский, Сочинения, изд. «Просвещение», т. IX, стр. 103.

[29] А. П. Милюков, Литературные встречи и знакомства, СПб. 1890, стр. 184.

[30] См. в упомянутой статье М. П. Алексеева, стр. XXIX—XXXI.

[31] Один из таких списков попал в 1857 г. в руки Шевченко, который списал «Собачий пир» («La curée»), в переводе В. Г. Бенедиктова, в свой дневник (Т. Г. Шевченко, Дневник, М.—Л. 1931, стр. 173—177, 277).

[32] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1840 г., № 824. Подобный же мотив—наличие «непочтительных и укоризненных выражений для русского правительства»—послужил много лет спустя причиной исключения отдельных мест из книги Барбье «Tablettes d'Umbrano suivies de promenades au Louvre» (Paris, 1884) (там же, рапорты за 1884 г., № 4725).

[33] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1843 г., № 1062. Подлинник по-французски. Как это, так и остальные заграничные издания сочинений Барбье, подвергавшиеся запрещениям полностью или с исключением отдельных мест, были разрешены иностранной цензурой в 1897 г. (там же, рапорты №№ 7982—7985). Впрочем, «Iambes» были допущены еще в 1862 г. (см. «Книжный Вестник», 1864, № 21, стр. 430).

[34] Запрещенный текст перевода вошел в официальное издание, не подлежавшее распространению: «Сборник статей не дозволенных цензурою в 1862 г. Напечатан по распоряжению Главн. Управл. Мин. Нар. Просв. для комиссии по делам книгопечатания», СПб. 1862, т. II, стр. 145. Несмотря на запрещение «Les Victimes», это стихотворение в других переводах было в 1862—1863 гг. дважды напечатано: в «Библиотеке для Чтения», 1862, № 6, стр. 98 (перевод Ф. Берга) и в «Современнике», 1863, № 5, стр. 810—811 (пер. В. Буренина).

[35] «Отечественные Записки», 1865, октябрь, кн. II. Переводы эти вызвали, кстати сказать, пародию В. Курочкина: «К ямбам Барбье в переводе „Отечественных Записок"» («Искра», 1865, № 41, стр. 549—551, перепечатана в сборнике «Поэты «Искры» стр. 180—181).

[36] СПб. ценз. к-т, 1865 г., д. № 60, л. 7.

[37] Главн. управл. по делам печати, журналы заседаний совета за 1868 г., № 46, п. 7.

[38] «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. II, СПб. 1912, стр. 541—542.

[39] СПб. ценз. к-т, 1865 г., д. № 102, л. 11.

[40] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1871 г., № 3541.

IV. ЖОРЖ САНД

Немного найдется представителей мировой литературы, которые оказали бы столь мощное и длительное воздействие на русскую литературу, на формирование общественной мысли в России, как Жорж Санд. Ее известность, ее слава были не только известностью и славой большого литературного имени, крупного, выдающегося писателя-художника: в течение нескольких десятилетий Жорж Санд являлась для русского читателя примером и образцом борца за раскрепощение женщины, за «новое человечество». В тридцатые-сороковые же годы имя Жорж Санд олицетворяло всю французскую литературу, в ее лучших передовых представителях. Когда К. Д. Кавелин в своих «Воспоминаниях о Белинском» говорил, что «Жорж Занд и французская литература были нашим евангелием», когда М. Е. Салтыков-Щедрин писал, что «из Франции, разумеется, не из Франции Луи Филиппа и Гизо, а из Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занда, лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что золотой век не позади, а впереди нас»,—они лишь в слабой степени воссоздавали ту атмосферу культа Жорж Санд, преклонения перед нею и ее героями, какое существовало в то время.

В настоящем очерке мы, естественно, не имеем возможности с достаточной подробностью останавливаться на истории усвоения Жорж Санд на русской почве, говорить о ее влиянии на русское общество и русскую литературу[1], однако, некоторые справки существенно необходимы для правильной оценки публикуемых ниже документов.

Широкая известность Жорж Санд в России начинается с 1833 г., когда появился первый перевод ее романа «Индиана» (СПб. 1833)[2], который вызвал совершенно необычный для того времени взрыв страстных восторгов и яростных нападок. Только-что возникшая в 1834 г. «Библиотека для Чтения» поднимает подлинный крестовый поход против французских романов вообще и, в особенности, против Жорж Санд. Из номера в номер «проповеди» Жорж Санд в «Индиане», «Валентине» и «Лелии» называются «безнравственными»; ее повесть «Жак»—«страшное происшествие для ума и нравственности»; вообще ее «статьи» «могли б удивлять читателя страстною своею диалектикою, если б не заставляли сожалеть о ней и даже о народе, в котором узы, самые священные и необходимые для человеческого счастья, так гибельно начинают расторгаться». Как лучшее средство для предотвращения зла, пускается в ход сатира, в роде статьи Ф. Булгарина «Петербургская чухонская кухарка, или женщина на всех правах мужчины. La femme émancipée des st. simoniens. Эпилог к философическим глупостям XIX века»[3]. В какой-то мере эти нападки, очевидно, имели свой общественный резонанс, подчас совершенно неожиданный: среди хулителей Жорж Санд оказывалась сама русская императрица, жена Николая I, высказывавшая свое «авторитетное» мнение, что нельзя любить медика. «Fût-il beau comme Adonis,—поучала она своих приближенных,—un homme qui vous proscrit des purgatives et qu'on paye dix francs la visite!». И этому взгляду вторили приближенные, жалуясь на то, что «русские барыни, начитавшись госпожи Занд, усвоили ее взгляд и таскаются по Европе с курьерами из итальянцев без зазрения совести»[4].

Конечно, не яростная ругань Сенковского и Булгарина, не возмущение двора характеризуют популярность Жорж Санд: они лишь оттеняют, подчеркивают тот массовый восторг, то общее восхищение, которое возобновлялось, возрастало с каждым новым романом французской писательницы. «О Жорж Занде тогда говорили беспрестанно, по мере появления ее книг,—вспоминал впоследствии И. А. Гончаров,—читали, переводили ее; некоторые женщины даже буквально примеряли на себе ее эмансипаторские заповеди, поставив себя в положение тех или других ее героинь, чего, конечно, без нее им бы и в голову не пришло, или пришло бы, как всегда, просто, без участия головы»[5].

Но наряду с таким чисто внешним преклонением, сопровождающим всякий крупный успех, шло и более глубокое, хотя не менее восторженное, усвоение художественной стороны романов Жорж Санд и социально-философского, идейного их содержания. Страстным пропагандистом французской писательницы выступает Белинский, впрочем, далеко не сразу оценивший ее[6]; для Белинского сороковых годов Жорж Санд—«решительно Иоанна д'Арк нашего времени, звезда спасения и пророчица великого будущего»[7], она—лучшая представительница французской литературы: «кроме G. Sand, право, некого у них [у французов] теперь читать»,—пишет он В. Боткину[8]. То же находим и в печатных статьях Белинского того времени. «Это, бесспорно, первая поэтическая слава современного мира,—пишет он о Жорж Санд в одном месте.— Каковы бы ни были ее начала, с ними можно не соглашаться, их можно не разделять, их можно находить ложными; но ее самой нельзя не уважать, как человека, для которого убеждение есть верование души и сердца. Оттого многие из ее произведений глубоко западают в душу и никогда не изглаживаются из ума и памяти. Оттого талант ее не слабеет ни в силе, ни в деятельности, но крепнет и растет»[9].

Необходимо при этом учитывать, что произведения Жорж Санд для Белинского имели не только художественную ценность: ее романы служили источником знакомства с теорией и практикой французского утопического социализма в отдельных его представителях (в особенности с учением Пьера Леру)[10]. И если сам Белинский в последние годы жизни охладел к Жорж Санд, то увлечение его, как бы по наследству, передалось всей последующей линии демократической мысли, чрезвычайно ярко и показательно проявившись, например, в творчестве Н. Г. Чернышевского. Как замечает исследователь, «Чернышевскому Ж. Санд была близка, как писательница, поставившая в своем творчестве вопросы о переустройстве общества в направлении к социалистическому идеалу... Пусть во многом Ж. Санд оставалась в кругу романтической традиции, но первые выходы литературы к новым проблемам социального порядка именно романами Ж. Санд осуществлены были с наибольшей яркостью, остротой и художественным совершенством»[11]. А. Скафтымов, которому принадлежит эта цитата, приводит обширный и убедительный материал, демонстрирующий не только читательское увлечение Чернышевского романами французской писательницы, но и попытки его на деле, в личной своей жизни применить проповедуемые ею идеи. Роман Жорж Санд «Жак» он считал даже, в конце сороковых и начале пятидесятых годов, программой и образцом своего собственного поведения; находясь в заключении в Петропавловской крепости (1864 г.), Чернышевский перечитывал «Графиню Рудольштадскую». Целая галлерея героев и героинь Жорж Санд мелькает в «Что делать?», создавая своеобразную литературную канву поступков героев Чернышевского. А. Скафтымов даже полагает, что и «сюжетная концепция романа „Что делать?" имеет очень большое сходство с романом „Жак"».

Чернышевский в своем увлечении Жорж Санд отнюдь не был одинок; имя французской писательницы в начале шестидесятых годов звучало не менее громко и торжественно, чем в начале сороковых, соединяясь в представлении читателей с широко развертывавшейся борьбой за женскую эмансипацию. «Имя Жорж Санд,—свидетельствует историк,—было в России очень популярно, и она-то главным образом заставляла наших читателей и, прежде всего, читательниц задумываться над судьбой и над призванием женщины в мире»[12]. И популярность эту весьма убедительно подчеркивает и утверждает оживленная журнальная полемика, разгоревшаяся по поводу статьи известного славянофила Т. И. Филиппова о драме Островского «Не так живи, как хочется», в которой критик писал о Жорж Санд: «С именем этой женщины связано столько зла, что говорить об ее достоинствах приходится с большой осторожностью... Злоупотребления были для Занда только предлогом к борьбе и снабжали ее живыми возражениями; истинное же, внутреннее ее побуждение было иное: не-

ЛЕЛИЯ

Картина маслом Г. Курбе на сюжет романа Жорж Санд, 1841 г.

Музей изобразительных искусств Армении, Ереван

насытимая страстность ее природы, влечениям которой она предаться не хотела, не узаконив их, вывела ее из здравого понятия о правах личной любви, которое предлагается уставом христианского брака. Обстоятельства, естественно ограничивающие произвол наших личных ощущений, показались ей насильственными и не содержащими в себе неприкосновенной правды: она их переступила и свое преступление задумала возвести на степень общего закона»[13]. Сами по себе, эти обвинения по адресу Жорж Санд были не новы: обвинения писательницы в личном разврате, следствием которого являются, якобы, и ее романы, высказывались и до того много раз ее противниками и недоброжелателями[14]. Интересно то, что выступление Т. Филиппова вызвало сильный общественный резонанс, что на защиту Жорж Санд выступил широкий фронт русской журналистики—от «Современника» до «Русского Вестника», и даже со стороны своих единомышленников Филиппов получил упрек в том, что пересердствовал, неосторожно и нетактично коснувшись «вопроса нравственного, вопроса живого, крайне щекотливого, можно сказать, задорного—женской эманципации и ее проповедников, а в особенности великой проповедницы Жорж Занд»[15].

Позже, к концу шестидесятых годов, слава Жорж Санд начала блекнуть,—общественное и, в частности, женское движение вступило в новую фазу своего развития; но и тогда сохранилась популярность Жорж Санд, как талантливой романистки, как большой, подлинно большой писательницы. «Когда, лет восемь тому назад,—писал И. С. Тургенев после ее смерти А. С. Суворину,—я впервые сблизился с Жорж Занд, восторженное удивление, которое она некогда возбудила во мне, давно исчезло, я уже не поклонялся ей[16]; но невозможно было вступить в круг ее частной жизни—и не сделаться ее поклонником, в другом, быть может, лучшем смысле. Всякий тотчас чувствовал, что находился в присутствии бесконечно-щедрой, благоволящей натуры, в которой всё эгоистическое давно и дотла было выжжено неугасимым пламенем поэтического энтузиазма, веры в идеал; которой всё человеческое было доступно и дорого, от которой так и веяло помощью, участием... И надо всем этим какой-то бессознательный ореол, что-то высокое, свободное, героическое... Поверьте мне: Жорж Занд—одна из наших святых; вы, конечно, поймете, что я хочу сказать этим словом»[17]. Этот «бессознательный ореол», это нечто «высокое, свободное, героическое» привлекало к Жорж Санд русских читателей вплоть до наших дней...

В истории популярности Жорж Санд в России—истории, еще не написанной, но, тем не менее, достаточно известной со стороны своего фактического содержания, до сих пор оказывалось темным местом отношение к ее творчеству правительственных органов и, в частности, цензуры. В самом деле, a priori можно было предполагать, что цензурные органы не могли не реагировать на огромную популярность Жорж Санд в России, на увлечение русского читателя именно социальной проблематикой ее романов. Между тем, почти никаких фактов цензурных репрессий и запрещений каких-либо романов Жорж Санд в литературе до сих пор не отмечалось. Наоборот, было известно, что русские переводы романов Жорж Санд печатались систематически вслед за появлением их во французском оригинале. Едва ли не единственным указанием на существование каких-то цензурных репрессий, направленных (правда, косвенным образом) против Жорж Санд, являлось до настоящего времени письмо Н. А. Некрасова к В. Г. Белинскому от 24 июня 1847 г., где сообщалось: «В прошлом месяце мы бросили перевод и набор «Манон Леско» и «Леоне-Леони», а в нынешнем не будем продолжать «Пиччинино». Это всё потому, что это романы французские, а к французским романам по обстоятельствам, независящим от редакции, мы с Панаевым почувствовали сильное нерасположение»[18]. Однако, и здесь Жорж Санд оказывалась пострадавшей от общего гонения на французскую литературу.

Лишь непосредственное обращение к цензурным материалам обнаруживает систематическое, на протяжении двадцати лет, запрещение цензурой романов Жорж Санд

119.

152

Lélia, par George Sand.
Paris. 1833. in-8°. Tome premier
de 350, tome second de 343 pages.

Подъ именемъ Георга Занда
скрыто по увѣренію французскихъ жур-
налистовъ, имя женщины, написавшей
уже нѣсколько романовъ. Въ новомъ
семъ произведеніи героиня романа, Лелія,
есть лицо фантастическое, отличаю-
щееся весьма страннымъ и непонят-
нымъ характеромъ, колеблющееся
безпрестанно между вѣрою и безбожіемъ,
между надеждою и скептицизмомъ.
Она вдругъ охладѣла къ своему любов-
нику, котораго нѣсколько времени лю-
била страстно; ибо замѣтила, что лю-
бовь не одинаковыя и равно продолжитель-
ныя доставляетъ упоенія чувствамъ
и душѣ, что въ мущинѣ, съ удовле-
твореніемъ чувственныхъ побужденій,
простываетъ пламя любви — состояніе
убійственное для сердца женщины, [illegible]
[illegible] /. Приведемъ собственное
ея признаніе: „J'avais près de lui une
sorte d'avidité étrange et délirante qui,
prenant sa source dans les plus exquises
puissances de mon intelligence, ne pou-

Запрещено [illegible] 26 февраля 1834

От. II. стран. 25

СТРАНИЦА ДОКЛАДА ЦЕНЗОРА С РЕЗОЛЮЦИЕЙ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 1834 г., ЗАПРЕЩАЮЩЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ РОМАНА ЖОРЖ САНД „ЛЕЛИЯ“

Ленинградское отделение Центрального исторического архива (ЛОЦИА)

в подлинниках. Этому обстоятельству не противоречит то, что все эти романы одновременно дозволялись в русских переводах, соответствующим образом, конечно, сокращенных и обработанных. Таким путем цензура боролась с «проникновением зажигательных теорий», и путь этот, к слову сказать, применялся даже значительно позже: в 1885 г., например, его предлагал К. П. Победоносцев для Золя[19]. Недаром более внимательные и вдумчивые читатели Жорж Санд стремились к знакомству с ее романами именно в подлинниках. Белинский писал, например, Н. А. Бакунину (7 ноября 1842 г.): «Читали вы «Ораса» Жорж Занд? Если вы читали его в «Отечественных Записках», по-русски только, жаль»[20].

Внимание цензуры к Жорж Санд было впервые привлечено в 1834 г., когда роман «Lélia» (Paris, vols. I—II) был запрещен, ввиду того, что «содержание романа наполнено метафизическими отвлеченностями и софизмами, направленными против общественных понятий, нравственности и веры»[21]. В 1837 г. цензором Г. Р. Дукшта-Дукшинским был представлен следующий доклад о книге Жорж Санд «Lettres d'un voyageur» (Paris, 1837, vols. I—II): «Недовольный учреждениями общественной жизни, терзаемый сомнениями на счет назначения человека, автор сообщает в письмах путешественника картину собственных чувствований. Находясь в болезненном состоянии души и ища рассеяния в путешествиях, его герой не понимает цели своей жизни, негодует на монархические учреждения и объявляет себя поборником начал республиканских; настоящий порядок вещей и безнадежность будущности приводят его в отчаяние, побуждают к самоубийству, но врожденная робкость и малодушие препятствуют совершению намерения. Эта борьба, мнения о разных нравственных предметах и возражения на критики о прежних сочинениях автора, как-то: Indiana, Valentine, Lélia и других, составляют главное содержание сих двух томов. Мы признаем сие сочинение предосудительным как в нравственном, так и в политическом отношениях»[22].

Два года спустя внимание цензуры было обращено на роман «Spiridion» (Paris, 1839). Цензор В. Соц нашел этот роман «способным производить вредное впечатление, усугубляемое множеством предосудительных мест, противных 1-му пункту § 3 устава о цензуре» (пункт этот предусматривал запрещение произведений, содержащих в себе что-либо клонящееся к поколебанию учения православной церкви, ее преданий и обрядов или вообще истин и догматов христианской веры)[23]. Ряд произведений Жорж Санд подпадал, в той или иной степени, под действие цензурной машины и в следующие годы. В 1841 г. была запрещена книга «Le compagnon du tour de France» (Bruxelles, 1841, vols. I—II), ввиду того, что содержание ее «относится к эпохе тайных обществ, покушавшихся в 1823 г. свергнуть Бурбонов, и что автор признает необходимость и пользу тайных обществ»[24]. Роман Жорж Санд «Horace» (Bruxelles, 1842, vols. I—II) был дозволен, за исключением ряда мест, излагающих религиозные и политические мысли автора[25]; то же произошло с романом «Consuelo» (Bruxelles, 1842—1843, vols. I—III), дозволенном, с исключением нескольких мест, «где явно отвергается принимаемое учением христианской церкви существование олицетворенного зла»[26]. В том же 1843 г. запрещена книга «Jean Ziska (Episode de la guerre des Hussites)» (Bruxelles, 1843), в которой цензор, найдя собственно историческую часть позволительной, отметил «вредность» мыслей автора об учении гусситов[27]. В 1844 г. подвергся запрещению роман «La comtesse de Rudolstadt» (Bruxelles, 1843—1844, vols. I—III), в котором были усмотрены «непозволительные мысли масонов о религиозной и политической свободе», а также «выражения и мысли унизительные для религии и для монархической власти»[28]. В 1846 г. «Le péché de Monsieur Antoine» (Bruxelles, 1846, vols. I—II) дозволено с исключением нескольких страниц (296—300), на которых «разбираются идеи новейших социалистов о преобразованиях общества»[29].

Необходимо при этом иметь в виду, что, как сказано выше, русские переводы всех перечисленных книг были пропущены беспрепятственно либо, во всяком случае, с такими

препятствиями, которые были преодолены путем непосредственных переговоров переводчика или издателя с цензором, без передачи дела на рассмотрение цензурного комитета. Существенно необходимым, в данном случае, было бы произвести сличение текстов пропущенных переводов с запрещенными оригиналами и установить, таким образом, тот облик Жорж Санд, который преподносился русскому читателю и который, конечно, не совпадает с подлинным ее творческим и социально-политическим лицом.

В материалах цензурного ведомства не сохранилось документов, непосредственно относящихся к тому запрещению печатать продолжение «Пиччинино», о котором упоминал Н. А. Некрасов в цитированном выше письме к Белинскому. Однако, некоторые позднейшие намеки на это мы встретим в докладе цензора М. Г. Палеолога о французском издании этого романа (Georges Sand, «Le Piccinino», Bruxelles, 1847, vols. I—III):

«Автор в настоящем романе своем не выражает ничего противного в отношении к религии и нравственности; он погрешает своими политическими мнениями чрезмерно либеральными; везде старается внушить читателям своим дух либеральности и возбудить ненависть народа к высшему сословию, которое он унижает в глазах первого.

Так как сочинение это есть роман, предназначенный для большой массы читателей, то мы полагаем, что оно должно быть подвергнуто запрещению, по духу либеральности и по мнениям автора, вооружающим одно сословие государства против другого».

Приведя ряд примеров, подтверждающих, по его мнению, это положение, цензор заключал, что «это сочинение должно быть подвергнуто запрещению в целости», и при-

МУЗА ЖОРЖ САНД
Работа Ж.-Б. Клезенже. Мрамор 1845 г.

Эрмитаж, Ленинград

бавлял: «Заметим также, что и перевод этого романа на русский язык дозволен быть не может»[30].

Это заключение цензора весьма характерно для начавшейся «эпохи цензурного террора», к которой оно относится. Вспомним, что это было время, когда над цензурой был поставлен еще «негласный» Бутурлинский комитет — «для исследования нынешнего направления русской литературы, преимущественно журналов, и для выработки мер обуздания ее на будущее время», когда, по словам современника, «панический страх овладел умами. Распространились слухи, что комитет особенно занят отыскиванием вредных идей коммунизма, социализма, всякого либерализма, истолкованием их и измышлением жестоких наказаний лицам, которые излагали их печатно или с ведома которых они проникали в публику», когда «ужас овладел всеми мыслящими и пишущими»[31]. При таких условиях и самой цензуре приходилось наново пересматривать свои прежние решения и постановления, усиливая репрессии, запрещая наново допущенные было прежде книги и т. д.

К этому времени относится запрещение романов Жорж Санд «Mauprat» и «Indiana», получивших уже до того широкую известность, хорошо знакомых читателям и не вызывавших прежде каких-либо цензурных нареканий. Еще в 1841 г. Белинский рекомендовал «Mauprat», как «одно из лучших созданий Жорж Занда», и, полемизируя со «слепою чернью, дикою и невежественною толпою», которая ославляет «г-жу д'Юдеван», как «писательницу безнравственную», доказывал, что «Жорж Занд есть адвокат женщины, как Шиллер был адвокат человечества»[32].

Тринадцать лет спустя после этих горячих строк на стороне «слепой черни, дикой и невежественной толпы» оказывается и царское правительство в лице своего цензурного ведомства. 15/27 января 1854 г. цензор Ю. И. Гинье представил Варшавскому цензурному комитету пространный доклад о новом издании «Mauprat» (Paris, 1853), доказывая необходимость запрещения для публики этого романа.

«Этот роман,—писал цензор,—пожалуй, один из лучших и интереснейших романов г-жи Санд, только-что переизданный в иллюстрированном и дешевом издании, не может, по моему мнению, быть пропущен. Уже в предисловии на странице первой есть несколько громких, высокопарных фраз против гражданских законов, по мнению г-жи Санд, извращающих и принижающих священное установление брака. Что касается самого романа, действие его в большей своей части происходит во Франции, незадолго до революции 1789 г. С явной целью подчеркнуть мнимую необходимость этой революции, г-жа Санд сначала вводит читателя в феодальный замок Мопра, в котором отец и шесть сыновей, настоящие средневековые бандиты, живут лишь грабежом и вымогательствами. Почти все герои романа преисполнены восхищением к доктринам общественного договора и к пагубным идеям, приведшим к роковой революции 93 года»[33].

Немного позже Варшавским же цензурным комитетом было представлено к безусловному запрещению новое издание романов «Indiana» и «Melchior» вместе с «La reine Mab» (Paris, 1852), также давным-давно известных русскому читателю и в подлиннике и в неоднократных переводах—по докладу того же Ю. И. Гинье (22/10 марта 1851 г.), «а равно по личном удостоверении во вредном направлении этого сочинения, нарушающего основания религии и нравственности». Приводим здесь доклад цензора:

«„Indiana“» открывает собой серию романов г-жи Санд, написанных против установления брака, который в ее глазах является тиранией, в то время как прелюбодеяние есть возвращение к н е о т ъ е м л е м о м у п р а в у ж е н щ и н н а с в о б о д у. Хотя цензура до сих пор допускала этот роман с небольшими купюрами, но он не может быть пропущен в одном из тех дешевых изданий, в каких большей частью выходят самые дурные произведения иностранной литературы. В одном из предисловий к такому иллюстрированному изданию этого романа г-жа Санд сама признает:

«...Я писала «Индиану» с не совсем, правда, ясным, но глубоким и законным сознанием несправедливости и варварства законов, которые еще определяют жизнь женщины в браке, в семье и в обществе». Преисполненная гордости по поводу вызванной ею критики, она восклицает в конце: «Свобода мысли, свобода печати и слова, святые достижения человеческого духа! что значат маленькие страдания и мимолетные заботы, порожденные твоими ошибками и злоупотреблениями, по сравнению с бесконечными благодеяниями, которые ты готовишь миру!».

Обращаю также внимание в предисловии 1833 г. (стр. 2) на место, подчеркнутое красным карандашом, от слов: «посмотрите затем» до слов «для того, кто мог бы ошибиться». Разумеется, собственные слова г-жи Санд—самое лучшее осуждение ее романа, где апология самоубийства стоит рядом с многочисленными софизмами и высокопарными выступлениями против общества и законов, которыми оно управляется. В романе встречаются также безбожные и богохульные места».

Относительно «La reine Mab» цензор замечал, что «там представлена сцена обольщения на корабле во время бури, сцена, в которой имя бога упоминается с тем бо́льшим богохульством, что и сам соблазнитель—человек женатый». Для «Melchior» цензор требовал лишь уничтожения некоторых сомнительных мест[34].

Для полноты обзора укажем еще, что в 1856 г. были запрещены томы 19—20 «Histoire de ma vie» (Paris, 1855), ввиду наличия значительного количества «предосудительных мест в политическом, религиозном и нравственном смысле»[35].

На этом можно закончить изложение цензурных мытарств Жорж Санд: общественный подъем после крымской войны и кратковременный «либерализм» царского правительства сделали невозможным дальнейшее преследование давным-давно знакомых и популярных романов писательницы. Самое имя Жорж Санд, как указывалось выше, получило обновленное, более глубокое звучание, символизируя и возглавляя целое общественное движение за женскую эмансипацию; правда, в это же время появляются и отрицатели Жорж Санд, так сказать, слева, из лагеря радикальной демократии[36]. В свете нарастающего массового революционного движения, в свете новых социальных теорий, проникающих из-за границы, романы Жорж Санд оказываются меньшим злом, и в 1863 г. большинство их разрешается безусловно к ввозу и распространению.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В настоящее время подготовляется к печати монография проф. А. И. Белецкого, Жорж Санд в России.

[2] В оригинале ее произведения, конечно, могли быть знакомы отдельным читателям и раньше.

[3] «Библиотека для Чтения», 1834, т. III, Смесь, стр. 129—130; т. VI, Смесь, стр. 75; проза, стр. 88; т. II, Смесь, стр. 83; см. также А. П. Пятковский, Из истории нашего литературного и общественного развития, т. II, СПб. 1888, стр. 231, 214; Н. К. Козмин, Очерки из истории русского романтизма. Н. А. Полевой, как выразитель литературных направлений современной ему эпохи, СПб. 1903, стр. 470—471.

[4] А. О. Смирнова, Записки, дневник, воспоминания, письма, М. 1929, стр. 264.

[5] И. А. Гончаров, Заметки о личности Белинского, в книге: «Виссарион Григорьевич Белинский в воспоминаниях современников». Собрал и комментировал М. К. Клеман. Предисловие и редакция Н. К. Пиксанова, Л. 1929, стр. 324.

[6] Ср., например, его высказывания о Жорж Санд до 1840 г.—Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под ред. С. А. Венгерова, т. II, стр. 126, 147; т. IV, стр. 36, 461—462 и др.

[7] Письмо к Н. А. Бакунину, 7 ноября 1842 г. — Белинский, Письма, т. II, СПб. 1914, стр. 318.

[8] Письмо к В. П. Боткину, декабрь 1847 г. — Белинский, Письма, т. III, СПб. 1914, стр. 325.

[9] Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под ред. С. А. Венгерова, т. VII, СПб. 1904, стр. 305. См. также в другом месте противопоставление Жорж Санд, с ее демократизмом, с ее возвеличением человека, Бальзаку (там же, т. VI, СПб. 1903, стр. 198—199).

[10] В. Л. Комарович, Идеи французских социальных утопий в мировоззрении Белинского—«Венок Белинскому». Редакция Н. К. Пиксанова, М. 1924, стр. 263 и сл.

[11] См. А. Скафтымов, Чернышевский и Жорж Санд.—«Николай Гаврилович Чернышевский. 1828—1928. Неизданные тексты, материалы и статьи», под общей редакцией проф. С. З. Каценбогена, Саратов, 1928, стр. 223—243. Ср. замечания о влиянии Жорж Санд на Чернышевского у Г. Плеханова, Н. Г. Чернышевский, СПб. 1910, стр. 71—72 и др.

[12] Нестор Котляревский, Канун освобождения, Пгр. 1916, стр. 419.

[13] «Русск. Беседа», 1856, кн. I.

[14] Ср., например, рассказ о столкновении Белинского с А. О. Смирновой в мае 1846 г.: «Под самый конец вечера дело дошло до Жорж Занд, и когда Белинский стал об ней говорить, как о некоем божестве, которое, впрочем, начинает портиться, ибо в последних романах ее видны признаки раскаяния и других добродетелей, то А. О. [Смирнова] вспыхнула, да ведь как! Начала кричать на Белинского довольно резко и доказывать весь вред и всю степень разврата Жорж Занд» («И. С. Аксаков в его письмах», т. I, СПб. 1896, стр. 332—333).

[15] Об этой полемике см. Николай Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 15, СПб. 1901, стр. 176—195.

[16] Еще в 1857 г. Тургенев, в письме к С. Т. Аксакову, говорил о «болтовне зарапортовавшейся Занд» («Вестник Европы», 1894, № 2, стр. 498).

[17] И. С. Тургенев, Сочинения, т. XII, Л., 1933, стр. 270—271. О личных отношениях Тургенева и Жорж Санд см. В. Каренин, Тургенев и Жорж Санд («Тургеневский Сборник», под ред. А. Ф. Кони, Пгр. 1921, стр. 87—129).

[18] Н. А. Некрасов, Собрание сочинений, т. V, Письма, М.—Л. 1930, стр. 83. В «Современнике», 1847, кн. VII на обложке значилось: «Продолжение романа Жорж Занда «Пиччинино» не могло быть напечатано по причинам, независящим от редакции». В IX кн. «Современника» (стр. 147—153) был дан краткий пересказ окончания «Пиччинино».

[19] См. И. Айзеншток, Письма К. П. Победоносцева к Е. М. Феоктистову. («Литературное Наследство», кн. 22—24, 1935, стр. 518).

[20] Белинский, Письма, т. II, СПб. 1914, стр. 318.

[21] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1834 г., № 119. Дозволено к обращению в России в 1863 г. (рапорты за 1863 г., № 162).

[22] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1837 г., № 243. Главное управление цензуры утвердило мнение Комитета цензуры иностранной о запрещении этого сочинения для публики.

[23] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1839 г., № 760. Главное управление цензуры утвердило мнение о запрещении этой книги для публики. Роман был дозволен во французском оригинале в 1862 г. (рапорты за 1862 г., № 4031).

[24] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1841 г., № 715.

[25] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1842 г., № 691.

[26] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1843 г., № 1039.

[27] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1843 г., № 1152.

[28] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1844 г., № 408.

[29] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1846 г., № 262.

[30] Доклад не датирован, относится к октябрю—ноябрю 1848 г., так как 8 ноября 1848 г. Главное управление цензуры утвердило мнение цензора и комитета о запрещении этого романа для публики (СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1848 г., № 700). Роман был дозволен иностранной цензурой к обращению в России в 1873 г. (рапорты за 1873 г., № 4244).

[31] А. В. Никитенко, Записки и дневник, т. I, СПб. 1905, стр. 377.

[32] Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под ред. С. А. Венгерова, т. VI, СПб. 1903, стр. 198—199.

[33] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты Варшавского ценз. к-та за 1854 г., № 500. Подлинник по-французски. На основании этого отзыва роман был запрещен для публики.

[34] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты Варшавского ценз. к-та за 1854 г., № 790. Подлинник по-французски. На основании этого доклада «Indiana» была запрещена для публики, а «Melchior» дозволен в целости. Роман «Indiana» был снова дозволен иностранной цензурой в 1863 г.

[35] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1856 г., № 109. Остальные томы этого сочинения дозволялись, за исключением отдельных мест, в 1854, 1855 и следующих годах.

[36] Например, В. Зайцев (см. его Избранные сочинения, т. I, М. 1934, стр. 255, 273), Дебэ («Русское Слово», 1864, № 9, стр. 65) и др.

V. А. де МЮССЕ—Т. ГОТЬЕ—Ш. БОДЛЭР

Объединяя в этой главе столь несхожие творческие индивидуальности, мы, естественно, не предполагаем, в какой бы то ни было степени, устанавливать их поэтическое родство между собой, равно как и прослеживать возможные их взаимоотношения и взаимовлияния. В рамках нашей работы трое названных поэтов интересуют нас, как характерные примеры отношения царской цензуры к произведениям, культивирующим «искусство для искусства» и, казалось бы, по самому своему существу, далеким от всякой политики, ибо трудно было бы при самом пристрастном отношении, при самой болезненной чуткости ко всякому даже беглому, неясному и случайному намеку на «политику» отыскать следы ее, скажем, в лирике А. де Мюссе, в «Mademoiselle de Maupin» или в «Emaux et camées» Т. Готье, в «Les fleurs du mal» Ш. Бодлэра— т. е. в произведениях, создававших творческий облик поэтов не только в представлении рядовых читателей, но и цензурного ведомства. Казалось бы, на книгах Мюссе, Готье, Бодлэра чиновники цензуры могли отдыхать, не рискуя попасть впросак, не рискуя пропустить чего-либо «непозволительного» и крамольного.

Однако, при ближайшем знакомстве с материалом оказывается, что это априорное предположение не выдерживает критики: не говоря уже о том, что книги французских поэтов, представителей «чистого искусства», или «искусства, для искусства», подвергались столь же внимательно-придирчивой критике, они сплошь да рядом получали отрицательную оценку, запрещались, причем запрещение это действовало иногда в продолжение ряда десятилетий. Не доверяя установившимся литературным репутациям, цензурные чиновники настойчиво применяли испытанный метод своей работы, заключавшийся в регистрации малейших уклонений от неписанного, но довольно

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ
Фотография, снятая во время пребывания Готье в Петербурге в 1859 г.
Литературный музей, Москва

четко сознаваемого канона, политического, общественного и нравственного, блюсти который была призвана царская цензура.

Поэтому-то, например, подверглась запрещению книга А. де Мюссе «Un spectacle dans un fauteuil» (Paris, 1834), в которой внимание цензора Г. Р. Дукшта-Дукшинского привлекла особенно драма «Lorenzaccio». «Она представляет,—отмечает протокол Петербургского цензурного комитета от 19 апреля 1835 г.,—Флоренцию под скипетром герцога Александра Медичи, человека жестокого и распутного, важнейшее же место занимает в сей драме Лоренцо Медичи, родственник герцога. Главное содержание оной есть следующее: ложные понятия о свободе возбудили в Лоренцо пламенное желание освобождения Италии от самодержавной власти. Убиение тирана казалось ему делом геройским, а имя нового Брута—высшею степенью славы... Автор представляет Лоренцо не как закоснелого преступника, но как человека, решившегося на убийство из любви к свободе и отечеству с геройским самоотвержением: возбуждает негодование против насильственных действий герцога и его любимцев, и, напротив того, уважение к патриотам, защищающим свои права, а малодушие людей, увлекающихся личными выгодами или не имеющих довольно решительности для защищения свободы, наказывает презрением. Такое стремление обнаруживается, конечно, более из общего хода действия, нежели из частных мест, но и приведенные господином цензором места (на стр. 131, 138, 147, 158, 182 и 251), которые можно еще более увеличить, достаточно показывают предосудительность сей пьесы. При сем господин цензор замечает, что одобрение приведенных мыслей Филиппом Строцци имеет особенную важность, ибо автор представляет его, как истинного патриота и добродетельного человека. Признавая, с своей стороны, дух сей пьесы противным цензурным правилам и могущим произвести невыгодное впечатление, г. Дукшинский представляет о запрещении первого тома сей книги, в коем она находится».

В других пьесах цензор отметил лишь несколько отдельных мест, из которых часть хотя и «произносятся шалуном, принявшим на себя роль придворного шута, однако же господин цензор почитает оные неприличными и подлежащими исключению». С выводами цензора согласился и комитет, нашедший, в частности, первую пьесу «написанною в опасном либеральном духе и могущею производить на многих читателей вредное впечатление»[1].

В следующем 1836 г. внимание цензуры было привлечено к знаменитому роману А. де Мюссе «La confession d'un enfant du siècle», в котором, по объяснению цензора В. И. Соца, «автор старался преимущественно обнаружить причины и состояние испорченности нравов молодых людей, подобных Октаву, а чтобы уничтожить невыгодное впечатление, которое могло бы произвести описание любовных связей героя, софизмы его и дерзкие уподобления, несовместимые с должным уважением к предметам высоким и священным, он употребил такую развязку, которая, обращая Октава к раскаянию, направляет его сочинение к благовидной цели».

При таком, в общем совершенно благоприятном, отношении цензора к роману, его несколько смущали лишь отдельные «разного рода предосудительные или сомнительные места», к которым внимание направлялось соответствующей статьей цензурного устава, предписывавшей относиться к иностранным художественным произведениям с бóльшей строгостью в отношении нравственности их содержания, чем к произведениям отечественной словесности. Цензурный комитет, однако, отнесся к роману А. де Мюссе значительно строже цензора и нашел, что «главный предмет романа «La confession d'un enfant du siècle» состоит в описании гнусной и развратной жизни героя; что советы и суждения скептика и эпикурейца, служившие к подавлению в нем стыда и совести, приводятся не только без опровержения, но и без указания вредных последствий порочной жизни; что при таких предосудительных сценах и рассуждениях благовидность развязки, состоящая в раскаянии Октава, не может

не уничтожить опасного впечатления, произведенного на читателей содержанием романа, ниже оправдывать вредных суждений под предлогом выдержания характера действующего лица, тем более, что преступление или порок остается здесь без наказания, да и самое раскаяние Октава имеет вид сомнительный, ибо действие оного состоит только в том, что он уступает любовницу счастливейшему сопернику». Поэтому цензурный комитет признал не только отдельные отмеченные цензором места, но и самый «дух сего романа предосудительным» и запретил его для публики[2].

«Он изображает,—писал цензор о поэме «Rolla»,—молодого человека, зараженного тем, что он называет болезнью века, скептического и влюбленного в удовольствия. Ставши хозяином своего состояния в 14 лет, он делит его на три части, которые прожигает в три года, и, наконец, когда исчезает последний грош, он принимает яд и умирает в объятиях куртизанки.

Вот портрет, сделанный г-ном Мюссе со своего героя, так дешево разделавшегося с обязанностями, которые налагает на нас бог, даруя нам жизнь.

C'était un noble cœur naïf comme l'enfance.
Bon comme la pitié, grand comme l'espérance.
Il ne voulut jamais croire à sa pauvreté.
L'armure qu'il portait n'allait pas à sa taille,
Elle était bonne au plus pour un jour de bataille,
Et ce jour là fut court comme une nuit d'été.

Это было благородное сердце, чистое, как само детство.
Великодушное, как сама жалость, большое, как сама надежда.
Он никак не хотел поверить в свою бедность.
Доспехи же, которые он носил, были ему не по росту.
Они годились, быть может, для дня битв,
А день этот был короток, как летняя ночь.

«Никогда еще сын Адама, говорит он выше, не проносил через всю землю, с востока до запада, более глубокого презрения к народам и королям». Далее, сравнивая своего героя с неукротимой кобылицей, автор говорит, что из странной глины должен был слепить бог это существо — орла или ласточку, которое не умеет ни гнуть шеи, ни опускать крыльев и для которого все блага в одном слове: свобода.

Цитируемые места находятся на стр. 8 и 9. Если поэт ничего не пожалел, чтобы возбудить интерес к своему герою, то не меньше обаяния постарался он придать девушке, с которой Ролла проводит в публичном доме свою последнюю ночь. Она спит в ожидании своего возлюбленного.

Ses longs cheveux épars la couvrent tout entière,
La croix de son collier repose dans la main,
Comme pour témoigner qu'elle a fait sa prière
Et qu'elle va la faire en s'éveillant demain.
Elle dort, regardez: quel front noble et candide.
Partout comme un lait pur sur une onde limpide,
Le ciel sur la beauté répandit la pudeur.
Elle dort toute nue, la main sur son cœur (p. 10).

Ее длинные, распущенные волосы всю ее покрывают,
Крест, что она носит на груди, зажат в ее руке
Как бы в знак того, что она молилась
И будет молиться завтра, проснувшись.
Она спит; взгляните, как ясно, благородно ее чело,

Словно чистое молоко на прозрачную воду,
Пролило небо повсюду целомудрие на ее красоту,—
Она спит обнаженная, положив руку на сердце (стр. 10).

Мог бы автор сказать больше, если бы стал описывать чистую, целомудренную девушку? Автор преисполнен жалости к молодой куртизанке, и вместо того, чтобы осудить дурные наклонности, которые, разумеется, и толкнули ее на путь порока, он находит для нее извинение и относит ее позор за счет бедности и нужды.

«Нужда, говорит он, это ты—куртизанка» и т. д. и т. д. (стр. 14—15). Можно процитировать еще тысячу мест; например, на стр. 4 и 5 автор трактует христианство, как мертвую религию... на стр. 16 вкладывает в уста Ролла, рассказывая об его последнем ужине, следующие слова: «Христос за последней своей вечерей испытал меньше страха, чем сердце мое испытало веселья за последним моим ужином» и т. д. Смотри также отмеченные места на стр. 17—18, 27.

Я предлагаю запретить всю поэму (от стр. 1—27). Подчеркиваю также, на стр. 295, вторую строфу в «Сонете к читателю»:

«Всё *уходит, наслаждения* и *нравы прошедшего* века, *короли, побежденные боги* и странствующий случай...».

Поэма «Ролла» не только безнравственна, поскольку хочет сделать из двух погрязших в разврате лиц интересные образы и ангелов (см. стр. 17), она проникнута сверх того скептицизмом и антирелигиозностью, изображает христианство, как нечто мертвое, а мир лишенным ведущей религии и ожидающим нового Мессию»[3].

Приведенный рапорт достаточно показателен. Если политических обвинений по отношению к отдельным произведениям французской литературы,—в целом взятой под подозрение, как «крамольная»,—предъявить было невозможно, на помощь цензору являлись параграфы цензурного устава, предписывавшие запрещать произведения, «могущие поколебать учение православной церкви или вообще христианской веры», либо «оскорбляющие добрые нравы и благопристойность» и т. д.

Обвинения такого рода выдвигались цензурой и против произведений Теофиля Готье. Еще в 1836 г. был запрещен его известный роман «Mademoiselle de Maupin», в котором, по мнению цензора В. Соца, «кроме соблазнительных и вредных для воображения описаний, встречаются... непристойные и дерзкие сравнения с предметами священными и высокими»[4]. И роман был запрещен настолько основательно, что еще 72 года спустя, т. е. в 1908 г., цензору И. Г. Трейману пришлось, для пересмотра старого решения, вступать в полемику с давно покойным Соцем. Пересказав содержание романа, отметив, что «роман этот написан с крайнею непринужденностью», но что отдельные сцены производят впечатление «написанной яркими красками картины великого художника, вроде Тициана» (речь идет об описании любовной ночи Розалинды и Альбера), цензор писал далее: «Во всем романе эротические сцены по своему характеру и изложению мало отличаются от подобных же сцен в дозволенных сочинениях современных французских писателей. Что касается непристойных сравнений со священными предметами, на которые указывает цензор г. Соц, то я ничего непристойного в них не вижу. Что, например, можно иметь против такой мысли: если бы рай имел характер музыкальный, то было бы весьма скучно в течение десяти тысяч лет слушать одну бесконечно длинную сонату! (стр. 222, строки 9—12 снизу).

Единственное сравнение, обращающее на себя внимание, следующее: Розалинда говорит, что она невинна, как Мария до совокупления ее с божественным голубем («comme Marie avant d'avoir fait connaissance avec le pigeon divin», стр. 412, строки 2, 3 сверху).

Принимая во внимание, что Теофиль Готье принадлежит к числу знаменитейших французских писателей и что запрещение состоялось более 70 лет тому назад, я полагал бы в настоящее время роман этот дозволить»[5].

РИСУНОК ТЕОФИЛЯ ГОТЬЕ

Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

Обвинения Теофиля Готье в кощунстве и «неуважительном отношении к священным предметам» наиболее часты в цензурных докладах о его произведениях. Упоминавшийся уже В. Соц, характеризуя (7 сентября 1838 г.) роман Т. Готье «Fortunio» (Paris, 1838), указывал, что «встречающиеся в этой книге описания эпикурейства, сибаритства и сладострастия... не произведут вредного впечатления в романе, более фантастическом, чем направленном к оскорблению добрых нравов». Зато и цензор и цензурный комитет отметили в романе ряд мест, охарактеризованных, как «предосудительные» «по заключающемуся в них кощунству»; многочисленность этих мест, делавшая невозможным исключение их, послужила основанием для запрещения всего романа в целом[6]. Подобным же образом, в 1839 г., по докладу того же В. Соца, был запрещен сборник Т. Готье: «Une larme du diable» (Paris, 1839), за первое произведение в нем (давшее заглавие и всему сборнику). «По мнению нашему,—писал цензор,—эта мистерия не может быть пропущена как по неприличию ее содержания, так и по многим шутливым выходкам, встречающимся в разговоре лиц пресвятой троицы, божьей матери, святой Магдалины, Дездемоны, Отелло и проч.»[7].

Обвинения в безнравственности и кощунстве составляют основное содержание цензурных отзывов и о поэзии Шарля Бодлэра, в частности, о его знаменитых «Цветах зла». Еще в отзыве цензора А. де Лакроа о первом издании «Les fleurs du mal» (Paris, 1857) подчеркивалось, что «разбираемые стихотворения не могут не возбудить чувства отвращения. Автор проявляет почти в каждом из них отравленную душу свою и отвратительными сравнениями, взятыми из разврата и преступления, старается, кажется, вкоренить в читателе глубокое презрение к человеческой природе. Несмотря на мнимое нравственное направление, которое, как видно из эпиграфа, автор приписывает своим стихотворениям, он сам, кажется, чувствует безнравственность своей поэзии, ибо в надписи над отделом «Révolte» на стр. 217 он некоторым образом старается извинить себя пред читателем». «Я полагаю,—заключает цензор,—что разбираемые стихотворения, как безнравственные, подлежат запрещению для публики»; с этим заключением согласился и цензурный комитет[8].

Несмотря на запрещение, стихи Бодлэра всё же получили в России значительное распространение, преимущественно в переводах: в шестидесятых годах его переводили В. Лихачев, В. Курочкин; с восьмидесятых устанавливается даже своеобразный культ Бодлэра у символистов, культ, продолжавшийся вплоть до начала нового века. «Стре-

мясь уйти от действительности, наши декаденты (Брюсов, Бальмонт, Сологуб, Анненский, а еще раньше Мережковский и Минский) находили оправдание своим настроениям в чеканных стихах «Цветов зла», где презрение к жизни и природе возводилось в принцип и перл создания» (А. Луначарский). Влиянию Бодлэра подпадали даже такие, казалось бы, идеологически совершенно чуждые ему лица, как П. Якубович, которому принадлежит первый сборник переводов французского поэта. Количество отдельных переводов Бодлэра исчисляется сотнями, а число его русских переводчиков и подражателей—многими десятками[9].

В России конца XIX—начала XX вв. популярность Бодлэра едва ли не превышала популярность его у себя на родине, но, тем не менее, популярность эта сопровождалась длительным запрещением французских текстов поэта. Лишь после революции 1905 г. цензура нашла возможным пересмотреть свое старое постановление относительно «Les fleurs du mal» и аргументировать возможность беспрепятственного пропуска этой книги Бодлэра (а также и других) в Россию. Доклад цензора Н. А. Васенцовича-Макаревича по этому поводу настолько любопытен, что заслуживает быть приведенным полностью.

«Сборник стихотворений Бодлэра под общим заглавием «Les fleurs du mal»,—писал цензор (1 ноября 1906 г.),—впервые появился в половине прошлого столетия и в то время произвел большую сенсацию: трактование в стихах о различного рода болезнях, смерти, разложении трупов, о пьянстве или проституции—было явлением новым, оскорблявшим нежный слух читателя, привыкшего встречать в стихах лишь воспевание всего прекрасного. Стихотворения Бодлэра создали около себя целую литературу: многие известные писатели должны были защищать их от нападок злой критики и суровой цензуры. Неудивительно, что и в России до последнего времени «Les fleurs du mal» считалась книжкою запрещенной.

Пересмотрев их, по поручению комитета, я нахожу, что в настоящее время к ним вполне возможно отнестись снисходительно по следующим соображениям:

1) потому, что теперь публика уже привыкла встречать ультрареалистические изображения жизни не только в прозе, но и в стихах, причем современные поэты доводят этот реализм до порнографии, чего у Бодлэра нет;

2) потому, что сочинения в стихах читаются вообще неохотно публикой, а потому и мало распространены, а поэты середины прошлого столетия предполагаются настолько устаревшими, что едва ли могут возбудить большой интерес к себе в настоящее время

и 3) потому, что издание, бывшее у меня в рассмотрении, благодаря пространному предисловию Теофиля Готье и снабжению его многими статьями и письмами к Бодлэру известных в литературе лиц, является хорошо освещенным и комментированным: в нем читателю нетрудно разобраться, что за поэт был Бодлэр, каковы были его взгляды и какие цели он преследовал в своих стихотворениях. Это был поэт-сатирик, хотя, может быть, и несколько болезненно настроенный. Изображаемые им картины разврата или извращенности не смакуются им, а напротив, автор относится к ним с отвращением, бичует, а не воспевает порок и грязь (стр. 31); упрекать поэтому Бодлэра в безнравственности едва ли справедливо (стр. 20).

В настоящее время, при современных цензурных условиях, можно обратить внимание комитета лишь на те места, в которых, повидимому, заключается кощунство. Говорю повидимому, потому что и тут можно видеть не намеренное кощунство, а тоже сатиру, бичующую не бога, а людей. Вот эти места:

1) Под влиянием вина пьяница, радуясь избавлению от умершей жены, восклицает: «Je m'en moque comme de dieu, du diable ou de la sainte table» (стр. 301).

2) На стр. 327—328 помещено стихотворение «Le reniement de saint Pierre», в котором сыплются упреки по адресу бога, например: «Comme un tyran gorgé de viande et de vins, il s'endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes». Затем автор трогательно

говорит о бесконечном человеколюбии Христа и возмущается тем, что его идеалы не соответствуют действительной жизни, а потому св. Петр хорошо сделал, когда он отрекся от Христа.

3) На стр. 332—335 встречается акафист диаволу: «Les litanies de satan», который прославляется, как «le plus savant et le plus beau des anges, dieu trahi par le sort et privé de louanges». Теофиль Готье считает это стихотворение за «une de ces froides ironies familières à l'auteur ou l'on aurait tort de voir une impiété» (стр. 37)»[10].

Не будем торопиться делать выводы из опубликованного в этом очерке материала: выводы эти будут убедительны лишь в общей цепи выводов, на которые нас уполномочит весь собранный в настоящей работе материал. Принципиально новым в материалах настоящего очерка является полнейшее игнорирование чиновником-цензором установившихся литературных оценок и репутаций писателей. Собственно литературные оценки появляются в цензурных отзывах лишь в XX в., аргументируя смягчение предшествующих цензурных запретов; решающим же моментом в определении приемлемости поэта с точки зрения цензуры являлась всё та же буква параграфа, усугубляемая в отдельные периоды всевозможными добавочными обстоятельствами политического и общественно-психологического свойства.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] СПб. к-т ценз. иностр., журналы заседаний за 1835 г. Лишь в 1896 г. драма «Lorenzaccio» была разрешена к представлению на сцене императорских театров в специальной переделке артиста Н. Ф. Арбенина; на частные же сцены она была допущена и еще позже—в 1900 г., после полнейшего устранения и обезврежения всех сомнительных в цензурном отношении и «неудобных» мест (Драм. ценз., 1900 г., д. № 33).

[2] СПб. к-т ценз. иностр., журналы заседаний за 1836 г., 29 мая.

[3] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты Варшавского цензурного комитета за 1853 г., № 424. Дата доклада Ю. И. Гинье—2/14 января 1853 г. Лишь в 1865 г. «Poésies nouvelles» были освобождены от запрещения и дозволены целиком, наравне с классическими произведениями. Тогда же были отменены исключения, сделанные цензурой в другом сборнике А. де Мюссе—«Premières poésies. 1829—1835» (СПб. к-т ценз. иностр., журналы заседаний за 1865 г., № 16).

[4] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1836 г., № 198.

[5] Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1908 г., № 374.

[6] СПб. к-т ценз. иностр., журналы заседаний за 1838 г. «Fortunio» был разрешен лишь в 1888 г. (СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1888 г., № 334).

[7] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1839 г., № 383; дата рапорта—17 мая 1839 г. Запрещение «Une larme du diable» было подтверждено и позже, при рассмотрении сборника Т. Готье «Théâtre, mystères, comédies et ballets» (3-e éd., Paris, 1882); см. СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1884 г., № 6752.

[8] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1859 г., № 448; дата доклада—24 января 1859 г. В 1881 г. за порнографический характер был запрещен сборник «Complément aux Fleurs du mal» (Bruxelles, 1869). В 1883 г. «Les épaves» (Bruxelles, 1874), также рассматривавшийся, как приложение к «Les fleurs du mal» (СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1883 г., № 5223; Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1906 г., № 7006).

[9] Л. Рапопорт, Шарль Бодлэр в русских переводах («Книжные Новости», 1936, № 12, стр. 22—23).

[10] Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1906 г., № 7000. Несмотря на это свое разрешение, два года спустя, при наступлении реакции, цензурное ведомство попыталось снова изъять несколько стихотворений из «Цветов зла» в переводе Арсения Альвинга: по заключению совета Главного управления по делам печати «три стихотворения из числа помещенных в названной книге под заглавиями: 1) «Крышка», 2) «Отречение св. Петра» и 3) «Акафист сатане», носят в себе признаки кощунственного отношения к вопросам религиозного значения». Совет обращался к прокурору Петербургской судебной палаты с просьбой «о возбуждении судебного преследования против переводчика, а равно и против других лиц, могущих оказаться виновными по тому же делу», однако, никаких дальнейших сведений об этом деле ни в архивных материалах, ни в литературе нам не удалось разыскать.

VI. ФРАНЦУЗСКАЯ РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О. БАЛЬЗАК, Г. ФЛОБЕР, О. МИРБО, А. ФРАНС, Г. МОПАССАН

Прогрессивные, демократические тенденции французского реализма, успех этого направления среди широких масс читателей—всё это не могло не привлечь к себе пристального внимания царской цензуры. Начиная с 50-х годов и вплоть до самой революции 1917 г. идет тщательная цензурная регистрация всех без исключения выдающихся реалистических произведений французской литературы, в большинстве случаев—с ограничительными или запретительными выводами.

Следует заметить, что внимание цензуры лишь отчасти затронуло родоначальника французского реализма и крупнейшего его представителя—Бальзака: ряд запретительных отзывов коснулся лишь отдельных и далеко не всегда типичных для писателя произведений, причем самые мотивировки запрещений, в сущности, мало характерны и являются отражениями общих цензурных тенденций. Так, в 1829 г. был запрещен роман «Le dernier chouan de la Bretagne en 1800» (Paris, 1829, 4 vols.), вследствие обнаруженных в нем цензором четырех «неуместных» в романе мест, а также «неуместного» выбора для эпиграфа «слов священного писания». «Но как, впрочем, первые могут быть некоторым образом оправданы желанием автора представить верную картину нравов тогдашнего времени, а второе обстоятельство не обратит, вероятно, на себя внимания читателей», то цензор предлагал даже разрешить книгу с незначительными исключениями, с чем, однако, не согласился цензурный комитет, повидимому, не желавший допускать каких-либо упоминаний о гражданской войне во Франции[1].

В конце 1831 г. внимание цензуры обратил на себя знаменитый роман Бальзака «La peau de chagrin» (Paris, 1831). Цензор В. Соц предлагал запретить это сочинение для публики, так как, по его мнению, «философия сего романа состоит в том, чтобы представить надежнейший расчет тех, кто заботится только о настоящем наслаждении». В ряде мест романа цензор обнаруживал «довольно опасный дух сочинения», «дерзкие и непристойные выражения и мысли, противные правилам цензуры». Однако, решение комитета, согласившегося с цензором, было опротестовано статс-секретарем А. Н. Олениным, членом Главного управления цензуры. В письме к правителю дел этого управления, В. Д. Комовскому, от 21 ноября 1831 г. Оленин писал, что в этом романе Бальзака «ничего нет революционного, безбожного или слишком скоромного». В следующем же заседании Главного управления роман был пропущен[2].

В 1832 г. «Contes drôlatiques (première dizaine)» вызвали у того же В. Соца, в общем, сочувственный отзыв: «Повести сии,—писал он,—написанные старинным наречием, вероятно, не произведут, по сей причине, вредного впечатления на читателей». Однако, осторожный цензор не решился всё же самостоятельно дозволить книгу, составленную, по его же словам, «в подражание Рабле, Боккачио и другим писателям, отличавшимся даром шутливого повествования и выражавшимся о предметах щекотливых и соблазнительных с излишнею откровенностью и ясностью, соответствовавшими духу и нравам их времени»; цензурный же комитет, очевидно, имея в виду усилившуюся борьбу с «безнравственностью» «французской словесности», предпочел книгу вовсе запретить для публики[3].

Следующая книга Бальзака, «Le livre mystique» (Paris, 1835), была запрещена, так как «мнения действующих лиц и самого автора» «могут подать повод к предположениям противным истинной вере»; в частности, внимание цензора В. Соца привлекали «мудрования» Серафиты, в которых она разбирает «важнейшие философские и богословские доводы о боге и обнаруживает, что все они неудовлетворительны, влекут ум человеческий в сомнение или заключают в себе явную нелепость»[4].

Затем, в течение ряда лет, все новые произведения Бальзака беспрепятственно проникали в Россию, переводились, создав ему громкое, хотя и дискуссионное имя, и не

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ИЗДАНИЯ ПОВЕСТИ ГЮСТАВА ФЛОБЕРА „ИСКУШЕНИЕ ПУСТЫННИКА“, СОЖЖЕННОГО ПО ПРИГОВОРУ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ.

ГУСТАВЪ ФЛОБЕРЪ.

ИСКУШЕНІЕ ПУСТЫННИКА.

ПЕРЕВОДЪ СЪ ФРАНЦУЗСКАГО
С. Л. ЯКУБОВИЧА.

МОСКВА.
Л. Ѳ. Снегиревъ и Н. В. Маракуевъ — издатели.
1879.

вызывали каких-либо цензурных вмешательств, по крайней мере таких, которые нашли бы отражение в документах. Лишь «эпоха цензурного террора» и особо пристальное внимание ко всему, что идет из Франции, явились причиной цензурных преследований нескольких новых книг Бальзака.

Так, 20 декабря 1849 г. цензор Г. Нагель представил доклад о романе Бальзака «La cousine Bette» (Bruxelles, 1847, 3 vols.), в котором, между прочим, писал: «было бы слишком долго приводить здесь все мерзости, которые содержит в себе эта книга, и мы ограничимся заявлением, что направление ее глубоко безнравственно: развращенность и сладострастие представлены с их самой соблазнительной и опасной стороны. Было бы излишне и затруднительно перечислять места, подтверждающие это, так как роман переполнен извращающими нравственность сценами». Конечный вывод цензора — «нужно запретить распространение этой книги» — был поддержан и комитетом[5].

20 мая 1853 г. цензор Б. Р. Гольмбладт, по поводу второго тома «Les Paysans. Scènes de la vie de campagne» (Paris, 1845), отмечал, что «автор имел в виду состояния крестьян во Франции» и «изображает эти состояния, по крайней мере, в некоторых местах Франции,—в глубоком упадке нравственном». Тем не менее, цензор полагал, что «в цензурном отношении том этот... может быть позволен, но без перевода на русский язык и за исключением некоторых выражений и сравнений, показавшихся мне неуместными». С этим заключением согласился и цензурный комитет[6].

Значительно строже отнесся цензурный комитет к двум другим книгам Бальзака, запрещенным для публики, несмотря на почти полное отсутствие в них чего-либо могущего повлечь за собой цензурные репрессии. Так, по поводу «Maximes et pensées» (Paris, 1852) цензор Г. Дукшта-Дукшинский замечал, что «в этой книжке собраны всякого рода афористические изречения, правила и мысли, вообще не противные уставу о цензуре». Правда, цензор отмечал всё же некоторые места (вроде, например, таких: «Религия всегда будет политической необходимостью». «Мысль двойственна.

Янус есть миф критики и символ гения. У одного только бога—три лика»), но тут же оговаривался, что «этих мест нельзя, по мнению нашему, подводить ни под одну из статей свода законов уголовных и исправительных». Однако, комитет счел более предусмотрительным всё же запретить книгу для публики[7]. Тот же цензор по поводу брошюры «Traité de la vie élégante» (Paris, 1853) писал: «Нынешнее общество разделено, по мнению автора, на три класса: рабочий, мыслящий и праздный. К последнему он относит, под названием vie élégante, людей, не имеющих надобности и желания трудиться и заботящихся только о туалете и приятном провождении времени. Описание оттенков этой жизни в сатирическом тоне составляет предмет сей брошюрки». В ней цензор не нашел «ничего противного уставу о цензуре», кроме «нескольких неприличных мест». Однако, и эту брошюру цензурные органы запретили для публики[8].

Столь же строгой оказалась царская цензура и по отношению к книге «Les fantaisies de Claudine» (Paris, 1853), о которой цензор Ю. Гинье писал:

«Так как книга эта — непрестанная насмешка над благородными чувствами; так как на стр. 12 и 13 г-н де Бальзак доходит до того, что утверждает, что находится в богемной среде дипломатов, способных опрокинуть план России, и что, если бы русский император купил эту богему за какие-нибудь 20 миллионов и переселил бы ее в Одессу, через год Одесса превратилась бы в Париж; так как множество деталей этой книги противны общественной морали; так как, наконец, на стр. 89 он показывает своего водевилиста де Брюэля награжденным орденом св. Владимира (2-й степени),—необходимо запретить этот роман для публики»[9].

Наконец, в 1855 г. был запрещен для распространения роман «Jean-Louis» (Paris 1854), о котором цензор Ю. Гинье отзывался, в общем, положительно. «Роман,—писал он,—совершенно нравственный по существу, заключает кое-какие непристойные места, в том числе направленные против священников, хотя сама религия ни в чем не оскорбляется»[10].

Как видно из сделанного обзора, цензурные материалы о Бальзаке не обнаруживают не только какого-либо специфически повышенного интереса к писателю (как это имело место, например, по отношению к Гюго и др.), но и простого понимания его выдающегося положения в литературе. Для царской цензуры 30—50-х годов, как, впрочем, и для подавляющего большинства русских читателей и критики рассматриваемой эпохи, Бальзак—лишь занимательный беллетрист, бытописатель, не слишком глубокий, слегка фривольный, слегка вольнодумный в вопросах политических и религиозных, но отнюдь не нецензурный (подробно об этом в работе Л. П. Гроссмана, Бальзак в России). Более глубокое понимание Бальзака пришло значительно позднее, когда, ввиду огромной популярности писателя, всякое цензурное вмешательство оказывалось уже запоздалым и бесцельным. Таким образом, царская цензура обошла Бальзака, недооценила мощного познавательного и революционизирующего значения его «Человеческой комедии».

Иным было отношение к творчеству Г. Флобера. Почти во всех его произведениях цензура обнаружила прямые нарушения параграфов цензурного устава.

Так, еще в 1857 г. цензор А. Н. Майков затруднялся решить, может ли быть допущен для перевода на русский язык знаменитый роман «Madame Bovary. Mœurs de province» (Paris, 1857), так как «в нем представлены любовные интриги замужней женщины, предающейся любви со всей необузданностью развращенного воображения»[11]. Эти ханжеские ноты явственно звучат и в двух позднейших цензурных документах, касающихся русских переводов «La tentation de Saint-Antoine» и «La légende de Saint-Julien l'hospitalier».

В 1880 г. по приговору комитета министров была сожжена книга «Искушение пустынника», соч. Густава Флобера, перевод С. Якубовича (М., 1879), о которой министр внутренних дел Л. Маков сообщал следующее:

«Несмотря на благовидную, повидимому, цель автора изобразить величие и торжество христианства в борьбе с враждебными силами, книга его производит противоположное впечатление. Она наполнена самыми резкими, возмутительными и оскорбляющими религиозное чувство нападениями на христианство и на христианскую церковь. Автор влагает то в уста самого Антония, то в уста еретиков и древних богов такие речи, и при этих речах представляет такие картины, которых нельзя ни понять, ни назвать иначе, как глумлением над христианством и христианскою церковью». Находя, что «подобного рода книга как по своему содержанию, так и по оригинальному своему изложению, не лишенному таланта, должна найти у нас многочисленных читателей, особенно в среде неустановившейся молодежи обоих полов, и что она, не-

à Madame la Comtesse de Kar
en remerciement de
son gracieux accueil
Guy de Maupassant

CONTES
DE
LA BÉCASSE

GUY DE MAUPASSANT

CONTES
DE LA
Bécasse

TREIZIÈME ÉDITION

PARIS
VICTOR-HAVARD, ÉDITEUR
168, Boulevard Saint-Germain, 168

1887

Droits de traduction et de reproduction réservés

ЭКЗЕМПЛЯР „CONTES DE LA BECASSE“ МОПАССАНА С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ПИСАТЕЛЯ

Собрание В. А. Десницкого, Ленинград

сомненно, произведет на них самое вредное влияние», министр внутренних дел предлагал уничтожить книгу, добавляя, что «судебного преследования по сей книге цензурное ведомство возбуждать не предполагает»[12].

В 1892 г. цензор С. Коссович докладывал о необходимости запретить новый перевод «Сказа о Юлиане Милостивом», хотя до того легенда эта не вызывала особенно существенных возражений.

«Рассказ Флобера, при многих его достоинствах,—по мнению цензора,—не может быть пригоден для распространения его в народе. А что он в обработке его на русский язык имеет такое назначение, не подлежит никакому сомнению, так как представлен издательскою фирмой «Правда», выпускающей исключительно одни книги для простолюдинов. Не может быть дозволен «Сказ о Юлиане Милостивом» потому, во-первых, что вмещает в себе иллюстрацию пантеистических воззрений Флобера. Животные и люди в его представлении—те же равноправные проявления божественной природы.

И, во-вторых, потому, главным образом, что изображение Христа в таком отталкивающем реальном виде, как это сделано в рассказе, противоречит духу учения православной церкви. Весь этот реализм отзывает ультракатолическими чувственными стремлениями, которые и проявляются в процессиях сердца Иисуса и т. п.».

Поэтому цензор полагал необходимым рукопись перевода «Сказа об Юлиане Милостивом» «воспретить к напечатанию, как сочинение, предназначенное к распространению в народе»[13].

Обвинения в кощунстве, антихристианских и антирелигиозных устремлениях и тенденциях, в пропаганде разврата раздавались в изобилии и по адресу Октава Мирбо, который вообще, нужно сказать, был популярен в России (особенно в первом десятилетии XX в.) едва ли не больше, чем у себя на родине. При этом популярность писателя шла преимущественно по линии чисто внешнего восприятия рисуемых им картин, без более глубокого проникновения в суть причин, вызвавших у писателя эти картины. В представлении публики (по крайней мере, значительной ее части) творчество Мирбо смыкалось с творчеством массы писателей, трактующих модную, в годы реакции, тему отношений полов. Отсюда и традиционное представление о Мирбо, как порнографическом писателе, представление, усердно поддерживавшееся и царской цензурой, так как оно сразу же устанавливало определенный тон в отношении к писателю и давало избыток поводов для цензурных вмешательств.

Так, например, еще в 1886 г. по докладу цензора Я. П. Полонского был запрещен роман О. Мирбо «Le Calvaire», так как «всюду на страницах романа разбросаны фразы, выражающие голую чувственность... Тут страсть, и продажность, и любовь, и разврат,—и всё это озаглавлено путем на Голгофу»[14].

По иным мотивам в 1913 г. было запрещено французское издание романа Мирбо «Dingo»: в нем цензура обнаружила и не сочла возможным пропустить «ряд кощунственных и богохульных выражений, насмешек над богом и догматами христианского учения».

Скоро, однако, в цензурных отзывах о произведениях О. Мирбо начинает доминировать новый мотив — обвинение в «социалистических тенденциях», в «сочувствии рабочему движению» и т. д. По поводу пьесы «Les mauvais bergers» (Paris, 1899) цензор М. Л. Златковский писал (15 ноября 1900 г.):

«Рассматриваемая пьеса представляет собою произведение тенденциозное, с социалистической подкладкой. Мораль этой пьесы очевидна: идеализированные автором рабочие, мученики за свободу и попранное право, заявляют свое «скромное» требование; но фабрикант, поддерживаемый аргументами своих пошлых сотоварищей-коммерсантов, не уступает рабочим и гонит их вон, сознавая справедливость их требований. В результате—всеобщее горе и разорение.

Комитет, обыкновенно, относится к драматическим произведениям заграничной печати более или менее снисходительно; во-1) потому, что драматические произведения имеют у нас весьма ограниченный круг читателей, а во-2) по той причине, что для постановки их на нашей сцене требуется еще и разрешение театральной цензуры. Но, в данном случае, я предлагаю эту пьесу запретить, ввиду ее тенденциозного содержания.

Конечно, русские рабочие ее не прочтут во французском оригинале; но ее может прочесть русская интеллигентная молодежь, на горячие головы которой может вредно повлиять идеализирование автором пролетариата»[15].

Под названием «Жан и Мадлена» перевод этой пьесы Мирбо был разрешен в 1905 г. нижегородским цензором и напечатан в Петербурге (1905 г.). Несмотря на это, саратовский цензор отказался разрешить другой перевод того же произведения под названием «Дурные пастыри» (Д. Бронина) и обратился в Главное управление по делам печати. Последнее, таким образом, снова возвратилось к обсуждению пьесы и поручило доклад о ней цензору И. Литвинову.

Цензор признал пьесу «безусловно вредной» «в смысле пропаганды рабочего движения, направленного на завоевание своих прав насильственным путем» и писал в своем докладе:

«В настоящее время вновь выпущена брошюра «Дурные пастыри» под заглавием «Жан и Мадлена» и разрешена нижегородским цензором. Принимая во внимание всё то, что происходит в стенах высших учебных заведений, на улицах и площадях, вряд ли будет целесообразно принимать меры об изъятии из обращения названной брошюры, подобно тому, как это было сделано в 1900 г.

Я полагал бы ограничиться указанием цензору на неуместность разрешения, тем более, что изъятие из обращения—явление редкое и цензор должен был догадаться, что сочинение Мирбо «Жан и Мадлена» есть не что иное, как «Дурные пастыри» того же Мирбо»[16].

В третий раз цензура возвратилась к драме Мирбо еще три года спустя и на этот раз, наконец, изменила прежнее свое решение. 26 мая 1908 г. цензор В. Н. Албранд доносил:

«Проводимые в книге взгляды не новы, и если тяжелое положение пролетариата, представленное автором, и вызывает у читателя полное сочувствие, то, вместе с тем, у него не может не возникнуть чувства глубокого уважения перед благородным образом Харгана. Не усматривая, при современных условиях печати, данных к запрещению этой книги, полагал бы ее дозволить»[17].

Нечего и говорить, что во всех трех случаях литературные достоинства драмы О. Мирбо вовсе не принимались в расчет: лишь в одном месте встречается беглое упоминание об исполнении роли Мадлен Саррою Бернар, оброненное цензором, вероятно, для того, чтобы подчеркнуть агитационную значимость этого образа на сцене. Зато тщательно подчеркиваются «революционность» пьесы и то значение, которое она может получить «в стенах высших учебных заведений», а также «на улицах и площадях». При этом пропагандирующее значение драмы в представлении цензуры совершенно точно соответствует различным моментам в развитии революционного движения в России:

ПОЛЬ ДЕ КОК
Шарж
Фарфор завода Миклашевского, 1850-е гг.

Исторический музей, Москва

если в 1900 г. цензор опасается, что пьеса может повредить «русской интеллигентной молодежи», «на горячие головы которых может повлиять идеализирование автором пролетариата», то в 1905 г. отмечаются такие наиболее действенные места пьесы, как стачка, забастовка, столкновение с войсками и др., а в 1908 г., при спаде революционной волны, наоборот, обращается внимание на то, что у читателя и у зрителя «не может не возникнуть чувства глубокого уважения перед благородным образом Харгана». В этом отношении приведенные три документа являются ярким доказательством ближайшей и теснейшей связи действий царской цензуры с общим направлением политики самодержавия, о чем говорилось выше.

Связь эта подчеркивается и ниже публикуемыми материалами, касающимися переводов из О. Мирбо. В первом документе речь идет о главе «Погромы» из романа Мирбо «628—Е8», помещенной в журнале «Вестник Иностранной Литературы» (1908, № 5). Цензор И. В. Головин нашел, что рассказ старого еврея «в мрачных и сгущенных красках описывает погромы» и, кроме того, представляет собой клевету на русское правительство и русское «воинство».

«Приведенный Мирбо рассказ старого еврея,—писал цензор,—освещен автором таким образом, что не оставляет сомнений в активном участии правительства в устройстве погромов и насилий над евреями, что дает основание инкриминировать перевод главы «Погромы» по пунктам В и Г статьи 5 отдела VIII временных правил о повременных изданиях 24 ноября 1905 г. Но, кроме того, в рассказе этом действия офицеров и солдат рисуются в таком ужасающем свете, что являются клеветой на представителей русской армии, которая не может не быть оскорбительной для нее. Ряд зверских насилий над беззащитными, над женщинами и детьми, участие в грабежах, опьянение кровью—всё это выставляет русское воинство в самом неприглядном и ложном свете»[18].

Полный и в достаточной степени исчерпывающий ассортимент тех же обвинений в кощунстве, богохульстве, в социалистических тенденциях и т. п. дают цензурные материалы об Анатоле Франсе. Непосредственным сопоставлением писателей, столь непохожих друг на друга (несмотря на общие черты, роднившие их в глазах цензурного ведомства), как О. Мирбо и А. Франс, мы имеем в виду подчеркнуть неоднократно выставлявшееся нами положение о сугубо формальном, в подавляющем большинстве случаев, подходе цензурных органов к рассмотрению литературных явлений—исключительно с точки зрения соответствия их или противоречия определенным охранительным параграфам цензурного устава, предписаниям и циркулярам начальства[19].

Еще в 1893 г., по докладу цензора Н. Г. Дукшта-Дукшинского, была запрещена «Харчевня королевы Гусиные лапки», как «представляющая собою... антирелигиозную болтовню», и запрещение это было подтверждено в 1907 г., т. е. даже после установления «свободы печати». Тогда же, т. е. в 1907 г., было подтверждено и запрещение «Мнений г. Жерома Куаньяра», о которых цензор А. Генц дал, в общем, положительную характеристику. «Книга Франса,—писал он,—заключает в себе... много неодобрительного, еще более парадоксов и нелепостей; однако, на мой личный взгляд, к запрещению ее достаточных оснований всё-таки не представлялось бы: встречающиеся в этом томе выходки против церковности хотя и заслуживают осуждения, чрезмерно дерзкими едва ли могут быть названы; с другой же стороны, антимилитаризм и социализм или анархизм встречаются во много более серьезных формах в произведениях печати, допущенных в настоящее время к обращению в публике».

Таким образом, уже первые значительные произведения А. Франса, попавшие в Россию, подверглись обвинениям в антирелигиозности, антимилитаризме и социализме или анархизме (цензура не считала нужным особенно тщательно разбираться в этих понятиях). Эти обвинения, в различных вариациях, проходят и через все дальнейшие цензурные документы. В 1904 г. русский перевод романа «Саламандра» подпадает под

действие статьи цензурного устава, предписывающего запрещать сочинения и переводы, «в которых находятся места, противные христианской нравственности, правительству и религии». «На белом камне» несколько раз подвергается цензурному рассмотрению, и даже в 1913 г. цензура констатирует в романе «кощунственные и богохульные мысли». Не говорим уже о сборнике политических статей «К лучшим временам» (Париж, 1906), который «не оставляет сомнений в необходимости строжайшего запрещения этой книги» из-за «дерзостей по адресу государя императора», восхваления деятельности русских революционеров и т. п.

Список цензурных запрещений произведений А. Франса заканчивается документом об «Острове пингвинов» и «Восстании ангелов». Первый роман (полный русский перевод его) подвергся судебному преследованию, так как Комитет иностранной цензуры нашел, что в нем «заключается хула на бога и святых и поношение святых таинств и святых мощей, т. е. признаки преступления, предусмотренного ст. 73 уголовного уложения». «Это сочинение,—писал комитет в своем докладе (15 мая 1909 г.),—составляет злобную насмешку над Францией («Пингвиния») в ее историческом прошлом и настоящем времени как в отношении государственного строя, так и общественной науки и культуры. Красной нитью через всё произведение проходит почти кощунственное глумление над христианством и специально над св. таинством крещения и причастия и над поклонением святым и мощам их». И та же ст. 73 уголовного уложения фигурирует в цензурном отзыве относительно романа «Восстание ангелов», который, по мнению цензора Н. А. Васенцовича-Макаревича, «в сущности, не роман, а фантастическое повествование о восстании ангелов против бога, уснащенное богословскими и философскими рассуждениями автора».

Единственным произведением А. Франса, заслужившим безусловное одобрение цензуры, несмотря даже на ряд мест, «в которых имя бога упоминается без всякого уважения», явился памфлетный роман из эпохи революции 1789 г. «Боги жаждут». «Деятели революции, ее «боги»,—писал в своем докладе (20 июня 1912 г.) цензор А. А. Горяинов,—их якобинский образ мыслей, их действия, их политика—вплоть до мельчайших поступков и распоряжений—выведены автором в жалком виде. В талантливом изображении он убеждает читателя в ничтожестве этих «богов», жаждущих человеческой крови, окончательно одичавших, ограниченных и надутых, а главное—страдающих смертельным страхом и потому казнящих виновных и невинных, чтобы не быть казненными самим. Он же указывает на необъятное воровство и темные проделки с имуществом казненных дворян этих строгих, неподкупных республиканцев, впоследствии покорных придворных Наполеона и последующих королей». Цензорские похвалы, подчеркивания того, что книга написана «искренно» и «могла бы быть только полезна», свидетельствуют об умении царской цензуры использовать, там где это было можно, художественное произведение в агитационных целях, в качестве идеологического оружия в борьбе с революцией.

Следует, наконец, остановиться на цензурных материалах, касающихся творчества Г. де Мопассана, популярность которого в России установилась тотчас же после первых его литературных дебютов, отчасти благодаря усиленным и неоднократным рекомендациям Тургенева. «В 1880 г. для журнала «Слово»,—рассказывает в своих воспоминаниях И. И. Ясинский,—из Парижа, по рекомендации Тургенева, были присланы нам рассказы двух дебютирующих авторов—Алексиса и Мопассана. В особом письме Мопассан просил, чтобы рассказ «Boule de Suif» был посвящен одному из редакторов „Слова“»[20]. Это интересное сообщение страдает одним существенным недостатком: самые тщательные поиски не могли обнаружить в «Слове» каких-либо следов рассказа Мопассана; очевидно, какие-то причины помешали его напечатанию, о чем мемуарист впоследствии забыл. Однако, самый факт рекомендации Тургенева очень правдоподобен и вряд ли может вызвать какие-нибудь сомнения. 9 марта 1881 г. он рекомендует Мо-

РОНСЕВАЛЬСКАЯ БИТВА И КАЗНЬ ГАНЕЛОНА

Миниатюра Симона Мармиона (?) из рукописи „Grandes Chroniques de France", 1455—1457 гг.

Публичная библиотека, Ленинград

рассказов в каждом,—следовательно, цена каждого выпуска не превысит 5—10 копеек. В двух выпусках (шесть рассказов) рисуются ужасы войны. В остальных осмеивается духовенство, оплакивается судьба незаконнорожденных, описывается человеческое жестокосердие и проч. В общем—никакой здоровой пищи для народного ума. По этим соображениям и применяясь к циркуляру Главного управления по делам печати, полагал бы настоящее издание к печати не дозволять».

Петербургский комитет по делам печати и на этот раз вынес пространное решение, но уже совсем противоположного характера, найдя, что «произведения Гюи де Мопассана совсем не удовлетворяют требованиям подцензурной печати и лишены тех достоинств, которые цензура должна требовать от изданий дешевых, идущих в простую публику, в народ. Произведения Мопассана вообще эротичны и почти всегда заключают в себе, в большей или меньшей степени, протест противу неравенства социального быта людей. Хотя все произведения и писаны для французского общества, но такие идеи, такие мысли общи и могут быть применимы и к быту русского люда»[25].

Собранные в настоящем очерке новые материалы не дают особенно ярких примеров отношения цензуры к французскому реализму в целом и его крупнейшим представителям. Однако, интересующие нас общие тенденции цензурного ведомства и в данном случае выступают с достаточной определенностью.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1829 г., № 248.

[2] СПб. к-т ценз. иностр., журналы заседаний за 1831 г. 5 ноября. Главн. управл. цензуры, 1831 г., №№ 391 и 236. Ср. [В. В. Стасов], Цензура в царствование императора Николая I.—«Русская Старина», 1903, № 2, стр. 327.

[3] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1832 г., № 824.

[4] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1836 г., № 147.

[5] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1849 г., № 1133. На франц. языке.

[6] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты цензурных комитетов одесского, виленского и рижских цензоров за 1853 г., № 1206. Первый том в свое время был пропущен беспрепятственно.

[7] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1852 г., № 981.

[8] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1853 г., № 1991.

[9] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты Варшавского цензурного комитета за 1853 г., № 1981. На франц. языке.

[10] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты Варшавского цензурного комитета за 1855 г., № 85. На франц. языке.

[11] СПб. к-т ценз. иностр., журналы заседаний за 1857 г. 19 июня 1857 г.

[12] Главное управл. по делам печати, 1879 г., д. № 32/161, лл. 21—28.

[13] СПб. ценз. к-т, д. № 105, лл. 23—25.

[14] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1886 г., № 9874.

[15] Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1900 г.

[16] Главн. управл. по делам печати, III отд., 1900 г., д. № 45, лл. 24—25.

[17] Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1908 г., № 4251.

[18] СПб. к-т по делам печати, 1906 г., д. № 431, лл. 10—12. Пункты законов, на которые ссылался цензор, устанавливали наказание за распространение через печать сведений, возбуждающих враждебное отношение к правительственному учреждению, должностному лицу, войску или воинской части, за распространение ложных слухов относительно правительственного распоряжения или общественного бедствия, за оскорбление в печати войск или воинских частей.

[19] Приводимые ниже цитаты заимствованы из публикации Л. Полянской, Анатоль Франс и царская цензура.—«Красный Архив», т. LXVII, 1934, стр. 147—167.

[20] Иер. Ясинский, Роман моей жизни. Книга воспоминаний, Л. 1926, стр. 150.

[21] «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. III, СПб. 1912, стр. 193.

[22] Там же, стр. 218; см. также стр. 221, 222, 224, 225.

[23] С. Андреевский, Литературные очерки, СПб. 1902, стр. 329.

[24] СПб. ценз. к-т, 1894 г., д. № 65, лл. 5—8.

[25] СПб. ценз. к-т, 1897, д. № 71, л. 4.

VII. Э. ЗОЛЯ

Известность Э. Золя в России и широкая его популярность пришли уже в то время, когда для французских читателей он являлся вполне сложившимся писателем, с четкой творческой индивидуальностью. В 1872 г., после появления первых томов «Ругон-Маккаров», автор обзора текущей журналистики в «СПБ. Ведомостях» жаловался на то, что «Э. Золя для русской публики писатель совершенно новый: до сих пор, как кажется, ни в одном из наших журналов не появлялось ни статей о нем, ни переводов его вещей, хотя он получил некоторую известность во Франции около десяти лет тому назад»[1]. Зато в течение нескольких последующих лет Золя сделался одним из любимейших, одним из наиболее читаемых авторов в России, и его популярность у нас в семидесятых годах была бóльшая, чем во Франции. Как говорит современный исследователь, «десятимесячного срока, протекшего со времени появления первых строк Золя в русском переводе в «Вестнике Европы» до начала печатания «Парижского брюха» в майской книжке «Дела» [1873 г.], было достаточно для утверждения его, как наиболее популярного и авторитетного иностранного писателя в известном круге русских читателей»[2]. Этот круг, с течением времени, видоизменял свои размеры и очертания, по-разному подходя, различно воспринимая и используя творчество французского писателя. Как говорит тот же исследователь, «только в начале семидесятых годов его произведения были восприняты с одинаковым интересом всеми крупнейшими группировками читателей. В дальнейшие годы его аудитория изменилась, а произведения его приобрели у нас иную социальную функцию, что стояло, с одной стороны, в связи с эволюцией его творчества, а с другой стороны, вызывалось изменениями в общественной психологии различных классовых группировок русских читателей, сопровождавшими быстрый экономический рост и обострение классовой борьбы в России в последней трети XIX в.»[3].

В понимании реакционной дворянской критики первые томы «Ругон-Маккаров» изобличали «несостоятельность революционной партии», неспособность ее «привлечь к себе общественное доверие». Поэтому произведения Э. Золя казалось возможным использовать в борьбе с русской революционной демократией. В свою очередь, публицистика революционно-демократического лагеря находила в романах Э. Золя сатирическое воспроизведение социальных отношений высокоразвитого буржуазного общества, воспроизведение, убеждавшее в хищнической, эксплоататорской природе капитализма и толкавшее на путь революционной борьбы с ним. С течением времени эта вторая трактовка находила себе все бóльшее оправдание и подтверждение в самом творчестве Золя, противоречивом в самой своей сущности, но, тем не менее, явно проникнутом антибуржуазными, демократическими тенденциями, и, наоборот, читатель — дворянин и буржуа всё более разочаровывался в Золя, как «своем» художнике, и если признавал его, то исключительно, как занимательного рассказчика, решительно отвергая всё, что принималось им, как «социалистические мудрствования». В этом отношении ему на помощь приходила цензура: вытягивая в одну линию цензурные отзывы о Золя, легко заметить, как обычные, трафаретные обвинения в безнравственности, в изобилии «сладострастных подробностей» сменяются более серьезными указаниями на социальную сторону произведений Золя, на опасность их с точки зрения «потрясения основ».

Первое знакомство цензуры с произведениями Золя, как сказано, шло по линии обвинения их в безнравственности и неблагопристойности, обвинения обычного по отношению к французским книгам. Еще в 1868 г. был запрещен роман «Thérèse Raquin», так как цензор нашел, что «le roman est rempli des descriptions tantôt voluptueuses, tantôt inspirant du dégout»[4]. В 1874 г. комитетом министров, по представлению Главного управления по делам печати, был запрещен и подвергнут уничтожению перевод романа «La curée» («Подачка собакам»). По мнению цензуры, роман

этот мог произвести на неопытных читателей «самое развращающее влияние... по возмутительности содержания, по неблагопристойности многих подробностей, по сладострастности эпизодов»[5]. В том же 1874 г. Московский цензурный комитет задержал перевод романа «Завоевание Плассана», признав, что «как по самой завязке своей, в основании безнравственной, так и по подробностям, не лишенным цинизма и кощунства, роман не может не быть признан вредным». Однако, совет Главного управления нашел на этот раз такую оценку преувеличенной и разрешил выпуск книги[6].

Запрещение «Nana» (1880) было мотивировано, кроме безнравственности романа, также непочтительными упоминаниями в нем о «коронованных особах». «В своем новом романе,—писал цензор Любовников,—известный автор-реалист в героине своей рисует женщину, аристократическую кокотку, предающуюся самому отвратительному разврату во всевозможных его проявлениях. Вся книга состоит из непрерывного ряда цинических сцен, так сказать, постепенно усиливающихся... В романе, между прочим, действующим лицом открыто является принц Уэльский, а на банкете у Нана известные кокотки беседуют о доступности для них коронованных особ, ожидавшихся на всемирной выставке 1867 года»[7].

Наконец, в 1887 г. было запрещено французское издание романа «La Terre», в связи с наличием в нем мест, «в которых автор в цинических выражениях описывает разврат действующих лиц». Лишь в 1906 г. роман был допущен к ввозу, ввиду «устарелости», незначительного спроса и появления перевода на русский язык[8].

Начиная с восьмидесятых годов, цензура всё чаще отмечала в произведениях французского писателя мотивы социального протеста, звучавшие на таком материале и в таком тоне, который не мог не вызывать классово-враждебной ему царской цензуры на самые резкие выводы и заключения. Впервые эти выводы и заключения прозвучали в докладе цензора П. И. Фридберга Главному управлению по делам печати о драме Ф. В. Кугушева «Парижские рабочие» (1880), переделанной из романа Золя «L'Assommoir». В своем отзыве цензор, естественно, говорил не столько о ремесленном и весьма низкопробном изделии Кугушева, сколько о творчестве Золя, о намечавшихся в нем тенденциях и о том романе, который послужил материалом для пьесы.

«Г-н Зола,—писал цензор,—как известно, принадлежит к числу популярных романистов нашего времени, но, к сожалению, талантливые произведения его в совокупности проникнуты реализмом, доходящим до крайних пределов. Фотографические снимки его с природы раболепно верны, колорит блестящий, но выбор и разработка сюжетов далеко не художественные; он воспроизводит одни лишь внешние красоты чувственной природы или же самые потрясающие явления ее, так что он постоянно впадает в крайности и этим нарушает основные начала эстетической гармонии и равновесия. Ему нужны, как орудия,—впечатления, потрясающие весь организм,—сцены разврата во всей его наготе, доходящие до возмутительных преступлений, изображения грязнейшей среды общественных подонков со всеми уродливыми проявлениями разнузданных страстей, для отрезвления, будто бы, низших слоев общества и возбуждения в них неотразимого отвращения ко всему порочному и безнравственному. Но такое грубое вскрытие социальных язв не может ли превратиться в обоюдоострое оружие? Такое воплощение всего порочного, грязного, отвратительного не приучит ли низшие классы народа и вообще полуобразованные сословия взирать равнодушно на цинические воспроизведения чувственных страстей? Не оскорбится ли этим общественная совесть и прирожденное ей чувство нравственного приличия? Переносимые на сцену подобные картины не подействуют ли еще разрушительнее? На все эти вопросы можно смело отвечать утвердительно. В связи с этими соображениями небезынтересным является вывод, сделанный во Франции тому лет пятнадцать, а именно, что со времени основания издания «Gazette des Tribunaux» уголовная статистика цифрами доказывала, что количество преступлений, совершаемых во Франции, прогрессивно увели-

чивалось из года в год. Не возводя приведенное заключение в непреложный факт, тем не менее, нельзя не придавать ему известного значения. До сего времени вопрос этот остается открытым, но уже нередко он всплывал и вызвал, между прочим, следующий афоризм, высказанный известным ученым философом Тэном: «La grande publicité donnée aux procédures criminelles ne se présente-t-elle pas dans certaines circonstances comme une école pratique sui generis du crime».

Вышеназванная переделка рассказа «L'Assommoir» представляет собою именно те неудобства, на которые в общих чертах указано выше, а именно—такую обстановку, которая оскорбляет чувство приличия и даже общественное благочиние, изображения грубейших нравов низшей среды, приправленные бесчинствами, ругательствами, пьянством, дракою, буйством и местами возмутительным цинизмом в речах. Между тем, нельзя не признать за этой драмой некоторых достоинств; так, основная фабула вполне одобрительного содержания, две-три личности являются в весьма благоприятном свете, но, к сожалению, внешняя оболочка и обстановка немыслимы для сцены.

На высказанных основаниях цензор полагал бы признать означенную пьесу подлежащею запрещению»[9].

Несколько лет спустя, по выходе другого романа Золя из жизни рабочих, «Germinal», разрешенного цензурой к обращению в подлиннике, на него обратил внимание известный «деятель» церковно-приходских школ, С. А. Рачинский, указавший в письме к К. П. Победоносцеву, что «эта книга заслуживает внимания. Перевод ее на русский язык нужно, безусловно, запретить». «Знаете ли вы,—писал дальше Рачинский,—что романы Золя переводятся наперерыв нашими толстыми журналами и с жадностью читаются сельским духовенством и фабричным людом? «Germinal», быть может, лучшее, что написал Золя. Это история стачки, совершенно сходная с теми, которые на наших глазах разыгрываются на наших фабриках. Написано это грязью и кровью и пропитано убеждением в близости и законности всемирной социальной революции.—Герой—русский нигилист, в коем не трудно узнать [Л. Н.] Гартмана. Перевод ни с какими пропусками не м[ожет] б[ыть] допущен. Оригинал безвреден—франц[узский] язык у нас вымирает. Не удивляйтесь этому предостережению. Ведь была же «Nana» запрещена в подлиннике и разрешена в переводе». Пересылая выписку из этого письма начальнику Главного управления по делам печати, Е. М. Феоктистову, Победоносцев призывал его к бдительности: «Caveant consules. Действительно, надлежало бы, кажется, употребить все меры, чтобы «Germinal» не являлся в русском переводе»[10]. Предупреждение это, однако, запоздало, так как роман Золя уже печатался в «Наблюдателе» и даже обращал на себя внимание цензуры. Так, в марте 1885 г. Петербургский цензурный комитет в донесении Главному управлению по делам печати отмечал в мартовской книжке журнала, между прочим, следующее:

«В романе Золя «Жерминаль» картины распущенной жизни женщин на фабрике... сменяются рассуждениями о братстве, равенстве и одинаковом доступе к пользованию земными благами... Стремления, характеризующие анархистов, ясно высказаны на стр. 124: «Для начала взорвать на воздух вот эту тюрьму, в которой вы все изныváете», и эти слова принадлежат русскому, по фамилии Суварину. В подлиннике прямо говорится, что это русский нигилист. Он подстрекал поджечь строение Ворё.— На стр. 158 один из героев романа, республиканец Негрель, говорит: «Вы ничего не делаете и живете чужим трудом. Наконец, вы представитель позорного капитала, и этого для них вполне достаточно... Поверьте, если революция восторжествует, то она отберет ваши деньги, как краденые». На стр. 112: «Как! рабочий даже не смеет рассуждать!.. Потому-то богатые, которые теперь властвуют и могли занять свое положение, могли продавать и покупать рабочего и жиреть от его мяса, а он даже и не догадывался об этом»[11].

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ ОТ 27 АВГУСТА 1894 г. ОБ ИЗЪЯТИИ „ВОЗМУТИТЕЛЬНЫХ МЕСТ“ ИЗ ПЕРЕВОДА ПОЛИВАНОВОЙ РОМАНА ЗОЛЯ „ЛУРД“

Ленинградское отделение Центрального исторического архива (ЛОЦИА)

Печатание этого «крайне демократического» романа, кстати сказать, послужило косвенной причиной объявленного вскоре (19 мая 1885 г.) «Наблюдателю» второго предостережения. Произведенные редакцией сокращения были признаны совершенно недостаточными, и помещение романа в полном объеме квалифицировалось цензурой, как неисполнение ее директив[12]. В самом «предостережении» о «Жерминале», правда, не говорилось, но в составленном по этому поводу «всеподданнейшем докладе» упоминалось, среди других прегрешений журнала, что в нем «помещается, несмотря на сделанное редактору предупреждение, перевод крайне демократического по содержанию романа Золя „Жерминаль“»; в черновике же доклада после этого следовало еще выпущенное затем окончание фразы: «[почти в полном объеме, с самыми несущественными изменениями в сравнении с подлинником]»[13].

В 1895 г. обратил на себя внимание вышедший отдельным изданием перевод рассказа Э. Золя «Безработица». В докладе своем Петербургскому цензурному комитету цензор С. И. Коссович писал: «В этом крохотном произведеньице описывается безвыходное положение рабочих с семьями во время приостановки работы на фабрике. Голодные труженики скитаются, подобно теням, по городу, ищут заработка, а их гонят отовсюду. Сытая буржуазия ест, пьет и веселится, они же мрут с голода. Дома их встречает отчаянный крик ничего не евших ребят и жалостно-укоризненный взор жен.

Принимая во внимание, что рассказ, несомненно, предназначается для распространения среди народа, цензор полагает... рассказ «Безработица» запретить»[14].

Большой интерес представляет пространное заключение цензора М. В. Никольского (1901 г.) по представлению Московского и Петербургского цензурных комитетов, признавших особо вредным и подлежащим безусловному запрещению роман Э. Золя «Труд». В отличие от обычных цензорских характеристик, не вдающихся глубоко в сущность рассматриваемых вопросов, Никольский попытался уяснить именно самое существо пресловутого «социализма» Золя и пришел к правильному, с точки зрения охранительной критики, выводу, что «социализм» этот является меньшим злом по

сравнению с марксизмом, который единственно только и является социализмом вредным и опасным, как учение, направленное к насильственному уничтожению и радикальному преобразованию современного общественного строя. Доклад Никольского, обстоятельный и умный, любопытен именно этим, по-своему серьезным, анализом цензуруемых произведений, попыткой разобраться в той массе материала, которая обычно огулом зачислялась в разряд «вредных» и «социалистических» сочинений и которая, естественно, должна была вызвать (хотя почти не вызывала практически) попытки как-то осмыслить ее, выделить наиболее «вредное» и подлежащее запрещению и истреблению. Не следует ведь забывать, что в это время, в 1901 г., царское правительство и его органы не только научились не пугаться слова «социализм», но и нащупывали уже практическую возможность приспособить его даже к жандармско-розыскным целям: как раз в эти годы оформлялась «идейно» и организационно зубатовщина.

Ввиду существенного интереса, вызываемого заключением М. В. Никольского, приводим его полностью:

«Мною рассмотрен новый роман Э. Золя «Труд» в пяти различных переводах, представленных в отпечатанном виде в качестве бесцензурных изданий в Московский и С.-Петербургский цензурные комитеты, а именно: издания О. Н. Поповой и книжного магазина «Новости» в С.-Петербурге и издания Клюкина, Ефимова и Ненашева в Москве. Издания Поповой, «Новостей», Клюкина и Ненашева признаны комитетом подлежащими действию ст. 149 устава о цензуре и печати, а издание Ефимова обращено Московским цензурным комитетом из бесцензурного в подцензурное и, по рассмотрении, признано подлежащим запрещению на основании ст. 94 и ст. 95 устава о цензуре и печати [15].

Все пять изданий, по распоряжению г. министра внутренних дел, задержаны выходом в свет [16].

Роман Золя «Труд» написан, несомненно, в социалистическом духе. Автор представляет яркую картину социального зла в настоящем и план будущей реорганизации общества на новых началах в духе социализма. Подчеркивая этот социалистический характер книги и громкое имя автора, как одного из талантливых современных романистов, комитеты признают все издания этой книги, ими рассмотренные, подлежащими запрещению ввиду ожидаемого от них особого вреда. В основе всех заключений комитетов лежит, повидимому, мысль, что социалистические взгляды и социалистические мечтания, каковы бы они ни были, должны быть признаны за особо вредные и содержащие их сочинения подлежащими безусловному запрещению, благодаря чему комитеты не сочли нужным войти в особое рассмотрение того вида социализма, который проводится автором романа, его отношения к господствующему или боевому социализму и, тем самым, точнее определить степень его вреда. Само собою понятно, что не всякое сочинение в социалистическом духе, как таковое, необходимо должно быть сочтено за особо вредное, а лишь такое, которое содержит учение, прямо или косвенно направленное к насильственному уничтожению существующего социального строя. Сочинения, содержащие теории отжившие, составляющие достояние истории, сочинения морального характера на социалистической подкладке, сочинения, носящие утопический характер, наконец, строго научные, доступные только социалистам,— все подобные сочинения допустимы к обращению в публике, и таких сочинений не мало имеется в нашей литературе. Даже популярные сочинения в социалистическом духе не все одинакового свойства: безусловно вредными могут быть названы только те, которые носят яркую печать современных идей и тенденций социал-демократии и направлены к тому, чтобы посредством их общество всё более доставляло приверженцев социал-демократии на борьбу с современным социальным строем. Мне кажется, можно сказать решительно, что вредный и опасный социализм в нынешнее время имеет один

определенный характер и подлежит вполне осязательному диагнозу,—это марксизм, и притом не столько в теории, сколько, как основа социал-демократического движения на практике; всё, что направлено к пропаганде последнего, носит явно вредный характер; всё же, что уклоняется в сторону от этого господствующего течения, а тем более то, что до некоторой степени идет с ним вразрез, не должно вызывать со стороны цензуры одинаково строгого к себе отношения.

В рассматриваемом сочинении автор вполне ясно и определенно обозначает свое отношение к современным фракциям социализма. Признавая за всеми учениями современного и древнего социализма и коммунизма одну общую черту,—это одушевляющую творцов этих учений любовь к человечеству в его целом, заботу о всеобщем счастии, он, тем не менее, осуждает все эти учения за неразборчивость или неправильное понимание средств к достижению общего счастия. Он осуждает более всего анархизм и коллективизм, как самые крайние фракции современного социализма. Можно было бы ожидать, что автор, судя по началу романа, проявит себя ревностным последователем современной социал-демократии и на ее началах построит будущий план реформы. Но этого, однако же, не случилось. Напротив, всего более поражает читателя, привыкшего вращаться в области социальных идей настоящего времени, то, что автор совсем игнорирует современное господствующее социалистическое направление в форме ходячего марксизма и широко раскинувшей свои сети социал-демократии. Современная жизненная форма социализма, те идеи, которыми заняты идеологи и пропагандисты социализма, те опасные движения в рабочем классе, которые вызваны пропагандою этих идей, вся эта эволюция, переживаемая нынешнею социальною мыслию и социальными отношениями, как будто прошла мимо глаз автора настолько, что он не обмолвился ни одним словом или намеком на те проблемы, которые поставлены современной мысли и жизни вожаками нынешнего социального движения. Вместо этого автор обращается к давно минувшему времени и останавливается на почти забытом учении Фурье, которое и полагает в основу изображаемого им будущего социального строя. Правда, идеи Фурье в сороковых годах волновали нашу молодежь, но в настоящее время, в эпоху торжества марксизма, они имеют исключительно исторический интерес. Воскрешая утопию Фурье, автор, устами его героя, признается, что он не разделяет всех идей этого социального мыслителя и не имеет целью изобразить осуществление всего его плана организации будущего человечества, а берет у него только одну идею солидарности, как моральную основу будущего социального строя. Будущее общество должно осуществить идеал полной солидарности и представить из себя ассоциацию капитала, таланта и труда. По мнению автора, как оно выразилось в художественно изображенных им лицах и событиях, свободная ассоциация этих трех сил современного социального строя, на почве существующего порядка, мирным путем поведет к водворению того общего равенства и счастия, какое преподносится в мечтах всех последователей социальных и социалистических учений, начиная от самых умеренных и кончая самыми крайними.

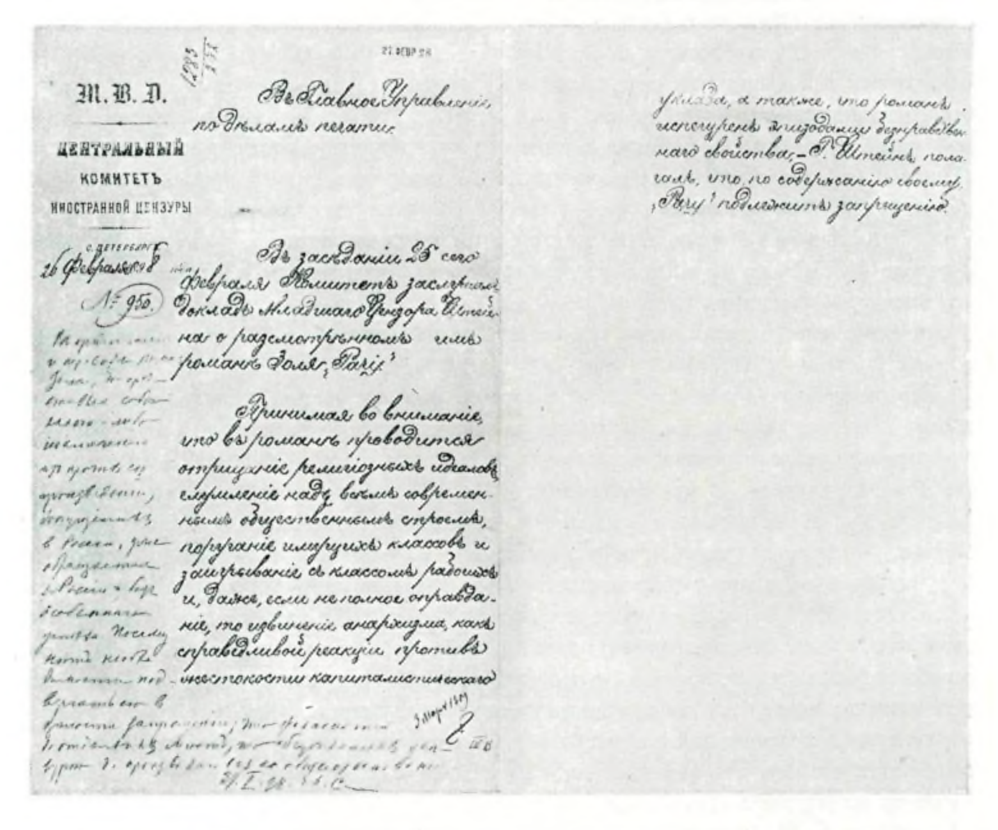
Ясно обозначенное отношение автора к современным и прежним социалистическим учениям в значительной степени ослабляет вредный характер книги, как проникнутой духом социализма. Автор не только не защитник современных социал-демократических тенденций, но он даже их игнорирует; только анархизм и коллективизм имеют в романе своих представителей — первый в лице Ланжа, второй в лице Боннера, но, в конце концов, тот и другой отреклись от своих крайних учений. Вместо того, чтобы считаться с «железным» законом, открытым Марксом, и изобразить необходимую, по мнению его и его последователей, катастрофу, в которой найдет свой конец нынешний капиталистический строй, автор изображает идиллию полного социального равновесия и полного удовлетворения и примирения всех считающихся непримиримыми противоречий, благодаря только тому, что люди захотели быть солидарными, работать сов-

местно и на равных правах. Самое начало ассоциации, положенное в основу будущего строя в романе, нельзя назвать в строгом смысле социалистическим, так как оно предполагает и частную собственность и наемный труд и дозволительно и осуществимо при существующих социальных условиях. Форма этой социальной организации в существенных чертах существует и у нас в виде нашей русской исконной артели, но с тем различием, что автор дает ей, благодаря фантазии, грандиозный объем и небывалое развитие. Строя на таких началах будущее человечество, автор идет открыто против существующей формы социализма и против той боевой силы, которая объявила войну современному строю. Для чего, спрашивается, рабочему классу всё более и более обособляться, всё более развивать свою силу в борьбе с капиталом, когда стоит только ему слиться с ним воедино, в одну ассоциацию, чтобы тотчас же и наступило ожидаемое царство всеобщего равенства и солидарности? Зачем потоки крови и ужасы террора, как этого хотят анархисты, когда та же цель достижима скорее и вернее добровольным союзом людей на началах взаимной помощи? Вот мораль романа, и, как мне кажется, эту мораль нельзя назвать особенно вредною.

За всем тем остается всё-таки общая социалистическая тенденция у автора, так как он, в конце концов, предвидит момент, когда созданная его фантазией организация приведет к тому, что сама собою перестанет существовать частная собственность и наемный труд, когда настанет полная общность в труде, в его продуктах и вместе с этим осуществится, как результат всеобщей эволюции, тот идеал счастия, какой более или менее общ всем социалистическим учениям. В этом будущем строе окажутся излишними и сами собою перестанут существовать и государственная власть, и церковь, и вообще всякая власть, так как всё это нужно было только для защиты нынешнего социального строя. Было бы странно видеть в этом что-либо похожее на апологию анархизма, как противогосударственного учения,—это просто утопия, осуществление которой отнесено к отдаленному будущему; автор не берется даже изображать его, а ограничивается только голыми фразами. Нужно заметить при этом, что его выходки против государства и церкви плохо вяжутся с общей идеей и ходом рассказа, висят на воздухе и, как проходящие ноты, не производят впечатления на читателя, они легко устранимы без вреда для целого. Существенным и неустранимым можно признать только представляемую автором картину социального беспорядка и несправедливости в существующем строе; здесь автор является художником-реалистом и пускает в ход свое обычное мастерство. Но уже то соображение, что в результате всего этого нет ни революции, ни вообще каких-либо насильственных переворотов, заставляет примириться с этими картинами, как не направленными к возбуждению дурных страстей рабочего класса. Если сопоставить с этим общераспространенное учение современных социал-демократов, что переход от нынешнего капиталистического строя к будущему коммунистическому должен сопровождаться катастрофами, причем рабочие насильственным путем экспроприируют капиталистов, формула Золя, диаметрально противоположная этому учению, должна показаться адептам последнего до наивности утопическою.

Трудно думать, чтобы подобные утопии, рассчитанные притом на возбуждение моральных чувств, а не классовых вожделений, могли принести серьезный вред, если даже согласиться с тем, что они имеют некоторую долю убедительности для массы публики, в чем я сильно сомневаюсь. В нашей литературе есть сочинения подобного рода, так, например, я укажу на роман Беллами «Через сто лет», выдержавший уже 4 издания. Утопия этого романа основана на чисто марксистском мировоззрении и есть художественное изображение будущего осуществления предсказываемой Марксом и его последователями экспроприации собственников концентрированного капитала, но ничто не говорит за то, чтобы этот роман сыграл бы хотя малейшую роль в деле пропаганды социал-демократических идей, хотя он обнаруживает бо̀льшее родство с современным социалистическим миросозерцанием, чем роман Золя. Да и с настоящим романом рус-

ская публика уже в достаточной степени ознакомилась по многочисленным переводам его, хотя и не доведенным до конца, в периодических изданиях, и я вполне разделяю отдельное мнение цензора С.-Петербургского цензурного комитета Соколова, что в настоящее время было бы бесцельно запрещать этот роман отдельным изданием, тем более, что печатание его в периодических изданиях не привлекло к нему внимания читающей публики. Нет сомнения, что одновременное запрещение пяти изданий этого романа в С.-Петербурге и Москве и прекращение продолжения его в периодических изданиях повлечет за собою сокращение производительности издательских фирм, так


М. В. Д.
Центральный Комитетъ Иностранной Цензуры
26 Февраля 98
№ 950

Въ Главное Управленіе по дѣламъ печати

Въ засѣданіи 25 сего Февраля Комитетъ заслушалъ докладъ младшаго Цензора Штейна о разсмотрѣнномъ имъ романѣ Золя „Paris".

Принимая во вниманіе, что въ романѣ проводится отрицаніе религіозныхъ идеаловъ, глумленіе надъ всѣмъ современнымъ общественнымъ строемъ, поруганіе имущихъ классовъ и заигрываніе съ классомъ рабочихъ и, даже, если не полное оправданіе, то извиненіе анархизма, какъ справедливой реакціи противъ жестокости капиталистическаго уклада, а также, что романъ испещренъ эпизодами безнравственнаго свойства, — Г. Штейнъ полагалъ, что по содержанію своему „Paris" подлежитъ запрещенію.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИНОСТРАННОЙ ЦЕНЗУРЫ В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 1898 г. С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЗАПРЕТИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ РОМАНА ЗОЛЯ „ПАРИЖ"

Ленинградское отделение Центрального исторического архива (ЛОЦИА)

как очевидно, что все издатели считали новый роман Золя интересною и невинною новинкою и не могли ожидать, чтобы, по условиям нашей печати, это сочинение могло подвергнуться безусловному запрещению. Критерий дозволенного и недозволенного в бесцензурном порядке, таким образом, утрачивается, и издательский рынок, чувствуя гнет, незаметно будет передавать чувство недовольства и неудовлетворения читающей публике. Идеи Золя давно уже всем известны; публика, ценя его талант, как беллетриста, вовсе не считает его авторитетом или вождем, за которым она следует. Социалистические и антихристианские идеи автора гораздо ярче выражены в предшествующих романах, как Лурд, Рим и Париж[17], между тем, можно смело сказать, что мировоззрение современной молодежи менее всего находится в зависимости от такого писателя, как Золя. У нас его значение едва ли превышает значение, например, Бобо-

рыкина и уже ни в каком случае не может итти в сравнение с значением Льва Толстого. Систематическое или слишком явное преследование сочинений Золя только в состоянии будет поднять значение этого писателя и создать из него незаслуженный авторитет для нашей незрелой молодежи: его дозволенные прежде сочинения будут перечитываться с новым интересом.

Всё вышеизложенное располагает меня к мысли о возможности более снисходительного отношения к роману Золя «Труд», тем более, что переводчики и издатели, несомненно, считались с цензурными условиями и облегчили сами задачу цензуры. Только одно издание Клюкина воспроизводит роман в русском переводе без исключений, в изданиях же Ефимова и Поповой сделаны значительные урезки более ярких мест, дающих книге социалистическую окраску. Я находил бы весьма желательным, чтобы исключения в издании Ефимова, например, рассказов о катастрофах в конце книги, были распространены и на издание Поповой, равно как исключения в издании Поповой распространены на издание Ефимова, как, например, рассуждения анархиста Ланжа и картина разрушения церкви вместе с последним священником. Само собою понятно, что исключения в обоих изданиях обязательно должны быть распространены и на издание Клюкина. Благодаря этим урезкам характер романа в русском переводе значительно изменится к лучшему в смысле цензурности, и притом одинаково во всех трех изданиях»[18].

Упомянем еще о запрещении изданных без предварительной цензуры переводов романа «Истина» (СПб. 1903, изд. О. Н. Поповой, и М., 1903, изд. Клюкина). Цензор, рассматривавший второй, московский, перевод романа, отметил, что в нем автор «отрицает церковь и ее учение и обряды в деле воспитания и в жизни, приписывает религии развращающее влияние и проповедует вообще свободную жизнь без всякой религии». В представлении же Петербургского цензурного комитета «сочинение это обрисовывается вредным и вследствие его социалистического направления. Читаем, например, такие положения: «Скопляемые богатства развращают и губят все, что с ними соприкасается» (стр. 81). «Рабочий—это жертва заработной платы» (стр. 51). «Буржуазия пользуется всякого рода средствами и весьма часто религиею, чтобы удержать свою добычу: армия явилась воплощением грубой силы, которая своими штыками охраняла покой сытых» (стр. 198). Такими сентенциями настолько же переполнен роман, насколько проникнут антирелигиозною проповедью, и он, таким образом, является вредным и с религиозной и с социалистической стороны». На основании этих отзывов оба перевода были запрещены и уничтожены, по постановлению комитета министров[19]. Лишь два года спустя этот роман Золя, под названием «Правда» (М., 1905, изд. И. Сытина), был разрешен; почти одновременно было допущено к распространению и французское издание романа (в 1906 г.), ранее также подвергшееся запрещению[20].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «С.-Петербургские Ведомости», 1872, № 219.

[2] М. К. Клеман, Начальный успех Золя в России—в его книге «Эмиль Золя, сборник статей», Л. 1934, стр. 191.

[3] Там же, стр. 260—261.

[4] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1868 г., № 1503.

[5] Главн. управ. по делам печати, II отд., 1874 г., д. № 67.

[6] Главн. управ. по делам печати, журнал заседаний совета за 1874 г., № 34, л. 1.

[7] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1880 г., № 1816. В 1881 г. не была разрешена переделка романа в драму (перевод с французского Ярона), так как «пьеса полна соблазна, обставленного художественной оболочкой». В 1906 г. роман был разрешен в подлиннике, так как еще в 1899 г. внутренняя цензура пропустила перевод его на русский язык с сохранением всех основных мест, послуживших причиной запрещения французского издания (Главн. управ. по делам печати, журналы заседаний

совета за 1881 г., № 45, п. 2; Центр. к-т. ценз. иностр., рапорты за 1906 г., № 6916). Впрочем, должен существовать и более ранний перевод «Нана» (быть может, неполный), на который ссылался С. А. Рачинский в письме к К. П. Победоносцеву, см. ниже, прим. 10-е.

[8] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1887 г., № 8288; 1906 г., № 6982.

[9] Совет Главного управления по делам печати и министр внутренних дел Л. С. Маков согласились с мнением цензора, и драма была запрещена к представлению (журналы заседаний Главн. управ. по делам печати за 1880 г., № 2, п. 3). Следует заметить, что французское издание романа «L'Assommoir» было разрешено в 1876 г., французская же переделка его в драму («L'Assommoir, drame en 5 actes avec une préface d'E. Zola») в 1881 г. подверглась запрещению по тем же мотивам, что и русская переделка «Парижские рабочие». Однако, другая русская переделка—Ярона, под названием «Западня», предназначенная для народных театров, в том же 1881 г. была, с исключением нескольких мест, пропущена цензурой (Главн. управ. по делам печати, журналы заседаний за 1881 г., № 48, п. 5).

[10] См. нашу публикацию «Письма К. П. Победоносцева к Е. М. Феоктистову» («Литературное Наследство», кн. 22—24, 1935, стр. 518—519).

[11] Главн. управ. по делам печати, 1885 г., д. № 42, л. 80 об.—81, ср. также л. 83.

[12] Журналы заседаний Главн. управ. по делам печати за 1885 г., № 5.

[13] Главн. управ. по делам печати, 1881 г., д. № 42, л. 87 об.—89 об. Чтобы исчерпать материал, отметим, что в 1908 г. цензурой был наложен арест на вышедшую в Симбирске переделку «Жерминаля», под названием «Труд и капитал». «Книга,—писал председатель Казанского комитета по делам печати прокурору судебной палаты,—в художественно-беллетристической форме трактует об отношениях труда и капитала с освещением этого вопроса с точки зрения социалистических учений». Суд, однако, не нашел в книге признаков преступления и арест отменил (Главн. управ. по делам печати, III отд., 1908 г., д. № 240).

[14] С.-Петербургский цензурный комитет, собрание рукописей, № 1341. 113-я статья цензурного устава предписывала руководствоваться особыми инструкциями при рассмотрении произведений, касающихся ведомств военного, судебного, финансового и министерства внутренних дел. Особой инструкцией, относящейся к ведомству этого министерства, требовалось, между прочим, не разрешать никаких статей и рассуждений, «которые могли бы возбуждать неудовольствие и раздражение одного сословия против другого». Под «последним» циркуляром имеется в виду циркуляр от 8 мая 1895 г., № 2799, устанавливавший особо строгую цензуру для народных изданий. В 1898 г. рассказ «Безработица» был запрещен также в издании О. Н. Поповой (СПб. ценз. к-т, 1898 г., д. № 184).

[15] 149-й статьей был установлен порядок запрещения и уничтожения особенно вредных книг комитетом министров по представлениям министра внутренних дел.

[16] Это задерживание было произведено по предложению начальника Главного управления по делам печати, князя Н. В. Шаховского, опасавшегося, что в романе «могут быть теории и возбудительные места, которые нежелательно было бы пускать в широкий оборот, особенно теперь, когда среда фабричных рабочих и без того возбуждена злонамеренными подстрекателями» (Главн. управ. по делам печати, 1901 г., д. № 38, л. 1).

[17] Об отношении царской цензуры к этой серии антиклерикальных романов Золя см. в этом же томе публикацию М. Д. Эйхенгольца, «Три города» Эмиля Золя и их судьба в России.

[18] Главн. управ. по делам печати, III отд., 1901 г., д. № 38, лл. 28—33. Заключение М. В. Никольского склонило совет Главного управления к решению допустить выпуск переводов романа, при условии исключения из них всего, «что с цензурной точки зрения может почитаться вредным для русских читателей». Утвердив это решение, министр внутренних дел Д. С. Сипягин предписал обратить особое внимание на исключение «выходок против государства и церкви». В результате всего этого переводы романа были разрешены с целым рядом исключений. Французское издание романа подверглось запрещению в 1901 г. и было разрешено после пересмотра в 1906 г., когда цензор В. К. Боас указал, что запрещение этого произведения уже не оправдывается первоначальными мотивами, так как «повседневная печать знакомит публику с такими документами действительной жизни, перед которыми бледнеют слова и действия фантастических лиц романа» (Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1906 г., № 6983).

[19] Главн. управ. по делам печати, III отд., 1903 г., д. № 29, л. 21.

[20] Главн. управ. по делам печати, III отд., 1903 г., д. № 29; Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1906 г., № 6917.

VIII. ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Выше уже неоднократно отмечалась особенная строгость царской цензуры по отношению к малейшим проявлениям демократических тенденций в литературе, особенно в литературе французской, одним из жупелов которой для царского правительства на протяжении многих десятилетий был именно ее демократизм. Старательно отыскивая следы демократических тенденций, ведущих к «потрясению основ», даже в невинных, казалось бы, романах Поль де Кока, цензура с тем бо́льшим рвением относилась к творчеству писателей и поэтов—подлинных демократов, которые свой демократизм доказывали не только в своих произведениях, но и в политической борьбе, с оружием в руках, на баррикадах. Мы имеем в виду группу французских писателей, связавших свои имена с революцией 1871 г. и, особенно, с Парижской Коммуной,—Луизу Мишель, Э. Потье, Ж. Валлеса; к ним можно присоединить, в более ранний период, также П. Дюпона.

С творчеством Дюпона, а именно с книгой его «Muse populaire. Chants et poésies» (5e éd., Paris, 1858), царская цензура столкнулась в начале 1859 г. и отнеслась к ней благосклонно, вопреки представлению цензора, барона фон Бистрама, который в своем докладе (11 марта 1859 г.) писал: «Разбираемая книга заключает в себе сбор старых и новейших французских народных песней или поэзий, из числа коих много содержания предосудительного, как-то—против веры христианской, нашего правительства, взывающие к революции, к социализму, направления демократического и вообще клонящегося к нарушению общественного спокойствия... По соображении чего я полагал бы, что эту книгу лучше запретить для публики, тем более, что эти народные песни могут иметь интерес только местный для французской нации».

Несмотря, однако, на достаточно решительное предложение цензора, Комитет цензуры иностранной с ним не согласился и разрешил выпуск книги даже без исключения отдельных песен[1]. Объяснение этой снисходительности цензуры можно найти в общем «либеральном» направлении правительственного курса конца пятидесятых годов, вызвавшем даже со стороны А. В. Головнина (будущий министр народного просвещения) жалобу на то, что «известные идеи распространяются в воздухе, несмотря на все полиции и все цензуры»[2].

Подобный же «либерализм» был проявлен цензурою и относительно двух других книг П. Дюпона: «Chants et chansons (poésie et musique)» (Paris, 1855—1858, vols. I—III) и «Muse juvénile. Etudes littéraires en vers et prose» (Paris, 1859).

По поводу первой из этих книг цензор В. Л. Ржепецкий в своем докладе Петербургскому комитету цензуры иностранной (1 апреля 1859 г.) писал:

«Эти песни и песенки делятся на три части: пасторали, песни политические и социалистические и несколько символических песен, в которых отразилась философия всего произведения.

Нельзя не признать, что книга Пьера Дюпона содержит многочисленные доказательства выдающегося таланта автора; в успехе этого поэта нельзя сомневаться как благодаря его личным достоинствам, так благодаря тому, что поэзия его проникнута чувством общественности, отголоском которого она и является.

К сожалению, среди так называемых политических песен, которые, по замечанию автора—ярого республиканца—не имели иной цели, кроме защиты новой идеи от напора варваров, мы нашли несколько таких, которые показались нам слишком революционными и бунтарскими, чтобы быть разрешенными; вот почему мы и предлагаем их исключить».

Перечисляя эти стихотворения, цензор называл—в т. I: «Le chant des ouvriers», «Le chant des transportés», «Le chant des soldats», «Le chant des étudiants», «Le Cuirassier de Waterloo», «Kossuth», «Le chant des nations»; в т. II: «Le chant du vole», «Dieu

sauve la République», «La Sibérienne»; в т. III: «La fête du champ de Mars», «La chanson du banquet», «La Royauté», «La nouvelle Alliance». Постановлением комитета все эти песни были исключены, после чего издание было допущено к распространению[3].

Что касается второй из названных книг, то, как докладывал цензор В. Лангер (13 апреля 1860 г.), «в отделе прозы этого собрания сочинений Дюпона противного общим правилам цензурного устава ничего не содержится»; в отделе же стихотворений цензор предлагал к исключению четыре стихотворения («La fin de la Pologne», «Elégie», «Vision», «Chant des nations»), «написанные как бы с намерением возбудить Польшу к восстанию и ненависть к монархической власти»[4].

Совершенно иным оказалось отношение цензуры к песням П. Дюпона позднее, после того, как сделалось известным, что коммунары распевали некоторые из них на баррикадах. Когда, в 1872 г., «Песня французских работников» появилась в журнале «Бе-

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ В ПАРИЖЕ ВО ВРЕМЯ КОММУНЫ
Рисунок Жюля Эро
Литературный музей, Москва

седа» (1872, № 5), Московский цензурный комитет всполошился и представил всю книжку журнала к запрещению в комитет министров, указывая, что хотя данное стихотворение и изображает положение французских работников, «но нельзя не видеть в нем революционной и демократической пропаганды»[5]. Соответственно иначе стали квалифицироваться стихотворения П. Дюпона и в оригиналах: в цензорской характеристике сборника «Muse populaire» (Paris, 1875), уже бывшего прежде на цензурном рассмотрении, отмечались четыре стихотворения («La Sibérienne», «Le chant du Danube», «Schamyl», «La prise de Sébastopol»), «исполненные декламаций, звонких своею ненавистью к России», но «в сущности, не имеющих никакого значения и утративших даже новость впечатления»; сам цензор (Л. О. Ивановский) полагал, что они «не заслуживают цензурной строгости», и, однако, комитет постановил запретить весь сборник целиком[6].

Дело, конечно, было не в самом Дюпоне и не только в нем. К нему, в данном случае, были применены нормы, выработанные цензурной практикой по отношению к демократической литературе в результате событий Парижской Коммуны, в которой царская

цензура, вслед за наиболее значительным реакционным публицистом и, в известной степени, вдохновителем всей внутренней и внешней политики России семидесятых-восьмидесятых годов, М. Н. Катковым, склонна была видеть лишь «дикое варварство», лишь «страшный пережитый Францией кошмар», «лишь дерзкий обман», который «издевается над целой страною и продолжает, по заключении мира, разрушительное дело войны»[7]. Безудержная брань, наглая и подлая клевета, целая система умолчаний, подтасовок и прямых искажений действительных исторических фактов—все средства были пущены царским правительством, его явными и тайными агентами для того, чтобы исказить и затуманить величественную картину борьбы французского пролетариата за установление своей диктатуры, картину великой Парижской Коммуны, которая, по определению товарища Сталина, «была первой, славной, героической, но все же безуспешной попыткой пролетариата повернуть историю против капитализма»[8].

Современный исследователь, Л. Добровольский, специально изучавший отношение царской цензуры к Парижской Коммуне, пришел к неожиданно оптимистическому выводу, что «периодическая печать в России в 1871 г., помещавшая статьи и заметки о Парижской Коммуне, не вызвала особых гонений цензуры: известно только несколько случаев, когда цензура обратила внимание на статьи о Коммуне в периодической печати»[9]. Необоснованный оптимизм этот тотчас же развеется, если мы примем во внимание, что современная пресса в громадном большинстве отзывалась о Коммуне в духе и стиле приведенных выше катковских цитат, частью же (речь идет о «прогрессивной», либеральной печати) трусливо отмалчивалась, перепечатывая лишь официальные сообщения и избегая выражать свое собственное о них мнение. Наоборот, единичные попытки дать более или менее правильное представление о событиях немедленно пресекались самым решительным образом (за статью Е. И. Утина «Франция и французы после войны» в «Вестнике Европы», 1871, № 12, журналу было дано предостережение), как равно пресекались и попытки демократической печати фактами опровергнуть тенденциозные измышления и инспирации правительственной прессы. Так, например, рецензия на книгу Ланжеле и Карръе «История революции 18 марта», предназначавшаяся для журнала «Дело» (1871, № 5), не была пропущена цензурой, нашедшей, что она написана «в сочувственном духе к деятелям Коммуны»[10]. Смелая попытка Щедрина сочувственно отозваться на события Коммуны и заклеймить ее кровавых «усмирителей» была немедленно пресечена цензурой: пятая глава «Итогов», посвященная этой теме, была, по требованию цензуры, изъята Щедриным из августовской книжки «Отечественных Записок» за 1871 г., и запрещенный текст смог быть опубликован, да и то не полностью, лишь в 1914 г. (публикация В. Кранихфельда в «Киевской Мысли», от 28 апреля 1914 г.)

Л. Добровольский знает эти основные факты и часть из них приводит в своей работе, но либо игнорирует их, либо не делает из них нужных напрашивающихся выводов. Однако, и сам он вынужден, в конце концов, признать, что «под влиянием парижских событий 18 марта, царское правительство с особой бдительностью стало следить за радикальной журналистикой». И,—прибавим мы от себя,—не только за «радикальной» (демократической?!) журналистикой, но и за всеми малейшими проявлениями демократической литературы.

Старый, извечный страх самодержавия перед надвигающейся с Запада, из Франции революционной грозой, перед возможными вспышками ее внутри империи снова возник, принимая тем более фантастические размеры в глазах правительства, что массовое революционное движение в России было на этот раз уже не фикцией, что ряд политических процессов воочию демонстрировал и вовлечение в него подлинно демократических элементов, сознательных рабочих и крестьян. Усиливаемый последующим развитием революционного движения в России, страх этот соединялся с не-

избывной ненавистью правительства и его органов ко всему демократическому, непременно подразумевавшей и «кощунство», и «безнравственность», и «республиканские тенденции» и т. д. Временами этот страх, эта ненависть, взрываясь, являлись источниками таких беспримерных по своей наглости и беспредельной грубости официальных документов, как, например, публикуемая ниже записка Е. Феоктистова о Луизе Мишель, резко выделяющаяся своим тоном даже среди того букета подлости и пошлости, какой представляют цензурные отзывы о демократической французской литературе, в частности, об ее представителях, в той или иной мере связанных с Парижской Коммуной.

В начале восьмидесятых годов цензура столкнулась с творчеством Жюля Валлеса, которого чрезвычайно положительно, хотя и с осторожными оговорками, рекомендовал русскому читателю П. Боборыкин. «На Жюля Валлеса, несмотря на то, что он уже человек почтенных лет,—писал П. Боборыкин,—позволительно смотреть, как на писателя-беллетриста, пришедшего на публичный экзамен с прекрасным запасом умственных сил и темперамента. Сдал он этот экзамен с отличной отметкой, но не показал еще: может ли он пройти весь курс, предстоящий ему. Выработает ли он из себя такого романиста, как те реальные писатели, к которым он согласен причислить себя,— Гонкур, Золя, Додэ—или не пойдет дальше яркого, даровитого субъективизма,—во всяком случае, это—сила и характерный сын своего времени. Самый его субъективизм представляет собою большое обобщение, так думать и чувствовать привыкли тысячи французов с общественными идеалами. И во всей его трилогии [речь идет о трилогии «Jacques Vingtras»: «L'enfance»—«Le bachelier»—«L'insurgé».—*И. А.*], в особенности в двух последних частях, и французская, и вся остальная публика найдут все яркие и своеобразные особенности склада ума, языка, все резкости, доходящие иногда до цинизма, какими отличается его поколение. Но в среде радикальных французов его лет Жюль Валлес принадлежит к тому меньшинству, которое, сохраняя самые широкие демократические идеалы, не желает впадать в рабство ни перед какими громкими словами, ненавидит идолов и всегда с полным бесстрашием разбивает лживые авторитеты, травит всякими способами фразеров и честолюбцев, столько раз вводивших в обман наивную массу, жаждущую лучших дней»[11].

В этой характеристике писателя-коммунара явно ощущается стремление сгладить те особенности классового его облика, которые могли привлечь к нему внимание цензурных органов, замазать революционизирующий характер его трилогии и, в особенности, третьей ее части, по поводу которой, собственно, и написана статья. В данном случае, цель критика,—если она, конечно, была поставлена им сознательно, а не являлась результатом искаженного, классово-чуждого понимания творчества Ж. Валлеса,—была достигнута: о третьей части трилогии русский читатель получил вполне извращенное представление[12].

Тем не менее, непосредственное знакомство с этой третьей частью вызвало сильное беспокойство у цензора Я. П. Полонского (доклад 18 июля 1886 г.), который писал о ней следующее:

«Книга эта посвящается автором жертвам социальной несправедливости, взявшимся за оружие против дурно устроенного общества и устроившим под знаменем Коммуны Великую федерацию страданий (La grande Fédération des Douleurs). Книга эта не роман и не повесть. Это какой-то отрывочный дневник, или обрывки воспоминаний одного из участников в революции, послужившей основанием последней французской республики. Книга эта не заключает в себе ни живых картин этого времени, ни характеристик, ни хоть сколько-нибудь ясно очерченных лиц, не вымышленных, а действительно существовавших.

Герой смеется над войной, желает, чтобы Пруссия побила Наполеона III, смеется над патриотизмом, кощунствует, часто выражается грубо и цинично и является в этих отрывочных разговорах и встречах лицом невежественным, всё и всех ругающим,

всех подозревающим, насмехающимся, беспрестанно попадающимся под аресты, как человек, провозглашающий гражданскую междоусобную войну, и как ярый враг всякого правительства, ищущий популярности.

Это ряд уличных и закулисных сцен, заговоров, воззваний, грязной и кровавой борьбы и бессмысленных, часто непонятных восклицаний. Читается книга тяжело, она не занимательна и для умных людей полезна, как живая искренняя исповедь человека праздного, политика, делающего революцию и для многих ставшего авторитетом ради своей юркости и беззастенчивости. Всё это в высшей степени антипатично и, как кажется, антипатично для самого революционера...

Этот чисто парижский тон книги, тон бульварный и никаким чувством, никакой мыслью не проникнутый, едва ли кому-нибудь понравится, и только с этой точки зрения книга может быть дозволена. Но если этого еще недостаточно для ее позволения, то запрещение книги этой представляю на благоусмотрение комитета»[13].

Если в приведенном примере ненависть царского правительства к Парижской Коммуне и ее деятелям не нашла полного своего выражения, если, ради соблюдения какого-то бюрократического декорума, цензуре пришлось разрешить заведомо неприемлемую для нее вещь, то в нескольких документах, приведенных дальше, ведомство это выступает без всякой внешней маскировки, давая беспримерные по своей наглости и грубости формулировки и квалификации. Речь идет о коммунарке Луизе Мишель, ряд книг которой, попадая в цензуру, не вызывал иных характеристик, кроме «психопатка», «сумасшедшая», «глупость», «бездарность», «полупомешанная» и даже ругательства — совсем уж необычного в официальных документах—«стерва».

В начале февраля 1886 г. в иностранную цензуру поступила книга Л. Мишель «Mémoires écrits par elle-même» (Paris, 1886). 12 февраля 1886 г. цензор Я. П. Полонский представил о ней следующий доклад:

«Изданию этому предпослано предисловие издателя, где Луизе Мишель расточаются большие похвалы, как женщине доброй, как нежной дочери и как существу, одаренному сильным, энергическим характером.

Из самых же ее записок видно только, что она одарена недюжинными способностями, фантазией и необузданным характером. Отношения же ее к матери были почти-что таковы, что мать постоянно страдала и рабски должна была молчать перед дочерью, а когда мать умерла, то Луиза Мишель хвалится тем, что не уронила о ней ни одной слезы и в тот же день говорила речи, как ни в чем не бывало.

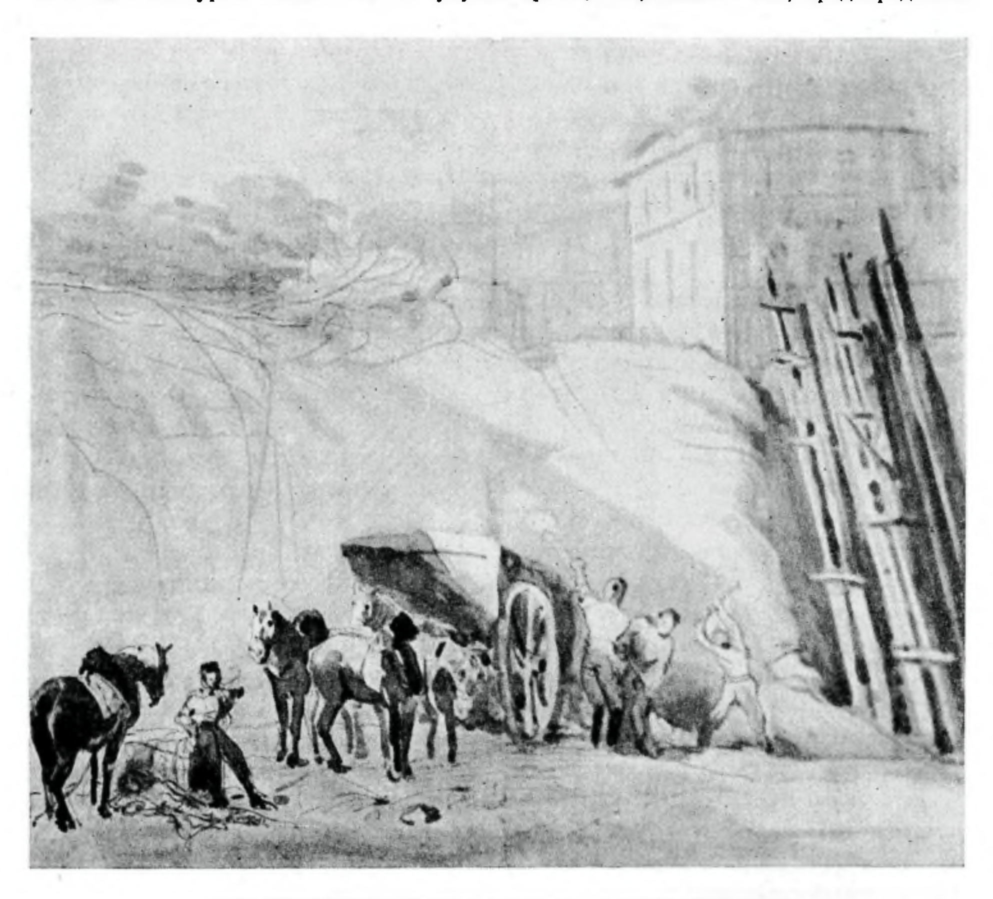
Для зрелого ума записки эти по местам, особливо там, где она приводит выписки из статей своих и речей ...[оборвано] Луиза Мишель является психопаткой или сумасшедшей, для которой пальба, запах пороха и крови усладительнее всего на свете, которая не признает никакого правительства, ни монархического, ни республиканского, никакой власти, жаждет какой-то небывалой свободы и равенства, свободы диких зверей и которая глубоко убеждена, что за ее спиной стоят тысячи, миллионы таких же, как она, и что старый мир государств, семьи и всяческих верований скоро погибнет навсегда и невозвратно.

Но такие сумасбродства в ранние годы заразительны. Героизм фанатизма подкупает слабую волю и увлекает романическое воображение—вот почему, полагаю, книга эта не может быть дозволена»[14].

По неизвестным причинам, одновременно с передачей книги на цензорский отзыв Я. П. Полонскому, председатель Петербургского комитета цензуры иностранной, А. Н. Майков, послал ее также на просмотр начальнику цензурного ведомства Е. М. Феоктистову, от которого был получен незамедлительный (14 февраля 1886 г.) и совершенно категорический ответ. «Я не нашел никакой от вас записки при этой книге,— писал Феоктистов Майкову.— Посылаете ли вы ее с целью узнать мое мнение, не следует ли ее запретить на основании отмеченных мест? Я не стал и просматривать

их. Для меня вполне достаточно, что на книге выставлено имя такой стервы, как Луиза Мишель: зачем нам допускать к себе ее пакостные произведения?»[15].

Вряд ли можно что-нибудь прибавить к этому документу, как нельзя лучше демонстрирующему неизгладимую ненависть бюрократической верхушки российского государственного аппарата ко всему, что выявляло неугасимый дух сознательности и величия рабочего класса. И, тем не менее, несмотря на свой необычный характер, мало согласующийся с бюрократической процедурой, письмо это не только явилось директивой для цензурного ведомства на будущее время; оно, вместе с тем, предопределило



ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ В ПАРИЖЕ ВО ВРЕМЯ КОММУНЫ
Рисунок Жюля Эро
Литературный музей, Москва

и самый характер последующих отзывов. Этому поддался даже Я. П. Полонский, который, по своему положению известного поэта и общественного деятеля, мог бы и не проявлять излишнего служебного рвения. По поводу книги Л. Мишель «Les microbes» (Paris, 1886) Полонский в своем докладе (8 октября 1886 г.) писал:

«Давно не появлялось книги глупее и бездарнее, как это произведение Луизы Мишель, знаменитой в Париже социалистки и коммунистки. Только в предисловии ее к своим рассказам слышится в ней вера в грядущую всемирную революцию. «Старое общество родит новую эру». «Мы видим, говорю я, как уходят старые расы, отяжелевшие от безделия, одуревшие от наслаждений, в то время как нищета подхлестывает кровь в тощих желудках вечно голодных рас». «Голодные волки рычат, львы просыпаются, мы уже вступили в новую эпоху». И тому подобные старые, давно уже всем надоевшие фразы.

В сущности, даже такое предисловие не внушительно. Всё же остальное, по моему мнению, как нечто неудобоваримое, смутное, часто неестественное,—даже может быть рекомендовано для чтения всем поклонникам и поклонницам Луизы Мишель. Ничем лучше не могла она доказать, какой сумбур, какая каша у ней в голове.

Указываю на места в книге на стр. 72, 192 и 289, где упоминается о России. Всё остальное посвящено изображению разврата и нищеты во Франции, в Англии, в Ирландии. Писано отрывочно,—разговоры ведутся на уличном языке и нуждаются в переводе на обыкновенный французский язык.

Если предисловие и указанные мною места не заслужат в комитете цензурной строгости, то, я думаю, и вся книга ее не заслуживает.

Словом, запрещение книги этой предоставляю на благоусмотрение комитета»[16].

В таком же роде и отзыв Полонского о следующей книге Л. Мишель, романе «Le monde nouveau» (Paris, 1888):

«Роман этот, очевидно, написан полупомешанной. В нем нет ни таланта, ни здравого смысла, ни фактической верности. Даже собственные имена переврaны. Так, например, Стенька Разин назван Stenkorate. Об этом Стенкорате стоит заглянуть на стр. 161—164.

Конечно, все сочувствия авторши на стороне ссыльных и казненных по политическим делам и ненависть к царям. На стр. 140 намекается, что Александр II северную часть Русской Америки проиграл в карты. Ему же придан эпитет «Dynamité».

Обращаю внимание на стр. 283—284—285—287. Тут описаны казни русских анархистов. Кроме того, авторша впадает в какие-то пророческие аллегории; чтобы в этом убедиться, стоит прочесть: «Epilogue», стр. 346 и до конца книги. Тут Луиза Мишель пророчит, что движение сфер [!?] будет всё быстрее и быстрее и что между планетами будут интернациональные сношения.

Было бы очень полезно дать прочесть эту книгу поклонникам и поклонницам Луизы Мишель, но по уставу цензурному, к сожалению, ее следует запретить»[17].

В таком же роде был составлен и доклад цензора Н. М. Дроздова (13 марта 1889 г.) по поводу книги Л. Мишель и Ж. Гетре «La misère» (Paris, vols. I—II):

«Сочинение это крайне тенденциозное. В нем проводится мысль, что основы современной жизни вполне несостоятельны, что в настоящее время низшие, рабочие классы находятся в самом жалком положении, как совершенно бесправные, служат жертвами эксплоатации капиталистов и произвола и тирании правительства и духовенства и что существующий строй должен быть вполне ниспровергнут, чтобы впоследствии положить начало новой жизни в духе крайних социалистических теорий. Авторы заявляют себя приверженцами известной программы анархиста Бакунина, признающего «хаос, смерть и разрушение» единственным средством для проложения пути к водворению начал новой жизни (стр. 940—941, 947 и др.). В рассматриваемом сочинении встречаются также оскорбительные отзывы о христианстве (стр. 437, 544 и др.) и России, которая называется страною тиранов (стр. 571). Касаясь русских анархистов, авторы в превратном виде изображают деятельность их, как направленную к благу всего человечества, и, в частности, отправление их в Сибирь и жизнь на рудниках (стр. 764—778, 810—813). Поэтому сочинение это, как весьма вредное по своей тенденциозности, должно быть воспрещено, по моему мнению, к обращению»[18].

Приведем еще отзыв А. Ф. Копылова о книге Л. Мишель «Le clacque-dente» (Paris, 1890):

«Имя сочинительницы дает возможность составить наперед заключение о качествах ее труда; об этом также легко судить по заглавию, обертке и предисловию на 1 и 2 страницах. Содержание представляет собою какой-то фантастический рассказ, имеющий в виду представить бедствия низшего класса французского населения, терпящего нищету и служащего предметом эксплоатации для недобросовестных капиталистов и зависящей от последних администрации. Всё это, впрочем, очерчивается весьма

туманно, ненатурально и скучно, причем трудно решить, может ли подобный рассказ возбудить с чьей-либо стороны страсти или убедить кого. Выводимые на позор лица кажутся чересчур уже ненатуральными, и во многом оказывается играющей роль чистая случайность. Может быть, впрочем, ближе знающие политическую жизнь во Франции найдут здесь сатиру на некоторых министров и судебных сановников, а также на крупных, но недобросовестных финансистов и журналистику.

По моему мнению, наиболее неудобными у нас в цензурном отношении являются выражения, представляющие близость падения нынешнего отживающего порядка вещей и близость наступления в Европе новой эры, когда повсеместно наступит господство социальной республики. Смотри об этом, кроме введения на 1 и 2 страницах, главу XXV, особливо четыре последние строки на 239 и начало 240 страницы. В этом же роде много и других мест, например: подчеркнутые строки на 66 странице, очевидно, написанные по поводу последней всемирной выставки в Париже. Заключается роман представлением торжества пророчимой социальной республики. В каких выражениях это сделано, можно видеть из подчеркнутых мест на страницах 318 и 319.

В общем, я полагаю, что разбираемое произведение по своей тенденции, многим отдельным выражениям, вроде вышеуказанных, и имени автора следовало бы подвергнуть запрещению»[19].

И еще много времени спустя, при преемнике Феоктистова и позже, даже после революции 1905 г., сочинения Луизы Мишель продолжали пугать царскую цензуру призраком погибшей, но не побежденной Парижской Коммуны. В 1896 г. цензор С. Ф. Гейспиц отмечает (доклад 25 сентября 1896 г.) наличие в сборнике стихотворений Л. Мишель «A travers la vie» большинство стихотворений «характера республиканского и социалистического», особо выделяя стихотворение «A des amis russes», «посвященное памяти казненных нигилистов»[20].

Столь же категорически отрицательным было и отношение царской цензуры к произведениям Эжена Потье, автора текста пролетарского гимна «Интернационал». 24 июня 1887 г. цензор А. И. Певницкий представил доклад о двух сборниках Э. Потье: «Chants révolutionnaires publiés par les soins des anciens collègues de Eugène Pottier à la Commune de Paris. Préface de Henri Rochefort» (Paris, 1887) и «Quel est le fou? Chansons. Avec une préface de Gustave Nadaut» (Paris, 1884).

«Этот сборник революционных песен,—писал цензор о первом сборнике,—неизвестного до сих пор автора, Евгения Потье, бывшего участника Парижской Коммуны, весь проникнут жестокою ненавистью к существующему экономическому порядку и направлен к возбуждению неимущих классов к насильственному перевороту всего общественного строя.

По мнению автора, недостаточно простить и вернуть из ссылки осужденных коммунаров, а следует еще восстановить в правах пролетариев упразднением частного имущества и отдачею рабочим в общее пользование всех движимых и недвижимых имуществ и орудий производства... Для достижения предположенной цели автор считает дозволительными всякие средства: поджоги... грабеж... и убийства...

Ввиду крайне предосудительного направления этой книги, не может быть сомнения, что она подлежит запрещению».

Относительно второго сборника цензор замечал, что он «хотя и отличается некоторой умеренностью сравнительно с предыдущей книгою, но так как многие песни в нем проникнуты революционным духом..., то полагаю необходимым запретить и эту книгу»[21].

В связи с именем Э. Потье находится и двукратное уничтожение цензурой изданий «Интернационала». В 1907 г. подверглось запрещению французское издание «Интернационала» (приложение к бельгийскому журналу «L'Avenir social», 1906, № 8), причем цензор И. Г. Трейман указывал, что это — «песня..., призывающая рабочий народ к борьбе с государственной властью и господствующими классами»[22]. А в следующем

году, вследствие запроса департамента полиции, Главное управление по делам печати предложило Московскому комитету дать свое заключение о нотной тетради: «Интернационал. Международный гимн. Издание Детлаф и К°, 2-я тысяча. Цена 30 коп.».

«Рассмотрев текст названного гимна, отпечатанный на особом листе, вложенном в нотную тетрадь, — говорилось в специальном отношении комитета к прокурору Московской судебной палаты (16 июня 1908 г.),— Московский комитет по делам печати нашел, что в словах этого гимна заключается возбуждение к учинению бунтовщического деяния и к ниспровержению существующего в государстве общественного строя, а также призыв к классовой борьбе между отдельными сословиями населения, т. е. признаки преступления, предусмотренного пунктами 1, 2 и 6 статьи 129-й уголовного уложения.

Сделав вследствие сего, на основании статьи 3-й отдела IV временных правил для неповременной печати от 26 апреля 1906 г., распоряжение о наложении на означенное сочинение ареста, Московский комитет по делам печати имеет честь покорнейше просить ваше превосходительство возбудить против лиц, виновных в его издании и отпечатании, судебное преследование по указанной выше статье уголовного закона».

По «мудрому» заключению прокурорского надзора, утвержденному Московской судебной палатой, арест, наложенный на ноты, был отменен, а изданный отдельно текст к нотам был уничтожен[23].

И, наконец, в 1914 г. был наложен штраф в 500 руб. («с заменою, в случае отказа от уплаты, арестом на 3 месяца») на редактора латышского журнала «Rihts» (выходившего в Риге), А. А. Силина, за помещение в журнале (1914, № 3) статьи «Рабочий как поэт», в которой давалась характеристика Э. Потье, поэта-коммунара, и указывалось на значение его революционных песен, особенно «Интернационала», который, как утверждает автор статьи, знают все сознательные рабочие, хотя он и не напечатан на латышском языке. По мнению лифляндского губернатора Н. А. Звягинцова, наложившего штраф, «в статье этой восхваляется преступная деятельность умершего за границей революционера Евгения Потье»[24].

13 мая 1871 г. А. В. Никитенко сделал в своем дневнике запись о падении Коммуны. «Коммуна перестала существовать,— писал он,— версальцы в Париже. Но бунтовщики успели зажечь его в разных местах, опрокинуть Вандомскую колонну и разрушить дом Тьера. Самое ужасное последствие диких злодейств — это позор, который они наложили на всякое стремление к общественному усовершенствованию и обновлению. Такой оргии самых постыдных и нелепых злодейств — оргии опьяневшего грубого своеволия и разнузданных страстей, под видом любви ко всеобщему благу, свет еще никогда не видал. И если Франция после этого не образумится, не покончит навсегда, или, по крайней мере, на очень долго со своим любимым времяпровождением, то придется согласиться, что она обречена на гибель.— Проклятая Коммуна совсем скомпрометировала дело свободы. Не было и не будет бóльшего торжества деспотизма, как то, которое она ему доставила своими отвратительными оргиями»[25]. Следует иметь в виду: Никитенко отнюдь не принципиальный и махровый реакционер, не бурбон типа Феоктистова; как известно, дневник Никитенко содержит немало очень резких выпадов против самодержавия и бюрократии. В своих осуждениях по адресу Коммуны Никитенко лишь шел по следам своих источников, той информации, с совершенно специфической характеристикой и оценкой всех действий Коммуны, которая пропускалась цензурой и одурманивала ум и воображение русских читателей. Все усилия царской цензуры в данном случае и заключались в том, чтобы привить читателю свою, полицейскую точку зрения на Коммуну, не допустить до читателя ничего такого, что могло бы обрисовать ее с иной, действительной, исторически-правильной стороны. Приведенные выше примеры наглядно это иллюстрируют.

И лишь постепенно, окольными и трудными путями, через подпольную печать, проникала в сознание русского читателя, демократического читателя, правда о Коммуне.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1859 г., № 668.

[2] Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. XVII, СПб. 1903, стр. 195.

[3] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1859 г., № 869.

[4] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1860 г., № 1110.

[5] Главн. управл. по делам печати, журналы совета за 1872 г., № 51, п. 3. Совет Главного управления, впрочем, признал предлагаемую меру слишком серьезной (очевидно, в соотношении с незначительностью объема самого стихотворения П. Дюпона) и ограничился занесением этого факта в «журнал заседаний» «для характеристики направления издания».

[6] Доклад 3 мая 1878 г. СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1878 г., № 3306.

[7] См. передовые статьи Каткова в «Московских Ведомостях», 1871, №№ 51, 87, 102, 104.

[8] И. Сталин, Международный характер Октябрьской революции («Вопросы ленинизма», изд. 10-е, Партиздат ЦК ВКП(б), 1934, стр. 203).

[9] Лев Добровольский, Парижская Коммуна в русских запрещенных изданиях 70-х годов («Книга о книге», т. III. Л. 1932, стр. 279).

[10] См. Главн. управл. по делам печати, 1871 г., д. № 154; СПб. ценз. к-т, 1868 г., д. № 76, т. III; см. также статью Л. Добровольского, стр. 279 и след.

[11] П. Боборыкин, Жюль Валлес и его новый роман [«L'insurgé». — *И. А.*] («Живописное Обозрение», 1882, №№ 43, 45, 48; цит. место № 48, стр. 767). Кстати сказать, в статье этой передаются и личные впечатления от знакомства с Ж. Валлесом и встреч с ним.

[12] Две предыдущие части трилогии «Jacques Vingtras» — «L'enfance» и «Le bachelier» были разрешены иностранной цензурой в 1881 г. Перевод последней части на русский язык, помещенный в 1882 г. в журнале «Наблюдатель», вызвал со стороны цензуры курьезное истолкование. В 1883 г., характеризуя направление этого журнала, совет Главного управления по делам печати отметил, что его «вредная тенденциозность» обнаруживается даже в беллетристике, и в подтверждение указал на роман «Баккалавр», в котором «осуждается классическая система образования и содержится призыв свергнуть современное общество» (Главн. управл. по делам печати, журналы заседаний совета за 1883 г., № 12).

[13] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1886 г., № 4902. На основании доклада Полонского книга была сперва запрещена, но затем,— очевидно ввиду того, что роман прошел незамеченным в журнале, — постановление это было отменено, и в результате получилась не совсем складная окончательная резолюция: «Не запретить, а позволить (пропущено в «Revue Nouvelle»)».

[14] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1886 г., № 1292. Резолюция комитета: «Запретить».

[15] СПб. к-т ценз. иностр., 1886 г., д. № 23. Письмо не имеет обращения, но адресат с достаточной точностью определяется из содержания: оно могло быть направлено только к лицу, руководящему иностранной цензурой, т. е. к А. Н. Майкову.

[16] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1886 г., № 7359. Резолюция комитета: «Запретить».

[17] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1888 г., № 4017. Резолюция комитета: «Запретить».

[18] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1889 г., № 2366. Резолюция комитета: «Запретить».

[19] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1890 г., № 6353. Резолюция комитета: «Запретить».

[20] Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1896 г., № 8445. Резолюция комитета: «Запретить и не выдавать».

[21] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1887 г., №№ 5000 и 5000а. Резолюция комитета: «Запретить обе книги».

[22] Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1907 г., № 6201.

[23] Главн. управл. по делам печати, II отд., д. № 270.

[24] Главн. управл. по делам печати, I отд., 1914 г., д. № 65, л. 9. Постановление датировано 13 марта 1914 г. Чтобы исчерпать имеющийся в нашем распоряжении материал укажем еще на запрещение «Песенника для народа», изданного Рабочей социалистической библиотекой (СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1906 г., № 378).

[25] А. В. Никитенко, Записки и дневник, т. II, СПб. 1905, стр. 430.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Материалы нашей работы позволяют сделать некоторые общие выводы, тем более необходимые, что в отдельных очерках, избегая повторений, мы сознательно уклонялись от нужных обобщений и итогов.

Мы проследили борьбу царской цензуры с французской литературой, в лице ряда крупнейших ее представителей, на протяжении почти полутораста лет. В разное время, применительно к отдельным авторам, борьба эта принимала различные формы, но основа ее всегда была одна: страх дворянско-крепостнической России, страх ее правительственных органов перед революцией, надвигающейся с Запада, из Франции, перед революционизирующими идеями демократизма и атеизма, новой нравственности и морали, которые распространялись французскою философиею и проводником которых, в значительной степени, была французская художественная литература.

Наиболее открыто и откровенно эта борьба проводилась в конце XVIII в., когда царские указы прямо говорили, что «правительство, ныне во Франции существующее, желая распространить безбожные свои правила во все устроенные государства, ищет развращать спокойных обитателей оных сочинениями, наполненными зловредными умствованиями, стараясь те сочинения разными образами рассеивать в обществе»[1] и что «чрез вывозимые из-за границы разные книги наносится разврат веры, гражданского закона и благонравия»[2]. В сущности, это мнение не изменилось и в последующие годы, хотя, вследствие различных общеполитических и случайных обстоятельств, временами вуалировалось и смягчалось. Бывали короткие промежутки, когда этот страх перед «французской заразой» несколько ослабевал,—таковы, например, были двадцатые годы XIX в., годы существования «Священного союза», но затем события снова возбуждали его, снова порождали репрессии и цензурные кары.

Особенно показателен в этом отношении период времени между революциями 1830—1848 гг.: для Николая I даже буржуазная Франция Луи-Филиппа представлялась пределом революционности и разврата, каким-то идеологическим Содомом, из которого не могло исходить ничего положительного, ничего достойного внимания. А. В. Никитенко описывает в дневнике своем беседу с министром народного просвещения Уваровым «о некоторых романах, переведенных с французского». В беседе этой министр «приказал не пропускать» «Церковь божьей матери» Гюго, хотя и «отозвался с великой похвалой об этом произведении». «Министр полагает,—записывал Никитенко,—что нам еще рано читать такие книги, забывая при этом, что Виктора Гюго и без того читают в подлиннике все те, для кого он считает это чтение опасным». А наряду с В. Гюго внимание министра привлекают также и Бальзак, и Поль де Кок, и Шарль Нодье, о которых «он приказал составить для него записку»[3]. Совершенно очевидно, что дело здесь шло не о каких-либо личных антипатиях Уварова и не о стремлении его подчинить всю «словесность», как оригинальную, так и переводную, «требованиям приличия и благопристойности, дабы возвысить и облагородить» ее[4],— вся совокупность указов, «предложений» и постановлений, касающихся иностранной цензуры за время николаевского царствования, отчетливо говорит об упорно и систематически проводившейся работе по изоляции русской литературы, русской общественной мысли от освободительных, прогрессивных и демократических тенденций французской литературы.

Произведения французских авторов раз навсегда объявлялись вместилищем всех и всяческих скверн, рассадником разврата и неверия, для них изобретались особые, наистрожайшие правила. В 1847 г. цензуре предписывалось «обращать впредь ближайшее и строжайшее внимание на представляемые в комитет переводы с иностранных языков, особенно современных французских писателей, коих имена более или менее известны публике, обязав гг. цензоров, чтобы, по окончательном рассмотрении сих

переводов, каждый из них предварительно доводил до сведения председателя цензурного комитета, которому предоставляется или разрешить издание подобного перевода, или представить на рассмотрение министра народного просвещения»[5]. Цензуре «поставляется в обязанность» «рассматривать переводы новейших французских романов с бо́льшею против иных книг строгостию, в отношении к нравственности их содержания, обращая особенное внимание на господствующий дух и намерение авторов»[6]. При этом «нравственность содержания» оказывается сплошь и рядом лишь удобным специальным термином, дающим возможность цензуре выявить в любом произведении, в любой книге «политику», т. е. революционные и вольнодумные («либеральные»—по терминологии того времени) тенденции. Совершенно естественно, что при этом рядом, в одной плоскости, оказывались и Гюго и Поль де Кок, что в романах Александра Дюма усматривались едва ли не революционные тенденции, а повести Жюля Жанена и Э. Сю обвинялись в безнравственном вольнодумстве, наряду с песнями Беранже и романами Жорж Санд.

Этот второй план действий и намерений царской цензуры присутствует почти во всех цензурных документах, в том числе и относящихся к 50—60-м годам, прославленным буржуазно-либеральными историками, как годы относительного «либерализма» цензуры и более строгого соблюдения законности. С примерами подобного «либерализма» и «законности» читатель в изобилии встречался в предыдущем изложении; для каждого отдельного автора, для каждой почти отдельной книги мы пытались установить те конкретно-исторические причины, следствием которых и являлся тот или иной цензурный отзыв. Обобщая эти отдельные, разрозненные замечания, мы можем снова указать на далеко не изжитый страх перед революцией и перед Францией, как ее колыбелью.

Весьма характерен в этом отношении отзыв И. А. Гончарова, знаменитого писателя и умного «либерального» цензора, по поводу русского перевода книги Г. Карлейля «История Французской революции». Книга эта, как известно, написана с резко враждебных революции позиций, отличается, по словам цензора, «блистательным изложением, остроумными сближениями с преобладанием глубокой и ядовитой иронии». И, тем не менее, цензор решительно настаивал на запрещении русского перевода книги. «Все занимающиеся историей и вообще образованные люди,—писал он,—прочтут книгу Карлейля в подлиннике или во французском переводе; в русском же переводе она неминуемо поступит в многочисленный класс полуобразованных и даже вовсе необразованных людей. Спрашивается, что могут извлечь не приготовленные историческим знанием читатели из этой ядовитой сатиры, направленной на слабость и ошибки верховной власти (хотя бы и не у нас; но ведь аналогия есть неизбежное свойство природной логики), на разлад ее с народом? Наконец, какое впечатление должны производить на простые умы яркие картины насилий, восстаний, ниспровержения сильных и богатых, на разлив санкюлотского террора и проч.?—Если всё это не научит простых читателей искусству восстания, к которому, по словам Карлейля, так способна французская натура, то все эти уроки сопоставления бедных с богатыми, эти желчные нападения на правительство не пройдут бесследно и, конечно, не могут не заронить таких идей и соображений, которые принесут во многих русских умах если не опасный, то уродливый плод и, во всяком случае, поведут к путанице или извращению здоровых понятий и добрых чувств русского народа, нуждающегося в другой, более питательной и здоровой умственной пище»[7].

Повторяем, речь идет о книге безусловно враждебной революции, порицающей Людовика XVI за слабость, проявленную им при первых проявлениях «санкюлотизма». И тем не менее, в 1866 г., когда только-только начал испаряться страх перед массовыми революционными потрясениями внутри империи, когда каракозовское дело и последующий белый террор Муравьева обнаружили наличие ряда антиправительственных,

антимонархических подпольных организаций,—самое упоминание о революции, о слабости власти, о народных возмущениях и т. п. представлялось недопустимым. А борясь с революционной заразой, царское правительство и, в первую очередь, царская цензура брали под подозрение всю французскую литературу, усматривая в ней своего рода «бациллоносителя», с которым нужно бороться самыми решительными и активными средствами. Вряд ли нужно подчеркивать, что и Парижская Коммуна немало способствовала оживлению и усилению подобных настроений, тем более живучих и длительных (с ними мы встречаемся, в сущности, вплоть до революции 1905 г.), что внутри страны было налицо широко развернувшееся движение революционного народничества 70-х годов, а позднее—массовое революционное рабочее движение.

Было бы, однако, глубоко ошибочным рисовать взаимоотношения царской цензуры и французской литературы сплошной черной краской, видеть в них один только заранее и наперед данный шаблон. Шаблон этот, действительно, существовал, но состоял из не сведенных в какой-либо кодекс, но легко определяемых из разного рода предписаний и циркуляров, а также из цензурной практики правил о том, что̀ и в какой степени не может быть пропускаемо, что̀ должно быть сочтено подлежащим запрещению и т. д. Знакомство с литературой, таким образом, у цензоров было в подавляющем большинстве случаев чисто казенное, поверхностное, подход их к цензируемым произведениям—сугубо формальный. Поэтому скрытый социальный протест, глубокая критика существующего буржуазно-дворянского строя далеко не всегда доходили до сознания царских цензоров, и, наоборот, острая тематика, хлесткость стиля вызывали репрессии, иногда в полной мере незаслуженные с точки зрения политических интересов самодержавия. «Острая... сатира» Бальзака (Энгельс) почти не вызывала возражений в цензуре, но почти каждое произведение Октава Мирбо наталкивалось на упорные запрещения, на поток всевозможных возражений одно сильнее другого. Подобным же образом несравненно более жестокое противодействие цензуры, чем книги некоторых демократов и коммунаров, вроде П. Дюпона или Ж. Валлеса, вызвали произведения «певца люмпенпролетариата»—Жана Ришпена. «Внешний цинизм» поэта, на который неоднократно жаловались цензоры[8], весьма убедительно соединялся в их представлении с социальным нигилизмом поэта и приводил их к логическим выводам: «Автор... выражает миросозерцание французских босяков и бродяг на вопросы социальные и религиозные. При этом он не стесняется взывать к вражде классов... В своем предисловии автор откровенно сознается, что книга его... не имеет фигового листка»[9]. Перевод стихотворения Ришпена «Песня нищих детей», помещенный в журнале «Наблюдатель» (1883, № 4), признан был «неудобным» в цензурном отношении, как возбуждающий «ненависть против сытых и угрозу поджогом со стороны голодных», и, вместе с другими материалами, послужил основанием для первого предостережения журналу[10].

Перечень разительных несоответствий в общих литературных и исторических оценках писателей с их оценкой в царской цензуре можно было бы значительно увеличить и расширить: вспомним, например, замечания наши об оценках, дававшихся французской литературе николаевской цензурой, и т. д. Царская цензура в течение десятилетий создавала свою собственную историю литературы, далеко не похожую на общеизвестную, отличавшуюся и оценками, и выводами, и характеристиками; с отдельными страницами и даже главами этой истории литературы знакомит настоящая публикация. Раз установившиеся репутации почти не подвергаются в дальнейшем пересмотру, несколько меняется лишь, обновляется, в соответствии с новыми политическими обстоятельствами, фразеология, смысл же ее остается неизменен. Единичные попытки как-то изменить существо установившейся оценки, как правило, остаются безрезультатными; вспомним, например, любопытную и совсем не трафаретную в цензурном смысле оценку творчества Золя в докладе цензора Никольского.

Устанавливая (с отмеченными поправками) наличие особого цензурного трафарета в подходе к литературным явлениям, утверждая существование особой, цензурной точки зрения на литературу, публикуемые нами материалы позволяют ответить еще на один существенный и небезынтересный вопрос—о степени зависимости цензурных мнений и приговоров от общественного мнения, в частности, от литературной критики. A priori следовало бы подозревать теснейшую и непосредственную связь цензуры с верхушкой правящих классов дворянско-помещичьей России и близкую зависимость ее решений от вкусов и настроений последних. Подобный априорный вывод, однако, практически далеко не всегда подсказывается наличным материалом. Как учреждение сугубо полицейско-бюрократическое, царская цензура сплошь да рядом отражала беглые, совершенно случайные настроения разного рода «начальств», допуская отдельные послабления, либо, наоборот, усиливая свою «бдительность» там, где это отнюдь не вызывалось необходимостью.

Небольшой эпизод иллюстрирует это положение. 26 октября 1886 г. начальник Главного управления по делам печати, Е. М. Феоктистов, обратился к А. Н. Майкову со следующим письмом:

«Некий господин Татищев, очень талантливый, перевел драму В. Гюго «Эрнани». Фридберг предложил запретить ее по политическим соображениям — потому что на сцене заговор против короля с целью убить его, потому что у нас по-русски не давали пьесы Гюго и в прежнее время, особенно же это неудобно теперь, когда демократическая партия возвела его в ранг божества. Я колебался и готов был скорее согласиться с Фридбергом, но мне не дают покоя разные ходатайства в пользу Татищева. Даже правительственные лица, вроде Плеве, являются его защитниками. Надо еще раз пересмотреть пиесу, но на свой собственный суд я не вполне полагаюсь. Знаю, что я поступаю бессовестно, уж чересчур бесцеремонно решаясь утруждать вас делом, которое не входит в сферу ваших служебных занятий. Но вы такой добрый и снисходительный человек! Окажите мне, пожалуйста, личную услугу, прочтите прилагаемую пиесу,—прочтите ее без всякой предвзятой мысли и соблаговолите переговорить со мной. Переводчик готов исключить в ней некоторые места, если они окажутся особенно предосудительными. На приговор ваш я положусь как нельзя более, при этом считаю не лишним вас уверить, что решительно никто не узнает, что я обращался к вам»[11].

Вряд ли приходится сомневаться, что, не будь этого письма, не будь ходатайства Плеве, не возьмись за перевод «Эрнани» С. С. Татищев, имевший «связи» человек,— не будь всего этого, перевод был бы попросту запрещен без каких-либо даже серьезных мотивировок.

С другой стороны, те материалы, которые приведены нами выше, например, о Жорж Санд, отчасти о Беранже и о том же Гюго, позволяют утверждать, что особо пристальное специфическое внимание царской цензуры к их произведениям, в значительной степени, поддерживалось и питалось отзывами критики и—шире—тем вниманием, какое они вызывали у современного читателя. Массовость читателя при этом играла далеко не первую, не самую важную роль, особенно при Николае I, когда твердо усвоено было мнение царя, что «и архиереям не всё следует читать», когда цензура со всей внимательностью и строгостью цензировала даже иностранные книги, шедшие в адрес царской фамилии, т. е. в заведомо «благонадежные» руки.

Из всего этого мы можем сделать, наконец, еще один вывод, о котором, впрочем, упоминали уже в наших предварительных замечаниях: о необходимости для историка, для исследователя, привлекающего материал цензуры, рассматривать этот материал в теснейшей связи со всеми сопутствующими ему обстоятельствами, ни в коем случае не брать его самого по себе, изолированно, так как в таком случае он, в сущности, утрачивает всякое значение и даже, как иллюстрация, может только исказить исторический контекст.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год», СПб. 1862, стр. 46.

[2] Там же, стр. 59.

[3] А. В. Никитенко, «Записки и дневник», т. I, СПб. 1905, стр. 240—241.

[4] «Русская Старина», 1903, № 3, стр. 572—573.

[5] «Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год», СПб. 1862, стр. 241.

[6] Там же, стр. 207.

[7] «Голос Минувшего», 1916, № 12, стр. 147—148.

[8] Напр., А. Н. Майков в своем докладе (январь 1877 г.) по поводу книги Ришпена «La chanson des gueux» подчеркивал, что речь должна итти не только об отдельных стихах, им отмеченных, так как «общее направление автора в означенных местах только превзошло границы всякого приличия, оставаясь господствующим тоном в бо́льшей части стихотворений этого автора» (СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1877 г., № 1).

[9] Речь идет о новом издании той же книги «La chanson des gueux» (Paris, 1909); см. доклад цензора А. Плетнева 30 декабря 1909 г. (Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1910 г., № 324).

[10] Главное управление по делам печати, журналы заседания совета за 1883 г., №№ 9, 10, 12.

[11] ИРЛИ, архив Майковых. Цензорский отзыв о переводе Татищева см. выше, в очерке, посвященном В. Гюго.

ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ И ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ФРАНЦУЗСКИЕ МИНИАТЮРЫ ИЗ СЕМИ КОДЕКСОВ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Сообщение О. Добиаш-Рождественской и А. Люблинской

Богатое собрание западных фондов в Рукописном отделении Публичной библиотеки в Ленинграде включает, наряду с ценнейшими древними кодексами V—IX вв. и большим множеством автографов замечательных людей XVI—XIX вв., также интересную коллекцию рукописей с миниатюрами. Бóльшая часть этих рукописей, поражающих подчас роскошью своего убора,—создание французского искусства, творение сперва безыменных художников, работавших в тишине монастырского затвора, затем, с XIII в., цеховых, а в дальнейшем придворных мастеров. Имена их нередко известны и связаны с настоящими перлами французского искусства миниатюры. Если до XIII в. литературные тексты еще редки и художники украшают кодексы, главным образом, богословского содержания, то, начиная с XIII в., когда французский язык начинает решительно преобладать над латинским, наряду с религиозными и историческими текстами (анналы, хроники), предметом особенно тщательного письма и богатого убора становятся именно литературные произведения и преимущественно рыцарские романы на темы античные и современные художнику.

Они представлены в Публичной библиотеке рядом прекрасных кодексов, над иллюстрацией которых потрудились в некоторых случаях первоклассные художники: «Подвиги Юлия Цезаря», многочисленные варианты «Романа о троянской войне», романы Александра де Берне, Жильбера де Монтрейля и др. На миниатюре первой из этих рукописей застывшие на золотом фоне кони и всадники в доспехах скованы еще традициями монастырского искусства, на других же массовые и иные сцены скомпанованы рукой уже иного, несомненно, светского мастера, и действие развертывается на пестрых ковровых фонах, приоткрывающихся на настоящую живую природу: синее небо и синее море, зелень лугов или мрак ночи. В маленьких, но изумительных по блеску красок миниатюрах, иллюстрирующих роман Александра де Берне, запечатлен весь быт феодально-рыцарского мира, живущего своей авантюрной жизнью под масками античных имен. Аллегорические и нравоучительные сюжеты, как, например, «Спор доблести и судьбы» («Le debbat ou estrif de vertu et fortune»), «Любовное гадание» («Jeu d'amour»), или же сатирические: «Роман о Фовеле» («Le roman de Fauvel»), также украшены иногда замечательными миниатюрами, как, например, хорошо известная единственная миниатюра в рукописи «Спора доблести и судьбы» или чрезвычайно живые и выразительные сценки, исполненные далеко не первоклассным художником, изобразившим все огорчения супружеской жизни в кодексе, лукаво озаглавленном «Пятнадцать брачных радостей» («Les quinze joyes de mariage»).

Большинство всех этих рукописей, входивших до последнего десятилетия XVIII в. в состав библиотеки Сен-Жермен де Пре, попало в Россию, в тогдашнюю Императорскую публичную библиотеку, в начале XIX в., как часть коллекции П. П. Дубровского, составившего, за время своего пребывания в Париже в годы Французской революции, любопытное и ценнейшее собрание рукописей и автографов. Отдельные части его коллекции, как, например, древнейшие рукописи, неоднократно подвергались детальному и тщательному исследованию[1]; некоторые из иллюминованных рукописей литературных произведений нашего хранилища дождались своих исследователей, другие еще ждут их. Настоящим кратким сообщением мы попытаемся восполнить этот пробел для нескольких французских миниатюр из числа лучших, подчеркивая, однако, что эти заметки должны рассматриваться лишь, как первые наброски того исчерпывающего описания рукописей с миниатюрами Публичной библиотеки в Ленинграде, которое должно быть осуществлено и постепенно осуществляется силами ее работников.

1. Бестиарий. Bestiarium sive Historia Naturalis, XII в. *(Lat. Q v V N 1)*. Латинский кодекс на пергамене. Со времени исследования А. Гольдшмидта, сделанного по предварительному этюду А. Константиновой, кодексу следует указывать английскую провениенцию[2]. Однако, длительное, судя по французским припискам и следам стертых пометок, хранение кодекса во Франции, его принадлежность французскому владельцу в XVI в. (надпись этой эпохи на листе 90-м: «Hic liber attinet ad Franciscum de la Morliere), а еще более теснейшая политическая и культурная связь северо-западной Франции с Англией, именно в конце XII в., когда Руан был преимущественным местопребыванием английского двора и средоточием англо-нормандских литературных и художественных деятелей,—всё это дает полное основание вводить данный памятник в культурное наследие Франции, в ее английских средневековых связях. Он в этом смысле особенно своеобразно и интересно открывает небольшую нашу серию.

На большинстве страниц кодекса расположены иллюстрирующие текст рисунки, в красках, числом более сотни. Здесь изображены четвероногие, птицы, рыбы, змеи, реальные и фантастические, все—в живом движении, в позах выразительных и естественных, схваченных метким наблюдением и верным рисунком. Воспроизводимые нами изображения лебедя и группы журавлей (см. след. стр.) даны в рукописи на зеленом фоне с золотым углублением, прекрасно оттенены этим фоном в белых и жемчужно-серых красках своих крыльев, рельефны и полны своеобразной жизни.

2. Французский кодекс конца XIII—начала XIV в. *(Fr. Q v XIV N 4)*. Он дает произведение поэта XII в. Александра де Берне «Роман об Атисе и Профилиасе» и составлял некогда одно целое с нынешним кодексом Публичной библиотеки Fr. Q v XIV N 3—«Романом о фиалке» Жильбера де Монтрейля (с его великолепной заглавной миниатюрой, изображающей весеннее состязание певцов). Художественная иллюстрация обоих, ныне разделенных, частей вышла, несомненно, из одной мастерской, украсившей прекрасный готический, с вьющимися по полям виноградными веточками и тонкими золотыми листочками, кодекс 26-ю небольшими, но незаурядного изящества миниатюрами. В них воплощена вся полнота рыцарского быта: сцены охоты, поединки, битвы, игры, праздники и свадьбы, сцены в замке и у его стен, морские пейзажи и эпизоды

ЛЕБЕДЬ

ЖУРАВЛИ

Миниатюры из бестиария XII в.

Публичная библиотека, Ленинград

на дорогах. Воспроизводимая нами миниатюра (см. стр. 865) заимствована из главы, повествующей, «как король Биллас собрал вокруг себя лучших рыцарей для защиты и помощи» («comment le roi Billas fait tous les meilleurs chevaliers tenir entour soy pour le defendre et aider»). Утонченная изысканность французской готической миниатюры лучшей поры и неувядающий блеск чудесных красок нашли отражение в нашей миниатюре, оттеняемой чуть приметным сверканьем золотых поясов, мечей и корон.

3. Часовник. Livre d'Heures, конца XIV в. *(Разнояз. Q v I N 8)*. Небольшой пергаменный кодекс, «разноязычный»: латино-французский, как и большинство этих молитвенных книжек, особенно более поздних, предназначавшихся чаще всего для дам знатных или буржуазных и соответственно более всего украшенных сценами из жизни мадонны. Вошедший в Публичную библиотеку после революции, в 1917 г., из б. коллекции Юсупова, изящный кодекс, повидимому, уже был оценен бывшими владельцами, как драгоценное художественное сокровище, нигде, впрочем, тогда не описанное. Анализ его миниатюр показывает, что если значительная их часть выполнена разными руками, подчас руками учеников и младших мастеров (что обычно так характерно для этого типа книг), то лучшие миниатюры, как и организация целого, принадлежат славному парижскому миниатюристу конца XIV в., Жакмару Эдену (Jacquemart de Hesdin)[3].

4. Знаменитый кодекс поэмы Benoît de St.-More, Le Roman de la guerre de Troye *(Fr. F v XIV, N 3)*, на французском языке, написанный, однако, тем округленным готическим письмом, которое обличает итальянское влияние. Ту же итальянскую, северную (сиенскую?) стихию обнаруживают и его иллюстрации. Они покрывают verso и recto почти всех листов кодекса, давая всего 329 миниатюр. Продуцированные в таком множестве, они, очевидно, не были произведением мастера высокой марки, а принадлежат разным, отчасти ремесленным, рукам. Но в богатстве и жизнерадостном пафосе их сюжетов (сцены на земле и на море, на площадях и в интерьерах, полные движения многочисленные группы), в разнообразии и роскоши красок (более всего тканей: пестрых, полосатых, узорчатых, всегда многоцветных) они обличают жизнь, проникнутую восточными влияниями эпохи после крестовых походов, атмосферу какого-нибудь приморского города, обращенного на левантские пути. Все страницы, как и изображенная на нашей репродукции (см. стр. 867), одеты цветущей рамой, в стиле и красках итальянского Ренессанса, с его резными листьями и золотыми яблоками. Над главной сценой, в нижних этажах пилястров, в открытых окнах показываются группы второстепенных персонажей: нарядных зрительниц, зевак и музыкантов. Главная сцена, как гласит текст, представляет свадьбу Париса и Елены, обручающихся перед Приамом в присутствии многочисленных гостей, под трубные звуки. Сцена дышит весельем Возрождения.

5. Северо-французский (фландрский) кодекс середины XV в. *(Эрм. фр. 88)*. Это—«Большие французские хроники» («Les grandes chroniques de France»), роскошно иллюминованные по заказу Гильома, епископа Туля и аббата монастыря св. Бертена в Сент-Омере. Текст рукописи (441 лист) украшают 90 миниатюр, исполненных, почти несомненно, Симоном Мармионом (Simon Marmion) и его учениками в 1455—1457 гг. Рукопись была выполнена для поднесения Филиппу Доброму, герцогу Бургундскому (1396—1467), пожелавшему иметь виденную

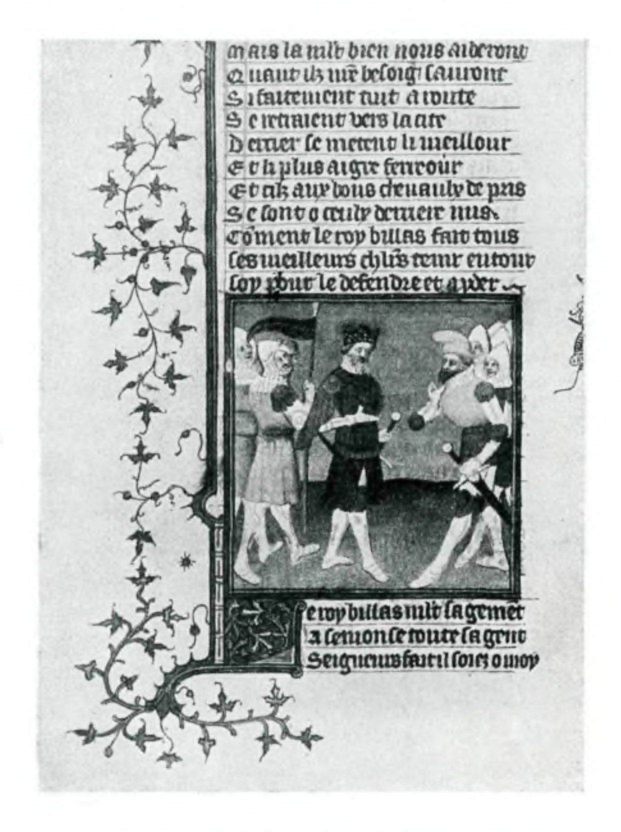
ГИЛЬОМ ФИЛЛАСТР, ЕПИСКОП ТУЛЯ, ПОДНОСИТ РУКОПИСЬ БОЛЬШИХ ФРАНЦУЗСКИХ ХРОНИК ФИЛИППУ ДОБРОМУ, ГЕРЦОГУ БУРГУНДСКОМУ

Миниатюра Симона Мармиона (?) из рукописи „Grandes Chroniques de France“, 1455—1457 гг.

Публичная библиотека, Ленинград

им в Сен-Бертенском аббатстве «Хронику», и до 1223 г. (года смерти Филиппа-Августа) воспроизводит текст «Больших французских хроник», а далее следует за текстом Гильома из Нанжис (Guillaume de Nangis)[4]. Исключительные по художественным достоинствам миниатюры рукописи по манере распадаются на четыре группы; к типу воспроизводимых нами здесь относятся 15 миниатюр.

Первая из них (на первом листе книги) изображает сцену подношения самой рукописи (см. таблицу перед данной стр.): ее держит в руках дари-



КОРОЛЬ БИЛЛАС СОБИРАЕТ СВОИХ РЫЦАРЕЙ

Миниатюра конца XIII—начала XIV вв. из рукописи „Роман об Атисе и Профилиасе" Александра де Берне

Публичная библиотека, Ленинград

тель, Гильом Филатр, бывший в 1449—1460 гг. епископом Туля. Он в роскошном облачении стоит перед герцогом, восседающим на скамье со спинкой. Филипп окружен своими приближенными: по его левую руку—престарелый канцлер Ролен (Nicolas Rolin, 1376—1462), по правую руку, вероятно, Шевро (Jean Chevrot), епископ Турне, стоящий меж двух сыновей герцога—Антуана (старший, батард, род. в 1421 г.) и юного графа Шароле (будущий Карл Смелый, 1433—1477). Оба брата, крайне схожие лицами, носят цепь Золотого Руна.

Вторая воспроизводимая нами миниатюра (27-я по общему счету) украшает лист 120-й «Хроник» (см. табл. перед стр. 785). Справа на ней изображена коронация Карла Великого в церкви св. Петра в Риме. Черты самого императора даны традиционно, окружающие же его лица даны

художником, как портреты его современников. Слева—сцена следующего, 801 г., отнесенная хроникером ошибочно к Венеции вместо Portus Veneris (ныне Portovenere): посланный Карлом к «царю персидскому» еврей Исаак по возвращении подносит, стоя на коленях, обильные подарки, в том числе «олифанта» (слона), Карлу, выходящему из своего дворца с мечом и державой в руке.

Третья из воспроизводимых здесь миниатюр, с листа 154-го рукописи (см. табл. перед стр. 833), посвящена одному из любимейших эпических моментов французской феодальной поэзии, Ронсевальской битве, и композиционно объединяет целый ряд связанных с этой битвой эпизодов похода Карла Великого в Испанию.

Ганелон, посланный за заложниками к «сарацинским царям» Марсилию и Балигану и подкупленный ими, привозит от них Карлу и баронам богатые дары, уверяя императора в их покорности. Эта сцена занимает нижний левый угол миниатюры. Выше изображена решительная схватка франкского арьергарда с «сарацинами». Наверху, в лесу, Роланд заставляет пленного указать ему на Марсилия, нападает на царя (вверху слева) и убивает его. Правее, под деревом, Роланд показан уже мертвым. Внизу справа епископ Турпин служит мессу, во время которой ему явилось видение, изображенное художником на небе справа: бесы влекут сарацин в ад, архангел Михаил[5] несет в рай душу Роланда. Справа же, на втором плане, Карл, слыша рог, хочет вернуться на выручку Роланду, но Ганелон его отговаривает, а выше, на третьем плане,—казнь предателя Ганелона.

6. Французский кодекс XVI в., прекрасного письма с голубыми и красными рубриками *(Fr. F v XIV N 8)*. Это—французский перевод поэм Андрелини и других поэтов эпохи французского Ренессанса. Он предназначен был для поднесения супруге короля Людовика XII, Анне Бретанской. Поэмы облечены в форму писем супругов, разлученных итальянским походом короля. Большинство миниатюр, в соответствии с этим, изображает в различных вариантах все ту же сцену: написания и отправки письма. То король пишет наспех, стоя в палатке, тогда как позади виднеется гонец на коне. То королева, в кругу своих дам, прервав на время письмо, подносит платок к глазам, покрасневшим от слез... Приблизительно такая сцена изображена на нашем снимке (см. стр. 868). Королева, в алом одеянии с золотыми каймами и отворотами, передает гонцу свое письмо. Прочные, яркие краски обличают умелого колориста, концепция и осуществление сцены—хорошего наблюдателя и мастера рисунка и компановки, артиста незаурядного, вопреки всей «сервильности» придворного и галантного вдохновения, проникающего всю совокупность сцен. Это кисть или, во всяком случае, школа Жана Бурдишона (1457—1521)—слуги и мастера королей и более всего королевы Анны, связавшего с ее именем свой незаурядный талант, посвятившего ей ряд произведений своего услужливого мастерства[5].

7. Кодекс «Четырех речей Цицерона» в переводе на французский язык, Etienne le Blanc, Quatre Oraisons de Cicéron traduites en français, 1526—1538 *(Fr. F v XV N 3)*, в изящном французском готическом письме. Поднесенный барону Анну Монморанси с торжественным ему посвящением, кодекс украшен только одной (но исключительного достоинства) миниатюрой (см. т. I наст. изд., табл. перед стр. 1). Кто в музее Шантильи любовался королевскими и сеньеральными портретами

СВАДЬБА ПАРИСА И ЕЛЕНЫ

Миниатюра XIV в. из рукописи поэмы „Роман о троянской войне“ трувера Бенуа де Сент-Мора

Публичная библиотека, Ленинград

КОРОЛЕВА АННА БРЕТАНСКАЯ ВРУЧАЕТ ПИСЬМО ГОНЦУ

Миниатюра Жана Бурдишона (?) XVI в. из рукописи „Поэмы в письмах“

Публичная библиотека, Ленинград

руки Жана Клуэ (портрет Монморанси)[6], тому, глядя на сцену, которая дана на нашем снимке, трудно отделаться от иллюзии, что он находится перед произведением его кисти. Большая столовая (ее стиль знаком всякому посещавшему французские замки эпохи Ренессанса), с украшающею стены золотой и серебряной (может быть, оловянной?) посудой. Сквозь прозрачные решетчатые окна открывается вид на светлый летний пейзаж средней Франции. На переднем плане—барон, в сиреневой бархатной, с золотой вышивкой, cotte и алом, на горностае, им же опушенном, surcôt с буфчатыми рукавами, обратил к зрителю свое лицо, обрамленное по полным и нежно-розовым щекам небольшою бородкой—мода эпохи и любимый облик в портретах художника. Каждый из собеседников, повернувшийся то в профиль, то прямо, различно переживает сцену; нежные краски их лиц, всегда красивых и тонких, подчеркнуты темными бархатными беретами и комбинацией цветов одежды.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Dom Antonio Staerk, Les manuscrits latins du V au XIII siècles... St.-Pétersbourg, 1910. Более старая литература указана у Dobiaš-Roždestvenskaja, Les anciens manuscrits latins de la Bibliothèque Publique de Léningrad, fasc. I, L., 1929; Ее же, Histoire de l'atelier graphique de Corbie de 651 à 830 refletée dans les manuscrits de Léningrad, L., 1934.

[2] A. A. Konstantinowa, Ein englisches Bestiar des XII Jahrh. mit einem Vorwort von Adolf Goldschmidt («Kunstwissenschaftliche Studien», Bd. IV), Berlin, 1929.

[3] R. Lasteyrie, Les miniatures d'André Beauneveu et de Jacquemart de Hesdin, P., 1896 (Monuments Piot, III), 71.

[4] S. Reinach, Un manuscrit de la bibliothèque de Philippe le Bon à St.-Pétersbourg, P., 1904. («Monuments Piot», XI).

[5] Можно сказать, слегка изменяя слова Э. Маля: «Кто перелистает эту рукопись и сравнит ее с Часовником Анны Бретанской, убедится в авторстве Бурдишона или его ученика»; см. этюды E. Mâle в «Gazette des Beaux Arts», XXVII, 1902, 185, и XXXII, 1904, 44.

[6] Crayons français du XVI[e] siècle conservés au musée Condé à Chantilly. Introduction et notices par E. Moreau-Nélaton, P., табл. 146.

«РЕНЬО И ЖАННЕТОН»

РУКОПИСЬ С АКВАРЕЛЯМИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ РЕНЕ АНЖУЙСКОГО

Сообщение В. Шишмарева

I

В докладе, представленном в 1923 г. международному конгрессу библиотекарей и библиофилов, P. Durrieu подробно изложил историю распыления книгохранилища короля Рене («le bon roi René», 1408—1480). Немалое число томов его библиотеки находится в настоящее время далеко от Анжé и Экса и даже вне Франции. Так, несколько томов находятся в Публичной библиотеке в Ленинграде. Говоря о «Реньо и Жаннетон», А. Дюррье и не подозревал, что рукопись этой известной пасторали, часто рассматриваемой, как произведение Рене, была не единственной рукописью из королевского книгохранилища, сохранившейся в большом собрании русской библиотеки. Разыскания, предпринятые за последние годы, позволяют нам утверждать, что там хранится еще ряд других рукописей[1].

Рукопись «Реньо и Жаннетон»—XV века[2]. Она состоит из 37 листов, разм. 26,5×19,5 см. Текст заполняет лишь верхнюю половину страниц, все остальное занято рисунками. Заглавие отсутствует. Надпись, которую мы читаем на л. 1 лиц. ст.: «Les amours de René, roi de Naples et de Sicile»[3], добавлена позднее той же рукой, которой принадлежат два пояснения на последней странице, служащие комментарием к гербам пастушка и пастушки, нарисованным под эксплицитом. Почерк, которым написаны два стиха внизу л. 37 об. ст.:

Icy sont les armes dessoubz ceste couronne
Du bergier dessus dit et de la bergeronne[4]—

тождествен с текстом поэмы. Художник украсил эту страницу последнего листа излюбленными эмблемами короля, изображенными также в других местах текста пасторали: с левой стороны—сухой ствол дерева, с единственной «зеленой веткой», подле которого происходит любовный диалог Реньо с Жаннетон[5]; справа—ветка смородины с красными ягодами, меланхолический символ горьких страданий в жизни. К одной из веток зеленого побега подвешена жаровня, из которой вырываются языки пламени; на одной из веток смородины сидят две горлицы. На первой странице рукописи, кроме имени ее русского владельца, П. Дубровского («Ex Museo Petri Dubrowsky»)[6], помечен № 2337, старый номер, под которым список значился в библиотеке Saint-Germain-des-Prés[7].

Рисунки (числом 74) выразительно комментируют строфы, которые они обрамляют; они исполнены искусною и уверенною рукою, но их композиция не всегда удачна. Некоторые страницы монотонны или малоубеди-

тельны. Слишком часто повторяется мотив стада. Иногда художник чересчур тщательно старается воспроизвести детали текста. Но часто также он умеет ловким приемом передать движение и не лишен чувства природы. Это доказывает поза пастушка и пастушки в момент, когда их спор достигает наивысшего подъема, или сцена молитвы перед часовней перед наступлением ночи.

Пастораль и орнаментирующие ее рисунки охотно приписывали Рене. Наша рукопись, как и многие другие, долго рассматривалась, как подлинное произведение короля. Но критические исследования приучили нас относиться с недоверием к фантастическому образу государя, созданному историками-романтиками, и быть более осторожными в наших гипотезах. Рене владел кистью, но был, главным образом, меценатом; он приближал к себе художников, покровительствовал им, намечал планы работ, давал идеи. Он много трудился над тем, чтобы привить вкус к фламандской живописи и к итальянскому искусству; вместе с Жаном де Берри он был одним из тех, кто больше всего содействовал зарождению во Франции нового искусства. Список картин, приписываемых королю, становится все более и более коротким. К числу апокрифических его произведений принадлежит, между прочим, и рукопись пасторали. Украшающие ее акварели не становятся от этого менее интересными для истории французского искусства XV в., но единственный путь понять и оценить их заключается в их историческом изучении, в сопоставлении их с аналогичными произведениями, исходившими из окружения короля или покровительствуемой им художественной среды. С этой точки зрения я сопоставил бы рукопись нашей поэмы с рукописью трактата о турнирах парижской Национальной библиотеки (ms. fr. 2597)[8]. В обеих замечается известное сходство как в фактуре рисунков, так и в применении красок. Но это лишь простое впечатление, и я не стану на нем настаивать[9].

Решение вопроса об авторе текста довольно затруднительно. Достоверно лишь то, что пастораль написана д л я короля, а не к о р о л е м. Интимный характер этого чувствительного спора, верной картины любовных отношений Рене к его второй жене, Жанне де Лаваль, заставляет нас искать автора среди лиц, наиболее близко связанных с королем. Одна мелкая подробность может послужить здесь некоторым указанием. Поэт—это человек просвещенный, что не позволяет отождествлять его с великим сенешалем анжуйским и провансальским, Луи де Бово (Beauvau), как это предполагали некоторые исследователи. Нам кажется более правдоподобной мысль о Пьере де Ирион (Hurion). Этот, ныне совершенно забытый, человек был одним из фаворитов Рене. Он имел военные заслуги, наряду со званием доктора искусств и баккалавра прав. Его прозвищем был один из девизов короля—«Ardent Désir» (пылкое желание); он, вероятно, помогал своему государю в его литературных работах и жил в Анжé, близ королевского замка, в маленькой башне, окруженной садом, в условиях исключительно благоприятных для занятий. Семья Ирион, как кажется, была родом из Анжé и пользовалась покровительством короля. Рене рекомендовал брата Пьера реймскому архиепископу, брату Жанны де Лаваль, и тот предоставил ему бенефицию. Скульптор Колен де Ирион, принадлежавший к той же семье, работал для Рене[10]. Мы встречаем имя Пьера в инвентарном списке королевской библиотеки (1471 г.), в связи с «малым трактатом» («petit traicté») на пергамене, поднесенном королю Ardent Désir'ом. Не было бы ничего удивительного, если бы в один пре-

красный день удалось установить, что рукопись эта являлась роскошной копией нашей рукописи и была подарена Рене.

В самом деле, существование копии пасторали на пергамене не подлежит сомнению. Montfaucon знает только одну рукопись «Реньо и Жаннетон»—ту, которая находится в Ленинграде[11]. Тем не менее, мы читаем в «Catalogue des mss. de la Bibl. de défunt monsgr. le chancellier Séguier», появившемся в 1686 г., следующие строки[12]:

«а) Les Amours de René Roy de Naples et de Sicile et de Jeanne... de Laval qu'il espousa en seconde nopces, fol., velours, écrit sur parchemin.

б) Amours de René d'Anjou, Roy de Sicile, fol., papier marbré, miniature».

Совершенно те же сведения дает нам и рукописный каталог собрания Сегье, хранящийся в парижской Национальной библиотеке[13]. К сожалению, кажется, эти точные данные не привлекли до сих пор ничьего внимания. Быть может, в один прекрасный день эта драгоценная рукопись, исчезнувшая с XVII в., по счастливой случайности, попадет в руки какого-нибудь любознательного библиофила.

Нашу поэму датируют обычно годами между 1463 и 1470-м. Ученые геральдические исследования L. Germain de Maidy и P. Durrieu[14] дали нам объективный критерий, более достоверный, чем традиционные психологические рассуждения, которыми пользовались раньше. Эти исследователи точно установили, что различные фазы расположения геральдических элементов герба Рене точно отражают последовательные изменения его политического положения. Так, герб, который мы находим на последней странице нашей рукописи, представляет последний вариант герба Рене: гербы Венгрии, древнего Анжу и Иерусалима во главе щита, герцогства Анжу и Бара в оконечности щита и герб Арагона в центре щита (в среднем щитке). Следовательно, наша рукопись не могла быть написана ранее 1466 г.—даты, когда Рене принял предложенную ему каталанцами арагонскую корону и соответственно видоизменил свой герб. Вполне вероятно, что поэма была сочинена в это самое время или немного позднее.

Из библиотеки Сегье единственная известная рукопись пасторали перешла к его внуку, Шарлю де Камбу, герцогу Куален, епископу Метцскому, который подарил ее аббатству Saint-Germain-des-Prés. Во время пожара 19 августа 1794 г. из его знаменитой библиотеки исчезло не мало книг. В эту-то пору наша рукопись была куплена одним из секретарей русского посольства в Париже, Петром Дубровским. Позднее она поступила в библиотеку Эрмитажа, чтобы обогатить затем рукописные фонды Публичной библиотеки в Ленинграде. Здесь она была поверхностно изучена Ж. Бертраном, отметившим ее в своем каталоге, и графом Гектором де Ла Ферьером, приезжавшим в Петербург со специальным библиографическим поручением от французского министерства народного просвещения и упомянувшим о ней в своем докладе в 1863 г. Национальная библиотека в Париже обладает лицевой копией (copie figurée) ленинградской рукописи, исполненной во вкусе эпохи Б. Собольщиковым по просьбе Шамполиона (ms. fr. 12178). По этой копии текст пасторали был воспроизведен в изданиях de Quatrebarbes и du Bos. Новое издание рукописи, имеющее составить часть книги René d'Anjou, Opuscules et pièces attribuées, о которой автор этих строк писал еще в 1929 г. в «Romania», должно появиться в свет в скором времени.

Оцениваемое одними, как «шедевр автора, стоящий выше других его работ», как «самое очаровательное из всех произведений Рене», как «са-

СТРАНИЦА РУКОПИСИ ПОЭМЫ „РЕНЬО И ЖАННЕТОН", ПОСВЯЩЕННОЙ РЕНЕ АНЖУЙСКОМУ, 1466 — 1470 гг.

Рисунок изображает крестьянина на пашне

Публичная библиотека, Ленинград

мый совершенный образец пасторального жанра», а другими, как «небольшая довольно приторная и жеманная поэма», «Реньо и Жаннетон» все же остается произведением характерным для своего времени и для клонившейся в эту эпоху к упадку той социальной группы, к которой принадлежал ее автор.

Считаясь с тем, что ленинградская рукопись остается малоизвестной друзьям литературы старой Франции и что она является драгоценным документом для истории французского искусства, мы надеемся, что сведения, имеющие в виду ближе ознакомить с ней, найдут свое естественное место в сборнике, посвященном франко-русским отношениям—коллективном труде, в котором мы рады принять посильное участие своим небольшим вкладом.

II

Как отмечено уже выше, Публичная библиотека в Ленинграде обладает рядом других рукописей, составлявших некогда часть книгохранилища Рене и представляющих большой интерес даже независимо от их происхождения.

Привлеку внимание исследователей сначала к рукописи Franç. XIV, № 14[15]. Она упомянута в каталоге Montfaucon[16] и, естественно, отмечена в «Cabinet des manuscrits» L. Delisle'я[17]. В библиотеке Saint-Germain-des-Prés она носила № 1794, который еще виден на л. 1 лиц. ст. В каталоге библиотеки Рене, восстановленном Lecoy de La Marche, она, повидимому, не упомянута, если только какой-нибудь том, значащийся, как содержащий описание турнира, не тождественен с нашей поэмой[18]. Эта поэма после краткого описания турнира Пасти Драконовой, дает подробное описание турнира в Сомюре или, точнее, в Лоне[19]. Турниры эти происходили в том же 1446 г.: первый—весной или в начале лета, между Разилье (Rasillé) и Шиноном, второй—в период с 27 июня по 8 августа. Последний был великолепным, экзотическим празднеством[20] и привлек много народу. Сам король принимал в нем деятельное участие. Совершенно естественно, поэтому, что он озаботился сохранить для потомства память об этом турнире. Ги де Лавалю было поручено последить за исполнением картины, изображавшей сомюрский турнир, заказанной Рене четырем художникам, из коих двое принадлежали к школе Яна ван Эйка[21]. Но этого было недостаточно. Литературным дополнением к живописи послужило стихотворное описание события:

Ce qui avint, comme je pourray,
Vueil escripre pour remembrance
Soubz la noble obeissance
De haut prince, plain de vaillance
. . . .
René d'Anjou...

говорит автор поэмы[22]. Миниатюра на первой странице рукописи рисует нам его коленопреклоненным перед Рене и представляющим королю плод своих трудов. Он был духовным лицом, скромным монахом, который во многих местах своего стихотворного описания просит извинить его «безыскусную речь»:

... parler sans exquis langaige,
Rudement pris en ce boucaige,
Solitaire lieu et sauvaige[23].

XXXVI

РАЗВОРОТ РУКОПИСИ ПОЭМЫ „РЕНЬО И ЖАННЕТОН"

Сцена молитвы Реньо у часовни перед наступлением ночи и уход из часовни

Публичная библиотека, Ленинград

А в конце своего повествования он прибавляет:

Je suis presque demy sauvaige,
N'ay congnoissance hors ce boucaige,
Nourry suis en lieu solitaire...[24].

Гербы, нарисованные на л. 1 лиц. ст., несомненно, принадлежат этому непритязательному автору; они напоминают гербы Conilly или Grandin de Mansigny, но до настоящего времени наши разыскания не привели нас к более точным результатам.

Перед нами пропавшая рукопись, об исчезновении которой сожалели все биографы Рене и историки его времени, найденная вновь во французских фондах Публичной библиотеки в Ленинграде. Wulson de la Colombière последним пользовался ею во время работы над своим «Vray théâtre d'honneur et de chevalerie», появившимся в 1648 г. Сличение с нашим текстом отрывков, цитируемых Wulson'ом в его труде, не оставляет никакого сомнения относительно тождественности ленинградской рукописи с той, которую имел под руками этот ученый. Это будет окончательно доказано изданием, которое мы надеемся опубликовать в недалеком будущем.

III

«L'Information des princes» («Осведомление государей»)[25] является переводом латинского трактата неизвестного автора. Имеются две редакции латинского текста; обе переведены на французский язык: вторая—братом Jean Golein (или Goulain), из ордена Notre-Dame du Carmel[26], по заказу Карла V. Этот перевод сделан ранее 1379 г., как это доказывает пометка в конце рукописи парижской Национальной библиотеки (ms. fr. 1960). Он пользовался значительным успехом[27] и был напечатан в начале XVI в.[28].

Наша рукопись воспроизводит второй перевод. Она принадлежала Рене, ибо она украшена гербами короля и Жанны де Лаваль и эмблемами, о которых речь шла выше: две горлицы, связанные золотой цепью, сидят на ветке красной смородины[29]. Место, занимаемое щитком с гербом Арагона, указывает, что наша рукопись попала в королевскую библиотеку или получила свой экслибрис не раньше 1466 г. Она отсутствует в каталоге, сделанном по приказанию Карла IV Анжуйского; но не надо забывать, что часть книг Рене была оставлена в Анжé и, следовательно, не вошла в упомянутый каталог. Другой герб изображает на л. 163 лиц. ст. золотого льва в красном (червленом) полукруге. Этот геральдический символ принадлежит многим семействам, среди которых Лавали де Бретань, Шасаны де Бретань или древние герцоги Гиени могут рассматриваться, как наиболее вероятные владельцы этой книги. Хронологическое соотношение этих двух экслибрисов для меня еще недостаточно ясно.

На этот раз мы опять имеем дело с рукописью, которая принадлежала сперва канцлеру Сегье и герцогу Куалену, а затем попала в библиотеку Saint-Germain-des-Prés, чтобы присоединиться, наконец, в Петербурге к своим старым соседям.

Четыре религиозные баллады занимают два белых листа в начале книги. В этих произведениях, составляющих маленькую сюиту, развивается евангельская идея искупления Христом грехов рода человеческого. Баллады вполне могли бы быть приписаны королю, подобно тому, как это пытались сделать в отношении двустиший о страстях христовых, отмеченных Lacroix du Maine, упоминаемых в 1529 г. Jean'ом Bourdigné и вос-

СТРАНИЦА РУКОПИСИ ПОЭМЫ „РЕНЬО И ЖАННЕТОН“

Рисунок изображает Реньо и спорящих пастуха с пастушкой

Публичная библиотека, Ленинград

произведенных в 1623 г. J. Bruneau de Tartifume, или в отношении рукописи библиотеки в Труа (ms. 763). Но ничто до настоящего времени не позволяет нам утверждать это с полной достоверностью. Мы даже склонны были думать одно время, что имеем дело с автографом; однако, изучение подлинного почерка Рене заставило нас окончательно отбросить эту гипотезу. Вопрос об авторе баллад нашей рукописи обречен оставаться невыясненным до тех пор, пока не будут открыты новые неоспоримые доказательства[30].

Латинская рукопись O. v. XIV, № 8[31], является работой итальянцев. Это сборник[32], содержащий знаменитый «Carmen paschale», два гимна Седулия и поэму Аратора «Деяния апостолов». Книга принадлежала в XV в. Антуану Легрену, возможно, отцу Жан-Батиста Легрена, эпохи Генриха IV и Людовика XIII[33]. Герб Рене, нарисованный на л. 1 лиц. ст., неполон, ибо указывает лишь на кульминационные точки власти их носителя—деталь отнюдь не удивительная в работе иностранца. Этот герб мог принадлежать также и племяннику короля, Карлу IV Анжуйскому (ум. в 1481 г.), или его внуку, сыну Иоланты, Рене II (ум. в 1508 г.). Мы предпочитаем отнести его к Рене I, так как его племянник и внук никогда не были большими любителями литературных произведений. Инвентарный список книгохранилища Рене и Карла Анжуйского показывает, что только девять книг из двухсот принадлежали последнему; о Рене II в этом отношении нет никаких, даже приблизительных, данных.

Ленинградская рукопись дает нам одну деталь, небезынтересную для ее истории. Montfaucon в своем каталоге фонда Куалена отмечает, между прочими, рукопись, озаглавленную «Sedulii de actibus apostolorum»[34]. Впоследствии она пропала из виду, как и многие другие томы того же собрания. Delisle внес ее в список исчезнувших рукописей[35]. Позднее Manitius, привлеченный странным характером подзаголовка, высказал предположение, что мы имеем здесь дело с произведением, имеющим отношение к «Carmen paschale»[36]. Так, вверху текста «Carmen» можно еще разглядеть несколько следов старинного заглавия: «Incipit liber Sedulii de actibus prophetarum et toto Christi Salvatoris cursu». Это то самое заглавие, что дают нам Montfaucon и Delisle. Manitius был прав. Еще раз считавшаяся утерянной рукопись Saint-Germain-des-Prés найдена среди рукописей Публичной библиотеки. Номер библиотеки Saint-Germain отсутствует; он был стерт; но можно еще очень хорошо различить его следы внизу первой страницы, справа, т. е. на его обычном месте.

IV

Герб, подобный тому, который мы видели в предыдущем сборнике, но еще более неполный[37], позволяет присоединить к группе рукописей Рене другую, латинскую рукопись из находящихся в Ленинграде: Lat. O. v. I. № 137, написанную на пергамене, входящую в собрание Сухтелена[38].

На оборотной стороне обложки этого тома значится впоследствии стертый заголовок «Augu tini opus», замененный «Damasceni opus», но в ней нет ничего общего ни со св. Августином, ни со св. Иоанном Дамаскиным.

Это—копия «Prima secundæ Summæ» св. Фомы. По мнению Lecoy de la Marche[39], у Рене было несколько экземпляров «Summae»; но в каталоге его библиотеки Фома Аквинский упоминается лишь один раз, и то лишь в связи с «Catena aurea»[40].

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА РУКОПИСИ ПОЭМЫ „РЕНЬО И ЖАННЕТОН“ С ЭМБЛЕМАМИ И ГЕРБОМ РЕНЕ АНЖУЙСКОГО И ЖАННЫ ДЕ ЛАВАЛЬ

Сверху помета русского владельца рукописи, П. Дубровского, 1790-е гг.

Публичная библиотека, Ленинград

Рукопись F. v. XIV, № 1, написанная на пергамене, имеет № 2372 библиотеки Saint-Germain-des-Prés. Это копия «Filocolo» Боккаччо, прекрасной итальянской работы XV в.[41]. На книгу нанесен герб Рене, составленный по той же системе, что и в копии «Carmen paschale», происходящей также из Италии. Наша рукопись, несомненно, тождественна с «Livre de Jean Bocace», in gallico italicorum (т. е. на народном итальянском языке)—с книгой, которая упоминается в списке книг библиотеки Рене и Карла Анжуйского, составленном вскоре после смерти последнего[42]. Лицевая сторона первого листа позолочена; поля украшены орнаментом. В медальонах, сделанных внизу л. 1 лиц. ст., изображена на маленьком зеленом холмике пальма, ствол которой окружен белой лентой, на которой можно прочитать: Accadera, девиз, не отмеченный среди известных девизов Рене.

Итальянский текст, поскольку можно судить после сличения с флорентийским изданием Moutier[43], правилен и не дает вариантов, достойных быть отмеченными. Сличение с двумя изданиями XVI в., которые мне были доступны в Ленинграде[44], привело меня к аналогичным результатам.

V

Заканчивая свои заметки о рукописях книгохранилища Рене, находящихся в настоящее время в советских библиотеках, я остановлюсь на документе другого порядка, о котором мне не так давно сообщила редакция «Литературного Наследства». Речь идет об одном письме Рене, находящемся в архиве Московского исторического музея (собрание Г. В. Орлова, № 60/15, п. 15/52). Вот его текст:

De par le Roy.

Chers et bien amez. Nous envoyons presentement par devers vous, noz tres chers et feaulx conseillers, le seigneur d'Antravenes, chambellan et grant maistre d'ostel, et messeigneur Anthoine Murri, nostre advocat, et expouser aucuns affaires qui nous surviennent, pour ce que toujours, comme bons et loyaulx subjetz, vous avons trouvez prestz de nous souvenir à noz affaires. Si veuillez à leur rapport adjouster plaine foy et creance en tout ce que vous diront de par nous sur ceste matiere, et vous y employez ainsi que nostre fiance en est en vous. Chers et bien amez, Dieu vous ait en sa sainte garde. Escript en nostre palais d'Aix le XXVII-e jour de mars.

Rene Merlin[45]

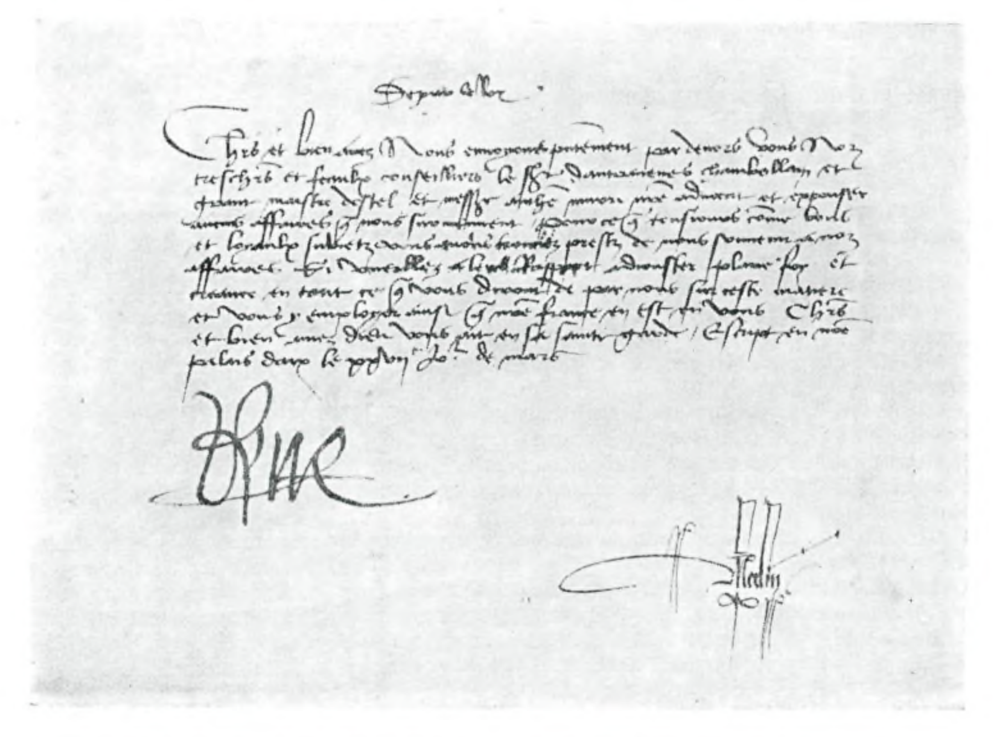
На обороте:

A mes chers et bien amez les sindics de Grasse

Имя сеньора д'Антравена очень часто встречается в письмах и других королевских документах. Онорà де Берр, сир д'Антравен[46], был последовательно оруженосцем Рене[47], кравчим[48], камергером, великим дворецким, советником и послом. Он перешел позднее на службу к Людовику XI и Карлу VIII, которые называли его камергером и послом. Его имя мы находим в опубликованных Arnauld d'Agnel документах, начиная с 1448 г. до смерти Рене[49]. Но между 1478 и 1479 гг. он играл особо важную роль, и на него возлагались деликатные поручения[50]. Антуан Мюрри был менее блестящей фигурой, но Рене его очень ценил и охотно доверял ему сложные и ответственные дела. Он фигурирует, как стряпчий[51], стряпчий короля[52], стряпчий Прованса[53], либо стряпчий по налоговым делам[54], в целой серии отчетов, опубликованных Arnauld d'Agnel, особенно в 1478 и 1479 гг.

Мерлен был секретарем Рене[55]. Им подписаны три документа в сборнике Lecoy de la Marche; два из них датированы 1477 г., третий—1479 г.

В связи с этими хронологическими данными, дату нашего письма нужно искать между 1477 и 1479 гг. или, точнее, между 1478 и 1479 гг. Письмо было написано 27 марта в Эксе. Итинерарий Рене, установленный Lecoy de la Marche, не противоречит ни одной из этих дат. Что касается города Грасса (Приморские Альпы), то он дважды упоминается в документах королевского дома. 1 августа 1478 г. курьер Эстев получает 5 флоринов 6 грошей «за свое путешествие в Кадераш[56] к господину д'Антравен, затем в Лорег к адвокату Мюрри, а оттуда в Фрежюс и в Грасс,



ПИСЬМО РЕНЕ АНЖУЙСКОГО ОТ 27 МАРТА 1479 г. С ЕГО СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ
Внизу подпись королевского секретаря Мерлена
Исторический музей, Москва

чтобы доставить письма короля различным частным лицам»[57]. Этот счет представляет интерес в том отношении, что в нем объединены имена сеньора д'Антравена и Антуана Мюрри. Но затруднительно согласовать дату 1 августа с датой нашего письма. С другой стороны, документ этот нисколько не дает оснований предполагать, что курьер Эстев был послан за этими двумя лицами с тем, чтобы они затем отправились в Грасс для обсуждения важного вопроса с синдиками этого города. Напротив, вполне возможно, что Рене вызывал своих советников в Экс, потому что они ему были нужны там по неотложному делу.

Второй документ—от 1479 г. Некто, именуемый Анри, курьер из Тараскона, получает некоторую сумму «за путешествие, которое он предпринял... в Грасс... к монсиньору д'Антравен, чтобы отвезти ему письма короля по делу о займе»[58]. Этот приказ об уплате датирован 7 апреля.

Наше письмо вполне согласуется со всеми основными данными этого счета. А. Мюрри в нем не упомянут, но это нисколько не мешает сблизить эти два документа. В самом деле, если предположить, что сеньор д'Антравен был главой делегации и получал, как таковой, королевские письма, то нет ничего удивительного в том, что А. Мюрри не был назван в счете. Если это так, то документ указывает нам не только точные даты письма, но также цель поездки Онорà де Берра в Грасс: это были переговоры по поводу займа. Не позволяет ли и содержание нашего письма предположить этот мотив? И похвалы, расточаемые Рене своим верным синдикам Грасса, «prestz de souvenir», т. е. готовым помочь в нужде своему государю,—не являются ли эти похвалы заблаговременным предупреждением и довольно прозрачным намеком на предмет переговоров, которые сеньор де Берр уполномочен был вести с ними от имени короля? Следовательно, наше письмо относится, безусловно, к 27 марта 1479 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. мою статью в «Analecta medii ævi», сборнике Публичной библиотеки в Ленинграде, Л., 1927, II, 143—192. Ср. также «Romania», LIII, 603.

[2] Шифр ее в настоящее время: Français, Q, XIV, n° 1.

[3] «Любовная история Рене, короля Неаполя и Сицилии».

[4] «Здесь, под этой короной, изображены гербы вышеупомянутых пастушка и пастушки».

[5] L. Germain, La souche et l'orange, emblèmes du roi René, Caen, 1896.—«Bull. monumental», 1896.

[6] Повторено также на последней странице.

[7] L. Delisle, Cabinet des manuscrits, II, 58.

[8] Одна из ее миниатюр воспроизведена у André Michel, Histoire de l'art, P., 1911, IV/2, 7—13. Те же миниатюры в рукописи ms. fr. 2692—96 парижской Национальной библиотеки.

[9] P. Durrieu сближает рисунки пасторали с рисунками известной рукописи «Livre du cuer d'amours espris» в венской Нац. библиотеке и приписывает их Barthélemy de Clers (см. A. Michel, l. c.). Но даже поверхностное рассмотрение делает это сопоставление маловероятным. Что касается венских миниатюр, см. о них: «René d'Anjou, Livre du cuer d'amours espris». Manuscrit à enluminures publ. et commenté par O. Smital et E. Winkler, Vienne, 1927, Edit. de l'imprimerie de l'état autrichien.

[10] A. Lecoy de La Marche, Le roi René, P., 1875, II, 175, 190; C. Port, Dictionnaire de Maine-et-Loire (под словом Hurion); A. Lecoy de La Marche, Extraits des comptes et mémoriaux du roi René pour servir à l'histoire des arts au XV^e s.—«Docum. hist. p.p. la Soc. de l'Ec. des Chartes», P., 1873, №№ 169, 170 и стр. 262.

[11] Montfaucon, Bibl. bibl. mss., II (1739), 1109, № 789. Ср. Migne, Dictionnaire des manuscrits, I, 971.

[12] «Inventaire des miniatures», 20 (цитирую по экземпляру Публ. библ. 16, 71, 9, 20).

[13] Lat. 11878, f. 104, №№ 219, 221.—Те же строки в копии, составляющей часть того же досье, f. 145 v°—146 r°.

[14] См. мою статью в «Romania», LV, 236.

[15] На бумаге разм. 27×36 см., в две колонны; 91 миниатюра, 3952 стиха.

[16] II, 1108, № 749.

[17] II, 58.

[18] Lecoy de La Marche видит в этом, скорее, намек на «Livre des tournois de René».

[19] В одном льё от Сомюра, на правом берегу Луары.

[20] Карлик, который фигурировал на нем, был, вероятно, знаменитый Трибуле (Triboulet), упоминаемый в счете от 4 августа 1447 г. См. Lecoy de La Marche, Extraits des comptes, № 743.

[21] Ibid., № 467—479.

[22] Л. 31 об. ст.—«То, что̀ произошло, я запишу, как смогу, на память, повинуясь благородному приказанию великого государя, доблестного... Рене д'Анжу...»

[23] «... грубую, усвоенную в этой лесной глуши, в уединенном, диком месте».

[24] «Я почти наполовину дикарь, я не знаю ничего за пределами этой лесной глуши, я взращен в уединенном месте».

[25] Franç., III, F. v. № 2. Рукопись приблизительно 1400 г., на пергамене; листы разм. 23×32 см исписаны в две колонны. Миниатюры, числом 15, сделаны тщательно, но не блещут художественными качествами.

[26] См. стр. 1 в ms. fr. 1960 Национальной библиотеки в Париже.

[27] L. Delisle, l'Histoire littéraire de la France, XXXI, 25 сл. К списку Делиля нужно добавить рукопись № 21 библиотеки в Бове.

[28] В 1517 г. Гийомом Эсташем, который приписывает трактат «Ægidius Romanus» Жилю из Рима (Gilles de Rome), автору «De regimine principum», известного во французской литературе под титулом «Du gouvernement des rois et des princes».—См. Brunet, Manuel, I, 58; «Hist. litt. de la Fr.», XXX, 537, 517—539.

[29] См. л. 10 об. ст.

[30] См. цитируемые выше «Analecta medii ævi», 172 сл.; текст приведен там же, 174—177.

[31] 5. 2. 97 бывш. библиотеки Эрмитажа. Ср. F. Gille, Musée de l'Ermitage impérial, St.-Pétersbourg, 1860, 68—69.

[32] Из 99 листов, разм. 14,5×21,5 см.

[33] См. Moréri, Dictionnaire, под словом Grain. На обороте обложки рукописи мы читаем также № 890 и подпись Антуана Легрена.

[34] Montfaucon, II, 1089, № 203.

[35] Delisle, Cat. des mss., II, 56, № 1456.

[36] Manitius, Gesch. d. lat. Lit. im Mittelalter, I, 317.

[37] Только Арагон и Иерусалим на четырехчастном щите.

[38] 5.2.24 библиотеки Эрмитажа. 228 листов, разм. 30×25 см.

[39] Lecoy de La Marche, Le roi René, II, 186.

[40] Ibid., 185.

[41] 212 листов разм. 21×31 см, с красивыми орнаментированными буквами, в одну из которых заключен небольшой портрет автора.

[42] Lecoy de La Marche, Le roi René, II, 189.

[43] Opere volgari di G. B., 1827—1834, VII, VIII.

[44] «Il Philocopo di messer Gio. Boccaccio in fine falsamente detto il Philocolo diligentemente da messer Tizzone Gaetano di Posi revista, Venegia, per Bernardino di Bindoni, Milanese», 1538 (Публ. библ. 6. 17. 7. 75) и «Il Filocolo», Firenze, F. Giunti, 1594 (Публ. библ. 6. 17. 5. 63).

[45] *Перевод:*

От короля

Дорогие и любимые, посылаем к вам ныне наших дражайших и верных советников, сеньора д'Антравен, камергера и великого дворецкого, и монсеньора Антуана Мюрри, нашего стряпчего, для изложения некоторых касающихся нас дел, дабы мы всегда могли найти вас, как добрых и верных подданных, готовыми помочь нам в нуждах наших. Относитесь с полной верой и доверием ко всему, что они вам скажут от нашего имени по этому делу, и поступите согласно тому доверию, какое мы питаем к вам. Дорогие и любимые, да хранит вас господь бог.

Писано во дворце нашем в Эксе, марта в XXVII день.

Рене

Мерлен

На обороте: Моим дорогим и любезным друзьям, синдикам Грасса

[46] Entrevennes—коммуна кантона Mées, окр. Digne (Нижн. Альпы), между Дюрансой и одним из ее притоков.

[47] G. Arnauld d'Agnel, Les comptes du roi René, P., 1908—9—10, № 3975 (6/III 1451).

[48] Ibid., № 3994 (10/VIII 1451).

[49] Ibid., I, 272—273 и №№ 3916 (3/I 1480), 2107 (10/I 1480).

[50] Он упоминается в пяти счетах (опубл. Arnauld d'Agnel) от 1477 г., в семи счетах от 1478 г. и в семнадцати от 1479 г.

[51] Arnauld d'Agnel, op. cit., № 3072 (1478), 4651 (1479).

[52] Ibid., № 3000 (1473).

[53] Ibid., № 3107 (1479).

[54] Ibid., №№ 151 (1479), 3055 (1478).

[55] Lecoy de La Marche, Le roi René, I, 496. Ср. «Extraits des comptes», №№ 200 (1479), 327 (1477), 486 (1477).

[56] Округ Экс (Aix), кантон Пейроль.

[57] Arnauld d'Agnel, op. cit., № 3072.

[58] Ibid., № 3802.

«РОМАН РОЗЫ»

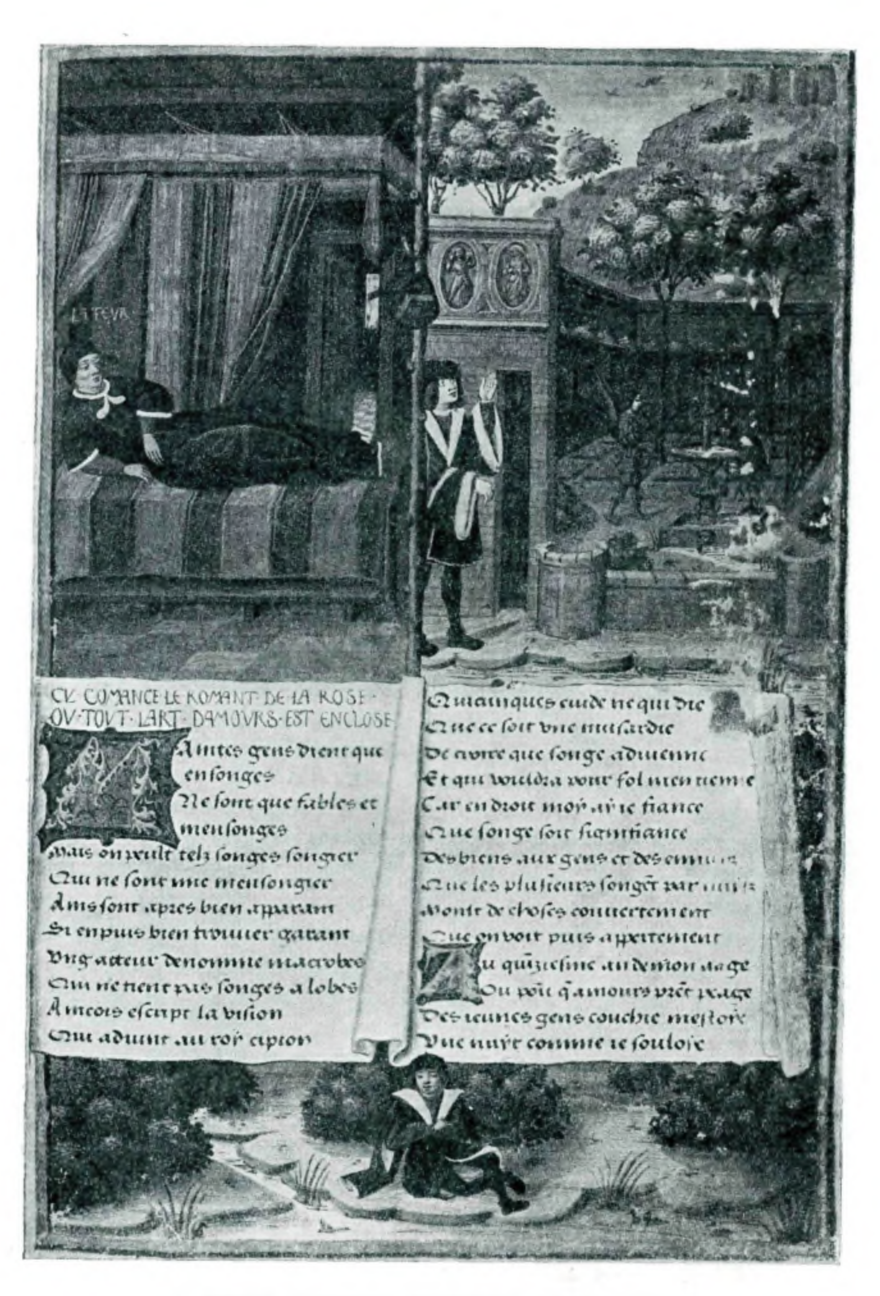
РУКОПИСЬ С МИНИАТЮРАМИ ИЗ СОБРАНИЯ ЭРМИТАЖА

Сообщение Т. Каменской

Рукопись «Roman de la Rose» принадлежит к новым, послереволюционным приобретениям Эрмитажа. Происходя из известного собрания А. А. Половцева, манускрипт поступил в 1905 г. от его прежнего владельца в Библиотеку Штиглица. С присоединением последней к Эрмитажу в 1923 г. и рукопись «Романа Розы» получила свое новое местопребывание. Никаких сведений о ней ни в специальной литературе о «Розе», ни в общих исследованиях о миниатюре, насколько нам известно, не существует. E. Langlois не упоминает Штиглицевского кодекса в своем капитальном труде «Les manuscrits du Roman de la Rose» (Paris, 1910); не был осведомлен о ее существовании и Alfred Kuhn, исследователь иллюстративного материала «Романа Розы» (Jahrb. d. Kunsthistor. Samml. des Allerh. Kaiserh., 1912, Bd. XXXI, Hf. 1.); наконец, P. Durrieu, делегат конгресса ассоциаций академий в Петербурге в 1911 г., посетивший, между прочим, и Библиотеку Штиглица, не отразил ни в печати, ни в докладах в Académie des Inscriptions et Belles-Lettres своего знакомства с материалом этого хранилища[1].

Между тем, публикуемый в настоящем сборнике манускрипт представляет высокий интерес не только, как один из новых, не известных еще экземпляров знаменитого памятника западно-европейской литературы. Высокое качество миниатюр, их богатство, свежесть и нарядность всего оформления дают все основания отнести его к числу роскошных рукописей «Романа». И если до настоящего времени отмечено было в литературе всего лишь два манускрипта с количеством иллюстраций, превышающим цифру 100, то к ним следует присоединить теперь и рукопись Эрмитажа, украшенную 106 миниатюрами[2].

Рукопись Библиотеки Штиглица—№ 14045, французской работы начала XVI в.—исполнена на пергаменте, на 171 ненумерованном листе; размер 21,7×15,2 см, текст в 2 столбца, по 36 строк каждый. Переплет XVI в., черной кожи, с тисненым золотом заглавным стихом рукописи на лицевой и задней сторонах. Содержит 5 больших и 101 маленькую миниатюру. Последние равны ширине столбца текста (5,5×5,5 см и 6,5×5,5 см) и размещены, как правило, по одной на странице. Миниатюры исполнены гуашью, сквозь которую в местах ее менее густого наложения просвечивают линии первоначального графления для письма. Надписи крупными золотыми буквами обозначают обычно действующих лиц. Орнамент страницы расположен по ее внешней стороне и представляет чередование реалистических мотивов—цветов, ягод, птиц—с чисто орнаментальными украшениями, которые развиваются на основе геометрических форм. Два герба помещены на нижнем поле страниц с миниатюрами «Сада Амура».



1. ПЕРВАЯ СТРАНИЦА РУКОПИСИ „РОМАН РОЗЫ“

Миниатюра французской работы начала XVI в.

Эрмитаж, Ленинград

На первом гербе—в красном щите золотое стропило и три серебряные розы, две вверху, одна внизу (см. таб. перед стр. 737). На втором—в черном щите, наподобие стропила, две кости и три черепа, вместо роз. Три скелета составляют окружение первого герба; на развевающейся вокруг них бандероли девиз: «La ou je doy»[3]. Два путти (см. табл. перед стр. 897) поддерживают второй герб. Их девиз гласит: «Timor mortis conturbat me»[4]. Согласно авторитетному разъяснению проф. В. К. Лукомского, вышеописанным гербом с тремя розами пользовалось девять французских родов. Установить, однако, принадлежность герба настоящей рукописи какой-либо определенной фамилии представляется затруднительным. Сочетание же его с другим, геральдически скомпанованным, но чисто фантастическим гербом заставляет предполагать, что и первое изображение использовано миниатюристом в качестве чисто декоративного элемента. Также оказалось невозможным идентифицировать девизы. Тем самым вопрос о владельце рукописи или о ее заказчике остался открытым.

Начало рукописи:

Cy cōmance le Romant de la Rose
Ou tout l'art d'amours est enclose.

Конец:

Cest fin du Romant de la Rose
Ou tout l'art d'amo(r)s est enclose[5].

Ни в коей мере не ставя себе задачей изучение текста данного экземпляра «Романа», которое потребовало бы компетенции соответственного специалиста, отметим в нем лишь одно отступление от общепринятого текста стиха, имеющего важное автобиографическое значение. Автор первой части «Романа», Гийом де Лоррис (Guillaume de Lorris), начал свою поэму около 1230 г., на 20-м году жизни—«Où v i n t i e s m e an de mon aage»[6] (цитируем по изд. Marteau, Orléans, 1878, I, 4). В рукописи же Эрмитажа читаем: «Au q u i n z i e s m e an de mon aage»[7] (см. рис. 1, 2-й абзац). Едва ли в этом разночтении следует усматривать сознательное искажение текста,—причина лежит, по всей вероятности, в простой рассеянности копииста. По своему объему текст эрмитажного экземпляра «Романа», несмотря на некоторые сокращения по сравнению с изданием Marteau, может быть признан полным[8].

В интересах понимания иллюстративной стороны публикуемой рукописи в дальнейшем изложении, необходимо дать хотя бы краткое представление о самой поэме, когда-то столь знаменитой.

«Роман Розы» относится к литературе буржуазно-сатирической. По своей исключительной популярности и по длительному влиянию на последующую европейскую литературу он является главным памятником светской аллегорической поэзии на исходе средневековья. Поэма принадлежит перу двух авторов, творчество которых разделено промежутком в 40 лет от 1230 до 1270 гг., и делится на две неравные части (из 22 603 стихов в изд. Marteau 4 282 стиха приходится на первую часть)—с единой фабулой, но с различным идейным содержанием.

Первая часть создана вдохновением подлинного поэта, которого Петрарка причислял к лучшим певцам любви в своем «Trionfo d'Amore», и представляет идиллию «учтивой любви», процветавшую на протяжении полутораста лет в феодальном обществе. Гийом де Лоррис, прибегнув к широко распространенной форме сновидения, строит свою фабулу на оли-

2. ПОРОКИ: ПРЕДАТЕЛЬСТВО, НИЗОСТЬ, АЛЧНОСТЬ

Миниатюры французской работы начала XVI в. из рукописи „Роман Розы"

Эрмитаж, Ленинград

цетворении отвлеченных понятий. Любовь, Разум, Ревность, Опасность, Страх, Стыд и др. являются теми действующими лицами, которые помогают герою «Романа» или препятствуют ему добиться обладания Розой— олицетворением его возлюбленной.

Тематика совершенно меняется под пером следующего автора, Жана де Мёна, Клопинеля (Jean de Meung, Clopinel). Вторая часть поэмы, выросшая на почве крепнущего среди буржуазии недовольства феодальным режимом, превращается в орудие жесточайшей критики всех общественных и классовых отношений средних веков. Идея частной собственности, теория божественного происхождения королевской власти, прерогатива дворянства, алчность и лицемерие монашества, рыцарское обожание женщины встречают в авторе непримиримую оппозицию. Если он во многом парафразирует идеи Боэция и Аллана Лильского, классиков и греческих философов (см. E. Langlois, Origines et sources du Roman de la Rose, Paris, 1891), то страстность его убеждений, независимость и радикальность взглядов, энциклопедичность эрудиции и, наконец, избранная им доступная поэтическая форма изложения создали поэме огромную популярность. Ее распевали менестрели, ее размножали в бесчисленных копиях, расхватывали в позднейших печатных изданиях. «Роман» породил в последующей литературе ожесточенную полемику. Через 130 лет после создания второй части Христина Пизанская горячо выступала в защиту осмеянных здесь галантной любви и поклонения женщине, а знаменитый канцлер Парижского университета Gerson, издавший целый обвинительный трактат против поэмы, призывал с церковной кафедры к осуждению этой опасной книги[9]. Ею зачитывался Ронсар, Клеман Маро в темнице подновлял ее устаревший французский язык для переиздания в 1526 г. Жана де Мёна называют Рабле XIII в.; в лице монаха-лицемера, Faux-Semblant, усматривают прообраз мольеровского Тартюфа. Взгляды автора на естественные права природы предвосхитили идеи Руссо; в утверждении суверенитета народа он был радикальнее французских энциклопедистов[10].

Исключительное обилие манускриптов «Романа Розы» является единственным в истории светской рукописной книги[11]. Различные круги читателей обусловили и их различные типы. Часть рукописей ограничивается текстом поэмы и не имеет иллюстраций. В других, украшенных миниатюрами, число их, в зависимости от цены, вкуса и спроса заказчика, колеблется от единичных иллюстраций до нескольких десятков, превышая сотню в виде исключения.

Родиной иллюстрированных манускриптов «Романа» является север Франции; самые ранние из них относятся к 1270 г. С первой четверти XIV в. производство сосредоточивается в Париже, где многочисленные ателье с коренными и теми же северо-французскими мастерами развивают массовую продукцию «Романов Розы». Иллюстрация тотчас замыкается в строго установленный круг сюжетов, которые переходят из одной мастерской в другую, от одного «historieur» к следующему и держатся без каких-либо существенных изменений. Ко второй половине XV в. относится исполнение большинства роскошных экземпляров. Первоначально иллюстрация ограничивается первой частью «Романа». Но постепенно миниатюра завоевывает и остальные страницы, черпая в энциклопедичности второй части свежие материалы для живописного воплощения.

3. ПОСТРОЙКА КРЕПОСТИ

4. ОСАДА КРЕПОСТИ

Цикл сюжетов рукописи собрания Эрмитажа отличается большой полнотой[12]. Однако, от ее иллюминатора трудно было бы ожидать особой оригинальности в выборе сюжетов. Выработанный на протяжении столетий стандарт сковывал его инициативу и мог дать свободу его творчеству преимущественно в новой интерпретации старой темы. В таком плане он и проявляет себя в миниатюре заглавной страницы манускрипта Эрмитажа.

В истории иллюминирования «Романа Розы» миниатюрам первой страницы придается особое значение. Состав их изображений дал A. Kuhn'у материал для выработки специальной классификации типов рукописей с объединением их в 6 группировок. Вследствие этого анализу первой страницы рукописи Эрмитажа следует уделить особое внимание (рис. 1). Интерес ее повышается тем, что ни в один из шести рядов Kuhn'a ее спецификум не укладывается. Синтезируя отдельные мотивы различных группировок, она, вместе с тем, не лишена оригинальности. Миниатюра занимает более половины страницы и делится на две части, по примеру многих предыдущих. Слева на ложе представлено, однако, не традиционное изображение погруженного в сон героя «Романа», но фигура полулежащего автора («Lateur») с задумчивым, вдаль устремленным взором, как бы обдумывающим свое произведение. В правой части миниатюры художник подводит нас непосредственно к ближайшим эпизодам текста. Юноша покидает дом, выходит на прогулку и в изумлении останавливается перед изображением на стене сада любви страшных существ—Ненависти, Зависти, Жадности, Нищеты и др. (рис. 2). Мотив этот не нов, но высокая стена обычно скрывает от зрителя фруктовый сад, в котором цветут роскошные розы. Художник рукописи Эрмитажа проявил известную находчивость, снизив первый план и открыв вид в обетованное место мечтаний Поклонника Розы—в Сад Амура. Облеченный в золотые доспехи, с крыльями и с короной на голове, прогуливается в своих владениях Амур («Dieu d'Amour»)[13]; над фонтаном, в котором некогда погиб самовлюбленный Нарцисс, склонился юный Герой, прикованный отражением дивной Розы, к которой он тотчас же возгорелся безумною любовью. Прогулка юноши по берегу прозрачного ручья выделена художником из цепи повествования, для чего им удачно использована узкая полоса пергамента ниже рукописного текста. На первой странице дается, таким образом, новая композиционная схема и отражается, вместе с тем, завершение той эволюции от символа к реализму, от условных сочетаний к иллюстрированию текста, которая намечается с середины XIV в. в ходе ее иллюминирования.

Но в другом плане изучаемый лист не выдерживает сравнения с начальными, обычно лучшими, страницами кодексов. Он пасует как перед роскошью заглавной страницы «Романа Розы» Британского музея, Harley № 4425, так и перед отличными листами парижской Национальной библиотеки, № 19153, и Венской библиотеки, № 2568[14]. Качественное первенство в эрмитажной рукописи перешло на другие страницы. Развернутая на двух сторонах листа картина красочного праздника перед затейливым дворцом Амура (см. табл. перед стр. 737 и 897) не только является самой нарядной миниатюрой манускрипта Эрмитажа, но не уступит лучшим иллюстрациям поэмы вообще. В упомянутой рукописи Британского музея, Harley № 4425, танец, La karole, значительно бледнее эрмитажного как по замыслу, так и по выполнению (см. изд. British Museum. Reproductions from illuminated Manuscripts, London, 1910, 2 edit., series III, pl. XLVII).

5. ГОНЦЫ АМУРА У ВЕНЕРЫ

6. СЦЕНА БИТВЫ

7. ПОЦЕЛУЙ АМУРА

8. ИЗГНАНИЕ ВЛЮБЛЕННОГО ИЗ САДА

В детально проработанном сценарии художник близко придерживался изложения поэмы. Вежливость (Dame Courtoisie) вводит ослепленного зрелищем юношу в круг танцующих (см. табл. перед стр. 737). Амур (Dieu d'Amour) в центре круга, Красота (Dame Beauté), одетая проще всех—зачем ей роскошный наряд?—и Веселье (Dame Liesse), неутомимая певица, плавно движутся в «karole», увлекаемые прекрасным рыцарем Удовольствием (Déduit). Нежный Взор (Doux Regard), верный оруженосец бога любви, бережно хранит колчан и стрелы своего властелина. Не забыты и музыканты—один с шалюмо, другой с барабаном и нераздельным с ним галубе[15]. Утомленное танцем, избранное общество (к нему нет доступа изображенным на наружной стене Порокам и Страшным существам), разделившись на пары, предается отдыху под председательством Амура и Красоты, возле беседки с инициалами Розы (см. табл. перед стр. 897). Вводятся новые участники веселья—Богатство (Dame Richesse), дама не первой молодости, в сопровождении почтительного пажа из ее свиты, которая состоит из льстецов, завистников и предателей, и Щедрость (Dame Largesse), к которой безудержно стремятся все, так как из рук ее вечно льется золото. Откровенность (Franchise) и легкомысленная, беспечная Юность (Jeunesse) дополняют приглашенных.

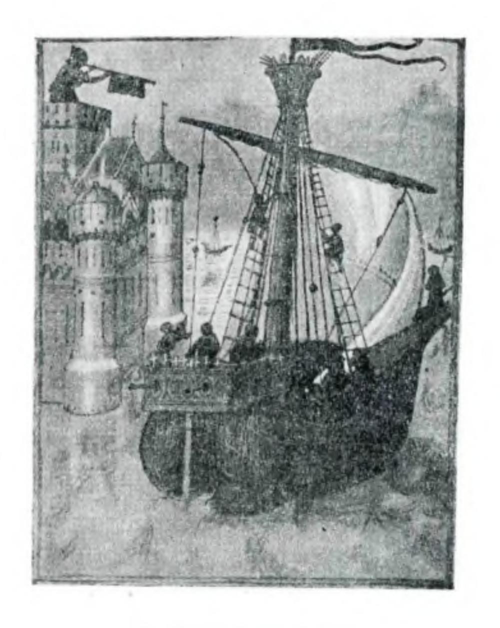
Здесь выведены на сцену воплощенные в реальный образ аллегорические персонажи первой части поэмы, участники, с одной стороны, ее романтической интриги, с другой — ее красочного типажа. В композиции «Сада Амура» художник проявил большое мастерство группировки и четкость структуры, а сложный архитектурный фон дал ему возможность показать свободное владение перспективой. Но особенно хороша сочная красочность ансамбля в бархатистых тонах синего, красного, желтого, зеленого, которая гармонично сочетается с заглушенным колоритом розовых, палевых и голубых цветов архитектурного фона. В остальных миниатюрах кодекса мастер держится на той же качественной высоте, и не ею определен был выбор дальнейших воспроизведений для настоящей статьи.

В следующей крупной миниатюре действие перенесено из идиллического обиталища бога любви в среду действительной жизни. Центром изображения становится возведение крепостной стены со всеми этапами строительных работ: подвозка на тачках камня, обтесывание его каменщиками, кладка его при помощи измерительного прибора и др. (рис. 3). Стоящая слева в образе надсмотрщика Ревность (Jalousie) созвала каменщиков и землекопов строить для защиты Розы неприступную крепость вокруг башни с заключенным в нее Приветом. В четырех угловых башнях гарнизон назначается из Злословия, Опасности, Страха и Стыда—тех сил, которые неизменно противодействуют Герою и стоят на страже девственности его возлюбленной.

Третья большая миниатюра, в конце второй части, подводит к близящейся развязке «Романа» (рис. 4). Защитники осажденной крепости дружно сбрасывают камни и мечут копья в довольно инертную группу баронов Амура. Больше движения в фигурах воинов, приступом берущих башню, и воина-Безопасности (Sureté), натягивающего арбалет.

Мотив Венеры, пускающей пламенеющую стрелу в неприступную крепость, повторен в маленькой, более динамичной миниатюре на ту же тему. Затянувшаяся война потребовала вмешательства богини любви, вызванной с острова Цитеры гонцами Амура, нарушившими ее tête-à-tête с Адонисом

9. ЗОЛОТОЙ ВЕК



10. ОТПЛЫТИЕ ЯЗОНА

11. ИЗБРАНИЕ ПЕРВОГО КОРОЛЯ

12. НЕРОН И АГРИППИНА

(рис. 5). Растянутость описания битвы в поэме заставила иллюстратора изощряться в различных вариантах батальных сцен (рис. 6). Возможно, что он, тем самым, стремился наверстать положенное ему по заказу количество миниатюр. В таком случае он вышел из затруднения с бóльшей честью, чем те, которые в подобном положении не стеснялись повторять по два раза, без всяких изменений, ту же самую иллюстрацию.

Маленькие миниатюры рукописи Эрмитажа пропорционально преобладают в первой части поэмы. Форма диалога, которой придерживаются оба автора «Романа» для изложения устами действующих лиц их мировоззрения, отразилась на иллюстративной стороне в преобладании двух персонажей на одном изображении. Они обычно противостоят в спокойной беседе, и только жесты рук, поворот головы, легкое движение корпуса выдают некоторую эмоцию. Таковы все встречи Влюбленного с Амуром: юноша убегает от его стрел, признает себя его вассалом (рис. 7), выслушивает его наставления, Амур поражает его своими стрелами, запирает его сердце золотым ключом,—таковы же все беседы его с Праздностью (Oiseuse), с Разумом (Raison), с Приветом (Bel Accueil) и др. Больше движения вносится в эпизоды с Опасностью (Dangier), энергично применяющей свое орудие защиты—дубинку. Ее роль охранителя Розы переходит временами к Ревности и к самому коварному врагу Влюбленного—к Злословию (Malebouche), которые безжалостно изгоняют юношу из сада и строго отчитывают Привет за его заступничество (рис. 8).

В миниатюрах второй части, естественно, отражается ее новая тематика. Эпизоды из античной истории интерпретируются как в стиле современного искусства, так и в сложившихся, традиционных формах изображения античности; сцены окружающей жизни дают любопытные подробности быта и нравов. Концентрируя иллюстрации второй части вокруг основных положений ее автора, бессистемно рассеянных в поэме, мы можем выделить следующие группы.

Отношения Жана де Мёна к собственности и государству отражены, прежде всего, в интереснейшей интерпретации «Золотого века» (рис. 9), с группой беспечных людей, мирно наслаждающихся своим бытием в те времена, когда всё было общим и не существовало еще никакой власти.

Comment les gens du temps passé
N'avoient nul trésor amassé
Fors tout commun par bonne foy,
Et n'avoient ne prince, ne roy[16].

(M a r t e a u, II, 280).

С дальнейшим ходом истории знакомит миниатюра с отплытием Язона (рис. 10). Добытое им золотое руно развило страсть к наживе, гордость, жадность, ложь и обман. Испорченные смертные

La première vie lessierent,
De mal faire puis ne cessierent[17]

для охраны границ и накопленного и награбленного ими имущества вынуждены были избрать из своей среды самого сильного («ung grant vilain»). Миниатюра с надписью Le premier Roy (рис. 11) представляет его в позе неподвижно восседающего на троне божества, на голову которого избравшие его возлагают корону.

13. ЛИЦЕМЕР

14. ДВОРЯНЕ И КРЕСТЬЯНЕ

15. БЕДНОСТЬ И БОГАТСТВО

16. МЕДЕЯ

Идея возмездия за злоупотребление властью развернута в трех иллюстрациях из царствования Нерона. Весьма реалистично, с уклоном в натурализм, передана сцена вскрытия тела Агриппины, матери Нерона, убитой по его приказанию (рис. 12). Римский император, с длинной бородой, в короне и в одеянии библейского первосвященника, присутствует при этом с невозмутимым видом, который не покидает его и в картине другого злодеяния—смерти Сенеки. Философ принужден был избрать себе род самоубийства по воле императора. Наконец, последнего постигает заслуженная кара: чтобы избежать гнева народа, тиран пронзил себя мечом на глазах двух подданных.

Подкупность и развращенность суда нашли свое отражение в образе Аппия Клавдия. На одной из двух посвященных ему миниатюр Виргиний подносит преступному судье голову своей дочери, которую он обезглавил, спасая от бесчестия (событие это привело к возмущению народа и к свержению децемвиров в 304 г.).

Жесточайшие нападки на церковь создали яркий образ Лицемера (Faux-Semblant) в поэме, а в эрмитажном кодексе—одну из замечательных миниатюр с нищенствующим монахом в его келье (рис. 13). Ее стальной, холодный колорит выдержан в стиле и характере данного индивидуума. Картинка не требует комментария: Лицемер сам указывает на лежащие перед ним различные одежды, которые он меняет сообразно обстоятельствам для сокрытия своего истинного лица:

Or sui chevalier, or sui moine,
Or sui prélat, or sui chanoine,
Or sui clerc, autre or sui prestre,
Or sui disciple et or sui mestre[18].
(Marteau, III, 82).

Глубокие классовые противоречия вскрывает мирная картинка, противопоставляющая работающих в поте лица вилланов и въезжающих на поле труда праздных кавалеров (рис. 14). Последние гордятся своими гербами и происхождением и мнят себя выше тех, кто обрабатывает землю и зарабатывает себе хлеб:

Ceux qui les terres cultivent
Ou qui de lor labor se vivent[19].

Но ведь природа всех создала равными, стоит только взглянуть на людей, когда они родятся:

Car gey (je) fais tous semblables estre
Si cum il apert à lor nestre[20].

Имущественное неравенство отражено в interieur'е с фигурой Богатства в парчевом платье, которое гордо отвергает одетую в рубище коленопреклоненную просительницу—Бедность (рис. 15).

Жан де Мён выступал в качестве ожесточенного врага галантной любви и поклонения женщине и устами Разума развивал теории о шаткости счастья и непрочности любви. В ряде миниатюр проходят перед нами поучительные примеры из античной истории и мифологии: Дидона, пронзившая себя мечом из-за неверности Энея, Филис, повесившаяся в тщетном ожидании своего возлюбленного, Медея, умертвившая своих детей из-за измены Язона (рис. 16).

САД АМУРА. ОТДЫХ

Миниатюра французской работы начала XVI в. из рукописи „Роман Розы“

Эрмитаж, Ленинград

17. АВТОР

18. ПРИРОДА И ГЕНИЙ

19. БЕСКОРЫСТИЕ ДРУЖБЫ

20. ВЛЮБЛЕННЫЙ И ДРУГ

Поведение современной женщины подвергается жесточайшим нападкам, а художнику открывает богатый материал для чисто бытовых картинок. Таковы сцены обвинения Ревнивцем его жены в присутствии соседей и жестокая расправа с ней наедине (рис. 24). Автор вынужден был впоследствии принести свои извинения за резкость нападок, и на другой миниатюре (рис. 17) он выведен обращающимся к читателю:

Comment l'Auteur moult humblement
S'excuse aux dames du Rommant[21].

(Marteau, III, 356).

В качестве лучшей формы общения между людьми выдвигается Дружба. Ее бескорыстие с большой наглядностью продемонстрировано в миниатюре, в которой всё содержимое огромного лакированного кассона отдается в распоряжение Друга (рис. 19).

Рассуждения, касающиеся космоса и мироздания, человека и природы, вложены в уста Гения и Природы (рис. 18). Проникновенное выражение их лиц не оставляет сомнения в том, что они ведут беседу на возвышенные темы. Другая не менее очаровательная сценка изображает Природу на коленях перед ее наставником, Гением, с горькой исповедью о тягостях ее управления человечеством.

К порядку той же тематики относится и любопытнейшая иллюстрация «Кузница Природы» (рис. 21), где при помощи огня, мехов и молота выковываются новые существа человеческого рода, чтобы он не страдал от убыли, наносимой ему смертью.

Comment Nature la Subtille
Forge toujours ou fils ou fille
Affin que l'humaine lignye
Par son deffaut ne faille mye[22].

(Marteau, IV, 20).

Но прекрасное, осуществляемое Природой, недоступно искусству человека,—сам Зевксис, прославленный художник Греции, не в силах был имитировать ее красу, представшую пред ним в образе пяти девушек (рис. 22):

Devant li se sont tenuës
Tout en estant tres toutes nuës[23].

(Marteau, IV, 20).

В отдельную группу можно выделить те иллюстрации, которые, сохраняя типаж и мизансцены первой части, несут на себе дальнейшее развитие романтической фабулы. Мы ограничиваемся воспроизведением некоторых из них. Выразительна сценка, в которой Разум, исчерпав на протяжении 3000 стихов все доводы своего красноречия для отвращения юноши от безумной любви, холодно удаляется, а опечаленный Герой спешит обратиться за утешением к Другу (рис. 23). По его совету он направляется к томящемуся в замке Привету и, в мечтах об его освобождении (рис. 20), спускается в цветущую долину, слушая нежное щебетание птиц.

Длительные испытания, посланные богом любви, наконец, окончены— крепость взята, Bel Accueil освобожден, и Влюбленный признан достойным сорвать Розу. Такова тема последней миниатюры (рис. 25):

Ainsi euz la rose vermeille
Atant fut jour et je mesveille[24].

(Рукопись Эрмитажа).

21. КУЗНИЦА ПРИРОДЫ

22. ЗЕВКСИС

23. РАЗУМ ПОКИДАЕТ ВЛЮБЛЕННОГО

24. РЕВНИВЕЦ

25. ВЛЮБЛЕННЫЙ СРЫВАЕТ РОЗУ
Последняя миниатюра из рукописи „Романа Розы"
Эрмитаж, Ленинград

Хочется отметить, что иллюминаторы рукописей «Романа Розы» оказались столь же дискретны, как и авторы текста. Была ли героиня «Романа» реальной женщиной или мечтой поэта, остается загадкой. Художники своею дерзновенною рукою не решились обнажить тайны поэтов,—душистый цветок на розовом кусте остался тем символом, который так и не был претворен ими в конкретный образ.

Художественные достоинства эрмитажной рукописи не нуждаются в апологии. Миниатюры, даже в их бескрасочном воспроизведении, говорят за себя. Хотелось бы только сделать маленький акцент на некоторых не отмеченных в ходе изложения индивидуальных особенностях искусства мастера. Одной из таких черт является любовная интерпретация пейзажа. Синие дымчатые дали, стройные деревья с узорчатой листвой на фоне безоблачного неба, легкие силуэты замков, зеленые долины со светлой лентой реки застыли в прозрачной гармонии весенней сказки художника, подобной майскому сну влюбленного поэта. Нельзя не отметить очаровательной миниатюры с отплывающим фрегатом (рис. 10), бронзовый корпус которого контрастирует с волшебно-легким замком, отражаясь вместе с ним в бирюзовом зеркале вод с серебристою зыбью. Опоэтизирование ландшафта не заглушило в мастере реалистической стороны таланта. Достаточно указать на жуткие, полные глубокого реализма образы старух (рис. 2), на правдиво переданные сцены с тюремщицей в камере заключенного Привета с крадущейся крысой с мышонком в зубах, на картинку, где изображено вырезание языка Злословию, на эпизоды из античной истории в неприкрашенной реальности современного быта, на изображения охоты, рыбной ловли, обработки земли и др. Большим мастерством отмечена передача одежды, от бархата, парчи и меха высших классов до лохмотьев бедняков; для истории костюма эрмитажная рукопись дает богатый материал. Художник расширил круг сюжетов, которые давали повод к изображению обнаженного тела. Миниатюрист не ограничивается более одной картинкой позирования Зевксису пяти красавиц. Он сбросил одежды с Природы, в которые она была облачена

как в ксилографиях парижского издания «Розы» 1493 г.[25], так и в прелестной миниатюре другого кодекса конца XV в.—«Livre des échecs amoureux»[26], и вывел ее на сцену в ее естественном состоянии. Для первобытных людей одежда в значительной мере была признана им излишней, между тем как граверы упомянутого издания, закутав их с ног до головы, держались, очевидно, другого взгляда.

В особой тонкости передачи мастером различных душевных переживаний действующих персонажей обнаруживается подлинное чутье иллюстратора, всецело проникнутого поэзией произведения, которое ему было вручено для украшения.

Обращаясь для сравнения рукописи Эрмитажа к единственной полностью изданной серии миниатюр «Романа Розы»—к Венскому кодексу № 2592[27], мы должны констатировать глубокие стилистические отличия обоих произведений, обусловленные разницей во времени их возникновения. Шахматные и орнаментальные фоны, хрупкие фигурки с условной жестикуляцией, плоскостные пространственные отношения характерны для конца XIV в., времени иллюминирования венского экземпляра. В поздней эрмитажной рукописи они звучали бы анахронизмом. Сплошные фоны, постепенно приподнимающие с начала XV в. свою завесу для робких проявлений натурализма, окончательно вытеснены теперь естественным или архитектурным фоном, в рукописи Эрмитажа—пейзажем, интерьером, лоджиями. Полнокровные фигурки легко и свободно передвигаются в трехмерном пространстве.

Сопоставление с другим комплексом иллюстраций, хронологически более близким, открывает интересные возможности. Мы имеем в виду кси-

СТРАНИЦА ИЗ ЧАСОСЛОВА АННЫ БРЕТАНСКОЙ. „АПРЕЛЬ"
Миниатюра мастерской Жана Бурдишона, 1507—1508 гг.
Национальная библиотека, Париж

лографии парижского издания «Романа Розы» (около 1493 г.), полностью перепечатанные в пятом томе издания Marteau. При естественной разнице фактур вульгаризированной гравюры и аристократической миниатюры, сходство отдельных моментов изображения, в особенности же поразительная близость четырех гравюр с соответственными миниатюрами (Зависть, Дворяне и крестьяне, Зевксис и Охота), наводит на мысль о заимствовании. Имело ли оно действительно место, или налицо результат использования одного общего, нам неизвестного, источника, установить затруднительно. Связь с печатной графикой представляется нам более ясной в другом факте — в несколько искусственном включении в миниатюру со сценой охоты фигуры Жана де Мёна (рис. 18). Его изображение могло проникнуть в рукописную книгу из печатной, в которой оно вытеснило неизменный для манускриптов портрет Гийома де Лорриса. Стандартная миниатюра с поэтом у пульта в конце первой части подписывается в печатных изданиях именем затмившего славу знаменитого трувера его продолжателя[28]. Фигура последнего в рост, с поднятой рукой встречается и в других гравюрах (см. Bourdillon, The early editions of the Roman de la Rose. London, 1906, 109, 138, § 35). В такой позе перешла она и в кодекс Эрмитажа. Сказанное затрагивает интересную проблему взаимного влияния живописной иллюстрации и печатной графики «Романа Розы», которая еще ждет своего исследователя.

Публикуемая рукопись в старых инвентарях Библиотеки Штиглица датирована началом XVI столетия. Ничто не противоречит этой хронологии. По ее стилю, техническим приемам, костюму, обычаям[29] и обстановке можно относить исполнение ее к первым двум десятилетиям названного века. В эту эпоху искусство иллюминирования начинает клониться к упадку. На французской почве оно дает последний пышный расцвет в творчестве ряда мастеров—Жана Бурдишона, Мишеля Коломба, Годфруа де Батав и др. С именем первого связано, как известно, иллюминирование одного из самых знаменитых кодексов—Часослова королевы Анны Бретанской, парижской Национальной библиотеки, законченного в 1507—1508 г.[30]. Новейшие исследователи установили, однако, участие в исполнении названного манускрипта различных мастеров, объединенных Бурдишоном в руководимой им мастерской. Рукопись «Романа Розы» в собрании Эрмитажа имеет, по нашему мнению, много точек соприкосновения с названным Часословом. Отсутствие в ней архитектоничных рамок и меньшая пышность обрамления страниц не могут служить препятствием для сопоставления обоих произведений. Те же особенности не помешали L. Delisle приписать школе Бурдишона два новых Часослова, причем в манускрипте библиофила Badin общим с рукописью Эрмитажа является и малый формат миниатюр[31]. Близость «Романа Розы» с кодексом Анны Бретанской особенно ощутительна в страницах месяцев «Календаря» как в общности стиля, так и в сходстве технических приемов. В воспроизводимом в качестве примера листе «Апреля» (см. стр. 901) можно отметить ряд аналогий с миниатюрами «Романа»: в стиле, характере и костюме женских фигур (ср. Отдых в саду Амура), в построении композиции (ср. Сад Амура на первой странице с возвышающимся холмом справа), в сходстве архитектуры (ср. миниатюру с мечтающим Влюбленным). Не меньшею близостью отмечены фигуры косарей (Июнь) и кавалеров (Май) с соответственными персонажами рукописи Эрмитажа; хозяин у стола (Февраль) является родным братом Лицемера. В передаче же экспрессии

лиц всего фигурного комплекса предпочтение следует, без сомнения, отдать искусству художника «Романа Розы». В последнем повторяются и фоны открытых лоджий, и отдельные пейзажные мотивы страниц самого Часослова — характер далеких планов, своеобразная интерпретация лесной чащи, узорчатость листвы, структура плетеного заборчика и др.[32]. Можно было бы умножить аналогии, но и сказанного достаточно для обоснования предположения, что мастерство иллюстратора рукописи Эрмитажа сложилось в том ателье, в котором был создан упомянутый шедевр французской живописи начала XVI в.

Но ни имени автора, ни инициалов его не удалось обнаружить при тщательном анализе рукописи Эрмитажа. Иллюстраторы манускриптов принадлежат к скромным художникам,—подписные экземпляры тонут среди массы анонимного материала, который оставила нам эта область искусства. Быть может, счастливая находка современного рукописи документа другого порядка—счета, грамоты, хроники и т. п.—снимет когда-нибудь тайну с рукописи Эрмитажа и откроет веками скрытое имя ее блестящего иллюминатора[33].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] M. de Laborde, Le comte P. Durrieu. Sa vie et son œuvre, P., 1928, 11 (Bibliographie).

[2] Рукопись парижской Biblioth. Nat. franç. № 24392 содержит 115 миниатюр. Манускрипт в Valence, известный Langlois только по упоминанию в литературе,—182 миниатюры.—E. Langlois, Les manuscrits du Roman de la Rose, P., 1910, 178.

[3] «Там, где я обязан».

[4] «Страх смерти смущает меня».

[5] «Здесь начинается Роман Розы, в коем все искусство любви заключено». «Вот конец Романа Розы, в коем все искусство любви заключено».

[6] «На двадцатом году моей жизни».

[7] «На пятнадцатом году моей жизни».

[8] Известно о существовании отдельных рукописей I и II части, а также фрагментов поэмы.

[9] «Arrachez, hommes sages, arrachez ces livres dangereux des mains de vos fils et de vos filles. Si je possédais un seul exemplaire du Roman de la Rose et qu'il fût unique... je le brûlerais plutôt que de le vendre pour le publier» («Вырывайте, благоразумные люди, вырывайте эти опасные книги из рук ваших сыновей и дочерей. Еслиб я владел одним экземпляром Романа Розы и он был единственным... я предпочел бы его сжечь, чем продать его для обнародования»).—Marteau, I, p. CV.

[10] На русском языке имеется следующая литература: О. Петерсон и Е. Балабанова, Западно-европейский эпос и средневековый роман, СПб. 1896, I, 213—246 (краткий пересказ прозой содержания «Романа»); проф. Стороженко, Очерк истории западно-европейской литературы. Лекции, читанные в Московском университете, М., 1908, 92 сл. (краткий разбор поэмы); И. Балдуков, История западно-европейской литературы, под ред. Корша и Кирпичникова, СПб. 1880—1883, II, 570 сл. (детальный анализ «Романа», изложение его содержания и разбор его влияния на последующую литературу). На французском языке самым удобным для пользования представляется издание Marteau (op. cit.) с параллельными текстами—романским и современным французским.

[11] Langlois считает число дошедших до нас экземпляров равным четыремстам, что дает лишь слабое представление о некогда существовавшем их количестве.

[12] Но важная для хронологии «Романа» миниатюра с битвой Манфреда и Карла Анжуйского в ней опущена.

[13] Сходная фигура ангела в золотых доспехах, с большими крыльями встречается в Часослове Людовика XII, конца XV в., в Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград (Lat. Q. v. I, № 125).

[14] Все три листа воспроизведены в упомянутой в тексте статье A. Kuhn'a.

[15] Chalumeau—пастуший гобой, свирель; galoubet—прямая флейта.

[16] «Как люди прошлого времени не имели никакого накопленного сокровища, кроме того, что принадлежало всем сообща по совести, и не имели ни князя, ни короля».

[17] «Оставили прежнюю жизнь и с тех пор не переставали дурно поступать».

[18] «То я рыцарь, то монах, то прелат, то каноник, то иное духовное лицо, то священник, то ученик, то учитель».

[19] «Те, кто возделывают земли или живут своим трудом».

[20] «Ибо всех я сделала подобными, как это видно при их рождении».

[21] «Как автор весьма смиренно извиняется перед дамами романа».

[22] «Как хитроумная природа кует всегда либо мальчика либо девочку, чтобы род людской никогда не пресекся по ее вине».

[23] «Перед ним они стояли, будучи совсем обнажены».

[24] «Итак, я получил алую розу, наступал день, и я проснулся».

[25] Восемьдесят три гравюры из парижского издания Jean Dupré около 1493 г. полностью переизданы в V томе издания Marteau.

[26] H. Martin, Les joyaux de l'enluminure à la Bibliothèque Nationale, P., 1928, pl. 79, fig. XCVI. «Comment Nature se montre à l'acteur du livre rymé» («Как Природа является автору стихотворного произведения»). Этот лист имеет много общих черт с миниатюрами первых страниц рукописей «Романов Розы» с их изображением лежащего под покрывалом обнаженного Героя.

[27] Пятьдесят четыре миниатюры воспроизведены в статье A. Kuhn'a, табл. I—XI.

[28] Такая замена была вполне допустима без расхождения с иллюстрируемым текстом конца первой части, который гласит:

Cy endroit trespassa Guillaume
De Loris et n'en fist plus pseaulme;
Mais après plus de quarante ans,
Maistre Jehan de Meung ce Rommans
Parfist...

(Marteau, II, 2).

(«На этом месте скончался Гийом де Лорис и больше ни одного стиха не написал. Но более сорока лет спустя мэтр Жан де Мён закончил этот роман»).

[29] Любопытно, что многократно повторяющийся жест Влюбленного, приподнимающего шляпу в качестве приветствия, находится в полном соответствии с вежливостью того времени, требовавшей обнажать голову при встрече с высшими по положению. Обратим внимание и на утвердившуюся в начале XVI в. моду на обувь, широкую, с тупым носком, неизменную для персонажей нашего «Романа Розы», которая в одной более ранней миниатюре с церковной процессией из бревиария Рене II Лотарингского, конца XV в., еще борется с прежним остроконечным фасоном (см. в серии Les grands artistes: H. Martin, Les peintres de manuscrits et la miniature en France. P., s. a., fig. 28).

[30] Рукопись получила особую известность, благодаря ее хромолитографскому изданию Curmer в 1861 г.

[31] L. Delisle, Les grandes heures de la reine Anne de Bretagne et l'Atelier de Bourdichon, P., 1913, 65, 70.

[32] Сравни, например, следующие листы: Святое семейство, св. Лифар, Петр, Губерт, Магдалина, Катерина, Мартин и др. Можно указать также на сходство с другой работой Бурдишона, с Часословом библиотеки Арсенала в Париже, в котором группы смертей и путти на миниатюрах «Бегство в Египет» и «Смерть и Папа» близки к антуражу гербов рукописи Эрмитажа. (E. Mâle, J. Bourdichon et son atelier G. d. B. A., 1904, 451, 458).

[33] Таким путем было установлено и остававшееся неизвестным до 1868 г. авторство Бурдишона: в архивах королевы Анны Бретанской было обнаружено ассигнование на уплату художнику 1 050 ливров—«de ce qu'il nous a richement et somptueusement historié et enluminé unes grans Heures pour nostre usage et service» («за то, что он богато и пышно разрисовал и раскрасил большой Часослов для нашего употребления и пользования»). (См. «Heures d'Anne de Bretagne», éd. Biblioth. Nation., Département des Manuscrits, P., s. a., 3).

ПИСАТЕЛИ ФРАНЦИИ В ЖИВОПИСИ, МИНИАТЮРАХ И РИСУНКАХ МУЗЕЕВ СССР

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОРТРЕТЫ ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В СОВЕТСКИХ СОБРАНИЯХ

Обзор и публикация М. Доброклонского

В то время как книгохранилища и архивы СССР оказываются обладателями совершенно новых и ценных для французской литературы документов, наши художественные собрания, со своей стороны, могут предъявить обширный материал, относящийся к кругу тех же интересов. Этот материал—портреты писателей и деятелей литературного мира Франции. Они никогда не составляли у нас специального предмета собирательства, но при тех тесных культурных связях, которые за два столетия сближали Россию и Францию, их наличие объясняется само собою. Здесь сказались и дань увлечения модными произведениями изящной словесности, и престиж философской мысли французов, и личные отношения, но более всего, пожалуй, моменты случайного порядка. Признание ведущей роли французской живописи и графики обусловило широкий прилив их произведений в русские собрания, а вместе с тем, пришли и портреты, где уже не иконографические соображения, но чисто художественная сторона определила состав. Лишь в отношении гравюр и литографий можно было бы говорить об известной полноте и равномерности подбора. Не являясь, однако, уникальными, они не представляют интереса новизны и выходят за пределы настоящего обзора, как выпадает из него и портретная скульптура, на которой останавливается другая статья этого сборника.

То, что могло быть выявлено по части остального—живопись маслом, рисунки, миниатюры,—отражает случайность своего происхождения и далеко от какой бы то ни было систематичности представленных имен. По существу дела, этот момент в данном случае безразличен. Почти каждый из приводимых ниже портретов значителен сам по себе, и притом под двойным углом зрения: то как важный иконографический документ, то в силу представляемого им искусствоведческого интереса.

В подавляющем большинстве случаев материал этот не только не был опубликован, но и вовсе не упоминается в печати. За несколькими исключениями, он не подвергался и исследованию, так что во многом лишь настоящая работа послужила поводом к выяснению ряда совершенно новых данных. Те единичные вещи, которые воспроизводились,—почти исключительно портреты маслом,—как правило, помещены в русских периодических изданиях и зарубежным читателям были мало доступны. Возможность впервые дать некоторые из них в цвете сообщает им характер тем большей новизны и позволяет точнее оценить их художественное значение.

За время до конца XVIII в. основная группа рассматриваемых портретов принадлежит коллекциям Эрмитажа. Для последующего периода на первый план выдвигаются московские собрания—Музей изобразительных искусств, Музей новой западной живописи, частные коллекции. Как исключение, несколько вещей принадлежит Русскому музею.

Обзор может быть начат с портрета Ронсара (см. т. II, табл. перед стр. 417 настоящего издания), недавний юбилей которого привлекает к его изображению особое внимание. Он принадлежит к обширной коллекции французских карандашных портретов XVI—XVII вв., поступившей в Эрмитаж, как часть приобретенного в 1768 г. собрания рисунков графа Кобенцля, и, ввиду богатства своего подбора, пользующейся мировою известностью. Портрет этот, исполненный итальянским карандашом и сангиною, уже репродуцировался, но именно здесь мы имеем один из тех случаев, где особенно желательно было в первый раз показать факсимильное воспроизведение оригинала[1].

К моменту, когда рисунки названной коллекции получали ту или иную атрибуцию, имена авторов подобных портретов давно были утрачены, и почти всем этим эрмитажным листам, без всякого внимания к явным различиям манеры и почерка, было дано единое обозначение: «Dumoustier». Портрет Ронсара не составил в этом отношении исключения. Углубленные работы, ведшиеся с середины прошлого столетия в области французского портрета XVI в., значительно осветили общий вопрос. Труды Bouchot и Moreau-Nelaton позволили уже дифференцировать творчество отдельных мастеров, а вместе с тем, и указанный портрет поэта был приписан Бенжамену Фулону. С такою атрибуцией он был опубликован в «Старых Годах» при статье Pierre Marcel и фигурировал потом на ряде выставок Эрмитажа[2]. В своем вышедшем лет десять тому назад капитальном труде о французском портрете XVI в. Dimier первый отверг означенную атрибуцию и каталогизировал рисунок в качестве работы неизвестного мастера 1560—1570 гг.[3]. От наиболее достоверных произведений Фулона портрет Ронсара, действительно, отличается по фактуре, и, кроме того, против авторства этого художника говорят соображения хронологического порядка. Рисунок исполнен, повидимому, около 1566 г., между тем как деятельность Фулона, поскольку мы таковую знаем, падает на более поздний период: 1575—1610 гг.

Не меньшего внимания заслуживает второй рисунок того же происхождения, дающий на этот раз облик Клемана Маро (см. т. II, фронтиспис). Здесь техника та же, но с добавлением мела (25×19 см; инв. № 2979). Старинное обозначение пером у верхнего края листа гласит: «Clement Marot poete valet»[4]. Последнее слово написано иным почерком; и опять другою рукою XVI в. сделана слева надпись: «de chambre du roi»[5]. Несмотря на представляемый этим портретом интерес, он до сих пор не воспроизводился, хотя и упоминается в литературе.

Изображение Маро относится к последнему, наиболее беспокойному периоду его жизни и может быть датировано, как это делает Dimier, около 1540 г.[6]. Я не могу, однако, присоединиться к мнению названного автора, безоговорочно признающего его копией с неизвестного оригинала. Внимательное рассмотрение этого листа ни в чем не выдает типичных признаков работы копииста. Рисунок отличается уверенностью и свежестью. Есть тонкости, и в этом отношении отметим хотя бы то, как сделан рот. Наличие корректур в очертаниях головного убора, со своей стороны, дает повод

сомневаться, чтобы перед глазами рисовальщика был уже готовый портрет, и, наконец, свободная живописная фактура в трактовке костюма решительно расходится с теми робкими, схематическими приемами, которые не только характерны для французских копий той эпохи, но постоянно наблюдаются и там, где мастер, ограничиваясь фиксацией черт лица модели, предоставлял остальное своим помощникам.

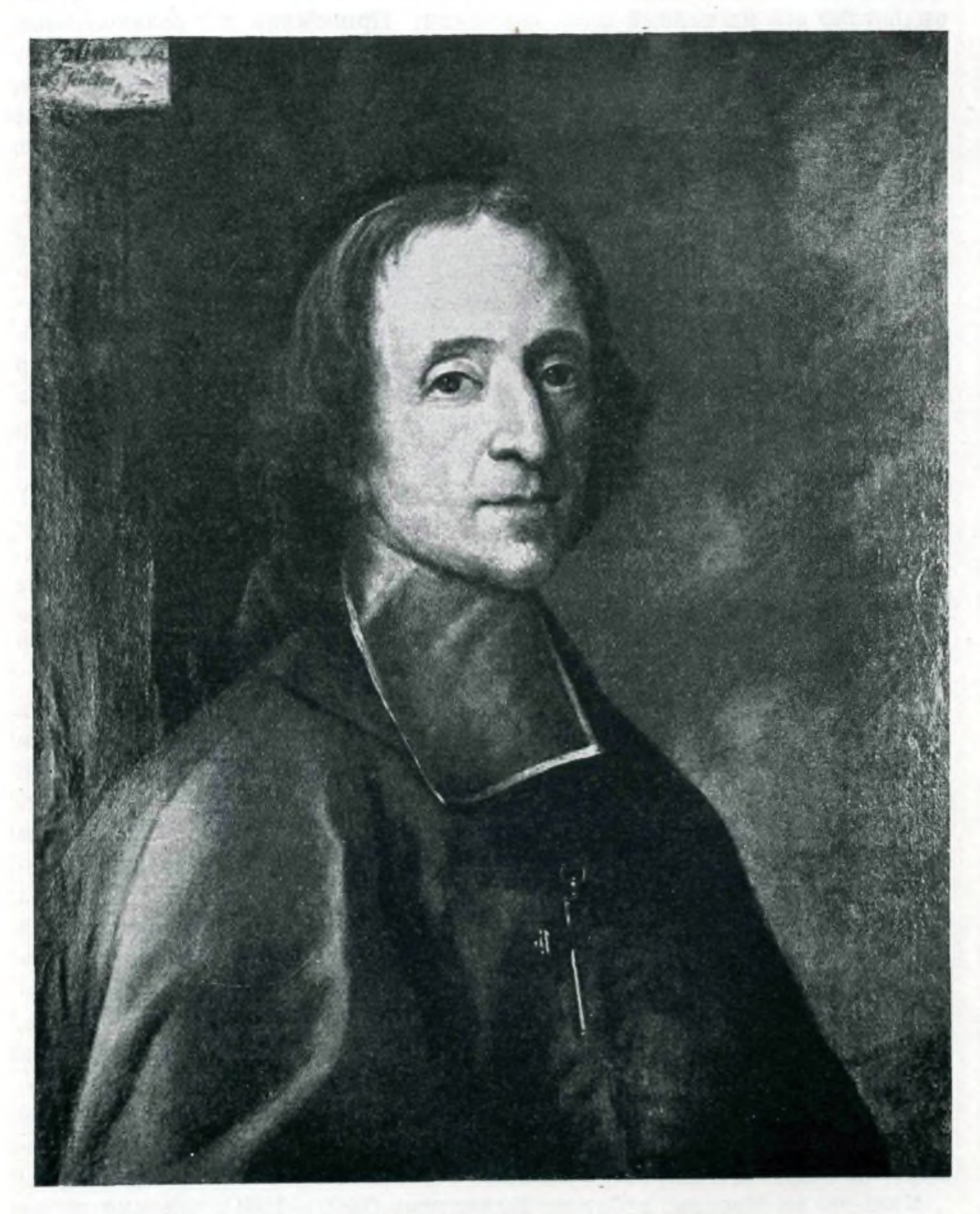
НИКОЛА ПЕЙРЕСК
Рисунок Клода Меллана, 1637 г.
Эрмитаж, Ленинград

Если при таких условиях мы должны видеть в рисунке скорее оригинал, то вопрос об его авторе остается открытым. Старая атрибуция—«Dumoustier», как и в предыдущем случае, не говорит ничего. Среди работ французских художников XVI в. я не знаю аналогичных по манере. Мало того, фактура рисунка с ее тенденцией к свободе и живописности отличается в принципе от характерной для французского карандашного портрета середины означенного столетия сглаженной, лишенной всякой эскизности моделировки и указывает на мастера, сложившегося в кругу других художественных традиций.

Двумя приведенными листами занимающий нас в настоящей работе материал по XVI в. исчерпывается. Литературный мир Франции последующего периода отражен в русских собраниях значительно обильнее. На первую половину XVII столетия падает группа превосходных карандашных портретов, представляющихся почти сплошь неизвестными. Исключение в последнем отношении—лишь подписной портрет Даниэля Дюмустье, изображающий одного из основателей Французской академии и центральную фигуру первых десятилетий ее существования, канцлера Сегье (45×35 см; инв. № 15166). Поступивший в середине XVIII в. вместе с коллекцией Ив. Ив. Бецкого в Академию художеств, а после революции переданный Эрмитажу, он был недавно опубликован Е. Г. Нотгафт в ее статье о рисунках названного художника[7]. Помещенное при последней одноцветное воспроизведение давало, однако, далеко не полное представление о выдающихся качествах этой работы. Дюмустье не только живо уловил характерные черты своей модели, но отличается здесь и достоинствами колористического порядка, мастерски используя итальянский карандаш, сангину и желтоватого тона пастель (см. табл. перед стр. 929).

Портрет датирован 1635 г., когда Сегье был назначен канцлером, а несколькими годами позднее мы встречаем его снова на другом рисунке Эрмитажа. Автором в данном случае является Клод Меллан. Для всех, кто сколько-нибудь интересовался старинными эстампами, это имя знакомо, и нет элементарного обзора истории гравюры, который не отмечал бы яркого своеобразия гравированных им портретов. Значение Меллана, как автора этих портретов, лежит, однако, не только в техническом совершенстве его несколько парадоксальной манеры резьбы на металле, но и в том, что, в отличие от большинства своих собратьев по резцовой гравюре, он исполнял эти портреты, пользуясь, как правило, собственными рисунками. Указанная сторона творчества Меллана освещена, однако, мало, и объяснение тому в значительной степени следует искать в редкости его работ этой категории. Достаточно отметить, что в богатейшем по части французских рисунков собрании Лувра их имеется всего три, причем аутентичность одного не безусловна, а приобретение в 1924 г. парижской Школой изящных искусств трех других отмечалось, как существенное пополнение ее коллекций[8]. В том же 1924 г., благодаря статье Wengstrœm[9], стало известно о существовании ряда аналогичных произведений мастера в Стокгольмском музее, но до сих пор мало кто знает, что основная масса портретных рисунков Меллана, насчитывающая до полусотни листов, хранится в Эрмитаже. Их происхождение то же, что и приводившихся выше портретов Ронсара и Маро, с которыми они составляли одну коллекцию, вероятно, еще до поступления к графу Кобенцлю. Длинною вереницею проходят выдающиеся современники мастера: прелаты, сановники, ученые, литераторы, и многие листы являются подготовкою к его наиболее знаменитым гравюрам.

Портрет Сегье (см. т. I, табл. перед стр. 529), как и подавляющее большинство остальных, выполнен исключительно итальянским карандашом и является по размерам одним из самых крупных (30,5×22,5 см; инв. № 1822). Изображенный был опознан лет тридцать назад тогдашним хранителем графических коллекций Эрмитажа, Б. К. Веселовским, но автором рисунка продолжал значиться Шампень. Исключительная близость к работам Меллана, никогда не вызывавшим сомнения, решительно говорит за него. Существование гравированного портрета Сегье, выполненного с этого оригинала



ФЕНЕЛОН

Портрет маслом неизвестного художника французской школы с оригинала Жозефа Вивьена

Литературный музей, Москва

и указывающего в надписи на принадлежность последнего самому Меллану—«Cl Mellan Gall del. et sculp», устраняет всякие колебания в атрибуции, если бы таковым оставалось место. Та же подпись дает и время исполнения: 1639 г. Подавление канцлером в этом году восстания в Руане выдвигало его на первый план внимания. Припомним тот великолепный портрет работы Лебрёна из собрания Де ла Шеврёльер, ставший известным в связи с недавней выставкой парижской Национальной библиотеки, ознаменовавшей трехсотлетие Французской академии, на котором Сегье изображен въезжающим в названный город[10]. Датировка меллановского портрета тем же годом едва ли случайна.

Среди рисунков художника это один из самых значительных и такой, в котором наблюдаемые у него, как у рисовальщика, живописные тенденции получили особенно явственное выражение в насыщенности тона, контрастах светотени, в широкой трактовке одежды. Он необычен для Меллана— и в этом отношении примечателен—подходом к модели, где начало случайности, моментальности сообщает характеристике особую остроту. Канцлер взят в полоборота, откинувшимся в сторону художника и положившим руку на приходящийся за его спиной барьер. Последний, как и нижняя часть корпуса, едва намечен, и та небрежность, с которой нарисована правая рука, свидетельствует, что Меллан с самого начала не имел в виду перенести свою композицию в гравюру полностью. Помимо мелких изменений—воротник, складки, намеченный фон,—гравюра придала фигуре чуть бо̀льшую фронтальность, а пришедшаяся значительно выше линия среза окончательно вернула ей типичную сдержанность меллановского стиля, к невыгоде сравнения гравюры с рисунком. Не уцелела в ней и тонкость экспрессии оригинала.

Сопоставление с эстампами позволяет, равным образом, отождествить ряд лиц, фигурирующих на других рисунках Меллана. Так, в погрудном изображении пожилого человека с небольшою острою бородою и в круглой шапочке (инв. № 4638) мы узнаем члена Академии Франсуа Де ла Мотле-Вайэ (1588—1672), приобревшего известность как своим скептическим умом и эрудицией в вопросах истории, так и выпавшей ему ролью наставника сначала герцога Орлеанского, а затем Людовика XIV. Гравюра Меллана, воспроизводящая рисунок, помечена 1648 г., т. е. до занятия Ла Мотом этого последнего поста. Она придерживается размера оригинала (19,5×14,5 см) и отклоняется от него лишь в деталях костюма, которому, между прочим, этот «Плутарх Франции», как называл его Ноде, придавал бо̀льшое значение. В сравнении с портретом Сегье, рисунок выдержан в более светлой тональности и более линеарен по фактуре.

Живописные элементы при той же технике карандаша вновь усиливаются с тремя следующими листами. Они связаны с особенно славящимися гравюрами: Мароль, Пейреск, Гассенди[11].

Мишель де Мароль, аббат де Виллелуэн (1600—1681), чье имя вызывает у искусствоведа не столько представление об обширных оставленных им мемуарах, сколько о его коллекциях и стихотворном трактате, посвященном художникам, неоднократно называет Меллана. В XXXIX строфе своей «Книги о живописцах и граверах» он славит его талант словами:

Claude Mélan, qui seul donneroit à sa ville
Quelque nom glorieux, excelle en son burin,
Qui figure d'un trait l'humain et le divin,
Ouvrage non pareil dont s'honore Abbeville[12],

а несколькими страницами ниже («Les Livres Armoriaux», строфа VIII) вновь упоминает мастера в числе лучших граверов своего времени[13]. Эрмитажный портрет поэта[14] может служить свидетельством, что рисовальщик в лице Меллана не уступал граверу (см. табл. перед стр. 257).

Рисунок, судя по дате на гравюре, относится к тому же году, что и предыдущий. Более ранний портрет Пейреска (1580—1637)—гравюра помечена годом его смерти—являет то же мастерство. Это вообще одна из лучших портретных работ Меллана, и образ знаменитого археолога, авторитет

ФЕНЕЛОН

Портрет маслом неизвестного художника французской школы с оригинала Жозефа Вивьена

Картинная галлерея, Севастополь

которого был непререкаем далеко за пределами Франции, остался в памяти потомства именно таким, каким он запечатлен на этом рисунке (см. выше, стр. 907). В отличие от предыдущих, последний дает поворот в ту же сторону, что и гравюра, расходясь с нею в некоторых деталях костюма, шапочки и волос. Гравированный портрет Пьера Гассенди также причисляется к шедеврам Меллана. Приветливое лицо философа и астронома кажется на рисунке еще живее и выразительнее. Указанную группу пополняет портрет библиотекаря Мазарини, Габриэля Ноде (1600—1653), нарисованный Мелланом, согласно данным существующей с него гравюры, в 1649 г. (20,5×16 см). Он принадлежит к той же коллекции, но

был передан несколько лет тому назад из Эрмитажа в московский Музей изобразительных искусств.

Век Людовика XIV представлен снова единичными портретами. В Эрмитаже их два: академик Гудар де Ламот и журналист де Ла Фон, первый написан Гриму, второй Гаскаром. Оба пришли в Эрмитаж вместе с собранием картин М. И. Мятлевой, где входили в состав какой-то старой портретной коллекции французского происхождения. В специальной искусствоведческой литературе указания на них встречаются неоднократно, но цветных репродукций не имелось[15].

Поэт, отрицавший поэзию во имя рассудка, имевший претензию исправлять Гомера, притом чуть ли ни слова не зная по-гречески, не лишенный, однако, и литературных достоинств, Гудар де Ламот (1672—1731)—скорее курьезная, чем значительная фигура. Отображение воплощенного ею таланта и безвкусия на холсте Гриму иконографически любопытно, но портрет не менее интересен, как работа видного живописца, и его надо видеть в красках (см. т. I, табл. перед стр. 257).

То же можно сказать о гаскаровском Ла Фоне (собственно, Шавиньи де Ла Бреттоньер, ум. 1698 г.). Автор портрета, подобно Гриму, находится здесь под влиянием голландцев, проявляя, вместе с тем, незаурядное техническое мастерство (см. табл. перед стр. 433). На последнее указывал еще А. Н. Бенуа, опубликовавший этот портрет в недолговечном «Золотом Руне» и тогда же познакомивший русского читателя с личностью изображенного. В той же статье отмечалось, что портрет повторяется в гравюре Пьера Ломбара, расходясь с ней в одной детали. Изображенная на картине в руках журналиста газета «Nouvelles extraordinaires de divers endroits» заменена гравером другим изданием, «La Gazette ordinaire d'Amsterdam», где, как и в первой, он долго безнаказанно обличал Людовика XIV и его двор, пока, по собственной неосторожности, не попался в ловушку, раскинутую всесильным Лувуа, которого уязвила сатира Ла Фона на его брата. Самодовольный человек, глядящий на зрителя из рамы, далек от мысли об ожидающем его каземате в Мон-Сен-Мишель и многих годах заточения в страшной клетке[16].

В других собраниях мне известны еще три работы маслом: в одном случае представлен Мольер, и две дают изображение Фенелона. Первый из этих портретов, блещущий своими художественными достоинствами, является счастливою находкою самого последнего времени (1938 г.) и ныне приобретен московским Музеем изобразительных искусств. Он приписывается Лебрёну и составляет предмет особой публикации настоящего сборника. Что же касается Фенелонов, то это два близкие друг к другу экземпляра, из которых один был обнаружен под именем Клода Лефевра в Севастопольской картинной галлерее, а второй принадлежит Литературному музею в Москве, где значится, как произведение неизвестного художника[17]. Оба восходят к прототипу, написанному Жозефом Вивьеном и известному по ряду эстампов, в том числе по гравюре Долле. Их отношение к этому прототипу, при имеющихся в моих руках материалах, не может быть вполне установлено. Московский портрет (см. выше, стр. 909), единственный из них известный мне в натуре, реставрирован и чрезвычайно записан, но мог бы быть, в основе, собственноручным повторением Вивьена. Еще вероятнее, впрочем, видеть в нем копию современную оригиналу, и то же, повидимому, с еще бо̀льшим основанием, приложимо к экземпляру Севастопольской галлереи (см. выше, стр. 911).

ПЬЕР СЕГЬЕ

Рисунок Даниэля Дюмустье, 1635 г.

Эрмитаж, Ленинград

Два следующих портрета, выполненных в той же технике, приближают нас к середине XVIII столетия. Наибольшего внимания заслуживает из них портрет Фонтенеля кисти Риго (см. т. II, стр. 48—49). По сравнению с более известным экземпляром работы того же мастера, гравированным Доссье и В. Пикаром, писатель представлен здесь в более преклонном возрасте. Портрет принадлежал ранее Эрмитажу, ныне же находится в московском Музее изобразительных искусств[18]. Подробно о нем говорит другая статья сборника. Менее интересен эрмитажный портрет аббата Прево. Опубликованный, еще в бытность его в собрании Олив, как произведение Карла Ванлоо, он неоднократно бывал предметом суждения исследователей, и общее мнение теперь склонно видеть

ЛУИ РАСИН
Миниатюра неизвестного художника французской школы XVIII в.
Эрмитаж, Ленинград

в нем не оригинал, но хорошее повторение мастерской названного художника[19] (см. т. I, стр. 83).

Следующие десятилетия дают сравнительно обильную жатву, и одним из первых, на чем следует остановиться, является ряд работ, пополняющих иконографию Вольтера. В специальной статье настоящего сборника В. Ф. Левинсон-Лессинг публикует один портрет, который он мог определить, как произведение Гюбера (см. ниже, стр. 945), и останавливается на интереснейшей сюите картин (см. их воспроизведение в I т.) того же художника, иллюстрирующей различные эпизоды из повседневной жизни философа в Ферне. Существование этой сюиты было известно, но до недавнего поступления ее в Эрмитаж мало кому доводилось ее видеть.

Не получило сколько-нибудь широкой известности и другое произведение, теснейшим образом связанное с пребыванием Вольтера в том же

Ферне. Произведение это—миниатюра на эмали из основного собрания Эрмитажа (см. т. I, стр. 87). Профильное изображение писателя, увенчанного лаврами (диаметр 38 см; инв. № 376), вставлено в золотую с эмалью оправу очень тонкой работы. По внутреннему ободку ее бегут слова: «Erroris tenebras hic quanta luce fugavit»[20]. Та же оправа дает на обороте написанное золотом по темносиней прозрачной эмали посвящение, из которого явствует, что миниатюра была поднесена Вольтеру и его племяннице г-же Дени обитателями Ферне в 1775 г.:

Voltario
et Denisae
Fernesii
fundatoribus
coloni, quos fecit
amor milites, se, suas
artes ipsamque
vitam
devovent
L. D. F. [21].

Вокруг приведенных строк, на бледно-голубом фоне, надпись: «Omnibus hoc unum votum est o vivat uterque. J. L. W. 1775»[22].

Лицевая сторона миниатюры воспроизведена, без упоминания в тексте, на одной из страниц истории миниатюрной живописи Williamson[23], но специальной литературе по иконографии Вольтера и, в частности, капитальному по этому предмету труду Desnoiresterres[24] она осталась неведомой. Последний отмечает, однако, существование двух медалей, описание которых совпадает с миниатюрою, и приводит относительно их данные, заимствованные из мемуаров секретаря Вольтера, Жана-Луи Ваньера[25]. Согласно этим данным, первая медаль была изготовлена в 1775 г. на средства фернейских драгун, в ознаменование радости населения по случаю выздоровления Вольтера, и предназначалась служить призом на состязании в ружейной стрельбе. Вторая была выбита тремя годами позднее, по заказу Ваньера, и отличалась лишь добавлением на реверсе его инициалов и даты 1778. Непосредственно за приведенным указанием Ваньер говорит, что портретное сходство было в данном случае настолько велико, что он не нашел ничего лучшего, как поднести это изображение философа Екатерине II[26]. В контексте с соседними фразами понять это место мемуаров Ваньера иначе, как в том смысле, что речь идет о поднесении медали, едва ли возможно. И здесь загадка. Ни в наличном собрании Эрмитажа, ни в старых его описях подобной медали не имеется, но есть миниатюра, о которой нет ни слова в мемуарах. Документальных данных о ее поступлении мною не найдено, но то, что миниатюра принадлежала Екатерине II, можно считать безусловным. Упоминание ее в числе предметов, находившихся в «антресолях императрицы Екатерины II в Зимнем дворце» и присланных в Эрмитаж для хранения при ордере придворной конторы от 17 марта 1826 г., служит достаточным тому подтверждением[27].

Свидетельство о сходстве портрета, идущее от лица, столь близко стоявшего к Вольтеру, как Ваньер, сообщает миниатюре исключительно важное иконографическое значение.

С той же, иконографической, точки зрения заслуживает внимания один анонимный портрет маслом, находящийся в московском Историческом

МОЛЬЕР

Рисунок Энгра, 1843 г.

Музей изобразительных искусств, Москва

музее. Вольтер изображен здесь еще молодым; он представлен по пояс, три четверти вправо и с книгою в руке (см. т. I, стр. 125). Очень близкий по типу экземпляр из собрания музея в Дижоне был опубликован Ch. Oulmont[28], который выдвинул при этом, взамен его старой атрибуции Антуану Вестье, новую: Турньеру. В деталях, в частности, в положении рук, оба портрета расходятся, и, тем не менее, принадлежащий Историческому музею едва ли может быть признан за оригинал.

Ввиду сравнительной редкости портретов молодого Вольтера, можно отметить также экземпляр, находящийся в Институте мировой литературы им. Горького в Москве (по грудь, $^3/_4$ вправо; масло; овал 25,2×21,1 см). Приписываемый ошибочно Ларжильеру, он повторяет тип известного портрета Латура, написанного в 1731 г., и является, вероятно, одной из тех копий, которые заказывались самим Вольтером (см. т. I, стр. 289).

Интерес полнейшей новизны, но затрагивающий, главным образом, историка русского искусства XVIII в., представляет затем другая миниатюра с изображением Вольтера. Она вправлена в золотой перстень, который, принадлежал императрице Екатерине II и служит отражением ее философских симпатий, имея на обороте совершенно аналогичный портрет Монтескьё[29] (см. т. I, стр. 121). Маленький овал (2,1×1,7 см), в который заключены эти портреты, укреплен на шарнирах таким образом, что может быть повертываем наружу то одной, то другой стороной. Обе миниатюры исполнены пером с необычайной тонкостью и снабжены по краю микроскопическою надписью, в одном случае: «Портретъ Вольтеровъ. Писалъ перомъ Иванъ Кашинцовъ 1773 года Мар. 19 же дня», в другом: «Портретъ Монтескіевъ писалъ перомъ Иванъ Кашинцовъ 1773 года Мар. 20 дня». Названный мастер искусствоведческой литературе не знаком, но в старом фонде Эрмитажа имелся переданный недавно в Русский музей рисунок пером, изображающий общество музицирующих в парке кавалеров и дам. Он подписан тем же почерком: «Писалъ перомъ подпорутчикъ Иванъ Кашинцовъ»[30]. Как и портреты, рисунок не представляет собою оригинальной работы, он копия с гравюры Нильсона «Le concert champêtre», но отличается, подобно первым, тою же техническою ловкостью. Тремя указанными вещами данные об Иване Кашинцове исчерпываются. Последний лист указывает, что он принадлежал к тем чинам инженерного ведомства, среди которых искусные графики были не редкость. Круг этот, из которого, напомним, вышел и наш лучший гравер XVIII в., Е. П. Чемесов, остается, к сожалению, неисследованным. Восполнение означенного пробела составляет одну из очередных задач всестороннего и углубленного изучения нашего художественного наследия.

Говоря об изображениях Вольтера, здесь уместно нарушить хронологический порядок обзора и привести два более поздних рисунка. Обнаруженный в собрании Севастопольской картинной галлереи лист с профильными изображениями Вольтера и Руссо (свинцовый карандаш, 19,5×32,5 см) заслуживает внимания, главным образом, как подписная, датированная 1821 г. работа А. О. Орловского (см. выше, стр. 3). Последний пользовался здесь, повидимому, бюстами типа Мюнье, повторения которых в различных техниках были к началу XIX в. широко распространены. Второй рисунок несравненно более значителен. Его автором является не кто иной, как Энгр (см. т. II, табл. перед стр. 17). Совсем недавно этот лист совершенно неожиданно всплыл в фонде Русского музея, попав туда из собрания Аргутинского-Долгорукова,

и сейчас находится в Эрмитаже[31]. Свинцовым карандашом в бледной, линеарной манере эпохи классицизма зарисовано какое-то помещение, типа музейной кладовой, и здесь на первом плане—гудоновская статуя сидящего в креслах Вольтера. К ее пьедесталу прислонены папка с бумагами и несколько подрамников; правее—пустой постамент, а в глубине полка с книгами и над ней два бюста, статуэтка обнаженной женщины и фрагмент ноги. У нижнего края рисунка исполненная тем же материалом надпись: «du polytheisme romain Bertier (?) Quai des Augustins 2»[32]. Это рука Энгра, но и принадлежность ему рисунка несомненна. Качество, техника, манера—всё подтверждает подлинность. Ограничиваясь единичными примерами и приводя первое, что оказывается под руками, укажем на полное тождество графических приемов и почерка, наблюдаемое в таких рисунках, как портрет художника Шарля Тевенена (1816) или этюд фигуры св. Изабеллы (1844), оба из собрания Боннà[33]. Эрмитажный лист относится к раннему периоду Энгра. Монографией о Гудоне Hart и Biddle[34] устанавливается, что с момента своего водворения в 1781 г. в фойе старого театра Французской комедии статуя Вольтера не покидала его вплоть до пожара 1799 г., а с 1806 г. уже находилась в вестибюле теперешнего здания, который затем, в 1864 г.,

КСАВЬЕ ДЕ МЕСТР
Рисунок Гампельна, 1820-е гг.
Собрание Н. И. Тютчева, Москва

переменила на вновь отстроенный там же зал. Рисунок изображает ее не в этих помещениях и должен—если только он сделан не со слепка, что едва ли—приходиться между 1799 и 1806 гг.

Энгр принадлежит к числу тех рисовальщиков, каждая работа которых заслуживает особого внимания. Тема настоящего обзора дает в этом отношении случай привести еще один лист, хотя и отмечаемый каталогами[35], но известный, в сущности, очень немногим. Он принадлежит Музею изобразительных искусств и представляет собою ретроспективный портрет Мольера (см. выше, стр. 913), изображенного пишущим за столом (свинцовый карандаш и кисть тушью и белилами; 21,5×16,5 см; инв. № 1445). В противоположность предыдущему это рисунок позднего периода Энгра—1843 г.—и выдает в деталях инсценировки свою принадлежность эпохе Луи-Филиппа.

XVIII век—век миниатюры, и естественно, что в таком богатом собрании по этой отрасли искусства, как эрмитажное, изображения писателей не ограничиваются приведенными. Посетители Эрмитажа уже давно могут видеть включенный в постоянную экспозицию французской школы хороший портрет Руссо[36] (см. выше, стр. 735). Последний представлен по грудь, на нем серый камзол и такой же жилет, поворот 3/4 вправо. Задумчивое, мягкое выражение сентиментально, как надпись на монтировке: «Coeurs sensibles venez je le confie a Vous»[37]. Автор этой миниатюры остается невыясненным, и то же имеет место в отношении одной новинки, недавно приобретенной для Эрмитажа закупочной комиссией при Комитете по делам искусств. Речь идет о миниатюре гуашью, на картоне (около 3×2,5 см), очень хорошей по качеству и опять-таки французской (см. выше, стр. 915). Согласно традиции, она изображает Буало, но все известные мне портреты последнего этому решительно противоречат. С другой стороны, миниатюра исключительно близка к изображению Луи Расина, как он представлен на гравюре Мигера с оригинала Аведа. Черты лица, поворот, детали костюма дают полное основание считать, что перед нами действительно этот поэт, и не кто другой.

В 1923 г. состоялась передача Эрмитажу графических коллекций библиотеки бывш. Центрального училища рисования Штиглица, а вместе с ними поступили два отличных, впервые отмечаемых портретных рисунка. В пышном аллегорическом окружении, среди атрибутов наук и искусств изображены Бюффон и Женти-Бернар. Сами портреты исполнены в тщательной и мелкой технике итальянским карандашом, с добавлением местами белил, и вклеены в готовые обрамления. Последние сделаны пером и кистью—на портрете Бюффона бистром, у Женти-Бернара тушью[38].

Автор ни в том, ни в другом случае не назывался. Общий характер оформления листов и то обстоятельство, что имеющиеся на втором из них среди атрибутов надписи даны в обратную сторону[39], позволяли надеяться найти их в гравюрах. Портрет Бюффона (см. т. I, табл. перед стр. 305), действительно, существует. Он был награвирован, приблизительно в том же масштабе, Винченцо Ванджелисти, с добавлением на оставленном в рисунке у нижнего его края пустом прямоугольнике четверостишия Делиля:

La nature pour lui prodiguant sa richesse
Dans son génie ainsi que dans ses traits
A mis la force et la noblesse.
En la peignant il paya ses bienfaits[40].

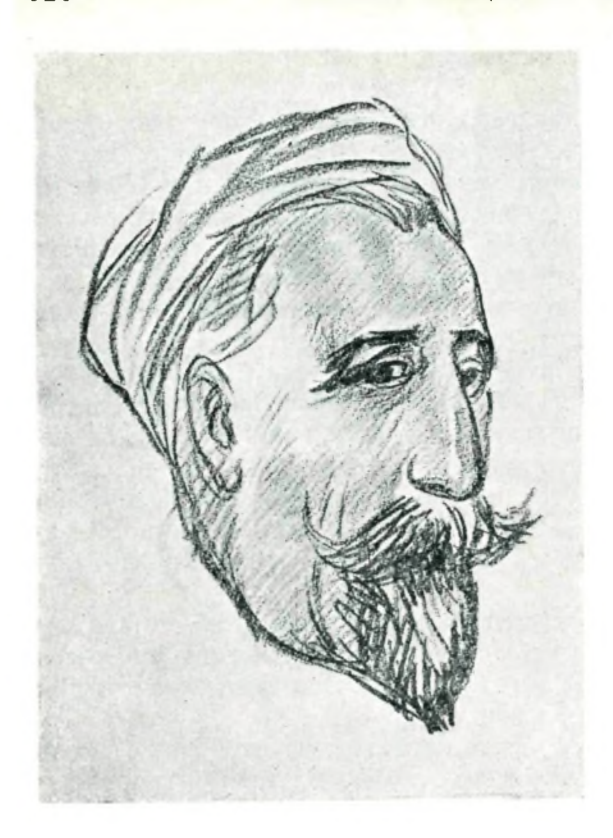
Имеющаяся на гравюре подпись указывает, что автором портрета является Пюжо, исполнивший его с натуры в 1776 г.[41].

Приведенное указание представляет с искусствоведческой точки зрения существенный интерес, так как собственноручные работы этого мастера крайне редки. Рисовальщик портретов и миниатюрист Андре Пюжо известен, главным образом, по гравюрам с его оригиналов, исполнявшимся профессиональными представителями этой техники, как Ванджелисти, Вензак, Легран, Линье. Из его рисунков, упоминавшихся до сих пор в специальной литературе, я не знаю другого воспроизведенного, кроме портрета кардинала де Рогана, принадлежавшего Мариусу Пому[42]. Не играв, повидимому, никогда особенно крупной роли, Пюжо был забыт, и настолько, что, когда в середине XIX столетия барон Порталис составлял свой ценнейший труд о французских рисовальщиках XVIII в., он мог только отметить художника работавшим в конце XVIII в. и назвать пять его рисунков из частных коллекций. Биографические данные, которыми мы располагаем о нем, ныне не многим обширнее: Пюжо состоял членом двух академий, св. Луки и Тулузской, и был погребен в Сен-Бенуа 16 сентября 1788 г.[43].

Обычный круг портретировавшихся им лиц—ученые, изобретатели, писатели, внешний облик и характер которых мастер улавливал с большою тонкостью. То немногое, что мы имеем у него по части женских портретов, показывает его и здесь не менее сильным.

Общий стилистический и технический характер рисунков Пюжо роднит его, пожалуй, особенно близко с Кошеном-сыном. На эрмитажных листах это касается, собственно, иконографической стороны; обрамление Бюффона приводит на память скорее Моро-младшего. Здесь надлежит напомнить, что орнаментальная часть в обоих случаях выполнена отдельно от самых портретов и, в сущности, принадлежит не обязательно тому же художнику. Подпись на упомянутой гравюре Ванджелисти служит формальным свидетельством авторства Пюжо лишь в отношении фигуры самого Бюффона. Чуть менее уверенная техника в обрамлении второго портрета, со своей стороны, заставляет насторожиться. И, тем не менее, я склонен думать, что рисунки всецело принадлежат Пюжо. В названном выше подписном портрете Рогана, где всё выполнено пером и кистью и всё одною рукою, мастер показывает себя отлично владеющим орнаментальным рисунком.

Из двух вещей, под углом зрения портретного мастерства, трудно сказать, которая выше. Может быть, все же Женти-Бернар (см. табл. перед стр. 577). Некогда восхвалявшееся имя его сейчас мало кому что говорит. Но персонаж сам по себе занятен. Он образец каприза славы и еще более того, как малый, но с крайней ловкостью использованный талант мог одурачить целое общество. Шумный успех написанной им пьесы «Кастор и Поллукс» (1737), где всё сделала музыка Рамо, да стихотворные отрывки, ко времени прочитанные в разгаре ужинов и оргий, обусловили его знаменитость. За ними не было ничего. И, тем не менее, даже Вольтер поддался обману, превозносил Бернара, равнял его Овидию и первый присоединил к его имени эпитет Gentil, который при нем так и остался. Лишь хитрый немец Гримм понял, в чем дело, и предрекал неминуемый провал нетерпеливо ожидавшейся, лишь в отдельных стихах известной тогда поэмы Бернара «Искусство любви» («l'Art d'aimer»). Автор недаром откладывал ее издание, а когда она все же вышла и предсказание сбылось, его уже



АНАТОЛЬ ФРАНС
Рисунок Стейнлена
Музей изобразительных искусств, Москва

не было в живых. Женти-Бернар, впрочем, еще раньше сошел со сцены, как жертва всяческих излишеств, впав под конец во внезапный и полный маразм. Несчастие постигло его в 1771 г., и так как вскоре затем он был забыт, то надо думать, что рисунок предшествовал указанному году. Заметим вскользь, что меньшее техническое совершенство в орнаментальной части, о котором говорилось, может быть объяснено также более раннею, чем портрет Бюффона, датою. Именно здесь наиболее уместно упомянуть еще об одном изображении знаменитого естествоиспытателя, сделавшемся мне известным лишь совсем недавно. Это портрет Бюффона, исполненный маслом (62×50 см), принадлежащий ныне Государственному музею Московской области в Истре, куда он попал из бывшего имения Голицыных Петровского[44] (см. выше, стр. 21). То обстоятельство, что последнее принадлежало сестре И. И. Шувалова, находившегося в личных отношениях с Бюффоном, делает достаточно вероятным старинное предание о подарке этого портрета Шувалову самим Бюффоном. Как бы, впрочем, там ни было, это любопытная вещь, где писатель изображен значительно более молодым, чем на рисунке Пюжо. По типу и деталям портрет близок к написанному Друэ в 1761 г. и много раз гравировавшемуся впоследствии Лефевром, Хоубракеном, Боссельманом, Зихлингом и др. Не видав означенного прототипа и зная, с другой стороны, истринский экземпляр лишь по фотографиям, я затрудняюсь с определенностью высказаться о последнем, но полагаю, все же, что мы имеем дело не более, как с хорошей копией французской работы середины XVIII в.

В отношении к XIX в. материал как-то особенно беден. Искусство этого столетия в целом не составляет сильного места Эрмитажа, и только собра-

ние миниатюр продолжает отличаться богатством своего состава. Одною из лучших его вещей является портрет Гизо, исполненный Деларошем[45] (см. т. II, стр. 133). Исторические композиции последнего имели свой час славы, но он давно в прошлом. Наше время предъявляет к искусству другие требования, и из всего обширного творения мастера, как непререкаемо значительное и живое, уцелели лишь его портреты. Деларош — большой портретист и проявляет себя таковым не только в живописных работах крупного масштаба, но и в тех редких случаях, когда прибегает к миниатюре. Облик Гизо в том виде, как он представлен на эрмитажном портрете, облокотившимся о мраморный выступ барьера и заложившим руку за борт сюртука, был фиксирован художником, согласно данным Delaborde, в несколько вечеров 1837 г.[46]. Датированный 1839 г. экземпляр (масло) хранится в Новой глиптотеке Карльсберга в Копенгагене, но особенную популярность портрет приобрел, благодаря сделанным с него эстампам — гравюрам Каламатты и литографии Лассаля, вошедшей во вторую серию филипоновской «Galerie de la presse, de la littérature et des beaux-arts». Эрмитажная миниатюра подписана и датирована 1837 г. По выразительности образа, тонкости экспрессии и изощренности технической стороны — это один из шедевров художника. Она дает право причислять Делароша к самым выдающимся миниатюристам его века.

Указанная миниатюра является в Эрмитаже, если не говорить о гравюрах и литографиях, единственным изображением французского писателя XIX в. Немногое дают для этой эпохи и другие русские собрания. Главное, что я мог бы назвать, сводится к нескольким портретам Жозефа и

АНАТОЛЬ ФРАНС
Наброски Стейнлена
Музей изобразительных искусств, Москва

Ксавье де Местра, сохранившимся, как след их пребывания в среде петербургского общества.

Портрет первого был недавно обнаружен в собрании московского Исторического музея. Это карандашный рисунок (23×17,2 см) без подписи автора, но снабженный автографом изображенного (см. т. I, табл. перед стр. 593):

Lorsqu'étant vieux et sot, il valait moins que rien,
On lui demandait sa figure,
Qui? Dame d'importance et qui s'y connait bien
D'honneur, c'est presque une aventure.

C^{te} Maistre. St. Petersbourg 7/19 avril 1812[47].

Согласно любезному указанию Г.-Ф. Вермаля, тождественный портрет помещен в качестве фронтисписа (гелиогравюра) в монографии о де Местре Жоржа Гогордана[48], с обозначением, что он воспроизводит рисунок Фогеля фон Фогельштейна. В тексте книги (стр. 114—115) отмечается, при этом, что оригинал находился тогда в обладании одного из внуков де Местра, принадлежав ранее Свечиной, к которой и обращено имеющееся на обороте листа посвящение:

Docile à l'appel plein de grâce
De l'amitié qui vous attend,
Volez, images, et prenez place
Où l'original se plait tant[49].

Наличие на воспроизводимом нами рисунке иной надписи не оставляет сомнения в том, что мы имеем дело с другим экземпляром. Отличающее его высокое мастерство говорит о собственноручном повторении портрета самим Фогельштейном. Относительно того, кто имеется в виду сопутствующим ему посвящением, возможны лишь догадки—гр. Головина, Загряжская?

Тот же тип повторяется на литографии Виллэна, помещенной в качестве фронтисписа в издании J. de Maistre, Les soirées de St.-Pétersbourg, P., 1821, t. I, и на гравюре Обэра. И та и другая дают поворот головы в другую сторону и, согласно их подписям, исполнены с оригинала Буйона. В собрании И. С. Зильберштейна имеется рисунок карандашом, представляющий собою старую копию с оригинала того же типа. Он курьезен тем, что носит сделанное старинным почерком обозначение: «Автопортрет Михаила Воинова 25 Марта 1780 года». Возможность случайности сходства отпадает: изображенный имеет на шее крест ордена св. Маврикия и Лазаря, повидимому, одной из старших степеней (см. выше, стр. 381).

Портретов Ксавье де Местра насчитывается три. Устроенная в 1905 г. в Таврическом дворце историко-художественная выставка портретов показала, между прочим, один из них работы Штеубена. Написанный масляными красками портрет относится к последним годам жизни писателя и принадлежал тогда к коллекции П. С. Строганова[50]. Включенный в издание в. к. Николая Михайловича «Русские портреты XVIII и XIX вв.», он вошел в основной фонд нашей иконографии[51].

Два других не попадали в поле зрения исследователя. Оба являются рисунками и находятся—один в частном владении (собрание Н. И. Тют-

чева), другой—в Институте мировой литературы им. Горького в Москве (ранее также в собрании Н. И. Тютчева). Традиция видит и в том и в другом автопортреты де Местра.

На одном, носящем характер наброска и исполненном карандашом (см. выше, стр. 202—203), он изображен в профиль влево и по грудь (12×10 см). Время возникновения рисунка—около 1838 г.—указывает имеющаяся на обороте листа надпись пером, сделанная рукою де Местра и подписанная его инициалами. Эта надпись интересна сама по себе. Приводим ее полностью и с соблюдением орфографии подлинника:

J'en avais un; la mort me l'a ôté. Elle l'a saisi au commencement de sa carrière, au moment ou son amitié étoit devenue un besoin pressant pour mon cœur. 1787.

Depuis cette époque d'autres pertes sont survenues: quatre frères, cinq sœurs, tous les compagnons de ma jeunesse, tous mes enfants. Mais un court espace de temps me sépare d'eux; je ne murmure pas. 1838.

Bonheur, santé et longue vie à mon excellent ami Dmitri Dolgorouky

X. M.[52].

Старинное предание приписывает исполнение рисунка, как упоминалось, самому де Местру, и ничто, на мой взгляд, не противоречит тому, чтобы он был автопортретом. Не так обстоит дело со вторым (см. стр. 917).

Этот лист, идущий от того же названного в приведенной надписи Д. И. Долгорукова, представляет писателя, можно думать, лет на двадцать моложе. Поворот тоже в профиль, но в другую сторону, фигура взята по локоть, техника: итальянский карандаш и кисть акварелью (16×10 см).

Под рисунком обозначено пером: «Comte Xavier de-Maistre», а на обороте: «portrait dessiné par l'auteur». В вопросе об авторстве портрета это обстоятельство не решает ничего. Свидетельство о личности изображенного—да, но отнюдь не подпись исполнителя рисунка. Если даже надпись сделана, что вероятно, Д. И. Долгоруковым, который мог быть осведомлен лучше кого-либо, то и тогда в основе его утверждения лежит, повидимому, ошибка.

Уже при первом взгляде принадлежность обоих портретов одной и той же руке кажется невероятной. При всех художественных достоинствах, отличающих первый, его манера характерна для любительских работ начала прошлого столетия. Так рисовали в альбомы, и к таким же приемам прибегали первые светские дилетанты литографии. Фактура второго рисунка указывает на профессионала. Искание известной эффектности, интерес к передаче костюма, ощущение материала и, прежде всего, высокая техничность. Чтобы одно лицо прибегало к столь разным в принципе приемам и чтобы развитая стилистически, к тому же, более поздняя манера наблюдалась у него в более ранний период, малоправдоподобно.

Я не верю, чтобы в данном случае перед нами был автопортрет, но, кажется, узнаю и настоящего автора. Общий характер рисунка, как и технические навыки, чрезвычайно напоминает Гампельна—того глухонемого художника, чьи работы в кругах, близких де Местру, были часты. Бросающиеся на рисунке в глаза сетки моделирующих штрихов для названного мастера исключительно характерны. На лице они выражены несколько менее, чем обычно, но, вглядываясь, мы видим их и здесь[53]. Заливка тоном говорит в пользу той же догадки. Положительно, это Гампельн, и особенно хороший Гампельн.

ЭМИЛЬ ВЕРХАРН
Рисунок Е. В. Гольдингер, 1912 г.
Литературный музей, Москва

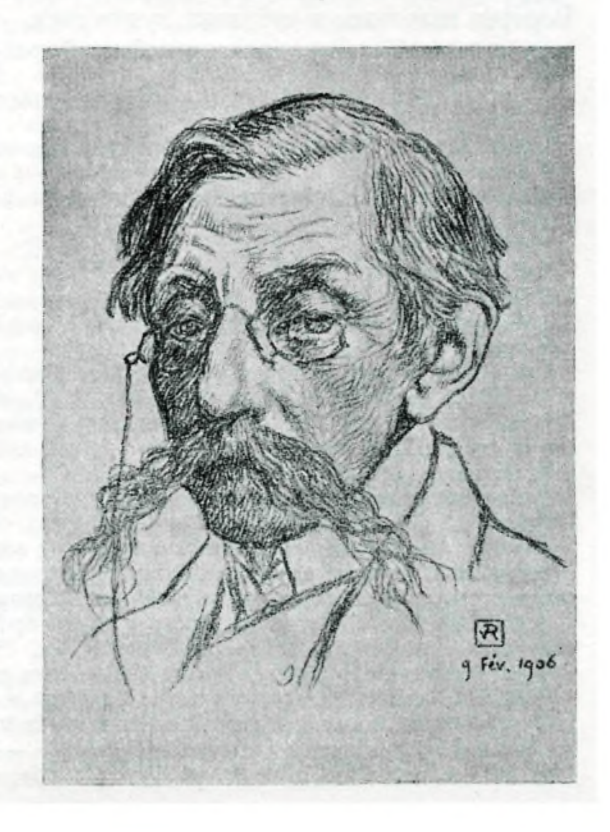
Следующие полстолетия не дают ничего, и только к концу девятисотых годов относятся четыре карикатуры в Русском музее, на которых фигурирует Золя: писатель, ведущий за руку Нана, у дверей Ватикана (см. выше, стр. 481); он же и Кестнер несут на плечах Дрейфуса; «Международная елка», на верхних ветвях которой помещены те же персонажи, и, наконец, лист, озаглавленный: «Пятнадцатая его попытка сделаться бессмертным»[54]. Их автор—А. А. Лабудзь (Лабуць), много работавший для петербургских юмористических журналов конца прошлого века и обычно подписывавший свои карикатуры псевдонимом «Овод». Художественное значение приведенных его работ крайне невелико, но, как отклики русского общества на злободневные события Франции, они все же не лишены некоторого интереса.

Литературные круги Франции периода, непосредственно предшествовавшего мировой войне, представлены столь же случайно, как и остальное. Небольшая компания довольно пестра: Анатоль Франс, Верхарн, Аполлинер. Особенно посчастливилось русским собраниям с портретами второго, образ которого мы имеем в отображении трех разных художников. Рисунок ван Риссельберга (итальянский карандаш и сангина; 35×28 см) в Музее новой западной живописи по глубине характеристики и мастерству техники является одним из самых значительных среди всего, что нам остается отметить (см. на след. стр.). Этот портрет Верхарна датируется 1907 г. Три другие исполнены в конце 1912 г., в связи с посещением писателем Москвы. Его приезд дал случай Пастернаку сделать превосходный рисунок в три карандаша, который еще на выставке Союза русских художников в 1913 г. обращал на себя внимание, а ныне принадлежит к лучшим работам художника в Русском музее[55]. Сосредоточенный, ушедший в себя человек ван риссельбергской интерпретации передан в момент оживления за чтением с эстрады своих произведений. Бойкая и мастерская

манера, умело использующая подцветку черного синим и сангиною, свидетельствует об отличном усвоении художественной техники французов. Не меньшей похвалы заслуживает и тонкость, с которой схвачены экспрессия и характерность жеста. Внизу на рисунке рукою Пастернака обозначено: «В мастерской на Волхонке», но эта надпись сделана поверх другой, стертой, где все же еще можно прочесть слова: «с натуры Верхарн читает свои... Лит...худ... кружка». Запечатлеть облик читающего поэта ставили своею задачею также два недурных карандашных наброска Гольдингер (Литературный музей, Москва), исполненных ею во время выступления Верхарна в Обществе свободной эстетики (см. стр. 924).

Той же категории, но сразу выдающие совсем другую ступень художественно-технической культуры, принадлежат четыре листа зарисовок Стейнлена с Анатоля Франса. Их поделили поровну Музей новой западной живописи и Музей изобразительных искусств[56]. Стейнлен не портретист, и потому, быть может, так неравноценны и иногда так мало между собою схожи все эти беглые наброски. Но самая беглость карандаша и сказывающаяся в каждом штрихе темпераментность мастера сообщают означенным листам что-то свежее и подкупающее ощущением живой модели (см. стр. 921). Лист с четырьмя набросками из собрания Музея изобразительных искусств уступает в последнем отношении другим, — да и кто представлен в двух нижних зарисовках?— но тому же собранию принадлежит и лучшая, на мой взгляд, голова с иронически острым взглядом вбок скошенных глаз (см. стр. 920).

Начав с портрета Ронсара к концу хронологического ряда, мы находим снова поэтов. Sed alia tempora, и перед нами два представителя крайних течений, два анархиста от поэзии — Гийом Аполинер и Блэз Сандрар.



ЭМИЛЬ ВЕРХАРН
Рисунок ван Риссельберга, 1907 г.
Музей новой западной живописи, Москва

Картина Анри Руссо в Музее новой западной живописи «Вдохновение поэта»[57] достаточно знакома, чтобы о ней надо было распространяться. Но почему другу Аполинера понадобилось представить этого талантливого и яркого человека таким глупым и дать ему музу под пару? Оригинальничание, вызов филистерам, непременное «épater le bourgeois», а вместе с тем, привкус какой-то безнадежной пошлости. Самостоятельность стиля и достоинства формального порядка спасают положение. Законен, однако, вопрос: приемлемы ли сами эти достоинства? В столь актуальном сейчас вопросе о формализме не надо лучших примеров для иллюстрирования пустоты и фальши такового. Карандашный рисунок Модильяни, изображающий Сандрара[58] (32×24 см; там же),—явление того же порядка (см. стр. 927). Обобщение форм и крайний лаконизм средств выражения могут находить оправдание в абстрактном начале графических искусств, но они требуют тогда мастерства, которое в данном случае не возвышается над уровнем посредственности. Наконец, наиболее поздними в ряду наших портретов стоят изображения Анри Барбюса. В последние годы своей жизни писатель часто и подолгу живал в Советском Союзе, и сохранился ряд его изображений, сделанных советскими художниками. Два рисунка хранятся в Литературном музее, в Москве. Один из них датирован 27 июля 1933 г. и принадлежит Борису Антоновскому. Автором другого является художник Венециан. Оба рисунка сделаны с натуры. На рисунке Венециана писатель поставил свою подпись: «Henri Barbusse 1934». Более законченным является портрет Барбюса работы В. А. Милашевского (см. т. I, табл. перед стр. XCVII). Рисунок сделан тушью, разм. 36,5×26 см. Он предназначался для русского издания книги Барбюса «Золя» и помещен в ней фронтисписом (ГИХЛ, 1933, М.—Л.). Портрет находится в собрании художника, у которого сохранился также сочувственный отзыв писателя об этой работе[59].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Инв. № 2875; 33×22 см; у верхнего края старинная надпись: «Mr de Ronsard P.».

[2] Pierre Marcel, Les dessins français, I.—«Старые Годы», 1911, VI.

[3] Louis Dimier, Histoire de la peinture de portrait en France au XVI siècle, Paris—Bruxelles, 1924, II, 306, № 11 (1222).

[4] «Клеман Маро поэт слуга».

[5] «Покоя короля».

[6] Dimier, op. cit., 330, № 1325.

[7] «Искусство», 1935, № 1; M. Dobroklonsky, Dessins des maîtres anciens, Léningrad, 1927, № 196.

[8] J. Guiffrey et P. Marcel, Inventaire général des dessins du Musée du Louvre et du Musée de Versailles. Ecole française, X., P., s. a.; «Revue de l'Art», 1927, 163.

[9] G. Wengstroem, A chronological catalogue of the drawings by Claude Mellan in the National Museum, Stockholm.—«Print Collectors Quarterly», 1924, Febr.

[10] «Apollo», 1935, Sept., 169.

[11] Рисунки значатся в эрмитажной коллекции под №№: Мароль (20,5×16 см) 4616; Пейреск (15×20 см) 4635; Гассенди (18×13 см) 4637.

[12] «Клод Меллан, который один дал бы своему городу некое славное имя, блистает своим резцом, который одной чертой изображает человеческое и божественное, создавая несравненное творение, коим гордится Аббевиль».

[13] «Le livre des peintres et graveurs par Michel de Marolles, abbé de Villeloin», Nouvelle édition revue par M. Georges Duplessis, P., 1855, 31, 40.

[14] M. Dobroklonsky, Dessins des maîtres anciens, Léningrad, 1927, № 220.

[15] А. Н. Бенуа, Собрание М. И. Мятлевой в С.-Петербурге.—«Золотое Руно», 1906, 11—12; S. Ernst, L'exposition de peinture française des XVII et XVIII siècles au Musée de l'Ermitage, à Petrograd, 1922—1925.—«Gazette des Beaux-Arts», 1928, I, 165, 243; L. Réau, Catalogue de l'art français, dans les musées russes, P., 1929,

БЛЭЗ САНДРАР
Рисунок А. Модильяни, 1919 г.
Музей новой западной живописи, Москва

№№ 105, 129, 141; L. Dimier, Les peintres français du XVIII siècle, Paris—Bruxelles, II, 1930, Grimou, № 42.

[16] В дополнение к имеющимся в литературе данным об этом эрмитажном портрете можно отметить, что на нем есть подпись художника. В нижней части газеты, которую держит Ла Фон, явственно читается: «Gascard a peint ce portrait qui est de Sr de Lafond ga... tier... a Ninegen ou...» («Гаскар написал этот портрет, который сделан с г. де Лафона га[зетчик] в Нинегене или... [нерзб.]»). Остальные слова не могли быть мной разобраны. Осталась также непрочтенной дата газеты, которая могла бы помочь датировке самого портрета. Если совершенно отчетливо читаются первые две цифры года, то цифры десятилетия неясны (16[..]).

[17] Экземпляр Севастопольской галлереи (68×55 см) происходит из собрания Демидова. Экземпляр Литературного музея (63×53 см) находился в имении Куракиных «Надеждино».

[18] А. Сомов, Каталог картинной галлереи Эрмитажа, ч. III [1908 г.], № 1538; Réau, op. cit., № 624.

[19] S. Ernst, op. cit., I, 181—182; Réau, op. cit., № 373.

[20] «С каким блеском он рассеял мрак заблуждения».

[21] «Вольтеру и Денизе, основателям Ферне, жители, которых любовь сделала воинами, себя, свои искусства и самую жизнь посвящают и почтительнейше приносят в дар».

[22] «У всех одно желание—да здравствуют оба».

[23] Williamson, The history of Portrait Miniatures, 1904, vol. II, pl. CII, 6.

[24] Desnoiresterres, Iconographie Voltairienne, P., 1879.

[25] Longchamp et Wagnière, Mémoires sur Voltaire, P., André, 1826, I, 64 (Additions au Commentaire historique).

[26] «Le portrait de M. de Voltaire y était si ressemblant que j'ai cru ne pouvoir mieux en disposer qu'en en faisant hommage à S. M. l'Impératrice de Russie, mon auguste bienfaitrice» («Портрет г. Вольтера был настолько схож, что я счел наилучшим употреблением для медали преподнести ее е. и. в. императрице всероссийской, моей августейшей благодетельнице»).

[27] «Каталог миниатюрам, финифтам и проч.» [1835 г.], № 294.

[28] Charles Oulmont, Portraits inédits de Voltaire.—«Gazette des Beaux-Arts», 1916, Août, 394.

[29] Приводится в первом инвентаре разных камней Эрмитажа, составленном в конце XVIII в. (т. II. С. 34. 23). Изображение Монтескьё обозначено, как портрет Дидро.

[30] 13×18,5 см; Русский музей, инв. № 32471; в «Описи рисунков Эрмитажа 1811 г.» значится под № 6751. Характерные прерывистые штрихи приближают фактуру этого рисунка, как и означенных портретов, к пунктирной манере.

[31] Инв. № 42237; размеры 28,5×19 см.

[32] «Римского политеизма Бертье (?). Набережная Августинцев 2».

[33] «Les dessins de la Collection Léon Bonnat au Musée de Bayonne», 1924, pl. 80; 1925, pl. 77.

[34] Charles Hart and E. Biddle, Memoirs of life and works of Jean-Antoine Houdon, Philadelphia, 1911, 53—61.

[35] Государственный музей изящных искусств. Кабинет гравюр. Каталог выставки «Французский рисунок XVI—XIX вв.», М., 1927, № 122.

[36] Миниатюра на кости; овал 8,5×7 см; инв. № 1904; происходит из собрания Долгорукова.

[37] «Придите, чувствительные сердца, я вручаю его вам».

[38] Портрет Бюффона носит инв. № 19971, размер листа 28,5×20,5 см; Женти-Бернар—инв. № 19070, 28×20,5 см; оба входили в состав сборных альбомов с рисунками, поступивших в бывшую библиотеку Штиглица от А. А. Половцова.

[39] На жертвеннике: «Aux graces», на листках в руках амура и около него: «Epitres à ...», «Poésies fugitives». В портрете Бюффона обозначенное на корешках книг заглавие «Histoire naturelle» читается слева направо.

[40] «Природа, расточая для него свои богатства, вложила в его гений и в его черты силу и благородство. Рисуя ее, он уплатил ей за ее благодеяния».

[41] Ambroise Firmin-Didot, Les graveurs de portraits en France, P., 1875—1877, II, № 2367.

[42] «Catalogue des dessins anciens gouaches et pastels principalement de l'école française du XVIII sc. composant la collection de M. Marius Paulme dont la vente aux enchères publiques aura lieu Galerie Georges Petit le lundi 13 Mai 1929», № 207.

[43] Portalis, Les dessinateurs d'illustrations au dix-huitième siècle, P., 1877, II; Benezit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, III.

[44] Петровское. Издание «Русские усадьбы», вып. 2-й. Очерк составлен М. М. Голицыным, СПб. 1912, стр. 91.

[45] Миниатюра на кости; 13,3×9,8 см; подпись: «P. Delaroche 1837»; инв. № 1134; поступила в Эрмитаж в годы революции из Аничковского дворца.

[46] «Œuvre de Paul Delaroche reproduit en photographie par Bingham accompagné d'une notice sur la vie et les ouvrages de Paul Delaroche par Henri Delaborde», P., 1858, pl. 26.

[47] «Когда, состарившись и поглупев, он ни на что уж не годился, у него попросили его изображение. Кто? Важная дама, знающая толк в вещах. По чести, это почти (любовное) приключение. Граф де Местр. С.-Петербург 7/19 апреля 1812 г.».

[48] George Gogordan, J. de Mestre, édit. Hachette, 1894 и сл.

[49] «Повинуясь исполненному прелести призыву дружбы, которая вас поджидает, летите, образы, и займите место там, где оригинал находит такое удовольствие бывать».

[50] «Каталог состоящей под высочайшим... покровительством историко-художественной выставки русских портретов, устраиваемой в Таврическом дворце, в пользу вдов и сирот павших в бою воинов», СПб. 1905, V, № 1270.

[51] Op. cit., II, № 47. Был ранее литографирован Краузольтом.

[52] «У меня был один; смерть отняла его у меня. Она унесла его в самом начале его жизненного пути, в ту минуту, когда его дружба стала настоятельной потребностью моей души. 1787.

С той поры я испытал другие потери: четыре брата, пять сестер, все товарищи моей юности, все мои дети. Но уж небольшой промежуток времени отделяет меня от них; я не ропщу. 1838.

Счастья, здоровья и долгой жизни моему превосходному другу Дмитрию Долгорукому. Кс. М.»

[53] Ср., напр., мужской портрет из собрания Эрмитажа, инв. № 39975.

[54] Рисунки графитом; ок. 25×20 см; инв. №№ 33571, 33860, 33896, 33930.

[55] Инв. № 6959; 42×29 см; каталог XI выставки Союза русских художников, 1913—1914 г., М., № 268.

[56] Один лист, принадлежащий Музею новой западной живописи, значится у Réau, op. cit., № 1113.

[57] Réau, op. cit., № 1093.

[58] Réau, op. cit., № 972.

[59] «Je trouve tout à fait excellent le portrait que vient de faire de moi Wladimir Milachewsky et je serais très heureux qu'il fût reproduit dans le livre Zola. Moscou. 3 août 1933. Henri Barbusse» («Я нахожу сделанный с меня Владимиром Милашевским портрет превосходным и очень хотел бы, чтобы он был воспроизведен в книге «Золя». Москва, 3 августа 1933 г. Анри Барбюс»).

ПОРТРЕТЫ МОЛЬЕРА И ФОНТЕНЕЛЯ ИЗ СОБРАНИЙ МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Сообщение Е. Гольдингер

I

Из полутора десятка портретов Мольера (мы говорим, конечно, о тех, которые сделаны современниками, видевшими его воочию, а не о бесчисленных воображаемых портретах, даже если они созданы гениальной фантазией такого мастера, как Гудон) три портрета приходятся на русские коллекции — немалая доля, свидетельствующая лишний раз о русской популярности великого комедиографа. Один из них принадлежал Демидову (Сан-Донато) и представлял собою пастель XVII в., сделанную с Мольера в натуральную величину «Вивьеном или Бантейлем». Этот портрет на распродаже демидовских коллекций был «куплен некоим парижским нотариусом»[1] и вернулся, таким образом, во французские руки. Другой был в собрании Шайкевича в Москве и являлся работой Пьера Миньяра — одним из трех-четырех мольеровских изображений, написанных знаменитым портретистом и бывшим, видимо, когда-то в собрании Александра Ленуара. И этот портрет вернулся из московской коллекции в конце 1890-х годов назад во Францию[2]. Наконец, третий портрет Мольера приобретен в самое последнее время (1938 г.) московским Музеем изобразительных искусств и ныне является единственным современным Мольеру его изображением, имеющимся в советских собраниях (напомним, что в том же Музее изобразительных искусств хранится известный рисунок Энгра—«Мольер в кресле», превосходный образец «воображаемых портретов»—см. его воспроизведение на стр. 915). Интерес, представляемый этим приобретением, и необходимость разобраться в нем тем существеннее, что портрет никогда не был ни опубликован, ни исследован в печати.

Совсем новым назвать его нельзя; он появился четверть века назад, в 1915 г., на «Выставке картин старых западных мастеров, организованной Обществом друзей Румянцевского музея»; тогда он принадлежал К. С. Клачковой[3]. После выставки портрет на два с половиной десятилетия снова ушел из поля общественного внимания и только теперь, попав в советский государственный музей, стал доступен зрителям и исследователям. По технике—это живопись масляными красками, по форме—погрудный профиль, вписанный в овал; размер — 66 × 54 см. Каталог выставки 1915 г. определял портрет, как изображение Мольера, сделанное Шарлем Лебрёном.

Можно ли принять оба эти определения? В том, что живопись современна названным именам, сомнения быть не может: портрет и по холсту, и по краскам, и по стилю относится к концу XVII в. и представляет собой произведение французской портретной живописи того времени. Таким образом, возможность связать его с обоими славными мастерами — с великим драматургом и со знаменитым художником — полная. Но в какой мере фактически оправдывается атрибуция 1915 г.? В иконографическом отношении дело решается здесь много достовернее, чем в художественном.

Сопоставляя наш портрет с описаниями современников и с бесспорными прижизненными портретами Мольера, мы не видим ни одного основания оспаривать ту традицию, которая шла издавна, из французских источников, числила это изображение под мольеровским именем в коллекции

Клачковой, вывела его с таким же обозначением на выставку 1915 г. и, наконец, теперь в том же качестве, включила его в состав Музея изобразительных искусств. Описание внешности Мольера, единственное сохранившееся, составленное его современницей, актрисой M-lle Пуассон, дочерью мольеровского приятеля в жизни и соперника по театру, нимало не противоречит этому, а ряд деталей прижизненных портретов подтверждает. M-lle Пуассон вспоминала в 1740 г.: «Он был не слишком толст, не слишком худ; роста он был скорее большого, нежели маленького, обладал благородной осанкой, красивой поступью; ходил он важно, вид у него был очень серьезный, нос толстый, рот большой, губы плотные, цвет лица темный, брови черные и резко очерченные, а разные движения, которые он производил ими, наделяли его физиономию чрезвычайным комизмом»[4]. Это примерно соответствует известным портретам Миньяра— «Мольеру в роли Помпея», из музея Французской комедии, и «Мольеру» из коллекции дворца Шантильи; но все же одна очень характерная деталь пропущена в воспоминании престарелой M-lle Пуассон — усы, которые Мольер обычно носил, которые наличествуют в большинстве его портретов и которым он придавал разную длину и форму в разные периоды жизни: то маленькие и взбитые, то большие и густые, то длинные и тонкие[5]. Наш портрет, по своим отличительным признакам, стоит в таком же отношении к миньяровским изображениям, в каком стоит к ним описание M-lle Пуассон; он ближе к этому последнему. Особенность нашего портрета, его профильное построение, дает бо̀льшую резкость тем чертам лица, о которых говорит актриса и которые смягчены в прямолинейных изображениях Миньяра. При очевидном общем сходстве головы на портрете Музея изобразительных искусств с традиционными обликами Мольера, в ней определительнее очерчены толщина носа, величина рта, плотность губ, резкость бровей. При этом наличествует и такая мольеровская деталь, как тонкие, длинные усы. Аналогичны ряду мольеровских портретов и детали костюма: парик с низко свисающими локонами, домашний халат из парчи с цветочным рисунком, кружева рубашки, слегка выступающие у подбородка[6]. Обычна для старинных мольеровских портретов и овальная форма.

Но экземпляру Музея изобразительных искусств свойственны еще две отличительные черты, дающие этому изображению особое место в мольеровской иконографии. Первая черта—старость Мольера, значительно более явственная, чем на миньяровском портрете из шантильийского собрания,—та преклонность возраста, которая подводит нас вплотную к самой последней поре мольеровской жизни, к началу 1670-х годов. Но, думается, и на этом нельзя остановиться при определении времени возникновения портрета. Вторая его отличительная черта ведет дальше: по профильности композиции—это единственный образец в мольеровской иконографии; все остальные изображения прямолинейны или даны в три четверти. Погрудная профильность нашего портрета сделана как бы в манере надгробного или мемориального барельефа, лишь выполненного живописными приемами. И в самом деле, представляется наиболее правдоподобным, что эта необычная строгая форма—профиль в овале—обусловлена тем, что перед нами действительно мемориальное изображение, сделанное современником по свежей памяти, тут же после смерти Мольера, вскоре после 1673 г., и сохранившее мольеровские черты такими, какими они были перед его кончиной. Тем самым, вероятно и то, что этот порт-

МОЛЬЕР

Портрет маслом Шарля Лебрена (?), 1670—1673 гг.

Музей изобразительных искусств, Москва

рет должен быть признан последним, заключительным звеном всей серии подлинных изображений Мольера.

Но кто автор портрета? Мог ли им быть, был ли им Шарль Лебрён? Мольера писали разные художники; кроме Миньяра, есть данные о Себастьяне Бурдоне, о Ноэле Куапеле, не говоря уже о меньшей братии или об анонимах. В данном случае все три упомянутых знаменитых имени исключаются: нет ничего общего у нашего портрета с холодной, плотной, закругленной живописью Миньяра, как нет сходства с жестко-увесистой манерой С. Бурдона, ни, тем более, с вялыми, академическими формами, свойственными Н. Куапелю. Наоборот, если довольствоваться широкими рамками «школы», то включение портрета в «школу Лебрёна» настолько очевидно, что не нуждается в специальных доказательствах. Однако, достаточно ли в нем примет и признаков, чтобы приписать его самому мастеру? То, что Лебрён лично хорошо знал Мольера,—бесспорно[7]. Имеются сведения и о том, что он портретировал Мольера, однако, эти данные уже нельзя считать точно установленными и проверенными[8]. В сводке Поля Лакруа имеются два упоминания об изображениях Мольера, сделанных, якобы, Лебрёном: одно—бывшее в коллекции гр. Деспинуа и проданное в 1850 г. Мольер представлен «молодым, со свитком бумаги в правой руке; он задрапирован в желтоватый плащ; сорочка скреплена рубином; выражение лица показывает, что ум поэта занят его творениями; фон—зеленый; холст, овал, 72×57 см.»; другое полотно изображает Мольера «на ложе, задрапированном свисающими тканями; он опирается на томы своих произведений; он представлен молодым, без парика; лицо дано в три четверти; одет он на античный манер, в голубой хитон; справа, у ложа, гений комедии, в виде амура, вооруженного луком, отгоняет аллегорические фигуры «Порока» и «Притворства»; в глубине—архитектурное сооружение, коллонада с зеленым занавесом; за ней—сад в стиле Ленотра. Картина находилась в собрании Парижской ратуши и сгорела при пожаре 1871 г.; сохранилась фотография в половину натуральной величины»[9]. Таким образом, как видим, обе вещи были не портретами в настоящем смысле слова, а композициями со всеми их особыми признаками. В таком апофеозном виде они могли возникнуть лишь после смерти Мольера. Лебрён пережил его почти на двадцать лет и, вообще говоря, мог сделать подобные работы. Но исчезновение их лишает исследователей возможности проверить теперь утверждения П. Лакруа. Атрибуция московского портрета Мольера должна в этих вопросах решаться, исходя из собственных его живописных и иконографических особенностей и их соответствия портретному наследию Шарля Лебрёна. В этом отношении общие художественные и живописные признаки портрета Музея изобразительных искусств не противоречат лебрёновскому авторству. Если бы Лебрён написал такую вещь, он остался бы в пределах своих технических навыков и своего понимания портретных задач. Но достаточно ли высоко и отчетливо проявилась лебрёновская индивидуальность, чтобы авторство самого мастера казалось достовернее, чем осторожная «школьная» атрибуция? На это дать утвердительный ответ еще нельзя. Необходимо дополнительное детальное сопоставление с лебрёновскими работами поздних годов (1770—1790), а это требует привлечения материалов французских коллекций. Пока можно лишь с известной приближенностью считать, что сумма лебрёновских признаков представляется все же большей, чем данные за анонимную «школьную» атрибуцию нашего портрета.

II

Несравненно проще и бесспорнее обстоит дело со вторым интереснейшим портретом другого французского писателя в коллекции Музея изобразительных искусств—с изображением Фонтенеля работы Риго. Если для Лебрёна, «исторического живописца» по преимуществу, портретизм был боковой, второстепенной ветвью творчества, то Риго—портретист и по специальности и по призванию, один из величайших мастеров этого жанра во французском искусстве.

Это—художник, изобразивший наиболее ярко век Людовика XIV. На его портретах в важных и величественных позах выступают представители буржуазных верхов, придворной аристократии, члены королевской семьи и, наконец, сам король. Герцоги, пэры, маршалы, принцы королевского дома, финансисты, советники, артисты, художники, лица духовного звания—всё придворное окружение и сам «король-солнце» проходят перед нами на его полотнах, окруженные пышным реквизитом репрезентативного портрета. Художник умело располагает тяжелые складки занавесов и мантий, подбитых мехом, дорогих тканей одежды, шелка, бархата, кружев, создавая сложные узоры линий, игру светотени, сдержанное звучание красок.

Среди этих парадных и очень нарядных изображений небольшой погрудный портрет (живопись маслом, разм. 0,54×0,46) известного писателя, ученого и философа XVIII в., автора знаменитого «Разговора о множестве миров», Бернара де Фонтенеля, из собраний московского Музея изобразительных искусств, лишенный всякой репрезентативности, кажется, на первый взгляд, совсем не принадлежащим кисти Риго.

Фонтенель изображен в простом домашнем наряде, с беретом на бритой голове. Тонкое, умное лицо уже очень пожилого человека обращено к зрителю. Кисть художника мягко моделирует несколько обрюзгшие формы лица, живые глаза с приподнятыми бровями, переливы красного бархатного берета и желто-коричневого камзола. Портрет очень прост по композиции. На сером фоне выделяется реалистически написанная голова, мягкие переливы желто-розовой гаммы красок создают впечатление теплоты и живописности. Простота трактовки, прямая, непосредственная передача модели, явная интимность изображения заставляют думать, что это—подготовительный этюд для портрета иного, парадного склада, обычного для Риго, и что мы имеем в этом этюде подлинного, домашнего Фонтенеля, в его каждодневном облике,—что придает нашему портрету настоящий документальный интерес (см. т. II, табл. перед стр. 49).

Портрет поступил в Музей изобразительных искусств в 1927 г. До этого времени он находился в собрании Эрмитажа в Ленинграде, куда попал, по архивным данным, в 1811—1812 гг., будучи приобретен в Париже, на аукционе Виван-Денон, как портрет Фонтенеля работы Г. Риго.

Традиционно эта атрибуция сохранилась и в сомовском каталоге Эрмитажа, и в каталоге произведений французских художников в СССР Луи Рео[10].

В «Книге жизни» Гиацинта Риго[11], которую он вел из года в год, в части I (подлинные портреты, написанные самим художником), под годом 1702, значится: «M-r Fontenelle... 150», а в части II (копии с портретов Риго, сделанные в его мастерской): «одна копия с M-r Fontenelle... 50».

Жюль Роман, публикующий «Книгу жизни» Риго, дает примечание, в котором перечисляет все известные ему портреты Фонтенеля как оригиналы, так и повторения. Подлинным портретом Риго он считает портрет,

находящийся в музее Фабра в Монпелье, а повторением его—публикуемый нами бывший эрмитажный портрет. Помимо этого, он находит реплики в Руане (музей) и в Гренобле (собрание г. Эскаля). Еще один был продан в коллекции Марсиль в 1857 г.

Жюль Роман в своем примечании делает ошибку. Портрет из Монпелье не идентичен с эрмитажным. Несомненный подлинник музея Фабра изображает Фонтенеля гораздо более молодым, если считать, что именно о нем упоминает Риго в своей «Книге жизни» под 1702 г. В это время Фонтенелю было 45 лет. Это также погрудное изображение, но характер его совершенно иной. Прежде всего, это репрезентативный портрет. Писатель изображен с гордо поднятой головой и блестящим взором. Большой берет покрывает его голову. Белая рубашка расстегнута на груди, и через петли ее продернута лента. Плечи окутывают пышные складки плаща. Портрет этот, повидимому, имел успех, так как он был много раз гравирован для старых изданий сочинений Фонтенеля.

Лицо, изображенное на нашем портрете, очень сходно с портретом музея Фабра, и потому не возникает сомнений в том, что это действительно портрет Фонтенеля, как традиционно указывают на это акты эрмитажного архива, сомовский каталог и как это безоговорочно признает в своем каталоге Луи Рео. Что касается авторства Риго, то сколько-нибудь серьезных возражений против этой атрибуции как по характеру и стилю живописи Риго, так и по соображениям хронологическим также нет. Вполне возможно, что Риго мог написать портрет Фонтенеля в старости: Риго умер в 1743 г., а Фонтенель—в 1757 г. Учитывая, что Фонтенелю в 30-х годах было более 70 лет, что вполне совпадает с возрастом старика, изображенного на нашем портрете, следует считать, что он был написан именно в это время. Можно предположить, что по какой-то причине он не попал в «Книгу жизни» Г. Риго.

Опубликованный нами портрет, представляя несомненную иконографическую ценность, чрезвычайно интересен и с искусствоведческой точки зрения, как, повторяем, редкий образец реалистического портрета в декоративном, барочном творчестве Риго.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Jacob Bibliophile (Paul Lacroix), Iconographie Moliéresque, 1872, 5.

[2] Henri Bouchot, Un portrait de Molière, signé par Mignard.—«Gazette des Beaux-Arts», 1 décembre 1892, 3 par., VIII, 506—515.

[3] В каталоге выставки 1915 г. портрет значился под № 79.

[4] Henri Lavoix, Les portraits de Molière.—«Gazette des Beaux-Arts», 1872, 2 par., V. Ср. также Emile Dacier, Le musée de la Comédie-Française, 1905, 26—32.

[5] Jacob Bibliophile, op. cit., 2, 3, 6.

[6] Ibid., 3—11.

[7] Ср. Pierre Marcel, Charles le Brun, 1909.

[8] Исследователи лебрёновского творчества не занимались этим вопросом совсем; исследователи мольеровской иконографии делают сообщения не достаточно надежные и убедительные. У Жакоба Библиофила (Поля Лакруа), op. cit., картина, изображающая Мольера с гением (собрание Парижской ратуши), на странице XVII атрибутирована Ш. Лебрёну, а на стр. 6, в перечне мольеровской иконографии, значится под именем П. Миньяра, что явно невозможно,—подобные композиции не в характере миньяровской манеры.

[9] Jacob Bibliophile, op. cit., 3, 6.

[10] А. Сомов, Каталог картинной галлереи Эрмитажа, СПб. 1908, ч. III, 95; Louis Réau, Catalogue de l'art français dans les musées russes, P., 1929, 89, № 624.

[11] «Le livre de Raison du peintre Hyacinthe Rigaud», publié avec une introduction et des notes par J. Roman, P., 1919, Henri Laurens, éditeur, I, 94, II, 95.

ХУДОЖНИК ГЮБЕР И ВОЛЬТЕР

Публикация В. Левинсон-Лессинга

В Историческом музее в Москве хранится портрет Вольтера, не привлекавший до настоящего времени внимания исследователей, нигде не воспроизводившийся и мало кому известный (см. табл. перед стр. 945). Портрет этот, правда, был выставлен в 1905 г. на Историко-художественной выставке портретов в Таврическом дворце, но остался совершенно незамеченным в огромной массе выставленного материала. Едва ли приходится особенно этому удивляться, тем более, что чисто живописные достоинства портрета не настолько высоки, чтобы непосредственно, помимо иконографической стороны, приковать к себе зрителя. Было бы, однако, несправедливо чрезмерно снижать его художественное значение. Он писан уверенной и умелой рукой, хотя и не искушенной во всех тонкостях живописного ремесла. Художник не сумел извлечь ни особого богатства оттенков, ни особой звучности тона из одежды, но он отлично овладел сложной формой шапки и сумел придать живописное очарование игре ее извилин. Довольно поверхностно скользя по деталям формы и не проявляя ни особой тщательности, ни разнообразия в моделировке отдельных частей лица, он в то же время умело и точно набрасывает их основной рисунок и убедительно передает характерные структурные элементы, определяющие общий облик. Портрет не производит впечатления писанного непосредственно с натуры. Искренность и простота, с которыми художник подошел к модели, в соединении с живостью ее характеристики говорят, однако, за то, что он достаточно хорошо знал эту модель.

Имя автора этого анонимного портрета оставалось до сих пор неизвестным. Довольно скудные внешние данные (до поступления в Исторический музей портрет находился в московском Архиве министерства иностранных дел, куда был пожертвован М. Н. Галкиным-Врасским, получившим его по наследству от своего деда, Н. Ф. Врасского) не дают возможности до конца проследить его историю и с документальной точностью установить это имя. Разрешение этой задачи не представляет, однако, сколько-нибудь значительных трудностей. Имя автора портрета напрашивается само собой при первом же беглом взгляде. Оно подсказывается и живописной манерой, и характерным, знакомым по другим работам, типом Вольтера. Всё в этом произведении говорит за то, что оно исполнено Жаном Гюбером, близким приятелем и неутомимым изобразителем фернейского патриарха. Это убеждение находит опору и в приведенных выше соображениях. Наконец, жизнь Вольтера фернейского периода известна нам в таких подробностях, что было бы трудно предположить, чтобы не сохранилось никаких данных о писанном с него портрете, если бы этот портрет был создан каким-нибудь заезжим живописцем или же по какому-нибудь специальному поводу. Исключения крайне редки и относятся к работам, не имеющим документального или художественного значения.

Среди многочисленных изображений Вольтера, созданных Гюбером, портреты маслом крайне редки. Художественное наследие Гюбера, правда, еще далеко не полностью приведено в известность, но среди дошедших до нас его произведений можно назвать только один портрет в собственном смысле слова, не считая рисунков. Этот портрет, изображающий Вольтера в чепце, был найден в 80-х годах прошлого столетия в очень плохом состоянии на чердаке замка Коппе, принадлежавшего Неккерам, с кото-

рыми Гюбер был связан узами тесной дружбы. В этих условиях находка еще одного портрета работы Гюбера является, несомненно, ценным обогащением иконографии Вольтера. Чрезвычайно важным было бы выяснение времени и обстоятельств его создания. В настоящее время я могу высказать в этом направлении только некоторые предположения. Уже отмеченная редкость живописных портретов в творчестве Гюбера позволяет отнести к нашему портрету единственное, насколько мне известно, упоминание подобного портрета в современном ему документе, в особенности принимая во внимание, что упоминаемый портрет попал в Россию.

Е. Р. Дашкова рассказывает в своих «Записках», что во время своего первого заграничного путешествия в 1771 г. она познакомилась в Женеве с Гюбером. Во вторую свою поездку она снова встретилась с ним в Женеве в 1780 г. «Этот замечательный своим умом и способностями человек,—пишет Дашкова,—питал ко мне искреннюю дружбу; он подарил мне написанный им портрет Вольтера, и мы расстались самым сердечным образом». Дальнейшие следы подарка Гюбера Дашковой теряются. Он не упоминается в составленной после смерти Дашковой описи ее движимого имущества, подробно перечисляющей все принадлежавшие ей картины и портреты. Возможно, что он был, в свою очередь, подарен кому-либо Дашковой,— известно, что она часто одаривала своих друзей. Остается ждать счастливой случайности, которая позволит установить происхождение портрета, оказавшегося во владении Врасских. Едва ли, однако, возможно предположить, что в Россию мог попасть до 1814 г. (год смерти Н. Ф. Врасского) еще один портрет Вольтера работы Гюбера, нигде не упоминаемый.

Высказанное мною предположение о происхождении нашего портрета не разрешает, однако, еще вопроса о времени его написания. Он был подарен Дашковой почти два года спустя после смерти Вольтера. Это объясняет нам, почему Гюбер подарил Дашковой такое изображение Вольтера, которое было лишено всякого намека на шарж. Маловероятно, хотя эта возможность и не вполне исключена, что он был создан в это же время— по памяти и на основании более ранних зарисовок. Столь хорошо знакомое нам лицо Вольтера в старости так мало менялось на протяжении последних пятнадцати лет его жизни, что на основании анализа самого портрета трудно приурочить его к определенной дате. Черты лица в нем менее подчеркнуты и заострены, чем в изображениях Гудона, и оно кажется, в особенности на первый взгляд, более молодым. Впечатление большей округлости и мягкости в значительной мере определяется, однако, надвинутой до самых бровей шапкой, прикрывающей характерный высокий лоб, и окаймляющими лицо кудрями парика и жабо, скрывающим сухую, жилистую шею. Сказалась здесь отчасти и отмеченная выше некоторая суммарность трактовки. Относительная моложавость облика Вольтера на нашем портрете бросается в глаза и при сопоставлении с портретом, написанным в 1769 г. бельгийским художником Фассеном. Эта скромная работа небольшого художника (находится в частном собрании в Льеже), благодаря своей непритязательности и убеждающей искренности, является, безусловно, одним из ценнейших документов иконографии Вольтера. Художник тщательно фиксировал внешний облик модели, не пытаясь ее интерпретировать, не пытаясь проникнуть в то, что скрывается за предстоящими непосредственному и поверхностному наблюдению чертами. С натуралистической точностью изображает он тщедушную фигурку сидящего в кресле Вольтера в затасканном халате и колпаке, с пунктуаль-

ной тщательностью передает изборожденное морщинами лицо с глубоко посаженными маленькими глазками и большим мясистым носом и сморщенную старческую шею. Но холодный наблюдающий взгляд и плотно сложенные на груди руки придают хилой старческой фигурке решимость и энергию. При этом явственно ощущаешь, что этот контраст внутренней силы и физической дряхлости явился не итогом толкования художником образа, а непосредственно вылился из принятой моделью позы во время работы над портретом.

В нашем портрете эта внутренняя энергия, насыщенность большой жизненной силой, упорно сопротивляющейся подтачивающему действию времени, является доминирующей чертой. Художник пошел, однако, не по линии усиления контраста; он построил свой образ Вольтера не на противопоставлениях, а на подчинении противостоящих моментов тому, что в его восприятии было главным и типичным. Он преображает лицо модели, заставляет его казаться более молодым и в этом стремлении передать то основное впечатление, которое создавалось у людей, близко соприкасавшихся с Вольтером, невольно,—а может быть, и умышленно—бегло скользит по тем чертам, которые характеризуют старость. Это стремление подчеркивать в образе Вольтера его неиссякаемую энергию, вечную юность чувств и действий пронизывает все творчество Гюбера. Оно очень ярко сказалось, в частности, и в выборе тех тем, на которых Гюбер построил написанную им для Екатерины II серию сцен из жизни Вольтера, находящуюся в Эрмитаже. Приемы характеристики, которыми он пользуется здесь, правда, часто расходятся с теми, которые мы отметили в нашем портрете. Это вытекало, прежде всего, из поставленной задачи.

В письме к Гудону, которого он благодарил за присылку ему в подарок бюста Вольтера, Гюбер говорит о себе, что «проведя двадцать лет вместе с оригиналом и глубоко запечатлев его в своем сознании, он пытался передать скорее его характер, чем его черты....». Он использовал для этого все многообразие способов художественного выражения, которыми он владел, начиная от кисти и карандаша и кончая вырезыванием из бумаги. «Если вы видели Гюбера,—писал Вольтер г-же Дю Деффан,—то он сделает ваш портрет; он изобразит вас пастелью, маслом, меццо-тинто; он нарисует вас при помощи ножниц на игральной карте....». Путь, которым шел Гюбер к овладению характеристикой сложной личности Вольтера, не был путем чистого живописца. Выбор мотива и занимательность изложения захватывали его, в сущности, гораздо больше, чем чисто живописные задачи. Сложная и противоречивая натура Вольтера являлась постоянным объектом его изучения. Художественное наследие Гюбера показывает, что его усилия были направлены не на создание законченного, синтетического образа, а сосредоточивались почти исключительно на передаче отдельных элементов характеристики. Выражая в упоминавшемся уже письме к Гудону свое восхищение его произведением, он пишет, что считает эту работу наиболее замечательным из его шедевров «не только потому, что ему известны все связанные с ним трудности, но и потому, что в этом лице требовалось передать значительно больше, чем во всяком другом». Сознание этих трудностей, несомненно, отразилось в том, что он фиксировал в многочисленных набросках результаты своих наблюдений, но не пытался объединить свои впечатления, не решался заключить многообразие характеристики в законченную и всеобъемлющую форму. Художественное чутье, вероятно, подсказывало ему, что размеры и ха-

рактер его дарования ставили ему определенные пределы в этом направлении. К тому же, он слишком близко и слишком часто видел Вольтера. Великий человек представал перед ним в своем каждодневном обиходе, со всеми своими слабостями, причудами и капризами, сквозь сложный узор которых не всегда было легко разглядеть основные очертания его многогранного облика. Гюбер был своим человеком в доме Вольтера, и это неизбежно создавало известное нарушение перспективы. Он чувствовал масштаб фигуры, но не мог отойти на достаточное расстояние, чтобы охватить ее целиком единым взглядом. Редкость живописных портретов в творчестве Гюбера является поэтому не случайным явлением, а коренится непосредственно в направленности его исканий. Он избирал менее ответственные, более гибкие формы выражения. Беглый этюд и живой, остроумный анекдот позволяли легче овладеть многообразием и сложностью характеристики, чем тщательная живописная проработка формы. Гюбер был, прежде всего, блестящим и остроумным рассказчиком; об этом говорят не только его художественные работы, но и воспоминания его современников, наслаждавшихся его беседой. Поэтому он облек свои художественные высказывания в форму своеобразного живописного дневника, при перелистывании которого из беглых зарисовок, из отдельных штрихов, из мелких эпизодов складывается, шаг за шагом, та характеристика, которую он не решался дать в более лаконичной и обобщающей форме портрета. Показательно в этом отношении, что Гюбер дал награвировать на двух листах несколько десятков своих зарисовок головы Вольтера, как бы подчеркивая этим, что только их совокупность даст о ней цельное представление.

Упоминавшийся уже портрет в замке Коппе, запечатлевший облик философа в определенный момент его жизни, легко укладывается в один ряд с этими работами. Совершенно иное место занимает портрет Исторического музея. Мы не знаем, как относился сам Гюбер к этой работе, но из того, что он подарил его Дашковой после смерти Вольтера, можно с полным правом вывести заключение, что он рассматривал его, как известный итог, как своего рода окончательное суждение, которое сложилось у него, может быть, и значительно раньше этого времени, но которое он охотно прокламировал теперь во всеуслышание. Допустимо предположить, что он сознательно стремился при этом к тому, чтобы портрет попал именно в Россию—не только потому, что там шло накопление вольтеровских реликвий, но, прежде всего, так как там находилась исполненная им при жизни Вольтера серия картин, которую он мог не захотеть оставлять теперь единственным памятником своих отношений с великим человеком. Но отбросим все эти предположения, как бы ни казались они убедительными. Мы вполне можем ограничиться одним непосредственным впечатлением от портрета, чтобы признать за ним значение своего рода художественного резюме взаимоотношений писателя и художника. В этой связи он представляет для нас двоякий интерес. Взаимоотношения эти, развивавшиеся на протяжении двадцати с лишним лет, были теснее и глубже, чем это кажется при поверхностном знакомстве с творчеством художника, специализировавшегося на шутливых, слегка шаржированных изображениях фернейского отшельника. Вольтер раздражался на эти шутки, называл Гюбера карикатуристом, но, тем не менее, сохранял с ним дружеские отношения до самой смерти, так как чувствовал, что за этими насмешками кроется глубокая и искренняя привязанность.

Едва ли удастся когда-нибудь проникнуть в самую глубь этих отношений,—для этого не имеется, к сожалению, достаточно материала,—но не подлежит сомнению, что они отличались большей содержательностью, чем это может казаться на основании одних лишь художественных произведений Гюбера. Об этом говорят не только длительность и прочность отношений, свидетельствующих о том, что Гюбер обладал качествами, которые внушали уважение Вольтеру. Отзывы современников и отчасти скудное литературное наследие самого Гюбера характеризуют его, как человека незаурядного ума и широкой культуры. Художественное творчество для Гюбера—любителя-дилетанта, занимавшегося искусством исподволь, в часы досуга, а не профессионала-художника—было в значительной мере забавой и развлечением, а не основным содержанием жизни. Оно придавало приятную остроту его отношениям с Вольтером, не исчерпывая их, однако, и служа скорее источником размолвок, чем сближения, несмотря на все попытки Гюбера убедить его в том, что оно является действенным орудием пропаганды его славы. Гюбер стойко выдерживал все нападки Вольтера, клеймившего его карикатуристом и пасквилянтом, и оставался верен до конца надетой им маске шута при короле философов и писателей. Но в этой форме отношения художника и его модели строились только одной своей стороной, обращенной к внешнему миру. Великий актер Вольтер, конечно, отлично понимал, что это игра, хотя не находил в ней особого удовольствия. Превосходной иллюстрацией тех отношений, которые этой игрой маскировались, служит наш портрет. Таким спокойно сосредоточенным, полным внимания, без тени рисовки приходилось видеть Вольтера, вероятно, одним лишь близким друзьям в минуты беседы. Вольтер не позирует перед собеседником, не наслаждается тонким остроумием собственного рассказа. Так мог он выглядеть в обществе Даламбера и Кондорсе, обсуждая статью для Энциклопедии. Этот портрет достойно венчает собой созданную Гюбером серию изображений Вольтера «в халате и туфлях», внося в нее необходимую поправку. Но в то же время он дает нам интимный облик философа, который должен занять в нашем представлении место рядом с портретом Латура, запечатлевшим автора «Орлеанской девственницы», и статуей Гудона, увековечившей образ вождя.

Художественная неравноценность этих произведений едва ли может служить препятствием для такого сопоставления. Гюбер писал Вольтеру по поводу неудачной статуи Пигаля: «Умение схватить сходство не всегда является уделом великих скульпторов; оно свойственно маленьким чувствительным существам—женщинам, детям и мне». Судя по отзывам современников, Гюбер был прав. Но проблема сходства, как он сам же выразился об этом в письме к Гудону, заключалась для него не столько в верности чертам, сколько в верности характеру. Он пытался найти ее разрешение в течение всей своей жизни и, как он сам пишет об этом в том же письме, «остался неудовлетворенным всеми попытками, которые делались в этом направлении». По сделанному там же признанию, разрешить ее полностью удалось одному Гудону. Бюст Гудона, говорит он, «не только всецело осуществляет мои идеи, но значительно их превосходит. Вы вернули его вашим друзьям и вы дарите его потомству, так как можно говорить сколько угодно о том, что сходство имеет мало значения для тех, кто никогда не видел оригинала, но те, кто по сочинениям Вольтера уловят его дух, узнают его в вашем произведении, благодаря непре-

одолимой силе заключенной в нем истины». Было бы, несомненно, тривиальностью подчеркивать правоту Гюбера в оценке произведения Гудона. Едва ли кто другой из великих людей так неразрывно связан в нашем представлении со своим художественным воплощением, как Вольтер с образом, созданным Гудоном. Но для нашей оценки портрета важно, что указание Гюбера на общность тенденций находит несомненное подтверждение при сопоставлении его с произведением Гудона. Ценно при этом то, что он создан независимо от последнего. Если бы дело ограничивалось только общностью характеристики, значение нашего портрета было бы, конечно, невелико и ограничивалось бы, в сущности, лишь подтверждением иконографической ценности произведений Гудона, в чем едва ли имеется необходимость. Но он, несомненно, вносит некоторые новые черты в тот облик, который складывается из работ Гудона. Вольтер Гудона—Вольтер предсмертного триумфа в Париже, последняя вспышка яркой и острой мысли в разрушенном теле, мысли, способной существовать и действовать и после смерти. Вольтер гюберовского портрета насыщен не только мыслью, но и волей, и полон жизненных сил. В нем чувствуются громадная жизнеспособность и темперамент бойца. И то, что эти черты запечатлены в интимном портрете, исполненном художником, знавшим Вольтера так близко, придает этому портрету неоспоримую ценность, как иконографическому документу.

Значение его в этом отношении не умаляется тем, что он не писан непосредственно с натуры. В основе его частично лежат зарисовки, вероятно, довольно многочисленные, но почти не приведенные в известность. Что эти зарисовки делались с натуры, подтверждается одной из картин эрмитажной серии, на которой художник изобразил самого себя рисующим Вольтера, играющего в шахматы. Наброски эти не были, однако, подготовительными рисунками в собственном смысле слова, и решающая роль в создании портрета принадлежала не им, а тому материалу, который годами откладывался в памяти художника. «Фигура Вольтера,—говорит в своих мемуарах Мармонтель, посетивший Вольтера в 1759 г.,—так живо запечатлелась в его воображении, что он изображал его в его отсутствие совершенно так же, как и имея его перед собой размышляющим, пишущим, действующим и во всех возможных позах». Эту исключительную зрительную память Гюбер изощрял в искусстве вырезывания силуэтов, которым он владел с поразительным мастерством. Для любительства Гюбера характерно, что он уделил столько внимания отрасли, лежащей, собственно, за пределами чисто профессионального искусства, которую он, однако, сумел поднять на большую художественную высоту. Эти вырезки и создали известность Гюберу, которого современники обычно называют «le grand découpeur de Genève». «Он настолько привык вырезать силуэты Вольтера,—рассказывает Гримм,—что он вырезывал их, держа руки за спиной; или же, обходясь без помощи ножниц, он разрывал руками карту и давал вам готовое изображение фернейского патриарха».

Из этих работ Гюбера, расходившихся по всей Европе, до нас дошло очень немного. Значительное число их, несомненно, должно было сохраниться и, вероятно, продолжает мирно покоиться в забытых альбомах и папках. А между тем, этот материал мог бы составить весьма любопытную галлерею портретов Вольтера. Не подлежит сомнению, что подобные вырезки должны были попасть и в Россию в XVIII в., и можно надеяться, что кое-что из них найдется в музеях, библиотеках и архивах СССР. Ведь

всего лишь в последние годы удалось обнаружить или, точнее говоря, опознать и только-что рассмотренный нами портрет и целую серию картин, поступившую в 1934 г. в Эрмитаж.

История этой серии подробно рассказана в недавно опубликованной мною статье. Я ограничиваюсь здесь, поэтому, лишь краткими сведениями, служащими своего рода сопроводительным текстом к воспроизведениям этих картин в настоящем издании (см. т. I, табл. перед стр. 49, 65, 81, 97, 113, 129, 145, 161, 177).

Сохранившиеся в «Литературной корреспонденции» Гримма и Дидро и других литературных источниках XVIII в. указания на то, что Гюбером была написана для Екатерины II серия картин на сюжеты из жизни Вольтера, уже давно обратили на себя внимание и побудили Ж. Денуартерра еще в 1876 г. заняться их разысканием, не увенчавшимся, однако, успехом. Столь же безуспешны были и попытки В. В. Стасова, попытавшегося продолжать эти поиски. Картин не оказалось ни в Эрмитаже, ни во дворцах, и даже старые описи не сохранили о них никаких сведений. Они исчезли столь бесследно, что среди европейских специалистов стала прочно укореняться неизвестно кем созданная легенда, что картины погибли во время пожара Зимнего дворца в 1837 г.

Октябрьская революция, сделавшая достоянием трудящихся художественные сокровища, ревниво оберегавшиеся от посторонних взоров их прежними владельцами, извлекла на свет и затерянные картины Гюбера, украшавшие одну из гостиных в алупкинском дворце Воронцовых. Прошло, однако, еще больше десяти лет, прежде чем удалось отождествить их с исчезнувшей серией. Основанием для этого отождествления послужило совпадение сюжетов четырех из этих картин с картинами, упоминаемыми в «Литературной корреспонденции» и в переписке Екатерины II с Гриммом. Остается все еще невыясненным, когда и в силу каких обстоятельств картины попали во владение Воронцовых.

Первое упоминание об этих работах Гюбера мы находим в 1769 г. в заметке, помещенной в «Литературной корреспонденции», в которой Гримм сообщает, что Гюбер решил отныне посвятить себя живописи и послал в качестве пробы Екатерине II картину, изображающую прием императорского посольства в Ферне. Инициатива в создании серии или, по крайней мере, в предназначении ее Екатерине II, повидимому, принадлежала Гримму, через которого шли в дальнейшем все сношения Екатерины II с Гюбером. Но Екатерина была первое время, как будто, убеждена в том, что в этом принимал непосредственное участие сам Вольтер. Она лишь тогда поняла, что художественные упражнения его приятеля не доставляли ему никакого удовольствия, когда Вольтер обошел молчанием ее восторженные замечания по поводу полученных ею двух картин, которые она сочла его подарком. Сам Гюбер, по словам Гримма, остался в неведении относительно судьбы посланных им картин. Этим, вероятно, объясняется, в значительной мере, и медлительность его в продолжении работы, на которую Екатерина жаловалась Гримму. Серия была закончена им только в 1775 г. В процессе работы состав ее подвергся частичным изменениям. По крайней мере, в числе картин, привезенных Гюбером в 1772 г. в Париж, имелись две—«Вольтер среди друзей» и «Вольтер среди крестьян»,—которые не были посланы в Петербург. С нетерпением ожидавшиеся Екатериной картины, интерес к которым непрерывно подогревался Гриммом и в личных письмах к Екатерине и в заметках, появ-

лявшихся время от времени в «Литературной корреспонденции», не вызвали в ней, однако, большого восторга. «По приезде в Царское село я нашла эти картины в довольно темном и исключительно холодном помещении,—писала она Гримму в январе 1776 г.—Я была поражена и разразилась смехом только при виде пробуждения патриарха; живость его характера и нетерпеливость воображения не дают ему возможности делать одновременно только одно дело. Брыкающаяся лошадь и Вольтер, который ее укрощает, также очень хороша; развлечение в кабриолете также мне понравилось...». А через несколько месяцев она сообщает ему: «Мы устроим судьбу великого Гюбера, когда вы приедете, но его картины не произвели никакого впечатления в темноте на меня и при большом свете на принца Генриха...».

Достойно внимания, что картины не вошли в состав описи картин, находившихся во дворцах в 1783 г.,—не следует ли из этого, что они уже в то время покинули их стены? Этого мы не знаем, но следы их теряются до начала 900-х годов, когда они оказываются в Алупке. Не знаем мы и точного числа картин, посланных Гюбером, но среди девяти картин, найденных в Алупке, не оказалось «Приема посольства в Ферне».

Ряд наших картин открывается «Утром Вольтера». Это наиболее популярное произведение художника, известное еще в двух повторениях (в Женеве и в Париже, в музее Карнавале) и получившее сразу же широкую известность. Вольтер изображен в тот момент, когда он только-что вскочил с постели и, стоя посреди комнаты в ночной рубашке, с ночным колпаком на голове, натягивает на себя штаны, подпрыгивая на одной ноге, и в то же время диктует своему секретарю, сидящему справа от него за письменным столом. Эта в основе своей безобидная шутка едва не рассорила ее автора с Вольтером, так как некий ловкий гравер награвировал ее без ведома художника и снабдил свое произведение грубыми и плоскими стихами. Вольтер отомстил Гюберу в своем «Послании к Горацио», назвав его пасквилянтом и обвинив его в том, что он забавлялся на его счет, пока он полуживой лежал в постели. Примирение состоялось довольно быстро. «Я вам говорил сотни раз, что я знаю точно ту дозу смешного, которая нужна вашей славе»,—писал ему Гюбер в пространном ответе. «Падкость публики на всё, что хорошо или дурно вас изображает, заставляет меня постоянно быть к вам неучтивым. Я поддерживаю ее идолопоклонство моими картинами, и мой вольтеризм неизлечим... Всегда делали карикатуры на верховное существо... Подражайте господу богу, который только смеялся над этим...».

Вольтера раздражала в этом произведении, прежде всего, характеристика его внешнего облика. Художники, правда, всегда его огорчали. «Разве стоит труда писать меня, чтобы делать меня таким безобразным?»—говорил он своему секретарю Коллини. Денона он упрекал в том, что тот сделал его похожим на искалеченную обезьяну. Но он отлично отдавал себе при этом отчет в том, что его фигура невольно давала для этого повод, и откровенно восклицал, обращаясь к Пигалю, лепившему его статую:

Que ferez vous d'un pauvre auteur
Dont la taille et le cou de grue
Et la mine très peu joufflue
Feront rire le connaisseur?

Поэтому он и здесь готов был с этим примириться, хотя и писал Екатерине: «Мадам, ваша птица, которую зовут фламинго, довольно похожа

на те карикатуры, которые мой друг г. Гюбер сделал на меня: он снабдил меня ногами и даже шеей этой белой цапли».

Хуже было то, что, подчеркивая его нетерпеливый, полный кипучей энергии темперамент, художник не считался ни с его возрастом, ни с его болезнями. Однако, друзья Вольтера склонны были видеть в этой сцене не столько шарж, сколько правдивое изображение утреннего времяпровождения патриарха. Для Гримма эта сцена—«истинная и историческая правда». И при всей ее гротескности, приходится согласиться с тем, что она отлично передает ту неутолимую жажду работы, ту одержимость творчеством, которая так тяжело отражалась на его секретарях. «Казалось, что труд был необходим для его жизни. Большую часть времени мы работали от восемнадцати до двадцати часов в день»,—рассказывает в своих воспоминаниях Ваньер.—«Он спал очень мало и заставлял меня вставать несколько раз в течение ночи. Когда он сочинял театральную пьесу, он был, как в лихорадке. Его воображение его мучило и не давало ему ни малейшего покоя... Он диктовал свои письма, свои сочинения в прозе и даже небольшие стихотворения с такой скоростью, что я очень часто вынужден был просить его остановиться, не будучи в состоянии записывать за ним. Он даже читал диктуя».

Бурная интродукция «Утра» сменяется в нашей серии идиллическим, скромным «Завтраком»—выпиваемой на-ходу чашкой кофе, которую ему подносит кокетливая горничная мадам Дени—«прекрасная Агата», как ее называл Вольтер. Для Гюбера этот момент—не просто эпизод из домашней хроники, но тоже черточка в характеристике того человека, про которого Ваньер говорил, что «он не допускал никаких излишеств, кроме как в работе... Когда он работал, его часто приходилось предупреждать, что он ничего не ел. У него не было установленного часа ни для принятия пищи, ни для отхода ко сну, ни для вставания...».

Без всякого намека на шарж задумана и исполнена и третья картина нашей серии, изображающая Вольтера играющим в шахматы со своим вечным партнером, отцом Адамом, состоявшим при нем своего рода «чиновником особых поручений» и служившим любимой мишенью его насмешек. В задуманной Гюбером хронике игре в шахматы, действительно, следовало отвести особое место. Сам Вольтер говорил, что он «употребил на шахматы, пожалуй, больше времени, чем на какое-либо дело».

Одной из наилучших по живописи картин нашей серии следует признать ту, на которой Вольтер изображен в тот момент, когда он указывает садовнику место для посадки деревца. Очарователен пейзаж, весь пронизанный легким, прозрачным светом, мягко обрисовывающим характерный силуэт Вольтера. Здесь он в своей любимой стихии, среди тех «садов Эпикура», которыми он готов был гордиться перед самим Горацием. Но и здесь наслаждение и отдых—не в пассивном созерцании, а в упорном и настойчивом труде. Невольно вспоминаются те письма, в которых он говорит: «Я засадил свыше 20000 футов деревьями, которые я выписал из Савойи; почти все они погибли. Я четыре раза обсаживал большую дорогу орешником и каштанами, три четверти из них погибли, но и это меня не напугало. Как бы я ни был стар и немощен, я буду сегодня сажать, уверенный в том, что завтра умру. Другие этим воспользуются».

В хозяйстве Вольтера-помещика лошадям уделялось едва ли не столько же внимания, как садоводству и древонасаждению. Неудачи Вольтера на коннозаводческом поприще служили предметом развлечения друзей

и неоднократно были использованы Гюбером. Не приходится удивляться тому, что и в нашей серии нашлось место для Вольтера, укрощающего коня, и для Вольтера, отправляющегося на верховую прогулку. Правда, разъезжал он по своим владениям, обычно, в той коляске, которая изображена Гюбером ожидающей Вольтера, увлеченного посадкой деревьев, а в Женеву ездил не иначе, как в огромной старомодной карете. Но в плане той характеристики, которую набрасывал Гюбер, эти моменты были излишни и даже вредны. Он предпочел Вольтера в кабриолете— в том самом кабриолете, в котором он поехал однажды навестить своего врача, знаменитого Троншена, и, напуганный тем, что встретился с ним по дороге, послал ему на следующий день записку: «Зрелище молодого педанта семидесяти лет, правящего кабриолетом, встречается не ежедневно, мой дорогой эскулап. Я поправился и должен был вам кое-что сказать, у меня не было лошадей для кареты, и я решил поехать вас навестить, как молодой щеголь. Не выводите из этого жестоких заключений, что я чувствую себя обладающим здоровьем и т. д. Не клевещите на меня и любите меня...». Гюбер всегда был готов «клеветать» на его здоровье, и эпизод, очевидно, пришелся ему особенно по душе, так как он повторял его дважды. Но он был непрочь задеть и кокетство Вольтера—он заставил наехать его на камень, с которого его с трудом сталкивает конюх.

Полной загадкой остается последняя картина нашей серии, на которой Вольтер изображен стоящим на коленях, с воздетыми руками перед каким-то юношей, в окружении еще нескольких фигур. В этой фантастической сцене, которую не удается пока связать с определенным эпизодом из жизни Вольтера, чувствуется театральность, и ее хотелось бы поставить в связь с увлечением Вольтера домашними представлениями, которые неоднократно служили темами для насмешек Гюбера.

Такова картина домашней жизни Вольтера, набросанная его близким приятелем. Те, кто хотел бы найти в ней отражение событий, волновавших Вольтера в последние годы его жизни, испытают несомненное разочарование и не преминут упрекнуть художника в бедности воображения, пустоте интересов и даже в принижении образа Вольтера. Это едва ли справедливо. Ограничивая себя узкими рамками, строя на мелких эпизодах характеристику Вольтера-человека, каким он раскрывался в своей повседневной жизни, художник трезво учитывал свои силы и мудро очерчивал пределы живописного повествования. Будем благодарны ему за то, что, вместо сухого перечня событий, он дал нам живой образ одного из тех людей, самые мелочи жизни которых продолжают сохранять свой аромат, несмотря на то, что их фигура далеко переросла рамки своей биографии. Образ Вольтера так четко и законченно отлился в форму, созданную Гудоном, что иногда тревожит опасение, что, при всей его проникновенности и предельной выразительности, он способен претвориться в нашем восприятии в застывшую каноническую схему. Если произведения Гюбера смогут хотя бы отчасти помочь нам противостоять этому окостенению и оживить в нашей памяти тот противоречивый и непостоянный облик Вольтера, который рисуется нам из его писем и воспоминаний современников, то им, бесспорно, будет принадлежать одно из первых мест в его иконографии. Не следует ли оценить, поэтому, как счастливую игру истории, то, что они оказались соединенными в одном зале с работами Гудона в том самом городе, которому суждено хранить в своих стенах библиотеку и рукописи Вольтера?

ВОЛЬТЕР
Портрет маслом Жана Гюбера
Исторический музей, Москва

ПОРТРЕТ КОНДОРСЕ

Сообщение В. Лавровского

Есть все основания полагать, что публикуемый рисунок портрета маркиза де Кондорсе предназначен был в свое время художником для осуществления его в гравюре, в издании «Tableaux historiques de la Révolution Française», P., 1791—1804, 3 vols. Об этом свидетельствует портрет Кондорсе, гравированный Le Vachez с этого рисунка, помещенный на табл. 12-й т. III упомянутого издания (для удобства сличения воспроизводим и эту гравюру).

Сравнивая рисунок и гравюру, мы легко убеждаемся в правильности нашего предположения: совершенно очевидно, что гравированный портрет тот же, что и на рисунке; разница лишь в том, что гравюра лишена той легкости и изысканности оригинала, которые мы видим в уверенных и тонких штрихах рисунка. И это не удивительно: Le Vachez, отец и сын, коллективное творчество которых не всегда легко дифференцировать, в большей степени были торговцами гравюр и предпринимателями, нежели хорошими граверами.

Другое мы видим в виньетке, помещенной на гравюре в четыреугольнике под портретом. Duplessis-Bertaux, гравировавший эту виньетку, изображающую момент, когда Кондорсе был найден мертвым в камере тюрьмы в Bourge la Reine, видоизменил и расширил ее, придав ей характер значительно более сложной и самостоятельной композиции. Эта вполне удачная как в композиционном, так и в техническом отношении гравюра вполне оправдывает заслуженную репутацию Duplessis-Bertaux, как отличного рисовальщика и гравера, недаром прозванного своими современниками «Le Callot de nos jours».

Переходя к сличению текста, мы видим, что и подпись под портретом Кондорсе подготовлена шрифтом, соответствующим тому, которым награвированы все подписи под портретами в «Tableaux de la Révolution».

Единственное различие мы заметим в дате смерти; на рисунке помечено: «Mort le 28 mars 1793», на гравюре: «Mort le 28 mars 1794».

Эту ошибку можно объяснить, если мы вспомним, что Кондорсе умер 8 жерминаля второго года Республики, а при переводе этой даты на обычное летоисчисление легко могла произойти ошибка, так как второй год Республики включал в себя, как известно, часть 1793 и часть 1794 гг.; эта ошибка и была исправлена при гравировании. В остальном же тексты под портретом на рисунке и на гравюре тождественны.

Таким образом, из сличения рисунка, гравюры и текстов под ними мы имеем все основания считать, что воспроизводимый рисунок в свое время служил оригиналом для Le Vachez и Duplessis-Bertaux, награвировавших таблицу с портретом Кондорсе в «Tableaux de la Révolution».

Однако, установление этого факта не расшифровывает имени художника, нарисовавшего портрет Кондорсе. В литературе библиографической и специальной нет указаний, кто были авторы портретов в «Tableaux de la Révolution», за исключением нескольких, под которыми имеются, кроме имени гравера, и имена художников. Нашему портрету не посчастливилось, и он находится в числе анонимных портретов,—таким образом, мы поставлены перед задачей по мере представляющейся возможности осветить этот вопрос.

ПОРТРЕТ КОНДОРСЕ, ПОСЛУЖИВШИЙ ОРИГИНАЛОМ ДЛЯ ГРАВИРОВАННОЙ ТАБЛИЦЫ В ИЗДАНИИ „TABLEAUX HISTORIQUES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE“, 1791—1804 гг.

Рисунок приписываемый О. Сент-Обену

Частное собрание, Ленинград

CARITAT DE CONDORCET

DÉPUTÉ A LA CONVENTION NATIONALE.

Mort le 28 mars 1794.

Rien ne fatigue plus le crime que la vue de l'homme vertueux; rien n'épouvante plus les tyrans que l'existence d'un philosophe dont l'esprit d'indépendance forme essentiellement le caractère. Plus on a l'âme élevée, moins on est porté à fléchir sous la tyrannie. C'est à ces titres que Condorcet s'étoit attiré la haine que lui portoit Robespierre. Mais le dictateur avoit encore d'autres motifs pour proscrire cet homme célèbre: ce dernier avoit été chargé de présenter un projet de Constitution; ce travail étoit tellement opposé aux desseins de nos tyrans révolutionnaires, que s'il avoit été adopté, nous n'eussions jamais été en proie aux longues calamités dont nous avons eu tant à gémir.

Condorcet fut mis au nombre des premiers députés proscrits après le 31 mai; on le comprit dans l'acte d'accusation qui fut porté contre Rabaut, Brissot, Vergniaud, Fauchet &c. *Les témoins à charge étoient presque tous des chefs de la municipalité de Paris, à la fois conspiratrice et accusatrice. Mais la défense des accusés détruisit complettement toutes les inculpations. Le président du tribunal, voyant se manifester des sentimens de justice, écrivit à la Convention, que si elle laissoit prolonger l'instruction du procès, les formalités de la loi le jetteroient dans un grand embarras. C'étoit demander une autorisation pour égorger ses victimes. Cette lettre étoit escortée d'une députation de jacobins. Le décret qui autorisoit le juré à cesser l'instruction du procès, dès qu'il se croiroit assés instruit, fut un arrêt de mort. Les jurés votèrent froidement celle des députés les plus distingués par leurs talens, et la plupart aussi par leurs vertus.*

Condorcet n'avoit point été arrêté. Mais on découvrit enfin son asile, et on l'arrêta. Ce fut alors qu'il prit, dans sa prison, du poison dont il s'étoit muni. Ainsi périt un littérateur, un savant qui, sous ces deux titres, n'avoit d'autre égal dans l'Europe, que l'infortuné Bailly.

ТАБЛИЦА С ПОРТРЕТОМ КОНДОРСЕ В ИЗДАНИИ „TABLEAUX HISTORIQUES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE“, 1791—1804 гг.

Гравюра Ле Ваше (портрет) и Дюплесси-Берто (виньетка)

Старая атрибуция приписывает авторство этого рисунка Огюстену де Сент-Обену. Действительно, Огюстен де Сент-Обен трижды гравировал портрет Кондорсе: два раза в 1786 г. и один раз в 1795 г. по оригиналу J.-B. Lemort, фигурировавшему в Салоне на выставке в 1787 г.

К сожалению, ни одного из этих портретов нам видеть не пришлось, поэтому установление связи и тех или иных аналогий с упоминаемыми гравированными портретами мы сделать не могли, так же как не могли поэтому установить, восходит ли наш портрет к типу Лемора, как посмертный, или же он сделан художником по сохранившимся у него натурным зарисовкам.

Однако, установление того обстоятельства, что Огюстен де Сент-Обен трижды гравировал портрет Кондорсе,—как при его жизни, так и после смерти, равно как и рисовал его, указание на что мы находим в Portrait index. Ed. by W. Lane and N. Browne, Washington, 1906,—свидетельствует о том, что этот мастер, действительно, не один раз работал над портретом Кондорсе, и поэтому к старой атрибуции мы отнесемся со всем вниманием.

Огюстен де Сент-Обен, член знаменитой художественной семьи Сент-Обенов, был одним из типичных представителей блестящей плеяды рисовальщиков и графиков XVIII в. В его очень обширном и разнообразном творчестве едва ли не самое значительное место как по количеству, так и по качеству занимают рисованные и гравированные им тонкие профильные портреты его современников. Большинство известных нам его рисованных портретов набросочного характера сделано карандашом с натуры. Портретов же Огюстена де Сент-Обена, подобных нашему, мы не знаем, и, таким образом, он явился бы одним из малоизвестных и редких образцов его творчества.

Наш рисунок сделан пером и кистью (тушь). Размер его $0^{m}194 \times 0^{m}194$; мы измерили квадратную, залитую тушью часть рисунка по внутреннему обрамлению, до текста; бумага вержированная, с водяным знаком Van der Ley.

Как мы уже убедились, он подготовлен специально для гравюры и сделан, несомненно, такими приемами и с таким расчетом, чтобы, по возможности, дать граверу все технические указания и упростить разрешение задачи—воспроизведение оригинала. По своей технике рисунок этот очень близко стоит к гравюре, и это дает возможность сличать его с гравированными портретами, в данном случае Огюстена де Сент-Обена, в которых нет недостатка.

На нашем рисунке, сделанном уверенно и тонко, как бы гравированном иглой по металлу, мы, действительно, видим все приемы художника и его манеру трактовки деталей, которая так очевидна и постоянна в портретах, гравированных им хотя бы с Кошена, а также по собственным композициям.

Острый и суховатый бег линий, почти предельная тонкость рисунка, своеобразные особенности в трактовке волос и прокладке теней, помещение портрета в круге, на темном фоне, уподобляющем всю композицию камее (столь привычный прием Сент-Обена!), наконец, заштриховка лица, сделанная как бы на гравюре и совершенно совпадающая с гравюрными приемами художника,—всё это вполне может служить основанием для предположения, что автором воспроизводимого портрета является Огюстен де Сент-Обен.

Однако, в дальнейшем процессе изучения нами этого рисунка выявилось обстоятельство, которое требует быть отмеченным. Во втором томе

«Tableaux de la Révolution», табл. 19-я, мы находим лист, гравированный офортом Duplessis-Bertaux и законченный Berthault по оригиналу Фрагонара-сына. Этот воспроизводимый нами для целей сличения лист изображает также обнаружение в тюрьме покончившего с собой Кондорсе.

Надпись, озаглавливающая таблицу, гласит: «Condorcet se donnant la mort dans sa prison le 28 Mars 1794 ou 8 Germinal An 2-e de la République». А под гравюрой мы читаем: «Fragonard fils inv. & del.; Duplessis-Bertaux aqua forti; Berthault sculp».

САМОУБИЙСТВО КОНДОРСЕ

Таблица в издании „Tableaux historiques de la Révolution Française", 1791—1804 гг.

Гравюра Фрагонара-сына с его же рисунка

Из сличения этой гравюры с нашей виньеткой мы видим полную тождественность композиций и, таким образом, устанавливаем, что Фрагонар-сын официально закрепил за собой право авторства на эту композицию.

Вполне допустимо, конечно, что в первоначальный план издания «Tableaux historiques de la Révolution» входила задача воспроизведения под портретами в миниатюрном виде тех картин, которые в большом размере награвированы были в предыдущих томах и отражали события, имевшие связь с изображаемыми персонажами; поэтому на наш портрет и могла быть перенесена с гравюры композиция Фрагонара-сына.

Но наряду с этим предположением тотчас же возникает закономерный вопрос: не делал ли в это время портретов Фрагонар? Действительно,

литературные источники дают нам на это положительный ответ. В 1798, 1800 и 1802 гг. Александр-Эварист Фрагонар, молодой в то время художник и скульптор, выставлял в Салоне рисованные им мужские и женские портреты. К сожалению, нам неизвестны эти портреты Фрагонара, как и вообще его творчество этого периода. Мы знаем его лишь, как мастера, уже всецело принадлежащего XIX в., поэтому и вынуждены ограничиться лишь констатированием данного факта.

Возвращаясь снова к виньетке, находящейся внизу нашего портрета, в которой художник далек уже от граверных приемов и выявил себя вполне, как рисовальщик, мы видим ту же легкую и элегантную, что и на портрете, руку и настолько изысканную, что, безотносительно имени художника, мы должны увидеть в нем мастера, пропитанного еще всеми традициями графического остроумия и изощренности XVIII в.

Итак, мы изложили те основания, которые дают нам возможность сблизить наш портрет с творчеством Огюстена де Сент-Обена, и установили неоспоримый факт причастности Фрагонара-сына к композиции, изображающей смерть Кондорсе.

Относясь с полным уважением к старой и, добавим, авторитетной для нас атрибуции на нашем портрете, приписывающей его Огюстену де Сент-Обену, мы воздержимся высказывать свое суждение об авторе портрета и отложим его до более благоприятного времени, когда та или иная возможность даст нам в руки более разносторонний для суждения материал.

Мы удовлетворены тем, что, опубликовывая наш рисунок, имеем возможность дать новый портрет Кондорсе, этого блестящего представителя французской прогрессивной мысли XVIII в. и многостороннего ученого, числящегося в почетном списке академиков и нашей Академии наук.

ПИСАТЕЛИ ФРАНЦИИ В СКУЛЬПТУРЕ МУЗЕЕВ СССР

СКУЛЬПТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В СОВЕТСКИХ СОБРАНИЯХ

Обзор и публикация Ж. Мацулевич

Обширные архивы Советского Союза дали уже богатый документальный материал, который многообразно освещает наши давние культурные связи с Францией. Другим источником, но в иной форме, являются богатейшие музеи СССР, которые могут своими собраниями вещественно подтвердить глубокий интерес к французскому искусству и, особенно, к французской литературе в нашей стране и в то же время вскрыть новый иконографический материал. Эти памятники изобразительного искусства, рассеянные прежде в частных собраниях, зачастую недоступные исследователю и остававшиеся совершенно неизвестными, теперь сосредоточены в музеях и, благодаря внимательной и серьезной научной разработке, открывают много новых страниц в истории взаимоотношений русского и французского искусства и литературы. Свидетелями этого являются не только многочисленные портреты французских писателей в живописи, графике и скульптуре, многие из которых до сих пор не опубликованы, но и обилие произведений, иллюстрирующих сюжеты или воплощающих образы излюбленных героев французской литературы.

Музеи Советского Союза, и особенно Эрмитаж, обладают большим количеством очень интересных, с этой точки зрения, памятников французской живописи и графики, частью впервые публикуемых в настоящем издании. В области скульптуры, до сих пор сравнительно мало разрабатывавшейся, находим также ряд великолепных портретов французских писателей и связанных с ними деятелей, оставшихся неизвестными как исследователям, так и всем интересующимся сложной проблемой скульптурного портрета.

Одним из таких еще не опубликованных памятников является прекрасный, хотя и ретроспективный, бюст Пьера Корнеля работы Жан-Жака Каффиери, находящийся в Музее изобразительных искусств в Москве (см. т. II, табл. перед стр. 65). Подпись мастера, помещенная на спине бюста, у правого плеча, в складках откинутого воротника, гласит: «fait par J. J. Caffieri 1770». Несколько выше надпись: «Pierre Corneille né à Rouen le 6 juin 1606, mort à Paris le premier octobre 1684». Бюст терракотовый, поясной (выс. 74 см), задрапированный в плащ. Великолепны, как всегда у Каффиери, композиция складок и весь достигающий подлинной декоративности общий облик бюста. При этом лепка лица спокойная, волосы взяты большими плотными прядями, зато глаза с ясным взглядом, переданные близким к Гудону приемом (висящая точка посреди глубокого кольца), и неплотно сомкнутые губы, которые соединяются

в нескольких местах, готовые раскрыться, создают характерное для Каффиери искусственное, театрализованное оживление. Однако, надо отметить, что, по сравнению с виртуозными бюстами Пирона или Ротру, где изощренность техники и блестящая отделка деталей почти совсем заслоняют внутреннее содержание портрета, наш бюст Корнеля гораздо проще и сосредоточеннее. Он производит несколько неожиданное для манеры Каффиери впечатление своей компактностью, серьезностью и отсутствием свойственной всем его бюстам элевации. Но если вспомнить характеристику, которую давал себе, как собеседнику, сам Корнель:

J'ai la plume féconde et la bouche stérile,
Et l'on peut rarement m'écouter sans ennui
Que quand je me produis par la bouche d'autrui...[1]

или повествование Виньеля де Марвиля, как он, увидев Корнеля в первый раз, принял его за купца из Руана, то становится понятной и очень почтенной, особенно для Каффиери, попытка вложить в портрет это сложное психологическое содержание. Тем более, что образцом и источником вдохновения для скульптора служил портрет Шарля Лебрёна, предоставленный ему графиней de Bouville, внучкой брата Корнеля. Этот портрет был неоднократно гравирован—и прямо E. Ficquet, и обратно французом Gaucher, и немцем Walker. И надо сказать, что там лицо моделировано гораздо проще и содержание его гораздо беднее и безразличнее. Интересно, что наш бюст является самым ранним из всех сделанных Каффиери портретов Корнеля и не упоминается ни у кого из исследователей, даже французских[2]. Известно, что в театре Французской комедии находится подписной мраморный бюст с датой 1777, а в собрании Gaston le Breton в Руане хранится терракотовый бюст подписной и датированный 1775 г. Еще один терракотовый экземпляр был 11 июля 1803 г. продан за 33 франка на аукционе de Langeac в Париже[3]. Быть может, это и был наш бюст, попавший затем в Россию. К сожалению, отсутствие сведений об истории московского бюста Пьера Корнеля не дает возможности установить это точнее. Известно только, что он происходит из имения «Ярополец» Чернышевых-Безобразовых.

Другим скульптурным портретом, близким к эпохе Корнеля, является впервые издаваемый здесь терракотовый бюст неизвестного (выс. 75 см), на этот раз из Эрмитажа, поступивший сюда из Академии художеств и происходящий из собрания Фарсетти, в каталоге которого он значился, как «копия с Альгарди». Но при первом взгляде на этот замечательный портрет невольно отбрасываешь всякую мысль о копии. Смелая и уверенная лепка лица, свободная манера орнаментальной проработки волос и мягко рассчитанная светотень в длинных складках драпировки говорят о руке искусной и творческой, а никак не о руке копииста. Весь стиль произведения не вызывает никакого сомнения в его подлинности. Барочная композиция с широко взятым бюстом, который заканчивается волнообразной линией обреза, захватывающей верхнюю половину рук, умеряется замкнутым контуром всего целого. Обычное для барочного портрета соотношение лица и окружения, когда лицо трактуется, как одна из составных частей, и далеко не самая главная, в создании парадного и импозантного облика, здесь нарушено в пользу лица, в котором дана довольно острая, хотя и не глубокая характеристика. Наконец, самая техника, например, обработка глаз, бровей, и качество глины заставляют

ПЬЕР МИНЬЯР

Работа Куазево. Терракота, ок. 1690 г.

Эрмитаж, Ленинград

взять под сомнение и имя Альгарди, упомянутое в каталоге собрания Фарсетти, и вообще итальянское происхождение нашего бюста. По всему стилю он гораздо ближе к французской школе, а по манере компановки и обработки он очень напоминает знаменитый терракотовый бюст Великого Конде работы Куазево в Лувре[4]. Этому плодовитому мастеру, лепившему, кажется, всех более или менее видных деятелей времени Людовика XIV и приобретшему виртуозную свободу в композиции декоративного портрета, можно по праву приписать эрмитажный бюст. Кого же он изображает? Судя по аналогии с другими бюстами Куазево, такая острота индивидуальной характеристики допускалась им на портретах простых смертных или своих собратьев—художников. О том же говорят и легкая небрежность в одежде, расстегнутый ворот рубашки и отсутствие каких бы то ни было знаков достоинства и отличия. Черты лица, изображенного на нашем бюсте, чрезвычайно сходны со знаменитым бюстом Пьера Миньяра в Лувре, который принадлежит Мартену Дежардену[5]. Только лепка его и манера композиции отличаются от эрмитажного, в котором мы можем признать бюст Пьера Миньяра работы Куазево (см. на обороте). Этот смелый человек и ловкий живописец, который внезапно на пятидесятом году жизни сделал головокружительную, блестящую карьеру, свалив по пути не маленького соперника—Шарля Лебрёна, был своим человеком в литературных кругах того времени, также насыщенных интригами и внутренней борьбой. Приятель Корнеля и Мольера, он заслужил от этого последнего невероятно претенциозное восхваление в скучных стихах по поводу его знаменитой в свое время росписи купола церкви Валь-де-Грас. В этом стихотворении «Gloire du dôme du Val-de-Grâce» Мольер в своем дружеском рвении, превознося Миньяра, делает за него тот один шаг, который ведет от великого к смешному. Там есть такие стихи:

Jules, Annibal, Raphael, Michel-Ange—
Les Mignards de leur siècle... [!][6]

Настоящим шедевром портретной скульптуры стиля рококо в Эрмитаже является терракотовый бюст (выс. 53 см) придворного архитектора-декоратора времени Людовика XV—Руссо, работы Огюстена Пажу (см. след. стр.). Бюст не имеет подписи, но его исключительное мастерство и особая живая выразительность, еще повышающаяся своеобразием лепки и обработки поверхности глины нежного телесного цвета, находят себе аналогии только в безусловных работах Пажу, и притом времени расцвета его творчества (60—70-е годы), как великолепный бюст графини Дюбарри[7] и бюст Ducis[8], находящийся в собрании Doistau. Особенно привлекательно в нашем бюсте и замечательно характерно для этой эпохи то обострение интеллектуального момента в портрете, которое, несомненно, возникает в дворянском искусстве под влиянием буржуазной критики Дидро, которая сокрушающе бьет по пустой элегантности, идеализации и лживости салонных портретов.

В бюсте архитектора Руссо мы видим необычную для придворного портрета и для самого автора Пажу простоту композиции нагого бюста с небольшим полукруглым обрезом à l'antique. Несомненно, классические увлечения, идущие из того же оппозиционно-буржуазного источника, уже дают себя знать. Припомним, что греческий храм для церкви Мадлэн был возведен архитектором Иври уже в 1769 г., а Суфло заканчивает

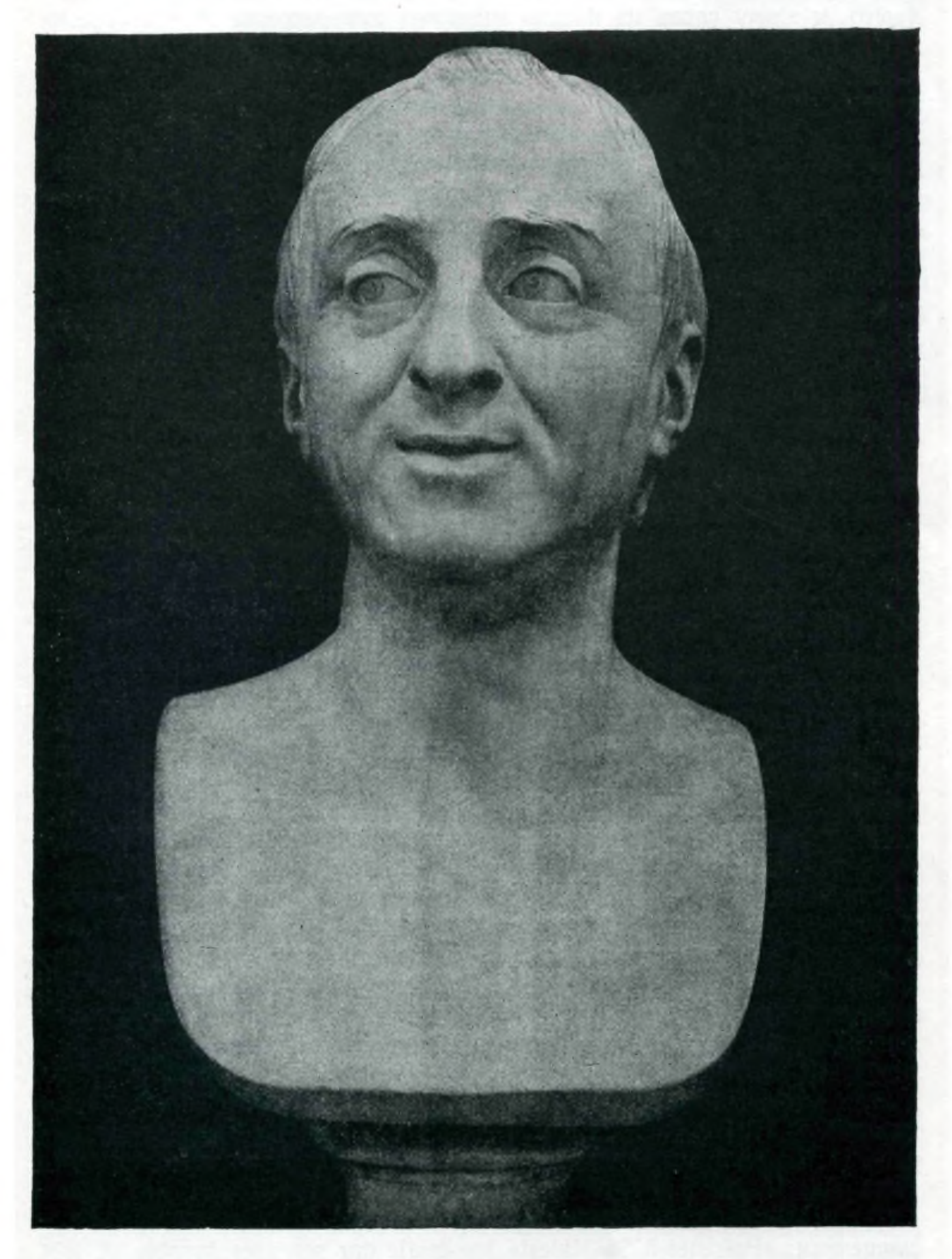
АРХИТЕКТОР РУССО
Работа Огюстена Пажу. Терракота, 1760-е гг.
Эрмитаж, Ленинград

в 1780 г. церковь Женевьевы в Париже, нынешний Пантеон. Таким образом, появление классических и интеллектуально выразительных черт в нашем бюсте вполне объяснимо, но они еще не делают его тем реалистически-психологическим человеческим документом, которые начнет создавать только Гудон. Бюст архитектора Руссо сохраняет характерную элегантность портрета эпохи рококо. Несмотря на отсутствие драпировок и аксесуаров, Пажу достигает острым поворотом головы и глаз той ассиметрии композиции, которая создает впечатление легкого и быстрого движения. В несомненно идеализированном изображении явно ощущается светский кавалер, ловкий царедворец, остроумный и приятный собеседник, но не больше; глубже внутрь человека это изображение заглянуть не дает. Задачей портрета остается не вскрыть, а скрыть самого человека—его подлинную сущность за блестящей светской маской.

Загадочным среди французских бюстов XVIII в. в собрании Эрмитажа является маленький (выс. 23 см) мраморный бюст королевы Марии-Антуанетты (см. т. I, стр. 401), прославленной за свою неотразимую красоту и очарование как льстивыми и корыстными современниками, так и историками искусств XIX и XX вв., как Бушо, Фламмермон, Карл Дрейфус, Де Ноляк, Эмиль Буржуа и др. И вот на фоне всех этих восторженных описаний и бесчисленных живописных и скульптурных портретов — свидетелей глубоко классовой сущности языка портретного искусства, стоит наш маленький мраморный бюст, дающий жесткий, почти отвратительный образ молодой королевы. Несомненно, подлинный и современный, он сделан, очевидно, в год вступления ее на престол, т. е. в 1774 г., и, во всяком случае, до 1775 г., так как с этого времени Мария-Антуанетта начинает носить иную прическу, с нагромождением пышных и высоких украшений. Однако, не только прическа, но и другие сопоставления дают исходный пункт для датировки и оценки сходства нашего маленького бюста с его живым оригиналом. В собрании Де Ноляк находится замечательный по выразительности подготовительный эскиз художника Дюплесси для портрета Марии-Антуанетты[9], исполненного в гобелене в 1774 г., т. е. когда ей шел 19-й год. Первое, что поражает в этом эскизе, сделанном рукой придворного портретиста, это то же выражение жесткого эгоизма, соединенного с какой-то жадной чувственностью во всем отталкивающе-неприятном тяжелом лице.

Только тем же выпуклым, как при базедовой болезни, глазам Дюплесси придал более широкий разрез и больше живости, чем на нашем бюсте, где они приобретают какую-то сверлящую остроту взгляда из-под тяжелых, приспущенных век.

Вероятно, такими их часто видал художник Тилли, который был в юности пажем королевы и так вспоминает о ней: «Ее глаза не были красивы, но они принимали все выражения: то благосклонность, то отвращение отражались в них...». Вообще, если почитать внимательно даже самые льстивые отзывы о внешности Марии-Антуанетты, как, например, осыпанной ее милостями M-me Оберкирх, то получается портрет, почти точно списанный с нашего маленького бюста. Это относится еще ко времени, когда она была дофиной, женой наследника, т. е. 17 — 18 лет: «У нее было длинное лицо..., орлиный нос, очень заостряющийся к концу, высокий лоб, голубые глаза. Ее рот... уже казался немного надменным. У нее была австрийская губа (типичная для всей семьи Габсбургов выступающая нижняя челюсть), наиболее выраженная, чем у кого-либо из ее свет-



ДИДРО
Работа М.-А. Колло. Мрамор, 1772 г.
Эрмитаж, Ленинград

лейшей фамилии». Другой, очень известный, мемуарист Башомон вынужден прямо сказать: «У нее толстые губы, особенно нижняя». Если прибавить к этому слова из письма министра императрицы Марии-Терезии (матери Марии-Антуанетты), князя Штаренберга, который просит во время сватовства прислать из Парижа искуснейшего парикмахера для эрцгерцогини Антуанетты, «так как у нее немножко слишком высокий лоб и волосы растут некрасиво... так что лоб остается голый», то наш бюст находит полное документальное подтверждение всех своих черт, включая надменность и жесткость, которые господствуют в его выражении.

Интересно отметить композицию бюста. Ассиметричный, перегруженный вверху большими нависшими над драгоценной диадемой страусовыми перьями, он как бы подчеркивает чрезмерную тонкость и длину шеи. Эта шея была вторым общеизвестным для портретистов дефектом сложения Марии-Антуанетты, который они обязаны были скрадывать ленточками, горжетками или другими приемами, и любопытно, что, несмотря на это, ни королева, ни императрица-мать никогда не были удовлетворены ее портретами. Сделать из Марии-Антуанетты красивую женщину, сохранив сходство, никому не удавалось.

Мы, к сожалению, едва ли когда-нибудь узнаем отзывы современников о нашем бюсте, который представляет исключительно интересный пример беспощадно реалистического подхода к портрету этой ненавистной французскому народу королевы-«австриячки». Он, несомненно, должен был быть исполнен художником, стоявшим на позиции революционной буржуазии, выдвигавшей реалистическое и назидательное искусство, которое проповедывал Дидро. Бюст этот был в 1902 г. приписан Жану-Антуану Гудону (см. «Художественные сокровища России», 1902, № 12, табл. 137, стр. 313), однако, ни его техника, ни его художественный язык не допускают такого предположения, и вопрос о его авторе остается открытым.

Среди рассматриваемых нами портретных бюстов XVIII в. особый интерес для темы данной статьи представляет группа эрмитажных бюстов, относящихся к эпохе классицизма. Эта группа может быть кратко охарактеризована, как реалистически-психологический портрет, полностью выражающий то новое представление о человеке и человеческих ценностях, которое с такой решительностью выдвигают оппозиционные философы-энциклопедисты. Их портреты и преобладают в этой группе, притом сделанные рукой величайшего из представителей реалистически-классицизирующей школы—Жана-Антуана Гудона.

Знаменитейшая мраморная статуя Вольтера в кресле, подписная и датированная 1781 г. (см. т. I, стр. 153), сделана Гудоном по заказу Екатерины II. Автор, будучи чрезвычайно заинтересован в этом заказе, посылает Екатерине II, как она сама сообщает об этом Гримму в письме от 14 мая 1780 г.[10], на выбор две модели, отлитые Томиром. Одна из них была с посвящением: «Présenté à Sa Majesté Impériale par son très humble et très obéissant serviteur Houdon»[11]. Мраморный Вольтер в кресле появился в России в 1783 г. и был поставлен в гроте или зале антиков Царского села, окруженный копиями с античных статуй. Екатерина II писала об этом Гримму 19 мая 1784 г.: «Она [статуя] окружена Антиноем, Аполлоном Бельведерским. Когда входишь в этот зал, действительно захватывает дыхание, и, о чудо! статуя Вольтера, сделанная Гудоном,

нисколько не теряет от всего ее окружающего. Вольтер там прекрасно устроился: он созерцает все, что есть самого прекрасного среди античных и современных статуй». Здесь, в этой обстановке, статуя пробыла до конца XVIII в., но после этого ее постигает судьба очень многих других драгоценных памятников искусства, зависевших от каприза своего владельца, которого они меняли, переходя, как частная собственность, по наследству из рук в руки. Мытарства бессмертного произведения Гудона, воплотившего в мраморе одного из крупнейших и активнейших представителей революционной мысли, начались вместе с годами реакции. Его лишают почетного места в центре зала антиков и совсем увозят из Царского села. В 30-х годах XIX в. мраморный Вольтер находит себе тихое и незаметное пристанище в Старом Эрмитаже, среди шкафов со своей библиотекой, скрытый от публики. Подтверждением этого является случайная зарисовка, сделанная Пушкиным 10 марта 1832 г., когда он получил разрешение «рассмотреть хранящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера», находившуюся тогда в старом здании, под лоджиями Рафаэля. Однако, при постройке Нового Эрмитажа и переносе библиотеки в другое здание, статуя Вольтера попалась на глаза одному из наследственных хозяев, отличавшемуся всеми чертами некультурного деспота. С именем Николая I[12] связывается известная анекдотическая фраза: «Истребить эту обезьяну», реальное отражение которой находим в архивах Эрмитажа в виде распоряжения, поступившего в 1851 г., передать статую Вольтера в гоф-интендантскую контору, так как «ему нет места в Новом Эрмитаже и его там негде хранить». И он начинает свое более чем 35-летнее хождение по мукам, пока, наконец, в 1887 г. не возвращается в Эрмитаж, как признанное великое произведение искусства, и помещается в так называемой Галлерее истории живописи[13]. Отсюда он в 1930 г. переставлен на постоянную выставку французского искусства, в первый раз не во исполнение чьей-то прихоти, а во имя наилучшего показа этого поистине бессмертного произведения, в окружении других творений великих художников его эпохи.

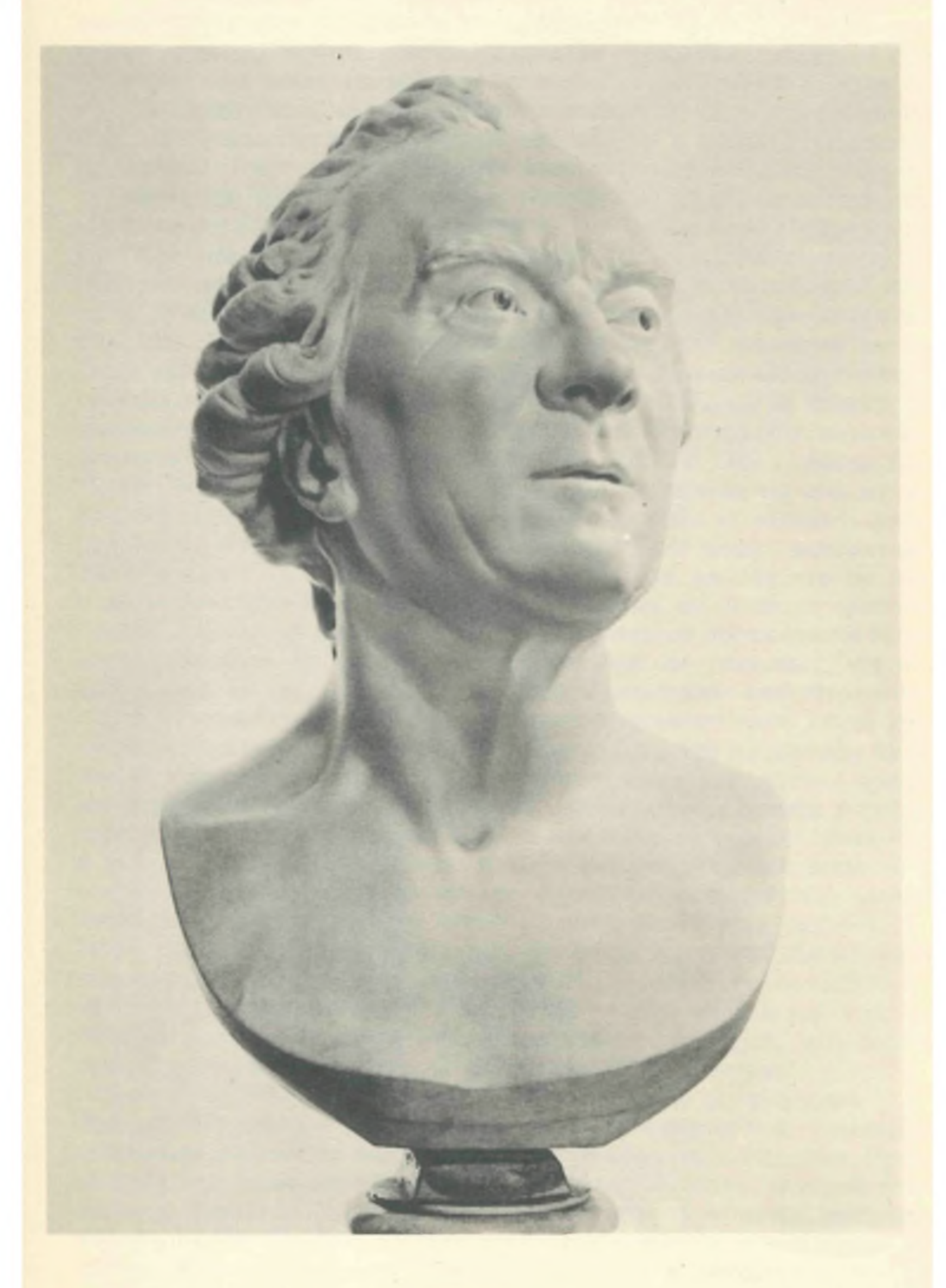
Новый классицизирующий реализм, возникший на почве Франции в связи с оформлением прогрессивных, республиканских идей, находит свое полное выражение в шедевре Гудона, каким является его Вольтер в кресле. Античная тога и повязка философа, охватывающая голову,— явные признаки наступавшего классицизма, в то же время замечательный реализм в лепке головы и рук и, главное, совершенно исключительная убедительность психологического воздействия статуи дают почувствовать то новое мировоззрение, провозвестником которого был Вольтер, а выразителем в искусстве—Гудон. Однако, он не избег здесь барочных традиций итальянского веризма, направления, которое не останавливалось перед презрением всех законов пластики во имя достижения il vero— иллюзорного воспроизведения действительности. Таким приемом становится у Гудона его передача остро смотрящих глаз и размыкающихся, как бы говорящих губ. Вся построенная исключительно на светотеневом воздействии, доходящем до полного отрицания пластики, она создает иллюзию взгляда высверленной черной дыркой. В то же время любопытно вспомнить, что в основе передачи поразительно живых рук Вольтера лежит слепок с его мертвых рук, находящийся в музее г. Анжера и носящий печать Гудона и подпись: «H: 31 mai, 1778»[14], т. е. на другой день после смерти великого мыслителя.

Наряду с этим монументальным портретом, в эрмитажном собрании появилась недавно приобретенная музеем небольшая бронзовая статуэтка Вольтера, представляющая его сидящим за работой в халате, ночном колпаке и в домашних туфлях (см. т. I, стр. 5). Эта фигурка полна необычайной мягкости и хрупкости во всей композиции, которая заставляет отнести ее к эпохе рококо. Самый возраст изображенного говорит о более ранней дате, чем портреты Гудона. По типу наша статуэтка ближе всего подходит к прекрасному портрету работы Фассена (N.-H. Fassin), датированному 1769 г. По живописной трактовке поверхности, тонкой чеканке и сочной темнокоричневой патине ее также надо отнести ближе к середине, чем к концу века. Насколько удалось проверить по доступной нам литературе, бронзовая статуэтка этого типа издается здесь впервые. Почти полную аналогию к ней, исполненную в мраморе, мы обнаружили в каталоге аукциона собрания Кремер (Eugène Kraemer), под № 147 (аукцион был организован антикваром G. Petit и происходил 29 апреля 1913 г.). Она там датирована концом XVIII в. Судя по репродукции этой мраморной статуэтки в «Gazette des Beaux Arts» (1916, août, 404), в статье Oulmont («Portraits inédits de Voltaire»), она представляется там гораздо более обобщенной и безразличной в трактовке ткани и особенно лица, чем в эрмитажной бронзе. Поэтому последнюю можно считать, несомненно, более близкой к оригиналу, а может быть, представляющей собой самый оригинал пока еще не известного мастера.

Бронзовая пластина подножия статуэтки укреплена на золоченом бронзовом постаменте, украшенном спереди черной доской с золоченой надписью: «Volterius Non Omnis Moriar». По продольным сторонам постамента помещены черные медальоны с золочеными мужскими бюстами à l'antique, а сзади—грубоватый прорезной золоченый рельеф, изображающий старика в длинной одежде, с бородой, сидящего, подперев голову, перед столом и указывающего правой рукой на лежащий перед ним череп; рядом—античная лампа с пламенем. Налево внизу стоят два глобуса, лежат книги и кадуцей, за всем этим летит крылатый гений (Минерва?) с боевым копьем и в шлеме, обвитом лаврами, и держит над головой старика лавровый венок. На верхнем переднем крае этого постамента имеется гравированная подпись: «O·: L·: HURTIFELD:· F[t] 1786»:· Это, по всей вероятности, автор и исполнитель постамента и барельефа с запутанной аллегорией.

Эта статуэтка выделяется среди других портретов Вольтера тем спокойным, не саркастическим, мягким выражением лица, которое не удавалось схватить почти никому из его портретистов. Только Россе-Дюпон (Rosset-Dupont) давал в своих мелких, но очень искусных произведениях подобные по интимности и простоте настроения моменты из жизни фернейского философа. Однако, работы Россе—«cet artisan habile»,—как говорит Ульмон, отличаются от нашей статуэтки именно своей большей ремесленностью и некоторой примитивностью, чего совершенно нет в эрмитажной бронзе. Да и пропорции фигуры с преувеличенно тяжелой головой, и тип лица, взятый у Россе с гораздо большим натурализмом, заставляют искать другого автора для эрмитажной статуэтки.

Прекрасный бюст Вольтера (выс. 58 см) был исполнен Гудоном также по заказу Екатерины II в год смерти фернейского патриарха. Если в знаменитой статуе, первый экземпляр которой был начат в том же 1778 г., еще можно наблюдать некоторую идеализацию в большей мягкости



БЮФФОН
Работа Гудона. Мрамор, 1782 г.
Эрмитаж, Ленинград

всего лица, в небрежно рассыпающихся из под повязки философа прядях волос, то здесь в бюсте, задрапированном в тогу с каймой из лавровой ветки, чувствуется какая-то почти предсмертная хрупкость. Что-то старчески-беспомощное появляется в выражении провалившегося рта, в сухой сборчатой коже гениально промоделированного голого черепа и жиденьких, как бы прилипших на висках и ушах тонких прядях волос. Это произведение — исключительной остроты наблюдения и высшего технического мастерства. Бюст этот, с момента своего исполнения, который запечатлен на нем следующей надписью, помещенной на обрезе правой руки: «Ordonné par S. M. I. l'Impératrice de toutes les Russies Fait par Houdon en 1778», неизменно находится в Эрмитаже (см. т. I, табл. перед стр. 17).

Другим интересным портретом Вольтера является небольшой (выс. 49 см) мраморный бюст его в молодом возрасте, в кафтане и с париком (см. т. I, стр. 105). Бюст не имеет ни подписи, ни даты и до последних лет считался анонимным. Будучи направлены его стилистическим сходством с бюстом Дидро, исполненным Мари-Анной Колло в 1772 г., на поиски подтверждения ее авторства, мы обнаружили в документальных материалах указание на то, что Колло имела на своем станке в 1769 г. бюсты Вольтера и Дидро. 14 сентября Фальконе пишет императрице, что «мадемуазель Колло осмеливается спросить, не лучше ли было бы ей отложить работу над бюстом Вольтера, чтобы скорее закончить бюст вашего величества»[15]. Réau только упоминает об этом бюсте Вольтера, но сам его не знает и не видел[16]. Desnoiresterres даже не упоминает его в своих списках[17]. Этот бюст Вольтера в парике упомянут у Lami среди произведений Колло, местопребывание которых неизвестно, причем он указывает, что бюст был сделан по модели, представленной художницей императрице[18].

Вся холодноватая, заглаженная манера ретроспективного бюста сразу чувствуется в эрмитажном портрете молодого Вольтера и в портрете Дидро. Кроме того, чрезвычайное сходство примененных технических приемов и всегда столь характерная для руки одного мастера манера обработки ушных раковин, глаз, ноздрей, так же как и способ отделки бюста сзади и даже полная аналогия железных колец для прикрепления, вставленных в мрамор у обоих бюстов, не оставляют сомнений, что этот бюст молодого Вольтера был сделан Мари-Анной Колло в Петербурге около 1771 г. Несомненно, что она не могла видеть философа таким, так как он изображен не старше 30 лет (а он родился в 1694 г.), значит, около 1725 г., т. е. за 25 лет до рождения самой Колло (1748 г.). Она делала его, вероятно, просто по одному из тех многочисленных портретов, которые были сосредоточены услужливыми агентами Екатерины II в Эрмитаже.

Бюст Дидро (выс. 58 см), подписанный Колло и датированный 1772 г. (см. стр. 957), дает интересный пример перехода в портрете к классическим принципам, за которые так боролся в теории ее учитель Фальконе. Прежде всего, впечатление определяется общим контуром бюста, который дается нагим à l'antique. Того же стремится достигнуть и почти квадратный обрез, приближающийся к гермообразной форме и выдвигающий, тем самым, в противоположность рококо, четкость и замкнутость композиции. Голова дана почти прямо, и только приоткрытые улыбающиеся губы и отведенный в сторону взгляд придают заглаженному лицу светскую оживленность. Колло, семнадцатилетней девушкой уехавшая в Россию из Парижа, делает и этот портрет по воспоминаниям и по гипсовым слепкам с его бюста ее собственной работы 1766 г., может быть, и по маске,

сделанной заново по ее специальной просьбе Лемуаном. Дидро самому пришлось заниматься пересылкой этих гипсов в Петербург. Lami дает очень неточные указания по поводу нашего бюста. Он пишет в своем словаре скульпторов XVIII в.: «Дидро—мраморный бюст в Санкт-Петербурге М.-А. Колло для императрицы Екатерины II по модели, исполненной в Париже, которая была заказана художнице госпожой Жофрен». В Париже в 1766 г. Колло не могла сделать бюст с таким выраженным классицизмом, как эрмитажный мрамор[19]. Здесь она дала его в придворном стиле. И напрасно искать в нем образ пламенного и убежденного провозвестника революции, инициатора великой Энциклопедии,—перед нами только остроумный и красноречивый светский собеседник, достойный образ постоянного корреспондента императрицы Екатерины II. Бюст этот и был ведь исполнен по ее заказу в 1772 г. и с тех пор неизменно находился в Эрмитаже, где она могла сличить его с подлинником в 1773 г., когда Дидро лично приезжал в Петербург и Екатерина принимала его наедине, устраняя придворный этикет и играя в демократическую простоту с этим потомственным плебеем. Ему в это время было 60 лет, и такому возрасту наш бюст не соответствует. Возникает предположение, что Колло отчасти использовала портрет, сделанный ею еще в Париже, так как в донесении князя Дмитрия Алексеевича Голицына министру двора Панину от 31 августа 1766 г. есть такое указание: «Фальконе везет с собой молодую девушку, свою ученицу; это в своем роде чудо таланта. Большое количество портретов, сделанных ею, великолепны. Я дал согласие на гонорар в 1 500 ливров в год. Ваше превосходительство можете сами судить о ее таланте по произведениям, которые она привезет с собой, среди которых один портрет Дидро, а другой мой»[20]. Тогда Дидро было 51—52 года, и этот-то портрет, вероятно, лежит в основе нашего бюста, но трактовка его уже совершенно классична.

В ряду многочисленных портретов, исполненных Мари-Анной Колло в России в этом зализанном придворно-идеализованном стиле, где льстивые бюсты и рельефы императрицы и ее придворных чередуются с неприятно жесткими бюстами Генриха IV и Сюлли, в ряду этой галлереи есть один живой портрет, в котором Колло оставила доказательство своего незаурядного таланта и своей большой любви.

Это знаменитый бюст ее наставника в искусстве и в жизни, Этьена-Мориса Фальконе (выс. 56 см), подписанный: «Fecit Petropoli Marie Anne Collot anno 1773» (а не 1768, как ошибочно указывает Réau)[21]. Этот бюст (см. стр. 965) сделан одновременно с предыдущими, но радикально отличается от них своим динамизмом и какой-то вызывающей простотой. Как будто нарочно небрежно завязанный галстук одним концом засунут за борт кафтана, а другой его конец, спускаясь бахромой на ножку, ассиметрично нарушает линию нижнего обреза. Такими же упрямыми живописными прядями лежат на голове густые еще волосы, открывая высокий, умный лоб этого упорного самоучки, который создал и отлил величайший из конных памятников своей эпохи—знаменитого «медного всадника». Он со своей «озорной физиономией парижского гамена добрался до роли наперсника императрицы»[22] и, не выдержав придворных интриг и раболепия, резко разошелся с нею и покинул Россию, даже не дождавшись открытия своего великого детища. Вся трактовка лица в очень детальной и суховатой манере, вместо сглаживающей, сладостной любезности, разлитой в бюсте Дидро; вся резкая светотене-

вая, с большим применением сверла разработка волос; совершенно иллюзионистически-живописный прием изображения внимательно смотрящих, весело улыбающихся глаз и общий вид независимой самоуверенности,— всё это дает ясно почувствовать, на стороне какого из этих двух направлений находятся симпатии автора и, что гораздо важнее, которое из них является прогрессивным.

Конечно, Мари-Анна Колло даже в своем лучшем и совершенно исключительном, среди остальных, портрете не достигла силы того реализма, который мы находим почти во всех работах Гудона. Возьмем его прекрасный бюст Бюффона (выс. 61 см), который был сделан в 1782 г. по заказу Екатерины II, чрезвычайно высоко ценившей этого блестящего стилиста, излагавшего свои смелые гипотезы системы природы и жизни животных с большим литературным мастерством и вошедшего поэтому также и в историю французской литературы. Сын Бюффона сам взялся привезти бюст своего знаменитого отца императрице и был 29 июня 1782 г. принят ею в Царском селе, а бюст был поставлен в Эрмитаже[23] (см. табл. перед стр. 961). Если вспомнить, что это был момент окончания Бюффоном его громадного труда «Естественная история животных», охватившего 24 тома, то можно поверить той большой духовной энергии, которой насыщает Гудон этот портрет семидесятипятилетнего старца. Мы видим здесь исключительно цельное по впечатлению, глубоко реалистическое произведение, созданное в период самого высокого подъема творчества знаменитого мастера. Это время, когда Гудон создает свои лучшие портреты, давая в них художественную формулировку нового идеала человека, и при этом отнюдь не теоретически, а являясь подлинным выразителем новой идеологии, для которой он с интуицией большого художника находил вполне адекватную форму.

Эрмитаж обладает еще одним портретом великого натуралиста, который, правда, не представляет собой особо значительного произведения французской пластики, но который интересен иконографически, так как издается здесь впервые. Это небольшая бронзовая статуэтка (выс. 28 см) Бюффона, сидящего в кресле, с подписью и датой довольно редкой: «Thomire Paris. 1788» (см. т. I, стр. 245). Бюффон изображен в длинном, сборчатом халате, видимо, в разгаре работы. Голова его вдохновенно поднята, и он собирается запечатлеть свои блестящие натуралистические гипотезы на листе бумаги, который он держит перед собой на доске. На груди из под халата виден открытый ворот рубашки. В характерном для XVIII в. стремлении всеми атрибутами пространно и точно определить занятие изображаемого, мы и здесь видим горы толстых фолиантов, лежащих по сторонам, и гибкую ящерицу, выползающую из под кресла, подняв маленькую головку,—эти атрибуты не оставляют уже никакого сомнения, что перед нами действительно портрет великого автора «Естественной истории животных». Статуэтка эта в своей динамической и полной вдохновенного возбуждения композиции, конечно, является больше символом, чем портретом знаменитого ученого, так как год ее исполнения—это год его смерти, настигшей его в 82-летнем возрасте.

Для историка искусств встает очень интересный вопрос: кто автор композиции этой статуэтки? Общеизвестно, что в бытность свою чеканщиком королевской мануфактуры, куда он был приглашен Людовиком XVI, Томир пропускал через свои руки почти все лучшие произведения: Пигаля, Пажу, Шоде и Ролана. Однако, при ближайшем рас-

смотрении знаменитого памятника Бюффона работы Пажу, который был в 1773 г. исполнен по заказу короля для Естественно-исторического музея в Париже, убеждаемся, что он не имеет ничего общего с нашей статуэткой, которая по композиции скорее напоминает Каффиери. Зато среди работ одного из учеников Пажу, Робера-Гильома Дарделя (Robert-Guillaume Dardel, 1749—1821), встречается описание произведения, которое, повидимому, не сохранилось, или, по крайней мере, никому неизвестно, так как хорошо осведомленный словарь Lami не может ничего сказать о его местонахождении. «Бюффон, окруженный всеми предметами, которых он касался в своей «Всемирной истории», или всеми символами, которые могут их олицетворять, приготовившийся писать. Терракота. Салон корреспонденции 1785 г.»[24]. Это описание чрезвычайно близко к эрмитажной статуэтке, на которой, с первого взгляда, удивляют выползающая из под кресла ящерица и наличие еще нескольких отверстий в мраморе постамента, свидетельствующих об утрате других многочисленных атрибутов, сопровождавших натурфилософа именно с той целью, которая дается в описании и которая так характерна для XVIII в. Таким образом, связь нашей статуэтки с терракотой Дарделя если и не доказана, то, во всяком случае, должна быть указана и подчеркнута.

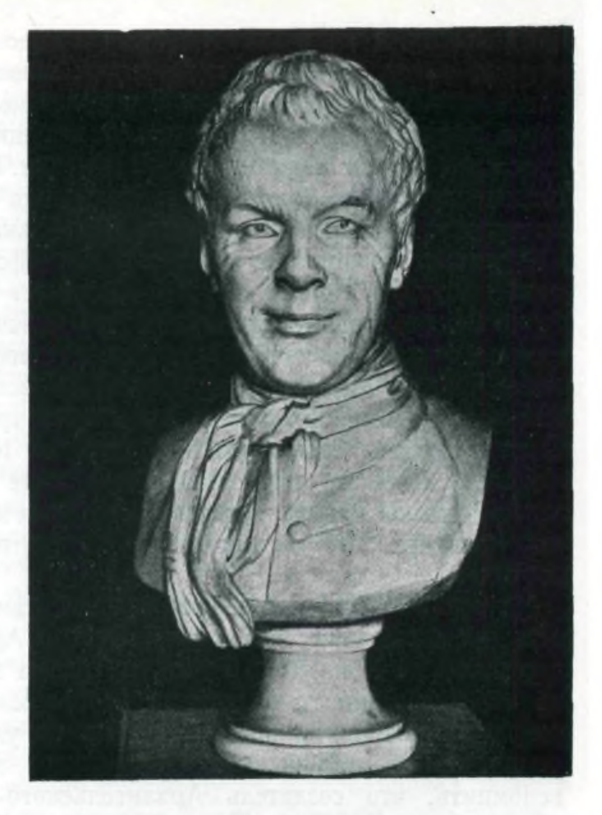
В великолепной подмосковной усадьбе-музее Архангельском, принадлежавшей князьям Юсуповым, находится много скульптуры, относящейся к рубежу XVIII и XIX вв. Между прочим, среди этих произведений, главным образом, декоративного значения, есть два мраморных бюста несомненно портретного типа. Традиция называет один портретом Тальма в роли Нерона, другой—портретом Ж.-Ж. Руссо. Колоссальный (выс. 1 м 35 см, шир. 78 см) бюст Тальма представляет очень большой интерес, так как иконография этого знаменитого актера вообще не установлена. Из скульптурных его портретов широко известна только статуя Давида д'Анже, исполненная в 1827 г., т. е. после смерти Тальма, для театра Французской комедии, а бюст в Архангельском не только не издан, но даже не известен театроведам. Таким образом, и бюст в Архангельском, и бронзовый, прекрасного отлива, медальон Тальма с его автографом, подписная работа Давида д'Анже, находящаяся в Эрмитаже (см. стр. 969), остались вне области исследования и публикуются здесь впервые.

В бронзовом медальоне Тальма предстает перед нами просто в виде «честного человека и хорошего гражданина», как он сам говорил о себе.

В колоссальном мраморном бюсте из Архангельского Тальма изображен в роли Нерона из трагедии «Британник» Расина (см. стр. 967). На голове его тот самый густой золотой лавровый венок, который после его смерти был продан за 132 франка; на плечах та самая римская тога, которая была началом начал всей его знаменитой распри, а затем и разрыва с театром Французской комедии.

Роль Нерона была одним из больших достижений Тальма, и современники, как Regnault-Warin или Tissot, говорят об его постоянной и упорной работе над этой ролью, не ослабевавшей до самой смерти. «Когда Тальма,—пишет Tissot в своих «Souvenirs de Talma»,—захотел попробовать роль Нерона в «Британнике», он пожал аплодисменты; но если сравнить его первые опыты в этой роли с тем совершенством, которое он развернул в ней потом, то меж этими двумя манерами будет такая же разница, как между эскизом и картиной». Вот эту-то позднюю стадию исполнения роли Нерона и фиксирует наш бюст, своей монументально-

ФАЛЬКОНЕ
Работа М.-А. Колло. Мрамор, 1773 г.
Эрмитаж, Ленинград



стью и своей выразительностью вводя зрителя в масштабы трагедии. Уже немолодое лицо Тальма с крупными, резкими чертами, с глазами без зрачков (под антик), с великолепной линией большого волевого рта, с квадратным овалом, покоящееся на действительно «римской» шее, давало полное основание современникам говорить об его «античном лице» («sa figure antique»). А высокий лоб, перерезанный морщинами, мучительно сжатые брови, воздетый взор и тяжело опускающиеся углы рта создают впечатление острой эмоциональной напряженности. И вот, если мы после этого анализа перенесем свой взгляд на второй бюст, стоящий тут же рядом, в том же зале Архангельского дворца, и изображающий Жан-Жака Руссо (см. т. I, стр. 241), то с удивлением увидим своеобразное повторение бюста Руссо работы Лемуана, но с античными чертами лица Тальма. Одно соображение еще подчеркивает странность этой ситуации: знаменитый бюст Лемуана был им исполнен в 1766 г., т. е. когда Руссо было 60 лет и черты его приобрели уже старческую мягкость, скорее дряблость; на нашем же бюсте изображен человек не старше 30 лет, с энергичным лицом, гораздо больше напоминающим первого консула—генерала Бонапарта, сходство с которым Тальма всегда отмечалось современниками, а после смерти изгнанника на острове св. Елены заставляло стекаться весь Париж на представления трагедии Жуи «Sylla», где Тальма со своим гримом и игрой под Наполеона был центром внимания публики.

Характерным показателем времени исполнения архангельского бюста Руссо являются его стиль и техника. Вся манера, полукруглый, с тенденцией к прямоугольнику спереди обрез бюста, совершенно поверхностная и безразличная трактовка ткани рубашки и меха воротника халата, совсем по-античному данные схематичные пряди волос и, наконец, общая сгла-

женность лица указывают на зрелый классицизм, т. е. конец XVIII в. Именно в этот период в сценической жизни Тальма, еще до его окончательного разрыва со старой королевской труппой, наступает некоторое затишье. Он отстраняется от ведущих трагических ролей и пробует свои силы в области бытовой комедии. И вот 14 июля 1790 г., в день годовщины взятия Бастилии и праздника федерации, он играет с захватывающей искренностью роль Жан-Жака Руссо в пьесе Ода (Aude) «Журналист теней, или Момус в Елисейских полях». В апокрифических мемуарах Тальма он сам упоминает об этом спектакле и исполнении им этой роли, прибавляя, что «решил еще больше усилить портретное сходство в изображении женевского философа». Вот интересный отзыв Гримма, который вообще вовсе не изощрялся в восторгах по адресу Тальма: «Тальма, который в знаменитой трагедии М. Шенье сумел так хорошо создать свое лицо по портретам Карла IX, дошедшим до нас, кажется, довел это искусство еще дальше в роли Жан-Жака; вам казалось, что вы видите женевского мудреца живым: эта живая копия была так правдива, что возникало искушение принять ее за оригинал всех других».

На основании всех этих наблюдений нам кажется возможным высказать предположение, что второй бюст в Архангельском музее является портретом не Жан-Жака Руссо, а Тальма в роли Руссо. К сожалению, за неразработанностью вопроса изображений Тальма и недостаточной разработанностью архива Юсуповых, не удалось найти никакого материала, документально подтверждающего эти предположения. А если вспомнить, что создатель Архангельского—князь Николай Борисович Юсупов, один из образованнейших людей своего времени, полжизни провел за границей, а в течение остальных лет был директором театров в Петербурге, затем директором Эрмитажного придворного театра и у себя в Архангельском выстроил знаменитый театр, в котором до сих пор хранятся прекрасные декорации Гонзаго, то станет вполне понятным его интерес к французскому театру и одному из его блестящих представителей—актеру Тальма.

Относительно времени исполнения обоих бюстов, за отсутствием документальных данных, можно говорить только на основании возраста самого актера, в них изображенного, и тех дат, когда он играл эти роли. Сыграв Жан-Жака Руссо в 1790 г., в день годовщины взятия Бастилии, Тальма к этой роли больше не возвращался, так как это, видимо, была пьеса, написанная ad hoc, «где были выведены фигуры Вольтера, Руссо, аббата Сен-Пьера и Франклина, видящих в революционных событиях торжество своих принципов. Между прочим, примиряются тени Руссо и Вольтера, признающие, в последнем счете, тождество своих убеждений»[25]. Заказ и исполнение бюста надо, конечно, отнести к этому же или ближайшему году. Такой датировке соответствует и возраст изображенного в бюсте, так как Тальма в это время было около 30 лет. Бюст его в роли Нерона и медальон Давида д'Анже дают лицо приблизительно в одном возрасте; видны уже заострившиеся и отяжелевшие черты хотя и «никогда не старившегося», как говорили современники, но снедаемого тяжелым внутренним недугом человека. Если считаться с тем, что начало блестящей деятельности портретиста для Давида д'Анже относится к 90-м годам XVIII в., а Тальма умер в 1826 г. и почти до конца своей жизни играл Нерона, то и датировкой бюста должны быть 20-е годы XIX в.

Из скульптурных портретов французских писателей XIX в. известный иконографический интерес представляет находящийся в Эрмитаже терракотовый бюст Жорж Санд (выс. 71 см) работы Каррье-Беллёза, известного в свое время портретиста, моделера Севрской мануфактуры и учителя Родена (см. выше, стр. 693). Бюст датирован и носит следующую подпись: «A. Carrier 1861»; таким образом, Жорж Санд представлена на 57-м году, в последний период ее жизни и творчества. Бюст этот, второй экземпляр которого находится в музее Версаля, дает очень типичный для второй половины XIX в., нарядный и совершенно внешний портрет.

Другой эрмитажной скульптурой, связанной с именем Жорж Санд, является мраморная статуя скульптора А. Клезенже, подписанная и датированная автором: «A. Clesinger 1845» (см. выше, стр. 813). Другой ее экземпляр находится в театре Французской комедии в Париже и так определен биографом Жорж Санд—Карениным: «Статуя, изображающая Литературу, с чертами («sous les traits») мадам Санд, одетой в классический костюм и с босыми ногами. Она принадлежала Эмилю де Жирардену; теперь украшает вестибюль „Комеди Франсез“»[26]. Несмотря на действительно большое изучение добросовестным биографом всех документов и всего, что относится к жизни de la grande George, он совершенно ошибся в истолковании этой статуи, что тем более удивительно, что в III томе его же исследования, на стр. 557, есть данные для правильного ее понимания, которые почему-то не использованы автором. Статуя, действительно, представляет собой фигуру сидящей молодой женщины больше натуры (выс. 135 см), полуобнаженной, с миртовым венком на длинных распущенных волосах, задумчиво подперевшей голову правой рукой и заложившей пальцем левой руки книгу с надписью: «Georges Sand», которую она опустила на колени. Она босая, ноги ее положены одна на другую, и она сидит на скале, наполовину прикрытой соскользнувшей с ее плеча драпировкой.

ТАЛЬМА В РОЛИ НЕРОНА
Работа неизвестного французского мастера.
Мрамор, 1820-е гг.

Музей „Архангельское“

Однако, эта явно идеальная аллегорическая фигура с классическим профилем не имеет ничего общего «с чертами мадам Санд», которая была к этому времени 40-летней располневшей женщиной[27], никогда и в юности не обладавшей правильными чертами лица, а тут уже никак не имевшей оснований претендовать на классический профиль. В действительности, эта статуя является той самой Меланхолией («La Mélancolie»), о которой идет речь в письме ее автора к Жорж Санд еще до их знакомства. Письмо это, датированное 16 марта 1846 г., полное энтузиазма, напыщенности и... орфографических ошибок, обращалось к романистке с просьбой о разрешении посвятить ей статую в благодарность за счастье, которое она ему доставила своими литературными шедеврами. «Если вы в ней найдете тень величавой меланхолии Лелии, будьте счастливы, потому что это ваше творение»,— писал Клезенже[28]. О художественных достоинствах статуи говорить не стоит, достаточно имени ее автора и места ее происхождения: она поступила в Эрмитаж в 1928 г. из бывш. Аничковского дворца.

Последним портретным бюстом одного из величайших французских романистов XIX в., включаемым в нашу статью, является бронзовый бюст Виктора Гюго работы Родена (см. т. II, стр. 891). Он находится в музее недавно скончавшегося русского трагика А. И. Сумбатова-Южина, в Москве. Много говорить о художественном и иконографическом значении бюста не приходится, так как всё это уже было неоднократно сказано[29]. Но он интересен еще и с другой точки зрения, как свидетельство взаимных связей русской и французской литературы и театра. Бюст этот был поднесен А. И. Южину в январе 1908 г., к 25-летнему юбилею его сценической деятельности в московском Малом театре членами Литературно-художественного кружка. В кругу друзей и почитателей была известна любовь артиста к Виктору Гюго, с самого детства внушенная ему матерью, воспитывавшейся в Париже в эпоху расцвета романтизма. Но помимо этого и, может быть, еще большей причиной, побудившей друзей избрать портрет Гюго для подарка Южину, был тот факт, что он был первым русским исполнителем роли Карла V в «Эрнани». Стремясь всемерно ввести Виктора Гюго в русский репертуар и зная, что запрещенный к постановке драматической цензурой «Эрнани» был новым переводчиком С. С. Татищевым благополучно проведен через сциллу и харибду под названием «Гернани»[30], Южин заявил дирекции театра о его постановке для своего первого бенефиса, который он получил в начале 1889 г., желая играть заглавную роль. Ему отказали, мотивируя это израсходованием кредитов. В следующем сезоне—осенью 1889 г.—очередной бенефис был у артиста Горева, и он тоже выбрал «Гернани», конечно, взяв себе заглавную роль, а на долю Южина выпала роль Карла V, которую он исполнил блестяще. Особенно монолог перед гробницей Карла Великого в Аахене, очень длинный, рисующий политическую картину Европы того времени, прощение заговорщиков и последний, заключительный монолог Карла V дали Южину исключительный успех и награждение его со стороны Французской республики званием officier d'Académie за подписью министра народного просвещения и изящных искусств Фальера. Внешним знаком этого звания был орден, в виде маленького серебряного венка из скрещивающихся лавровой и дубовой ветвей на темнолиловой ленте[31].

Популярность Виктора Гюго вообще была столь велика и за пределами Франции, что его герои и сцены из его произведений вдохновляют худож-

ников всех национальностей к бесчисленным иллюстративным изображениям как в живописи, так в графике и скульптуре.

В собрании Эрмитажа имеются две «Эсмеральды с козой Джали, которая обучается складывать имя Феба на картах». Это большие мраморные группы, обе сделанные итальянскими мастерами во второй половине XIX в.

Одна принадлежит резцу Ф. Солари (род. 1820) и подписана: «F. Solari 1860» (см. т. II, стр. 877). Она поступила в Эрмитаж в 1931 г. из Мраморного дворца. Другая сделана А. Росетти (род. 1819), подписана «Rossetti 1856» и любопытна тем, что на ее мраморном круглом пьедестале расположено четыре рельефа, иллюстрирующих роман «Собор парижской богоматери» и как бы излагающих всю краткую романтическую судьбу очаровательной цыганки Эсмеральды (см. т. II, стр. 817—818). Первый— «Пляска Эсмеральды» в сопровождении козы Джали с золочеными рожками, как момент завязки всей ее трагической судьбы. Второй—«Эсмеральда, спасенная Фебом де Шатопер из рук Фролло и Квазимодо», сидит вместе с ним на лошади влюбленная в своего избавителя. Третий—«Эсмеральда, движимая состраданием, дает напиться Квазимодо», прикованному к столбу на лобном месте в наказание за попытку ее похищения. Изумление и благодарность Квазимодо беспредельны. Четвертый—«Приговоренная к смерти и преследуемая Эсмеральда в последнюю минуту узнана

ТАЛЬМА
Работа Давида д'Анже. Бронза, 1820-е гг.
Эрмитаж, Ленинград

своей матерью—отшельницей из Крысиной норы, которая, выломав решетку в окне и втащив к себе свою вновь обретенную дочь, пытается скрыть ее от палачей в глубине своей кельи». Надо сказать, что, хотя по исполнению и самая статуя и рельефы на постаменте не поднимаются над уровнем гладкой миловидности салонного искусства середины XIX в., подбор сюжетов на рельефах сделан очень удачно по нарастающему трагизму, выраженному во все усугубляющейся тяжести и напряженности композиции. От легкой и динамичной картины пляски Эсмеральды, которая, несомненно, связана с постановкой балета Пуни, к последней компактной и придавленной перекрещивающимися сводами композиции в келье отшельницы чувствуется подъем той большой эмоциональной напряженности, которая лежит в основе всего творчества Виктора Гюго.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Мое перо плодотворно, но уста бесплодны, и меня редко можно слушать без скуки, разве когда я говорю устами другого...».

[2] J. Guiffrey, Les Caffieri, P., 1877.

[3] Lami, Dictionnaire des sculpteurs français du XVIII[e] siècle, I, 158.

[4] L. Gonze, La Sculpture française, P., 1895, 185. Особенно характерно сходство приемов передачи глаз, бровей, коротко подстриженных усов и манеры использовать длинные локоны парика, как орнамент, окаймляющий край драпировки на груди.

[5] Gonze, op. cit., 179.

[6] ... Юлий, Ганнибал, Рафаэль, Микель-Анджело — Миньяры своего века...[!]

[7] Оригинальный гипс в собр. Decourcelle.—«Les Arts», 1911, 111.

[8] Терракота в собр. Doistau.—«Les Arts», 1908, 82. P. Vitry, Exposition de Cent Pastels et Bustes du XVIII[e] siècle.

[9] De Nolhac, Trois portraits inédits de Marie-Antoinette.—«Gaz. d. Beaux Arts», 1909, I, 121—134.

[10] См. «Сборник Русского Исторического Общества», XXIII, 176.

[11] L. Réau, Histoire de l'expansion de l'art français moderne, P., 1924, 191.

[12] А никак не Павла I, как это ошибочно указывает Réau в своей книге «L'expansion de l'art français moderne», 1924, 191.

[13] Очень интересные детали всего этого периода в судьбе статуи Вольтера обнаружены в архивах Эрмитажа архивариусом О. И. Бич и подготовлены ею к печати.

[14] Giacometti, Le statuaire Houdon, P., 1919, II, 19.

[15] Переписка Фальконе и Екатерины II. Письмо от 14 сентября 1769 г.—«Сборник Русского Исторического Общества», XVII.

[16] Réau, Falconet, P., 1922, 440.

[17] Desnoiresterres, Iconographie Voltairienne, P., 1879.

[18] Lami, op. cit., 337.

[19] Не говоря уже о том, что эти два бюста—парижский и петербургский—очень отличаются друг от друга.

[20] «Сборник Русского Исторического Общества», XVII, 374.

[21] Réau, op. cit., 133, pl. 14.

[22] Ibid., 133.

[23] Ibid., 192.

[24] Lami, op. cit.

[25] «Мемуары Франсуа-Жозефа Тальма». Перевод и примечания Соллертинского. «Academia», 1931, 337, прим. 113-е.

[26] Karénine, George Sand, sa vie et ses œuvres, P., 1926, III, 668.

[27] «Courte et replète de taille»,—пишет о ней Edouard Grenier, Souvenirs littéraires: George Sand.—«Revue bleue», 15 octobre 1892, L., 488—496.

[28] Rocheblave, George Sand et sa fille.—«Revue des Deux Mondes», 1905, mars, 178.

[29] Последнюю русскую работу дал Б. Терновец, Французская скульптура в Москве.—Журнал «Среди Коллекционеров», М., 1922, X, 5 и 8.

[30] Чтобы добиться разрешения для нового перевода, пришлось пожертвовать привычным заглавием «Эрнани», так как для нового рассмотрения в цензуре тогда требовалось и новое заглавие.

[31] Все эти сведения были сообщены нам ныне покойной М. Н. Сумбатовой-Южиной.

КОРНЕЛЬ И ВОЛЬТЕР В СОБРАНИИ КАМЕЙ ЭРМИТАЖА

Сообщение В. Штегман

В огромном собрании резных камней Эрмитажа с необычайной даже для этой богатой коллекции полнотой представлены резные камни, камеи и интальи, работы самых выдающихся английских резчиков, братьев Броун—Уильяма (1748—1825) и Чарльза (1749—1795), работавших одно время и во Франции. Свои работы они обычно подписывали только фамилией Brown и лишь иногда прибавляли свои инициалы: C (Charles) или W (William).

Творчество этих крупных мастеров, самых ярких для того времени представителей английского искусства в глиптике, можно изучать только в Эрмитаже, так как здесь оно представлено 163 резными камнями[1], тогда как в Британском музее хранятся лишь два достоверных камня их работы и два приписываемых им[2].

КОРНЕЛЬ

ВОЛЬТЕР

Камеи работы братьев Броун, конец XVIII в.

Эрмитаж, Ленинград

Среди многочисленных портретных камей работы этих резчиков, хранящихся в Эрмитаже, находится, между прочим, серия французских и английских писателей и философов, вырезанных из густо окрашенного яркокрасного сердолика, с чрезвычайно сильно отполированной поверхностью, зеркальный блеск которой даже несколько затрудняет рассматривание этих камней. К этой серии и принадлежат публикуемые нами впервые портреты Вольтера и Пьера Корнеля.

Оба изображения[3], заключенные в овалы, даны в профиль. И Вольтер, и Корнель представлены с непокрытой головой и обнаженной шеей. На очень коротком обрезе бюстов намечен лишь край плаща. Отметим, кстати, что обе камеи почти одного размера, и головы, обращенные друг к другу, составляют как бы pendant.

Портреты представлены в характерном классическом стиле своего времени. При беглом взгляде на них невольно вспоминаются типичные изображения римских императоров на камеях нового времени, имевших чрезвычайно широкое распространение в XVIII в. Что касается бюста Корнеля, то тут условное сравнение можно было бы продолжить: он напоминает портреты Флавиев.

Эрмитажная камея представляет мощную, массивную голову с крепкой, мускулистой шеей и довольно правильным, твердым профилем. Голову

покрывают плотно прилегающие, коротко остриженные волосы. Несмотря на тяжелые, старческие черты лица, голова производит впечатление большой силы и энергии. Этот «римский» портрет отступает от типичных изображений Корнеля, которые обычно встречаются и в собраниях его сочинений, изданных в XVIII в., его портретов в парике или в шапочке, с длинными вьющимися волосами.

На камее надпись: «Pierre Corneille», размещенная по обе стороны головы. Подпись мастера: «Brown» находится под самым обрезом бюста.

Что касается портрета Вольтера, то он выдержан в более индивидуальной манере. Голова лысая, с редкими прядями волос, низко спускающимися на затылок. Кожа лица дряблая. Длинная, тонкая, морщинистая старческая шея с выступающим кадыком. Вольтер изображен стариком. Между тем, мы здесь не встречаем одного яркого момента, хорошо известного по многочисленным изображениям великого писателя в старости: характерно впалого, беззубого рта. Слева, перед лицом Вольтера, надпись: «F. M. A. Voltaire». Справа—подпись мастера: «Brown».

Классицистический тип портретов Вольтера является менее распространенным, чем реалистические изображения в парике, в колпаке или шапке. Из известных нам портретов этого типа укажем на небольшую гравюру Barbié[4], как на наиболее близкую по подходу к указанной портретной камее собрания Эрмитажа. Эта гравюра изображает бюст Вольтера в профиль, с непокрытой лысой головой, в виде рельефа на овальном щитке. Под бюстом изображена сцена из «Генриады» и написаны соответствующие строки этого произведения. Но гравюра дает только общий с камеей тип изображения, а не является иконографической аналогией.

При резьбе указанных камей резчик, может быть, опирался на не дошедшие до нас образцы. Возможно, что в его распоряжении были медали или гравюры, подражающие медалям. Во всяком случае, компановка и того и другого портрета, с окружающими их надписями, дает некоторое основание к такому предположению. Однако, творчество братьев Броун, вообще очень индивидуальное, должно было и здесь, следуя общей своей манере, привнести не мало своего. Таким образом, эти портреты можно считать хотя и скромным, но, в известной степени, все же новым вкладом в иконографию двух великих французских писателей.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Это несколько странное обстоятельство объясняется тем, что, большая любительница резных камней, Екатерина II, очевидно, особенно ценившая работу братьев Броун, в большом количестве заказывала и покупала у них камеи и интальи.

[2] Dalton, Catalogue of the engraved Gems of the post-classical Periods, 1915, №№ 393 и 422; 898 и 1112.

[3] Инв. камей № 786—размер 37 мм, № 787—размер 36 мм.

[4] Nagler, Neues allgemeines Künstlerlexikon, I, 262; Portalis et Béraldi, Les graveurs du XVIII siècle, 93.

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ СЮЖЕТЫ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА МУЗЕЕВ СССР

НЕСКОЛЬКО РИСУНКОВ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СОВЕТСКИХ СОБРАНИЯХ

Сообщение М. Доброклонского

О том, что в собрании рисунков Эрмитажа французская школа отличается не только качеством, но и полнотою подбора, писалось неоднократно. Ни о какой, даже относительной, полноте, конечно, не могло бы быть и речи, если бы столь важная в данном случае область, как книжная графика, не получила здесь сколько-нибудь соответственного отражения. В дореволюционное время французские рисунки этой категории в Эрмитаже, можно сказать, отсутствовали, и восполнение такого пробела должно было встать в числе первоочередных задач планомерного пополнения его коллекций. Общие условия музейной жизни за первые после революции годы сложились для этого благоприятно, и уже одно присоединение в 1923 г. рисунков бывшей Библиотеки Штиглица сразу дало по этой части весьма заметный основной фонд. Последний почти целиком шел из собрания Бёрделей, как известно, уделявшего графическому материалу, связанному с книгой, специальное внимание. Ряд поступлений из прочих источников— национализированные коллекции, покупки—принес остальное.

Те, кто создал славу французской художественной книги XVIII в.— Пикар, Жилло, Моро-младший, Кошен, Эйзен, Гравело, Огюстен де Сент-Обен,—оказываются теперь налицо. Но, назвав их, можно ли не упомянуть и таких, как Марилье, Дере или Моне, одинаково ценимых и любителями графики и библиофилами. Знакомые по гравюрам оригиналы иллюстраций, заставок, концовок, фронтисписов к сочинениям французских классиков чередуются с подобными же работами для памятников иноземной литературы, прелестными виньетками альманахов или рисунками, предназначенными украшать исторические, философские и вообще научные труды. Получившие в XVIII в. особое развитие издания, посвященные описанию тех или иных местностей, вызвали к жизни превосходные видовые зарисовки Хуэля, Кассаса, Депре, Периньона, Шуазёль-Гуфье.

Обзор материала в целом не входит, впрочем, в задачи настоящей заметки. Она имеет в виду привлечь внимание лишь к нескольким неопубликованным и выдающимся листам, тематически связанным с классическими произведениями французской литературы.

Из таковых, прежде всего, надо назвать один рисунок Моро-младшего сангиною, пером и кистью бистром (12×8,5 см; инв. № 316334; см. т. I наст. изд., перед стр. 33). В изображенной сцене разговора двух элеган-

тно одетых дам мы узнаем иллюстрацию к комедии Вольтера «Nanine ou le prejugé vaincu». Работы к произведениям последнего занимают в обширном творении знаменитого рисовальщика, как известно, чрезвычайно важное место. Когда Бомарше предпринимал свое печатавшееся в Келе капитальное издание сочинений Вольтера[1], он обратился для иллюстрирования его к Моро, и тот исполнил несколько десятков виньеток, принадлежащих к лучшему из того, что им когда-либо было сделано. Эта так называемая «первая сюита» к Вольтеру была рассчитана на формат в двенадцатую долю листа. Вскоре затем художник предпринял ее повторение в большем масштабе, но за отсутствием достаточного количества подписчиков бросил свою затею почти в самом начале. Позднее он снова вернулся к задаче иллюстрирования всего Вольтера, создав к тем же вещам новый, еще более обширный цикл рисунков, изданный Ренуаром и обозначаемый, как «вторая сюита». Эрмитажная композиция, передающая сцену, когда ревнующая и гневная баронесса де л'Орм говорит своей смиренной сопернице: «Gardez vous je vous prie d'imaginer que vous soyez jolie»[2] (действ. I, сцена 5), принадлежит к первой серии и, гравированная Симоне, вошла в VII том, при странице 289 (Bocher, 1649). Оригиналы Моро для этой ранней сюиты были включены в особый экземпляр, готовившийся издателями для поднесения Екатерине II, но не дошедший по назначению. Оставшись на руках у Бомарше, он принадлежал затем его зятю Деларю, фигурировал на аукционе Виоле-ле-Дюка, попал к книготорговцу Фонтену и, оказавшись под конец в обладании императрицы Евгении, считается погибшим в 1871 г. при пожаре Тюильри[3]. Состав рисунков последнего не фиксирован, но общее их число известно, и если сравнить это число с подсчетом всех гравюр издания, приводимым Bocher, то выходит, что, как будто, одного нехватало. Повидимому, этот лист и оказался у Бёрделея.

Моро всегда Моро. Однако, при постоянной изысканности вкуса и неизменном мастерстве рисунка, он увлекателен более всего тогда, когда передает окружающую его действительность, подлинный облик своих современников и мелочи их повседневного обихода. В этом отношении приведенный лист интереснее всех других имеющихся в Эрмитаже его оригиналов. Среди последних Моро приписывается еще один рисунок, принадлежащий кругу литературных сюжетов и изображающий две женские фигуры с жестами глубокого отчаяния (перо и кисть тушью; 0,125×0,8 см; инв. № 31633; см. т. I, стр. 41). Одеяния, позы говорят за то, что дело идет о сцене из какой-то ложно-классической пьесы. Среди гравюр, исполненных по оригиналам мастера, такая композиция мне неизвестна, но общий стиль и техника не противоречат старой атрибуции бёрделейевского каталога.

Насколько сочетание пера с заливкою тоном составляет излюбленный прием Моро, настолько же рисунок свинцовым карандашом характерен для Эйзена. Эта последняя техника таит в себе, однако, залог недолговечности. Карандаш легко стирается, штрих утрачивает четкость, и тусклый серый налет лишает подобные вещи едва ли не большей доли их прелести. Листы Эйзена являют частые тому примеры. По счастью, те две его иллюстрации к Лафонтену, которыми обладает Эрмитаж (0,105×0,65 см; инв. №№ 25504 и 25505; см. т. II, стр. 57 и 61), отличаются безупречной сохранностью. Тонкий, как паутина, штрих, обволакивающий формы, и нежная серебристая тональность великолепно идут к стилю рисунков этого

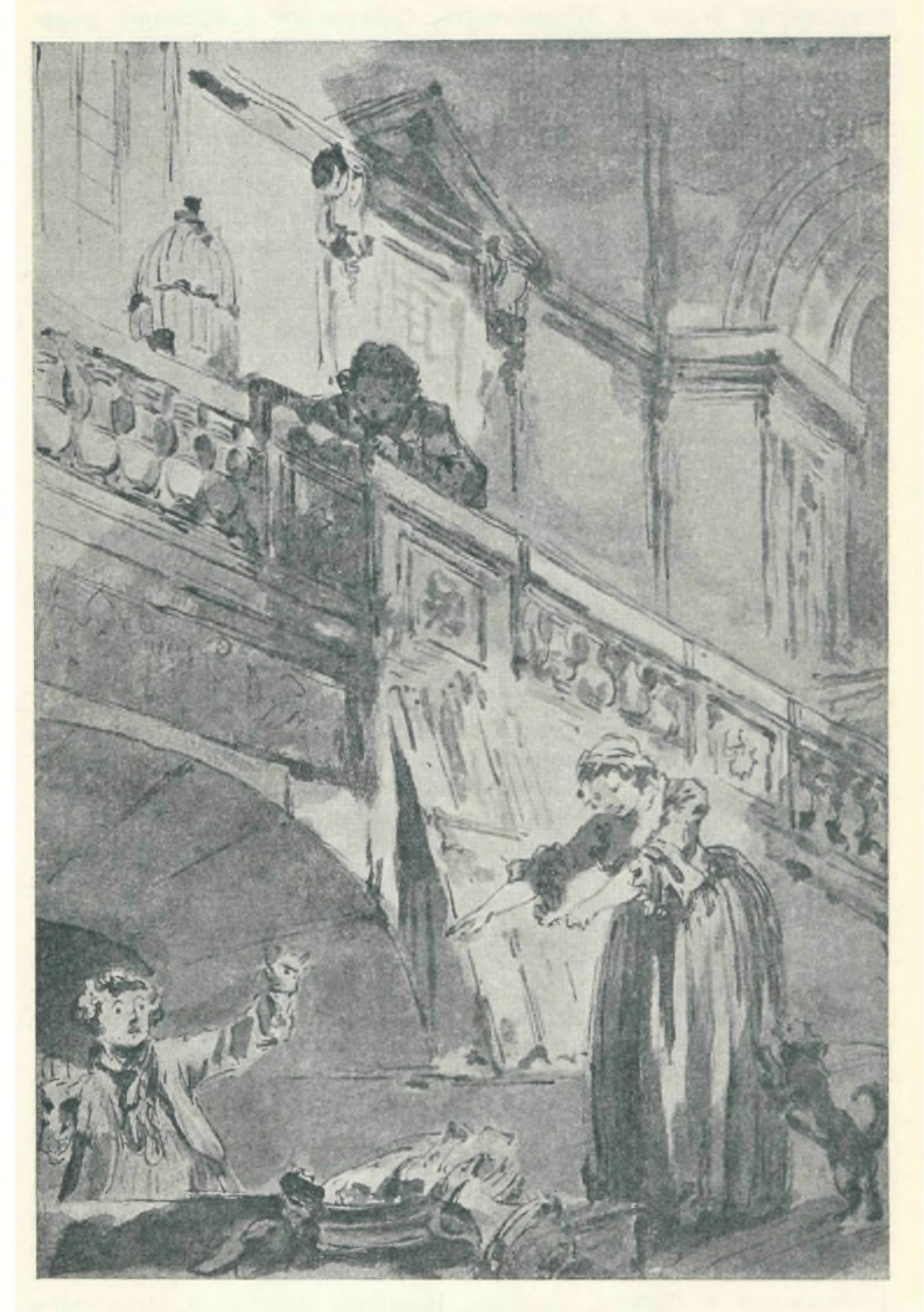


ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „LES QUIPROQUO" ЛАФОНТЕНА
Рисунок Фрагонара, 1795 г.
Музей изобразительных искусств, Москва

мастера, воплощающего всю грацию французского рокайль, его высокое совершенство формы и легковесность, граничащую с пустотою содержания. Рисунки служат иллюстрациями к «Джоконду» («Joconde») и «Собачонке» («Le petit chien»). Среди крупнейших книжных графиков Франции нет, кажется, таких, которые бы не вдохновлялись Лафонтеном, этим специфически французским писателем. Эйзен принес свою дань, и недаром Порталис в первых строках обзора творчества этого мастера называет его рисовальщиком Лафонтена и Дора[4]. Рисунки Эйзена украшают два издания сочинений великого баснописца. Одно, знаменитое «издание генеральных фермеров», вышло в 1762 г., второе, меньшего формата, появилось у Дидо в 1795 г. Эрмитажные рисунки связаны с этим последним.

То же собрание Бёрделей, с которым поступили все названные иллюстрации, содержит еще один рисунок, который следует отметить, хотя сказать о нем я могу немногое. Он изображает сцену из «Femmes savantes» Мольера, сделан сангиной и предположительно приписывается Жилло (0,165×0,125 см; инв. № 40439; см. т. II, стр. 37). Хронологически это та же фаза французской графики, но атрибуция Жилло не может быть удержана. Уже один эрмитажный материал, где имеется, между прочим, совершенно первоклассная иллюстрация этого художника к пьесе «Le tombeau de maître André»[5], дает достаточный материал для сравнения. Автора следует искать среди «вторых» мастеров круга Ватто.

Как и в большинстве других отделов Эрмитажа, XIX в. представлен в отношении занимающего нас материала слабо. Лишь два рисунка безусловно заслуживают внимания.

Если имена Моро и Эйзена тесно ассоциируются с расцветом французской художественной книги XVIII в., то для иллюстрации романтической литературы тридцатых годов мало кто так же характерен, как Тони Жоанно. Сопутствуя своими виньетками более чем полутораста сочинениям разных авторов, он многократно вдохновлялся и Виктором Гюго, причем явился, между прочим, первым иллюстратором «Собора парижской богоматери». Из этого романа заимствован сюжет небольшой его акварели (0,105×0,75 см; инв. № 41904; см. т. II, табл. перед стр. 785), переданной Эрмитажу Пушкинским домом. Аристиду Мари, составившему подробный перечень работ Тони[6], ее местонахождение осталось неизвестным. Снабженная полной подписью художника и датою «1835», она была гравирована Финденом[7] и изображает тот момент, когда Квазимодо, придя к Эсмеральде, останавливается на ее пороге, а та не может поверить чрезмерности подобного уродства. Не претендуя на глубокий психологизм, Тони дает милую картинку, пленительную своею красочностью. Белое платье героини, красная куртка Квазимодо и синее облачное над ним небо, выделяясь на фоне старых камней башни, говорят лишний раз о любви романтической школы к локальному цвету.

Последний эрмитажный рисунок, на котором надо задержаться, своей значительностью превосходит предыдущий. Его автор Доре. Что этот рисовальщик—подлинно большой художник, стоит вне сомнений. После периода исключительного успеха, когда иллюстрации мастера выходили одновременно в Париже, Лондоне, Варшаве, Мадриде и Петербурге, а его имя было известно и тем, кто не смог бы, пожалуй, назвать Рембрандта, слава Доре одно время, казалось, вступила в фазу некоторого ущерба. Ряд посвященных ему за последнее время изданий снова свидетельствует о признании его крупного художественного значения. Легкость

творчества Доре, богатство созданных им образов феноменальны. В ксилографиях плеяды работавших по его оригиналам граверов его иллюстрации, врезаясь в память, изумляют даже искушенный глаз находчивостью замысла. Но Доре не только блестящий инвентор, он мастер столь же сильный и по линии технического выполнения своих композиций. Как техник рисунка, Доре, между тем, известен сравнительно мало. И это понятно. Рассчитанные на интерпретацию в гравюре, его законченные рисунки исполнялись, как правило, непосредственно на пальмовой доске с тем, чтобы под резцом Илиодора Пизана или Паннемакера претвориться в другой фактуре, которая сама по себе чудо. Счастливый случай сохранил одну из таких досок, лет десять тому назад приобретенную Эрмитажем (0,24×0,195 см; инв. № 18225; см. фронтиспис наст. книги). Она дает иллюстрацию к «Синей Бороде», изображающую тот момент, когда истекли минуты отсрочки, предоставленной Фатиме, и грозный супруг зовет ее, оглашая своды страшным криком. В нижней своей части доска треснула, была потом склеена, но не могла уже служить граверу, а, вместе с тем, издатель или сам художник отказались и от самой композиции. В вышедшем в 1862 г. у Хетцеля издании сказок Перро с иллюстрациями Доре среди картинок к «Синей Бороде» ее не имеется. Рисунок набросан по грунтованному белому фону карандашом и закончен пером с заливкой тушью, отличаясь необычайным мастерством владения кистью. Подпись Доре сопровождается его собственноручным посвящением, но при недостаточной разборчивости почерка и побледневшей кое-где надписи прочесть, кому именно, мне не удалось. Начало и конец гласят: «A mon ami L.... souvenir affectueux. G. Doré»[8].

Из иллюстративных работ в других собраниях большого внимания заслуживает один рисунок в Музее изобразительных искусств (20×14 см; инв. № 1323; перо и кисть бистром; поступил из собрания Окулова; см. выше, стр. 975). Мы узнаем в нем композицию Фрагонара на тему новеллы Лафонтена «Les Quiproquo». Она известна по гравюрам Марсиаля и де Лас Риос и входит в сюиту, исполненную художником для издания, которое появилось у Дидо в 1795 г.[9]. Рисунок фигурировал на выставке, устроенной названным музеем в 1927 г. Я не знаю, чем руководствовались тогда составители ее каталога[10], относя этот лист лишь к школе Фрагонара. Качество, на мой взгляд, говорит решительно в пользу самого мастера. Правда, в собрании Мариуса Пома имелся другой тождественный экземпляр[11]. Но сопоставление обоих сказывается не в пользу последнего. Достаточно указать хотя бы на то, как однообразно, вяло сделана там вся архитектурная часть и как мало выразительности в лицах. Укажем, что, повидимому, существует еще третья реплика той же композиции, приписываемая самому Фрагонару и владельцами которой, согласно каталога собрания Пома, являлись Пайе и Беральди.

В заключение, мне хочется упомянуть еще одну совершенно первоклассную вещь, выходящую за рамки ближайшей темы настоящей статьи, но связанную со знаменитым литературным произведением. Это подписной этюд маслом Курбе (41×33 см, холст; см. выше, стр. 809), в котором традиция видит изображение Лелии, героини одноименного романа Жорж Санд. Облик изображенной не противоречит такому истолкованию, а исключительный успех романа делает понятным, что тема вдохновила молодого Курбе, выполнившего этот этюд около 1841 г. Он приносит здесь дань романтизму и общим характером живописи

свидетельствует о сильном влиянии Жерико. По своим художественным достоинствам этот воображаемый портрет Лелии принадлежит к шедеврам мастера, и не знаешь, что пленяет тут более,—тонкость ли экспрессии, виртуозность ли фактуры или изысканность колорита, где в общую черно-лиловую гамму с предельной деликатностью внесено несколько бледнорозовых мазков. Картина эта недавно приобретена Музеем изобразительных искусств Армении.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Voltaire, Œuvres complètes, de l'Imprimerie de la Société littéraire typographique (Kehl), 1784—1789.

[2] «Не воображайте, пожалуйста, что вы хорошенькая».

[3] Portalis, op. cit., I, 190.

[4] M. Dobroklonsky, Dessins des maîtres anciens, Léningrad, 1927, № 204.

[5] Portalis, Les dessinateurs d'illustrations au dix-huitième siècle. P., 1877, II, 463; Bocher, Catalogue raisonné... Jean-Michel Moreau le Jeune, P., 1882 и др.

[6] A. Marie, Alfred et Tony Johannot, P., 1925.

[7] V. Hugo, Notre Dame de Paris, éd. Renduel, P., 1836; Œuvres complètes, éd. Houssiaux, P., 1860, IV.

[8] «Моему другу Л... на добрую память. Г. Доре».

[9] «Contes de La Fontaine», Didot, P., 1795.

[10] Каталог выставки «Французский рисунок XVI—XIX вв.», М., 1927, № 64.

[11] «Catalogue des dessins anciens... composant la collection de M. Marius Paume dont la vente... aura lieu... le 13 mai, 1929», Paris, I, № 91.

ДВЕ КАРТИНЫ НА СЮЖЕТЫ ЛАФОНТЕНА ИЗ СОБРАНИЙ МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Сообщение Е. Гольдингер

Среди произведений французской живописи XVIII в. в Музее изобразительных искусств находится небольшая картина, написанная маслом на меди (разм. 27,5×35,5 см, поступила в 1924 г. из собрания Д. Н. Щукина). На картине изображена комната в стиле XVIII в. Слева пожилой мужчина сидит за столом, на котором лежит раскрытая книга. Справа от него стоит, повернувшись к нему, молодой человек с тростью, указывающий на стоящую позади молодую женщину (см. т. II, табл. перед стр. 657).

Острая характеристика действующих лиц, тонкое мастерство рисунка, красивая золотисто-коричневая гамма красок давали основание приписать эту картину одному из лучших мастеров XVIII в. Типы лиц, особенности рисунка и письма сближали ее с произведениями Николà Ланкре (Lancret). Сравнение с гравюрой Larmessin, до мельчайших подробностей повторявшей картину, подтвердило это предположение.

Название гравюры «A femme avare—galant escroc» указывало на то, что картина нашего музея является одной из 12 иллюстраций, написанных Ланкре на сюжеты сказок («contes») Лафонтена. В каталоге, приложенном к монографии Вильденштейна о Ланкре[1], упоминаются гравюры Лармессена и две картины на сюжет «A femme avare—galant escroc». Автор монографии предполагает, что фигура молодого человека написана с самого Ланкре, а мужчины, сидящего за столом,—с брата художника.

Упомянутую в каталоге небольшую картину, написанную маслом на холсте, Вильденштейн считает за оригинал Ланкре, послуживший образцом для Лармессена. Кроме этой, в каталоге упоминается еще одна картина на тот же сюжет, хранящаяся в музее г. Орлеана, которая, по предположению Вильденштейна, является копией с гравюры Лармессена.

При внимательном рассмотрении всей серии картин, написанных Ланкре на сюжеты «contes» Лафонтена, становится очевидным, что оригиналы написаны на небольших медных досках приблизительно одинакового размера. И так как в каталоге Вильденштейна в перечне вещей на сюжет повести «A femme avare—galant escroc» на первом листе упомянута гравюра, приведенная также в отделе иллюстраций, а из остальных указанных картин одна написана на холсте и по размерам выпадает из общего цикла, а другая является копией с гравюры,—можно с уверенностью сказать, что публикуемая нами картина, соответствующая по размеру и материалу всей серии, является оригиналом Никола Ланкре.

В «Procès-verbaux de l'Académie de peinture et de sculpture» упоминается, что 26 января 1737 г. Лармессен принес в дар Академии две гравюры, исполненные им по картине Ланкре на сюжет повести Лафонтена «Les oies du frère Philippe». Следовательно, начало работы Ланкре над серией иллюстраций к повестям Лафонтена относится к 1736 г.

В «Explication des peintures, sculptures et autres ouvrages des Messieurs de l'Académie Royale» указано, что 28 августа 1738 г. Ланкре выставил в Салоне четыре картины на сюжеты повести Лафонтена (по каталогу № 82—85, где под № 83 значится «A femme avare—galant escroc»). Таким образом, мы можем точно датировать нашу картину 1738 г.

В картинной галлерее Музея изобразительных искусств имеется и другая воспроизводимая нами картина, написанная на тему «сказки» Лафонтена «Отшельник, или повесть о брате Люс», принадлежащая кисти Франсуа Буше (медь, масло, разм. 66,5×55,5 см, см. т. II, табл. перед стр. 577).

В этой картине художника интересовал, главным образом, пейзаж, в который введены маленькие фигурки людей, иллюстрирующих фабулу Лафонтена. Причудливый стиль рококо, с его сложными переплетающимися линиями, прекрасно передан в этом маленьком кусочке природы. Ручей, мостик, группа деревьев, среди которых приютилась хижина отшельника, изгибы дороги, ива с маленькой часовней мадонны среди ветвей, голубые дали холмов, уходящая вглубь река—это подлинный французский пейзаж, в который так изящно введены персонажи сказки Лафонтена: глупая мать, ведущая по дороге наивную простушку-дочь к хитрому отшельнику, прикрывшемуся личиной благочестия.

Louis Réau[2] в своем каталоге произведений французских художников в СССР высказывает предположение, что картина эта была написана Буше по заказу коллекционера Крозá (Crozat). Он упоминает также, что она была выставлена в Салоне в 1742 г. Сведения эти подтверждают и братья Гонкур в своей книге о французских мастерах XVIII в.[3]. В перечне картин, выставленных Франсуа Буше в Салоне 1742 г., значится: «Пейзаж из повести о брате Люс». («Un paysage de la fable du frère Luce»). Самым замечательным в этих иллюстрациях к Лафонтену является их стилевое единство. В литературном даровании Лафонтена старые фабулы получили новую жизненную, утонченную и изящную форму, которой вполне соответствовало изысканное живописное мастерство художников рококо.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Georges Wildenstein, Nicolas Lancret, P., 1924 (в серии «Collection L'art français»).

[2] Louis Réau, Catalogue de l'art français dans les musées russes, P., Armand Collin, 1929.

[3] Edmond et Jules de Goncourt, L'art du dix-huitième siècle, P., 1880.

НЕСКОЛЬКО КАРТИН НА СЮЖЕТЫ ТОМА КОРНЕЛЯ, БЕРНАРДЕНА ДЕ СЕН-ПЬЕРА И ЛАФОНТЕНА ИЗ СОБРАНИЙ ЭРМИТАЖА

Сообщение Р. Хай

I

Театральный сюжет, пожалуй, ни в какую другую эпоху не занимает такого места в живописи, как во Франции в XVIII в. Почти без преувеличения можно сказать, что основные линии истории французского театра возможно было бы восстановить, пользуясь одними лишь картинами, рисунками и гравюрами эпохи. Персонажи итальянской комедии заполняют творческое воображение Жилло и Ватто. Ланкре воскрешает перед нами ряд театральных постановок Théâtre Français. Рисунки Г. де Сент-Обена, Кармонтеля и других мастеров дают целую хронику театральной жизни эпохи, а бесчисленные портреты увековечивают облик почти всех сколько-нибудь выдающихся мастеров французской сцены.

Творчество Ланкре представляет в этом отношении особенно значительный интерес. Созданный впервые Ватто тип театрального портрета получил у него законченную документальную форму. Характерной особенностью этих портретов является то, что они передают не только облик актера в определенной роли, но точно воспроизводят мизансцену.

Эрмитаж обладал в XVIII в. тремя подлинными картинами Ланкре, перечисленными в каталоге 1744 г.: 1) сцена из комедии Детуша «Le Glorieux»; 2) сцена из комедии того же автора «Le philosophe marié»; 3) сцена из трагедии Тома Корнеля «Граф Эссекс». Первые две картины исчезли бесследно. Они не упоминаются уже в описи эрмитажных и дворцовых картин 1797 г. и известны в настоящее время только по гравюрам N. Dupuis.

Эти гравюры привлекли внимание историков французского театра, и Bonnacier в «Lettre du souffleur» удалось установить имена изображенных актеров. Третья же из этих картин, единственная дошедшая до нас в подлиннике, подписанная и датированная 1734 г., осталась почему-то вне поля зрения исследователей. Она изображает тот момент из трагедии «Граф Эссекс», когда герцогиня Иртон пытается утешить королеву Елизавету, которой Сольсбери принес известие о смерти графа Эссекса (см. т. II, табл. перед стр. 322).

Уже эрмитажная опись 1797 г. указывает, что все изображенные лица представляют собой портреты современных актеров. Сравнивая иконографию актеров того времени с персонажами нашей картины, нам удалось установить несомненное сходство актрисы, изображенной здесь в роли Елизаветы, со знаменитой актрисой Французской комедии Кино-Дюфрень (Жанна-Мари Dupré, Quinault du Fresne), известной до замужества, как D-lle de Seyne. Существующий гравированный портрет Кино-Дюфрень дает возможность убедиться в абсолютном тождестве его с лицом актрисы на нашей картине: те же характерные черты, широко расставленные глаза и выдающаяся нижняя губа.

Жанна Кино-Дюфрень дебютировала в Фонтенбло 7 ноября 1724 г. в роли Гермионы из трагедии «Андромаха» Расина. В театр Французской комедии была принята в 1724 г. на первые роли в трагедиях. Она покинула театр в 1732 г., вернулась в него обратно в 1733 г. и удалилась окончательно в 1736 г. В том году, когда Ланкре писал свою картину, ей было около 40 лет.

ВОЗВРАЩЕННЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Картина маслом Никола Бертена на сюжет „Le baiser rendu“ Лафонтена

Эрмитаж, Ленинград

Гораздо сложнее установить имена двух других актеров, изображенных на нашей картине. Молодой актер, представленный в роли Сольсбери, друга графа Эссекса, имеет некоторое сходство с портретами известного актера Французской Комедии Гранваля (Шарль-Франсуа-Никола Racot de Grandval). Сравнивая лицо актера на нашей картине с портретом Гранваля работы Ланкре, находящимся в частном собрании А. М. Х. в Париже, а также с изображением молодого актера в гравюре Dupuis с картины Ланкре «Le Glorieux», которое, согласно Bonnacier, считается портретом Гранваля, можно допустить, что все эти три изображения—портреты одного и того же лица.

Относительно третьего персонажа картины можно сообщить следующее: В «Mercure de France» за февраль 1734 г., в разделе «Представления при дворе», помещено сообщение, что 9 февраля молодая актриса D-lle Grandval выступала с большим успехом в роли Аталиды в трагедии Расина «Баязет» и что эта новая актриса играла несколько дней спустя в Париже роль герцогини в трагедии «Граф Эссекс», где ей много аплодировали.

В 1734 г., в год, когда была написана наша картина, «Эссекс» был излюбленным классическим, но давно устаревшим спектаклем. Трагедия эта была впервые поставлена в 1678 г. еще в театре «Hôtel de Bourgogne».

Почему же Ланкре изобразил сцену из трагедии, которая шла уже в течение тридцати шести лет?

Если считать правильным наше предположение, что на картине изображены актеры Quinault du Fresne (Елизавета), Grandval (Сольсбери) и D-lle Grandval (герцогиня), то можно допустить, что, вероятно, дебют молодой актрисы Гранваль в этой трагедии в феврале 1734 г. и послужил поводом для того, чтобы зафиксировать знаменательный момент в жизни супружеской четы Grandval.

II

Находящаяся в Эрмитаже картина известного мариниста XVIII в. Клода-Жозефа Верне, «Смерть Виргинии» (см. табл. перед стр. 112), написана в 1789 г., т. е. через два года после того, как Бернарден де Сен-Пьер закончил свою знаменитую повесть, и в последний год жизни художника.

Сентиментальная история любви Поля и Виргинии, над которой было пролито столько слез, вдохновила не одного художника. Мы находим бесконечное количество произведений искусства, трактующих темы знаменитой повести как в живописи, так и в фарфоре, бронзе и др.

Среди них эрмитажная картина Верне для нас особенно интересна и ценна, так как она является не только первым произведением на эту тему, но написана, несомненно, под непосредственным литературным руководством автора «Поля и Виргинии».

Мемуары современников сохранили рассказ о том, как Бернарден де Сен-Пьер, читая впервые свою повесть в салоне M-me Неккер, был встречен язвительными усмешками своего покровителя, министра Неккера. От этих насмешек моментально высохли слезы дам, тронутых несчастиями Поля и Виргинии. Взбешенный такой неудачей автор, придя домой, хотел сжечь свою рукопись, но Верне, как раз очутившийся у него в тот момент, остановил его, восхищенный повестью.

НАКАЗАНИЕ СЛУГИ

Картина маслом Никола Бертена на сюжет „Le paysan qui offense son seigneur“ Лафонтена

Эрмитаж, Ленинград

Этот рассказ, более похожий на литературный анекдот, не подтвержден архивными изысканиями d'Haussonville («Le salon de M-me Necker...», 1882, I, 195), тем не менее, этот автор, так же как и Lagrange, ссылаются на него и его цитируют.

Более конкретный и неоспоримо документальный материал дают три письма Верне к Бернардену де Сен-Пьеру. В первом из них, от 27 января 1789 г., Верне пишет, что он только-что получил двенадцать экземпляров повести «Поль и Виргиния», посланных ему адресатом «взамен экскиза». Верне прибавляет при этом, что эскиз этот сделан настолько поспешно, что он стыдится даже показать его.

В другом письме, от 12 мая того же года, Верне говорит, что ему хотелось бы изобразить живописно наиболее интересный момент из «Поля и Виргинии». И, наконец, в третьем письме, от 20 мая 1789 г., художник, сообщая, что композиция картины на сюжет «Поля и Виргинии» слегка набросана им на холст, просит Бернардена де Сен-Пьера притти посмотреть, верно ли передает эта композиция идею, которую тот ему дал.

Этих отрывочных данных, конечно, недостаточно для того, чтобы вопрос о роли, сыгранной Бернарденом де Сен-Пьером в создании публикуемой картины, выяснился вполне. Однако, существенно и то, что приведенными документами подтверждается самый факт обращения Верне к автору «Поля и Виргинии» за творческой помощью при работе над «Смертью Виргинии».

Можно предполагать, что и самый выбор эпизода из повести для перенесения его на холст был сделан не без указания или одобряющего согласия автора. Изображение гибели Виргинии во время кораблекрушения сам Бернарден де Сен-Пьер считал не только своей наибольшей художественной удачей, в отношении проявленного им здесь литературно-живописного мастерства,—он придавал этой сцене важный для него внутренний смысл. Смерть Виргинии во время кораблекрушения должна была, по мысли автора, символизировать гибельность цивилизации, а эта мысль является, как известно, основной философской темой знаменитой повести.

III

Картинное собрание Эрмитажа содержит, разумеется, также и ряд других произведений живописи на сюжеты, заимствованные из тех или иных сочинений французских писателей.

Мы воспроизводим здесь следующие три картины из собрания Эрмитажа на сюжеты, заимствованные у Лафонтена:

I. Никола Бертен (Nicolas Bertin, 1668—1736)—иллюстрация к «Le baiser rendu» из «Contes et Nouvelles» Лафонтена (см. стр. 981).

II. Его же—иллюстрация к «Le paysan qui offense son seigneur» из «Contes et Nouvelles» Лафонтена (см. стр. 983).

III. Никола Ланкре (Nicolas Lancret, 1690—1743)—иллюстрация к «Les troqueurs» из «Contes et Nouvelles» Лафонтена (см. стр. 985).

Наконец, в запасах картин эрмитажного собрания хранится одна картина работы знаменитой трагической актрисы Сарры Бернар, повидимому, также на литературный сюжет, установить который, однако, нам не удалось. В качестве художницы Сарра Бернар почти неизвестна. Между тем, она пробовала свои силы и в области изобразительных искусств.

ОБМЕН ЖЕНАМИ

Картина маслом Никола Ланкре на сюжет „Les troqueurs“ Лафонтена

Эрмитаж, Ленинград

С 1873 г. начинается ее серьезная работа над скульптурой, а затем, несколько позднее, над живописью. Произведения Сарры Бернар, начиная с 1874 г., систематически выставляются в парижских салонах. Ее гипсовая группа «После бури» была даже отмечена наградой «Mention honorable». Выступления Сарры Бернар в качестве скульптора, а затем художницы были встречены бурными восторгами поклонников и сдержанными отзывами критиков искусства, всё же упоминающих о ней в специальных

СТАРУХА С КНИГОЙ
Картина маслом Сарры Бернар, 1878 г.
Эрмитаж, Ленинград

хрониках. Воспроизведенная на этой странице картина «Старуха с книгой» подписана автором полным именем и датирована 1878 г. Она относится к первым опытам Сарры Бернар в области живописи и, вероятно, была продана на выставке скульптуры и картин артистки, устроенной ею во время гастролей в Лондоне в 1879 г. Следует заметить, что успехом своих произведений Сарра Бернар больше обязана своему громкому имени, нежели достоинствам этих произведений, являющихся не более, как работой талантливой дилетантки.

ЭМАЛЕВАЯ МИНИАТЮРА, ПРИНАДЛЕЖАВШАЯ ДИДРО

Сообщение П. Дервиза

В собрании эмалевых табакерок Эрмитажа имеется одна эмалевая миниатюра—крышка от табакерки, принадлежавшей Дидро[1].

Это прямоугольная выпуклая эмалевая дощечка с живописью, изображающей сцену из «Похождений Телемака» Фенелона: Ментор убеждает Телемака устоять против соблазнов, окружающих его на острове Калипсо.

В гроте, с правой стороны композиции, изображены нимфа с бубном в руке и фавн, играющий на флейте; в центре, на лужайке, танцуют, взявшись за руки, три обнаженные нимфы; слева, на переднем плане, Ментор указывает на нимф стоящему рядом с ним Телемаку с гирляндами цветов в руках; на заднем плане—пейзаж. На оборотной стороне миниатюры писанная по контрэмали надпись: «Peint par p[re] [peintre] Ls [Louis] Durand à l'âge de 76 ans ½ pour son ami Diderot. 1782».

Миниатюра хорошего, тонкого письма, с основной гаммой нежных сине-зеленых тонов, и является, вероятно, копией с современной ей картины или гравюры одного из французских художников круга Буше. Количество иллюстрированных изданий «Les aventures de Télémaque» Фенелона во второй половине XVIII в. было очень значительно, и Дюран легко мог выбрать себе среди них подходящую для него композицию. Автору ее, как явствует из надписи, было 76½ лет—возраст для миниатюриста очень большой; известно, что многие миниатюристы от долгих лет работы, требующей большого напряжения зрения, к старости слепли; приходится удивляться, как мог семидесятишестилетний старик написать такую миниатюру. Луи Дюран—один из лучших парижских живописцев по эмали второй половины XVIII в. Он писал, главным образом, различные мифологические сцены и портреты и подписывал свои работы L. Durand. К 60-м годам XVIII в. он считался лучшим эмальером в Париже и состоял на службе у герцога Орлеанского. С 1763 г. Дюран начал получать от короля пожизненную ренту[2].

Из работ Дюрана, сохранившихся до наших дней, до сих пор были известны только две, обе подписные: «Артемиза, плачущая у гроба Мавзола», в Лувре, и писанный на перламутре портрет Людовика XV в коллекции G. Duruy[3]. Таким образом, публикуемая нами эрмитажная миниатюра увеличивает число дошедших до нас работ Дюрана до трех, а из числа работ этого мастера на эмали—до двух.

Можно предполагать, что, получая уже с 1763 г. королевскую пенсию, Дюран если и не вскоре после этого, то уже, во всяком случае, к 76 годам своей жизни перестал работать систематически. Принадлежащая Эрмитажу миниатюра была, вероятно, написана им отчасти в качестве опыта для проверки собственных сил, отчасти же в знак уважения и дружбы к Дидро, которому он ее преподнес за два года до смерти последнего.

Интерес Дидро к искусству и знания его в этой области были чрезвычайно разносторонни. Наряду с вопросами так называемого «большого искусства»—станковой живописи и скульптуры, Дидро интересовался и другими видами искусства, в особенности же миниатюрной живописью на эмали.

В своем «Салоне 1761 года» Дидро пишет по поводу картины Грёза «Деревенская невеста»: «Богатый человек, который хотел бы приобрести красивую работу на эмали, должен был бы дать исполнить эту картину

Грёза Дюрану, искусному в этом деле, и притом красками, которые изобрел г. де Монтами. Хорошая копия в эмали рассматривается почти, как оригинал, и этого рода живопись в особенности предназначена для копий». В этих словах Дидро интересен для нас его взгляд на живопись по эмали, как на искусство, по преимуществу предназначенное для копирования произведений станковой живописи; в действительности, как мы знаем, громадное большинство миниатюр на эмали представляет собой копии с современных им картин и портретов, либо в основе их лежит та или иная гравюра[4]; в редких же сравнительно случаях исключений авторы миниатюр на эмали все же мало самостоятельны, исходя, по большей части, из существующих композиций или портретов, которые они лишь слегка вариируют.

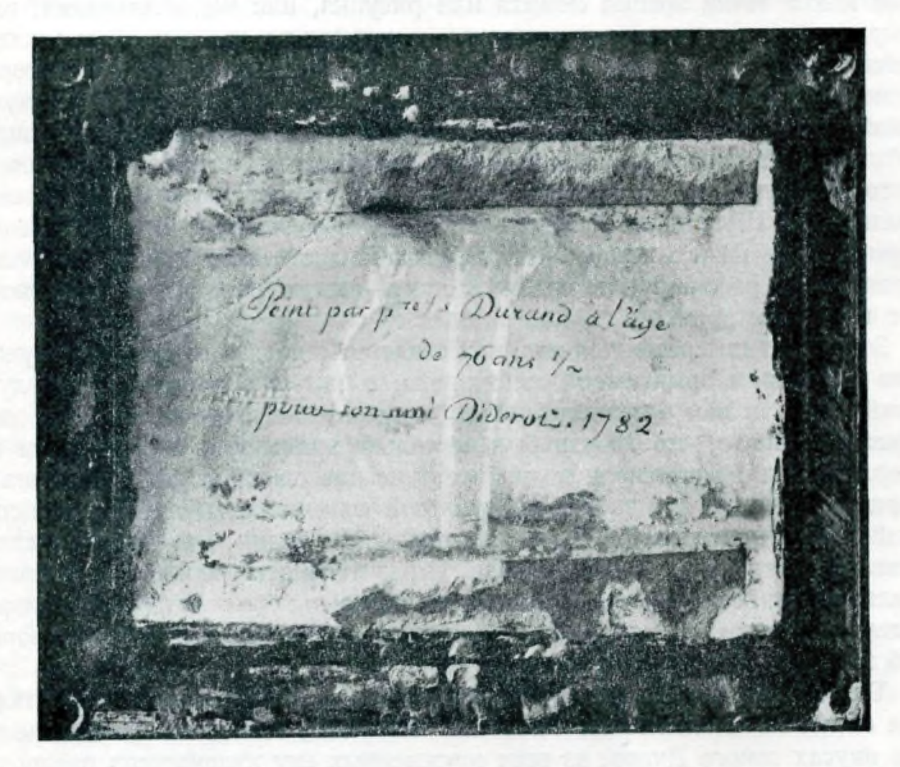
Впрочем, в глазах Дидро это обстоятельство, повидимому, не умаляет заслуг живописцев-эмальеров, хорошие копии которых в эмали «рассматриваются почти, как оригиналы». Хотя Дидро в данном случае говорит в третьем лице, выражая как бы не свое, а общее мнение, но совершенно очевидно, что это есть, в то же время, и его собственное мнение. Взгляд этот вполне понятен, так как, в отличие от простого копировщика, живописец-эмальер имел дело с такими художественно-техническими трудностями, одно уж преодоление которых являлось большой заслугой, при условии изготовления действительно «хорошей копии». Ведь не надо забывать, что живописец-эмальер в своей работе с красками действовал ощупью, не зная настоящего тона их, так как при обжиге краски претерпевали сильное изменение в цвете; к тому же, очень простое в обыкновенной живописи достижение всех разнообразных переходных тонов путем смешения красок в живописи по эмали было невозможно, так что для каждого переходного тона хорошему эмальеру приходилось заготовлять заранее отдельную эмалевую краску.

Насколько Дидро интересовался живописью на эмали, явствует из того, что он не только был первым издателем трактата о красках для эмалевой живописи, написанного его другом Монтами[5], но и сам принимал близкое участие в опытах этого ученого-друга — управляющего герцога Орлеанского и одного из наиболее просвещенных людей своего времени.

К этому изданию Дидро написал предисловие, краткое руководство по искусству живописи на эмали и издательское примечание о синей краске (кобальт)[6]. В руководстве по живописи на эмали Дидро пишет: «Это описание живописи на эмали было сделано в свое время по указаниям г. Дюрана, живописца герцога Орлеанского, и услугами этого самого мастера пользовался также г. де Монтами для проверки тех качеств, которые он хотел придать своим краскам»[7].

Из этих слов видно, что Дидро, Дюран и Монтами были связаны общим интересом к живописи на эмали. В то время как Монтами своими опытами над красками, результаты которых зафиксированы в его трактате, старался облегчить художнику работу, проверяя на ней результаты своих опытов, художник Дюран своей работой помогал химику проверять свои достижения, корректируя одновременно правильность руководства по живописи, составляемого Дидро, стремившегося осветить в печати работу обоих своих друзей—и ученого и художника.

Поэтому понятно, что Дидро, в приведенной выше цитате, касающейся картины Грёза, рекомендует именно краски Монтами и Дюрана, как художника. Он знал хорошо высокое качество работы обоих, верил в нее и, естественно, стремился ее пропагандировать.



КРЫШКА ОТ ТАБАКЕРКИ, ПРИНАДЛЕЖАВШЕЙ ДИДРО, И ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЕЕ

На лицевой стороне крышки изображена сцена из „Похождений Телемака“ Фенелона, работы Луи Дюрана, 1782 г.

Эрмитаж, Ленинград

Трактат Монтами, если верить ему (а не верить ему нет оснований, поскольку результаты его опытов проверялись художником на практике), должен был внести коренные изменения в технику живописи по эмали. Применение его красок, составленных не из цветных стекол, а из различных пигментов, с небольшим лишь добавлением истертого в порошок бесцветного стекла, буры и селитры, устраняло те основные трудности, которые до того времени являлись специфической особенностью живописи на эмали и которые были упомянуты нами выше.

Тем понятнее, что Дидро рекомендует пользование красками, изобретенными Монтами. Надо думать, что Дюран пользовался ими: на эрмитажной миниатюре такое обилие переходных тонов и оттенков, которое возможно только при условии свободного смешивания красок, как при живописи маслом или гуашью.

Интерес Дидро к эмалям сказался еще и на другом факте: им была написана (в 1756 г.) статья «Эмаль» в издаваемой им Энциклопедии. В этой статье, после краткого исторического очерка об эмалях, Дидро переходит к эмальерам-современникам и, расхваливая композиции Дюрана, пишет: «Я имею честь быть другом этого последнего, который не менее заслуживает уважения безупречностью своей жизни и скромностью своего характера, чем прелестью своего таланта. Потомство, которое оценит его работы на эмали, будет с увлечением выискивать работы, исполненные им на перламутре...

...Наблюдая за его работой над эмалевой миниатюрой, превосходной как с точки зрения сюжета или рисунка, или же композиции, или выразительности, или даже колорита, я написал то, что я изложу о живописи на эмали после того, как я опишу в нескольких словах эту миниатюру, о которой идет речь. Эта пластинка, предназначенная служить дном мужской табакерки, круглой формы и размерами несколько превышающая обычные. На переднем плане большой, восемнадцатилетний амур, прямой, с торжествующим и довольным видом стоит, опершись о лук, и указывает пальцем на Геракла, обучающегося прядению у Омфалы. Эта миниатюра, при взгляде на нее невооруженным глазом, доставляет большое удовольствие; при рассмотрении же ее в лупу—совсем иное дело: приходишь от нее в восторг»[8].

Этот текст интересен для нас, как свидетельство самого Дидро о дружбе его с автором эрмитажной миниатюры, о котором он дает самый лучший отзыв и как о человеке и как о художнике. Кроме того, он дает указание на то, что Дюран был не только эмальером, но и работал по перламутру. Интересно и подробное описание одной из работ Дюрана — предназначенной для табакерки эмалевой дощечки с мифологической сценой в типичной для XVIII в. трактовке. Мы видим, что Дидро расхваливает и ее рисунок и композицию, выразительность, колорит и исключительную тонкость работы, и ему можно поверить: эрмитажная миниатюра, сделанная этим же мастером в 76 лет, достаточно красноречиво говорит об этом.

То обстоятельство, что Дюран для подарка Дидро выбрал миниатюру на сюжет из «Похождений Телемака» Фенелона, находит себе объяснение во вкусах самого Дидро, из всех современных ему художников предпочитавшего Грёза и прославлявшего вместе с ним семейные добродетели и пафос обыденной жизни. Исключительная добродетель фенелоновского Телемака должна была быть ему близкой и приятной.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Инв. № 10442; дл. 9,1 см, шир. 7,5 см. Происходит из собрания Юсуповых.

[2] Thieme, Künstlerlexikon. Явствующий из надписи на миниатюре возраст Дюрана дает возможность, с одной стороны, определить год его рождения как 1706 (или 1705), с другой же—делает очевидной ошибку у Thieme, предполагающего, что Луи Дюрана, эмальера, можно отождествить с Пьером-Луи Дюраном, рисовальщиком, от которого сохранилась серия рисунков 1797 г. Когда умер Луи Дюран, нам неизвестно, но более чем вероятно, что в возрасте 91 года он уже не мог писать, если бы даже и был еще в живых к тому времени.

[3] H. Clouzot, Dictionnaire des miniaturistes sur émail. Помимо названных двух работ, дошедших до нас, известны из различных документов еще четыре работы Дюрана: упоминаемая в приведенном ниже тексте Дидро табакерка с изображением на эмали Геракла, прядущего у ног Омфалы, женский силуэт на перламутре и два портрета Людовика XV на эмали (1760, 1761 гг.). Последние три указываются в словаре Thieme.

[4] Главным образом, портретов; сюжетные композиции на эмали встречаются значительно реже, чем портреты.

[5] «Traité des Couleurs pour la peinture en émail et sur la porcelaine, ouvrage posthume de M. d'Arclais de Montamy», P., Cavelier, 1765. Дидро получил право на издание рукописи своего умершего друга, но после приведения рукописи в порядок и подготовки ее к печати передал права Кавелье (Diderot, Œuvres complètes, Salon 1761, 60, note).

[6] Op. cit., Avertissement, Exposition abregée de l'art de peindre sur l'émail. Observation de l'éditeur, 143.

[7] Op. cit. p. XV.

[8] Diderot, Email.—Encyclopédie, 1756.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЮЖЕТ В РУССКОМ ФАРФОРЕ

Сообщение М. Кетовой*

Французский литературный сюжет в русском фарфоре появляется, начиная с первой четверти XIX в., в произведениях завода Юсупова (село Архангельское, Московской губ., 1814—1831 гг.).

Фарфоровое производство этого завода не преследовало каких-либо коммерческих целей и в своих изделиях обслуживало личные потребности и отражало вкусы своего владельца. Завод Юсупова работал преимущественно под руководством французских мастеров—керамистов и художников, даже полуфабрикаты выписывались в значительной мере из Франции.

Естественно, поэтому, что изделия этого завода (чайные сервизы, вазочки, тарелки) дают богатейший материал по французскому литературному сюжету, выполненному на основе французских полихромных гравюр, сопровождавших литературные образы и сцены в изданиях произведений Лафонтена, Шатобриана, Фенелона и др.

Так, например, на ряд изделий юсуповского завода оказались перенесенными иллюстрации к роману Шатобриана «Атала». На одной из чашек с прекрасной, тонкой живописью, исполненной по гравюре Duthé (начало XIX в.), изображена сцена встречи отца Обри, Атала и Шактаса. В отличие от чашки, на которую перенесена французская гравюра, иллюстрирующая роман, блюдце украшено по борту живописью русского пейзажа: помещичий дом с колоннами.

---

* Сообщение служит сопроводительным текстом к воспроизведенным в настоящем издании изделиям русского фарфора, содержащим французские литературные сюжеты. См. т. I, стр. 225; т. II, стр. 87, 499, 623, табл. перед стр. 881; т. III, стр. 101, 103, табл. перед стр. 113, стр. 653, 657, 665, 829, 993, 994, 995.

Другая чашка того же завода представляет аналогичный сюжет, но в несколько иной композиции. Эта работа выполнена, несомненно, уже русским крепостным мастером.

На одной из чашек дана сцена причащения Атала отцом Обри.

Большой интерес представляет небольшая ваза—типичный ранний «ампир», изящная по своему силуэту, с золочеными лебедиными ручками и тонким, также золотым, растительным орнаментом, украшенная живописной сценой погребения Атала.

Отметим, наконец, еще один первоклассный образец работы завода Юсупова: тарелка с цветным орнаментом по борту и с живописью на зеркале, изображающей сцену из знаменитого эпического романа «Похождения Телемака» Фенелона.

Сцены из «Атала» Шатобриана можно встретить и на изделиях других русских заводов, например, Сафронова (деревня Коротково, Московской губ., 1830—1840-е годы). Среди изделий этого завода в собраниях Музея керамики имеется, например, тарелка с живописной сценой, представляющей Атала и Шактаса застигнутыми бурей в лесу. В этой сцене мы опять находим, хотя и в более своеобразной трактовке «русского лубка», всю композицию названной выше гравюры Duthé.

Огромная популярность, также и в России, знаменитой сентиментальной повести Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния» нашла в русском фарфоре очень полное и интересное отражение. Мастера целого ряда русских фарфоровых заводов использовали сюжетику этой повести для живописных сцен на сервизах и для самостоятельных скульптурных групп, иллюстрирующих это произведение. Завод Попова (село Горбуново, Московской губ., 1806—1860 гг.) выпустил, например, в 30—40-х годах XIX в. три скульптуры персонажей этого романа, источником для которых послужили гравюры французского мастера Le Grand Augustin (1765—1808). Первая группа—это эпизод из детства героев повести: Павел и Виргиния со смехом спасаются от дождя под прикрытием приподнятой юбочки Виргинии. Вторая группа изображает Павла и Виргинию заблудившимися в глубине девственного леса, куда они однажды ранним утром пустились, вопреки наказу своих родителей, и где уже в сумерках их находит Фидель, их верный пес. Наконец, третье скульптурное произведение завода Попова на данную тему—это статуэтка, изображающая негра Доминика—раба и преданного слугу семейства Виргинии, на попечении которого она росла.

Кроме этих первоклассных по своему художественному выполнению скульптурных групп и статуэток, мы имеем целую серию предметов из чайных и столовых сервизов, выпущенных малыми русскими заводами—Сафронова, Новых, Киселева и других, которые очень широко использовали сюжеты этой повести, дав ряд живописных «разделок», порой весьма примитивных, но далеко не лишенных своеобразной прелести. Так, например, на одном из предметов из чайного сервиза завода Сафронова—молочнике—мы видим изображение Павла и Виргинии в лесу. В смысле мастерства и композиции мы очень далеки тут от изящества французской гравюры. Это просто типичный лубок «на французскую тему», о чем сам автор этой «живописи» вряд ли подозревал, ибо он был безграмотным деревенским кустарем. Но что мы не можем у него отнять, так это ту любовь, с которой он изобразил популярную в то время «картинку».

ИЛЛЮСТРАЦИИ К БАСНЯМ ЛАФОНТЕНА
Фарфор завода Юсупова, 1820-е гг.
Музей „Архангельское“

ИЛЛЮСТРАЦИИ К ПОВЕСТИ БЕРНАРДЕНА ДЕ СЕН-ПЬЕРА „ПОЛЬ И ВИРГИНИЯ"
Фарфор завода Киселева, 1840—1850-е гг.
Музей керамики, Кусково

В середине XIX в. особенно сильно влияние французской художественной культуры (преимущественно изделий парижского завода Jacob Petit) на развитие русского керамического производства сказалось на изделиях завода Миклашевского (село Волокитино, Черниговской губ., 1839—1862 гг.).

В Музее керамики имеется значительное собрание продукции этого завода, и среди них мы находим две статуэтки литературно-сюжетного характера: это персонажи романа Виктора Гюго «Собор парижской бого-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РОМАНУ ФЕНЕЛОНА „ПОХОЖДЕНИЯ ТЕЛЕМАКА"
Фарфор завода Юсупова, 1820-е гг.
Музей „Архангельское"

матери». Одна из них представляет Эсмеральду, обучающую свою козочку Джали складывать из букв имя «Феб». Другая (pendant к первой)—фигуру Феба с собакой.

Обе статуэтки интересны и в том отношении, что они выполнены по гравюре французского художника Maurin (50-е годы).

В связи с интересующим нас вопросом о литературном сюжете отметим попутно среди произведений завода Миклашевского и такие вещи, как портреты (шаржи) французских писателей Шарля Нодье и Поль де Кока (прототипом для изготовления последнего послужил шарж Бенжамена),

а среди произведений завода Гарднера группу—танцующая пара в маскарадных костюмах, известную под названием «La danse des débardeurs», выполненную по рисунку знаменитого Гаварни для «Charivari».

Из вещей с французским литературным сюжетом, выпущенных императорским заводом (в 50-х годах XIX в.), укажем, наконец, на серию фигур, представляющих персонажи романа А. Дюма (отца) «Три мушкетера». В собрании Музея керамики из них сохранились только две статуэтки, изображающие Портоса и Арамиса.

Исторический сюжет, связанный с Францией, также занимает видное место в производстве русских фарфоровых заводов и, в частности, императорского фарфорового завода. Впервые этот сюжет появляется в эпоху Наполеона, в начале XIX в.

Из исторических сюжетов можно упомянуть выпущенную заводом в 50-х годах фигуру Жанны д'Арк, изображенную в рыцарском костюме, и чашку императорского завода с живописью, изображающей свидание трех императоров (Наполеона, Александра I и Фридриха-Вильгельма III) 25 июня 1807 г. на Немане, исполненную по гравюре Вольфа «Тильзитский мир».

Во время Отечественной войны и в ближайшие годы, последовавшие за ней, в России были выпущены многочисленные шаржи и карикатуры на французов, которыми воспользовались почти все современные русские фарфоровые заводы для оформления своих изделий.

Смерть Наполеона, который был так популярен в России, имела, конечно, отражение и в оформлении русского фарфора. На чашке завода Гарднера производства 1821—1825 гг. в четырехугольном медальоне изображена монохромной живописью (en grisaille) могила Наполеона на острове св. Елены. На узкой полоске земли, на фоне морского пейзажа, скромная и строгая белая могильная плита с крестом и надписью «Napoléon», а над ней, как опущенные знамена, свисают ветви деревьев.

Из вещей с историческим сюжетом укажем еще выпущенную заводом Миклашевского карикатуру на президента Учредительного собрания Франции в 1848 г., Армана Марраста. Он представлен сидящим за столом, служащим чернильницей. Перед ним лист бумаги, на котором он пишет свое имя: «Marrast». На постаменте надпись: «Secrétaire de la République 1849». Фигура-чернильница эта взята в одной из карикатур на Марраста, помещенных в 1852 г. во французских юмористических журналах.

Отв. редактор *П. И. Лебедев-Полянский* Зав. редакцией *И. С. Зильберштейн*

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

В ТОМЕ 310 ИЛЛЮСТРАЦИЙ, 8 ЧЕТЫРЕХЦВЕТОК И 5 ФОТОТИПИЙ.

Адрес редакции: Москва, 6, Страстной бульвар, 11, тел. К 3-61-80.

Технический редактор Г. Н. Шевченко
Уполн. Главлита № А-17394
Формат бумаги 72×110 1/16
В книге 63 печ. листа; в 1 п. л. 68 700 зн.

Корректор Е. А. Лядова
Сдано в набор 5/X 1938 г.
Подписано к печати 10/IV 1939 г.
Тираж 5 300 экз.

Отпечатано в Гознаке, Москва, Мытная, 17.

«РУССКАЯ КУЛЬТУРА И ФРАНЦИЯ»

Сборники «Литературного Наследства» №№ 29—30, 31—32 и 33—34.

Том первый (№ 29–30)

Том второй (№ 31—32)

СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Том третий
(№ 33—34)

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

НОВЫЕ ТЕКСТЫ ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

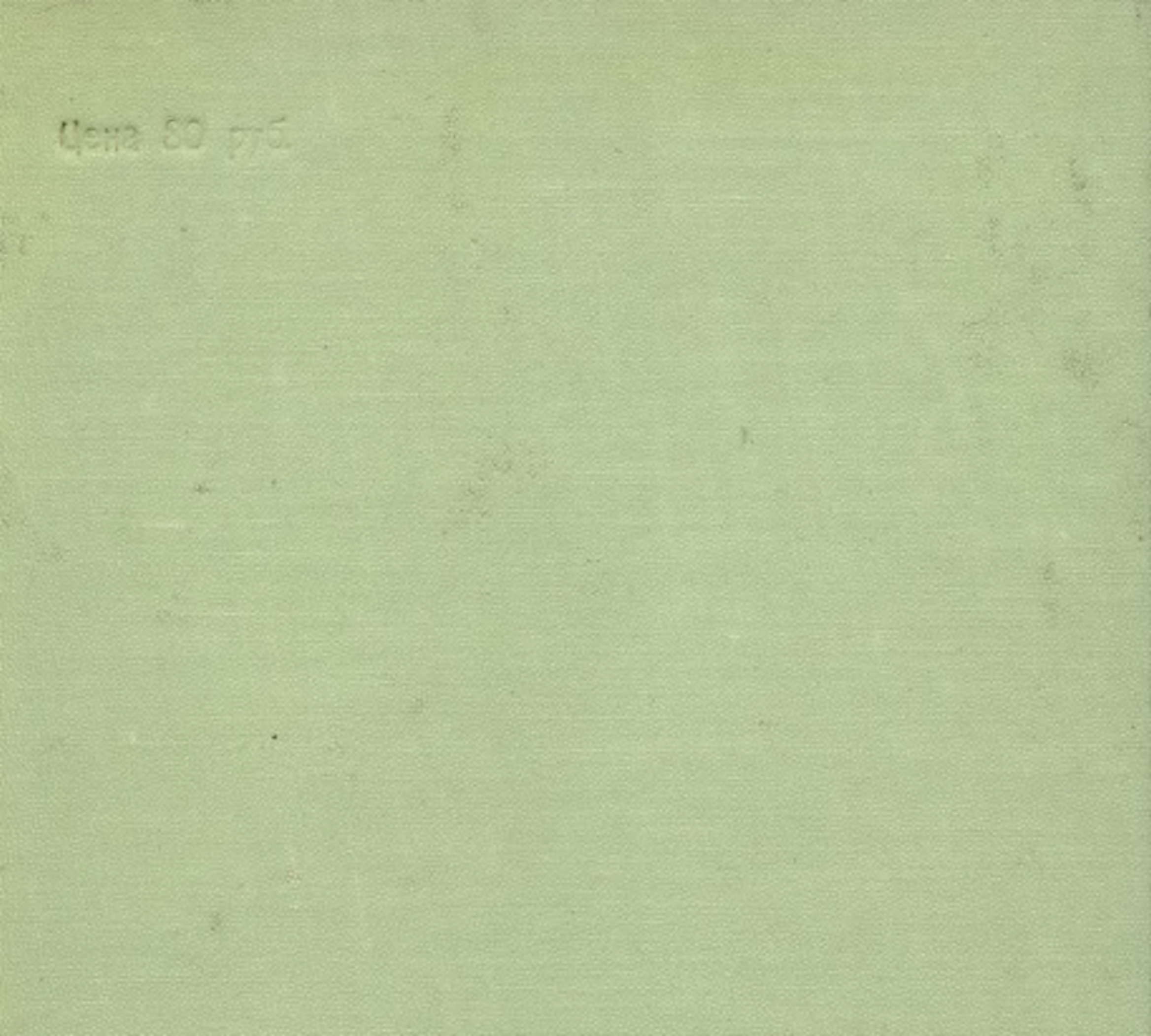
ДВЕ КАРТИНЫ НА СЮЖЕТЫ ЛАФОНТЕНА ИЗ СОБРАНИЙ МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ.—Сообщение Е. Гольдингер.

НЕСКОЛЬКО КАРТИН НА СЮЖЕТЫ ТОМА КОРНЕЛЯ, БЕРНАРДЕНА ДЕ СЕН-ПЬЕРА И ЛАФОНТЕНА ИЗ СОБРАНИЙ ЭРМИТАЖА.—Сообщение Р. Хай.

ЭМАЛЕВАЯ МИНИАТЮРА, ПРИНАДЛЕЖАВШАЯ ДИДРО.—Сообщение П. Дервиза.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЮЖЕТ В РУССКОМ ФАРФОРЕ.—Сообщение М. Кетовой.

Всего в трех томах издания «Русская культура и Франция»: 2 850 страниц, 891 иллюстрация в тексте и 46 вкладных таблиц (18 четырехцветок, 16 фототипий и 12 автотипий).


Цена 80 руб.